ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И КРИТИКИ

I

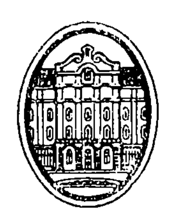
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А. А. ЖДАНОВА

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И КРИТИКИ

ТОМ ПЕРВЫЙ

XVIII ВЕК
И ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА
XIX ВЕКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОРДЕНА ЛЕНИНА УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. А. А. ЖДАНОВА
ЛЕНИНГРАД
1950

Содержание

Стр.

Часть III. 1826—1840 гг.

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящая работа является первым опытом связного изложения истории русской журналистики и критики на основе марксистско-ленинской методологии. Авторам ее казалось целесообразным сделать попытку объединить историю русской журналистики и историю русской критики, поскольку они и в самой практике литературной жизни тесно переплетены и поскольку критика издавна являлась душою лучших русских журналов, определяя их идейное направление. Естественно, что при характеристике журналов отделам литературы и критики уделялось большее внимание, чем другим отделам.

Коллективу сотрудников этой работы пришлось не только суммировать уже накопившиеся материалы и исследования, но и производить многочисленные разыскания, заново изучая многие журналы и деятельность ряда публицистов и критиков. Несмотря на наличие значительного числа работ и частных разысканий об отдельных журналах и журналистах, мы не могли опереться на опыт сводных работ в данной области. В сущности говоря, после классического труда Н. Г. Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы» не появилось ни одного сколько-нибудь сохранившего свое значение, серьезного, методологически продуманного общего сочинения на эту тему.

Вследствие такого положения, эта первая попытка не может претендовать ни на полноту фактов, ни на исчерпывающий анализ их. Изложение нашей работы поневоле не всюду равномерно: некоторые разделы и журналы характеризуются излишне пространно, другие освещаются более бегло, чем это иногда хотелось бы. Не мог не сказаться в нашей работе и характер сводного коллективного труда, в котором неизбежно отразились индивидуальные интересы и особенности каждого из авторов.

Ни по своему объему, ни по характеру изложения «Очерки» не являются учебником. Однако мы считаем, что они могут принести пользу в качестве пособия при прохождении курсов истории русской журналистики и критики в университетах и педагогических институтах, в частности на отделениях журналистики.

Работа выполнена кафедрой русской литературы Ленинградского университета им. А. А. Жданова и была в основном закончена еще до Великой Отечественной войны, в 1941 г. Впоследствии она была пересмотрена и отредактирована.

В настоящее время ведется работа по подготовке второго тома, который охватит 1850—1880-е годы, вплоть до зарождения русской марксистской журналистики.

ЧАСТЬ I

XVIII век

ГЛАВА I

Начало русской журналистики

1. «Куранты»

Понять русскую журналистику XVIII в. и ее значение можно лишь в том случае, если рассматривать ее как элемент исторической жизни того периода, соотнося ее с политическими событиями эпохи, устанавливая ее роль в общественной борьбе, наконец, определяя ее место в развитии литературы и языка соответствующего времени. С этой точки зрения изучение истории русской журналистики XVIII в. приобретает особый интерес.

Как известно, зарождение современной прессы относится к эпохе разложения феодализма и возникновения капитализма. Почти одновременно с первыми произведениями печатного станка (середина XV в.) появляются рукописные бюллетени, содержащие сведения о событиях политических, экономических и т. п., в частности, о состоянии торговых путей, об эпидемиях, действиях пиратов и проч. «Изобретение книгопечатания явилось необходимой предпосылкой буржуазного общества» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIII, стр. 131). Периодическая пресса стала одним из факторов роста этого общества. Главным путем, по которому шла европейская торговля в XV—XVI вв., была коммуникационная линия по Рейну, через Швейцарию или западную Австрию, соединявшая Германию с Италией. Естественно, что в таких крупных торговых пунктах, как Венеция, Нюрнберг, Страсбург и другие, у лиц, связанных по своей деятельности с торговлей и дипломатией, скоплялось значительное количество сведений, важных и интересных для ведшей заморскую торговлю крупной буржуазии. В связи с этим сперва в Венеции, а затем в разных городах Германии возникают целые организации, изготовляющие рукописные бюллетени новостей. В Венеции за прочтение такого бюллетеня взималась мелкая монета «gazza» или «gazzetta», по имени которой стали называть газетой и самые бюллетени. Выходившие сперва нерегулярно, в начале XVII в. газеты, с переходом на печатный способ изготовления, приобретают более или менее строгую периодичность, именно выходят раз в неделю. Издателями газет являлись в то время преимущественно владельцы типографий; нередко же они издавались почтмейстерами крупных почтово-конных станций, так как в этих пунктах всегда можно было получить разнообразный фактический материал, собрать у проезжающих более или менее точную информацию, приобрести много любопытных сведений.

В начале XVIII в. возникает печатная газета в России — «Ведомости Московского государства». Однако еще до появления печатных «Ведомостей» Московская Русь знала своеобразную рукописную газету, так называемые «куранты» или «столбцы».

Впрочем, необходимо сразу же указать, что московские «куранты» с самого начала имели особенность, отличавшую их от западных газет. В то время как последние — и в рукописной, и позднее в печатной форме — обращались к читателям, преимущественно из рядов крупной

буржуазии, московские «куранты» имели характер правительственного дипломатического издания, рассчитанного на царя и его приближенных. «Читателями» их можно назвать лишь условно, так как «куранты» читались царю и его приближенным вслух каким-либо чтецом из дьяков так называемой «государевой думы».

Изготовление «курантов» лежало на обязанности чиновников Посольского приказа, ведавшего иностранной политикой Московского государства. Через разных агентов Посольский приказ получал зарубежные газеты, преимущественно немецкие, реже голландские и другие; из этих заграничных газет переводчики Посольского приказа перелагали на русский язык иногда полностью, иногда в выборках соответствующий материал; эти данные они пополняли сведениями, почерпнутыми из донесений специально содержавшихся за границей и на рубежах страны информаторов (своего рода «собственных корреспондентов»), из перлюстрированной частной переписки проживавших в Москве иностранцев со своими зарубежными родственниками и друзьями, наконец из разнообразных устных источников. Впрочем, трудно сейчас сказать, использовались ли все эти материалы Посольским приказом в одно и то же время, или на протяжении 80 лет засвидетельствованного существования московских «курантов» (самые ранние из сохранившихся относятся к царствованию Михаила Федоровича, 1621 г.) источники информации изменялись.

Выполняя свое назначение, «куранты», естественно, должны были держать царя и правительство в курсе политических, а также экономических и иных явлений эпохи. Поэтому в них главное внимание было обращено на описание разных военных событий: взятия городов, сражений; часто встречаются описания приема послов, созыва сеймов, прибытия с товарами торговых кораблей, смены правителей, картины ужасных моровых поветрий и других болезней, договоры различных государств между собою, речи королей, описание папских приемов.

Чтобы дать хоть некоторое представление о характере «курантов», достаточно привести два-три отрывка из них.

«Вести из Мейланта [т. е. Милана] августа 26 числа [1643 г.]. К городу Трино францужские люди двожды приступали, только с нарочитою потерею назад отошли, и стреляли они с четырех роскатов [т. е. батарей] и 24 пушек; а под городом Понтестуром еще по сю сторону [т. е. пору] жестокова приступа не бывало. А здешной владетель ныне невдавне из города Павиа к городу Новара к мотру [набору] поехал».

«Из Париса августа 28 числа [1643 г.]... А князя де Гаркоурта посылают в послех в аглинскую землю для некоторой розни меж короля и соимы [сейма — парламента], и для тово дела совершения дожидаетца».

А вот сообщение о «необыкновенном событии»:

«Марта в 31 день [1655 г.] в Питцерском уезде недалече от Гданска [Данцига] видели две дивные птицы, которых поперед сего здесь не видали, желтоносые, да белые хвосты и ноги; а летали высоко гораздо и меж собою почали дратца и битца крылами и носами и ногами схватывалися и с великим крыком обе на землю упали; а одное птицу мужики убили, а другую птицу в Польшу королевскому величеству живую послали; а такое птичное побоище высоко было под небесы, что крык сперва долго слышели, покаместа птиц не увидели; а что такая притча окажет, и то даем умным людем рассудить».

По внешнему виду «куранты» представляют складные, длиною в несколько метров, узкие листы бумаги, на которых писали «столбом»,

т. е. сверху до низу без перерывов; отсюда происходит и другое название «курантов» — «столбцы»; впрочем, в Посольском приказе их называли также «Вести», «Вестовые письма» и т. д.

Изготовлялись «куранты», по крайней мере в начале, в одном экземпляре и рассматривались как дипломатические тайные документы. Исчезновение из Посольского приказа нескольких рукописей «курантов» вызвало большой скандал.

«Куранты, или вестовые письма» не могут быть исключены из истории русской журналистики, несмотря на то, что царская власть не допускала их распространения в народе. Эти самые «куранты» позднее, при Петре I, кладутся в основу первой русской печатной газеты, носившей название «Ведомости Московского государства», а с этой газеты начинается настоящая история русской журналистики.

2. Петровские «Ведомости»

Возникновение печатной газеты в России представляет одно из многих нововведений, связанных с созданием и укреплением национального государства помещиков и торговцев, как назвал империю Петра I И. В. Сталин в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом. Формирование национального дворянско-буржуазного государства являлось закономерным этапом в развитии русской государственности; начало этого процесса Ф. Энгельс считал правильным связать с деятельностью Ивана III. Однако только при Петре I исторические условия созрели для осуществления политических, экономических и культурных мероприятий, которые обычно называются «петровскими реформами». Одновременность и интенсивность перемен в русской жизни, проводившихся Петром, сильно способствовали тому, что и у современников и в особенности у потомства создалось впечатление о каком-то резком, чуть ли не революционном переломе, имевшем тогда место. Действительно, так называемые «петровские реформы» представляли значительный исторический сдвиг, но многие петровские нововведения, в особенности в области культуры, затронули только верхний слой — столичное дворянство, и часть столичного купечества.

Было бы при этом неверно отрицать то обстоятельство, что ряд мероприятий Петра имел и более широкое значение. И хотя эти «реформы» предпринимались Петром в интересах того государства, которое он создавал и укреплял, т. е. в интересах государства помещиков и торговцев, они в определенном смысле играли прогрессивную роль.

Когда в конце царствования Петра публицисты из его окружения подводили итог сделанному, достигнутому страной за четверть века, им было, чем гордиться. Россия заняла прочное место в «концерте» великих держав мира, и твердый голос русского государства все чаще раздавался в решающие минуты европейской истории, оказывая могучее воздействие на ход событий.

Реформированная русская армия, любимое детище Петра, выступила на арену военной истории XVIII столетия со столь блистательными победами, что они ошеломляюще подействовали на весь мир. Попытка Карла XII подчинить Россию своему влиянию, предписать ей свою волю окончилась разгромом его армии, считавшейся «непобедимой», и потерей Швецией ее места мировой державы. Русский флот, созданный Петром, стал грозной силой. Русский солдат и русский моряк, воспитанные новой организацией армии и флота, получившие в руки совершенное оружие, выявили боевые качества, вскоре же прославившие русское оружие.

Не было недостатка и в даровитых военачальниках, среди которых, кроме самого Петра, были Меньшиков, Шереметев и другие.

Русское государство вернуло себе выход к Балтике, укрепилось на западе, на севере, на юге. Одновременно с воинскими успехами и в связи с ними Россия добивалась успехов на экономическом поприще. Урал раскрыл свои недра и, хотя еще в очень малой степени, но на первый случай уже удовлетворял нужды русского оружия. В стране возникло много заводов, возникла отечественная тяжелая, и отчасти легкая промышленность. Строились новые поселки, порты, из земли вырастали фабрики, тысячи плотников в новых верфях рубили мощные корабли, один за другим возникали полки русской армии, расширялась и совершенствовалась артиллерия, русские дипломаты занимали почетные места при дворах западных монархов, русские купцы завязывали торговые связи с отдаленнейшими рынками.

Вся лихорадочная и крутая деятельность правительства Петра, принося значительные плоды, в то же время тяжко ложилась на плечи народа, подвергавшегося неслыханно жестокой эксплоатации на заводах, угнетаемого помещиками, обираемого чиновниками, разоряемого иноземцами, которым Петр дал слишком много воли в своем государстве. Петр управлялся с народом, как нетерпеливый, властный и беспощадный помещик. И его, Петра, облик в сознании народа двоился: с одной стороны, народ прославил Петра-победителя, обеспечившего национальную независимость России, Петра-строителя, Петра, мудрого правителя, с другой стороны народ осудил царя, надевшего «немецкий» кафтан, жестокого помещика на троне.

Новые задачи государственности были тесно связаны с настоятельной необходимостью обновления культурных, бытовых, моральных представлений и традиций хотя бы в верхнем слое населения. Женщина высших сословий была выведена из терема. Молодых людей из дворян обучили танцовать, биться на шпагах, любезничать с дамами. Бороды у дворян и солдат сбрили, оставив их признаком народа, да еще духовенства. Высшее сословие заставили переодеться на иноземный лад. Немало было во всем этом бессмысленного подражания западу, вызывавшего горькую усмешку у народа. Но в то же время тысячи молодых людей сели на школьную скамью и стали учиться. И сам Петр подавал им пример, неустанно и всю жизнь жадно вбирая знания в самых различных областях.

Облик русской культуры, — конечно, культуры господствовавших классов, — значительно изменился в первой четверти XVIII столетия. До Петра русская культура была скована церковностью и старозаветными традициями. Когда же вскоре после смерти Петра, его ученик и поклонник, молодой Антиох Кантемир приехал в Париж, центр тогдашней западной культуры, он поразил французов огромными научными знаниями, тонким искусством политика-дипломата и высоким мастерством поэта. Запад не мог уже ничего предъявить, чем бы не владел в совершенстве этот юноша петровской выучки.

Важнейшими мероприятиями Петра в области культуры было создание государственных школ разного типа (частью общих, как арифметические, преимущественно же специальных, как навигационные, инженерные, медицинские), а также то, что Петр заставил духовное ведомство организовать в крупных городах школы церковного типа (архиерейские училища и семинарии), в которых получали образование лица разных социальных категорий. Это несомненно способствовало росту грамотности и культурности населения.

Увеличение количества типографий в Москве, а затем и Петербурге и выработка «гражданской» печати (1708), завершавшая старые, с конца XVII в. шедшие искания русских переписчиков книг и граверов, явились мощным рычагом распространения образования среди населения, преимущественно демократических кругов его. Создание «гражданской» печати было одним из наиболее ярких проявлений новоформирующейся русской культуры, порывавшей с церковной традицией допетровской Руси.

Новая русская культура, чтобы отвечать потребностям эпохи, должна была стать светской, отрешившейся от религиозных традиций. Этому «обмирщению» тогдашней русской культуры служила политика Петра в области книгоиздательской, когда он отбирал для печати книги, имевшие утилитарно практический характер; этой же цели служили и его указания переводчикам относительно простоты, ясности и вразумительности передачи чужеземного оригинала. И именно в эпоху Петра закладываются основания для развития русского литературного языка и начинается постепенное ограничение литературного применения языка культа, языка церковно-славянского.

Те же тенденции обмирщения, отказа от церковности, с одной стороны, и своеобразной политической пропаганды, с другой, проявились и в создании при Петре театра, имевшего, в отличие от придворного театра его отца, публичный характер. При Петре театр имел тенденцию стать одной из серьезных форм проведения в широкие массы определенных политических идей, имевших на том этапе развития прогрессивное значение.

Стоявшая перед «национальным государством помещиков и торговцев» задача создания новой внецерковной, светской культуры должна была быть разрешена в исключительно быстрый срок. Наряду с созданием самостоятельных культурных ценностей работники культуры тех времен прибегали и к переводам и к усвоению иноземных образцов. Иногда это усвоение имело критический характер, но иногда оно было механическим. Немало пришлось впоследствии русским писателям XVIII в. потратить сил на борьбу с последствиями этих некритических заимствований. Дворянско-буржуазные историки России, не обращая внимания на возникновение в петровские времена новых русских культурных ценностей, предпочитали называть «реформы» Петра «европеизацией» России. Это неверно уже хотя бы потому, что усвоение европейских нравов и обычаев составляло качественно значительно меньший факт в культурной истории России, чем отказ от церковных традиций, чем обмирщение русской культуры, ее секуляризация, чем поступательный ход самостоятельной национальной русской культуры вообще. К концу первой четверти XVIII в. (Петр умер в 1725 г.) в новой столице Петербурге печаталось множество книг научного, учебного, публицистического содержания, привычными стали театральные представления, формировался своеобразный стиль петербургской архитектуры, русские художники создавали новую национальную школу живописи, готовилось торжество открытия русской Академии Наук, талантливые мастера уже упрочили славу русской механики, металлургии и других отраслей промышленности, шестнадцатилетний Кантемир изучал высшую математику, юноша Тредиаковский писал русские и латинские стихи, и гениальный сын народа Михайла Ломоносов готовился к поездке в Москву.

В условиях напряженного строительства культуры и в условиях войны с Карлом XII зародилась и первая русская газета.

В конце 1702 г. прекращаются рукописные «куранты» и начинают выходить печатные «Ведомости Московского государства». Идея перехода от рукописного способа изготовления «курантов» к печатанию их принадлежала Петру I. Надо полагать, что в последней четверти XVII в. «куранты» начали терять свою прежнюю секретность и писались не в одном, а в нескольких экземплярах. При Петре «куранты» потеряли характер дипломатической тайны и приобрели в глазах царя значение агитационно-пропагандистского средства. Использовать это средство при проведении своей политики Петр мог только придав «курантам» печатную форму. И по основным используемым источникам «Ведомости» продолжают традиции «курантов». В «Ведомостях» имеется, как и в «курантах», и отдел «иностранные известия о России».

Новым — и притом вовсе не случайным, а принципиальным — является отсутствовавший в «курантах» отдел «внутренняя и внешняя политика России». Именно этот отдел и дал Петру право назвать печатные «куранты» — «Ведомостями Московского государства». Самое слово « Ведомости», которое за двести с лишним лет употребления приобрело смысл, равнозначный со словом «газета», «вестник» и т. д., в петровскую эпоху еще не имело такого отчетливого жанрового значения; оно означало «известия», «сведения». Ввиду такого употребления термина «Ведомости», нельзя рассматривать выражение «Ведомости Московского государства», примененное при первом номере газеты, как общее название петровской газеты. Подобный характер был приобретен им лишь постепенно. Накануне номера, носившего название «Ведомости Московского государства» и содержавшего материал только русский, вышел номер, озаглавленный «Ведомости с цесарских писем, присланных чрез почту в нынешнем 1702 году декабря в 5 день»; в этом выпуске русского материала не было вовсе. Третий номер, вышедший 2 января 1703 г., содержал и русский, и иностранный отдел и поэтому имел название более общее — «Ведомости». Да и в дальнейшем название первой русской печатной газеты менялось от номера к номеру; наряду с «Ведомостями Московского государства» отдельные номера озаглавливались: «Ведомости московские», «Ведомость московская», «Подлинное доношение», «Ведомость о Митавской осаде», «Реляция», «Российские ведомости», «Эссенция из французских печатных газетов», и т. д.; некоторые номера выходили вообще без названия. К комплекту «Ведомостей» за 1704 г. был приложен общий годовой титул, наиболее объемлющий содержание этой газеты: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах. В лето от Христа 1704 от генваря, а окончены декабрем сего же года».

Долгое время в истории русской журналистики было принято мнение, что первый номер «Ведомостей» вышел 2 января 1703 г., так как в печатном виде сохранились комплекты этой газеты, начиная с этой даты. Однако в настоящее время доказано достаточно убедительно, что первые печатные «Ведомости» вышли в свет 16 и 17 декабря 1702 г. (по старому стилю).

Появление этой газеты именно в 1702 г. не случайно. Это было время, когда Россия напрягала все силы для отпора войскам Карла XII. После неудачного начала Северной войны была неотложно необходима агитация за продолжение борьбы со шведами, нужно было убедить народ, если не в том, «какие законные причины имел» Петр для ведения войны, — это было сделано много позднее, — то, по крайней мере, в том, что эта борьба вполне возможна; нужно было объяснить некоторые меро-

приятия 1702 г., например конфискацию колоколов у монастырей и церквей и переливку их в пушки и гаубицы; нужно было сообщить населению страны, что у царя, помимо русских войск, имеется еще и поддержка со стороны народов России, и т. д. Именно этим целям служат «Ведомости» от 17 декабря 1702 г. и их продолжение. Так, в номере от 17 декабря сообщается о триумфальном въезде Петра в Москву 4 декабря и о том, что «завоеванныя шведцкия алтилерия многое число привез, которую взял в Маринбурге и Слюсенбурге», об обещании «великого владельца Аюки-Таиши» доставить 20 тысяч своих вооруженных войск, об открытии месторождений серы, железных руд, селитры и т. д., т. е. всего, что столь необходимо для дальнейшего ведения войны со шведами. В номере от 2 января прежде всего сообщено о том, что «на Москве вновь ныне пушек медных, гоубиц и мартиров вылито 400; те пушки ядром по 24, по 18 и по 1 фунтов, гоубицы бомбом пудовые и полупудовые, мартиры бомбом девяти, трех и дву-пудовые и менше. И еще много форм готовых великих и средних к литью пушек, гоубиц и мартиров. А меди ныне на пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, больше 40 000 пуд лежит». Далее приведены сведения о «подготовке кадров» в московских школах, общих и специальных («в математической штюрманской школе») и опять-таки данные о разработке природных богатств страны, «от чего чают немалую быть прибыль Московскому государству».

Если сообщения, касающиеся Московского государства, имеют отчетливо агитационный характер, то в заграничном отделе «Ведомостей» составители целиком зависели от материалов, доставляемых им иностранными газетами. Однако в отборе материала «редакция» «Ведомостей» была не безразлична: сообщения вносились, главным образом, те, которые касались стран, состоявших в каких-либо близких (дружеских или враждебных) отношениях с петровской Россией, т. е. Швеции, Дании, Польши и Турции. Но и из этих материалов не включалось в «Ведомости» все, что набрасывало тень на достоинство России, ее армии, ее союзников и т. п. Поэтому в сохранившихся оригиналах «Ведомостей» имеются пометки: «сей статьи меж скобок (т. е. отчеркнутой) в народ не пускать» и т. д.; известия иностранных газет о военных неудачах Петра вычеркивались, а, например, сообщение об отрешении турками князя Дмитрия Кантемира, союзника Петра в борьбе с турками, от занимаемой им должности господаря волошского и молдавского не только зачеркнуто, но и заклеено бумагой.

Издание «Ведомостей» представляло значительный шаг вперед по сравнению с «курантами»: рукописные «куранты» — ведомственно-дипломатические документы, имеющие строго ограниченное информационное назначение и обращавшиеся в силу этого в узком кругу придворных политиков; «Ведомости» агитировали за курс, проводимый Петром во внутренней и внешней политике и стремились систематически влиять на сознание читателей в желательном Петру направлении. Таким образом, «Ведомости» должны были служить целям популяризации идей Петра в народных массах, приближать политику царя к непосредственному объекту этой политики, населению страны. Конечно, при огромной неграмотности тогдашней России круг читателей «Ведомостей» не мог быть особенно широким, но именно этот грамотный читатель-«интеллигент» был ценен для Петра: с его помощью Петр мог воздействовать и на неграмотное население.

Сначала «Ведомости» печатались церковным шрифтом, единственно существовавшим в практике московского книгопечатания. Переход на

«гражданский» шрифт, примененный для нужд общего книгопечатания в 1708 г., осуществился в «Ведомостях» лишь с № 2 от 1 февраля 1710 г., т. е., через два года. Но и с этого времени церковный шрифт не был оставлен вовсе: в расчете на малограмотного читателя, обучавшегося чтению по-славянски «по Часослову и Псалтири», наиболее важные номера «Ведомостей», или прибавления к ним, содержавшие «реляции» о военных делах, печатались церковными литерами. Следует отметить, что подобные «реляции», отпечатанные церковным шрифтом, встречаются еще при Анне Ивановне в конце 1730-х годов, во время похода Миниха.

В первые два года встречаются отдельные номера «Ведомостей», выпущенные в количестве двух тысяч, даже четырех тысяч экземпляров (№ 10 за 1703 г.). В дальнейшем «Ведомости» печатаются в количестве не более двухсот, а то и менее ста экземпляров; наконец, начиная с № 2 за 1724 г., они выходят в количестве 30 экземпляров. Ту же тенденцию к снижению обнаруживают сохранившиеся данные о количестве проданных и выданных бесплатно номеров газет. Были годы, когда продавалось почти 72% экземпляров (1708 г.), но чем дальше, тем меньше интереса проявляют читатели к газете, и некоторые номера были проданы в количестве трех экземпляров (№ 4 за 1712 г.). Возможно, что причиной падения интереса к «Ведомостям» был затяжной характер, который приобрела Северная война; сведения о ней, преимущественно заполнявшие отдельные номера «Ведомостей», не вызывали уже прежней настороженности; лишь изредка какие-либо экстраординарные события возбуждали интерес читателей, и это немедленно сказывалось на тираже и сбыте соответствующего номера «Ведомостей». № 3 «Ведомостей» за 1711 г., в котором излагались сведения о Прутском походе, имел, кроме основного издания (500 экз. церковным шрифтом и 100 — гражданским), еще дополнительный тираж (200 экземпляров церковным и 300 гражданским) и был весь распродан. Нельзя винить одних только читателей в малом успехе «Ведомостей». Газета чем дальше, тем становилась нерегулярнее, новости политические и придворные страшно запаздывали, и это, в свою очередь, не могло не расхолаживать читателей.

Формат «Ведомостей» был на протяжении всего издания одинаков — в двенадцатую долю листа, с очень узкими полями; впрочем, к концу издания поля стали более широкими, и перед началом текста, непосредственно перед названием газеты, помещалась виньетка, изображающая Петербург или Москву. Дело в том, что многие номера «Ведомостей» имели два издания: петербургское (начиная с 1711 г.) и московское, воспроизводившее полностью петербургский текст вплоть до указания времени выхода в свет в Петербурге, вслед за чем припечатывалось: «а на Москве того же года такого-то месяца в такой-то день».

О количестве номеров газеты за 1702 г. было уже сказано. В 1703 и 1704 гг. вышло по 39 номеров. Наиболее часто выходили «Ведомости» в 1705 г., когда было издано 46 номеров газеты. Начиная с 1706 г. количество номеров падает, дойдя в 1717 г. до 3 и в 1718 даже до 1. Впрочем, возможно, что не все номера газеты сохранились. Так, ряд номеров «Ведомостей» (1702 и 1709 гг.) известен только по рукописным копиям.

Объем номера «Ведомостей» колебался от 2 до 22 страничек. Правда, такие объемистые выпуски «Ведомостей» относятся к периоду замедления их издания, когда приходилось объединять в одном номере несколько запоздавших выпусков. Возможно, что этот период упадка находился в зависимости от того, что Петр перестал уделять достаточное внимание своему начинанию.

Вообще, на первых порах, как установлено исследователями, Петр принимал живое участие в издании «Ведомостей». Среди дошедших до нас материалов и оригиналов «Ведомостей» сохранился ряд номеров с редакторскими и корректурными исправлениями Петра. Кроме того, обнаружено, что в газете с некоторыми изменениями напечатаны письма Петра разным лицам, содержащие сведения, имеющие общий интерес. Известно также, что письма приближенных Петра и донесения русских дипломатов из-за границы находили частично место на страницах «Ведомостей». Но как Петр, так и его сподвижники были непостоянными вкладчиками нашей первой газеты. Кроме них были анонимные корреспонденты из числа чиновников различных приказов, а позднее коллегий, присылавшие, хотя и с большим «мотчанием» (промедлением) «памяти», согласно петровскому указу от 16 декабря 1702 г.

До 1711 г., т. е. до перехода издания «Ведомостей» в Петербург, редакторские обязанности выполнял директор Московской типографии, так называемого Печатного двора, Федор Поликарпов, довольно образованный по тому времени писатель и даже поэт. Он подвергал отбору и сокращению переводный материал, присылавшийся из Посольского приказа, куда доставлялись с почты иностранные газеты, дополнял его известиями из других приказов и держал корректуру «Ведомостей». С переходом издания «Ведомостей» в Петербург во главе газеты стал директор Петербургской типографии Михаил Аврамов. Он в основном продолжал линию Поликарпова, но вскоре (с 1719 г.) Коллегия иностранных дел, сменившая Посольский приказ, выделила специальное лицо, переводчика Бориса Волкова, который с этого времени не только подготовляет иностранный материал, но и вообще делается как бы ответственным редактором «Ведомостей», ведет сношения с другими приказами для получения информации, понукает типографию не задерживать выпуск газеты и препирается с типографской администрацией, отменяющей иногда печатание присланных Волковым статей. Из довольно многочисленных писем его, касающихся выпуска «Ведомостей», видно, что Волков принимал близко к сердцу судьбу газеты и особенно волновался из-за того, что запоздавшие по вине типографии номера «Ведомостей» «не почтутся, — по его словам, — за новости, но за какой-либо мемории ради гисториков». Если верить Волкову, ему «уже тоску нагнали непрестанными вопросами, для чего ведомости не печатают» и еще «о таковых печатных ведомостях частенько поспрашивают, а иногда и из дворца, для чего гораздо поздно оне являются в выходе из печати». Любопытно, что среди доводов, которыми Волков пытался воздействовать на медлительную Петербургскую типографию, находился и такой: «Сии куранты нравны его императорскому величеству, который сам соизволит их прочитывать и погодно собирать, яко всекуриозный в литературе монарх».

Кроме Волкова, сотрудничал в «Ведомостях» еще один переводчик Коллегии иностранных дел некий Яков Синявич. Назначение его состоялось в апреле 1720 г. и, очевидно, связано с попыткой оживить хиревшую газету. На обязанности Синявича лежало собирание материалов о деятельности отдельных приказов и «министров», оформление их в виде хроники и согласование с заинтересованными лицами и учреждениями. Но Синявич, этот первый хроникер русской газеты, понял свою задачу — «стараться ему проведывать о таких публичных ведомостях» — очень односторонне: он описывает только придворную жизнь — ассамблеи, поездки, гуляния и т. д.

После смерти Петра для газеты настал особенно трудный момент.

Газета выходит очень редко и заполняется безразличными описаниями официальных торжеств и прочим материалом, который Волков характеризует как «куриозный да знатный не досадительный». Наконец, в 1727 г. на № 4 «Ведомости» прекращаются.

Мнение ряда историков русской журналистики о роли «Ведомостей», о том, что эта газета не сумела стать нужным и влиятельным органом, что она была явлением, чуждым русской жизни, и поэтому не имела достаточного распространения в публике, — не может быть принято.

Конечно, нельзя забывать, что «Ведомости», сплошь состоявшие из хроники (статей в какой бы то ни было форме не было), не могут быть сравнены с более поздними органами прессы, имевшими нередко сильное влияние на читателей своими публицистическими, экономическими, политическими, литературными отделами. Кроме того, продажная цена «Ведомостей» (от 2 до 8 денег за номер) была по тому времени высокой, что не могло не отразиться на их распространении. И тем не менее, мы видим, что в первые годы существования «Ведомости» расходились хорошо. Затем существуют списки с «Ведомостей», имеются указания Волкова о том, что какой-то контингент читателей ими интересовался. Наконец здесь, как правильно указал в свое время Добролюбов, «в первый раз русские увидали всенародное объявление событий военных и политических». Таким образом, «Ведомости» оставили след в русском обществе. Иначе нельзя понять того, что сейчас же после прекращения «Ведомостей» на смену им пришла другая газета, имевшая более длительную историю.

3. Издания Академии Наук 1727—1750 гг.

Первый период существования русской периодической печати прекращается почти одновременно со смертью Петра I: «Ведомости Московского государства» или просто «Ведомости» перестали выходить в свет в середине 1727 г., через полтора года после смерти Петра. Тогда же началось издание «Санкт-Петербургских ведомостей», которыми открылась длинная серия изданий Академии Наук. Со вступления на престол Екатерины I и до начала 1760-х годов, т. е. в течение всей второй и части третьей четверти XVIII в., продолжался новый этап русской истории, представлявший сложное сочетание политической реакции сверху и настойчивых прогрессивных течений снизу.

В августе 1822 г. гениальный юноша Пушкин писал в своих кишеневских заметках по русской истории XVIII в. замечательные строки, которые с присущей ему сжатостью и точностью характеризуют отличительные черты русского исторического процесса после Петра I.

«По смерти Петра I — писал Пушкин, — движение, переданное сильным человеком, всё еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного... Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностию подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе. Доказательства тому — царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елисаветы».

В этой предельно сгущенной характеристике Пушкин правильно отметил основные моменты и важнейшие особенности этого периода. В самом деле, промежуток между смертью Петра и вступлением на престол

Екатерины II есть время укрепления дворянства как господствующего класса, время окончательного и полного закрепощения крестьянских масс. Если в петровские времена в процессе борьбы со средневековыми формами экономической, политической и культурной жизни, в процессе создания светской культуры в противовес допетровской церковной русская культура и литература имели прогрессивные черты общенационального значения, то с 1725 г. начинает отчетливо формироваться культура дворянская как культура господствующего класса. Возникает ряд ученых и учебных заведений, имеющих явно выраженный дворянский характер. Даже задуманная еще Петром, но открытая уже после его смерти, Академия Наук была вынуждена на первах порах ее существования в значительной мере заботиться о придворных иллюминациях, фейерверках, празднествах с увеселениями и торжественными одами. Совершенно законченный дворянский характер имела так называемая «Рыцарская академия», позднее известная под именем Сухопутного шляхетного корпуса (1732). Это был первый и очень важный рассадник дворянской интеллигенции, из стен которого вышли такие крупные деятели русской культуры XVIII в., как поэты А. П. Сумароков, М. М. Херасков, актеры Ф. Г. Волков, И. А. Дмитриевский и т. д. Однако значение Академии Наук, как и созданного Ломоносовым Московского университета (1755), воспитавшего Фонвизина, Новикова и ряд других крупных деятелей русской литературы и общественной мысли XVIII в., выходило, разумеется, далеко за пределы дворянской культуры.

Но, помимо возникновения научных учреждений и учебных заведений, огромное значение для развития русской культуры имела деятельность таких писателей, как сатирик А. Д. Кантемир и энциклопедически разносторонний Ломоносов. Сатиры Кантемира будили и воспитывали в русском, главным образом, демократическом читателе критическое отношение к крепостнической действительности, они повышали его сознательность, вызывали его политический и культурный рост. Еще большее значение имела энергичная просветительная деятельность Ломоносова; личная судьба его и огромная научная и литературная продуктивность, его проповедь национального самоуважения и сознательного отношения к гражданским обязанностям имели глубоко патриотическое воспитательное влияние на ближайшие поколения русских людей и сильно способствовали идейно-политическому росту русского, преимущественно демократического или более или менее демократически настроенного юношества. К концу рассматриваемого периода культурный уровень русского общества стоял неизмеримо выше, чем в 1720-е годы, и именно этим подъемом идейно-политической сознательности людей того поколения и объясняется так называемая «либеральная» политика Екатерины II, настойчиво декларировавшей свои «передовые» взгляды и симпатии.

Не следует упускать из виду еще одной существенной подробности в истории русской культуры 1725—1762 годов, именно — возникновения русского театра, официально начавшего действовать в феврале 1757 г.

Таковы были существеннейшие моменты культурной истории в период между смертью Петра и захватом власти Екатериной II. В истории русской журналистики этот период ознаменован возникновением и развитием, с одной стороны, академической журналистики, с другой, периодических изданий, связанных с Московским университетом.

Русская периодическая печать более полувека своего начального существования была монополизирована правительством. Это обстоятельство отражалось и на содержании, и на внешности, и на способах форми-

рования и распространения правительственных изданий. Возникшая по идее Петра I, но фактически открывшаяся уже после его смерти, Академия Наук сперва, с 1727 г., стала издавать газету на немецком языке под названием «Санкт-Петербургские ведомости». Со 2 января 1728 г. Академия приступила к печатанию русского издания под тем же названием. Первоначальный тираж газеты был определен в 250 экземпляров. С конца 1727 г. на много лет как немецким, так и русским изданием, стал заведывать Г. Ф. Миллер, в это время еще «студиозус» (студент), а впоследствии академик по кафедре истории.

По существу, между «Ведомостями» 1702—1727 гг. и «Санкт-Петербургскими ведомостями» Академии Наук разницы нет. Лишь постепенно «Санкт-Петербургские ведомости» начинают приобретать характер самостоятельный, они обрастают особыми приложениями, содержащими ценный в бытовом отношении материал, и, таким образом, делаются важным источником для истории России того времени, а также и для истории русской журналистики.

Не отличаясь по содержанию от своего предшественника, «Санкт-Петербургские ведомости» приобрели незнакомую до того времени русскому читателю регулярность: в 1727 г. газета была еженедельной, а с 1728 г. она стала выходить два раза в неделю, «по почтовым дням», т. е. в те дни, когда развозилась из Петербурга в провинцию почтовая корреспонденция. В XIX в. газета стала выходить ежедневно.

Она оказалась наиболее длительно функционирующей газетой и просуществовала до Великой Октябрьской социалистической революции.

Подобно «курантам» и «Ведомостям», «Санкт-Петербургские ведомости» помещают, помимо материалов, заимствованных из иностранных источников, сообщения от «собственных корреспондентов». Такие статьи носят название «Копия с письма из. . .». Некоторые из этих «корреспонденций» в «Санкт-Петербургских ведомостях» 1728 г. представляют своеобразный интерес как памятники, характеризующие требования, предъявлявшиеся к политическому корреспонденту в ту эпоху. Таково, например, начало «Копии с письма из Амстердама от 22 октября»: «О воинских и мирных делах основателно рассуждать суть, по моему мнению, токмо те достоины, которые случаи имеют с знатными министрами обходится и которые о их таиных делах известны. Некоторые принуждены скорлупами доволствоваться вместо того, что сии ядра находят; и когда такои, которои сие щастие не имеет, думает, что он подлинно прицелил, то находится часто, что он в средину цели нетрафил» (1728, № 88, стр. 355—256).

Некоторый интерес представляют в разделе «русских ведомостей» сведения о деятельности Академии Наук, в частности сообщение об открытии Библиотеки Академии 26 ноября 1728 г. Любопытны иногда попадающиеся сведения из области литературы. Сюда же следует отнести объявления Академии Наук об изданных ею и находящихся в печати книгах и прочих ее изданиях. Таким образом, «Санкт-Петербургские ведомости» уже в первый год издания содержат кое-какие, не особенно, правда, обильные и ценные, данные о культурном состоянии тогдашней России. В следующем году в газете появляются объявления о театральных представлениях, что делает их еще более важным источником для изучения культуры того периода.

Несмотря на то, что петровские реформы внесли огромное количество новых понятий и соответствующих им слов в русское сознание первой четверти XVIII в., все же русский рядовой читатель был недостаточно подготовлен для чтения такой серьезной газеты, как «Санкт-Петербург-

ские ведомости». Поэтому сразу же по возникновении русского издания «Санкт-Петербургских ведомостей», по мысли Миллера, решено было выпускать раз в месяц «Примечания» к «Ведомостям», которые явились бы чем-то вроде справочного словаря для читателей газеты.

Однако из предложения Миллера выросло нечто совершенно иное, нежели было задумано. Вместо «лексикона» стал выходить журнал «Примечания», состоявший из разнообразных научно-популярных статей, стихов и т. д. Что же касается первоначального замысла редакции — краткого объяснения непонятных «терминов и слов», то с момента выхода журнала «Примечания» сжатое истолкование иностранных слов стали давать в самих «Санкт-Петербургских ведомостях» либо в тексте, например «субсидиалные (вспомоществователные) деньги» (№ 22, стр. 87), «монструм (урод)» (№ 34, стр. 140), либо под строкой, например: «нéгресы суть арапы в Африке» (№ 35, стр. 142) или «факултет в академиях есть коллегиум некоторых профессоров и докторов или феологии (богословия), или юриспруденции (науки прав), или медицины, или философии» (№ 32, стр. 132).

Таковы были «Санкт-Петербургские ведомости» в первые годы своего издания. Постепенно в них появляются объявления, сперва казенные, потом и частные; позднее они накопляются в таком количестве, что их печатают в виде особого приложения к каждому номеру газеты, со строгой классификацией по группам: подряды, объявления о книгах, продажа, отъезжающие, курс деньгам и т. д. Эти приложения — ценнейший материал для разнообразных изысканий по истории культуры XVIII в.

Гораздо большее значение имели упомянутые выше «Примечания» к «Ведомостям», представляющие собой первый русский литературный и научно-популярный журнал, первый русский журнал вообще.

В первый год издания (1728) «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях» еще тесно связаны с комментируемым ими текстом «Санкт-Петербургских ведомостей».

Начиная уже с 1729 г., в «Примечаниях» появляются статьи, которые лишь отчасти связаны с «Санкт-Петербургскими ведомостями». Так, в «Санкт-Петербургских ведомостях» 1729 г. (1 ноября, № 87, стр. 349—350) была напечатана корреспонденция из Дрездена от 18 октября; в ней сообщалось о приезде короля польского и курфюрста саксонского Августа II и о том, что «акцызный секретарь господин Ганке вручил королю увеселительные вирши». Этот Ганке — немецкий поэт двадцатых годов XVIII в. Стихи его в оригинале были напечатаны в немецком издании «Примечаний», а перевод — в русском. В связи со стихотворением Ганке, жаловавшегося королю на скудость своего бюджета, издатель «Примечаний» привел французские стихи, посвященные аналогичной теме. Так, понемногу в «исторические, генеалогические и географические примечания» вторгается элемент литературный. Последний находит место и в довольно частых «описаниях фейерверков и иллюминаций», отчеты о которых, с истолкованием эмблем и воспроизведением стихотворных надписей, регулярно помещались в «Примечаниях». В начале все стихотворные надписи передавались по-русски силлабическими стихами, с 1735 г. начали появляться тонизированные переводы Тредиаковского, но позднее нередко печатаются переводы в прозе.

В 1741 г. в «Примечаниях» были напечатаны переводные и оригинальные оды М. В. Ломоносова, написанные настоящими тоническими стихами — ямбическими и др.

Большое значение имело для тогдашней русской литературы помещение в «Примечаниях» серии статей по истории и теории драматического и поэтического искусства. Статьи эти следующие: «О позорищных играх или комедиях и трагедиях» (1733, чч. 44—46, стр. 175—186); «Историческое описание оного театрального действия, которое называется опера» (1738, чч. 17—21, стр. 73—84; чч. 33—34, стр. 132—139; чч. 39—49, стр. 140—183); «О пользе театральных действ и комедий к воздержанию страстей человеческих» (1739, чч. 85—86, стр. 337—344); «О немых комедиантах у древних» (1739, № 87, стр. 345—348); «О бардах или перьвых стихотворцах у древних немцов» (1740, чч. 1—2, стр. 3—8).

Статьи в «Примечаниях», читавшихся в те годы очень внимательно, несомненно были материалом, который влиял на формирование драматической эстетики дворянского зрителя, и нельзя и предположить, чтобы эти статьи прошли мимо внимания тогдашнего кадета Сухопутного шляхетного корпуса Александра Сумарокова, в будущем «отца российского театра».

Если обратиться к наукам естественным и точным, то приходится удивляться разнообразию и содержательности помещенного в «Примечаниях» материала. Здесь есть статьи и по математике, и по астрономии, по химии, по естествознанию, по палеонтологии и т. д. Много статей по истории (Миллера, Крамера и др.). Вообще можно смело утверждать, что для своего времени «Примечания» были превосходным научно-популярным журналом. Неудивительно, что даже через 12 лет после прекращения «Примечаний» (последние номера вышли в октябре 1742 г.) любители разыскивали комплекты академического журнала, а в 1765 и 1766 гг. в Москве вышло сокращенное переиздание «Примечаний», приписываемое Ф. Соймонову. Переиздавались тексты без каких бы то ни было редакционных изменений. Только силлабические стихи издания «Примечаний» 1729 г. в московском переиздании 1765 г. заменены тоническими. Помимо переиздания 1765—1766 гг., было сделано в 1787—1791 гг. еще одно, но уже самой Академией Наук, при этом первая часть выдержала два издания (1787 и 1791).

Был ли у «Примечаний», в годы их издания, какой-нибудь постоянный круг читателей, сказать, по скудости источников, трудно. Но одно свидетельство, сохраненное архивом Академии Наук, крайне ценно. Это письмо В. Н. Татищева от 16 августа 1731 г., обращенное к Шумахеру. Здесь, говоря об академических делах, Татищев, между прочим, пишет о «Примечаниях» и о том, что они вызывают большой интерес. Из этого же письма видно, что «ученая дружина» Феофана живо интересовалась этим журналом, а один из ее участников, В. Н. Татищев, даже сотрудничал в «Примечаниях»: ему принадлежит большая статья «о мамонтовых костях» в «Примечаниях» 1730 г., во вступительной части которой редакция указывает имя автора.

Но, помимо читателей, которые сочувствовали и поддерживали «Примечания», у этого журнала были несомненные враги. Об этом имеется прямое указание во вступительной статье к «Примечаниям» от 1 января 1730 г. Издатель пишет: «Я с моими товарищами желал бы всякому по его желанию и склонности угодить. Но, однако ж, как видим, сие при так великих разностях вер и партеи, при так розных склонностях человеческих нравов и еще более при розных искусствах оных, учинить почти весьма невозможно есть». Кто были эти враги, точно сказать, по состоянию источников, едва ли удастся. Но в цитированном отрывке есть достаточно ясный намек — о «великих разнос-

тях вер и партей» — очевидно, враги «Примечаний» рекрутировались из кругов высшего православного духовенства, которое в 1728—1729 гг. при Петре II, стояло во главе побеждавшей реакции.

В октябре 1742 г. вышел последний выпуск «Примечаний» (чч. 85—89 от 21 октября). Дальнейшее печатание журнала было запрещено возглавлявшим тогда Академию советником Андреем Нартовым, ведшим в то время упорную борьбу с академиками. Весною следующего года этот же Нартов запросил конференцию Академии Наук о причинах прекращения издания «Примечаний». Академики ответили в очень резком тоне, что причины этого Нартову известны лучше, чем кому бы то ни было. На этом история «Примечаний» закончилась.

4. «Ежемесячные сочинения»

Наряду со специальными научными журналами («Комментарии Петербургской Академии Наук», «Труды Петербургской Академии Наук» и др.) Академия выступала в XVIII веке с периодическими изданиями научно-популярными и литературными. После «Примечаний к Ведомостям» таких научно-популярных и литературных журналов Академия Наук в течение XVIII в. издала три:

1) «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» (1755—1764; во время издания название журнала менялось, об этом будет сказано в дальнейшем изложении);

2) «Академические известия» (1779—1791);[1]

3) «Новые ежемесячные сочинения» (1786—1796).

Каждый из названных академических журналов имеет свою физиономию, свои отличительные черты, налагавшиеся эпохой, состоянием литературы, отношениями между писателями, и в то же время у всех трех академических журналов второй половины XVIII в. есть общие, роднящие их особенности — настойчивое стремление популяризировать науку среди русских читателей, а также желание объединить вокруг себя лучшие литературные силы.

Первым по времени был журнал «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие», начавшийся с января 1755 г. Идея подобного издания принадлежала Ломоносову. Академик Г. Ф. Миллер, которому было поручено Академией редактирование «Ежемесячных сочинений», изложил «платформу» журнала в особом «Предуведомлении».

Характеризуя содержание и направление «Ежемесячных сочинений», Миллер писал: «При таком учреждении, каково сие, мы себе точных пределов не предписываем; но надлежит, смотря по различию читателей, всегда переменять материи, дабы всякой, по своей склонности и охоте, мог чем-нибудь пользоваться. Итак предлагаемы будут здесь всякие сочинения, какие только обществу полезны быть могут, а именно: не одни только рассуждения о собственно так называемых науках, но и такие, которые в экономии, в купечестве, в рудокопных делах, в манифактурах, в механических рукоделиях, в архитектуре, в музыке, в живописном и резном художествах, и в прочих какое ни есть новое изобретение показывают, или к поправлению чего-нибудь повод подать могут».

---

[1] Издававшиеся «от Академии Наук» «Собеседник любителей российского слова» (1783—1784) и «Российский феатр» (1786—1794) непосредственного отношения к Академии Наук не имели и должны рассматриваться особо.

Касаясь формы изложения статей в журнале, Миллер прибавлял: «Одни токмо те сочинения выключены от нашего намерения, кои ради глубокого их смысла не всем ясны и вразумительны бывают: ибо мы за правило себе приняли писать таким образом, чтоб всякой, какого бы кто звания или понятия ни был, мог разуметь предлагаемые материи».

Подробно охарактеризовав литературный отдел с материалами оригинальными и переводными, Миллер указывал, что в «Ежемесячных сочинениях» будут печататься также документы по истории России, сведения о придворных торжествах, законодательные акты, обзоры «знатнейших политических каждого месяца приключений» и, наконец, библиографическая хроника.

Таким образом, программа журнала показывала, что «Ежемесячные сочинения» намечались как разностороннее, серьезное издание, ставящее себе целью «писать не токмо для пользы, но и для увеселения читателей».

Первоначально «Ежемесячные сочинения» печатались в количестве 2000 экз.; число подписчиков оказалось, однако, значительно меньше, в первые три года их было 600—700, кроме того, после подписного года расходилось еще 500—700 экз.

В значительной мере, особенно в последние годы, «Ежемесячные сочинения» заполнялись переводными материалами как по отделу наук, так и литературы. Особенно много переводов сделано было из различных иностранных журналов, преимущественно сатирических. Кроме того, есть, конечно, переводы из Вольтера («Микромегас», «Задиг», «Разговор с китайцем о славе», «Мемнон» и др.).

Гораздо интереснее для истории журналистики оригинальная часть «Ежемесячных сочинений». В части научной на первом месте и по качеству и по количеству стоит отдел истории, географии и статистики России. В особенности важны были статьи по истории, большей частью значительные по объему, вследствие чего они печатались в нескольких книжках журнала; темы их были для тогдашнего состояния науки вполне актуальны и нужны. Подавляющее большинство исторических статей в «Ежемесячных сочинениях» вышло из-под пера Миллера.

Заслуживает внимания и по замыслу и по судьбе своей большая статья Миллера «Опыт новейшия истории о России», печатавшаяся в трех первых книжках журнала за 1762 г. Она посвящена истории России, начиная со смерти царя Федора Ивановича, так как «История российская» В. Н. Татищева была доведена именно до этого времени. Как первая попытка обозреть русскую историю этого периода, статья Миллера имеет значение; однако она была написана явно тенденциозно, в ней были сгущены мрачные краски. Поэтому она вызвала справедливые, резкие возражения Ломоносова, по настояниям которого печатание ее было прервано.

Кроме работ Миллера, отдел истории в «Ежемесячных сочинениях» представлен статьями Татищева, Сумарокова, Рычкова, Гербера и Соймонова. Труды Татищева (ум. в 1750 г.) и Гербера (ум. в 1734 г.) были извлечены из оставшихся после них бумаг. Особенно стоит отметить статьи провинциальных корреспондентов Миллера — П. И. Рычкова («История оренбургская» —1759, январь — август, октябрь — ноябрь) и Ф. И. Соймонова («Описание Каспийского моря и чиненных на оном завоеваний российских, яко часть истории Петра Великого» — 1763, январь — ноябрь), посвященные разработке «краевой» истории и дававшие обильные сырые материалы.

В соответствии с программой журнала Миллер помещал в «Еже-

месячных сочинениях» много статей, касающихся «экономии, купечества» и т. п. Сторонник имевшей еще значение для той эпохи, в особенности в России, теории меркантилизма, Миллер в выборе материалов для перевода и в подборе оригинальных статей исходил именно из принципов этого экономического учения.

Довольно обширен также отдел философских статей. Из них особенно следует остановиться на вступительной лекции профессора Московского университета по кафедре философии и в то же время поэта из школы Ломоносова, Н. Н. Поповского. Его «Речь, говоренная в начатии философических лекций при Московском университете» («Ежемесячные сочинения», 1755, август), представляет в одном отношении интерес как развитие давнишних идей Ломоносова, печатно высказанных лишь около того же времени (в предисловии к «Российской грамматике», написанной в 1755 г. и вышедшей в свет в 1757 г.).

Начав свою речь с восхваления разнообразных достоинств философии, Поповский затем говорит: «мы причиняем ей [философии] великий стыд и обиду, когда думаем, будто она своих мыслей ни на каком языке истолковать, кроме латинского, не может». Указав, что и римляне, от которых переняли философию европейские народы, с пользой заимствовали ее от греков и стали излагать на своем языке, Поповский продолжает: «Не можем ли и мы ожидать подобного успеха в философии, какой получили римляне?». Внешнеполитическое и внутреннее положение России, по словам Поповского, вполне благоприятно и способствует изучению философии. Не представляет затруднений и вопрос о способе изложения материала: «Что же касается до изобилия российского языка, в том перед нами римляне похвалиться не могут. Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить было невозможно». Поповский кончает свою вступительную лекцию так: «Итак, с божиим споспешествованием начнем философию не так, чтобы разумел только один изо всей России или несколько человек, но так, чтобы каждой, российской язык знающий, мог удобно ею пользоваться».

Такова была эта первая лекция по философии на русском языке.

К числу историко-литературных статей «Ежемесячных сочинений» должно быть отнесено рассуждение Тредиаковского «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» (1755, июнь). Статья эта очень важна как для истории вопроса вообще, так в частности для характеристики воззрений Тредиаковского на проблемы изучения русской версификации. Сопоставляя статью Тредиаковского со стороны материала с состоянием тогдашних знаний об истории литературы и стихосложения в частности, должно сказать, что автор не только не отстает от современной ему науки, но идет впереди ее. Собранные им материалы по истории «среднего российского стихотворения» почти без малейших изменений переходят в «Опыт словаря исторического» Новикова (1772), где располагаются в алфавитном порядке по фамилиям упомянутых стихотворцев.

Еще больший интерес для характеристики литературных позиций «Ежемесячных сочинений» представляет то оживленное обсуждение общих вопросов литературы, которое развернулось на страницах журнала в первый же год его издания. Началось оно со статьи «О качествах стихотворца рассуждение», помещенной в майской книжке «Ежемесячных сочинений» 1755 г. Статья эта проводит мысль о том, «что стихотворство должно почитаемо быть за самую труднейшую науку между многими другими» и что «правила одни стихотворческой науки не делают стихотворца, но мысль его рождается как от глубокой эрудиции,

так и от присовокупленного к ней высокого духа и огня природного стихотворческого». Получивший основательную подготовку писатель не должен заниматься пустяками, а «писать учительные (т. е. серьезные) поэмы», «издавать что-либо в свет учительное», его задача «служить наукою народу». Кончает автор статью ссылкой на «Парадоксы» Цицерона: «В безделицах я стихотворца не вижу, в обществе гражданина видеть его хочу перстом измеряющего людские пороки». Эта цитата, в связи со всем содержанием рассуждения, показывает, какое серьезное место отводит автор поэту в общественной жизни; конечно, эта точка зрения шла совершенно вразрез с практикой тогдашней дворянской поэзии, с установкой самого журнала, в котором было помещено «О качествах стихотворца рассуждение». Миллер в «Предуведомлении» писал: «Стихотворческие сочинения принимаем мы наипаче для того, что в них многое весьма сильняе и приятнее изображается, нежели простым слогом; к тому ж мы за должность свою признаваем, писать не токмо для пользы, но и для увеселения читателей». Итак, научная часть журнала — польза, а стихотворная, поэтическая — «увеселение читателей». Для автора же рассуждения и «стихотворство», поэзия — тоже наука, и «самая труднейшая между многими другими», и своими «учительными» произведениями поэт служит народу.

Вслед за этой статьей в июльской книжке «Ежемесячных сочинений» за тот же год была помещена статья — «Рассуждение о начале стихотворства», которая, как устанавливается из архивных документов, была прислана Г. Н. Тепловым, в те годы приятелем Сумарокова. Концепция этой статьи такова. Существуют науки и искусства. Первые обращаются к пользе, вторые — «иногда к пользе, а иногда и к единому увеселению». Стихотворство бывало используемо для умягчения тиранов, побуждения общества к бою, для возбуждения огня любовного. Любовь — сильнейшая страсть («потому что прочие склонности воспитанием строгим одолеть можно, а сия, по крови бываемая, делает человека невольником своим»), и она-то и была источником поэзии, и песни, конечно, любовные, представляют, таким образом, естественное явление.

Появление в июньской книжке «Ежемесячных сочинений» статьи Тредиаковского о древнем, среднем и новом стихотворении российском, о которой шла речь выше, вызвало раздражительную «епистолу» Сумарокова, очевидно, не соглашавшегося с утверждением автора о его приоритете в области введения тонического стихосложения в России. Сперва Конференция Академии Наук постановила напечатать эту «епистолу» и предоставить Тредиаковскому место для ответа. Но возражения последнего были настолько резки, что академическая конференция в отмену прежнего постановления решила не печатать ни «епистолы» Сумарокова, ни ответа на нее. Все же Сумарокову удалось отомстить Тредиаковскому: в августовской книжке «Ежемесячных сочинений» им была помещена, из предосторожности на последней странице, пародия на Тредиаковского — «Сонет нарочно сочиненный дурным складом для показания, что естьли мысль и изрядна, стихи порядочны, рифмы богаты, однако, при неискусном, грубом и принужденном сложении, все то сочинителю никакого плода, кроме посмешества, не принесет».

Естественно, эта пародия вывела обидчивого и травимого всеми Тредиаковского из себя, и он, после некоторых безуспешных попыток ответить своему гонителю в академическом журнале, написал 13 октября 1755 г. донос в Синод о том, что в напечатанном в сентябрьской книжке «Ежемесячных сочинений» переводе Сумарокова из 106 псалма есть «соблазны» и «ложь на псаломника». Через некоторое

время после этого церковники представили Елизавете доклад о том, что «в ежемесячных, из санктпетербургской Академии выходящих, примечаниях [т. е. «Ежемесячных сочинениях»] не токмо много честным нравам и житию христианскому, но и вере святой противного имеется». Далее идет ссылка на указанный в доносе Тредиаковского перевод Сумарокова, в котором Синод видит большую опасность, так как изложенная в нем точка зрения «многим неутвержденным душам притчину к натуралезму [через «ять»] и безбожию подает». Синод требует конфискации «Ежемесячных сочинений» и других произведений, проводящих аналогичные взгляды, как переведенный кн. А. Кантемиром в 1730 г. и напечатанный в 1740 г. трактат Фонтенелля «О множестве миров». Но успеха доклад Синода не имел.

Очевидно, донос Тредиаковского стал известен в литературных кругах очень скоро, так как уже 1 ноября 1755 г. Сумароков писал в Конференцию Академии Наук не дошедшее до нас заявление против Тредиаковского, охарактеризованное в академическом протоколе как «содержащее многие язвительные слова».

С января 1763 г. в «Ежемесячных сочинениях» был введен отдел «Известия о ученых делах». В «Известиях о ученых делах» давались рецензии и не только о научных работах. Иногда они ставили целью обратить внимание читателей и на произведение художественной литературы. Такова, например, заметка о первом издании «Сатир» Кантемира: «Любителям стихотворства немалая оказана услуга тем, что сатиры и другие стихотворческие сочинения князь Антиоха Кантемира, которые перед тем токмо письменные имелись у охотников, с историческими самим покойным автором сочиненными примечаниями и с кратким описанием его жизни, при Академии Наук в печать изданы. Стихотворство его хотя с нынешним стихов сложением не сходствует, но тем больше изобилует остроумными и высокими мыслями и чистым нравоучением, чего ради оные его сатиры уже и давно с письменного экземпляра на французский язык переведены и в Париже напечатаны были. Да еще и с французского прозаического переводу переложил оные на немецкие стихи знатной прусской стихотворец королевской генерал-адъютант и подполковник барон фон-Шпилькер. А оба переводы верно и искусно деланы и от всех знающих с великою похвалою приняты. Описание жизни князь Антиоха Кантемира находится также при французском и немецком переводе, но с некоторыми излишествами и несправедливыми рассуждениями, что здесь исправлено» (1763, февраль).

«Ежемесячные сочинения» прекратились в 1764 г. в связи с отъездом Миллера в Москву. Хотя и предположено было продолжить издание журнала после отъезда Миллера, но из этого ничего не вышло. «Ежемесячные сочинения» были связаны с деятельностью Миллера, на них лежит печать ученой эрудиции этого деятеля русской науки и культуры XVIII в., но от журнала веет и его политической ограниченностью, робостью. На все почти откликался в «Ежемесячных сочинениях» Миллер, и только один вопрос остался абсолютно незатронут им: крестьянский. Есть в «Ежемесячных сочинениях» за 1757 г. (декабрь, стр. 532—538) небольшая анонимная статья с многообещающим заглавием: «Дворянин в деревне». Но напрасно станем мы искать здесь ответ на интересующий нас вопрос, как же относится «дворянин в деревне» к своим крепостным. Это прославление помещичьей культурной усадьбы, наслаждения природой; здесь выводится дворецкий, умудренный опытом жизни старик, который особенно доволен, получив из рук барина стакан водки; а о крепостных ни малейшего упоминания.

Таковы были «Ежемесячные сочинения» с их положительными и отрицательными сторонами. Они имели несомненный успех среди читателей: если «Примечания к Ведомостям» печатались в количестве 250 экз., и то не расходились, то тираж «Ежемесячных сочинений» в 2000—1250 экз. (см. выше), а затем переиздание их — факт показательный. Разнообразный, доступно поданный, интересный материал журнала Миллера имел еще то достоинство, что это было по существу первое издание, в котором русские писатели стали переходить от рукописных форм литературной деятельности к печатным, в котором литература стала фактом публичным, общественным, а не кружковым, интимным. Вокруг «Ежемесячных сочинений» сгруппировались почти все тогдашние литературные силы: Ломоносов, Сумароков, Елагин, Ржевский, С. Нарышкин, Тредиаковский и другие, в том числе и учащиеся Сухопутного шляхетного корпуса.

В «Ежемесячных сочинениях» начали также свою литературную деятельность известный впоследствии дворянский идеолог кн. М. М. Щербатов, переводчик Адр. Дубровский, Г. В. Козицкий и другие.

Таким образом, «Ежемесячные сочинения» сыграли роль собирателя литературных сил и подготовили дальнейший рост русской журналистики. Характерно, что с 1759 г., с начала издания так называемых «частных» журналов, почти все писатели-дворяне отошли от «Ежемесячных сочинений»: они почувствовали себя уже готовыми к самостоятельной журнальной деятельности. С начала шестидесятых годов XVIII в. журнал Миллера заметно бледнеет. Поэтому введение отдела «Известия о ученых делах» было не случайным, а представляло сознательную попытку поднять журнал. Но обстоятельства сложились для Миллера неблагоприятно, и в связи с его отъездом «Ежемесячные сочинения» умерли.

5. «Московские ведомости»

С прекращением «Ежемесячных сочинений» завершается первый период в истории русской журналистики, период безраздельной централизации в руках правительства и его органов журнально-издательского дела. Уже на исходе этого периода возникают «частные» журналы, а через некоторое время последние станут преимущественной формой русской журналистики XVIII в. Вместе с тем, с закрытием миллеровского журнала Академия Наук лишается своего ведущего значения в русской прессе.

Одновременно с возникновением «Ежемесячных сочинений» открывается в Москве (1755) университет, сыгравший выдающуюся роль в истории русского просвещения и литературы. В числе привилегий Московского университета было право заведения типографии и печатания книг и периодических изданий. В следующем же году начинает выходить «от Московского университета» газета «Московские ведомости», первый номер которых был выпущен в свет 26 апреля 1756 г. Газета была не ежедневной, а, подобно «Санкт-Петербургским ведомостям», выходила два раза в неделю, по «почтовым дням», во вторник и в пятницу; таким образом, за первый год вышло 72 номера, из которых последний помечен 31 декабря 1756 г.

Высказывавшееся в дореволюционной науке мнение, что в первое время своего существования «Московские ведомости» имели чисто официальный характер, является не совсем правильным.

Просмотр «Московских ведомостей» хотя бы за один только 1756 г. показывает, что в подборе материалов преследовалась определенная «просветительная» линия, хотя, разумеется, довольно благонамеренная.

Например, в известиях из Рима (от 20 марта) говорится о речи, произнесенной римским папой перед проповедниками, в которой он упрекает последних за их стремление «удивлять народ красными и витиеватыми словами, кои не что иное, как только пустое красноречие». «Оставьте ненадобные сии украшения. Поражайте сердца, а не одни уши и т. д.». Кончается корреспонденция так: «Сии увещания произвели великое внимание в проповедниках и напоследок произведены были в действо».

В другом известии оттуда же (в том же № 1 газеты) сообщалось: «Весьма похваляют недавно оказанную строгость феррарского губернатора, который посадил в тюрьму, а потом послал на галеры обманщиков народных и ложных пророков, которые под видом благочестия, а в самом деле желая корысти, простых людей обманывали и выманивали у них деньги хитрым образом чрез притворную святыню».

Как первое, так и второе известие не просто информация о фактах иностранной жизни, а материал для сопоставления с московской действительностью середины XVIII в., кишевшей всякими святошами, юродивыми, «ложными пророками», пользовавшимися народными суевериями и темнотой и, подобно своим феррарским собратьям, выманивавшими у народных масс деньги «хитрым образом чрез притворную святыню». А приведение содержания речи папы о «простоте» проповеди безусловно связано с искусственно насаждавшимся при Елизавете проповедничеством, представлявшим заметное явление тогдашней литературной и общественной жизни.

Интересные материалы содержат некоторые корреспонденции из Петербурга. Так, в № 49 (от 11 октября 1756 г.) сообщается: «Е. и. в. изволила указать для умножения драматических сочинений, кои на российском языке при самом начале справедливую хвалу от всех имели, установить Российский театр, коего дирекция поручена бригадиру Сумарокову».

Подробные сведения сообщаются о жизни Московского университета. Так, к № 2 прилагалось «Прибавление», в котором сообщалось, что 26 апреля 1756 г. в Университете «прилежнейшим студентам и обеих гимназий (т. е. дворянской и разночинной) лутчим ученикам выданы были за успехи золотые и серебрянные медали». Среди студентов указан Дмитрий Аничков, известный впоследствии профессор Московского университета, а среди «учеников благородных» встречаются фамилии лиц, причастных потом к литературе и политике: Александр Карин, Яков Булгаков, Григорий Потемкин, Денис Фонвизин.

С 1 мая 1779 г. «Московские ведомости», вместе с университетской типографией, были взяты в аренду Н. И. Новиковым, который очень оживил пришедшую в упадок газету. По сообщению Карамзина, до Новикова «расходилось московских газет не более 600 экземпляров. Г. Новиков сделал их гораздо богатее содержанием, прибавил к политическим разные другие статьи и, наконец, выдавал при Ведомостях безденежно Детское чтение, которое новостию своего предмета и разнообразием материи, несмотря на ученический перевод многих пиес, нравилось публике. Число пренумерантов ежегодно умножалось и лет через десять дошло до 4000».

Взяв в свои руки газету, Новиков, в соответствии со своими идейными установками семидесятых-восьмидесятых годов XVIII в., стремился не только сообщать те или иные новости, придворные или военные (совсем обойтись без них, конечно, нельзя было), но помещать возможно больше полезных, разнообразных статей и, вместе с тем, предлагать

своим подписчикам вполне занимательное чтение. С этой целью приглашены были новые сотрудники, заказывались переводы отдельных статей из иностранных изданий. Много места отведено было Новиковым почти отсутствовавшим ранее статьям по литературе и искусству, причем он старался следить за новыми явлениями в этой области. Значительно вырос в объеме и по количеству сообщаемого материала отдел «провинциальная жизнь». Но в рамки выпускавшейся им газеты Новиков не мог включить всех статей и всех отделов, которые он считал пригодными для среднего русского читателя. И вот он задумывает целый ряд приложений к газете, которые могли бы быть в том или ином отношении полезны.

Период аренды «Московских ведомостей» Новиковым можно считать временем расцвета университетской газеты, и невольно возникает вопрос, почему же аренда не была продлена. Объяснение этому находится в той политике преследования Новикова, которую проводила с начала 1780-х годов Екатерина II и которая закончилась арестом Новикова. В 1784 г. в «Прибавлениях к Московским ведомостям» была помещена «История ордена иезуитов», в которой несколько неодобрительно говорилось о притязаниях этого монашеского ордена на политическое господство. Незадолго перед тем Екатерина приняла иезуитов под свое покровительство; «дерзость» Новикова возмутила Екатерину, этого «Тартюфа в юбке и в короне» (Пушкин), ею был издан указ, в котором запрещалась эта «ругательная» история. Еще раньше этого неудовольствие Екатерины вызвала другая статья в тех же «Прибавлениях к Московским ведомостям», именно статья «О влиянии успеха наук в человеческие нравы и образ мыслей»; последняя была уже отпечатана в номерах 61, 62, 63 и 64 «Прибавлений», но рассылка номеров 62—64 была задержана, а статья запрещена. В связи с этим и, очевидно, и другими, менее известными фактами, в самом конце 1785 г. были опечатаны склады изданий Новикова, а через некоторое время сам Новиков был вызван к московскому митрополиту Платону для выяснения его религиозных убеждений, вернее для получения материалов, которые скомпрометировали бы Новикова и дали бы Екатерине возможность прекратить опасную в ее глазах деятельность этого неутомимого просветителя. Результаты предпринятого Екатериной похода против Новикова оказались на этот раз благоприятными для него. Тем не менее, уже в октябре 1788 г., больше чем за полгода до окончания срока аренды Новиковым типографии и газеты Московского университета, Екатерина распорядилась о невозобновлении договора с ним.

Однако на первых порах уход Новикова не отразился на содержании и направлении «Московских ведомостей». Это заметно даже в освещении начавшейся вскоре французской буржуазной революции.

Как и «С.-Петербургские Ведомости», «Московские Ведомости» издавались до самой Великой Октябрьской социалистической революции.

6. Петербургские частные журналы 1759—1760 гг.

В сороковых-пятидесятых годах XVIII в. началось заметное оживление в русской литературе. Наиболее крупные деятели тех лет— Ломоносов и Сумароков. Третий из крупных поэтов того времени Тредиаковский переживал в это время упадок своей славы, бесспорно признававшейся за ним в предшествующем десятилетии. Вокруг Ломоносова и Сумарокова образуются группы приверженцев, возникают несогласуемые, враждующие литературные воззрения, наконец начинается литератур-

ная полемика. Ломоносов с его требованием общественного служения писателя влияет и на своих противников; из сторонников поэзии развлечения, поэзии, выражающей интимные настроения в форме элегии и песни, Сумароков и его группа превращаются в идеологических вождей оформляющегося в культурном отношении дворянства. К концу пятидесятых — началу шестидесятых годов уже выступает на литературную арену вторая группа дворянских писателей, молодежь, выраставшая и воспитывавшаяся под знаком сумароковских идей. Она пробует заявить о себе в несколько иной форме, чем делали дворянские писатели группы Сумарокова, в основном культивировавшие рукописную форму распространения своей продукции. Дворянская молодежь этих лет, — выходцы из Петербургского Сухопутного шляхетного корпуса и студенты Московского университета, — впервые выступают с самостоятельными журналами, переходя от «салонных» методов литературной деятельности к публичным. К этому же времени и сам Сумароков начинает издавать журнал, в значительной мере состоящий из его произведений и, тем самым, служащий наиболее резким выражением тех же тенденций и идей. Общим для всех этих журналов было то, что они были уже не правительственными, а «частными».

Журналы 1759—1764 гг., несмотря на различие места их издания и общественного положения редакторов, имеют много общего между собой, хотя июнь 1762 г., захват Екатериной II престола, представляет некоторую грань. В первую половину этого периода тогдашняя журналистика находилась в оппозиции правительству Елизаветы, правительству Шуваловых-Воронцовых, во вторую она пытается взять на себя роль истолкователя политического курса Екатерины, роль идеологического руководителя тех слоев дворянства, которые, по ее мнению, стали или должны стать во главе правления. Несмотря на такие общие черты, каждый журнал имеет свою физиономию, свою отличительную окраску. Из семи журналов 1759—1764 гг. два издавались в Петербурге, остальные в Москве. Журналы эти следующие:

1) «Праздное время в пользу употребленное», Петербург, 1759—1760;
2) «Трудолюбивая пчела», Петербург, 1759;
3) «Полезное увеселение», М., 1760—1762;
4) «Собрание лучших сочинений», М., 1762;
5) «Невинное упражнение», М., 1763;
6) «Свободные часы», М., 1763;
7) «Доброе намерение», М., 1764.

Хотя с точки зрения хронологии «Праздное время» было первым русским частным журналом (разрешение на него было выдано на несколько дней раньше, чем на издание «Трудолюбивой пчелы»), тем не менее по своему общественному и литературному значению журнал Сумарокова стоит выше «Праздного времени», и рассмотрение «Трудолюбивой пчелы» должно быть сделано в первую очередь.

14 декабря 1758 г. Сумароков подал в Канцелярию Академии Наук прошение, в котором сообщал о своем намерении «издавать помесячно журнал для услуги народной» и просил печатать его «по двенадцати сот ексемпляров». По прошествии месяца с небольшим, в январе 1759 г. вышла первая книжка «Трудолюбивой пчелы». Название журнала объясняется следующим местом в конце первой статьи журнала: «...чтоб читатели, обучаясь и упражняясь..., на подобие трудолюбивых пчел, то только... собирали, что знание их умножить, нравоучение им подать и благополучия их причиною быть может».

Издание это уже с первой страницы текста заявляло о своем политическом лице: оно было посвящено великой княгине Екатерине Алексеевне, т. е. будущей Екатерине II, находившейся в это время в немилости у Елизаветы. Но помимо политической демонстрации, сумароковское посвящение журнала Екатерине представляло и личный вызов Елизавете, не терпевшей похвал красоте какой-либо женщины, кроме нее самой; посвящение же «Трудолюбивой пчелы» начиналось так:

Умом и красотой, и милостью богиня,
О просвещенная великая княгиня

Таким образом, журнал сразу подчеркивал свою ориентацию не на Елизавету, а на «оппозиционную» и опальную Екатерину. В переводе же на язык тогдашней борьбы различных групп правящего класса за власть ориентация Сумарокова на Екатерину означала борьбу против придворной знати и за «исконное» дворянство. В дальнейших книжках журнала Сумароков в своих притчах, эпиграммах и прозаических сатирах повел регулярную борьбу с придворной кликой Шуваловых-Воронцовых, с поддерживаемой ими системой откупщичества, казнокрадства, лихоимства и т. д., с подьячими и их взяточничеством, даже с якобы «покровительствуемым» знатью Ломоносовым, с эстетической позицией которого издатель «Трудолюбивой пчелы» давно уже сводил счеты.

Несмотря на то, что, кроме Сумарокова, в журнале принимали участие и другие писатели одного с ним литературного направления, все же «Трудолюбивая пчела» больше отражала творческое лицо своего издателя, чем литературную и политическую позицию коллектива сотрудников. Большую часть материала в каждой книжке журнала доставлял сам Сумароков, а майская книжка целиком заполнена его произведениями. Среди сочинений Сумарокова находятся и статьи по философии («О разумении человеческом по мнению Локка», стр. 259—263, не закончено), и по истории («О первоначалии и созидании Москвы», стр. 48—58, «Российский Вифлеем, стр. 240—242), и по филологии («О истреблении чужих слов из русского языка», стр. 58—62, «О коренных словах русского языка», стр. 91—101, «К типографским наборщикам», стр. 262—274) и пр. Есть и публицистическое «Слово похвальное о Петре Великом» (стр. 579—592), которое, при обычных славословиях Петру и его «дщери» Елизавете, решительным образом направлено против придворной роскоши и пышности: «Не в великолепии ищут великие государи величества, — восклицает Сумароков, — не в великолепии искал ево и ты, великий государь. Твое великолепие было попечение о государстве, едино украшение и сияние венца, ибо все протчее пустой только блеск». Наконец, среди прозы Сумарокова в «Трудолюбивой пчеле» следует отметить несколько переводов: «Часть III из I речи Смотрителя» (стр. 229—231), «Из трактата Лонгинова о важности слова с перевода Боалова» (стр. 219—224) и «Пришествие на нашу землю и пребывание на ней Микромегаса из сочинений г. Вольтера» (стр. 455—475).

Если внимательно рассмотреть распределение сумароковских произведений в «Трудолюбивой пчеле», то делается очевидным, что «научная» сторона, особенно заметная в первом полугодии, постепенно вытесняется сатирически-злободневными материалами: появляются в большом количестве прозаические статьи сатирического содержания, представляющие нападки на лихоимство судей, взяточничество и плутни подьячих и т. п. Тем же темам посвящены многочисленные во втором полугодии притчи и эпиграммы, в то время как в первую часть года Сумароков печатал

преимущественно элегии, эклоги, песни и духовную лирику. И притчи и эпиграммы содержат много злободневных намеков, которые не всегда могут быть раскрыты. Такова, например, эпиграмма «Не трудно в мудреца безумца претворить» (стр. 311), написанная Сумароковым по поводу получения кем-то из придворных австрийского ордена «Золотого руна».

Наряду с сатирическими оценками неудовлетворявшей Сумарокова современности в «Трудолюбивой пчеле» нашли свое выражение и положительные идеалы Сумарокова. Пользуясь формой «сна», жанра, в высшей степени распространенного в тогдашней литературе, Сумароков изображает идеальный социальный строй, как он ему представляется. Своеобразная утопия Сумарокова «Сон — счастливое общество» (стр. 738—747) показывает всю незрелость политической и социально-экономической мысли писателя, имевшего претензии быть выразителем идеологии всего «дворянского корпуса». «Счастливое общество» могло стать таковым, по мнению автора, только благодаря своему государю, «великому человеку и избранным его помощникам». Воплощение всех добродетелей, «сей государь ничего служащего пользе общества не забывает, а о собственной пользе кроме истинной своей славы никогда не думает». Религия «есть основание всего народного благополучия», и служители культа пользуются бо̀льшим уважением, но «во светские дела они ни под каким видом не вмешиваются, а науки благочестия просвещением почитают». Во главе правления находится Государственный совет, но как он конструируется, Сумароков не указывает. Роль этого учреждения не ясна: отчасти оно имеет законодательные функции, но, вместе с тем, «в него никаких участных [т. е. частных] дел не вносится». Законодательство в «счастливом обществе» основано на естественном праве, и как теоретически необходимое следствие отсюда, «не имеют тамо люди ни благородства ни подлородства и преимуществуют по чинам, данным им по их достоинствам, и столько же права крестьянской имеет сын быть великим господином, сколько сын первого вельможи». Правосудие «в счастливом обществе» отправляется в прямо противоположном виде, нежели в современную автору «Сна» эпоху. Такова политическая и социально-экономическая программа Сумарокова. «Счастливое общество» основано на разуме, а интеллигенция этого общества, как и его духовенство, «во многом подобны стоическим философам, ибо страсти самую малую искру области над ними имеют».

Но одно дело утопический «сон», другое — реальная действительность: в той же «Трудолюбивой пчеле» 1759 г. Сумароков напечатал притчу «Пахарь и обезьяна» (стр. 362—363), в которой, в противовес «мечтательному» «счастливому обществу», где нет «ни благородства, ни подлородства», утверждается, что «мужик своим трудом на свете жить родился»; в следующем году в другом месте Сумароков, говоря о чиновном выходце из крестьянства (очевидно, о Ломоносове), дает ему имя «урода из сама подла рода, которого пахать произвела природа» («Праздное время», 1760, ч. I, стр. 147). Таким образом, «положительная» программа Сумарокова на практике оборачивалась крепостничеством.

Роль сотрудников Сумарокова в «Трудолюбивой пчеле» была не особенно велика и значительна. Наиболее активными из прозаиков были Г. В. Козицкий, давший статью «О пользе мифологии» (стр. 5—33) и ряд переводов с греческого и латинского, Н. Мотонис, поместивший «Рассуждение о двух главных добродетелях, которые писателю истории иметь необходимо должно» (стр. 34—47) и переводы из античных авторов, А. А. Нартов, Г. Полетика, А. Лобысевич, И. А. Дмитревский; из

стихотворцев в «Трудолюбивой пчеле» печатались С. и В. Нарышкины, С. Глебов, А. А. Ржевский, дочь Сумарокова Екатерина Александровна и др. Рассматривая продукцию сотрудников «Трудолюбивой пчелы», нельзя не заметить, что в их произведениях совершенно нет злободневности, если не считать выпадов против Ломоносова в статейке Тредиаковского «О мозаике» (стр. 353—360). Очевидно, вся тяжесть борьбы с придворно-вельможной верхушкой ложилась на одного Сумарокова.

Журнал по истечении года ему пришлось закрыть, о чем он патетически заявил в последнем стихотворении «Расставание с музами» на последней странице декабрьской книжки «Трудолюбивой пчелы»:

Для множества причин
Противно имя мне писателя и чин.
С Парнасса нисхожу, схожу противу воли,
Во время пущего я жара моего
И не взойду по смерть я больше на него.
Судьба моей то доли.
Прощайте, музы, навсегда.
Я более писать не буду никогда.

Никаких документальных и иных данных о причинах прекращения издания «Трудолюбивой пчелы» не сохранилось. Несомненно, однако, что резкий сатирический тон сумароковских статей, притч и эпиграмм, персональные нападки на придворную клику, понятные современникам, — все это заставило елизаветинское правительство закрыть журнал Сумарокова. В связи с этим приобретает известный интерес помещенное в декабрьской книжке письмо «К издателю Трудолюбивой пчелы» (стр. 755—757). Автор, скрывавшийся под буквой К * * *, заявляет, что выступает от имени «некоторого общества, которого благородные мысли ответствуют знатности их и благорождению». Перечисляя заслуги Сумарокова перед русской литературой и театром («Вы установили Российский театр»), автор письма как бы подчеркивает несправедливость правительства по отношению к издателю «Трудолюбивой пчелы»: он открыл силу и красоту русского языка, — а журнал его закрывают; он установил русский театр, а его отстраняют от заведывания последним. Таков смысл этого письма «от некоторого общества». Но было ли это письмо подлинным документом, или оно сочинено, по крайней мере, внушено Сумароковым, сказать трудно. В ту эпоху печатание вымышленных (и почти всегда хвалебных) писем к «издателю» широко практиковалось, поэтому следует осторожно отнестись к разбираемому письму в «Трудолюбивой пчеле». Но если даже оно и подложно, то характерна попытка Сумарокова инсценировать проявление общественного мнения в момент закрытия журнала.

Журнал «Праздное время, в пользу употребленное» издавался в 1759—1760 гг. группой бывших кадетов Сухопутного шляхетного корпуса и некоторыми из преподававших тогда в нем. Печаталось «Праздное время» в количестве 600 экз. Кто были его издатели в 1759 г. точно не известно. В 1760 г. издателем был преподаватель Корпуса Петр Пастухов, заполнявший своими переводами значительную часть еженедельных листов журнала.

Переводный материал в «Праздном времени» количественно превосходит оригинальный. Если не считать вклада Сумарокова, печатавшегося в 1760 г. в «Праздном времени», то журнал этот более чем бесцветен. Переводы с французского, немецкого, датского и итальянского почти не оставляют места для самостоятельного творчества сотрудников «Праздного времени», а если они и выступали, особенно в начале издания,

с такими попытками, то и этот материал звучал нежизненно, сухо, как перевод.

Морально-дидактический характер имеют не только переводные статьи на тему «о привычке», «о ревности», «о чести», «о успокоении совести», «о благодеяниях» и «о неблагодарности» и т. д. Им проникнуты и те статьи, которыми представлено оригинальное творчество.

Мысль о том, что культура является прерогативой одного только просвещенного дворянства, повторяется довольно часто на страницах кадетского журнала. В статье «Письмо о пространстве разума и о пределах оного» (ч. I, стр. 43—60) есть исключительно циничное в этом отношении место. Анонимный автор предлагает проанализировать общественную позицию крепостного, или, как сказано в статье, «поселянина». «В рассуждении прочих, — пишет аноним, — кажется он нам сожаления достойным: груб, жизнь имеет суровую, не чувствует сладких увеселений, ни славы, на злата, ни драгоценных камней не знает». Но он не забыт провидением: «К чему назначен он господним промыслом? — продолжает автор. — К нужнейшему из всех упражнений, к рачительному земли деланию. Довольно имеет разума по своему состоянию. Естьли б большим одарен был просвещением, не исполнил бы достойно своего звания. Естьли б честь и веселия его прельщали, конечно б, почел он себя несчастным в мрачном и многотрудном своем жребии; но не для единого собственного его прибытка разум его толь тесен и знания ограничены. Несказанная целого общества польза гораздо более от того зависит. Естьли б земледелец был проницателен, остроумен и чрезмерно любопытен, восхотел ли бы он день и ночь в полях скитаться за стадом? Не почел бы себе за оскорбление, что должен с неусыпным попечением ходить за презренными сими животными? Между тем ежели скот и земля оставлены будут в небрежении, останемся все без одежды и без пропитания, всюду родится бедствие и нестроение. Итак, грубость и невежество поселянина не малое есть для нас благодеяние. . .».

Такая откровенно-крепостническая точка зрения вполне отвечает общему направлению «Праздного времени», журнала дворянской учащейся молодежи.

В 1760 г. на страницах «Праздного времени» стал печататься Сумароков, который, как указано было выше, незадолго до этого «навсегда» простился с музами и публично заявил, что «никогда» больше не будет писать. Если до его появления в числе сотрудников кадетского журнала «Праздное время» было абсолютно лишено какого бы то ни было оттенка злободневности, то в 1760 г. Сумарокову удалось продолжить свою борьбу с дельцами елизаветинского царствования и в этом журнале. Уже первые произведения его в «Праздном времени» («Из Тита Ливия» — речь матери Кориолана к сыну, притча «Осел во львовой коже» и «Эпиграмма» — 1760, ч. I, стр. 144 — 148) имеют отчетливо политический характер. Притчи же, эпиграммы и в особенности прозаические статьи Сумарокова, помещенные во втором полугодии 1760 г. в «Праздном времени», делают этот журнал до некоторой степени продолжением «Трудолюбивой пчелы». Очень возможно, что именно это обстоятельство и вызвало прекращение журнала, издатели которого продолжали свою переводческую деятельность и в следующие годы.

Первые частные русские журналы, «Трудолюбивая пчела» и «Праздное время, в пользу употребленное», несмотря на свою недолговечность, имели известное значение в развитии нашей периодической печати. Во-первых, они показали обществу, что и без правительственной опеки, без академической канцелярии и без чиновников от журна-

листики может функционировать периодическое издание. И действительно, вслед за этими журналами возникают одно за другим частные издания и в Москве, и в Петербурге и даже в провинции (здесь, правда, через много времени).

Во-вторых, сатирическая деятельность Сумарокова в обоих журналах 1759—1760 гг. демонстрировала читателям возможность, хотя бы урезанную и скромную, использовать литературу, журнал в борьбе с политическими противниками. Для того времени это было серьезным политическим достижением, которое через десять лет в 1769—1774 гг. — дало показательные результаты, обеспокоившие екатерининское правительство.

В-третьих, опыт первых двух журналов привел к тому, что постепенно образовались группы журнальных сотрудников (в особенности вокруг «Трудолюбивой пчелы»), которые позднее сосредоточиваются вокруг других журналов, объединенные одними воззрениями, политическими и литературными. Таким образом, журналистика этих лет способствовала развитию литературных объединений, оформлению теоретико-литературных взглядов, большей или меньшей четкости общественных и специально-литературных позиций тогдашних писателей. Все это особенно сказалось на журналах, связанных с Московским университетом.

7. Московские журналы 1760—1764 гг.

Московские издания 1760—1764 гг. распадаются на три группы:

1) журналы Хераскова и выходцев из его кружка: «Полезное увеселение» (1760—1762), «Свободные часы» (1763) и «Невинное упражнение» (1763);

2) журнал сотрудников херасковских изданий, но не участников его кружка: «Доброе намерение» (1764);

3) журнал, не связанный с херасковским кружком: «Собрание лучших сочинений» (1762).

«Полезное увеселение» выходило с начала 1760 по июнь 1762 г., первые два года как еженедельное, а затем как ежемесячное издание. Официально журнал считался изданием Московского университета, но фактически это был орган группы дворянской интеллигенции, собравшейся вокруг университета и возглавлявшейся М. М. Херасковым, игравшим заметную роль в университетской администрации как асессор, которому были подчинены университетская библиотека, типографии и публичные театры, русский и итальянский, состоявшие в то время в ведении университета. Херасков представлял в журнале не только университетскую администрацию, но был и идейным руководителем коллектива сотрудников. Благодаря этому, у «Полезного увеселения» есть особое лицо, отличающее его от ряда предшественников в этой области, а также и последующих изданий. «Полезное увеселение» было органом «херасковцев», представлявших дальнейший после Сумарокова этап в развитии дворянской общественной мысли в 1760-е годы XVIII в. Для вождя этой литературной группы Хераскова, и через него — для всей его «школы», Ломоносов и Сумароков — уже пройденный этап литературного и общественного развития; не этими именами и не их творческими путями характеризуется современное состояние русской литературы. Их произведения нужны, по его мнению, малокультурной, недостаточно развитой в литературном отношении публике. Обращаясь к начинающему писателю, Херасков говорит:

Ты пением своим н е в е ж увеселишь
И грубость их сердец, как Амфион, смягчишь,
Когда так станешь петь, для утешенья россов,
Как Сумароков пел и так как Ломоносов,
Великие творцы, отечеству хвала,
И праведную честь им слава воздала.

Что же касается до настоящих ценителей литературы, то для них Херасковым указываются иные пути:

Разжженные сердца парнасским жаром, пойте,
Лишь только голос свой по правилам муз стройте.
Младым россиянам уже примеры есть,
Каким путем себя на верх парнасский весть.
(„Полезное увеселение", 1760, стр. 196).

Конечно, Херасков открыто не противопоставляет себя и свою группу Сумарокову. Напротив того, он заботится об участии Сумарокова в журнале: в № 2 «Полезного увеселения» за 1760 г. помещены для сравнения сделанные Ломоносовым и Сумароковым переводы оды Руссо «К фортуне» (стр. 17—28); побывав в начале 1761 г. в Петербурге, Херасков получает у Сумарокова 8 притч, которые и печатает в своем журнале (1761, ч. III, стр. 161—168); при всяком удобном случае Сумароков берется в «Полезном увеселении» под защиту, а его противник— литературный и общественный — Ломоносов подвергается насмешкам и нападкам. Например, в принадлежащем Хераскову «Путешествии Разума» есть такое место: Разум «увидел седящую за столом Оду, которая движением всех своих членов доказывала, что она великую работу имеет». На вопрос Разума, что она делает, Ода отвечала: «Теперь я полечу в Эфир, после побываю в Луне, оттуда мне должно спуститься в преисподнюю, испугать Цербера, смутить Фурий; после уйти, подняться к облакам, зажечь молнию, ударить громом, потрясти Олимп, оттуда стремглав слететь и не ушибиться» (1760, ч. I, стр. 145—146). Эта пародия на «высокое парение» Ломоносова, смыкающаяся с известными «вздорными одами» Сумарокова, имевшими то же задание, не стоит одиноко в «Полезном увеселении»: в статье «Сбытие сновидения» (1762, стр. 122—128) А. А. Ржевский иронически обращается к музам с просьбой помочь ему «вознести хвалою того славного оратора [т. е. Ломоносова], который порочит одного из первых российских сочинителей, [т. е. Сумарокова], и порочит единственно за то, что он ясно пишет и к тому же чистым московским языком» (стр. 123).

Итак, «Полезное увеселение» продолжает борьбу Сумарокова с Ломоносовым за «простоту», «ясность» и «вразумительность». Но самая-то борьба исходит в данном случае из других оснований. Для Хераскова и его группы смысл борьбы заключался в размежевании между дворянской, т. е., с точки зрения «Полезного увеселения», подлинной культурой, и примитивной культурой «просвирен», которые, по словам Ржевского, восторгаются Ломоносовым «за непонятность», — культурой «мещанской». В программной статье «О чтении книг» (1760, стр. 3) Херасков пишет: «Несмысленной подьячей с охотой читает книги, которые писаны без мыслей; купец удивляется, по их наречию, виршам, сочиненным таким же невежею, каков сам он; однако, они не читатели».

Но если Херасков и его группа не противопоставляли себя Сумарокову, то все же расхождения и обособление у обеих сторон были. Для издателя «Трудолюбивой пчелы» журнал — это плацдарм для сатирической борьбы с конкретными, персональными врагами, трактующимися как враги всего дворянства в целом. «Защищение добродетелей» и «обличение пороков» имеет в «Полезном увеселении» иной характер,

нежели то же самое у Сумарокова: борьба выражается в абстрактных, схематизированно-обобщенных формах. Нападки «Полезного увеселения» на подьячих, на взяточничество, судебную волокиту, петиметрство и т. д., совершенно лишены той не всегда поддающейся раскрытию, но тем не менее постоянно ощутимой конкретности, которая отличает журнальную сатиру Сумарокова. Похвала помещичьей жизни, во множестве вариантов представленная на страницах херасковского журнала, пропаганда «вознесения» разума над страстями, культ дружбы и «спокойного» жития (ср. рефрен в «Стансах» Хераскова: «Всякой мысли взводит выше. Только лутче жить потише» — 1762, стр. 94—96), морализующие тенденции «Полезного увеселения» — все это идет вразрез с боевым задором Сумарокова.

«Превознесение» добродетели, равно как и «тазанье» (поругивание) глупых проводилось группой «Полезного увеселения» одинаково осторожно и в одинаковой мере всеми. Пишет ли Херасков, или А. А. Ржевский, или С. Нарышкин, А. Нартов, И. Ф. Богданович, С. Г. Домашнев, — чувствуется общность идейной платформы коллектива сотрудников.

Почему же журнал закрылся? При отсутствии фактических материалов, можно высказать только предположение. С последней книжки 1761 г. и в течение всего первого полугодия 1762 г. «Полезное увеселение» слишком афишировало свою ставку на Петра III. 28 июня 1762 г. Екатерина захватила власть, Петр был убит. Херасков и его группа были застигнуты врасплох: нужно было выиграть время для перестройки.

С января 1763 г. взамен прекратившегося «Полезного увеселения» Херасков начал издавать журнал «Свободные часы», печатавшиеся также «при Московском университете». В «Свободных часах», несмотря на наличие традиций «Полезного увеселения», отчетливее выступает элемент политический — прославление Екатерины, стремление дать истолкование и оценку ее мероприятий. Уже в первой книжке «Свободных часов» Херасков печатает «Стихи, в которых приносится благодарность за полученную милость от е. и. в.».

Тут же рядом «Стихи к Епистоле, поднесенной е. и. в. ноября 24 дня 1762 года» (ч. I, стр. 5), в которых Херасков довольно неуклюже намекает на свое желание получить аудиенцию у Екатерины. В сентябрьской книжке — снова херасковские «Епистолы» на день коронования Екатерины и на день рождения Павла Петровича (стр. 540—547). В первой эпистоле Херасков, в соответствии со вторым, так называемым «обстоятельным» манифестом Екатерины, объясняет дворцовый переворот 28 июня 1762 г. не личными побуждениями Екатерины, а ее желанием спасти и прославить Россию:

О мати россиян, коль дорог нам сей час,
Когда восшествием на трон спасала ты нас...
Ты шла не скипетр брать, но паче нас прославить.

Но особенно любопытна помещенная в ноябрьской книжке «Свободных часов» херасковская «Ода на высокоторжественный день тезоименитства е. и. в.» (ч. II, стр. 627—631), в которой автор отвечает на факты, отражавшие недовольство значительной части дворянства воцарением Екатерины (заговор Хрущовых и Гурьевых, планы возведения на престол Павла и т. д.):

Она [Екатерина] взошла заре подобно,
Скончать в России время злобно
И век начати дней златых...

...А ты, о гидра разъяренна,
Свои стоглавны жала крой.
Пред богом прах один вселенна,
Ничто и страх и ужас твой.
Дерзнет ли мысль твоя стремиться,
И сердце против ополчиться,
Кто богом на престол взведен?...

Во всем прочем «Свободные часы» ничем не выделяются: те же, что и в «Полезном увеселении», мотивы пассивности, отказа от какой-либо борьбы, ввиду того, что все тленно, преходяще.

Подобно «Полезному увеселению», и «Свободные часы» печатают множество элегий, мадригалов, переводов из античных авторов («Метаморфозы» Овидия в переводе В. И. Майкова) и из Вольтера и т. д. Те же нравоучительные рассуждения о защищении добродетели и обличении порока и т. д. Те же сатирические нападки на петиметров, на откупщиков, на подьячих, даже те же преследования Ломоносова.

Совсем иной характер имеет выходивший в том же 1763 г. (с января по июнь) журнал «Невинное упражнение». Принято считать его издателем бывшего сотрудника «Полезного увеселения» И. Ф. Богдановича. Но последний в своей автобиографии указывает, что только «употреблен был к соучаствованию» в «Невинном упражнении», выходившем в свет «под покровительством княгини Е. Р. Дашковой». Во вступительном «Письме к читателю» (стр. 3—4) сообщается, что журнал будет издаваться группой молодых начинающих авторов. «Всяк знает, — говорится далее, — что нет ни одного сочинения, которое бы в том или другом не приносило читателям пользы, лишь бы сочинено было разумно. Всякий читатель догадаться может, к чему тут слово разумно сказано; есть ли же кто не догадается, то тем для него хуже, а мы без дальнего такому изъяснения только в заключение скажем, что наше сочинение есть смешение забавного с полезным».

Итак, девизом журнала является «разумное». В соответствии с этим в «Невинном упражнении» помещен обширный перевод из Гельвеция «Об источнике страстей», приписываемый увлекавшейся французскими материалистами кн. Е. Г. Дашковой, перевод нашумевшей поэмы Вольтера «На разрушение Лиссабона» (пер. Богдановича, стр. 173—186) и т. д. Немногочисленные оригинальные произведения, например «Письмо» (стр. 44—47), также проникнуты сенсуалистическими идеями, но выводы делаются иногда неожиданные: счастья, например, по мнению анонимного автора указанного «Письма», достигает «тот, кто в малом сообществе искренних приятелей, не желая ничего лишнего, нужным умеет быть доволен» (стр. 47). Это очень напоминает позиции и традиции «Полезного увеселения», с его ограниченным рационализмом и эмпиризмом, с его культом умеренности и дружбы.

В июне 1763 г. журнал прекратился, «по многим неотвратимым препятствиям и, во-первых, потому, что как издатели, так и те, кои подписались брать наш журнал, из Москвы разъехались» (стр. 304). Это указание находится в связи с тем, что коронационные торжества в Москве кончились и двор возвратился в Петербург.

«Доброе намерение», выходившее в течение 1764 г., было последним журналом этого периода, так или иначе связанным с Херасковым. Издателем его являлся студент Московского университета В. Санковский, ревностный участник херасковских «Полезного увеселения» и «Свободных часов». Печатался журнал «при Московском университете». В журнале Санковского объединились частью сотрудники

херасковских журналов (М. Пермский, В. Рубан, А. Вершницкий и другие), частью — новые лица (А. Костровский, А. Перепечин и другие). Сотрудники «Доброго намерения» были по социальному составу людьми одной и той же разночинной прослойки (за исключением едва ли не одного только Павла Фонвизина, брата Д. И. Фонвизина); это резко отделяло их от основных членов херасковской группы, как А. А. Ржевский, А. Нарышкин, А. Г. Карин, В. И. Майков и другие. Хотя многие из студентов, впоследствии печатавшихся в «Добром намерении», раньше работали в «Полезном увеселении» и «Свободных часах», но там им предоставлялось место скорее для поощрения, чем для выражения платформы, общей херасковской группе.

Не следует, однако, думать, что все эти обстоятельства нашли отчетливое выражение в политической и философской позиции «Доброго намерения». Примеры херасковских журналов были у Санковского и его товарищей перед глазами, и студенты, по мере сил, старались приблизиться к авторитетным образцам. Поэтому в «Добром намерении» встречаются такие же элегии, идиллии, анакреонтические стихи, мадригалы, эклоги и т. п., что и у Хераскова; здесь печатаются также переводы из «Спектатора» и из античных авторов (Овидий) и т. д.

Новым является включение анекдотических новелл, вроде переведенной из Мазуччио, под названием «Приключения некоторого чужестранца в Париже» (ч. II, стр. 555—567 — перевод В. Рубана), или повестушек типа фабльо, очень приближавшихся к излюбленным во вторую половину XVIII в. «Кратким и замысловатым гисториям». Такова, например, новелла «Остроумный ответ англичанки неаполитанскому купцу против любовного предложения» (ч. II, стр. 541—544 — перевод А. Костровского): влюбившийся в добродетельную англичанку итальянец утверждает, что его поцелуи, так как он неоднократно лобызал туфлю папы римского, обладают способностью исцелять болезни; он предлагает устранить таким способом прыщик на лице дамы; в ответ она высказывает сожаление об отсутствии старого кучера, «которого бы вы от болезни прикосновением святых ваших губ исцелить по вашей к нам милости и приятству не отреклись, а он очень болен и давно уже страждет наружным почечуем».

Любопытное явление представляет и язык писателей «Доброго намерения», особенно прозаиков. Это не салонная, изящная проза А. А. Ржевского, или более строгая, упорядоченная, несколько «пухлая» (риторическая) речь М. Хераскова; в лице переводчиков «Доброго намерения» выступает новая группа писателей, связанных с третьим сословием, с языком, в основном идущим от практики петровских, а, может быть, и допетровских приказов, а отчасти ориентированным на «Грамматику» Ломоносова. Читая прозу «Доброго намерения», чувствуешь, если не истоки кургановского «Письмовника», то общие ключи, питающие их.

Не осталось «Доброе намерение» в долгу и перед «политической» лирикой. В июньской книжке были помещены «Стихи на высокоторжественный день восшествия на престол е. и. в.» В. Санковского (стр. 243—249).

Как ни льстили херасковцы властям предержащим, но в их писаниях всегда можно было найти некоторую принципиальность. В стихах же Санковского предчувствуется рептильность В. Рубана и других, которые из «прославления» делали источник заработка.

«Собрание лучших сочинений». Иной характер, чем журналы, издававшиеся под руководством Хераскова или выпускавшиеся

выходцами из его кружка, имело периодическое издание, осуществленное профессором Московского университета по кафедре всеобщей и ученой истории И. Г. Рейхелем (ум. в 1778 г.). Полное название этого журнала таково: «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия, или Смешенная библиотека о разных физических, экономических, також до манифактур и до коммерции принадлежащих вещах». На самой последней странице журнала напечатано: «Конец квартальным сочинениям 1762 году» (ч. IV, стр. 286). Действительно, рейхелевский журнал был первым русским «квартальником» (трехмесячником).

Профессор Рейхель привлек в свой журнал и своих учеников, в том числе Д. И. Фонвизина, близкого к нему в 1761—1762 гг. Фонвизин перевел по его совету и по его экземпляру «Нравоучительные басни» Гольберга, «Сифа» аббата Террасона, речь самого Рейхеля «Слово... о том, что науки и художества процветают защищением и покровительством владеющих особ и великих людей в государстве» (1762), а также деятельно сотрудничал в «Собрании лучших сочинений», где имеется шесть подписанных его именем переводов.

Первой особенностью «Собрания лучших сочинений» было то, что в них помещались только переводы с иностранных языков. Почти все эти статьи касаются вопросов политической экономии и проникнуты общей мыслью.

В этих статьях проводится уже не чистый меркантилизм, как у Миллера в «Ежемесячных сочинениях», а меркантилизм поздней формации, с оглядкой на проблему баланса внешней торговли, на роль промышленности, и т. д. Теми же тенденциями проникнуто анонимное и, очевидно, принадлежащее Рейхелю «Политическое рассуждение о коммерции» (ч. II, стр. 233—278).

«Коммерция и манифактуры, — начинается статья, — столь надобны к приращению государства, как дождь и солнечное сияние древам и растениям».

Из этого общего положения автор делает частный вывод, специально в применении к «коммерции»: «Купец есть дух государства, потому что торг движение свое от него имеет, а прочие посредством торгу необходимые для жизни своей потребности получают». В полном соответствии с учением поздних меркантилистов о свободе торговли, «Политическое рассуждение о коммерции» утверждает, что «торг должен иметь свободность».

Характерны нападки на импорт (по терминологии «Собрания лучших сочинений» — «вывоз») предметов роскоши и вообще на неупорядоченность внешней торговли. Отсюда же следует и пропаганда идей протекционизма: «Справедливость требует запретить вывоз чужих товаров, а приводить домашние вещи в приращение и вмещать [полностью потреблять] оные».

Любопытны также суждения о деньгах как мериле ценности и средстве обращения: «Деньги суть маштап, которым продажные вещи меряются. Они составляют богатство государства и производят полезное действие, когда они от торгу в движение и кругообращение приведены будут».

Кроме статей политико-экономического содержания, в журнале Рейхеля находится несколько статей литературоведческих. В первую очередь следует указать на переведенное Д. И. Фонвизиным «Господина Ярта рассуждение о действии и существе стихотворства» (ч. III, стр. 120—143). Основная мысль статьи состоит в том, что поэзия

имеет нравственную задачу и действие ее заключается в исправлении нравов.

Интересна и принадлежащая Рейхелю статья «Известие и опыт о российском переводе Сифа» (ч. III, стр. 97—105), которая представляет как бы введение к следующему затем отрывку из сделанного Д. Фонвизиным перевода романа аббата Террасона «Сиф». В ней Рейхель дает содержательную характеристику романов Мариво, Прево, Кребильона, Фенелона и приветствует предпринятый Фонвизиным перевод романа «Сиф».

«Собрание лучших сочинений» не может и не должно быть забыто при рассмотрении истории русской журналистики XVIII в. Как ни тяжеловесны и неуклюжи порой переводы в этом издании, всё же они показывают серьезность направления, избранного Рейхелем. Переиздание «Собрания» через 25 лет после его выхода служит свидетельством интереса к журналу. В издании Рейхеля русский читатель находил не только любопытные в литературном отношении статьи, как «Торг семи муз» (из Кригеровых снов), «Защищение говорливости женщин» и т. д., но и новые идеи в области политической экономии и литературы. Особый интерес представляет этот журнал для изучения истоков литературной биографии Фонвизина в пору его близости к Рейхелю. Наконец, не лишена значения деятельность переводчиков «Собрания лучших сочинений» для истории русского литературного и научного языка, в частности для истории политико-экономической терминологии.

ГЛАВА II

Сатирическая журналистика 1769—1774 гг.

1. Журналы 1769 г. Спор о сатире

Новая полоса в истории русской журналистики совпадает с началом царствования Екатерины II. Нам приходилось уже отмечать выше, что к концу 1750-х годов в результате деятельности Ломоносова и Кантемира, в итоге функционирования Академии Наук, Сухопутного Шляхетного корпуса и Московского университета значительно повысился культурный и политический уровень русского общества. Управлять государством так же деспотически и азиатски невежественно, как это делали Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна и Елизавета, было уже невозможно. Екатерине II пришлось вести совершенно иную политику. Человек несомненно очень умный, хотя и — чем дальше, тем более, — самоуверенный и самовлюбленный, Екатерина понимала, что, по крайней мере, на первых порах ей необходимо считаться с мнением и интересами влиятельной передовой части общества, главным образом, с культурным дворянством, оказывавшим значительное воздействие на другие слои населения. Отсюда и проистекал показной, фальшивый либерализм Екатерины, очень скоро, впрочем, сменившийся прежними методами фаворитизма и деспотизма.

В цитированных уже нами кишиневских заметках по русской истории XVIII в. Пушкин писал: «Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила (их) на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе... оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве... Со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия, — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России...

«Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностию пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста всё крало и всё было продажно. Таким образом развратная государыня развратила и свое государство.

«Екатерина уничтожила звание (справедливее — название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку, а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского[1] в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность».

Длившееся тридцать четыре года царствование Екатерины можно разделить на две неравные части, охватывающие первая — время от вступления ее на престол и до подавления восстания Пугачева и вторая — до ее смерти. Первый период отличается большей симуляцией прогрессивности, второй — откровенной реакционностью. На конец первого периода падает одно из наиболее значительных явлений русской журналистики XVIII в., сатирическая журналистика 1769—1774 годов.

После некоторого журнального оживления 1760-х годов наступает затишье в этой области: между 1764 и 1769 гг., — кроме переизданий «Примечаний к Ведомостям» (1765—1766), специальных «Трудов Вольного экономического общества к поощрению в России земледелия и домостроительства» (1765—1775) и изданного Академией Наук сборника «Библиотека российская историческая, содержащая древние летописи и всякие записки, способствующие к объяснению истории и географии российской древних и средних времен» (1767), — никаких литературных журналов не выходило. В то же самое время эти годы были насыщены важными событиями в области внутренней и внешней политики России: Екатериной был предпринят ряд, если не реформ, то мероприятий, хотя имевших показной, декларативный характер, но все же указывавших на неудовлетворительность существовавших порядков — таковы указы о борьбе со взяточничеством, с ростовщичеством, таковы, в еще большей мере, знаменитый «Наказ» и «пошлая фарса», по словам Пушкина, Комиссии для сочинения нового Уложения (1767—1768); с другой стороны, развивались события в Польше, поведшие за собой вскоре так называемый «Первый раздел Польши»; сильно обострились из-за этого отношения с Францией, в результате чего началась война России с союзником Франции — Турцией. Вместе с тем шла упорная борьба за власть в стране между двумя группами дворянства, оппозиционной с ее либеральными тенденциями (во главе с Н. И. Паниным) и реакционной малокультурной, грубой и хищнически-крепостнической, имевшей своими вождями сперва братьев Орловых, а затем Потемкина. Все это вызывало оживленные отклики в тогдашней литературе и в быту, но в журналистике пока отражения не нашло.

Но вот в самом начале 1769 г. стала выходить «Всякая всячина», еженедельный сатирический листок; в конце января появилось «И то и сё» Чулкова, с 21 января началось издание «Ни того, ни сего» Рубана; затем вышла «Поденьшина» Тузова, «Трутень» Новикова, «Приятное с полезным» Румянцева и Тейльса и, наконец. «Адская почта» Эмина и «Смесь». Итак, в течение только одного 1769 г. — восемь сатирических журналов, еженедельных и ежемесячных. Хотя в следующие годы эти журналы не продолжаются, но все же до 1774 г. тянется цепь таких изданий. В этих журналах уже нет той схематичности и абстрактности,

[1] Домашний палач кроткой Екатерины. *Прим. Пушкина.*

которая отличает сатирические статьи и стихи в журналах 1760—1764 гг. Сатирическая журналистика этих лет полна движения, борьбы, резкостей, столкновений, нападок, дерзких намеков — полна жизни, и, конечно, это придает ей особый характер. И не будет преувеличением утверждение, что в журналистике XVIII в. это наиболее сложный и интересный момент.

Разнообразные и далеко неблагоприятные для Екатерины отклики общества и литературы (в последней, главным образом, в рукописном виде) на отдельные правительственные мероприятия, в частности на «Наказ», а в особенности бурная, хотя и безрезультатная деятельность Комиссии 1767—1768 гг. заставили Екатерину прибегнуть к публичному объяснению с наиболее образованной частью населения, с литературно-заинтересованным читателем. Для этой цели был создан журнал «Всякая всячина», где, наряду с сатирико-нравоучительными заданиями, проводились очень серьезные политические идеи Екатерины: были объяснены причины прекращения деятельности Комиссии 1767 г., охарактеризована внутренняя политика царицы, прокламирована выгодная Екатерине теория социальной гармонии, и т. п. Для проведения своего замысла Екатерина считала полезным не слишком выделять «Всякую всячину», поэтому было разрешено издание и других журналов. Сделано это было не в каком-либо законодательном порядке, а давалось знать заинтересованным лицам в первом листе «Всякой всячины» (раздававшемся бесплатно) мимоходом, между строк: «Мой дух восхищен: я вижу будущее. Я вижу бесконечное племя Всякия всячины. Я вижу, что за нею последуют законные и незаконные дети: будут и уроды ее место со временем заступать» (стр. 2 об. — стр. 3).

«Поколение» «Всякой всячины», как известно, не замедлило появиться. Не зная основного замысла Екатерины, возглавлявшей кружок «Всякой всячины», — провести в сознание читателей ряд политических тезисов, — издатели последующих журналов, а также читатели приняли за основную задачу сатирических журналов осмеяние пороков и насаждение здравых идей. Поэтому перед издателями и литераторами, участвовавшими в журналах 1769 и последующих годов, прежде всего встал теоретический вопрос: какой должна быть сатира? Вопрос этот для русской литературы был не новым. При решении его еще задолго до 1769 г. обозначились два течения в сатирической трактовке: абстрактная сатира на «порок» и конкретная сатира на «лицо».

«Всякая всячина», зачинатель сатирической плеяды 1769—1774 гг., как верно указал Добролюбов, была «слабейшей и осторожнейшей в обличениях, чем все другие журналы ей современные». Метод ее состоял в абстрактной сатире на «порок». Это не исключало, конечно, того, что отдельные страницы оказывались живыми и интересными. Но «добрый вкус и здравое рассуждение», на которые надеялась в своей вступительной статье «Всякая всячина», не сумели повести за собою «доброе поколение Всякия всячины»: все почти без исключения (кроме разве «Приятного с полезным») журналы 1769 г. пошли по пути сатиры на «лицо». Для правительственного журнала это было первым и серьезным предупреждением: общественное мнение, поскольку оно могло найти выражение в литературе, было за то, чтобы придать сатирическому осмеянию более осязательный и эффективный характер. Журналы, в особенности такие, как «Смесь», «Трутень» и «Адская почта», целили в определенные личности и, хотя выводили их под условными именами, вроде Злорад, Кащей, Стозмей и т. п., но при сравнительной малонаселенности тогдашнего Петербурга и достаточной бытовой осведомленно-

сти тогдашних читателей эти литературно-условные имена превращались в обозначения определенных живых лиц. Поэтому могло случиться так, что какой-нибудь Стозмей и его любовница Перекраса, фигурирующие в «Трутне» (лист XVI, августа 11 дня), появляются в «Смеси» (лист 20, вышедший около этого же времени) и в «Адской почте» (ноябрь, стр. 315).

Так, например, в листе 21 «Смеси» помещен «Разговор Меркурия с издателем „Смеси"», где, между прочим, Меркурий обращается к своему собеседнику с вопросом, не хочет ли он посмотреть «новых песен с изображением Пегаса». На это издатель «Смеси» отвечает, что книжку эту видел, но не знает, для чего тут приплетен Пегас. Меркурий объясняет: «Ты видишь, что Пегас сердит и сшиб с себя сего писателя» (стр. 164). А. Н. Афанасьев в своем исследовании «Русские сатирические журналы 1769—1774 годов» раскрыл смысл этого намека: в 1769 г. Херасков издал книжку своих стихотворений под названием «Философические оды, или песни Михайла Хераскова», на заглавном листе которой изображен летящий Пегас. И вот этот беглый намек, помещенный в середине августа в «Смеси», повторяется в сентябрьской книжке «Адской почты»: «Я слышал, Асмодей, что и Никанор стихотворцем называется. Вот как свет с часа на час чистится. Прежде подьячие грамоте не знали, а ныне они стихотворствуют. Скоро уже челобитны будут писаться в стихах... Никанор теперь и в сочинителях не последнее имеет место. Он силился всползти на самый верх Парнасса, но Пегаз заднею ногою его оттуда сшиб. Итак он вступил теперь в службу ябеды» (стр. 74). Для лиц, близко стоявших к тогдашней литературе и литераторам, приведенная из «Адской почты» цитата была очень понятна. Выражение «свет с часа на час чистится» было перифразом любимого изречения Хераскова о небходимости «чистить» язык, разум, стихотворство; эти слова часто встречаются в его статьях в «Полезном увеселении» и «Свободных часах», даже в последующей анекдотической литературе о нем. Слова «подьячие грамоте не знали, а ныне они стихотворствуют» надо понимать как указание на то, что Херасков был директором Московского университета, т. е. чиновником, подьячим. О смысле выражения «Пегаз заднею ногою его с Парнасса сшиб» сказано выше. Наконец, последняя фраза, что «он вступил в службу ябеды» связано, очевидно, с ожидавшимся переездом Хераскова из Москвы в Петербург и слухами о поступлении его на службу в один из департаментов Сената.

Таким образом, самые легкие штрихи, казалось бы неуловимые и неосязательные намеки, раскрывали тогдашним читателям адресатов сатирических нападок современной журналистики.

Конечно, не в каждой строчке журналов 1769 г. следует искать конкретный намек, но от мысли, что перед нами «общая», «абстрактная» сатира, нужно отказаться, как бы ни утверждали издатели тогдашних журналов противное. Например, Эмин, издатель «Адской почты», уже во второй книжке журнала пишет: «Многие говорят, что и бесы мои целят на многих, но так думающие стыдиться будут, когда при конце сего года доказана будет несправедливость их мыслей. Бесы, сколько мне понятно, описывают вообще пороки и разные злоупотребления; естьли же кто себя во оных сыщет, то виноват порочный, а не бесы, и ежели он на них негодует, то сам себя выводит наружу, а не издатель» (стр. 78). Итак, Эмин категорически отрицает конкретность своих указаний. Насколько это верно, можно судить по самому маленькому «письму» «Адской почты» (Письмо 65. От Кривого к Хромоногому,

стр. 224—225): «Вчерашнего дня я обедал у Фортуниада. Сей человек, известный щастием, которое лет с двадцать ему все приятства оказывает, хотя, как тебе известно, родился между людьми самой бедной и низкой породы; однако, фортуною будучи на высокую степень вознесен, не гордится с излишеством своим благополучием, как обыкновенно делают люди из ничего во что-нибудь претворенные. Мне то вчера странно показалось, что стихотворец в оде своей, ему поднесенной, произвел его фамилию от римских императоров, хотя не только сего господина род, но и он сам до 20 лет и о имени простого дворянства не слыхал. Ласкатели обыкновенно за щастием вслед ходят. Теперь вельможу Фортуниада живописцы стараются преставить или Юпитером, или Марсом, либо Аполлоном, а сочинители приписывают ему такой разум и такое просвещение, которого они и сами не имеют; но он, яко человек разумный, их ласкательствам смеется». Последняя, казалось бы абсолютно безразличная, безобидная фраза этого «письма» акцентирует внимание читателя на словах «разум», «разумный» и, по звуковой аналогии, заставляет вспоминать фамилию вельможи гр. А. Г. Разумовского, судьба которого полностью совпадает с тем, что сказано о Фортуниаде; даже деталь о стихотворце, произведшем род Разумовских от римских императоров, оказывается реальной: речь идет о пиите Михайле Козачинском, который в своей поэме «Философия Аристотелева по умствованию перипатетиков» (Львов, 1745) писал о «Шляхетной енеалогии благородных господ Разумовских», связывая их с Октавианом Августом.

Итак, поколение «Всякой всячины» пошло по линии сатиры на «лица», чем немало возмутило правительственный журнал. Началась длительная и ожесточенная полемика по вопросу о допустимом характере сатиры. Инициатива в данном случае принадлежала опять-таки «Всякой всячине». В статье 36 «Мой взор обращен к истине одной» (стр. 98—101) проводится мысль, что «дурная шутка... рассуждениями своими падает всегда на особы. Она задирает порочного, а не пороки; писателя, а не сочинения». То обстоятельство, что цитированная часть статьи является переводом из «Спектатора», роли не играет: перевод этот не случаен, а выражает позицию «Всякой всячины». Через некоторое время в статье 52 (без заглавия) редакция вновь касается той же темы. Сообщая одному из своих корреспондентов, что письмо его не будет напечатано, редакция рекомендует ему «сколько возможно упражняться во чтении книг таких, посредством которых мог бы он человеколюбие и кротость присовокупить к прочим своим знаниям, ибо нам кажется, что любовь его ко ближнему более простирается на исправление, нежели на снисхождение и человеколюбие; а кто только видит пороки, не имев любви, тот неспособен давать наставления другому» (стр. 139—140). Этот листок «Всякой всячины» вышел в свет около 7 мая, а в пятом листе «Трутня» от 26 мая было помещено интересное письмо, подписанное псевдонимом Правдулюбов и помеченное 9 мая; оно представляет остроумную и резкую критику приведенных выше слов из «Всякой всячины».

Письмо Правдулюбова метко бьет в слабые места «Всякой всячины»: «Многие слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия. Они говорят, что слабости человекам обыкновенны, и что должно оные прикрывать человеколюбием; следовательно, они порокам сшили из человеколюбия кафтан, но таких людей человеколюбие приличнее назвать пороколюбием. По моему мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, не-

жели тот, который оным снисходит или (сказать по-русски) потакает и ежели смели написать, что учитель, любви к слабостям не имеющий оных исправить не может, то и я с лучшим основанием сказать могу, что любовь к порокам имеющий никогда не исправится» («Трутень», изд. 3-е, стр. 29).

«Всякая всячина» была не на шутку уязвлена письмом Правдулюбова; ответ ее полон нескрываемого раздражения: «На ругательства, напечатанные в Трутне под пятым отделением, мы ответствовать не хотим, уничтожая оные... Думать надобно, что ему бы [господину Правдулюбову] хотелось за все да про все кнутом сечь. Как бы то ни было, отдавая его публике на суд, мы советуем ему лечиться, дабы черные пары и желчь не оказывалися даже и на бумаге, до коей он дотрогивается» (стр. 174—175). По существу же обвинений Правдулюбова она возразить не могла ничего.

Дерзкий ответ Правдулюбова на эту заметку «Всякой всячины» показывает, что тогдашним читателям и литераторам было известно, кто скрывается под маской анонимного издателя «Всякой всячины», т. е., что этот издатель — сама Екатерина. Второе письмо Правдулюбова начинается так: «Госпожа Всякая всячина на нас прогневалась и наши нравоучительные рассуждения называет ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думал. Вся ее вина состоит в том, что на русском языке изъясняться не умеет и русских писаний обстоятельно разуметь не может; а сия вина, — политично прибавляет Правдулюбов, — многим нашим писателям свойственна». Этот тезис автор письма аргументирует следующим образом: «Госпожа Всякая всячина написала, что пятый лист Трутня уничтожает. И ето как то сказано не по-русски; уничтожить, то есть в ничто превратить, есть слово самовластию свойственное; а таким безделицам, как ее листки, никакая власть не прилична; уничтожает верьхняя власть какое-либо право другим. Но с госпожи Всякой всячины довольно бы было написать, что презирает, а не уничтожает мою критику» (стр. 47—48).

Для фразеологии сатирических журналов 1769—1774 гг. цитированные места очень характерны. Всем было тогда известно, что у Екатерины, довольно плохо владевшей русским языком, была слабость — выдавать себя за настоящую писательницу. Ее подлинные тексты иногда до уморительного неправильны, поэтому до появления в печати они подвергались серьезной правке, которая не всегда, однако, была в состоянии устранить своеобразие языка этой «русской писательницы». На слабое знание русского языка, как видно из цитированного письма Правдулюбова, указывалось не только в связи с употреблением слова «уничтожить» в смысле «ставить в ничто». Стоит прочитать начало первого листа «Всякой всячины», чтобы почувствовать, что это не русский язык, а «язык» Екатерины, исправленный Козицким, очевидно, техническим редактором этого журнала. Таким образом, этот пункт ответа Правдулюбова был неприкрытым выпадом против Екатерины. Еще более откровенным был намек на Екатерину во втором цитированном отрывке, где автор играет терминами «самовластие», «никакая власть», «верьхняя власть».

Начавшаяся таким образом полемика не могла привести к хорошим результатам. Раздраженная Екатерина отдала, очевидно, предписание построже следить за журналами, в которых печатались сатиры на «лица». Во всяком случае, вскоре после этого в «Трутне» в статье «Ведомости», подражавшей в своей структуре «Санкт-Петербургским ведомостям», в разделе «Подряды» было напечатано следующее многозначительное

«объявление»: «Издателю Трутня для наполнения еженедельных листов потребно простонародных сказок и басен: ибо из присылаемых к нему сатирических и критических пиес многих не печатают...» (лист XVIII, августа 25, стр. 112).

Спор о характере сатиры повлек, таким образом, усиление цензуры, а затем и полное закрытие ряда журналов. Только потерявший свой задор «Трутень», да еще правительственная «Всякая всячина» перешли в 1770 г., все прочие журналы 1769 г. прекратились постепенно в течение первого года издания.

Второй пункт, вызвавший оживленные прения в журналах 1769 г., был вопрос о бюрократии, о подьячих. И опять-таки начало полемике положила та же «Всякая всячина». В статье 60 (стр. 159) помещено письмо, подписанное «Занапрасно ободранной», очень напоминающее манеру Сумарокова и едва ли не ему принадлежащее. Автор просит «буде найдется, такий експеримент, коим бы можно перевести подьячих, которые до третьего градуса привели меня во изнеможение. Я старался и тем от них избавиться способом, — продолжает «Занапрасно ободранной», — которым переводят клопов, блох и всех кровососных насекомых, однако, ничем не мог оборониться, но истоща весь свой дом на то, и ныне стражду от сих кровососов». Редакция «Всякой всячины» на это ответила: «Подьячих не можно и не должно перевести. Не подьячие и их должности суть вредны, но статься может, что тот или другой из них бессовестен. Они менее других исключены из пословицы, которая говорит, что нет рода без урода, для того, что они более многих подвержены искушению. Подлежит еще и то вопросу: если бы менее было около них искушателей, не умалилася ли бы тогда и на них жалоба? Но чтоб удовольствовать писателя вышепоставленныя грамоты в его требовании, как перевести обычай, чтобы подьячие не приводили никого в изнеможение, в ответ ему скажу, что сие весьма легко. Не обижайте никого; кто же вас обижает, с тем полюбовно миритеся без подьячих; сдерживайте слово и избегайте всякого рода хлопот» (стр. 160).

На эту защиту бюрократического аппарата и проповедь добродетельного жития, избавляющего от подьячих и их лихоимства, откликнулась «Смесь», которая, подобно Правдулюбову, довольно резко намекнула на связь «Всякой всячины» с Екатериной и ее бюрократией: «Бабушка [т. е. Всякая всячина] говорит, что подьячих искушают и для того они берут взятки, а это так на правду походит, как то, что чорт искушает людей и велит им делать злое. Право, подьячие без всякого искушения сами просят за работу. Сия же старушка советует, чтобы не таскаться по приказным крючкам, то должно мириться и разделываться добровольно; всякий сие знает, и конечно попустому тягаться не сыщется охотников. Верно, естьли б все были совестны и наблюдали законы, то не надобно было бы судов и приказов и подьячим бы не шло государево жалованье. Но когда сие необходимо, то для чего ей защищать подьячих? Знать, что они-то истинное ее поколение» (стр. 86).

Другие журналы отвечали на статью «Всякой всячины» сообщением ряда материалов о плутнях подьячих, взяточничестве и криводушии судей, развращенности государственного аппарата и т. д. Все это, конечно, шло значительно дальше узких границ, намеченных «Всякой всячиной», и сатира «Трутня», «Смеси» и «Адской почты» делалась, таким образом, средством борьбы с крепостническим государством, конечно, не революционной борьбы, но тем не менее борьбы, имевшей для той эпохи прогрессивный характер.

2. Вопрос о крестьянах. Вопрос о галломании

Еще важнее были расхождения между «Всякой всячиной» и ее «потомством» по вопросу о положении крепостных. И в данном случае первое слово по этому поводу сказала «Всякая всячина». В отделении 32-м («Мне случилося жити в наемных домах. . .», стр. 89—95) сообщается о жестоком соседе автора. «Лишь я успел переехать [в приобретенный дом], то услышал вместо поздравления с новосельем превеликий крик. Я осведомился, что тому причиною? Мне сказали, что мой сосед милостиво наказывает своих людей на конюшне своей плетьми. Я спросил, часто ли то бывает? Ответствовали мне, что кроме воскресных дней и господских праздников, почти всякий день. Я позадумался, вошед в палаты, и пенял на себя, что безо всякой осторожности купил дом, в котором мне будет такое беспокойство, моим малым детям непрерывный пример суровости; и зачал было мыслить, как сему лиху помочь». Новая выходка злонравного соседа, вздумавшего рыть колодец под стеной, отделяющей владение автора, отвлекает последнего от размышлений о положении дворовых людей соседа, и лишь в самом конце статьи автор вспоминает о них: «Видя. . ., что старик таков, принужден был требовать запрещения старику рыть колодезь. Но за людей кто смеет вступиться? Хотя сердце соболезнует о их страдании. О всещедрый боже! Всели человеколюбие в сердце людей твоих».

Таким образом, «Всякая всячина» ставит вопрос о положении крепостных не как проблему социальную, а как этическую, моральную; здесь решается не коренной вопрос о крепостничестве, а казнится жестокосердие скверного помещика, или, как осторожно выражается «Всякая всячина», отсутствие в нем «человеколюбия». Собственно говоря, в анализируемой статье «Всякой всячины» нет даже изображения тяжелого положения крепостных, а только разговоры о нем, суждения и благочестивые возгласы об исправлении худых помещиков. И вообще «Всякая всячина» воздерживается от сколько-нибудь подробной трактовки этой темы: мимоходом сообщается от имени помещичьего сынка, что он бивал в детстве крестьянских ребят, своих сверстников (стр. 241); мельком говорится о том, что «господин Благодать по поводу нашей страницы 95 на сожаление о рабах [цитированное выше] нечто написал. Секретарь нашего приказа пометил над оным: бить челом и представлять, где надлежит» (стр. 248), и ни звука более по поводу этого отклика. Наконец, в очень важном отделении 127 («Молодые люди всего желают отведать. . .»), о котором подробнее см. в главе о «Всякой всячине», проводится мысль, что положение крестьян естественно, как и остальных членов общественного организма (стр. 340).

Иную позицию занимают «Смесь» и в особенности «Трутень». В «Смеси» (лист 3, стр. 22) в «Разговоре Леандра с Мизантропом» есть следующее характерное место.

«Мизантроп: Мне кажется, что вы философствуете и предпочитаете умеренную и спокойную жизнь всем светским пышностям. Леандр: Без сомнения. Мизантроп: Я не думал, чтоб вы, будучи еще молоды, так здраво рассуждали. Неужели вы не променяете малого своего домика на огромные палаты, которых почти каждый камень омочен слезами разоренных крестьян?».

От этого только кстати оброненного замечания «Смесь» в развитие крестьянской темы переходит к интересной статье «Речь о существе простого народа» (лист 25, стр. 193—198). Ироническая «речь» местами предвосхищает крыловское «Похвальное слово в память моему

дедушке». Считая, вместе со всеми философами, что «один только разум отличает человека от животных», и анализируя с этой точки зрения положение крестьян, автор приходит к выводу, что они «делают все, что нам потребно, так точно, как работные лошади и волы. Следовательно, они имеют одно только стремление, свойственное животным, а не разум». Сопоставляя жизнь «благородных» и крестьян к невыгоде последних, «Смесь» заключает: «Чем далее кто начнет рассуждать, тот более будет находить, что по сим основаниям нет разума в простом народе». Автор иронически сомневается, есть ли у простолюдинов добродетели, «затем что стихотворцы прославляют добродетели лирическим гласом, однако, я никогда не читал похвальной оды крестьянину, также как и кляче, на которой он пашет». Особенно заслуживают внимания дальнейшие рассуждения автора: «Простой народ терпелив, он сносит голод, жар, стужу, презрение от богатых, гордость знатных, нападки от управителей, разорение от помещиков, одним словом, от всех, кои его сильнее. Можно признаться, что он терпелив; однако, не смею еще вменить сие в добродетель, затем что добродетели присвояются одним благородным. Итак, все, что можно зделать для простого народа, я зделаю и назову его терпение хорошим качеством. Ибо простолюдимы безрассудны: они справедливы, верны, набожны и исполняют многие похвальные дела; но не рассуждают, для чего сие делают, и какая им из того происходит польза. Напротив того, благородные никогда без пользы не будут трудиться». Заключается статья тезисом, «что и простой народ есть создание, одаренное разумом, хотя князья и бояре утверждают противное. Но что до того нужды: многие сограждане видят истину, закрытую завесою ложного предрассуждения. Пусть народ погружен в незнании, но я сие говорю богатым и знатным, утесняющим человечество в подобном себе создании».

Затрагивает крестьянскую тему и помещенное в листе 26 «Смеси» письмо «настоящего камчедала» (стр. 209—216). Оно заключает сатиру в форме замечаний дикаря, удивленного цивилизацией и видящего в современном обществе те пороки, которые сокрыты от привычного взгляда члена этого общества — «светского человека». В «наивных» рассуждениях камчадала представлены недостатки и нелепости социального и бытового уклада России XVIII в.

Этот камчадал, изображая «здешний город», т. е. Петербург, «которой мне кажется наполнен колдунами», после стилизованной характеристики высшего общества и чиновного круга, обращается к теме о крепостных. «Колдовство, — пишет «камчедал», — уверяет простой народ, что он должен пахать, сеять и собирать жатву единственно для своих помещиков, а иногда оттого и умирать с голоду: одним словом, он думает, что рыбы, птицы и все видимое на свете принадлежит боярам». Далее говорится о развращающем влиянии, которое оказывает на «праводушных крестьян» превращение в дворовых, в швейцаров, а также о проституции. В конце своего письма «настоящей камчедал» переходит от описания нравов Петербурга к обобщенной характеристике провинциальной жизни, причем снова затрагивает «крепостную тему»: «Не только что в сем городе так много колдовства, но сказывают еще мне, что во всяком малом городе есть колдун в виде воеводы, и все простолюдимы его боятся, затем что опасаются его гнева. Сей волхв в определенном ему пространстве приемлет в свою власть и ветры, и облака; от него зависит изобилие и недостаток; в его руках щастие и нещастие крестьян, и он так жестокосерд, что простой народ ежедневно молит бога о смягчении его сердца».

Если сопоставить «филантропизм» «Всякой всячины» в отношении крепостных с тем, как та же тема изображается на страницах «Смеси», то нельзя не признать за последней демократичности и подлинного сочувствия и уважения к «простому народу». Наконец, в условиях тогдашней цензуры это местами было просто смело. Недаром, «Смесь», вместе с «Трутнем», стояла на левом фланге тогдашней журналистики. Характерно, что «Адская почта» осторожного Эмина посвятила теме крепостничества одну только статью, в которой говорится о злоупотреблениях при сдаче крепостных в рекруты (июль, письмо 2, стр. 10—12), а в прочих журналах 1769 г. нет даже и этого. Зато тем рельефнее выступает на этом фоне «рабьего молчания» жгучее и горькое слово «Трутня».

Уже самый титул журнала «Трутень», — несмотря на все литературно-бытовые аргументы, приводимые Новиковым, — имел аллегорический смысл, мало приятный для дворянства этой эпохи. И особенно подчеркивался этот смысл эпиграфом к первой части журнала, эпиграфом, взятым из притчи Сумарокова «Жуки и пчелы» и гласящем так: «Они работают, а вы их труд ядите». Впрочем, к развернутой борьбе с помещичьим произволом Новиков приступил почти через полгода после начала издания журнала. В листе 24 «Трутня» (6 октября, стр. 147—149) было напечатано продолжение «Рецептов», начатых в предыдущем номере и состоявших в перечислении средств к исправлению различных пороков: тщеславия знатной породой, судейского корыстолюбия, стихотворческого самолюбия, алчности откупщика и т. п. Среди «рецептов» листа 24 находится резкое по началу, но очень смягченное к концу выступление против крепостничества. «Рецепт» прописан «для г. Безрассуда». Последний «болен мнением, что крестьяне не суть человеки, но крестьяне, а что такое крестьяне, о том он знает только по тому, что они крепостные ево рабы. Он с ними точно так и поступает, собирая с них тяжкую дань, называемую о б р о к». Далее обрисовывается высокомерное и жестокое отношение «г. Безрассуда» к своим крестьянам. «Он... думает: „Я — господин, они — мои рабы, они для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день, и ночь работать и исполнить мою волю исправным платежом оброка; они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора". В дополнение к сему прибавляет он, что точно о крестьянах сказано: „в поте лица своего снеси [=ты будешь есть] хлеб свой". Бедные крестьяне любить ево как отца не смеют, но, почитая в нем своего тирана, ево трепещут. Они работают день и ночь, но со всем тем едва-едва имеют дневное пропитание, затем, что насилу могут платить господские поборы». Указав, что подобное отношение Безрассуда к крепостным отражается на их самооценке, на их приниженности, что «они не смеют и мыслить, что они человеки», Новиков переходит к морализующей части статьи — крестьяне Безрассуда несчастны, потому что он жесток и бесчеловечен. Но «прочие их братья у помещиков-отцов наслаждаются вожделенным спокойствием, не завидуя никакому на свете щастию, ради тово, что они в своем звании благополучны». Новиков пытается урезонить Безрассуда таким доводом: «Подумай, как должны гнушаться тобой истинные человеки, человеки господа, господа, отцы своих детей, а не тираны своих, как ты, рабов. Они гнушаются тобою, яко извергом человечества, преображающего нужное подчинение в несносное иго рабства». Концовкой этой статьи является «от сей вредной болезни рецепт: Безрассуд должен всякой день по два раза рассматривать кости господские и крестьянские до тех пор, покуда он найдет различие между господином и крестьянином».

По поводу статьи «Для г. Безрассуда» прежде всего должно сказать, что она построена по типичному для XVIII в. принципу: методом борьбы со злом является противопоставление отрицательному явлению положительного, не как идеала, а как якобы реально-существующего. На этом построены трагедии Расина, на этом построены оды Ломоносова, комедия Фонвизина «Недоросль» и т. п. То, что часто считали «лестью», «придворной ложью» и т. д., было формой проведения положительных идеалов. Таким образом, крепостные, о которых Новиков пишет, что они «у помещиков-отцов наслаждаются вожделенным спокойствием, не завидуя никакому на свете щастию, ради того, что они в своем звании благополучны», это не реальные крестьяне XVIII в., будто бы известные автору, а «реализованный» идеал. Этот идеал, конечно, недостаточен, он исходит из положения о «нужном подчинении», но восстает против «несносного ига рабства».

Эту недостаточность, половинчатость позиции Новикова метко охарактеризовал Добролюбов в своей работе о русской сатире 1769—1774 гг.: «Рецепт заставляет думать, что у автора была идея о несправедливости человеческой власти вообще. „Крестьяне суть тоже человеки и даже более похожи на людей, чем иные помещики; а человеку человеком владеть как вещью — не должно". Таковы, кажется его основные мысли. Но всматриваясь пристальнее, находим, что и здесь была на уме у автора только отвлеченная мораль, потому что он тут же восхваляет „человеков господ, господ — отцов своих детей, а не тиранов своих рабов". Следовательно, и в этой статейке та же непоследовательность, которою страдает вообще сатира прошлого столетия. Вместо прямого вывода: „крестьяне тоже человеки, следовательно, помещики не имеют над ними никаких прав", представлен другой очень неполный: „крестьяне тоже человеки, следовательно, не нужно над ними тиранствовать"».

Та «непоследовательность», которую заметил в «рецепте г. Безрассуду» Добролюбов, особенно проявилась в следующем эпизоде в деятельности «Трутня». В следующем, листе (25) новиковского журнала было помещено коротенькое письмо из Москвы (стр. 155—156), в котором сообщалось о «новоизобретенном плутовстве», при помощи которого «помещики, забывшие честь и совесть», обходят во время рекрутского набора «запрещение чинить в продажу крестьян в рекруты и с земли до окончания набора». Автор письма заключает свое сообщение просьбой к издателю: «напишите ко отвращению сего зла средство». Новиков на это ответил: «Ето не мое дело». Позиция его понятна: между помещиками и крепостными существуют отношения «нужного подчинения»; следовательно все, что правильно с точки зрения формального закона (а в «новоизобретенном плутовстве» при продаже рекрутов формальная законность соблюдена), не противоречит взглядам Новикова, хотя бы аморальность факта была очевидна сама по себе.

Но, несомненно, в ту эпоху было немало людей, имевших более радикальные, нежели Новиков, взгляды на разрешение крестьянского вопроса. Безусловно, к числу последних должно отнести и некоего Заботина, приславшего Новикову письмо следующего содержания: «Г. издатель! Я прибегаю к вам и прошу вашей помощи. В соседстве со мною оказалися болезни, от которых господа лечители тел наших отказались, говоря: не наше де ето дело. Итак, надеяся на вас, опишу вам болезни моих соседей, а вы, пожалуйте, напишите им рецепты, которые с благодарностию примет ваш слуга Заботин» (лист 27, октября 27). Письмо это явно метит в самого Новикова, «рецепты» которого в ли-

стах 23 и 24 «Трутня» прописаны от имени «Лечителя» и который, как указано было выше, на письмо о злоупотреблениях с продажей рекрутов ответил: «Его не мое дело». Но, повидимому, издатель «Трутня» не понял намека. «Описания болезней» были помещены, и среди них и болезнь г. Злорада. Она состоит, по словам Заботина, в том, что Злорад считает, «что слуг, ему подчиненных, ко исполнению своих должностей ничем иным принудить невозможно, как строгостию, иль паче зверством и жестокими побоями». Он наказывает их даже по пустякам зверски. Отношение Злорада к своим рабам жестокое и лютое. «Любовь к человечеству он опровергает, но утверждает, что рабам жестокость и наказание так, как и дневная пища, необходимо нужны» (стр. 163—165).

Едва ли можно сомневаться, что намерение Заботина было вызвать Новикова на решительное объяснение по вопросу о положении крепостных. Для этого был повторен материал, данный в свое время Новиковым под именем Безрассуда, но здесь еще более заострен и направлен в социально-политическую, а не абстрактно-моральную плоскость. Новиков, однако, остался верен себе: рецепт «для г. Злорада» (стр. 167) составлен в плане отвлеченной этики: «Чувствований истинного человечества 3 лота; любви к ближнему 2 золотника, и соболезнования к нещастию рабов 3 золотника положа вместе истолочь и давать больному в теплой воде, а потом всякой час давать ему нюхать спирт, делающийся из благоразумия. Естьли ж и сие не поможет, тогда дать больному принять волшебных капель от 30 и до 40. Сии капли произведут то, что он сам несколько часов будет чувствовать рабское состояние и после сего, конечно, излечится».

Таково отношение самого Новикова к острейшей проблеме той эпохи, к вопросу о крепостных, и в самый почти канун пугачевского движения. Непоследовательность, половинчатость, «дворянский гуманизм», апелляция к «человечности» — вот, что характеризует позицию Новикова в крестьянском вопросе. Но к чести его должно сказать, что, будучи сам столь двойственен и нерешителен, он давал в своем «Трутне», как позднее в «Живописце», место более радикальным взглядам. Здесь речь идет о знаменитых «Копиях с отписок» крестьян к помещику Григорию Сидоровичу (стр. 159—162) и «Копии с помещичьего указа» (стр. 183—186), являющегося ответом на крестьянские «отписки». Общеизвестность этих материалов освобождает нас от необходимости подробно их излагать.

Отличительной чертой этих «отписок» является их конкретность, реалистичность. В то время как во всех почти предыдущих выступлениях журналистов 1769 г. против крепостничества мы имеем дело с обобщенными изображениями «порока» («зверство», «лютость», «суровость», «отсутствие человеколюбия», безразлично, относится ли к Злораду, Безрассуду или какому-либо другому помещику), в «Копиях с отписок» каждая строка, каждая фраза звучит такой искренностью, такой жизненной правдой, такой безыскусственной простотой, что вполне понимаешь сказанное Добролюбовым: «Эти документы так хорошо написаны, что иногда думается: не подлинные ли это?».

Конечно, «Копии с отписок» и «Копии с помещичьего указа» не подлинные документы, но они написаны с исключительным знанием жизни крепостных предпугачевского времени, и притом написаны большим мастером. Центральная тема «отписок» и «помещечьего указа» — экономическое положение крестьян. Здесь уже нет «филантропических» и «гуманистических» рассуждений о том, что крестьяне такие же люди, как и помещики. С исключительной силой набросана картина жесто-

кого вымогательства помещика. За одну треть года ему староста должен доставить 225 рублей со ста пятидесяти душ переписного населения, т. е. по 4 р. 50 коп. с души в год. Но фактически, как сообщает староста, «после переписи у нас в селе и в деревне померло больше тридцати душ, а мы оброк платим всьо тот же». С живой души уже приходится свыше 5 р. 60 коп. Насколько значительна была эта сумма, можно видеть из следующих данных: в «Живописце» (1772, лист 15, стр. 119) сообщается, что в деревне Григория Григорьевича Орлова оброк положен по полтора рубля с души в год. Таким образом, рядовые помещики, Григории Сидоровичи, Тарасы Скотинины, Простаковы, отец Фалалея и другие хищники непомерными оброками грабили и разоряли своих крепостных. Но из «Копий с отписок» явствует, что оброк был только частью поборов с крепостных: «Еще твоей милости доношу, ягоды и грибы нынешним летом не родились, бабы просят, чтоб изволил ты взять деньгами, по чему укажешь за фунт; да еще просят, чтобы за пряжу и за холстину изволил ты взять деньгами». Строительный лес продается крестьянам втридорога «по пяти рублев за избу», а когда за недоимки продаются избы крестьян, то идут «две клети за три рубли за десять алтын», т. е. за одну треть стоимости. Здесь же сообщается, что корова продана «за полтора рубля». На каждом шагу на крепостных налагается штраф, даже за то, что в своих челобитьях они именуют помещика отцом, а не господином. Меры взыскания примитивно-скотининские: «Неплательщиков, — сообщает староста, — по указу твоему господскому, на сходе сек нещадно, только они оброку не заплатили, говорят, что негде взять»; «неплательщики всё прибавляются, и я, по указу твоему, сбор делал всякое воскресенье, и неплательщиков секу на сходе, только им взять негде, как ты с ними ни поволишь»; «с Антошки за то, что он тебя в челобитной назвал отцом, а не господином, взято пять рублев, и он на сходе высечен»; Филатка сообщает барину, что он «на сходе высечен». А в «помещичьем указе», состоящем из 16 пунктов, только и говорится о том, чтобы сечь нещадно: старосту — «за то, что он за крестьянами имел худое смотрение и запустил оброк в недоимку», за то, что он якобы за взятки не собирал оброк; «неплательщиков при собрании всех крестьян сечь нещадно»; новому старосте «подтвердить, чтобы он о зборе оброчных денег имел неусыпное попечение и неплательщиков бы сек нещадно». Почти все остальные пункты посвящены штрафам и иным формам вымогательства денег.

Но «Копии с отписок» и «с помещичьего указа» не только беспощадный обвинительный акт против алчности крепостников, едва ли сгущающий мрачные краски предпугачевской действительности; это образцы зарождающегося реализма, умело соблюдающего принятый эпический тон бесстрастности в письме старосты и дрожь неподдельной горечи и отчаяния в челобитной Филатки. Сила авторского сарказма заключается именно в той безыскусственности и простоте, в той деловитости и обыденности, которыми пропитаны «отписки» и «указ». Без патетических восклицаний и слез о «несчастных поселянах» автор развертывает перед подавленным читателем потрясающую своей жизненной правдой картину и заставляет его сделать выводы, идущие гораздо дальше, чем, может быть, хотелось Новикову. И как либерально беззубо звучит новиковское «новогоднее пожелание поселянам». («Трутень», 1770, лист 2, январь 12, стр. 232) после этих страниц, мрачных, вызывающих глубокое негодование и гнев читателей. Вот это пожелание: «Я желаю, чтобы ваши помещики были ваши отцы, а вы их дети.

Желаю вам сил телесных, здравия и трудолюбия. Имея сие, вы будете щастливы, а щастие ваше руководствует ко благосостоянию всего государства».

Три пункта спора были у важнейших журналов 1769 г. — вопрос о сущности и задачах сатиры, о роли и назначении бюрократии (подьячих) и, наконец, о положении крепостных. Во всех этих вопросах, «Всякая всячина» занимали правый фланг, колеблющаяся и компромиссная «Адская почта» — центр и решительные «Смесь» и «Трутень» — левый фланг. При этом нужно помнить, что издатель «Трутня» был более осторожным человеком, чем некоторые из его сотрудников.

Что касается других вопросов русской жизни того времени, то и здесь, несмотря на большее или меньшее сходство взглядов, заметно такое же разделение. Такие проблемы, как воспитание, этика семейной жизни, петиметрство, старинные суеверия, галломания, взаимоотношения литераторов между собой, и т. д., — находили на страницах этих журналов многообразные отклики и отражения. Из перечисленных тем сатирических журналов 1769 г. здесь следует остановиться на последних: галломании и отношениях писателей между собой.

Вопрос о галломании был поставлен в русской литературе в начале 1750-х годов. Тогда на галломанов нападали Сумароков и его сторонники; это было одна из форм политической борьбы дворянской оппозиции против правительства Елизаветы Петровны: проводником французского влияния при дворе была та вельможная верхушка, с которой упорно воевали литературные вожди передового дворянства, писатели сумароковского направления.

В годы царствования Екатерины этот момент отпал и тема галломании возникла в новой плоскости, причем одновременно в двух различных и враждебных друг другу лагерях. С одной стороны, борьба с галломанией была борьбой передовых литературных сил за национальные пути развития русской культуры против распространенного в аристократических кругах преклонения перед Западом.

С другой стороны, против галломании ополчилось правительство Екатерины. Дело в том, что первая турецкая война, которую Россия вела с 1769 г., была в значительной мере спровоцирована Францией, давнишней союзницей Турции. Так, в одном из первых листов «Всякой всячины» было помещено письмо Адама Адамова — сына Варгейта,[1] якобы немца-ювелира (очевидно, это псевдоним Екатерины). Варгейт описывает медаль, которая побывала в его руках: «Представляет она, с одной стороны, султана турецкого, на престоле седящего, окруженного вельможами, из которых один наднес меч на главу простертого у ног султанских человека: лилеи [лилия — герб королевской Франции], изображенные на порфире его, поднесенные им в мешках деньги, лежащие у подножия престола, — всё сие довольно показывает, откуда, кто и для чего сей в рабском виде представленный человек. Но другая сторона медали еще более то изъясняет в следующей надписи: „Друг турок, друг алжирцев, друг варваров, ненавистник и гонитель христиан". Я по-латыни не разумею, а тот приятель мой, который мне сию надпись перевел, сказал мне: нечему де удивляться, что бывало, то есть и будет...» (стр. 40). К нападкам на Францию в связи с турецкой войной присоединились и другие журналы. Так о политических интригах Франции против России говорится и в «Адской почте» в письме 31 от Хромоного к Кривому; там, в частности, сообщается что «король народа, все

[1] Wahrheit — правда.

щегольства, хитрости и всякие славные безделицы выдумывающего, призвал в главное собрание своего первого министра и спросил его, что он думает о недавной его выдумке, приведшей в несогласие двух сильнейших в свете владетелей» (стр. 113). Носились слухи, и, может быть, не лишенные основания, что французские артиллеристы служили в турецких войсках. В «Трутне» (лист 21, сентябрь 15) помещена беседа трусливого старичка с офицером, прибывшим из действующей армии. «Я верно слышал, — говорит старичок — будто у них [турок] все пушкари какие-то европейские христиане. Екие проклятые, проливают кровь христианскую за босорманов, а у турок и без них армия втрое нашей больше. Я думаю, что им за то и во аде места не будет» (стр. 129). Все это вместе бросает дополнительный свет на подоплеку борьбы с французоманией в 1769—1774 гг.

3. Литературная полемика

Обращаясь к последней теме — о взаимоотношениях писателей той эпохи между собой, должно сказать, что в нашей науке раскрыто довольно много намеков, насмешек, пародий и т. п., содержащихся в изданиях 1769—1774 гг. Как раз эта тема была наиболее общей для всех тогдашних журналов. Если на темы о подьячестве и о крепостном праве в ряде журналов нельзя найти никаких материалов, то зато «осмехание худых стихотворцев», нападки на модных писателей находят место во всех буквально изданиях этих лет. И все же, несмотря на большую подготовительную работу, нельзя сказать, чтобы весь материал был исчерпан или даже правильно прокомментирован. До сих пор исследователи брали из материалов сатирической журналистики только то, что лежит, так сказать, на поверхности. Поэтому и выходит, что объектами насмешки в тогдашних изданиях были только Лукин, Петров, Козельский, отчасти Херасков, да еще Рубан, Чулков и Эмин. Между тем, можно не сомневаться, что этими именами вовсе не исчерпывается, список осмеиваемых литераторов. И иногда оказывается, что в лице какого-нибудь особенно часто поминаемого сатириками 1769 г. персонажа перед нами не кто-либо из крупных деятелей литературы тех лет, а, напротив того, писатель маловажный, но в силу каких-то причин обращавший на себя внимание своих современников-литераторов. Таков, например, известный Стозмей, неоднократно фигурирующий на страницах «Трутня», «Смеси» и «Адской почты». О нем известно, что он имеет отношение к литературе («Трутень», лист 26, стр. 97—98; «Смесь», лист 22, стр. 175), в особенности к театру, в частности он претендует на то, чтобы управлять театральным ведомством («Трутень», стр. 98) и т. д. Очевидно, это все же лицо крупное в дворянских кругах тогдашнего Петербурга: он «из всей мочи надседаяся кричит, что вы (издатель «Трутня») обижаете целой корпус дворянства и что ваши ругательствы скоро уймутся», — сообщает Новикову некто Д. К. (в письме, напечатанном в «Смеси», лист 20, стр. 154). И мы едва ли были бы в состоянии определить это лицо, если бы нам на помощь не пришла редакция «Смеси», поместив в том же листе 22 «епиграммы» на Стозмея (стр. 160), из которых вторая построена по принципу «косвенных указаний»:

Я думал, что Стозмей не знает ничего,
И за глупца считали мы ево,
Затем что разум в нем не всякой скоро сыщет,
Однако, я нашел, что хорошо он свищет.

Итак, достоинство Стозмея, что он «хорошо свищет», что он хороший «свистун». Вот в этом-то и заключается намек на то, кто такой Стозмей: это П. С. Свистунов, переводчик, театрал и крупный бюрократ того времени.

Можно не сомневаться, что в журналистике того времени скрыто немало указаний на иных литературных деятелей, кроме Лукина, Петрова и других; нужно только пристальнее всматриваться в лукавый иногда по содержанию и простой по внешности текст XVIII в. Если же рассмотреть объекты критических и сатирических нападок тогдашних журналов, то представляется такая картина: писатели вроде Лукина и Петрова рассматривались «левым флангом», если так можно выразиться, тогдашней журналистики, как писатели, которым покровительствует вельможная верхушка, как соперники Сумарокова и Ломоносова. Поэтому в борьбе с ними принимает участие и «Трутень», и «Смесь», и «Адская почта», даже «Приятное с полезным» («О ревности», четвертый полумесяц, стр. 13—16). Но эти же журналы воюют и с рептильными стихотворцами типа Рубана. Об этих последних Эмин пишет так: «Теперь потребно с похвальными стихами или речьми рыскать по всем домам и хвалить каждого, к кому придешь, и производить в герои, в ком имеешь нужду, тогда можешь прослыть хорошим автором и человеком разумным и честным. Ежели же кто живет уединенно и за пятьдесят рублей или еще и за пару платьев никому похвалы и геройства не отдает и описует пороки, никому не ласкся, того почтут за человека злобнейшего и за такого дурака, глупее которого в свете не бывало» («Адская почта», стр. 293).

«Всякая всячина» берет под свою защиту Лукина, считая, что «в теперешнем положении наук у нас, мы думаем, что гораздо нужнее поощрение сочинителям, переводчикам и молодым людям, кои посвящают себя наукам, нежели строгая критика» (стр. 45—46). Зато энергичному обстрелу чуть ли не с первых страниц «Всякой всячины» подвергается Тредиаковский и в особенности его «Телемахида», что в свою очередь вызывает отпор в «левых» журналах. Смысл преследований «Телемахиды» ясен: в «Телемахиде» Тредиаковского не без основания усматривали вольнодумные идеи и в частности намеки на развратную жизнь Екатерины и узурпацию ею царской власти.

Таким образом, и в трактовке вопросов литературных взаимоотношений расхождения тогдашних журналов были не случайны, а принципиальны и зависели от общих позиций их издателей.

Как уже отмечалось, некоторые журналы закрылись в течение первого года, другие — по истечении 1769 г., и лишь «Всякая всячина» и «Трутень» перешли в следующий год. В 1770 г. появились два новых издания — «Пустомеля», прекратившийся на втором номере, и «Парнасский щепетильник», просуществовавший весь год, благодаря помещению таких статей, никакого отношения к сатире и вообще литературе не имеющих, как «Экономические примечания о пользе огородных кореньев, к поварне принадлежащих» (стр. 215—238) и «Исторические известия польских писателей о провинциях и городах российских, бывших некогда во владении польском и потом опять россиянами взятых, принадлежащие к российской истории» (стр. 290—319). Вообще, интерес к сатирическим журналам в 1770 г. уже иссяк. На это жалуется издатель «Парнасского щепетильника» в октябрьской книжке журнала. Выдав этот номер журнала в половинном объеме и поместив в нем

«Повесть о змеи, жившем в доме у одного крестьянина» (стр. 247—263), Чулков в конце прибавляет: «В сем месяце только [это] сообщаю читателю и прошу, чтоб оной не сердился, понеже гнев здравию человеческому вреден. Я тот, которой говорю, ни мало не досадую, что общество наше теряет охоту ко всякому временному изданию». Еще раньше, в апреле 1770 г., и в «Трутне» сообщалось, что «нынешнего года листов не покупают и в десятую долю против прежнего» (лист XV, апреля 13, стр. 309). То же самое наблюдается и в отношении «Всякой всячины», последние листы которой (1770) печатаются в количестве, втрое меньшем первых.

Это падение читательского интереса к сатирическим журналам имело свои серьезные основания. Уже Добролюбов установил, что наступление реакции сузило круг разрешенных правительством Екатерины тем. «Таким образом, значение сатирических изданий потерялось в публике: сатиры на дурных стихотворцев, на подражателей французам, на скупцов и мотов, на хвастунов и рогатых мужей и т. п., конечно, оставались в полном распоряжении литературы; но эти предметы не могли уже так занять публику, как обличение дурных судей, помещиков, попов, вельможной спеси и невежества, пыток, ханжества и т. п.».

Выходивший в 1771 г. единственный новый журнал был «Трудолюбивый муравей» В. Г. Рубана. А. Н. Афанасьев дал правильную характеристику содержания этого журнала: «Трудолюбивый муравей» «почти вовсе не содержит в себе указаний на характер современного ему быта; главною целью его было печатать статьи, касающиеся русской истории и географии, стихи и небольшие рассказы, далекие от русской действительности».

Еще более тусклый характер имеет «Старина и новизна», издававшаяся тем же Рубаном в 1772—1773 гг. Несомненно, большее значение имели «Вечера», выходившие в то же самое время и связанные с кружком Хераскова, проживавшего тогда в Петербурге.

Самым значительным из сатирических журналов, вышедших в свет после плеяды 1769 г., был новиковский «Живописец», начавшийся в апреле 1772 г. и закончившийся в июле 1773. Лучшие традиции «Трутня» и «Смеси» были воскрешены в новом издании Новикова. Замечательные «Письма к Фалалею», а в особенности пользующийся исключительной и вполне заслуженной известностью «Отрывок Путешествия в *** И *** Т ***» Радищева и некоторые другие статьи «Живописца» представляют собой апогей всей сатирической журналистики этого периода и являются какой-то неожиданной счастливой для русской литературы вспышкой, тем более отрадной, что в течение 1770—1771 гг. сатирическая журналистика переживала явный упадок. Неслучайно ведь «Живописец» выдержал за двадцать лет пять изданий, причем последнее (1793) вышло в количестве 1200 экз., огромном по тому времени тираже.

В том же 1773 г. выходил безграмотный и графомански-нелепый листок «Мешенина катоноскарроническая», издававшийся каким-то иностранцем Кунцем, не представляющий никакого интереса для истории литературы и журналистики.

Наконец, в 1774 г., с июля по октябрь, выходил последний из сатирических журналов Новикова и вообще журналов данного жанра 1769—1774 гг. — «Кошелек». В нем уже не приходится искать тех резких, запоминающихся и сильных статей, какие нередко бывали в «Трутне» и в «Живописце». Время было не то, на востоке Европейской России шла жестокая гражданская война правительственной армии с отрядами Пугачева, крепостническое дворянство по-

чувствовало всю глубину грозной опасности, вставшей перед ним, и в эти годы прерывается, хотя и временно, старая борьба между разными фракциями дворянства за власть в стране. Говорить в это время о положении крепостных даже с позиций умеренного Новикова было невозможно. Ему насильно навязывается сусально-идиллическая пьеса «Народное игрище», кое-что из представленного в цензуру в печать не попадает, и Новиков дает знать об этом читателю изменением пагинации. На девятом листе журнал прекращается. Не имея возможности по цензурным условиям указать на зависимость прекращения сатирической журналистики 1769—1774 гг. от пугачевского движения, Добролюбов завуалированно объясняет этот факт: «В видах Екатерины вовсе не было того, чтобы дать литературе неограниченное право рассуждать о политических предметах и смеяться над всем, что не будет нравиться писателям. Она очень не любила, когда под видом гласности в литературу прокрадывались какие-нибудь „продерзкие речи". Вот почему, когда внутреннее спокойствие было совершенно восстановлено [т. е. подавлено движение Пугачева], а конец первой турецкой войны возвеличил имя Екатерины и в Европе, когда остатки старого недовольства и недоверия к ней стали ей уже не страшны, она охладела к сатире, как к вещи уже ненужной и могущей быть только вредною для ее спокойствия. С 1773 г. она перестала писать комедии и возвратилась к этому занятию только уже через десять лет, когда вместе с княгиней Дашковой, вздумала подвинуть русскую науку заведением Российской Академии. В 1774 г. прекращаются и сатирические журналы».

После общего рассмотрения журналистики 1769—1774 гг. перейдем к отдельным сатирическим изданиям этих лет.

4. «Всякая всячина»

Появление «Всякой всячины» в первых числах января 1769 г. состоялось без какого-либо предварительного оповещания читателей. Условия подписки были сообщены публике лишь в № 2 «Санкт-Петербургских ведомостей» (от 6 января 1769 г.), а первый лист журнала раздавался желающим бесплатно: «Сим листом, — читалось на первой странице «Всякой всячины», — бью челом, а следующие впредь изволь покупать». Такой необыкновенный в истории русской журналистики дебют нового периодического издания не мог не обратить на себя внимания читателей. Но, повидимому, это и входило заранее в расчеты издателей. В литературных кругах распространялась версия, вероятно, не без умысла, что журнал издается Г. В. Козицким, состоявшим «у принятия челобитен» Екатерине II, т. е. бывшим одним из ее секретарей. На самом же деле журнал издавался под наблюдением и, говоря современным языком, под общей редакцией Екатерины. Для многих современников это не было тайной, и, очевидно, этим и объясняется резкость нападок на «бабушку», в особенности, за ее защиту подьячих, за общий «охранительный» характер журнала, в особенности за претензии направлять общественное мнение не в сторону конкретно-сатирического, даже памфлетного обличения, а в сторону абстрактного морализирования; наконец, не безразличны нападки и на плохой язык статей Екатерины, которые и после обработки Козицкого сохраняли нерусский характер. Чего, например, стоит такая фраза. «Дядюшка мой человек разумный есть. Он хотя мало учился, но много знания получил читанием лучших книг» (стр. 220).

Если для современников не было секретом участие Екатерины во «Всякой всячине», то, несомненно, всех занимал вопрос, зачем было предпринято это издание. В сатирической журналистике 1769 г. сохранилось очень показательное суждение на эту тему. По условиям того времени соответствующее место выражено неопределенно, но тем не менее никаких сомнений быть не может, что именно тут заключается ответ на поставленный выше вопрос. В письме II «Адской почты» Кривой бес пишет Хромоногому: «Светские господа политикою называют по большей части действия самые тончайшие и тайною хитростию наполненные; однако, много из них и по нашему рассуждая вмещают в политику и всякую всячину» (1769, июль, стр. 41).

Итак, многие из светских господ вмещают в политику и «Всякую всячину» — таков смысл цитированного письма. Иными словами «Всякая всячина» рассматривалась как какое-то звено в политике Екатерины. Действительно, журнал этот появился в напряженный момент в истории тогдашней России. Вступившая на престол вопреки всем легитимным принципам, перешагнув через труп мужа и устранив «законного» наследника — своего сына, Екатерина все время сталкивалась с более или менее прикрытой оппозицией, то принимавшей форму заговоров (Гурьевых, Хрущевых, Мировича и др.), то самозванства, то осуждения ее мероприятий (отрицательное отношение к «Наказу») и т. д. Затеянная с большой помпой «Комиссия для сочинения нового уложения» оказалась, по словам Пушкина, «фарсой. . . . ., непристойно разыгранной». Борьба общественных групп резко обозначалась в заседаниях Большой и частных комиссий.

18 декабря 1768 г. маршал (председатель) Комиссии А. И. Бибиков сообщил общему собранию о роспуске Большой комиссии, ввиду необходимости депутатам-военным отправиться в свои воинские части для принятия участия в начинающейся войне с Турцией. Хотя частные комиссии и продолжали свои занятия, хотя созыв Большой комиссии четыре раза откладывался (до 1 мая, затем до 1 августа, далее до 1 ноября 1772 г. и, наконец, до 1 февраля 1773 г.), но уже в 1768—1769 гг. было ясно, что Комиссия умерла. Надо было успокоить общественное мнение, надо было разъяснить подданным, по крайнем мере, культурным слоям населения принципы правительственной политики, в частности, причины закрытия Комиссии. «Тартюф в юбке и в короне» (Пушкин), Екатерина решила прибегнуть к помощи печатного станка, к посредству журнала, и, таким образом, возникла «Всякая всячина».

Екатерина не действовала грубо и «мозоля глаза», поступки ее, ее «политика» была «тончайшею», как говорит Бес Кривой. Можно прямо сказать, что имел в виду Эмин, характеризуя так устами Кривого беса действия Екатерины. Цитированное письмо было помещено в первой, июльской, книжке «Адской почты»; следовательно, оно было написано не позднее июня того же 1769 г. Было ли напечатано во «Всякой всячине» около этого времени что-либо, что могло бы вызвать указанное замечание Эмина? Едва ли можно сомневаться, что он имел в виду помещенную в 22 листе «Всякой всячины», вышедшем 29 мая 1769 г., «Сказку о мужичке» (стр. 164—169). В этой сказке дается в аллегорической форме изложение хода занятий Комиссии для сочинения нового уложения. Мужичок — это русское государство, русский народ. У него худой кафтан — плохие законы. Были приказчики — цари, которые разными заплатами хотели починить обветшавший кафтан растолстевшего мужичка. Но вот, наконец, нашелся дворецкий (очевидно, сама Екатерина), который «увидел мужика почти нагишом; осведомлялся, что тому причиною; услыша, послал сыскать сукна. Привезли сукно, собрали

портных. Портные зачали спорить о покрое, а мужик между тем на дворе дрожит, ибо тогда случилися крещенские морозы» (стр. 166). Далее рассказывается о спорах портных, под которыми надо понимать прения в Большой и в частных комиссиях.

Заключительная часть сказки посвящена тем увещаниям, которыми портные пытались урезонить четырех нахальных мальчиков, своей дерзостью срывавших их работу. «Портные сего [четвертого] мальчика почли за безумного, но услыша необычайный крик и видя сих неугомонных мальчиков дерзость, постановили свой спор [о покрое кафтана для мужичка] и зачали их унимать, говоря, что дурно им быть так непризнательным, что они пришли в изодранной рубашонке, а ныне уже у них шуба есть; что пятилетние кафтаны на пятнадцатилетних не лезут, да и чорт знает, где те ветошечки, ибо мальчики недавно к хозяину пришли; что они должны слушаться дворецкого; что они лгут, будто их топить хотят, и для того заставляют шить мешок, а не кафтан; что сами видят, что мужик без кафтана на улице почти замерз; что, шив мужику кафтан, и они могут надеяться на милость хозяина, что одеты будут; только им наперед ту милость заслужить должно, а не по пустому упорствовать». На этом сказка обрывается: «Продолжение впредь сообщу».

В этой сказке с несомненностью упор сделан на дерзких мальчиков. Их наглость и неугомонность мешают портным, хотя и бестолковым, но все же призванным шить кафтан на мужика; дерзкие и нахальные мальчики заставили портных приостановить даже свой спор. Короче — дерзкие мальчики сорвали работу Комиссии. Кто же эти непокладистые, неблагодарные мальчики, недавно взятые хозяином с улицы? Конечно — дерзкие подданные, поднявшие непокорный голос в Комиссии нового уложения. В частности, вероятно, речь идет о депутатах недавно присоединенных «провинций» — Малороссии, Лифляндии, Эстляндии и Смоленской области.

Подобно «Сказке о кафтане», политический смысл имеет несомненно принадлежащая перу Екатерины статья, начинающаяся словами «Дядюшка мой человек разумный есть» (стр. 220—224). Не только обилие германизмов и неправильностей языка, но и достаточно прозрачное содержание статьи подтверждает мнение об авторстве Екатерины. Дядюшка — сама Екатерина. Подобно ей, «он хотя мало учился, но много знания получил читанием лучших книг. Сверьх того он хорошее сердце имеет, здравое рассуждение и честности наполнен». Застав «свой дом» после отца в расстройстве и отягощенным долгами, он, несмотря на трудности, «в короткое время сделал почти невероятное дело... из разоренного дома восстановил дом изобильный, и так то сказать, один из лучших, а надеется еще впредь имети все излишества те, коими богатые люди щеголяют». В последнее время дядюшка, обычно тихий и веселый, весьма раздражен. Объясняет он это тем, что ни в ком не встречает поддержки: «Я ни труда, ни прилежания не жалею, ни сам себя иногда, чтоб дом мой привести в порядок, но ни один почти человек из моих домашних не хочет приложити труда, чтобы мне помогать. Не довольно того, что я ни одного человека из них не секу, когда они виноваты, хотя то и часто бывает, но в том я добродетели мало ставлю, ибо знаю, что они равно как и я от Адамовой породы; итак, умалчивая о моем к ним снисхождении, я с ними во всех случаях обхожусь, — многозначительно прибавляет «дядюшка», — не так как господин, но так как друг». Далее следуют жалобы на «домашних»: «чваниться они все горазды, да в самом деле все живут руки спустя, и ни в ком прямого радения нет... Любят все властвовать и свою корысть, а в чем они не видят своих ма-

леньких барышев, того не почитают достойным быть их примечания и радения. Кажется часто, что они меня любят, но любовь их бесплодна. Если бы прямо любили, то бы делали всякое мне вспоможение и отложили бы свои вздорные прихоти, а только бы старалися о том, чтобы дом мой привести в желаемый мною порядок... Сплошь у них отговорка: мы не знали, угодно ли тебе; или, мы боялись тебя прогневить. А между тем дела никто не делает». На самом же деле — полагает «дядюшка», — «они довольно знают мою волю и желание. Нельзя им в том ошибиться. Я им ежедневно твержу, только во истину смигнуть не смею и на час ни с которой части, а смигну, то уже всякие штуки пойдут». Вновь напоминая о том, что все заражены двумя пороками — корыстью и духом властвования, «дядюшка» с горечью отмечает, что «наравне быть не умеют», а отсюда проистекают дурные поступки и скверные следствия. Он подчеркивает в заключение: «сколь мне трудно дом мой восстановить и с такими людьми дело иметь, и что за беды из того родилися бы, если бы я их не удерживал еще и не ограничивал бы их во вздорных и нелепых их прихотях. Но тем еще дом мой не поправлен; далеко от того!».

Едва ли можно не поставить декларацию «дядюшки» в связь с разочарованием Екатерины в результатах ее правительственных мероприятий, в том числе и Комиссии 1767 г. Сваливая все на «дух властвования» и «корысть», Екатерина особенно подчеркивает, что подданные «наравне быть не умеют», т. е. не желают оставаться в пределах, «предписанных» им «природой». Развитию этой темы посвящена статья «Молодые люди всего желают отведать» (стр. 339—341).

Итак, в ряде екатерининских статей во «Всякой всячине» раскрывается ее политическая позиция, ее реакционные взгляды на причины неурядиц в стране, и тем самым журнал приобретает не моральный или сатирический, а отчетливо политический характер.

Центральное место в журнале занимают статьи Екатерины; все прочие только дополняют сказанное Екатериной. Исследователями установлено, что в журнале принимал участие ряд вельмож, приближенных Екатерины, и, кроме того, несколько писателей (А. О. Аблесимов, И. П. Елагин, А. П. Сумароков, Ив. Сичкарев и др.).

В течение 1769 г. было выпущено 53 полулиста «Всякой всячины»; в последнем редакция оповестила читателей о предполагаемом продолжении издания под названием «Барышек Всякой всячины», т. е. избыток, остаток «Всякой всячины». В следующем полугодии, до 1 мая 1770 г., издано было 18 полулистов этого журнала. Название оправдывалось содержанием нового журнала: статьи в нем гораздо бледнее и скучнее, чем в 1769 г., а начиная с полулиста 10 в «Барышке» стали печататься почти исключительно переводы из античных, преимущественно латинских авторов.

В Архиве Академии Наук сохранилась отчетность по изданию журнала. Оказывается, первые четыре полулиста «Всякой всячины» имели второй тираж, так как спрос на них был велик. Например, первый полулист, раздававшийся бесплатно, был отпечатан в количестве 1692 экз. Повидимому, сначала тираж был определен в 1000 экз., а затем дополнительно печаталось еще 500. Так продолжалось первые три месяца, потом вследствие постепенного и неуклонного падения спроса на журнал, «Всякая всячина», как и первые 12 полулистов «Барышка», печаталась в количестве 1000 экз.; последние шесть номеров «Барышка» выпускались уже только в 500 экз.

Несомненно, что полемика Екатерины со своим «потомством» уронила престиж правительственного журнала, и это не замедлило сказаться на падении распространения «Всякой всячины» и «Барышка».

5. «И то и сё». «Смесь»

Журнал «И то и сё» (название это сперва писалось «И то и сию», затем «И то и сьо») был вторым по времени из сатирических изданий 1769 г. Издавал его и «трудился один без всякой себе помощи» М. Д. Чулков; впрочем, в журнале приняли участие А. П. Сумароков, связанный с Чулковым еще со времени своего заведывания Российским театром, и М. И. Попов. Чулков стал выпускать журнал не с самого начала января, а несколько позднее. И вообще журнал выходил не особенно регулярно.

Уже в первом листе своего журнала Чулков делает, хотя и неособенно резкий, выпад против «Всякой всячины», раздававшей бесплатно вступительный номер; почти полностью воспроизводя первую страницу екатерининского журнала, Чулков под заглавием «И то и сё» (название журнала было выбрано несомненно с оглядкой на «всякую всячину») поместил следующую сентенцию: «Строками служу, бумагой бью челом, а обое вообще извольте покупать, купив же считайте за подарок, для тово, что небольшова оное стоит». Уже в третьем листе Чулков начал полемику со «Всякой всячиной». В «двадесятьосьмой неделе» он обрушился на «Всякую всячину», находя в ней «от старости ослабевающий разум», и укорял ее в том, что она возненавидела людей. Наконец, в последнем листе «И того и сего» снова дается резкая, хотя и околичная оценка «Всякой всячины». В статье фигурирует какой-то развязный мальчишка, всё и вся критикующий и дающий неверные, по мнению автора, характеристики разным журналам. Напоследок мальчишка говорит: «Другие же журналы никуда негодны, выключая Всякую всячину, она одна только почтения достойна». Чулков после этого прибавляет следующее: «Много было тут людей разумных, однако никто не хотел ему противуречить, почитая его совершенным дураком». Иными словами, только дурак может признать «Всякую всячину» достойной почтения. Таково было отношение Чулкова к «бабушке».

Довольно неприязненны были суждения «И того и сего» и о «Трутне». Чулков считает издателя «Трутня» «неприятелем всего рода человеческого», который любит «услаждаться других поношением» (двадесятьосьмая неделя). В последнем листе Чулков снова задевает Новикова, намекая на то, что, поместив на титульном листе две буквы А. С., которые читатели привыкли расшифровывать как А. Сумароков, «Трутень», так сказать, спекулировал на популярном имени. Обвинение неосновательное, так как эпиграф «Трутня» «Они работают, а вы их труд ядите» подписан не буквами А. С., а так: Г. Сумар. в XLIII притче I книги; такая форма была обычной в цитатах того времени, и мало-мальски сведущий читатель тех лет понимал, что сам Сумароков не станет подписываться Г. Сумар.

Нисколько не благосклоннее Чулков к «Адской почте». Правда, в начале говорится о журнале Эмина, что он весьма нов и «имеет некоторые еще невразумительные намерения, почему о нем никакова заключения зделать невозможно», но следующее затем стихотворение целиком направлено против Эмина. Все это было помещено в № 28 «И того и сего», который вышел во вторник 14 июля 1769 г. В листе 24

«Трутня» от 28 июля того же года было напечатано письмо за подписью Б. К., которое правильно расшифровывается как инициалы псевдонима Ф. Эмина — Бес кривой. Письмо это начинается так: «Пламя войны и между сочинителями возгорелось. Вооружились колкими своими перьями г. писатели; вашему Трутню немалое было бомбардирование. Всякая всячина добрый вытерпела залп. Адскую почту атаковала какая-то неизвестная партия». Дальше Эмин говорит о каком-то пасквиле, который будто еще не опубликован, но несомненно речь идет о стихотворении, о котором было сказано выше, направленном против Эмина и имеющем рефрен «дурак». Отрекаясь на словах от отмщения своему «клеветнику», Эмин ловко дает понять читателю, кто автор пасквиля. «Между сочинителями бывают люди разных свойств: есть писатели благородные, достаточные и нищие; последние, будучи разумом весьма скудны, всего алкают и злятся на тех, кои рассудком достаточнее их». Затем Эмин перечисляет хулителей общепризнанных авторов и особенно останавливается на некотором Фаидите, который был лакеем у знатного барина. Для современников, знавших, что Чулков незадолго до этого был придворным лакеем, намек был более, чем понятен. Можно предположить, что помещенные за письмом Эмина стихотворения «Задача» и «Решение», использующие форму стихотворения Чулкова и имеющие несколько измененный рефрен «Умен или дурак», были также написаны Эминым; его стихотворные сатиры известны, и поэтому нет ничего невозможного, что этот резкий ответ Чулкову принадлежит ему. В свою очередь Чулков не остался в долгу, и в «тридесятьшестой неделе» поместил в своем журнале «Разговоры мертвых. Разговор I. Меркурий, Харон и Злоязычник»; в лице последнего опять-таки выведен осыпаемый ругательствами Эмин. Наконец, в последнем листе «И того и сего» Чулков опять делает выпады против «Адской почты», говоря, что автор ее пишет то, что «с благопристойностью не сходно», что автор пишет в ней с большой вольностью.

Чулков писал и против «Поденщины» и против «Приятного с полезным».

Следует отметить интерес Чулкова и его журнала к фольклору. В «И том и сём» имеются описания старинных обрядов, приводятся народные песни, сразу бросается в глаза обилие пословиц, вплетаемых кстати и некстати, помещен полувымышленный «русский мифологический словарь», даны стихотворные зарисовки празднования «семика» и катания на качелях, наконец отчетливо ощутимы тенденции к изгнанию иностранных слов и к замене их русскими.

Надо прибавить, что издатель ориентируясь на читателя из мелкобуржуазных кругов, помещал в своем журнале излюбленные таким потребителем «краткие и замысловатые гистории», анекдоты, частью заимствованные из известного «Письмовника» Курганова.

Журнал «Смесь» издавался с 1 апреля 1769 г. по самый конец года; всего вышло сорок листов. Вопрос об издателе журнала нельзя считать решенным. В. П. Семенников потратил немало труда, чтобы доказать, что издателем «Смеси» был Ф. А. Эмин («Русские сатирические журналы 1769—1774 гг.», 1914, стр. 27—37). Однако его доводы основаны на внешних и притом не до конца убедительных фактах. Когда же исследователи обращаются к идейному содержанию «Смеси», якобы принадлежавшей перу Эмина, и «Адской почты», безусловно писанной им, то им приходится отмечать, что последний журнал умеренней и осторожней в постановке и решении кардинальных вопросов той эпохи, чем «Смесь». Нельзя также обойти молчанием такие факты, как

то, что Н. И. Новиков, называя в своем «Опыте» Эмина издателем «Адской почты», перечисляя все изданные и неизданные труды своего покойного друга, почему-то не указывает «Смеси». Затем, как объяснить, что письмо Эмина по поводу нападок Чулкова на современную журналистику («И то и сё», неделя двадесятьосьмая) было помещено не в «Смеси», которую, по Семенникову, он в то же время издавал, а в «Трутне». Нельзя также не отметить разницы в орфографии «Смеси» и «Адской почты» («женщина» — «женьщина», «чювство, чювствую» — «чувство, чувствую» и т. д.). Эти недоумения не могут быть устранены, если остаться на точке зрения Семенникова. Как указывает Семенников, и в Архиве Академии Наук не сохранилось материалов, которые позволили бы сделать какие-либо заключения об издателе «Смеси»: прошение о печатании журнала писано писарской рукой, а подпись — «Anonime» — не дает ничего положительного в желательном направлении. Из всего сказанного явствует, что издатель «Смеси» почему-то настойчиво оберегал свое инкогнито и, возможно, воспользовался тем, что среди литераторов 1769 г. создалось мнение, что он — Ф. А. Эмин, и поддерживал эту версию. Только этим можно объяснить наличие некоторых намеков на Эмина как издателя «Смеси» в «Плачевном падении стихотворцев» Чулкова и в предисловии В. В. Петрова к «Энею» (1769).

Как было уже показано при общем рассмотрении сатирических журналов 1769—1774 гг., «Смесь» была по своим взглядам очень близка к «Трутню». Такие статьи, как «Речь о существе простого народа» и письма «настоящего камчедала» (лист 27), были едва ли не самыми сильными после «Отрывка из Путешествия в *** И *** Т ***» и «писем к Фалалею». Заслуживает внимания письмо некоего В. М. против алчности и бесчинства духовенства (стр. 130—131) или помещенная в последнем листе журнала задача: «Кто полезнее обществу, простой ли мещанин, у которого на фабрике работают около двухсот человек и, получая за это деньги, исправляют свои надобности, или превосходительный Надмен, коего все достоинства в том только состоят, что на своем веку застрелил шесть диких уток и затравил 120 зайцев?» (стр. 318).

Нельзя также не отметить независимую позицию «Смеси» в отношении «Всякой всячины». В письме Н. Замиряева (стр. 94—95) затронут вопрос о причинах обилия на страницах «Всякой всячины» хвалебных отзывов; автор письма (повидимому, сам издатель «Смеси») высказывает предположение, что это частью самой редакцией сфабрикованные похвалы, а частично — намеренные, с практической целью сделанные разными карьеристами. После этого идут смелые, но, по обыкновению того времени, «эзоповским» языком написанные строки: «Но то правда ли или нет («будто в ее собрании многие знатные господа находятся»), нам того знать не нужно, и мы судить должны то, что мы видим. Если и великий Могол напишет, что снег черен, а уголь бел, то я тому не поверю». В контексте «Смеси» цитата о великом Моголе была не чем иным, как зашифрованным упоминанием Екатерины.

В «Смеси» было помещено много переводов или же переделок на «русский лад» из журналов, издававшихся на французском языке. Но важно, однако, то, что ценнейшие статьи — все оригинальны; это — продукт живого, энергичного протеста против неустройств и зол, наблюдавшихся автором в тогдашней русской действительности.

В первых листах «Смеси» не было полемики с современными журналами, кроме «Всякой всячины». В листе 12 встречаются выпады против

Рубана: «Сей стихотворец, — пишет издатель «Смеси», — мог бы всползти на Парнас, но он не пишет стихи, а рубит их, как дрова» (стр. 91); в конце этого листа помещено «Рассуждение» в стихах, где опять фигурируют слова «рубит», «пиит Рубачь» и т. п. (стр. 96).

Сотрудниками «Смеси» считают В. И. Майкова (хотя сомнительно, чтобы он был автором антиклерикального письма), Н. И. Новикова, Ф. А. Эмина.

Журнал печатался в количестве 600 экземпляров, но, как указано в «Смеси», «в здешнем городе [т. е. Петербурге] не наберется двухсот человек, которые бы его читали» (стр. 165). В связи с этим, в 1771 г. был перепечатан первый лист «Смеси» и, присоединенный к остальным нераспроданным листам 1769 г., образовал «второе тиснение со многими дополнениями», хотя все дополнения состояли из одной прозаической статьи и одного стихотворения.

6. «Трутень». «Адская почта»

«Трутень». Первый сатирический журнал Новикова выходил с 1 мая 1769 г. по 27 апреля 1770 г. Выше была освещена позиция этого журнала в наиболее существенных вопросах, волновавших тогдашних писателей и читателей. Здесь же следует остановиться лишь на вопросе о сотрудниках журнала.

В. П. Семенников счел возможным признать принадлежащими Новикову только 12 статей. Однако список этот можно расширить. Дело в том, что повидимому, автором некоторых из наиболее интересных статей в «Трутне», подписанных псевдонимом «Правдулюбов», о которых говорилось выше, был сам Новиков. Вероятно, Новикову же принадлежит значительная по своей смелости статья «Некогда читал некто следующую повесть» (лист 20, стр. 121—124). Статья эта представляет пародию на редакционную статью, помещенную во «Всякой всячине» под № 103, стр. 265—267; в «Трутне» ей придан вид «Письма к издателю», но, кроме обращения: «г. Издатель» и подписи «слуга ваш»... ничто не напоминает в этой статье письма. Совершенно несомненно, что эта переделка была сделана Новиковым, а не прислана со стороны. Статья «Всякой всячины» посвящена вопросу о «жадности к новизнам». Начав с «общего» положения о том, что «у моих сограждан» исключительна «жажда и жадность к новизнам», автор статьи в карикатурном виде излагает «новости», которыми увлекаются читатели современных журналов; но при внимательном рассмотрении материала этой статьи становится ясно, что она направлена против знаменитого отдела в «Трутне», против «Ведомостей» и их издателя. Конец статьи «Всякой всячины» отчетливо обнаруживает свою направленность против Новикова: «Через сии [т. е. издание «Ведомостей»] он надеется удовольствовати тех доброхотных людей, кои более пекутся о поступках и делах ближнего, нежели о своих собственных. На все же те известия, кои шепчут на ухо, употребить хочет он печать самую мелкую, дабы без очков читать оных не можно было, чтоб только одним старушкам сии откровения делать, знав, что их обыкновенная осторожность не допустит до распространения сих слухов, а наипаче молодым не положат они на ум, что до них не следует».

На это иронически выраженное указание, что мол берешься не за свое дело, издавая журнал, а в особенности действуя отрицательно на молодые умы, Новиков ответил и остроумно, и даже дерзко. Он взял статью «Всякой всячины» за основу и лишь местами внес изменения,

придав ей убийственный для Екатерины смысл. Для большей наглядности полезно сопоставить хотя бы начало и конец обеих статей.

«Всякая всячина»	«Трутень»
Некогда читал некто следующую повесть. У моих сограждан, говорит сочинитель, нет ни одной такой склонности, коя бы более притягала мое удивление, как неутолимая их жажда и жадность ко новизнам. Обыкновенно задача к тому дается одним словом или действием, а в каждом доме к одному или другому прибавляются свои рассуждения.	Некогда читал некто следующую повесть; у некоторых моих сограждан, говорит сочинитель, нет ни одной такой склонности, коя бы более притягала мое удивление, как неограниченное их самолюбие. Обыкновенный к тому повод бывает невежество и ласкательство.
Если бы сие любопытство было хорошо управляемо, оно бы могло быть очень полезно для тех, кои теперь оным обеспокоены.	Если бы сие самолюбие было ограничено и хорошо управляемо, оно бы могло быть очень полезно для тех, кои теперь оным обеспокоены.
Для чего человек, который любит новизну, для чего, говорит сочинитель, не берет он книги в руки? Он бы тут много увидел, чего еще не знает.	Для чего человек, который заражен самолюбием, для чего, говорит сочинитель, не берет он книги в руки? Он бы тут много увидел чего ласкатели никогда ему не говорят.
...Читав сие, понял он причину, для чего в великом множестве наши листы охотно покупают. Хотите ли оную знать? Боюся сказать, прогневаетесь. Одно любопытство и новизна вас к сему поощряет.	...Читав сие, понял он причину, для чего сперьва тысячами некоторые листы охотно покупали. Хотите ли оную знать? Боюся сказати, прогневаются: одно желание посмеяться самолюбию авторскому к сему поощряло.
Ему пришло на ум еще новенькое. Со временем составлять он хочет ведомости, в которых все новизны напишет всего города, и надеется получить от того великий барыш. Например...	Ему пришло на ум еще новенькое, со временем составить он хочет книгу, всякий вздор, в которой все странные приключения напишет всего города, и надеется получить от того великий барыш, например... [1]
...Сведав сие, мы думали, что нам бы непростительно было утаить сие важное известие от наших читателей.	...Сведав сие, я думал, что мне непростительно было утаить сие важное от вас, г. издатель, известие и от ваших читателей.

Итак, Новиков ударил Екатерину ее же оружием, и ударил прямо в точку; виной всему он считает самолюбие Екатерины. Екатерина упрекает «любителей новизны и сочинителей» не только в перемывании косточек ближних, но также и в «поношении многих добрых людей». Новиков в противовес ей подробно обрисовывает следствия ее самовлюбленности и жадность к лести. «Если бы сей человек [самолюбивый], — пишет Новиков, пародируя текст Екатерины, — если бы вздумал такие новости читать, то бы сие для него гораздо было полезнее, как мнении, что такий-то не так пишет, как он, или что такая-то безмерно в последней комедии хвалила то, что ему не нравится... или что многие хвалят те сочинения, кои несогласны с его умоначертанием, или осмеливаются тогда писать, когда он пишет; или, наконец, что все то худо, что не по его и ему не нравится. Такой самолюбивый угнетает разум и обезнадеживает всех, чем-нибудь быть надеющихся. Его умоначертание наполнено самим только собою; он не видит ни в ком ни дарований, ни способностей. Он хочет, чтобы все его хвалили и делали бы только то, что он повелевает; другим похвалу терпеть он не может, думая, что сие от него неправедно отъемлется, и для того требует,

[1] В то время как в статье «Всякой всячины» нет конкретных указаний на «ведомости» «Трутня», Новиков в своей пародии приводит непосредственные факты из текста екатерининского журнала, а именно из № 25 (стр. 69—72), № 32 (стр. 89—95), № 59 (стр. 156), № 5 (стр. 15—16), № 104 (стр. 268 и 269). Нельзя также не отметить дерзкого переименования, которое применил Новиков в отношении «Всякой всячины», назвав будущую книгу «самолюбивого» — «Всякий вздор».

чтобы все были ласкатели и, таскаяся из дома в дом, ему похвалы возглашали, что однако есть грех». Через некоторое время после помещения данной статьи один из читателей укорял Новикова за то, что «Трутень» не выходил в течение четырех недель. Новиков, оправдываясь, писал так: «Я не совсем в том виноват. Я бы охотно сообщил вам причины, меня к тому принудившие, но для избежания хлопот я о том умалчиваю». Не являлось ли это вынужденное молчание отчасти результатом помещения новиковской пародии? [1]

Несомненно, что цензурный нажим на «Трутень» после этой стычки и помещенных вскоре затем «Копий с отписок старосты к помещику» усилился. Помимо указанного выше четырехнедельного перерыва в издании журнала, свидетельством цензурных воздействий на Новикова является письмо во второй части «Трутня» (1770, марта 30, лист 13, № 39), в котором автор жалуется на наборщиков: «Они так портят письмена, попадшие к ним в руки, что читатель, потея и ломая свою голову, скорее ослепнет от неусыпного прилежания в изыскании смысла, нежели поймет мысль автора». На это Новиков пишет: «Сочинителю сего письма во ответ ничего теперь не скажу: пусть он изволит потерпеть, а со временем я его уведомлю о многом особливым письмом». Намек на то, что виноваты не наборщики, а цензура, здесь достаточно ясен. В следующем листе «Трутня» Новиков, отвечая «молодой сочинительнице» и через ее голову полемизируя со «Всякой всячиной» (вы угрожаете, что «будете жаловаться моей прабабке — но у меня ее нет»), писал: «Ежели бы получил я ваше письмо вчера, то бы дошло у нас до превеликой ссоры. Вы чрезвычайно горячи, да и я также: сверьх того я взбешен был одною женщиною, так немудрено, ежели бы я вам зделал грубой ответ. . .». Едва ли стал бы Новиков оповещать своих читателей о каких-либо своих интимных ссорах; «женщина», взбесившая его, это либо «цензура», либо — скорее всего — Екатерина, и именно для того, чтобы показать свое благородное упорство в споре с «государыней-публицистом», аргументировавшей свои доводы цензурным вмешательством, Новиков безбоязненно заявлял в журнале, т. е. публично, зная, какой резонанс это будет иметь, что «взбешен был одною женщиной».

Кто же, кроме Новикова, писал в «Трутне»? До сих пор установлено участие в этом новиковском издании М. И. Попова, Ф. А. Эмина, А. О. Аблесимова, А. Л. Леонтьева, В. И. Майкова. Можно указать еще Ив. К. Голеневского и, почти несомненно, Д. И. Фонвизина.

«Трутень» печатался в 1769 г. в количестве в среднем по 1240 экз. каждый лист; в 1770 г. тираж упал до 750 экз.

«Адская почта». С нашей современной точки зрения это издание едва ли может быть признано журналом: оно полностью (за исключением «письма к издателю» Правдулюбова в ноябрьской книжке) состоит из «трудов», как говорили в XVIII в., одного только лица, именно Ф. А. Эмина; оно представляет собою «переписку» двух бесов, кривого и хромоногого; изредка в начале книжки имеется полемическая часть от имени «издателя», а в заключение каждой почти книжки даются «Ведомости из Ада»; наконец, в «Адской почте» совершенно отсутствует, как, впрочем, и во «Всякой всячине», стихотворный отдел. Но на

---

[1] В ответ на пародию Новикова «Всякая всячина» поместила ряд статей: № 110 (стр. 289—294), за подписью «Гервасий Колдовалов», т. е. Г. Козицкий; № 111, «Нельзя на всех угодить» (стр. 294—295), повидимому, как и статья в № 112 (стр. 295—296), принадлежит Екатерине; № 114 (стр. 302—304) — безусловно статья Екатерины, представляющая вариант статьи № 85 («Дядюшка мой человек разумный есть», стр. 220—224); № 126 (стр. 337—338), а также № 127 (стр. 339—341) и 128 (стр. 341—342).

взгляд современников «Адская почта» была таким же «ежемесячным сочинением», как и любое другое, и как впоследствии была таким же «единоличным журналом» крыловская «Почта духов».

Первая книжка «Адской почты» появилась в июле 1769 г. (и тогда же было отпечатано второе издание); последняя, как можно судить по указанию самого издателя (декабрь, стр. 385), вышла с запозданием, так что в кругах противников Эмина даже распространилось мнение, что «Адская почта» «вдруг... пресеклася» (там же, стр. 343).

Как отмечено было исследователями «Адская почта» принадлежит к жанру сатирических писем, особенно распространенному в середине XVIII в. во всех европейских литературах. Однако содержание Эмин вкладывал злободневное, взятое из современной ему русской жизни.

Большие проблемы, вроде тех, которые выдвигал «Трутень» — крепостное право, развращенность чиновничества, вопросы воспитания — все это в «Адской почте» отсутствует: есть ряд эпизодов, отдельные факты, иногда довольно остро изложенные, но все же не дающие широкой картины народной жизни. Но, очевидно, пафос «Адской почты», если так можно сказать о журнале Эмина, был не столько в широкой, сколько в острой постановке вопросов. В журнале «И то и сё» рисуется такая сценка. Развязный и пьяный молодой человек характеризует разные ежемесячные издания 1769 г.: «Адская почта хороша — кричал он: естьли бы автор оныя держался несколько умеренности и не писал того, что с благопристойностью не сходно. Хорошая Адская почта, — повторил он: естьли бы автор не говорил в ней с такою вольностию» (51 и 52 неделя, стр. 5 ненум.).

По характеру своей сатиры «Адская почта» отличается от других журналов того времени. Здесь скорее даже не сатира, а «хроника скандалов», иногда литературных, иногда семейно-бытовых, но почти всегда отзывающихся конкретностью, с более или менее определенными «героями».

Легче всего устанавливаются литературные намеки в «письмах бесов». Часты нападки на Сумарокова (письма 1, 13, 39, 40, отчасти 80),[1] на Лукина (письма 40, 71, 75), на Чулкова (письма 69 и 70), на Рубана (письма 87, 103), на Хераскова (письмо 52), на Щербатова (письмо 86), на В. Петрова (письмо 95, ср. также декабрь, стр. 334, прим.; письмо 112, стр. 378) и некоторых других.

Много сложнее определение «бытовых» «прототипов» в «Адской почте». Так, можно предположить, что герой письма 41, Кливий, «который прежде быв лакеем, чистил лошадей, а ныне по щастию попав в приказные всеми призирает, думая, что благороднее и умнее его нет; недавно он говорил, что происходит от иностранных князей», — это гр. Я. Сиверс, известный своими преследованиями Сумарокова, в прошлом действительно лакей, а потом видный сановник. Так, лицо, о котором говорится в письме 51, что «на старость запеданствовал, учится греческому языку, веселится новоизобретенною своею музыкою и имеет честь от разума, искусства и проч. своей супруги», это, повидимому, С. К. Нарышкин, «изобретатель» роговой музыки, женатый на красавице М. П. Балк-Полевой.

Придворная клика, екатерининская камарилья ставила себе целью бороться с наиболее яркими журналами того времени, и, возможно, что

---

[1] В письме 80 произносит суждение о Ломоносове и Сумарокове некий М., претерпевший преследования со стороны Сумарокова. Эту инициальную букву нужно расшифровать как «эм», т. е. Эмин.

прекращение «Адской почты» на декабрьской книжке было также вынужденным, как и «Трутня», о насильственном пресечении издания которого откровенно заявил Новиков в прощальном письме к читателям.

7. Журналы 1770—1774 гг.

«Пустомеля». Последний лист «Трутня» вышел в конце апреля 1770 г., в начале июля того же года в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось объявление о выходе июньской книжки журнала «Пустомеля». В настоящее время можно считать несомненным, что издателем «Пустомели» был Новиков. Очевидно, закрывая «Трутень», Екатерина распорядилась, чтобы Новикову не печатали другого журнала, и поэтому издателю «Пустомели» пришлось обставить свое выступление некоторыми предосторожностями: с «доношением» об издании он обратился в Академию Наук не лично, а через подставное лицо в литературных кругах инкогнито «сочинителя Пустомели» не было раскрыто, и, полемизируя с новым журналом, Чулков полагал, что имеет дело с литературными дельцами, а не с настоящим писателем (ср. последнюю страницу «Парнасского щепетильника»).

Несмотря на предпринятую конспирацию, Новиков не мог удержаться от колкостей по адресу «Всякой всячины», т. е. Екатерины, в первой же статье. «Ну, г. Читатель... может быть, захочешь ты прежде всего узнать мое имя, однако же, не жди, чтобы я тебя об оном уведомил... Вы часто о сочинениях судите по сочинителям, а некоторые из вас и не читавши, но по одному только слуху делают неправильные заключения; итак, польза моя требует, чтобы я имя свое утаил. Не знавши оного, как скоро прочтешь ты десять строк моего сочинения, то наверное заключишь, что я писатель не третьей статьи; может быть, подумаешь, что я человек знатной, следовательно критиковать не осмелишься; ты подумаешь, может быть, что я — но нет, етова не скажу, а оставлю на твою догадку. Естьли ж бы узнал мое имя, то может быть, и переменил бы ты свое намерение и, вместо почтения, начал бы меня уничтожать...» (стр. 15—16 по переизданию 1858 г.). Не приходится особенно много доказывать, что вся эта цитата с выпадами против «знатности» издателя журнала, с употреблением излюбленного екатерининского словечка «уничтожать», вызвавшего в свое время нападки «Трутня» — направлена против Екатерины.

Можно дополнить наблюдения исследователей также данными и из области литературных оценок «сочинителя Пустомели». Помимо насмешек над Лукиным (примирение с которым, надо полагать, не состоялось), В. Петровым и Чулковым, в «Пустомеле», находим выпады против Хераскова, который осмеивался и в «Трутне». Несомненно, его имеет в виду «сочинитель Пустомели», когда рисует стихотворца, «который ровняет себя со славными российскими писателями и говорит только о чищении российского языка, похвалу себе и хулу другим, и которое чищение разумные люди называют порчею российского, без порчи прекрасного наречия» (стр. 96).

Особенный интерес представляет театральный раздел «Пустомели». Следует вспомнить, что это, по существу, первые театральные рецензии в нашей прессе, так как встречавшиеся до того времени сообщения о различных придворных и иных спектаклях в «Санкт-Петербургских» и «Московских ведомостях» представляли только хроникерские заметки, тогда как в «Пустомеле» — несомненные театрально-критические отчеты. В первой (июньской) книжке журнала была помещена корре-

спонденция из Москвы: «Г. Д. *** [т. е. И. А. Дмитревский], актер придворного российского театра, приехав к нам, столько наделал шуму, что во всем городе только и разговоров, что о нем; и подлинно московские жители увидели в нем славного актера. Он играл в «Семире» Оскольда и всех зрителей пленил. В «Евгении» комедии — графа Кларандона; искусство, с каким он сей роль представлял, принудило зрителей оную комедию просить еще три раза, в чем они были удовольствованны и в каждое представление в новое приходили восхищение» и т. д.

Не менее интересна вторая, петербургская, театральная рецензия в «Пустомеле» (июль, стр. 108—110), посвященная представлению «Синава и Трувора» Сумарокова на сцене придворного театра.

Несомненно, Новиков сознательно шел на риск во втором номере журнала: он помещает резкую политическую статью, представляющую перевод с китайского, но как-то удивительно подходящую к русским условиям 1770 г., перепечатывает атеистическое «Послание к слугам» Фонвизина и совсем недвусмысленно приоткрывает завесу над своим инкогнито, дав в самом конце место «Епиграмме г. Кондратовича к г. Издателю Трутня», не сопровожденной никакими пояснениями, которые как-нибудь осветили бы неожиданное появление этого произведения на страницах «Пустомели».

На второй книжке журнал прекратился. Он был, очевидно, закрыт Екатериной, подобно «Трутню». На это намекает одно место в объявлении о издании еженедельника «Трудолюбивый муравей»: «Прошлого 1770 года начали было показываться понедельно Трутень и помесячно Пустомеля; но оба, не окончив года, пресеклись. Один только Щепетильник, начавшись с маия, совершил течение свое постоянно до окончания года, не выдерживая в типографиях, по примеру прочих, карантина». Если здесь речь идет не о закрытии, то, во всяком случае, о каких-то цензурных злоключениях.

«Пустомеля» издавался в количестве 500 экз.

«Живописец». Третий по счету журнал Новикова выходил в свет с апреля 1772 г. по июнь 1773 г. Самый факт появления нового издания Новикова после двукратного закрытия предшествующих журналов представляется не вполне объяснимым. Конечно, «приписание» или «посвящение» «Живописца» Екатерине («неизвестному сочинителю комедии О, время!») имело характер явного вызова: предполагать, что Новиков, за два года до того бросивший в лицо Екатерине резкие обвинения в самовлюбленности, в позерстве, в нетерпимости к чужим мнениям, а затем в «Пустомеле» продолживший борьбу со «Всякой всячиной», т. е. с Екатериной, — предполагать, что Новиков действовал с ведома и согласия императрицы, — невозможно. Дело повидимому, происходило так: разочаровавшаяся в результатах своей журнальной деятельности Екатерина обратилась в том же 1772 г. к изданию сатирических комедий, как более действенному средству «перевоспитания» «народа». Этим обстоятельством не преминул воспользоваться Новиков, который с некоторой долей иронии и лукавством предупреждал Екатерину в «Приписании» о будущем содержании «Живописца», как о «следовании по стезе ею проложенной и ею указанной».

Ни о каком примирении с Екатериной «Живописец» не свидетельствует. Уже в листе 2 Новиков нападает на покровительствуемого императрицей В. Петрова («высокопарный Невпопад»), на Лукина («дерзкий Кривотолк»), на Чулкова («писатель, старающийся забавлять разум своими сочинениями»), на саму Екатерину («Нравоучитель, порицающий всех критиков и утверждающий, что сатиры ожесточают только

нравы»), на Ржевского («трагический писатель... говорит: комедия развращает только нравы и научает порокам»).

Если всмотреться в круг писателей, осмеиваемых Новиковым в этой статье, ясно видно, что это либо писатели екатерининского окружения, либо политически далекие от позиций самого Новикова. В следующих листах «Живописца» продолжаются нападки на Екатерину то в безыменной форме, то в виде кивков в сторону «Всякой всячины» и т. д. Так, в листе 6 находится письмо за подписью «М. М»; здесь мы читаем следующее: «Я заметил, что осмеяние порока умаляет силу его более, нежели иногда нравоучение со скукою смешанное». Сравнивая дальше «нахалов» обоего пола с погаными грибами, автор письма заканчивает свое обращение к издателю так: «Пожалуйста, не слушайте тех, кои скажут вам, что пример поганых грибов невежлив: ето была бы слабость учтиво обходиться с пороками». Нет никакого сомнения в том, что это поздний отклик на полемику в 1769 г. между «Трутнем» и «Всякой всячиной» о характере сатиры.

Не останавливаясь на других, более мелких уколах Екатерине на страницах «Живописца», должно обратиться к письму «Дворянина с одною душою» (лист 25, стр. 193—200), где дается ответ на статью Екатерины во «Всякой всячине» «Молодые люди всего желают отведать» (стр. 339—341). Статья Екатерины проводила мысль о необходимости сохранения «социальной гармонии»: «слушайте, Евины дети, истинну неоспоримую, и живите смирно» (стр. 341). Письмо «дворянина с одною душою» изображает невежественную «деревенскую барыню», враждебно относящуюся к образованию, к науке; и именно в уста этого отрицательного персонажа вкладываются слова, представляющие перифразу екатерининской «социальной гармонии»: «В нашем отечестве из стари положено для дворянина шпага, для стряпчего перо, а грамота для попов» (стр. 199).

Но и помимо непосредственных нападок на Екатерину, «Живописец» продолжал борьбу с ней как раз по тем пунктам, в разрешении которых журналы Новикова оказывались наиболее резкими среди сатирических изданий 1769—1770 гг. Важнейшим вопросом был крестьянский. Ему посвящена знаменитая статья Радищева «Отрывок Путешествия в *** И *** Т ***», серия «Писем к Фалалею», вероятно принадлежащих Фонвизину, и статья «Следствия худого воспитания» (лист 18).

В «Отрывке» Радищева дана страшная в своей правдивости картина крепостной деревни, ее нищеты, угнетения крестьян; автор патетически и смело обрушивается на помещиков. Смысл этого блестящего очерка не может вызвать сомнений: крепостничество изображено в нем как великое и нетерпимое зло. «Письма к Фалалею» — это ядовитая и чрезвычайно резкая сатира на помещиков. Их невежество, подкрепляемое церковью, их дикость, грубость, жестокость, отсутствие в их среде каких бы то ни было человеческих и человечных чувств и отношений, и особенно, в первую очередь, чудовищные мучительства и издевательства, чинимые ими над крепостными, — такова картина, нарисованная мастерским пером этих «писем».

Радищевский «Отрывок» и «Письма к Фалалею» занимают центральное место в «Живописце». В листах 3 и 4 журнала была помещена большая статья, посвященная теме, широко известной по первой сатире Кантемира. Любопытно, что Новиков местами просто перелагает рассуждения Сильвана, Медора и подобных им. В конце статьи Новиков полувопросительно обращается к читателю, не наскучила ли ему подобная тема: «Ты ожидаешь чего-нибудь поважнее, — кончает Нови-

ков, — потерпи, пожалуй, все будет: только чур не сердиться» (стр. 32). И следующий (5) лист открывается «Отрывком путешествия». Таким образом, несомненно окончание листа 4 относится именно к этой статье, и ясно, что Новиков отдавал себе отчет в важности и опасности этого материала и старался оградить себя этим «только чур не сердиться».

Так же и «Английская прогулка» (лист 13, стр. 97—102) должна была смягчить остроту «Отрывка», о котором говорили, что он «огорчает целый дворянский корпус»; смысл этой статьи сводился к тому, что здесь описано «злоупотребление», и что «все честные и добросердечные дворяне» не должны принимать сатиру на свой счет. Такой же разъяснительный характер имела фраза, вставленная в письмо анонимной щеголихи в листе 9: «Ты бранишь одних только деревенских дураков; да и беспримерно: ужесть как славно ты их развернул в 5 листе твоего Живописца. Ты уморил меня: точь в точь выказал ты дражайшего моего папахина» (стр. 66—67).

Нужно сказать несколько слов о письме отца Тарасия и об ответе на него Новикова (лист 21, стр. 161—165). По своему характеру письмо отца Тарасия резко антиклерикально. Письмо это написано безусловным знатоком монашеского быта и эпистолярного стиля; едва ли оно было написано самим Новиковым — его ответ довольно бледная имитация, тогда как послание отца Тарасия блещет всеми красками и оттенками схоластической «речеточивости». Вся соль письма Тарасия заключается в последней части, в которой он просит «нечто провозвестить и в нашу пользу, сиречь еже умножится... во обитель нашу». Пропущенные слова явно говорят о притоке денежных пожертвований «во обитель нашу», т. е. подчеркивают «прибыткожадность» и стяжательность монахов. Следующие за тем слова: «сего ради (т. е. за «провозвещение» о пожертвованиях) благоговейно целуют тя во-первых отец игумен с братиею, также особо бывшие иногда отец келарь, отец казначей и т. д.» тоже имеют определенное назначение. Перечисление всех этих монастырских чиновников (эконом, ризничий, уставщик, гробовый, конюшенный, крепостный, трапезенный, рухлядный, чашник, площадный, будильник, подкеларник и т. д.), которые «вси целуют тя лобзанием святым», должно было показать, как обширна и разнообразна коллекция тунеядцев в многочисленных монастырях. Ответ Новикова опять же не так уж прост и забавен. Помимо намека на Екатерину («семо поучают, а иде же поучаются? Онде исправляют, и где исправляются? не исправятся убо поучаемые, донеже не исправятся поучающие»), в письме Новикова заключается ответ на просьбу о денежных пожертвованиях: «не имам иное что принести тебе, токмо сердце чисто и дух сокрушен». И продолжая свою не выраженную прямо мысль о безнравственности монастырского стяжания, он цитирует евангельский текст о том, что скорее пройдет верблюд сквозь игольное ушко, чем богатый войдет в царствие небесное.

Первое издание «Живописца» было напечатано: первая часть в количестве 636 экз., вторая — 758. О последующих изданиях (второе — в 1773, третье — в 1775, четвертое — в 1781 г.) сведений не сохранилось. Пятое издание (1793), предпринятое купцом Г. Зотовым уже после ареста Новикова, было отпечатано в 1200 экз.

«Вечера» издавались небольшим литературным обществом в течение 1772—1773 гг. Так как почти ни одна статья, напечатанная в журнале, не имеет подписи, и в литературе последующего времени не сохранилось каких-либо сведений о «Вечерах», то до сих пор документально не установлено, кто был редактором этого издания и кто в нем прини-

мал участие. В первом «вечере», в статье, открывающей журнал, редактор сообщает, что издание это возникло в дружеской среде, желающей культурно проводить свой досуг. «Мы все составляем небольшое общество, сие общество вознамерилось испытать, может ли благородный человек один вечер в неделе не играть ни в вист, ни в ломбер, и сряду пять часов в словесных науках упражняться». Затем редактор более подробно описывает участников салона: «К нам приходят от лица Минервы, разделять с нами приятные вечерние часы. Тут сходятся Фемидины наперсники, в наших опытных вечерах ревностное участие приемлющие. Сыны Марса, труды словесного вечера на себя принимающие: вот все наше общество» (стр. 7).

Есть основания предполагать, что «Вечера» издавались М. М. Херасковым, жившим с 1770 г. в Петербурге. Вокруг него и его жены, тоже писательницы, группировались поэты, близкие им по направлению, — В. И. Майков, А. А. Ржевский, А. В. Храповицкий, И. Ф. Богданович и другие. Если сопоставить с биографическими данными об участниках салона Херасковых приведенный выше отрывок из первой статьи «Вечеров», то окажется полное совпадение.

Журнал Хераскова нельзя сравнить с начавшим выходить несколько позднее, но в том же 1772 г. «Живописцем» Новикова или каким-либо другим из серьезных сатирических изданий 1769 г. Сатирический элемент в «Вечерах», несмотря на то, что на титуле журнала помещена виньетка, изображающая сатира, очень незначителен и далеко уступает любому из хороших журналов 1769—1772 г. Характерна в этом отношении, например, статья «Воспитатели», развивающая тему о худых гувернерах-французах, которая встречалась в «Трутне», в «Адской почте», «Полезном с приятным», «Всякой всячине», а позднее — и с гораздо большим талантом — в «Кошельке». Такова же, например, статья «Упражнения отставных» (вечер 7), едва ли не лучшая сатирическая пьеска в журнале, представляющая галерею типов дворян, воспользовавшихся «вольностию дворянскою» (1762) и в праздности проводящих свою жизнь. Но, в общем, прав был один из корреспондентов журнала, писавший так: «Если вы любите правду, то могу вам сказать, что сатир ваш только что смеется и осмехает, а не кусает и не язвит, как в нынешнее... или, не помню, в которое-то время многие вздумали, — продолжает он, намекая на «Адскую почту», «ведомости» «Трутня» — что пасквили суть сатиры высокого слога и достойны удивления и похвалы» (вечер 23, стр. 178).

И литературная полемика «Вечеров» имеет такой же невыразительный характер, как и их сатира. Участники журнала, повидимому, принципиально отмежевались от всякой «критики».

К числу новых литературных явлений в «Вечерах» должно отнести перевод из «Ночей» Эд. Юнга, этого предшественника «кладбищенской» поэзии. Перевод этот прозаический и, повидимому, был сделан с французского перевода 1769 г. и носит название «Вторая Иунгова ночь о времени, смерти и дружбе» (вечера 14—17, стр. 105—136). Он приписывается М. В. Храповицкой-Сушковой. Эта публикация «Вечеров» была первым русским переводом из Юнга и представляет одно из самых ранних проявлений предромантизма в русской литературе.

Непритязательный, умеренный журнал Хераскова и его салона едва ли мог рассчитывать на большой успех среди читателей. Архивные данные свидетельствуют, что «Вечера» печатались в количестве 500 экз. Впрочем, в какой-то читательской среде «Вечера» были встречены благоприятно, и в 1788 г. вышло в Москве и типографии Новикова вто-

рое издание этого журнала с сохранением в полном виде текста и опущением деления на «Вечера».

«Кошелек», издававшийся с 8 июля по 2 сентября 1774 г., был последним из сатирических журналов Новикова и одновременно последним в ряду сатирических изданий 1769—1774 гг. Закрытие «Живописца» в 1773 г. не прекратило журнально-издательской деятельности Новикова, изменился только характер этой деятельности: вместо сатирических листков, откликавшихся на злобу дня, вместо негодующей и язвительной сатирической хроники современности, Новиков обратился к прошлому и стал издавать «Древнюю российскую вивлиофику, или собрание разных древних сочинений, яко то: российские посольства в другие государства, редкие грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей и многие сочинения древних российских стихотворцев».

Выпуская в свет это специальное издание, которое могло представить интерес лишь для немногих, Новиков не мог рассчитывать на большой успех «Древней вивлиофики». Но, повидимому, для Новикова была важна самая возможность показать родную старину русским читателям, в особенности читателям из высших кругов общества, относившихся пренебрежительно к национальным культурным ценностям и к родной истории и проникнутых рабской влюбленностью в самые слабые, аристократические стороны французской цивилизации. Около этого времени в Париже появилась книга аббата Шаппа «Путешествие в Сибирь», в которой автор с большим легкомыслием и развязностью судил о России и русских. Эта книга вызвала большое волнение и среди галломанствующих верхов и среди интеллигентов того времени, с симпатией относившихся к народу, к родной культуре, к русской истории. «Древняя российская вивлиофика» и должна была служить ответом придворным «французолюбам». Обращение Новикова к древностям вполне устраивало Екатерину — едкий, остроумный и темпераментный журналист, незаурядный полемист и прирожденный, так сказать, литератор, Новиков был для Екатерины более удобен в качестве издателя исторических материалов, нежели как сатирический писатель, трактующий современность. Поэтому Екатерина несколько раз давала Новикову субсидию на издание убыточной «Вивлиофики», сообщала ему через своего секретаря Козицкого исторические материалы для опубликования в журнале, наконец, разрешила ему пользоваться архивами для извлечения нужных рукописей.

Подавить, однако, в себе тягу к сегодняшнему дню Новиков не мог. В «Предисловии к читателю», помещенном в первой части «Древней российской вивлиофики», Новиков четко поставил вопрос об издании нового журнала в связь с «зараженностью Франциею» известной части общества.

Но для Новикова, привыкшего регулярно беседовать со своими читателями по вопросам текущей общественной жизни, «Вивлиофика», при всей ее значительности и научной, и национально-воспитательной, все же не могла заменить издания сатирического журнала. И он делает последнюю попытку — четвертую по счету — наладить выпуск периодического «сочинения», опять-таки сатирического характера. В бумагах Г. В. Козицкого сохранилось письмо Новикова от 8 июля 1774 г. с просьбой поднести Екатерине первый лист «еженедельного сочинения вновь выходящего». Из контекста явствует, что издание «Кошелька» было предпринято без ведома Екатерины; поэтому, посылая Козицкому третий лист своего еженедельника, Новиков, из опасения с закрытием «Кошелька» потерять и эту возможность общения с читателем, просит Козицкого уведомить его, «угодны ли сии листы» Екатерине.

Но, повидимому, ободрения не последовало, и, выпустив еще несколько номеров своего еженедельника, Новиков вынужден был выставить на одном из них, — девятом, слова: «Конец кошелька». Это было неизбежно. Хотя опыт трех первых журналов многому научил Новикова, и он уже не касался в «Кошельке» основных вопросов тогдашней русской жизни, — крепостного права, развращенности двора, продажности чиновничества, — но даже в той завуалированной форме, в какой Новиков изображал галломанов и французов, говорить о высшем франузофильском обществе было признано предосудительным.

Борьба с галломанией правящих кругов была основной целью нового журнала Новикова. Само название журнала может быть понятно лишь в связи с этой установкой Новикова. Дело в том, что слово «кошелек» означало тогда не только то, что и теперь, но и сетку, которую в подражание французам надевали на косу, носимую в те времена мужчинами-дворянами. «Кошелек» для Новикова — символ галломанства, это насмешка над теми раболепствующими перед заграницей аристократами, которые «русский кошель» — национальные добродетели, променяли на эфемерный «французский кошелек».

Разумеется, неверно было бы отожествлять позицию Новикова в «Кошельке» с позицией более поздних «борцов с галломанией» вроде адмирала Шишкова и его соратников. Шишков и его сторонники выступали против галломании, имея в виду влияние французской революции и передовых просветительских идей на русское общество. Ратуя за национальную самобытность, они, в сущности говоря, защищали крепостничество, деспотизм, феодальную и церковную идеологию. Новиков же, высмеивая галломанию, имел в виду усвоение верхами русского общества реакционно-аристократических сторон французской цивилизации. Отношение же Новикова к лучшим достижениям европейской культуры попрежнему положительное. На всем протяжении «Кошелька» нельзя найти критики французских просветительских идей как таковых.

Напечатав в листе 4 и 5 «письмо защитника французов», Новиков предупреждал, что имеет в виду ответить на него; шестой, седьмой и часть восьмого листа были заняты присланной со стороны пьесой «Народное игрище», но и в предисловии к этой публикации Новиков снова подтверждал, что его «ответ на письмо защитника французов будет помещен впредь» (стр. 82). Однако в печати этот ответ не появился, и безусловно под цензурным воздействием.

Комедия «Народное игрище», очень слабая в художественном отношении, с грубо-крепостнической тенденцией: у идеального помещика все идет хорошо. Это ответ на пугачевское движение; это урок злонравным дворянам, но не методами сатиры, а идиллии. Помещение подобной комедии в журнале Новикова, печатавшего прежде «Копии с отписок», «Отрывок Путешествия в *** И *** Т ***», «Письма к Фалалею» и тому подобные антикрепостнические произведения, представлялось бы крайне странным, если бы не было известно, что эта пьеса прислана была «со стороны», и безусловно из екатерининского окружения. То обстоятельство, что для ее публикации Новиков принужден был экстренно отложить печатание текущего материала, именно ответа защитнику французов, говорит о том, что издателю «Кошелька» предложено было немедленно поместить эту бездарную и слащавую идиллию. Существует необоснованная версия о принадлежности этой пьесы кн. Е. Р. Дашковой. Но кто бы ни был действительным автором, очевидно, это было лицо из придворного круга, а не Новиков. Несомненно, под влиянием пугачевского движения Новиков как и мно-

гие другие писатели того времени, стал осторожнее, политические убеждения его стали более умеренными, но, тем не менее, нельзя сгущать краски и винить Новикова за чужую, навязанную ему пьесу.

Сатирическая журналистика 1769—1774 гг. представляет бесспорно самое значительное в общественном и литературном отношении явление в истории русской журналистики XVIII в. В самой постановке ряда вопросов, волновавших русское общество того времени, в методах и формах разрешения этих вопросов, в темпераментности и страстности тона почти непрекращавшейся полемики — во всем этом проявились лучшие стороны тогдашней русской литературы. Конечно, сказанное относится в первую очередь к журналам Новикова, отчасти к его союзникам, «Смеси» и «Адской почте».

Сатирические журналы 1769—1774 гг. показали и правительству, и обществу, что литература делается серьезной силой, и, хотя эти журналы еще не являются выражением общественного мнения, но они подготовляют его оформление, они представляют предпосылки его. Именно этой причиной обусловлены были цензурные преследования передовых журналов; боязнь Екатерины пробуждения в народе сознательного отношения к социальным проблемам влекла за собой закрытие лучших изданий этого периода

Вместе с тем, в сатирической журналистике тех лет серьезное отношение к критике социальных бедствий эпохи требовало простоты и точности изображения. Это порождало — в недрах классицизма, господствовавшего тогда в нашей литературе, — нарастание реалистических элементов. Больше того, некоторые статьи в журналах Новикова и в «Смеси» представляют не только «нарастание», но и несомненные этапы в развитии русского «критического реализма» в особенности это относится к «Копиям отписок», к «Отрывку Путешествия в ***И*** Т***», к «Письмам к Фалалею». Необходимо отметить и исключительную гибкость, легкость и чистоту языка сатирических журналов. Воздействие их на дальнейшее творчество Фонвизина, на раннего Крылова неоспоримо.

Подводя итоги деятельности сатирической журналистики тех лет, отмечая ее значение в истории общественного движения, в развитии языка, как одного из важнейших звеньев в развитии «критического реализма», необходимо особо выделить фигуру Новикова. Последующая, масонская, полоса жизни этого замечательного писателя и общественного деятеля заставляет часто упускать из виду ту исключительную роль, и в условиях того времени прогрессивную роль, какую он играл в период 1769—1774 гг. Несомненно, он — центральная фигура этой журналистики. Остроумие, меткость полемических ударов, высокое благородство поставленных им целей, мужество и стойкость в борьбе с преследованиями со стороны правительства делают Н. И. Новикова весьма значительным деятелем нашей Родины. Он, конечно, был человеком передовых взглядов для своей эпохи, но не следует переоценивать его радикализм. Добролюбов был прав, говоря, что сатира екатерининского времени не добиралась до «сути дела», т. е. до анализа и критики, а, значит, и до борьбы с крепостным правом. Новиков в этом вопросе был умереннее, чем некоторые из его сотрудников. Оставаясь в пределах «законности», Новиков боролся с злоупотреблениями крепостным правом. Возможно, что помещая «Копии с отписок», «Отрывок путешествия» и пр., Новиков искренно считал, что способствует борьбе с «злонравными дворянами», а

не с коренным злом. Во всяком случае, в этом основном пункте Новиков не так решителен и последователен, как в своей политической оппозиционности, в своей борьбе с Екатериной. Здесь он страстен, смел, талантлив; он находит разящие в самое больное место стрелы, разнообразные приемы борьбы помогают ему доводить свои идеи до наибольшей степени выразительности. Новиков, естественно, самым ходом событий перерос рамки «дворянской оппозиционности», и его журналы стали фактором развития передовой русской литературы, а не только дворянской части ее.

---

6 Зак. 4378. Очерки по истории журналистики.

ГЛАВА III

Журналистика 1770—1790-х годов

1. Общая характеристика

С 1774—1775 гг. русская журналистика XVIII в. вступает в последнюю фазу своего развития. Около этого времени завершается первая турецкая война (1774), значительно повысившая международный вес России; несколько раньше (1773) состоялся первый раздел Польши. Во внутренней политике в 1774—1775 гг. произошли такие крупные события: жестоко подавлено движение Пугачева, уничтожена Запорожская Сечь (1775), опубликовано положение о губерниях, наконец упрочивается на многие годы влияние Потемкина. Вместе с тем усиливается централизация власти. Правительство Екатерины с еще большей, чем прежде, подозрительностью приглядывается к общественной жизни, к литературе. Сатирические журналы прекращаются, периодическая печать делается значительно бледнее: пугачевское движение произвело заметно поправение в рядах тогдашних писателей, и многие из прежних оппозиционно настроенных литературных деятелей идут на мировую с Екатериной и ее режимом. Другие обращаются к масонству, в теориях и практике которого видят известный выход из положения. Лишь немногие писатели, как, например, Радищев и Фонвизин, продолжают оставаться на прежних позициях. Больше того, под влиянием событий в России, а также североамериканской освободительной войны радикализируется мировоззрение части тогдашних писателей. Интерес к современной политической жизни делается ощутимым, и это не замедлило сказаться на тогдашней журналистике.

Революция во Франции не внесла значительных изменений во внутреннюю политику Екатерины II. Централизация власти и подавление каких бы то ни было проявлений самостоятельной общественной жизни приобретают еще более открытый и неприкрашенный характер. Отбрасываются последние остатки кокетничания либерализмом. Дело Радищева, арест Новикова, уничтожение «Вадима» Княжнина, указ о закрытии частных типографий, усиление иностранной цензуры и мероприятия по сокращению печатной продукции внутри страны — все это звенья единой цепи, которой правительство Екатерины стремилось удушить общественную жизнь в ее литературных проявлениях.

Наивысшей точки русская книжная продукция достигла в XVIII в. перед самой французской революцией: в 1787 г., по подсчетам И. Сержпутовского, было издано 542 книги; в 1788 — 572. С этого момента начинается резкое снижение числа издаваемых книг, падающее в 1797 г. до 240.

Екатерининская реакция отразилась и в журналистике. В 1789 г. издавалось 16 периодических изданий, в 1796 г. уже только 9, а в 1797 г. при Павле осталось только 5.

Большая часть издававшихся в этот период журналов отличалась такою же недолговечностью, как и издания 1769—1774 гг. С 1774 г. по 1799 г. возникло 83 новых периодических издания, из которых около 50

просуществовало не более одного года. Любопытно, что в 1797 г., в первый год царствования Павла, не вышел ни один новый журнал или сборник.

Тем не менее, вопреки желаниям Екатерины и Павла, русская журналистика продолжала в последнюю четверть XVIII в. развиваться, и не только в количественном отношении. Усиливается журнально-издательская деятельность учебных заведений. Появились новые виды журналов, например, музыкальные,[1] модные,[2] детские,[3] медицинские,[4] агрономические[5] и т. д. Журнальная деятельность перестала быть привилегией только столичных городов — возникают литературные и научно-популярные издания в провинции, в Ярославле,[6] в Тобольске,[7] Тамбове,[8]. Большое количество журналов 1769—1774 гг. переиздается (например «Трутень», «Живописец», «Вечера», «Адская почта»). Наконец, возникают такие крупные явления в истории нашей журналистики, как издания Крылова и Карамзина. Уровня, на котором стояли журналы 1769—1774 гг., периодика последней четверти XVIII в. не достигает; тем не менее, роль ее делается заметнее; во многих журналах с этого периода вводятся регулярные отделы библиографии, театральной критики, обзоры как внешнеполитические, так и внутренней жизни. Растет, насколько можно судить по скудным данным, и тираж газет и журналов.

Выше было указано, что в последнюю четверть века возникло свыше 80 новых периодических изданий. Если попытаться объединить близкие по содержанию и направлению журналы, то можно представить движение журнальной литературы в этот период в следующем виде.

Кроме выходивших от имени Академии Наук и Московского университета, — «Санкт-Петербургских» и «Московских ведомостей», — появляются новые журналы, также стоящие на правительственных позициях. Большая часть этих изданий связана с Академией Наук, хотя не во всех из них принимают участие академики. Журналы эти лишены какой бы то ни было яркости, за исключением «Собеседника любителей российского слова», представлявшего в литературном и общественном отношении явление значительное. К группе правительственных изданий этого периода следует отнести и возникший в 1790 г. «Политический журнал», выходивший «при Московском университете» и являв-

---

[1] Музыкальные журналы были следующие: 1) Музыкальные увеселения. М., 1774; 2) Санкт-Петербургский музыкальный магазин для клавикордов или фортепиано, посвященный женскому полу и любителям сего инструмента. СПб., 1794—1795; 3) Карманная книга для любителей музыки на 1795—1796 гг. СПб., 1795—1796; 4) Магазин музыкальных увеселений, или Собрание вокальных пьес самых лучших и новейших всякого рода. М., 1795.

[2] Модные журналы (или, по крайней мере, журналы, в которых давались приложениями модные картинки): 1) Модное ежемесячное издание, или Библиотека дамского туалета. СПб. и М., 1779; 2) Магазин английских, французских и немецких новых мод. М., 1791; 3) Магазин общеполезных знаний и изобретений с присовокуплением Модного журнала, раскрашенных рисунков и музыкальных нот. СПб., 1795.

[3] Детское чтение для сердца и разума. М., 1785—1789.

[4] Санкт-Петербургские врачебные ведомости. СПб., 1792—1794.

[5] Кроме «Трудов Вольного экономического общества», основанных в 1765 г., с 1778 г. стали выходить частные агрономические журналы: 1) Санкт-Петербургское еженедельное сочинение, касающееся до размножения домостроительства и распространения общеполезных знаний. СПб., 1778; 2) Сельской житель, экономическое в пользу деревенских жителей служащее издание. М., 1778—1779; 3) Экономический магазин. М., 1780—1789; 4) Журнал о земледелии для Всероссийской империи. СПб., 1799.

[6] «Уединенный пошехонец» (1786) и «Ежемесячное сочинение» (1787).

[7] «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (1789—1791), «Журнал исторический, выбранный из разных книг» (1790) и «Библиотека ученая» (1793—1794).

[8] «Тамбовские известия» (1788).

шийся переводом реакционного гамбургского журнала под таким же названием. Появление этого журнала в 1790 г. безусловно связано с желанием екатерининского правительства соответствующим образом осветить «безначальство и переворот во Франции». Официозным характером журнала объясняется и то, что он продолжает издаваться не только до конца XVIII в., но и долгое время затем; прекращается он только в 1831 г.

Близки к правительственным журналам такие издания, как «Санкт-Петербургский вестник», «Зеркало света», «Новый Санкт-Петербургский вестник»; их политическое лицо достаточно бесцветно, и литературная позиция большинства из них совершенно невыразительна. Именно к этой группе изданий XVIII в. больше всего подходят слова Добролюбова о том, что журналы этого времени «все отличались более или менее полным отсутствием убеждений и более или менее яркою пестротою противоречивых понятий и взглядов». Действительно, в них отсутствуют серьезные, значительные темы, в вопросах литературной современности эти журналы также очень осторожны и смирны. Лишь изредка появляются в них отмеченные печатью индивидуальности вещи, как, например, ранние оды Державина и «Сатира» Капниста в «Санкт-Петербургском вестнике» или стихотворения Ермила Кострова в «Зеркале света».

В первую половину рассматриваемого периода возникают масонские издания. Эти журналы представляют явление достаточно крупное и влиятельное для своего времени, но было бы ошибочно считать их совершенно однородными: можно с уверенностью утверждать, что масонские издания Новикова («Утренний свет», «Московское ежемесячное издание», «Вечерняя заря», «Покоящийся трудолюбец») образовывали так сказать левый фланг масонской журналистики, тогда как «Избранная библиотека для христианского чтения» и «Магазин свободно-каменщический» были более реакционными по своим установкам.

Нельзя сказать, что сатирическая журналистика в этот период вовсе прекратилась. Уже с 1780 г. вновь появляются журналы сатирического характера («Что-нибудь», «Раскащик забавных басень»; «От всего помаленьку», «Лекарство от скуки и забот», «Разные письменные материи» и проч.), но все перечисленные издания имеют больше развлекательный характер, чем сатирический, и никогда не поднимаются до постановки серьезных, общих вопросов. По существу только «Почта духов», «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий» Крылова и Клушина могут считаться журналами сатирического направления, продолжающими традиции лучших сатирических изданий 1769—1774 гг. и вновь поднимающими русскую журналистику на высокий уровень идейности и политической заостренности. Близко к журналам Крылова и Клушина примыкает и «Сатирический вестник» Н. И. Страхова.

«Московским журналом» начинается серия периодических изданий Н. М. Карамзина, представляющих весьма значительное явление и по своей роли в истории русской литературы, и в особенности в истории языка.

Последняя и, конечно, наиболее интересная для нас группа журналов этого периода — это издания, отражавшие настроения радикальных и близко к ним примыкающих литературных кругов. Почти все эти издания в какой-то мере связаны с А. Н. Радищевым, либо непосредственно участвовавшим в них в качестве сотрудника («Беседующий гражданин»), либо оказавшим своими произведениями и личной судьбой влияние на издателей («Санкт-Петербургский журнал»). Сюда же

надо отнести и журнал «Утренние часы» Рахманинова, а также попытки Ф. Кречетова («Не все и не ничего», «О всех и за вся, и о всем ко всем, или Российский патриот»).

Таким образом, журналистика этого периода имеет, по сравнению с предшествующими периодами, ряд новых черт. Она растет вширь, захватывая и провинциальных читателей, предлагая им свою, местную прессу; она обращается и к особым интересам читателей, переходя от «энциклопедических» форм журналистики, основание которых было заложено «Примечаниями к Ведомостям» и «Ежемесячными сочинениями», к журналам специальным и научным. Наряду с этим возникают, в изданиях Карамзина, собственно литературные журналы, из которых в XIX в. разовьется специфическая для русской периодической печати форма толстого журнала.

Вместе с тем необходимо отметить, что в течение последней четверти XVIII в. в нашей журналистике не возникало никаких крупных теоретических споров и конкретной полемики, подобной хотя бы борьбе сатирических журналов в 1769 г. Годы потемкинского удушения общественного мнения сказались прежде всего в устранении боевого характера даже в наиболее передовых тогдашних изданиях.

Некоторые явления русской и иностранной жизни все же служили поводом для более или менее дружного обсуждения или, по крайней мере, освещения в ряде тогдашних журналов. Событиями этими нужно признать в первую очередь войну североамериканских колоний за независимость и французскую революцию.

Известия о борьбе американцев против Англии печатались в обеих тогдашних газетах, «Санкт-Петербургских» и «Московских ведомостях», отчасти в «Собрании новостей», «Санкт-Петербургском вестнике» и т. д. Не меньше интереса проявляли наши периодические издания и к политическому строю, определившемуся в Соединенных Штатах во время и после окончания войны за независимость. Несомненно, в связи с этими же событиями находится интерес к Северной Америке в историческом, экономическом и политическом отношении в журналистике конца 1770-х годов и начала 1780-х годов; сюда же должно отнести и статьи и стихи, посвященные Америке и деятелям войны за независимость (Франклину, Вашингтону) и помещавшиеся как в столичных, так и в провинциальных изданиях (например «Аллегорическое и философическое письмо от Франклина к г. Б. . . . .» в «Уединенном пошехонце», 1786, сентябрь, стр. 552—557).

Еще более пристальное внимание направлено было русской журналистикой конца 1780-х годов на революционные события во Франции. Не только официальные «Санкт-Петербургские» и «Московские ведомости» освещали развитие революции во Франции, но и в ряде других тогдашних изданий, начиная с «Политического журнала», находили современные читатели изложение французских событий или отклики на них. Впрочем, сторонники революционных идей, имея перед собой катастрофу Радищева, не могли в годы екатерининской и павловской реакции открыто высказывать в печати свои симпатии перевороту во Франции. Поэтому в журналистике того времени отражается прежде всего «неприятие» революции. Оно высказывается не только в форме более или менее бездарных вирш тогдашних третьестепенных поэтов, но иногда и в произведениях Карамзина («Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору» в «Аглае», 1795, кн. II). Что касается сочувственного отношения к революционным событиям во Франции, то здесь приходится больше умозаключать, исходя из «факта умолчания», потому что гово-

рить о французской революции в те годы можно было только в форме ругательной.

События внутриполитические не могли ни при Потемкине, ни при сменившем его Зубове, ни, наконец, при Павле быть предметом откровенного и безбоязненного обсуждения. В конце 1770-х и в течение 1780-х годов журналы наши ограничиваются помещением официальных правительственных указов, выделяя те из обширного репертуара их, которые представляли в какой-то мере явления крупные. Оценку же и освещение эти факты получали не в статьях публицистического характера, как это имело место впоследствии, а попрежнему в форме оды. Таковы, например, ода Капниста «На истребление в России названия раба Екатериною II» («Новые ежемесячные сочинения», 1787, ч. XV), «Ода на случай заведения государственного хозяйства» студ. А. Фиалковского («Растущий виноград», 1786, август), и т. д.

Только что было отмечено, что за одой сохранялась в основном функция публицистического истолкования событий внутренней и международной жизни. Но, кроме того, необходимо подчеркнуть, что именно в указанный период в нашей журналистике происходит накопление литературных сил, подготовляющих падение господства классицизма. Такие явления, как «Сатира» В. Капниста, дважды напечатанная («Санкт-Петербургский вестник» и «Собеседник любителей российского слова»), как оды Державина, в особенности «К Фелице» и другие, а также отход многих современных поэтов от классических канонов, были явными симптомами перелома в литературном сознании. В особенности сказалось это в журнальной практике, где, наряду с оригинальными исканиями русских писателей, публиковались переводы западноевропейских предромантиков. Так, уже в «Вечерах» (1773) печатались первые переводы из юнговых «Ночей», а с 1778 г. переводы из Юнга делаются особенно частыми («Утренний свет» и другие); с конца 1780-х годов появляются упоминания, а позднее и переводы из «Оссиана», ставшего очень популярным в Европе в конце XVIII и начале XIX вв. Уже в «Покоящемся трудолюбце» (1785, ч. IV) появляется «Кладбище, элегия Греева»; в 1789 г. в «Беседующем гражданине» (ч. III) дается другой перевод. Много других переводов из Грея печатается в «Чтении для вкуса», в «Иппокрене, или Утехах любословия» и других. Встречаются часто переводы из томсоновских «Времен года», из Гольдсмита, Гете и проч. По-иному воспринимается в этот период и Руссо. Того резко отрицательного отношения к «женевскому гражданину», которое было выражено в рецензии Г. Ф. Миллера в «Ежемесячных сочинениях» 1763 г., в журналистике последней четверти XVIII в. уже не встретить. Переводы из Руссо довольно часто печатаются в журналах 1770—1790-х годов. Не менее часты статьи о нем биографического и критического характера. В этот же период растет количество журнальных, равно как и отдельно издаваемых переводов из Вольтера. В некоторых журналах публикуются переводы из Гельвеция («Собрания новостей», «Санкт-Петербургский журнал»). Таким образом, периодическая печать этого времени знакомит русского читателя с новейшими философскими и литературными течениями Западной Европы.

2. Журналы Академии Наук

После прекращения «Ежемесячных сочинений» в 1764 г. Академия Наук в течение 15 лет не издавала ни одного журнала энциклопедического характера. Лишь в 1779 г. появляются «Академические известия»,

в которых участвовал ряд академиков и других лиц, связанных с Академией. Впрочем, «Академические известия» возникли под непосредственным влиянием журнала «Собрание новостей», издававшегося с сентября 1775 г. независимо, а с января 1776 г. — «при Академии Наук».

«Собрание новостей» издавал поэт И. Ф. Богданович с сентября 1775 г. по декабрь 1776 г. включительно. Первоначально «Собрание новостей» выходило как частное издание Богдановича (хотя имя его как издателя нигде не было обозначено), а когда в конце 1775 г. он был принят на службу в Академию Наук в качестве редактора «Санкт-Петербургских ведомостей», ему удалось, благодаря покровительству тогдашнего директора Академии С. Г. Домашнева, печатать свой журнал, который стал тогда называться «Собранием разных сочинений и новостей», на академический счет; выходил этот журнал в количестве 300 экз.

Значительное место в «Собрании новостей» занимал отдел заграничных известий, который составлялся достаточно разнообразно и умело; почти в каждом номере давались сведения о Турции (или, как писали в журнале, Туреции), Швеции, Германии, Франции, Италии, Польше и Англии. В сообщениях об Англии главное внимание обращалось на войну «мятежных селений» [1] с «Отечеством», т. е. на борьбу североамериканских колоний за независимость; при этом обычно материалы о военных действиях и об экономическом и моральном состоянии американцев черпались из английских источников, далеко не объективных.

Внутренняя жизнь России отразилась в «Собрании новостей» преимущественно в форме перепечатки указов, отчетов о придворных торжествах, о производстве в чины и т д. Довольно много места занимают аннотированные списки «новонапечатанных книг». Так, сообщая о выходе «Омировых творений. Части I, содержащей в себе 12 песен Илиады. Перевел с греческого языка коллежский секретарь Петр Екимов», «Собрание новостей» пишет: «Перевод Омировых или Гомеровых стихотворений, ныне издаваемый, может служить некоторою епохою российских словесных наук, кои преподают нам красоты славного греческого творца в их, так сказать, природном изображении и обещают нам своих собственных Гомеров» (1776, декабрь, стр. 44; ср. 1775, ноябрь, стр. 102—104).

Литературная часть «Собрания новостей» представлена, главным образом, стихами В. И. Майкова, Хераскова, самого Богдановича, Сумарокова. Но наряду с этими поэтами в «Собрании новостей» встречаются оды и другие произведения В. П. Петрова, Рубана и даже Ф. Козельского. Может быть, помещать поэтическую продукцию Петрова, поэта официального, издателям «Собрания новостей» приходилось поневоле. Но, во всяком случае, соседство Майкова и Сумарокова, с одной стороны, и Петрова, с другой, производит странное впечатление.

Такое же отсутствие выдержанности наблюдается и в выборе переводов в «Собрании новостей»: здесь, наряду с Вольтером — Руссо, рядом с Гельвецием — Юнг. Создается впечатление, что у издателя «Собрания новостей» не было четкой литературной и философской платформы. Но дело обстояло, повидимому, иначе, чем представляется на первый взгляд. Как известно, Богданович начал свою литературную деятельность как один из левых учеников Хераскова, но пугачевское движение на него повлияло устрашающе, и с этого момента начинается его поправение. Документацией этого процесса и является журнал «Собра-

[1] «Селения» — тогдашний перевод слова «колонии».

ние новостей» со всеми его политическими, философскими и литературными противоречиями. С одной стороны, Богданович публикует статью о преимуществах «свободного» труда крестьянина-арендатора перед барщинным трудом крепостного;[1] с другой — в льстивой и пошлой форме сообщает, что «из первых попечений е. и. в. по прибытии [из Москвы] в сей город [Петербург] было то, что полководцы и другие военные чины, споспешествовавшие к искоренению общего возмутителя Пугачева, участвовали в ее награждениях и благодеяниях, коими самодержица наша любит отличать заслуги и достоинства. . .».[2]

Пожалуй, самыми интересными разделами «Собрания новостей» были «Ученые известия», «Редкости», «Полезные изобретении»; в них сообщался интересный, разнообразный материал из области науки, техники и явлений природы и общества. Для истории культуры XVIII в. эта часть анализируемого журнала дает много.

В 1776 г. известная часть тиража «Собрания новостей» оказалась нераспроданной, и Богданович (или кто-либо иной, действовавший от его имени) счел нужным, согласно практике XVIII в., для того, чтобы сбыть эту часть экземпляров, перепечатать титульный лист «Собрания новостей», заменив его другим. Таким образом появился новый по названию журнал «Зритель света».

«Академические известия». Журнал этот издавался с января 1779 г. по июль 1781 г. «при Академии Наук»; за это время вышло восемь частей, из которых первые семь содержали по четыре книжки, а последняя восьмая — только три; если судить по июльской книжке 1781 г., издание, повидимому, прекратилось внезапно — во всех статьях, за исключением одной, обещано было «продолжение в следующем месяце».

Редактировал этот журнал Петр Иванович Богданович, лицо мало заметное в литературе того времени, но находившееся под покровительством тогдашнего директора Академии Наук С. Г. Домашнева.

Подробное заглавие журнала, правда, несколько изменявшееся на протяжении издания, передает довольно точно характер «Академических известий». Вот это заглавие: «Академические известия, содержащие в себе историю наук и новейшие открытия оных, извлечение из деяний славнейших академий в Европе, новые изобретения, опыты в естественной истории, химии, физике, механике и в относящихся к оным художествах, отличнейшие письмена во всей Европе, академические задачи, любопытные и странные тяжбы и прочие примечательные происшествия». Не все из намеченных в заглавии журнала отделов были в нем представлены, но, в общем, «Академические известия» отличались разнообразием содержания. Для них, как и для «Собрания новостей», образцом являлись «Ежемесячные сочинения».

В «Академических известиях» печатались статьи ряда академиков — Лепехина, Озерецковского, Георги, Гмелина младшего, Палласа и др. Большая часть их посвящена описаниям различных местностей России в естественно-научном разрезе.

Значительный интерес для характеристики политико-экономических взглядов журнала представляет напечатанная в ряде номеров «Речь о произведениях российских, способных к содержанию всегда выгодного превосходства в продаже в чужие краи российских товаров перед покуп-

---

[1] Собрание новостей, 1775, ноябрь, стр. 57—61.

[2] Собрание новостей, 1775, сентябрь, стр. 8—9. Ср.: 1776, январь, стр. 5—11, Песнь Екатерине II на новый 1776 год.

кою иностранных» акад. А. И. Гильденштета. Здесь уже проводится точка зрения физиократизма.

Кроме самого П. Богдановича и перечисленных академиков, в «Академических известиях» принимали участие Державин, Княжнин, В. Петров, М. В. Храповицкий, кн. М. М. Щербатов («Опыт о древних российских монетах») и др. Принимал в журнале участие и С. Г. Домашнев. Ему принадлежит в ряде номеров «Академических известий» обзор деятельности научных учреждений — «Показание новейших трудов разных академий», представлявший сокращенные рефераты западноевропейских академических изданий.

Закрытие журнала было связано, очевидно, с борьбой академиков с С. Г. Домашневым, который, как известно, вел дела далеко не бескорыстно.

«Собеседник любителей российского слова». Появление этого журнала в качестве издания Академии Наук, хотя ни один из тогдашних академиков не принимал в нем участия, обычно объясняется так. После отрешения от должности директора Академии С. Г. Домашнева (1783) его место было занято кн. Е. Р. Дашковой, которая давно уже выступала как писательница. Около этого же времени Державин написал «Оду к Фелице», которую показал своему знакомому, молодому писателю О. П. Козодавлеву. Последний служил в это время советником Академии Наук, т. е. занимал довольно крупную административную должность в дирекции Академии. Ода Державина была через кн. Дашкову представлена Екатерине, и в связи с этим, как рассказывал сам Козодавлев, а за ним и другие авторы, возникла идея издания журнала «Собеседник любителей российского слова».[1]

Едва ли можно, однако, предположить, что журнал, в котором исключительно интенсивное участие и как редактор и как сотрудник принимала Екатерина II, возник по такому случайному поводу, как появление «Оды к Фелице». Тем более, что вслед за тем, как Екатерина перестала принимать участие в «Собеседнике», журнал прекратился.

Скорее всего можно предположить, что «Собеседник» возник в связи с тем, что около этого времени общественное мнение было взволновано рядом событий: в самом конце марта 1783 г. умер Никита Панин, старый вождь дворянских либералов, враждебно настроенных против Екатерины и ее фаворитов; незадолго до того были предприняты мероприятия по разгрому «панинской партии», арестованы и высланы близкие к Панину и наследнику престола Павлу Петровичу флигель-адъютант Бибиков и кн. Александр Куракин; сам Павел Петрович, недавно возвратившийся из навязанного ему заграничного путешествия, не смел посещать находившегося при смерти своего воспитателя Н. Панина, а вскоре затем был отправлен в Гатчину для того, чтобы не иметь случаев вмешиваться в политические дела. Вместе с тем, как раз в это время напряженную борьбу вела и «панинская» партия: 24 сентября 1782 г. был поставлен впервые «Недоросль», программное произведение Фонвизина, в то же время распространялось в списках «Политическое завещание» Никиты Панина, также написанное Фонвизиным. Смерть Никиты Панина не могла не рассматриваться как результат опалы его и его брата Петра Ивановича, и, конечно, все это привело к тому, что дворянское

---

[1] Исторические, философические, политические и критические рассуждения о причинах возвышения и упадка... Собеседника любителей российского слова. Собеседник, 1784, ч. XVI, стр. 6—11.

общественное мнение складывалось к невыгоде Екатерины. И в этот момент Екатерина решила, подобно тому, как это было сделано ею в 1769 г., использовать журналистику в качестве средства воздействия на умы, в качестве аппарата для распространения благоприятных для нее истолкований явлений внутриполитической жизни страны.

«Ода к Фелице» была с этой точки зрения удачным литературным документом: сатирическое изображение придворного окружения и подчеркнутая идеализация Фелицы—Екатерины давали возможность, в особенности для людей не слишком близко знавших подлинное положение вещей, винить во всех тогдашних российских непорядках вельможмурз и, напротив, приписывать все положительное деятельности «богоподобной киргиз-кайсацкой царевны».

Помещенная на первом месте в первой книжке «Собеседника» «Ода» Державина представляла нечто большее, чем просто обычное литературное произведение. Это была своего рода литературно-политическая декларация, причем ода приобрела такой характер помимо замысла и воли автора.

Но ограничиться помощью посторонних литературных сил, как бы эффектны и общественно значимы они ни были, Екатерина не могла и не хотела. Хотя от первых журнальных выступлений у нее оставалось неприятное воспоминание, заставлявшее ее избегать каких бы то ни было разговоров и даже намеков на ее участие во «Всякой всячине», тем не менее, за четырнадцать лет, протекших с того времени, Екатерина многому научилась и на этот раз повела журнальную работу иначе, чем в 1769 г.

Центральное место в «Собеседнике» было отведено большому произведению Екатерины — «Записки касательно российской истории», которые, по подсчету Добролюбова, заняли почти половину журнала (1348 страниц). Эту цифровую справку Добролюбов привел в своей статье о «Собеседнике» не случайно: он превосходно понимал политический характер как этого труда Екатерины, так и всего журнала; он прекрасно отдавал себе отчет в том, что «Записки касательно российской истории» имели целью показать, «каким путем должны развиваться в России исторические знания». Не имея возможности, по цензурным условиям, сказать прямо о той фальсификации, которую проделывала в своей исторической работе Екатерина, Добролюбов остроумным приемом показывает это читателю, скрывая от цензоров свой замысел внешними знаками почтения в особе Екатерины и ее деятельности. Впрочем, в самом начале статьи Добролюбов выразил свое настоящее отношение к показной, позерской деятельности «коронованной блудницы» (Энгельс). «Вся литературная деятельность Екатерины II, — замечает Добролюбов как бы мимоходом и как бы намеренно ограничивая свое суждение вопросами литературы, предоставляя читателю поставить вопрос шире, — имеет вид высокой правды и бескорыстия, которое не могло не действовать и на других писателей, действовавших в то время».

После такого введения нельзя, конечно, всерьез принимать те похвалы Екатерине, которые встречаются у Добролюбова в дальнейшем изложении. Умелым подбором фактов Добролюбов вскрывает подлинную тенденцию Екатерины «показывать во всем, чем только можно, что всякое добро исходит от престола и что в особенности национальное просвещение не может обойтись без поддержки правительства». Он убедительно группирует материалы и показывает еще более откровенную и важную для Екатерины тенденцию, состоящую

в том, что «великий князь никогда не является виною междоусобий, но всегда решителем распрей, миротворцем князей, защитником правого, если только он следует внушениям собственного сердца; коль скоро он делает несправедливость, которую нельзя скрыть или оправдать, то вся вина складывается на злых советчиков, всего чаще на бояр и на духовенство». Поэтому более чем иронически звучит итоговая часть этого раздела добролюбовской статьи: «Вообще в „Записках о российской истории" императрица, дав нам образец своих взглядов на историю, вместе с тем представила и образец уменья провести свою мысль во всем труде и направить его к подтверждению своей идеи, не прибегая ни к явным натяжкам, ни к совершенному искажению достоверных фактов. Иногда она давала им свой смысл, умалчивала об одном и давала тон рассказа о другом; но искусство рассказа было таково, что читающему даже не приходило в голову, чтобы могло быть что-нибудь другое, кроме того, что ему сообщается».

Таким образом, Добролюбов обнаруживает сугубую тенденциозность екатерининских «Записок касательно истории» и наталкивает читателя на мысль о том, что императрица-историк хотела специально препарированной картиной прошлого объяснить современную действительность. И тогда между поэтическим введением к «Собеседнику» — «Одой к Фелице» и «научным» трудом Екатерины обнаруживается полное единство: киргиз-кайсацкая царевна — безупречна, а виновны во всем и всегда ее мурзы.

Одновременно с «Записками касательно российской истории» в «Собеседнике» печатались «Были и небылицы», также принадлежавшие перу Екатерины. «В них, — пишет Добролюбов, — все легко, шутливо, неглубоко, все писано как будто импровизацией, без особенного плана и заботы о том, чтобы составить стройное целое». После этой обобщенной и очевидно намеренно расплывчатой характеристики, Добролюбов показывает пустоту, претенциозность и самодовольное любование Екатерины своим остроумничанием в «Былях и небылицах», раскрывает пошлость и бессодержательность этой безудержной болтовни и дает понять, что только особое положение автора заставляло видеть в «Былях и небылицах» сатиру.

Несомненно самым важным моментом в истории «Собеседника» было помещение на его страницах (ч. III) «Вопросов» Д. И. Фонвизина и «Ответов» на них Екатерины. «Вопросы» Фонвизина были помещены анонимно и безусловно имели целью вызвать со стороны журнала Екатерины решительное объяснение по вопросам внутренней политики. Это была смелая, но заранее обреченная на неудачу попытка публично потребовать у Екатерины отчет о том, что так волновало мыслящих, передовых людей того времени. Таковы, например, вопросы десятый и восемнадцатый, связанные с законодательными затеями первых лет царствования Екатерины, позднее заброшенными. Таковы вопросы девятый, одиннадцатый и дважды повторенный четырнадцатый, касающиеся системы фаворитизма и придворного карьеризма. Таковы вопросы второй и шестой, намекающие на правительственный террор в отношении «Панинской партии» и вообще оппозиционных кругов столичного общества. Не менее остро поставлены были и остальные вопросы, в частности, вопрос о привилегированности гвардейских полков, о правительственном покровительстве заводчикам и откупщикам и т. д. Некоторые вопросы производят впечатление личных выпадов: например, восьмой — «отчего в наших беседах слушать нечего?» — очевидно, намек на бессодержательность жур-

нала «Собеседник». Екатерина расценила этот намек именно так. «Оттого, — ответила она, — что говорят небылицу», парируя укол Фонвизина ссылкой на «Были и небылицы». Повидимому, на «Были и небылицы» намекает и семнадцатый вопрос — «отчего у нас часто преострые люди пишут так бестолково?»

Как известно, Екатерина была возмущена «дерзостью» Фонвизина и в ответе на второй из двух четырнадцатых вопросов с зловещей подчеркнутостью обвинила автора в «свободоязычии». Фонвизин ответил письмом, которое показало, что он понял, в какое неловкое положение поставил Екатерину своими колкими и требующими прямолинейности в ответах вопросами; под видом извинения за редакционную неловкость некоторых формулировок он повторил горькие упреки правительству Екатерины за то, что оно не обращает внимания на существование среди дворян «многих злонравных и невоспитанных членов сего почтенного общества», указывая, что «видел дворян раболепствующих» и это «растерзало его сердце». Фонвизин ловко использует ответ Екатерины на его вопрос о причинах того, что «тяжущиеся не печатают тяжеб своих и решений правительства»: указание Екатерины, что частные типографии были разрешены только в 1782 г., Фонвизин истолковывает как позволение опубликовать отчеты судебных разбирательств (ч. V, стр. 145—151), чего, однако, Екатерина вовсе не думала делать. Таким образом, внешняя форма «покаянного» письма не должна скрывать внутреннего смысла фонвизинского ответа.

Екатерина сперва попалась на удочку, закинутую Фонвизиным, приняла его «покаяние» всерьез и именно в таком духе характеризовала фонвизинское письмо в очередной серии «Былей и небылиц» (ч. V, стр. 151). Но, очевидно, ее не вполне убедило утверждение автора «Вопросов», что перо его «никогда не было и не будет омочено ни ядом лести, ни желчью злобы». На всем протяжении «Собеседника» после третьей книжки, в которой были напечатаны «Вопросы», встречаются выпады против Фонвизина, обязательно связанные с обвинениями в зависти и злобе.

«Вопросы» Фонвизина были безусловно самым интересным его выступлением в «Собеседнике». Но наряду с «Вопросами» в «Собеседнике» были помещены его статьи как будто невинного филологического содержания, на деле же политически заостренные и не менее язвительные, чем некоторые вопросы. Статьи эти представляют примеры применения синонимов и называются «Опыт российского сословника». Эта форма позволила Фонвизину сделать несколько остроумных сатирических ударов по враждебной ему придворной клике. Во второй из этих статей в четвертой книжке «Собеседника» Фонвизин продолжил линию, намеченную «Вопросами». В той же четвертой книжке журнала была помещена смелая по замыслу фонвизинская «Челобитная Российской Минерве от российских писателей»; в этой «Челобитной» Фонвизин ставил с остротой и прямолинейностью вопрос об общественном положении писателей в крепостническом государстве.

Однако наиболее совершенное из сатирических произведений Фонвизина, приготовленное для «Собеседника», — «Всеобщая придворная грамматика», не пропущенная на страницы журнала и напечатанная много лет спустя по рукописи. Она была вершиной фонвизинской сатиры 1783 г.: блестящее остроумие и смелость нападения на монархическую власть делают этот очерк одним из наиболее вы-

дающихся произведений социальной сатиры в европейских литературах XVIII в.

Борьба Фонвизина с Екатериной, естественно, привлекает больше внимания, чем прочий материал, печатавшийся на страницах «Собеседника». Между тем, в литературном отношении «Собеседник» представляет явление очень любопытное — это был первый русский журнал, совершенно отказавшийся от помещения на своих страницах переводов: «Сие собрание издаваться будет по частям, заключая в себе только одни подлинные российские сочинения; почему присылающие труды свои для напечатания в сем Собеседнике благоволят присылать только таковые, или подражания сочинениям, созданным на других языках; а переводы, какого бы они рода ни были, помещены здесь не будут. Ежели же напечатается что-нибудь в сем собрании под названием перевода, — предупреждает редакция, имея в виду «Оду к Фелице», якобы переведенную Державиным с арабского, — то сие только будет в таком случае, когда кто из сочинителей, желая остаться неизвестным, назовет себя переводчиком». Издание журнала, состоящего из одних только оригинальных произведений, имело для русской литературы того времени большое значение, показывая ее рост и зрелость и побуждая писателей к серьезной работе над собой.

Действительно, здесь было опубликовано много превосходных произведений тогдашних русских писателей. Добролюбов, немало потрудившийся над тем, чтобы показать подлинный характер журнала кн. Дашковой и Екатерины II, тем не менее считал, что «это замечательное явление в русской журналистике» и «что в продолжение двух лет своего издания он [«Собеседник»] совмещал в себе почти всю литературную деятельность русских писателей того времени».

В самом деле, кроме Екатерины, кн. Дашковой и Фонвизина, в «Собеседнике» приняли участие Державин, Капнист, Богданович, Княжнин, Козодавлев, Костров, Херасков, Муравьев, Бобров, Нелединский-Мелецкий, Д. Хвостов, В. Левшин, Плавильщиков и другие. Произведения Державина печатаются в каждой книжке «Собеседника», им придается исключительно большое значение.

Журнал печатался «при Академии Наук» в количестве 1812 экз. Но, несмотря на неоднократные указания в самом журнале о большом читательском успехе его, все же он расходился, очевидно, не слишком хорошо. Добролюбов в свое время отметил, что по мере приближения к концу издания цена отдельной книжки понижалась, а перед самым закрытием «Собеседника» первые номера его продавались со скидкой в 50%. «Ясно, — говорит Добролюбов, — что книга плохо шла с рук».

Впрочем, в 1809 г. было выпущено второе издание XV и XVI частей «Собеседника» (на бумаге с водяными знаками 1804 г.). Возможно, что это переиздание находилось в связи с осуществлением около этого же времени перепечаток «Комментариев» и «Ежемесячных сочинений».

«Новые ежемесячные сочинения», начавшие выходить с июня 1786 г., были последним литературно-научным журналом Академии Наук не только в XVIII в., но и вообще. Подобно своему прообразу, миллеровским «Ежемесячным сочинениям», новый журнал имел характер энциклопедический.

В литературном отделе «Новые ежемесячные сочинения» делали шаг назад по сравнению с «Собеседником любителей российского

слова», давая место и переводам. Последние, в конце концов, заняли первенствующее положение в академическом журнале. Но переводы в «Новых ежемесячных сочинениях» не делались по какому-либо определенному плану. Редакция, очевидно, вполне зависела от присылаемого материала, выбиравшегося самими переводчиками; поэтому наряду с Овидием, которого «Превращения» и другие произведения занимают много места в журнале, находим переводы из Шолье, Мерсье, Галлера, Аддисона и даже из «Спектатора» (ч. CXXI) и Вольтера.

Подобная же эклектичность замечается и в других отделах, в частности, в философском. Здесь встречаются и переводы из «De l'esprit» Гельвеция («О несправедливом употреблении слов» — пер. П. Ж., — 1786, ч. VI, декабрь), и из Бэкона и даже из Боэция, а также множество переводов из пиэтистов и других философов-идеалистов, имена которых в большинстве случаев не указываются.

Литературный отдел в его оригинальной части представлен именами лучших тогдашних писателей. Здесь, кроме Карамзина, печатались все крупнейшие поэты тех лет. Но, за немногими исключениями, в «Новых ежемесячных сочинениях» публиковались довольно бледные вещи. Так, Державин, кроме «Видения мурзы» (1791, ч. LVI, февраль) и «Песни лирической россу на взятие Измаила» (1791, ч LVIII, апрель), не поместил здесь каких-либо крупных в художественном отношении стихотворений. Такими же незначительными произведениями представлены в этом журнале Фонвизин, Херасков, Богданович, Княжнин, Капнист. Впрочем, последний поместил здесь и известную «Оду на истребление в России названия раба» (1787, ч. XV, сентябрь). И. И. Дмитриев опубликовал в «Новых ежемесячных сочинениях» свою знаменитую «Песню: На смерть голубка к Хлое» («Стонет сизый голубочек...», 1794, ч. XCVIII, август).

Кроме этих авторов, в академическом журнале участвовали Н. Николев (под своим именем, анонимно и под псевдонимом Моисей Слепцов), В. Рубан, Д. И. Хвостов, П. Карабанов, Н. Струйский, Ап. А. Майков и др.

Научный отдел «Новых ежемесячных сочинений» менее бесцветен, чем остальные. Несомненный научный и еще более культурный интерес представляют статьи по истории России и по экономическому и географическому изучению северного края страны, присылавшиеся из Архангельска местными писателями из купцов — В. В. Крестининым и А. И. Фоминым.

В политическом отношении «Новые ежемесячные сочинения» представляют наиболее откровенно консервативное издание из всех издававшихся Академией Наук. Особенно отчетливо проявилось это в 1793 г., накануне и после казни Людовика XVI. Уже в декабрьской книжке «Новых ежемесячных сочинений» 1792 г. было помещено очень резкое антифранцузское письмо, приписываемое кн. Е. Р. Дашковой (ч. LXXVIII, стр. 3—5); в нем французы называются «ветреным взбесившимся народом, который к легконравию своему присоединил беснующуюся злость к исторжению всего святого, который к бесчеловечным, содрагающим душу действиям присоединил дерзость и закон отвергать». По словам автора, «Париж... есть только скопище разбойников, каторжников и бунтовщиков». Еще враждебнее к французской революции «Мнение некоего россиянина о единоначалии» (1793, ч. LXXX, февраль) и «Правило россиянина» (ч. LXXXI, март). В этих книжках журнала напечатаны и другие произведения аналогичного хара-

ктера. Подобного характера антиреволюционные выступления встречались и позднее.

Редакторами журнала были сначала академики Озерецковский и Протасов, потом один Протасов.

3. «Санкт-Петербургский вестник»

Наряду с журналами, проводившими правительственные точки зрения, а иногда и непосредственно руководившимися правительством, в последнюю четверть XVIII в. было несколько журналов, политическая физиономия которых мало выразительна и определенна. В этих журналах довольно заметны либеральные по тому времени тенденции, но ничем ярким они себя не ознаменовали. Если не считать «Санкт-Петербургского вестника», все остальные журналы этой группы — «Санкт-Петербургское еженедельное издание», «Утро», «Растущий виноград», «Зеркало света», «Новости» и т. д. — были изданиями невысокого идейно-литературного уровня.

Наибольший интерес из журналов этой группы представляет упомянутый «Санкт-Петербургский вестник».

«Санкт-Петербургский вестник» издавался ежемесячно с 1778 г. до середины 1781 г. Редактором его был Г. Л. Брайко, незадолго до этого принимавший участие в «Собрании новостей». Краткую, но выразительную и справедливую характеристику «Санкт-Петербургского вестника» дал Н. А. Добролюбов в своей известной работе о «Собеседнике любителей российского слова». «В нем, — писал Добролюбов о журнале Г. Бройко, — явилось несколько поэтических опытов Державина (см. об этом статью г. Грота в «Соврем.» 1845 г., № 4). В нем участвовал Княжнин. Здесь же помещена знаменитая в свое время сатира Капниста. Вообще стихотворный отдел отличается скорее сатирическим, нежели дидактическим направлением. В прозаических статьях тоже рассматриваются предметы, более близкие к жизни, нежели отвлеченные. Есть несколько статей исторического и даже юридического содержания. Статья «О начале российского театра» может быть небесполезна и ныне. Кроме того, живейший интерес придаваем был журналу тем, что он постоянно следил за новостями политики и литературы».

Добролюбов ставил высоко «Санкт-Петербургский вестник». «Этот журнал, — писал он, — менее обнаруживающий склонности к отвлеченным, бесплодным умствованиям, больше вникавший в жизнь и лучше ее понимавший, нежели остальная журнальная братия, скоро овладел общим вниманием и продолжался непрерывно в течение почти четырех лет — явление очень редкое в то время». Перечислив отделы «Санкт-Петербургского вестника», Добролюбов продолжает: «Все это придавало журналу небывалые до того живость и разнообразие и, конечно, много содействовало его успеху в публике».

Оценка Добролюбова нисколько не преувеличена. «Санкт-Петербургский вестник» был серьезным и интересным журналом. Уже «Предуведомление», открывающее первую книжку журнала, обнаруживает строгую продуманность плана издания. Еще любопытнее «Фрагменты, или мысли, взятые из разных авторов. Вместо предисловия» (ч. I, январь, стр. 9—15). Брайко отказался от идеи вводной статьи, заменив ее рядом цитат из русских и иностранных авторов, тем самым подчеркивая свою солидарность с высказанными в них взглядами. Цитаты помогают уяснить направление журнала. Например: «„Истина того требует, говорил Алфред, единый из древних аглинских королей, чтобы мой народ пребывал всегда столько же волен, как его

мысль". Изречение достойное великого государя; но сие разумеется о вольности, управляемой благоразумием и законами. Честный человек иной свободы не знает».

Некоторые из «Фрагментов» не имеют подписи. Не должно ли принять это как указание на принадлежность их перу редактора? Один из них особенно заслуживает быть отмеченным: «Почти хотят воспретить живущему свету судить наши дела, когда потомства суд тем строже будет?». Очевидно, это намек на строгость екатерининской цензуры.

Литературная позиция «Санкт-Петербургского вестника» может быть охарактеризована как переходная от классицизма к предромантизму. С одной стороны, здесь имеет место сильное поклонение Сумарокову (в первой же книжке журнала была помещена «Сокращенная повесть о жизни и писаниях А. П. Сумарокова»). Но, с другой стороны, тут же печатается ряд ранних стихотворений Державина, «Сатира I» Капниста, перевод знаменитой «Оды Гаралда Храброго» (перевод Г. Брайко, в прозе, ч. I, март), «Отрывок из английской книги... Иориково чувственное путешествие через Францию и Италию. Сочинение г. Стерне» (ч. IV, июль, перевод Б. Арндта), переводы из Клейста, Виланда, Геснера, Галлера, Честерфильда и т. п. В «Анекдотах» приводятся романтические предания. В рецензиях рекомендуется переводить «сочинения г. Рихардзона, Филдинга, Стерна» (ч. I, март, стр. 319).

Иногда отделы критики и иностранных новостей служили способом проведения политических воззрений редакции. Так, в майской книжке 1779 г. сообщалось о том, что «польский князь Франц Сулковский объявил всех своих крепостных крестьян вольными и укрепил им в собственное владение их усадьбы, которыми они, яко подданные, временно только пользовались» (стр. 411).

Перечисляя достоинства «Санкт-Петербургского вестника», Добролюбов отмечал наличие в нем «библиографии — довольно полной и дельной для своего времени». Действительно, в каждой книжке журнала находится по нескольку рецензий на разнообразные книги, обычно на вышедшие только что из печати. Отзывы эти не имеют характера развернутых рецензий, какие появляются лишь в журналах Карамзина. Здесь же это, в большинстве случаев, небольшая характеристика автора (или переводчика), после которой приводится отрывок текста для ознакомления читателей со слогом рецензируемой работы. Руководствуясь принципами, изложенными во введении к критико-библиографическому отделу в первой книжке, редакция «Санкт-Петербургского вестника» почти всегда дает положительные оценки книгам.

В ноябрьской книжке «Санкт-Петербургского вестника» 1780 г. на первой странице было напечатано стихотворение Державина «Ода, преложение псалма 81», в которой очень резко говорится о «царях, земных богах». Это стихотворение вызвало цензурное преследование: из большинства экземпляров стихотворение было вырезано, и первая страница заменена другой, напечатанной более разгонисто, содержавшей только начало другой статьи, шедшей за стихотворением Державина. Вместе с тем, редакции было очевидно сделано какое-то внушение, так как с января 1781 г. журнал явно захирел. В июньской книжке 1781 г. было сообщено, что «разные непредвидимые обстоятельства, помешав порядочному Санкт-Петербургского вестника изданию, принуждают издателей оного окончить оное сею седмою, или нынешнего года первою частью».

В «Санкт-Петербургском вестнике», помимо перечисленных выше лиц, принимали участие еще Я. Б. Княжнин, И. И. Хемницер, Я. Я. Штелин и другие.

О тираже точных сведений нет. По перечню имен подписчиков видно, что в первое полугодие 1778 г. их было 299, во второе — 89 (повидимому, новых), в 1779 г. — 292. В следующие годы имена подписчиков не печатались.

4. Журналы Н. И. Новикова 1777—1789 гг.

После закрытия в 1774 г. «Кошелька» журнально-издательская деятельность Новикова не прекратилась, но приняла иное направление. Со второй половины 1774 г. учащается выпуск исторического журнала «Древняя российская вивлиофика». В 1776 г. Новиков выпустил «Повествователя древностей российских» (одну лишь книжку), представлявшего издание, аналогичное «Древней российской вивлиофике» и вошедшее впоследствии полностью во второе издание «Вивлиофики». К разряду научных журналов Новикова надо отнести и издававшиеся им в течение марта—августа 1777 г. «Санкт-Петербургские ученые ведомости» — первое русское специально-библиографическое издание.

В том же 1777 г., с сентября, начал выходить новый журнал «Утренний свет», явившийся результатом его масонских увлечений. Как известно, в 1775 г. Новиков познакомился и, по его словам, был вовлечен в масонскую организацию; как бы то ни было, с этого времени он связал с масонством всю свою последующую деятельность. Вслед за «Утренним светом», издававшимся в течение трех лет, начатым в Петербурге и законченным в 1780 г. в Москве, выпускалось Новиковым «Московское ежемесячное издание» (1781), затем в продолжение 1782—1783 гг. — «Вечерняя заря» и, наконец, в 1784—1785 гг. — «Покоящийся трудолюбец».

Но наряду с этими более или менее тесно связанными с масонством изданиями, Новиков выпускал и другие, в которых проявлялась иная сторона его журнальной деятельности, отчасти напоминавшая прежнего Новикова, Новикова 1769—1772 гг. Все эти издания выпускались во взятой Новиковым в аренду типографии Московского университета и связаны с издававшейся ранее университетом, а с мая 1779 г. Новиковым газетой «Московские ведомости». К этим журналам необходимо присоединить еще «Модное ежемесячное издание, или Библиотеку для дамского туалета», первые четыре книжки которого были отпечатаны в Петербурге еще до переезда Новикова в Москву.

Не следует, однако, переоценивать «раздвоенность» Новикова; до той остроты, силы и глубины, которой отличалась его журнальная деятельность в 1769—1772 и даже 1774 г., он уже больше не поднимается. Характеризуя деятельность этого неутомимого работника на поприще русской журналистики, Добролюбов писал: «Не все новиковские издания отличаются одинаковым направлением, а поэтому не все имели одинаковый успех. Ввиду смелых и остроумных нападений величайших умов того времени, — продолжает Добролюбов, переходя к оценке журналов Новикова после 1775 г., — нельзя уже было довольствоваться прежнею рутиною, обращениями к чувству, восклицательными знаками, изношенными сравнениями; нельзя уже было прятаться за авторитет египетских, китайских и других мудрецов. А этим-то именно и отличаются рассуждения новиковских журналов. Они чрезвычайно напоминают сочинения на

7 Зак. 4378. Очерки по истории журналистики.

заданные темы, какими упражняют обыкновенно воспитанников духовных семинарий».

В самом деле, несмотря на внешнюю интенсивность, кипучесть этого журналиста, сумевшего издать за пятнадцатилетие между 1774 и 1789 гг. 12 периодических изданий, все же характерно, что в этот же самый промежуток трижды был переиздан славный «Живописец», вершина новиковской гражданской сатиры, а в 1793 г., уже после ареста Новикова, «Живописец» был издан в пятый раз. И в историю русской общественной мысли, в историю русской литературы и журналистики Новиков вошел не как издатель масонских изданий 1777—1789 гг., а как замечательный зачинатель общественно-политической сатиры, как издатель «Трутня», «Пустомели» и «Живописца».

«Санкт-Петербургские ученые ведомости», выпускавшиеся Новиковым с марта по август 1777 г. еженедельно (всего 22 номера), представляли реализацию предложенного за двадцать лет до того Ломоносовым совершенно аналогичного издания. В «Предисловии» (в № 1) Новиков указывал, что общество, состоящее из нескольких человек, предприняло издание периодических листов, в которых должны быть изображены успехи в науках «наших единоземцев». Это может быть достигнуто «уведомлением о напечатанных книгах с присовокуплением критических оным рассмотрений». Кроме этой основной задачи в «Санкт-Петербургских ученых ведомостях» предполагалось печатать «мелкие стихотворения», главным образом надписи к портретам русских писателей и художников, а также их биографии. В частности, издатели приглашали читателей сочинить надпись Феофану Прокоповичу, Антиоху Кантемиру, Поповскому, художникам Лосенкову и Чемезову. Отсутствие Ломоносова в этом списке объяснено было в последнем номере журнала тем, что уже существует «надпись к личному изобретению» его, сделанная Поповским.

«Во критике нашей, — писал Новиков, — будет наблюдаема крайняя умеренность» «она с великою строгостию будет хранима во пределах благопристойности и благонравия. Ничто сатирическое, относящееся на лице, не будет иметь места в Ведомостях наших, но единственно будем мы говорить о книгах, не касаясь ни мало до писателей оных».

Все же не нужно думать, что «прежний» Новиков целиком сдал свои позиции: первая книга, о которой была помещена рецензия в «Санкт-Петербургских ученых ведомостях», был знаменитый «Наказ» (№№ 2 и 3); если вспомнить, что «Наказ» в это время был книгой запрещенной или, во всяком случае, неудобной к напоминанию, то выбор Новикова нельзя не рассматривать как демонстрацию. Конечно, все это сопровождается самыми неумеренными похвалами Екатерине, но она знала достаточно хорошо цену подобным «ласкательствам».

«Санкт-Петербургские ученые ведомости» лишь отчасти документируют идейную эволюцию Новикова под влиянием масонства. В более отчетливом виде проявилось воздействие масонства в «Утреннем свете».

«Утренний свет», издававшийся Новиковым ежемесячно с сентября 1777 г. по август 1780 г. включительно, сперва в Петербурге, а затем в Москве, из всех «духовно-нравственных» изданий Новикова имел особенно большой успех. Первое издание его за 1777—1778 гг. вышло в 1000 экз., и затем потребовался еще дополнительный тираж. В 1778—1779 гг. количество отпечатанных экземпляров было еще больше, насколько можно судить по отчетным данным, опубликованным самим Новиковым. Сообщение списка подписчиков показывает территориальное и

социальное распространение новиковского журнала. Среди подписчиков на первом месте стоят, конечно, дворяне, затем служители культа, наконец, купцы, приказчики и мещане; встречаются имена известных и второстепенных писателей. Нельзя не отметить, что регулярным подписчиком «Утреннего света» был известный «кнутобойца», начальник Тайной экспедиции Шешковский. В первый год журнал получался свыше чем в двадцати пунктах страны.

Журнал издавался с благотворительной целью — доходы с него шли на организацию и содержание школ для неимущих детей. Не следует забывать, что в это время еще не было в России ни одной общественной школы, да и вообще, кроме учебных заведений для дворян и детей лиц духовного звания, никаких иных не существовало. Таким образом, организованные Новиковым на доходы от «Утреннего света» школы для «бедных детей» — Екатерининское и Александровское училища, — были по сути дела первыми школами для детей мелкой буржуазии.

В последней книжке IX части «Утреннего света» Новиков выступил со статьей, озаглавленной «Заключение журнала под названием Утреннего света» (ч. IX, август); здесь разъясняется позиция журнала, определяются задачи, преследовавшиеся в продолжение его издания, и даются ответы на некоторые «неудовольствия», высказывавшиеся в публике против «Утреннего света». «Ласкалися мы, — писал Новиков, — изданием такового журнала, как наш, искоренить и опровергнуть вкравшиеся правила вольномыслия, которого следствия, как для самых зараженных оным, так и для общества весьма пагубны» (стр. 206). В самом деле, журнал вел систематическую борьбу с материалистическими и даже рационалистическими философскими системами, главным представителем которых считал Вольтера, пропагандируя в то же время моральные доктрины античных и европейских философов-идеалистов (Паскаль, Мендельсон и пр.).

Такие тенденции проводились, главным образом, в прозаических статьях и в крупных по объему стихотворных произведениях. Вместе с тем, в некоторых мелких прозаических и стихотворных пьесках заметны иные устремления. Все это дало Добролюбову основание указать, что «в Утреннем свете является уже более характер философский, нежели сатирический и только стихотворения да анекдоты все еще напоминают веселую сатиру».

В «Утреннем свете» принимали участие, кроме Новикова, еще М. М. Херасков, В. И. Майков, И. П. Тургенев, М. Н. Муравьев и другие.

«Утренний свет» в последний год своего издания не пользовался таким успехом, как вначале. Издателям были сообщаемы «неудовольствия» подписчиков, материальная сторона издания оказалась также не вполне удовлетворительной, и только с помощью некоторых «спосшествователей» смог Новиков приступить к выпуску нового журнала — «Московское ежемесячное издание». Этот журнал выходил один только год (1781); в программе его Новиков принужден был сделать некоторые изменения по сравнению с «Утренним светом» — ему пришлось ввести «политическое, историческое и географическое отделения».

Политическая струя в «Московском ежемесячном издании» очень заметна и напоминает Новикова 1769—1772 гг. Особенно примечательна в этом отношении статья «Два письма» (ч. II, август, стр. 239—258). Первое «письмо» называется «о льстецах и

о всех людях вообще». В нем выражено неуважение к «знатным» и их занятиям.

Еще более современно и резко звучало второе «письмо» — «о государях». Хотя в нем говорилось о «государе» в мужском роде, однако оно легко могло быть отнесено и к «государыне»: «Любовь столько ж беспорядков у государя производит, сколько лесть и подлая клевета. Государь, коего разумом обладают женщины, не может приобресть славы. Любовница истребляет плод двадцатилетних трудов [Екатерина овладела престолом ровно за двадцать лет до того] в одно мгновение. Ежели разобрать царствование государей, которые слишком горячи были к своим любовницам, то откроется, что сколь они ни были великого духа, однако часто любовь верьх над геройством одерживала и не преминула наделать беспорядков... Всякое государство лучше управляемо быть может праздным государем, чем страстным». Процитировав далее «одного славного писателя», который говорил, что «чем более государь царствует, обыкновенно менее умеет управлять», автор письма прибавляет: «Мало государей, которые начинают, как Август, и еще меньше, которые так оканчивают». И, наконец, автор высказывает мысль, повидимому, центральную в этом «письме»: «Какая в том разница народу, отчего он нещастлив: от напрасного ли угрызения совести, или от любовной склонности? Причина, оные [т. е. несчастия народа] производящая, их не исправляет и не оправдает виновника оных».

Не только проблема идеального государя давала «Московскому ежемесячному изданию» повод высказать достаточно смелые по тому времени суждения. Не менее резко отзывается новиковский журнал о духовенстве. Как часто бывало в XVIII в., замысел скрыт в форме перевода; в данном случае, речь шла об «испанских нравах», но попутно затронут был вопрос об «испанских духовных». Автор пишет. «Вообще из сих последних находятся такие люди, которые премного делают в государстве расстройки... Сии люди, не трудясь ни мало, снедают наилучшие плоды человеческих трудов и, находясь в поноснейшей праздности, поглощают драгоценности своего государства... Одним словом, все почти действия их наполнены пустосвятством, которое, по моему мнению, порочнее, нежели злонравие беспутной черни, коей составляют они корень» (ч. II, июнь, стр. 89—90). Насколько серьезное значение придавал Новиков этой статье, видно из того, что через некоторое время в издававшемся им «Прибавлении к Московским ведомостям» (1784, № 36) был напечатан новый перевод ее.

Любопытна также статья «О главных причинах, относящихся к приращению художеств и наук» (ч. I, апрель, стр. 281—287), основная мысль которой состоит в том, что предпосылкой развития наук является свобода мысли, «вольностью они процветают», что «народ — первый собиратель плодов науки».

Как ни разбросаны эти политические статьи между прочими материалами «Московского ежемесячного издания», которое Новиков называл «продолжением Утреннего света» и в котором действительно печатались статьи также мистико-морального характера, тем не менее они показывали, что в обществе еще не угасли стремления к самостоятельной трезвой мысли и критическое отношение к екатерининскому режиму фаворитизма.

В «Московском ежемесячном издании» принимали участие, главным образом, студенты Московского университета. Кроме того, печатались произведения А. М. Кутузова, друга Радищева, а также «Эклоги» кн. Ф. А. Козловского, погибшего в 1769 г. при взрыве корабля во время Чесменского боя.

«Московское ежемесячное издание» представляет любопытный факт в журнально-издательской деятельности Новикова: оно и издававшиеся в 1783—1784 гг. «Прибавления к Московским ведомостям» своей политической заостренностью резко выделяются среди прочих журнальных предприятий Новикова, отличающихся отказом от общественной борьбы. Словно в Новикове происходит внутреннее метание между общественником-политическим деятелем и масоном-мистиком.

«Вечерняя заря, ежемесячное издание, служащее продолжением Утреннего света», выходила в 1782 г. и представляла собой еще более глубокое падение Новикова как общественно-политического деятеля. Проблема личного самоусовершенствования, христианское смирение и приятие существующего миропорядка, как предустановленного, совершенный отказ от политической борьбы, переключение общественной активности единственно лишь в сферу частной благотворительности — вот характерные черты «Вечерней зари» со стороны идеологической.

Вопросы политические подменяются в журнале этическими. В этом смысле особенно характерно стихотворение «Ответы восьми греческих философов на данный запрос: какое народное правление счастливо?» (ч. I, февраль, стр. 112—113); все философы отвечают в этом стихотворении, что «счастливо» лишь такое «народное правление», где добродетельны граждане, «в котором страстен всяк ко доброму всему».

Еще реакционнее звучала в екатерининских условиях статья полубеллетристического, полупублицистического характера, озаглавленная «Аристид, рассуждающий о политических делах» (ч. II, июль, стр. 196—216). Собеседник Аристида, Клисфен задает ему, между прочим, такой вопрос: «Государь не может ли во зло употребить свою власть? Что же тогда делать?» Аристид отвечает: «Покориться и лить слезы; слезы тогда становятся свидетельством и всегдашними упреками на его забвение. Каков бы подданный ни был, он всегда есть только тень могущества. Когда уже учинена присяга и дана верность, в какой бы ты степени ни приближился к трону, прикосновение к оному есть осквернение. Возмутитель есть вероломец, стыд государя и ужас государства. Отраженный луч высочайшей власти долженствует устрашить сердце и вкоренить в него долг». Далее Аристид, возможно, с намеком на Екатерину, восклицает: «Более скажу еще, естьли бы я жил под правлением государя, хотя и такого, который достоин был моего презрения, однако ж, я его признавал бы, и хотя бы после мне следовало принести себя на жертву, естьли бы мне силы мои дозволили, пронзил бы всякого, кто бы ни обагрился его кровию. Нет ничего священнее государя, ничего нет мерзостнее бунтовщика».

Стихотворный отдел «Вечерней зари» представляет мало интересного. «В „Вечерней заре“, — писал Добролюбов, — уже преобладают рассуждения — о посте, о бессмертии души, о суете сует, об истинном блаженстве, о совести, об откровении, о египетской морали и догматике и т. п. Самые стихотворения представляют большею частью переложения молитв, псалмов и душеспасительные размышления».

Само название журнала имело, по объяснению издателей, мистический смысл — человеческий разум лишен света премудрости и с трудом различает окружающее, подобно тому как бывает при мерцании вечерней зари.

«Покоящийся трудолюбец», последний из журналов Новикова, издавался им в течение 1785 г. поквартально, по образцу трехмесячника — «Собрания лучших сочинений». Подобно этому журналу,

«Покоящийся трудолюбец» в основном заполнялся произведениями студентов Московского университета.

Журнал этот в общем мало интересен, представляя, как и указано на его титуле, «продолжение Вечерней зари»: те же рассуждения на темы «о люблении истины», «о выборе друзей», «о должности человека иметь особливое попечение о своей душе» и т. д.; те же стихотворные переложения молитв, те же рондо, загадки, мадригалы и т. д.

Политические темы, которыми было так обильно «Московское ежемесячное издание», в «Покоящемся трудолюбце» почти вовсе отсутствуют. Те немногие статьи, которые затрагивают их, продолжают линию «Вечерней зари» (ср. «Завещание Кирово перед смертию» в ч. I, стр. 109—123).

Такой же «моральный» характер имеет трактовка темы крепостничества, неожиданно появляющейся на страницах последнего новиковского журнала. В стихотворении «Письмо к другу» (ч. IV, стр. 220) анонимная поэтесса пишет:

Я, размышляя так, из рощи выхожу,
С сердечной горестью на поселян гляжу;
Они работают и зноем утомленны,
Присутствием моим бывают ободренны.
Трудяся для себя, но более для нас,
Отдохновения едва ль имеют час.
Кровавый пот они, трудяся, проливают
И пищу нужную для нас приготовляют.
Для нашей роскоши, для прихоти своей
Мы мучим, не стыдясь, подобных нам людей.

Окончание этого большого стихотворения представляет дальнейшее развитие того же морального осуждения крепостничества, но никак не протест, не призыв к борьбе с ним.

Узнавши, коль бедна пред нашею их часть,
Стараюсь уменьшить мою над ними власть,
Вхожу в заботы их, о пользе их радею,
Люблю, как братьев, их и, как друзей, жалею.

Нельзя не отметить интересного языка большинства статей «Покоящегося трудолюбца», почти свободного от архаизмов, славянских конструкций и намеренной торжественности «Утреннего света» и «Вечерней зари». В этом смысле «Покоящийся трудолюбец» может считаться одним из предшественников карамзинской реформы.

Одновременно с перечисленными выше журналами Новиков издавал «Московские ведомости», к которым он стал давать разнообразные литературные приложения. Из всех приложений наибольший интерес представляют «Прибавления к Московским ведомостям» (1783—1784) и «Детское чтение» (1785—1789).

«Прибавления к Московским ведомостям» были по существу возобновлением в московских условиях и через полвека с лишним миллеровских «Примечаний к Ведомостям». Они прилагались почти к каждому номеру газеты (в оба года издания вышло по 94 номера «Прибавлений»). Здесь совершенно отсутствовали статьи на «духовно-нравственные» темы, зато много внимания уделялось истории, политической экономии, географии, текущей иностранной политике и т. д. Некоторые статьи были исключительно велики по размеру; так, статья «О торговле вообще» была напечатана в 1783 году в 38 номерах. Кстати, эта последняя статья вполне заслуживает внимания историков

русской экономической мысли, которые вообще в журналистике XVIII в. могут найти немало важных материалов для своей науки.

Но гораздо интереснее сравнительно короткие статьи на более животрепещущие темы. Так, в №№ 46 и 47 за 1784 г. (стр. 362—372) было напечатано «Краткое описание жизни и характера генерала Васгингтона» (Вашингтона). О тоне ее можно судить по окончанию статьи: «Почти все нации имели своих патриотических освободителей. Израильтяне имели Моисея, Рим имел Камилла, Греция имела Леонида, Швеция Густава, Англия Гамда, Русселя и Сиднея. Однако ж сии славные герои не равняются Васгингтону; он основал республику, которая, вероятно, будет прибежищем свободы, изгнанной из Европы роскошью и развратом». Попутно следует отметить помещенные в самих «Московских ведомостях» (не в «Прибавлениях») в №№ 68 и 70 за 1783 г. «Примечания о некоторых славных людях нынешнего столетия»; здесь, среди прочих кратких характеристик, находятся отзывы о Рейнале («Райналь»), «Васгингтоне», Франклине, Адамсе, Лафайете и других. Интересна заметка о Франклине: «Отдаленность есть перспектива и, так сказать, небо великих мужей, и Франклин в некоторых веках будет почитаем божеством. Электричество преображает всю физику; селения [т. е. колонии] аглинские преображают всю политику. Франклин был главою при обеих сих важных переменах и тем самым заслужил себе у потомства два лучшие места» (№ 70, стр. 557).

В «Прибавлениях» были помещены статьи, вызвавшие цензурные осложнения для Новикова. Так, статья об «истории ордена иезуитов» (1784, №№ 69—71) вызвала неудовольствие покровительствовавшей им Екатерины.

Необходимо остановиться также и на статье «Понятие о торге невольниками» (1784, №№ 72—74, стр. 545—564). Статья эта представляет «Письмо» одного путешественника к своим приятелям и, несмотря на некоторые оговорки, содержит защиту института невольничества; автор полагает, что в рабство надо продавать только «порочных». Но не статья важна, а примечание к ней издателя, т. е. Новикова: «Мы сообщаем сие письмо наипаче для того, что оно писано благомыслящим очевидцом. Хотя и не выпустили мы предварительного защищения торга невольниками, однако не соглашаемся на оное, ибо оно утверждено на многих ложных основаниях... Извинения, что мы в Европе делаем подобные несправедливости, что посредством торга невольниками производится много добра, которое без оного должно бы остановлено быть, — все сии извинения не уважаются пред судилищем рассудка и человечества и не доказывают еще справедливости права, присвояемого белыми человеками над черными их собратьями». Насколько это примечание о неграх имело отношение к крепостнической России, — ясно само по себе.

Таким образом, «Прибавления к Московским ведомостям» должны быть признаны одним из наиболее важных изданий Новикова после 1775 г. Их общественная роль неизмеримо выше всех масонских журналов его, начиная от «Утреннего света» и кончая «Покоящимся трудолюбцем».

Сотрудники «Прибавлений» нигде не обозначены, но, повидимому, они подбирались из числа студентов, работавших в качестве переводчиков в остальных изданиях Новикова.

«Детское чтение» было первым русским журналом для детей и издавалось в качестве приложения к «Московским ведомостям»

с 1785 по 1789 гг. В нем было довольно много переводов из иностранных детских журналов. Переводы делались А. А. Петровым и Н. М. Карамзиным, причем последние части были либо целиком, либо в значительной мере подготовлены Карамзиным. Всего вышло 20 частей журнала; издавался он еженедельно, так что каждый год состоял из 52 номеров или «листов».

Журнал этот пользовался большим успехом, и в начале XIX в. неоднократно переиздавался.

5. Журналы прогрессивного направления

Первые годы после подавления движения Пугачева в журналистике функционировали только издания правительственного и умеренно-либерального направления, а также издания масонские. Лишь в середине 1780-х годов делаются попытки издания журналов с более прогрессивными устремлениями.

Одному из этих журналов не пришлось даже увидеть света, несмотря на то, что объявление о его издании было напечатано. Имя издателя этого неосуществившегося журнала было настолько одиозно, что екатерининское правительство могло ожидать немало хлопот с проектируемым изданием. Журнал должен был называться «Друг честных людей, или Стародум». Издавать его намеревался Д. И. Фонвизин. Представив в петербургскую управу благочиния первую часть «Друга честных людей» для цензурного рассмотрения, Фонвизин уже в начале апреля 1788 г. сообщал П. И. Панину: «Здешняя полиция воспретила печатание Стародума; итак, я не виноват, если он в публику не выйдет».

Но не только неприязнь Екатерины к Фонвизину за его дерзкие «Вопросы», опубликованные в «Собеседнике», была причиной запрещения «Стародума»: и самое содержание нового журнала было таково, что в годы потемкинского режима его издать было невозможно. Уже название журнала подчеркивало, что то новое, свидетелем которого был автор «Недоросля» и которое выдавалось Екатериной за успехи цивилизации, его не удовлетворяло. Обращение к «честным людям» еще больше подчеркивало неприятие потемкинской действительности, и совсем угрожающе звучало посвящение журнала — Истине.

В самом деле, по своему содержанию, по своему общественному пафосу, по своей исключительно художественной форме «Друг честных людей, или Стародум» представляет выдающееся явление в русской журналистике, и, может быть, не только XVIII в. В печатном объявлении о предполагаемом издании говорилось: «Напрасно было бы предварять публику, какого рода будет сие сочинение, ибо образ мыслей и объяснения Стародума довольно известны».

Действительно, в сохранившейся в рукописи части журнала видно строгое единство направления, полная идеологическая выдержанность, целиком совпадающие с позицией Фонвизина в «Недоросле» и «Вопросах». С первым объединяет журнал Фонвизина не только идеологическая общность, но и то, что в качестве «сотрудников» издания фигурируют некоторые персонажи великой комедии, например, Стародум, Софья, Тарас Скотинин; с «Вопросами» и «Челобитной российской Минерве» роднит «Друга честных людей» ряд идей, а иногда и формулировок, знакомых нам по «Собеседнику». Такова, например, мысль о роли вольных типографий, о «рабских душах, обитающих в теле знатных вельмож» и т. д.

Но «Друг честных людей» не представлял бы особого интереса, если бы только повторял прежнего Фонвизина: ценность этого журнала заключается именно в дальнейшем развитии художественного дарования автора. Некоторые страницы «Друга честных людей» принадлежат к лучшим явлениям всей русской литературы XVIII в. Такова, например, «Всеобщая придворная грамматика», бичующая ирония которой достигает максимальной силы художественной выразительности и гражданской смелости. Таково «Письмо Тараса Скотинина к родной его сестре госпоже Простаковой», в котором Фонвизин расширенным использованием прежних своих героев уже намечает методы салтыковской сатиры: Скотинин сообщает сестре о смерти своей любимой свиньи Аксиньи, названной им из сыновнего почтения именем покойной матери. «Сие несчастное приключение, — пишет Тарас Скотинин, — переменило совсем нрав мой. Мне свет опостылел. Я чувствую, что потерял прежнюю мою к свиньям охоту; но надобно чем-нибудь заняться». И вот нравственно переродившийся Скотинин, как будущие герои Щедрина, начинает чувствовать в себе склонность к этическим проблемам: «Хочу прилепиться к нравоучению, — пишет он сестре, — то есть, исправлять нравы моих крепостных людей и крестьян; но как к достижению сего лучше взяться за кратчайшее и удобнейшее средство, то находя, что словами я ничего сделать не могу, вознамерился нравы исправлять березой». Гротескный образ Тараса Скотинина — насадителя нравственности должен быть причислен к совершеннейшим созданиям антикрепостнической сатиры. Но возможно, что в «Письме Тараса Скотинина» Фонвизин хотел также осмеять теории Екатерины по воспитанию «новой породы людей» в условиях крепостнической действительности, как бы говоря, что при сохранении власти в руках помещиков всякие попытки в данном направлении волей-неволей обратятся в «исправление нравов березой» по методу Тараса Скотинина.

Еще более заострено против екатерининского режима «Письмо надворного советника Взяткина». Этот надворный советник представляет несомненное дальнейшее развитие образа Советника из «Бригадира» — тот же елейный тон, та же манера пересыпать речь своеобразно примененными церковными текстами, та же хищническая ухватка, та же отвратительная подьяческая этика. Но, если в «Бригадире» потомство Советника, в лице Софьи, не повторяет отцовских пороков, поскольку это вполне разрешалось классической теорией, — в «Письме Взяткина» сделан решительный шаг в сторону реалистического изображения действительности. Фонвизину была очевидна несообразность появления добродетельной Софьи в семье алчного ханжи Советника; скорее можно было допустить иное, более близкое к реальной жизни эпохи — появление еще больших взяточников и лихоимцев. И вот в своем письме Взяткин характеризует своего сына Митюшку, который, по его словам, «к приказным делам весьма сроден и уже под моим смотрением сочинил совсем нового рода сводное уложение, прискав на каждое дело по два указа, из коих по одному отдать, а по другому отнять ту же самую вещь неоспоримо повелевается».

Во вторую половину екатерининского царствования всякого рода напоминания о разогнанной Комиссии для сочинения нового уложения воспринимались как дерзкие выпады против императрицы, а в цитированном отрывке из письма Взяткина как раз содержатся подобные намеки. В то время как правительство вынуждено было отказаться от ранее поставленной цели, молодой подьячий «сочинил совсем нового

рода сводное уложение». Иными словами, екатерининское царствование оказалось только на руку тем самым элементам, против которых выступала Екатерина на словах.

«Письмо Взяткина» разрушало еще одну иллюзию. Обычно сатира екатерининского времени считала и изображала плутами, взяточниками и мошенниками мелких подьячих, идеализируя, не без влияния «Всякой всячины», вельмож и даже более или менее крупных чиновников. «Письмо Взяткина» обращено к «милостивцу», «его превосходительству» и помечено не каким-нибудь задним числом, позволяющим хотя бы из цензурных соображений отнести сатиру к царствованию Елизаветы или даже Анны Ивановны; дата, выставленная в начале «письма», — Москва, 1777, — подчеркивала неприкрытый характер нападения, а близость ее по времени к движению Пугачева, как бы подсказывала связь между ними.

В «письме» Взяткин обращается к его превосходительству с поздравлением по поводу того, что адресат «так сказать, из ничего, по единой божеской благости, слепым случаем, произведен в большой чин и посажен знатным судьею, весьма в непродолжительное время и без всяких трудов, по единой милости создателя, из ничего всю вселенную создавшего». При уменьи читателей XVIII в. делать широкие выводы из сатирических нападок современных писателей цитируемое место не могло не восприниматься как явная критика фаворитизма, господства «случая», делавшего «из ничего» вчерашних незаметных людей «знатными особами». «Ответ» его превосходительства показывал, что Фонвизин разрушил старую традицию идеализации доблестных сановников, обнаруживая в «произведенном в большой чин» те же черты, которые подвергались осмеянию в подьяческой мелюзге.

Наконец, характеризуя неосуществленный журнал Фонвизина, необходимо отметить статью, в которой проводится мысль о конституции. Выражена эта мысль очень осторожно. Между молодым вельможей, пишущим стихи на французском языке, и его собеседником идет спор, есть ли в России ораторы. Стародум, сообщая об этом издателю, ставит вопрос о причинах действительно слабого развития в его время ораторского искусства. Он приходит к выводу, что «истинная причина малого числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют и где победа красноречия не пустою похвалою, но претурою, архонциями и консульствами награждается. Демосфен и Цицерон в той земле, где дар красноречия в одних похвальных словах ограничен, были бы риторы не лучше Максима Тирянина, а Прокопович, Ломоносов, Елагин и Поповский в Афинах и Риме были бы Демосфены и Цицероны». Намекая, таким образом, что государственное устройство монархически-крепостнической России является причиной отсутствия политического красноречия, Фонвизин устами Стародума утверждает далее, что существующие налицо задатки свидетельствуют о том, «какого рода и силы было бы российское красноречие, если бы имели где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих».

Насколько смелыми были в годы потемкинского режима эти мысли, ясно само по себе. «Друг честных людей, или Стародум» был слишком передовым, даже радикальным по тому времени журналом, и потому он не был разрешен к изданию. Имел ли он влияние, распространяемый в рукописном виде, сказать трудно. Во всяком случае, рассматривать его как продукт развития русской журналистики безусловно необхо-

димо, равно как и необходимо признать его одним из выдающихся памятников передовой общественной мысли в России.

Необходимо отметить, что весь дошедший до нас материал «Друга честных людей, или Стародума» был целиком написан одним только Фонвизиным.

Не следует думать, что «Друг честных людей» был в эти годы единственным журналом прогрессивного направления. Еще несколько раньше него была сделана также не вполне удавшаяся попытка осуществить издание, ставившее себе целью распространять полезные знания, главным образом, юридические, а также способствовать организации учебных заведений (в первую очередь «для женского полу»). Здесь имеются в виду «Не всё и не ничево» (1786) и «О всех и за вся, и о всем ко всем, или Российский патриот и патриотизм» (1788) Ф. В. Кречетова, оставшиеся в рукописи, если не считать первых листов — объявлений об этих изданиях.

Как известно, Кречетов просидел с 1793 по 1801 г. в Шлиссельбургской крепости. Его журнал «Не все и не ничево» является попыткой основания органа свободной общественной мысли в то время, когда реакция прекратила деятельность других передовых журналов.

Обращаясь к печатным журналам конца 80-х и 90-х годов XVIII в., в первую очередь надо остановиться на «Утренних часах» (1788—1789) И. Г. Рахманинова и П. А. Озерова.

В «Утренних часах» Рахманинов, получивший известность как переводчик Вольтера, часто печатал свои переводы из Л.-С. Мерсье, радикального автора эпохи, непосредственно предшествующей Французской революции. Переводы из «Картин Парижа», «Спального колпака» и «2440» Мерсье, проникнутые духом тираноборчества и убежденного республиканизма, имели известное значение как для русских читателей этого времени, так и для молодых писателей, в числе которых следует считать и И. А. Крылова, сотрудничавшего в журнале Рахманинова и Озерова.

С этой стороны «Утренние часы» представляют безусловно интересное явление в журналистике XVIII в. В остальном же этот журнал ничем не замечателен: здесь нет ни откликов на современную русскую жизнь, политическую или хотя бы литературную, ни чего-либо выдающегося в художественном отношении.

В «Утренних часах» принимали участие, кроме Рахманинова и Озерова, еще А. А. Нартов, Крылов, поместивший здесь свои первые три басни, Державин, И. И. Дмитриев, А. В. Лабзин, В. С. Подшивалов и другие.

Журнал «Утренние часы» интересен не столько сам по себе, сколько по тому, что он оказался почвой, из которой в следующем, 1789, году выросли два замечательных журнала: «Беседующий гражданин» и «Почта духов».

«Беседующий гражданин» (1789) издавался «Обществом друзей словесных наук», возглавлявшимся М. И. Антоновским, в прошлом студентом Московского университета, связанным со Шварцем и Новиковым, активным участником новиковского журнала «Вечерняя заря». Но если можно говорить о связи «Беседующего гражданина» с Новиковым, то скорее всего с Новиковым, сохраняющим просветительские устремления своей молодости, т. е. Новиковым «Прибавлений к Московским ведомостям» и «Московского ежемесячного издания», с их интересом к вопросам политики, гражданской морали и философии.

Исследовавший журнал «Беседующий гражданин» В. П. Семенников полагал, что «содержание журнала, в действительности, показывает, что и название „Беседующий гражданин", и заявление издателей о том, что главною их целью является „разливать чувствования любви к гражданским добродетелям", если и оправдывается текстом журнала, то в очень небольшой степени. В действительности, основная часть журнала состоит вовсе не из статей такого характера, а из разных моральных рассуждений, имеющих далеко не тот прогрессивный характер, которого естественно было бы ожидать от журнала с таким названием. Направление большинства статей — реакционно-охранительное... Культ религии, а вовсе не „гражданские добродетели", стоит в журнале на первом месте... Но в журнале есть небольшое количество статей, которые, несмотря на уверения издателей, не только не связываются идейно с этим основным содержанием журнала, но просто вторгаются в него каким-то чужеродным клином, явно противореча руководящим позициям журнала. Эти статьи являются отражением совсем другого общественно-политического мировоззрения, и это подтверждает, что в Обществе друзей словесных наук не было единства общественно-политических убеждений. Наоборот, в нем шла борьба, которая сказалась и в невыдержанности характера журнала».

Эту общественно-философскую струю в «Беседующем гражданине» В. П. Семенников справедливо связывает с участием в «Обществе друзей словесных наук» и в журнале А. Н. Радищева.

Среди стихотворений этого журнала находится несколько смелых по своему содержанию и резких по формулировкам. Таково, например, «Рондо» С. Тучкова (ч. III, декабрь, стр. 305—308), в котором первая строфа сразу определяет оппозиционность произведения:

О времена! О нравы!
Златый скончался век.
Лишь собственной забавы
Здесь ищет человек;
Астрея удалилась,
Неправда водворилась,
Всяк чтит ее уставы —
О времена! О нравы!

Если вспомнить, что не только в первые, но даже и в последние годы царствования Екатерины ее правление сравнивалось с «веком Астреи», тогда оппозиционная направленность «Рондо» Тучкова делается очевидной. И совсем в духе «гражданской поэзии» звучит последний куплет:

О времена! О нравы!
Несчастная страна.
Честь, истины уставы
Суть праздны имена;
Хоть всем оне здесь лестны,
Но малым, ах! известны,
Как блеск прямыя славы. —
О времена! О нравы!

Не менее показательно анонимное «Послание к Правдону» (ч. III, декабрь, стр. 372—379). Здесь находятся такие же рассуждения по поводу «века Астреи», но поданные в несколько ином окружении:

Правлением наш век Астреину подобен. —
Теперь тебя никто не может притеснить,
Отнять имения, и жизни прекратить.
Законы святы все, коль были б соблюденны. —

И нам завидуют концы всея вселенны:
Да люди с слабостьми, а истина суха,
Так за нее тотчас скроят и треуха.

Таким образом, по словам анонимного поэта «век Астреи», «зависть всей вселенной», «святость законов» — все это слова, а когда дело дойдет до «сухой истины», то за нее получают пощечины («скроить треух» — дать оплеуху). Далее, поэт продолжает:

Ведь ты не Боало. Зовет тот кошку кошкой,
А вора вором звать здесь ставится оплошкой.
Грабителя казны зовут здесь хитрецом,
Буяна, драчуна зовут все удальцом;
Мздоимца же судью все бойким называют,
Начальника, емца[1] случайным почитают...
Ролета Боало мошенником хлеснул,
Помпеем назван был в глаза емцом Лукулл, —
А ныне век не тот, и люди в просвещенье:
Вещь именем назвать вменяют в преступленье.

Не менее замечателен «Сонет. Придворная жизнь», помещенный в ч. I (март, стр. 296):

Быть предану Властям и оным лишь служить,
Зависеть от других и воли не иметь,
В местах тех обитать, где б не хотелось быть,
За несколько утех премного скук терпеть.
Что в сердце чувствуешь, того не сметь сказать,
Любимцам следовать, при том их не любить,
Надеждой богатеть, а в существе нищать,
То, чем гнушаешься, из силы всей хвалить.
С вельможей льстивну речь искусно продолжать,
Смеяться верности, пронырствовать, ласкать,
Есть поздно завсегда, день в ночь преобразить,
Лобзати всякого, а друга не иметь. —
Казать веселый вид, спокойствия ж не зреть,
Вот кратко: при дворе как должно ныне жить.

Многое из того, что на первый взгляд кажется выражением «религиозно-морального направления» учеников московских масонов, повидимому, следует отнести за счет «необходимой» в те годы накалявшейся политической атмосферы маскировки, цензурного «отвода глаз». Не только Антоновский и его единомышленники, но и Радищев определял физиономию «Беседующего гражданина». Повидимому, не слащаво-растянутые рассуждения, вроде «О первой и единственной обязанности человека к высочайшему существу» или «Рассуждение на слово: несть мира нечестивым», создали у современников репутацию журналу. Только в «гражданственности», в культе «гражданских добродетелей», в неподкупном патриотизме журнала заключалось его влияние на современное общество, и только этим можно объяснить, что, когда петербургская городская дума, рассмотрев вопрос о бедственном положении местных ремесленников, явившемся результатом злостных неплатежей заказчиков-дворян, вынесла постановление обратиться к Екатерине «с подробным донесением и описанием долгов, равно как состояния и имен тех дворян», вторым пунктом было принято решение «сию дневную записку (т. е. протокол) обнародовать посредством Беседующего гражданина» (ч. II, июль, стр. 290).

Центральное место в журнале занимает радищевская «Беседа о том, что есть сын отечества» (ч. III, декабрь, стр. 308—324).

---

[1] Емец — взяточник.

Ей, повидимому, придавалось большое значение издателями «Беседующего гражданина», так как в «Заключении к просвещенной публике» (ч. III, декабрь, стр. III особ. пагин.) отмечалось, как одна из задач журнала, разъяснение вопроса, что есть сын отечества. Из записок одного из участников «Общества друзей словесных наук» С. А. Тучкова известно, что произнесенная в виде речи, статья Радищева вызвала опасения членов Общества, полагавших, что цензура не пропустит ее. Вероятно, в связи с этим в некоторых местах совершенно неожиданно, но безусловно для «отвода глаз» вставлены в статье слова «монархия» («величественное наименование сына отечества, монархии»), «государь есть отец народа» и пр.

Смысл статьи заключается в следующем: истинный сын отечества обладает тремя признаками — он честолюбив, благонравен и благороден. Во все эти понятия Радищев вкладывает «гражданское», а не «бытовое» для своей эпохи содержание. Особенно заслуживает внимания объяснение последнего термина. «Истинное благородство есть добродетельные поступки, оживотворяемые истиною честию, которая не инде находится, как в беспрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим соотечественникам, воздавая каждому по законам естества и народоправления». Если вспомним, что слово «народоправление» — это перевод термина «демократия», тогда станет еще более очевидным цензурное значение указанных выше вставок.

Следует попутно отметить, что в «Беседующем гражданине» имелась любопытная тенденция к изгнанию иностранных слов или, по крайней мере, к оставлению их в скобках после русских: например, духи (спирты), суеверие (фанатизм), здравое суждение (критика), противоножные или противуножные жители (антиподы), бесносвятство (фанатизм), сообщество (публика), дееописание (история), отечестволюбец (патриот), происшествие (анекдот) и т. д.[1]

Возвращаясь к вопросу об участии А. Н. Радищева в «Беседующем гражданине», следует указать, что В. П. Семенников счел возможным приписать автору «Путешествия» еще статью «Рассуждение о том, в чем состоит разум любомудрия» (ч. I, март). С меньшей уверенностью В. П. Семенников говорит о возможной принадлежности Радищеву «Рассуждения о человеке и его способностях» (ч. III, октябрь) и «Рассуждения о связи естественного права с гражданским» (ноябрь); затем им высказываются соображения о допустимости участия Радищева в составлении заключительного обращения к читателям.

Кроме Радищева, в «Беседующем гражданине» принимали участие М. И. Антоновский, С. С. Бобров, С. А. Тучков, К. А. Лубянович, С. С. Пестов, И. П. Степанов, И. Ф. Софонович, П. П. Икосов, С. С. Завалиевский, В. Шереметев, М. Доброгорский, А. М. Вындомский (отец П. А. Осиповой-Вульф).

«Санкт-Петербургский журнал», выходивший в течение 1798 г., был последним радикальным журналом XVIII в. Издателем его был известный литератор, последователь Радищева, И. П. Пнин; кроме него, близкое участие принимал А. Ф. Бестужев, отец четырех декабристов Бестужевых.

Основными статьями в журнале были переводы из материалистического трактата Гольбаха «Система природы» и из его же «Всеобщей

---

[1] Следует отметить, что в статье Радищева «Беседа о том, что есть сын отечества» тоже встречаются указанные языковые особенности, например: сын отечества (патриот), смертный сон (летаргия), смесь нестройная (хаос).

морали», переводы — извлечения значительных экономических работ той эпохи и тому подобный материал. С первой же книжки Пнин стал печатать обширный трактат Бестужева «О воспитании», написанный в духе материализма XVIII в. Затем Пнин поместил вступление и предисловие Вольнея, одного из поздних французских материалистов XVIII в., к его «Руинам». Все эти переводы были анонимными (за исключением двух глав из «Системы природы») и печатались без указания автора и названия оригинала.

Менее выдержана политическая линия журнала. Наряду с пропагандой идеи ответственности царя перед законами («Рассуждение Ксенофонта о Лакедемонской республике» — ч. III, июль), политической необходимости просвещения («Просвещение» — август) и т. п., в «Санкт-Петербургском журнале» печатается стихотворение «К истине. Соч... 1793 году» (подпись: М.; не И. И. Мартынов ли?), резко нападающее на французскую революцию.

Эти противоречия не случайны. Можно было привести еще много подобных же примеров, подтверждающих политическую сбивчивость и противоречивость позиций «Санкт-Петербургского журнала». Впрочем, достаточно ограничиться еще одной только иллюстрацией. В августовской книжке журнала было напечатано «Послание к земледельцам» (стр. 22—31), представлявшее прозаический перевод «Epître au peuple» А. Л. Тома, произведения, привлекшего в свое время (1760) большое внимание остротой постановки вопроса о роли крестьянства в социальной жизни. Приведем начало этого перевода:

«О! вы, которые несправедливою гордостью осуждены быть в числе подлых, которые, родясь без предков и живя без неги, одни в государстве несете бремя законов и служите своими трудами отечеству своему и государю. Почтенное сословие полезных граждан, презираемых гордыми глупцами, но мудрыми уважаемых; земледельцы! Я дерзаю восстать против сего наглого презрения, пусть другие льстят знатным, но вы будете предметом моих похвал».

А несколько раньше, в мартовской книжке «Санкт-Петербургского журнала» было опубликовано «Наставление богатому сыну от бедной матери» (стр. 279—282), где анонимный автор, касаясь отношений к крепостным, пишет следующее:

Не будь тиран рабам, о пользе их пекися,
Будь снисходителен, но с ними не дружися;
Достойнейших из всех старайся награждать,
Без строгости умей пороки исправлять, —
Тем к большему одних усердию побудишь,
От слабости отстать других совсем принудишь,
И равно сих и тех пленишь в любовь сердца,
Прямого будут зреть в тебе рабы отца.

Как же согласовать эти противоречия? Повидимому, став на путь теоретического ниспровержения феодального мировоззрения, Пнин и его друзья не решились на практический вывод о революционном преобразовании общества, испугавшись мысли о выведении из равновесия народа, якобы не приуготовленного к принятию истины.

ГЛАВА IV

Журналы И. А. Крылова

1. «Почта духов»

Журналы «Почта духов», «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий», с изданием которых тесно связаны имена И. А. Крылова, А. И. Клушина и П. А. Плавильщикова, выходили в годы первой французской революции (1789—1793) — грозные для самодержавия.

В России в это время известия о событиях во Франции помещались только в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Московских ведомостях» и в «Политическом журнале». Остальные немногочисленные периодические издания вынуждены были хранить о них молчание. Да и переводчикам «Санкт-Петербургских ведомостей» в 1791 г. было предписано «сократительнее переводить о суматохе во Франции, ныне царствующей». За этими переводами Екатерина II наблюдала сама.

Однако, несмотря на скудость сведений о французской революции, проникавших в Россию, и затруднительность открыто обсуждать эти сведения, почти все круги русского общества проявили свое отношение к революционным событиям во Франции.

По поводу известия о взятии Бастилии французский посол в России граф Сегюр в своих мемуарах писал: «Они [известия] быстро распространились и были встречены весьма различно в зависимости от положения и образа мыслей тех, до кого они доходили. Двор был живо взволнован и недовольство там было всеобщим; в городе действие было совершенно противоположным; и хотя Бастилия решительно не угрожала ни одному из обитателей Петербурга, я не сумел бы выразить восторг, который возбудило среди негоциантов, купцов, горожан и некоторых молодых людей высшего сословия падение этой государственной тюрьмы и первый триумф бурной свободы».

В начале тревожного 1789 года молодой Крылов начал свою литературную деятельность издателя и журналиста. В это время еще свежа была в памяти крестьянская война в самой России — «Пугачевский бунт». Вскоре подвергся окончательному разгрому московский круг Новикова, сослан был Радищев, энциклопедисты получили молчаливую отставку от двора. Это было время усиления реакции и вместе с тем революционных веяний. Внутри самого дворянства обострилась борьба двух идеологий — крепостнической и либеральной.

«Почта духов», «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий» не были связаны с этой борьбой. Они отражали устремления русской разночинной интеллигенции. В отличие от ориентации Карамзина на Запад, эти журналы выступили с пропагандой народности и самобытности, с пропагандой национальной культуры.

Несмотря на отсутствие отчетливой программы по крестьянскому вопросу, несмотря на смутность политических убеждений, деятельность юного Крылова и его товарищей по существу своему была направлена против дворянства, бюрократии и крепостнического строя.

Политическую и литературную платформу «Почты духов», «Зрителя» и «Санкт-Петербургского Меркурия» полностью определяла деятельность молодого Крылова, Клушина и Плавильщикова.

Сын армейского капитана, мелкого и бедного служилого дворянина, Крылов почти не получил образования. Еще мальчиком его определили подканцеляристом в калязинский земский суд. Через некоторое время мы застаем молодого Крылова в Петербурге, где вместе с матерью он хлопочет о пенсии и в 1783 г. поступает в казенную палату на должность приказного служителя. Весь имеющийся на руках весьма скудный документальный и мемуарный материал свидетельствует о том, что Крылов шел в литературу из дворянских низов, представители которых по тем или иным причинам не имели земли и были поэтому поставлены в совершенно иные условия, чем основная масса поместного и бюрократического дворянства. Крылов оказался как бы разночинцем из дворян. Его журнальной деятельности предшествовали литературные опыты в области театра. Несмотря на незрелость этих опытов, в них обнаруживалось замечательное сатирическое дарование будущего баснописца.

Отказавшись от занятий драматургией, Крылов обратился к журналистике — сначала как сотрудник, а потом и как создатель одного из лучших сатирических журналов XVIII в.

В 1787 г. Крылов принимал участие в журнале «Лекарство от скуки и забот», в 1788 — в журнале И. Г. Рахманинова «Утренние часы». Знакомство с переводчиком Вольтера Рахманиновым не могло не повлиять на молодого радикально настроенного Крылова. Вероятно, Рахманинов обратил внимание юного своего приятеля и сотрудника на энциклопедистов и на таких писателей, как Мерсье. В библиотеке Рахманинова Крылов мог найти и сатирические романы Лесажа, Скарона, Виланда, и всю русскую сатирическую журналистику начала екатерининского царствования, традиции которой продолжала «Почта духов». Повидимому, Рахманинов подал Крылову мысль приступить к изданию сатирического журнала, пообещав печатать его журнал в своей типографии. Так началась журнальная деятельность Крылова.

«Почта духов», ежемесячное издание или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами» печаталась ежемесячно в типографии Рахманинова с января по август 1789 г.

Одновременно с «Почтой духов» в Петербурге издавались при Академии «Собрание сочинений, выбранных из месяцеслова на разные годы», «Новые ежемесячные сочинения» под редакцией Н. Я. Озерцковского и С. А. Протасова, «Продолжение Древней российской вивлиофики», «Российский театр» и «Беседующий гражданин». В Москве в это время Н. М. Карамзин впервые выступил в литературе в «Детском чтении для сердца и разума». Таково было журнальное окружение, в котором пришлось работать Крылову.

За исключением «Беседующего гражданина», ни один из журналов даже эзоповским языком не касался острых политических вопросов.

Время было крайне тревожное. 1789 год, первый год французской революции, напоминал о событиях пугачевского восстания. Недавно по России прошел голод, о котором Щербатов написал свое «Рассуждение о нынешнем в 1787 почти повсеместном голоде в России», изобиловавшее нападками на дворян, на их неумение вести сельское хозяйство. В голодный год была начата нелегкая война с Турцией и непопулярная война со Швецией (1788 г.).

Все эти события толкали к осознанию социальных противоречий

8 Зак. 4378. Очерки по истории журналистики.

и с особенной остротой выдвигали политические и экономические темы, открывая широкое поле для сатиры.

Необходимо отметить, что незадолго до выхода первого номера «Почты духов» был переиздан сатирический журнал Федора Эмина «Адская почта».

«Адская почта» и самый жанр сатирического журнала-романа несомненно увлекли Крылова. Советы Рахманинова и положение юного безвестного литератора, вряд ли позволявшее рассчитывать на привлечение сотрудников, склонили Крылова к изданию журнала-романа. Структура такого журнала опирается на образ рассказчика, созданный в предисловии. Этот персонаж — действующее лицо журнала, его герой. Все повествование и самый его характер тесно связаны с ним. Если мы заглянем в сатирические журналы XVIII в., нетрудно будет обнаружить, что в некоторых из них намечался персонаж, от имени которого велось повествование. В «Адской почте» такой персонаж — бес, в «Трутне» — лентяй. В первом листе он пишет о себе: «Часто по целой неделе просиживаю дома для того только, что лень одеться». В журнале «И то и сё» — острослов и балагур, живущий литературным трудом. В журнале «Всякая всячина» — благонамеренный автор, и т. д. Автор «Пустомели» сообщает о себе: «Говорить и заговариваться, переходя из материи в материю, есть одна из моих слабостей. Читатель, тебе надобно к этому привыкнуть».

Роман в письмах, само собой разумеется, явился прототипом для журнала в письмах. При этом, естественно, в журналах-романах не могло быть стройно развивающегося сюжета: публицистические темы уводили автора от сюжетной канвы. Несмотря на это, журнал-роман (особенно журнал-роман в письмах) в такой мере являл собой нечто цельное и законченное, что переиздавался в XVIII в. наряду с настоящими романами, пьесами и стихами.

«Почта духов» по своей композиции ближе других сатирических журналов к жанру романа, хотя бы уже по тому, что, как и «Адская почта» Эмина, она представляет собой переписку. Предпосланное журналу вступление — традиционный для романа в письмах рассказ о том, как письма попали в руки издателя.

Бедный литератор в стужу и дождь возвращался из приемной вельможи. В то время как он размышлял о своей печальной судьбе, спрятавшись от непогоды в полуразвалившемся строении, перед ним появился волшебник Маликульмульк и позвал его к себе в секретарскую службу. Литератор попросил у волшебника разрешения издать его переписку с гномами и сильфами в надежде таким образом приобрести славу и деньги. Волшебник согласился.

Все, что в журнале следует за вступлением, — переписка волшебника с духами.

Прежде чем обратиться к этим письмам, следует сказать, что и вступление само по себе очень любопытно. По существу, этим вступлением в русской прозе начинается история бедного героя. Конечно, это не прообраз пушкинских Евгения и Германа, не прообраз бедных людей Гоголя и Достоевского, но несомненно здесь в первых страницах «Почты духов» впервые появляется прообраз бедного героя — писателя, художника, чиновника, прообраз бедного молодого человека, стремящегося к славе и богатству. Отдельные намеки позволяют заключить о том, что издатель переписки волшебника молод и беден, о том, что он разночинец и с дворянством не в ладах.

В предисловии к журналу по традиции сатирической журналистики

выступает сам автор, в маске или без маски. Крылов, единственный автор всего журнала, отказался от маски. Он выступил в предисловии таким, каким он был — бедным литератором-разночинцем, и в этом выступлении неожиданно родились в русской прозе не только еще зыбкие черты бедного героя, но и элементы реалистического изображения, без сентиментальности и с грубоватой откровенной резкостью, которую там, где это было нужно, легко можно было довести до сатирического гротеска, до гиперболизма и фантастики.

Письма «Почты духов» сюжетно не связаны между собой. Их посылают Маликульмульку из самых разнообразных стран и мест; из царства Плутона, из Парижа, из русской деревни. В них изображаются сценки, в которых участвуют боги, греческие философы, петиметры, помещики и чиновники. В них передаются разговоры философов наряду с разговорами косынки с английской шляпкой. Все эти сценки, эпизоды и разговоры, не объединенные общей фабулой и развитием сюжета, связаны одной общей темой.

В «Почте духов» Крылов поставил себе задачу: изобразить отрицательные стороны современной ему русской жизни. При этом он попытался указать на коренные ее недостатки. Конечно, о многом нельзя было писать прямо, и тут Крылову приходит на помощь избранная им манера рассказа — сатирический гротеск. Отдельные страницы «Почты духов», там, где действуют боги и философы, приближаются к манере ироикомических поэм. Говорят ли боги и философы, нарядившись в пудреные парики, говорят ли английские шляпки, рассказывает ли Крылов о царстве Плутона или о других сказочных краях — всюду так или иначе говорится о России и русской жизни. Аллегоричность стиля «Почты духов», ее эзоповский язык уже предсказывают в Крылове будущего замечательного баснописца.

Жанр журнала-романа и стилистическая манера гротеска позволили Крылову попутно коснуться и многих злободневных событий. На страницах «Почты духов» Крылов осторожно шутит по поводу «людей в случае», намекая на придворные нравы в царствование Екатерины II, рассказывает историю художника Г. И. Скородумова, не нашедшего признания на родине. В «Почте духов» находим мы гротескный портрет вельможи, отдельными чертами, вероятно, напоминавший современникам канцлера Безбородко, и рассказ о театральных неудачах самого Крылова, наряду с выпадами против театральной дирекции петербургских театров и против Княжнина.

Одна из основных и наиболее ярко разработанных тем «Почты духов» — разложение дворянской бюрократии. Автор «Почты духов», продолжая традиционную тему сатирических журналов о «петиметрах» и «трутнях», подходит к ней, однако, с новой стороны. В «Почте духов» в основу критики кладется противопоставление бюрократии и отсталого провинциального дворянства передовым людям, находящимся в данных условиях не у дел. Один из таких людей, который вправе рассчитывать на большее, одетый в платье бедняка, жалуется в письме XVI: «Признаться, что в большом свете очень тесно жить без денег... а мы, которые чувствуем, что могли бы принести пользу государству, совсем позабыты, что существуем на свете».

Письмо XXIV, посвященное рассуждению о честности в гражданском обществе, заключается таким выводом: «По справедливости надлежит сказать... что гораздо более таковых можно найти в простых людях, не прилепленных ни к придворной, ни к статской, ни к военной службам».

Традиционные выпады против галло- и англомании в «Почте духов»

приобретают конкретно антидворянское содержание: «Вот, сударь продолжал он [купец], показывая мне стальной английский эфес, который стоит 110 р... он из самой лучшей аглинской стали; железа тут не более как на 9 к. Работа агличанам, может быть, стоит не больше полуфунта стерлингов или два крона, что на здешние деньги сделает 2 р. 20 к. 58 р. 80 к. мы даем им прибыли; а достальные 55 р. я имею честь брать со своих просвещенных земляков» (письмо XVII). «Молодой Припрыжкин, как новоприезжему желая показать редкости сего города, возил меня в лучшие аглинские магазины и во французские модные лавки, где наряду с прочими такими же ветренниками, как он, платил за дурачества тяжелые подати иностранцам, покупая двухрублевую вещь за десять и за двадцать рублев» (письмо X).

Если эти заявления сопоставить с рассказом графа Сегюра, станет ясной их заостренность и значение. Французский посол в России в 1785—1789 гг. граф Сегюр писал: «Английские негоцианты образовали в Петербурге целую грозную колонию. Разбогатев торговыми оборотами... они до того размножили свои заведения и дома, что занимали в Петербурге целый квартал, называемый английской линиею... Они сообща устанавливали на целый год смету торговых оборотов, определяли ценность товаров и даже вексельный курс».

Та же программа развития и поощрения национального, которую «Почта духов» настоятельно проповедует в торговле, рекомендуется и в области искусства: «Мои картины, хотя всеми были здесь ободряемы [говорит художник], но порочили их тем, что оне не были Апеллесовы, Рубенсовы и Рафаэловы».

В письме XVII «Почта духов» дает развернутую картину экономического строя, в товарном обороте которого занимают значительное место «дорогие иноземные товары»: «Ты шутишь, сказал я, неужели такие безделицы, каковы аглинские стальные цепочки, пряжки, пуговицы, петли или такие мелочи, каковы французские соломенные шляпки... могут принести такой вред государству? — А вот, сударь, продолжал купец... я вам в коротких словах о етом расскажу. Например, его сиятельство г. Припрыжкин задумал жениться, ему неотменно надо к свадьбе множество таких мелочей; деньги на них он должен брать у своих 4000 душ крестьян, в одну минуту посылает он приказ собрать с них 80.000 р.; мужички получают такое строгое повеление, и не надеясь одним хлебопашеством доставить своему господину такую сумму, оставляют свои селения и бредут в города, где обыкновенно более можно выработать денег, вместо сохи и бороны берут они лопаты и топоры, становятся каменьщиками, плотниками и разносчиками: днем работают, а по ночам, чтоб лучше собрать свой оброк, взыскивают его с прохожих. Город вместо того, чтобы получить от них хлеб, должен бывает сам их кормить, и сверх еще того платить им деньги. От таких гостей становится все дорого. Мужики стараются вымещать это на ремесленниках, ремесленники на купцах, купцы на господах, а господа опять принимаются за своих крестьян... И так, города терпят недостаток, деревни голод, граждане дороговизну, а его сиятельство остается при новомодных галантерейных вещах».

С неменьшей резкостью «Почва духов» подчеркивает, что культуру уже не несут дворянские верхи: «Как! спросил я, кто ж у вас читает Платоновы сочинения о должностях; наставление политикам; о состоянии земледельцев и о звании вельмож? — Купцы и мещане, отвечал автор; а вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шутливые басни».

В числе вопросов, с жаром обсуждавшихся дворянской общественностью этого времени, был вопрос о воспитании, связанный с борьбой между породой и чином. Еще сатирическая журналистика 1769 г. призывала дворянство к культуре. Это было вполне своевременно. Во многих губерниях половина провинциального дворянства, избиравшего депутатов в Комиссию по составлению Наказа, была неграмотна.

«Почта духов» решительно критиковала дворянское воспитание. В этом вопросе сочинитель «Почты духов» солидарен и с Фонвизиным и Радищевым. Но следует отметить что в то же время журнал нападал на французских просветителей-рационалистов. «Читай перед ними [воспитанниками] чаще философию французских Эпикуров и Спинозов: ученики твои начнут... по маленьку бранить веру и добродетель» (письмо XXII).

О воспитании журнал высказывался неоднократно, протестуя против преподавателей-иностранцев, приучающих не уважать все национальное, русское.

Из всего дворянского сословия сочинителю «Почты духов» ближе то новое дворянство, которое так ненавидел Щербатов, дворянство, не погнушавшееся промышленностью и торговлей. Только это дворянство журнал готов взять под защиту. Об этом мы узнаем из письма XXXVII: «Какие бы добродетели и великие достоинства не имел новый дворянин, однако ж его почитают дворянином новой фабрики; но глупец и невежда, происходящий от древнего рода, почитается человеком знаменитого происхождения и его называют древним дворянином». «Я думаю... что сие беспримерное почтение и уважение к древнему дворянству, не имеющему другого достоинства, кроме единой только древности, можно почесть столь же безумным мечтаньем, как... и страсть к древним рукописям».

В общей и туманной форме сочинитель «Почты духов» останавливается на вопросе о единовластии и тиранах. «Оплакиваю я злополучие смертных, поработивших себя власти и своенравию таких людей, кои родились для их погибели. Львы и тигры менее причиняли вреда людям, нежели некоторые государи и их министры». Журнал перечисляет тиранов: Нерона, Юлия Цезаря, по мнению «Почты духов», несправедливо прозванных великими. Они наполнили кровью и грабительством всю Римскую империю. Далее, журнал, говоря о войнах, предпринимаемых государем, признает только те, которые клонятся «к защищению своих областей» и «поддержанию прав и преимуществ своего народа». От войны журнал переходит к другой теме — бедности народа и эксплоатации его монархией. «Гораздо было бы лучше для некоторых государей, чтобы потеряли они половину своих подданных в сражении... нежели, собрав их имущество к себе в сундуки, поморить после их с голоду».

Письмо XX в «Почте духов» о тиранах и единовластии свидетельствует о том, что молодой Крылов в самом начале французской революции выдвигал радикальную политическую программу, приближающуюся к программе Радищева. Быстро надвигавшаяся реакция помешала Крылову более цельно и широко развить свои взгляды.

Вопросам литературы «Почта духов» отвела значительно меньше места. Поводом к высказываниям являлись литературные отношения Крылова: его ссора с Княжниным и борьба с Соймоновым, управлявшим тогда горной экспедицией и петербургскими театрами, а также неудачи автора журнала в драматургии.

По самому своему характеру и содержанию «Почта духов» — орган радикальной идеологии — не смогла найти в эти годы значительного числа сторонников и почитателей в дворянских кругах. Существенно то,

что Крылов все время находился под угрозой попасть в сочинители вредные и опасные. Слишком смел, слишком резок и непримирим был тон его журнала. Уже первые письма свидетельствуют о лихорадочных попытках оградить себя от возможных неприятностей. Только что разбранив дворянство, Крылов готов рассыпать похвалы мудрым монархам. Резкие нападки на весь строй жизни в государстве помещиков и дворян сменяются прославлениями Екатерины (письма XLI и XLIV). В последние месяцы существования журнала вынужденных срывов к оде и похвалам становится все больше. Однако все эти попытки остались тщетными.

Не дотянув до конца года, «Почта духов» прекратила свое существование на восьмом месяце и была пущена в продажу по пониженной цене.

2. «Зритель».

Между изданием «Почты духов» и «Зрителя» прошли два бурных и богатых событиями года. Во Франции с каждым днем все ярче разгоралась революция. Людовик XVI присягнул конституции, которая вводила «мещанство» в число правящих классов. Одновременно реакция замышляла заговоры и с оружием в руках готовила нападение на революционную Францию. Россия заключила мир с Турцией, начала и окончила шведскую войну. Наиболее крупным литературным явлением этого времени в России было появление сразу ставшего известным «Московского журнала» Карамзина.

В это время завязались литературные отношения между Крыловым, Клушиным и Плавильщиковым. В январе 1792 г. была основана типографская компания «Крылова с товарищи». В нее, помимо Крылова, вошли Клушин, Плавильщиков и знаменитый актер И. А. Дмитревский.

Биография поэта и драматурга А. И. Клушина во многом похожа на биографию Крылова. Клушин происходил из дворянского рода, но отец писателя был беден и служил подканцеляристом. Клушин окончил только ливенское уездное училище и так же, как Крылов, был определен к канцелярской службе. К 1790 г. относится первое появление Клушина в печати — выходит в свет его перевод одноактной французской комедии «Рассудительный дурак, или англичанин», в следующем году печатается «Послание к другу моему В. С. Ефимьеву». К этому времени относится начало знакомства Крылова с Клушиным.

Наиболее интересные сведения о Клушине мы находим у Болотова в его дневнике — «Памятнике временных лет». Обе записи относятся к 1795 г. «Что касается до ... Клушина, — писал Болотов, — то он низкого происхождения — подьячий сын из Твери; ничему порядочно не учен. При открытии наместничества был с пятью другими определен для разбора старых архивных дел провинциальной канцелярии... Сам собою и слогу и всему, и поэзии, и даже французскому языку научился и сделался потом изрядным бонгутистом [1] и сочинителем. Он попал потом каким-то образом в Петербург и там вместе с Крыловым издавал Меркурия и сделался известен. Но все в низком чине и все еще каким-то канцеляристом».

Во второй записи Болотов исправляет ошибку: «Родом он [Клушин] из дворян; но отец его служил канцеляристом... ничего он не имеет: продал последние душонки; живет с Христова имени... Умен, хороший писатель, но... сердце имел скверное: величайший безбожник, атеист и ругатель христианского закона».

---

[1] От bon gout — хороший вкус. — *Ред.*

Известный актер, драматург и режиссер П. А. Плавильщиков был сыном московского купца, владельца галунной фабрики. Федор Кони в очерке «Один из русских трагиков» превосходно подчеркивает смысл деятельности П. А. Плавильщикова именно как актера разночинной ориентации. «В Москве... он сбросил с себя узы, в которые сковывало его влияние и пример Дмитревского, отличного мима, но закоснелого раба тогдашней вычурной и напыщенной французской декламации... Плавильщиков чаще начал являться в комических ролях, в которых дружился с естественностью выражения... Из комедии Плавильщиков перешел к так называемой мещанской драме, т. е. к пьесам, где действовали не цари, не герои, а обыкновенные люди со страстями и которых катастрофы разрешались в кругу семейной, а не политической жизни... Тут Плавильщиков почувствовал себя в своей сфере... Его упрекали в простоте разговора в комедиях, в недостатке резких движений, в том, что он говорил в драме обыкновенным голосом». Деятельность Плавильщикова — драматурга и актера — выражала ту общую цель, которую он поставил перед собой — создание национального театра. Стремление к созданию национального театра и антидворянские взгляды не помешали Плавильщикову сохранить верность монархии, что было характерно для него как выходца из русского купечества.

Значительно старше своих юных товарищей, ко времени знакомства с Крыловым и Клушиным известный актер, режиссер и преподаватель в Академии художеств российской словесности «по собственному своему начертанию», Плавильщиков несомненно оказал серьезное влияние на содержание и характер журнала «Зритель», в котором он участвовал. Однако Крылов, настроенный в эти годы радикально, конечно, не мог до конца разделять взгляды своего старшего товарища. В «Зрителе» он сохранил свое лицо сатирика и демократа-разночинца. Последнее говорит о том, что типографская компания Крылова была содружеством людей с далеко не одинаковыми взглядами. Только по одному вопросу у них не было разногласий — по вопросу о необходимости создания национального русского искусства, антифеодального по своему духу и содержанию.

Как это видно из договора между четырьмя основателями типографской компании, для заведения типографии было решено каждому «положить по ровной части — тысячу рублей». Это постановление было выполнено только частично. Из «Книги приходной на 1792 год», принадлежавшей типографской компании, видно, что Плавильщиков и Дмитревский положили по 250 рублей, Крылов положил 50, а Клушин только 25 рублей. Типографский инвентарь приобрели и поместили в доме И. И. Бецкого на Марсовом поле. Там же помещалась и книжная лавка компании. При типографии жили Клушин и Крылов.

Кроме книг, в типографии «Крылова с товарищи» печатались афиши и клубные билеты, в ней же печатались и журналы — с февраля по декабрь 1792 г. «Зритель» и с января по июль 1793 г. — «Санкт-Петербургский Меркурий».

Первоначально, судя по предисловию, «Зритель» был задуман как сатирический журнал; на это указывает и самое название, перекликавшееся с названием известного сатирического и нравоучительного журнала Адисона и Стиля «The Spectator». Однако, когда стала ясной возможность привлечь к изданию сотрудников, редакторы — Крылов, Клушин и Плавильщиков — решили издавать журнал с разнообразными отделами. В «Зрителе», кроме редакторов, принимали участие Андрей Бухарский, князь Хованский и другие. Установлено сотрудничество в журнале

В. Л. Пушкина, Д. И. Хвостова, Н. Николаева, П. Карабанова. Большую часть произведений для журнала писали Крылов, Плавильщиков и Клушин.

Темы, поставленные «Почтой духов», Крылов продолжал разрабатывать в «Зрителе». Клушин, стоявший, как и Крылов, на позициях демократического радикализма, в своей литературной деятельности в «Зрителе» придерживался «крыловского направления». Особую позицию занял Плавильщиков. Широко и не без блеска изложенные на страницах «Зрителя» взгляды Плавильщикова на вопросы национальной культуры явились как бы программой редакции по вопросам культуры. Однако там, где Плавильщиков касался вопросов политических, он, не хитрости ради, а с полной искренностью, вставал на защиту монархии и престола. Крылов и Клушин, повидимому, понимали, что журналу необходимо заявлять о своих верноподданнических чувствах. Без этих заявлений невозможно было бы удержаться в журнале сатире и критике Крылова. И Плавильщикову были предоставлены все официальные статьи.

Программа поддержки национальных начал, выдвинутая «Почтой духов», была развита и в «Зрителе». На ее основе «Зритель» создал теорию о самобытности русского народа и о характере национального русского искусства.

То, что разработкой теоретических вопросов искусства и официальной публицистикой в журнале занимался Плавильщиков, конечно, не могло не наложить на направление, в котором рассматривались эти вопросы, своего отпечатка. Открыто не отвергая точку зрения Плавильщикова, по которой просвещенная и протекционистская монархия содействует процветанию промышленности и купечества, отдавая вместе с Плавильщиковым официальную дань дворянству — «тем, кто умеет повелевать и сражаться», выслушивая песнопения Плавильщикова о величии и силе союза дворянства с купечеством (см. статью Плавильщикова «На мир с Турцией»), Крылов и Клушин все же продолжали нападки «Почты духов» на дворянство под старым флагом войны с петиметрами и бюрократией, недостойными дворянского звания.

В «Портретах» Клушина, в «Ночах» Крылова, в его же «Похвальной речи в память моему дедушке» мы снова находим неослабевающую сатиру на бюрократию, на помещичье хозяйство, на весь строй феодальной монархии. «Имение, нажитое трудами праотцев, отдается селениями во французские и аглинские магазины; крестьяне сих гибельных сынов отечества стонут от поборов» (ч. I, апрель, стр. 218). «Он [недостойный дворянин] показал нам, как должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолюдинов вырабатывают в год» (ч. III, сентябрь, стр. 64—65).

В октябрьском номере журнала была помещена статья о дворянстве, перевод с французского. Спокойная и наукообразная по тону, она подводит под выпады Крылова и Клушина антидворянское обоснование: «Дворянство есть лестное преимущество, которое возвышает заслуживших его более других людей, по той мере, как добродетель их отличает». «Здесь сей порядок, который кажется столь естественным, отвергается: дворянство, которое есть награждение добродетели, не тогда дается, когда достоинства его приобретают».

«Сколь ни достойны почтения те, кои сохраняют своим потомкам дворянство неповрежденным, которое они получили от своих предков и которое сохранили с честию; но еще славнее предавать такое дворянство, коим одолжены самим себе. Нельзя сомневаться, чтобы не знаменитее было возвысить низкую породу собственною своею добродетелью» (ч. III, октябрь, стр. 150, 153).

А рядом в журнале печатается статья Плавильщикова «На мир с Турцией», в которой он славословит монархию и призывает к единению всех сословий. «Купечество! Почувствуй пользы нынешнего мира, почувствуй и докажи самим делом, что ты достойно приложенных о тебе попечений великия матери севера» (ч. I, стр. 97). Эти призывы Плавильщикова в «Зрителе» имели под собой реальную почву — намечавшееся как раз в это время сближение дворянства с русскими промышленниками и купцами.

В это же время в статье о театре Плавильщиков, в связи с злободневным тогда вопросом об эмиграции из Франции, писал: «Когда же предубеждение до такой степени восходит, то какого ободрения должно ожидать театру российскому, сочинениям и представлению, от таких домов, где приговор выходит из уст аббатов, а может быть еще и беглых. Как же ожидать русского вкуса на театре?» (ч. II, стр. 138).

Отрицательное отношение к «беглым аббатам», т. е. к роялистской эмиграции, у Плавильщикова вызывалось стремлением к национальной самостоятельности. Чего можно было ждать от эмигрантов-роялистов, что могли они принести русскому дворянству, кроме духа развращенного двора Людовика XVI?

В тесной связи с политическими и экономическими взглядами редакции «Зрителя» находилась очень интересная и в отдельных своих деталях пережившая своих создателей теория «народности» во всех областях практики, в том числе в литературе и искусстве. Повидимому, она, главным образом, принадлежала Крылову и Плавильщикову. Во всяком случае, зачатки ее нетрудно обнаружить в «Почте духов».

Первый номер «Зрителя» редакция открыла статьей «К самому себе», в которой полемически изложены враждебные журналу взгляды.

«Из театра я поехал ужинать к приятелю моему: там было много молодых людей и несколько чужестранцев; речь зашла о том, что есть национальный характер, эта речь латино-греческая, и все меня уверяли, что ее по-русски выразить нельзя, но не о том слово. Все начали говорить о врожденном свойстве россиян. Говорили много и наконец утвердились на мнении одного весьма скоро говорящего француза, что у нас нет собственного свойства, и что мы ничто иное, как обезьяны, способные только перенимать» (№ 1, стр. 9).

Так сразу с первого номера редакция наметила одну из основных тем журнала. Свое полное теоретическое развитие она получила в программной статье Плавильщикова «Нечто о врожденном свойстве душ российских», печатавшейся в продолжение полугода. В этой статье Плавильщиков решительно возражал против приведенной выше точки зрения «скоро говорящего француза». Плавильщиков писал: «Если учиться значит только подражать, то давно бы науки упали, поколику подражание всегда бывает слабее своего подлинника: где нет творческого духа, там нет и произведения; но мы видим совсем тому противное: науки час от часу приходят в совершенство, ученик бывает несравненно знающее своего учителя, из чего видно, что когда россияне заняли некоторые познания от иностранцев, сие не доказывает, что они только что подражают» (февраль, стр. 10).

Далее Плавильщиков писал: «Только россиянин доказал свету, что для него нет ничего невозможного, и это свойство существует в душе его: он объемлет мыслию все, до чего только понятие его коснуться может. Все художества и науки у всех племен земнородных весьма медлительно восходили на известную степень своего совершенства: а в России они сделали такой скорый шаг, который привел весь свет

в удивление... долго бы надобно было работать подражанию, чтобы хотя одну тень того, что мы имеем, произвести» (апрель, стр. 170—171).

Плавильщиков поднял вопрос о своеобразии русской народности. Учась у Запада, он рекомендует не «перенимать», а «понимать». Он указывает на русских самородков: «костоправ в Александровском селе», «Кулибин и тверской механик Собакин суть два чуда в механике», — писал Плавильщиков (апрель, стр. 173).

«Русский все удобен понимать, — объяснял он дальше, — крестьяне, например, взятые в рекруты, не все становятся под ружье... велят одним быть музыкантами, другим мастеровыми, иным художниками... не прошло трех месяцев: эти крестьяне точно таковы, естьли же при том попадутся к искусным учителям, то бывают из них и виртуозы, то есть отменные в своем роде... Пусть похвалится какой-нибудь народ подобным свойством» (апрель, стр. 176).

Развернутому обоснованию теории национальной самобытности в области искусства посвящена статья Плавильщикова о театре, печатавшаяся из номера в номер в продолжение нескольких месяцев. Выражая взгляды, общие для всей редакции, которые развивал Крылов еще в «Почте духов», Плавильщиков последовательно выдвигал требования национальной темы, национального стиля, национального героя.

Подчеркнув нравоучительное и воспитательное значение искусства и значение театра для искоренения пороков, Плавильщиков решительно заявлял: «Отечественность в театральном сочинении, кажется, должна быть первым предметом». «Какая нам нужда видеть какую-то Дидону?» — писал он дальше. В другом месте Плавильщиков говорил, что «фигарова женитьба в переводе российском совершенно ничего не значит, ибо у нас чинов никогда не продавали и не продают, следовательно, это для зрителя тарабарская грамота; о варварском праве господ мы и понятия не имеем. И так, кроме скуки, до трех часов продолжающейся, ничего зритель российский в сей комедии не почувствует».

«Надобно наперед узнать, что происходило в нашем отечестве, — советует Плавильщиков: — Кузьма Минин купец есть лицо достойнейшее прославления на театре, его твердость, его любовь к отечеству, для коего жертвовал он всем, что имел» (ч. II, стр. 128—131).

Итак, не Дидоны, а Минины должны стать героями на русском театре. Русская жизнь, русский герой и при том герой не дворянский — таковы требования журнала.

Одновременно журнал выдвинул требование «более естественного искусства» и «более правдивого отображения мира». Редакция стремилась следовать этим требованиям на практике по мере сил. Дворянство «идеализирует», скрывает за пасторалью, за идиллией подлиные взаимоотношения сословий, и «Зритель» с пафосом молодой разночинной интеллигенции в замечательной повести Крылова «Каиб» бичует эту тенденцию дворянства.

Каиб, герой этой повести, «давно уже, читая идиллии и еклоги, желал полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях». «Любя своих поселян... говаривал: «естьли б я не был калифом, то бы хотел быть пастушком».

«Уже далеко был он от своей столицы... и сошел с дороги в поле искать счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком...

«Ты пастух! вскричал с удивлением Каиб. О! Ты должен прекрасно играть на свирели. — Может быть; но голодный не охотник я до пе-

сен. — По крайней мере у тебя есть пастушка... — Она поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою... — Но поэтому жизнь ваша очень не завидна? — О! Кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас. — Признаюсь, что я много верил еклогам и идиллиям, сказал калиф» (ч. III, декабрь, стр. 288—290).

В этой превосходной сатирической повести Крылов защищал реальное отображение национальной действительности. С требованием Крылова перекликаются слова Плавильщикова: «Российские содержания должны быть украшаемы на театре и вкусом российским» (ч. III, октябрь, стр. 123). «В России уже нарождается зритель, любящий видеть свое. Это пешеходы, а не ездящие в карете цугом» (ч. II, июнь, стр. 139).

Какие же произведения предлагают на страницах своего журнала Плавильщиков, Крылов и Клушин?

В «Зрителе» напечатаны следующие сатирические очерки: «Портреты» и «Прогулки» Клушина, «Ночи», «Речь, говоренная повесами в собрании дураков», «Мысли философа по моде», «Похвальная речь в память моего дедушки» Крылова; статьи: «Театр» и «Мир» Плавильщикова, «Рассуждение о дворянстве», «О дружестве» Крылова, «Об умеренности в забавах» и т. д. Из беллетристики — «Каиб», восточная повесть; сентиментальная поэма в прозе Захария «Четыре возраста женщины» и перевод прозой Ивана Захарова из Оссиана.

Задача создания национального искусства и национального героя была только поставлена «Зрителем». Редакция, конечно, не могла за короткий период своей деятельности решить ее на практике. Но элементы решения можно найти в превосходных сатирах-очерках Крылова и в его повести «Каиб». Еще Белинский отметил, что в прозе Крылова и в «Горе от ума» присутствуют сближающие их черты. Это мимолетное замечание указывает на значение прозы Крылова далеко за пределами XVIII века.

Лучшие поэты «Зрителя» — Андрей Бухарский, Клушин и Крылов — писали стихи под сильным влиянием Державина. Если жанры элегии, послания и баллады 1820-х годов во многом обусловила сентиментальная поэзия карамзинской школы, то у сторонников типографской компании «Крылова с товарищи» мы находим ту разговорную, временами бытовую и сатирическую поэзию, которая так важна была для Пушкина в пору создания «Евгения Онегина» и «Домика в Коломне».

Литературная деятельность редакции и большинства сотрудников «Зрителя», без сомнения, определялась теоретическими позициями журнала.

Вражда редакции «Зрителя» к Карамзину — один из важнейших эпизодов литературной борьбы в конце XVIII столетия.

Антагонизм и упорная борьба между «Зрителем» и «Московским журналом» были выражены бесконечными нападками на сентиментального писателя П. Ю. Львова, автора русской «Памелы», и нападками на карамзинизм.

«Московский журнал» не отвечал. Полемика с разночинной крыловской компанией, по его мнению, уронила бы его дворянское достоинство. Зато в переписке с Дмитриевым Карамзин почти в каждом письме справлялся о своих литературных врагах. 14 июня 1792 г. Карамзин спрашивал Дмитриева: Каков тебе кажется петербургский Зритель?..

Что Львов, сочинитель Памелы? Стенает ли он от нечестивых? Чувствует ли удары Зрителя?»

В июле Карамзин писал: «Что принадлежит до Зрителей, мой друг, то я столько уважаю себя, что не войду с ними ни в какой бой. Пусть они уничтожают примечания на Кадьма и Гармонию и все, все, что им угодно! Qu'est-ce qu'il y a de commun entre nous?[1] скажу я с одним французом. . .».

В письме Карамзина от 18 июля идет речь о статье Клушина «Прогулки», напечатанной в июньском номере «Зрителя». В этой статье Клушин рекомендует от бессонницы такой рецепт: «Пробеги у всех переводов и оригинальных книг предисловии, ... не забудь присоединить к сему редких и избранных изображений, какие например изображены в ... О инструмент моей печали! — О магнитная сила моих удовольствий! — прибавь к сему рифмопроизаическое творение вахмистр, рассуждение о поемах, помещенное в примечании на К. и Г., сверни все это в кипу, положи поближе к сердцу; но берегись продержать более пяти минут. Ибо первый опыт усыпляет только на двои сутки, а переход за семь охлаждает кровь на всегда» (ч. II, стр. 158—159).[2]

«Зритель» начал ту войну с карамзинизмом, которая прервалась лишь с прекращением последнего журнала Крылова и Клушина.

В этой войне прежде всего останавливает внимание то, что «Зритель» — журнал несомненно сентиментального направления. В «Зрителе» печатались и элегии, и идиллии, и пастушеские стихи. Среди писателей, которых бесспорно ценили издатели журнала, — Руссо, Ричардсон, Геснер. И все же «Зритель» выступил против автора «Бедной Лизы» — теоретика русского дворянского сентиментализма. Дело в том, что космополитизм мировоззрения Карамзина был чужд Крылову и его товарищам. Они искали опоры для борьбы с феодальными традициями в придавленной самодержавием народной культуре, в национальной самобытности.

Карамзин не отвечал редакции «Зрителя», но в полемику с Плавильщиковым, с позиций, близких Карамзину, вступил неизвестный автор. Письмо его было напечатано в сентябрьском номере самого «Зрителя». Неизвестный автор писал: «Опять вы меня мучите вопросом: для чего не создать в России на театре вкуса приличного нашему свойству? — Я у вас спрашиваю: для чего бы не построить дом без работников и без припасов?».

Темы, которые рекомендует журнал в статье о театре, кажутся автору, вступившему в полемику с Плавильщиковым, не интересными. По поводу достоинств всего самобытного и национального он иронически замечает: «Какое жестокое ухо! — слыша каждый день по улицам песни наших извозчиков, не могут приучить себя к согласию здешнего напева». «Скажите мне, зачем вы не удивляетесь, что кроме турок никто не восхищается турецкою музыкой?» (ч. III, стр. 11, 14—15).

Плавильщиков ответил в том же номере, повторив все свои основные мысли о народности в искусстве. Он советовал послушать не песни извозчиков, а русскую роговую музыку и еще раз настойчиво повторил, что «приказные мастеровые и все среднее состояние достойно театра», т. е. что все они достойны стать героями пьес, а мысли их, желания и надежды достойны быть высказанными со сцены.

---

[1] Что между нами общего? — *Ред.*

[2] Речь идет о «Московском журнале». Карамзина. «К. и Г.» означают «Кадма и Гармонию» Хераскова, разбор которого, написанный Карамзиным, был помещен в «Московском журнале».

3. «Санкт-Петербургский Меркурий»

Участие в типографской компании и в «Зрителе» Крылова, автора «Почты духов», несомненно повлияло на судьбу крыловского содружества. Деятельность типографии «Крылова с товарищи» с самого начала издания «Зрителя» была взята под подозрение.

В своих заметках о Крылове И. Быстров приводит воспоминание последнего о том, что «журналу не повезло».

«Мне сказывали, будто издателей Зрителя брали под караул: правда ли это? и за что?» — спрашивал 3 января 1793 г. Карамзин у Дмитриева.

Три документа, найденные в Московском главном архиве министерства иностранных дел, касающиеся обыска в типографии Крылова, проливают свет на это событие.

Документы относятся к марту и маю 1792 г. Один из них — письмо петербургского губернатора П. П. Коновницина Платону Зубову. В письме сообщаются для «всеподданнейшего доклада» сведения о типографии «Крылова с товарищи», о полицейском осмотре ее и ненахождении в ней ничего достойного примечания, о допросе Крылова, Клушина, Дмитревского и Плавильщикова. При этом упоминаются ненапечатанные сочинения: одно Крылова (не дошедшее до нас) — «Мои горячки», другое Клушина — «О горлицах. Сны аллегорические, философские и сатирические» (оба произведения не окончены) и третье — неизвестного автора — «О женщине в цепях». О Крылове говорится только в одном документе, другие два касаются Клушина и относятся еще к 12 марта того же года.

Документы эти следующие: 1) написанное собственноручно Клушиным объяснение по поводу его сочинения, 2) изложение Клушина «Снов аллегорических».

«Сны» были, вероятно, уничтожены, а в руки Коновницина попали только два отрывка. Один из них — «Сон горлицы» — чрезвычайно интересен: в нем отразилось отношение к французской революции участников типографской компании. Привожу текст этого отрывка полностью.

«На берегу протекающей речки заметил я множество горлиц. Они сидели в кружок, поджав крылья и запихнув носы в свои перья. Одна говорила к другой, сидящей подле нее: — Не тронь моего гнезда, а я твоего не трону. — Так, так, — сказала третья, а за ней многие, — пусть каждый владеет своим. Конечно, но если захотят отнять наши гнезда, так что мы тогда будем делать? — Тогда, — сказала одна горлица, — вооружимся мы противу всех птиц соединенными силами. Но выслушайте наше постановление:

Никакая из птиц не имеет права отнять у другой ни зерна пшеницы, ни крупы, ни всего, что потребно в пищу.

Ежели бы одна или две из нас согласились обидеть маленьких детей, потому что они бессильны, тогда все за притесненных вступятся; и ежели будут преступники найдены, — наказываются и изгоняются.

В чем право каждого из нас? Питать себя своими трудами, а не похищать насилием.

Мы все птицы, стало мы братья — родство требует дружества, согласья — и вот в чем наше блаженство.

Многие слушали проповедника с удовольствием, многие зевали, а он, пользуясь их хладнокровием, увеличивал гнездо свое. Я ожидал, что их приговор будет сохраняться, как нечто священное; но они уже один к другому приближались. Я взглянул на другую сторону реки и уви-

дел сидящих воронов, которые на горлиц пристально смотрели. — Что это значит? — вопросил я у Благотворного Духа... — Это вороны, — отвечал он, — ожидают, скоро ли кончится постановление горлиц, и потому что они не могут сохранить своих условий, то воспользуются их гнездом. — Как, — вскричал я, так тут непременно последует кровопролитное сражение! .. Ах, скорее сокройте сию пагубную от меня картину... Сердце мое чувствительно; без содрогания душевного не могу я воззреть на сие».

Горлицы — французы, идеи и намерения которых, по мнению Клушина, в теории хороши, но, к сожалению, утопичны. «Они не могут сохранить своих условий». Пока горлицы устраивают революцию — их вожди увеличивают свои гнезда. Вороны — враждебные государства: Англия, Пруссия — будущая коалиция, которая уничтожит гнездо свободных горлиц. Аллегория поучительна; она советует для сохранения собственных гнезд не слушать ловких проповедников и оставить утопии.

Мысли, высказанные в аллегории Клушина, полны пессимизма; веры в целесообразность революционного пути у него нет.

В «Снах» отразилась пассивность и слабость русской разночинной интеллигенции в конце XVIII столетия.

Таков путь от гневных писем «Почты духов» против тиранов — к пассивной аллегории «Снов», путь типичный для разночинной интеллигенции, в грозные дни революции осознавшей свое одиночество, свою оторванность, от народа, свою слабость, — и реакционность русского «третьего сословия».

Обнаруженный при обыске материал хотя и вызывал подозрение, но не повлек за собой немедленного закрытия типографской компании. Однако к концу года Крылову и его товарищам пришлось прекратить печатание «Зрителя», несмотря на то, что подписка «Зрителя» почти достигла недостижимой с точки зрения редакции «Утренних часов» цифры — 200 подписчиков. По списку подписчиков «Зрителя» видно, что журнал рассылался 176 подписчикам — 136 в Петербурге, 12 в Москве и 28 в других городах.

С января 1793 г. типография «Крылова с товарищи» приступила к изданию «Санкт-Петербургского Меркурия» под редакцией Крылова и Клушина. Плавильщиков не принимал участия в издании журнала. Причины, по которым Плавильщиков отстранился от участия в новом издании, в точности не известны. Скорее всего, ему хотелось избежать неминуемых и в дальнейшем столкновений с полицией и цензурой.

«Сочинения в стихах и прозе, подражания и переводы издателей будут печататься с их именами. Какая нужда скромничать именем, ежели цель сочинения не противна благонравию и не нарушает ничьего спокойствия?».

Заявление интересно для нас как подтверждение предположения, что полицейская неприятность с подозрительными, с точки зрения правительства, произведениями Клушина и Крылова, вероятно, ходившими по рукам и, быть может, предполагавшимися к изданию, не была исчерпана.

В «Санкт-Петербургском Меркурии» участвовали, кроме Крылова и Клушина, переводчик и журналист И. Мартынов, поэты Николев, князь Д. Горчаков, Козельский, Г. Хованский и А. Бухарский, переводчики Н. Яновский, Александр Струговщиков и другие. Журнал был задуман, повидимому, как большое периодическое издание. Вокруг издателей постепенно собиралась часть петербургских литераторов. И хотя эти литераторы — далеко не единомышленники Крылова и Клушина,

для издания обширного журнала с отделами и разнородным материалом этого тогда и не требовалось. Однако попытка Крылова не увенчалась успехом. Время не благоприятствовало созданию большого журнала. В правительственных кругах косились на журнальную деятельность. «Санкт-Петербургский Меркурий» уже с первого номера не вполне отвечал новым требованиям цензуры.

В январе 1793 г. в Париже казнили Людовика XVI. С этого времени известия о революционных событиях становятся все более краткими и постепенно исчезают со страниц «Санкт-Петербургских ведомостей». Поправение русского купечества, крупного и провинциального дворянства пошло еще более быстрыми шагами. Екатерина II прекратила всякую торговую и дипломатическую связь с Францией. Иностранцев, живших в России, привели к присяге в том, что они обязуются прервать с Францией всякое общение. Отказавшиеся дать присягу были высланы. В апреле Екатерина II присоединилась к коалиции Англии, Австрии и Пруссии. В «Горлицах» Клушин верно предсказал неизбежность выступления против революционной Франции — всех реакционных сил Европы. Подозрительность при дворе в этом году достигла своей высшей точки.

Естественно, что в это время все осторожнее приходилось пользоваться оружием сатиры. В «Санкт-Петербургском Меркурии» напечатаны только две сатирические статьи Крылова: «Похвальная речь науке убивать время» и литературный памфлет против Карамзина — «Похвальная речь Ермалафиду». От политически острой тематики «Зрителя» Крылов и Клушин обращаются к узко-литературным вопросам. Стихи приходят на смену политическим статьям и сатирическим очеркам. И, конечно, не случайно в «Санкт-Петербургском Меркурии» Крылов выступает по преимуществу как поэт.

Но все же и в новой обстановке Крылов и Клушин пытались продолжать традиции «Почты духов» и «Зрителя».

Резкую и конкретную критику дворянства в «Почте духов», требование русской самобытности и внимания к людям среднего состояния, высказанное «Зрителем», в «Санкт-Петербургском Меркурии» сменили намеки и туманные рассуждения, часто под маской перевода.

Дальнейшая разработка теории народности была остановлена Крыловым и его товарищами. Эта теория придавала такой вес крепостному крестьянству и русскому «неблагородному» предпринимательству, что, несмотря на превознесение монарших милостей Плавильщиковым, становилась оппозиционной. Плавильщиков явно не предвидел того объективного значения, какое приобрел «Зритель». «Санкт-Петербургский Меркурий» был вынужден напечатать перевод четырех басен немецкого поэта Пфеффеля, решительно порицавших французскую революцию. Журнал напечатал их, несмотря на то, что отношение немецкого баснописца к революции совсем не походило на отношение к ней Клушина в «Горлицах».

Очень многим в «Санкт-Петербургском Меркурии» было пожертвовано из опасений попасть в немилость. Эволюция политическая шла об руку с литературной.

В первом номере «Меркурия», как бы с намерением подчеркнуть верность традиции, напечатан сатирический очерк Крылова «Похвальная речь науке убивать время», но политически этот очерк не заострен. В этом же номере напечатан перевод статьи Вольтера с примечаниями Клушина против немецкой драмы и Шекспира.

«Что же бы сказал г. Вольтер о многих немецких драматических

творениях, — писал Клушин, — сих безобразных выродков литературы, в которых нет никаких правил даже самого важнейшего — единства действия? — Что бы сказал он о сих удивительных пиесах, которые суть ни трагедии, ни комедии; где смешан плач со смехом без всякой нужды; где эпизоды затмевают самое действие; где разговоры пустые и слабые, действующие лица карикатурные; где все обезображивает и вкус и правила? О пиесах, каковы суть: Равбойники, Сара Сампсон, Эмилия Галотти, Ненависть и раскаяние и пр. и пр.?».

Вольтер, критикующий Шекспира, как бы отвечает от имени редакции «Меркурия» на увлечение Шекспиром Карамзина. За отсутствием Плавильщикова, пытавшегося объединить теорию народности с традициями буржуазной драмы и обновленного классицизма, редакция в области литературной теории как бы возвращается к нормам несколько архаического в своей строгости классицизма. Кстати, этот классицизм политически был менее подозрителен, чем теория народности Плавильщикова.

«Санкт-Петербургский Меркурий» возражает Карамзину статьями Вольтера и Даламбера: «Рассуждение об аглинской трагедии» Вольтера (январь), «Рассуждение о г. Попе» Вольтера (апрель), «Рассуждение об оде» Даламбера (апрель).

Вместе с тем все печатавшиеся в журнале литературные произведения были связаны с сентиментальным направлением.

В феврале и марте на страницах «Меркурия» появился «Несчастный М—в» Клушина — роман типа «Вертера». «Несчастный М—в», повидимому, заслужил похвалы некоторых петербургских сторонников Карамзина. Обеспокоенный Карамзин писал Дмитриеву 2 июня 1793 г.: «Да скажи еще, к которому сорту читателей Клушина принадлежат Державин, Львовы, Козодавлев, Капнист? Может быть, я оскорбляю их сим вопросом, но ты не донесешь на меня. Впрочем в свете бывает много странностей — поверишь ли ты, например, что Николев до небес превозносит Меркурия, удивляется знаниям и чувствам Клушина (с которым он недавно познакомился) и говорит, что приключение несчастного М-ва гораздо лучше Вертера? Поверишь ли, что Горчаков с ним соглашается? Но старик Херасков и Нелединский крайне сожалеют, что у нас на Руси можно impunément[1] писать такие нелепости».

В апреле была напечатана последняя в журнале статья Крылова, самая резкая сатира на Карамзина.

Расхождение теории и практики в деятельности «Крылова с товарищи» в период издания «Санкт-Петербургского Меркурия» необыкновенно любопытно.

Защищая классицизм от карамзинистов, Крылов становился на стражу большого и политически острого искусства, на стражу высоких и сложных тем. Крылов — против композиционно и стилистически рассыпающейся на детали литературы. Явление такого литературного распада Клушин усматривает в немецкой буржуазной драме, создатели которой пренебрегли тремя единствами. В то же время Крылов и Клушин — за высокий и серьезный стиль народного искусства.

Защита классицизма в «Санкт-Петербургском Меркурии» своеобразно переплеталась с требованием правдивости и реалистического правдоподобия. Крылов как будто перебрасывал мост от классицизма через голову сентиментального направления к теориям реализма.

---

[1] Безнаказанно.

И в то же время практика журнала была близка к русскому сентиментализму. Это противоречие порождала популярность сентиментального направления. В эти годы сентиментализм нередко влиял на создание писателя вопреки его взглядам.

«Великий ум никогда ничему не следует, — писал Крылов, высмеивая Карамзина, — не нужны ему ни правила древних, ни их творения». «Фразу свою кончит тогда, когда надобно перо обмакнуть в чернильницу». «Он один только в состоянии с такой легкостью в статье о Гомере напомнить, что дрова дороги, и, хваля Юнговы нощи, заметить, что немцы обуваются щеголеватее французов» (ч. II, апрель, стр. 29, 35—36). Любопытно, что эта характеристика, данная Крыловым «своевольной» прозе сентименталистов, перекликается с характеристикой «Писем русского путешественника», которую мы находим в «Литературных мечтаниях» Белинского.

С пропагандой народности в «Меркурии» вместо Плавильщикова выступил поэт князь Хованский. В мартовском номере журнала была напечатана в отделе «Российские анекдоты» его повесть в стихах, в которой он писал:

Кого ж воспитанным считаем мы у нас?
Кто рыбы и грибов не кушивал во веки;
. . . .
Тот, кто в гостиный двор ни разу не езжал;
Кто географию французских лавок знает;
. . . .
Кто у крестьян своих последний грош берет
На коклико кафтан, на модные желеты.
(ч. I, стр. 242 и 248).

Свои политические взгляды, не подчеркивая их из осторожности, редакция все же обнаружила, поместив без имени автора переводную «Повесть о белом мавре». В повести рассказано о ненависти особой белой африканской расы к черной. Так эзоповским языком Крылов и Клушин в «Санкт-Петербургском Меркурии» все еще пытались говорить о социальном угнетении и несправедливости сословных привилегий. «Уверяют, что поколение сих белых мавров очень надменно; оно думает, что небо даровало ему преимущество перед прочими; оно имеет священное отвращение к тем людям, которые столько нещастны, что сотворены с черными волосами, с прямыми глазами и с короткими ушами. Они говорят, что весь свет сотворен для белых мавров» (ч. II, май, стр. 164).

В июньском номере Крылов и Клушин поместили в переводе студента Петербургского университета Степана Ляпидевского отрывок «Об открытии Америки» из «Esprit de Raynal», совершив поступок, крайне неосторожный, несмотря на то, что редакция выбрала отрывок не без оглядки на цензуру. Все же заключенные в нем высказывания по поводу испанской колониальной политики, с точки зрения правительства, были опасными и так же не подходили для печати, как и многие мысли из «Почты духов». «Сколь много жертвовали, ныне жертвуют, и еще впредь будут жертвовать людьми для того только, чтоб удовлетворить тем мнимым нуждам, которые ни разум, ни власть на нас не налагают?» — читаем мы в этом отрывке (ч. III, июль, стр. 69).

Екатерина II, превосходно знавшая труды аббата Рейналя и причислявшая его к писателям, подготовлявшим революцию, конечно, не могла не обратить внимание на то, что отрывки из этих трудов печатались в одном из столичных журналов.

Последствия не заставили себя долго ждать. Нам не известно, что было сказано по поводу июльского номера «Санкт-Петербургского Меркурия» Крылову и Клушину, но уже августовский номер журнала вышел не в крыловской типографии, а в типографии при Академии Наук. Этот номер открывала ода Николева «Суета славы мира». В ней присутствовали мотивы гражданской поэзии, той политической поэзии, наиболее ярким представителем которой в XVIII столетии был Радищев. Содержание стихотворения, принадлежавшего к жанру философской оды, допускает и такие толкования, которые могли быть весьма неприятными правительству. Николев писал:

Тщеславье вижду самовластных,
В поту кровавом их рабов,
Но царь деяний толь напрасных
Строитель храмов и садов;
О ком до нас достигла слава,
Что в памяти рассудка здрава?
Ирой ли он? — Нет., Раб сует!
(ч. III, август, стр. 86).

В этом же номере был напечатан разбор изданной незадолго перед тем трагедии Княжнина «Вадим», опубликованной через год после смерти автора и вскоре сожженной рукой палача.

«Дело об издании С.-Петербургского Меркурия», копия с которого хранится в Институте литературы Академии Наук СССР, открывается постановлением президента Академии Наук княгини Дашковой от 7 июня 1793 г.: «Представленные от сочинителей Крылова и Клушина пиесы. . . для журнала под заглавием С. П. бургский Меркурий м-цы август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь по представлении от оных сочинителей, с надписанием от управы благочиния цензурного дозволения отпечатать за счет академии. . .».

Этот документ заставляет оставить существовавшую долгое время точку зрения на причины прекращения печатания журнала в типографии Крылова. Крыловым и Клушиным издание журнала было передано в типографию Академии совсем не вследствие неприятностей из-за помещения разбора «Вадима» Княжнина. Печатание «Санкт-Петербургского Меркурия» при Академии Наук как раз и начинается с того самого августовского номера, в котором помещен разбор.

Непрекращенное в свое время дело о произведениях, обнаруженных при обыске в типографии крыловской компании, могло явиться удобным поводом, позволившим прибегнуть без лишнего шума к такой мере воздействия, как изъятие журнала из типографии подозрительных издателей в ответ на помещение в нем отрывка из Рейналя.

Из рапорта типографии о расходе на печатание августовского номера мы узнаем, что «Меркурий» печатался в 584 экземплярах (при 150 подписчиках).

До ноября 1793 г. по поводу издания журнала ежемесячно поступали рапорты Дашковой — о выходе номера из типографии и себестоимости. Рапорты за ноябрь и декабрь отсутствуют. И только 1 марта 1794 г. поступает рапорт о напечатании ноябрьского номера с необычайной для ежемесячных рапортов припиской о разрешении номера к печати. 3 апреля 1794 г. отдается рапорт о последнем, декабрьском, номере «Меркурия». Итак, с октября выход последних двух номеров был отодвинут на четыре месяца. В это время уже несомненно могли иметь место последствия разыгравшейся в середине ноября истории с изданием в типографии Академии «Вадима». В октябре Клушин просил через своего покровителя Трощинского о разрешении выехать из Петербурга,

Ноябрьский номер, запоздавший на четыре месяца, открывается благодарностью Клушина Екатерине II за «всемилостивейшее увольнение в чужии краи с жалованием». Эти стихи в том же году вышли отдельным изданием. «Увольнение в чужии краи с жалованием» заставляет предполагать, что после перевода журнала в Академию Наук в связи с помещением в «Санкт-Петербургском Меркурии» перевода из Рейналя, — напечатание разбора «Вадима» не имело для издателей других последствий, кроме окончательного отстранения их от журнальной деятельности. И. И. Мартынов в своих записках причиной перехода журнала к нему называет только отъезд Клушина и Крылова. «Около половины сего [1793] года Клушин по желанию его уволен в чужие края. Императрица Екатерина Великая пожаловала ему на сие путешествие жалованье за пять лет вперед по 300 рублей, всего 1500 руб. и с тех пор он неизвестно мне куда уехал, а Крылов также уехал к какому-то помещику в деревню. Таким образом издание Меркурия легло на мне. Хорошие и дурные переводы и сочинения свои начал я помещать в нем по своему произволению». Мартынов неверно называет время перехода к нему журнала. Он редактировал только два последних номера.

Номинально Крылов и Клушин сохранили за собой редакцию до конца. Последний номер журнала заканчивается объявлением издателей: «Год Меркурия кончился и за отлучкой издателей продолжаться не будет». Объявление подписано Клушиным и Крыловым.

Разбор «Вадима» не заключал в себе никаких оппозиционных идей. Он безобиднее всего, что печатали «Почта духов» и «Зритель». Однако самое обсуждение подобных тем в печати в 1793 г. могло рассматриваться как выпад против правительства. Если вспомнить, что трагедия была конфискована у книгопродавцев и вырвана из 39-го тома «Российского феатра», если вспомнить сенатский указ о ее сожжении, — это станет понятно.

В последних двух номерах редакция «Меркурия» решительно отказывается от политических тем. Журнал становится узко-литературным. Передовое направление журнала исчезло. Сентиментализм последних номеров «Санкт-Петербургского Меркурия» теряет свое демократическое лицо и откровенно склоняется к карамзинскому сентиментализму.

Здесь, в этих последних номерах, заканчивается деятельность крыловского содружества и Крылова-журналиста. С прекращением «Санкт-Петербургского Меркурия» прекращается последний крыловский журнал.

Литературные и политические взгляды юного Крылова, разночинца и демократа, были связаны с развитием линии Радищева в русской литературе. Они содержали в себе элементы радикальной демократической эстетики, в них намечались тенденции к реалистическому отражению действительности. Они поднимали проблемы национальной народной культуры.

ГЛАВА V

Журналы Н. М. Карамзина и его направления

1. Карамзин и масоны

Историю журналов русского сентиментализма с известными основаниями можно начинать с изучения журналов Н. И. Новикова той поры его деятельности, которую принято называть масонской. Здесь — в журналах мартинистов — впервые находят признание «чувствительная» терминология и идеология. Имена и произведения Юнга, Виланда, Геллерта, Руссо и многих других входили все более в оборот именно благодаря журналам, издававшимся в Москве, у Новикова. Многие молодые сотрудники мартинистских журналов, на которых масонами возлагались большие надежды, оказались впоследствии активными деятелями нового литературного направления в России. М. Н. Муравьев, А. А. Петров, А. Малиновский, Вас. Подшивалов, В. Измайлов, И. И. Дмитриев, В. Л. Пушкин, Воейков и, наконец, Н. М. Карамзин — прошли школу масонской журналистики.

Н. М. Карамзин, признанный вождь русского сентиментализма, был «вывезен» из Симбирской провинции московским масоном И. П. Тургеневым (в 1784 г.) и поселился в Москве. Новые, весьма обширные литературные знакомства связывали начинающего писателя с лучшими литературными силами «второй столицы» империи, в большинстве своем активными масонами. Семья Плещеевых, А. А. Петров, А. М. Кутузов были в тот период наиболее близкими друзьями будущего издателя «Московского журнала» и оказали большое влияние на его идейное и литературное развитие. Литературные интересы Карамзина были обращены к литературной практике масонства, первые его переводы были из мистической книги Штурма «Беседы о боге», из Галлера «О происхождении зла» и из сентименталиста Геснера — «Убийство Авеля». И. И. Дмитриев писал о Карамзине этого периода: «Это был уже не тот юноша, который читал все без разбора, пленялся славою воина, мечтал быть завоевателем чернобровой, пылкой черкешенки, но благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершенствованию в себе человека». Объяснения этой метаморфозы нужно искать в увлечении масонскими идеями. Кружок московских масонов, состоявший из Н. И. Новикова, попечителя Московского университета маститого поэта Хераскова, С. И. Гамалея, И. П. Тургенева, И. В. Лопухина, князей Трубецких, энергично вовлекал молодого писателя в литературную работу, надеясь воспитать из него, со временем, крупного литературного деятеля масонского направления.

Карамзин по поручению масонского общества не только принимает участие в переводах мистической и сентиментальной литературы; он кроме того, активно сотрудничает в «Детском чтении для сердца и разума», издававшемся Н. И. Новиковым под редакцией А. А. Петрова (1784—1789) и самого Карамзина. Если первые номера (1—8), очень разнообразные и живые по содержанию, составлялись Петровым при

участии Карамзина, то следующие (с 9 по 15) были составлены исключительно из переводов Жанлис и Мармонтеля, сделанных Карамзиным.

В «Детском чтении» Карамзин напечатал и первую свою оригинальную повесть: «Евгений и Юлия».

В мае 1789 г. Карамзин покинул Москву и отправился путешествовать за границу. Тогда же у него созрел план издания собственного журнала. Переписка московских масонов показывает, с каким ожесточением осуждались ими и путешествие, и замыслы Карамзина. Один из активных деятелей московских масонов, Лопухин, выражая мнение своего круга, писал о Карамзине, его журнале и путешествии следующее: «журнал Карамзина... совсем анти того, что разумеют мартинизмом, и которого никто более не отвращал от пустого и ему убыточного вояжу, как Новиков, да и те из его знакомых, кои слывут мартинистами».

Карамзин поехал в Европу во время стремительного и острого развертывания событий французской революции, и масоны боялись, чтобы он не проникся революционными убеждениями и не вывез из Франции революционную «заразу» в Россию. Некоторые основания для таких опасений были. Известно, что Карамзин в юности отличался пылкостью и либерализмом. Он восхищался английской революцией, республиканцами Рима, с радостными надеждами встретил известия о революции во Франции. Его тянуло туда, где кипела «мировая жизнь», где, казалось ему, решалась судьба человечества.

Совершенно очевидно, что говорить о «мирном» расставании Карамзина с масонами не приходится. Мысли и дела писателя получили совсем нежелательное для масонов и даже враждебное им направление. Задуманное им издание он, опять-таки, направил против традиций масонской журналистики. Было очевидно, что Карамзин не просто отошел от масонства, но и вступил с ним в борьбу. В этом основная причина обострения отношений Карамзина и его бывших друзей; имея в виду влияние на Карамзина идеологии французской революции, масон Трубецкой пишет: «Чужие края, надув его [Карамзина] гордостью, соделали, что он теперь никуды не годится». Трубецкой считает журнал Карамзина «безумным предприятием».

Поводом для нападок на журнал послужило то, что в объявлении об издании «Московского журнала» Карамзин бросил прямой вызов бывшим своим учителям и друзьям. Вот что пишет по этому поводу Кутузов: «скоропостижное его [Карамзина] авторство, равно как план, так его „Объявление" поразили меня горестью, ибо я люблю его сердечно».

В «Объявлении» было сказано, между прочим, что в журнал «не входят только теологические, мистические, слишком ученые, педантические, сухие пьесы». Журнал объявляется исключительно литературным, и все «серьезное», «скучное» из его программы изгонялось. Это был вызов масонской мистико-дидактической журналистике. Масоны негодовали и протестовали именно против такого направления деятельности Карамзина.

Карамзин, побывавший в самом очаге революции — Париже, получил среди масонов репутацию «горячей головы». Кутузов обвиняет Карамзина в нигилистическом «презрении» ко всему, вывезенном из Франции. «Отпишите мне, что наша публика думает о французской революции? — спрашивал Кутузов у Трубецкого. — Ужели и у нас есть изверги, соглашающиеся с правилами сих ядо-растворителей? Бог да сохранит нас от сего».

Ниже будет показано отношение Карамзина к революции. Здесь же следует еще раз подчеркнуть, что «Московский журнал» Карамзина возникал на основе разрыва Карамзина с масонами и традициями масонской журналистики, как журнал нового направления.

2. «Московский журнал» (1791—1792)

В «Письмах русского путешественника» Карамзин, в разговоре с Виландом, следующим образом обрисовал свою будущую жизнь после путешествия: «Тихая жизнь... буду жить в мире с натурою и с добрыми, любить изящное и наслаждаться им». Однако мечты не сбылись. Вернувшись осенью 1790 г. в Петербург, Карамзин сразу ушел с головой в различные деловые хлопоты, связанные, главным образом, с задуманным изданием журнала, которое оказывалось единственной возможностью поправить материальное положение писателя, сильно подорванное путешествием. В Петербурге Карамзин был принят Державиным, одобрившим его намерение «выдавать» журнал и обещавшим «сообщать ему свои сочинения». Там же в салоне знаменитого поэта будущий издатель показал себя «крайним» либералом, так как спорил очень горячо и выражал некоторые мнения, «не совсем согласные с общепринятым в России образом мыслей».

6 ноября 1790 г. в «Московских ведомостях» появилось объявление о предстоящем издании «Московского журнала». О тихой жизни нельзя было и думать.

«Московский журнал» вызвал к себе заметный интерес в литературных кругах Москвы и Петербурга. Среди писателей, изъявивших свое желание участвовать в журнале или поддерживать его материально и морально, встречаем Хераскова, Державина, И. И. Дмитриева, Нелединского-Мелецкого, Хвостова, Львова, В. Подшивалова, кн. Урусову и других.

Первая книжка «Московского журнала» вышла в свет в январе 1791 г. Журнал был ежемесячный — 12 книжек в год, соединенных в 4 части. Всего за два года вышло 8 частей. Журнал сразу обратил на себя внимание и пользовался хорошим, по тому времени, успехом (300 подписчиков, что было выше среднего числа подписчиков на другие журналы того времени). Читатели журнала в большинстве своем, естественно, являлись представителями дворянской интеллигенции.

Программа журнала была широка и включала пять отделов: 1) «Русские сочинения в стихах и прозе», 2) «Разные небольшие иностранные сочинения, в чистых переводах», 3) «Критическое рассмотрение русских книг», 4) «Известия о театральных пьесах...» и 5) «Описание разных происшествий». Из перечня отделов легко сделать вывод о том, что это чисто литературный журнал без «научного» и «политического» отделов. Особо должен быть отмечен критический отдел, который являлся новинкой, сразу обратившей на себя внимание читателей. Задачу его издатель определил точно: «судить все книги оригинального характера».

Ознакомившись с журнальной формой лучших европейских журналов, Карамзин в первой же книге подчеркивает свою самостоятельность и независимость по отношению к ним. «Вот начало, — пишет он в предуведомлении в первой книжке. — Издатель употребит все силы свои, чтоб продолжение было лучше и лучше. Журнал выдавать не шутка, я знаю, однакож чего не делает охота и прилежность. Множество иностранных журналов лежит у меня перед глазами; ни одного из них не возьму я за точный образец, но всеми буду пользоваться» (ч. I).

Без преувеличения можно сказать, что отдел поэзии и прозы занимает центральное место в издании Карамзина. При этом на первом плане здесь были произведения русских поэтов и за ними уже следовали публикации переводов. При всем своем европеизме Карамзин доказал своим изданием зрелость и мастерство русских поэтов, дал образцы их творчества почти во всех жанрах. Ни один журнал того времени не мог похвастать таким составом сотрудников, как издание Карамзина.

Первый номер открывался стихотворением «Время» И. К. (подпись М. М. Хераскова). Когда масон Кутузов узнал о сотрудничестве Хераскова в журнале Карамзина, он выразил свое негодование в таких выражениях: «Я слышу, что любезный мой Карамзин произвел себя в авторы и издает журнал для просвещения нашего отечества. Признаюсь, что его „Объявление" поразило мое сердце, но немало также удивлялся и тому, что М. Матв. [Херасков] будет участвовать в том. Пожалуйте, скажите мне, что все сие значит? Что молодой человек, сняв узду, намерен рыскать на поле пустыя славы, — сие больно мне, но не удивляет меня: но ежели муж важный и степенной одобряет такого юношу, сие приводит меня в изумление».

Рядом с одой Хераскова находим знаменитое стихотворение Державина «Видение Мурзы». Державин напечатал в журнале много стихотворений (более двух десятков), среди них такие известные произведения, как «Прогулка в Сарском селе», «Ласточка», «К Львову», «На смерть графини Румянцевой» и другие. Уже это одно высоко поднимало поэтическую репутацию издания и усиливало интерес к нему. В числе сотрудников был поэт Н. А. Львов, друг Державина, любитель и собиратель фольклора, напечатавший в «Московском журнале» известную песню «Уж как пал туман на сине море». К тому же державинскому кружку принадлежал и В. В. Капнист, напечатавший в журнале Карамзина «Оду на счастье».

Особое место в издании занимают поэтические произведения И. И. Дмитриева, ближайшего друга и единомышленника редактора. Поэт напечатал здесь много самых разнообразных стихов, — от любовных посланий («К Климене», «К Хлое» и т. п.) до бытовых сатир и эпиграмм: «Модная жена»; «Червонец и полушка»; «Пчела, шмель и я»; «Чума и смерть» и проч. Особую ценность имеют его сатиры, отличающиеся ясностью замысла, четкостью языка и образов и меткостью своих выпадов. Дмитриев напечатал в «Московском журнале» и некоторые свои песни, получившие широкое распространение. Рядом с автором «Модной жены» печатался Ю. Нелединский-Мелецкий, автор популярных в свое время песен, помещавший в журнале не только длинные довольно скучные оды, но, главным образом, стихотворения в легком сентиментальном духе, например: «Ты велишь мне равнодушным», «У кого душевны силы». Часто печатались в журнале Карамзина и другие менее известные поэты: Вас. Подшивалов, И. Страхов, А. Петров (друг редактора).

Эмансипация чувства, художественная вольность, тематическое и жанровое разнообразие являются основными чертами поэтического материала издания, который с определенностью порывает со старыми традициями и декларирует новое поэтическое направление — сентиментализм.

Главой нового направления был сам Карамзин, который печатал в журнале много различных произведений, и все они от своеобразного поэтического манифеста, стихотворения «Поэзия», до незначительных

любовных посланий реформируют отношение к поэтическому творчеству. В «Поэзии» автор предсказывает блестящее будущее новой поэзии:

О, Россы! Век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень!..
Доколе мир стоит, доколе человеки
Жить будут на земле, дотоле дщерь небес
Поэзия для душ чистейших благом будет.

Карамзин перечисляет великих поэтов: тут и Омир (Гомер), Овидий, Оссиан, Мильтон, Томсон, Геснер, Клопшток и другие — все они восхищают его, но среди них ни Расина, ни Корнеля, ни Вольтера — властителя дум XVIII в. Обходя писателей-классиков, автор выделяет Шекспира, «натуры друга»; о нем он восклицает: «Кто лучше твоего познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством живописала их?»

Поэзия чувства, созерцания и личной независимости — так можно определить эстетические качества поэзии «Московского журнала». Независимая позиция проявлялась при случае довольно решительно. Так было при аресте Новикова в 1792 г., когда Карамзин опубликовал стихотворение «К милости». С большой смелостью провозглашаются здесь принципы справедливости и терпимости, явно намекается на несправедливость преследований бывшего учителя автора — Новикова.

Еще большее значение имеет прозаическое творчество издателя. Его повести в значительной степени определили успех журнала. Здесь были напечатаны «Письма русского путешественника» (первая часть), «Бедная Лиза», «Фрол Силин», «Наталья боярская дочь», «Деревня» и другие, т. е. все наиболее популярные его сочинения, которые прочно утвердили за ним славу первого русского прозаика. Державин приветствовал его:

И ты, сидя при розе,
Так, дней весенних сын,
Пой, Карамзин! — И в прозе
Глас слышен соловьин.
(„Прогулка в Сарском селе“).

Вопреки классической традиции, в «Московском журнале» признавалась художественная значительность «презренной» прозы, и в этом одно из достижений журнала.

Таким образом, «Московский журнал» приохотил новые слои читателей к книге, укрепил художественный авторитет русских писателей, — и в этом крупнейшее завоевание молодого издателя.

Свой взгляд на мировую литературу и культурное наследие Карамзин высказал в предисловии к переводу индийской поэмы «Саконталла»: «Творческий дух обитает не в одной Европе... Человек везде человек, везде имеет он чувствительное сердце, и в зеркале воображения своего вмещает небеса и землю. Везде натура есть его наставница и главный источник его удовольствий». Этими словами автор «Бедной Лизы» оправдывает, по существу, не только появление «Саконталлы» на страницах «Московского журнала», но и все разнообразие переводов из различных литератур. Карамзин утверждает, таким образом, новое отношение к культурному наследию прошлого; не одностороннее рабское восхваление и преклонение перед образцовой культурой и литературой античности, как этого требовал классицизм, а стремление взять лучшее из всех сокровищ мировой культуры. Он восхищается Лессингом, Стерном, Шекспиром, Руссо, Жанлис и др. Утверждается широкая программа просветительства, которая стремится приобщить Россию ко всем сокро-

вищам мира. Несомненно при этом, что иногда европеизм Карамзина принимал характер космополитизма и переходил в низкопоклонство перед западноевропейской культурой. Это было отмечено еще современниками. А. М. Кутузов, например, писал, что путешественнику Карамзину «сама Курляндия, в сравнении с Россией, представляется раем, или по малой мере обетованною землею» справедливо упрекая его, в стремлении унизить Россию перед Западом.

Издатель «Московского журнала» ставил себе задачу широкого ознакомления русской публики с передовыми литературными направлениями европейской жизни. В специальных примечаниях и вводных статьях редактора разъяснялось значение творчества того или иного западноевропейского писателя. Так, например, подробный рассказ об Оссиане предшествует переводу одной из песен Макферсона. Издатель дает в вводной статье характеристику его достоинств и рассказывает историю «открытия» песен. Главные достоинства поэзии Оссиана он видит «в неподражаемой прекрасной простоте, в живости картин из дикой природы» (ч. II). Рекомендуя Ричардсона, Карамзин также признает его хорошим писателем потому, что он говорит о простых делах и людях (рецензия на «Клариссу Гарлов»). Стерну посвящено целое «стихотворение в прозе». «Стерн несравненный! — восклицал издатель. — В каком ученом университете научился ты столь нежно чувствовать? Какая риторика открыла тебе тайну двумя словами потрясать тончайшие фибры сердец наших? Какой музыкант так искусно звуками струн повелевает, как ты повелеваешь нашими чувствами» (ч. V). Забота о популяризации современных писателей видна и в том, что автор печатает биографии их; в журнале помещены биографические очерки Руссо, Соломона Геснера, Виланда, Клопштока и других. Кроме всего этого, издатель знакомил публику с новинками европейской литературы путем небольших аннотаций на вновь выходящие книги.

Третьим отделом журнала было «Критическое рассмотрение русских книг». Этот отдел вместе со следующим — «Известия о театральных пьесах» — был наиболее боевым участком журнала. Собственно дело было не в рецензиях, которые печатались здесь, а в общем принципе журнала, допускавшего критику, которая по существу пронизывала весь журнал. Еще до появления журнала жестокой дискуссии подвергся не только первый пункт программы журнала — отсутствие в нем масонской тематики, но и второй — критика. В переписке Кутузова мы находим совершенно явное осуждение этой затеи «Рамзея», как называли в дружеской среде Карамзина. Кутузов пишет по данному поводу: «Смешно и больно безумное его предприятие ценить книги, которых без всякого сомнения он нимало не разумеет, сие доказывает его действия: ибо ежели бы он разумел подобные сим книги, то располагал бы жития и дела свои иначе».

Заявляя о необходимости критики, издатель «Московского журнала» шел против господствующего отрицательного отношения к критике. Критика понималась как расправа завистников над автором. Критик носил имя «Зоила» и чаще всего оценивался как человек, из личных побуждений унижающий автора и его произведение. Подобный взгляд вскоре и был высказан Карамзину по поводу его критики. В первой книге журнала за 1792 г. издатель поместил разбор перевода Ф. Туманским книги «Палефатовы сказания», к которому переводчик дал еще и собственные комментарии. Разбор был очень деликатен, но в нем осторожно говорилось о ряде существенных ошибок в переводе и комментариях; и в полном согласии с «духом» времени, — Ф. Туманский признал себя

обиженным и ответил антикритикой, которая имеет чрезвычайно характерное содержание и форму.

Оскорбленный переводчик решительно берет под сомнение право «Московского журнала» подвергать разбору книги и вообще не признает никаких прав за критикой. Он пишет: «Судей есть два рода: от власти определяемые или избираемые. Не принадлежащие к сим двум суть самозванцы. Не судите да не судимы будете», — заключает он свою мысль. Признавая некоторое право высказывать свои суждения за собраниями ученых, — хотя и те часто ошибаются, — он решительно отрицает такие права за частными лицами: «частных людей суждения, в газетах, журналах и пр. сообщаемые, никогда от людей умных уважаемы не были; известно, что они за подарки истощевают все хвалы, по пристрастию, самолюбию, личной ссоре или зависти выискивают все способы унизить труды чуждые...». Автор антикритики допускает «товарищеские примечания» к чужим трудам, но они должны сообщаться в письмах. Такое мнение не было единичным, и Карамзину приходилось доказывать необходимость публичной критики. Не соглашаясь со своими противниками, он писал в примечаниях на антикритику о том, что не все же критики «за подарки истощевают все хвалы»; что Лессинг и Мендельсон, бесспорно замечательные люди, честно судили о книгах, что критика много содействовала развитию литературы, что, наконец, никакой неучтивости нет в рецензии «Московского журнала».

Объявив о критическом отделе, «Московский журнал» бросал тем самым вызов господствующему взгляду на критику. При этом Карамзин поднял знамя критики потому, что она была ему необходима для утверждения новых идей в литературе и журналистике. Дело, конечно, не в нескольких рецензиях, статьях о книгах и спектаклях, имеющихся в журнале, а в общем критическом направлении всего журнала, критикующего старую литературную традицию и расчищающего дорогу новым эстетическим принципам. Поэтому, разбирая критику «Московского журнала», необходимо говорить о всем направлении его, а не только об отдельных статьях.

Определяющей идеей журнала является критика господствующего литературного стиля — классицизма — с позиций нового эстетического направления — сентиментализма.

Тактика этой борьбы своеобразна. На первый взгляд Карамзин не покушается на современный литературный Олимп. В книжках журнала можно найти преклонение перед авторитетом античных авторов и их истолкователей. Имена Горация и Буало встречаются наряду с именами Батте, Лагарпа, Эшенбурга, т. е. по внешности соблюдаются господствующие правила и приличия. Но наряду с этим легко проследить и «переоценку ценностей». Рядом с общепризнанными авторитетами появляются новые. В числе специально критических статей, кстати сказать, немногочисленных, на первом месте нужно поставить статью о «Эмилии Галотти» Лессинга.[1] Карамзин считает, что главное действие этой трагедии «возмутительно, но не менее того естественно»; далее подчеркивается, что трагедия представляет собой «гармоническое целое», в котором все приключения «натурально связаны». О характерах ее критик пишет: «Все показывает, что автор наблюдал человечество не два дни, и наблюдал так, как немногие наблюдать удобны; что натура дала ему живое чувство истины, которое и автора и человека делает великим». Провозглашение принципа естественности и простоты в искусстве соста-

[1] Сам Карамзин перевел «Эмилию Галотти» на русский язык.

вляют сущность взгляда Карамзина на трагедию Лессинга и вообще на литературу.

Последовательно проводил издатель свой взгляд в журнале. Так, например, в рецензии на немецкую книжку Токкенбурга «Жизнь и похождения бедного человека» редактор пишет, что она привлекательна «сценами из неукрашенной натуры и хозяйственной жизни, изображенными с прелестною простотою, истинным остроумием, с оригинальной замысловатостью, с разительною истиною и равно занимательными для разума и сердца». Основным критерием и здесь является п р о с т о т а и н а т у р а.

Наиболее резкое выступление против классицизма и его схематичности, против рационализма мы находим в рецензии на русский перевод-переделку «Сида» Корнеля (Хераскова). Автор ее, отдавая должное оригиналу, вместе с тем приводит письмо д'Аламбера к Вольтеру, весьма резко оценивающее трагедию. Д'Аламбер писал: «Мне кажется, что пьеса от начала до конца холодна и не интересна, что она есть не что иное, как разговор в пяти актах, писанный то высоким, то низким, то старинным слогом, что сия холодность есть великий недостаток почти всех наших театральных пьес и что кроме некоторых сцен в Сиде, пятого действия в «Родогюне» и четвертого в «Ираклии» нигде нет (а особенно в Корнеле) сего ужаса, сей жалости, которые составляют душу трагедии».

Приведя эту цитату, автор рецензии развивает ее и пишет: «Сей ужас, сию жалость, которые д'Аламбер весьма справедливо называет душою трагедии, найдем мы в Шекспире и в некоторых немецких драматических сочинениях» (видимо, имеется в виду Лессинг). Далее идет очень интересное сравнение французской трагедии с «хорошим регулярным садом», в котором всё правильно и приятно, но в котором «душа» остается холодной. «Напротив того, — продолжает он, — Шекспировы произведения уподоблю я произведениям натуры, которые прельщают нас в самой своей нерегулярности, которые с неописанною силою действуют на душу нашу и оставляют в ней неизгладимое впечатление». Так резко выступает Карамзин против корифеев классицизма, выражая симпатии к «осужденному дикарю Шекспиру» (всем было известно тогда отрицательное отношение к нему Вольтера). Шекспиром Карамзин был увлечен еще до путешествия; известно его предисловие, превозносящее английского драматурга и напечатанное при переводе «Юлия Цезаря». Это издание было запрещено Екатериной II в 1792 г. вместе со всеми книгами, изданными Новиковым. Шекспир был знаменем новой школы.

«Московский журнал» выступает против авторитета классиков. Так, в одной из рецензий имеются возражения писателю, утверждавшему, что единственным и непоколебимым образцом для авторов должны быть античные поэты. Рецензент сомневается в том, что все у античных авторов может быть принято за образец. Ведь древняя поэзия, рассуждает он, образуется «во время детства и юности нации», а от этой поры человечество ушло давно и гордится своей зрелостью. Древние поэты должны быть не столько образцом, сколько школой (ч. I). Эта критика дополняется в журнале конкретной литературной политикой. Карамзин помещает переводы только новейшей европейской литературы, популяризует только новейших поэтов. Не подражание, а оригинальное творчество, связанное со временем и местом — таково требование Карамзина к литературе и искусству. Говоря о драме, он протестует против условности и натяжек. Он пишет о комедии «Оптимист»: «Драма должна быть

верным представлением общежития; надобно, чтоб в ней люди не только поступали, но и назывались так же, как они в обществе называются...». Карамзин протестует против обычных в старой литературе переодеваний, хотя и сам в «Детском чтении» называл героев повестей Мармонтеля русскими условными именами. Теперь он смеется над именами вроде: Зланет, Буремысл, Изведа и проч., протестует против нарушения колорита времени и места, когда переводчики, не считаясь с правдоподобием, переносили в Россию ситуации, возможные только в западных странах.

В «Московском журнале» мы находим прямое отрицание незыблемости литературных жанров. В первой же части помещена статья Карамзина о «Кадме и Гармонии» Хераскова, чрезвычайно интересная для характеристики отношения издателя к классицизму. Херасков, участвовавший в журнале, был, с одной стороны, крупнейшим представителем классицизма, а с другой — склонялся к новым литературным идеям. Карамзин начинает свои рассуждения определением жанра нового произведения автора «Россиады» и приходит к выводу, что это поэма, хотя и видит, что такое определение не согласуется с классическим определением и дает свое: поэма — произведение «вообразительной силы». Под такое определение могут подойти и трагедии, и роман, и повесть. Так очень осторожно подрывается авторитет старого учения о жанрах. В переписке Карамзина это пренебрежение чувствуется еще явственнее: «Стихи твои, — пишет он Дмитриеву (1797 г.), — очень хороши, ода или нет все одно... Вообще я очень доволен твоею, как ты говоришь, не одою». В статье о «Кадме и Гармонии» есть еще ряд любопытных мнений Карамзина; он отмечает как основное достоинство «поэмы» — новизну; эта новизна заставляет его простить автору очень большую погрешность, а именно: «кое-что не соответствует эпохе», «противно ее духу», но, — оправдывает рецензент автора, — «писать отдаленное трудно». Называя произведение новым Телемаком, он подчеркивает, что Херасков ближе к Гомеру, чем Фенелон, опять-таки по близости к натуре.

В статье о «Кадме и Гармонии» Карамзин высказывается и о морализме старой литературы. Начиная свою статью, он пишет: «Философ, не поэт, пишет моральные диссертации, иногда весьма сухие; поэт сопровождает мораль свою пленительными образами, живит ее в лицах и производит более действия. Таким образом, сочинитель «Кадма» хотел в привлекательной мифологической одежде сообщить свои нравоучения, политические наставления и понятия о разных вещах важных для человечества, учить нас, так сказать, неприметно, питая наше любопытство приятным повествованием вещей чудесных — одним словом он хотел написать нам нового Телемака». Такое определение задач поэзии полностью соответствует эпиграфу журнала на 1791 г., говорящему о том, что «Наслаждение всегда в нашей власти» («Pleasures are ever in our hands or eyes». Pope), и ярко иллюстрирует позицию Карамзина в борьбе с дидактическими тенденциями. Поэт должен преодолевать назидательность и неприкрытое навязывание своих идей. Задача поэта — свободное изложение своих мыслей в привлекательной форме. Позиция журнала выразилась в этой идее осторожного новаторства. Воинственно все же звучит начало известной повести «Фрол Силин»: «Пусть Виргилии прославляют Августов, пусть красноречиво льстецы хвалят великодушие знатных, я хочу хвалить Фрола Силина, простого поселянина, и хвала моя будет состоять в описании дел его, мне известных». Здесь прямой выпад против избранных героев классических произведений и демонстрация новых героев. То же и в своеобразном произведении «Деревня». В нем мы находим восторженное описание простой деревенской при-

роды, которую автор противопоставляет «изящной природе»: «Нет, нет! я никогда не буду украшать природы. Деревня моя должна быть деревнею — пустынею. Дикость для меня священна; она возвеличивает дух мой».

Таковы эстетические идеи «Московского журнала», с которыми он выступал против господствующей эстетики классицизма. Эти выступления сильно бьют по обветшавшим понятиям и традициям. Карамзин борется против абстрактности метода классиков, против ненатуральности ситуаций, протестует против принципа подражательства, отрицает избранность героев, деление на жанры, дидактическую тенденциозность и пр. Но вместе с тем нужно указать, что эта разносторонняя и меткая критика велась методом вылазок, методом внезапных партизанских атак. Многие исследователи упрекали издателя за излишнюю осторожность критики. И, действительно, если читать его статьи, не связывая их со всем направлением журнала, они покажутся бледными; в них большое место отводится пересказу произведения, конкретная критика носит пуристический характер борьбы за чистоту и правильность слога. Но, однако, это только первоначальное и весьма неточное впечатление. Как уже сказано, весь журнал пронизан критическим духом и потому принципиальную критику легко обнаружить в совершенно неожиданном месте. Так, важнейшим документом новых эстетических взглядов являются «Письма русского путешественника», в которых среди множества сообщаемых сведений большое место занимают литературные вопросы. Здесь проводится яркая и увлекательная пропаганда новых писателей и новой литературы.

Итак, несмотря на свой «мирный вид», журнал является боевым органом нового литературного направления. Все сказанное не значит, что журнал Карамзина окончательно уничтожил русский классицизм и утвердил новую литературную школу. Карамзин этого не сделал и не мог сделать.

Как известно, сентиментализм представлял передовую общественную идеологию. Он боролся за буржуазно-демократические идеи равенства, братства и свободы. На позициях такого сентиментализма стоял Радищев. Карамзин же, сделавший несколько шагов в этом направлении, не имел ни сил, ни мужества итти дальше. Его критика классицизма была в основном критикой эстетической. Общественно-политическая сторона сентиментализма не нашла отражения в его творчестве. Ограниченность его в этом отношении очевидна. Показательно отношение Карамзина к французской революции. Если отправляясь во Францию Карамзин писал, что «скоро надеется» видеть человечество «на горной степени величества, в венце славы, в лучезарном сиянии», то в 1793 г. его настроения меняются: «Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов — но мысль о разрушаемых городах и погибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон Кишотом, но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так, как я люблю человечество». В этих словах чувствуется растерянность: «друг» Робеспьера не может согласовать свои мечты русского дворянского либерала с революционной практикой.

Карамзин напечатал в своем журнале биографии Франклина и Клопштока, этих почетных граждан Французской республики. Однако дальше этого он не пошел. Ограниченность либерализма автора «Бедной Лизы» отразилась на целом ряде существеннейших его идей. Это относится и к литературно-эстетическим позициям журнала. Описанная выше борьба за естественность, простоту, жизненность поэзии имеет

прогрессивное содержание. Критика классицизма с подобных позиций являлась «революцией» в тогдашних литературных традициях, но идейная, а следовательно и эстетическая ограниченность и здесь дает себя знать. Требование возвращения к девственной природе, эстетика природы, подражание натуре, как суть искусства — все имеет пределы, определяемые поверхностным знанием действительности и ее законов, пределы, препятствующие подлинному проникновению в суть общественных отношений и ограничивающие творчество. Ограниченность позиций Карамзина в данном отношении будет особенно разительна при сопоставлении с Радищевым. Если автор «Путешествия из Петербурга в Москву» дал образ Анюты — крестьянской девушки, то Карамзин — цветочницы Лизы, лишенный радикального содержания. Сравним также образы крестьян у Радищева и Фрола Силина Карамзина. Иначе говоря, у Карамзина темы Радищева снижены до уровня филантропического благодушия и умиления перед добродетелями поселян, тогда как у Радищева они даны в плане революционной народности. Слабые стороны Карамзина и его журнала прекрасно видел И. А. Крылов, резко выступавший против него в «Зрителе».

Отмечая ограниченность Карамзина, следует, однако, помнить слова Белинского: «При нем и вследствие его влияния тяжелый педантизм и школярство сменились сентиментальностью и светскою легкостью, в которых много было странного, но которые были важным шагом вперед для литературы и общества» («Сочинения А. Пушкина»). Исторической задачей первого журнала Карамзина было утверждение новых принципов поэзии и расчистка для них дороги, и эту задачу он выполнил.

Журнал Карамзина завоевал исключительную популярность. Он пользовался среди сторонников дворянского сентиментализма безусловным авторитетом. Прекращение издания было для многих полной неожиданностью. Правда, Карамзин уже после первого года жаловался читателям на трудности, которые он встречает, издавая один весь журнал и намекая на какие-то обстоятельства личного характера («был тяжелый год»). В последней части за 1792 г. неожиданно появляется «заключение» издателя об отказе от журнала. Нужно сказать, что последние книжки журнала выходили неаккуратно, с очень большим опозданием.

В связи с процессом масонов правительство сильно подозревало Карамзина. После же появления известной оды «К милости» ему высказывалось прямое недоверие, стали распространяться слухи о его аресте — естественно, что в таких условиях было не до журнала. Характеризуя свое настроение, Карамзин писал 17 февраля 1793 г.: «Отовсюду неприятные вести! Везде горизонт так черен и грозен! Какое время, мой друг!».

3. Издания Карамзина до 1800 г.

В последней книжке «Московского журнала» Карамзин обещал часы, свободные от занятия древностями, посвящать писанию «безделок», которые он намерен был издавать под именем «Аглаи», «одной из любезных граций»; ни времени, ни количества листов он не назначал. «Таким образом, — заключал Карамзин, — Аглая заступит место „Московского журнала". Впрочем она должна отличаться от сего последнего строжайшим выбором пьес и вообще чистейшим, то есть более выработанным слогом, ибо я не принужден буду издавать ее

в срок» (часть VIII, стр. 336). Очевидно, автор «Писем русского путешественника» не складывал оружия. Правда, своего обещания выпустить первую книжку «Аглаи» к весне 1793 г. он не выполнил; она была издана только зимой. Это был первый русский альманах.

Сборник имел большой успех. В нем помещен ряд статей: «Нечто о науках и искусствах и просвещении», «Что нужно автору?» и др., повесть «Остров Борнгольм», лирическое прозаическое излияние «Цветок на гроб моего Агатона» (об А. А. Петрове, умершем в 1792 г.) и ряд стихотворений; таким образом, почти весь сборник был составлен самим издателем. В «Приношении к грациям», открывающем сборник, Карамзин писал:

...благословите сей
Свободный плод моих часов уединенных,
Природе, тишине и музам посвященных.
(Кн. I, с. 4).

Вторая книга «Аглаи» была издана в 1794 г. Содержание ее также разнообразно. Здесь мы находим статью в форме двух писем «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору»; лирическую повесть «Афинская жизнь» и ряд стихотворений, среди которых неоконченная поэма «Илья Муромец». И этот сборник составлен из оригинальных произведений Карамзина. Далее писатель сделал еще один шаг — он опубликовал свои мелкие произведения в двух книжках, которые, не без вызова, назвал — «Мои безделки». Все эти издания также имели успех, и Карамзин, продолжая жаловаться на положение русской литературы, предпринимает все новые и новые начинания. В 1796 г. выходит первая книга альманаха «Аониды», в 1797 — вторая; в 1798 — второе издание «Моих безделок» и «Пантеон иностранной словесности» и в 1799 г. — третья книга «Аонид». Сюда следует прибавить еще сотрудничество в 1795 г. в газете «Московские ведомости», в которых Карамзин вел отдел «Смеси».

Время, когда выходили альманахи Карамзина, было очень тяжелое для всего русского общества. Последние годы царствования Екатерины II (с 1790—1796) были годами все более и более ожесточающейся реакции, которая с приходом к власти Павла I получила новое направление и усилилась. Особенно тяжелым было положение литературы и журналистики. 16 сентября 1796 г. были запрещены вольные типографии и введена цензура. Это мероприятие поддержал и Павел I, который за короткий период своего царствования издал 10 законов, касающихся цензуры. 18 августа 1798 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Цензура как черный медведь стоит на дороге; к самым безделицам придираются». Через два месяца он снова возвращается к этой мысли: «А я, как автор, могу исчезнуть заживо. Здешние цензоры при новой эдиции Аонид поставили X на моем п о с л а н и и к ж е н щ и н а м. Такая же учесть ожидает и Аглаю, и мои безделки, и „Письма русского путешественника", то есть, вероятно, что цензоры при новых изданиях захотят вымарывать и поправлять, а я лучше все брошу нежели соглашусь на такую гнусную операцию: и таким образом через год не останется в продаже, может быть, ни одного из моих сочинений. Умирая авторски, восклицаю: да здравствует российская литература!..».

Еще более горькие признания мы находим в других письмах, в которых Карамзин характеризует положение российской словесности в империи Павла I — «у нас есть академия, университет, а литература под лавкой!». Иногда Карамзину казалось, что не только литературная деятельность, но и вся жизнь человека теряет смысл в условиях бес-

правия и грубого насилия. Ужас перед действительностью отражался в произведениях автора «Бедной Лизы».

С другой стороны, французская революция давно миновала те стадии своего развития, на которых она восхищала всех либерально настроенных людей. Установление власти якобинцев, являвшейся «диктатурой низов, т. е. самых низших слоев городской и сельской бедноты» (Ленин, Сочинения, т. IX, изд. 3-е, стр. 217) заставило либералов пересмотреть свое отношение к ней. Все это также отразилось на настроениях Карамзина. Он встретил революцию с пылкими надеждами, а теперь был растерян и напуган. Вполне естественно, что умеренному дворянскому либералу революция начинает представляться в ужасном виде — крушением всей мировой цивилизации.

Все это и определяет настроение писателя в данный период. Тяжелое положение литературы, дикий режим Павла с одной стороны, испуг перед революцией с другой заставляют Карамзина искать выхода в бегстве от жизни, от действительности. Он сочиняет такие афоризмы: «Что наша жизнь? Роман. Кто автор? Аноним. Читаем по складам, смеемся, плачем... спим». Серьезно это выражено в письмах так: «Ты не весел, я также. Цветы жизни более и более для меня увядают. Желаю только одного: умереть покойно... Надобно что-нибудь желать сильно, чтобы работать прилежно... Талант мой, как сибирский плод, не дозрев иссыхает. Довольно если иногда, улучив спокойную минуту, напишу стиха два. И за то благодарю судьбу» (29 октября 1799 г.).

Издатель «Московского журнала» отходит от прежних позиций. Новые издания и новые произведения, несмотря на их разнообразие и внешнюю занимательность, бедны содержанием, и если период «Московского журнала» был периодом критическим, расчищающим новые пути литературе и общественной жизни, то теперь в произведениях Карамзина все сводится к одному мотиву пассивного отчаяния и безысходности.

Посмотрим сначала «Аглаю». В посвящении ко второй книжке говорится: «Мы живем в печальном мире, где часто страдает невинность, где часто гибнет добродетель... Исчезли призраки моей юности, угасли пламенные желания в моем сердце; спокойно мое воображение. Ничто не прельщает меня в свете. Чего искать? К чему стремиться?.. К новым горестям? Они сами найдут меня — и я без ропота буду лить новые слезы. Там лежит страннический посох мой и тлеет во прахе!».

Более выразительного определения настроений, с которыми начинал автор новую литературную работу, трудно найти. Развитием этого настроения, вернее его иллюстрацией, является весь материал сборников. В этой связи на первом месте нужно поставить статьи «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору». Первое письмо Мелодора рисует ужас и отчаяние человека, пережившего крушение своих идеалов и надежд. Мелодор понимал развитие человечества, как медленное, но неуклонное движение по пути прогресса к «духовному совершенству». Восемнадцатый век был крушением этих надежд. «Век просвещения! — восклицает Мелодор, — я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя!..». Далее рисуется картина «ужасов», терзающих Европу. «Нежная чувствительность» уничтожается. Автор с отчаянием спрашивает, не повторяется ли история уничтожения когда-то славных и просвещенных государств, не такая ли участь ожидает и европейское просвещение? «Печальные сомнения, — пишет Мелодор, — волнуют мою душу». Неужели «вечное движение в одном кругу, вечное повторение?». Автор просит Филалета или дружески скорбеть с ним о гибели человека или дать утешение.

Филалет не хочет утешать друга, он не может сказать ему ничего нового; он ищет только успокоения и веры. «Бог, — пишет Филалет, — вселил в мою и в твою душу ненависть ко злобе, любовь к добродетели: сей бог, конечно, обратит все к цели общего блага».

Совершенно очевидно, что Карамзин от воинствующего сентиментализма отходит к теолого-оптимистической точке зрения, которая приводила к примирению с действительностью. Художественным выражением этой теории является весьма характерное стихотворение «Послание к Д.» (т. е. И. И. Дмитриеву), в котором встречаем такой вывод:

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! Не мы тому виной.
Мы слабых здесь не угнетали,
И всем ума, добра желали;
У нас не черные сердца!
И так без трепета и страха
Нам можно ожидать конца
И лечь во гроб, жилище праха.

(Часть II, стр. 25).

Статья «Нечто о науках, искусстве и просвещении» посвящена полемике с Руссо по вопросу о просвещении. Эта полемика еще более ярко показывает, что Карамзин все дальше и дальше отходит от прогрессивных идей сентиментализма. Защищая науку, искусство, просвещение от Руссо, Карамзин бьет мимо цели. Он допускает ошибку, которую делали многие критики Руссо, не понимавшие, что тот критикует просвещение дворянское, растленное и упадочническое. Карамзин «поправляет» Руссо все с тех же позиций теологического оптимизма. «Просвещение есть палладиум благонравия», — пишет он. «Созерцайте природу и наслаждайтесь ее красотами; познавайте свое сердце, свою душу; действуйте всеми силами, творческою рукою вам данными, — и вы будете любезнейшими чадами неба».

Подобное отступление от передового сентиментализма видно и в повести «Нежность дружбы в низком состоянии», в которой демократизм Руссо заменен идиллическим филантропическим гуманизмом дворянина.

Приступая к изданию «Аонид», Карамзин писал Дмитриеву: «Откроем сцену для русских стихотворцев, где бы могли они без стыда показываться публике». Так определяется назначение будущих альманахов, которые, несмотря на неблагоприятные условия, решился издавать Карамзин. Альманах должен быть собранием избранных: «отгоним прочь всех уродов, но призовем тех, которые имеют какой-нибудь талант! Если мало наберется х о р о ш е г о, поместим и з р я д н о е; но подлого, нечистого, карикатурного нам не надобно» (17 октября 1795 г.). Альманах «Аониды» был целиком посвящен поэзии. Состав книжек, конечно, не был однороден и стихи были различны по качеству.

Участвовали в сборниках известные поэты того времени. Здесь мы находим стихи Державина, Хераскова, Капниста, Дмитриева, Кострова, Нелединского-Мелецкого, кн. Горчакова, В. Пушкина, В. Измайлова, Клушина, Николева и других.

В предисловии ко второму сборнику «Аонид», Карамзин пишет, что главные пороки современной поэзии — «излишняя высокопарность, гром слов не у места и часто притворная слезливость. Поэзия состоит не в надуманном описании ужасных сцен натуры, но в живости мыслей и чувств».

(вып. II, стр. V). Карамзин предостерегает поэтов: «Если стихотворец пишет не о том, что подлинно занимают его душу, если он не раб, а тиран своего воображения... то в произведении его не будет никакой живости... Надобно описать разительно причину их (слез), означить горесть не только общими чертами, которые, будучи слишком обыкновенны, не могут производить сильного действия в сердце читателя, но особенными, имеющими отношение к характеру и обстоятельствам поэта». Таким образом, суждения Карамзина по вопросам литературы сохраняют и в этот период некоторые прогрессивные черты. Выступая за искренность писателя, Карамзин борется за близость поэзии к действительности, т. е. поднимает то, что создал в поэзии Державин, то, что характеризует в дальнейшем лирику великих русских поэтов.

Однако прогрессивность творчества Карамзина не следует переоценивать. Карамзин сдает свои общественные и литературные позиции. В послании к Дмитриеву он пишет:

И я мечтами обольщался —
Любил с горячностью людей...
Готов был кровию моей
Пожертвовать для счастья их...
Но время, опыт разрушают
Воздушный замок прежних лет.

Жизненный идеал поэта индивидуалистичен, антиобщественен:

Любовь и дружба — вот чем можно
Себя под солнцем утешать.
Искать блаженства нам не должно,
Но должно — менее страдать.

Из изданий Карамзина, предпринятых в 1790-е годы, следует отметить еще «Пантеон иностранной словесности» (1798), составлявшийся Карамзиным, из переводов античных и западно-европейских авторов. Издание было задумано очень широко. Однако преследования цензуры превзошли все ожидания. Придирались к Цицерону, Тациту и другим классикам, не говоря уже о современных писателях. Поэтому программа издания была осуществлена только частично.

4. «Вестник Европы» (1802—1803)

В последние годы царствования Павла I Карамзин отрицательно оценивал возможности литературной и журнальной деятельности. В письме к И. И. Дмитриеву в октябре 1799 г. он оплакивал свой погибший талант. Однако уже 14 января 1802 г. Карамзин сообщает тому же Дмитриеву о своих новых журнальных предприятиях. В этой перемене нет ничего случайного. Политические события изменили условия русской жизни и вызывали самые радужные надежды.

Новый император, вступивший на престол после убийства Павла I, был хорошо известен дворянскому обществу. Оно приветствовало Александра I, видя в нем ученика «славного Лагарпа» и чувствительного М. Н. Муравьева. Первые манифесты и законоположения молодого царя были восторженно встречены дворянской интеллигенцией. Все говорили о знаменательных словах манифеста, — о том, что новый правитель будет царствовать «по закону и по сердцу» Екатерины II, передавали слова императора о том, что «все преступления должны быть объемлемы, судимы и наказуемы общей силою закона». Все знали, что Александр приблизил к себе молодых либеральных советников, освободил политических «преступников» А. Н. Радищева, Н. И. Новикова и других.

В поток «восторга и надежд» вовлечен был и автор «Писем русского путешественника». Им была написана ода Александру I, которая, при всей неожиданности этого жанра для Карамзина, не была случайна. В ней, выступая от лица дворянской интеллигенции, он рисовал ожидаемое направление политики правительства:

Воспитанник Екатерины!
Тебя господь России дал,
Ты урну нашея судьбины
Для дел великих восприял...
И дух мой сладко веселится
Предвидя их блестящий ряд!

Чего же ожидает Карамзин? В оде указано: просвещения и законов.

Многого Карамзину не надо, он отказывается, например, от свободы:

Свобода — там где есть уставы,
Свобода мудрая свята,
Но равенство — мечта.

«Историческое похвальное слово императрице Екатерине II», написанное в 1801 г., развивает ту же положительную программу чувствительного и просвещенного правления. Итак, первые выступления Карамзина в XIX в. имели политический характер, впрочем, как и вся его деятельность в эти и последующие годы. В своих политических выступлениях он является идеологом консервативной дворянской интеллигенции.

Естественно, что «Вестник Европы» уже не является чисто литературным журналом. В нем теперь большую и, можно сказать, решающую роль играет политический отдел. Поэтому он может быть признан первым литературно-политическим журналом в России.

Политическое направление журнала определяется указанными выше политическими убеждениями Карамзина. Название издания конкретизирует их, так как интерес к Европе в тот момент, когда революционная буря уже утихла, когда консул Наполеон готовил монархический переворот, когда, наконец, европейские страны после пережитых потрясений «успокаивались», — свидетельствует о том, что издатель, напуганный революцией, с надеждой обращает взоры к Европе «умиротворенной» и «утихомирившейся».

Первый номер журнала (январь 1802 г.) не оставляет никаких сомнений относительно программы журнала. В напечатанном здесь письме к издателю от неизвестного (может быть, оно написано самим Карамзиным) полностью одобряется линия издания, причем корреспондент особо подчеркивает актуальность журнала при сложившейся международной и внутренней обстановке. Подчеркивается и значение политического отдела, а о литературе высказываются такие мнения: литература прочно заняла подобающее ей место в обществе, существует даже мода на нее, теперь каждый читает и потому отпадают прежние заботы о ней, нет нужды теперь и в критике. Из всех помещенных в «Вестнике Европы» материалов наиболее значительными признаются политические и исторические публикации.

Действительно, сам Карамзин напечатал в своем последнем журнале немного своих художественных произведений. В этом отношении «Вестник Европы» не может сравниться с «Московским журналом». Вместе с тем следует отметить, что попрежнему Карамзин был и главным авто-

ром, и переводчиком, и редактором журнала. Круг сотрудников невелик: И. И. Дмитриев, Державин, В. Л. Пушкин, Жуковский и некоторые другие.

Разочарование в журнальной деятельности у Карамзина выявляется полностью в его переписке с М. Н. Муравьевым в 1803 г. Издатель «Вестника Европы» просит в своих письмах бывшего воспитателя царя ходатайствовать перед правительством о назначении ему пенсии для занятий историей России, подчеркивая свои заслуги перед русской литературой. Карамзин признает, что литературно-журнальная деятельность ему ничего не дала, и теперь он ищет новое поприще для применения своих сил. Муравьев добился для своего любимца звания историографа и пенсии в 2000 рублей в год. Журнальная деятельность Карамзина кончилась.

Исторические занятия и роль идеолога консервативного дворянства, принятые на себя Карамзиным в первой четверти XIX столетия, нельзя считать случайностью, изменою или отступничеством с его стороны. Напротив они вполне закономерны в плане идейного развития Карамзина. Испуг перед революцией привел его к теолого-оптимистической философии и аполитичности, а затем к идеализации прошлого и политической реакции.

5. Журналы карамзинского направления

В качестве деятеля русской сентиментальной журналистики Карамзин не был одинок. Одновременно с «Московским журналом» в Москве издается журнал «Чтение для разума, вкуса и чувствования» (1791—1793). Успех журнала Карамзина отодвинул в тень другие издания и подчинил их влиянию «Московского журнала». Так, «Чтение» сначала имело свои задачи, свой круг сотрудников, но уже на второй год своего существования целиком подчиняется и идейно и художественно авторитету журнала Карамзина. Вслед за этими изданиями появились новые, поддерживающие принципы сентиментализма: «Приятное и полезное препровождение времени» (1794—1798), «Муза» (1796), «Ипокрена или утехи любословия» (1798—1801) и некоторые другие.

Журналы эти имели один состав сотрудников, издания были связаны преемственностью: один журнал закрывался, на смену ему приходил другой, а сотрудники перекочевывали в новое издание. Круг литераторов, участвовавших в сентиментальной журналистике, довольно ограничен: В. Подшивалов, Вл. Измайлов, И. Дмитриев, Мерзляков, М. Муравьев, Ю. Нелединский-Мелецкий, В. Л. Пушкин, кн. П. И. Шаликов и другие. Из старших принимал участие Державин.

Остановимся коротко на каждом из этих журналов. Журнал «Ч т е н и е д л я в к у с а, р а з у м а и ч у в с т в о в а н и я», выходивший с 1791 до 1793 г., является одновременно с «Московским журналом» первым изданием сентиментализма. Являясь приложением к «Московским ведомостям», журнал выходил небольшими тетрадками в 16 страниц. Задача издания — «занимать удовольственным образом дух и сердце»; удовольствие и польза — вот лозунг издателей журнала. Первый год редактора не было — издатель В. И. Окороков сам руководил журналом, в котором, главным образом, помещались сочинения студентов Московского университета, руководимых В. С. Подшиваловым. Последний с 1792 г. стал редактором издания.

В. С. Подшивалов, известный литератор и журналист того времени, был учеником масонов и вслед за Карамзиным перешел к сентимента-

лизму. Он был одним из первых теоретиков литературы в России, преподавал эстетику и стихотворство в университете и руководил занятиями студентов. Его и пригласил Окороков сотрудничать в журнале, а потом и редактировать его. Характер художественного отдела «Чтения для вкуса» целиком подтверждает единомыслие его руководителя с издателем «Московского журнала», хотя в выборе переводов Подшивалов не был столь последователен, как Карамзин, вероятно потому, что большая часть переводов делалась студентами в процессе их учебных занятий.

Эстетические вопросы занимают весьма сильно редактора «Чтения». Он напечатал в журнале целый ряд таких статей: «Влияние нравов на чувствование изящности» (ч. IV), «Замечания о прелести в произведениях искусства» (ч. V) и другие. Это, в основном, переводы или переложения из европейских журналов.

В первых частях журнала можно найти много дидактических сочинений студентов с очень выразительными заглавиями: «О страстях», «Удивление», «Гордость», «Любовь», «Гнев» и прочее. Но стремление к разнообразию заставляет редактора печатать и такие статьи: «Рассуждение о том, что может сделать супругов счастливыми», «Анатомия сердца светской женщины» и т. п. Журнал с приходом к редакторству Подшивалова (1792) стал более разнообразным и ярким. Исчезли длинные «научные» рассуждения, главное место заняли стихи и художественные переводы. Журнал популяризирует Оссиана, Мейснера, Мерсье и проч. Особенно популярны были в журнале «восточные» повести, построенные на интересе к экзотике и чувствительности.

Несмотря на все старания, «Чтение» не могло достичь уровня «Московского журнала» и пережило его только на один год.

Будучи изданием, не вполне последовательным в своем направлении «Чтение» не удовлетворяло ни классиков, ни сентименталистов, и, главное, — у него не было крупного художника, который привлекал бы своими оригинальными произведениями.

В. С. Подшивалов признал превосходство Карамзина и сделался одним из самых верных его подражателей. Деятельность Подшивалова не прекратилась в 1793 г., и он вместе со всеми сотрудниками «Чтения» перешел в новый журнал — «Приятное и полезное препровождение времени» (1794—1799), который редактировался П. А. Сохацким; издателями журнала были арендаторы Университетской типографии X. Ридигер и X. Клаудий.

Как было сказано в объявлении о журнале, он представлял собою непосредственное продолжение закрытого «Чтения». Существенным отличием было то, что в нем работы студентов и вообще начинающих писателей печатались рядом с произведениями известнейших поэтов: Державина, Карамзина, И. Дмитриева. Печаталось в журнале много женщин-писательниц. Но направление и задачи журнала остались прежними. Интерес к Ж. Ж. Руссо, Стерну, Клейсту, Ричардсону, Бернарден де Сен-Пьеру, Виланду, Геснеру, Жанлис и т. п. сохранился. Направление журнала безусловно сентиментальное. Это подчеркивается отдельными высказываниями о ведущих писателях этого направления и, прежде всего, о Карамзине. Характерно, например, письмо к издателю при стихах, предназначенных для журнала: «Если чувствительный, нежный, любезный и привлекательный наш Стерн, читая их, произнесет: изрядные, то я постараюсь и впредь доставлять мелкие пьесы в прозе и стихах». Под словами «наш Стерн» есть сноска: «Я под сим разумею

почтенного господина издателя „Московского журнала" и сочинителя „Аглаи"».

О сентиментальном направлении журнала свидетельствует и содержание помещенных в нем произведений. В журнале очень много стихов, и все они принадлежат к чувствительным жанрам: послания, элегии, идиллии и пр. Художественные средства их однообразны и свидетельствуют о сложившейся уже традиции. Больше всего стихов переводных, но оригинальные стихи имеют то же направление. Например, в одном из первых номеров помещено своеобразное стихотворение в прозе «К уму» Вас. Подшивалова и в нем мы находим обычное для сентименталистов развенчание ума; при этом упоминается великий Руссо. Описав достоинства ума, автор продолжает так: «Но, ах! Сколь редки такие дела твои, сколь часто подобишься ты нощному феномену, который, сверкнув на горизонте, погасает в болотной воде». И дальше: «Ты низок и мал, ум коварный! .. Ты низок и мал, ум недеятельный».

В другом месте встречаем стихотворение в прозе «К сердцу»: «Тихие колебания сердца! Электризуйте перо мое, да прославит оно чистый, неиссякаемый источник Ваш, источник драгоценных чувств и добродетелей! .. Горе нечувствительным! Горе управляемым силою одного механизма!»

Не менее показательны и теоретические статьи журнала. В большинстве своем они представляют переложения из иностранных теоретиков. Из подобных статей интересны: «Суд о Шекспире» (отрывок из его биографии, подписанный буквой «И». Этой буквой подписывался ближайший друг Карамзина — И. И. Дмитриев), «Искусство и век» (ч. IX), «Влияние сатиры на нравы общества» (ч. XIII), «Об изящных науках и искусствах» (ч. XIX), «История вкуса в изящных науках» (ч. XVII) и др.

Все эти работы стремятся выяснить существо наиболее актуальных вопросов литературной теории того времени.

В первой статье о Шекспире приветствуется гений, отвергнувший «все законы, не согласующиеся с великими его видами и обширными планами», подчеркивается, что создатель «Гамлета» поднял на сцену всех людей: и героев, и простых и описывает их, не прикрашивая. Все сказанное о Шекспире служит основанием для общих выводов о природе искусства, резко расходящихся с классическим пониманием его. Старое определение — искусство есть подражание изящной природе — наполняется новым содержанием: подчеркивается, что сама природа, а не украшенная иллюзия ее составляет сущность искусства. В статье «Искусство и век», в полном соответствии со сказанным выше, утверждается падение искусства в новое время. Юная пора человечества была идеальной порой искусства, именно в силу близости к природе. Теперь искусство «низринуто в сферу рабства», т. е. подражания и рассудочности. В связи с такой постановкой вопроса особое значение приобретает определение мерила изящного? Сентиментальный журнал выдвигает новую категорию — вкуса.

Поскольку, осуждая новое искусство, авторы анализируемых статей обращались к прошлому, идеализируя его натуральность, основной чертой «юного искусства» они считали существование в нем неиспорченного естественного вкуса. В таком противопоставлении старого искусства новому под новым подразумеваются произведения классицизма XVII и XVIII вв., которые, таким образом, дискредитируются. Однако принципы нового искусства формулировались осторожно; видимо, критика классицизма не достигла того периода «бури и натиска», кото-

рым характеризуются двадцатые годы, когда врагом его выступил романтизм.

Следует сказать, что издатели журнала не склонны скрывать недостатки своего направления. Об этом свидетельствует целый ряд выступлений против излишней сентиментальности. Укажем главное — статью «Чувствительность и причудливость» (ч. XI). Основная ее задача — разоблачить ложную чувствительность, которая называется здесь «причудливостью». Автор так определяет различия чувствительного и «причудливого» поэта: «стихотворец... всегда будет различаться от стихосплетателя, который вовсе оставляет истинные натуральные отношения вещей и нескладные произведения мечты своей образует в существа, не имеющие ни малейшего сходства с натуральною материей, откуда они взяты». Произведения стихотворца отличаются чувствительностью, которая «скрытна, скромна, краткословна и важна», у стихоплета, соответственно, она — «болтлива, словообильна, тщеславна, и, смотря по случаю, или громогласна или визглива». «Истинная чувствительность утверждается всегда на ясно познанных основаниях разума и по сему она согласна как с природою человека, так и с природою и целью других вещей» (ч. IX).

Художественный, особенно стихотворный, отдел «Приятного и полезного препровождения времени» довольно интересен уже потому, что Державин напечатал здесь «Памятник». Активное участие в журнале принимал И. И. Дмитриев. Карамзин также печатал в нем свои сочинения, скрываясь под различными инициалами, а иногда и совсем не давая подписи.

Следует еще остановиться на журнале «Ипокрена или утехи любословия» (1798—1801), явившемся продолжением «Полезного и приятного препровождения времени».

В полном соответствии со своим предшественником журнал продолжает линию сентиментальной журналистики. Из номера в номер помещаются отрывки из произведений Стерна с характерным заглавием «Красоты Стерна». В журнале появляется ряд значительных имен: В. А. Жуковский, В. Нарежный, Г. П. Каменев и другие.

В этом же плане издается в 1796 г. журнал «Муза», редактировавшийся И. И. Мартыновым. Интересно, что этот журнал, следуя за Карамзиным, сделал попытку возродить критику: «Писатель с одинаковой скромностью должен слушать похвалы и критику на свои творения», — пишет издатель (ч. I).

Журнал интересен составом сотрудников: здесь печатались Державин, молодой Сперанский, Н. А. и Ф. П. Львовы.

Журналы сентименталистов до XIX в., перечисленные выше, утверждали господство сентиментализма в литературе и способствовали быстрому его распространению в обществе. Издания, продолжавшие дело Карамзина, стремились теоретически и практически укрепить его победу, однако, при всей их прогрессивности, они показывают и ограниченность своего направления.

В них широко развернута борьба против эстетики классицизма, но, уничтожая рационалистическую нормативность ее, протестуя против подражательности, как творческого принципа, разрушая своей критикой прочие догматы классиков, — они не могли довести свое отрицание до конца. В целом ряде положений они останавливались на полдороге. Так, борясь против дидактики, сентименталисты допускали ее в своих изданиях; отвергая подражательность, они не могли сформулировать свое новое понимание творчества и лишь реформировали старое; подлинная,

живая природа не являлась еще реалистической основой творчества сентименталистов. Наконец, требуя освобождения поэта от тягостных пут «правил» и «законов», новое течение не могло порвать с авторитетами школьной теории поэзии; Батте, Лагарп и другие, как и прежде, пользуются непререкаемым авторитетом. Сентиментальная журналистика, руководимая Карамзиным, нанесла сильный, но не уничтожающий удар классицизму, достигнув этим обновления литературы, но не коренного ее изменения. Причиной этого является социально-политическая ограниченность либерального сентиментализма Карамзина.

ЧАСТЬ II

Первая четверть XIX века

ГЛАВА VI

Журналистика и критика 1800—1810-х годов

Основные проблемы и направления критики и журналистики 1800—1810-х годов

После вступления на престол Александра I многие в России ожидали существенных реформ от правительства молодого царя. Последнее, действительно, делало ряд таких шагов, которые, казалось, свидетельствовали о предстоящих переменах. Молодые советники царя — Строганов, Чарторыжский, Кочубей, Новосильцев — были известны как «либералы», и на них возлагались большие надежды. Появилось множество проектов реформ, касавшихся различных сторон государственной жизни. Но уже на заре нового царствования ряд событий предсказывал последующее горькое разочарование. В 1802 г. покончил жизнь самоубийством А. Н. Радищев, увлеченный перед тем общим настроением. Великий писатель и крупнейший мыслитель своего времени быстро разгадал подлинную сущность «либерализма» Александра и его сподвижников. Однако предостерегающий смысл самоубийства Радищева остался непонятым и не отрезвил дворянскую интеллигенцию в ее надеждах на Александра I.

В 1804 г. был издан новый цензурный устав. Издателями журналов он был встречен одобрением. Это был самый либеральный устав XIX столетия (автор его — И. И. Мартынов, чиновник и журналист). Цензура осталась предварительной, но она имела указания насчет благожелательного отношения к авторам. Однако, как вскоре обнаружилось, и этот закон в руках опытных бюрократов превратился в грозное оружие, терроризировавшее литературу и журналистику. Так, книга И. П. Пнина «Опыт о просвещении» была по доносу бездарного поэта-неудачника Геракова, признавшего ее «вредной и исполненной разрушительных правил», запрещена для второго издания на основании закона 1804 г. Все усилия автора снять запрещение не увенчались успехом, хотя он ссылался на «высочайшее одобрение» книги. Таким образом, первым актом цензурного комитета, созданного по новому закону, было преследование книги передового писателя. Так же повелось и в дальнейшем: цензура не только шла за усиливавшейся в стране реакцией, но часто опережала ее. Поскольку по закону запрещались книги, «противные правительству [т. е. политическому устройству страны], нравственности, закону божию и личной чести граждан», цензура запрещала все, что ей казалось сколько-нибудь подозрительным. История цензуры отражает эволюцию политики Александра I, который от обещаний реформ перешел к реакции, от увлечения просветительской философией к идеологии Священного союза, от либерализма к аракчеевщине. Отстранив «молодых советников», он приблизил к себе Шишкова, Аракчеева и др.

В течение первого десятилетия XIX века было издано до 60 журналов. Правда, они не были долговечны и одновременно существовало обычно лишь 5-6 изданий. В следующее десятилетие количество изданий увеличивается еще более. Так, в 1813 г. выходило 13 изданий общего харак-

тера, а в 1815 г.—21. Такой рост журналистики находит объяснение в том, что стремление к общественной деятельности не могло найти применение нигде, кроме журналистики и литературы. Политические симпатии изданий пестры и разнообразны. Одно можно лишь сказать, что дальше либеральных прославлений законности, просвещения журналы шли крайне редко.

В соответствии с политическим разделением общества в журналистике определилось два направления — прогрессивное и реакционное. Рядом с магистральными направлениями существовали второстепенные, но они не имели самостоятельного значения и присоединялись в напряженные моменты к той или другой партии. К первому направлению относятся следующие журналы: «Северный вестник» И. И. Мартынова (1804—1805), «Лицей» того же издателя (1806), «Северный Меркурий» (1805) и, кроме того: «Московский Меркурий» (1803), «Патриот» (1804), «Цветник» (1809—1810), «Журнал российской словесности» (1805), «Журнал для милых» (1804), «Аглая» (1808—1810, 1812), «Дух журналов» (1815—1820), «Санкт-Петербургский вестник» (1812) и другие. При всем разнообразии жанров, тона и содержания перечисленных журналов все они имеют общие черты. То же самое можно сказать и о противоположном направлении, к которому относятся такие издания: «Корифей» (1802—1807), «Друг просвещения» (1804—1806), «Друг юношества» (1807—1815), «Русский вестник» (1808—1824), «Сионский вестник» (1806, 1817—1818), «Чтения в беседе любителей русского слова» (1811—1816). У всех перечисленных журналов охранительного направления общими чертами были непримиримая вражда к новому, боязнь просвещения, восхваление монархизма и феодального прошлого.

Большинство журналов издавалось кружками, обществами и т. п., примыкавшими в свою очередь к тому или другому политическому лагерю. Связь журналов с литературными организациями подчеркивает их общественную направленность, помогает точнее определить специфические особенности каждого из них и наметить расслоение внутри борющихся направлений.

Так, ряд изданий связан с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств (1801—1812); им непосредственно издавались: «Свиток муз» (1802—1803), «Периодическое издание» (1804) и, что еще существеннее, его члены участвовали в изданиях: «Журнал российской словесности», «Северный вестник», «Цветник», «Санкт-Петербургский вестник» и др. Беседа любителей русского слова издавала «Чтения...»; с ней был связан «Друг просвещения». «Драматический вестник» является органом кружка писателей, группировавшихся вокруг вельможи, искусствоведа и художника А. Н. Оленина (Крылов, Шаховской, Озеров и др.). «Друг юношества» и «Сионский вестник» были связаны с масонством. Мерзляков в своих воспоминаниях о Ф. Ф. Иванове писал о литературе начала века: «Тогда быть членом литературного общества сделалось для каждого из нас необходимою душевною потребностью». В литературных кружках складывались мнения, высказывавшиеся потом в журнальных статьях. Кружки были лабораторией новых политических и эстетических идей.

Следует еще отметить переход журнального первенства от Москвы к Петербургу. Ведущее положение Москвы утвердил в конце XVIII в. Карамзин. В XIX в. первенство перешло к Петербургу. С 1812 г. по 1820-е годы из тридцати литературных журналов двадцать один издавался в Петербурге и девять — в Москве. Успехи журнального дела отразились и на провинции, в которой один за другим появлялись периодические из-

дания. Если до 1806 г. провинциальных журналов почти не было, то в 1813 г. их уже 3, а в 1816 г. — 7. Они возникают, главным образом, при университетах, хотя иногда их издают и частные лица. Например, в 1804 г. в Калуге выходил журнал «Урания», в 1811—1820 гг. в Казани — газета «Казанские известия», в 1813—1815 в Астрахани — «Восточные известия». В середине второго десятилетия возникло несколько журналов и на Украине: «Харьковский Демокрит» (1816), «Украинский вестник» (1816—1819), «Украинский домовод» (1817) и др. В литературной борьбе провинциальные журналы не играли сколько-нибудь существенной роли, являясь как бы спутниками господствующего направления.

То же можно сказать и о некоторых столичных изданиях, которые не имели определенного направления и переходили то к одной, то к другой партии. В этом отношении особенно показателен «Вестник Европы» после Карамзина.

Усиление авторитета периодических изданий сказывается и в интересе к журнальным мероприятиям со стороны правительства. Оно в свою очередь предприняло издание ряда журналов: «Периодические сочинения об успехах народного просвещения» (1803—1819), «Санкт-Петербургский журнал» (1804—1809), орган Министерства внутренних дел. Издавалась и официальная газета «Северная почта» (1809—1819), выходившая под контролем того же министерства.

Нельзя сказать, чтобы итог двадцатилетнего развития журналистики был особенно блестящ: ни журналистика, ни критика не выдвинули какой-либо яркой фигуры. Но вместе с тем в истории русской критики и журналистики этот период является весьма существенным этапом. В течение двух десятилетий проходила напряженная борьба, расчищавшая дорогу крупнейшим явлениям и событиям последующих десятилетий. Без этой черновой, но очень важной работы классический период русской критики и журналистики не был бы возможным.

Значительность этого этапа подчеркивается теми проблемами, которые обсуждались в журналистике и критике. Главными из них, кроме вопроса о литературном языке, были: 1) проблема литературных направлений; 2) проблема литературной критики; 3) проблема национальной литературы. Следует отметить, что указанные проблемы тесно связаны с журнальной и литературной деятельностью Карамзина. Хотя издатель «Московского журнала» и отошел от литературы, но вокруг наследия Карамзина кипела острая литературная и, в конечном счете, политическая борьба. Белинский писал по этому вопросу: «Карамзин отметил своим именем эпоху в нашей словесности, его влияние на современников было так велико и сильно, что целый период нашей литературы от девяностых до двадцатых годов по справедливости называется карамзинским» («Литературные мечтания»).

Остановимся коротко на основных вопросах журналистики и критики, отмеченных выше.

Борьба сентименталистов и романтиков с классиками, начавшаяся в конце XVIII в., в полной мере развернулась как раз в данный период. Особую остроту она приобрела после знаменитого выступления А. Шишкова с книгой «Рассуждение о старом и новом слоге» (1803), направленной против Карамзина и его школы. С внешней стороны борьба велась по вопросам языка и стилистики, а по существу — по основным вопросам русской жизни. Спор на литературные темы превращался в политическую дискуссию. Политическая подоплека литературно-филологической борьбы была ясна многим современникам. Так, Батюшков писал в письме к Гне-

дичу о национализме Шишкова: «Любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками, и что еще более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели восхваляют все старое?». Батюшков, как и большинство сторонников нового, ясно видел на что нападают так страстно шишковисты, что является их мишенью. Последние выступали как представители реакционных сил дворянского общества; они были тесно связаны с реакционной оппозицией «либеральному» правительству и не скрывали своих ближайших политических задач. Шишков, например, писал: «Не одно оружие и сила одного народа опасны бывают другому: тайное покушение прельстить умы, очаровать сердца, поколебать в них любовь к земле своей и гордость к имени своему есть средство, надежнейшее мечей и пушек» («Рассуждение о любви к отечеству»). Борьбе с такой опасностью и посвящены его труды.

Важным достижением журналистики начала XIX века, является разработка проблемы литературной критики. Не согласившись с Карамзиным, заявившим в «Вестнике Европы», что критика нам еще не нужна как роскошь, — издатели журналов прогрессивного направления отводили ей все большее и большее место. Критика становится в центре внимания журналистики; при этом не столько пишут критические статьи, сколько рассуждают о критике. Реакционные журналы осуждают ее, а их противники доказывают ее пользу. В таких условиях трудно было сложиться цельному критическому таланту, но все же выдвинулись первые критики: Бенитцкий, Дашков, Никольский и др. Критика настолько завоевала признание, что появились журналы, особенно интересовавшиеся критикой: «Цветник», «Санкт-Петербургский вестник», «Сын отечества».

Передовые критики так энергично повели борьбу с отсталостью и реакцией в литературе, что в консервативной печати появились даже жалобы: «Сострадание к соотчичам и любовь к словесности заставляет меня просить вас вступиться за наших сочинителей, переводчиков и издателей новых книг. Суждения о них „Сына отечества" кажутся мне слишком строги и даже могут быть вредны нашей литературе» («Вестник Европы»).

Основным недостатком критики начала века является то, что она не имела еще прочного теоретического основания. Критики попрежнему путались в старых категориях классицизма и были далеки от живых потребностей современной литературы. Попрежнему русские теоретики обращаются к авторитету старой эстетики от Аристотеля до Лагарпа. Но вместе с тем, чувствуя мощное влияние литературной практики, они вынуждены переоценивать отдельные и весьма существенные положения классической теории. Такую неопределенность позиции можно заметить и у учеников Карамзина, у которого отсутствие философско-эстетической последовательности возмещалось ясностью цели — утверждения нового искусства чувствительности. Ученики же его сильнее ощущали слабость своей теории. Жуковский, например, так определяет существо критики: «Критика есть суждение, основанное на правилах образованного вкуса, беспристрастное и свободное. Вы читаете поэму, смотрите на картину, слушаете сонату, чувствуете удовольствие или неудовольствие — вот вкус; разберите причину того или другого — вот критика». Определение это показательно тем, что в нем явно сквозит с одной стороны робость перед опасностью оказаться без правил, а с другой стороны, сознание, что преклонение перед свободным творчеством требует нового понимания искусства.

Разгул реакции, разгром университетов Магницким и Руничем в конце 1810-годов шел под лозунгом борьбы с «богопротивной философией», сеющей «вольнодумство и разврат». В таких условиях на первое место выступали эклектики, легко приспосабливавшиеся к обстоятельствам. Типичным представителем таких теоретиков является известный профессор Московского университета А. Ф. Мерзляков. Бывший член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, поэт, критик и профессор изящной словесности, он был человеком благонамеренным, отстаивал привычные каноны классической эстетики, «составляя» свои труды по книгам Лагарпа, Эшенбурга, Батте и др. Вместе с тем в его статьях легко найти сильные влияния новой эстетики, мысли о свободном творчестве, о всемогуществе поэзии, о плодотворном влиянии природы (естественности, драматизма, психологии) на творчество поэта и т. п. Он готов признать, что «изящное не доказывается по законам разума, и правила вкуса не извлекаются из чистых понятий, а выводятся только из опытов и поверяются одною критикою» («Краткое начертание теории изящного», М., 1822). «Чувство, а не разум основа творчества», — утверждает Мерзляков в полном соответствии с новой эстетикой, но рядом с таким положением можно встретить и диаметрально противоположные утверждения. Так, он нападает на «дух германских поэтов», отрицающий правила: «Что за дух, — восклицает он, — который разрушает все правила пиитики, смешивает все роды, комедию с трагедией, песни с сатирой, балладу с одой и пр.» (Труды общества любителей российской словесности, т. II). При таком положении теории нельзя ожидать последовательной, принципиальной позиции у немногочисленных и непрофессиональных критиков допушкинского периода. Следует еще прибавить к неблагоприятным условиям отрицательное отношение правительственных органов к критике, поскольку она угрожала и изданиям правительственных учреждений (например Академии Наук).

Другой важнейшей проблемой, занимавшей журналистику, являлась проблема национальной литературы, тесно связанная с процессом усиления национального самосознания в русском обществе, вызванным наполеоновскими войнами. Под лозунгом патриотизма, как это бывало в XIX в. и позднее, выступали тогда, в сущности говоря, два совершенно различных направления. Существовал реакционный патриотизм Шишкова, С. Глинки, Растопчина и пр. и был патриотизм декабристов, Грибоедова, Пушкина. Первые боролись за сохранение крепостничества, самодержавия, ненавидели все прогрессивное и новое, вторые стремились к изменению общественного строя, мечтали о свободной России, ненавидели произвол и угнетение народа. Первые были на виду, они делали политику именем народа, укрепляли дворянскую империю, кичились тем, что «спасли» Россию, а вторые мужественно боролись за новую Россию и собирали силы, чтобы предъявить счет за страдания народа, обманутого правителями.

Все сказанное определило и содержание проблемы национальной литературы. Противников самобытности русской литературы в журналистике не было, но у сторонников ее было две противоположных тенденции, о которых говорилось выше. Борьба велась вокруг проблемы содержания и формы национальной литературы, имевшей принципиальное значение для дальнейшей истории литературы и критики. Она подготовила постановку вопроса о народности литературы, занявшего внимание литераторов в двадцатых и тридцатых годах XIX в.

Еще Шишков в знаменитом «Рассуждении о старом и новом слоге» основным своим тезисом выдвинул положение об опасностях для

«истинно-русского» духа, таящихся во влияниях революционного Запада. Тезис был справедливо воспринят как реакционный и вызвал протесты. Один из первых критиков Шишкова Макаров писал: «Неужели сочинитель, для удобнейшего восстановления старинного языка, хочет возвратить нас и к обычаям и к понятиям старинным?» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV). И далее: «Не хотим возвратиться к обычаям праотеческим, ибо находим, что, вопреки напрасным жалобам строгих людей, нравы становятся ежедневно лучше!». Шишков в ответе Макарову упрекает своего критика, а с ним вместе и всех своих противников, в отсутствии любви к родине. Он уличает их в том, что они ездят в каретах и «гнушаются телегою», их учение не рождает любви к «бессловесным вещам тех мест, где родились предки наши и мы сами». Еще более прямолинейно высказал он свои идеи в «Рассуждении о любви к отечеству». Здесь, обвиняя своих противников в недостатке патриотизма, призывая к борьбе с вольнодумством и пр., он предлагал следующие основные средства борьбы: 1) отечественная вера, 2) воспитание, 3) язык. «Рассуждение» читалось на заседании «Беседы» в присутствии многих представителей высшего общества Петербурга и было ими восторженно встречено. Оно полностью удовлетворяло «патриотизм» слушателей, о характере которого С. Т. Аксаков писал, что патриоты боролись «против иностранного направления — не подозревая, что охвачены им с ног до головы, что они не умеют даже думать по-русски».

Типичным представителем таких «патриотов» был граф Растопчин, автор ряда памфлетов, направленных против Наполеона. Например, в 1807 г. он выпустил брошюру «Мысли вслух на красном крыльце ефремовского помещика Силы Андреевича Богатырева». В этой брошюре, наделавшей много шума, Растопчин говорит устами некоего патриота-дворянина Богатырева, сохранившего истинный «русский дух». Богатырев решителен в своих суждениях: «во французской всякой голове ветреная мельница, гошпиталь и сумасшедший дом! На делах они плутишки, а на войне разбойники». Революцию Богатырев описывает так: «Вить что проклятые наделали в эти двадцать лет! Все истребили, пожгли и раззорили. Сперва стали умствовать, потом спорить, браниться, драться, ничего на месте не оставили! Закон попрали, начальство уничтожили, храмы осквернили, царя казнили, да какого царя — отца. Головы рубили как капусту, все повелевали; то тот, то другой злодей» и т. д.

Сочинения Растопчина были восторженно встречены русским дворянским обществом. С. Глинка, издатель патриотического журнала «Русский вестник», признал, что его натолкнули на издание именно выступления Растопчина.

События 1812 г. и последовавшие за ними походы способствовали в свою очередь оформлению и другого направления, подлинно-патриотического, заявившего о себе выступлениями Рылеева и других декабристов в изданиях начала 20-х годов.

Подъем журналистики, ее активность вызвали репрессии правительства. В 1810-х годах гнет цензуры усилился. Правительство чинило всякие препятствия возникновению новых изданий. Характерны такие эпизоды с журналами, показывающие отношение правительства к периодической печати. В 1819 г. А. А. Бестужев просил цензурный комитет разрешить ему издание литературного журнала «Зимцерла» (т. е. «Весна»). По представлению цензурного комитета, разрешение дано не было. То же повторилось, когда М. А. Бестужев просил разрешить ему издание «Санкт-Петербургского журнала». Интересны мотивировки запрещения. В одном случае цензура «не хотела быть виной

в издании небрежного журнала», так как автор в заявлении сделал несколько орфографических ошибок. В другом — она выступила с прямым, развернутым осуждением журналистики вообще. Цензурный комитет в своем представлении писал: «в неограниченном размножении журналов, издаваемых частными лицами, которые еще неизвестны полезными трудами, он не видит умножения надежных пособий к распространению истинного просвещения и образованию нравов; не видит сего главного предмета, коему должны отвечать назначенные к общественному употреблению — словом не видит здесь предмета, поставленного цензуре в первых статьях высочайшего утвержденного для нее устава». Член главного правления училищ и попечитель петербургского округа, тупой реакционер Рунич согласился с представлением цензурного комитета и вынес такое решение: «Невыгодное влияние, какое может иметь размножение журналов на распространение вкуса к чтению легкому, неосновательному, положило не давать дозволения на издание».

2. «Северный вестник» И. И. Мартынова

Одним из лучших журналов начала XIX в. был «Северный вестник» И. И. Мартынова. На фоне бесцветных и скучных литературных журналов столицы «Северный вестник» выгодно выделялся, продолжая серьезные традиции журналов Карамзина. Правда, он был связан с правительством, вернее либеральной политикой правительства первых лет царствования Александра I. Издатель, служивший в Министерстве народного просвещения, получал правительственную субсидию 3000 рублей в год. Естественно, что журнал был благонамеренным, что не мешало ему ожидать реформ в области просвещения, законодательства и проч.

Программа его весьма широка: в объявлении об издании перечислено 11 отделов («СПб. ведомости», 1803, № 85), которые охватывают различные стороны современной жизни, особенно просвещения. Литература играет скромную роль, зато критике отводится почетное место. Она касается не только художественных произведений, но и педагогических, философских, политических и практических изданий.

Вопреки объявлению, в котором говорилось, что «несколько любителей наук и словесности в 1804 году будут издавать журнал, под названием «Северный вестник», редактором и издателем был один Мартынов, человек весьма образованный, известный переводами из греческих авторов. Он издавал в 1798 г. журнал «Муза», а в 1804 г. написал текст цензурного закона, в духе которого и вел свой журнал. В журнале печатались члены Вольного общества Н. Ф. Остолопов, С. С. Бобров, Н. С. Арцыбашев, 18-летний Батюшков, сотрудничал в нем также Гнедич и др.

Журнал открывается статьей «Изображение просвещения россиян», в которой сочувственно излагаются основные положения манифеста 8 сентября 1802 г. Журнал провозглашает: «Вера, знания, нравственность, законы — сии принадлежности просвещения в руке монарха суть источники всех благ, всех благословений для человечества». Исходя из такого убеждения, автор намечает ближайшие цели журнала. Он пишет, что русский народ замечателен, но ему недостает: «1. Основанного на твердых правилах общественного воспитания. 2. Постановления непреложных начал законодательства, соединенного с начертанием нового уложения гражданских и уголовных законов, а особливо судопроизводства».

11 Зак. 4378. Очерки по истории журналистики.

Издателя больше всего интересуют внутренние дела; внешняя политика освещается скудно. Во внутренней политике его интересует особенно просвещение, но рядом с ним он ставит и целый ряд других не менее важных проблем. Так, он интересуется положением крестьян, хотя и избегает острой постановки вопроса о крепостничестве, так же как Карамзин.

В статьях о просвещении подчеркивается, что каждое сословие должно получать такое образование, какое соответствует его занятиям, жизненной практике. «Работнику, — писал «Северный вестник», — полезно только то, что производится силою рассудка, а нимало не то, что есть действие силы воображения, столь легко приводящей в заблуждение». Правда, автор допускает исключения из этого правила, когда блестящий разум рождается в низкой среде, и эта поправка к общему положению типична для Мартынова, придерживавшегося традиций умеренного просветительства. Пафос журнала, в соответствии со сказанным, заключается в борьбе с обскурантами, реакционерами, готовыми вообще запретить науку и литературу, видя в них причины революции. Отвечая им, Мартынов защищает просвещение и доказывает, что не оно причина «ужасов», что именно слабое развитие наук вызвало «крайности» революции. Печатая отрывки из трудов Песталоцци, журнал пропагандирует новое воспитание, протестует против формального, схоластического образования. Специальным подбором отрывков из сочинений передовых людей всех эпох от Тацита до Гольбаха журнал пропагандирует идеал государства, построенного на строгих основаниях «разумного законодательства».

Наиболее последовательно излагает журнал свои либеральные политические надежды в анонимной статье «О Великобритании» (ч. V), автором которой был Н. Н. Муравьев. В ней описывается государственный строй Англии, но главная цель автора статьи доказать неизбежность крупных государственных реформ в России. «Правлению, — пишет он, — надлежит принимать не робкие, но дальновидные и великодушные меры». Основным пороком русского общества он считает «не роскошь, рассеянность и легкомыслие» дворян; главное в том, что они чужды «народного честолюбия и славы». Автор статьи предлагает сделать дворянское звание наградою для лучших: для этого нужно «положить преграды пагубному для государства размножению дворян». Необходимо, — по его мнению, — увеличить среднее состояние людей. «Законы должны быть для всех состояний равны и непоколебимы». Особое, объединяющее значение в этом деле имеет государственный язык. Нужно «ободрить значущих литераторов и писателей для восстановления важности языка, с которым вместе восстановится важность народа».

Интересна также и «Речь шведского короля Густава II о вольности книгопечатания», появившаяся в переводе Мартынова. В ней превозносится свобода печати, как и свобода критики. Приводится интересный пример — неудачная война с Россией могла бы быть предотвращена, если бы имелась возможность сказать правду о войне и тем обуздать честолюбие Карла XII.

Политическая позиция «Северного вестника» может быть ясно выражена цитатой из напечатанного в нем сочинения Гольбаха: «Общества человеческие, подобно телам естественным, подвержены переменам... следственно, одни и те же законы не могут приличествовать им в сих различных обстоятельствах». Благо гражданских обществ, благо государств основывается на мудром законодательстве, без оного никакой народ, никакое государство не может быть благополучным.

В литературных боях «Северный вестник» выступил одним из первых против книги Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге». Автором критической статьи о ней считался Каченовский, но, повидимому, она принадлежит Д. И. Языкову. Статья написана в виде письма к редактору, в котором выражается удивление автора тем, что Шишков требует вернуться к церковно-славянскому языку и отказаться от новой литературы. Вместе с тем упреки Шишкова литераторам в подражательности признаются справедливыми. Автор критического письма осмеивает лингвистические домыслы Шишкова, показывающие его плохую осведомленность в науке о языке. Критик защищает развитие языка, доказывает, что языки подвержены изменениям и нет возможности приостановить их историю. Мартынов, помещая критику на книгу Шишкова, примкнул к новому направлению в литературе.

Первым авторитетом в критике журнал признает Карамзина, его «Московский журнал». Давая обзор рецензий этого издания, Мартынов делает такой вывод: «Так должно писать рецензии... с такой вежливостью, с такой скромностью». «Северный вестник» воскрешает критическую традицию сентиментальной журналистики, усваивая целый ряд ее принципов.

Как и другие журналисты того времени, Мартынов не избежал тех недостатков, которыми болела тогдашняя критика. Эклектизм, теоретическая беспомощность и бесплодный пуризм являются недостатком критического отдела его издания. Используя признанные авторитеты, Мартынов развивал известные положения классицизма, но вместе с тем стремился выправить их, приспособить к новому времени. Вообще же он считал, что к «правилам нужно относиться ни с рабским почтением, ни с гордым презрением». В статье, посвященной разбору трагедии Озерова «Эдип в Афинах», Бутырский, касаясь классических характеров, толкует древние правила Аристотеля весьма свободно. Он считает, что «здравый разум и здравая философия всегда должны иметь преимущество перед одним именем Аристотеля». Осуждая греческих и французских драматургов за сухость, критик высоко оценивает трагедию Озерова — эпоху в русском театре (ч. VII). Мартынов утверждает, что «природа неистощима. Гений, бог непрерывно сообщают ей новую жизнь».

Большой интерес представляет статья о пьесе Ильина «Рекрутский набор или великодушие». В начале статьи дана оценка: «Рекрутский набор есть произведение доброго сердца. Лиза была предшественницей сему сочинению». По поводу пьесы Ильина разгорелась дискуссия, в которой приняли участие, помимо «Северного вестника», еще «Патриот» и «Журнал Российской словесности». Причиной спора было утверждение рецензента «Патриота», что основным пороком пьесы является изображение в пьесе «людей последнего состояния». «Северный вестник», защищая народный сюжет, писал между прочим: «Выражение подлый язык, есть остаток несправедливости того времени, когда говорили и писали подлый народ; но, благодаря человеколюбию и законам, подлого народа и подлого языка нет у нас, а есть, как и у всех народов, подлые мысли и подлые дела» (ч. III).

В этом же плане нужно рассматривать и требование отечественных тем, с которым выступает сам Мартынов, противопоставляя их ненужным и вредным заимствованиям. «Художник, — заявляет он, — обязан знать отечественную историю». В «Письме к издателю» журнал сообщил народный анекдот о том, как простая девушка Катерина спасла дворянина. Автор письма предлагает писателям эту тему и заключает

свой рассказ словами: «Может быть, с большим удовольствием и большею пользою будут читать повесть вашу, нежели самоубийство какого-нибудь Вертера».

Выпад против Гете нужно понимать, как удар по новейшим сентименталистам, которые не вполне удовлетворяли издателя. В статье, направленной против критики «Нового Стерна» Шаховского, «Северный вестник» берет под свою защиту эту злую пародию на сентименталистов (ч. VIII). Рядом помещена статья о романе де Сталь «Дельфина», в которой осуждается чувствительность. Все перечисленные примеры использовались для доказательства антикарамзинского направления журнала Мартынова. Однако такой вывод неправилен. Критику излишней чувствительности можно найти и у самого Карамзина, и эту борьбу продолжали сторонники новой литературы. «Северный вестник» в духе новой традиции выступил против «Руссо-лжемудрого», «Вертера», «Дельфины», в целях борьбы с эпигонами чувствительности в русской литературе, с их банальностями и пошлостями. Критикуя известное «Путешествие» князя Шаликова, «Северный вестник» дает ему такую оценку: «Кн. Шаликов видел Малороссию глазами чувствительного путешественника, его картины мало питают душу, ищущую познания» (ч. V). Журнал подчеркивает бесплодность писаний запоздавших, но усердных сентименталистов. Однако считать его врагом сентиментализма нет оснований.

В заключение следует еще обратить внимание на следующие факты, характеризующие общую позицию журнала. В шестой части помещен ответ на рецензию, напечатанную в «Russische Miscellen», в которой идея «Марфы Посадницы» Карамзина толкуется весьма произвольно как любовь к вольности, к республике и утверждается, что повесть проникнута «республиканским духом». «Северный вестник» отвечает на это таким рассуждением: «эти грезы о республиках давно уже выгнаны из всех голов. У нас в России Марфа Посадница есть хорошая сказка, и больше ничего». Смысл ответа Мартынова очевиден. Либеральная ограниченность его воззрений сказалась в нем с полной ясностью.

С другой стороны Мартынов смело напечатал в одном из номеров своего журнала отрывок из запрещенного «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева под заголовком «Чувствительное путешествие. Из бумаг одного россиянина». В примечании издателя написано: «Читатели найдут в сем сочинении не чистоту русского языка, но чувствительные места. Издатели смеют надеяться, что тени усопшего автора первое будет прощено для последнего» (ч. V). Рядом с главою из произведения Радищева нужно упомянуть и отзыв об одной из лучших комедий XVIII в., впервые, после запрещения поставленной на сцене, о комедии Капниста «Ябеда». Рецензент приветствует это произведение, защищая его от нападок реакционеров. Он считает «Ябеду» «зеркалом, в котором увидят себя многие» (ч. IX).

Продолжением «Северного вестника» явился журнал «Лицей», издававшийся тем же И. И. Мартыновым. В последней книжке «Северного вестника» издатель писал о причинах прекращения журнала. Журнал имел мало подписчиков и не мог существовать без правительственной субсидии. «Лицей» должен был быть журналом более доступным и менее серьезным.

В результате, в новом издании Мартынов отошел от своих прежних позиций. Отдел внутренней жизни обеднел, расширен был отдел словесности, но эти мероприятия не обеспечили успеха, и журнал прекратил свое существование, не дав ничего значительного.

3. Журналы, связанные с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств

Рядом с «Северным вестником» стоят журналы, близкие к Вольному обществу: «Журнал Российской словесности» (1805), «Цветник» (1809—1810), «Санкт-Петербургский вестник» (1812). Общие черты, объединяющие их в единое направление, — защита просвещения и законности, прогрессивный характер основных идей и симпатии к новой литературе.

Наиболее близким к Вольному обществу и его радикальному крылу был «Журнал Российской словесности» Н. Брусилова. В объявлении об издании журнала («Санкт-Петербургские ведомости», 1804, № 80) говорилось, что «главный предмет оного есть Российская словесность». Издание было ежемесячное, продолжалось оно один год. Сотрудничали в нем члены Вольного общества: И. П. Пнин, А. П. Бенитцкий, А. Е. Измайлов, Н. Ф. Остолопов.

Журнал характерен своими противоречиями. Он напечатал ряд серьезных статей с защитой закрепощенного крестьянства («Письмо деревенского читателя о воспитании», ч. III) и рядом помещал легкомысленные стишки и повести. Интересен и издатель, который писал о себе: «Карамзин и Дмитриев издали свои „Безделки" ну как же мне отстать от них? и я издал безделки. Мало этого, написал „Бедную Машу" в подражание „Бедной Лизе", „Мое путешествие" в подражание де Метру и еще две или три повести в подражание не знаю уж кому».

Издатель журнала признает два авторитета: Карамзина и Пнина. Первый объявляется «любимейшим писателем»; в качестве хорошего журнала всегда указывается «Московский журнал». «Карамзин сделал славнейшую эпоху нашей словесности», — утверждает издатель. Не менее восторженно относится он и к Пнину. В журнале печатались гражданские стихи И. Пнина, например: «На правосудие», «Человеку», «Царь и придворный», и также его сочинения в прозе, например, «Сочинитель и цензор». Журнал активно реагирует на смерть Пнина, печатая специальную статью: «О Пнине и его сочинениях», в которой поэт охарактеризован как «защитник угнетенных, утешитель несчастных». Кроме того, Брусилов печатает большое количество стихотворных откликов на смерть Пнина: Остолопова, Измайлова и др. В этих стихотворениях подчеркнут политический радикализм Пнина.

Интересно отметить, что в рецензии на комедию Шаховского «Новый Стерн» журнал выступил как решительный защитник сентиментализма, чем и вызвал оппозицию «Северного вестника». Автор статьи протестует против опорочивания сентиментализма, он защищает чувствительность новых писателей, их своеобразный стиль. Осуждает он и насмешки комедии над «неравным» браком, приводя в пример Петра I, женившегося на простой девушке.

Нужно отметить еще статью «О театре», в которой решаются те же вопросы, что и в статье «Северного вестника» по поводу драмы Ильина, но с иной точки зрения. Автор статьи в «Журнале Российской словесности» протестует против народных тем. Театр «неинтересен тем, что показывает полудворян, невежд и грубость изысканному обществу». Такие пьесы не исправляют нравы, а это задача театра. Поэтому автор считает, что должно быть два театра: один — для народа, другой — для «просвещенной публики». В первом должны показываться порок и добродетель «в низком состоянии», а во втором «критика общества» («Письмо приятелю о русском театре»). Выводы статьи

показательны в своей противоречивости: с одной стороны, автор руководствуется стремлением сделать театр общественной силой, но, с другой стороны, отделяя народный театр от театра «образованного» общества, он обедняет и тот и другой. Против этого и протестовал «Северный вестник».

К прогрессивному лагерю журналистики принадлежит и журнал А. Е. Измайлова «Цветник», издававшийся в Петербурге в 1809 и 1810 гг. Первый год журнал выходил под редакцией Измайлова и А. П. Бенитцкого (молодого литератора, умершего в 1809 г. двадцати трех лет от роду), после смерти последнего в редактировании принимал участие П. А. Никольский, молодой талантливый литератор.

Журнал был тесно связан с Вольным обществом и являлся почти официальным изданием общества. Сотрудниками журнала были члены общества Востоков, Батюшков, Остолопов. Кроме них печатали свои произведения Державин («Геба», «Русским грациям»), Крылов (басни: «Крестьянин и смерть», «Человек», «Хозяин и кошка»), Н. И. Гнедич, М. В. Милонов, Д. И. Языков и др.

Стихи составляли первый отдел журнала, далее шли беллетристика, научный отдел, смесь и «Российские книги» — отдел рецензий. В некоторых частях издания имеется театральный отдел.

Первые два отдела не были в журнале основными; при пестроте стихотворного отдела, он не претендовал на самостоятельное значение, так же как и беллетристический, в котором главную роль играли «восточные» повести Бенитцкого, а также проза Измайлова. (Остальные произведения были переводными: из 53 повестей лишь 13 оригинальных). В научном отделе печатались главным образом переводы из писателей, особенно интересовавших «Вольное общество» — Мабли, Рейналя, Монтескье, Беккариа, Гельвеция, Филанджиери и др. Из политических статей следует указать: «Отрывок из примечаний Мабли к истории Франции», статью о Мирабо, «Две причины гибели Рима» из книги Монтескье «О существе законов». Особенно интересны три разговора в царстве мертвых: Тита Ливия с Аннибалом, королевы Христины Шведской с Декартом и Реале с Эпикуром, Сенекой и Людовиком Великим. Эти разговоры в загробном мире дают возможность автору замаскированно высказаться по современным злободневным вопросам — об империи Наполеона, роли правителей в жизни народа, отношениях философа и монарха, задачах просвещенного монарха. «Просвещать народ помаленьку, — и монарх прославится просвещением» — такую несложную мудрость проповедует журнал. Злободневное значение имеет сатирическая статья «Так и так или разговор Дмитрия Ивановича с Трофимом Антоновичем». В ней осмеивается распространенное пренебрежение к поповичам, семинаристам, проникающим на государственную службу, тема очень острая в связи с возвышением Сперанского. Кроме того, в статье есть выпады и против крепостничества.

Однако лицо журнала определял в первую очередь критический отдел, и особый интерес представляет литературная позиция журнала. В журнале за 1809 г. напечатано 23 рецензии, из которых 12 написано Бенитцким.

На общем фоне поверхностной и мелочной критики статьи и рецензии «Цветника», особенно Бенитцкого, отличаются содержательностью и явным стремлением дать оценку произведению по существу.

«Цветник», разделяя общую судьбу критических журналов того времени, эклектичен. Он не может еще решительно порвать со старыми традициями, но в то же время сочувствует новому. В результате лите-

ратурная позиция журнала отличается стремлением к «золотой середине». Журнал печатает ряд статей по эстетическим вопросам, явно тяготеющих к новому пониманию искусства, например перевод из Шиллера — «Мысли об употреблении в искусстве обыкновенного и низкого». Основная идея статьи — все темы могут быть доступны искусству. Интересна статья «О воображении», в которой признается положительная роль воображения, тогда как раньше оно считалось причиной заблуждений и пороков. Вместе с тем в статье о «Правилах театра» воскрешается классическая теория о трех «штилях». В рецензии на «Электру», трагедию Грузинцева, журнал сожалеет о том, что автор не соблюдает единства места и времени. Решительно выступает «Цветник» против чувствительности. В нем напечатана пародия на сентиментальную повесть: «Похвальное слово Пипиньке — чижику прекрасной Эльмины» (ч. III). В одной из первых критических статей Беницкий пишет: «Модные наши сочинители проливают надо всякой безделкою горючие, жаркие, бриллиантовые слезы и принуждают здравомыслящих читателей или смеяться или зевать. Вся их чувствительность заключается в известных словах, которые от частого и неуместного употребления сделались почти отвратительны. Стыдно авторам походить на попугаев и твердить без мыслей одни слова». То же осуждение сентиментальности находим в «Сатирических разговорах», в которых высмеиваются «слезы», «вздохи» и другие модные средства изобразительности.

Отношение журнала к Карамзину и его школе видно из статьи неизвестного автора «Мнения и замечания пустынника». В ней рассказывается о людях, тонущих в топком болоте, и о том, как одному из них удалось вырваться на сушу, а при его помощи удалось спастись и другим. Но когда все были уже на берегу и радовались теплому солнцу, один из спасенных бросился обратно в болото и ни за что не хотел выйти оттуда, как его ни упрашивали. В этой аллегорической сцене бросившийся в болото — это «Русский вестник», оставшийся на берегу соболезнователь — «Аглая», болото — старая архаическая литература, первый человек, вышедший на сухую землю — Карамзин.

В той же статье встречаем такой вопрос: «Сколько у нас есть писателей?». Ответ — «Двое: Фонвизин и Карамзин». Там же находим «объективное» изложение спора между Шишковым и карамзинистами. О сторонниках первого говорится следующим образом: «Зато семинаристы, школьники — понесли околесицу. Одни получили достодолжное воздаяние, других надобно так же проучить».

Хотя журнал стремился к нейтральной позиции (так он поместил «трезвую» статью о Стерне, указывающую его недостатки), очевидно, что больше симпатий у него к новому направлению в литературе. Он печатает статью о Шекспире, в которой дает ему такую характеристику: «Шекспир хотел показать человека таким, каков он есть на самом деле, и кто мог лучше Шекспира описать рождение и исступление страстей? Все действующие лица его списаны с натуры; каждое имеет свою собственную физиономию, свой собственный характер. Вот почему произошли неровности в слоге, столь осуждаемые, и которые творец английского театра почитал, без сомнения нужными для совершенства картин своих».

Против сторонников классицизма и «старого слога» направлена и помещенная в «Цветнике» эпиграмма «Рыцарь нашего века»:

О хлеб-соль русская! О прадед Филарет!
О милые остатки,

Упрямство дедушки! и ферези прабабки!
Без вас спасенья нет!
А вы, а вы забыты нами! —
Вчера горланил Фирс с гостями,
И сидя у меня за лакомым столом
На нравы прогневясь, как **истый** витязь русский,
Съел соус, съел другой, а там сальмис французский,
А там шампанского хлебнул с бутылку он,
А там — подвинул стул и... сел играть в бостон.

«Цветник» напечатал статью Дашкова против «Двух переводов из Лагарпа» Шишкова, первую обстоятельную критику его теорий. Дашков пытался сохранить осторожность, критика его была рассчитана на понимание и признание оппонентов, но ожидания его не оправдались. Шишков резко ответил, и Дашкову пришлось оставить объективистскую позицию. Вместе с Никольским он во втором году издания решительнее чем раньше стал выступать против шишковистов.

Порочность объективистской позиции «Цветника» отчетливо сказалась и в статье об издававшемся в 1806—1811 гг. собрании сочинений А. Н. Радищева. «Позволительно все писать, — поучает критик, — но не позволительно все печатать, так как всякий может все думать, но не все говорить». Особенно осуждалась «вздорная сказка о Бове». Осуждалось вообще стихотворство Радищева. Критик отказывает ему в приятности слога. Память о человеке, отдавшем свою жизнь за народ, оскверняется педантическим объективизмом ученого критика. А рядом — восторженные статьи о Дмитриеве, о поэте-министре.

Ни архаический классицизм, ни крайности сентименталистов «Цветник» не устраивают, он ищет какого-то синтеза. Однако идеал строится им не на основательном фундаменте, а на принципе «золотой середины», который часто заводит издателей в тупик. В политической программе журнал так же непоследователен, как и в литературной. Это связано с тем процессом поправения, который характеризовал Вольное общество в 1808—1809 гг. Важно отметить, что журнал выдвинул первых почти профессиональных критиков — Бенитцкого и Никольского, этих «борцов-нововводителей», по словам современника.

Вслед за «Цветником» А. Е. Измайлов издавал в 1812 г. «**Санкт-Петербургский вестник**». Журнал также был связан с деятелями «Вольного общества», которые весьма активно участвовали в нем, особенно Д. В. Дашков, открывший журнал специальной статьей, посвященной задачам журналистики («Нечто о журналах»). В этой статье подчеркивается роль критики: «Журналы должны воспитывать писателей». В журнале сотрудничали, кроме Дашкова и Измайлова, Греч, Востоков, Никольский, Милонов, В. Л. Пушкин и др. Война прервала издание журнала в ноябре 1812 года.

В «Санкт-Петербургском вестнике» — три основных отдела: 1. Наука. 2. Словесность и 3. Критика. В первом отделе продолжается та линия, которая проводилась в «Северном вестнике» и «Цветнике». Политические вопросы ставятся робко. Так, в переводной статье Вильсона «Краткие замечания о свойстве и составе русской армии» защищается или вернее оправдывается российский деспотизм, крепостничество. Поправение журнала несомненно связано с изменениями, происшедшими в Вольном обществе.

Более значительным был критический отдел, в котором печатались статьи Дашкова и Никольского. Журнал выступает против мистика Эккартегаузена, как и против Шеллинга (разбор книги Велланского «Биологическое исследование природы»).

Критическая позиция журнала весьма неопределенна. На его страницах разобрано 38 книг различного содержания, но развернутых статей по теоретическим вопросам, не считая предисловия Дашкова, почти нет. По существу он приближается к типу критико-библиографических изданий, являясь пожалуй первым из них в XIX в.

Из сказанного выше видно, какое серьезное значение имело «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» в истории журналистики 1800—1810 годов. Наиболее прогрессивные журналы имели своими сотрудниками членов этого общества, их участие часто определяло идейно-политическое и литературно-художественное лицо издания. Так было с «Северным вестником», помимо всего прочего регулярно печатавшим сообщения о деятельности общества, так было и с «Цветником» и с «Санкт-Петербургским вестником», с «Журналом Российской словесности». Само Вольное общество издало два томика альманаха «Свиток муз» и одну часть «Периодического издания Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Первые вышли в 1802 и 1803 гг., а второе — в 1804 г.

«Свиток муз» — сборник стихотворных произведений членов общества: Востокова, В. И. Красовского, М. К. Михайлова, Борна, Попугаева и других. Он имел, по словам А. Е. Измайлова, большой успех. Стихи, напечатанные в «Свитке муз», показывали стремление поэтов «Вольного общества» обосновать новое поэтическое направление, отличающееся большей серьезностью, гражданственностью. В альманахе напечатано стихотворение Борна «На смерть Радищева».

В том же духе было задумано «Периодическое издание». Оно должно было иметь более серьезный характер; в нем большое место занимает проза. Главную роль в прозаическом отделе играют политические и педагогические статьи, а также история общества, написанная Попугаевым, под редакцией которого и вышла книга. Стихи принадлежат Востокову, Н. Радищеву, А. Измайлову и др. Книжка была издана с большим количеством опечаток и других погрешностей. Это дало повод к критике издания внутри общества и привело к ожесточенной борьбе вокруг основных вопросов программы и направления деятельности общества. Д. И. Языков и Н. А. Радищев резко выступили против издания, особено резко критиковали они «Историю общества», которая, как они писали, «составлена совершенно непристойным образом». Осуждалась радикальная линия, осуществляемая Борном, Попугаевым и некоторыми другими членами общества. Критики требовали, в конечном счете, отказа от прежней программы, от прежних авторитетов, требовали лояльной политики. В результате «Периодическое издание» постановлено было переиздать, а старое уничтожить. Но все попытки продолжить издание были безуспешны; примирить противоречия не удавалось. Члены общества должны были перейти в чужие издания, благодаря чему русская журналистика получила сильный отряд журналистов и писателей более или менее прогрессивного направления.

4. Журналы сентиментального направления

Журналисты либерального направления не достигли единства в целом ряде вопросов политической и литературной жизни, но они и не могли достигнуть его. Следует особо выделить одну общую тенденцию, а именно отрицание крайностей сентиментальной школы. С критикой ее выступил, как известно, сам Карамзин. Теперь все либеральные жур-

налисты, не только «радищевцы», осмеивают те издания, которые сохраняют устаревшие черты чрезмерной чувствительности. Таких эпигонских журналов было много: «Московский Меркурий», «Журнал для милых», «Северный Меркурий», «Аглая» и другие.

Все перечисленные издания постоянно являлись мишенью для разного рода насмешек, пародий, эпиграмм и пр. Однако некоторые из них имеют специальный интерес для историка журналистики, например «Московский Меркурий» (1803), издававшийся в Москве П. И. Макаровым. Уже в объявлении об издании в «Московских ведомостях» (1802, №№ 86 и 88) в качестве основного отдела была указана критика или «беспристрастное рассмотрение всех новых российских сочинений и переводов». Далее был обещан научный отдел и стихи. Журнал выходил ежемесячно. В предисловии к первому номеру издатель указывает, что он приготовился к страшной войне, которой грозит ему «уязвленная гордость». Далее выясняется, что Макаров — поклонник Карамзина и его страстный подражатель. Журнал он посвящает женщинам. «Вам, любезные читательницы, желаем предпочтительнее угодить; ваше только одобрение назовем венцом и счастьем своим». Для читательниц издаются и «моды с картинками».

Однако преклонение перед «милыми» не помешало Макарову сделать свой журнал боевым в области критики. Как и было им объявлено, она занимает в издании основное место (свыше 50 рецензий). Макаров выступил против книги Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге», напечатал большую статью о И. И. Дмитриеве и других.

Имея в виду своих «любезных читательниц» Макаров печатал в журнале переводные повести, которые должны были удовлетворить их любознательность.

В том же сентиментальном духе издавался журнал М. Н. Макарова «Журнал для милых». В нем то же поклонение перед дамами и та же чувствительность, приобретавшая иногда явно эротический характер. Эти «шалости» вызывали резкий протест современных журналов. Мало отличался от «Журнала для милых» «Московский зритель» (1806), издававшийся князем Шаликовым. Тот же чувствительный тон, только соединенный с казенным псевдо-патриотизмом.

Второй журнал князя Шаликова «Аглая» выходил с 1808 по 1812 г. в Москве. Основа журнала — культ Карамзина. Преклоняясь перед его литературным авторитетом, журнал выступает за аполитичность в литературе. Вот его идеал: «Тот, который говорит языком сердца, страшится иметь в себе все слишком педантическое; словом: я не люблю совсем политики, а педантство ненавижу» (ч. XI).

Сентиментальные журналы начала XIX в. явно обнаруживают эпигонский характер и бесплодность своего направления. Воспевание «милых», отказ от политики, неестественная чувствительность — вот тот итог, к которому пришла «школа» Карамзина.

5. «Вестник Европы»

Колеблющуюся позицию занял в развернувшейся журнальной борьбе «Вестник Европы», переходивший первое время из рук в руки, пока не закрепился окончательно за М. Т. Каченовским, профессором Московского университета. После ухода Карамзина, журнал издавался под редакцией П. П. Сумарокова (1804); с 1805 по 1807 г. его издавал Каченовский; в 1808 г. — В. А. Жуковский; в 1809—1810 гг. — Жуковский и Каченовский; с 1811 по 1813 г. — опять Каченовский; в 1814 г. —

В. В. Измайлов и с 1815 до конца (т. е. до 1830 г.) — Каченовский. Эти перемены не могли не отразиться на направлении журнала. Боевой тон Карамзина исчезает из «Вестника Европы» после 1803 г. Журнал становится академическим изданием, осторожно лавирующим среди борющихся группировок, стремясь к спокойной и все более реакционной позиции.

П. П. Сумароков, редактировавший журнал в 1804 г., принадлежал к карамзинистам и издавал его при самом ближайшем участии кн. Шаликова. Произведения этого сентиментальнейшего поэта наполняют журнал. Кроме многочисленных стихов, он печатает здесь «Новое путешествие в Малороссию». Журнал отказался от политики и являлся исключительно литературным изданием. В нем печаталось много переводов из новейшей сентиментальной европейской литературы: произведения Жанлис, Дюкре-Дюмениля, Авг. Лафонтена. Былой карамзинской принципиальности и выдержанности в «Вестнике Европы» нет.

Но уже в следующем году под руководством Каченовского он приобретает новое направление. Он наполняется историческими работами. В статьях, откликающихся на события внутренней жизни, все чаще и чаще появляются предупреждения об опасности новшеств. В одной из своих статей «О книжной цензуре в России» (1805, № 3) Каченовский приветствовал цензуру. «Спасительные узаконения, — писал он, — которыми нимало не стесняется свобода мыслить и писать и которыя суть не что иное, как только необходимые меры, принятые против злоупотреблений сей свободы».

В 1807 г. в «Вестнике Европы» было напечатано «Письмо из города NN в столицу», в котором высказывалось сочувствие Шишкову. В этот момент устанавливается блок «Вестника Европы» с шишковистами. В дальнейшем связи еще более усиливаются, перерастают в единство направления. И вместе с тем журнал привлекал новые силы, в нем принимали участие поэты различных направлений: Жуковский, Востоков, С. Глинка, Мерзляков, Воейков, Батюшков, В. Л. Пушкин, а из «стариков»: Державин, Херасков, Дмитриев. В «Вестнике Европы» сотрудничали также известные русские ученые: Калайдович, Евгений Болховитинов, Брусилов и другие.

В 1808 г. журнал издавался одним Жуковским, который пытался поднять литературный престиж издания. Но один он вести журнал не мог и в следующем году стал редактировать его совместно с Каченовским. С 1808 по 1811 журнал переживал заметный подъем, и в его истории эти годы были лучшими. Один лишь Жуковский напечатал в нем 14 оригинальных статей, две повести, 20 стихотворений, 40 переводов. Среди них «Людмила», «Кассандра», «Марьина роща», «Громобой». Издатель привлек к сотрудничеству Батюшкова, Остолопова, Гнедича, Д. Давыдова, В. С. Филимонова, Вяземского, А. Мещевского. В это время «Вестнику Европы» удалось объединить лучшие литературные силы. Активно сотрудничал в журнале и Каченовский, написавший много статей исторических, литературных и пр. Политика не считалась важным и необходимым отделом журнала, она признавалась редакцией интересной лишь для узкого круга любителей, и единственно, что допускалось, это антифранцузская пропаганда.

Противоречивые тенденции не могли долго существовать рядом. Каченовский постепенно оттеснил Жуковского от руководства журналом и придал особое направление своему изданию. Были добавлены отделы— «Науки» и «Критика». Усилилось сотрудничество ученых. Активность Жуковского идет на убыль, а вместе с тем журнал покидают и другие

писатели его круга. К 1815 г. весь старый состав сотрудников ушел из журнала. Журнал становится сухим, педантичным ученым изданием. Сначала среди научных статей преобладали исторические и археологические, потом большее внимание уделялось статьям по политической экономии.

Следует отметить, что здесь, в «Вестнике Европы», напечатали свои первые произведения А. С. Пушкин (1814), Дельвиг, Грибоедов.

При всем том журнал все более и более делался опорой литературных «староверов». Эту роль цитадели «староверов» он играл и в схватках с романтизмом в 1820-х годах, печатая самые непримиримые статьи против Пушкина, Грибоедова, Жуковского, Вяземского.

6. Реакционная журналистика

«Вестник Европы» пришел в лагерь «охранителей» после длительного периода колебаний и внутренней борьбы, исход которой был обусловлен и тем, что к тому времени сложился реакционный фронт журналистики. Сам Шишков, ранее недовольный журналистикой, как французской модой, с 1811 г. становится во главе журнала «Чтения в Беседе любителей русского слова». Открыл историю реакционной журналистики XIX в. С. Н. Глинка изданием «Русского вестника» (с 1808 г.). Предшественниками «Русского вестника» могут считаться масонские журналы — «Друг юношества» Невзорова и «Сионский вестник» Лабзина, а также литературные журналы, ориентировавшиеся на старые эстетические каноны — «Корифей», «Друг просвещения» и другие.

Перечисленные издания весьма различны и по характеру материала, и по качеству его, но объединяет их прежде всего неприязнь к передовым идеям новой литературы, борьба с новым слогом в русской литературе. Все они, а особенно те, которые были изданы около 1812 г., умело использовали создавшуюся обстановку для усиления своего авторитета, приняв тон ярого патриотизма и сделав своей специальностью политическую демагогию охранительного характера.

Естественно, что первые (хронологически) издания подобного рода сосредоточивали свою деятельность вокруг языковых и литературных проблем. В этом плане особенно интересен «К о р и ф е й и л и к л ю ч л и т е р а т у р ы» (1802—1807), издававшийся Я. Галинковским. Издатель сразу же предупреждает, «что его книги не рассчитаны на новых последователей модного вкуса», под которыми нужно понимать карамзинистов. Задача журнала — дать «начальное руководство или основы всеобщей литературы». В соответствии с этим каждая книга, посвященная какой-либо из муз, содержит в себе изложение правил и эстетических принципов, заимствованных из Лагарпа и других западных авторитетов позднего классицизма. Это стремление к нормативности явно направлено против принципов свободного искусства, пропагандировавшегося «Московским журналом» и его преемниками. Ясно, что для живого дела литературы такой журнал не давал ничего и не имел успеха; он мог существовать только на субсидию правительства. Журнал служил мишенью для сатирических нападок, а Карамзин даже обиделся на то, что правительство помогает таким незначащим изданиям.

Типичным журналом реакционного направления является «Д р у г п р о с в е щ е н и я». Журнал этот, издававшийся три года, с 1804 по 1806 г., являлся органом небольшой группы писателей, объединенных любопытным обстоятельством. Издатели журнала, гр. Д. И. Хвостов, П. И. Кутузов и Г. С. Салтыков, принадлежали к числу бездарных

стихоплетов и получали в редакциях постоянные отказы на предложения напечатать их произведения; объединившись, они стали издавать собственный журнал, в котором беспрепятственно могли печатать свои произведения. По существу стихотворный отдел журнала составлен из взаимных посланий издателей, в которых расточаются похвалы творчеству друг друга. Журнал высказывался против критики — она, мол, «губит дарования и пользы не приносит». Направление его антикарамзинистское; важно отметить при этом, что литературный спор он переводит в политический, Так, кн. Е. Р. Дашкова выступила на страницах «Друга просвещения» с решительными возражениями против статьи в «Северном вестнике», призывавшей помещиков к использованию свободного труда. Один из издателей и автор многочисленных стихов П. И. Кутузов был автором известных доносов на Карамзина, в которых он требовал «запереть его без суда и следствия».

К реакционному направлению примыкали и религиозно-мистические журналы «Друг юношества» М. Н. Невзорова и «Сионский вестник» А. Ф. Лабзина.

Главная задача «Друга юношества» (1807—1815), как и «Сионского вестника» (1806 и 1817—1818), — воспитание и «благотворение». Идеология их определяется формулой «любовь к богу, царю и отечеству». Журналы масонов не пользовались успехом. «Друг юношества» раздавался большею частью бесплатно; количество подписчиков не достигало 100. Издатели ненавидели Вольтера, который приравнивается ими к Ваньке Каину. Шиллер объявляется человеком с развращенным умом. Достается и Гете, особенно за Вертера. Об издателях этих журналов ходило в публике того времени множество различных анекдотов, показывающих, что молодое поколение отвернулось от них. Сам Невзоров писал, что «одна девица, прочитав журнал, решила, что издатель немолодых лет и несчастлив в любви». «Юноши, — признается издатель, — заявили, что журнал годен для стариков, а старикам нынче не век».

Более серьезное значение имели главные журналы охранительного направления — «Русский вестник» и «Чтения в Беседе...». «Русский вестник» С. Н. Глинки (1808—1820) был создан в связи с обострением отношений правящих кругов русского дворянства с Наполеоном.

Глинка со своим журналом явился представителем официально-«патриотического» движения. Целью журнала являлось «возбуждение народного духа». Задуманную цель Глинка осуществил при поддержке Растопчина. Журнал одобрял и Аракчеев. Журнал нашел поддерживавшего его читателя. Показательно распределение подписчиков: в Москве — 279, в Петербурге — 10, в провинции — 440. Совершенно очевидно, что журнал пользовался популярностью у провинциального дворянского читателя.

Политическим идеалом «Русского вестника» является феодальная монархия, патриотизм журнала — квасной патриотизм. По мнению С. Глинки, дьяк Зотов как мыслитель равен и Локку, и Руссо, и Кондильяку; Симеон Полоцкий — Сократу, Платону, Цицерону, Декарту, Босюэту, Вольтеру, Дидро вместе взятым. Даже Гомер имеет в России «совместника» — Кострова. Все это сближало Глинку не только с Растопчиным, но и с Шишковым. Реакционное толкование патриотизма вызывало протест у других журналов того времени. Батюшков осмеял С. Глинку в «Видении на берегах Леты».

«Чтения в Беседе любителей русского слова», издававшиеся под руководством А. Шишкова, имели явно выраженное охранительное направление. Официально задача издания, как и обще-

ства, была сформулирована очень туманно и, нужно сказать, безобидно: воспитать культуру чтения и обращать внимание на яркие и истинные таланты. На деле же издание, как и общество, боролось с «вольнодумством», с революцией, с передовой философией, с новым просвещением и новой литературой. Речь Шишкова при открытии общества и его же «Рассуждение о любви к отечеству» не оставляют никаких сомнений на этот счет. Являясь органом «Беседы», «Чтения» помещают стихи, речи, переводы членов общества: гр. А. И. Мусин-Пушкина, кн. Долгорукова, кн. Д. П. Горчакова, Г. Р. Державина, С. Н. Глинки, Ф. П. Ключарева, П. С. Львова, А. С. Шишкова, А. С. Хвостова и др. Журнал распространялся в основном внутри общества и материального успеха не имел.

Помимо литературных журналов следует отметить общие издания, сыгравшие известную роль в общественной жизни в первые десятилетия XIX века. Так, интересен журнал-газета «Гений времен» (1807—1809), издававшийся сначала Ф. Шредером и И. Делакруа, а в последние два года Н. Гречем, и отличавшийся тогда некоторым либерализмом. Особенно интересна судьба «Духа журналов» Г. М. Яценко (1815—1820), по отзывам современников, наиболее серьезного издания того времени, погибшего под ударами цензуры. Издатель задумал говорить в своем журнале о политических вопросах. Он видел свою задачу в том, чтобы «извлекать самое лучшее из современной журналистики» и, следуя этому заданию, стал обсуждать вопросы русской жизни. Это дало повод к репрессиям. Особенно недовольно было правительство попытками «Духа журналов» говорить о крепостном праве, и Яценко получил приказ закрыть свой журнал. Из специальных журналов следует отметить «Патриота», педагогическое издание В. Измайлова (1804). Горячий последователь Руссо, редактор популяризировал его педагогические взгляды, а также учение Песталоцци. Восторженно относился издатель к Карамзину.

Итак, начало века отмечено размежеванием политических и литературных течений. Устанавливаются журнальные направления и остро чувствуется потребность теоретического осмысления нового положения в литературе. Усиливается значение критики. Выдвигается на первый план вопрос о национальной самобытной литературе, т. е. ставится проблема народности литературы. Разрешить все эти проблемы журналистика двух первых десятилетий XIX в. не смогла, но она их поставила и наметила пути для их развития и решения.

7. Отечественная война 1812 года и русская журналистика

Патриотический подъем, охвативший все слои населения России в 1812 году, отразился в русской журналистике военных лет. Число изданий не увеличилось — вновь был создан только журнал «Сын отечества», но в содержании всех выходивших главенствующее значение получила тема защиты отечества от иноземных захватчиков.

Но понимание патриотизма в различных журналах было различным.

Журнал С. Н. Глинки «Русский вестник» в соответствии со своей реакционной позицией старался использовать патриотический подъем народа во время войны для восхваления самодержавия и крепостничества. В своей пропаганде патриотизма, в нападениях на низкопоклонство дворянского общества, на французские моды и обычаи, в заметках

о военных событиях и рассказах о мужестве и храбрости русских воинов журнал Глинки если и отражал патриотическое движение русского народа против французских завоевателей, то отражал в кривом зеркале. Враждебно относясь ко всему иностранному, Глинка идеализировал допетровскую Русь и призывал вернуться к феодальной старине. Рассказывая об отваге русских воинов на полях сражений, Глинка представлял русских крестьян смиренными и покорными детьми своих «отцов-помещиков» и всемерно защищал крепостное право.

Созданный в 1812 г. журнал «Сын отечества» был в противоположность «Русскому вестнику» прогрессивным органом печати. Первым издателем его был Н. И. Греч, в ту пору еще далекий от связи с реакционными кругами. Программой «Сына отечества» явилась статья А. П. Куницына, профессора Царскосельского лицея, «Послание к русским», помещенная в № 5 за 1812 г. Автор выдвигает на первый план освободительное гражданское значение войны с Наполеоном. Он призывает соотечественников сохранить «единую только свободу и все бедствия прекратятся», приводит исторические примеры дружного сопротивления народов, успешно боровшихся с попытками наложить на них иностранное иго.

Примечательна терминология статьи, употребление в ней слов «сограждане», «свободное отечество», необычных для тогдашней подцензурной печати. Несомненно, что в таких выражениях излагал Куницын свой курс политических наук в Лицее, где его слушателем был юноша Пушкин. Декабристское понимание патриотизма связано с подобной трактовкой «свободного отечества», для создания которого декабристам необходимо было сокрушить основы самодержавного режима и уничтожить его руководителей.

Стихи, статьи и заметки «Сына отечества» за 1812 г. были проникнуты глубоким патриотизмом. В журнале велся отдел «Смесь», где помещались известия о подвигах русских воинов на полях сражений, говорилось о самоотверженном ратном труде не только офицеров, но и рядовых солдат.

Огромное патриотическое значение имели басни Крылова, печатавшиеся в 1812 г. в журнале «Сын отечества»: «Волк на псарне», «Ворона и курица», «Обоз». Вместе с баснями, опубликованными в других изданиях 1812 г. («Беседы любителей русского слова»), они свидетельствуют о высоком патриотическом вдохновении, охватившем славного баснописца. Крылов в своих баснях прежде всего утверждает авторитет выдающегося русского полководца Кутузова, прославляет его как народного вождя и борется с его завистливыми противниками. Басни Крылова, являвшиеся откликами на злободневные события, придавали неоценимую оперативность номерам журнала, заучивались наизусть офицерами и солдатами. «В необычайный год и под пером баснописца нашего Крылова живые басни превращались в живую историю», — говорил С. Н. Глинка, первый ратник Московского ополчения.

Войне с Наполеоном помогал и карандаш художника. 1812 г. приносит расцвет политической карикатуры, остро высмеивающей кичливых захватчиков. Карикатуры печатались в «Сыне отечества», затем размножались в виде отдельных оттисков или соединялись в альбомы. Крупнейший вклад в создание патриотической карикатуры принадлежит великому художнику-реалисту А. Г. Венецианову. Альбом его, сатирически показавший неосновательные претензии Наполеона на мировое господство, был перед войной запрещен к изданию вследствие протеста французского посла в Петербурге. В 1812 г. Венецианову никто не мешал, и он

создал ряд замечательно острых карикатур на Наполеона. Вместе с тем художник закрепил в рисунке фигуры русских людей, воевавших против захватчиков — ратника Ивана Гвоздилы и крестьянина Долбилы.

Много карикатур и лубочных картинок, посвященных теме войны с Наполеоном, принадлежит художникам И. Теребеневу, А. Иванову и другим.

Вызвав патриотический подъем в России, Отечественная война 1812 года способствовала и развитию глубокого интереса в русском обществе к общественным вопросам. Пламенная любовь к отечеству, естественно, органически начинает сливаться у передовой интеллигенции с вольнолюбивыми чувствами, со стремлениями освободить спасителя России и Европы — героический русский народ — от ига деспотизма и гнета крепостничества. Идея патриотизма соединяется у лучших людей страны с идеей свободы. После войны возникают в России тайные революционные общества, получает развитие движение декабристов, вместе с ним и декабристская журналистика.

ГЛАВА VII

„Вестник Европы"

1. «Вестник Европы» при Карамзине

«Вестник Европы» прожил долгий век и испытал сложную судьбу. За двадцать девять лет его существования произошли значительнейшие сдвиги в политической и культурной истории России; памятником этих сдвигов и стал самый долголетний из всех русских журналов первой четверти XIX в. Он возник в тот исторический момент, когда большинство русского культурного дворянства было окрылено надеждами (как оказалось, преждевременными) — после расправы со «вторым тираном за девять веков» — Павлом: «в домах, на улицах люди плакали от радости, обнимая друг друга как в день светлого воскресения».

Эти же выражения встречаются немного позже у Н. М. Карамзина, первого «издателя» (на современном языке — редактора) «Вестника Европы». Фактическая инициатива издания журнала принадлежала арендаторам Московской университетской типографии и в первую очередь Ив. Вас. Попову, образованному купцу и книгопродавцу, который «упросил Карамзина, жившего в то время в Москве, составить программу совершенно нового, по европейскому образцу, журнала и принять на себя редакцию его» (А. Н. Неустроев). Карамзин согласился и руководил журналом в течение двух лет. Уже с 1801 г., т. е. через полгода после дворцового переворота, начали появляться объявления, обещавшие, что новый журнал, «состоящий из 24 годовых номеров, будет извлечением из двенадцати лучших английских, французских и немецких журналов. Литература и политика составят две главные части его».

В этом выдвижении политики на равноправное с литературой место в журнале заключалось своеобразие «Вестника» и ответ на потребности дня. Журнал уже к половине января имел 580 подписчиков («пренумерантов»): Карамзин находил, что это «немало» (письмо к И. И. Дмитриеву от 14 января 1802 г.). И действительно, это было вдвое больше, чем в конце первого года издания «Московского журнала». Вскоре число подписчиков превзошло 1200; понадобилось второе издание первой книжки.

Редакционная статья, открывающая «Вестник Европы», написана Карамзиным в форме письма к издателю. Основная мысль его: просвещение для «всех состояний». «Уже прошли те блаженные и вечной памяти достойные времена, когда чтение книг было исключительным правом некоторых людей; уже деятельный разум во всех состояниях, во всех землях чувствует нужду в познаниях и требует новых лучших идей». Правда, перечисляя отдельные социальные категории своих будущих читателей, Карамзин ограничивается дворянством: придворный, судья, молодой светский человек, «красавицы», «матери» (т. е. читательницы-дворянки) и, наконец, «семейство провинциального дворянина», которое «сокращает для себя осенние вечера чтением какого-

нибудь романа». К культурным запросам «сельских наших дворян» Карамзин обращается и еще раз вслед за этим.

Общий тон карамзинских статей — тон идеализации крепостнической действительности. «Поля, нашими трудами обогащенные, садик, нами обработанный, земледельцы, нас благодарящие», — вот идеал, нарисованный в статьях 1803 г. — «О новом образовании народного просвещения в России» и «О счастливейшем времени жизни». Карамзин силится доказать, что эта идиллия реальна, что помещики и крестьяне не противостоят друг другу как враждебные классы, а мирно и патриархально сотрудничают. Земледельцы «благословляют скромную долю свою в гражданском обществе, считают себя не жертвами его, а благополучными, подобно другим состояниям». О том, что земледельцы несчастливы, «кричат» только «чужестранные писатели» (о только что отравившемся Радищеве забывалось); но Карамзин собирается удивить и иностранцев, показав «так называемых р а б о в, входящих в самые торговые предприятия, имеющих доверенность купечества и свято исполняющих свои коммерческие обязательства». Злоупотребления господской власти «истребляются п р о с в е щ е н и е м»; впрочем, и по законам эта власть «не есть тиранская и неограниченная». Конституция крепостной вотчины излагается Карамзиным в формуле, много раз цитированной: «Российский дворянин дает нужную землю крестьянам, бывает их защитником в гражданских отношениях, помощником в бедствиях случая и натуры — вот его обязанности! За то он требует от них половины рабочих дней в неделе — вот его право!» (1802, № 14). Апология дворянства, утверждение, что «дворянство есть душа и благородный образ всего народа» (там же) — не исключают внимания, и даже большого, к торговой буржуазии, с которой помещик-товаропроизводитель непосредственно связан. Карамзин не пытается повернуть колесо исторической экономики назад, не зовет к ультра-патриархальному хозяйству и к кастовой дворянской замкнутости. В его социально-политической системе находят себе место, под гегемонией дворянства, именно «все состояния». Дворянству дается задание: «Ободряйте земледелие, торговлю, промышленность и способствуйте удобному сообщению людей в государстве». В заметке «О публичном преподавании наук в Московском университете» Карамзин на видное место выдвигает значение «систематического обозрения торговли», важного «не только купцу... но и всякому другому». Наконец, в вопросе о народном образовании «Вестник Европы» занял решительную позицию в с е с о с л о в н о г о образования. К этому склоняли и соображения практической культурной политики: «Россия на п е р в ы й с л у ч а й может единственно от нижних классов гражданства ожидать ученых, особливо педагогов» (1803, № 8); но культурный рост «нижних» и средних социальных групп — купцов и мещан — и независимо от этого отмечается с полным сочувствием («О книжной торговле и любви ко чтению в России», 1802, № 9), а крепостническая идиллия, «Письмо сельского жителя», включает в себя обучение крестьянских детей грамоте (и, конечно, «правилам сельской морали»). Это необходимо отметить, так как в те же годы Пнин, а затем Мартынов пропагандировали идею с о с л о в н о г о образования (н е т о л ь к о для крестьян), а впоследствии спор по вопросу о пользе грамотности для крестьян и дальнейшего образования для всех сословий обострился и нашел отражение и на страницах «Вестника Европы». Но особые надежды связываются и с завоеванием науки «благородными»: о первом профессоре-дворянине (Гр. Глинке) объявляется с торжеством.

Вопросам внешней политики посвящены сравнительно большие самостоятельные статьи. Позиция карамзинского «Вестника» здесь весьма осторожна; не имея возможности прямо возражать против союза с буржуазной Францией, он очень сдержанно относится к личности Наполеона и ставит ему в заслугу, главным образом, подавление революции и фактическое восстановление монархии (1803, № 1). Но Карамзин не скрывает и другой стороны: Франция стала страной «банкиров и подрядчиков», а автор резко враждебен новой послереволюционной знати. Буржуазия поощряется им лишь постольку, поскольку она является союзником помещика-дворянина.

Информационный материал извлекается, впрочем, из разнообразных, в том числе и либеральных органов («Декада», «Минерва»); тенденции проявляются не столько в подборе фактов, сколько в руководящих статьях.

Собственно «литература» в позднейшем значении слова, т. е. литература художественная, занимала в карамзинском «Вестнике» довольно скромное место. Привлечены были, правда, к сотрудничеству Державин, Херасков, Нелединский-Мелецкий, И. И. Дмитриев, В. Л. Пушкин, из молодежи — Жуковский. Но вклады их в журнал были незначительны, и главным вкладчиком оставался Карамзин. Русская проза была представлена повестями Карамзина («Моя исповедь», «Рыцарь нашего времени», «Анекдот», «Марфа посадница») и его последователей — Вл. Измайлова («Молодой философ») и Жуковского («Вадим новгородский»); в иностранном отделе занимает видное место Жанлис.

«Критического отдела» в «Вестнике Европы» этих лет не было. Карамзин теперь не считает критику «истинною потребностью нашей литературы»; только смерть Богдановича вызвала большой некролог (написан Карамзиным), да на «Путешествие в Малороссию» Шаликова Жуковский отозвался несколькими, скорее лирическими, чем критическими, страницами. Актив литературы сосредоточен в самом «Вестнике»: критика переходит в «самокритику», в редакционные оговорки и рекомендации. Единственной полемической статьей была статья В. В. «О русской комедии» — против расширения социального диапазона в комедиях Соколова и покойного Веревкина, в защиту дворянского «хорошего тона» и с апелляцией к запросам зрительного зала, в котором, наряду с «боярами», отмечены «первостатейные откупщики и заводчики». Но полемика и на этой почве никем не была поддержана. Немногочисленны и образцы иностранной (переводной) критики: из новинок отмечена — в очень сдержанном отзыве — «Дельфина» Сталь.

Белинский видел главную заслугу Карамзина в том, что он «размножил читателей во всех классах общества, создал русскую публику». Это верно, главным образом, по отношению к «Вестнику Европы» и именно карамзинской редакции. Следующий, переходный, период истории «Вестника» (годы 1804—1806) характеризуются отступлением от этих позиций.

2. Годы войн с Наполеоном

Дальнейшая история «Вестника Европы» связана с именем Михаила Трофимовича Каченовского, который, начав сотрудничать в 1804 г., со следующего, 1805 года становится «издателем» и с перерывами доводит журнал до конца — до 1830 г.

Карамзин, назначенный историографом, совершенно отошел в 1804 г. от «Вестника Европы», и первый год без него журнал имел переходный

и несколько своеобразный характер. Карамзину приходилось вести борьбу на два фронта: основная и явная велась против буржуазного радикализма на Западе (и тем самым против его зачатков в России). Одновременно ему же пришлось бороться с литературной реакцией. Идеологом этой «оппозиции застоя» был Шишков. «Рассуждение о старом и новом слоге» Шишкова, вышедшее в 1803 г., было не только направлено против группы Карамзина, но и ближайшим образом возражало именно на карамзинскую статью в «Вестнике Европы» 1802 г. — «Отчего в России мало авторских талантов».

Против «Рассуждения» Шишкова выступили два журнала: «Московский Меркурий» П. И. Макарова и «Северный вестник» И. И. Мартынова. Макаров прямо обвинил Шишкова в несправедливом отношении к Карамзину, сделавшему «эпоху в истории русского языка». И здесь Шишков не вступил в прямую полемику, похвалил Карамзина в несколько неопределенных выражениях, но заговорил и о «некоторой особливой шайке писателей, вооружившихся против славянского языка».

Карамзин дипломатично уклонился от участия в споре, а после насмешек Шишкова даже изменил некоторые выражения своей статьи. Он не мог не видеть в Шишкове союзника в своей борьбе с буржуазным радикализмом; идеи национализма и патриархализма могли сыграть в этой борьбе немалую роль; сам Карамзин их отстаивал, избегая только крайностей. В самый разгар полемики он отошел вообще от журнальной деятельности.

В 1804 г. журнал попадает в руки ближайших последователей Карамзина. Редактором становится Панкратий Платонович Сумароков, которому принадлежат восторженные стихотворные строки о Карамзине (вместе, впрочем, с пародиями на его ультра-чувствительных подражателей). Библиографы предположительно называют соредактором уже упомянутого П. И. Макарова; во всяком случае, в «Вестнике Европы» этого года печаталась его проза, переводная и оригинальная («Россиянин в Лондоне»). В октябре 1804 г. Макаров умер; Шаликов определяет ему место «без всякого промежутка подле г-на Карамзина» и тут же отчасти нарушает продолжавшийся и после Карамзина заговор молчания о Шишкове: «Издатель „Московского Меркурия" знал, как должно писать рецензию и в критике на книгу „О старом и новом слоге" доказал, что он знал многое» (1804, № 24). Именно к Шаликову, малоталантливому эпигону Карамзина, перешла на короткое время главная литературная роль в «Вестнике Европы» (много стихов и отрывки из «Нового путешествия в Малороссию»); в переводах царит та же Жанлис вместе с Дюкре-Дюменилем и Авг. Лафонтеном (впрочем, печатается и кое-что из Лихтенберга). Вместе с литературной частью ослабляется и политическая; актуальность и острота утрачиваются; карамзинский политический фельетон исчезает вместе с Карамзиным, и отдел «политики» сводится к перечню фактических известий.

В следующее трехлетие (1805—1807 гг.) «Вестник Европы» возглавляется М. Т. Каченовским, который в эти годы (с 1806) получил профессуру и помещал в журнале статьи преимущественно по русской истории. О сколько-нибудь независимом обсуждении внешнеполитических вопросов в эти годы наполеоновских войн говорить не приходилось, но, конечно, нападки на «Бонапарта» и патриотические мотивы в стихах и в прозе, какими пронизан «Вестник Европы» этих лет, были искреннее тех вынужденных и сдержанных комплиментов, какие были при Карамзине и возобновлялись в периоды мира. Довольно обильна

была патриотическая лирика (Жуковский, Воейков, Вельяминов-Зернов, С. Глинка и др.); инициатива принадлежала Мерзлякову (в ноябре 1805 г. стихи «На победу русских над французами при Кремсе»); интересно, что среди этой лирики было и украинское стихотворение Гр. Кошица-Квитницкого «Ода, сочиненная на малороссийском наречии по случаю временного ополчения» (1807, № 9).

«Эксперименты» внутренней политики встречают в «Вестнике Европы» мало сочувствия. Закон о вольных хлебопашцах упоминается с опозданием, вскользь и в явно-крепостническом контексте, именно — в статье 1807 г. «Добрый помещик». Эта статья вариирует карамзинское «Письмо сельского жителя» 1803 г., однако крепостническая идиллия излагается уже не в эпическом, а в полемическом тоне, направленном против крайних реакционеров, «защитников излишней строгости», говорящих, что «с крестьянами не надобно поступать ласково будто бы потому, что грубые люди сии нечувствительны, что имеют врожденную ненависть к господину и что при малейшем послаблении готовы сбросить ярем зависимости». Редкий пример классовой откровенности, хотя и изложенной полемистом! Полемист этот, подписавшийся И. П-н, в обстановке строго классового антагонизма между помещиками-душевладельцами и закрепощенным крестьянством, рекомендует «хорошо обходиться с крестьянами — не только по человеколюбию», но и «для собственной пользы». С наивностью, доходящей до цинизма, автор рассказывает, как «добрый помещик», построив крестьянам хорошие избы, оправдал свои издержки: сократилась детская смертность, и число крестьян увеличилось вдвое. Мораль ясна: «всякий помещик прежде должен позаботиться о людях, потом уже о земле и скотине»; фактически «крестьяне» и «скотина» стоят в этой идиллии рядом, хотя вскользь упоминается и о «состоянии свободных земледельцев» и даже о таких земледельцах, которым «пристало титло сиятельства и превосходительства» (конечно, только по их душевным качествам!).

Состав сотрудников литературного отдела остался прежний: печатались стихи Державина, Хераскова, И. И. Дмитриева, В. Л. Пушкина; в 1807 г. особенно много — Жуковского. Появились и новые имена: с 1805 г. А. Ф. Мерзляков, с 1806 — А. Ф. Воейков, с 1807 — Батюшков и сыгравший впоследствии видную роль в журнале А. А. Писарев. Оригинальной беллетристики попрежнему не было; в переводной к уже названным именам присоединились некоторые новые: из французов — Шатобриан, из англичан — Эджеворт, из немцев — Коцебу и Энгель; смерть Шиллера отмечена была прочувствованным (впрочем, переводным с французского) некрологом. С 1806 г. налажен был, наконец, отдел критики и театральных рецензий (об отсутствии которого еще в 1806 г. жалел некто Н. Щ. в «письме к издателю»). Но критика на первых порах имела по преимуществу стилистический характер. Более принципиальным было «Письмо города NN в столицу» Луки Говорова (1807, № 8), которым, наконец, окончательно нарушалось молчание о книге Шишкова — нарушалось в пользу Шишкова и против покойного Макарова; при этом автор полемизирует с Макаровым больше цитатами из Шишкова, чем собственными аргументами. Немногие частные возражения Говорова совершенно растворялись в этом панегирике. Шишков отозвался анонимной, но не скрывающей авторства статьей (1807, № 24). «Вестник Европы» уже откровенно смыкался с Шишковым. Печатаются «Мысли о России» неизвестного автора, где, в противовес французам и их русским подражателям, идеализируются патриархальные нравы русского XVII в. вполне в духе Шишкова, а сдержанная оценка Петра

обещает и позднейших славянофилов. Курьез заключался в том, что оригинал этой антифранцузской статьи написан по-французски! К концу 1807 г. позиция «Вестника Европы» определяется как позиция дворянского патриархализма, гораздо более последовательная, чем карамзинская позиция 1802—1803 гг.

Период 1807—1812 гг. между Тильзитским миром и новым разрывом с Францией (разрыв намечается уже к концу 1810 г.) был новым этапом в истории «Вестника». С нового, 1808 года редакция переходит к Жуковскому: в 1809 г. он продолжает возглавлять журнал единолично, в 1810 — совместно с Каченовским; в 1811 «издателем» снова становится Каченовский, но при усиленном сотрудничестве Жуковского. В Жуковском «Вестник Европы» получил действительного заместителя Карамзина; достаточно сказать, что он лично поместил в журнале за четыре года, кроме двух повестей и двадцати стихотворений, пятнадцать оригинальных статей (не считая более мелких заметок) и свыше сорока переводных. Именно в эти годы появились такие известные вещи его, как баллады «Людмила», «Кассандра», повесть «Марьина роща», поэма «Громобой». Сохранив прежних сотрудников, из которых особую активность — в стихах и прозе — проявил Батюшков, «Вестник Европы» при Жуковском привлек ряд новых: И. М. Долгорукова, Н. Ф. Остолопова, Н. И. Гнедича, Д. В. Давыдова, В. С. Филимонова, П. А. Вяземского, Андрея Раевского, А. Мещевского и других. Несмотря на появление более или менее родственных журналов («Аглая» Шаликова, «Цветник» А. Измайлова), главные литературные силы сосредоточены были в «Вестнике Европы» и по многим насущным вопросам ему удавалось выступать очень веско.

Самым слабым местом журнала была «политика»: «литература» решительно ее перевешивала. Политическая позиция журнала в период недолгого мира, который и не мог не восприниматься как временный, была очень затруднительна. В декларативной статье «Письмо из уезда к издателю» (1808, № 1), определив обязанность журналиста — «под маскою занимательного и приятного скрывать полезное и наставительное», Жуковский оговаривался, что «политика в такой земле, где общее мнение покорно деятельной власти правительства, не может иметь особенной привлекательности для умов беззаботных и миролюбивых; она питает одно любопытство». О Наполеоне Жуковский предпочитает говорить двусмысленными предположениями, ставя в зависимость от загадки «души» самого Наполеона — будет он притеснителем или благодетелем народов. Очень скоро (в августе 1809 г.) цензура получила категорическое предписание «не одобрять и не принимать к печатанию никаких артикулов, содержащих известия и рассуждения политические».

Хотя, казалось бы, к политике внутренней, к социальным проблемам вообще должны были бы относиться те же только что приведенные оговорки Жуковского, здесь им была проявлена гораздо большая энергия. Он подхватил и развил карамзинскую тему всесословного образования. Этой теме посвящены две статьи — одна чисто теоретическая и одна полубеллетристическая. Первая — «О новой книге „Училище бедных, сочинение госпожи Ле Пренс де Бомон"». После декларации в общей форме о том, что «просвещение необходимо во всяком состоянии и может быть благодетельно в самой хижине земледельца», Жуковский, однако, сопровождает этот тезис рядом знаменательных оговорок. Их можно резюмировать так: 1) в первую очередь просвещение необходимо «тем классам людей», которые «выше других состоянием»;

2) «люди низкие» — ремесленники, земледельцы — должны быть до некоторой степени образованы; 3) объем образования для низших классов: «катехизис морали» — с дополнением в виде повестей и сказок; стихотворения — для знакомства с «некоторыми приятными чувствами»; «энциклопедия ремесленников и земледельцев» и элементарные сведения по естествознанию и гигиене; 4) задача этого образования: научить «простолюдинов» — «наслаждаться жизнью в том самом кругу, в котором помещены они судьбою». Жуковский решительно настаивает на строгом руководстве и отборе; читая романы из жизни высших классов, «простолюдин» «невольно делает сравнение между собою и мечтательными героями романов и, может быть, научается не уважать самого себя в ограниченном своем состоянии». Охранительная установка этой педагогической системы очевидна; еще очевиднее она в статье-повести «Печальное происшествие», несмотря на ее гуманно-филантропическую тему. Здесь рассказана история крепостной девушки Лизы, не мнимой, а подлинной «барышни-крестьянки», воспитанной в барском доме и полюбившей дворянина, но по проискам интригана-соблазнителя отданной в его полную власть. И вот почти та самая коллизия, которая впоследствии не раз делалась темой драм и повестей, направленных против крепостничества («Дмитрий Калинин» Белинского, «Именины» Павлова), здесь приводит к выводам совсем иного рода: не нужно давать понятия «о состоянии людей свободных» тем, кому вместе с этим понятием не будет дана свобода; и хотя свобода названа «благом всё превышающим», но из контекста ясно, что помещик нисколько не обязан одарять своих крепостных этим благом, а предохранять от понятия о нем — обязан.

Отношение Жуковского к критике установилось не сразу. В редакционной статье 1808 г. он еще повторяет за Карамзиным, что критика — роскошь, а мы еще не Крезы. Но жизнь не оправдала этого тезиса: сам Жуковский втягивался в литературную борьбу и сам признал законность «благоразумной критики» в особой статье (1809, № 21). Литературно-критическая позиция его отличалась большой дипломатичностью. От полемики с Шишковым он по примеру Карамзина уклонился. Новые выступления Шишкова в 1808 г. и дальнейшая его полемика с Дашковым никак не были отражены в «Вестнике Европы».[1] В список писателей, «близких к идеалу изящного» (статья «О критике»), он поместил Ломоносова, Державина, Дмитриева, Карамзина и — неопределенно — «еще некоторых новейших». Конечно, это был список карамзинистов, а не шишковцев. Но в критике своей Жуковский не защищал союзников и не нападал на противников, только в 1811 г., уже не будучи редактором, начал полемику — и то не слишком принципиальную — с Грузинцевым (рецензия на его трагедию «Электра и Орест»), где попутно довольно сдержанно упомянул об Озерове. Большие же работы в 1809—1810 гг. он посвящает из современников Крылову, из «классиков» — Кантемиру, которого пытается оценить объективно: с «умным раскольником» Шишковым намечалось, таким образом, какое-то соглашение.

С 1810 г. Каченовский становится официально соредактором «Вестника Европы», и с этого же года устанавливается новая программа журнала. Вместо первоначальных двух отделов, теперь их пять: 1) «Словесность», 2) «Наука и искусство», 3) «Критика», 4) «Смесь»,

[1] Жуковский отказался напечатать резко полемическое «послание» В. Д. Пушкина, вызванное шишковским «Рассуждением о красноречии священного писания» (напечатано в «Цветнике», 1810, № 12).

5) «Обозрение происшествий». С 1811 г. второму отделу было присвоено более распространенное название: «Изящные искусства, науки и литература», а пятому отделу было с 1810 г. возвращено его прежнее название «Политика».[1] Таким образом, реформа свелась к узаконению критики как особого отдела и к выделению в особый отдел научных статей, фактически уже давно — с самого начала участия Каченовского — занявших в журнале одно из главных мест. «Политика» — с этим или другим названием — конечно не могла играть той роли, какую играла до наполеоновских войн и на деле сводилась к выпискам из иностранных газет — в случаях надобности с оговорками или ироническими замечаниями в скобках или сносках.

Официально возглавляет журнал Каченовский, но личную инициативу его можно видеть только в расширении отдела «наук», главным образом исторических. Для этого отдела он умел привлекать и сотрудников из числа профессоров и кандидатов Московского университета — историков и филологов (Шлецера, Калайдовича, Мерзлякова, Снегирева, Тимковского и других), много писал по историческим вопросам и сам. Но, несмотря на то, что Каченовский как историк не занимал реакционной позиции и подчас вносил в науку своего времени нечто новое своими скептическими тезисами и гипотезами, — сделать научный отдел актуальным, связать его с потребностями современности он не мог. Отдел «наук» наполнялся фактическим материалом по археологии и истории отдаленных веков, а иногда и в отдел «критики» перебрасывалась полемика по историко-археологическим деталям (как, например, длительный спор о смысле летописного выражения «строение банное»). Тем самым Каченовский по сравнению с Карамзиным и Жуковским ориентировался на более узкий круг читателей.

С 1811 г. Каченовский издает журнал один. Как показывает его переписка с Жуковским, он против желания Жуковского оттеснил его от соучастия, так как был недоволен им как журнальным работником и, кроме того, расходился с ним в некоторых мнениях. Каченовский ссылается на разное отношение к К а р а м з и н у. Хотя в исторических работах Каченовского скепсис по отношению к Карамзину мог выполнять прогрессивную роль, но в данном случае поворот журнала от Карамзина и Жуковского был поворотом вправо, в сторону врагов Карамзина из шишковской группы, в сторону более отсталых тенденций.

После резкого письменного объяснения отношения между Каченовским и Жуковским восстанавливаются, и в 1811 г. Жуковский сотрудничает в «Вестнике Европы» довольно активно (статья: «О поэзии древних и новых» — с компромиссным решением проблемы, рецензия на трагедию Грузинцева, ряд переводных статей). В 1812 г. Каченовский обходится без прочных сотрудников, и журнал тускнеет; с 1813 г. место Жуковского занял Вл. Измайлов, к которому на 1814 г., на время болезни Каченовского, перешло и редакторство. Это был последний заместитель Каченовского.

Уже с 1811 г. вокруг Шишкова сформировалась в Петербурге реакционная в литературном и политическом отношении группа «Беседа любителей русского слова». «Вестник Европы» откликается на открытие «Беседы» корреспонденцией, в общем вполне сочувственной направлению «Беседы», но с одной частной оговоркой: автор напоминает о забытом

---

[1] С 1815 г. отдел называется «Современная история и политика», с 1820 г. — «Современная история и политика Европы» и с половины 1822 г. (ч. 124) — «Современная история».

в исторических построениях шишковцев Княжнине (1811, № 15). Оговорка характерная, так как «переимчивый» Княжнин не случайно, конечно, был обойден в «Беседе». Ту же позицию занимает «Вестник Европы» и в других случаях. На «Разговоры о словесности» Шишкова отвечает Каченовский, споря опять-таки не по существу, а о деталях. В эти годы он еще не дошел до коренного отрицания лингвистической концепции Шишкова: «славянский» язык для него еще предок всех славянских языков, в том числе русского, и он только отстаивает право русского языка на самостоятельное существование. Заносчивым ответом Шишкова полемика несколько обострилась, но спор шел все же о деталях; основная националистически-охранительная тенденция Шишкова и Каченовского совпадала. В диапазоне социально-политических колебаний «Вестника Европы» шишковские позиции представляли собой «крайнюю правую», — уклон в эту сторону преобладал при Каченовском, — но и весь диапазон не был особенно широк.

В. В. Измайлов взял на себя редактирование «Вестника» в год, когда наступало время политического и экономического мира. Россия начинает занимать в европейском концерте одно из руководящих мест. Возвращение Франции на дореволюционный путь считается предрешенным. Из этого положения нужно было сделать не только политические, но и идеологические выводы, и В. Измайлов сумел это сделать лучше, чем Каченовский, который ограничивался вариациями на националистические темы.

В. Измайлов был одним из самых ярких выразителей сентиментального филантропизма. Темами его повестей и статей, начиная с 90-х годов XVIII в., были не только проповедь семейных добродетелей и борьба с высшим светом во имя идеалов умеренности, но и социальное неравенство и судьба крепостных. Так, например, в повести «Сироты в Малороссии» (1814, №№ 7 и 8) изображена несчастная судьба сироты из дворянок и простого солдата, равно беззащитных перед властями. Социальные конфликты, однако, снимались, и смысл подобных сопоставлений сводился к утверждению филантропии. Что касается публицистических деклараций В. Измайлова, то они имеют явно охранительный характер.

Первой такой декларацией его в «Вестнике Европы» была статья «Развалины Москвы», помещенная еще при Каченовском (1813, № 9—10), где нарисована идиллия не только благополучной, но и свободной России. «Свобода говорить, свобода писать, обеспечение собственности и прав гражданина» и т. д.; лишь дойдя до слов «независимость во всех родах жизни», автор, видимо, почувствовал, что такая апология крепостнической монархии требует объяснения, и объяснение не замедлило: «Состояние наших земледельцев не противоречит сему мнению. Справедливый наблюдатель скажет, что у нас господа — защитники и отцы своим подданным. Некоторые и, к славе России, очень немногие исключения не составляют правила общего».

Программная статья, которой Измайлов открыл «Вестник Европы» в 1814 г., прямо говорит об уроках Французской революции и ставит задачу писателям: «да остерегают умы и сердца сограждан своих от заблуждения, легкомыслия и того беспокойного духа, который неминуемо влечет за собою порабощение народов».

Одновременно один из сотрудников Измайлова в «Письме о нынешних обстоятельствах наших» делает выводы социально-экономического порядка: спасение государства в том, чтобы города не поглотили деревень и поместий, другими словами, чтобы расслоение дворянства и рост буржуазии не нарушили социальных устоев: помещичьего землевла-

дения и душевладения. Поэтому «пускай возвратятся под кров мирных сел трудолюбивые помещики». С другой стороны, автор наблюдает, что «крестьяне переходят из состояния земледельцев в сословие городских мещан», и настаивает «особливо» на их возвращении к «земле и плугу».

Тот же автор «письма» призывает «возвратиться к простоте древних нравов, украшенных выгодами просвещения и удовольствия науки». В контексте с повестью самого Измайлова «Обе школы или свет и уединение» (того же смысла), с сочувственным, но несколько ригористическим разбором «Новой Элоизы», с возвращением на страницы журнала имен Карамзина (стихотворение) и Подшивалова (некролог и автобиография) — все это звучит как продолжение уже испытанной карамзинской линии, отчасти как прямое эпигонство. Но в одном идеологическом пункте В. Измайлов резко разошелся как с карамзинским, так и с послекарамзинским прошлым журнала — в своей философской позиции.

До 1814 г. «Вестник Европы» уделял философским вопросам немного места, но неизменно высказывался против немецкого идеализма (очевидно казавшегося вчуже опасным) — за англо-французский эмпиризм как наиболее «ясное» учение. В. Измайлов в № 10 помещает статью, правда, переводную, совершенно иного направления: «О Фихте и о философии немцев и французов». О Фихте и немецких идеалистах вообще здесь говорится панегирически. Немецкая философия «о чем ни рассуждает — все приводит к духу или разуму», французская — наоборот — к материализму: «опыт доказал, что последняя имела в виду низвержение алтарей и престолов». Материалистические элементы усматриваются и в Кондильяке. Замечательно также то, что, пропагандируя Фихте, автор статьи одновременно призывает вернуться к христианской мистике Мальбранша (единственного из французов, кто упомянут с сочувствием). Появление статьи не было случайным. С ней связаны такие статьи самого Измайлова, как «Религия и философия», и особенно «Естественная наука в ее нравственном отношении, или приятность и польза ботаники», с религиозной и натурфилософской идеей в основе.

Год редакции В. Измайлова был замечателен еще в одном отношении: при нем дебютировала в «Вестнике Европы» целая плеяда молодежи: А. С. Пушкин (пять стихотворений) и его лицейские товарищи — Дельвиг (семь стихотворений), Пущин (перевод из Лагарпа), Илличевский; здесь же выступает впервые со статьями — правда, не по литературным, а по военным вопросам — никому еще неизвестный Грибоедов. Ни одного из этих сотрудников журнал не удержал (зато Измайлов удержал и Пушкина, и Дельвига, и Илличевского в новом своем журнале «Российский музеум»). Из дебютантов 1814 г. «Вестник Европы» сохранил только М. Дмитриева, игравшего впоследствии активную роль в литературной борьбе (между прочим и с Грибоедовым).

Молодые дебютанты не дают, впрочем, журналу никакой специфической окраски; состав сотрудников оставался, в общем, прежний, а литературная позиция журнала — по примеру предыдущих лет — компромиссной. Программная статья редакции апеллировала к авторитетам — от Аристотеля до Лагарпа, требовала «беспристрастного уважения к древним и новым классикам», «рассудительного почтения к союзу славянского языка с русским» и т. п. В практике своей Измайлов не только избегал постановки острых вопросов, но и вовсе устранил критику как постоянный отдел (отрицая и принципиальное «право быть судьею талан-

тов и посредников славы»). Все это согласовано с той позицией «мирного процветания», которой Измайлов стремился достигнуть на всех участках — в политике, в быту и в литературе.

3. «Вестник Европы» при Каченовском

С 1815 г. единоличное редактирование Каченовского более не прерывалось. Эта вторая, внешне однообразная, половина истории «Вестника Европы» делится довольно отчетливо на три неравные периода: с 1815 по 1819 г., с 1820 по 1825 г. и с 1827 по 1830 г.

Приняв журнал от В. Измайлова, Каченовский продолжал вести его с тем же составом сотрудников. Осложняющаяся идеологическая борьба создавала в литературе новые группировки и новые органы, и в период 1815—1819 гг. «Вестник Европы» постепенно терял свой старый состав. Имена Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Остолопова, Воейкова, Гнедича, Мерзлякова еще связывают новый период с предыдущим. Но снова обрывается оригинальная беллетристика, которую пытались культивировать Жуковский и Вл. Измайлов, и сильно сокращается переводная; здесь преобладает занимательно-нравоучительное чтение. Журнал приобретает все больше «ученый» характер, впрочем отдел «наук» становится значительно актуальнее; политическая экономия решительно вытесняет историю и археологию.

Статьи по общей политической экономии и по экономии России (в смысле Российской империи) помещались как оригинальные, так и переводные (преимущественно с польского). Замечательно начало статьи «Важное разногласие» (1815, № 20): «„Полезно ли для государства возрастающего заводить и распространять мануфактуру или выгоднее для него обогащаться земледелием?" — Вопрос сей служит теперь предметом общих рассуждений и споров. Мужчины и женщины, ученые и неученые, увлекаясь теми или другими видами, приставая той или другой стороне, жарко спорят и никогда не соглашаются». В полемике Бентама с неизвестным протекционистом, «сочинителем ответа», автор статьи занимает нейтральную позицию. В том же году еще раньше были помещены две оригинальные статьи (автор — Гаретовский): «Рассуждение о влиянии денег на хозяйство народное» (№ 3) и «Ответ другу моему на жалобу его о процентах» (№ 8); в последней знаменательны мечтания о том времени, когда «Россия наполнится полезными капиталами во всех отношениях». Однако общая позиция «Вестника Европы» отнюдь не протекционистская. Переводная — с польского же — статья «О счастливейшем быте крестьян польских» вносит существенно-важный оттенок в политико-экономические тенденции журнала: прогресс не требует крестьянского освобождения. Тот же интерес к экономическим проблемам и тот же подход к ним наблюдаем и в следующие годы; с одной стороны, серьезное внимание к развивающейся в России промышленности («О внутреннем богатстве России по части добывания металлов» и другие подобные статьи в 1816 г.), с другой — прямая и косвенная защита крепостнической системы.[1] Вплотную к проблеме крепостного хозяйства и труда с точки зрения аграрно-помещичьих фритредерских интересов подходит статья 1818 г. — «Как выгоднее возделывать землю: своими

---

[1] Явно крепостническим был, например, трактат В. Карамзина «Защищение противу иностранцев существующей ныне в России подчиненности поселян их помещикам». Впрочем, из этого трактата в «Вестнике Европы» напечатана только одна глава, подводящая к вопросу, но не решающая его (1817, № 2).

собственными или наемными работниками». В основе статьи — доклад, прочитанный в Петербургском вольно-экономическом обществе Меркелем, по данным хозяйства Лифляндской губернии; неизвестный польский автор (М. О.) присоединяет собственные соображения: те и другие сводятся к экономическим преимуществам наемного труда. Отсюда, однако, вовсе не делается вывода о необходимости коренной крестьянской реформы: достаточно оценить крестьянскую землю, «назначить приличный за нее оброк и употреблять на господскую работу самих же крестьян, с тем, чтобы они за следующие с них оброчные деньги трудились как нанятые люди». К этому проекту переводчик делает примечание — скорее простодушное, чем ехидное: «что сочинитель, очевидно, разумеет в помещике благомыслящего», так как расценка земли, оброка и рабочего дня устанавливется не кем иным, как тем же помещиком! Итак — терпимость по отношению к развивающемуся капитализму лишь постольку, поскольку он способствует обогащению помещиков и не нарушает их интересов и прав — вот политико-экономические тенденции «Вестника Европы» этих лет.

В области философии «Вестник Европы» возвращается к предпочтению эмпиризма и к борьбе с немецким философским идеализмом. «Вестник Европы» толковал и критицизм и послекантовский идеализм в смысле, опасном для религиозных и вообще идеологических устоев; это понимание было ходячим в российских реакционных кругах и приводило к репрессиям против профессоров-кантианцев. Если архиепископ Феофилакт прямо приписывал Канту цель ниспровержения христианства и замены его «совершенным безбожием», ту же борьбу против опасных учений, в которых враги их, быть может, смутно угадывали зачатки диалектики, вел и «Вестник Европы». Тем яростнее должен был обрушиваться «Вестник Европы» на материализм. Шеллингу грозят только сумасшедшим домом; здесь же рекомендуются более суровые меры: в стихотворении вятского поэта Копылова выражается желание, чтобы труды энциклопедистов постигла участь сожженной александрийской библиотеки:

Возжги, Амру, светильник новый
И истреби писанья их!

Весьма оживленной была в эти годы и борьба на фронте собственно литературном. Не проходило года без довольно жаркой полемики по тому или другому литературному вопросу. В 1815 г. объектом нападения был П. М. Строев, в то время девятнадцатилетний студент, выступивший как смелый и независимый критик в собственном журнале «Современный наблюдатель российской словесности». «Вестник Европы» обрушивался на «недоучившегося студента» за «нахальный разбор» «Россияды» и некоторых других книг (1815, № 17), хотя все «нахальство» Строева заключалось в выводе, что Херасковым не соблюдаются классические же правила и что «Россияда» «недостойна тех громких похвал, коими ее до сих пор осыпают». Одновременно осмеян был «Демокрит» Кропотова — любопытный образец низовой, мещанской журналистики. В то же время отношение к шишковскому «отступлению» в восемнадцатый век и дальше остается сдержанным.

В литературном отношении Каченовский продолжает быть сторонником господствующего жанрового и стилевого канона, традиционного списка приемлемых авторов. В этот список входят — больше как необходимая дань авторитетам — избранные «классики» с различным отношением к каждому; градация по степени авторитетности, примерно,

такая: Тредиаковский — наименее авторитетный, Кантемир, Сумароков, Херасков, Ломоносов, Державин — и наряду с Державиным почти безоговорочно — Богданович, Фонвизин, иногда и Княжнин. Но в этот же список на равных (а по существу на больших) правах входят и «новые»: Карамзин, Дмитриев, Озеров, Крылов; из молодежи — Жуковский и Батюшков. С необычайной быстротой происходит канонизация новых и молодых в университетских лекциях и школьных руководствах. На страницах «Вестника Европы» эту канонизацию осуществлял Мерзляков, разбиравший Озерова наряду с Сумароковым, и, с точки зрения тех же Лагарповых правил, Шишков со своим «списком» и со своими «молодыми» не получил признания и остался в тени как выразитель отсталой, рутинерской группы.

Формула, которая соединяет литературную позицию «Вестника Европы» с его позицией политической, найдена в статье Снядецкого (польского критика, работы которого по философии и литературным вопросам начинают появляться в «Вестнике Европы» все чаще). Эта формула: «лучшие плоды ума — чада тишины и согласия» (1819, № 7). С этой точки зрения Снядецкий осуждает романтиков как не удовлетворяющихся современной действительностью и порицает Шекспира как «идола черни». Неудивительно, что о Байроне приводятся выписки, хотя и отдающие должное таланту, но очень сдержанные («поэзия его оставляет какое-то тягостное чувство в душе читателя» — 1817, ч. 99). И даже спор о жанрах и стихосложении (в первую очередь — о балладе и гекзаметре) приобретал подчас оттенок испуга перед анархическими новшествами. «Что это за дух, — пишет Мерзляков, не называя впрочем, никого по имени, — который разрушает все правила пиитики, смешивает вместе все роды, комедию с трагедией, песню с сатирой, балладу с одой и пр. и пр.?».

Эти охранительные тенденции с течением времени в «Вестнике Европы» неизменно усиливались.

4. Последние годы журнала

Пятилетие перед 14-м декабря характеризуется обострением классово-идеологической борьбы. В эти годы слагается идеология дворянских революционеров-декабристов, отражаясь и в некоторых органах печати этой поры. Основная же масса дворян-помещиков защищает крепостное право и неограниченную монархию. «Вестник Европы» продолжает представлять эту основную массу. Но ряды ее интеллигенции поредели; в среде сотрудников «Вестника Европы» стала особенно заметна убыль на фоне вновь возникающих журналов. Уже в предыдущий период была потеряна значительная часть старых сотрудников: одни перешли в «Сын отечества», другие полностью или частично сошли со сцены. Особенно ощутительна была убыль 1817 г., когда прекратилось сотрудничество Батюшкова, Вяземского, А. Измайлова, В. Пушкина, Милонова, Мерзлякова (как критика). В 1818 г. напечатаны были последние вещи Жуковского и Остолопова. В апреле 1820 г. в последний раз печатается Воейков. Новые сотрудничества — до привлечения Надеждина в 1828 г. — не были прочными: Сенковский, Полевой, Вл. Одоевский, начиная в «Вестнике Европы», затем самоопределялись иначе; Погодин редко выходил за пределы исторических вопросов. Критиками журнала в первое пятилетие 1820-х годов были М. Дмитриев и А. Писарев, но выступления того и другого были случайны, и критическая деятельность их скоро замерла.

Внешнеполитические высказывания «Вестника Европы» этой поры сводились либо к заверениям о всеобщем успокоении (во Франции весь «народ», кроме кучки «крамольников», — за роялистов), либо к возмущениям «злодеяниями», т. е. революциями, как известно, волновавшими в эти годы не одну европейскую страну. Иной тон взят был только в отношении греческих событий: не потому, конечно, как думали некоторые наивные толкователи, что «Каченовский был родом грек», а потому, что греческая революция могла быть истолкована как чисто национальная и притом направленная против Турции.

Новые журналы, возникшие в этот период, не только перетягивают к себе отдельных сотрудников «Вестника Европы», но и существенно оттеняют его неизменную умеренно-охранительную позицию. Вслед за «Сыном отечества» появляется в 1818 г. «Благонамеренный» (несмотря на свое название отличавшийся большей, чем «Вестник Европы», идейной гибкостью), с 1820 — «Невский зритель», объединивший часть будущих декабристов, наконец, с 1825 г. — непримиримый враг «Вестника Европы» — «Московский телеграф». До 14 декабря все эти журналы, во всяком случае, проявляют — хотя и в разной степени — бóльшую, чем «Вестник Европы», терпимость к оппозиционным настроениям дворянской интеллигенции. «Вестнику Европы» приходится усиленно полемизировать по различным общеидеологическим и литературным вопросам с разными журналами, и почти во всех случаях «Вестник Европы» борется с новаторами и защищает «устои».

«Вестник Европы» в отношении к передовым литературным группировкам занял позицию враждебную, хотя на первых порах несколько уклончивую. Не проходило года без схватки по тому или другому вопросу. В 1820 г. возникла борьба вокруг «Руслана и Людмилы»; в 1821 г. — вокруг «Послания Вяземского» с выпадом против Каченовского; в 1822 г. — вокруг книги Греча «Опыт краткой истории русской литературы», в 1823 г. — вокруг Катенина, с одной стороны, и только что основанного «Дамского журнала» — с другой; в 1824 г. — вокруг «Бахчисарайского фонтана»; в 1825 г. — вокруг «Горя от ума».

Излагать все эти споры сколько-нибудь подробно в настоящем очерке незачем; достаточно указать позицию «Вестника Европы» в важнейших из них.

В 1820 г. среди общего восхищения первой поэмой Пушкина (лишь изредка умеряемого моралистическими и эстетическими упреками) отзыв «Вестника Европы» прозвучал как диссонанс. Статья «Письмо к редактору» была подписана псевдонимом «Житель Бутырской слободы».[1] В самый разгар фольклористических увлечений самого «Вестника Европы»[2] Каченовский помещает статью, в которой о г р а н и ч и в а е т значение «собирания и изыскания русских сказок и песен»: их нужно с о б и р а т ь, но не п о д р а ж а т ь им; против материала «старинного песнословия» критик возражает с точки зрения классовых понятий и вкусов (известное сравнение с «гостем с бородою, в армяке, в лаптях», который втерся в московское Благородное собрание). Литературный консерватизм ясно обнаруживает, таким образом, свою социальную основу. Надо оговориться, что в дальнейшем, вплоть до 1828 г., прямых нападений на Пушкина больше не было; «Кавказский пленник» был

---

[1] Статья жителя Бутырской слободы помещена в «Вестнике Европы», 1820, № 11; второе письмо, отвечавшее «Сыну отечества», — в № 16.

[2] Начиная с 1820 г., в «Вестнике Европы» усиливается внимание к фольклору; деятельным участником в этой области становится М. Н. Макаров, участвует и кн. Н. А. Цертелев, из славянских фольклористов — Доленга — Ходаковский.

встречен сочувственной, в общем, статьей Погодина; полемика вокруг «Бахчисарайского фонтана» велась лишь по принципиальному вопросу о романтизме и самого Пушкина не задевала.

Большое принципиальное значение имела полемика о книге Греча («Вестник Европы», 1822, № 13—14 и 19, Каченовский; «Сын отечества», 1822). Греч установил два периода развития русской литературы; ломоносовский и карамзинский. Каченовский (под буквами М. И.) возражает против уравнения значений Карамзина и Ломоносова и с позиций почти откровенно шишковских напоминает, что Ломоносов писал о пользе славянских книг, а Карамзин и его последователи призывали «писать, как говорят», чем приближались к направлению не Ломоносова, а Тредиаковского. Таким образом, «если один из них образовал язык, то другой необходимо вредил успехам оного». После ответа Греча Каченовский, впрочем, пытался отрицать свою враждебность к Карамзину, но это никак не вязалось с содержанием его первой статьи. Совершенно ясно, что Каченовский выступал как поборник языковых и литературных устоев, которые он не отделял от устоев социальных и политических. В теориях литературного «классицизма» (точнее было бы в данном случае говорить о литературном рутинерстве) очевидным образом отражалась идеология реакционных кругов: вокруг Каченовского и его журнала это реакционное движение группировалось.

В полемике о «Горе от ума», которую со стороны «Вестника Европы» вели М. Дмитриев и А. Писарев (под пародирующим Ореста Сомова псевдонимом «Пилад Белугин»), выделяются две ноты, одна с другой перекликающиеся. С одной стороны (по преимуществу в статьях Писарева), продолжаются те же литературно-рутинерские аргументы. «Горе от ума», как комедия характеров, не мирится с канонами: «во всей пьесе нет н е о б х о д и м о с т и, стало быть нет з а в я з к и, а потому не может быть и действия», комедия — уродливый сколок с бессмертных образцов Мольера». С другой стороны (в статьях М. Дмитриева), откровенно защищалась фамусовская Москва: Чацкий — «сумасброд, который находится в обществе людей с о в с е м н е г л у п ы х, но необразованных» (1825, №№ 6 и 10). Между литературным и социальным рутинерством еще раз обнаруживается связь не случайная, конечно, а вполне органическая.

Декабрьское восстание неминуемо отбросило значительную часть дворянства вправо. На «Вестнике Европы» это не замедлило сказаться.

Непосредственные отклики на декабрьское восстание были, разумеется, невозможны. Но проскользнувшее в одной слишком поспешной оде упоминание о Константине было тотчас же заслонено ворохом приветствий Николаю. В числе других предвещал «силу и отраду» музам под «николаевским щитом» и юный Полежаев, не предвидя, что придется пережить через год под этим «щитом» его собственной музе и ему самому. Явные намеки на декабрьский мятеж — в оде Мерзлякова на коронацию:

Что буря? — злобы обличенье.
Что гром? — коварства очищенье.
Что смута? — общий всех покой.
(1826, № 21—22).

Не случайно, конечно, в январе 1826 г., во время следствия над декабристами, помещены афоризмы Ансильона о порче нравов «в образованном классе людей», о революции как сочетании («к ужасу и поучению вселенной») варварства и образованности; о том, что «герои революций — одни лишь безумцы и одни бесхарактерные» (1826, № 2).

В то же время Иовский «доказывал» на исторических примерах преимущества абсолютизма (1826, № 10).

Решительный сдвиг по сравнению с первыми двумя десятилетиями обнаружился в полемике по вопросу о народном воспитании, которая велась на страницах самого же «Вестника Европы» в течение 1825 г. Начал ее кн. Цертелев, выступивший с помещичьей программой классового образования, точнее с проповедью самого необузданного обскурантизма. Каждый гражданин «должен быть рабом закона и освященных времен обычаев». Он обязан «слепо им повиноваться». Науки могут оказаться вредны, и потому не могут быть «всеобщи». Крестьянам вовсе не нужна грамота: с них достаточно церковных проповедей. Ремесленников, кроме грамоты и арифметики, «можно учить священной истории, если хотите, российской грамматике, но не более». Купцу нужно «просвещаться в училищах среднего разряда». Университеты должны быть доступны только дворянству и духовенству; нужно (по примеру древних египтян!) затруднить переход из одного звания в другое — «особенно в правлении монархическом, где слияние званий может иметь самые пагубные последствия».

Цертелеву возражал некто Ал. Мк. (пометка под статьей: «12 апреля 1826 года. Малороссия»). Редакция сделала примечание: «подобные споры ни для кого не оскорбительные, приносят честь обоим состязателям». Ал. Мк. не спорил с основными мыслями Цертелева, даже с ограничением перехода из сословия в сословие, но считал это возможным — «без перегородок для просвещения» — и доказывал, что «грамота не может быть вредна крестьянину», что если уж бояться соблазна от книг, то не меньшая опасность грозит и купцу и дворянину. Последнее слово осталось, однако, за Цертелевым, который настаивал, что если нельзя учить крестьянина всему (а так далеко не шел и оппонент его!), то лучше уж не учить ничему, так как полуобразование может только сбить с толку, — это подтверждалось и помещичьей практикой: грамотные крестьяне оказывались «беспокойнее и бесполезнее» неграмотных (несомненный отклик недавних крестьянских волнений). Правительство Николая I не нашло выгодным итти за обскурантской группой Цертелева: указом 19 августа 1827 г. крестьяне не были лишены образования совсем, но доступ в гимназии и в университеты крепостным был закрыт.

Цертелев не был случайной фигурой в «Вестнике Европы»; с его именем связан дальнейший рост фольклористических тенденций (программное письмо к Максимовичу в № 12 за 1827 г. «О народных стихотворениях»); сам он был заметным в свое время собирателем и издателем песен. Классово-идеологический смысл этого увлечения фольклором уясняется из сопоставления письма Цертелева с письмом Бродзинского к редактору варшавского журнала «О народных песнях славян»: это была реакция против страстного, беспокойного западного романтизма, против стремления «ко всему необычайному» во имя естественности, простоты и патриархализма славянских песен. «Друг человечества, друг тишины и покоя, заметит в них милый образ невинности и счастливой жизни» (Бродзинский). Против каких бы то ни было возможностей придать фольклористике демократический уклон решительно возражает Цертелев: «Многие думают, что сии стихотворения сложены простым народом; но сие несправедливо. Некоторые из них очевидно принадлежат высшему сословию».

В литературном отношении годы 1826 и 1827 были годами полного

потускнения. Беллетристика, даже и переводная, замирает. Из новых поэтов некого отметить, кроме Полежаева, который после 1826 г. должен был сойти со сцены; стихотворный отдел заполнялся плодовитым и бездарным Кудряшовым и другими заслуженно забытыми стихотворцами. Замерла и критика; бессодержателен стал даже научный отдел — всегдашний козырь журнала. Потускнение это отчасти зависело от сурового цензурного устава, введенного 10 июля 1826 г. Шишковым и имевшего силу до 22 апреля 1828 г., когда он был несколько ослаблен. Лишь на короткое время — с конца 1828 г. по конец 1830-го — на «предсмертный» период журнала Каченовскому удалось приобрести сотрудника, который укрепил позиции журнала и в последний раз в его истории попытался перейти в наступление против прогрессивной литературы.

Таким сотрудником стал Н. И. Надеждин — сначала как автор стихотворений (нужно отметить «Послание ижицы к азу» — стихотворную защиту восстановленной в «Вестнике Европы» архаической орфографии). В конце 1828 г. Надеждин выступил уже с большой критической статьей-фельетоном «Литературные опасения на будущий год» и с тех пор в продолжение 1829 и 1830 гг. господствует в «Вестнике Европы» почти нераздельно. Критические статьи, рецензии о новых книгах, статьи философские, исторические, отрывки драмы, стихотворения оригинальные и переводные — вся эта обильная продукция лишь на время оживила угасавший журнал, но не могла сообщить ему новой жизни. Журнал умер, оставив по себе недобрую память цитадели консерватизма.

ГЛАВА VIII

Критика и журналистика декабристского движения

1. Литературно-общественные идеи декабристов

В статье «Памяти Герцена» Ленин приводит характеристику движения декабристов, данную Герценом: «Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество „пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников", да прекраснодушных Маниловых. „И между ними, — писал Герцен, — развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованые из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия"». (В. И. Ленин, Сочинения, 3-е изд., т. XV, стр. 464). Ленин подчеркивал прогрессивное революционное значение декабристского движения и его роль для дальнейшего развития передовой общественной мысли в России, говоря, что декабристы разбудили Герцена. В другом месте Ленин писал о декабристах, как о «лучших людях из дворян», помогших «*разбудить* народ». (В. И. Ленин, Сочинения, 3-е изд., т. XVI, стр. 575).

Возглавляя «дворянский период» (В. И. Ленин) освободительного движения в России, декабристы сыграли огромную роль в объединении наиболее передовой, мыслящей части общества вокруг вольнолюбивых гражданских идеалов, способствуя распространению прогрессивных взглядов и принципов.

Эта революционизирующая просветительная роль декабризма сказалась и по отношению к литературе. Декабристы, вслед за Радищевым, сделали литературу выразительницей передового общественного мнения, наполнив ее новым содержанием, превратив ее в орудие пропаганды своих идей.

Это новое, общественное значение литературы, ее обращение к широким читательским кругам — противопоставлялось декабристами тому салонному и меценатскому ее бытованию, которое, по их мнению, отличало положение писателя и литературы в XVIII и начале XIX в. Вместо литературы для немногих (характерно самое название одной из книжек Жуковского «Für Wenige»), литературы, предназначавшейся для светских гостиных, — декабристы стремятся к созданию литературы, обращенной к передовой части дворянского общества. Поэтому наряду с «потаенными» произведениями открыто революционного и агитационного содержания (вроде стихов и песен Рылеева, политических эпиграмм и стихотворений молодого Пушкина), распространявшихся во множестве списков, декабристы уделяют большое внимание журналистике. При помощи журналов они стремятся организовать общественное мнение, подготовить общество к пониманию и восприятию их идей, сплотить

вокруг себя сочувствующих.[1] Декабристы подчинили своему влиянию ряд лучших и значительнейших журналов тех лет, помещая в них произведения, пропагандировавшие и популяризировавшие их взгляды на общественные и литературные явления. В сфере влияния декабристской идеологии и организационного руководства декабристов к началу 1820-х годов находились такие журналы, как «Сын отечества», «Соревнователь просвещения и благотворения», «Невский зритель», а также альманахи «Полярная звезда», «Мнемозина», «Русская старина».

Наличие среди декабристов целого ряда видных литераторов (Рылеев, А. Бестужев, А. Корнилович, Ф. Глинка, Кюхельбекер, повидимому Грибоедов и др.) и близость к декабристским кругам целой плеяды лучших писателей (Пушкин, Вяземский, В. Одоевский, Дельвиг, Баратынский и др.) — дало возможность сделать эти журналы и альманахи ведущими, определявшими литературную жизнь тех лет. Не следует думать, однако, что журналы, находившиеся в сфере идейного воздействия декабризма, имели точную политическую программу. Этого не было, да и по цензурным причинам осуществить такую программу не представлялось никакой возможности. Но весь материал журнала как в его публицистической, так и в его художественной части, был проникнут общими идейными принципами декабристов.

Основной круг идей, объединявших декабристов различных толков и усиленно распространявшихся ими, сводился к осуждению полицейско-крепостнического строя, к утверждению просвещения и свободомыслия, к провозглашению истинной любви к отечеству.

Война 1812 года способствовала пробуждению патриотических чувств и либеральных настроений в передовых слоях общества и вызвала огромный интерес к общественным и социально-политическим вопросам.

А. А. Бестужев в своей записке о причинах возникновения декабристского движения рассказывает о тех притеснениях, которые испытывали все классы населения: «Крестьяне, обнищавшие от злоупотреблений и непосильных поборов, мещане и ремесленники, обнищавшие от упадка торговли и обременения налогами, купечество, стесненное гильдиями, солдаты, истомленные ученьями и караулами, — все были недовольны, все стремились к изменению жизни: все элементы были в брожении». Среди этого самодержавного угнетения и террора крепостнического государства мечты о погибели деспотизма и торжестве правды объединяли передовые элементы общества. Стремление к правде и вольности одушевляло декабристов, определяло их гражданственный, свободолюбивый пафос. «Все совершалось под влиянием страстного искания правды, — писал декабрист Завалишин, — и внутреннего неодолимого стремления к борьбе против всего ложного и несправедливого». Борясь за правду, декабристы вместе с тем мечтали о процветании отечества: «хочу хоть истиной служить отечеству», — говорил декабрист Якубович. На примере декабристов мы видим, как тесно сливалась идея свободы с истинным патриотизмом, как постепенно рождался идеал гражданственности, идеал просвещенного и свободного «сына отечества», кото-

---

[1] Так, например, согласно данным записки Грибовского, представленной Бенкендорфом Александру I, члены Союза благоденствия «предполагали издавать журнал по самой дешевой цене для большего расхода, полагая издержки на счет общества, в котором бы помещать статьи, к цели Общества относящиеся». Инициатором и организатором этого неосуществленного политического журнала, задуманного в 1819 г., был Н. И. Тургенев.

рый проповедовали декабристы, идеал, утверждаемый и в их литературных выступлениях.

Восставая против произвола и деспотизма самодержавно-крепостнического государства, призывая к его разрушению, декабристы провозглашали пламенную любовь к отечеству. Они могли бы повторить формулу Д. И. Фонвизина, являвшегося одним из предшественников русского свободомыслия: «Где произвол одного есть закон верховный... там есть государство, но нет отечества». Именно за отечество, за процветание родины и народа боролись декабристы, ставя своей задачей возбуждение «вольнолюбивых чувств» «подвигами предков». Поэтому естественно, что и в своей литературной программе декабристы провозгласили прежде всего принцип создания самобытной национальной литературы.

В декабристском движении были различные политические и социальные тенденции и группировки: от республиканских идей Пестеля и буржуазного радикализма южных декабристов — до умеренно-либеральных конституционных проектов Никиты Муравьева, от революционного, действенного демократизма Рылеева и просветительски-патриотической деятельности Ф. Глинки до осторожной аристократической фронды Трубецкого. В журналистике, связанной с декабристским движением, мы, естественно, этого разнообразия политических мнений и позиций не находим. Ведь помимо конспиративности самых программных и политических деклараций и установок декабристов, они не имели и фактической возможности провести через цензуру достаточно отчетливые и полные политические высказывания и взгляды. Идеи и лозунги декабризма, будучи переведены с языка политики на язык романтической поэзии, теряли отчасти политическую конкретность, не говоря уже о самой расплывчатости и неясности для многих декабристов их политических формулировок, скорее выражавших их общую идейную настроенность, чем отчетливую политическую систему.

Естественно поэтому, что декабристская журналистика не была партийной и программной в том смысле, который приложим хотя бы к журналистике 1860-х годов, и не может быть диференцирована и рассмотрена по этому признаку. Речь идет о выражении в журналах, находившихся под руководством декабристов или в сфере их идеологического воздействия, тех ведущих идей, тех основных идеологических принципов, которые характеризовали декабристское движение в целом, о проведении ими той литературной и просветительной программы, которая намечалась декабристами, как средство легального распространения их идей.

Эти общие принципы декабристской журналистики и самое понимание задач литературы были намечены уже в уставе Союза благоденствия, определявшем даже стилевые установки и самый характер литературной деятельности писателей-декабристов. Параграф 51-й устава гласил: 4) «Объяснять потребность отечественной словесности, защищать хорошие произведения и показывать недостатки худых... 6) Убеждать, что сила и прелесть стихотворений состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мыслей, ни в непонятности изложения, но в живости писаний, в приличии выражений, а более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих. 7) Что описание предмета или изложение чувства, не возбуждающего, но ослабляющего высокие помышления, как бы оно прелестно ни было, всегда недостойно дара поэзии». Эти истины, по словам устава, члены союза «должны распространять и в сочинениях своих».

Требуя от поэзии и литературы вообще «чувств высоких и к добру увлекающих», декабристы подразумевали под ними прежде всего гражданские чувства любви к отечеству и «общему благу», те патриотические и свободолюбивые мысли и чувства, которые передавались в стихах Рылеева, Кюхельбекера, Ф. Глинки, В. Раевского и других поэтов-декабристов, в повестях А. Бестужева, А. Корниловича, пропагандировались и защищались в критических статьях, рецензиях и обзорах. В уставе общества намечались те стилевые принципы, которые были близки декабристам и служили выражению «высоких помышлений». Уставом рекомендовалось «изыскать средства дать изящным искусствам надлежащее направление, состоящее не в изнеживании чувств, но в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего».

Протестуя против «изнеживания чувств», декабристы отстаивали высокую героическую литературу, защищали такие поэтические жанры, как оду, сатиру, трагедию, которые более всего соответствовали этой пропагандистской и идейной роли поэзии. Поэтому одним из основных принципов литературной деятельности декабристов стала борьба как с устаревшими и омертвевшими «правилами» поэтики классицизма, так и с «легкой поэзией» школы Батюшкова и мистическим идеализмом и сентиментализмом Жуковского и Карамзина. Борясь с «упоительной гармонией стиха» Жуковского и Батюшкова и в особенности их эпигонов, создавших сглаженную поэзию «воспоминаний о протекшей юности», мелких мыслей и чувств, декабристы обращались к «высоким» и сатирическим жанрам, к эпосу, к народной поэзии. Карамзинской литературе, с ее жанрами элегии, послания, сказки, песни, мадригала и пр., декабристы противопоставили трагедию на общественные темы («Аргивяне» Кюхельбекера), обличительную комедию «нравов» («Горе от ума» Грибоедова), агитационно- политическую оду, инвективу и медитацию (В. Раевский, Кюхельбекер, Рылеев), агитационную поэму, преимущественно на историческом материале (Рылеев), и пр.

Основной проблемой, поставленной декабристской журналистикой, была проблема создания народной, национальной литературы, основанной на исторических традициях русского народа и передающей национальный характер его культуры, его народного «духа». Вопросу создания национальной литературы и были посвящены основные теоретические и критические высказывания декабристов. Самая народность литературы заключалась для них прежде всего в выражении национального характера, самобытности, независимости от иностранных влияний и образцов. Героическое прошлое русского народа, примеры высокой доблести, патриотизма и любви к своему народу, — вот тот круг тем и настроений, которые прежде всего характеризовали творчество писателей-декабристов и их журнальную деятельность.

Этим стремлением к созданию национально-героической литературы объясняется и интерес декабристов к народному творчеству, к былинам, песням. Изучение народной поэзии, публикация на страницах журналов фольклорных материалов и статей о фольклоре — являлось чрезвычайно существенным моментом борьбы декабристов за народность литературы. Декабристы, правда, не были одиноки в своем обращении к фольклору. Наряду с журналами декабристского круга фольклорный материал помещает и «Вестник Европы», народными песнями занимается и кн. Цертелев — член шишковской «Беседы», публикуя свои статьи и материалы также и в декабристских журналах. Но если этот интерес к фольклору в консервативных кругах, у «классиков» и литературных староверов связан был с охранительно-патриархальными тенденциями, а самый

фольклор занимал соответствующее подчиненное место в иерархии их жанровой системы, то интерес к фольклору у декабристов имел другой, национально-демократический характер. Поэтому и фольклорные материалы того же Цертелева в декабристских журналах приобретали иное значение, играли другую роль, служа целям создания национальной литературы на основе народных источников.

«Всего лучше иметь поэзию народную», — заявлял в своей программной статье «О направлении нашей поэзии» декабрист Кюхельбекер, и под этим заявлением в сущности могли бы подписаться все остальные теоретики декабристской литературы, развивавшие это положение на страницах «Сына отечества», «Соревнователя просвещения», «Полярной звезды», «Невского зрителя», «Мнемозины». «Думы» Рылеева, народные агитационные песни, написанные им совместно с А. Бестужевым, баллады Катенина и Кюхельбекера, основанные на просторечии и обращении к национально-исторической тематике и т. п., знаменовали практическое обращение к народности в поэзии декабристов. В то же время, обращаясь к истории, декабристы подчеркивали в ней именно героическое прошлое русского народа, эпизоды его борьбы за свою национальную независимость и в особенности период новгородской вольности, представлявшейся им прообразом будущего свободного государства, управляемого выборными от народа. Это обращение к отечественной истории, стремление найти в ней аналогии для настоящего, для осуществления своих идеалов — проходит через все литературные произведения декабристов, определяя программу и содержание журналов и альманахов, ими возглавлявшихся.

Литературные принципы декабристов были тесно связаны с романтизмом в его передовых, прогрессивных тенденциях. Именно в романтизме с его протестом против омертвевших и застойных форм окружающей действительности, с его пониманием литературы, как выражения народного духа, и требованием создания самобытной национальной художественной формы — видели декабристы наиболее близкое им литературное направление. Чувствуя себя литературными новаторами, создателями новой национальной литературы, декабристы большое внимание уделяли литературной теории, вопросам эстетики, полемике и критике, стремясь направить литературное развитие по нужным им путям.

Теории свободы творчества и независимости писателя, провозглашавшиеся романтизмом, как и все стремление романтиков показать неприглядность окружающей действительности и противопоставить ей идеальный мир свободной мечты — были близки к идейным устремлениям декабристов и вошли в их литературный кодекс. Недаром для декабристов свобода творчества, свобода от стеснительных «правил» поэтики классицизма рассматривалась в тесной связи со свободой политической и гражданской, о чем писали в своих статьях Рылеев и А. Бестужев. В то же время принципы романтической эстетики дополнялись декабристами требованием гражданского содержания литературы и обращением к высоким жанрам, лучше всего способным передать героический пафос их идей. Феодально-мистические тенденции романтизма Жуковского были враждебны декабристам. Против них выступили и Рылеев, и Бестужев, и Кюхельбекер.

Замечательную формулу задач, стоявших перед декабристами в литературе, их оценки ее значения для пропаганды «идеалов высоких чувств и мыслей», формулу, выходящую за пределы чисто литературных споров о классицизме и романтизме, дал в своей программной статье «Несколько мыслей о поэзии» Рылеев: «Итак, — писал он, — будем

почитать высоко Поэзию, а не жрецов ее, и, оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме, будем стараться уничтожить в себе дух рабского подражания и, обратясь к источнику истинной Поэзии, употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку, и всегда недовольно ему известных» («Сын отечества», 1825, № 22).

Журнальная деятельность декабристов в основном сводилась к пропаганде нового понимания общественно-социальных явлений, к утверждению национальной культуры и литературы, к обоснованию новой романтической эстетики и к проповеди идей гражданственности, свободолюбия и патриотизма. Этими задачами определялся характер как публицистической деятельности декабристов, так и их художественная практика.

2. «Сын отечества»

«Сын отечества» — один из старейших русских журналов, сыгравший немаловажную роль в развитии общественной мысли начала XIX в. Основанный в 1812 г. Н. И. Гречем как исторический и политический журнал, посвященный событиям Отечественной войны, «Сын отечества» по окончании войны был реорганизован, значительно расширен и стал называться «исторический, политический и литературный журнал». В 1821 г. в издании журнала близкое участие принимал совместно с Гречем А. Ф. Воейков, а в 1826—1839 гг. — Булгарин. С 1815 по 1825 г. «Сын отечества» был самым влиятельным и передовым журналом, в котором сотрудничали Жуковский, Пушкин, Крылов, Бестужев, Рылеев, Гнедич, Кюхельбекер, Корнилович, Ф. Глинка, Куницын, Сомов и другие видные литераторы. С 1817 по 1825 г. журнал был связан с Вольным обществом любителей российской словесности, члены которого печатали в нем свои произведения (ряд речей и произведений членов этого общества печатался в журнале с примечанием о предварительном заслушании их на собраниях общества). Эта тесная связь с Вольным обществом, одной из периферийных декабристских организаций, и постоянное участие в журнале литераторов-декабристов и близких к ним писателей и делало «Сын отечества» наиболее влиятельным и передовым журналом тех лет.

«Сын отечества» выходил еженедельными книжками, тираж которых определялся примерно в 400—600 экземпляров, цифрой для тех лет довольно значительной.

На материале «Сына отечества» можно проследить, как постепенно формировалась общественная мысль, как складывалась передовая идеология той эпохи. Начиная с патриотического подъема в период Отечественной войны, все увереннее и отчетливее нарастает вольнолюбивое, гражданственное настроение, ширится круг прогрессивных идей, выдвигаемых декабристским движением.

Еще во время войны 1812—1814 гг. «Сын отечества» отличался от реакционных изданий правительственно-крепостнического лагеря с их «квасным» патриотизмом (вроде «Русского вестника» Сергея Глинки). В журнале был слышен голос подлинного гражданского патриотизма, была ориентация на отображение общенародного подъема.

Первые два года своего существования «Сын отечества» целиком посвящен был военно-патриотическому материалу. Уже первая статья «Глас истины» Э. М. Арндта определяла это патриотическое направление журнала, призывая «сражаться за свободу и честь своего отечества,

подвизаться за свободу и честь всей Европы» в борьбе с «тираном» — Наполеоном. Наряду с статьями-воззваниями в журнале помещается и беллетристический материал: письма, «анекдоты» о военных событиях, солдатские песни, патриотические стихи. В первом же номере помещена была «Солдатская песня» Ивана Кованько:

Хоть Москва в руках французов:
Это, право, не беда! —
Наш фельдмаршал князь Кутузов
Их на смерть впустил туда.

Весь материал «Сына отечества» подбирался в плане этой патриотической пропаганды. Не только публицистические и исторические статьи, но и все художественные произведения были подчинены агитационным задачам. С этой точки зрения подобраны были и все исторические статьи: «Поход Дария в Скифию», «Освобождение Швеции от тиранства Христиана II», «Речь скифского посла Александру Македонскому» и другие, в которых описывались героические эпизоды борьбы народов с иностранными завоевателями. Особо следует отметить актуальное политическое значение таких басен Крылова, как «Волк на псарне», «Обоз», «Ворон и курица», печатавшихся вперемежку с военными реляциями, рассказами о Наполеоне и о доблести русских войск.

«Сын отечества», в отличие от консервативно-охранительной журналистики, показывал всенародное одушевление, подлинный патриотизм, охвативший русский народ в борьбе с чужеземными захватчиками. Недаром таким гражданским вольнолюбием прозвучал и перевод из вступления Шиллера к его «Истории освобождения соединенных Нидерландов». В журнале приводятся не только многочисленные примеры героизма и патриотического воодушевления русских солдат и крестьян, но и постоянно подчеркивается самое понимание задач войны, как войны освободительной, войны народной, как гражданского подвига народа. В этом отношении весьма показательно помещение статьи лицейского учителя Пушкина — А. Куницына «Послание к русским», который, приводя примеры народного героизма, говорит о войне 1812 года, как о войне справедливой и оборонительной: «Мы сражаемся в родной стороне, наши войска прикрывают мирные хижины, в коих жены, дети и старцы преклоняют колена пред создателем и просят победы и избавления. Французы проливают кровь свою за дело их тирана, мы сражаемся за наше собственное».

Характерна также и публикация многочисленных статей и корреспонденций о героической борьбе испанского народа против наполеоновской монархии за свою национальную независимость («Осада Сарагоссы» и многочисленные статьи и заметки в отделе политики и «Смеси»). Чрезвычайно важно отметить также перевод таких испанских революционных документов, как «Гражданский катехизис» и «Прокламации Верховной Юты испанской». В «Гражданском катехизисе» в ответ на вопрос о том, «кто лучший и благороднейший сын отечества», спрашиваемый отвечал: «тот, который ведет себя с большею честию, храбростию, бескорыстием», а на вопрос о правлении, расстроившем страну «беспечностью вельмож, нами управлявших» — следовал ответ, что «установить оное [правление] должна сама Испания», т. е. весь испанский народ.

Однако у «Сына отечества» не было до конца выдержанной, последовательной линии. Наряду с этой гражданственной тенденцией в журнале нередко встречаются и выпады против французской революции, реакционно-охранительные статьи и материалы, вроде «Мыслей и правил» или «О всеобщей монархии в политическом и нравственном

смысле», в которых всячески осуждалась французская революция и «мрак ложной философии» XVIII в., якобы породившие Наполеона.

По окончании Отечественной войны, с 1814 г., «Сын отечества» реорганизуется, становясь преимущественно литературным журналом, с большим количеством отделов. В объявлении о подписке на 1814 г. сообщалась его новая программа:

«1. Современная история и политика Европы. (Сие отделение будет занимать половину каждой книжки). Листки „К читателям" „ Сына Отечества".

«2. Русская и древняя и новая история.

«3. Русская литература. Известия о в с е х выходящих в России книгах, по правилам библиографии. Рассмотрение некоторых из оных. Рассуждения о русском языке и о русской литературе. Духовное и светское красноречие. Небольшие стихотворения: оды, послания, басни, надписи и пр.

«4. Науки, художества, ремесла.

«5. Смесь».

Эти отделы журнала в основном сохранились и на все дальнейшее время его издания, кончая 1820-ми годами. За это время в «Сыне отечества» был помещен целый ряд статей и художественных произведений, выражавших идейные позиции декабристов. Недаром впоследствии Ф. Вигель в своих воспоминаниях писал, что «жиденькие книжки Сына отечества первой четверти XIX века были полны выразительных, даже бешеных статей».

За эти годы в журнале помещены такие программные статьи, как целый цикл «Писем из Москвы в Нижний Новгород» И. Муравьева-Апостола, статья А. Куницына «О конституции», ряд отзывов на книгу Н. Тургенева «Опыт теории налогов», литературно-критические и публицистические статьи декабристов Рылеева, Кюхельбекера, Катенина, А. Бестужева, Н. Кутузова и многие другие, определявшие передовое направление журнала.

Уже в «Письмах» Муравьева-Апостола, помещавшихся, начиная с 1813 г. и являвшихся непосредственным откликом на военные события, развивалась мысль о необходимости создания своей национальной культуры, которую можно было бы противопоставить ложной и поверхностной французской культуре, оказавшей, по мнению автора, столь губительное влияние на русских. В статье А. Куницына «О конституции» (1818) развивалась программа, которая близка была умеренным декабристам (вроде Никиты Муравьева, Трубецкого и др.), настаивавших на введении конституционного образа правления. В своей статье Куницын, отвергая республиканский образ правления, как «несвойственный» новому времени, писал: «Жители нынешних государств, вопреки духу древних республиканцев, не желая быть сами законодателями, хотят только иметь при лице верховного властителя своих представителей, которые бы его, как отца народа, извещали о нуждах общественных, умоляли о принятии мер противу зол, существующих в обществе, и с благодарностию могли испрашивать у его правосудия законов, для всех ровно благодетельных».

Эта конституционно-либеральная точка зрения на образ правления проводилась и в ряде других статей журнала, из которых особенный интерес представляет статья декабриста Николая Кутузова (впоследствии отошедшего от участия в тайных обществах) «О причинах благоденствия и величия народов» (1820, кн. X). В своей статье Н. Кутузов затрагивал чрезвычайно широкий круг вопросов. Говоря о прогрессивном

значении наук и просвещения, Кутузов отрицает, однако, то «дерзкое и буйное образование ума», которое «старается ниспровергнуть священные истины». В то же время он настаивает на «воспитании отечественном». Поскольку «сила общественная зависит от воспитания», то должно воспитать людей «испытанных в добродетели, известных любовию к отечеству», которые «должны быть орудием» в деле «государственного благосостояния». Отвергая «народное самостоятельное правление», Кутузов видит путь к «народному благоденствию» в справедливых законах, основанных на «духе народном», в их строгом выполнении правительством, предлагая целую программу прогрессивного развития России на этой основе: «Мудрое правительство во всех предприятиях своих должно иметь целию богатство народное: ибо оно доставляет ему силу, влияние на дела других обществ, способы ко внутреннему устройству, возможность составить счастие граждан. Что может доставить сие богатство? Свобода личная, неприкосновенность имуществ и мудрость законов, ограждающая оные. Может ли тот стараться о улучшении состояния своего, кто не только имущество, но и бытие свое считает игрою случая, или где богатый и сильный гнетут слабого, не страшась за сие наказания?».

Большой интерес представляет литературно-критический отдел журнала, в котором на протяжении нескольких лет был помещен ряд статей Грибоедова, Рылеева, Кюхельбекера, А. Бестужева, Сомова, Катенина, затрагивавших важнейшие вопросы литературной борьбы тех лет. Так же как и в вопросах политики, литературная позиция «Сына отечества» не отличалась полным единством и цельностью. На страницах журнала появлялись и статьи, безоговорочно защищавшие принципы и лозунги романтизма (статьи А. Бестужева), и осторожно-нейтральные статьи Греча и Княжевича, и статьи «архаистов» (Катенина, Кюхельбекера), отстаивавших сочетание романтической эстетики с принципами высокого стиля. Оживленная полемика о Жуковском и балладах Катенина, в которой приняли участие Гнедич и Грибоедов (1816), статьи Катенина о принципах русского стиха в связи с переводом Тассо (1822), споры о «Руслане и Людмиле», статьи Кюхельбекера и, наконец, программная статья Рылеева «Несколько мыслей о поэзии», помещенная в 1825 г., — свидетельствуют об оживленной литературой жизни, об интенсивных поисках новых путей.

В этих поисках намечается основная линия литературной борьбы декабристов — за создание литературы «высоких» гражданских жанров и стиля. Своеобразие в преломлении идей романтизма было здесь в том, что романтическое учение о высоком назначении поэта и о национальной самобытности и народности литературы в статьях критиков декабристского лагеря сочеталось с требованием высокой учительной и моральной миссии искусства, его гражданской, вольнолюбивой насыщенности и значимости. Этим объясняется поэзия Грибоедова, Катенина, Кюхельбекера, так называемых «архаистов», выступавших против стабилизованности и омертвения поэтических принципов и жанров как в поэтике классицизма, так и в поэтике сентиментализма.

Полемика с сентиментализмом, борьба за высокое назначение искусства и его «ораторскую», «одическую» направленность начинается в 1816 г. ожесточенными спорами о сравнительном достоинстве баллад Жуковского и Катенина. С критикой Катенина выступил Гнедич. В своей статье «О вольном переводе бюргеровой баллады Ленора» Гнедич отрицательно отозвался о стиле баллады Катенина «Ольга», широко использовавшего в своем переводе народное «просторечие». Балладе Катенина

Гнедич противопоставлял перевод той же баллады Бюргера Жуковским. Жуковский, по его словам, сумел сделать свою балладу «приятною» для русского читателя, смягчив ее грубые, простые краски, в то время как Катенин, наоборот, придал ей русский национальный колорит и пользовался грубым, нелитературным просторечием. «Это простота, но не поэтическая», — писал Гнедич, спрашивая «не поссорятся ли со вкусом» такие слова, как «светик», «споро», «сволочь» и др.

В защиту Катенина выступил Грибоедов, резко напав не только на Гнедича, но и на самого Жуковского, отстаивая принцип «простоты» и «народности». «Что ж ей? [Ольге] предаться только тощим мечтаниям любви идеальной?» — спрашивал Грибоедов, настаивая на реалистической правдивости и простоте. — «Бог с ними, с мечтаниями; ныне, в какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь, песнь или послание, везде мечтания, а натуры ни на волос».

Споры о Жуковском не сходят и в дальнейшем со страниц журнала. Борьба с Жуковским как с поэтом «переводным», «подражателем», велась во имя создания самобытной, национальной литературы, во имя преодоления той эстетической сглаженности и элегической изнеженности и однообразия, которые связаны были с его именем. Эти споры заканчиваются в 1825 г. резким осуждением Жуковского в «Письмах на Кавказ» (за подписью «Ж. К.» и «ДРК»), которое перекликается со статьей Кюхельбекера в «Мнемозине». В «Письме на Кавказ» выносился резкий приговор Жуковскому: «Жуковский не первый поэт нашего века... Было время, когда наша публика мало слыхала о Шиллере, Гете, Бюргере и других немецких романтических поэтах, — теперь все известно: знаем, что откуда заимствовано, почерпнуто или переиначено...».

Тесно связан был с вопросом о самобытности и народности литературы вопрос о литературном языке, усиленно дебатировавшийся в 1822 г. в связи с выходом книги Греча «Опыт краткой истории русской литературы», в которой Греч занял пуристскую позицию последователя Карамзина. Против Греча выступил Катенин, решительно протестовавший против обеднения русского литературного языка и настаивавший на том, чтобы держаться пути, указанного Ломоносовым. Противопоставляя языковой сглаженности и бесцветности языка карамзинистов язык славянский, Катенин отстаивает всю систему «высокого стиля» и жанров.

С защитой высоких эпических жанров выступает в журнале и Кюхельбекер, поместивший в 1825 г. «Разбор поэмы кн. Шихматова Петр Великий». В своем «разборе» Кюхельбекер высоко оценивает эпопею Шихматова и ставит ему в заслугу, что он «умел слить в одно целое наречие церковное и гражданское». Однако Кюхельбекер приветствует поэму лишь как опыт современного героического эпоса в ожидании истинной «народной эпопеи». Еще определеннее высказывался Кюхельбекер в другой статье того же года, в «Разборе фон-дер-Борговых переводов русских стихотворцев», восставая в ней против «самозванцев-романтиков» и защищая Катенина и Боброва. Кюхельбекер полемизирует здесь с «односторонностью» романтизма Жуковского и его школы, с тем элегическим «лже-романтизмом», решительный бой которому он дает на страницах «Мнемозины». Он борется за «истинный романтизм» за героическую эпическую поэзию, против измельчания чувств и мыслей, против условной поэтичности образов и языка: «теперь — быть или по крайней мере казаться романтиком — обязанность всякого любезника. Да решатся наши враги поэты не украшать

чувств своих, и чувства вырвутся из души их столь же сильными, нежными, живыми, пламенными, какими вырывались иногда из богатой души Державина». Развенчивая этот поверхностный и антинациональный романтизм, Кюхельбекер говорит: «Но что же за то и романтизм всех их, пишущих и непишущих? Он обыкновенно останавливается на Ламартине, на французском переводе Байрона, на романах Вальтера Скотта: некоторые только когда-то и как-то заглядывали в мелкие стихотворения Шиллера и даже знают, что Гете написал „Фауста"; одни смельчаки поговаривают иногда о Шекспире, грозятся прочесть его и охотно бранят Расина. . .». Следует напомнить, что эта оценка романтизма во многом совпадала с суждением Пушкина.

Одно из центральных мест в «Сыне отечества» занимала полемика вокруг «Руслана и Людмилы» Пушкина. Своей поэмой Пушкин вызвал недоумение и резкие нападки критики, нарушив традиции классической эпопеи. Старые «богатырские» поэмы обычно не выходили за пределы шутливого жанра и не пытались конкурировать с большой и серьезной поэмой. Пушкин же создал эпическую поэму, смешав героические и комические жанры, сочетав принципы классической поэмы с элементами романтизма.

Уже появление отрывка из поэмы было встречено враждебной критической статьей «Жителя Бутырской слободы» в «Вестнике Европы» (1820, № 11), являвшемся оплотом реакционного классицизма. Критик резко восставал против демократических и романтических тенденций поэмы, против смешения жанров, упрекая Пушкина за «низкие» картины и язык, пародирующие Киршу Данилова, и сравнивая поэму с «гостем» «в армяке и лаптях, втершимся в Московское благородное собрание».

С возражениями «Вестнику Европы» и защитой Пушкина выступил А. Воейков («Сын отечества», 1820, № 31). В своих статьях Воейков, представитель старшей группы арзамасцев, стараясь оправдать «Руслана» в глазах классиков, причислял его к разряду шуточных и богатырских поэм, укладывающихся в классическую систему, приводя в пример «Душеньку» Богдановича.

В дальнейшем, с выходом поэмы, на страницах «Сына отечества» завязывается длительная дискуссия о характере и достоинствах «Руслана», начатая большим разбором Воейкова, помещенным в нескольких номерах журнала (№№ 34—37). В своем разборе Воейков, называя этот род поэмы «романтическим», показывал сочетание в ней разных жанровых элементов: богатырских, волшебных и шуточных. Однако сочувственный разбор Воейкова, признававшего поэму «новым прекрасным явлением в нашей словесности», имел слишком бесцветный и примирительный характер, не поднимая основных поставленных поэмой вопросов.

Полемика по поводу «Руслана и Людмилы» ставила прежде всего вопрос о понимании народности, разрешение которого в пушкинской поэме дано было по-новому. Критик «Вестника Европы», выражавший отношение к поэме реакционно-настроенных «классиков», упрекал Пушкина за чрезмерную близость поэмы к манере и языку народных произведений. Он высмеивал «низкие» картины и «простонародность», неуместные с точки зрения поэтики классицизма, поскольку «низкое» и «простонародное» функционируют в поэме в серьезном плане.

В отличие от «бутырского жителя», молодые «архаисты», Катенин и его окружение, осуждали поэму Пушкина за отсутствие в ней народности и «русской старины», за нарушение русского народного стиля и исторического правдоподобия. Так, на страницах «Сына отечества» высту-

пил с анонимными вопросами Д. Зыков («Письмо к сочинителю критики на поэму „Руслан и Людмила"», 1820, № 38), которого по сходству его суждений с Катениным Пушкин принял за последнего. Процитировав обращение Руслана: «О поле, поле, кто тебя. . .» Зыков спрашивал: «Так ли говорили русские богатыри? И похож ли Руслан, говорящий о траве забвения и вечной темноте времен [ненавистная Катенину и другим «архаистам» романтическая неопределенность выражений], на Руслана, который через минуту после восклицает с важностью сердитой: „Молчи, пустая голова!"».

Народный стиль в понимании Катенина и его единомышленников связывался с архаической окраской. Требование народности сочеталось у него с классическими теориями (требованием «правдоподобия», исторической верности). Этим объясняется и отрицательное отношение Катенина к поэме Пушкина, оспаривавшего наличие в ней элементов народности. Пушкин же между тем ориентировался на живую народную речь, на «просторечие», на смешение разных стилевых элементов. Его «народность» носила романтический характер.

В следующих номерах журнала были помещены «Замечания на разбор поэмы» и «Замечания к сочинителю критики», автор которых Григорий Б-в (А. А. Перовский) оправдывал романтическую «смешанность» жанра и стиля и советовал критикам прочитать Байрона. Перовский не без остроумия высмеял вопросы Зыкова, назвав их допросом: «Иной подумает, что дело идет не о поэме, а об уголовном преступлении» (1820, № 41). Впоследствии Пушкин в предисловии ко второму изданию поэмы (в 1828 г.) иронически цитировал как статью «Вестника Европы», так и «вопросы» Зыкова, как пример критической враждебности и непонимания поэмы.

В «Сыне отечества» была представлена и линия романтизма, которая защищалась Бестужевым, Сомовым, Вяземским; эти писатели не признавали архаических симпатий Катенина и Кюхельбекера.

В этом отношении центральное место занимает статья Вяземского о «Кавказском пленнике», помещенная в 1822 г. Здесь Вяземский дает свое определение романтизма. Отмечая «успехи посреди нас п о э з и и р о м а н т и ч е с к о й», Вяземский считает, что в литературе настала эпоха «преобразования». Он восстает против «так называемых классиков», против «узкой дороги» французской драматургии, против «застоя» — во имя «опытов» и «новых путей». Переходя к разбору поэмы Пушкина, Вяземский замечает, что «Кавказский пленник», наряду с переведенным Жуковским «Шильонским узником», прервали долгое молчание, царствовавшее на Парнасе нашем».

Основное место Вяземский уделяет рассмотрению характера героя: «характер Пленника нов в поэзии нашей, но сознаться должно, что он не всегда выдержан», — пишет он, сравнивая характер пушкинского героя с героями Байрона. В характере Пленника и Чайльд-Гарольда Вяземский подчеркивает типические черты людей этой эпохи: «преизбыток силы, жизни внутренней, которая в честолюбивых потребностях своих не может удовольствоваться уступками внешней жизни, щедрой для одних умеренных желаний так называемого благоразумия; необходимые последствия подобной распри: волнение без цели, деятельность пожирающая, неприкладываемая к существенному. . . должны неминуемо посеять в душе тот неистребимый зародыш скуки, приторности пресыщения, который знаменует характер Чайльд-Гарольда, Кавказского пленника и им подобных». Свое понимание романтизма Вяземский вслед за этим подробно изложил в предисловии к отдельному изданию «Бахчи-

сарайского фонтана» — «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова».

«Сын отечества» в годы 1815—1825 постоянно откликался на все важнейшие события литературной жизни. В то же время выступавшие на его страницах пользовались большой свободой, и полемика часто велась не только с другими журналами, но и между самими сотрудниками.

В течение долгого времени «Сын отечества» вел полемику с оплотом литературных староверов, «классиков» — «Вестником Европы». В этой полемике отметим лишь наиболее яркие эпизоды: выступление Пушкина в 1824 г. по поводу предисловия Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» и полемику О. Сомова с М. Дмитриевым в 1825 г. по поводу «Горя от ума». В своем «Письме к издателям „Сына отечества"» Пушкин, выступая по поводу характеристики романтизма, данной Вяземским, отмечал, что его «Разговор» «писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны...».

Статья Сомова «Мои мысли о замечаниях Мих. Дмитриева на комедию „Горе от ума", и о характере Чацкого» являлась горячей защитой комедии от нападок М. Дмитриева, проникнутых «французско-классическим вкусом». Сомов считает, что «обыкновенная французская мерка не придется по его [Грибоедова] комедии»: «здесь характеры узнаются и завязка развертывается в самом действии, ничто не подготовлено, но все обдумано и взвешено с удивительным расчетом». Сомов возражает и против утверждения, что Грибоедов должен был сделать своего героя «умным и образованным человеком», который «не нравится обществу людей необразованных». Отвергая это наивно-моралистическое требование, упрощающее широкий социально-психологический замысел комедии, Сомов указывает, что Грибоедов «вовсе не имел намерения выставлять в Чацком лицо идеальное, а живого человека».

В 1825 г., незадолго до декабрьских событий, на страницах «Сына отечества» возникла острая полемика с «Московским телеграфом» по поводу только что вышедшей первой главы «Евгения Онегина», сразу же ставшая полемикой об основных принципах романтической поэзии. Если в прежних спорах (о «Руслане и Людмиле», «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане») решались вопросы романтической поэтики, нового жанра поэмы, то в полемике вокруг «Евгения Онегина» на первое место стал вопрос о самой сущности искусства.

Полемика началась с появлением нашумевшей статьи Полевого в пятом номере «Московского телеграфа». Полевой решительно отметал все поэтические каноны и правила, утверждая, что «правила, руководствовавшие Поэта, заключаются в его творческом воображении», и видел тайну «романтической Поэзии» «в неопределенном, неизъяснимом состоянии сердца человеческого». С возражениями Полевому выступил в «Сыне отечества» член кружка любомудров Д. Веневитинов. В своем разборе статьи о «Евгении Онегине» («Сын отечества», 1825, № 8, за подписью: — «в») он осуждает Полевого за его определение романтизма и искусства вообще как выражения «сердца человеческого», настаивая на «неразлучности поэзии с философией», на подчинении всего поэтического произведения «идее». Соглашаясь с Полевым в том, что сейчас нельзя судить «о стихотворстве по пиитике», «по условному числу правил», Веневитинов считает, что «в критике должно быть основание положительное, что всякая наука положительная заимствует свою силу из философии, что и поэзия неразлучна с философией». Настаивая на

философском подходе к искусству и на исторической оценке произведений искусства и эстетических теорий, Веневитинов полагает, что «тогда мы будем судить по правилам верным о словесности и новейших времен»; тогда причина романтической поэзии не будет заключаться в «неопределенном состоянии сердца». Свое определение романтического искусства Веневитинов дает с позиций эстетики «любомудров». Возражая против определения «Евгения Онегина» Полевым как «ряда картин», Веневитинов выдвигает свое понимание «достоинства всякого художника», которое видит в его идеале и ясности «главные мысли».

Веневитинов, совпадая в этом с идеологами декабристов, к которым был в ту пору близок кружок любомудров, не разделяет восторженной оценки «Евгения Онегина» Полевым. Он возражает против его утверждения о народности романа, которую Полевой видел в «описании современных нравов». Веневитинов, не находя ее в «Евгении Онегине», даже противопоставлял ему в этом отношении «Руслана и Людмилу», где Пушкин «показал», что «может быть поэтом национальным». Декабристам роман Пушкина, — вернее его начало, первая глава, — казался слишком шутливым, обращенным к «светской жизни», далеким от их гражданских чаяний. Таковы были отзывы о нем Рылеева и Бестужева (в письмах). [1]

В свете этой полемики о романтизме следует рассматривать и статью Рылеева «Несколько мыслей о поэзии», помещенную в № 22 «Сына отечества» за 1825 г., вышедшем уже в дни междуцарствия. Эта статья являлась своего рода эстетико-теоретической программой декабристов и в то же время как бы подводила итог поэтической работе самого Рылеева. Высказывания его тесно связаны с темами, затронутыми в полемике между Полевым и Веневитиновым.

Рылеев начинает свою статью с указания на «спор о романтической и классической поэзиях», спор, который «давно уже занимает всю просвещенную Европу, а недавно начался и у нас». Однако Рылеев считает, что спор идет больше о словах, чем о «существе предмета», так как спорящие придают «слишком много важности формам». Возражая против такого внешнего подхода к вопросу о поэзии, Рылеев отрицает и самое разграничение на основе случайных и формальных признаков, настаивая на одной «истинной, самобытной» поэзии. «Мне кажется... — говорит он, — ...что на самом деле нет ни классической, ни романтической поэзии, а была, есть и будет одна истинная, самобытная поэзия, которой правила всегда были и будут одни и те же». Отказываясь от разделения поэзии на романтическую и классическую, Рылеев считает древнюю и новую поэзию развитием единой «истинной поэзии», необходимыми условиями которой являются талант, оригинальность и свобода поэтического творчества: «Мы часто ставим на одну доску Поэта оригинального с подражателем: Гомера с Виргилием, Эсхила с Вольтером. Опутав себя веригами чужих мнений и обескрылив подражанием гения Поэзии, мы влеклись к той цели, которую указывала нам ферула Аристотеля и бездарных его последователей. Одна только необычайная сила гения изредка прокладывала себе новый путь и, облетая цель, указанную педантами, рвалась к собственному идеалу. Когда же явилось несколько таковых Поэтов, которые, следуя внушению своего гения, не подражая ни духу, ни формам древней Поэзии, подарили

---

[1] Бестужев писал Пушкину, что он из пушки стреляет в бабочку, противопоставляя его роману сатиру Байрона, а Рылеев ставил первую песню «Онегина» ниже «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника».

Европу своими оригинальными произведениями, тогда потребовалось классическую поэзию отличить от новейшей, и немцы назвали сию последнюю поэзию романтическою, вместо того, чтобы назвать просто новою Поэзиею, Дант, Тасс, Шекспир, Ариост, Кальдерон, Шиллер, Гете наименованы романтиками».

Это утверждение оригинальности поэзии и силы гения Рылеев и кладет в основу определения «истинной поэзии». Основной чертой древней, классической поэзии Рылеев (подобно Шиллеру) считает «вещественность», обилие «картин»; новая же поэзия «более содержательная... у нее более мыслей». Рылеев выделяет «поэмы и трагедии Шиллера, Гете и особенно Байрона, в коих живописуются страсти людей, их сокровенные побуждения, вечная борьба страстей с тайным стремлением к чему-то высокому, к чему-то бесконечному». В вопросе о драме Рылеев, соглашаясь с романтиками в их отрицании «непременного закона» «трех единств» как условия, «стесняющего свободу гения», однако признает возможным их применение в тех случаях, когда «события, которые Поэт хочет представить,... без всяких усилий вливаются в формы древней Драмы». Свою статью Рылеев заключает утверждением невозможности дать исчерпывающее определение поэзии, так как «идеал Поэзии, как идеалы всех других предметов, которые дух человеческий стремится объять, бесконечен и недостижим, а по тому и определение Поэзии невозможно...». Таким образом, отправляясь от эстетических предпосылок идеалистической философии, Рылеев пришел не только к расширенному истолкованию романтизма в его философской основе, но и к теории «истинной поэзии», свободной от всякого догматизма, широко раздвигающей представление о задачах искусства. Он подчеркивает в качестве основной задачи «истинной поэзии» прогрессивное стремление человека к идеалу, к идеалу «высоких чувств» и «вечных мыслей». «Итак, — заключает он свою статью, — будем почитать высоко Поэзию, а не жрецов ее, и, оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме, будем стараться уничтожить в себе дух рабского подражания и, обратясь к источнику истинной Поэзии, употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку и всегда недовольно ему известных».

Этой замечательной статьей Рылеева, надолго и широко наметившей развитие передовой эстетической мысли в России, оказавшей несомненное воздействие на теоретические воззрения не только современников, но и на молодого Белинского, в сущности и заканчивается ведущая роль «Сына отечества», в дальнейшем никогда не подымавшегося до того высокого идейного уровня, на котором он находился 14 декабря 1825 г.

В литературно-критическом отделе журнала следует также отметить статьи А. Бестужева (рецензия на перевод «Эсфири» Катенина — 1819 и др.), А. Измайлова «О рассказе басни» (1816), обозрения русской литературы Греча, «О старинных малорусских песнях» (1818), «Обозрение новейшей английской словесности» (1818), «Нечто о пасторальной поэзии» В. Олина (1817), «О поэзии вообще» (1817), «Письма на Кавказ» В. Княжевича (1820—1825), «Несколько вынужденных слов» Вяземского (1824).

По сравнению с публицистическим и критическим материалом, литературно-художественный отдел занимал в журнале сравнительно меньшее место и не представляет равноценного интереса. Как и во всех журналах 1820—1830-х годов, основное место занимала поэзия; прозаиче-

ские произведения были преимущественно переводные. В течение десятилетия (с 1815 по 1825 г.) журнал издавался примерно по одной и той же программе и одному и тому же плану. О характере номеров журнала может дать представление оглавление одной из частей его, например, ч. 91 за 1824 г.:

«I. Духовное красноречие. 1. Слово. 2. Путешествия. Письма из Лондона. Из новой книги: „Путешествие из Триеста до С.-Петербурга". II. Счетоводство. Краткое рассуждение о бухгалтерии. III. Критика. Статьи, присланные Аристотелем из Москвы. IV. Словесность. Нечто о нынешней русской словесности (Н. Греча). V. Отечественная старина. Новый год в 1724 году (А. Корниловича). VI. Статистика. Письмо из Парижа... VII. Древняя история. Римские письма. VIII. Иностранная литература. Взгляд на открытия и замечательнейшие произведения по части наук, искусств и словесности в 1822 г. во Франции. IX. Российская история. Первая турецкая война в царствовании имп. Екатерины II. X. Российский театр. Ты и вы, комедия. XI. Правоведение. О доказательствах преступлений. XII. Критика. Статья, присланная из Москвы. XIII. Стихотворения. 1. Якутск [Из поэмы «Войнаровский» К. Рылеева]. 2. На выпуск из Общества благородных девиц 1824 года. XIV. Современная русская библиография. XV. Новости политические. XVI. Смесь. 1. О журнале российского библейского общества. 2. О книге: Искусство снимания мест. 3. Об издании путешествия в Китай г. Тимковского».

Большое место в журнале занимали путешествия и научно-популярные статьи. Среди этих материалов следует выделить оригинальные русские произведения: «Освобождение капитана Головина из японского плена» (1813), «Дневные записи русского офицера» Ф. Глинки (1815), «Зимование в Камчатке» (1816), «Посещение пирамид» Сенковского (1822), «Гибралтар» Н. Бестужева (1825), очерки о русских самоучках (в частности о механике Кулибине, 1819, ч. 55) П. Свиньина, и др., — свидетельствующие как об усиленном интересе журнала к русской жизни, так и о прогрессивности его позиции в оценке иноземных явлений. Введение научно-популярных статей (например «Чугунные дороги и паровые пушки» Н. Р. У. в 1825 г.) придавало журналу особенно разнообразный и солидный характер. Особенно обширно был представлен политический отдел журнала; следует выделить такие статьи, как «Замечания на основы Российского права» А. Куницына (1819), «Речь о любви к отечеству» В. Панаева (1819), ряд обозрений «Современной истории» (1820, 1821, 1822 гг.), разбор книги «Нравственность в применении к политике» Жуи (1822), «Сравнение крестовых походов с священной бранию текущего столетия» (1822). Статьи по статистике и экономике и о системе взаимного обучения свидетельствовали об усиленном внимании к этим вопросам.

Отдел поэзии в «Сыне отечества» выделялся участием лучших тогдашних поэтов. Пушкин начал печататься в «Сыне отечества» с 1815 г. («Наполеон на Эльбе») и поместил в нем десять стихотворений и отрывков: «Погасло дневное светило» (1820), «Черная шаль» (1821), «Муза» (1821) и другие. Помимо Пушкина, следует отметить участие в журнале Грибоедова («К Телешевой»), Крылова, Кюхельбекера («К Дельвигу» и др.), Гнедича, Рылеева, Ф. Глинки, Жуковского («Рыцарь Тогенбург», «Овсяный кисель» и др.), Дельвига, Катенина, Милонова, Плетнева и других.

14 Зак. 4378. Очерки по истории журналистики.

Среди поэтических произведений, помещенных в журнале, особенно важно указать фрагменты из комедии Грибоедова «Своя семья», отрывки из перевода «Илиады» Гнедича, «Послание к Н. И. Гнедичу», «Святополка», «Богдана Хмельницкого» и другие думы Рылеева, хотя особенно строгого и принципиального подбора стихов в «Сыне отечества», в отличие от «Соревнователя» или «Полярной звезды», не было. Художественная оригинальная проза почти не появлялась на страницах журнала, если не считать очерков и исторических описаний.

После декабрьского восстания «Сын отечества» не только лишается основной части своих сотрудников, но и круто поворачивает в лагерь реакции и теряет очень скоро всякое литературное значение. Журнал начинает заполняться случайным материалом, преимущественно переводным, и перестает быть проводником передовых идей. С 1829 г. он сливается с «Северным архивом» Булгарина и окончательно превращается в подсобное предприятие при «Северной пчеле», просуществовав таким образом до 1840-х годов.

3. «Соревнователь просвещения и благотворения»

«Соревнователь просвещения и благотворения» (или как значилось на титуле «Труды вольного общества любителей Российской словесности») являлся одним из наиболее видных и влиятельных журналов 1820-х годов. «Соревнователь просвещения» выходил ежемесячными книжками с 1818 по ноябрь 1825 г. (всего 32 части). Это был орган «Вольного общества любителей российской словесности», объединявшего наиболее передовых писателей тех лет и находившегося под непосредственным идейным и организационным руководством декабристов. «Вольное общество любителей российской словесности» (не смешивать с «Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств» или «Михайловским обществом» под председательством А. Е. Измайлова), председателем и руководителем которого являлся декабрист Ф. Глинка,—было одной из периферийных просветительных организаций «Союза благоденствия», предусмотренных уставом общества, подобно «Зеленой лампе» или «Военному обществу» при штабе Гвардейского корпуса.

В разделе «Зеленой книги», посвященном «Вольным обществам», указывалось, что их целью было порождать «охоту к взаимному сообщению полезных мыслей, познание гражданских обязанностей и любовь к отечеству». Эта задача и осуществлялась как деятельностью самого «Вольного общества любителей словесности», так и издаваемым им журналом. В программном объявлении об его издании особо отмечалось, что «преимущественное внимание» журнала будет обращено «на все отечественное».

Просветительные и филантропические цели Общества объединяли вокруг него, однако, вовсе не одних прогрессивно-настроенных литераторов. Первоначально активное участие в его деятельности и в журнале принимала правая, консервативно настроенная группа писателей (А. Е. Измайлов, В. Каразин, кн. Н. Цертелев, В. Панаев и др.), оттесненная к концу 1821 г. прогрессивной частью членов во главе с Ф. Н. Глинкой. Эта группа присоединилась к «Михайловскому обществу» и стала резко выступать против Вольного общества в «Благонамеренном». Правда, и все Вольное общество в целом не отличалось особым радикализмом своих позиций, начиная с самого Ф. Н. Глинки, принадлежавшего к правому умеренному крылу Союза благоденствия.

Эта умеренность в политической программе и осторожность, вызывавшаяся цензурными соображениями, объясняют отсутствие в журнале публицистических и художественных произведений с явной политической программой, с резкой критикой существующего строя. Просветительная, образовательная задача выдвигалась на первое место, определяя энциклопедический характер журнала. Однако влияние декабристской идеологии и близкое участие в журнале Ф. Глинки, Рылеева, А. Бестужева, Кюхельбекера, Корниловича и других писателей-декабристов, задававших тон в журнале и определявших его направление, сказалось и в выборе тем и материалов, и в идейном освещении выдвигавшихся вопросов. Обращение к материалам отечественной истории и разработка национально-патриотических тем, освещение и пропаганда романтической прогрессивной эстетики — в основном определяли лицо журнала, его связь с декабризмом.

Связь «Соревнователя просвещения» с Вольным обществом любителей российской словесности носила не только идейный, но и организационный характер. Произведения, печатавшиеся в журнале, обычно предварительно прочитывались на общих собраниях членов общества и одобрялись к печатанию его «цензорами». Журнал издавался на средства Общества; печатаемый материал не оплачивался авторам (преимущественно членам Общества), а доход от журнала поступал на благотворительные цели. Впрочем, журнал почти не приносил дохода, ввиду незначительного тиража (200—300 экз.).

Содержание журнала довольно точно отражено в программе, печатавшейся на его обложке:

«I. Науки и художества.

Словесность древняя и новая; — Исследования о свойстве языков; — Древности; — Описание земель и народов; — Исторические отрывки и биографии знаменитых мужей, — ученые путешествия, — разные рассуждения, речи и вообще все любопытное по части наук и искусств; — Новые изобретения, открытия и т. п.

II. Изящная проза.

Живописные путешествия, изображение характеров, повести.

III. Стихотворения

IV. Смесь.

1. Библиография, или известия и суждения о книгах, также извлечения из оных. 2. Извлечения из разных журналов, 3. Записки Общества».

Главное место в журнале занимали «науки и художества» и стихотворения, а «изящная проза», что вообще характерно для тех лет, почти отсутствовала. Среди научно-популярных статей больше всего места уделялось истории, географии и философии.

Не меньше места занимали в журнале описания путешествий. Среди них следует выделить «Записки о Голландии» Н. Бестужева и «Путешествие в Ревель» А. Бестужева — не только как оригинальные и литературно значительные произведения, но и как произведения, проникнутые либеральными, декабристскими настроениями.

«Соревнователь» издавался в годы, когда национально-освободительное движение охватило Европу. Атмосфера политической напряженности и неустойчивости, нарастание революционных настроений в самой России, характеризующие эти годы, не могли найти прямого выражения на страницах журнала, так как печатать статьи о политических событиях «Соревнователь», как и остальные журналы, не имел права. Однако эта политическая атмосфера все же сказывалась в ряде намеков, находила свое отражение в статьях и художественных произведениях, не касав-

шихся непосредственно политических событий. В известной мере этой цели служили переводные статьи, подбор которых свидетельствовал об определенной позиции журнала. Такова, например, статья, касавшаяся широкой принципиальной темы, — «Сравнение древней истории с новой», переведенная А. Гевличем из «Tableau de Revolution du système politique» (1819, ч. VIII), в которой рисовалась грозная картина революционных волнений, охвативших Европу, когда «перевороты» и «мятежи» «колеблют престолы». Однако, приветствуя исторический прогресс в прошлом, в борьбе с феодализмом, когда были разрушены «тяжкие оковы папской власти» и «ум человеческий получил большую свободу», автор статьи возражает против «фанатизма» и революционных переворотов, настаивая на мирном развитии «познаний и наук», ведущих человека «к совершенству».

Более программный характер носит речь одного из видных членов Вольного общества Д. Сахарова «Об успехах просвещения», помещенная в IX части «Соревнователя» (1819). В своей речи Сахаров, давая широкую картину всей мировой истории, высказывал точку зрения либерально и прогрессивно настроенного большинства членов Вольного общества. Приветствуя в начале своей речи прогрессивное развитие человечества, обязанного этим «свободе», Сахаров говорит, что «Свобода была причиною развития ума человеческого, она же способствовала и быстрым успехам его». Сочувственно отмечает он и роль просветительной философии XVIII в., когда «человеколюбие пробудилось в сердцах людей»; он считает необходимым освобождение негров в Америке, с похвалами отзывается о Монтескье, «усовершенствовавшем теорию законоведения», о Беккариа, «из любви к человечеству писавшем свое творение о преступлениях и наказаниях», об Адаме Смите, чей «гений начертал систему работы», о Бюффоне и Руссо. Чрезвычайно характерно, однако, что французской литературе он противопоставляет немецкий и английский романтизм, указывая, что немецкая словесность в новейшее время получила право спорить с французскою... Не столь стесненные правилами, немецкие писатели могли предаться всей пылкости воображения». Шиллер «покорил себе и язык и сердце... Лорд Байрон и Вальтер Скотт — два поэта с отличными талантами, со славою поддерживают достоинство английской поэзии». Свою речь Сахаров заканчивает радостной уверенностью в том, что и в нашем любезном отечестве заря просвещения распространяется», приводя в пример деятельность Ломоносова, Державина и Карамзина.

Но наибольший интерес представляют статьи, посвященные философско-эстетическим вопросам, занимавшие в журнале центральное место и, пожалуй, полнее всего представлявшие его общественную и идейную позицию. Среди таких статей наиболее значительна речь Н. И. Гнедича при вступлении его в действительные члены Вольного общества, помещенная в части XV журнала (1821). В своей речи Гнедич, в эти годы близко стоявший к декабристам, развивал ту просветительски-моральную программу, которой придерживалось и большинство общества, видя в литературе средство морального воспитания и улучшения нравов, борьбы с «пороками, предрассудками, невежеством, со всеми невидимыми, но опаснейшими врагами общества человеческого». Призывая «друзей человечества» к борьбе за добродетель, Гнедич считает задачей просвещенных писателей управлять мнениями: «Писатель своими мнениями действует на мнение общества... Да будет же перо в руках писателя то, что скипетр в руках царя: тверд, благороден, величественен! Перо пишет,

что начертается на сердцах современников и потомства. Им писатель сражается с невежеством наглым, с пороком могущим, и сильных земли призывает из безмолвных гробов на суд потомства». Это требование от писателя гражданского служения свидетельствовало о новом понимании задач литературы, возникшем в связи с ростом освободительного движения. Недаром свою речь Гнедич заканчивает словами: «Пусть он [т. е. писатель] пишет не для человека, но для человечества».

Эта же идея о служении человечеству еще более ярко и отчетливо проводилась в «Европейских письмах» Кюхельбекера, в его вымышленном утопическом путешествии «жителя американских северных штатов 25 столетия». В них с большой решимостью развивалась идея общественной «добродетели» и «справедливости», достигнув которых, человечество достигнет «высшей степени человечности» (см. письмо VIII из Рима — 1820, ч. IX). Эти идеи «истинной добродетели» и «просвещения» проходят через весь журнал, повторяясь как в оригинальных, так и в переводных статьях (см. статью А. Гевлича «Об изящном», где свойством человеческой души объявляется стремление ее к «истине и добродетели» — 1818, ч. III).

Однако «просветительский» характер философско-эстетических высказываний «Соревнователя» далек от просветительной материалистической философии XVIII в. Наоборот, в ряде статей журнала просветительная философия XVIII в. критикуется, так же как и радикализм французской буржуазной революции 1789 г., являющейся «детищем» этой «безбожной» философии, решительно осуждается. Философии разума противопоставляется идеалистическая философия «сердца». Так, например, в статье «О философии французов», переведенной из книги де-Сталь «О Германии», читаем: «Философы XVIII в. занимались более общественною политикою, нежели первоначальными свойствами человека»; тут же решительно осуждаются Гельвеций и «безбожный творец» «Системы природы» — Гольбах (1820, ч. XI). Эти же мысли излагались и в речи Д. Сахарова «Об успехах просвещения», также осуждавшего атеизм и просветительную философию и выдвигавшего на первое место романтическую литературу новейшего времени.

Центральное место в «Соревнователе» заняли статьи О. Сомова о романтизме (1823, чч. XXIII и XXIV), явившиеся первым по времени обоснованием в русской литературе эстетики и теории романтизма в его прогрессивных устремлениях.

Сомов прежде всего выступает против нормативности и рационализма искусства классицизма. Он начинает с провозглашения новой эры романтического искусства. «Новой пищи, новых наслаждений оно [воображение] требует и обвиняет поэзию классическую в тесноте ее пределов. Не должно однако ж в сем случае строго судить воображение. Изящные или свободные искусства, им и для него созданные, перестают быть свободными, когда их теснят ярмом правил». Тут же Сомов предупреждает о различии классической поэзии древних греков и римлян и французского классицизма.

Исходя из разделения поэзии на классическую и романтическую, поэзию чувственных форм и поэзию, ведущую свое происхождение от христианского средневековья, Сомов возражает против отожествления новой романтической поэзии с средневековой христианской, считая, что романтическая поэзия прежде всего должна отличаться чертами «народности» и «местности». Крупнейшими представителями этой новой романтической поэзии Сомов считает Шекспира и Байрона. Он разделяет с западноевропейским романтизмом культ Байрона. Шекспир для

него был первый, кто проявил «глубокое познание человеческого сердца», был «искусным живописцем человеческой природы». В Шекспире он высоко ценит не только выразителя человеческих страстей, но и художника-историка, верно передавшего свою эпоху: «Шекспир не только был отличный изобразитель природы и страстей: он верный историк нравов и обычаев тех времен и мест...».

Особенное внимание уделяет Сомов поэзии германской, видя ее отличительную сторону в том, что здесь «поэзия слита с философией», и подчеркивая «возбуждение» ею «любви к отечеству» (патриотические оды Клопштока). В германской поэзии Сомов особенно подробно останавливается на Клопштоке, Гете и Шиллере.

Наибольший интерес представляет третья статья Сомова, посвященная выводам о применении романтической теории к русской литературе и выдвигавшая требование «народной», т. е. национальной литературы, созданной на основе истории национального фольклора. Эта статья Сомова чрезвычайно важна для понимания как эстетической позиции декабристского лагеря, так и дальнейших споров о народности. Устанавливая, что «Словесность народа есть говорящая картина его нравов, обычаев и образа жизни», Сомов требует выявления в литературе этих народных национальных черт и местного колорита, горячо возражая против мнения, что в России не может быть «поэзии народной». Под народной поэзией Сомов понимает поэзию национальную, видя ее отличительные качества в «духе языка, в способе выражения, в свежести мыслей; в нравах, наклонностях и обычаях народа». В качестве национальных черт русского народа, черт, которые должны, по его мнению, выразиться и в русской национальной поэзии, он называет «твердость духа, презирающую все опасности и самую смерть», «нетерпение ига чуждого», «радушное гостеприимство».

Сомов не ограничивает романтическую поэзию передачей этих национальных особенностей русского народа, наоборот, в разнообразии нравов и быта народов, населяющих территорию России, в разнообразии климата, пейзажа — он видит богатейшие возможности для создания истинной романтической поэзии, которая может использовать все богатство красок и «черт местности». И «воинственные сыны тихого Дона и отважные переселенцы сечи Запорожской», «соединяясь», «пламенною любовью к отчизне», «носят черты отличия в нравах и в местности». Это разнообразие нравов и местных особенностей, богатство «разнообразных поверий и преданий» — дает возможность поэтам русским, «не выходя за пределы своей родины», «перелетать от суровых и мрачных преданий Севера к роскошным и блестящим вымыслам Востока, от образованного ума и вкуса европейцев к грубым и непритворным нравам народов звероловных». Еще неиспользованными «поэтическими богатствами», к разработке которых он призывает, являются в глазах Сомова Сибирь, Крым, Кавказ. Сомов отмечает, что созданию романтической поэзии способствует также героический характер русской истории. Но вместе с тем он подчеркивает, что нельзя ограничивать поэта лишь историческими картинами; он отстаивает абсолютную творческую свободу художника-гения, «не терпящего оков»: «Весь мир видимый и мечтательный есть собственность Поэта». В качестве первых русских поэтов, составляющих «народную гордость», он называет Державина, Жуковского и «юного» Пушкина; Державин «влил в поэзию мысли высокие и отвлеченные»; Жуковский, познакомив русских с романтической поэзией германцев и англичан, «открыл нам новые пути в мир воображения», а Пушкин — «нашел другой след в сей же самый мир: в вымыс-

лах и мечтах его, в языке и способе выражения больше раскрываются черты народные русские».

В то же время Сомов, как несколько позже и Кюхельбекер, борется против сентиментализма и элегической поэзии, против «ограниченности» и «однообразия» стихов, «ежедневно наводняющих словесность нашу». «Все роды стихотворений, — пишет он, выражая общее всем декабристам стремление к действенной, гражданской поэзии, — теперь слились почти в один элегический: везде унылые мечты, желание неизвестного, утомление жизнью», «выраженные непонятно и наполненные без разбору словами, схваченными у того или у другого из любимых поэтов». Свою статью Сомов заканчивает призывом к созданию национальной поэзии, достойной «народа русского, славного воинскими и гражданскими добродетелями», которому «необходимо иметь свою народную Поэзию, неподражательную и независимую от преданий чуждых» (1823, ч. XXIV).

Требование национальной самобытности и народности литературы сказалось в усиленном и постоянном интересе журнала к народному творчеству. Обилие статей о народных песнях, былинах, преданиях и, что еще более существенно, публикация на страницах журнала многочисленных образцов народной поэзии — являлись прямым следствием этого интереса. Так, на протяжении нескольких лет в «Соревнователе» были помещены: «Черты нравов и духа народа русского, извлеченные из песен» (1818, ч. I), «Изустные народные предания о городе Белом, Смоленской губернии» (1818, ч. II), «Нечто о народных русских песнях» (1818, ч. II), «О свадебном русском обряде» (1822, ч. XXI), «Взгляд на состояние российской словесности от начала оной до XVIII столетия» (1823, ч. XXII). Большое место занимали тексты былин и народных песен в статье кн. Цертелева «О народной поэзии» (1823, ч. XXII), в которой проводилась мысль о том, что в старинных народных песнях «хранятся многие обычаи, черты нравов и образа мыслей наших предков». Это положение иллюстрировалось многочисленными образцами наиболее известных былин, обрядовых и бытовых песен. В статье А. Гевлича «Нечто о народных русских песнях» развивалась уже романтическая концепция народного творчества как выражения «духа» народа: «Песни, излившиеся прямо из сердца народа, еще в колыбели самой природы, суть чистые отпечатки его характера», — писал Гевлич. Наряду с «историческими» народными балладами Рылеева и стилизацией под народную речь в «народных рассказах» Ф. Глинки («Суд божий», 1820, ч. XI) «Соревнователь» начинал уже подлинное изучение народного творчества и знакомил читателей с его лучшими образцами.

Сравнительно немного места занимает в журнале художественный отдел, представленный преимущественно стихотворениями второстепенных и третьестепенных поэтов (А. Крылова, Плетнева, Бриммера, Писарева, Розенмейера, Люценко, Дуропа, Д. Хвостова и др.). На этом бесцветном и довольно пестром фоне эпигонов как классицизма, так и сентиментализма — выделяются прежде всего стихи поэтов-декабристов — Рылеева, Кюхельбекера, Федора Глинки — как своей гражданской насыщенностью, так и художественным совершенством. Рылеевым в «Соревнователе» были помещены «Святослав», «Смерть Ермака», «Боян», «Глинский» и другие думы, «Смерть Войнаровского» и «Гайдамак»; Кюхельбекером — «Поэты», «Ангел смерти», «К брату», «Вдохновение» и др.; из многочисленных стихотворений Ф. Глинки наибольший интерес представляет «К соловью в клетке». Кроме того, несколько стихотворений напечатали Жуковский, Дельвиг, Баратынский,

Гнедич и, наконец, Пушкин («На лире скромной благородной», эпиграмма «Марает он единым духом», «Я говорил тебе страшися девы милой», «Мила красавица. . .», «Желание славы»).

Передовое направление журнала нашло свое выражение не только в его публицистическом и критическом разделах, но и в художественных произведениях, помещаемых на его страницах. Стихи поэтов-декабристов — К. Рылеева, В. Кюхельбекера, Ф. Глинки и других — не только основаны на этом героическом, свободолюбивом пафосе, но и полны иносказательных намеков и приурочений к текущей политической обстановке. Таковы думы Рылеева («Святослав», «Глинский», «Петр Великий в Острогожске»), национально-историческая тематика которых служила воспитанию чувства любви к отчизне и должна была внушать идею героического подвига и готовности пожертвовать жизнью за родину и народ. Таковы некоторые стихотворения Ф. Глинки. Таковы мотивы протеста против угнетения в стихах В. Григорьева «Жалобы израильтян», «Чувства пленного певца», «Падение Вавилона», в которых звучит протест против «тирана», покорившего страну. В «Падении Вавилона» народ радуется при вести о смерти тирана:

Давно ли меч, в крови ненасытимый,
В руке убийц властительных сверкал?
Виновник бед и язв неисцелимых
Давно ли он народы пожирал?

Таковы и многочисленные стихотворные отклики на борьбу греков за свою независимость, например стихотворение О. Сомова «Греция», два сонета Т. и др.

Идея о высоком назначении поэта и его общественном служении в обстановке правительственной реакции и нарастания революционного движения являлась также запретной темой. Недаром стихотворение Кюхельбекера «Поэты» («Соревнователь», 1820, № 4), написанное непосредственно после ссылки Пушкина, вызвало донос на автора, в котором цитировались стихи, имевшие агитационный политический смысл:

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала!

В отделе прозы, наряду с малозанимательными переводами чувствительных повестей, было помещено несколько повестей Нарежного из его «Славянских вечеров» («Игорь», «Любослав», «Александр») и подражавшего ему А. Дуропа («Ратмир и Всемила») — своей национально-патриотической тематикой перекликавшихся с думами Рылеева. Но наибольший интерес представляет повесть Ф. Глинки «Зиновий Богдан Хмельницкий», национально-освободительный пафос которой переосмыслялся в плане гражданского вольнолюбия декабристов. Недаром молодой Хмельницкий произносит в этой повести речь, обращенную к своему отцу и явившуюся прямым агитационным монологом декабриста. Устами героя повести Глинка с полной определенностью высказывает пожелания декабристов о представительном образе правления, — «тайне счастия народного». «Он советовал собрать „старейшин" из всех племен для составления законов, свойственных духу народа и времени, а посему твердых, не нарушимых. . . Свобода, разумеется законная, благоразумная, есть одно из главнейших составных частей счастия народного. Она столь же необходима для государства, как свет для целого мироздания».

Из оригинальных прозаических произведений следует упомянуть о повести Н. Бестужева «Гуго фон Брахт», написанной в мелодраматических тонах «готического» романтизма, и «Второй вечер на бивуаке» Александра Бестужева, представлявший один из первых и блестящих образцов романтической новеллы.

4. «Невский зритель»

К «Соревнователю просвещения» особенно близко примыкает «Невский зритель», разделявший с ним общие идейные позиции и находившийся также в кругу декабристской идеологии. Несмотря на свое кратковременное существование (с января 1820 по июнь 1821 г.; всего вышло 18 ежемесячных книг журнала, составивших шесть частей), «Невский зритель» был заметным и своеобразным явлением в журналистике 20-х годов. В нем сотрудничали наиболее передовые литераторы — Пушкин, Кюхельбекер, Рылеев, Александр и Николай Бестужевы, Баратынский.

Издателями журнала были Г. Кругликов, М. Яковлев и И. М. Сниткин, но активное участие и сотрудничество в «Невском зрителе» Рылеева (предполагавшего с 1821 г. стать его издателем) и в особенности Кюхельбекера оказало большое влияние на идейное направление журнала.

Несмотря на идейную близость, общность многих сотрудников и сходство самого типа издания с «Соревнователем», «Невский зритель» отличался от него своим преимущественным интересом к вопросам социальной истории, педагогики и экономики. В «Невском зрителе» ведущее место занимали отделы «История и политика» и «Воспитание», которые заполнялись обычно статьями Сниткина и Н. А. Рашкова. В журнале имелись следующие постоянные отделы: I. История и политика. II. Воспитание. III. Нравы. IV. Литература. V. Критика. VI. Изящные искусства. VII. Смесь.

Общественная позиция «Невского зрителя», как и «Соревнователя», определялась пропагандой либерально-просветительных идей, верой в мирное улучшение общества путем просвещения и разумного законодательства. Это направление журнала намечалось уже в его первом номере в программной статье одного из издателей Сниткина «О постепенном образовании гражданских обществ». Начиная свою статью с заявления, что «исследовать начало и возвышение обществ — значит наблюдать постепенные успехи разума», Сниткин рассматривает с этой просветительной точки зрения всю историю человечества и устанавливает, что «с продолжением времени сообразно успехам познаний справедливость и разум начали приобретать себе уважение». Исходя из этого, он следующим образом определяет задачу журнала: исследовать причины «благоденствия и упадка» государств, «описать... состояние правления, законодательств, наук и искусств — вот те предметы, на которые особенно будет обращено внимание в „Невском зрителе"».

Выполнению этой задачи и служил ряд статей Сниткина в отделе «История и политика»: «О правлении, образованности и политических переменах Греции», «О правлении и законодательстве римлян, начиная от Ромула до уничтожения царского достоинства», «Об ораторах и политическом красноречии вообще и особенно во Франции» и др. Во всех этих статьях — и в особенности в «Обозрении современных происшествий и политического состояния Европы» — проводилась та же либе-

ральная мысль о просвещении и добродетели, как основе процветания гражданского общества. Признавая, что «образ монархического правления основан на природе вещей», Сниткин в то же время восстает против олигархии и деспотизма «тиранов», из-за которых «народ теряет терпение», «рождаются бунты» и «он кровию своею покупает демократию». Однако в демократии Сниткин видит опасность анархии и, хотя он сочувственно говорит об афинской республике и римских законах, основанных на разуме, но в то же время боится и осуждает революцию, ниспровергающую «религию, престол, нравственность». Его идеал — в соединении взаимного блага правительств и народов.

Эту либерально-просветительную программу поддерживали и статьи о воспитании («Взгляд на историю воспитания» Рашкова, «О сохранении здоровья детей», «О гимнастике», «О нравственном воспитании» и др.), с их похвалами педагогическим идеям Руссо и одобрением ланкастерской системы взаимного обучения.

Значительное место уделялось в журнале и вопросам экономики, торговли и промышленности. В статьях «О влиянии правительства на промышленность», «О влиянии фабрикантов на промышленность», «Об Адаме Смите» и в особенности в статье «Должен ли быть позволяем привоз всех иностранных товаров, или только некоторых, и каких более» — оживленно обсуждались вопросы современной экономической жизни России, прежде всего вопрос о свободе торговли и покровительственных тарифах. Доказывая, что свобода торговли «отдает преимущество трудолюбию сел» и «оттесняет промышленность городов», журнал стоит за развитие отечественной промышленности, советуя в вопросах торговли «держаться середины».

Ярки и интересны произведения Кюхельбекера, напечатанные в «Невском зрителе». Он поместил здесь, помимо ряда стихотворений («Романс», «К моему гению», «Кофе», «К М. К. Кюхельбекеру» и др.), свои «Европейские письма» (окончание которых было напечатано в «Соревнователе»). В этих письмах Кюхельбекер в форме фантастической утопии давал резкую сатиру на современный государственный строй и высказывал свои взгляды на установление будущего совершенного государства. Он говорил в них о том «счастливом времени», когда «политика» и «нравственность» станут одним и тем же; развивая этот утопический идеал, он изображает фантастическое русское поселение будущего у подножия Этны, достигшее уже золотого века. Кюхельбекер видит «главное достоинство человечности и гражданственности» в гармоническом развитии общества, не стесненного принудительным государственным режимом. Эта утопия выражала принципиальную идейную позицию журнала и самого Кюхельбекера.

Литературная часть журнала занимала значительно меньше места, чем публицистическая; однако участие Пушкина, Рылеева, Кюхельбекера, Баратынского, Дельвига — делало стихотворный раздел исключительно содержательным и интересным. Пушкиным, помимо нескольких лирических стихотворений («Дорида», «Дориде», «Прелестнице» и др.), был помещен отрывок из первой песни «Руслана и Людмилы». В октябрьской книжке журнала за 1820 г. была напечатана знаменитая сатира Рылеева «К временщику», направленная против всесильного тогда «всей России притеснителя» Аракчеева. Гражданский, свободолюбивый пафос этой сатиры, ее обличительная сила и смелость привлекли всеобщее внимание. Эти стихи Рылеева стали широко известны, распространялись в многочисленных списках, служа делу революционной пропаганды декабристов. «Порыв благородного негодования, — как вспоми-

нал впоследствии один из декабристов (Н. Бестужев), — и меткие удары сатиры, безбоязненно нанесенные такому сопернику, обратили всеобщее внимание». В связи с этими толками над журналом чуть-было не разразилась гроза, и его собирались закрыть, но Аракчеев предпочел не узнать свое изображение в сатире Рылеева, и дело закончилось благополучно.

Отдел «изящной прозы» состоял преимущественно из переводных сентиментальных повестей. Среди них выделяются отрывки из сатирического романа П. Яковлева «Удивительный человек», впоследствии продолжавший печататься в «Литературной газете».

Критический отдел занимал в журнале важное место: в нем был помещен «Взгляд на текущую словесность» В. Кюхельбекера, в котором он разбирал произведения Катенина и Анны Буниной, статьи О. Сомова под псевдонимом «Житель галерной гавани» (полемика с А. Бестужевым-Марлинским по поводу перевода баллады Гете «Рыбак») и др. Среди критических статей следует выделить программную статью «О критике вообще». В этой статье намечалась основная задача критики, заключавшаяся, по мнению автора (Б. Б.), в том, чтобы «проложить рождающемуся таланту дорогу к истине и познанию общественного блага... поддержать мнение публики о настоящем достоинстве литературы, и особенно отечественной...». Из остальных статей наибольший интерес представляет разбор «Руслана и Людмилы» («Замечания на поэму „Руслан и Людмила"», помещенный в № 7 за 1820 г.

В отличие от «Соревнователя» или «Мнемозины», «Невский зритель» не был проводником романтической эстетики и теории (хотя и в нем была помещена статья «О жизни Шиллера» Рашкова). Это сказалось и в оценке первой пушкинской поэмы с ярко выраженных консервативных позиций. Критик, отметив «чрезвычайную легкость и плавность» стихов Пушкина, в то же время негодует на то, что они «перемешаны с низкими сравнениями, безобразным волшебством, сладострастными картинами и такими выражениями, которые оскорбляют хороший вкус». Но критик оценивает поэму не столько с художественной точки зрения, признавая в ней все же красоты поэзии, сколько с точки зрения ее общественного и просветительного значения, считая, что «надобно жалеть, что дарование не избрало для себя более благородного и возвышенного предмета, а обратилось на такой, который мог занимать тогда только, когда ум и знания были еще в младенчестве». Исходя из этого, он осуждает фантастические, сказочные сюжетные элементы поэмы, а также и выражения, нарушающие «хороший вкус». Заканчивая свой разбор, критик высказывал требование общественной, гражданской насыщенности поэзии, указывая, что «цель поэзии есть возвышение нашего духа». Поэт «должен возвещать нам о подвигах добродетели», «возбуждать любовь к отечеству», «геройство в несчастиях».

5. «Полярная звезда»

Наиболее ярким памятником декабристской печати была «Полярная звезда». Ежегодный альманах «Полярная звезда» издавался в 1823—1825 гг. А. Бестужевым и К. Рылеевым и объединял вокруг себя большинство наиболее известных и передовых писателей 1820-х годов. То обстоятельство, что альманах издавался и редактировался двумя виднейшими деятелями декабристского движения, делало его особенно принципиальным. Всего было издано три альманаха на 1823,

1824 и 1825 годы, четвертая книжка, озаглавленная «Звездочка», не была закончена печатанием в связи с событиями 14 декабря.

«Полярная звезда» не только полнее журналов, связанных с декабристским движением, выразила литературные принципы и взгляды декабристов, но и сыграла большую роль в общественной и литературной жизни тех лет, приобретя широкий читательский успех и открыв собой дорогу для многочисленных альманахов 1820-х и 1830-х годов. Идея издания «Полярной звезды» возникла у Рылеева и А. Бестужева в 1822 г. Помимо чисто принципиального значения альманаха, служившего проводником декабристской идеологии, Рылеев и Бестужев желали «дать вознаграждение труду литературному, — как вспомнил Е. П. Оболенский, — более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным». Таким образом, «Полярная звезда» явилась одним из изданий, положивших начало профессионализации писательского труда введением оплаты печатаемых произведений, до того времени оплачивавшихся в виде исключения.

В своем «Ответе на критику» первого выпуска «Полярной звезды» Бестужев подробно остановился на задачах ее издания. «При составлении нашего издания, — писал Бестужев, — Рылеев и я имели в виду более чем одну забаву публики. Мы надеялись, что по своей новости, по разнообразию предметов и достоинству пьес, коими лучшие писатели удостоили украсить „Полярную звезду“, она понравится многим... Подобными случаями должно пользоваться, чтобы по возможности более ознакомить публику с русскою стариною, с родной словесностью, с своими писателями» («Сын отечества», 1823, № 4).

Программа альманаха, которую намечает здесь Бестужев, говорит о стремлении издателей расширить тот чрезвычайно узкий круг читателей, который знакомился с литературой, довести «Полярную звезду» до более широких и многочисленных читательских слоев. Другой задачей издания являлось ознакомление с лучшими, образцовыми произведениями молодой русской литературы, в чем «Полярная звезда» следовала, в известной мере, примеру, подсказанному сборниками и альманахами Карамзина и его подражателей. Изящное внешнее оформление и карманный размер «Полярной звезды» также много содействовали успеху издания.

Рылееву и Бестужеву удалось привлечь к участию в «Полярной звезде» наиболее видных тогдашних литераторов. Помимо самих издателей, Пушкин, Грибоедов, Баратынский, Дельвиг, Денис Давыдов, Вяземский, Гнедич, Жуковский, Крылов — являлись деятельными сотрудниками альманаха, полностью оправдывая заявление Бестужева о сотрудничестве в «Полярной звезде» лучших писателей.

Но задачи альманаха не исчерпывались популяризацией художественных произведений. Помимо объединения лучших писателей вокруг декабристского начинания, альманахи «Полярной звезды» должны были служить и распространению передовых идей, подготавливать публику к уяснению идейной и общественной программы декабристов, будить общественную мысль, пропагандируя идеи гражданственности, патриотизма, общественного долга. Об этом общественном понимании роли литературы и писал Бестужев в своем «Взгляде на русскую словесность в течение 1823 года», говоря, что «воображение, недовольное сущностью, алчет вымыслов и под политической печатью словесность кружится в обществе». «Политической печатью» и были отмечены как критические статьи самого Бестужева, так и ряд художественных про-

изведений, помещенных в «Полярной звезде», в первую очередь произведения ее издателей — Рылеева и Бестужева.

Политическая тенденция, о которой А. Бестужев не мог, естественно во всеуслышание заявить, осуществлялась как умелым и продуманным подбором всего художественного материала альманахов, так и руководящими критическими статьями самого Бестужева, его знаменитыми ежегодными обзорами русской литературы, которыми открывалась каждая книжка «Полярной звезды». В своих обзорах Бестужев декларировал романтическое направление в его передовых тенденциях и боролся за гражданское содержание литературы, за связь ее с освободительным движением. В первой же из этих статей, помещенной в «Полярной звезде» на 1823 год, — «Взгляд на старую и новую словесность в России», — Бестужев, давая обзор всей русской литературы, подчеркивал недостаток просвещения в России, узость культурного слоя, «составляющего самую малую часть в отношении к многолюдству в России», а также «феодальную умонаклонность многих дворян», «усугубляющую» «препоны» к просвещению народа. Статья заканчивалась страстным призывом к просвещению; автор верит, что «новое поколение людей» сможет его распространить вопреки этим препонам: «Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, лежащий теперь на поле русской словесности, хотя мешает побегу, но дает большую твердость колосьям и обещает быструю жатву».

При всем разнообразии помещаемого материала, при всей его специфически-альманашной пестроте — основная идейная направленность «Полярной звезды» сводилась к утверждению национальной литературы и художественных принципов прогрессивного романтизма. Заявление Бестужева о том, что задачей альманаха было желание «ознакомить публику с русскою стариною, с родной словесностью, с своими писателями» в сущности значило отстаивание самобытной, национальной литературы.

Не случайно поэтому, что в «Полярной звезде» — в отличие от остальных тогдашних журналов — почти отсутствовали переводы (переводы Жуковского из Шиллера, или отрывок из «Илиады» в переводе Гнедича, конечно, не являлись этой «переводной литературой»).

Среди поэтических произведений, помещенных в «Полярной звезде», следует выделить стихотворения Пушкина («Гречанке», «Элегия», «К друзьям», «Нереида», «В альбом малютке», «К Морфею», «Отрывок из послания к В. Л. Пушкину», «Домовому» и др., а также отрывки из «Цыган» и «Братьев-разбойников»), Рылеева (думы «Рогнеда», «Борис Годунов», «Иван Сусанин», отрывки из «Войнаровского» и «Наливайко» и др.), русские песни Дельвига, стихи Кюхельбекера («Святополк»), басни Крылова («Василек», «Мельник», «Ворона»), стихи Козлова, ряд стихотворений Баратынского («Весна», «К Дельвигу», «Елисейские поля» и др.), отрывок из «Илиады» в переводе Гнедича, «Отрывок из Гете» Грибоедова, переводы Жуковского из Шиллера.

Не менее обширен и содержателен был и отдел прозы, в особенности, если учесть почти полное отсутствие оригинальной русской прозы в тогдашних журналах. Среди прозаических произведений выделяются повести самого А. Бестужева («Роман и Ольга», «Вечер на бивуаке», «Замок Нейгаузен», «Роман в семи письмах», «Ревельский турнир», «Изменник»), исторические очерки и повести А. Корниловича («О первых балах в России», «Об увеселениях российского двора при Петре I»

и др.), восточные повести Сенковского, морально-философские «аллегории» Ф. Глинки, военные рассказы Булгарина, путевые очерки Н. Бестужева.

Обилие произведений с национально-исторической и вольнолюбивой «гражданской» тематикой, романтический характер их стиля и определяли направление «Полярной звезды». Полнее и ярче всего эти вольнолюбивые гражданские настроения, этот призыв к национально-патриотической народности прозвучал в думах и поэмах Рылеева и в исторических повестях А. Бестужева. И дума «Иван Сусанин», и отрывки из поэм «Войнаровский» и «Наливайко» представляли замечательный образец гражданской, агитационной поэзии декабристов, с их обращением к историческим сюжетам, дававшим возможность в легальной подцензурной печати провозглашать пламенный призыв к свободе, ненависть к деспотизму, говорить о любви к своему народу и родине.

«Исповедь Наливайко», напечатанная в «Полярной звезде» на 1825 год, произвела огромное впечатление на передовые круги русского общества. Декабрист Беляев вспоминал, что «Наливайко», «Войнаровский» «были знакомы каждому и повторялись во всех дружеских и единомышленных кругах». Стихи Рылеева:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла,
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю...

звучали призывом к борьбе и вместе с тем пророчеством в атмосфере, накаленной ожиданием революционных событий. Гражданская направленность поэзии декабристов нашла яркое выражение и в напечатанном в «Полярной звезде» стихотворении Ф. Глинки «Песнь плененных иудеев». В библейских образах этой песни скрыт горячий протест против деспотизма и гнета:

Когда, влекомы в плен, мы стали
От стен Сионских далеки,
Мы слез ручьи не раз мешали
С волнами чуждыя реки.
. . . .
Немей, орган наш голосистый,
Как занемел наш в рабстве дух!
Не опозорим песни чистой:
Не ей ласкать злодеев слух!..
Увы! Неволи дни суровы
Орга́нам жизни не дают,
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют!..

Мотивы гражданской свободы и любви к родине проходят и через повести А. Бестужева. В повести его «Роман и Ольга» дано изображение новгородской вольности, звучит призыв к пожертвованию жизнью ради спасения родины. В «Изменнике» показана страшная кара, постигающая предателя отчизны, в «Ревельском турнире» говорится о равенстве сословий, о борьбе с феодальным насилием. Изображение русской старины, героического прошлого России в повестях Бестужева, в думах Рылеева, балладе Кюхельбекера «Святополк», сочувственный показ

прогрессивных начинаний Петра I в исторических очерках А. Корниловича — служили той же цели, полны были одним и тем же призывом «любви к отечеству», который являлся своего рода идеологическим девизом декабристов.

В обстановке мертвящего казарменного режима аракчеевщины и такие произведения, как «Братья-разбойники» и «Цыганы» Пушкина приобретали бунтарское, революционизирующее значение.

Революционный характер «Полярной звезды», ее пропагандистское значение прекрасно улавливали и чувствовали современники. Недаром с таким сочувствием альманах был встречен всем передовым обществом, в частности Пушкиным, приветствовавшим выход первой книги «Полярной звезды» из своей кишиневской ссылки. Один из сотрудников «Сына отечества» (Жандр) писал по поводу ее выхода: «Эта книжка — прелесть. В ней все, что вам угодно: славные стихи, отличная проза, а притом как все ее хвалят, как ею восхищаются (1823, № 8). Успех альманаха у читателей определил и тираж и материальный успех издания. Первой книжки «Полярной звезды» издано было 600 экз., раскупленных менее, чем в неделю, а следующая «Полярная звезда» на 1824 года печаталась уже в количестве 1500 экз., — количество по тем временам совершенно необычное, — и разошлась в три недели. По словам современника, это был единственный пример в русской литературе, ибо, включая «Историю государства Российского» Карамзина, «ни одна книга и ни один журнал не имели подобного успеха».

14 декабря прервало издание «Полярной звезды». В атмосфере приближавшихся революционных событий Рылеев и Бестужев успели подготовить свой четвертый альманах под названием «Звездочка», 60 страниц которой было уже отпечатано к 14 декабря. Среди произведений, входивших в «Звездочку», был отрывок из III главы «Евгения Онегина», стихи Баратынского, Языкова, Вяземского, Туманского, повесть Бестужева «Кровь за кровь» («Замок Эйзен»); листы с этими произведениями были конфискованы.

«Полярная звезда», объединившая вокруг себя лучших, талантливейших писателей, внесшая новую общественно-патриотическую, «гражданскую» вольнолюбивую струю в русскую литературу, послужила примером для будущих поколений. Ее имя дал своему альманаху Герцен, поместив на его обложке виньетку с изображением голов казненных декабристов и Полярной звезды над ними. «Полярная звезда, — писал Герцен в предисловии к первой книжке своего альманаха, — скрылась за тучами николаевского царствования. Николай прошел и Полярная звезда является снова...»

«Полярная звезда» Рылеева и Бестужева явилась родоначальницей литературных альманахов 1820—1830-х годов, вызвав многочисленные подражания. Ее традиции и принципы были продолжены. В 1824—1825 гг. Кюхельбекер и В. Одоевский издавали альманах «Мнемозину», близкую по своим устремлениям декабристским кругам и сыгравшую значительную роль в общественной и литературной жизни тех лет. В 1825 г. декабрист А. Корнилович, совместно с В. Д. Сухоруковым, выпустил исторический альманах «Русская старина», в котором помещены были очерки и материалы по русской истории (очерки Корниловича о Петре I и история донских казаков Сухорукова). В том же 1825 г. вышел театральный альманах Ф. Булгарина «Русская Талия», в котором впервые был напечатан отрывок из «Горе от ума» Грибоедова.

Близок по своему характеру к «Полярной звезде» был и альманах

«Северные цветы», также издававшийся в 1825 г. и объединявший писателей пушкинского круга. «Северные цветы» под редакцией Дельвига (которому помогал в издании О. Сомов) выходили ежегодно, до 1832 г. После смерти Дельвига «Северные цветы» на 1832 год издал Пушкин, бывший ближайшим участником этих альманахов. С 1825 г. по 1832 г. ежегодно выпускалось от десятка до двух десятков альманахов, ставших наиболее распространенной и излюбленной формой публикации художественных произведений. Пушкин писал в 1827 г., что «альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним современем станут судить о ее движении и успехах». Нужно сказать, что обилие альманахов объяснялось и чисто материальными причинами. Многие из них не имели того принципиального характера, что «Полярная звезда» или «Мнемозина», не отличались высокими художественными достоинствами и преследовали лишь коммерческие цели. Недаром Пушкин в 1830 г. так презрительно и враждебно отзывался об «альманашниках» как о любителях легкой наживы, беззастенчиво морочащих публику и печатающих всякий хлам.

6. Критическая деятельность А. А. Бестужева

Писатель-декабрист А. А. Бестужев (1797—1837), выступавший под псевдонимом Александра Марлинского, являлся одним из влиятельнейших критиков двадцатых годов. Его ежегодные критические обзоры в «Полярной звезде» не только по своему жанру предварили обзоры Белинского. Он был одним из родоначальников новой русской критики, открыв дорогу критике высокого теоретического уровня и идеологической принципиальности, в противовес крохоборческим статьям, обращавшимся преимущественно к рассмотрению грамматической и стилистической правильности, которыми заполнены журналы первой четверти XIX в.

Недаром высоко оценили критическую деятельность А. Бестужева и Пушкин, и Белинский. Белинский, столь строго и отрицательно относившийся к Бестужеву-прозаику, с большим одобрением отозвался о его критических статьях. «Его обзоры русской словесности, — писал он в рецензии 1847 г., — отличались умом, новостью взгляда, блестели яркими сравнениями, увлекали живым, красноречивым изложением». Отметив в другом месте «светлые мысли» А. Бестужева и «его верное чувство изящного», Белинский утверждал, что «он был первый, сказавший в нашей литературе много нового, так что все, писавшееся потом в „Телеграфе", было повторением уже сказанного им в его литературных обозрениях».

Бестужевым была впервые развернута программа русского романтизма в его прогрессивных тенденциях, программа, в дальнейшем подхваченная и развитая критикой романтического лагеря.

Свою критическую деятельность А. Бестужев начал еще задолго до издания «Полярной звезды» с критических рецензий и полемических статей в «Сыне отечества» в 1819—1820 гг. и других журналах тех лет. Уже в своих первых заметках и статьях Бестужев выступает как противник поэтики классицизма. Одной из первых его статей являлся разбор катенинского перевода «Эсфири» Расина, в котором он нападал на Катенина за архаизацию и искусственную выспренность его языка. Не меньше шума произвела и статья его, направленная против Шаховского, который в свою комедию «Липецкие воды» включил памфлет на Жуковского и его последователей.

В эти годы Бестужев и сам еще выступает преимущественно как карамзинист, как сторонник эстетики «вкуса», защищавшейся Карамзиным. Недаром Бестужев даже пишет статью «О вкусе», защищающую морально-этическую цель искусства: «Истинный вкус украшает нрав человека и делает душу его доступнее к ощущениям всего благого и великого». Эту моральную, воспитательную роль искусства он отстаивает и в целом ряде других тогдашних статей.

Однако Бестужев в те годы еще не имеет определенной литературно-эстетической программы и пишет на самые разнообразные темы, по самым случайным поводам: по вопросам истории языка, мифологии, древней литературы, верховой езды. Но начиная со статьи в «Полярной звезде» на 1823 год — «Взгляд на старую и новую словесность в России», представляющей сжатую характеристику всего хода развития русской литературы с древнейших времен вплоть до современности, он выступает как теоретик и пропагандист прогрессивного романтизма и народности литературы. Применяя принципы романтизма к оценке современной литературы, он в своих обзорах пересматривает с этой точки зрения всю современную литературу.

Теоретическое обоснование романтического искусства дано было Бестужевым лишь в 1833 г. в статье о романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем» («Московский телеграф», 1833, №№ 15—18). Но уже в своих обзорах в «Полярной звезде» он выступал как идеолог и пропагандист романтизма.

В своем «Взгляде на старую и новую словесность в России» Бестужев высказывает основные положения декабристского понимания литературы, настаивая прежде всего на создании национальной русской литературы, на обращении к «народности», понимаемой им как обращение к национальной истории, к народному творчеству и языку. Другое требование, предъявляемое им литературе, также тесно связано с программой декабристов, — это требование действенной, просветительной и воспитательной роли литературы. Свою статью Бестужев начинает с самого зарождения русской литературы, указывая на причины замедления ее развития. Причины эти он видит в междоусобных войнах русских князей и в особенности в нашествии монголов, разбивших «странственную свою палатку» на «пепелище русской свободы» и оторвавших Россию от западной и восточной культуры. В то же время Бестужев восторженно говорит о поэтическом памятнике русской народной культуры — «Слове о полку Игореве», в каждой строке которого дышит «непреклонный, славолюбивый дух народа». Вся дальнейшая история развития русского просвещения и литературы, которую он прослеживает, начиная от Феофана Прокоповича и Кантемира, представляется ему движущейся вперед «медленной стопой», вплоть до Державина, Крылова и Карамзина.

Успех словесности Бестужев видит прежде всего в создании самобытной, национальной литературы, тесно связанной с «народным лицом». Поэтому основной заслугой Карамзина он считает преобразование русского языка, «звучного, богатого, сильного», «уже отягчалого в руках бесталантных писателей и невежд переводчиков». «Он двинул счастливою новизною ржавые колеса его механизма, отбросил чуждую пестроту в словах, в словосочинении и дал ему народное лицо». Но истинно народным писателем Бестужев (как затем Пушкин и Белинский) считает Крылова, «возведшего русскую басню в оригинально-классическое достоинство». «Невозможно дать большего простодушия

рассказу, большей народности языку, — пишет он о Крылове. — В каждом его стихе виден русский здравый ум».

В обзоре «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов», говоря об отсутствии национальной литературы, Бестужев видит причину этого в «безнародности» русских дворянских писателей, в распространенном в их среде пренебрежении к национальной культуре и раболепстве перед иностранщиной: «Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения исполинскою мерою чужих гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, не согретое народной гордостью, вместо того, чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унизить даже и то, что есть. К довершению несчастья мы выросли на одной французской литературе, вовсе не сходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка».

Призывая к «народной гордости», к созданию национальной литературы и обращению к родной истории и языку, Бестужев подчеркивал, что «все образцовые дарования носят на себе отпечаток не только народа, но века и места, где жили они», предостерегая от «рабского подражания» даже «образцовым дарованиям».

Поэтому столь радостно приветствует он Крылова и Пушкина, и в особенности «Горе от ума» Грибоедова, как «феномен», какого «не видали мы от времени „Недоросля"»: «Толпа характеров, обрисованных смело и резко, живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах» — все это, по его словам, «поставит ее [т. е. комедию] в число первых творений народных». Этим объясняется и сочувственная встреча им исторического альманаха Корниловича «Русская старина», по поводу которого он писал: «Сердце радуется, видя, как проза и поэзия скидывают свое безличие и обращаются к родным старинным источникам».

Обращение к русской истории для Бестужева важно было в плане гражданского патриотизма и героического пафоса прошлого, который должен был показать современникам пример истинной любви к отечеству, воодушевить их на борьбу за освобождение отечества от произвола и деспотизма. Именно в этом плане весьма существенен его отзыв о Рылееве, о котором во «Взгляде на древнюю и новую словесность в России» он писал: «Рылеев, сочинитель дум или гимнов исторических, пробил новую тропу в руском стихотворстве, избрав целию возбуждать доблести сограждан подвигами предков».

Наряду с требованием национальной литературы, Бестужев призывает к созданию литературы действенной, двигающей вперед общественную мысль. «Гром отдаленных сражений, — писал Бестужев в 1822 г., — намекая на национально-освободительное революционное движение в Европе (в Испании, Италии, Греции), — одушевляет слог авторов и пробуждает праздное внимание читателей; газеты превращаются в журналы и журналы в книги». Отмечая, что «любопытство растет, воображение, недовольное сущностью, алчет вымыслов и, под политической печатью, словесность кружится в обществе», Бестужев говорит о необходимости тесной связи литературы и передового общественного движения, о необходимости литературы, приучающей к «деятельности». «Теперь мы начинаем чувствовать и мыслить, но ощупью. Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум — дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но не занятый политикою, весьма естественно, что деятельность его хватается за все, что попа-

дется... мы, как дети, которые испытывают первую свою силу над игрушками, ломая их и любопытно разглядывая, что внутри».

В своем последнем обзоре в «Полярной звезде» — «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов» Бестужев поднял один из важнейших принципиальных вопросов для того времени — вопрос о положении и роли самого писателя, его поэтической независимости.

В эпоху, когда положение писателя чаще всего признавалось зависимым от покровительства и «ободрения» царя или вельможного мецената, Бестужев впервые со всею решимостью заговорил о независимости писателя, его творческой свободе: «Отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных? — Предслышу ответ многих, что от „недостатка ободрения". Так, его нет и слава богу! Ободрение может оперить только обыкновенные дарования... Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию». Говоря о «корыстных ласках меценатов» и «сетях света», сковывающих поэта, он призывает его к «уединению» и к обращению к природе: «Альфиери и неизмеримый Байрон гордо сбросили с себя золотые цепи фортуны» и повлекли за собой общество. В этом призыве сказалось воздействие эстетики романтизма.

Возвратившись после нескольких лет ссылки вновь к литературе, Бестужев в 1833 г. выступил с большой статьей о романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем», помещенной в «Московском телеграфе». В этой статье, посвященной не столько роману Полевого, сколько обоснованию романтизма вообще, Бестужев дополнил и развил свои прежние взгляды и положения. Прежде всего Бестужев констатирует полную победу романтизма над классицизмом. Заявив о том, что «мы живем в веке романтизма», он доказывает, что романтизм не мода, а «потребность века», «жажда ума народного». Исходя из этого, Бестужев рассматривает романтизм в его историческом становлении. Он дает и теоретическое определение романтизма: «под именем романтизма разумею я стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах». Он делит всю историю литературы на литературу дохристианскую, прежде всего античную, и литературу со времен христианства, т. е. романтическую. Если в первой — преобладают «чувства и вещественные образы», то во второй «царствует душа». Это то же деление, которое делал и Шиллер, говоря о «поэзии наивной», т. е. классической, и сентиментальной, т. е. романтической. Греческое искусство лучше всего выразило «чувственную природу», в то время как искусство готическое, искусство христианского средневековья было искусством «духа», передавшим эпоху «романтизма на деле», искусство труверов и трубадуров. Именно от этой «готической литературы» ведет Бестужев и происхождение современного романтизма, когда «гений Шиллера» усвоил немецкой словесности «романтизм шекспиров во всей величавой его простоте». Но Бестужев решительно отделяет этот романтизм от «расслащенного вертеризма», от сентиментальных мещанских драм Коцебу и романов Жанлис, «чувствительности» Карамзина, когда «все завздыхали до обмороков, все кинулись ронять алмазные слезы на ландыши, над горшком палевого молока, топиться в луже». В Россию «пересадил романтизм», по мнению Бестужева, Жуковский, «плененный чистою мечтательностью Шиллера и легендами немецкой старины», но пересадил «только один цветок его», только одну его «мечтательную» сторону, другая бурная, байроническая сторона романтизма была представлена в России Пушкиным.

В своих статьях Бестужев выдвигал прогрессивные стороны романтизма. Ему чужды были мистические и реакционно-реставраторские тенденции немецкого романтизма, с его идеализацией феодализма, с уходом от действительности в вымышленный фантастический мир, в мистическую отвлеченность (Новалис, Тик и др.). Он выступает одновременно и против абстрактной нормативности и архаичности классицизма и против эмпирического натурализма нравоописательной литературы, считая, что «искусство не рабски передразнивает природу, а создает свое из ее материалов».

В противовес классицизму с его «правильными формами», Бестужев (письмо к Н. Полевому) отстаивает романтизм, который «как завоеватель» «смешал в себе обломки всего прежнего». Это понимание романтизма как прогрессивного течения в литературе, обращающегося к национальной, народной почве и выдвигающего на первое место творческую свободу писателя, объединяло Бестужева с другими представителями декабристского круга (Рылеевым, Кюхельбекером, Сомовым), свидетельствуя о тесной связи русского романтизма с декабристским движением.

Бестужев решительно восстает против сентиментального и поверхностного псевдо-романтизма, который был представлен «бездарными и полударными» подражателями Пушкина и Жуковского, ставшими «певцами увялой души», «утомительными певцами томности», также как «гяуризм» и «дон-жуанизм», «выкраденный из карманов Пушкина, оказался размененным на полушки».

Не менее строгие требования предъявлял он и к прозе. Переходя к оценке исторического романа, Бестужев осуждает упрощенность исторических явлений в романах Булгарина, который в «Дмитрие самозванце» изобразил «не Русь, а газетную Россию». Он упрекает за подражательность Загоскина, «Юрий Милославский» которого «чужеземная подделка» под романы В. Скотта и Купера.

Однако, столь строго отнесясь к романам Загоскина, Бестужев дает положительную оценку роману Полевого «Клятва при гробе господнем» (1833). Объясняется это не только личной дружбой, но и тем, что роман Полевого являлся в известной мере программным произведением, в котором автор пытался осуществить свои теоретические установки. Его «Клятва» должна была показать возможность создания чисто исторического национального романа без любовной интриги, воссоздающего целую эпоху и жизнь народа. Однако Бестужев, принципиально одобряя стремление Полевого к демократической народности, видел художественные недостатки его романа, говоря, что «это — концерт Бетховена, сыгранный на плохой скрипке».

Вообще конкретные критические оценки Бестужева отличаются большой меткостью и остроумием, однако далеко не всегда достаточно объективны. Особенный интерес представляет отношение Бестужева к Пушкину. В нем отчетливо сказались те требования, которые предъявлялись декабристами к литературе, настаивавшими на ее «гражданственной» устремленности, защищавшими «высокую», романтическую поэзию. Для Бестужева Пушкин прежде всего байронический поэт, автор романтических поэм. Уже в своем первом обзоре 1822 г., зачисляя Пушкина вместе с Жуковским и Батюшковым в «поэтический триумвират», он называет его новым «Прометеем», похитившим «небесный огонь». Он приветствует «Кавказского пленника», «блистающего роскошью воображения и всей жизнью местных красот природы», и в особенности «Цыган», в которых «гений его, откинув всякое подража-

ние, восстал в первородной красоте и простоте величественной. В нем... сверкают молнийные очерки вольной жизни и глубоких страстей...». Однако подлинное значение «Евгения Онегина», его глубокий реализм в изображении русского общества не были до конца поняты Бестужевым, предлагавшим Пушкину (в письме к нему от 9 марта 1825 г.) переделать роман в сатиру наподобие байроновской. Непонятым остался и «Борис Годунов». Убежденный романтик, Бестужев не уяснял прогрессивного значения пушкинского реализма и даже жаловался в письмах к родным на то, что Пушкин «весьма мало имеет в себе идеального, т. е. романтического». Правда, в 1833 г. он уже и сам отходил от прямолинейности своей романтической позиции середины 1820-х годов; он понимает уже, что Пушкин «сбросил плащ Байрона» и «явился горд и самобытен», «вполне родной своему народу».

Бестужев видел в романтизме, в противовес классицизму, выражение исторического понимания жизни. «Мы живем в веке историческом», — пишет он в статье о романе Полевого, — «история не в одном деле, но и в памяти, в уме, в сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно». Из этой «наклонности века» Бестужев и исходил при своей оценке исторического романа и современной литературы в целом. Он высоко оценивает романы Вальтер Скотта, который «решил наклонность века к историческим подробностям, создал исторический роман». В. Скотт «угадал домашний быт и вседневный ум рыцарских времен, точно так же как Гиббон постиг их быт политический». Бестужев подчеркивает реалистические тенденции В. Скотта, его подлинный историзм, говоря о его героях, что «они ожили с румянцем жизни на щеках, с биением действительности в груди... это живые люди, с их мелкими страстишками, с их поверьями, с их обычаями...». Поэтому В. Скотт «не романтик по предмету, но он — романтик по формам, по стерновскому духу анализа всех движений души». К этому времени Бестужев давно преодолел свое влечение к «готическому романтизму», романтизму рыцарских замков, кошмаров и ужасов. Он высоко оценил Бальзака (его «Шагреневую кожу»), хотя кумиром его является В. Гюго («перед Гюго я ниц»). Этот новый этап критических и эстетических воззрений Бестужева почти не нашел выражения в его журнальной деятельности (за исключением статьи о Полевом), а многочисленные и интересные замечания и рассуждения о современной литературе высказаны были им в письмах к братьям Полевым и к родным.

Бестужев перенес в свои критические статьи свойства, отличавшие его как прозаика: разговорную живость изложения, пристрастие к парадоксам, гиперболизм образов, цветистую яркость языка — необычные для критики его времени. Им был создан жанр критических обзоров, впоследствии принятый Белинским в его ежегодных обзорах литературы.

7. «Мнемозина»

В сфере воздействия декабристской идеологии находился и альманах «Мнемозина», издававшийся В. К. Кюхельбекером и В. Ф. Одоевским в 1824—1825 гг. (три тома альманаха вышли в 1824 г., четвертый — летом 1825 г.). Несмотря на свое кратковременное существование, этот альманах имел большое значение для развития русской литературы и общественной мысли, оставив заметный след в последующей журналистике 1820-х и 1830-х годов. «Мнемозина, или собрание сочинений в стихах и прозе» — фактически являлась настоящим журналом, нося название альманаха лишь для обхода правительственного запрета издавать

новые журналы. В ней имелись все отделы, обычные для журналов того времени, а ее полемический характер и обилие критики еще более подчеркивало ее журнальный характер.

В объявлении об издании альманаха (в декабрьской книжке «Вестника Европы» 1823 г.) сообщалась программа издания: «Сие издание... будет иметь главнейшей целью удовлетворение разнообразным вкусам всех читателей. Посему в состав «Мнемозины» будут входить: повести, анекдоты, характеры, отрывки из романов и путешествий, рассуждения об изящных искусствах, отрывки из комедий и трагедий, стихотворения всех родов и краткие критические замечания». При этом в объявлении подчеркивалось, что «Мнемозина» будет печатать оригинальные произведения, а не переводные, обычно занимавшие в журналах большое место.

Помимо художественной литературы, в «Мнемозине» помещен был ряд философско-эстетических и научных статей, а также большое количество критических и полемических статей и заметок. В «Мнемозине», кроме издателей, Кюхельбекера и В. Одоевского, участвовали Грибоедов, Пушкин, Денис Давыдов, Вяземский. Однако направление альманаха определялось Кюхельбекером и Одоевским, которым принадлежала большая часть литературного материала и все критические и полемические статьи. Тесно связан был с изданием «Мнемозины» и Грибоедов, не только поддержавший издателей материально, но являвшийся в значительной мере и идейным вдохновителем альманаха.

Выход альманаха явился большим литературным событием и привлек к нему внимание литературных кругов. Впоследствии один из современников (Ксенофонт Полевой) охарактеризовал впечатление, произведенное «Мнемозиной», как «первый смелый удар старым теориям»: «литературные и ученые староверы не понимали, откуда молодые люди берут смелость оспаривать общепринятые ученые мнения или литературные». Литературный успех определил и увеличение тиража издания; первоначально «Мнемозина» имела всего 157 подписчиков, первая часть, вероятно, издана была в количестве 500—600 экз., а уже в марте 1824 г., перед выпуском второй части, Кюхельбекер писал о предполагавшейся допечатке еще 600 экз. и печатании остальных частей в количестве 1200 экз.

Идейная и литературная программа «Мнемозины» в основном сводилась к борьбе за национальную самобытность русской литературы и к утверждению новой романтической эстетики и философии.

Философский тон альманаху задавал В. Ф. Одоевский. Главным его критиком и теоретиком литературы был Кюхельбекер. Одоевский, как и весь кружок «любомудров», с которым он был связан (Шевырев, Титов, Веневитинов, Хомяков и др.), видел в философии тождества Шеллинга всеобъемлющую теорию мирового устройства, понимая историю человечества как непрерывное развитие и совершенствование. Следует отметить, что Одоевский делал попытку выделить из реакционной системы Шеллинга то, что представлялось ему прогрессивным началом, противостоявшим охранительной идеологии. Недаром шеллингизм встречал ожесточенное гонение со стороны правительства.

Из отвлеченной «идеи Абсолюта» Одоевский делал практические выводы, обосновывая своим «любомудрием» моральные требования «добродетели» и «благотворения человечеству». Самая теория непрерывного совершенствования человечества внушала уверенность в необходимости изменения существующей действительности, уверенность, питавшую передовые общественные круги. Недаром свою статью

о древнегреческой философии в IV части «Мнемозины» Одоевский заканчивал выражением веры в исторический прогресс, в будущее человечества: «Дух человечества стремится непрестанно — это неоспоримо; что он стремится к благородному и возвышенному — это доказывает история».

Но как бы то ни было, воздействие на издателей «Мнемозины» немецкого идеализма не могло не отразиться пагубно на их позиции, как ни старались они найти у своих «учителей» оправдание своим передовым стремлениям. Поэтому, несмотря на обилие философского материала, основной интерес представляет литературно-критический и художественный материал альманаха. Критические статьи остро реагировали на тогдашние литературные споры.

Уже в первой книге «Мнемозины» помещена была полемическая статья В. Одоевского «Листки, вырванные из Парнасских ведомостей», представляющая аллегорическую сатиру на споры карамзинистов с шишковистами и высмеивающая и тех и других. Однако наибольшее значение имела появившаяся во второй книжке «Мнемозины» программная статья Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие», привлекшая широкое внимание и вызвавшая бурные споры. В этой статье Кюхельбекер выступал не только с общетеоретическими положениями, но и с конкретной оценкой современной поэзии, связанной с той позицией по отношению к литературе, которая была характерна для декабристского лагеря.

В начале статьи Кюхельбекер предупреждает читателей: «Решаясь говорить о направлении нашей поэзии в последнее десятилетие, предвижу, что угожу очень не многим и многих против себя вооружу... как сын отечества поставляю себе обязанностью смело высказать истину». Выступая с защитой «высокой» одической поэзии против поэзии элегической, он писал, что «элегия и послание у нас вытеснили оду», и противопоставлял Жуковскому и его подражателям — Ломоносова и Державина. Дело, конечно, не в «архаических» симпатиях Кюхельбекера. Обращение к оде и «высоким» жанрам классической поэзии у Кюхельбекера вызвано было стремлением создать гражданственную, ораторско-пропагандистскую поэзию, придать поэзии ту силу и «важность» содержания и энергию стиха, которая исчезала в сентиментальной чувствительности и лирической субъективности элегической поэзии. В то время как «в элегии новейшей и древней стихотворец говорит о самом себе, о своих скорбях и наслаждениях», — писал Кюхельбекер, — ода, «увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги Героев и славу Отечества», «парит, гремит, блещет, порабощает слух и душу читателя». В отличие от чрезмерно личного, субъективного содержания элегии, ода «вещает правду и суд Промысла, торжествует о величии родимого края, мещет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга».

Таким образом, для Кюхельбекера одическая, «высокая» поэзия являлась прежде всего поэзией широкого социального звучания, поэзией, внушающей высокие гражданские чувства «любви к отечеству» и к «истине», «мещущей перуны в сопостатов». Согласно всему пониманию задач литературы декабристами, Кюхельбекер решительно борется в своей статье против «изнеженности» и омертвения литературы, против измельчания ее тем, камерности самой поэтики сентиментализма, против вялости и условности языка. «Сила? — спрашивает Кюхельбекер, говоря об элегических произведениях, — где найдем ее в большей части этих мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных произведе-

ний? — У нас все мечта и призрак, все мнится и кажется и чудится, все только будто бы, как бы, нечто, что-то». Протест против бессодержательности элегической поэзии у Кюхельбекера направлен прежде всего против эпигонов, подражателей Жуковского, Пушкина, Баратынского: «Богатство и разнообразие? Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина и Баратынского, знаешь все. — Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. — Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости, до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску!..». Он восстает также против тех поэтических штампов, которые шли от элегий и баллад Жуковского, против условно-сентиментального элегического пейзажа, являющегося обязательной декорацией элегии и баллады: «Картины везде одни и те же: луна, которая — разумеется — уныла и бледна, скалы и дубравы, где их никогда не бывало... бледные безвкусные олицетворения Труда, Неги, Покоя, Веселия, Печали, лени писателя и Скуки читателя, в особенности же туман...». Этот искусственно эстетизированный характер элегической поэзии, ее идейную немощность, узость чувств и поэтическую сглаженность Кюхельбекер горячо осуждает во имя поэзии высокого гражданского пафоса, больших мыслей и чувств.

Эту же точку зрения на задачи поэзии, это же отрицательное отношение к элегически-вялой поэзии высказал несколько позже Рылеев в письме к Пушкину от 12 февраля 1825 г., отмечая почти теми же словами, что и Кюхельбекер, пагубное влияние Жуковского на дух нашей словесности: «мистицизм... мечтательность, неопределенность и какая-то туманность... растлили многих и многим зла наделали».

В оторванности литературы от запросов, предъявлявшихся к ней передовой частью общества, в замыкании ее в кругу интимно-лирических переживаний — Кюхельбекер видел основную причину отставания поэзии, ее отрыва от задач, стоявших перед литературой. В то же время он протестует и против оскудения литературного языка, против превращения его в салонный жаргон «для немногих», требуя возвращения ко всему богатству русского языка, настаивая на восстановлении в своих правах славянизмов, против которых усиленно боролись карамзинисты. «Из слова же русского богатого и мощного силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих язык, un petit jargon de coterie. Без пощады изгоняют из него все речения и обороты славянские и обогащают его архитравами, колонами, баронами, траурами, германизмами, галлицизмами и барбаризмами». В этом призыве к «славянизмам» Кюхельбекер следует не за Шишковым, с его реакционным воскрешением языка «церковных книг», а за Грибоедовым и Катениным, видевшими в обращении к славянизмам преодоление салонной сглаженности языка карамзинистов и проявление национальной самобытности.

В своем выступлении Кюхельбекер, казалось, во многом сближался со сторонниками классической поэтики. Это, однако, не так. Противопоставляя Жуковскому и элегистам — Ломоносова и Державина, отстаивая славянский язык и языковую архаистичность во имя создания национальной поэзии, Кюхельбекер выступал не против романтизма, а за создание действенного, «высокого» искусства, за национальную форму романтизма.

Требование национальной самобытности и народности литературы, так же как и требование «высоких» жанров, шло не от Батте и Лагарпа, а от понимания национальной литературы, как литературы, выра-

жающей дух народа, из учения о том, что каждый прогрессивный период истории должен иметь литературу, проникнутую национальным духом, передающую особенности языка и образа жизни данного народа.

Кюхельбекер решительно восстает против теории классицизма, видя в ней препятствия для развития самобытной, народной литературы. «Будем благодарны Жуковскому, — писал он в той же статье, — что он освободил нас из-под ига французской словесности и от управления нами по законам Лагарпова Лицея и Баттеева Курса. Но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он владел и вдесятеро большим перед ним дарованием, наложить на нас оковы немецкого или английского владычества! — Всего лучше иметь поэзию народную».

Свое обоснование роли поэта, понимание его как поэта-гения, Кюхельбекер высказал в «Письмах из Германии», помещенных в первой книжке «Мнемозины», противопоставляя поэтов-«гениев» — «стихотворцам», лишенным «пылкости и дерзости воображения». Из этого вытекала и та оценка поэтов, которая вызвала особенную бурю негодования. Кюхельбекер говорил о «великом Гете» и «недозрелом Шиллере», «огромном Шекспире» и «однообразном Байроне»; главные недостатки Жуковского и Батюшкова он видит в подражательности и называет их «мнимыми романтиками».

«Недозрелость» Шиллера и однообразие Байрона он видит в их неспособности к перевоплощению, в том, что Шиллер во всех своих героях «представляет себя одного себя», а герои Байрона — «повторение одного и того же странного лица», в то же время как Шекспир, «равный Гомеру», «есть вселенная картин, чувств, мыслей и знаний, неисчерпаемо глубок и до бесконечности разнообразен». Эта оценка Кюхельбекера во многом предупредила оценки Пушкина (Байрона) и Белинского (Шиллера), и свидетельствовала о большой самостоятельности и смелости его мысли.

Свою статью Кюхельбекер заканчивал выражением уверенности, что «наши писатели», наконец, «сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими. Здесь особенно имею в виду А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая, подают великие надежды». Это выделение поэм Пушкина чрезвычайно характерно. Декабристы все время стремились к тому, чтобы толкнуть Пушкина на путь романтической поэмы и политической лирики, которые выдвигались ими как наиболее политически действенные жанры.

Статья Кюхельбекера вызвала ожесточенную полемику, начавшуюся сразу же после ее появления. Против Кюхельбекера выступали представители различных литературных направлений: Воейков в «Новостях литературы», П. Яковлев в «Благонамеренном», Булгарин и В. Ушаков в «Литературных листках», упрекавшие его как за неуважительный тон по отношению к крупнейшим писателям, так и за отрицание элегической поэзии. Критика нападала на «самонадеянность» Кюхельбекера, указывала на то, что множество плохих од не стоят одной хорошей элегии Батюшкова. Так, Ушаков заключал свою обширную статью заявлением, что нечего «искать великих истин там, где видна излишняя самонадеянность, резкий тон и неправильные притязания». Однако положения статьи Кюхельбекера вовсе не были результатом его «самонадеянности». Удар по элегической поэзии, по ее замыканию в кругу стабилизовавшихся условно-литературных тем и образов, нанесенный Кюхельбекером, оказал свое действие, а к его теоретическим положениям с большим вниманием отнесся Пушкин. По поводу статей Кюхельбекера Пушкин писал, что они «написаны человеком ученым и умным», но в то же время не согласился ни с его разделением поэзии на лирическую

и эпическую, ни с его определением вдохновения. Однако со многими положениями Кюхельбекера он был согласен и неоднократно возвращался к затронутым им вопросам.

В следующей книге «Мнемозины», отвечая на возражения и упреки критики, Кюхельбекер дополнительно уточнил и развил основные положения своей статьи, указав прежде всего, что он не требовал изгнания элегии и послания, а лишь признавал в оде, вытесненной элегиями, «высший род поэзии».

С поддержкой положений Кюхельбекера выступил в «Мнемозине» и В. Одоевский. В своем фельетоне «Следствия сатирической статьи» (отрывок из романа) он в сатирической полубеллетристической форме изображает представителей современной литературы, разделяя их на «три класса»: первый — те, «кои осмелились покинуть уныние и сладострастие, разогнать густые туманы, забыть о луне и заниматься своим совершенствованием» (это «самый маленький класс»); второй — переводчики с французского» и те, «которые глаз не сводят с туманной дали, читали Парни и Мильвуа — и почитают их величайшими поэтами», и, наконец, третий класс, самый многочисленный — «светская чернь», не подозревающая, что «есть на Руси литераторы» и читающая «Дамский журнал». Одоевский юмористически описывает здесь литературный вечер у «Мусорина» (под Мусориным подразумевался Воейков, нападавший на «Мнемозину») и его кружок «парнассников», доказывая, что «прошла для русских пора восхищаться всяким бредом, печатаемым во Франции и что нам время кинуть раболепное подражание».

Поэтический материал «Мнемозины» открывался программным стихотворением Грибоедова «Давид». Библейские образы обычно служили декабристам для выражения героического пафоса, для передачи тех патриотических и вольнолюбивых настроений, которые находили конкретное воплощение чаще всего или в образах русской истории (как у Рылеева или Катенина), или в образах, заимствованных из Библии (у Грибоедова и его последователя Кюхельбекера, у Ф. Глинки). Самый образ Давида, побеждающего великана Голиафа, притеснителя его отечества, — был особенно близок декабристам. «Давид» заканчивался следующими знаменательными стихами:

Но я мечом над ним взыграл,
Сразил его и обезглавил,
И стыд отечества отъял,
Сынов Израиля прославил!

Высокий одический пафос этого стихотворения, его язык с обилием библеизмов и славянизмов — являлись наглядной иллюстрацией требований, предъявлявшихся к поэзии Кюхельбекером.

На этом же принципе высокой одической поэзии были основаны и стихи самого Кюхельбекера, помещенные в журнале («К богу», «Святополк Окаянный», «Проклятие», «Рогдаевы псы», «Олимпийские игры» и «Смерть Байрона»). Но, пожалуй, центральной вещью «Мнемозины» являлся стихотворный пролог к трагедии Кюхельбекера «Аргивяне», целиком находившийся в сфере тематики и идей декабристской литературы. Темой ее являлась борьба двух братьев — тирана и республиканца, определявшая гражданский пафос трагедии и ее актуальность для современности.

Пушкиным в «Мнемозине» были помещены стихотворения: «Вечер», «Мой демон» и «К морю» — последние два самые значительные из сти-

хов его этого времени. Остальной поэтический материал представлен сравнительно небольшим количеством (по одному, по два) стихотворений Вяземского, Баратынского (отрывки из «Эды») и второстепенных поэтов — Нечаева, Писарева, Раича, Н. Павлова и других, большей частью близких к кружку московских любомудров.

Отдел художественной прозы почти целиком представлен был самим Кюхельбекером, поместившим в первой книжке историческую повесть «Эдо», а в остальных книжках фрагменты из записок о путешествии по Европе, представлявшие большой интерес не только по своим литературным достоинствам, но и по обилию смелых и новых мыслей и эстетических высказываний.

Видное место принадлежало и В. Одоевскому, выступавшему со своими аллегорическими «апологами», лирическими философскими притчами и нравоописательной повестью «Элладий» — «картиной из светской жизни». Повесть «Элладий», позже высоко оцененная Белинским, являлась одной из первых попыток русской нравоописательной повести обличительного характера, направленной против «света».

Передовые журналы и альманахи 1820-х годов находились под идейным воздействием декабристов и сыграли значительную роль в формировании прогрессивных и демократических взглядов своей эпохи, во многом содействуя дальнейшему развитию русской журналистики и критики. Писатели-декабристы внесли коренные изменения и в самое бытование литературы. Они сделали ее достоянием широкого читателя, создав новый тип журнала и альманаха, рассчитанного на самые разнообразные интересы.

Основные проблемы, поставленные декабристской журналистикой, сводились к утверждению национальной самобытности литературы и ее высокого гражданского назначения. Этим начата была новая страница в истории русской литературы и критики. Дело, начатое декабристами, было подхвачено Белинским и Герценом.

ЧАСТЬ III

1826—1840 гг.

ГЛАВА IX

Журналистика и критика 1826—1840 гг.

1. Общая характеристика периода

14 декабря 1825 г. явилось рубежом в социально-политической и культурной жизни России. После разгрома декабрьского восстания в стране началась полоса все возрастающей реакции. «Первые годы, следовавшие за 1825-м, были ужасающие, — писал Герцен. — Потребовалось не менее десятка лет, чтобы в этой злосчастной атмосфере порабощения и преследований можно было притти в себя. Людьми овладевала глубокая безнадежность, общий упадок сил... Одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в отдаленное будущее».

В 1826 г. Николай I создал особый корпус жандармов и учредил III отделение «собственной его величества канцелярии». III отделение обязано было преследовать «государственных преступников», ему поручались «все распоряжения и известия по делам высшей полиции». Шефом жандармов и начальником III отделения был поставлен граф А. Х. Бенкендорф, невежественный и бездарный генерал, пользовавшийся безграничным доверием Николая I. Бенкендорф стал душителем всякой живой мысли, всякого живого начинания.

«На поверхности официальной России, „на фронтоне империи", красовались лишь гибель, яркая реакция, бесчеловечные преследования и удвоенный деспотизм. Среди военных парадов балтийских немцев и диких охранителей видели не доверяющего себе самому холодного, упрямого и безжалостного Николая, такую же посредственность, как и его окружающие» (Герцен).

Царь и его сподвижники лицемерно декларировали необходимость для «благоденствия России» развития просвещения и науки, но беспощадно преследовали и то и другое. Главным орудием правительства в борьбе с независимой мыслью была цензура.

В 1826 г. был введен новый цензурный устав, получивший название «чугунного». Этот устав был направлен против «вольнодумных» сочинений, «наполненных бесплодными и пагубными мудрствованиями новейших времен». Двести тридцать параграфов нового устава открывали самый широкий простор казуистике и способствовали только тому, чтобы окончательно задушить независимое печатное слово. По этому уставу, обязывавшему отыскивать двоякий смысл в произведении, как говорил один современник, можно было и «Отче наш» перетолковать якобинским наречием.

В 1828 г. был утвержден новый цензурный устав, несколько более мягкий. Однако этот устав предусматривал полное запрещение всяких суждений о государственном хозяйстве и правительственной политике. Согласно этому уставу беллетристику рекомендовалось цензуровать с сугубой строгостью в отношении нравственности. Устав 1828 г. поло-

жил начало исключительно тяжкой для печати множественности цензуры. Допущение книг и статей ставилось в зависимость от согласия тех ведомств, к которым эти книги и статьи могли относиться по содержанию.

В конце 1832 г. была декларирована теория «официальной народности», определявшая внутреннюю политику николаевского правительства вплоть до 1848 г. Автором этой теории был С. Уваров, «министр погашения и помрачения просвещения», как его называл Белинский. Сущность теории выражалась в формуле «православия, самодержавия и народности», причем последний член формулы, наиболее ходовой и популярный, являлся в то же время и основным: с понятием «народности» связывалась мысль о необходимости сохранения крепостного права как основной гарантии незыблемости церкви и государства. С. Уваров и другие представители «официальной народности» отчетливо понимали, что исторические судьбы самодержавного строя предопределяются судьбами крепостного права. «Вопрос о крепостном праве, — говорил Уваров, — тесно связан с вопросом о самодержавии и даже единодержавии. — Это две параллельные силы, кои развивались вместе. У того и у другого одно историческое начало; законность их одинакова. — Что было у нас прежде Петра I, то все прошло, кроме крепостного права, которое, следовательно, не может быть тронуто без всеобщего потрясения». Провозгласив и обосновав теорию «официальной народности», Уваров через несколько лет заявлял: «Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно». Нужно сказать, что Уваров проводил свою программу с редкой последовательностью и настойчивостью: все без исключения области государственной и общественной жизни постепенно были подчинены системе строжайшей правительственной опеки. Соответственной регламентации подверглись также наука и литература, журналистика, театр. И. С. Тургенев вспомнил впоследствии, что в 1830—1840-е годы «правительственная сфера, особенно в Петербурге, захватывала и покоряла себе все».

Одновременно с провозглашением теории «официальной народности» Уваров начал систематическую борьбу с передовой частно-издательской прессой. С целью подрыва этой прессы по его почину были основаны «Ученые записки Московского университета», а в Петербурге начал издаваться «Журнал Министерства народного просвещения». Частноиздательскую независимую печать николаевское правительство стремилось всячески ослабить. В 1830-е годы один за другим запрещаются передовые литературные журналы: в 1832 г. был запрещен «Европеец» И. В. Киреевского, в 1834 г. — «Московский телеграф» Н. Полевого, в 1836 г. — «Телескоп» и «Молва» Н. И. Надеждина. В исключительно тяжкие цензурно-полицейские рамки был поставлен Пушкин как издатель и редактор «Современника».

Борясь со всякого рода «революционной заразой» и «вольномыслием» николаевское правительство систематически и неуклонно подавляло все возраставшие крестьянские восстания. Крепостное право продолжало лежать тяжелым бременем на народных массах России и служило главным тормозом для развития буржуазно-капиталистических отношений.

Никогда еще самодержавие не угнетало общество и народ так жестоко, как в николаевское время. И все же преследования и гонения не могли убить независимую мысль. Несмотря на политическую реакцию, николаевское время было временем необыкновенного роста литературы, критики, журналистики.

После разгрома восстания декабристов одним из очагов передовой независимой мысли сделался Московский университет. «Все пошло назад, — писал Герцен, — кровь бросилась к сердцу; деятельность, скрытая снаружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел... Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием; в него, как в общий резервуар, вливались новые силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее... Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах... Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей белой костью или богатством, был бы отлучен от „воды и огня"...».

Московский университет стал играть в 1830-е годы передовую общественную роль не столько благодаря своим профессорам и преподавателям, сколько благодаря той молодежи, которую он объединял. Идейное развитие университетской молодежи шло преимущественно в студенческих кружках. С участием в кружках, возникавших среди студентов Московского университета, было связано развитие Белинского, Герцена, Огарева, Лермонтова, Гончарова, поэтов В. И. Красова и И. П. Клюшникова, а также многих других, чьи имена впоследствии вошли в историю русской литературы, науки и общественной мысли. В середине 1850-х годов Герцен вспоминал в «Былом и думах», что «тридцать лет тому назад, Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства..., а в них было наследие 14 декабря, — наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси».

Из числа студенческих кружков, существовавших в Московском университете в 1830-е годы, в историю русской общественной мысли вошли два кружка, которых, по словам Герцена, роднило «глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды их окружавшей». Первый кружок революционного направления, образовавшийся с 1831 г., объединял Герцена, Огарева, Сазонова, Сатина и других. Во главе кружка стоял Герцен, осознавший себя с юных лет наследником идей декабристов.

Во главе другого кружка, более умозрительного и философского, возникшего не ранее 1831/32 учебного года, стоял Н. В. Станкевич, а участниками его были Неверов, поэты Красов и Клюшников, затем к кружку присоединились К. Аксаков, Белинский (осенью 1833 г.), М. Бакунин (в 1835 г.) и другие. Много лет спустя после дружеского сближения со Станкевичем Белинский писал о нем, как об одном «из тех замечательных людей, которые не всегда бывают известны обществу, но благоговейные и таинственные слухи о которых переходят иногда и в общество из тесного кружка близких к ним людей». Вслед за Белинским высоко ценили Станкевича Добролюбов и Чернышевский.

Кружки Станкевича и Герцена общались между собой, причем это общение продолжалось вплоть до самого ареста Герцена и Огарева и ссылки их обоих, а также Сатина в 1835 г. Герцен вспоминал впоследствии, что «до ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии — им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умо-

зрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их сентименталистами и немцами». После ссылки Герцена и Огарева кружок Станкевича продолжал существовать. В эти годы началась литературно-критическая деятельность Белинского. Осенью 1837 г. больной туберкулезом Станкевич уехал за границу, где и умер (в июне 1840 г.); в конце 1839 г. Белинский переехал в Петербург, а летом 1840 г. уехал за границу М. Бакунин.

Герцен, сосланный в Пермь, был переведен в Вятку, а затем во Владимир на Клязьме. Возвратившись в Петербург в 1840 г., Герцен вскоре же снова был приговорен к ссылке на этот раз в Новгород, откуда он вернулся летом 1842 г. и обосновался в Москве. К этому времени окончательно оформились революционно-демократические воззрения Белинского. К этому времени произошло идейное сближение между Герценом и Белинским: оба они становятся в центре литературно-общественного движения 1840-х годов. Совместно они ведут борьбу с славянофилами, совместно работают над созданием национально-русской материалистической философии, а Белинский закладывает основы **реалистической** эстетики и критики в России.

2. Развитие литературной журналистики в 1826—1840 гг.

В конце 1836 г. Пушкин в письме к Баранту указывал: «Литература стала у нас всего около 20 лет значительной отраслью промышленности. До тех пор она рассматривалась только как занятие изящное и аристократическое. Г-жа де-Сталь говорила в 1811 году: в России несколько дворян занимаются литературой».

В 1810-х годах писательский труд еще не имел самостоятельного профессионального характера, а читательская среда была очень ограничена.

Вновь возникавшие журналы зачастую гибли из-за отсутствия читателей. Большинство литературных журналов 1810-х годов не существовало и трех-четырех лет именно по этой причине. Характерно, что самое понятие журнала не только в 1810-е, но в 1820-е годы еще не имело той специфики, которую оно приобрело впоследствии. В 1810—1820-е годы и по своей конструкции и по своим хозяйственно-организационным формам журнал приближается к типу сборников-альманахов. Недаром в 1820-е годы альманахи пользовались большой популярностью и конкурировали с журналом. В 1830-е годы, когда литература окончательно сделалась «значительной отраслью промышленности», самое понятие журнала приобретает значение «зеркала современности». В 1830-е годы журнал вытесняет сборники и альманахи.

Вместе с развитием буржуазно-капиталистических отношений шла и общая профессионализация писательского труда, росли читательские круги. Впервые возникал вопрос об авторском праве, о литературном гонораре и т. д. Однако буржуазный прогресс нес с собой и отрицательные для развития литературы и журналистики последствия. Занятия литературой становились источником наживы и спекуляции, в журналистике приобрело господство новое «торговое» направление, не ставившее себе никаких идейных задач, а боровшееся только за количество подписчиков. В 1830-е годы, в связи с развитием капиталистических отношений, происходит объединение и усиление реакционной журналистики. Правительство, всячески препятствовавшее развитию независимой прессы, поддерживало именно эту журналистику. Через нее оно оказывало влияние на общество. В 1830-е годы положением правительственного органа пользо-

валась «Северная пчела» Ф. Булгарина и Н. Греча, пропагандировавшая официальную народность.

Наряду с поддержкой реакционно-охранительной прессы, правительство расширяло и поощряло всякого рода официальные издания. Характерно, что непрерывный рост периодической печати за 1830-е годы был связан также с непрерывной убылью частно-издательских литературных предприятий.

В самом деле, в 1825 г. по всей России выходило 41 периодическое издание. Из литературных журналов в Петербурге в этом году издавались «Сын отечества», «Соревнователь просвещения», «Благонамеренный», «Новости литературы», «Северная пчела» (в 1825 г. она являлась независимым изданием и была связана с передовыми литературными кругами); в Москве в этом же году издавались «Вестник Европы», «Московский телеграф» и «Дамский журнал».

В 1837 г. по всей России выходило 53 периодических издания, т. е. на 13 названий больше, чем в 1825 г. И, однако, литературных журналов было намного меньше. В Петербурге передовая журналистика была представлена к 1837 г. «Современником», на стороне которого были «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"». «Современнику» противостояли органы «торгового» направления: «Библиотека для чтения» и официозная «Северная пчела» с ее подсобным литературным изданием — «Сыном отечества». В Москве в 1837 г. существовал только один литературный журнал «Московский наблюдатель».

По сравнению с 1825 г., в 1837 г. количество периодических изданий выросло за счет официозных, технических и торгово-промышленных газет и журналов.

3. Журнальная деятельность А. Ф. Воейкова. Реакционно-охранительные органы Булгарина и Греча

Ряд изданий, начавших выходить еще до 14 декабря, продолжал свое существование и в позднейшие годы.

Прежде всего нужно сказать о журнальной деятельности А. Ф. Воейкова, бывшего участника «Арзамаса», поэта и переводчика, автора известных сатир на литераторов 1810—1830-х годов («Дом сумасшедших» и «Парнасский адрес-календарь»). С 1815 по 1820 г. Воейков был профессором русской словесности Дерптского университета, а затем переехал в Петербург и сделался журналистом. Сначала он являлся соиздателем «Сына отечества» (1820—1821), а затем в течение многих лет состоял редактором военной газеты «Русский инвалид» (1822—1838).

По примеру Греча, начавшего с 1822 г. выпускать литературные приложения к «Сыну отечества», Воейков в качестве приложения к «Русскому инвалиду» стал издавать «Новости литературы» (1822—1826). В последекабрьские годы Воейков был редактором-издателем «Славянина» (1827—1830), а затем «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду"» (1831—1837). Опытный полемист, особенно прославившийся в 1830-е годы своими сатирическими фельетонами под заглавием «Хамелеонистика», Воейков был близок к Жуковскому, к Бестужеву и Рылееву, к Пушкину и его друзьям. Издания Воейкова никогда не играли значительной роли в литературной жизни, однако большинство видных писателей поддерживало с Воейковым журнальные отношения. Как критик и полемист Воейков неизменно выступал на стороне Пушкина и его друзей. Но в деятельности Воейкова было много и отрицательных черт:

он был литературным дельцом, и коммерческие интересы своих изданий ставил на первый план. Он бесцеремонно относился к литературной собственности и зачастую, без всякого ведома авторов, перепечатывал их произведения в своих журналах. В 1820-е годы вошел в обиход даже особый термин «воейковствовать», «воейковщина», имевший определенный предосудительный смысл.

Вскоре же после вступления Воейкова на журнальное поприще, началась и деятельность Булгарина как журналиста. Сначала он выступил в качестве издателя «Северного архива» (1822—1828), журнала «истории, статистики и путешествий», а затем, по примеру Воейкова, в качестве «приложений» к своему «Северному архиву», начал выпускать «Литературные листки» (1823—1824).

Булгарин выдавал себя за друга Грибоедова, А. Бестужева и Рылеева, но еще в преддекабрьские годы он зарекомендовал себя в качестве интригана и литературного карьериста. С 1825 г. Булгарин стал соиздателем «Сына отечества» и в том же году, совместно с Гречем, основал «Северную пчелу», политическую и литературную газету, руководителем которой и оставался до конца жизни.

После декабрьских событий Булгарин снискал особое доверие и покровительство шефа жандармов Бенкендорфа и сделался агентом III отделения. «Северная пчела» в своей политической части стала направляться III отделением и получила поэтому преимущества правительственной газеты. Булгарин начал писать доносы на писателей и систематически вел травлю представителей прогрессивной литературы. Вследствие этого борьба с «Северной пчелой» и Булгариным в 1830-е годы стала важнейшей задачей независимой журналистики. Борьба эта, начатая Пушкиным и его друзьями в «Литературной газете», вскоре же определилась как политическая борьба, притом исключительно трудная в условиях николаевской реакции.

В 1830-е годы от имени Булгарина стало принципиально неотделимо и имя Греча. Редактор «Сына отечества», одного из лучших журналов в 1820-е годы, сблизился с Булгариным и стал союзником продажного журналиста. Через несколько лет после основания «Северной пчелы» Булгарин и Греч решили объединить свои издательские предприятия.

В 1829 г. «Сын отечества», в это время уже утративший связь с передовыми кругами русского общества, слился с «Северным архивом» Булгарина. Булгарин и Греч стали монополистами петербургской журналистики: в их руках — реорганизованный «Сын отечества», они выпускали «Северную пчелу», печатавшуюся трехтысячным тиражом и гарантированную от конкуренции.

4. Критика и журналистика романтического направления

Основной проблемой русской критики в 1830-е годы продолжала оставаться проблема романтизма. Полемика вокруг романтизма, которая началась еще до 14 декабря, в последекабрьский период не только не прекратилась, но напротив, развернулась еще с большей напряженностью и остротой. Проблема романтизма начала охватывать разнообразные философско-эстетические и социальные тенденции. В обстановке политической реакции, вследствие невозможности касаться общественно-политических тем, вопросы эстетической теории, философии и литературной критики приобрели особое значение. Облекаясь в формы эстетико-философских и литературно-критических проблем, шел процесс

кристаллизации буржуазно-демократического движения. За философско-эстетическими вопросами скрывались практические задачи общественного развития.

Вопросы об отношении искусства к действительности, о народности литературы и об «истинном романтизме» — в 1830-е годы, как и в предыдущий период, обсуждались в непосредственной связи с творчеством Пушкина. Как и в предыдущий период, в 1830-е годы Пушкин продолжал оставаться центральной фигурой русской литературы. Это не значит, конечно, что гений Пушкина был понят и оценен его современниками. Напротив, Пушкин далеко опережал свое время, творчески разрешая те проблемы, которые еще только начинали служить предметом дискуссий и споров. «Евгений Онегин», «Борис Годунов», лирика 1830-х годов и пушкинская проза — все это далеко расходилось с нормами романтической эстетики и могло быть осознано только в системе реалистической критики. Но реалистическая критика формировалась и складывалась на основе достижений и завоеваний передовой романтической критики. Вот почему критика Белинского, унаследовавшая освободительные традиции декабристов, многими нитями связана также с романтической критикой и «Московского телеграфа», и «Московского вестника».

«Московский телеграф» (1825—1834) Николая Полевого был журналом, по выражению Белинского, «как бы издававшимся для романтизма». Деятельность Полевого в «Московском телеграфе» принадлежит к числу наиболее ярких страниц в критике и журналистике 1830-х годов. С публицистической страстью Полевой боролся с литературными староверами и эпигонами классицизма, пропагандируя и защищая романтическое направление. Полевой истолковывал романтическое направление как освободительную стихию, раскрепощающую литературу от оков классической пиитики. Полевой доказывал, что принцип самобытности и народности, широкий и многообразный, является основным принципом романтизма в противоположность искусственным нормам классической школы. Используя западноевропейскую критическую литературу (преимущественно французскую) для проведения прогрессивных идей, Полевой боролся с отживавшими эстетическими канонами, мешавшими развитию литературы.

В конкретной критике Полевого тенденции общественно-исторического подхода к литературе соединялись с романтическим представлением о поэте как о Прометее, похищающем с неба огонь, как о гениальном безумце, который находится в трагическом конфликте с обществом. В борьбе за свободу художественного творчества была сила Полевого как критика, но здесь же была и мера его ограниченности. Полевой много сделал для демократизации русской литературы, однако его критический метод оказался непригодным для объяснения фактов реалистического искусства. Редактор «Московского телеграфа» с недоумением и враждебностью остановился перед искусством реалистического направления. Полевой не понял пушкинского реализма, впоследствии для него оказалось глубоко враждебным творчество Гоголя, которого он счел «грязным» писателем. Так определилась эволюция Полевого. Неутомимый глашатай свободы художественного творчества сделался сторонником консерватизма. Но при всем том деятельность Полевого была важным и значительным этапом на путях к реалистической критике.

Полевой защищал в «Московском телеграфе» романтическое направление. Критика «Московского вестника» (1827—1830) тоже была ро-

мантической, но с определенной установкой на идеалистическую философию. В статьях критика «Московского Вестника» Шевырева намечался отрыв искусства от общественно-исторической действительности. Шевырев ориентировался на учение Шеллинга. Ему была близка реакционная сущность этого учения, его иррационализм и мистика. Шевырев намечал линию реакционно-романтической критики. Именно эта линия коренным образом противоречила направлению пушкинского творчества и не случайно, что Шевырев впоследствии оказался приниципиальным противником пушкинского реализма.

Органом группы бывших любомудров «Московский вестник» был только в первые два года его издания; в последние годы, особенно после отъезда за границу Рожалина, Шевырева и Киреевского, журнал утратил свой первоначальный облик и сделался единоличным предприятием М. Погодина.

Научный отдел журнала стал заполняться узко специальными историческими исследованиями и архивными материалами, отражавшими интересы самого Погодина как историка. Особого успеха «Московский вестник » не имел ни в первые годы издания, ни в последние. В нем не было энциклопедизма, характерного для «Московского телеграфа», не было фельетонов, политической хроники, не было модных картинок. Теоретические и критические статьи «Московского вестника» были тяжелы и трудны для широкого читателя. В 1827 г. «Московский вестник» расходился в количестве около 600 экз., а в следующие годы не более 250—300 при тираже «Московского телеграфа» в 1200 экз.

Следует отметить, что в Москве одновременно с «Московским вестником» издавались еще два журнала, родственные ему по направлению, но игравшие второстепенную роль в литературно-общественной жизни. Философский идеализм популяризировал «Атеней» (1828—1830), выходивший под редакцией профессора М. Г. Павлова. На идеалистическую философию и романтическую литературу ориентировалась «Галатея» (1829—1830), издававшаяся С. Е. Раичем. На страницах «Атенея» и «Галатеи» появились резкие критические статьи, направленные против Пушкина.

За год до ликвидации «Московского вестника» в Петербурге начала издаваться «Литературная газета» (1830—1831).

В «Московском вестнике» Пушкину не удалось стать руководителем, не удалось привлечь к сотрудничеству своих ближайших друзей. Напротив, в Петербурге вокруг «Северных цветов», выходивших в 1825 г., выросла и окрепла писательская группа, связанная дружескими отношениями. В центре этой группы стоял Дельвиг, который и был избран редактором «Литературной газеты». Ближайшим сотрудником газеты стал также Вяземский, к этому времени оставивший «Московский телеграф», в котором он принимал горячее участие в самые первые годы его издания.

Появление новой газеты в Петербурге создавало конкуренцию булгаринской «Северной пчеле». Вследствие этого Булгарин немедленно начал атаку на «Литературную газету» и на Пушкина. К Булгарину присоединился и Полевой, затронутый статьей Пушкина об «Истории русского народа».

Одновременно с травлей Пушкина Булгарин напал на «аристократизм» «Литературной газеты». Это нападение носило характер политического доноса, поскольку еще свежа была память о дворянах-декабристах и правительство с большой настороженностью относи-

лось ко всяким дворянским группировкам, подозревая оппозицию и крамолу.

Вследствие революционных событий во Франции в 1830 г. полемика о «литературном аристократизме» вызвала недовольство Бенкендорфа: за помещение в «Литературной газете» одной полемической заметки против Полевого и Булгарина Дельвигу был сделан строгий выговор, а самая полемика об «аристократизме» была признана вредной.

После напечатания в газете четверостишия Делавиня, посвященного памяти жертв июльской революции, Бенкендорф запретил продолжать издание. «Литературную газету» удалось все же возобновить с тем, однако, чтобы официальным редактором ее был Сомов, к которому после смерти Дельвига в январе 1831 г. газета и перешла.

Одно время Пушкин проектировал превратить газету в политическую, однако после истории со стихами Делавиня эту мысль ему пришлось оставить.

Проект политической газеты заново стал перед Пушкиным летом 1831 г., когда он предполагал издание «Дневника». Хлопоты в связи с получением разрешения затянулись на год, а когда разрешение было получено, от издания «Дневника» Пушкин решил отказаться. Как ни нуждался Пушкин в независимой журнальной трибуне, как ни остра была необходимость борьбы с монополией «Северной пчелы», он вероятно, пришел к выводу, что издавать независимую политическую газету невозможно.

И вот после долгих хлопот план издания «Дневника» был оставлен. Значение этой неизбежной неудачи метко формулировал Вяземский в письме к А. И. Тургеневу: «Журнал его [Пушкина] решительно не состоится, по крайней мере на будущий год. Жаль. Литературная канальская шайка грече-булгаринская остается в прежней силе».

В начале 1832 г. погибло и другое предприятие, которое поддержал Пушкин. Николай I запретил «Европеец», новый московский журнал, только что начавший издаваться И. В. Киреевским.

5. Подготовка реалистической критики. «Торговое» направление в журналистике и борьба с ним

Начиная с конца 1810-х годов средоточием оппозиции прогрессивно-романтическому направлению в литературе был «Вестник Европы». Неизменно представлявший эту оппозицию до 1825 г., «Вестник Европы» не изменил своей линии и после 14 декабря.

В течение пятилетия с 1820 по 1825 г. «Вестник Европы» противостоял передовой петербургской журналистике. За этот период «Вестник Европы» «толковал о старине и заржавленным циркулем измерял новое» — так охарактеризовал журнал декабрист А. Бестужев. На появление «Руслана и Людмилы» «Вестник Европы» ответил ругательной статьей «Жителя Бутырской слободы» (сравнение с «гостем с бородою, в армяке, в лаптях», который втерся в московское благородное собрание). После опубликования отрывка из «Горе от ума» Грибоедова М. Дмитриев посоветовал автору «не издавать ее, пока не переменит главного характера и не исправит слога». Нужно отметить, что на Пушкина прямых нападок за этот период, кроме статьи о «Руслане и Людмиле», больше не было. «Кавказский пленник» был встречен даже сочувственной статьей М. Погодина. Однако общую линию журнала характеризует сопротивление романтизму и его осуждение. В полемике о предисловии Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» критик

«Вестника Европы» (М. Дмитриев) сочувственно принимал самую поэму, но против романтической теории возражал.

Социально-политический облик журнала всегда был консервативным, но в 1820-е годы консерватизм крепнет и усиливается, доходя до обскурантизма. С защитой самодержавия и дворянских привилегий в 1821 г. выступает Иовский; после 14 декабря он же печатает в журнале статьи с доказательствами преимуществ абсолютизма. К 1825 г. относится полемика о народном образовании, которая велась на страницах самого «Вестника Европы». Начал эту полемику кн. Цертелев, выступивший с обскурантской программой образования. Учить грамоте крестьян не следует, им нужны только церковные проповеди — таков один из пунктов этой программы. Даже правительство Николая I, закрывшее крепостным доступ в гимназии и университеты, все же не сочло нужным принять программу Цертелева и вовсе лишить крестьян образования.

Годы 1826—1827 для «Вестника Европы» были годами постепенного угасания, и только в 1828 г., когда сотрудником Каченовского стал Н. И. Надеждин, журнал не только ожил, но и сделался боевым журналом. Просуществовал он, впрочем, недолго: 1830 год был последним годом его издания. Одновременно с закрытием «Вестника Европы» в Москве закрылись также «Московский вестник», «Атеней» и «Галатея».

С 1831 г. Надеждин стал издавать «Телескоп» и «Молву».

В течение первых лет издания «Телескоп» объединил М. П. Погодина, С. П. Шевырева, В. П. Андросова, М. Г. Павлова и других участников прекратившихся «Московского вестника» и «Атенея», но главным и деятельнейшим сотрудником журнала в эти годы был сам Надеждин. Надеждин явился противником романтической эстетики. Критикуя романтизм, Надеждин теоретически обосновывал народность как основу художественного творчества и предсказывал торжество народности в искусстве будущего.

Несмотря на то, что критика романтизма у Надеждина была еще отвлеченной и односторонней критикой, а самое понятие народности во многом еще оставалось абстрактным, — все-таки именно Надеждин открыл дорогу реалистической критике и подготовил критику Белинского.

Наряду с критикой романтизма Надеждин боролся с подражательностью; он призывал к сближению литературы с действительностью. Намечая в своих статьях ряд важнейших проблем, впоследствии развернутых Белинским, Надеждин еще до «Литературных мечтаний» неоднократно подчеркивал, что для появления народной, самобытной литературы необходимо просвещение народа. Эта идея стала одной из основных идей молодого Белинского.

В сфере политических концепций и выводов «Телескоп» никогда не доходил до критики крепостничества и абсолютизма. Но отсюда еще нельзя делать вывода, что направление журнала было казенно-охранительным, как это утверждали буржуазно-либеральные историки и публицисты. Действительно, позиции «Телескопа» по отношению к июльской революции и к польскому восстанию совпали с правительственной линией. Но журнал резко разошелся с официальной идеологией по ряду других важнейших вопросов.

«Телескоп» энергично звал к пробуждению низовых народных масс, многократно и настойчиво подчеркивая, что народ является основной движущей силой исторического прогресса. Формула «народности», за-

щищавшаяся «Телескопом», в своих социальных тенденциях была противоположна казенной «охранительной теории».

Не случайно поэтому, что когда Уваров в 1832 г. официально провозгласил «охранительную теорию», «Телескоп» встал под угрозу разгрома за «вредное» направление. Характерно, что в 1833 г., когда со всей грубостью стала насаждаться официальная народность, «Телескоп» снижает тон, материал журнала идейно и политически нейтрализуется, а лозунг народности в 1833 г. Надеждиным вообще не выдвигается. С обоснованием народности на страницах «Молвы» выступает уже Белинский в «Литературных мечтаниях». В пору грубого насаждения «народности» сверху, Белинский вслед за Надеждиным продолжает борьбу за подлинно народную литературу.

1834 год, год появления в свет «Литературных мечтаний», в истории русской журналистики важен еще двумя значительными фактами. В 1834 г. был запрещен «Московский телеграф», и Полевой из передового журналиста сделался слугой николаевского режима. С 1834 г. в Петербурге начала издаваться «Библиотека для чтения», журнал нового типа с установкой на широкую массовую аудиторию. Буржуазные отношения, проникавшие в журнальное дело с конца 1820-х годов, с основанием «Библиотеки для чтения» окончательно утвердились.

«Библиотека для чтения» ввела высокие нормы авторского гонорара, что обеспечило переход в журнал виднейших писателей. Ставя своей задачей борьбу за рынок, журнал блестяще организовал свой редакционно-издательский аппарат. Редактор «Библиотеки для чтения» Сенковский ориентировался, главным образом, на провинциального читателя и стремился давать ему занимательный и разнообразный материал, объединенный в книжках объемом в 25—30 печатных листов, выходивших первого числа каждого месяца, без единого дня опоздания. Сенковский руководствовался преимущественно коммерческими интересами своего издания, а в отношениях к сотрудникам «Библиотеки для чтения» он проявил себя как безответственный и своевольный редактор. Уже через два-три месяца после основания нового журнала ряд виднейших писателей, сначала ставших сотрудниками Сенковского, вынуждены были покинуть журнал. Начиная с середины 1834 г. нарастает оппозиция к Сенковскому, в журналистике накапливаются силы для борьбы с «Библиотекой для чтения». Сенковского разоблачают как ликвидатора искусства, как беспринципного деятеля, враждебного самому существу поэзии и литературы. Его имя начинает ставиться в один ряд с именами Булгарина и Греча.

Борьба Сенковского за рынок привела к тому, что количество подписчиков «Библиотеки для чтения» превышало в пять-шесть раз количество подписчиков даже лучших журналов 1830-х годов. «Библиотека для чтения» выходила неслыханным для того времени пятитысячным тиражом. «Торговое направление» журналистики, пионером которого был тот же Сенковский, имело большое развращающее влияние на литературу. Коммерческие, спекулятивные интересы снижали качество литературного труда; в журналистике все больше и больше начали появляться рыцари наживы, беспринципные дельцы, стремящиеся только обогатиться за счет литературы. В связи с этим ставилась на очередь задача борьбы с торговым направлением, борьбы за высококачественную литературу.

Выступления против «Библиотеки для чтения» в журналистике 1830-х годов были многочисленны. Принципиальную же оппозицию «торговому направлению» можно свести к двум тенденциям, ясно обо-

значившимся уже в 1834—1835 гг.; для бывших любомудров враждебность торговому направлению была связана с неприятием буржуазно-капиталистических отношений вообще. Протест против «торгового направления» у них связывался поэтому с апелляцией к прошлому, к докапиталистическим патриархальным временам.

Другие противники «торгового направления» понимали неизбежность буржуазных отношений в литературе и принимали их, несмотря на их вредные и отрицательные стороны. Первая тенденция наиболее ярко выразилась в направлении «Московского наблюдателя» (1835—1837). Вторая тенденция — в направлении «Телескопа» и «Молвы».

Программное выступление Белинского с «Литературными мечтаниями» вызвало резкое осуждение со стороны части сотрудников «Телескопа» (В. П. Андросов, М. П. Погодин, С. П. Шевырев и др.), именно тех, которые с 1835 г. объединились в «Московском наблюдателе», противопоставив свои позиции одновременно и «торговому направлению», и создававшейся реалистической критике.

Во вторую половину 1835 г. «Телескоп» и «Молва», в виду отъезда Надеждина за границу, редактировались Белинским. В пору «временной редакции» в журнале приняли участие друзья Белинского из кружка Н. В. Станкевича — К. С. Аксаков, В. И. Красов и другие.

Уже в 1835 г. у Белинского и его друзей намечался отход от романтического идеализма. Напротив, литературная группа «Московского наблюдателя», объединившая бывших любомудров, эволюционировала в том же направлении, что и Шеллинг, т. е. в направлении религиозно-мистической философии откровения.

Литературная группа «Московского наблюдателя» объединялась общим для всех его участников неприятием буржуазно-капиталистических отношений. В остальном намечались противоречивые тенденции. Часть сотрудников «Московского наблюдателя», такие как В. П. Андросов, Е. А. Баратынский, Н. Ф. Павлов или близкие к редакции журнала М. Ф. Орлов и П. Я. Чаадаев, — все они не скрывали своей вражды к официальной идеологии и казенному «патриотизму». Такие из сотрудников «Московского наблюдателя», как С. П. Шевырев или М. П. Погодин, уже ясно эволюционировали в сторону реакции.

Против «светской» эстетики Шевырева, против его салонно-аристократических взглядов выступили Надеждин и молодой Белинский. В 1836 г., в течение нескольких месяцев, шла бурная полемика между «Телескопом» и «Московским наблюдателем». Со стороны «Московского наблюдателя» выступал преимущественно Шевырев, со стороны «Телескопа» полемизировали Надеждин и молодой Белинский, защищавшие народность и действительность в искусстве, идейность и содержательность художественного творчества.

Характерно, что после нашумевшей статьи Белинского «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя"» Пушкин, в эту пору уже начавший издавать «Современник», оставил экземпляр первого номера своего журнала в Москве П. В. Нащокину и просил его из Петербурга: «Пошли от меня Белинскому (тихонько от наблюдателей NB) и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться». Судя по тому, что в пору своего пребывания в Москве весной 1836 г., Пушкин очень холодно встретился с «наблюдателями», а затем жалел, что не успел увидеться с Белинским — можно заключать, что симпатии Пушкина были не на стороне «Московского наблюдателя».

«Московский наблюдатель» просуществовал три года, но не имел успеха. Борьба его с «Библиотекой для чтения» не могла не кончиться поражением, поскольку руководители журнала «торговому» направлению противопоставили дело литературы как занятие светское и аристократическое.

Видя неуспех журнала, от «Московского наблюдателя» постепенно отходили его ближайшие сотрудники, а новых не прибавлялось. Напротив, «Телескоп» оживился новыми силами; в 1836 г. в журнале приняли участие М. А. Бакунин, А. И. Герцен, И. И. Панаев, В. П. Боткин, П. Н. Кудрявцев и другие.

В пятнадцатой книжке «Телескопа» за 1836 г. было напечатано знаменитое «философическое письмо» П. Я. Чаадаева, которое, по выражению Герцена, «потрясло всю мыслящую Россию». На основании резолюции Николая I от 22 октября 1836 г. за напечатание «письма» «Телескоп» был закрыт, а Надеждин выслан в Усть-Сысольск.

6. «Современник» Пушкина. Пушкин и Белинский

На протяжении многих лет Пушкин стремился к собственному журналу. «Когда-то мы возьмемся за журнал; мочи нет хочется», — писал он П. А. Вяземскому еще в августе 1825 г. Сотрудничество Пушкина в «Московском телеграфе», а затем в «Московском вестнике» только укрепило его мысль о необходимости издания, которым он мог бы самостоятельно руководить.

Пушкина не удовлетворяли не только «Московский телеграф» и «Московский вестник», но и «Литературная газета», поскольку возможности ее были ограничены. Важнейшим отделом журнала Пушкин считал политику, но именно этого отдела были лишены русские журналы его времени. Пушкину пришлось отказаться от задуманной в 1831 г. политической и литературной газеты. Однако он все же не переставал думать о собственном органе.

В начале 1836 г. Пушкин получил разрешение на издание «Современника», единоличным редактором которого он и стал, успев выпустить четыре книжки.

Цензором «Современника» был Крылов, тот самый Крылов, о котором А. В. Никитенко записал в своем дневнике, что одно имя его «страшно для литературы: он ничего не знает кроме запрещения».

В течение годичной работы Пушкина как редактора «Современника» несколько вещей было запрещено цензурою вообще (статья Пушкина о Радищеве, «Записка о древней и новой России» Карамзина, стихотворение Тютчева «Два демона», переводная статья о «Применении системы Галля и Лафатера к изображениям пяти участников покушения на жизнь Луи-Филиппа в 1835 году»), в некоторых были сделаны цензурные изменения и сокращения («Хроника русского» А. И. Тургенева, «Прогулка по Москве» М. П. Погодина, «Челобитная», «Взятие Дрездена» и «О партизанской войне» Д. Давыдова, «Не то, что мните вы природа» Тютчева, «Петербургские записки» Гоголя), а две статьи («Долина Ажитугай» и «Взятие Дрездена») вызвали недовольство III отделения, в связи с чем материал «Современника» стал подвергаться дополнительному просмотру со стороны цензоров военного ведомства. Об исключительной тяжести давления цензуры на «Современник» Пушкин писал Д. Давыдову: «Тяжело, нечего сказать. И с одной цензурою напляшешься, каково же зависеть от целых четырех. Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны, но даже сами от себя согласны с духом пра-

вительства. Но знаю, что никогда не бывали они притеснены как нынче».

Несмотря на исключительно тяжелые условия, в которые Пушкин был поставлен, изданные им четыре книжки «Современника» свидетельствуют о высокой политической и литературной принципиальности издания. Освещение в «Современнике» таких тем, как Отечественная война 1812 года и Пугачевское восстание, вся художественная и публицистическая проблематика «Современника» говорят о том, что и как журналист и как общественный деятель Пушкин продолжал быть замечательным борцом за культуру русского народа.

Для Пушкина как редактора и организатора «Современника» была характерна ориентация на фактический документальный материал. Он энергично пропагандировал такие формы повествования, как мемуары, исторические и бытовые очерки и пр. Пушкин вел переговоры о напечатании в «Современнике» записок С. Н. Глинки, сам начал запись воспоминаний М. С. Щепкина, торопил П. В. Нащокина написать и прислать свои записки, сам обрабатывал его воспоминания и пр. Большое внимание уделял Пушкин статьям по общественно-экономическим вопросам. Напечатав в «Современнике» (в I и III книгах) две статьи кн. Козловского («Разбор парижского математического ежегодника на 1836 год» и «о теории вероятностей»), Пушкин заказал тому же Козловскому статью о теории паровых машин.

Одной из основных проблем публицистики «Современника» была проблема буржуазно-капиталистического прогресса. Эта проблема была в центре внимания и самого Пушкина и его ближайших сотрудников. В этом смысле особенно характерна статья Пушкина о Дж. Теннере с критикой буржуазной демократии и капитализма, а из статей сотрудников «Современника» — «Прогулка по Москве» М. П. Погодина (отходная старой боярской Москве) и статья В. Одоевского «О вражде к просвещению» (критика буржуазных отношений в литературе). Пушкин не был врагом капиталистического развития России, но он был одним из первых критиков капитализма и хорошо видел его пороки.

Как редактор «Современника» Пушкин не ограничивался кругом своих старых литературных друзей. Он стремился выдвинуть в литературу новые имена, интересуясь, с одной стороны, молодыми начинающими авторами, с другой — обращаясь к лицам, не являвшимся профессиональными литераторами. Показательно обращение Пушкина к людям большого жизненного опыта — к Н. А. Дуровой, В. А. Дурову, В. Д. Сухорукову и другим.

Работе для своего журнала Пушкин отдавал много времени и много сил. С «Современником» были связаны и последние литературные дела Пушкина: за день до дуэли, 26 января 1837 г., Пушкин на бале у гр. Разумовской просил Вяземского написать кн. Козловскому и напомнить ему об обещанной статье о теории паровых машин; на другой день, за несколько часов до своего смертельного ранения, Пушкин отправил письмо детской писательнице и переводчице А. О. Ишимовой с просьбой перевести для «Современника» несколько произведений Барри Корнуэля.

Пушкин приступил к своему изданию в сложной обстановке журнальной борьбы. К 1836 г. все попытки противодействия «торговому направлению», органам Булгарина и Сенковского не дали положительных результатов.

«Библиотека для чтения» выходила пятитысячным тиражом, «Северная пчела» — трехтысячным тиражом, между тем как тиражи жур-

налов в которых группировалась оппозиция Сенковскому и Булгарину, колебались от 400 и до 600 экз. («Телескоп» и «Московский наблюдатель»).

Еще осенью 1835 г. издатель и редактор «Библиотеки для чтения», Смирдин и Сенковский, убеждали Пушкина отказаться от проектированного им «Современника». «Смирдин уже предлагает мне 15 000, чтоб я от своего предприятия отступился, и стал бы снова сотрудником его Библиотеки», — писал Пушкин П. В. Нащокину в конце октября 1835 г.: «Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. Но Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура — что с ними связываться невозможно».

Желая подорвать возможного конкурента, Сенковский выступил в «Библиотеке для чтения» с грубыми выпадами по адресу Пушкина и его журнала еще до выхода в свет первой книжки «Современника». В защиту Пушкина от нападок «Библиотеки для чтения» была опубликована статья В. П. Андросова в «Московском наблюдателе». Сам Пушкин, не расходясь с противниками Сенковского в оценке отрицательных сторон «Библиотеки для чтения», не ставил, однако, в качестве основной задачи «Современника» борьбу с «торговым направлением». И тем не менее «Современник» оказался втянутым в эту борьбу.

Статья Гоголя «О движении журнальной литературы», опубликованная анонимно в первой книжке, давала почти памфлетную характеристику литературных журналов 1834—1835 гг. и была особенно заострена против «Библиотеки для чтения». В литературных кругах статья эта была воспринята как программа «Современника» и приветствовалась противниками Сенковского. Пушкин был вынужден лично вмешаться в полемику. Во второй книжке «Современника», в заметке от редакции Пушкин указал, что им получено две статьи — первая из Твери, за подписью А. Б., и вторая — статья Косичкина. Для читателей 1830-х годов не подлежало сомнению, что фамилия Косичкина была псевдонимом самого Пушкина — полемиста с Булгариным. Но Пушкин отказался от фельетона Косичкина. В третьей книжке «Современника» в ответ на злобные выпады «Северной пчелы», вновь обвинявшей Пушкина в «литературном аристократизме» и доказывавшей, что «Современник» есть «возобновленная Литературная газета, только в другом виде», — Пушкин твердо заявил, что его издание действительно будет продолжением «Литературной газеты», «по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду».

В той же третьей книжке Пушкин опубликовал «Письмо к издателю», за подписью А. Б., написанное им самим. Сущность «письма» А. Б. состоит вовсе не в том, что Пушкин якобы отмежевывался от Гоголя в его борьбе с «торговым направлением», как это иногда утверждается. Под маской провинциала, «тверского помещика» Пушкин говорил от лица одного из рядовых подписчиков «Библиотеки для чтения»: он возражал Гоголю по частным вопросам, но главных его обвинений против Сенковского не опровергал. В «письме» А. Б. подчеркивалось, что, несмотря на отрицательные стороны «Библиотеки для чтения», указанные Гоголем, этот журнал сумел привлечь огромную массу читателей, и, таким, образом, практически разрешить ту задачу, над которой тщетно бились противники Сенковского. Постановкой вопроса о методах работы на читателя и для читателя Пушкин оказывался солидарным с той программой деятельности журналиста, которая была развернута Белинским в ряде его статей и рецензий 1836 г. «У нас еще мало читателей, — писал Белинский

в обзоре «Ничто о ничем», — в нашем отечестве, составляющем особенную, шестую часть света, состоящем из шестидесяти миллионов жителей, журнал, имеющий пять тысяч подписчиков, есть редкость неслыханная, диво дивное. Итак, старайтесь умножить читателей: это первая и священнейшая Ваша обязанность. Не пренебрегайте для этого никакими средствами, кроме предосудительных, наклоняйтесь до своих читателей, если они слишком малы ростом, пережевывайте им пищу, если они слишком слабы, узнайте их привычки их слабости и, соображаясь с ними, действуйте на них. В этом отношении, нельзя не отдать справедливости „Библиотеке": она наделала много читателей; жаль только, что она без нужды слишком низко наклоняется, так низко, что в рядах своих читателей не видит никого уже ниже себя; крайности во всем дурны; умейте наклонить и заставьте думать, что Вы наклоняетесь, хотя вы стоите прямо». Против этих простых и ясных требований Пушкин не только не мог возражать, но именно этим требованиям в основном соответствует общий смысл пушкинского «письма» А. Б. Характерно, что в «письме» А. Б. Пушкин весьма сочувственно отозвался о Белинском и тогда же, осенью 1836 г., принял решение о привлечении Белинского в «Современник».

Белинский рецензировал и первую и вторую книжки пушкинского журнала. Первую книжку он встретил сочувственно за обзор «О движении журнальной литературы», принадлежавший Гоголю. Зато вторую книжку «Современника» Белинский резко критиковал; в статьях П. А. Вяземского и В. Ф. Одоевского он усматривал тенденции цеховой замкнутости и узкой корпоративности. Безоговорочно осудив эти тенденции как выражение «литературного аристократизма», Белинский не мог выделить и понять установок самого Пушкина. Но это не помешало Пушкину с большим вниманием отнестись к молодому критику. И подобно тому, как «тихонько от наблюдателей» Пушкин передал Белинскому экземпляр своего журнала, так и в «письме» А. Б., никем не узнанный, он формулировал свои взгляды на задачи журнальной работы.

Можно предполагать, что именно рецензия Белинского на вторую книжку «Современника» и побудила Пушкина выступить с «письмом» А. Б. Не случайно поэтому, что в «письме» Пушкин отозвался и о Белинском как о критике, который, «обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного».

Белинский так и не встретился с Пушкиным лично, но о пристальном и сочувственном внимании к себе великого поэта он знал. Тотчас же после запрещения «Телескопа», где работал Белинский, П. В. Нащокин по поручению Пушкина вступил с критиком в деловые переговоры о переезде его в Петербург для работы в «Современнике». «Теперь, коли хочешь — писал Нащокин Пушкину в конце 1836 г., — Белинский к твоим услугам. Я его не видал, но его друзья, и в том числе Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать». В январе 1837 г. Пушкин был убит и на это письмо ответить уже не успел.

Таким образом, еще при жизни Пушкина в «Современнике» намечалось сотрудничество Белинского и, стало быть, протягивалась прямая нить от Пушкина к революционной демократии грядущих десятилетий.

Через несколько лет, когда имя Белинского стало известно всей мыслящей России, в 1842 г., он признавался в письме к Гоголю: «Я не заношусь слишком высоко, но — признаюсь — и не думаю о себе слишком мало; я слышал похвалы себе от умных людей и — что еще лестнее — имел счастие приобрести себе ожесточенных врагов: и все-таки больше всего этого меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастию, дошедших до меня из верных источников, и я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин».

ГЛАВА X

Н. А. Полевой и „Московский телеграф"

1. Общественная позиция Н. А. Полевого

Николай Алексеевич Полевой (1796—1846) вошел в историю русской литературы как «купец-литератор». Купеческое происхождение Полевого всячески подчеркивалось как его современниками, так и позднейшими критиками и историками литературы, писавшими об издателе «Московского телеграфа». Подчеркивал это и сам Полевой. «Я сам купец, — писал он, — и горжусь, что принадлежу к сему почетному званию, которое, уступая, может быть, другим в образовании, конечно не уступит никому в желании добра отечеству и помнит, что из среды его вышел бессмертный мясник нижегородский» (предисловие к «Очеркам русской литературы», 1839).

Род Полевых — старинный посадский род, именитый и богатый, принадлежал к купеческой «аристократии», гордой своими предками, знавшей свою историю. К концу XVIII столетия род Полевых начинает, однако, постепенно клониться к упадку. Дела отца Николая Алексеевича пришли в полное расстройство, и он не оставил семье никакого состояния. Николай Алексеевич вступил в жизнь почти нищим молодым человеком, без систематического образования и связей в обществе.

Род Полевых был не только именитым и богатым, но и просвещенным родом. Дед Николая Алексеевича славился в Курске как начетчик духовных книг, а отец постоянно читал все выходившие в ту пору русские газеты и журналы и с увлечением предавался спорам на политические и религиозно-философские темы с губернскими чиновниками и интеллигенцией.

Круг чтения молодого Полевого был достаточно широк, хотя и хаотичен. «С детства он уже был писатель и жил душою и умом в литературном мире», — писал о нем его брат Ксенофонт Полевой, «Записки» которого служат основным источником для биографии Н. А. Полевого и истории «Московского телеграфа». Уже в родительском доме Полевой жил в атмосфере несомненного, хотя и расплывчатого, эмоционального «вольнолюбия», — недаром в отце Полевого современники подмечали «наклонность к тому, что ныне называют либерализмом» (Ф. Вигель).

Появление Полевого в литературе совпало со временем массового увлечения «самородками» и самоучками, охватившего дворянское общество после Отечественной войны 1812—1814 гг. «Ободрение» юных талантов из низших сословий, меценатство — стали очередной литературной модой.

Естественно, что и Полевой, выступивший в 1817 г. в печати (на страницах «Русского вестника» С. Глинки) с нескладной прозой и еще более нескладными виршами, был немедленно объявлен «самородком», «купцом-самоучкой». В числе первых литературных покровителей Полевого был издатель журнала «Отечественные записки» П. П. Свиньин, оказавший ему существенную поддержку в первые годы его литературно-журнальной деятельности.

Однако Полевой не пожелал удовольствоваться скромной ролью ободренного «самородка», провинциального корреспондента «Отечественных записок» и «Вестника Европы». Он очень быстро ассимилировался в литературной среде и с первых же шагов повел себя самостоятельно и решительно. На этот раз меценаты и покровители просчитались, «пригрев змею на своей груди» (именно таков был смысл позднейших высказываний Свиньина о Полевом): строптивый купчик не захотел почтительно прислушиваться к голосу «господ литераторов», но открыто объявил им войну и, что было особенно парадоксально, выходил в этой войне несомненным победителем. Через какие-нибудь пять лет после появления Полевого в литературном салоне Свиньина об этом «самородке» распевали водевильные куплеты: «Купцы полезли на Парнас».

Смысл и значение первых выступлений Полевого на литературно-журнальном поприще заключались не только и не столько в том, что он был новой (и крупной) литературной силой, сколько в том, что он был новой социальной силой. Именно этим объясняется тот прием, который встретил Полевой у большинства русских литераторов и журналистов 1820-х годов и который нельзя назвать иначе, как злобной травлей. Полемика, разгоревшаяся вокруг имени Полевого, с самого начала приняла формы литературного скандала, небывалого по своим размерам и запальчивости тона.

В этой полемике очень крупную роль играл вопрос о политической репутации Полевого.

Современники склонны были считать Полевого проводником идей крайнего политического радикализма. С. С. Уваров, министр народного просвещения, один из вдохновителей николаевской реакции, полагал, что Полевой на страницах «Московского телеграфа» выражал «дух декабризма». Агенты III отделения именовали его в своих донесениях «атаманом» московской «либеральной шайки».

Между тем Полевой, конечно, не имел никаких точек соприкосновения с русской революционной демократией. Социальные убеждения его носили, несомненно, демократический и радикальный характер, но на них лежала неизгладимая печать буржуазной ограниченности и умеренности. Полевой никогда, даже в пору наибольшего своего радикализма, в годы издания «Московского телеграфа», не думал о коренных политических преобразованиях в России, полагая, что для этого «еще не настало время» (Кс. Полевой).

Полевому были не только органически чужды, но и враждебны идеи раннего русского социализма, с провозвестниками которых (Белинским, Герценом и др.) столкнулся он в конце 1830-х годов. Герцен писал о Полевом в «Былом и думах»: «Для нас сен-симонизм был откровением, для него безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию».

Социально-политические чаяния Полевого не шли дальше буржуазной конституционной монархии, перекликались с превозносимыми им идеями «трезвого» радикализма французской буржуазии эпохи Реставрации и июльской монархии. Некоторую роль в формировании взглядов Полевого сыграло и увлечение его национально-освободительным движением в странах латинской Америки и в Северо-американских штатах. К числу любимых «героев» Полевого принадлежали такие деятели этого движения, как Боливар и Вашингтон.

Тем не менее, Полевой сыграл очень важную и несомненно прогрессивную роль в истории русской общественной мысли и литературы. Именно он, говоря словами Герцена, «начал демократизировать русскую

литературу, он заставил ее сойти с ее аристократических высот и сделал ее более народною или, по крайней мере, более буржуазной». В этих немногих словах с достаточной глубиной раскрыт исторический смысл деятельности Полевого и отмечены ее сильная и слабая стороны: демократизм идейных воззрений издателя «Московского телеграфа» и буржуазная ограниченность этого демократизма.

Полевой был типичным буржуазным просветителем, энергично боровшимся за экономический и культурный подъем в России. Он был непримиримым противником всего, что этому подъему препятствовало, смело критиковал отжившие формы феодально-крепостнического строя и его идеологию, резко выступал против сословно-классовых привилегий дворянства. Белинский назвал Полевого «смелым, неутомимым, даровитым бойцом», которого одушевляла «мысль о необходимости умственного движения, о необходимости следовать за успехами, улучшаться, идти вперед, избегать неподвижности и застоя» («Н. А. Полевой», 1846).

В основе общественной и публицистической практики Полевого лежала пропаганда идеи свободного капиталистического развития России, расширения прав и влияния промышленной буржуазии. Не будет преувеличением сказать, что в ряду защитников прав и привилегий русского «третьего сословия» начала XIX в. Полевому принадлежит первое место. С исключительной последовательностью и настойчивостью доказывал он, что «деятельная промышленность, возвышение производителей средних званий есть шаг к прочному благоденствию государства» и что «купеческое звание стоит в ряду других званий российского гражданства, как почетное и заслуживающее уважения в глазах истинно просвещенного человека и сына отечества» («Московский телеграф», 1826, ч. 9).

Все публицистические высказывания Полевого в годы издания «Московского телеграфа», в конечном счете, сводятся к обоснованию идеи органической связи и взаимодействия свободного капиталистического развития и культурного подъема, «промышленности» и «просвещения». «Благосостояние государства является только тогда, — писал Полевой, — когда все физические способности государства живы и деятельны; для сей жизни, для сей деятельности должны быть возбуждены душевные или умственные средства. Не остается более сомнений, что только при соединении вещественного и невещественного капиталов государство является в полноте народного бытия. Признаком достижения к сей полноте со стороны вещественной бывает промышленность, со стороны умственной — литература... С тех пор как промышленность явила свои действия, сила ума показала решительное превосходство над вещественностью» («Московский телеграф», 1828, ч. 23).

Эту мысль Полевой особенно подробно обосновал в двух своих программных речах: «О невещественном капитале» (1828) и «О купеческом звании» (1832), читанных в Московской практической академии коммерческих наук, а также в предисловии к роману «Клятва при гробе господнем» (1832), где читаем: «Проявление вещественного и невещественного богатства зависит именно от нас, частных и честных людей. Мы производители, мы должны помогать правительству, создавая русскую промышленность, русское воспитание, русскую литературу, — словом, — русское образование».

Литературно-журнальная деятельность Полевого была исключительно широка и многогранна: он с равным успехом и одинаковой энергией выступал в роли публициста и критика, беллетриста и драматурга, пере-

водчика и поэта (особенно поэта-пародиста), историка и писателя по вопросам политической экономии, — и в каждой области он сумел сказать новое слово. И вся эта многогранная деятельность покрывается одним словом: журналист. По словам Герцена, Полевой «родился быть журналистом, летописцем успехов и открытий, политической и ученой борьбы». Белинский также отмечал, что Полевой «был литератором, журналистом и публицистом не по случаю, не из расчета, не от нечего делать, не по самолюбию, а по страсти, по призванию. Он никогда не неглижировал изданием своего журнала, каждую книжку его издавал с тщанием, обдуманно, не жалея ни труда, ни издержек. И при этом он владел тайною журнального дела, был одарен для него страшною способностию. Он постиг вполне значение журнала, как зеркала современности... Без всякого преувеличения можно сказать положительно, что „Московский телеграф" был решительно лучшим журналом в России от начала журналистики».

Современники, — равно и друзья, и враги Полевого, — единодушно сходились в мнении, что «Московский телеграф» представлял собою «явление замечательное». И по широте своего диапазона (энциклопедичность содержания, расчет на возможно более широкую аудиторию), и по принципиальности своих установок, «Московский телеграф», по справедливому замечанию П. В. Анненкова, «был совершенной противоположностью духу, господствовавшему у нас в эпоху литературных обществ; он их заместил, образовал новое направление в словесности и критике. С его появлением журнал вообще приобрел свой голос в деле литературы, вместо прежнего назначения: быть открытой ареной для всех писателей, поприщем для людей с самыми различными мнениями об искусстве».

Полевой и сам прекрасно сознавал всю значительность своей роли в истории русской журналистики. «Когда начал я издавать журнал, — писал он впоследствии, — была ли тогда э п о х а ж у р н а л о в? Не думаю: в Москве сиротел тогда „Вестник Европы", совершая уже двадцать третий год существования; в Петербурге тринадцать лет издавался „Сын отечества", а за ними шли только в Москве „Дамский журнал", да в Петербурге „Благонамеренный", по своим особенным колеям. „Отечественные записки" покойного П. П. Свиньина и „Русский вестник" С. Н. Глинки едва ли могли назваться журналами, хотя и имели свое достоинство, а равно и журнал А. Ф. Воейкова... Мне казалось что надобно было оживить, разогреть журналистику русскую, как лучшее средство расшевелить нашу литературу. Не знаю, успел ли я, но, по крайней мере, толпой явились после того Атенеи, Московские вестники, Галатеи, Московские наблюдатели. СПб. Обозрения, Северные Минервы, и почти все брали форму и манер с моего журнала, которая перешла потом и в самую „Библиотеку для чтения", и нынешние „Отечественные записки"; важнейшие вопросы современные были преданы критике, объем журналистики раздвинулся, самая полемика острила, горячила умы и — по крайней мере — в истории русских журналов я н е ш е л з а д р у г и м и» («Сын отечества», 1839, т. 8).

В 1820-х годах все более укреплялся новый взгляд на литературу как на «важную часть общественного быта» (Н. Полевой). Журналы того времени много внимания уделяли вопросу о сближении литературы с жизнью. В 1831 г. уже подводились в этом плане некоторые итоги: «Сим годом словесность наша, доканчивая третье десятилетие XIX века, сделала новое движение, состоявшее в заметном ее сближении с ж и з н ь ю. Она уже перестала быть предметом и занятий, и наслажде-

ний, отдельных от действительной нашей жизни. Сие знаменуется многими собственно и не-собственно литературными происшествиями. В сем году внятнее заговорил о литературе, как выражении общества» (И. Киреевский. Обозрение русской словесности 1830 г. — альманах «Денница» на 1831 г.).

Под «не-собственно литературными происшествиями» следует понимать прежде всего оживление журналистики, открывшее в России неизвестную прежде область коммерческих отношений в литературе. Проблема наживы, обогащения за счет литературы впервые возникла практически именно в это время. Один из виднейших литераторов-профессионалов 1820—1830-х годов Н. И. Греч имел уже основания заявить, что «занятия литературою начали давать у нас выгоды существенные, то есть денежные... Это важно для успехов литературы». О том же говорил и Пушкин, писатель из другого, враждебного Гречу, лагеря, но неуклонно шедший в те годы к профессиональному занятию литературой. «Литература оживилась... — писал он в 1831 г. — Ныне составляет она отрасль промышленности, покровительствуемой законами. Изо всех родов литературы периодические издания более приносят выгоды, и чем разнообразнее по содержанию, тем более расходятся».

Еще журналист Карамзин был поставлен в прямую и жесткую зависимость от подписчиков своего журнала. Но только к середине 1820-х годов читатель выступает как реальная сила, как вершитель судеб литератора-профессионала, журналиста в первую очередь. Особое значение приобретает слово «подписчик», журналы вступают на путь конкуренции. Процесс общей профессионализации литературного дела, наряду с быстрым ростом новых широких читательских кадров, был связан с появлением большого (т. е. обязательно — «толстого», многолистного) энциклопедического журнала. «Московский телеграф» явился на этом пути первым достижением, а наиболее полно выполнила эти требования публики десятилетием позже «Библиотека для чтения», опыт которой был усвоен «Отечественными записками», определившими собою классический тип русского «толстого журнала» XIX в.

Секрет журнального успеха Булгарина заключался в том, что он шел навстречу малокультурному дворянскому и буржуазному читателю по пути безоговорочного потакания его вкусам. Позиция Полевого была значительно более независимой: приняв заказ читателя на массовый энциклопедический журнал, уважая и учитывая его интересы (Полевой не обинуясь говорил, что «писатели созданы для читателей»), он полагал все же главной своей задачей — регулирование вкусов своего заказчика. Он пытался его литературно воспитывать. Наряду с этим «Московский вестник» и «Московский наблюдатель» (первой редакции) сознательно шли на разрыв с массовым читателем, ориентируясь на узкий круг высококвалифицированных «любителей изящного». Победу одержал Полевой, в журнале которого учет вкусов массового читателя уживался с принципами сохранения высоких эстетических норм, борьбы за «большую», высококачественную литературу.

Читательские вкусы диктовали русским журналистам 1820—1830-х годов необходимость обратиться к комбинированным формам журнала. Чисто литературный журнал повсеместно и в очень короткий срок был вытеснен журналом энциклопедическим, в котором равное внимание уделялось и литературе, и философии, и социологии, и сельскому хозяйству и новостям мод. Модные картинки стали обязательным приложением для журналов тридцатых годов, и даже аристократический «Московский наблюдатель» не имел возможности обойтись без них.

Полевой, выступивший со своим журналом в момент резкого обострения литературной борьбы, сразу же принял в ней самое деятельное участие. Независимость суждений и докторальность тона, усвоенные Полевым и его журнальными сотрудниками, вызвали бурю возмущения в литературной среде. Купец второй гильдии, водочный заводчик, человек в литературном мире без роду и племени, не имевший ни ученого звания, ни даже школьного образования, «самоучка» и «невежа», — Полевой имел дерзость выступить против признанных и увенчанных корифеев литературы и науки. Больше того: он посягнул в своей дерзости на «бессмертные» авторитеты, утвержденные к «вечной славе россов». И потому-то «конечно, никогда не было в нашей литературе такого шума, какой поднялся в 1825 г. при появлении „Телеграфа"» (М. Н. Лонгинов).

Об отношении к Полевому большинства его современников свидетельствует рассказ И. И. Панаева о преподававшем ему словесность проф. Я. В. Толмачеве: «О Полевом он не мог слышать равнодушно... Это мерзавец! — говорил он, дрожа всем телом, — безграмотное животное, двух строк со складом и правильно не может написать... лавочник, целовальник, а осмеливается безнаказанно оскорблять людей пожилых, чиновных и ученых» («Литературные воспоминания»). Но в то же время велика была популярность Полевого среди молодого поколения, особенно же среди передовой молодежи: «Литератор в полном смысле, публицист, критик и библиограф, он лучше всех умел понимать массу читающей публики, любил этот средний класс, и был любим им, возвысил его европейскими статьями своего журнала и возвысился сам на степень оракула и протектора» (К. Лебедев. Записки. «Русский архив», 1910, т. III).

2. Программа и содержание «Московского телеграфа». Редакционный кружок

В середине 1824 г. Полевой отправил в Петербург, на имя министра народного просвещения А. С. Шишкова, пространное «предположение об издании с будущего 1825 года нового повременного сочинения под названием: „Московский телеграф"». В этом «предположении» он писал, что «взгляд на состояние наук и словесности в каком-либо государстве есть верный размер его нравственной силы и могущества, и цветущее состояние наук и словесности есть верное доказательство просвещения народного».

«Одушевляясь сими чувствами, — заявлял Полевой, — нижеподписавшийся осмеливается предположить с будущего 1825 г. издание повременного сочинения», целью которого не будет «легкое, поверхностное и забавное чтение, переводы летучих повестей, печатанье мелких стихотворений и статей спорных, где острота иногда заменяет пользу», но что внимание издателя будет «главнейше обращено на сообщение отечественной публике статей, касающихся до нашей истории, географии, статистики и словесности, которые бы иностранцам показывали благословенное отечество наше в истинном его виде; сообщение также всего, что любопытного найдется в лучших иностранных журналах и новейших сочинениях или что неизвестно еще на нашем языке касательно наук, искусств, художеств вообще и словесности древних и новых народов». Журнал должен «передавать взаимно изящное и полезное».

В соответствии с такой установкой Полевой представил на утверждение Шишкова чрезвычайно обширную программу своего по преимуще-

ству ученого журнала, благоразумно исключив из нее одну лишь «политику», безусловно запрещенную везде, кроме официальных органов. По программе каждая книжка «Телеграфа» должна была заключать в себе сочинения и переводы по следующим четырем разделам: I. Науки и искусства, II. Словесность, III. Библиография и критика, IV. Известия и смесь.

В состав первого раздела входили: история и археология (отрывки из классических сочинений, историческая критика, извлечения из древних писателей греческих, латинских, скандинавских и славянских, преимущественно же известия по отечественной истории), география и статистика, эстетика и изящные искусства («все, что может служить к утверждению чистого вкуса в поэзии и красноречии: древние и новые исследования писавших о сем предмете будут сообщаемы с самым строгим выбором»).

Второй раздел — «Словесность» — должны были составлять «новейшие произведения известных русских и иностранных писателей во всех родах прозы», «отрывки из древних классических писателей», а также переводы с арабского, китайского, английского и итальянского. «Касательно стихотворений, преимущественно будут помещаемы переводы из классических авторов, или сочинения, где поэты изобразят русские исторические события или предметы нравственные. Решительно в „Телеграф" не будут принимаемы стихи нескромные и посредственные».

Третий раздел — «Библиография и критика» — посвящался «известиям о всех книжках, в России выходящих» (по всем родам словесности и наук), также «известиям о новых иностранных книгах вообще и разбору примечательнейших произведений словесности французской, немецкой, английской и итальянской». В статьях этого отдела Полевой обещал «предлагать публике суждения беспристрастные, тщательно соблюдая, чтобы не одни погрешности были замечены, но наиболее показаны достоинства сочинений и рассуждаемо только о самых сочинениях, не касаясь никаким образом до особы сочинителя».

И, наконец, четвертый раздел — «Известия и смесь» — должен был включить «собрание небольших статей, достойных внимания читателей, как то: известия иностранные — не политические; известия отечественные; анекдоты, жизнеописания славных или замечательных современников; новые произведения художеств; выставки, заседания и задачи ученых обществ русских и иностранных; новые открытия и изобретения; московские события, заслуживающие в каком-нибудь отношении быть известными; известия коммерческие; мелкие прозаические сочинения, как то: мысли, притчи, нравоучительные изречения и проч.».

В заключение Полевой сообщал, что в его распоряжении уже имеется «немалое количество статей разного содержания», что «в его трудах принимают участие многие известные русские писатели» и что он, «отделяя значительную сумму на покупку новейших сочинений», предполагает в то же время выписать все лучшие французские и немецкие журналы».

«Предположение» составлено в высшей степени дипломатично: Полевой не только учел в нем литературные вкусы и понятия Шишкова, от которого единственно зависело выдать разрешение на издание журнала, но и ловко процитировал в начале своего проекта речь самого Шишкова при открытии Беседы любителей русского слова. Кроме того, Шишков знал Полевого лично и «оказывал благосклонность к его литературным занятиям» (Кс. Полевой).

Обширность программы, включавшей все, «начиная от бесконечно

малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках» (А. Бестужев), указывает на то, что Полевой рассчитывал при этом на постоянное сотрудничество целого коллектива литераторов и ученых.

Возможно, что он надеялся на поддержку членов кружка Раича, с которым он был связан и разрыв с которым произошел у него уже после выработки программы журнала. М. А. Максимович, бывший в курсе всех кружковых дел, писал 2 декабря 1824 г.: «Полевой с следующего года издает журнал под названием „Московский телеграф". С ним соединилось общество молодых литераторов наших, или Раич со компанией». Вяземский в письме к Пушкину (от 6 ноября 1824 г.) также называл Раича товарищем Полевого по изданию журнала: «В Москве готовится новый журнал: Полевой и Раич главные издатели. Они люди честные и благонамеренные. Дай им что-нибудь на зубок». Окончательный разрыв между Раичем и Полевым произошел, во всяком случае, не раньше самого конца 1824 г. Кроме того, Полевой рассчитывал на сотрудничество Вяземского и его литературных друзей.

Литературные заслуги Полевого, которые давали ему право на занятия журналистикой, были указаны, как требовал того закон, в представлении попечителя Московского учебного округа кн. А. Оболенского, также отправленном к министру народного просвещения. Здесь было упомянуто, что, «не оставляя купеческого звания», Полевой слушал лекции в Московском университете в 1811—1812 и 1820—1821 гг., помещал свои сочинения и переводы в разных журналах, состоит сотрудником Общества любителей российской словесности и был награжден медалью Российской академии. Кн. Оболенский добавлял, что Московский цензурный комитет «не находит со своей стороны никакого препятствия к изданию Московского телеграфа».

Предприятие Полевого увенчалось полным успехом: программа его журнала была утверждена Шишковым без каких-либо ограничений, и 29 октября 1824 г. в «Московских ведомостях» (№ 87) появилось пространное объявление об издании «Московского телеграфа». На следующий день после появления в печати своего журнального манифеста Полевой писал П. П. Свиньину: «Вчерашний день... вся Москва узнала о рождении или, лучше сказать, зачатии Телеграфа... Он, право, будет малый не дурной и смирный, будет гнать только невежество и глупость и постарается жить миролюбиво со всеми добрыми людьми».

«Московский телеграф» выходил книжками объемом от четырех до пяти печатных листов раз в две недели, 1 и 15 числа каждого месяца; четыре книжки (два месяца) составляли часть. Титульный лист первой книжки журнала гласил: «Московский телеграф, журнал литературы, критики и художеств, издаваемый Николаем Полевым» и был снабжен эпиграфом из Оксенштирна: «Man kann, was man will — Man will, was man kann...» (эпиграф этот вызывал глумление почти у всех журнальных антагонистов Полевого, обвинявших его в заносчивости и самохвальстве). В 1826 г. с титульного листа был убран подзаголовок («Журнал литературы, критики, наук и художеств»), а в 1828 г. и эпиграф. Печатался «Московский телеграф» в университетской типографии (первые два года издания), в 1828 г. печатание было перенесено в более усовершенствованную типографию Августа Семена при Медико-хирургической академии, под фирмой которого журнал и выходил в свет вплоть до своего запрещения. В 1828 г. братья Полевые решили

организовать собственную типографию; для этой цели был заказан первый в России скоропечатный типографский стан, матрицы и литеры, но ввиду «перемены обстоятельств» вынуждены были оставить свое намерение.

Невиданная по широте в истории русских журналов энциклопедическая программа «Московского телеграфа» была не только выполнена, но и перевыполнена Полевым. Он открыл для русских читателей на страницах своего журнала подлинный заочный университет, откликаясь буквально на все вопросы социальной и литературной современности.

Уже в первой книжке «Московского телеграфа» издатель писал: «Журналиста не должно печалить разнообразие вкусов. Для изображения совершенного журнала вообразите зеркало, в котором отражается весь мир нравственный, политический и физический. Такой журнал едва ли не более многих книг принесет пользы. Главное: сыскать скользкую дорожку, которая вьется между прежней важностью и ничтожною легкостью... Я полагаю критику одним из важнейших отделений журнала — пусть только будет она умна, правдива, дельна».

Для того чтобы показать, сколь разнообразный материал предлагал читателю «Московский телеграф», достаточно ознакомиться с содержанием любого отдела этого журнала, хотя бы отдела, посвященного известиям об иностранных литературах. Не говоря уже о литературах французской, английской и немецкой, в «Московском телеграфе» сообщались данные о литературах: датской, шведской, исландской, североамериканской, литовской, сербской, голландской и других, также о восточных литературах (арабской, индийской, персидской, армянской, китайской). «Публика, читающая журнал, разнообразна и многочисленна, — писал Полевой, — и в ее числе найдутся люди, которым любопытно и даже надобно видеть известия об арабской словесности... Чем разнообразнее журнал, тем лучше: пусть кому угодно читает одно, предоставляя другому другое и третьему третье. Если на какой-нибудь предмет найдется мало читателей, но предмет важен сам по себе, журналист обязан говорить об нем... На этом основании мы будем, от времени до времени, продолжать известия о литературах всех народов, сим дополняя все подобные сведения, рассеянные в 50 доныне вышедших книжках „Телеграфа"» (1828, ч. 21).

Столь же богато были представлены и другие отделы «Московского телеграфа» — философия, политическая экономия, история, археология, статистика, география и народоведение, естествознание и точные науки, известия о промышленности и технических открытиях, хроника текущей политической (по цензурным условиям, почти исключительно иностранной), научной, литературной и художественной жизни.

«Московский телеграф» был по преимуществу журналом научным и публицистическим. Художественной литературе, особенно в первые четыре года издания, редакция уделяла немного внимания. Только начиная с 1829 г., в связи с общим оживлением и ростом русской прозы, беллетристика получает в журнале достаточно почетное место. Здесь появляются повести и отрывки из романов: В. Ушакова («Киргиз-Кайсак», 1829), П. Сумарокова, Д. Бегичева («Семейство Холмских», 1830 и 1832), В. Карлгофа, А. Вельтмана («Странник», 1830—1832; «Мстислав», 1831; отрывок из романа, 1834; «Кощей бессмертный», 1832—1833), В. Даля («Цыганка», 1830), И. Лажечникова («Последний новик», 1830), К. Масальского («Стрельцы», 1831), Калашникова («Дочь купца Жолобова», 1831). С 1831 г. почти исключительно

в «Московском телеграфе» печатает свои повести А. Бестужев-Марлинский («Страшное гаданье», «Письмо к доктору Эрману», «Отрывок из романа», «Аммалат Бек»). Кроме того, в «Московском телеграфе» печатались беллетристические произведения самого Николая Полевого: «Отрывок из писем о Финляндии» (1825), «Святочные рассказы (1826), «Симеон Кирдяпа» (1828), «Мешок с золотом» (1829), «Разговор на святках» (1832), «Блаженство безумия» (1833), «Живописец» (1833) и «Эмма» (1834).

Достаточно широко была представлена в «Московском телеграфе» переводная беллетристика. Здесь мы находим повести и отрывки из романов Вашингтона Ирвинга, Вальтер Скотта, Матюрена, Цшокке, Жан-Поля Рихтера, Гофмана, Купера, В. Дюканжа, П. Мериме, Бенжамен Констана, Э. Сю, Нодье, Жюль Жанена, А. де-Виньи, В. Гюго, Бальзака и многих других.

Стихотворный отдел «Московского телеграфа» стоял на довольно низком уровне. Полевому не удалось собрать вокруг своего журнала сколько-нибудь значительные поэтические силы. Правда, в «Телеграфе» печатались Пушкин, Баратынский, Вяземский, Языков, Жуковский, Гнедич, Козлов, Кюхельбекер, но сотрудничество их имело эпизодический характер и прекратилось в 1829 г., когда определился окончательный разрыв Полевого с литературной группой Пушкина и примыкавшими к ней писателями. Из поэтов второго ранга более или менее постоянно сотрудничали: Н. Маркевич, Н. Павлов, В. Олин, Ф. Глинка, А. Ротчев, М. Вронченко, А. Муравьев, С. Раич, В. Туманский, В. Карлгоф. Большинство же стихотворений, помещавшихся в «Московском телеграфе», принадлежало перу вовсе незаметных поэтов. Охотно предоставлял Полевой страницы своего журнала бесчисленным анонимам из провинции.

Удельный вес стихотворного отдела «Московского телеграфа» сравнительно с другими отделами был слишком невелик, редакция явно уделяла ему недостаточное внимание. В 1832 г. отдел этот почти вовсе сходит на нет: в иных книжках журнала не появлялось ни одного стихотворения, а во всех семи частях, изданных в 1833—1834 гг., был помещен только один стихотворный перевод М. Вронченко из «Макбета».

В разные годы издания «Московский телеграф» выходил с особыми приложениями. Так, например, в 1825 г. к каждой книжке журнала прилагалось несколько страничек «Прибавления к Московскому телеграфу», «особенно посвящаемого читательницам Телеграфа»; здесь печатались «небольшие сочинения в стихах и прозе, новые не политические описания старинных и нынешних нравов и обычаев, московские записки, известия об иностранных театрах, концертах», полемические фельетоны и непременные «описания новых мод, с картинкою хорошо гравированною и отлично раскрашенною». В 1828 и 1829 гг. при журнале раздавались «Прибавления» другого рода, содержавшие по преимуществу данные о промышленности, художествах и ремеслах, а также домашнем хозяйстве и модах («изображение новейших мебелей, уборки комнат, образцы модных материй, узоры для шитья, модные картинки и проч.»).

В 1830 и 1831 гг. при «Московском телеграфе» выходило специальное сатирическое прибавление «Новый живописец общества и литературы» (отдельные статьи под таким заголовком появлялись в «Телеграфе» еще в 1829 г., но не в виде отдельного приложения, а в составе отдела «Смесь»). «Новый живописец» и сменившая его в 1832 г. «Ка-

мер-обскура книг и людей» пользовались огромным успехом у современников и должны быть отнесены к числу выдающихся памятников русской сатирической литературы 1830-х годов. В 1832 г. бо́льшую часть статей этих отделов Полевой издал в шести томиках под заглавием «Новый живописец общества и литературы» (некоторые статьи были запрещены к переизданию цензурой).

Кроме упомянутых выше поэтов и прозаиков, в «Московском телеграфе» печаталось множество других литераторов и ученых. Укажем на некоторых, сотрудничавших более или менее постоянно: историки П. Кеппен и П. Муханов, философ и физиолог Д. Велланский, геолог, физиолог и педагог И. Ястребцов, историк Сибири Н. Словцов, И. Кронеберг, археограф П. Строев, А. Вельтман (археологические сочинения), историк и географ В. Берх, историк и лингвист-китаевед И. Бичурин, филолог А. Галахов, военный историк А. Радожицкий. Отдельные литературно-критические статьи в «Телеграфе» напечатали Пушкин, Жуковский, Баратынский, Шевырев, Погодин.

Но, конечно, для того, чтобы осуществить огромную программу «Московского телеграфа», Полевой должен был собрать вокруг своего журнала более тесный коллектив постоянных сотрудников редакции. В первые четыре года издания «Московского телеграфа» (1825—1828), когда Полевой был еще тесно связан с группой либеральных дворянских писателей и публицистов, редакционный кружок составляли, кроме самого Полевого и его брата Ксенофонта, следующие лица: П. А. Вяземский, С. Д. Полторацкий, С. А. Соболевский, Я. И. Сабуров, Е. А. Баратынский, В. Ф. Одоевский, И. М. Снегирев, М. А. Максимович, В. А. Ушаков, И. В. Киреевский и другие. Помощниками Полевого в повседневной журнальной работе были молодые литераторы и ученые: М. П. Розберг, И. И. Бессомыкин, М. П. Лихонин, А. И. Красовский.

Особо следует упомянуть о тесных связях Полевого с польскими передовыми писателями, проживавшими в Москве (А. Мицкевич, Ф. Малевский, Дашкевич, И. Ежовский, Ю. Познанский). Из упомянутых выше лиц некоторые, как, например, В. Ф. Одоевский, деятельно сотрудничавший в 1825 г. в отделах «Смесь» и «Летописи мод», вскоре же отошли от участия в делах «Московского телеграфа»; другие, как, например, И. М. Снегирев, И. В. Киреевский — не играли особо выдающейся роли.

Таким образом, в первые годы издания журнала редакционный кружок составляли преимущественно две группы: представители левого крыла дворянской интеллигенции (Вяземский, Полторацкий, Соболевский, Сабуров) и университетская молодежь, по своей социальной природе явно разночинной окраски. Из них первые играли роль своего рода литературных покровителей и опекунов. Н. Полевого, блюстителей «порядка» и «вкуса» в редакции «Московского телеграфа»,—особенно относится это к Вяземскому и Полторацкому. Соболевский же был звеном, связующим Полевого с широкими литературными кругами (в частности с Пушкиным и с редакцией «Московского вестника»). За границей Полевой также имел своих «собственных корреспондентов» в лице того же Полторацкого, Я. Н. Толстого и А. И. Тургенева, теснейшим образом связанных с деятелями либеральной французской публицистики. Вторая группа, состоявшая из молодых универсантов, увлекавшихся идеями романтизма и новейшей идеалистической философии, была строго говоря, не столько редакционным, сколько домашним кружком братьев Полевых. В делах самой редакции кружок этот не принимал

руководящего участия, но именно на его собраниях слагались и оформлялись философские и эстетические мнения Полевых.

Некоторые члены этого кружка выполняли в редакции «Московского телеграфа» черновую журнальную работу — переводили статьи из иностранных журналов, составляли компиляции, писали рецензии. Иные из редакционных сотрудников единолично вели специальные отделы журнала; так, например, М. А. Максимович вел отдел естествознания, В. Ф. Одоевский — музыкальный фельетон. В 1829—1830-х гг. в каждой книжке «Телеграфа» появлялись театральные рецензии и фельетоны В. А. Ушакова.

Особое значение в истории «Московского телеграфа» имеет сотрудничество Вяземского, который называл себя «в полном смысле крестным отцом Телеграфа, чуть ли не родным». В письме к А. Тургеневу и Жуковскому (1826) Вяземский писал: «От нечего делать, от безденежья обязался я участвовать в Телеграфе и за участие брать с издателя половину барышей его». Это показание было продиктовано желанием отвести в слегка шутливой форме дружеские обвинения в «измене» своей группе (точнее «Московскому вестнику», куда зазывал Вяземского Пушкин). На самом деле сотрудничество Вяземского с Полевым имело другие, более глубокие, основания. При этом нужно учесть некоторые обстоятельства биографии Вяземского, а именно увольнение его с государственной службы (в результате перлюстрации его переписки) и установление над ним негласного полицейского надзора.

Вытесненный с наступлением реакции почти из всех современных журналов (за исключением «Дамского журнала»), Вяземский настойчиво искал такое журнальное поле, которое мог бы назвать своим. Лишенный возможности, в связи со своей политической репутацией, получить право на издание собственного журнала, он поддержал Полевого в деле организации «Московского телеграфа» и занял в нем первенствующее положение в качестве присяжного критика и фактического руководителя редакции. «Иная книжка Телеграфа была наполовину наполнена мною, или материалами, которые сообщал я в журнал, — писал впоследствии Вяземский. — Сначала медовые месяцы сожития моего с Полевым шли благополучно, работа кипела. Не было недостатка в досаде, зависти и брани прочих журналов. Все это было по мне, все подстрекало, подбивало меня. Я стоял на боевой стене, стрелял из всех орудий, партизанил, наездничал и под собственным именем и под разными заимствованными именами и буквами».

Первое время Н. Полевой, действительно, находился всецело под влиянием Вяземского, а Вяземский был ближайшим сотрудником журнала. Он служил ему своими стихотворениями, критическими статьями и, главным образом, полемическими фельетонами, печатавшимися за подписью «Журнальный сыщик».[1] Фельетоны «Журнального сыщика» пользовались в свое время очень большим успехом и, по словам самого Вяземского, вызвали «контрафакации», подделки: «Сам издатель Телеграфа или другие тайные по особым поручениям чиновники его подписывались под мою руку». Вяземский писал даже, что «подобные мелкие журнальные неприятности» были одной из причин, «побудивших его совершенно отстраниться от всякого участия в Телеграфе».

---

[1] Другие псевдонимы Вяземского в «Московском телеграфе»: Асмодей (также Ас. и А.), Ас. Б. («Астафьевский боярин»), Г. Р.-К. (т. е. Г. Римский-Корсаков, именем которого воспользовался Вяземский, «чтобы сбивать с толку московских читателей»).

Вяземский оказал Н. Полевому на первых порах существенную поддержку своей авторитетной защитой «Московского телеграфа» и его издателя от нападок современных журналистов. Он неоднократно выступал в печати против насмешек над купеческим происхождением Полевого, привлек к сотрудничеству в журнале видных писателей из числа своих друзей и т. д. Но Полевой делал неоднократные попытки освободиться из-под ферулы своих опекунов и наставников. Вяземский, усвоивший диктаторский тон по отношению к Полевому, через несколько лет уже встречал с его стороны самое упорное сопротивление. Пути Вяземского и Полевого не только не совпадали, но подчас принимали совершенно разные направления.

Правда, в 1826—1827 гг., когда Пушкин усердно уговаривал Вяземского оставить Полевого и войти в редакцию «Московского вестника», Вяземский наотрез отказался «бросить Полевого, когда другой журнал подрывает его». «Я хотел оставаться верен данному обещанию, — писал он впоследствии, — и, вероятно, хотелось мне быть полным хозяином в журнале, что некоторое время и было, тогда как в Московском вестнике был бы я только сотрудником». В 1827 г. Вяземский еще работает для «Телеграфа» «усердно и деятельно». Он вербует новых сотрудников, выпрашивает материал у А. Тургенева и Жуковского, вступает в переговоры с Я. Толстым и французским литератором Э. Геро о парижских корреспонденциях для «Телеграфа», выписывает для редакции иностранные журналы и книги и громит врагов «Телеграфа» в фельетонах «Журнального сыщика». Но в то же время дружеские отношения его с Полевым были уже на ущербе. В ноябре 1827 г. он сообщает А. И. Тургеневу о своих планах организации собственного журнального предприятия — «Современник», по типу трехмесячных английских «Review», при участии Пушкина, Жуковского и Дашкова, а в декабре того же 1827 г. извещает Н. Муханова о своем уходе из редакции «Московского телеграфа» — «без всякой ссоры и разрыва, а так, от скуки и от того, что предстоят мне многие поездки и следовательно мало времени для постоянного занятия». Примерно так же объяснял он А. И. Тургеневу: «Я отказался от деятельного участия в Телеграфе и только иногда буду прокатываться на вольных. Между тем я все-таки остаюсь патроном Телеграфа».

Но тем не менее ошибкой было бы предполагать, что Вяземский вышел из редакции «Московского телеграфа» исключительно в силу внешних обстоятельств («недостаток времени»). Причины расхождения Вяземского с Полевым лежали глубже, в несовпадении их социально-политических и литературно-журнальных мнений. Они имели все основания быть недовольными друг другом. Об этом недвумысленно заявил сам Вяземский: «Я добровольно вышел из редакции „Телеграфа“, когда пошел он по дороге, по которой не хотел я идти», и в другом месте: «[Полевой] начал делать попытки по своему усмотрению: печатал статьи, изъявлял мнения, которые выходили совершенно вразрез с моими... Мне это не понравилось, и я отказался от сотрудничества. Впрочем, может быть, и Полевой рад был моему отказу. Журнал довольно окреп, участия моего было уже не нужно, а между тем, по условию, должен был я получать половину чистой выручки. Журналисту и человеку коммерческому легко было расчесть, что лучше не делить барыша, а вполне оставить его за собою. Что же? Полевой был прав, и я нисколько не виню его. Был прав и я». Окончательный разрыв Полевого с Вяземским относится к 1829 г., когда Полевой выступил с резкой критикой «Истории государства Российского»

Карамзина, посягать на авторитет которого, с точки зрения Вяземского, было преступлением.

История «Московского телеграфа» делится в сущности, на два периода. Первый из них (1825—1828) ознаменован сотрудничеством Н. Полевого с группой передовых дворянских писателей, второй (1829—1834) характеризуется настойчивой борьбой журнала с дворянской литературой, сочувствием буржуазной революции во Франции и национально-освободительному движению в Польше.

Этот второй период в истории журнала связан с именем Ксенофонта Полевого, может быть, больше, нежели с именем самого Николая Полевого. Ксенофонт Полевой играл в редакции «Московского телеграфа» весьма значительную роль, с первой же книжки он с головой ушел в повседневную журнальную работу. Трудно учесть все, что было написано им для «Московского телеграфа», но нужно думать, что значительная часть анонимных рецензий (преимущественно на русские книги по истории и художественной литературе), а также статеек из отделов «Современная летопись» и «Смесь» принадлежит перу Кс. Полевого. Есть основания предполагать также, что именно на Кс. Полевом лежали обязанности литературного правщика и корректора «Московского телеграфа». Николай Полевой, в сущности, только в течение первых двух-трех лет издания журнала уделял ему свое преимущественное внимание; широкие литературные планы (роман, история) вскоре же захватили его целиком и постепенно он все более и более отдалялся от непосредственного составления и редактирования своего журнала, от повседневных хлопот, связанных с черновой журнальной работой. Недаром в 1829 г. он признавался, что «Телеграф» «тяжелит его», что «душа просит лучшего, более важного занятия» (из письма к В. Ф. Одоевскому).

Неизвестно, когда именно Н. Полевой отошел от активного участия в издании «Московского телеграфа»; во всяком случае, уже в 1831 г. главную роль в редакции играл его брат. Со следующего же 1832 г. Ксенофонт Полевой становится почти полноправным хозяином «Телеграфа». Сведения об этом, правда скупые и случайные, содержатся в некоторых современных письмах. Так, например, П. А. Муханов, человек, близко стоявший к редакции журнала, уже в январе 1832 г. сообщал своему брату А. А. Муханову, что «Полевой кропает историю, Ксенофонту передал право на журнал, а себе право на все вырученные до сего времени деньги, которых немало. Телеграф без сомнения упадет, что предвидел дальновидный Н. Полевой».

Однако «Телеграф» не только не «упал» после перехода в руки Кс. Полевого, но, наоборот, еще более укрепился и, что всего важнее, укрепился не только в литературном, но и в идейном отношении. Достаточно просмотреть книжки «Телеграфа» за 1831—1833 гг., чтобы убедиться в том, что журнал в это время с большей принципиальностью и четкостью формулирует свои социально-политические установки, нежели прежде. В то же время улучшаются литературно-критический и беллетристический отделы «Телеграфа». Можно указать в этой связи на повести Марлинского, Вельтмана, Н. Полевого, на такие крупные критические статьи Н. Полевого, как: «Песни и романсы А. Мерзлякова» (1831, № 3), «О романах В. Гюго и вообще о новейших романах» (1832, ч. 43), «Державин и его творения» (1832, ч. 46), «О сочинениях Жуковского» (1832, ч. 47), «О сочинениях Пушкина» (1833, ч. 49), о шекспировском «Сне в летнюю ночь» (1833, ч. 53), «О драмах из жизни Тасса» (1833, ч. 55), на статьи Кс. Полевого о трагедии А. Хо-

мякова «Ермак» (1832, ч. 44), о «Душеньке» И. Богдановича (там же), об «Украинских мелодиях» Н. Маркевича (1832, ч. 46), о «Жизни Наполеона» Вальтер Скотта (1833, чч. 50 и 51), о «Системе словесности» И. Давыдова (1833, ч. 51), «О направлениях и партиях в литературе» (там же), «Изучение новых творений Гёте» (1834, ч. 55), «О новом направлении в русской словесности» (1834, ч. 56), на важную статью А. Бестужева-Марлинского «О романах и романтизме» (1833, чч. 52 и 53).

3. «Московский телеграф» и журнальная полемика 1820—1830-х годов

Н. Полевой неоднократно подчеркивал целенаправленность и внутреннее единство своего журнала, настаивал на высокой принципиальности выражавшихся им оценок и мнений. «Тот не должен и думать об издании литературного журнала в наше время, кто полагает, что его делом будет сбор занимательных статей, — писал Полевой. — Журнал должен составлять нечто целое, полное; он должен иметь в себе душу, которую можно назвать его целью» («Московский телеграф», 1831, № 1).

Какую же цель ставил перед собой Полевой прежде всего? «В о з б у ж д а т ь д е я т е л ь н о с т ь в у м а х и будить их от пошлой, растительной бездейственности—вот условия, налагаемые современностью на русского журналиста. От исполнения их зависит успех его предприятия». Больше того: не только «возбуждать деятельность в умах», но и «быть в своем кругу колонновожатым» (там же).[1]

В «Московском телеграфе» нет журнального балласта; Полевой никогда не печатал статей случайных, лишь бы заполнить положенное число листов и, оправдываясь перед читателями в задержке очередных книжек, постоянно указывал, что в его распоряжении не было «достойных» и «любопытных» произведений. Из обширного материала иностранной журналистики, доступной Полевому, он брал в свой журнал только то, что считал нужным довести до сведения своих читателей. Если при этом иногда появлялась в «Московском телеграфе» статья «любопытная», но не совпадавшая с точкой зрения редакции на данный предмет, то в следующей книжке обязательно появлялась другая на ту же тему, выражавшая редакционное мнение. Почти любую переводную статью Полевой снабжал своими объяснительными и критическими примечаниями.

Успех «Московского телеграфа» был несомненным. Он «с первой же книжки изумил всех живостью, свежестью, новостью, разнообразием, вкусом, хорошим языком, наконец, верностью в каждой строке однажды принятому и резко выразившемуся направлению» (Белинский). Первые книжки журнала раскупались в течение нескольких дней и вскоре были переизданы «вторым тиснением» — факт небывалый в истории русской журналистики двадцатых годов. Тираж журнала (первоначально 700 экз.) уже с третьей книжки возрос до 1200 экз., и это тоже был «успех, давно неслыханный в тогдашнем журнальном мире». Н. Полевой увидел, между прочим, что «журнал дает порядочное денежное вознаграждение за труд — и тем ревностнее принялся работать» (Кс. Полевой).

---

[1] Характерно, что эти слова Полевого впоследствии послужили к его обвинению в записке министра народного просвещения Уварова, вызвавшей запрещение «Московского телеграфа».

Необыкновенный успех нового журнала, а еще более категорическое заявление Полевого, что он берет на себя роль литературного судьи, «уставщика» — естественно внесли тревогу в ряды московских и петербургских журналистов. Еще до появления первой книжки «Телеграфа» В. Ф. Одоевский высказал полную уверенность в том, что журнал «встретит много и много себе противников» («Мнемозина», 1825, III). И, действительно, журналисты разных направлений приняли Полевого в штыки.

В роли застрельщиков журнальной распри выступили Н. Греч и Ф. Булгарин, руководители двух крупных журналов того времени — «Сын отечества» и «Северный архив» и новорожденной газеты «Северная пчела». До 1825 г. Н. Полевой сотрудничал со своими будущими антагонистами: Греч, тогда еще литератор хорошей репутации, был в числе первых покровителей и наставников Полевого; статьи Полевого печатались в «Сыне отечества» и «Северном архиве» (1823—1824), Полевой был приглашен постоянным сотрудником и в «Северную пчелу». После того как в Петербурге стало известно о проекте издания «Московского телеграфа», Булгарин обратился к Полевому с письмом (до нас не дошедшим), в котором убеждал его «отступиться» от мысли издавать собственный журнал, предлагал «снять вместе откуп журнальный» и «со всем жаром сердобольного участия пугал его затруднениями, сопряженными с званием издателя, уговаривая действовать лучше общими силами».[1] Но как только Н. Полевой отклонил «дружеские» и «благонамеренные» советы Булгарина и Греча, они открыли на страницах своих журналов настоящую травлю «Московского телеграфа», продолжавшуюся непрерывно в течение двух с половиной лет. Причина этой полемики была, в сущности, проста: шла борьба за гегемонию в литературной жизни, или — как говорили тогда — за журнальную монополию.

«Северная пчела», «Сын отечества» и «Северный архив» не только систематически печатали статьи и заметки, изобличающие «самонадеянность и несправедливость», «резкий, решительный тон», «неосновательные сведения в науках», «дух партий и пристрастие к приговорам», «незнание русского языка и грамматики» и тому подобные качества «Московского телеграфа», но и предоставили свои страницы всем авторам, имевшим какие-либо причины быть недовольными новым журналом. В №№ 80 и 82 «Северной пчелы» 1825 г. появились знаменитые в свое время «Письма бригадирши, или Горе от Московского телеграфа» (автором их был, повидимому, Булгарин), открывшие собою целую серию фельетонов и памфлетов, высмеивающих мелкие ошибки и промахи Полевого. Так, например, зло были высмеяны ошибки, сделанные Н. Полевым в переводах имен французских рыцарей (в «Истории герцогов бургундских» Баранта) и модного цвета «gris poussière» (переведенного Полевым: «Грипусье»). Запальчивость Булгарина доходила до того, что Н. Полевой, не раз обруганный в «Северной пчеле» самым площадным образом, однажды был назван «общипанным заводчиком» (см. № 62 за 1825 г.), а «Московский телеграф» сравнивался с «кубом» и «спиртом» (намек на водочный завод Полевого).

«Сын отечества» в своих выступлениях против «Московского телеграфа» старался соблюсти некоторую благопристойность; здесь ученый

---

[1] «Московский телеграф», 1825, ч. IV. См. также открытое письмо Н. Греча к Н. Полевому в «Сыне отечества» (1825, ч. 104) и частное письмо его же к Полевому (1824) в «Русской старине» (1871, IV).

Греч вел методический подсчет ошибок и недомолвок, выловленных из научных статей «Телеграфа». В конце концов издатели «Сына отечества» решили собрать все статьи, направленные против «Телеграфа», и разослать при журнале; получился довольно объемистый том (до 200 страниц). Сверх того было издано еще «Особое прибавление к «Сыну отечества», где автор, скрывшийся под инициалами N. N. (повидимому, Греч), пытался принципиально обосновать позицию своего журнала по отношению к «Московскому телеграфу», вызвавшему русских журналистов «на поприще полемики» своим «диктаторским тоном», «решительностью несправедливых приговоров и неосновательных замечаний», между тем как сам Полевой «в первоначальных даже предметах книжного учения имеет слабые познания, не умеет владеть языком отечественным и не знает языков иностранных, с которых берется переводить», а в программной статье, «выставив идеал совершенного журнала, с забавным самодовольством уверяет, что может выполнить все требования».

Атака Булгарина и Греча была поддержана также и другими журналистами 1820-х годов. «К даровитым противникам присоединялись и разные обиженные новым журналом писатели и стихотворцы, петербургские и московские, которым, кроме того, были настежь отверсты двери и в „Вестнике Европы", и в „Дамском журнале", и в „Благонамеренном"» (Кс. Полевой). Издатель «Дамского журнала» кн. П. И. Шаликов вел с «Московским телеграфом» беспрерывную и ожесточенную распрю в течение пяти лет (1825—1829). В большинстве случаев нападки его носили мелочной характер и отличались только крайней неумеренностью тона. Н. Полевой задел Шаликова в первой же книжке «Телеграфа», посмеявшись над «нежной чувствительностью» и бездарностью безвестных стихотворцев, заполнявших «Дамский журнал». Большую роль в этой полемике сыграли также модные картинки, прилагавшиеся к «Телеграфу». Шаликов усмотрел в этом посягательство на свое монопольное право обслуживать «прекрасных читательниц». «Дамский журнал» с особенным удовольствием издевался над купеческим происхождением и водочным заводом Полевого и награждал его презрительными кличками: «винокур», «торгаш», «трехгильдейный бирюч литературный», «мещанин, торгующий напитками, вылезший из мрачной глубины погреба» и т. п. Иногда на страницах этого «дамского» журнала появлялись значительно более серьезные обвинения по адресу «Московского телеграфа»; так, например, в 1829 г. он был назван здесь «вместилищем примеров предосудительных, даже вредных для нравственности и общего порядка».

В ряду журнальных антагонистов Н. Полевого не последнее место занимал А. Ф. Воейков. Тесно связанный с Вяземским, Воейков приветствовал появление «Московского телеграфа» и до 1828 г. не выступал его открытым противником, хотя и воспринял журнальные успехи Полевого как личную обиду. До некоторой степени Воейкова в 1825—1827 гг. сближало с Полевым общее им враждебное отношение к «Северной пчеле» и «Сыну отечества». Но как только Полевой впоследствии заключил с этими изданиями мир (см. об этом ниже), положение резко изменилось, тем более, что и уход Вяземского из редакции «Московского телеграфа» развязал Воейкову руки. В своем журнале «Славянин» Воейков завел специальный отдел «Хамелеонистика», где из номера в номер преследовал Полевого мелкими придирками и злобной руганью; здесь Полевой был назван и «шарлатаном», и «ученым самозванцем», и «спекулянтом», и «пройдохой Выручкиным» и т. п.;

а «Московский телеграф» сравнивался с «кубом бумагомарания, в коем перегоняет Полевой слова, как спирт, посредством паров санкритского языка и, сливая в бочку массивных наречий, закупоривает их изобретенною им мастикой шарлатанизма, а потом ставит эту подмесь в темный подвал невежества». В нескольких книгах «Славянина» 1828 г. печатался «Венок, сплетенный бригадиршею из журнальных листов для издателя Московского телеграфа», где были собраны (перепечатаны из разных журналов) все наиболее резкие статьи, направленные против Полевого. Воейков продолжал нападать на «Московский телеграф» и в 1830—1832 гг. (в «Русском инвалиде» и «Литературных прибавлениях» к нему).

В 1829 г. к числу врагов «Телеграфа» примкнула «Галатея» С. Е. Раича. «Галатея», в сущности, и прославилась только своей из ряда вон выходящей по грубости полемикой с «Телеграфом». Вяземскому она напоминала «московских баб, торгующих на перекрестках гнилыми яблоками: тот же говор, те же ругательства». Раич не гнушался прямыми доносами на своего противника: «Пересмотрите большую часть нумеров Московского телеграфа, — писал он, — и вы с ужасом увидите, как много посеял он зловредных плевел» («Галатея», 1829, ч. VI).

Что же касается полемических выступлений «Вестника Европы» против «Московского телеграфа», то в течение ряда лет они мало чем отличались от мелочных и в сущности беспринципных «привязок» и бешеной ругани «Дамского журнала» или «Галатеи». Только в 1828 г., в связи с выступлениями Никодима Надоумки (Н. И. Надеждина), полемика эта приобрела более широкий и общий характер. В XXIII части «Московского телеграфа» Н. Полевой, под псевдонимом «И. Бенигна», резко обрушился на «Вестник Европы», в частности на статью Надоумки «Литературные опасения» (см. также другую статью Полевого — «Литературные опасения кое за что в „Телеграфе"», 1828 г., № 23, — в форме разговора «Бенигны» с «Желтяком», т. е. Надеждиным). Редактор «Вестника Европы» М. Т. Каченовский усмотрел в нападках Полевого посягательство на его «личную честь» и подал формальную жалобу в цензурный комитет на цензора С. Н. Глинку, пропустившего в печать статью Бенигны. В полемике этой, распространившейся почти на все московские и петербургские журналы, принял, между прочим, участие (на стороне Полевого) и Пушкин, написавший статью «Отрывок из литературных летописей» (в «Северных цветах» на 1830 г.) и эпиграмму «Журналами обиженный жестоко» (в «Телеграфе», 1829 г., ч. 26).

Н. Полевой первоначально не предполагал вступать в полемику со своими антагонистами, тем более, что уже в программном объявлении об издании «Московского телеграфа» он заявил, что является принципиальным противником всякого рода «антикритик», которым не будет дано места в его журнале. Но уже сразу после выхода в свет первой книжки «Телеграфа» обстоятельства вынудили Полевого ступить на путь полемики. В специальном «Особом прибавлении» к № 2 «Телеграфа» было сказано, что «исключение антикритик» из журнала «невозможно»: «Издатель не имеет никакого права отказывать в помещении дельных (антикритических) статей, не может и сам остаться без обороны от нападений; но если допустить возражения, опровержения, замечания на замечания и прочую полемическую свиту в состав журнала, то статья „Критика и библиография" может изменить свое направление и сделаться шумным полем авторских битв. Все это заставляет издателя сделать особое прибавление к Телеграфу, не входящее в счет листов, составляю-

щий каждый нумер оного. В этом прибавлении да будет полное раздолье литературной полемике». Единственным требованием, которое предъявлял «Московский телеграф» к антикритическим статьям, было следующее: они должны быть «дельны», «благопристойны» и «написаны без грамматических ошибок». «Сам издатель всячески постарается не заводить литературных битв; принужденный же к тому другими, будет отвечать коротко и, удаляя пустое многоречие, говорить только о существе дела».

Таким образом составилась целая книга: «Особенное прибавление к Московскому телеграфу. Обозрение критических и антикритических статей и замечаний на Московский телеграф, помещенных в Дамском журнале, Вестнике Европы, Сыне отечества, Благонамеренном, Северной пчеле, Северном архиве и писанных князем Шаликовым и гг. Н. Мел..., М. Дмитриевым, Булгариным, Карниолиным-Пинским, Усовым, Ертовым, А. Ф., П. Ж. К., Д. Р. К., — вым и проч.» (1825). В основном эта объемистая книга была направлена против журналов Булгарина и Греча.

Полевой был против воли втянут в полемику с этими влиятельными журналистами. Он «совершенно хотел сохранить дружбу и мир» с ними, «как по доброму прежнему знакомству, так более из политики, из расчета, чтоб его не задели»; он даже старался «унять» издателей «Мнемозины» — В. Кюхельбекера и В. Одоевского, вооружившихся на Булгарина «перьями и злыми намерениями» (см. письмо П. Муханова к Ф. Булгарину — «Русская старина» 1888, т. 60). Но, втянувшись в полемику, Н. Полевой не уступал своим антагонистам в запальчивости тона. На булгаринские «Письма бригадирши» он ответил целой серией заметок «Митюши-журналоучки» и «Сидоренки». 1825 и 1826 гг. прошли для «Московского телеграфа» под знаком борьбы преимущественно с Булгариным и Гречем.

Однако, решившись отвечать своим противникам, Полевой не учел (да и не мог заранее учесть) объема и направления развернувшейся полемики, которая в очень короткий срок превратились в малопристойную перебранку, не имевшую ничего общего с литературными спорами, даже в том широком значении, какое придавалось им в 1820-е годы. Подводя в конце 1826 г. неутешительные итоги бурной двухлетней полемики, Полевой решительно отказался от помещения в «Телеграфе» антикритических статей. «В течение двух лет, — писал он, — я следовал двум различным мнениям. В первый год издания Телеграфа, мечтая убедить своих противников, я увлечен был в журнальные сражения и, глядя теперь на огромные статьи, свои и чужие, вспоминая о литературной битве, которою заняты были журналы наши и даже водевили 1825 года, признаюсь, жалею времени, потерянного на бесполезный труд... Я решительно отказался от антикритик в 1826 году... Занимаясь не антикритикою, но настоящей критикою, я, кажется, имел случай доказать, что не опасение быть побежденным заставило меня молчать, но убеждение в бесполезности антикритических переговорок» (1826, ч. 12).

Как уже было сказано, полемика «Московского телеграфа» с журналами Булгарина и Греча, с «Галатеей», «Дамским журналом» и «Славянином» велась на очень низком идейном уровне и историческое ее значение ничтожно. Идейная борьба, которую вел «Московский телеграф», может быть продемонстрирована на материале его полемики с другими журналами.

Второй период в истории «Московского телеграфа» (1829—1834) был ознаменован последовательной и напряженной борьбой Н. и Кс. Полевых

с виднейшими представителями и журнальными объединениями дворянской литературы. В ходе этой борьбы особенно важное значение приобрела полемика «Телеграфа» с «Московским вестником» и «Литературной газетой».

«Московский вестник» с самого начала намеренно противопоставил себя «Телеграфу», ориентируясь на узкий круг «любителей изящного». Энциклопедизму и популяризации — этим двум генеральным признакам «Телеграфа» — здесь противопоставлялись добротная ученость, недоступная пониманию рядового читателя, и повышенное внимание к проблемам философии и искусства, отчасти — истории. Впоследствии, когда от «Московского вестника» отошел Пушкин и большинство «любомудров», журнал превратился в частное предприятие М. П. Погодина и существенно изменил свой первоначальный облик. Но это обстоятельство не отразилось на его отношении к «Московскому телеграфу», поскольку на страницы «Вестника» получили широкий доступ воинствующие эпигоны классицизма (М. А. Дмитриев, А. И. Писарев, С. Т. Аксаков) — непримиримые противники Полевого, а присяжным критиком журнала стал Н. И. Надеждин, также преследовавший издателя «Телеграфа» с особенной энергией.

С течением времени полемика приобретала все более острый и принципиальный характер; смысл ее заключался в решительном несовпадении программных, идейных установок Полевого и дворянских писателей. Освободившись от опеки своих журнальных протекторов (Вяземского и его друзей), Н. Полевой открыто выступил против сословных и классовых привилегий, в какой бы форме и в какой бы области они ни выражались. Задачу литератора он видел в разоблачении «глупой спеси, низости и невежества многих благородных, уничижения неблагородных классов народа» («Московский телеграф», 1829, ч. 28). Он громко заявлял, что в «мирной республике литературы нет ни плебеев, ни аристократов» и, обращаясь к дворянским литераторам с просьбой «верить, что в числе его недостатков нет литературной трусости», объявил непримиримую войну «литературному аристократизму».

«Времена удивительно переходчивы, — писал Полевой, — теперь требуют не знаменитости, а дела... Теперь в литературе многое разгадано, со многого сорвана маска: многим гораздо выгоднее теперь сидеть с листочком, выдернутым из старого лаврового венка, нежели шуметь и указывать знающим более их» (Там же, 1830, ч. 31). Подобного рода ниспровержения старых литературных авторитетов обосновывались в «Московском телеграфе» в широком социально-историческом плане. Интересно в этом отношении одно из высказываний Кс. Полевого: «Около конца осьмнадцатого столетия, не ближе (после издания высочайшей грамоты дворянству), — писал он, — начал образовываться у нас класс средних между барином и мужиком существ, т. е. тех людей, которые везде составляют истинную, прочную основу государства. Из среды сего класса вышел Новиков...» (Там же). Здесь мы видим уже не только защиту прав «третьего сословия», но и попытку установить нечто вроде родословия русской буржуазной литературы.

Высмеивая «Литературную газету», которая объявила, что издается для узкого круга ценителей литературы, «Московский телеграф» писал: «Если некоторые газеты, по объявлению самих редакторов, издаются для немногих писателей, то мы имеем честь объявить, что наш журнал печатается для многих читателей» (1830, ч. 33, статья В. А. Ушакова). Это заявление хорошо выражает основную принципиальную установку «Московского телеграфа» на демократизацию литера-

туры и журналистики. Отвечая на статью Пушкина «Новые выходки против так называемой литературной аристократии», помещенной в «Литературной газете», Н. Полевой писал: «Литературная газета есть последнее усилие жалкого литературного аристократизма, и вот вся загадка. Грамот на литературное достоинство герольдия нынешней критики не только не утверждает современным литературным аристократам, но оспаривает оные и у тех литературных аристократов, которые давно похоронены с названием бояр. Теперь не дают пропуск на Парнас тем, которые лет за десяток называли себя помещиками парнасскими... Литературный аристократизм довольно шалил у нас. На него нападал и всегда будет нападать Телеграф» (1830, ч. 34). Тогда же Полевой писал А. Бестужеву: «Даю последнюю битву гадкому и ничтожному аристократизму литературному. С падением его останется по крайней мере чистое поле. Люди явятся. В начале разрушения лежат семена возрождений».

«Литературная газета» усмотрела в подобных выступлениях Полевого прямую угрозу для традиций передовой дворянской культуры и на его удары отвечала не менее решительными контрударами, для чего у нее были известные основания, так как Полевой в пылу полемики не сумел подойти к дворянской литературе диференцированно, не сумел понять ее противоречия и различить происходившую в ней борьбу реакционных и прогрессивных тенденций.

В распре «Московского телеграфа» с дворянской литературой возникло еще одно превходящее обстоятельство, усугубившее полемический пафос антагонистов Полевого, а именно его примирение с Булгариным и Гречем в конце 1827 г., т. е. еще до того, как Полевой окончательно порвал связи с литераторами пушкинской группы. Полевой пошел на мир с Булгариным и Гречем исключительно из тактических соображений литературно-журнальной борьбы и, тем самым, поставил под подозрение принципиальность своей позиции, на которой так настаивал.

Еще в мартовской книжке «Телеграфа» за 1827 г. Полевой писал, что «тот оскорбит его, кто подумает, что он хоть что-нибудь общего имеет с издателями Северной пчелы». В первую половину 1827 г. его вражда с Булгариным и Гречем была еще в полном разгаре, — Вяземский продолжал нападать на них в фельетонах «Журнального сыщика»; больше того: именно к 1827 г. относятся поданные в III отделение доносы на «Московский телеграф», автором которых почти наверное был Булгарин. Тем более неожиданной была резкая перемена в отношениях Н. Полевого с петербургскими рептильными журналистами. Поездка Кс. Полевого в Петербург весной 1828 г. закрепила их сближение, и противники «Московского телеграфа» в течение долгого времени обсуждали «наступательный и оборонительный трактат» Булгарина — Греча — Полевого, «утвержденный на взаимных выгодах и верных расчетах».

В «Московском телеграфе» начали хвалить Булгарина, — преимущественно за то, что в романе «Иван Выжигин» он «представил быт среднего состояния русского народа», а также и за то, что «он всегда идет впереди нашей публики и угадывает ее требования». Из этого видно, что Н. Полевой акцентировал в деятельности Булгарина те черты и моменты, которые в какой-то мере отвечали его собственным интересам, закрывая глаза на общий реакционный смысл и политическую одиозность той литературы, которую представлял Булгарин. На «привязки» же своих антагонистов Полевой ответил следующим заявлением: «Писали и неоднократно, что издатель Телеграфа заключил вечный мир и союз с Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным и что вследствие сего все издаваемое

издателями Северной пчелы будет хвалимо в Телеграфе, а все издаваемое издателем Телеграфа будет превозносимо в Северной пчеле. Правда, что издатели Северной пчелы и издатель Телеграфа решительно прекратили пустые перепалки журнальные, но надобно быть А. Ф. Воейковым, дабы предполагать, что мир ведет к системе взаимного хваления... Похвала всегда будет куплена только достоинством сочинения» («Московский телеграф», 1830, ч. 31). И хотя «Телеграф» и «Северная пчела» не скупились на похвалы, расточаемые друг другу, «мир» оказался недолговечным: в начале 1831 г. война Н. Полевого с петербургскими журналистами возобновилась, правда, уже не с прежним ожесточением.

4. Социально-исторические и литературные взгляды Н. А. Полевого

Прежде чем перейти к рассмотрению философских, социально-политических и литературных мнений, выражавшихся на страницах «Московского телеграфа», надлежит выяснить, как Полевой решал важнейший в его время вопрос о самобытности и народности русской национальной культуры в ее соотношении с культурой Запада. Решение этого вопроса определило, в основном, как идеологию Полевого в годы издания «Московского телеграфа», так и его дальнейшую судьбу.

Программные речи Полевого «О невещественном капитале» и «О купеческом звании» и предисловие к роману «Клятва при гробе господнем» представляют в этом отношении наибольший интерес. Здесь Полевой развивал историко-философскую и общественно-политическую идею «руссизма», основной смысл которой заключался в том, что в России — «особой части света», «земле надежды», только начинающей свое «гражданское и умственное бытие», суждена мессианическая роль «обновительницы» Европы, «находящейся в преклонном развитии духовных и телесных сил», будущее которой «являет печальную старость». Самая фразеология Полевого до некоторой степени совпадает с прописными формулами официального «руссизма», выдвинутыми самодержавием в качестве основных принципов политического и религиозно-морального сознания.

Правда, Полевой не говорит прямо о том, что мессианическая роль России суждена ей в силу ее православия и исконного политического строя, и видит залог ее грядущих успехов почти исключительно в укреплении буржуазии («производителей средних званий»), в эмансипации молодой русской промышленности от власти иностранного капитала и в завоеваниях новых рынков сбыта. Но, тем не менее, свою проповедь буржуазного процветания Полевой облекает в защитные покровы наивысшей «благонамеренности». Наряду с «сознанием собственного достоинства», «уважением к самим себе» и «верой в добродетель», он рекомендует русской молодежи в качестве основного жизненного правила — преданность закону и престолу.

«Руссизм» Полевого — явление сложное. Это одна из разновидностей национально-романтического либерализма, который, противопоставляя Россию и Западную Европу как два культурно-исторических мира, принципиально различных по духу и формам их религиозного и политического бытия, оговаривает, тем не менее, свое право на освоение некоторых сторон буржуазного строя и пропаганду идей буржуазной демократии. В этом его отличие от реакционного национализма Уваровых и Бенкендорфов. Оставаясь на почве «руссизма», Полевой вместе с тем убе-

жденно и настойчиво действовал в пользу буржуазного прогресса русского быта и русской культуры.

Повидимому, Н. Полевому принадлежит честь изобретения крылатого словца «квасной патриотизм»; во всяком случае, оно вышло из редакции «Московского телеграфа» и имело в виду именно тот реакционный национализм Уваровых и Бенкендорфов, который нашел свое выражение в известной формуле: «православие, самодержавие, народность». Полевой объявил себя решительным врагом квасного патриотизма и следующим образом сформулировал свою точку зрения на «внутреннее образование» России: «С одной стороны, философски рассмотрим европейскую образованность и требования века, отделим доброе от худого, бросим злую половину, как говорит Шекспир, и извлечем для себя формы европейского образования. С другой, беспристрастно рассмотрим самих себя. В истории нашей поищем не предметов пустого хвастовства, но уроков прошедшего; в настоящем быте нашем откроем нынешние недостатки и выгоды наши... Мы извлечем таким образом стихию народности. Зная формы европеизма и стихию руссизма, скажите — чего не сделаем мы из Руси нашей, из нашего народа, закаляемого азиатским солнцем в снегах Севера? Мы победили Европу мечом, мы победим ее и умом: создадим свою философию, свою литературу, свою гражданственность, под сению славного престола великих монархов наших».

Заключая «стихию руссизма» в «формы европеизма», Полевой и в данном случае следовал основному закону своего мировоззрения — принципиальному эклектизму, печать которого лежит на всей его публицистической и литературной практике.

Таким образом, «западничество» Полевого (а вместе с ним и «Московского телеграфа») следует понимать весьма условно и ограничительно. Просветительские тенденции определили характер и направление боевых выступлений Н. Полевого против отечественного «горделивого полуневежества», но нигде, ни одним словом Полевой не обмолвился, что овладеть высотами просвещения России можно только отказавшись от исконных основ нашего общественно-исторического бытия.

Идеей «руссизма» проникнуты все сочинения Полевого 1830-х годов, а в петербургский период его жизни идея эта уже прямо перекликалась с официальной теорией Уварова, доказывающего, что русский исторический процесс характеризуется, в отличие от западноевропейского, отсутствием классовой борьбы, что, в свою очередь, предохраняет Россию от революционных потрясений. Касаясь вопроса об идее «руссизма» в понимании Полевого (России суждено, — заявлял он в «Истории русского народа», — «внести в Европу особую стихию духа», являющуюся «типом восточноевропейского образования» и «завещанием умиравшей Византии»), Г. В. Плеханов писал: «Ясно, что по этой канве легко было бы вышить узор во вкусе самой „официальной" народности. Как знать? Может быть, наличность этой византийской канвы и помогла впоследствии Полевому совершить поворот в сторону Булгарина» («Погодин и борьба классов»). Это указание на известную закономерность пути Полевого, приведшего его, в конце концов, в лагерь рептильных петербургских литераторов, — совершенно справедливо.

В 1829 г. в «Московском телеграфе» (ч. 29) была напечатана статья Н. Полевого «О воспитании вообще и особенно купцов». В статье этой подробно обоснована идея органической связи и взаимодействия промышленного и культурного процессов. Полевой указывает, что «с нескольких лет настал для русских период деятельности умов, замечатель-

ный в сравнении с бывшим немного тому времени каким-то застоем», что «теперь думают, говорят, работают и в ученых кабинетах, и в типографиях, и на фабриках—более и лучше прежнего». Однако, «несмотря на явные признаки хода умов вперед, все еще деятельность всякого рода у нас мала, слаба, ничтожна», — «множество новых, любопытных явлений, важнейшие предметы жизни общественной» все еще слишком мало «возбуждают идей, мыслей, разговоров».

Полевой указывает также, что «мануфактуристу некогда думать и писать при стуке веретен и челнов; купцу некогда, если ему надобно спешить на биржу, в амбар свой, в лавку свою»,—и приходит к выводу, что «п и ш у щ и й наш народ непростительно виноват перед н е п и ш у щ и м, ибо он должен передавать идеи свежие, указывать на ложные или старые, поверять факты сведениями новыми. Тут добрая воля правительства и все, что оно так искренно издает для общего сведения, не помогут. Надобен говор частных людей, надобны их мысли, соображения, выводы, дабы заставить раздуматься и купца, и мануфактуриста, и проч. и проч.».

Основным условием достижения «благоденствия» России «Московский телеграф» объявлял промышленность. Вопрос о свободной торговле и запретительных системах решался «Московским телеграфом» довольно своеобразно: «Свободная торговля, так как понимают ее Ж.-Б. Сей и его последователи, есть сущая нелепость... Система, которой мы следуем, совсем противна меркантильной. Она говорит: делайте у себя все, что вы м о ж е т е сделать; строго рассмотрите и испытайте на деле, что вы делать можете; постарайтесь производить в о з м о ж н о е и по мере усовершенствования отменяйте систему запрещений, допуская привоз иностранного и возбуждая соревнование своих промышленников... Разделения государств на земледельческие, торговые и промышленные нет и быть не может при одинаковой степени просвещения рассматриваемых государств. Время, в которое государство довольствуется земледелием, показывает, что сие государство ниже других по своему образованию гражданскому. Каждое государство должно иметь свои способы произведений капиталов: земледельчество, промышленность и торговлю... Что делать? Все сводится к одному: надобно приняться за промышленность, надобно усовершенствовать, распространить ее. Тогда можно будет сделать поверку возможности производить, тогда настанет и для русского государства время свободной торговли с иностранцами... Промышленность народная есть единое средство поддерживать и увеличивать силу государства; она есть тот оселок, на котором можно пробовать: настало ли для того или другого государства время свободной торговли. Промышленность ведет к богатству и просвещению, ибо они одно без другого не существуют» (1828, ч. 23; статья принадлежит, очевидно, Н. Полевому).

«Московский телеграф» требовал, чтобы все рычаги управления промышленностью находились в руках «производителей средних званий» — фабрикантов и заводчиков. Отвечая Н. П. Демидову (автору книги «Новая теория баланса»), доказывавшему, что «надобно ободрять преимущественно промышленность народную», Н. Полевой писал: «Надобно сперва доставить народу достаточные способы быть сыту, одету, иметь порядочные жилища, иметь средства сбыть внутри государства свои произведения... и потом предоставить промышленность его произволу... Надобно показать средства народу, образовать, просветить его, вразумить ему должности христианина, верноподданного, гражданина, образовать его вкус и доставить средства к сбыту произведений; тогда

промышленность явится сама собою» («Московский телеграф», 1826, ч. 10).

Вопрос о правах и привилегиях промышленной буржуазии с особенной настойчивостью был выдвинут Н. Полевым в полемике с М. П. Погодиным по поводу московской Выставки российских изделий 1831 г. Погодин в своей статье о московской выставке в ура-патриотическом тоне и в реакционно-крепостническом духе выразил восхищение «русскими безграмотными мужичками», которые «с глазу и голоса, побуждаемые благотворною дубинкою, поднятой над их спинами, изловчась и приладясь, сумеют сделать всякую заморскую хитрость». Полевой необычайно резко обрушился на Погодина не только в качестве журналиста, но и «по званию члена комитета выставки» и члена московского Мануфактурного совета. Он вступился за купечество и ремесленников, которых «оскорбила статья г. Погодина», расценил погодинский «патриотизм» как «проклятое хвастовство» и заявил, что выставка не есть результат «работы безграмотных мужиков», а представляет собою «плоды богатства, просвещения и образованности почтенных наших фабрикантов, заводчиков, художников и ремесленников». Именно они, а не «безграмотные мужики», есть настоящие «производители».[1] С точки зрения Полевого, только промышленники могут осуществить задачи экономического развития России, при условии, если их «спокойствие и удобство» будут «утверждены внешнею безопасностью, внутренним устройством законов и средствами сбыта произведений» («Московский телеграф», 1826, ч. 10).

Широко развернув на страницах «Московского телеграфа» защиту отечественной промышленности, Н. Полевой учитывал опыт социально-политической и культурной истории Запада. Особое внимание «Телеграф» уделял французским событиям, особенно же июльской революции 1830 г. ознаменовавшей решительную победу французской буржуазии над реакционным дворянством эпохи реставрации. Июльская монархия, с точки зрения Полевого, являла собою идеальный образец государства; он видел в ней то, к чему сам осторожно призывал читателей своего журнала.

Цензурные условия, разумеется, не позволяли Полевому высказываться по поводу июльской революции во весь голос, однако в «Московском телеграфе» можно все же найти материал, свидетельствующий об отношении журнала к западноевропейским событиям. Чрезвычайно показательны в этом плане комплименты, расточавшиеся в «Телеграфе» по адресу французской прессы («National», «Globe» и «Révue française»), которая представляла буржуазную оппозицию в лице политической партии доктринеров, стремившейся в эпоху реставрации к установлению конституционной монархии на британский лад. Ориентация Полевого именно на эти издания весьма характерна для его общественно-политических взглядов: либерализм доктринеров целиком отвечал его собственным настроениям. Подобно доктринерам, он пытался примирить поклонение конституционным «свободам» с преданностью «сильной власти», подобно им, и он проявлял тенденции к эволюции вправо; подобно им, наконец, и ему пришлось пережить крушение своих прежних убеждений.

В «Московском телеграфе» часто помещались переводы из сочинений виднейших деятелей французской буржуазной оппозиции (Гизо, Тьера, Вилльмена, Минье, Тьерри, Мишле, Дюпена, Жирардена и других), подчас жестоко урезанные цензурой. В отделе критики и библиографии,

---

[1] См. статьи М. Погодина в «Молве» (1831, №№ 20 и 27) и Н. Полевого — в «Московском телеграфе» (1831, чч. 38 и 39).

а также в «Современных летописях» читателю предлагались рецензии об их книгах и сообщались данные об их общественной и литературной деятельности. Отвечая И. Киреевскому, утверждавшему, что Европа в 1830 г. «представляет вид какого-то оцепенения», Кс. Полевой писал: «Не живем ли мы при возрождении Франции? Не была ли вся прошедшая история ее годиною испытаний, приготовившею счастливое настоящее? И не говоря даже о политическом состоянии сей страны, довольно взглянуть на одну умственную деятельность Франции, на их нынешнюю литературу» («Московский телеграф», 1830, ч. 31).

Но, как уже было сказано, непосредственно коснуться темы июльской революции редакторы «Московского телеграфа» не имели возможности в силу цензурных условий. В этом отношении характерна статья «Историческое обозрение 1830-го года» (1831, ч. 37), написанная чрезвычайно осторожно. 1830 год назван здесь «одним из самых достопамятных годов всего XIX столетия», но в то же время подчеркнуто, что Россия, «удаленная от бурь политических под благоденственным правлением мудрого монарха», чужда «ослепления страстей Западной Европы». Июльские события названы далее «порывом бедствия», но в то же время довольно резко осужден реакционный режим в Англии и Франции при министерствах Веллингтона и Полиньяка. Предлагая читателю подробную документированную хронику событий июльской революции, статья обрывается на эпизоде 19 марта (роспуск Карлом X Палаты депутатов). Несмотря на помету «Продолжение в следующей книжке», продолжения напечатано не было, разумеется в результате вмешательства цензуры, хотя автор статьи (Н. или Кс. Полевой) и оговорился вначале, что изложит события 1830 г. подробно, «но без всяких политических догадок и суждений, на которые мы, как современники, не имеем даже никакого права... Пусть говорят д е л а и с о б ы т и я». В 1830 г., в связи с событиями в Польше, «Телеграф» вынужден был также прекратить пропаганду польской литературы, которую он вел непрерывно в течение пяти лет.

Для двадцатых и тридцатых годов XIX столетия весьма характерен возросший интерес к вопросам истории, к самой проблеме историзма.

Полевой принимал активное участие в решении этой проблемы.

К 1829 г. относится выступление Полевого против Карамзина с разрушительной критикой «Истории государства российского»; в 1830 г. появляется первый том его «Истории русского народа». Оба эти события имеют чрезвычайно важное значение в литературной биографии Н. Полевого и в истории «Московского телеграфа». Выступление Полевого против Карамзина открывает новый этап его деятельности, развернувшийся под знаком ожесточенной борьбы с дворянской литературой.

В своих исторических работах Полевой в известной мере опирался на труды французских буржуазных историков эпохи реставрации, в которых теория борьбы классов была впервые поставлена как научная проблема. Впрочем, следует оговориться, что Полевой нимало не подчинил своих взглядов историческим теориям западных ученых. Проблема борьбы классов, поставленная в сочинениях Тьерри, Гизо и Минье, несомненно привлекла внимание Полевого, но, в силу своих собственных социально-политических убеждений, он не мог целиком исходить из этой проблемы в своем объяснении русского исторического процесса, которое осталось по существу романтическим. И, наконец, еще одна существенная оговорка: эклектизм Полевого сказался в том, что в его концепции исторического процесса прогрессивные буржуазные социологические идеи и теории оказались совмещенными с историческими идеями

современной ему идеалистической философии, — точнее сказать: Полевой воспринимал исторические теории Тьерри, Гизо и Минье в значительной степени сквозь идеалистическую и романтическую философию, и это обстоятельство обусловило противоречивость его концепции.

Философские воззрения Полевого носили непоследовательный характер. Наиболее импонировало Полевому эклектическое учение французского философа Кузена, сочетавшего принципы идеалистической философии с идеями, воодушевлявшими идеологов французской буржуазии (Маркс охарактеризовал Кузена как «истинного толкователя трезвого практического буржуазного общества»). Значительный интерес представляет в этом плане полемика Н. Полевого с Д. В. Веневитиновым (по поводу «Евгения Онегина»).[1] Здесь Полевой достаточно резко подчеркивает свое несогласие с «учением новой философии немецкой». «Метафизический туман» московского «любомудрия» был решительно чужд Полевому.

Кузен же усердно пропагандировался в «Московском телеграфе» как «человек необыкновенный»: «Никогда еще философия французов не достигала такой высокой степени философского воззрения, какой достигает она с Кузенем. И этот обширный ум, эта глубокость мышления. . . соединены у Кузеня с удивительным искусством излагать свои мысли, с духом критицизма, с уменьем быть понятным для самого неопытного человека» (1828, ч. 23). Популяризация как один из основных приемов Кузена, доступность его учения подчеркнуты здесь достаточно ясно.

«Московский телеграф» был виднейшим органом русского романтизма. В противоположность московским «любомудрам», чьи литературные мнения были близки немецкой идеалистической философии начала века, Полевой придерживался, в основном, французской ориентации. Ориентация эта была, разумеется, не случайна и имела глубокий социально-исторический смысл. Международное воздействие французской культуры всегда характеризовалось, в отличие от воздействия культуры немецкой, господством интересов социальных, политических и экономических над отвлеченно-умозрительными — философскими, моральными и религиозными. Если немецкий романтизм уже в 1820-е годы превратился в верного союзника политической реакции, то романтизм французский вплоть до времени июльской монархии (а в лице некоторых своих представителей и много позже) оставался объективно радикальным течением. В эпоху Реставрации французский романтизм был литературной формой политической оппозиции наступавшей буржуазии, — об этом говорили и сами романтики: «Романтизм в поэзии то же, что либерализм в политике» (Гюго).

Проблема романтизма, как она ставилась Н. Полевым, была отнюдь не только литературной проблемой, но также и проблемой социальной, политической. Недаром развитие романтических идей Полевой связывал с французской буржуазной революцией конца XVIII в. И не случайно альфой и омегой романтизма на страницах «Московского телеграфа» были объявлены Виктор Кузен — «романтик в философии» и Виктор Гюго — «философ романтизма», — буржуазные радикалы в философии и литературе.

В этой области Полевой противостоял русской дворянской литературе своего времени, — романтизм в его понимании не являлся платфор-

[1] «Московский телеграф», 1825, №№ 5, 15 и 23; «Сын отечества», 1825, № 8, 1826, № 1.

мой, на которой он мог бы объединиться с русскими романтиками. В романтизме Полевой выделял как раз те черты, которые игнорировали любомудры и другие дворянские писатели. Для Полевого романтизм служил прежде всего руководством к боевым действиям за построение буржуазной литературы.

Единственным, пожалуй, качеством, которое признавали за романтизмом русские писатели без различия школ и направлений, была новизна литературных мнений; критика двадцатых годов склонна была называть романтическим все новое, что шло вразрез с нормативной поэтикой классицизма. Н. Полевой ясно сознавал свою роль новатора. «Судьба указала нам жить во времена перерождения всех понятий литературных, — писал он. — Литература не ограничивается ныне кодексами, долго останавливавшимися. Она распространила свою область и, питая просвещенное уважение к образованию, к понятиям и к произведениям древних, присоединила к умственному богатству своему опыт времен средних и новых. И все преобразилось!» («Московский телеграф», 1831, № 1).

5. Литературно-критические статьи Н. А. Полевого

Воодушевлявшие Полевого идеи романтической эстетики и историзма легли в основу того критического метода, который он применял в своих статьях, посвященных явлениям русской и западноевропейской литературы.

В истории русской литературной критики Н. Полевой сыграл очень значительную роль, — прежде всего потому, что именно в «Московском телеграфе» критика впервые заняла подобающее ей в журнале место. Полевой справедливо гордился своим почином: «Никто не оспорит у меня чести, что первый я сделал из критики постоянную часть журнала русского, первый обратил критику на все важнейшие современные предметы», — писал он в предисловии к «Очеркам русской литературы». Он имел все основания назвать лучшие свои статьи, собранные в этой книге, «первыми опытами русской самобытной критики».

Деятельность Н. Полевого как литературного критика особенно широко развернулась в тридцатые годы, когда в «Московском телеграфе» были напечатаны его важнейшие статьи, посвященные историческому прошлому и современному состоянию русской литературы — о Державине, о Жуковском, о Пушкине, о Кукольнике. [1]

Статьи эти замечательны тем, что впервые внесли в русскую критику исторический метод исследования литературных произведений. Полевой считал, что правильно понять и верно оценить литературное явление можно лишь с «исторической точки зрения». Не ограничиваясь

---

[1] Из более ранних литературно-критических выступлений Н. Полевого в «Московском телеграфе» следует выделить статьи об «Опыте науки изящного» А. Галича (1826, №№ 2, 7, 8 и 10), о поэмах А. Подлинского «Див и Пери» (1827, № 21) и И. Козлова «Княгиня Наталья Долгорукая» (1828, № 4), о романе М. Загоскина «Юрий Милославский» (1829, № 24), о Фонвизине (1830, № 13). Укажем также главные статьи Н. Полевого о русской литературе, напечатанные после запрещения «Телеграфа»: в «Библиотеке для чтения» — о книге Кс. Полевого «Ломоносов» (1836, т. XVI), «Пушкин» (1837, т. XXI), «Басни Хемницера» и «Сочинения Кантемира» (1837, т. XXIV); в «Сыне отечества» — «Очерки русской литературы за 1837 и 1838 гг.» (1838, тт. I—III), «Критические исследования касательно современной русской литературы» (1839 т. VII), «Взгляд на русскую литературу 1838—1839 гг.» (1840, тт. I—II); в «Русском вестнике» — «Ревизор» Гоголя (1842, кн. I), «Похождения Чичикова или Мертвые души» (1842, кн. V—VI).

уже, подобно своим предшественникам, разрозненными и более или менее случайными наблюдениями узко эстетического порядка, он вырабатывал взгляд на литературу, как на «важную часть общественного быта» («Очерки», т. I, стр. VII). Он доказывал, что идеи «истины» и «красоты», т. е. научного знания и художественного творчества, находятся в прямой и неразрывной связи со «стихией общественного образования», ибо ученый, писатель или художник — «в то же время человек, — следственно, принадлежит обществу» («Московский телеграф», 1832, ч. 43). Поэтому в своих статьях Н. Полевой стремился к тому, чтобы раскрыть смысл каждого литературного явления в соотношении с общественным движением эпохи и с целостным культурно-историческим процессом.

Полевой говорил, что «вполне узнать писателя» можно лишь выяснив, «как и когда он жил». В этих целях он, первый из русских критиков, стал обращаться к биографическим материалам, характеризующим частную и общественную жизнь писателя. Он указывал на необходимость для критика «перечитать» все, что осталось от писателя — его записки, дневники, письма, разного рода документы, — с тем, чтобы «сообразить одни за другими все сии памятники его жизни и воссоздать из них для себя живое создание» («Очерки», т. I, стр. 100). Так, например, Державина он хотел изучить не только как поэта, но и как «русского чиновника XVIII века и как гражданина», чтобы составить полное понятие о его «характере» и раскрыть в нем «двойственное бытие чиновника и поэта». Еще более важное значение придавал Полевой характеристике тех конкретно-исторических условий, в которых формировалось и развивалось творчество писателя; он настаивал на необходимости тщательного изучения всех «многообразных сторон» породившей писателя эпохи — «страстей, мнений, подробностей быта» (там же, стр. VIII).

В наиболее фундаментальных и содержательных статьях Полевого — о Державине и Жуковском — анализу творческого пути каждого поэта предшествуют широкие характеристики национальных условий общественного быта и господствующих литературных идей его времени. Державин рассматривается на фоне русской жизни во вторую половину XVIII в.—военных побед, государственных и культурных преобразований и расцвета классицизма во всех родах искусства, сопровождавших эпоху подъема русской дворянской монархии; Жуковский — на фоне той социально-политической и культурной обстановки, которая сложилась в России в период наполеоновских войн, а в сфере искусства и литературы ознаменовалась распадом классицизма, сентиментализмом и первыми проблесками романтического миропонимания.

Все это было новым словом в руской литературной критике, до того времени носившей, как правило, мелочной и эмпирический характер. Полевой и в этой области ратовал за «самобытность». Он упрекал русскую критику в том, что она «дико поет с чужого голоса» («Московский телеграф», 1832, № 1), судит и рядит о русской литературе по «чужой мерке», схоластически применяет отжившие критерии литературной теории классицизма.

Критические статьи Полевого о Державине, Жуковском и Пушкине замечательны также тем, что они представляли собою попытку построения целостной концепции исторического развития русской поэзии. Не случайно эти статьи печатались в «Московском телеграфе» одна за другой, составив в совокупности как бы связный обзор всего литературного процесса от Ломоносова до Пушкина. В этом отношении

статьи Полевого предвосхитили знаменитые критические «обзоры» Белинского.

В основе обзорных статей Полевого лежит проблема самобытности русской литературы как выражения национального самосознания народа. В порядке выяснения этой проблемы Полевой и рассматривал процесс развития русской литературы, исследуя, насколько выразился в ней на разных ее этапах «характер народа» и «дух времени».

Под этим углом зрения Полевой подверг решительной и строгой переоценке почти всю русскую литературу XVIII в. Впадая в преувеличения, он отмечал, что, по обстоятельствам времени, эта литература в подавляющем большинстве своих явлений (Кантемир, Тредиаковский, Сумароков, Херасков, Петров, Княжнин и другие) была проникнута духом подражательства, создавалась «по образцу не русскому» и осталась совершенно чужда «русской самобытности». Черты самобытности сквозят лишь в немногих произведениях XVIII в. — в комедиях Фонвизина, в «Душеньке» Богдановича, в баснях Хемницера. Но все это — счастливые исключения, лишь подтверждающие общее правило. Только Державин внес в русскую литературу начала подлинной национальности, «руссизма». Его «огромный гений» — «носит все отпечатки русского характера», сочинения его «исполнены русского духа», в них нет ничего ни от «веселой беззаботности француза», ни от «отчаянной безнадежности англичан, ни от немецкой отвлеченности». Державин «был совершенно самобытен и не подражаем», он «пробил совершенно новую дорогу; нашел свой совершенно особый путь».

Однако, в силу общих исторических условий развития русской культуры, при Державине и после него «не наставало еще время русской литературной самобытности». Слишком велика была власть чуждых обычаев, нравов и вкусов в той общественной среде, которая монополизировала право на создание литературы. Даже Державин при всей стихийной самобытности своего ума и таланта невольно отдавал дань господствовавшим в его время «ложным понятиям» об искусстве. Эпоха карамзинизма (по словам Н. Полевого) характеризуется влиянием светской и мелочной французской литературы; у Карамзина, Дмитриева, Озерова и других поэтов этого времени «все бесцветно и несамобытно». Карамзину Полевой вынес очень суровый приговор, необычайно возмутивший дворянских писателей, с особенным пиететом относившихся к автору «Истории государства Российского»: «Карамзин уже не может быть образцом ни поэта, ни романиста, ни даже прозаика русского, — писал Полевой. — Период его кончился... его русские повести — не русские; его проза далеко отстала от прозы других новейших образцов наших; его стихи для нас проза; его теория словесности, его философия для нас недостаточны» («Очерки», т. II, стр. 8).

Жуковский «обозначил собою в России п е р е х о д от новейшего классицизма к романтизму новейшему». Это было серьезной победой русской литературы, но Жуковский, по мнению Полевого, ни в какой мере не «самобытный гений», каков Державин. «Гений собственной поэзии» в творчестве Жуковского только «блеснул на минуту», в целом же и в основном этот поэт находится в рабской зависимости от западноевропейской поэтической культуры: «Язык, образ выражения Жуковского взяты были им у немцев». Он «космополитичен», никогда «не знал он национальности русской», в его произведениях нечего искать «народности». Кроме того, Н. Полевой подметил у Жуковского «одностороннность его идеи». Жуковский, по мнению Полевого, воспринял всего лишь «одну из идей» романтизма, именно — «безотчетную мечта-

тельность Шиллера», и потому о новом романтическом мироощущении в связи с поэзией Жуковского можно говорить весьма условно и ограничительно.

То, чего не удалось сделать Жуковскому, выпало на долю Пушкина. В статье о «Борисе Годунове» (1833), по существу касающейся всего творческого пути Пушкина, Н. Полевой дает ему очень высокую оценку. Это — первый поэт эпохи, «полный представитель русского духа нашего времени». Но при этой общей высокой оценке, Полевой очень далек от правильного понимания Пушкина и не скупится на критические замечания. Он строго судит Пушкина все с той же точки зрения — насколько творчество его отвечает задачам создания «национальной народной литературы, как единственного средства сделаться самобытными» («Очерки», т. I, стр. 155). В «Руслане и Людмиле», по мнению Полевого, еще нет и тени народности (исключая «Пролог»), в южных поэмах — ощущается непреодоленное влияние Байрона, первые главы «Евгения Онегина» — «русский снимок с лица Дон-Жуанова» (впрочем, в романе отмечаются, наряду с «чуждой идеей», собственные «богатые подробности и частности»). Полевой считает, что только зрелый Пушкин приближается к решению генеральной для русской литературы задачи — к овладению народностью и самобытностью. В VIII главе «Онегина» и в «Полтаве», в балладах «Жених», «Утопленник» и в некоторых других произведениях Пушкин становится национальным и самобытным поэтом, овладевает «идеей народности».

«Борис Годунов» — лучшее творение Пушкина, но и в нем с «достоинствами» соединены «недостатки», вообще характерные для Пушкина и связанные прежде всего с условиями его литературного воспитания в лоне карамзинизма. «Карамзинизм повредил этому совершеннейшему из его созданий», — пишет Н. Полевой; желание следовать за «Историей» Карамзина обусловило ошибки в «плане» трагедии и известную «бедность идеи». И в данном случае Полевой твердо стоял на своих социально-литературных позициях буржуазного просветителя, не мирившегося с «предрассудками» дворянской литературы: «И так еще раз суждено было Пушкину заплатить дань своему воспитанию, образованию своих юных лет, предрассудкам, авторитетам старого времени! Еще раз классицизм, породивший Историю Карамзина, должен был восторжествовать над сильным представителем романтизма и европейской современности XIX века в России!.. Мы увидим карамзинского Годунова: этим словом решена участь драмы Пушкина. Ему не пособят уже ни его великое дарование, ни сила языка, какою он обладает... Он сам на себя надел цепи» («Очерки», т. I, стр. 184).

В своих критических статьях Полевой выдвигал и обосновывал взгляд на поэта, как на «создание необыкновенное», наделенное «высоким самопознанием» и «особенным устройством души». Истинный поэт, — говорил Полевой, — всегда в распре с «вещественностью», с грубой действительностью; «обыкновенная участь его — борьба». В этом типично романтическом представлении о поэте была и резко подчеркнута социальная сторона: поэт обречен на падение и вырождение, если он забывает о своем «высоком назначении», подчиняется «ничтожным приличиям и отношениям», «раболепствует» перед сильными и знатными мира сего. С этой точки зрения Полевой, развернув борьбу с дворянской литературой, критиковал и Пушкина, в полемическом задоре впадая подчас в неумеренно обличительный тон и прямую несправедливость.

Впоследствии, после гибели Пушкина, Полевой старался загладить все несправедливое, что было допущено в пылу полемики. Его некроло-

гическая статья о Пушкине написана с большим чувством. А в конце жизни, в рецензии на посмертное издание сочинений Пушкина, Полевой писал, что, «не смея причислить себя к друзьям Пушкина, смеет думать, что, может быть, он более других ценил, понимал Пушкина при жизни его, более многих других дорожил его славою и желал ему добра, при жизни поэта осмеливаясь беспристрастно и смело говорить ему правду и скорбя, когда, казалось ему, Пушкин не выдерживал своего характера, как человек и как поэт» («Русский вестник», 1842, кн. 1).

Литературно-критические статьи Н. Полевого произвели сильное впечатление на передовых его современников; на этих статьях воспитывалось молодое поколение тридцатых годов. Некоторые мысли Полевого о русской литературе были подхвачены и развиты Белинским в «Литературных мечтаниях» и в других его работах (оценка литературы XVIII в., мысль о народности Державина, об «односторонности» Жуковского и т. д.). Белинский высоко оценил лучшие статьи Полевого. В рецензии на его «Очерки» (в «Отечественных записках» 1840 г.) он особенно похвалил статьи о Державине и Жуковском: «Их и теперь можно читать с услаждением и пользою. Они отличаются если не всегда глубоким, то часто верным и по тогдашнему новым взглядом, множеством замечаний тонких и дельных, изложением мастерским, увлекающим, одушевленным. Никто до г. Полевого не судил лучше о Державине и Жуковском, никто до него не был ближе к истине при оценке этих двух великих представителей русской поэзии».

Конечно, Полевой, в силу исторически объяснимой ограниченности своих идейных воззрений и упрямой верности романтическим представлениям об искусстве, во многом глубоко заблуждался. Так, он совершенно не сумел понять новых явлений русской литературы, знаменовавших становление в ней принципов художественного реализма. Примером такого непонимания, сектантской узости взгляда служит отношение Полевого к творчеству Гоголя. В 1840-е годы Полевой был яростным противником Гоголя, начисто отрицал его значение. «Ревизор» был для Полевого не более, как смешной фарс, в котором нет «ни драмы, ни цели, ни завязки, ни развязки, ни характеров», «язык неправильный», лица — «уродливые гротески», «происшествие несбыточное и нелепое». А «Мертвые души» представлялись Полевому совершенно неудачным плодом «ложной теории искусства»; в гениальной поэме Гоголя он нашел только «уродства» и «бедность содержания». Это решительное отрицание Гоголя наметилось у Полевого гораздо раньше, еще в «Московском телеграфе». По поводу «Вечеров на хуторе близ Диканьки» он писал, что Гоголь весьма неудачно воспользовался «кладом малороссийских преданий», отмечал «бедность воображения» и «недостатки слога» («Московский телеграф», 1829, № 12). «Миргород» получил несколько более высокую оценку: отмечена «неистощимая веселость» Гоголя, похвалены «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Старосветские помещики», «Нос», «Коляска» и «Тарас Бульба». Но при всем том, Гоголь для Полевого был только шутник, рассказчик анекдотов: «его участок — добродушная шутка», и не более того. Из сказанного видно, что Полевой принимал Гоголя как романтик, до известного предела. Реализм Гоголя оказался недоступен его пониманию.

Отрицание Гоголя было одним из самых глубоких заблуждений Полевого, а грубые нападки на автора «Мертвых душ» в 1840-е годы способствовали падению репутации Полевого в передовых кругах русского общества. Однако Чернышевский счел возможным сказать по этому

поводу, что Полевой, «не будучи прав, был однако же добросовестен» — восставал против Гоголя «по искреннему убеждению». «В самом деле, — писал Чернышевский, — мог ли поклонник Виктора Гюго, автор «Аббаддонны» понимать эстетическую теорию, которая главными условиями художественного создания ставила простоту и одушевление вопросами действительной жизни? Нет, и его нельзя обвинять за то, что он не понимал того, чего не понимал».

«Московский телеграф» пользуется устойчивой репутацией журнала, безоговорочно пропагандировавшего французский романтизм, в частности творчество Виктора Гюго. Однако роль «Московского телеграфа» в пропаганде французского романтизма нужно понимать более ограниченно: об интересе Полевого к «неистовой словесности» так называемой «юной Франции» можно говорить, имея в виду лишь последние годы издания журнала. Только после 1830 г., после июльской революции и торжества романтизма, с особенной силой проявившегося на премьере «Эрнани» Гюго (в феврале 1830 г.), «Московский телеграф» встает на защиту «юной Франции».

Линию отношения «Телеграфа» к ультра-романтикам можно проследить по его отзывам о Гюго. В 1827 г. радикальный романтизм Гюго встречает на страницах «Телеграфа» в достаточной степени прохладное отношение; причем с осуждением указывается, что в творчестве Гюго «поэзия французов завербовалась под знамена политики» (ч. 14). В 1830 г., в рецензии на «Последний день приговоренного к смерти», Гюго признан уже писателем «с большим дарованием», который не понимает, однако, «тайны искусства» в силу своего крайнего, «отчаянного» романтизма, не признающего «никаких законов в искусстве». Романтизм Гюго и его литературных соратников назван здесь «картиной страшной и неприятной» (1830, ч. 32). «Собор Парижской богоматери» заставляет редакцию «Телеграфа» пересмотреть заново вопрос о Гюго и о французском романтизме вообще.

Интересная статья «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах» (1832, ч. 43) открывает собою на страницах «Московского телеграфа» настоящую пропаганду молодой французской литературы. Здесь Гюго назван уже «полным и совершенным изображением современного французского романтизма». «Скажем решительно, — пишет Полевой, — все, что писал В. Гюго до издания своего последнего романа „Notre Dame de Paris" — не могло удовлетворить нас». Только в этом произведении Гюго «облек в формы романа огромную идею», «достойную Шекспира»; «гений его сознал себя вполне в первый раз и сознание его было истинно гениальное».

Кончая свою большую статью о Гюго, Н. Полевой указал, что «есть вольные и **невольные** причины, по которым статья не могла явиться в виде более удовлетворительном». «Невольные причины», нужно думать, были цензурного происхождения. Действительно, «неистовая словесность юной Франции» воспринималась в официальных и официозных кругах России 1830-х годов как «исчадие июльской революции», разрушающее своей безнравственностью религию, семью, собственность и все прочие основы общества. Полемика по вопросу о «неистовой словесности» в русской журналистике той поры носила вполне определенный характер. Ее тон и направление хорошо выражают статьи Барона Брамбеуса (О. Сенковского) в «Библиотеке для чтения». Так, например, в знаменитой статье «Брамбеус и юная словесность» Сенковский писал о французском романтизме: «Это прямо вторая французская революция в священной ограде нравственности,

затеянная со всей легкомысленностью и производимая со всем неистовством и остервенением, свойственным народу, который произвел и обожал Марата, Робеспьера, Сен-Жюста» («Библиотека для чтения», 1834, ч. 21). В таких условиях, при настороженном внимании правительства к любым выражениям сочувствия июльской революции, самая пропаганда радикального романтизма была смелым делом, и недаром статьи Н. Полевого о литературе «юной Франции» послужили одним из центральных пунктов известной записки Уварова, вызвавшей запрещение «Московского телеграфа».

«Московский телеграф» горячо полемизировал с гонителями и обличителями французского романтизма. В этой связи интересно обратиться к материалу полемики «Телеграфа» с «Телескопом» Н. И. Надеждина, где о литературе «юной Франции» писали в таком же обличительном тоне, как и в «Библиотеке для чтения». Надеждин выступил с резкой критикой русской романтической школы еще в 1829 г., в «Вестнике Европы» (под псевдонимом: Никодим Надоумко). Полемические выступления Надоумки в значительной мере были заострены персонально против Н. Полевого как теоретика «новой европейско-романтической школы» в России. Позднее, в своих показаниях по делу о «Философическом письме» Чаадаева, Надеждин писал: «В 1829 году я явился на литературное поле.... Я восстал... с жаром против вредного направления, обуявшего нашу словесность под именем романтизма, и с особенным ожесточением преследовал „Московский телеграф", бывший тогда главным органом новой европейско-романтической школы... Направление мое было: противодействовать ложным, вредным идеям, заносимым к нам с Запада... Смею указать на все мои статьи, помещавшиеся в „Телескопе" и „Молве" в 1831 и 1832 годах: они исполнены чистейшей преданности к великому государю и отечеству, проникнуты глубочайшим негодованием против так называемого европейского губительного просвещения».

Таким образом, борьбу с Полевым и «вредными идеями» «Телеграфа» Надеждин считал своей заслугой едва ли не государственного значения. В 1830 г. Надеждин издал свою докторскую диссертацию «О начале, сущности и участи поэтики, романтическою называемой», представлявшую собою в сущности, критико-полемическое сочинение; задачей Надеждина было доказать, что «романтизм есть то же, что атеизм, шеллингизм, либерализм, терроризм, чадо безверия и революции». Полевой выступил в «Телеграфе» (1830, ч. 33) с пространной рецензией, в которой высмеял тяжелую бурсацкую ученость Надеждина и обрушился на «совершенное отсутствие всех приличий» в его книге.

Ответ Надеждина Полевому очень похож на донос. Впрочем, он не гнушался и прямыми доносами, — доводил до сведения начальства о сочувственном отношении «Московского телеграфа» к июльской революции 1830 г. и утверждал, что журнал этот имеет самое вредное влияние на «молодые умы». В «Телескопе» и «Молве» 1831 г. беспрерывно объявлялось о недостаточном «патриотизме» издателя «Телеграфа» и проч. В «Молве» находили себе место и доносы А. Ф. Воейкова, объявившего, например, однажды, что «если находятся еще в России квасные патриоты, которые, наперекор Наполеону, почитают Лафаэта человеком мятежным и пронырливым, то пусть они заглянут в № 16 „Московского телеграфа" (на 464 стр.) и уверятся, что „Лафаэт самый честный, самый основательный человек во французском королевстве, чистейший из патриотов, благороднейший из граждан, хотя он

вместе с Мирабо, с Сиесом, Баррасом, Баррером и множеством других был одним из главных деятелей революции"» («Молва», 1831, № 48). Это указание Воейкова впоследствии было принято во внимание Уваровым при запрещении «Московского телеграфа».

6. Проекты реорганизации «Московского телеграфа». Цензурные гонения. Запрещение «Московского телеграфа». Последний период деятельности Н. А. Полевого

При всей умеренности своего радикализма, Н. Полевой, подчеркивая в программных заявлениях необходимость «открывать в настоящем быте нашем нынешние недостатки», оставлял за собою право на критику социально-политического строя самодержавно-крепостнической России. Меньше всего Полевой склонен был замалчивать отечественные «недостатки» (см. хотя бы его фельетоны в «Новом живописце общества и литературы»), и в условиях николаевской реакции его публицистическая и литературная практика расценивалась правительством как проповедь «якобинизма».

В течение почти всего своего существования «Московский телеграф» подвергался цензурным и полицейским репрессиям, над журналом собиралась гроза, которая и разразилась в 1834 г., когда он был запрещен, и самое имя его издателя стало запретным (Полевого лишили права не только продолжать журнальную деятельность, но даже подписывать своим именем статьи, помещаемые в чужих журналах). Крах журнального предприятия братьев Полевых в 1834 г. — только последнее звено непрерывной цепи цензурных преследований, которые испытывала редакция «Московского телеграфа» в продолжение семи лет (1827—1833).

Уже опыт первых двух лет издания «Московского телеграфа» показал Полевому полную возможность расширения его журнального предприятия. «Лестное внимание публики к „Телеграфу" превзошло ожидания издателя», — писал Полевой в 1826 г. (ч. 7). К 1827 г. контингент читателей «Московского телеграфа» выражался уже небывало внушительной (по тем временам) цифрой в 1500 подписчиков, и Полевой не только возмещал все расходы по изданию (выражавшиеся в сумме около 20 000 р. в год), но и получал немалую прибыль.

В середине 1827 г. Полевой обратился в Московский цензурный комитет с прошением о разрешении ему издавать, кроме «Московского телеграфа», политическую газету «Компас» (при этом он учитывал, конечно, успех «Северной пчелы» — единственной в России политической газеты), а также ученый журнал «Энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы». «Несмотря на некоторый успех предприятия, — писал Полевой, — я видел, что цель моя достигнута не вполне, ибо обзоры иностранных литератур были в Телеграфе весьма недостаточны, обозрение современных происшествий неудовлетворительно, а также и обозрение современной русской литературы». «Главнейшим препятствием» к достижению поставленной им цели Полевой называет «недостаточный размер журнала» (несмотря на то, что «число листов было увеличено им, против обещанного в программе, почти вдвое»). Поэтому, желая «составить полное обозрение современного просвещения и настоящие летописи современной истории», Полевой считал необходимым «распространить

и разделить» свой журнал на три разных издания: 1) газету, выходящую по два раза в неделю, в которой «немедленно и кратко должны быть сообщаемы новости политические и литературные», а также ученые известия, иностранная и отечественная библиография, московская хроника, театральный фельетон, коммерческие известия и проч. («Компас»); 2) журнал ученого и литературного содержания («Московский телеграф») и 3) журнал «совершенно ученого содержания, который мог бы образовать собою авторитет русской ученой критики» («Энциклопедические летописи»). Последний журнал «должен состоять единственно из обширных критических разборов важнейших произведений русской, немецкой, французской, английской и итальянской литературы... По составу и содержанию своему сей журнал, требуя тщательной обработки и особенно внимательного занятия, будет выходить только четыре раза в год, книгами от 15-ти до 20-ти печатных листов каждая».

В Главном цензурном комитете (куда переслали из Москвы прошение Н. Полевого) проект реорганизации «Московского телеграфа» был встречен довольно снисходительно. Комитет нашел возможным дозволить Полевому издание журналов «Телеграф» и «Энциклопедические летописи» — безоговорочно; что же касается газеты «Компас» где должны были помещаться политические известия и статьи о театре, то комитет представил это на разрешение министра народного просвещения А. С. Шишкова. Шишков отказал в предоставлении Полевому права печатать «суждения о театральных пьесах и игре актеров» на основании издавна существовавшего (и в 1824 г. подтвержденного) распоряжения б. министерства полиции. По вопросу же о политических известиях Шишков приказал снестись с министром иностранных дел, а «на прочее изъявил свое согласие». Но ему пришлось неожиданно переменить решение и ответить Полевому категорическим отказом по всем пунктам его проекта, так как именно в это время, в течение пяти дней, шефу жандармов и начальнику III отделения гр. А. Х. Бенкендорфу было подано три анонимных доноса на издателя «Московского телеграфа».

В первом доносе, помеченном 19 августа 1827 г., было указано, что «издание политической газеты даже в конституционных государствах поверяется людям, известным своею привязанностью к правительству», что «дух газеты всегда зависит от образа мыслей издателя», а Полевой «по происхождению своему принадлежит к среднему сословию, которое, по натуре вещей, всегда более наклонно к нововведениям, обещающим им уравнение в правах с привилегированными классами». «Вредный» образ мыслей Полевого сказался, по словам доносчика, и в составленном при его участии «Мнении московского купечества» (1823), где «Вольтер и Дидерот выведены на сцену для защиты прав московского купечества», и в «Московском телеграфе», где «беспрестанно помещаются статьи, запрещаемые с.-петербургской цензурою, и разборы иностранных книг, запрещенных в России» (в качестве примера приводятся письма А. И. Тургенева из Дрездена, где «явно обнаружено сожаление о погибших друзьях», т. е. о декабристах). «Вообще дух сего журнала есть оппозиция, — замечает доносчик, — и все, что запрещается в Петербурге говорить о независимых областях Америки и ее героях, с восторгом помещается в „Московском телеграфе"». Далее доносчик подробно сообщает о сотрудничестве Полевого с Вяземским, образ мыслей которого «может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе: „Негодование", служившей катехизисом заговорщикам».

Во втором доносе, датированном 21 августа, указываются «наугад выбранные» статьи из первых четырех книжек «Телеграфа» за 1827 г.,

«наполненные революционных правил» (при этом доносчик указывает, что «в прошлых годах есть гораздо сильнейшие вещи»). Так, например, в статье Н. Полевого «Взгляд на русскую литературу 1825—1826 гг.» (1827, ч. XIII) доносчик усмотрел сетования о судьбе декабриста Н. И. Тургенева и «явный ропот против притеснения просвещения», в статье «Путешествие в Эрмонвиль» (1827, № 4) — оценку Ж. Ж. Руссо как «первого и величайшего философа»; в переводной статье «Философия истории» (1827, № 6) его особенно возмутила оценка материалистической философии XVIII в., которая «навеки пребудет убежищем всех избранных душ», и, наконец, в № 7 «Телеграфа» он отметил «места, содержащие в себе самый явный карбонаризм».

Третий донос, помеченный 23 августа, посвящен выяснению персонального состава «московской либеральной шайки», «атаманами» которой названы Вяземский и Полевой. Здесь доносчик проявил слабое знакомство с истинным положением дел, зачислив в «партию» Полевого несомненных его противников, преимущественно из круга «Московского вестника» (Титов, Шевырев, Рожалин, Киреевский, Соболевский, также «бывший профессор Давыдов, самый отважный якобинец», и Пушкин).

Кто был автором доносов 1827 г. — достоверно не известно. Об этом можно только догадываться. Из самого текста доносов явствует, что автор их был петербуржец и литератор, имеющий связи в цензурном комитете (все три доноса принадлежат, несомненно, одному лицу, — в третьем доносе сказано: «Я счел долгом еще раз обратить внимание. . .»). Кроме того, доносчик — ярый враг Вяземского. О «благонамеренности» его говорить не приходится. Существенно и еще одно обстоятельство: автор доносов более всего обеспокоен данным Полевому дозволением издавать «Компас» — политическую газету. Итак, перед нами: благонамеренный петербургский литератор (журналист), противник Полевого и Вяземского. Нет сомнения, что это был Фаддей Булгарин.[1]

Доносы 1827 г. были приняты во внимание. Бенкендорф довел их до сведения Николая I, и Шишков должен был взять назад свое дозволение, по приказанию царя. Официальные причины своего отказа Шишков изложил в отношении, посланном в Главный цензурный комитет, где «почитал нужным подтвердить г. Полевому, чтобы он при выборе помещаемых [в «Телеграфе»] статей действовал с величайшею осмотрительностью». Между тем Н. Полевой, приехавший в Петербург лично хлопотать о своих делах, вел себя неосторожно. В записке управляющего III отделением М. Я. Фон-Фока о состоянии умов петербургских литераторов после 14 декабря 1825 г., представленной Бенкендорфу и начальнику Главного штаба Дибичу и инспирированной также, повидимому, Булгариным, сообщалось, что на вечеринке у О. М. Сомова (31 августа 1827 г.) Н. Полевой «один отличался резкими чертами от здешних литераторов, сохраняя в себе весь прежний дух строптивости, которым блистал Рылеев и его сообщники в обществах. . . Полевой хвастал, как великим подвигом и заслугою, что московский военный губернатор князь Голицын несколько раз уже жаловался на него. . . за либерализм, но что он не боится ничего».

Отказ и «предупреждение» Шишкова в 1827 г. открыли длинный ряд

---

[1] Вяземский писал в свое время: «По всем догадкам это была булгаринская штука. Узнав, что в Москве предполагают издавать газету, которая может отнять несколько подписчиков у „Северной пчелы" и думая, что я буду в ней участвовать, он нанес мне удар из-за угла».

цензурных преследований «Московского телеграфа» и его редактора — замечаний, выговоров и внушений. Не помог и новый, «либеральный» устав 1828 г., выработанный при преемнике Шишкова — кн. К. А. Ливене. Так, например, в 1829 г. Николай I, ознакомившись со статьей «Приказные анекдоты», появившейся в «Новом живописце» («Телеграф», № 14), приказал Бенкендорфу сделать (через начальника Московского округа корпуса жандармов генерала А. А. Волкова) строгий выговор Н. Полевому и цензору С. Н. Глинке и узнать имя сочинителя статьи. Полевой представил Волкову объяснение, где заверял, что в своей статье не имел в виду ничего, «кроме общественной пользы и славы монарха русского», и просил учредить над «статьями о нравах» особую предварительную цензуру самого Волкова («Русская старина», 1903, № 2). Николай I милостиво согласился на предоставление Полевому права отдавать статьи «Нового живописца» в предварительную цензуру жандармского генерала (впрочем, может быть, Полевой, бывший с Волковым в хороших отношениях, рассчитывал на его снисходительность).

В том же 1829 г. кн. Ливен поручил «поставить на вид» Московскому цензурному комитету пропуск в «Московский телеграф» первой лекции курса истории философии Кузена на том основании, что указанная лекция «заключает в себе вредное учение о вере и философии». В начале 1832 г. Полевой снова попал под замечание III отделения за помещенную в № 16 «Телеграфа» рецензию о нелепой и реакционной брошюре «Горе от ума, производящего всеобщий революционный дух; философически-умозрительное рассуждение». Бенкендорф обратился к Полевому с письмом, выдержанным в тонах дружеского совета или отеческого увещевания, где указывал, что в своей рецензии Полевой утверждает, что «революции необходимы и что кровопролития и ужасы, сопровождающие насильственные перевороты в правлении, не так гибельны». «Я не могу не скорбеть душою,—пишет Бенкендорф,— что во времена, в кои и без ваших вольнодумных рассуждений юные умы стремятся к общему беспорядку, вы еще более их воспламеняете и не хотите предвидеть, что сочинения ваши могут и должны быть одною из непосредственных причин разрушения общего спокойствия. Писатель с вашим дарованием принесет много пользы государству, если он даст перу своему направление благомыслящее, успокаивающее страсти, а не возжигающее оные». Бенкендорф не ограничивался одним дружеским советом, «имевшим обязательную силу приказания», и на следующий же день (9 февраля 1832 г.) послал официальное отношение министру народного просвещения, где указал на распространение московскими журналистами Полевым и Надеждиным «идей самого вредного либерализма». Министр разослал по всем университетам циркулярное предписание не допускать чтения «Телеграфа» и «Телескопа» студентами.

Несмотря на запрещение произвести реорганизацию «Телеграфа» в 1827 г. и цензурные репрессии в последующие годы, Полевой в 1831 г. вторично ходатайствовал о преобразовании журнала. В сентябре 1831 г. он обратился в Московский цензурный комитет с прошением, в котором указывал, что «опытом убедился, что для доставления бо́льшей пользы и удовольствия читателям» необходимы некоторые перемены в плане и «содержании» его журнала. Не помышляя уже об издании политической газеты (в условиях 1831 г. возможность издания такой газеты совершенно исключалась), Полевой предполагал издавать в 1832 г.: 1) «Московский телеграф» — ученый журнал (четыре книжки в год), 2) «Прибавление к Московскому телеграфу» — еженедельное издание, включающее «статьи оригинальные и переводные о науках, искусствах, художестве и

ремеслах; изящную словесность; библиографию русскую и иностранную; статьи о театре; мелкие разные статьи (сатирический фельетон, смесь и проч.) и 3) специальный «Journal des modes» («краткие замечания о модах, модных обычаях, книгах, составляющих легкое чтение, смесь, анекдоты, словом легкое чтение для дам»). Учитывая печальный опыт 1827 г., Полевой на этот раз предусмотрительно оговорил, что из его журналов исключаются «статьи о книгах духовных... также статьи касательно современной политики. Но события нашего времени в исторической форме, т. е. когда они поступили в область истории, а не составляют предмета политики, не исключаются. Так, например, если бы встретилась книга, заключающая в себе описание последней войны России с Турцией, она может быть предметом рецензии, но книги о событиях 1830 и 1831 гг. — исключаются».

Как видим, Полевой перед лицом цензуры усиленно подчеркивал свою «благонамеренность», но это ему не помогло. Председатель Московского цензурного комитета кн. С. М. Голицын направил проект Полевого в Главное управление цензуры, сопроводив его собственным «мнением», в котором просил, «дабы журнал Московский телеграф на предбудущее время ограничивался одною только литературою по той причине, что неоднократно в оном помещались такие статьи, которые не совсем-то были одобряемы высшим начальством, и что издатель оного, купец Николай Полевой, не пользуется совершенною доверенностию правительства». Министр народного просвещения кн. Ливен представил ходатайство Полевого на усмотрение Николая I, и 7 ноября 1831 г. царь, как видно, и сам следивший за «Московским телеграфом», положил такую резолюцию: «Не дозволять, ибо и ныне ничуть не благонадежнее прежнего».

В середине 1832 г. Н. Полевой возбудил в Московском цензурном комитете ходатайство об утверждении соредактором «Телеграфа» брата Ксенофонта — «с полною во всех отношениях обязанностию и ответственностью наравне с ним, Николаем Полевым, так, чтобы в объявлениях публике и в заглавии „Телеграф" мог уже означаться: издаваемый Николаем и Ксенофонтом Полевыми, а в случае смерти его, Николая Полевого, переходил бы вполне в управление и собственность означенного брата его Ксенофонта». Не решаясь вынести собственное суждение, Московский цензурный комитет представил ходатайство Полевого на усмотрение Главного управления цензуры. Министр народного просвещения кн. К. А. Ливен потребовал представить «обстоятельные сведения» о «способностях» и «нравственной благонадежности» Кс. Полевого. После длинной канцелярской волокиты, получив сведения о «весьма хорошем поведении, кротости и трезвости» Кс. Полевого, а также «способности его к изданию повременного сочинения», Главное управление цензуры постановило (в марте 1833 г.) отложить решение дела до конца года. В ноябре выяснилось, что «Главное управление цензуры признало невозможным согласиться на принятие издателем Московского телеграфа Николаем Полевым в участие по изданию сего журнала брата своего Ксенофонта Полевого, потому что первоначальное дозволение на сие повременное сочинение дано было одному Николаю Полевому, на коем одном должна и впредь оставаться ответственность за редакцию сего журнала».

В марте 1833 г. во главе Министерства народного просвещения встал С. С. Уваров — виднейший деятель и идеолог николаевской реакции, автор пресловутой формулы: «Истинно-русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний

якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества». С назначением Уварова начались для «Московского телеграфа» поистине черные дни; отношения его редакции с правительственными органами вступили в последнюю, решающую фазу своего развития.

Кс. Полевой в своих «Записках» наивно объясняет ненависть Уварова к «Московскому телеграфу» колкими замечаниями, появлявшимися на его страницах об адрес-календарях и «СПб. ведомостях», издававшихся при Академии Наук, где Уваров был президентом. Суть дела, разумеется, не в этом. Уваров задался целью обезоружить издателя «Московского телеграфа» как передового писателя и журналиста, стремился истребить дух «карбонаризма» и «якобинства», выразителем которого являлся в его глазах «Московский телеграф».

Еще в 1832 г. Уваров (тогда товарищ министра народного просвещения), посетив Москву, вызвал к себе Н. Полевого и «изложил ему с умеренностью, но твердо все последствия, какие влечет за собою опасное направление его журнала», и якобы «получил от него торжественное обещание исправить сию ложную и вредную наклонность». «Вообще, имея при сем случае непосредственное сношение с сими лицами [Полевым и Надеждиным], — писал Уваров во всеподданнейшем отчете о своей поездке,—убедился я в том, что можно постепенно дать периодической литературе сделавшейся ныне столь уважительной и столь опасной, направление, сходственное с видами правительства; а сие, по моему мнению, несравненно лучше всякого вынужденного запрещения издавать листки, имеющие большое число приверженцев и с жадностью читаемые особенно в средних и даже низших классах общества. Здесь должен я сказать, что издатель Московского телеграфа — Полевой скорее других повиновался моему наставлению и что даже московская публика заметила перемену в тоне его журнала, хотя не ведала о причинах, побудивших его к оной».

Однако надеждам Уварова не суждено было осуществиться, несмотря на явное желание министра (учитывавшего крупное значение «Телеграфа» как органа «средних и даже низших классов») привлечь крамольного журналиста на службу правительственным интересам. Ставши министром и убедившись в нежелании Н. Полевого следовать его указаниям, Уваров взял «Московский телеграф» под особенно строгое наблюдение. В каких условиях работала редакция «Московского телеграфа» в 1833 г., видно из письма Кс. Полевого к В. И. Карлгофу (от 30 декабря 1833 г.): «Мы с Телеграфом подвигаемся раковым ходом и делаем и хлопочем более других журналистов, от того, что и работаем усердно, да и цензурушка-голубушка заставляет часто делать вдвое, выключая целые статьи, искажая другие, и вообще поступает с нами немилосердно. Особенно с тех пор, как министр просвещения — С. С. Уваров, цензоры с ума сошли... Представьте себе, что нам только 1 декабря позволили объявить о Телеграфе, таскают каждую книжку недели по три, по месяцу, потому что каждую строчку обсуживают полным присутствием цензуры, и проч. и проч.».

В статье Кс. Полевого об «Истории Наполеона» Вальтер Скотта («Московский телеграф», 1833, № 9) Уваров усмотрел «самые неосновательные и для чести русских и нашего правительства оскорбительные толки и злонамеренные иронические намеки» и в сентябре 1833 г. представил Николаю I записку о з а п р е щ е н и и «Московского телеграфа», доказывая, что «Полевой утратил, наконец, всякое право на дальнейшее доверие и снисхождение правительства, не сдержав данного слова и не повиновавшись неоднократному наставлению министерства».

Однако Николай I наложил на представление Уварова неожиданно «либеральную» резолюцию: «Я нахожу статью сию более глупою своими противоречиями, чем неблагонамеренною. Виновен цензор, что пропустил, автор же — в том, что писал без настоящего смысла, вероятно, себя не разумея. Поэтому бывшему цензору строжайше заметить, а Полевому объявить, чтоб вздору не писал; иначе запретится журнал его» (цензор Двигубский назван здесь «бывшим», потому что еще до этого происшествия он был уволен от службы).

Несмотря на то, что попытка запретить «Московский телеграф» и не увенчалась успехом, Уваров, в ожидании первого удобного случая, приступил к составлению фундаментального обвинительного акта, поручив одному из своих чиновников — барону Ф. И. Брунову — сделать выписки всех «предосудительных» суждений, появлявшихся в «Телеграфе» в 1830—1833 гг. Пушкин указал (в дневнике), что составить этот «список злодеяний» Полевого Уваров решил по совету Д. Н. Блудова.

15 января 1834 г. на Александринском театре, в бенефис В. А. Каратыгина, была поставлена драма Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». Пьеса эта, в каждой строке которой «видна преданность престолу и отечеству» (Н. В. Станкевич), пропагандировала идеи «православия, самодержавия и народности» и была поставлена на сцене с особенной пышностью. Николай I присутствовал на спектакле и остался в совершенном восторге.

Н. Полевой, ознакомившись с драмой Кукольника (она была издана также в начале 1834 г.), написал о ней рецензию для третьей книжки «Московского телеграфа». Отзыв его был довольно суровый: «Новая драма г. Кукольника заслужила в Петербурге много рукоплесканий на сцене. Но рукоплескания зрителей не должны приводить в заблуждение автора. . .». Полевой не учел, к т о именно рукоплескал драме Кукольника. Николай I, прочитав рецензию, приказал немедленно доставить Полевого в Петербург с жандармом.

31 марта Полевой, доставленный в столицу в фельдъегерской тележке, представил Бенкендорфу свои объяснения. Он писал, что «судил о трагедии по чтению, не видав ее на сцене, и говорил о ней в чисто литературном смысле, как о поэтическом создании» и что только в таком — «литературном» — смысле «следует понимать его фразу: «новая драма г. Кукольника весьма печалит нас». «Готов сознаться в ошибке, — писал Полевой, — но смею уверить. . . что никогда в мысль мне не приходило что-либо предосудительное против похвальной патриотической цели автора» (М. Сухомлинов). Объяснения Н. Полевого были признаны Бенкендорфом «удовлетворительными» и ему было приказано ехать обратно в Москву. А между тем 3 апреля 1834 г. последовало высочайшее повеление п р е к р а т и т ь д а л ь н е й ш е е и з д а н и е ж у р н а л а «М о с к о в с к и й т е л е г р а ф». Инициатива запрещения исходила от Уварова.

Уваров еще 21 марта представил царю обширный доклад, приложив к нему тетрадь выписок из «Телеграфа», сделанных бароном Бруновым. В докладе Уваров писал: «Давно уже и постоянно Московский телеграф исполнялся возвещениями о необходимости преобразований и похвалою революциям. Весьма многое, что появляется в злонамеренных французских журналах, Телеграф старается передать русским читателям с похвалою. Революционное направление мыслей, которое справедливо можно назвать нравственною заразою, очевидно обнаруживается в сем журнале, которого тысячи экземпляров расходятся по России, и по неслыханной дерзости, с какой пишутся статьи, в оном помещаемые, читаются

с жадным любопытством. Время от времени встречаются в Телеграфе похвалы правительству, но тем гнуснее лицемерие: вредное направление мыслей в Телеграфе, столь опасное для молодых умов, можно доказать множеством примеров». Далее Уваров приводит в качестве примеров особенно «заразные» мысли, выдергивая их из разных статей «Московского телеграфа», а также из «Истории русского народа» Н. Полевого. Издание «Московского телеграфа», по мнению Уварова, — то же самое, как «если бы среди обширной столицы кто-нибудь вышел на площадь и стал провозглашать пред толпою народа о необходимости революций, о неосуждении всеобщности революций» и т. д.

На этот раз Уваров достиг своей цели. А. В. Никитенко записал в «Дневнике»: «Государь хотел сначала поступить очень строго с Полевым. — „Но, — сказал он потом министру, — мы сами виноваты, что так долго терпели этот беспорядок"». Очень может быть, что Полевому угрожала более суровая репрессия — вплоть до крепостного заключения. Тот же Никитенко передает свой разговор с Уваровым по поводу запрещения «Московского телеграфа». Министр следующим образом доказывал необходимость этого мероприятия: «Это проводник революции, он уже несколько лет систематически распространяет разрушительные правила... Я сначала думал предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить с публикою... Впрочем, известно, что у нас есть партия, жаждущая революции. Декабристы не истреблены. Полевой хотел быть органом их... С Гречем или Сенковским я поступил бы иначе: они трусы, им стоит погрозить гауптвахтою, и они смирятся. Но Полевой — я знаю его: это фанатик. Он готов претерпеть все за идею. Для него нужны решительные меры». Уваров, конечно, и не предполагал, какую лестную (хотя и преувеличенную) характеристику он дает Полевому.

Предпринимая столь решительную меру, правительство, разумеется, учитывало, какой огромный общественный резонанс будет иметь запрещение крупнейшего и влиятельнейшего печатного органа эпохи. Бенкендорф приказал московскому жандармскому генералу Лесовскому сообщить, «какие будут в Москве суждения насчет поездки Полевого и что он сам будет о сем говорить». А суждения были разнообразные. «Везде сильные толки о Телеграфе, — читаем в дневнике А. В. Никитенко. — Одни горько сетуют, что „единственный хороший журнал у нас уже не существует". — Поделом ему, — говорят другие: — он осмеливается бранить Карамзина. Он даже не пощадил моего романа. Он либерал, якобинец, — известное дело и т. д. и т. д.» Лесовский же доносил Бенкендорфу, что «по отъезде Полевого многие благомыслящие имели суждение, что давно бы пора унять подобных вольнодумцев. Одни писатели, товарищи его, сожалели о нем, исключая врага его Надеждина, распустившего слух, будто бы Полевой отдан в солдаты. — Неожиданное, скорое возвращение Полевого удивило всех и дало повод к заключению о невиновности его, что породило разные суждения и толки. В сем последнем случае говорят: „Если он невинен, то зачем же было поступать так жестоко с человеком, облагороженным правительством?" и что употребленная над Полевым мера влечет к невольному заключению о небезопасности личности каждого. «Если же обнаружены его преступные намерения, то следовало бы его примерно наказать»... А потому заключают, что запрещение издавать Телеграф обнаруживает слабость правительства и огорчает публику» («Русская старина», 1903, № 2).

Среди высшей военной и гражданской бюрократии запрещение «Телеграфа» встретило горячее одобрение. Только одни «охотники до чте-

ния вздыхали о Телеграфе» (В. П. Андросов — неизданное письмо к А. А. Краевскому). Литературные противники Полевого, как, например, Надеждин и Погодин, открыто выражали свое удовольствие. Гораздо более сложным и противоречивым было отношение к гибели лучшего русского журнала со стороны передовых писателей, стоявших, однако, на иных социальных и литературных позициях, нежели Н. Полевой. В этом смысле характерен отзыв Пушкина (в дневнике 1834 г.): «Я рад, что Телеграф запрещен, хотя жалею, что запретили. Телеграф достоин был участи своей; мудрено с большей наглостью проповедовать якобинизм перед носом правительства». Примерно в таком же духе писал и Вяземский: «Признаюсь, существование Телеграфа в том виде, в каком он был, могло быть сочтено за неприличность не только литературную, но и политическую; а все жаль, что должны были прибегнуть к усиленной мере запрещения» (письмо к И. И. Дмитриеву — «Русский архив», 1868).

Сам Н. Полевой некоторое время старался сохранить бодрость: «Благодарю вас за ласковое внимание ко мне, за соразделение скорбей и неприятностей, — писал он 19 июня 1834 г. И. М. Снегиреву, — но у меня есть и, пока не потеряю ума, будет всегда помощь крепкая: вера и терпение. Бедствия должны устать, наконец, если их твердо переносят...». Но в этих строках уже чувствуется, что писал их не «фанатик», гордившийся независимостью и чистотой своих убеждений, а надломенный и глубоко опустошенный человек с сильно развитым чувством пиэтизма. Он уже возлагает все свои надежды только на «веру» и «терпение»; они, вероятно, и помогли ему совершить тот крутой поворот вправо, который привел его через три года в редакцию «Северной пчелы». После запрещения «Московского телеграфа» Полевой, по убийственному замечанию Герцена, «в пять дней стал верноподданным».

В 1837 г. Н. Полевой оставил Москву и перебрался в Петербург, где, по договору с известным книгопродавцем и издателем А. Ф. Смирдиным взял на себя негласную редакцию «Сына отечества» и «Северной пчелы», под верховным управлением и контролем Булгарина и Греча. Надеждам, возлагавшимся Полевым на «новое бытие» в Петербурге, не суждено было сбыться. В редакциях смирдинских журналов он стал жертвой закулисных интриг Булгарина, Греча и Сенковского. Правительство не верило в его лойяльность; Уваров, считавший запрещение «Московского телеграфа» едва ли не государственной заслугой, систематически и жестоко преследовал Полевого.

Петербургский период жизни и деятельности Полевого являет собою печальную картину медленного угасания этого замечательного человека и выдающегося литератора, столь гордившегося независимостью и чистотой своих убеждений. Ему пришлось испытать много обид и унижений и пойти на прямую измену всему, чем он жил прежде. Но, как справедливо заметил Белинский, «заслуги Полевого так велики, что при мысли о них нет ни охоты, ни силы распространяться о его ошибках».

В Петербурге Полевой с головой ушел в тяжелый и неблагодарный труд «чернорабочего» журналиста. Обремененный долгами, осаждаемый со всех сторон кредиторами, нищий и больной, он работал с исключительным напряжением, буквально дни и ночи напролет. В поисках заработка он редактировал чужие бездарные романы и исторические сочинения, сам писал по заказу книгопродавца роман, продолжал свои труды в области русской истории и, наконец, усердно работал для театра. За восемь лет, с 1838 по 1845 г., он написал свыше сорока пьес;

некоторые из них в свое время имели шумный успех, при весьма низком художественном качестве и казенно-патриотическом содержании.

В конце 1841 г. Полевой еще раз попытался вернуться к журналистике на правах независимого редактора. Он взял на себя руководство «Русским вестником». Он возлагал много надежд на это предприятие, но «Русский вестник» едва собрал 500 подписчиков и, кроме того, «возбудил и все ненависти литературные» и подозрения, что Полевой хочет «что-то шевелить опять в журналистике».

В конце 1845 г. Полевой получил в свои руки «Литературную газету» сроком на три года. Он ревностно принялся за издание, но едва успел выпустить несколько номеров, как заболел и умер 22 февраля 1846 г.

ГЛАВА XI

„Московский вестник"

I. Основание «Московского вестника»

Осенью 1826 г. Пушкин вернулся из Михайловского в Москву. 12 октября он читал в доме Веневитиновых «Бориса Годунова». Слушателями были братья Киреевские, А. С. Хомяков, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, Н. М. Рожалин и некоторые другие представители московской интеллигенции из числа так называемых любомудров. Трагедия вызвала у присутствующих восторг и тем самым скрепила наметившееся сближение их с Пушкиным.

Здесь же Пушкин узнал о намерении любомудров издавать свой журнал и выразил им свое сочувствие и готовность помогать в этом деле. Через несколько дней Погодин познакомил Пушкина с планом издания, после чего записал в дневнике: «журнал благословляет». Был заключен и официальный договор с поэтом. А 24 декабря рождение нового журнала было отпраздновано торжественным обедом у Хомякова, на котором, кроме Пушкина и любомудров, присутствовали Баратынский и находившийся в Москве Адам Мицкевич.

С января 1827 г. новый журнал, названный «Московским вестником», начал выходить в свет. Первая книжка открывалась портретом Гете и сценой «Бориса Годунова» — «Келья в Чудовом монастыре». Редактором и издателем журнала был избран Погодин. Ни Веневитинов, ни Одоевский, ни кто бы то ни было другой из «архивных юношей», аристократов и дилетантов, не мог быть редактором усердным, требовательным и деловитым. Не удивительно, что, в конце концов, выбор пал на Погодина, как раз обладающего нужными деловыми и организационными качествами. Пушкин писал о нем: «Погодин очень, очень дельный и честный молодой человек, истинный немец по чистой любви своей к науке, трудолюбию и умеренности». Практическая сноровка тем более требовалась от редактора «Московского вестника», что издание должно было конкурировать с петербургскими и московскими журналами, в первую очередь с изданиями Булгарина и Греча и «Московским телеграфом» Полевого.

Однако любомудры стремились ограничить самостоятельность редакторских действий Погодина, поставив его под контроль коллектива сотрудников. В договоре на редактирование журнала, подписанном Погодиным, было сказано: «Я, нижеподписавшийся, принимая на себя редакцию журнала, обязуюсь: помещать статьи с одобрения главных сотрудников: Шевырева, Титова, Веневитинова, Рожалина, Мальцева и Соболевского по большинству голосов». Для этой же цели Погодину был назначен помощник — один из активных любомудров Рожалин, вскоре замененный Шевыревым, получившим права соредактора.

Как стал возможен «союз» Пушкина с любомудрами? Его можно бы легко объяснить, если согласиться с предположением, что любомудры были близки к декабристам, являлись их единомышленниками и оставшимися на свободе наследниками. Но для такого предположения нет

оснований. Напротив, несомненно, что взгляды любомудров в своих основных чертах складывались на основе отталкивания от программы декабристов, как и от передовой материалистической философии. Возможно, что до 14 декабря 1825 г. некоторые из любомудров и отдали известную дань политическому вольномыслию и даже надеждам на революцию — так, по крайней мере, рисуют дело «Записки» А. И. Кошелева — но разгром восстания декабристов сразу же отбросил любомудров далеко от «упоительных мечтаний» юности. Об этом свидетельствует и направление, приданное ими «Московскому вестнику», и многие другие факты. «Наш путь, — писал Шевырев Погодину в октябре 1829 г., — не путь крови (как французский), а путь труда, терпения, путь христов». Совершенно очевидно, что уже тогда — в период издания «Московского вестника», Шевырев, Погодин, Хомяков начали противопоставлять революционному (французскому) пути исторического развития самобытность России, а уничтожению самодержавия — единение с царем. «В России должно делать заговоры не с народом против царя, — записывает Шевырев в дневнике, — а с царем против народа...». «И Соболевский говорит, что дела делаются не тайными обществами...».

С другой стороны, было бы глубоко ошибочно истолковывать сближение Пушкина с любомудрами как переход поэта на позиции идеализма и «чистого искусства», на которых стояли любомудры. Абстрактно-метафизическая философия и эстетика любомудров несомненно не отвечали ни материалистическому складу мышления великого поэта, ни реалистическому направлению его творчества. 2 марта 1827 г. Пушкин писал Дельвигу: «Ты пеняешь мне за Московский вестник — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое...».

Пушкин вошел в соглашение с любомудрами потому, что видел в них литераторов, не только весьма образованных, с основательными философскими, историческими и литературными познаниями, но искренно стремящихся к просвещению России, способных противостоять рептильной печати Булгарина и Греча. Надо принять во внимание, что в тяжелую пору реакции Пушкин остался в Москве почти одиноким — ему не на кого было опереться. Никто не мог заменить поэту Пущина, Кюхельбекера, Рылеева, Бестужева — ни Вяземский (активно сотрудничавший вопреки желанию Пушкина в «Московском телеграфе»), ни Чаадаев (ушедший в религиозные искания), ни Дельвиг (проживавший в Петербурге). Между тем Пушкин жаждал активной литературной деятельности, у него еще в Михайловском созрел план издания журнала, который бы отличался не только от «Сына отечества» Греча и Булгарина, но и от «Московского телеграфа» Полевого. Поэта глубоко не удовлетворяло и состояние литературной критики в России, и он надеялся, что любомудры смогут придать критике более солидный, глубокий и принципиальный характер. При этом несомненно, что Пушкин мечтал стать хозяином в «Московском вестнике» и «царствовать» в нем «самовластно и единовластно». Атмосфера преклонения, которой любомудры окружили Пушкина, исключительно выгодные условия сотрудничества, которые они ему предложили («платить с проданных тысячи двухсот экземпляров десять тысяч А. С. Пушкину») позволяло поэту думать, что так оно со временем и будет.

В свою очередь любомудрам Пушкин был нужен главным образом для того, чтобы обеспечить успех их журналу. Они рассчитывали на огромную популярность Пушкина, полагая, что она привлечет

к «Московскому вестнику» многих подписчиков. Возлагая на С. А. Соболевского обязанность поддерживать постоянную связь поэта с «Московским вестником», Веневитинов писал ему: «Ты должен быть крепкий цемент, связующий камни сего нового здания: от тебя много зависит его прочность. Понукай Пушкина, надобно, чтобы, в каждом номере было его имя, подписанное хотя под немногими строчками». И как Пушкин надеялся подчинить «Московский вестник» своему влиянию, так, разумеется, и любомудры ничего не имели против того, чтобы Пушкин сделался «их» поэтом. Однако надежды обеих сторон не сбылись, и совместная работа Пушкина с любомудрами не только не пошла на лад, но постепенно стала и совсем невозможной.

2. Содержание «Московского вестника»

«Московский вестник» выходил двухнедельными номерами, объемом в 3—4 печатных листа. План журнала был выдержан в том порядке, в каком он был намечен Веневитиновым в его статье «Несколько мыслей в план журнала»: 1) «Словесность», 2) «Науки», 3) «Критика», 4) «Смесь».

Важнейшими произведениями, напечатанными в «Московском вестнике», были произведения Пушкина, который поместил в журнале: отрывок из «Бориса Годунова» (сцена в келье), отрывок из «Евгения Онегина», сцену из «Фауста», отрывок из «Графа Нулина», «Чернь», «Поэту» и более двадцати других стихотворений. В первые годы каждая часть журнала заключала несколько стихотворений Пушкина.

Большое значение для журнала имела поэтическая деятельность Веневитинова. Он напечатал здесь много стихотворений; среди них — «Поэт», переводы из Гете, «Поэт и друг».

Обильно были представлены в журнале стихи Шевырева, и оригинальные и переводные, печатались также стихи Туманского, Хомякова и других поэтов. По оценке Пушкина стихотворный отдел «Московского вестника» был «славный».

Значительное количество стихотворений, помещенных в «Московском вестнике», было посвящено вопросу о роли поэта и назначении поэзии. На эту тему откликнулись Пушкин, Туманский («Поэзия»), Веневитинов («Поэт»), Хомяков («Поэт»). Естественно, что сущность поэзии трактовалась поэтами-любомудрами в духе «чистого искусства», а поэт представлялся отшельником, живущим далеко от действительного мира, в мире фантазии и вдохновения. Весьма характерны в этом отношении заключительные строки стихотворения Веневитинова «Поэт»:

...О, если встретишь ты его
С раздумьем на челе суровом, —
Пройди без шума близ него,
Не нарушай холодным словом
Его священных тихих снов;
Взгляни с слезой благоговенья
И молви: это сын богов,
Любимец муз и вдохновенья.

«Московский вестник» пытался дать читателям и русскую прозу. В журнале были напечатаны повести Погодина: «Невеста на ярмарке», «Убийца», «Черная немочь» и другие. Повести эти были положительно оценены Пушкиным, а впоследствии и Белинским. «Талант г. Погодина, — писал Белинский, — есть талант нравоописателя низших слоев нашей общественности и потому он занимателен, когда верен своему направлению, и тотчас падает, когда берется не за свое дело».

Отдел русской словесности, в особенности отдел поэзии «Московского вестника», как можно судить из сказанного, был содержателен, но он не являлся для редакторов основным, и они не всегда внимательно относились к нему. Пушкин указывал, что нужно увеличить количество художественных произведений, в особенности повестей, и более внимательно относиться к тому, что печаталось. Так, справедливые протесты вызвал внутри редакции неудачный перевод С. Раича из Тасса. Известно также, что Пушкин, раздраженный небрежной корректурой своего отрывка из «Онегина» — «Одесса», дал разрешение перепечатать его Булгарину. Все это не могло способствовать успеху журнала.

Богатым был переводный отдел в «Московском вестнике». Первое место в нем занимают переводы из Гете и Шиллера. Гете переводят почти все поэты «Московского вестника». Шиллер переводится Шевыревым. Нужно сказать, что вообще журнал питал заметное пристрастие к немецкой поэзии и в особенности к Гете. Руководители журнала очень гордились тем, что разбор «Елены» (междудействия в «Фаусте»), сделанный Шевыревым, был переведен на немецкий язык и стал известен Гете, который в письме к переводчику любезно говорил о своих поклонниках в Москве. Письмо Гете было напечатано в «Московском вестнике», и Пушкин советовал использовать его для усиления популярности журнала.

Однако «Московский вестник» не замыкает своих интересов исключительно только немецкой литературой. Если журнал печатает стихи и прозу Гете («Вильгельм Мейстер»), прозу Жан Поля Рихтера, переводы произведений Тика, Гофмана и считает их характерными, то это не мешает ему помещать и произведения английских и французских писателей (Шекспир, Вальтер Скотт, Шатобриан, Мольер и другие). Напечатал журнал и «Конрада Валленрода» Мицкевича.

Важным отделом «Московского вестника» был отдел «Науки», в котором главное место занимала история, меньшее—география, статистика, политическая экономия и проч. В отделе были напечатаны: «Исторические афоризмы» Погодина (вызвавшие, кстати сказать, многочисленные насмешки), статьи о древних и восточных литературах Рожалина, статья Шлецера «Понятие о истории», наконец «Замечания на историю Карамзина» Арцыбашева, исторические статьи Строева и т. п.

Склонность редактора к серьезным статьям-исследованиям вредила успеху журнала; один из корреспондентов Погодина писал ему: «Нельзя ли чего повеселее». Пушкин требовал «глупостей», чтобы оживить издание.

Особое место в журнале занимали теория и история изящных искусств. В этой области любомудры были людьми весьма сведущими. Журнал напечатал ряд статей, излагавших принципы эстетики немецкого идеализма и романтизма: Шевырева «Разговор о возможности найти единый закон для изящного», Титова «Несколько мыслей о зодчестве» и «О достоинстве поэта», В. Ф. Одоевского «Парадоксы об искусстве». Веневитинова «Три единства в драме» — по шлегелевой «Теории драматического искусства» и другие. Кроме того, в «Московском вестнике» была помещена целая серия переводов из Шлегеля, Гете, А. Ремюза, Б. Констана, Аста.

Представляет интерес критический отдел журнала. Статьи Шевырева «Критика замечаний на замечания кн. Вяземского о начале русской поэзии» и «Обозрение русской словесности за 1827 год», статья Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина», выступления журнала против Булгарина были заметным явлением литературной жизни 1820-х годов.

В особенности это относится к статье Киреевского о Пушкине, в которой молодой критик дал попытку разделить творческую эволюцию Пушкина на периоды, из которых он выделил и приветствовал третий и последний период, характеризуемый как самобытно национальный и творческий. Значительное место занимали в журнале и литературные рецензии, широко ставившие вопросы литературной практики, стремившиеся следовать определенным эстетическим принципам. Эта принципиальность и теоретичность критических статей и рецензий «Московского вестника» и составляла одну из его важнейших особенностей.

3. Направление и критика «Московского вестника»

Нельзя сказать, чтобы «Московский вестник» был совершенно чужд всяким прогрессивным стремлениям. И в известной статье Веневитинова «Несколько мыслей в план журнала», представлявшей собою манифест «Московского вестника», и в программных выступлениях его друзей можно встретить и сетования на отсталость России, и защиту просвещения. В «Обозрении русской словесности за 1827 г.» Шевырев с восторгом отзывался о Петре I, который «перевел... нас из седьмого тысячелетия неподвижной Азии в 18 столетие деятельной Европы» (1828, I).

В обстановке идейного упадка, наступившего после поражения декабристов, литераторы «Московского вестника» пытались сохранить некую самостоятельность и либерализм убеждений.

Однако нет никаких оснований сближать группу «Московского вестника» с декабристами и считать, что журнал являлся «отголоском 14 декабря». Напуганные разгромом декабристов, литераторы «Московского вестника» ушли в область отвлеченных умозрений. Главной задачей своего журнала они считали развитие и распространение религиозно-идеалистической философии, ориентированной на учение Шеллинга. К материализму и атеизму руководители «Московского вестника» относились нескрываемо враждебно. По их мнению и философия энциклопедистов и даже учение Вольтера были лишены «прочных оснований». «Святотатственное покушение Вольтера, — писал Шевырев в статье о «Геце фон Берлихингене», — искоренить вместе с злоупотреблениями веры и святое учение оной, возбуждали негодование в Германии, где философия и поэзия заимствовали свет свой от религии христианской» (1828, XXI—XXII). Несомненно, что метафизическое любомудрие противостояло умонастроениям тех кругов передовой интеллигенции, которые были воспитаны на идеях века Просвещения.

Идеалистический характер имела и эстетика «Московского вестника», пропаганде которой журнал уделял такое же большое внимание, как и пропаганде философии. Вслед за Шеллингом и немецкими романтиками главные участники «Московского вестника» определяли искусство как средство познания «абсолюта», как свободную деятельность человеческого духа, в которой проявляется божественная творческая сила, как «бесконечное в конечном». Разум человека, — рассуждали любомудры, — не способен познать сущность бытия и поэтому человек стремится в образах искусства пересоздать внешние предметы по вечному образцу своего духа и вселенной и «в виде вещественном представить идеальное совершенство».

Естественно, что эстетики «Московского вестника» решительно выступали против мнения, что искусство является отражением природы, действительности. Основание искусства, утверждали они, не в видимой

внешней природе, а в законах человеческого духа. Просветители, по их мнению, принесли огромный вред искусству именно потому, что «заключили идеал искусства в подражании природе». Шевырев пытался использовать Гете для подкрепления идеалистической эстетики «Московского вестника». Он ссылался на переведенную им статью Гете «Об истине и правдоподобии в искусстве», на утверждение Гете, что «истина в искусстве и истина в природе совершенно различны. . .» (1827, II).

Вместе с тем критики «Московского вестника» настойчиво проводили учение о самоцельности искусства, о независимости его от нравственности и каких-либо других внешних целей и задач. В России «Московский вестник» был одним из первых пропагандистов «чистого искусства» и широко известной формулы «искусство для искусства». Очищать нравы, восставать против предрассудков, «вырывать плевелы из нравственной почвы человека» — не является целью искусства, — утверждал журнал. «Поэзия существует самобытно и имеет свою цель, независимую ни от каких других отношений», — заявил Шевырев в полемике с Вяземским (1827, I).

При всей очевидной реакционности эстетической программы «Московского вестника» были в ней в свое время и некоторые положительные элементы. Так, учение о самоцельности искусства критики «Московского вестника» иногда направляли против пережитков дидактики в искусстве, против благонамеренно-нравоучительных произведений Булгарина (полемике с которым журнал уделял значительное место), в защиту свободы творчества Пушкина.

«Мы заметили, — писал Шевырев в «Обозрении русской словесности за 1827 год», — из разных отзывов о его [Пушкина] произведениях странные от него требования. Хотят, чтобы он создавал в своих поэмах существа чисто нравственные, образцы добродетели. Напоминаем строгим Аристархам, что не дело поэта преподавать уроки нравственности» (1828, I).

Положительное значение имели и выступления «Московского вестника» против классицизма, который продолжал еще оказывать свое влияние на русскую литературу. Тем более, что журнал противопоставлял классицизму не только творчество немецких романтиков, но и творчество Пушкина и Шекспира. Шекспир для критиков «Московского вестника» — «великий гражданин романтизма», который «сблизил искусство с историей, с жизнью». Осуждая распространенные тогда во Франции и России переделки трагедий Шекспира на классический лад, Шевырев писал, что такие переработки превращают типы Шекспира в кукол, заключают естественный ход событий «в тесную темницу единств», истощают «исполинские силы гения» «строгою диэтой своей мертвой теории».

Легко заметить, что мнения «Московского вестника» о Шекспире во многом совпадали с мнениями Пушкина и сложились, вероятно, не без влияния последнего. И не случайно сцену из «Бориса Годунова» — «Келья в Чудовом монастыре» Шевырев считал «всего важнее», всего утешительнее» в творчестве Пушкина. «Характер Пимена носит на себе благородные черты народности», — писал он.

Однако, даже в 1820-е годы эстетика и критика «Московского вестника» главными своими сторонами противостояла наиболее передовым тенденциям русского литературного движения. Метафизический отрыв искусства от действительности, естественно, соединялся в выступлениях «Московского вестника» с отрицательным отношением к реализму.

Преклоняясь перед Шекспиром и Гете, журнал в то же время решительно возражал против изображения в искусстве обыкновенной жизни, повседневных событий, простых, ничем не выдающихся людей. По мнению его критиков, предметом искусства могут быть лишь лица, которые носят на себе печать оригинальности, «сильнее мыслят, сильнее чувствуют». Те писатели, которые «стали брать самые простые картины из действительной жизни и высокое искусство низвели до обыкновенной действительности», направляют искусство по ложному пути. Отсюда и отрицательное отношение «Московского вестника» к современной ему французской литературе с ее демократическими и реалистическими тенденциями, и его выступления против Н. Полевого, пропагандировавшего эту литературу в «Московском телеграфе».

Учение о самоцельности искусства тоже далеко не всегда использовалось «Московским вестником» для защиты свободы творчества передовых художников от посягательств реакции, но служили ему, по преимуществу, для борьбы с декабристским пониманием целей и задач поэзии. В то время как декабристы и близкие им писатели стремились направить искусство на путь служения народному освобождению и беспощадной критики «зла» и «самовластья», «Московский вестник» отстаивал эстетическое олимпийство и видел в искусстве средство для примирения с действительностью. По мнению Шевырева, в искусстве «и смех, и слезы, и трепет ужаса, и все волнения души разрешаются в одно определенное, полное чувство, которое называют довольством, согласием, блаженством». Он утверждал, что в этом чувстве и заключается «единый закон изящного», над поисками которого столь давно бьется философия. «Сие чувство, — писал Шевырев, — примиряет нас со всем миром», ведет «к согласию с самими собою и со всем миром, нас окружающим» («О возможности найти единый закон для изящного», 1827, I).

В связи с этим характерно отношение «Московского вестника» к творчеству Байрона. В то время как декабристы и примыкавшие к ним литераторы высоко ценили Байрона как поэта-гражданина, поэта вольности, и любили его мятежных, разочарованных, негодующих на общество героев, «Московский вестник» относился к Байрону весьма сдержанно. Журнал явно предпочитал страстному субъективизму создателя «Манфреда» созерцательный объективизм творца «Фауста».

Так, Шевырев не видел в героях Байрона никакого нравственно-положительного значения; их ненависть к людям, по его мнению, не заслуживает оправдания. «Эгоист в высшей степени — вот идея Манфреда. От сего эгоизма проистекает в нем ненависть к людям», — писал он (1828, XIII). По тем же мотивам Шевырев отрицательно оценивает южные поэмы Пушкина. Он видит в них лишь результаты подражания и не одобряет сочувственного отношения поэта к героям поэм. Алеко, по словам Шевырева, «это эгоист, нам уже знакомый, который, напрасно обвиняя человечество, вину всех своих несчастий в самом себе заключает».

В плане защиты «Московским вестником» чистого искусства, примиряющего с действительностью, заслуживает внимания и выступление журнала против П. А. Вяземского по вопросу «о начале русской поэзии». В статье о прозе Жуковского («Московский телеграф» № 23 за 1827 г.) Вяземский, в те годы убежденный сторонник гражданской обличительной поэзии, высказал сожаление, что в русской литературе получило преобладание направление, «ведущее начало от Ломоносова, а не от сатир Кантемира». Устами Шевырева «Московский вестник» реши-

тельно возражал Вяземскому: «Омир, воспевавший жизнь деятельную, был образователем всех поэтов Греции; но кого образовали Аристофан и сатирик Гораций?... Каких же благодетельных последствий ожидать можно от поэзии, если она при начале своем объявит войну жизни и свету... Не поэзии дело истреблять плевелы, она положительно действует на человека... Она растворит душу к приятию всего высокого и благородного, и невольно очистятся нравы» (1827, I).

В сущности говоря, «Московский вестник» шел по дороге литературного развития, противоположной пушкинской. Если Пушкин вел русскую литературу по пути реализма и воплощения освободительных идей, то любомудры толкали литературу к реакционному романтизму и разрыву с социальными идеями и интересами. Этому не противоречит и отношение Веневитинова, Шевырева и других их единомышленников к творчеству самого Пушкина. Несмотря на многочисленные похвалы, расточавшиеся ими некоторым произведениям поэта, они находили и поэзию Пушкина неполноценной и были не удовлетворены пушкинской поэтической школой. Совершенно несправедливо считая поэзию Пушкина и его школы гладкой и гармонической, но бессодержательной, Веневитинов и Шевырев противопоставляли ей философскую поэзию в шеллингианско-романтическом духе.

В этом нападении на пушкинский рациональный и ясный стих и заключался основной смысл статьи Веневитинова «Несколько мыслей в план журнала», в которой он с такой страстностью защищал «поэзию мысли». «У нас язык поэзии превращается в механизм, — писал Веневитинов, — у нас чувство некоторым образом освобождает от обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетного наслаждения, отвлекает от высокой цели усовершенствования».

По тем же причинам и Шевырев в «Московском вестнике» незаслуженно отнес крупнейшего поэта «пушкинской плеяды» Баратынского к числу поэтов, которые «блистают словами», отличаются «щеголеватостью выражений» и являются «скорее поэтами выражения, нежели мысли и чувства», «к числу тех русских поэтов, которые своими успехами в мастерской отделке стихов исключили чистоту и гладкость слога из числа важных достоинств поэзии».

Как бы ни понимали смысл своих выступлений против пушкинского направления в русской поэзии сами литераторы «Московского вестника», на деле это было, конечно, вовсе не столкновение «поэзии мысли» с «поэзией выражения».

На деле это было одно из проявлений борьбы любомудров против ясной реалистической поэзии, выражающей передовые идеи своего времени, за туманную, романтическую поэзию, руководствующуюся принципом «чистого искусства» и воплощающую абстрактные умозрения философского идеализма.

4. Упадок «Московского вестника»

Расчеты Пушкина и любомудров на большой успех «Московского вестника» оказались ошибочными. На первый год на журнал подписалось 600 человек, а потом число подписчиков сократилось до 250—300 человек. С каждым годом «Московский вестник» падал все ниже и ниже.

Это было естественно. Ни направление «Московского вестника», ни его многочисленные трудные и однообразные статьи по вопросам философии, эстетики, истории не могли заинтересовать читателей. Журнал

имел слишком «ученый» характер, стоял в стороне от волнующих вопросов современности, не уделял должного места художественной прозе. Кс. Полевой не без оснований язвил в своих записках: «Прекрасные стихи Пушкина не могли закрыть ничтожности почти всего остального. Главными действователями «Московского вестника» вскоре остались г. Погодин со своими возгласами и мужиковатым тоном и г. Шевырев со своими плаксивыми стихами и критиками».

В самом начале своего существования «Московский вестник» лишился многих ближайших сотрудников. Еще до выхода первого номера журнала уехал в Петербург Веневитинов и там в 1827 г. умер. В том же году один за другим переезжают из Москвы в Петербург, и в связи с этим постепенно отходят от журнала, Одоевский, Кошелев, Титов. «Здесь, — писал Шевырев Погодину из Петербурга, — сотрудники «Московского вестника» решительно не верные. Это узнал я по опыту». Шевырев дольше других и очень активно сотрудничал в «Московском вестнике», но и он в 1829 г. покидает Москву и уезжает за границу. К тому же внутри редакции журнала шли постоянные нелады на основе и некоторых идейных разногласий, и материальных интересов, и хозяйских претензий Погодина.

Исключительное значение для «Московского вестника» имело сотрудничество Пушкина. Но и Пушкин, убедившись в том, что он не сможет подчинить журнал своему влиянию, что с его советами редакция журнала почти не считается, что условия договора с ним Погодин не выполняет, начал постепенно охладевать к «Московскому вестнику», реже в нем печататься и относиться к нему все более скептически и отрицательно.

Не удовлетворяло Пушкина и направление журнала. По выходе первых номеров «Московского вестника» он писал Дельвигу: «„Московский вестник" сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?.. А время вещь такая, которую ни с каким Вестником не стану я терять. Им же хуже, если они меня не слушают».

Отход Пушкина от «Московского вестника» раздражал любомудров и рождал неприязнь к нему. В. П. Титов, которому было поручено держать связь с Пушкиным в Петеребурге, писал о своей задаче следующее: «Что касается Пушкина, без сомнения, величайшая услуга, какую бы я мог оказать вам, это бы держать его в узде; да не имею к тому способов».

Таким образом, союз между любомудрами и Пушкиным оказался непрочным. Обе стороны придерживались различных взглядов и относились друг к другу не совсем искренне; естественно, что и связь их должна была распасться. В 1830 г. Пушкин окончательно уходит из «Московского вестника», отдавшись новому делу: «Литературной газете» Дельвига, которая заняла по отношению к «Московскому вестнику» враждебную позицию. С 1829 г. «Московский вестник» сделался как бы частным журналом Погодина и превратился в полуакадемический орган. Сотрудниками журнала становятся люди, совершенно чуждые и Пушкину и любомудрам, — Ширинский-Шихматов, Хвостов, Венелин, М. Дмитриев и другие. Журнал втягивается в нескончаемые дискуссии по историческим вопросам и все больше и больше наполняется научными сообщениями и статьями.

В 1830 г. «Московский вестник» закрылся. Он погиб, не выполнив поставленных перед ним задач и не оправдав возлагавшихся на него надежд. «Московский телеграф» писал по поводу прекращения существования своего противника следующее: «Рожденный под хоругвью

стихов Пушкина усилиями юных литераторов, „Московский вестник" доказал другое, то что альманачными дарованиями и не отдавая самим себе отчета в труде, не должно почитать себя готовыми учить других. Напрасны были крики, клики, критика и стихи» (1830, № 20).

Однако традиции «Московского вестника» в русской журналистике не оборвались. В ближайшее время их пытался подхватить журнал Ивана Киреевского «Европеец», а позднее они были унаследованы и заведены в тупик журналами Погодина и Шевырева и изданиями славянофилов.

ГЛАВА XII

„Северная Пчела". Ф. В. Булгарин

I. Направление «Северной пчелы»

«Северная пчела» — газета «политическая и литературная» — была основана Ф. В. Булгариным в 1825 г., а с 1831 по 1859 г. издавалась и редактировалась им совместно с Н. И. Гречем. В последнее десятилетие, с начала 1850-х годов, Булгарин и Греч фактически отошли от непосредственного практического руководства газетой, передав его своему помощнику журналисту П. С. Усову. С 1860 г. Усов стал официальным редактором «Северной пчелы» и оставался им вплоть до ее прекращения в 1864 г. В 1869 г. «Северная пчела» была возобновлена А. В. Старчевским, но просуществовала всего несколько месяцев. С 1825 по 1831 г. газета выходила три раза в неделю, а с 1831 г. — ежедневно. Популярность «Северной пчелы» в основном относится ко второй половине 1820-х и 1830-х годов, а начиная с 1840-х годов резко падает.

Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859), поляк по происхождению, в прошлом офицер русской армии, перебежавший затем к Наполеону, вновь появляется в Петербурге в 1819 г. Он сближается с передовыми декабристскими кругами, в частности с Рылеевым и Грибоедовым, но в то же время еще до событий 14 декабря завязывает сношения с правительством.

С 1822 г. Булгарин издавал «журнал истории, статистики и путешествий» — «Северный архив», который впоследствии (в 1829 г.) был соединен с «Сыном отечества»; в 1823—1824 гг. — «журнал нравов и словесности» — «Литературные листки», а в 1825 г. основал «Северную пчелу». Газета была основана при помощи Аракчеева, хотя первоначально она и не имела того рептильного характера, который приобрела после разгрома восстания декабристов, когда Булгарин окончательно продал свое перо правительству. Политическая и вообще моральная нечистоплотность Булгарина, ставшего прямым агентом III отделения, — что скоро стало известным в литературных кругах, — сделали его имя одиозным для каждого порядочного человека.

Популярность «Северной пчелы» в 1820-е и 1830-е годы была велика. Это объясняется тем, что она была единственной частной газетой, имевшей право давать политическую информацию; кроме того, она издавалась по широкой программе, включавшей, помимо иностранных и «внутренних» новостей, литературный материал, впервые ввела газетный фельетон, отдел «нравов», критику, театральные рецензии и т. п. О популярности «Северной пчелы», в особенности в провинции, сохранилось множество свидетельств современников. Так, например, А. В. Никитенко во время поездки по Петербургскому учебному округу в 1834 г. записал в дневнике о провинциальных чиновниках, что они «ничего не читают кроме „Северной пчелы", в которую веруют как в священное писание». Своей популярностью «Северная пчела» обязана была не только своему монопольному положению, но и

самому характеру издания, предприимчивости Булгарина, его опытности журналиста, его умению угодить обывательской публике. «Северная пчела» являлась как бы родоначальницей желтой буржуазной прессы с ее погоней за читателем, с ее стремлением к сенсационной занимательности и т. д.

Булгарин сам назвал себя в одном из фельетонов оруженосцем «прекрасной дамы»-публики («Всякая всячина» — «Северная пчела», 1851, № 82). Его успех у читателя объясняется именно тем, что он умел подмечать настроение публики, ее вкусы, ее злободневные интересы, преподнести политический материал, новости, сплетни в занимательной форме. Эта ориентация на занимательность, на легкий успех неоднократно подчеркивалась самим Булгариным. Он вообще считал, что «лучше писать, что немецкий сапожник расквасил себе рыло, чем догадки и рассуждения о судьбах царств» (письмо к П. С. Усову, 1858 г.).

Политическая беспринципность прожженного дельца позволяла ему сплошь и рядом писать вещи совершенно противоположные, отказываться от своих собственных оценок, лицемерно признавая их внушенными «дружбой», дискредитировать всеми возможными средствами своих журнальных противников и конкурентов. Об этой беспринципности Булгарина, о мелочности полемики «Северной пчелы», мотивы которой обычно определялись корыстными и личными счетами и расчетами, писал Белинский в своей статье о «Воспоминаниях Ф. Булгарина», говоря, что Булгарин «был в постоянной вражде с целыми поколениями журналов, с целыми поколениями писателей». «Он сегодня бранил людей, которых превозносил вчера, сегодня прославлял людей, которых унижал вчера». Однако, — как говорил Белинский, — эта «спорливость присяжного литератора» вытекала не из «любви к истине», хотя бы и ложно понимаемой, не из «живого и страстного убеждения», а из личных и «тактических» соображений, равнодушия к «литературным, эстетическим и ученым вопросам», к «мнениям, убеждениям, правилам, принципам». Этим Белинский объяснял и «бесцветность и бесхарактерность» всех тех изданий, которые редактировал Булгарин («Северный архив», «Литературные листки», «Сын отечества», «Северная пчела»).

Булгарин не стеснялся предоставлять страницы своей газеты для рекламы и не останавливался даже перед шантажом. «Северная пчела» то и дело рекомендовала тот или иной магазин или ресторан, ту или иную фабрику, беря за это соответствующее вознаграждение, а упорствующих купцов наказывала жестокой критикой их товаров. Благодаря монополии и этой коммерческой рекламе доходы издателя были по тем временам баснословно велики.

Хотя «Северная пчела» и была официально частной газетой Булгарина и Греча, но фактически она почти с самого начала, вернее с начала 1826 г., с момента организации III отделения и назначения Бенкендорфа шефом жандармов, являлась полуофициозным правительственным органом. Булгарин руководился в своей деятельности теми указаниями, которые получал от Бенкендорфа и других руководителей III отделения. Этим объяснялось и монопольное положение газеты и постоянная защита ее Бенкендорфом от журнальных нападок. III отделение в ряде случаев даже участвовало в расходах редакции. Вяземский в одном из своих писем иронизировал над тем, что «в числе коренных государственных узаконений наших есть и то, хотя не объявленное правительствующим Сенатом, что никто не может в России издавать

политическую газету, кроме Греча и Булгарина. Они одни — люди надежные и достойные доверенности правительства». Нередко Булгарин выполнял и прямые политические задания III отделения. Так, например, во время польского восстания 1830—1831 гг. Булгариным была составлена официальная «реляция» о «бунте в Варшаве», напечатанная в «Северной пчеле». В одном из своих писем к Дубельту Булгарин сам перечислял многочисленные услуги, оказанные им Бенкендорфу и III отделению, заявляя, что Бенкендорф был его «истинным покровителем и благодетелем», «утешал» его «в горестях» и «возбуждал мужество и охоту к трудам, которые он признает полезными»: «После 14 декабря, в Турецкую войну и во время холеры, когда умы были в волнении, я писал и печатал статьи по указанию и воле Александра Христофоровича [Бенкендорфа] для успокоения умов». Таким образом, задача Булгарина и «Северной пчелы» сводилась к «успокоению умов», к помещению угодной правительству политической информации и такого «развлекательного» материала, который помогал бы заглушать всякую «неблагонамеренность», всякий проблеск самостоятельной и живой мысли.

«Программа» Булгарина заключалась в отстаивании и пропаганде благонамеренных «патриотических» мыслей и чувств, в проповеди «преданности к престолу» и той охранительной «морали» и «добродетелей», которые должны были явиться с правительственной точки зрения «противоядием» против передовых и демократических идей, против всяческого вольнодумства, усиленно искоренявшегося после 1825 г. Эта «программа» газеты была охарактеризована самим Бенкендорфом, официально указавшим министру просвещения, что «главнейшая цель» издаваемой Булгариным газеты «состоит в утверждении верноподданнических чувствований и в направлении к истинной цели, то есть: преданности к престолу и чистоте нравов».

«Северная пчела» выполняла также задачу сближения правительства с буржуазными и вообще «среднесословными» кругами. Этим объясняется и враждебная позиция Булгарина по отношению к «аристократии», его демагогический «демократизм», с которым он выступал против своих противников, стремясь опорочить подлинную прогрессивность, дискредитировать те передовые дворянские круги, которые были близки к движению декабристов.

Ориентация Булгарина на «среднее состояние» наиболее отчетливо высказана им в его записке «О цензуре в России и о книгопечатании вообще» (1826). В этой записке Булгарин, говоря о «знатных и богатых людях», указывает, что «хотя по своему положению в свете сей класс людей долженствовал бы быть привязан к настоящему образу правления, но преждевременное честолюбие, оскорбленное самолюбие, неуместная самонадеянность заставляют их часто проповедывать правила, вредные для них самих и для правительства». Этому «высшему классу людей» он противопоставляет подлинную опору правительства — «среднее состояние», подразумевая под ним небогатых дворян и чиновников, купцов, промышленников и отчасти мещан. «С р е д н е е с о с т о я н и е. Оно состоит у нас из: a) достаточных дворян, находящихся в службе, и помещиков, живущих в деревнях; b) из бедных дворян, воспитанных в казенных заведениях; c) из чиновников гражданских и всех тех, которых мы называем приказными; d) из богатых купцов, заводчиков и даже мещан». То обстоятельство, что Булгарин выступал от лица этого «среднего состояния», объясняет и тот большой успех, который он имел, как писатель, именно в этих кругах. Надеждин, резко

отрицательно отозвавшись об «Иване Выжигине», в то же время отметил, как основную причину огромного успеха Булгарина, то, что он «приходится не только по сердцу, но и по плечу читающей нашей публике», так как Булгарин «приноровился к потребностям, вкусу и замашкам нашего среднего состояния» («Телескоп», 1831, ч. III).

Булгарин выступил популяризатором известной реакционно-монархической формулы «самодержавия, православия и народности» (принадлежавшей С. Уварову), хотя в его деятельности эта формула лишена была всякого национально-патриархального характера. В отличие от таких защитников и приверженцев «старины», как, например, Шишков, Булгарин прекрасно понимал необходимость буржуазно-промышленного «прогресса», проповедуя его под спасительной эгидой самодержавия. Его программа лишена была какого-либо исторического романтизма; это был очень деловой подход к практическим задачам расширения социальной и политической базы для николаевской монархии.

Следует, однако, иметь в виду, что свой официозно-благонамеренный и рептильный характер «Северная пчела» приобрела лишь после 14 декабря, начиная с 1826 г., когда она перешла под контроль и руководство III отделения. В 1825 г., если Булгарин и служил правительственным «начертаниям» (возможно, что организацией «Северной пчелы» правительственные круги предполагали вначале ослабить влияние декабристской журналистики), то делал это втайне, во многом продолжая находиться в том же фарватере декабристской журналистики. В это время в «Северной пчеле» сотрудничают Рылеев, Ф. Глинка, помещает стихи Пушкин, принимают участие Крылов, И. Козлов и ряд видных писателей этих лет. Пушкин, в частности, напечатал в «Северной пчеле» знаменитое послание к Чаадаеву («К чему холодные сомненья»), Рылеев — отрывок из поэмы «Палей» и другие стихотворения. В критическом разделе газеты Булгарин прославлял Рылеева, умилялся Пушкиным, одобрял И. Козлова. В своей рецензии на «Думы» Рылеева Булгарин писал: «Это чистая струя, в которой отсвечивает душа благородная, исполненная любви к родине и человечеству» (1825, № 37).

Однако после событий 14 декабря Булгарин сразу же отказывается от этих либеральных идей и суждений. 12 декабря, накануне событий, «Северная пчела», помимо бюллетеня о состоянии здоровья императрицы и прочих официальных материалов, поместила лишь «Взгляд на историю стола», а в номере от 15 декабря — верноподданнические стихи-элегию на смерть Александра I и рассказ о лодочниках, спустившихся по Рейнскому водопаду. В дальнейшем были помещены официальные реляции о подавлении восстания и приговоре над декабристами.

Вскоре после восстания со страниц газеты сходят известные имена, и она в основном заполняется как писаниями самого Булгарина и его соредактора Греча, так и малоизвестными или случайными именами.

2. Содержание газеты

Программа «Северной пчелы» в соответствии с стремлением Булгарина и Греча завоевать возможно более широкую аудиторию, отличалась большим разнообразием. В объявлении об издании газеты в 1826 г. сообщалось: «Северная пчела, журнал новостей по части истории, политики, литературы и нравов, или новая политическая и литературная газета. В сей газете будут содержаться: 1) Новости поли-

тические и заграничные, 2) Новости внутренние, 3) Новости не политические: о новых изданиях и предприятиях; о произведениях наук, художеств и ремесел; 4) Известия обо всех выходящих в свет русских книгах; 5) Нравы. Небольшие статьи о нравах; критические и нравоучительные замечания; 6) Словесность. Легкие стихотворения и разные статьи в прозе, 7) Смесь, 8) Известия о новейших модах».

Эта разнообразная программа в основном сохранилась на всем протяжении издания газеты, хотя, конечно, все перечисленные разделы не могли быть представлены в каждом номере. Обычно, в особенности в 1820-е и 1830-е годы, номер газеты состоял из разделов: «Внутренние известия» и «Новости заграничные», занимавшие первую и вторую газетные полосы, а третья и четвертая отводились фельетонам («нравы»), научно-популярным и критическим статьям, художественным произведениям, рецензиям и «смеси»; при этом помещалось не более одного фельетона или статьи, чаще всего с продолжением в следующем номере.

Разделы внутренних известий и заграничных новостей имели в основном официальный или информационный характер. За исключением нескольких чисто политических статей, связанных с теми или иными событиями и инспирированных правительственными инстанциями (о событиях 14 декабря, о польском восстании, голоде и т. п.), газета мало отражала общественную жизнь страны, а если и затрагивала ее, то всегда в тонах благонамеренного ура-патриотизма и раболепного прославления монаршей мудрости.

Наибольший интерес имел неофициальный, преимущественно литературный отдел газеты. Здесь широко и занимательно подбиралась внутренняя хроника, путешествия, отчеты о судебных процессах, статьи о научных открытиях, экономические и статистические обзоры и сведения, новости медицины и техники, и т. п. Собственно литературную часть газеты составляли отдел «Словесность», в котором помещались небольшие повести, стихи и критические статьи, отдел «Нравы», с бытовыми, нравоописательными фельетонами и отдел «Новые книги», имевшийся в большинстве номеров газеты и содержавший объявления и рецензии на выходящие книги. Большое место уделялось в газете театру; помещались разборы почти всех новых столичных постановок. В составлении газеты чувствовалась рука опытного журналиста.

«Северная пчела» стала деловым предприятием, наряду с «Библиотекой для чтения», наглядно иллюстрируя процесс «капитализации» литературы, ее превращения в отрасль «торговли».

Сообразно с программной установкой «Северной пчелы» на сближение правительства и торгово-промышленных кругов и защитой экономического и хозяйственного буржуазного «прогресса», в газете одно из центральных мест занимали статьи и фельетоны, пропагандировавшие это сближение и призывавшие к новым промышленным успехам. Для этого мобилизовались все ее отделы: и «Внутренние известия», и «Наблюдения в отечестве», и «Нравы», и «Путешествия». Булгарин не только давал отчеты, статьи и корреспонденции о хозяйственных и промышленных выставках, ярмарках, новых промышленных компаниях, фабриках и промыслах, но и писал о них фельетоны. Так им был введен в газете отдел «Наблюдения в отечестве», в основном посвященный вопросам и материалам хозяйственного и промышленного развития русской промышленности и торговли. В статьях этого отдела описание успехов промышленности, завершалось нередко благонамеренным выводом в таком духе: «Можно сказать, что выставка у нас есть средство сближения одного класса с другим: фабрикантов и ремесленников

с высшим сословием» (Статья «О выставке российских изделий» — 1829, № 69). Однако и при постановке вопроса о совершенствовании отечественной промышленности Булгарин не может удержаться от рекламирования знакомых и, вероятно, «благодарных» ему, фирм: «Давным давно не курил я такого отличного табаку, — писал он в той же статье, — каков табак из фабрики г. Лапотникова в Петербурге, под названием: „Отрадный". Это настоящий фимиам».

Это сочетание апологетики буржуазно-капиталистического развития России с беспринципным и корыстным делячеством чрезвычайно характерно для Булгарина. Даже в статье о Кавказе он не забывает дать рекламное описание и точный адрес магазина Челакова в Пятигорске, в котором можно всегда найти «дамские уборы последней моды» и «прекрасные вина» («Письмо с Кавказа», в отделе «Наблюдения в отечестве», 1836, № 89). Пропагандируя промышленную экспансию, «Северная пчела» выступала с большими статьями и цифровыми материалами, посвященными промышленному развитию России («Верхнеисетский завод» — 1836, № 20; «Замечания о горных промыслах в России» — 1836, № 92; «О состоянии внешней торговли Российского государства в последние 18 лет» — 1829, № 148 и т. п.). В частности, она выступала с защитой постройки первой в России «чугунной дороги из Петербурга в Царское село и Павловск», поместив ряд статей, в которых детально разбирались и доказывались все выгоды этого предприятия, давались выкладки вплоть до сравнительной стоимости проезда в дилижансе и билета железной дороги (1836, №№ 70, 71, 72 и 79). В то же время Булгарин с неменьшим апломбом рекламирует завод минеральных вод (1836, № 107), а в научном фельетоне в отделе «Хирургия», описывая успехи по части совершенствования искусственных вставных зубов, дает точный адрес рекламируемого им врача (1836, № 30). Так прихотливо переплетались на страницах «Северной пчелы» коммерция, реклама и пропаганда буржуазного развития.

Едва ли не центральное место в «Северной пчеле» занимал отдел «Нравы», который, в особенности в первые годы издания газеты, заполнялся главным образом фельетонами самого Булгарина.

Булгарин писал фельетоны на самые разнообразные темы, начиная от пороков «модного воспитания» («Нежная маменька и наставник, или план модного воспитания»), излишней любви к лечению («Посещение доктора»), и кончая вопросами литературы и даже философии («Кабинет журналиста», «Журналист и публика»). Однако при всем тематическом разнообразии, фельетоны Булгарина очень однообразны по своей манере и стилю, а обнаженная нравоучительность и рассудочность, при отсутствии ярких жизненных красок, лишают их реалистического правдоподобия. «Нравы» Булгарина не являлись сатирой на общественные недостатки, они лишены были всякого социально-обличительного пафоса и проповедывали прописные истины, прописную мораль, говоря о том, что дурно тратить время и деньги на хождение по модным магазинам, брать взятки, чваниться, быть невежественным, занимать деньги у ростовщиков. Условные и безжизненные персонажи булгаринских фельетонов являются по преимуществу резонерами, излагающими друг другу поучительные прописи.

Остальной литературный материал, в частности фельетоны Ушакова и Кони, был еще менее интересен. Стихи, изредка повести третьестепенных и случайных авторов, переводы и заимствования из иностранных газет и журналов были отмечены серостью, печатью моралистической благонамеренности, слащавой проповедью «чистоты нравов».

3. Критическая позиция Булгарина

Большое место в «Северной пчеле» занимала критика и библиография, но и она так же беспринципна и эклектична, как и остальной литературный материал газеты. В отделе критики и библиографии рецензировались и разбирались почти все выходившие книги, не только художественная литература, но и книги научные, детские, учебные. Однако в своих критических высказываниях «Северная пчела» занимала обычно или нейтральную позицию, давая малозначущий пересказ книг, или неумеренно хвалила, или столь же неумеренно бранила в зависимости от взаимоотношений издателей газеты с авторами книг. Еще в 1828 г. «Московский вестник» следующим образом охарактеризовал критическую деятельность «Северной пчелы»: «Образ критики в „Северной пчеле" всего более обличает жалкую скудность ее суждений. Все рецензии лучших произведений в оной состоят в выписке некоторых отрывков, приправленной общими местами и пустыми восклицаниями, в маловажных замечаниях на слова, правильно или неправильно употребленные, на ошибки грамматические, на опечатки и т. п.... Обыкновенно начинаются сии критики таким образом: „Новое прелестное стихотворение такого-то!" — „Честь вам и слава г. поэт!" Иногда после подобных восклицаний случаются объяснения эстетические, в которых всего заметнее и недостаток точки зрения и нетвердость мыслей и незнание науки вкуса...» (1828, ч. 8). Эта оценка критических методов «Северной пчелы» справедлива. В то время как Греч в своих рецензиях с педантической придирчивостью подвергал разбору книги, главным образом со стороны грамматической правильности, Булгарин то неумеренно превозносил на страницах газеты Сенковского и Кукольника, говоря пренебрежительно о Гоголе и Баратынском, то ставил драму Полевого чуть ли не выше Шекспира и Шиллера.

Основным требованием, которое предъявлял к художественным произведениям Булгарин, было требование «нравственности» и моралистической нравоучительности. С этой точки зрения Булгариным безоговорочно осуждалась не только новая французская проза, и прежде всего романы Гюго, Сю, Бальзака и других, но и повести Гоголя и поэмы Баратынского. Для Булгарина произведения новой французской литературы — «жалкие исчадия уродливого воображения и развращенной нравственности», порожденные французской революцией. В особенности ненавистна ему была Жорж Занд, все сочинения которой «отличаются цинизмом и бесстыдством, и безнравственностью». Роман Жорж Занд «Лелия», посвященный теме борьбы женщины за свою свободу от принудительных брачных обязательств — это, по словам Булгарина, «самое страшное, самое уродливое произведение» (1836, № 182).

При своем нерасположении к «юной Франции», к писателям французского романтизма (Гюго, Бальзак), в которых он видел продолжение революционных традиций 1793 г., Булгарин сочувственно относился к философии и эстетике немецкого романтизма, усвоив из нее целый ряд положений. В «Северной пчеле» помещаются благожелательные рецензии на «Опыт науки изящного» А. Галича (1826, № 32), на перевод «Всеобщей естественной истории» Окена, названной «одним из важнейших, полезнейших творений нашего времени» (1836, № 105), на книгу Тика-Вакенродера «Об искусстве и художниках», являющуюся эстетическим манифестом немецкого романтизма; в отзыве о последней отмечалось, что «цель сего сочинения есть желание доказать, что изящное находится в душе нашей» (1826, № 95). В статье о поэме Баратынского

«Пиры» Булгарин подчеркивал, что «поэзия должна избирать предметы, выходящие из обыкновенного круга повседневных приключений» (1826, № 20).

Эклектизм и беспринципность Булгарина сказались в том, что наряду с требованием «нравственности» и дидактизмом он одновременно развивает теории «свободы» творчества: «Можно ли повелевать вдохновением, приказывать гению? Нет! Поэт (т. е. поэт истинный, а не умный человек, пишущий стихи, по желанию писать), поэт пишет, что представляет ему его воображение, что диктует сердце... Как можно требовать от поэта, чтобы он беспрепятственно доказывал нравственные задачи!» (1826, № 4). Приводя эту тираду, заимствованную у теоретиков немецкого романтизма, Булгарин чуть ли не в соседнем номере своей газеты требовал именно «доказательства» писателем «нравственных задач».

Именно апологетом «здравого смысла», благонравия и «нравственности» и выступал Булгарин в своих суждениях о философии и литературе, эклектически сочетая перетолкованные на охранительный, реакционный лад теории просветительства с осколками эстетики романтизма.

В статье «Рассмотрение русских альманахов» («Сев. пчела», 1828, № 4) Булгарин развивает свое понимание «нравственного» и «безнравственного», восходящее еще к морально-дидактической эстетике XVIII в. «Нравственное сочинение» для Булгарина «есть то, где порок представлен в таком виде, что возбуждает к себе омерзение». В противоположность этому «безнравственное сочинение есть то, где самыми благовидными формами автор скрывает пороки, и хотя избегает нескромных сцен и речей, но одними похождениями своего героя в свете доказывает, что и порочный может избежать всеобщего презрения и укрыться от наказания».

Именно против этого навязывания искусству дидактической схемы протестовал в своих статьях Пушкин. Против этой теории Булгарина возражал в своем предисловии к поэме «Цыганка» Баратынский. Баратынский указывал, что эти требования ведут к отказу от истины, от реального изображения жизни. Дидактическая схема Булгарина лишь искажала действительность, подчиняла литературу требованиям той «нравственности» и религии, которые проповедывались с охранительно-благонамеренными целями.

Литературная приглаженность и идейная благонамеренность всегда вызывали одобрительные отзывы Булгарина. В особенности благосклонно относился он к произведениям псевдо-народного характера, обращавшимся к изображению мещанского и народного быта, но в то же время сохранявшим «благонамеренность» и моралистическую поучительность. Так, с большим сочувствием писал он о повестях М. Погодина: «Давно не видали оригинальных русских повестей, написанных с такою остротою, замысловатостью, легкостью и занимательностью. Повесть „Нищий" написана народным русским слогом, или просто сказать крестьянским языком. Это первый удачный опыт в своем роде» (рецензия на альманах «Урания» — 1826, № 7).

В то же время «Северная пчела» нападала на все, что сколько-нибудь резко порывало с требованиями псевдонародности и морализма. Именно поэтому столь враждебно был ею встречен подлинный реализм Гоголя, «Евгений Онегин» Пушкина, повести Павлова, а затем и Некрасов и Достоевский.

Интересна программная статья Булгарина «Настоящий момент и дух нашей литературы», в которой он высказывает свое отношение

к вопросу о народности. Отмечая в начале, что русская литературы «от самого рождения» шла «путем подражания», более всего подчиняясь влиянию французской, Булгарин писал: «Я полагаю, что вступление нашей литературы на поприще романтизма, появившийся в публике вкус ко всему русскому, народному, возрождающаяся любовь к историческим наукам... суть предзнаменования близкого рождения русской народной, оригинальной словесности». Повторив это положение, уже давно ставшее общим местом, Булгарин, однако, дальше сам раскрывает поверхностность и ограниченность своего понимания народности. Подходя к произведениям Гоголя, он пишет: «Но в это всё верим мы не все. Между нами есть писатели, которые ради оригинальности коверкают и терзают русский язык, как в пытке, и ради народности низводят его ниже сельского говору... И так просим заглянуть в книгу, под названием „Миргород", книгу расхваленную в журналах! Там есть такие фразы, что сам Эдип не разгадал бы их. Перекорчено, перековеркано, до нельзя... Разве подобное просторечие может иметь место в литературе? Почему у г. Загоскина мужики говорят натурально и приятно?». Таким образом, подлинно народному языку Гоголя, основанному на всем богатстве народной речи, Булгарин противопоставлял «приятный», искусственный псевдонародный язык, подчиняющийся правилам грамматики Греча. Переходя к оценке новых явлений в литературе, Булгарин говорит: «Ныне восстает целое поколение новых писателей, которые пробуют силы свои в журналах. Более всех подают в себе надежды гг. Тимофеев и Ершов. Стихотворения г. Бенедиктова, изданные особо, обратили на себя справедливое внимание публики. В них много мыслей и теплого чувства. Язык очень хорош». Наряду с похвалами модным тогда Бенедиктову и Тимофееву, он выделяет роман Лажечникова «Ледяной дом». Расточая похвалы Лажечникову и Бенедиктову, он сурово осуждает Гоголя и дает лишь беглый слегка снисходительный отзыв о «Пиковой даме» Пушкина, названной им среди «хороших статей и повестей» наряду с «Жизнью Елизаветы Кульман» Никитенки, — в то же время до небес превозносит «Поездку на Медвежий остров» Сенковского, в которой, «как и в остальных его произведениях», он усматривает «необыкновенный ум и талант», считая, что если «они обратятся на что-либо важное, то Брамбеус вознесется так высоко, что ни московские, ни петербургские критические стрелы не достигнут его» (1836, № 13).

4. «Северная пчела» о Пушкине, Гоголе и натуральной школе

Особый интерес представляет отношение «Северной пчелы» и прежде всего ее издателя Булгарина к Пушкину и Гоголю. В оценке их творчества с наибольшей полнотой сказалась вся реакционность, беспринципность и бесхребетность литературной позиции газеты.

Однако не следует полагать, как это обычно делают, что Булгарин с самого начала враждебно относился к Пушкину и Гоголю. Наоборот, в первые годы издания «Северной пчелы» он постоянно с большим пиэтетом писал о Пушкине. Так, в статье о второй главе «Евгения Онегина» (1826, № 132) Булгарин, давая благоприятный разбор поэмы, отмечал, что «отдельные портреты... и подробности деревенской жизни прелестны, и поистине сказать достойны искусной кисти великого художника». Однако о «герое романа» он писал, что «Онегин остался нам чуждым», так как характер его еще недостаточно раскрыт. В статье о французском переводе «Бахчисарайского фонтана» (1826, № 152)

Булгарин весьма сочувственно отозвался о поэме, хотя и отметил в ней «отпечаток слишком неограниченной свободы в слоге», который он считал вообще недостатком «романтических стихотворцев». Наконец, в статьях 1827 г. о «Цыганах» (№ 68) и «Братьях разбойниках» (№ 101) Булгарин хвалил «свежесть предмета и расказа». Благоприятен отзыв «Северной пчелы» и о третьей главе «Онегина», в котором отмечалось, что Пушкин «постиг простоту невинного девичьего сердца» (№№ 27 и 124).

В 1827 г. Булгарин выступил даже с защитой «Графа Нулина» от упреков его в «безнравственности», указывая что поэма «есть пиеса нравственная в полном смысле слова», так как ее герой возбуждает отвращение читателей (1827, № 4). Столь же одобрительный характер имеют отзывы о IV, V и VI главах «Онегина» (№ 15 и 40), в которых отмечались как реализм бытовых картин романа, так и его лиризм, «трогающий душу». Наконец, весьма благоприятны отзывы «Северной пчелы» в 1829 г. о I и II частях «Стихотворений» Пушкина. Булгарин указывал здесь прежде всего на разнообразие поэтических жанров и принципов Пушкина. Это благосклонное, а подчас и заискивающее отношение к Пушкину, меняется лишь в 1830 г. в связи с организацией «Литературной газеты», конкуренции которой Булгарин боялся. По словам Греча, «узнав, что Пушкин намерен помогать Дельвигу своим содействием, он еще более испугался и, не дожидаясь первого выстрела с неприятельской батареи, сам начал атаку». Это было не совсем так. Непосредственным поводом к войне послужили переданные Булгарину резкие замечания Пушкина о том, что он, Булгарин, перенес ряд мотивов из неизданного еще «Бориса Годунова» (неофициальным цензором которого был Булгарин) в свой роман «Дмитрий Самозванец» и, в особенности, анонимная статья Дельвига о том же «Дмитрии самозванце», которую Булгарин приписал Пушкину. Этим объясняется появление в № 30 «Северной пчелы» за 1830 г. пасквильного «Анекдота», выданного за перевод с английского, о некоем стихотворце-французе, по которым разумеется Пушкин и который более усердно служил Бахусу и Плутусу, нежели музам, и «в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины». Вслед за этим пасквилем в № 35 газеты была помещена бранная статья о VII главе «Евгения Онегина», провозглашавшая «совершенное падение» Пушкина: «Мы сперва подумали, что это мистификация, просто шутка или пародия, и не прежде уверились, что эта глава VII есть произведение сочинителя „Руслана и Людмилы", пока книгопродавцы нас не убедили в этом. Это глава VII, два маленькие печатные листика, — испещрена такими стихами и балагурством, что в сравнении с ними даже «Евгений Вельский» [малозначительная поэма Яковлева] кажется чем-то похожим на дело. Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения! Совершенное падение, chute complète! И так надежды наши исчезли! Мы думали, что автор „Руслана и Людмилы" устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов — и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый... сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину!»

Бранный характер этого отзыва еще усиливался содержавшимся в нем политическим доносом: Пушкин, в результате поездки на Кавказ, на театр военных действий против турок, не воспел «великих подвигов» Паскевича. В ответ на эту ругань и клевету Пушкин нанес Булгарину два жестоких удара в статье «О записках Видока», в которой под видом французского шпиона Видока высмеял Булгарина, и в ответе на критику «Северной пчелы», написанном Дельвигом при участии Пушкина, в котором намекалось, что Булгарин в своем «Дмитрии Самозванце» обокрал «Бориса Годунова» (обе статьи — в № 20 «Литературной газеты»).

Вслед за этими выступлениями последовала длительная ожесточенная полемика Булгарина с «Литературной газетой» о «литературной аристократии». В № 94 «Северной пчелы» был помещен новый пасквиль на Пушкина «Второе письмо из Карлова». В нем Булгарин издевался над происхождением Пушкина, рассказывая анекдоты о «поэте в Испанской Америке», «также подражателе Байрона», который, «происходя от мулата или, не помню, мулатки, стал доказывать, что один из предков его был негритянский принц», между тем как шкипер «купил негра за бутылку рома». Пушкин, задетый и возмущенный этой новой подлостью Булгарина, ответил на нее в «Моей родословной», а также в ряде набросков статей, являвшихся продолжением его статьи «Новые выходки против литературной аристократии», и, наконец, в 1831 г. в статье в «Телескопе» за подписью Феофилакта Косичкина. В своих выступлениях против «Литературной газеты» Булгарин объединился с Полевым, с которым он до того воевал, и теперь стал в противовес пушкинской группе хвалить «Историю русского народа» и критиковать Карамзина.

Однако уже в № 5 «Северной пчелы» за 1831 г. Н. Греч в статье «Письмо к родственнику в походе» лестно отозвался о «Борисе Годунове». В № 13 появилось сообщение о напечатании подробного разбора (В. Плаксина) драмы Пушкина в «Сыне Отечества», а в № 167 защита ее от придирчивой и глупой критики автора брошюры «Разговор о Борисе Годунове». Появление в том же году «Повестей Белкина» также было встречено одобрительной рецензией (№ 255), в которой говорилось, что «приятно в тесном дружеском кругу, перед камином, слушать рассказы умного, образованного человека».

В 1832 г. «Северная пчела» (№ 51) писала о VII главе «Евгения Онегина», что она «примирит всякого с автором», а в № 81 была напечатана хвалебная статья барона Розена. Розен заявил в ней, что Пушкин «принадлежит к малому числу тех счастливцев гениев, коих первые подвиги знаменовались правом на триумф, и вся литературная жизнь коих была и есть громкое, беспрерывное торжество». Полемика утихла, Пушкин больше не участвовал в конкурирующей газете, и даже сам Булгарин поместил в «Сыне отечества» 1833 г. хвалебную статью «Письма о русской литературе. О характере и достоинствах поэзии Пушкина» (1833, № 6). В дальнейшем «Северная пчела» более или менее систематически помещает отзывы о Пушкине. В 1834 г. (№ 192) появляется рецензия на второе издание «Повестей Белкина» и «Пиковую даму». Рецензент осуждает эти произведения, так как не видит в них «идеи». Булгарин счел долгом сделать примечание издателя, в котором писал: «Мы не знаем в русской литературе повести, которая была бы написана так легко, приятно, правильно и отчетисто, как „Пиковая дама"».

Но стоило появиться в 1836 г. пушкинскому «Современнику», как

«Северная пчела» вновь меняет свой хвалебный тон и вступает с ним в полемику, возражая на обвинения, предъявленные «торговому направлению» Гоголем в статье «О движении журнальной литературы». В статье «Мнение о литературном журнале „Современник"» (1836, № 127) Булгарин нападает на «Современник», который, якобы «хочет заменить потребность века, овладеть литературою». Утверждая, что «Современник» «есть возобновление „Литературной газеты"», Булгарин берет под свою защиту Сенковского и возражает против тех обвинений, которые предъявлялись «Современником» «Северной пчеле» и «Библиотеке для чтения». После смерти Пушкина полемика прекратилась, и о Пушкине в «Пчеле» говорилось всегда в тоне официального пиэтета.

Не менее интересно проследить и отношение «Северной пчелы» к Гоголю. Сообразно ее ориентации на официальную, благонамеренную «народность», реалистический характер творчества Гоголя, социальная резкость его сатиры коробили издателей «Северной пчелы». Однако в первой половине 1830-х годов, когда появились «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Арабески» и «Миргород», отношение к Гоголю было в основном благожелательное. В статье о первом издании «Вечеров на хуторе» (1831, №№ 219 и 220) Булгарин не только приветствовал, но и отмечал их подлинную народность, относя автора к «небольшому литературному обществу, издавна составившемуся в Малороссии» и действовавшему «в духе местного патриотизма». Причисляя Гоголя к украинским писателям (Котляревскому, Гулаку-Артемовскому), Булгарин подчеркивал органичность связи этих писателей с народной украинской культурой, «обогащавшей их творчество», и указывал, что «повести, изданные Пасичником Рудым Паньком, представляют нам новый, изящный плод этого же умного и истинного народного усилия... Не ожидайте характеров сильных, или слишком глубоких, потому что перед вами раскрывается простой сельский быт; но зато быт сей характерен во всех подробностях своих: все движется, все рисуется перед вами в истинном казацком костюме».

В дальнейшем Булгарин писал, что «мы не знаем ни одного произведения, которое можно было бы сравнить по своей проникновенности в характер и дух народа с „Вечерами" за исключением „Бориса Годунова"». Однако тут же вслед за этими суждениями он добавлял, что в «описательной части повестей» Гоголь уступает Марлинскому: «описания его не имеют ни верности, ни полноты, ни смелости, которые отличают автора „Наездов", „Испытания" и пр.».

В 1835 г. в рецензии на «Арабески» намечается стремление представить Гоголя автором «карикатуры и фарсов», «которые всегда удаются Гоголю», отрицательно-настороженное отношение к его реализму, к глубине и резкости его сатиры. Оболгать Гоголя, представить его автором безобидных «фарсов» — такова была задача, которую ставила себе «Северная пчела», когда социальный диапазон гоголевской сатиры стал смущать и пугать правительственные и охранительно-«благонамеренные» круги.

Эта точка зрения проводится и в статье П. М-ского-Юркевича о «Миргороде», помещенной в том же году (1835, № 115). Давая в общем положительный отзыв о повестях Гоголя, входивших в состав «Миргорода», рецензент особо останавливается на «Повести о том как поссорились...». «Какая цель этих сцен, не возбуждающих в душе читателя ничего кроме жалости и отвращения? В них нет ни забавного, ни трогательного, ни смешного. Зачем же показывать нам эти рубища, эти грязные лохмотья, как бы ни были они искусно представлены? За-

чем рисовать неприятную картину заднего двора жизни и человечества, без всякой видимой цели?». В 1836 г. «Ревизор» Гоголя уже прямо объявляется «грязным фарсом».

Это отрицательное отношение «Северной пчелы» к реализму Гоголя, к обличительному пафосу его произведений, в дальнейшем, в особенности в 1840-х годах, в связи с формированием натуральной школы, к которой Булгарин отнесся с решительной неприязнью, все более усиливается. Картинки «заднего двора жизни», изображение во всей неприглядности российской действительности того времени, реалистическая и сатирическая сила произведений Гоголя — пугали и отталкивали поборников подслащенной народности и правительственной благонамеренности. Этим объясняется полное неприятие Гоголя «Северной пчелой» в 1840-х годах, когда он сравнивался с Поль-де-Коком и попрекался за «грязь» своих картин. В этом отношении особенно характерна статья Н. Греча о «Мертвых душах» (1842, № 137). В ней говорилось о том, что Гоголь «стал ниже Поль де Кока» (которого Сенковский и Булгарин считали как бы образцом «грязи» и «безнравственности»), что его «язык и слог самые неправильные и варварские». В итоге произносился безапелляционный приговор о величайшем произведении Гоголя: «Попадаются умные суждения, верные и разительные замечания, но все это утопает в какой-то странной смеси вздору, пошлостей и пустяков. Все лица, выведенные автором на сцену, более или менее карикатурны; как говорит Простакова в Недоросле, дураки или воры. Нет ни одного порядочного, не говорим уже честного и благородного человека».

Наконец, в 1846 г., во время яростных нападок «Северной пчелы» на натуральную школу, Греч пытается снова оклеветать Гоголя в связи с изданием перевода его произведений на французский язык. Греч в своем письме из Парижа писал о том, что Гоголя нельзя ставить рядом с Пушкиным и Лермонтовым, что у него «нет главного — нет языка; он позаймет, позабавит публику своим рассказом, но не подвинет ее вперед на пути литературного образования». К этой «оценке» Гоголя присоединился и Булгарин, писавший, что переводчика, Виардо, ложно «уверили», что Гоголь первый писатель в России. В статье «Несколько замечаний на статью „Языков и Гоголь" П. А. Вяземского» Булгарин утверждал: «Гоголь живописец мелочных пошлостей, живописец не всегда верный, потому что у него мелочи становятся крупными. Он действительно мастерски подмечает, схватывает пошлости, но и преувеличивает их. Точно такое же место занимает Поль де Кок во французской литературе» (1847, № 107).

Появление новых демократических и реалистических тенденций в литературе 1840-х годов, школы, имевшей в своих рядах наиболее передовых писателей этих лет (Некрасов, Тургенев, Герцен, Достоевский, Григорович, Панаев и др.), вызвало озлобление Булгарина, наделившего этих писателей презрительно брошенным им названием «натуральная школа»: она — «стяжала себе лестный эпитет натуральной, т. е. старательно ищущей вдохновения исключительно в одних темных углах и закоулках жизни» («Северная пчела», 1845, № 67). Выход «Петербургского сборника» Некрасова встречен был «Северной пчелой» в штыки. В обширной рецензии Я. Я. Я. (Л. Брант) предает осмеянию всех его участников. Так «Бедные люди» Достоевского объявляются «совершенным крушением», притязанием «создать нечто глубокое» под видом «наружной, искусственной (а не искусной) простоты». Не менее резко отзывается рецензент и о стихах Некрасова, «одного из натуральнейших представителей натуральной школы». Стихотворение «Пьяница» объ-

является слишком грубым и «натуральным». Поэма И. Тургенева «Помещик» названа неудачным подражанием «Евгению Онегину». По поводу поэмы А. Майкова «Машенька» критик сожалеет, что сюжетом для «новейшей школы» стали одни лишь чиновники, и высмеивает обилие реалистических и прозаических подробностей в ней.

Особенное негодование «Северной пчелы» вызвала программная статья Белинского «Мысли и заметки о русской литературе». Рецензент возмущен ее демократическими тенденциями, утверждением о «духе разъединения», социальной борьбы, «преобладающем в нашем обществе». Статья заканчивалась вопросом: «Но скажите, г. Белинский, когда наконец будет конец этим жалким и вовсе несмешным шуткам над русской литературой?... Оставьте ее в покое! Мало ли есть других полезных занятий, помимо бесплодного сочинительствования и нелепого философствования?..» (1846, №№ 25 и 26). Это был один из многочисленных выпадов против Белинского и «Отечественных записок», свидетельствовавших о той жестокой борьбе, которую вела «Северная пчела» с Белинским и «гоголевским направлением» в литературе.

Эта полемика продолжена была Булгариным в его фельетоне «Всякая всячина» (1846, № 55). Булгарин с негодованием писал, что «Отечественные записки» «уничтожали выгодное мнение, водворившееся и утвердившееся в публике о Н. И. Грече, М. Н. Загоскине, Н. А. Полевом, Ф. В. Булгарине, О. И. Сенковском, Н. В. Кукольнике и др.» (т. е. как раз всех тех авторов, которые выдвигались и рекламировались «Северной пчелой») во имя «новой школы» и таких «молодых писателей с дарованием», как Лермонтов и Гоголь, которых «Отечественные записки» незаслуженно объявили «гениями», а Гоголя провозгласили основателем новой школы. Булгарин полемизирует здесь с Белинским, как идеологом этой школы, называя его критиком, которому поручили «уничтожать все прошлое».

Так бесславно кончала свою полемическую деятельность «Северная пчела», выступая против новых прогрессивных идей и сил эпохи. Продолжая ту же линию в 1850-х годах, она потеряла какое бы то ни было значение и оказалась на задворках литературы и общественной жизни.

ГЛАВА XIII

„Библиотека для чтения" в 1830-х годах. О. И. Сенковский

1. О. И. Сенковский. Организация «Библиотеки для чтения»

В русской журналистике XIX в. «Библиотека для чтения» — вероятно, самый яркий пример неразрывной связи между судьбой журнала и судьбой одного литератора. История «Библиотеки для чтения» непонятна вне личной и литературной биографии ее основателя и редактора, Осипа Ивановича Сенковского.

Сенковский происходил из старинного, но обедневшего польского дворянского рода. Сначала Сенковский учился в Минском коллегиуме, затем в Виленском университете. В центре его научных интересов уже тогда стояло изучение Востока. В 1819 г. Сенковский окончил университет и предпринял путешествие на Восток.

В 1822 г. он получил в Петербургском университете две кафедры — арабского и турецкого языков.

К концу 1820-х годов Сенковский зарекомендовал себя как блестящий профессор-ориенталист, автор ряда специальных работ, из которых некоторые обратили на себя внимание европейских ученых. Однако через несколько лет Сенковский совершенно охладел к университету. Это совпало с началом его литературно-журнальной деятельности.

В 1833 г. Сенковский вошел в соглашение с книгопродавцем А. Ф. Смирдиным относительно издания с будущего года нового журнала «Библиотека для чтения», который был задуман как большое коммерческое предприятие. В объявлении Смирдина о новом журнале сообщалось, что он будет выходить под редакцией Н. И. Греча и О. И. Сенковского.

В реакции правительственных кругов на первый же номер «Библиотеки для чтения» сказалось глубокое недоверие к Сенковскому. А. В. Никитенко, цензуровавший «Библиотеку», 16 января 1834 г. записывает в своем дневнике: «На Сенковского наконец воздвиглась политическая буря. Я получил приказание смотреть как можно строже за духом и направлением „Библиотеки для чтения". Приказание это такого рода, что если исполнять его в точности, то Сенковскому лучше итти куда-нибудь в писаря, чем оставаться в литературе. Министр очень резко говорил о его „полонизме", о его „площадных" остротах и проч.». Уже в конце января 1834 г. Сенковский должен был номинально отказаться от редактирования журнала, оставив за собой фактическое руководство. Вскоре Сенковский заменил Греча И. А. Крыловым, роль которого была совершенно фиктивной.

В 1836 г. Сенковский получил возможность снова объявить себя редактором. Он напечатал по этому поводу весьма характерное обращение к публике: «Для отклонения неуместных догадок и толков считаем нужным сказать откровенно, что с самого начала существования этого журнала, как то почти всем известно, настоящим его редактором был всегда сам директор и общий с издателем владелец его О. И. Сенковский, и что н и к т о в свете кроме г. Сенковского не имел ни малей-

шего влияния на состав и содержание „Библиотеки для чтения". Все ее недостатки, равно как и все достоинства, если какие были, должны быть приписаны ему одному. Те, которые носили звание редакторов „Библиотеки для чтения", слишком невинны в ее недостатках, чтобы отвечать за них перед публикою, и слишком благородны, чтобы требовать для себя похвалы за достоинства, в которых они не имели никакого участия. Весь круг их редакторского действия ограничивался чтением третьей, последней корректуры, уже готовых, оттиснутых листов, набранных в типографии по рукописям, которые никогда не сообщались им предварительно».

Это извещение свидетельствует, конечно, о грубости журнальных нравов 1830-х годов, но в то же время оно совершенно правильно определяет роль Сенковского в «Библиотеке для чтения».

Сенковский выполнял по редакции огромную работу. Об этом свидетельствуют многие современники, в том числе ученик Сенковского П. Савельев: «При начале издания „Библиотеки для чтения" у Сенковского было лишь два постоянных сотрудника (если сотрудниками можно назвать скромных переводчиков)... Ни одна статья не миновала его редакции. Он выбирал статьи для переводов, для чего читал до двадцати иностранных журналов и газет; затем просматривал, дополнял, изменял сделанные переводы; вновь исправлял их в корректурах; и при всем том находил время писать собственные статьи для всех отделов журнала: в одном первом году издания они наполняли более шестидесяти печатных листов или около тысячи печатных страниц!».

В 30-е годы «Библиотека для чтения» пользовалась исключительной популярностью. В 40-е годы начинается падение журнала. Надвигалась эпоха обостренных идеологических противоречий, эпоха Белинского и Герцена. В русском обществе сформировался круг читателей, которых не удовлетворяла установка «Библиотеки для чтения» на беспринципную «развлекательность». Непоправимый удар нанесло «Библиотеке» появление «Отечественных записок» (1839). «Отечественные записки» были органом прогрессивной русской мысли; и в то же время в организации своего журнала Краевский удачно использовал опыт «Библиотеки для чтения». Вслед за Сенковским он создал журнал энциклопедического характера, журнал с солидной коммерческой базой, и все это в таком масштабе, о котором Смирдин и Сенковский не могли и мечтать. Конкурировать было невозможно. И Сенковский сразу охладевает к «Библиотеке для чтения», как прежде охладел к университету.

«Библиотека для чтения» была организована как журнал одного человека. Существовал известный круг писателей, печатавшихся в «Библиотеке», но настоящих сотрудников в этом журнале не было. Он держался только гигантской работоспособностью своего редактора, и с охлаждением Сенковского быстро пришел в упадок. С начала 1840-х годов «Библиотека для чтения» все больше и больше теряет ту занимательность, которая была ее главной силой.

С 1849 г. издание «Библиотеки» перешло к книгопродавцу Печаткину, который в качестве соредактора Сенковского пригласил А. В. Старчевского. Письма Сенковского к Старчевскому, относящиеся к началу 1850-х годов, производят тягостное впечатление. В этих письмах просьбы о выдаче сравнительно мелких денежных сумм перемежаются с упреками по адресу Старчевского, который настойчиво и ловко отстранял Сенковского от руководства журналом.

В 1856 г. тяжелые материальные обстоятельства вынудили Сенковского напечатать в «Сыне отечества» серию фельетонов «Листки ба-

рона Брамбеуса». В своих «Листках» Сенковский писал о чем угодно — начиная от сигар и музыкальных инструментов и кончая общественно-политическими вопросами, которые он трактует в духе либерализма 1850-х годов.

Фельетоны Сенковского доставили захудалому «Сыну отечества» несколько тысяч подписчиков. В начале 1858 г. Сенковский сотрудничал в юмористическом журнале «Весельчак», издававшемся Плюшаром. К последнему году жизни Сенковского относится также проект издания вместе с А. А. Краевским политической газеты. Краевский заинтересовался этим предложением. Переговоры были прерваны в связи с обострением болезни Сенковского.

4 марта 1858 г. Сенковский умер.

2. Направление и состав журнала

«Библиотека для чтения» — «журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод» — разделялся на семь отделов: «Русская словесность», «Иностранная словесность», «Науки и художества», «Промышленность и сельское хозяйство», «Критика», «Литературная летопись» и «Смесь». Журнал должен был выходить ежемесячно книжками объемом около двадцати печатных листов, но уже первая книжка содержала почти вдвое больше. Обложку украшали шестьдесят имен будущих сотрудников журнала — все сколько-нибудь популярные имена вошли в этот список. «Библиотека» печаталась на хорошей бумаге, хорошим шрифтом, с цветными картинками мод.

Аккуратность в выходе номеров журнала стала почти легендарной. А. П. Милюков вспоминает: «Рассказывают, что кенигсбергские жители поверяли часы по тому времени, когда Кант начинал свою утреннюю прогулку. Точно так же, если бы кто-нибудь в Петербурге забыл о наступлении первого числа, то ему напомнил бы об этом выход книжки журнала Сенковского... Точно так же аккуратен был Сенковский в расплате с сотрудниками: гонорар за статьи выдавали в конторе или присылали на дом в самый день выхода новой книжки».

«Библиотека для чтения» была первым русским журналом, организованным на чисто коммерческих основаниях. Сенковский, в качестве директора, получал 15 000 рублей в год. В январе 1834 г. А. В. Никитенко записывает в своем дневнике: «Наши почтенные литераторы взбеленились, что Смирдин платит Сенковскому 15 тысяч в год. Каждому из них хочется свернуть шею Сенковскому...».

Сенковский первый в России ввел стандартную полистную оплату — 200 рублей ассигнациями за лист оригинального материала и 75 рублей за лист перевода. При этом литературным корифеям платили гораздо больше (по 1000 рублей только за право внести их имена в список сотрудников). Пушкин за «Гусара» получил 1200 руб.; Крылов получал по 300 руб. за басню; Денис Давыдов — 300 руб. за печатный лист. Сравнительно невысокая подписная плата (50 руб. ассигнациями в год) была выгодна издателям, благодаря исключительно большому тиражу. В 1835 г. «Библиотека» насчитывала пять тысяч подписчиков, в 1837 — около семи тысяч; для того времени это была неслыханно высокая цифра.

«Библиотеку» читали во всех слоях русского общества, где только читали книги. Но у нее был и свой, специфический, ею созданный или по крайней мере ею воспитанный читатель. Белинский, с его замечатель-

ным социальным чутьем, сразу угадал этого читателя: «Тайна постоянного успеха „Библиотеки" заключается в том, что этот журнал есть по преимуществу журнал провинциальный и в этом отношении невозможно не удивляться той ловкости, тому уменью, тому искусству, с какими он приноравливается и подделывается к провинции... Представьте себе семейство степного помещика, семейство, читающее все, что ему попадется, с обложки до обложки; еще не успело оно дочитаться до последней обложки, еще не успело перечесть, где принимается подписка, и оглавление статей, составляющих содержание нумера, а уж к нему летит другая книжка, и такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая, говорящая вдруг одним и несколькими языками. И в самом деле, какое разнообразие! — Дочка читает стихи гг. Ершова, Гогниева, Струговщикова и повести гг. Загоскина, Ушакова, Панаева, Калашникова и Масальского; сынок, как член нового поколения, читает стихи г. Тимофеева и повести Барона Брамбеуса; батюшка читает статьи о двухпольной и трехпольной системах, о разных способах удобрения земли, а матушка о новом способе лечить чахотку и красить нитки; а там еще остается для желающих критика, литературная летопись, из которых можно черпать горстями и пригоршнями готовые (и часто умные и острые, хотя редко справедливые и добросовестные) суждения о современной литературе; остается пестрая, разнообразная смесь; остаются статьи ученые и новости иностранных литератур. Не правда ли, что такой журнал — клад для провинции?..» («Ничто о ничем)».

«Библиотека для чтения» в основном ориентировалась на провинциальное дворянство, на городское мещанство и чиновничество. Это был читатель 1830-х годов, т. е. читатель эпохи последекабристской реакции, эпохи идейного застоя и разложения, когда новые культурные силы, которым предстояло развернуться в следующем десятилетии, — только еще созревали. С каким же идеологическим багажом предстал Сенковский перед своим читателем?

Сенковский был буржуазно-мыслящим человеком и принадлежал к той категории литераторов 1830-х годов, которые делали ставку на преуспеяние. А в эту эпоху путь к преуспеянию на журнальном поприще шел только через сервилизм и служение правительственным видам. Поэтому Сенковский всячески подчеркивал свои верноподданические чувства.

Сенковский счел нужным во всеуслышание заявить о своей политической благонадежности именно в тот момент, когда он подготовлял выход своего журнала. В 1833 г., незадолго до появления извещения об основании «Библиотеки для чтения», Сенковский поместил в сборнике «Новоселье» фельетон «Большой выход у Сатаны». Там между прочим фигурирует: «...чорт старый, гадкий, оборванный, изувеченный, грязный, отвратительный... с большим пластырем, прилепленным сзади, пониже хвоста. Под мышкою торчала у него кипа бумаг, обрызганных грязью и кровью; на голове старая кучерская лакированная шляпа; трехцветная кокарда; за поясом кинжал и пара пистолетов; в руках дубина и ржавое ружье без замка. Карманы его набиты были камнями из мостовой и кусками бутылочного стекла. Всяк, и тот даже, кто не бывал в Париже, легко угадал бы по его наружности, что это должен быть злой дух мятежей, бунтов, переворотов... Он назывался Астарот». Астарот докладывает Сатане об июльской революции 1830 г., о польском восстании и о том, как он после трудов удалился в Париж, главную свою квартиру, и «от скуки написал ученое рассуждение: О верховной власти

сапожников, поденщиков, извозчиков, наборщиков, нищих, бродяг и проч.».

Сенковский внес в русскую журналистику характерные черты буржуазного сознания эпохи 1830—1840-х годов: холодный скептицизм, беспринципность, культ деловой инициативы и точных, практических знаний, понимаемых узко эмпирически. «Сенковский, — писал Герцен, — обруселый поляк, ориенталист и профессор, был очень остроумный писатель, большой труженик, но без всяких убеждений, если не называть убеждением полное презрение к людям и обстоятельствам, к убеждениям и теориям. Сенковский настоящий представитель того склада, какой общественное мнение приняло после 1825 года...» («О развитии революционных идей в России»).

Разнообразие материала в «Библиотеке для чтения» совмещалось с необычайным единством в подаче этого материала. Весь этот материал препарировался руками одного человека. Сенковский переделывал и посвоему комбинировал не только статьи, извлекаемые из иностранных журналов, но также и оригинальные произведения русских писателей. «Не раз случалось, — свидетельствует Савельев, — что он не дочитывал рукописи: повесть нравилась ему по сюжету — в голове его рождалась при ее чтении счастливая идея, как ее заключить — он отдирал конец рукописи и приписывал свой».

Своеобразные редакторские методы Сенковского вызвали бурю возмущения в литературном мире, поссорили его с множеством известных и малоизвестных писателей. Но Сенковский стоял на своем. В 1836 г., в связи с выходом книжки А. Емичева «Рассказы дяди Прокопия», он декларировал принцип редакторского вмешательства: «Есть писатели, которые пишут прекрасно в одной только „Библиотеке для чтения". У „Библиотеки для чтения" есть ящик — что уж таиться в этом! — есть такой ящик с пречудным механизмом внутри, работы одного чародея, в который стоит только положить подобный рассказ, чтобы, повернув несколько раз рукоятку, рассказ этот перемололся весь, выгладился, выправился и вышел из ящика довольно приятным и блестящим, по крайней мере четким... Говорят, что иные, воспользовавшись для славы и для разного другого прочего выгодами этого ящика, кричат потом в публике, что, дескать, их статьи перемолоты, переправлены, не то, что было. Чего тут жаловаться? Не хотите быть переправлены? Не суйтесь в «Библиотеку для чтения»!.. Печатайте свои произведения отдельными книжками или отдавайте их в такие журналы, которые под словом „редакция" понимают просто „чтение корректуры"! В „Библиотеке для чтения" редакция значит р е д а к ц и я в полном смысле этого слова, т. е. сообщение доставленному труду принятых в журнале форм обделки слога и предмета, если они требуют обделки...» (1836, т. XVII).

Редакторской правке, иногда самой фантастической, подвергалась и переводная беллетристика. Редакторское вмешательство Сенковского преследовало разные цели. Иногда он просто придавал занимательность третьестепенному литературному материалу; иногда осуществлял свои стилистические 'теории; 'иногда шел навстречу цензурным требованиям; иногда, наконец, прибегал к вставкам в чужие произведения в видах полемики или саморекламы.

Сенковский наложил руку на весь материал «Библиотеки для чтения», но в первые годы ее существования значительная часть этого материала принадлежала ему самому — во всех отделах журнала.

Сенковский печатался в своем журнале иногда под своей фамилией, обычно — под разнообразными псевдонимами: Барон Брамбеус, Тютюн-

джу-Оглу, Осип Морозов, Белкин, Снегин и пр. и пр. Самый постоянный и самый популярный из псевдонимов Сенковского — Барон Брамбеус.

«Барон Брамбеус» это не просто псевдоним, но уже персонаж, «литературная личность», со своей биографией, изложенной в «Фантастических путешествиях барона Брамбеуса».

Барон Брамбеус возник в 1833 г., еще до основания «Библиотеки для чтения» (так подписался Сенковский под своими первыми фельетоно-беллетристическими опытами «Незнакомка» и «Большой выход у Сатаны», напечатанными в сборнике «Новоселье»). Но полностью он реализовался именно на страницах этого журнала. Барон Брамбеус — это воплощение духа «Библиотеки», духа беспринципного скептицизма и мистификаторства. Барон Брамбеус проникает во все отделы журнала — то в «Литературной летописи» издевается над неудачливым поэтом, то мелькает среди заметок «Смеси», то вторгается в беллетристику. Так, например, в повести Рахманного «Катенька» читаем: «Подписчики разных газет и журналов, встретивши коляску на каменном мосту, приметив в руках незнакомца книгу в светло-малиновой обертке, разнесли по городу, одни, что приехал Бальзак, другие, что барон Брамбеус... Половина дворовых людей тотчас побежала доложить своим барыням, что шестерней в коляске проехал не гусарский офицер, а чорт: целых три улицы вдруг перекрестились со страху. Подписчики разных газет и журналов, люди, вообще не суеверные, еще более убедились в том, что это сам барон Брамбеус».

Подобные появления Барона Брамбеуса — результат редакторской работы Сенковского, и эти вставки преследовали не только цели саморекламы или литературной полемики, но и задачу создания проходящего литературного образа, который придавал особую занимательность и единство пестрому журнальному материалу.

По первоначальному замыслу Сенковского «Библиотека для чтения» в первую очередь должна была служить для русского читателя — популярной энциклопедией новейших достижений в области промышленности, техники, сельского хозяйства, естественных наук, медицины, искусства и литературы. По словам Дружинина, «Русские повести и стихи он ценил как приманку для людей непривычных к дельному чтению; Летописью своей он тешился, не признавая за ней какого-либо важного значения; но на отделы Наук, Иностранной словесности и Смеси было обращено с его стороны непрерывное и неусыпное внимание».

Отдел «Науки» «Библиотеки для чтения» открыл среднему русскому читателю 1830-х годов, не приученному к серьезному чтению, целый мир технических, естественно-научных, отчасти исторических и этнографических знаний. По большей части статьи этого отдела представляли собой компиляции, составленные на основании иностранных источников. Эти компиляции Сенковский умел облекать в общедоступную, занимательную форму. Но в научных статьях «Библиотеки» царит дух близорукого и узкого позитивизма, прикрываемого апелляциями к «мудрости божественного промысла» и т. п. Сенковский враждует по существу со всякой вообще философией, со всяким теоретическим обобщением в науке. Наука Сенковского — это факты, анекдоты, эксперименты, вопросы практического применения. Из этой науки, вместе с философией, исключена социальная проблематика.

Одним из самых важных отделов журнала был отдел «Промышленность и сельское хозяйство» — он несомненно доставил «Библиотеке» большой контингент читателей, особенно из числа провинциальных по-

мещиков».[1] В этом отделе печатались преимущественно статьи узкопрактического характера. Буржуазная направленность статей по вопросам промышленности совершенно очевидна. Они давали целый ряд конкретных указаний, рекомендовали вводить разные промышленные усовершенствования, употреблять более выгодный вид топлива (каменный уголь), сообщали о производстве искусственной соды и пр. и пр.

Капиталистическими тенденциями в общем проникнуты и статьи, посвященные сельскому хозяйству. «Библиотека» восхваляет фермерскую систему, отдает оброку предпочтение перед барщиной, осуждает институт дворовых людей, как непроизводительную трату рабочей силы и т. д. Однако «Библиотека» никогда не связывала экономические вопросы с политическими, в частности с вопросом о крепостном праве, что объясняется несомненно реакционностью русской буржуазии и русского капитализирующегося дворянства.

В отдел «Смесь» в фрагментарном виде попадал материал всех других отделов. Здесь печатались заметки научно-популярного характера, маленькие повести, сообщения о новых книгах и о событиях в литературном и театральном мире. Все это вперемежку с множеством анекдотов — исторических и современных, иностранных и отечественных.

Вот, например, оглавление отдела «Смесь» V тома «Библиотеки» (1834 г.): «Цвета в метеорологическом отношении. Пирмонтская пещера. Тяжеловесный чай. Русские подьячие XVII века. О том, как англичане учили африканский народ Булгамов брать взятки. Торговля в Сиерра-Леоне. Английская восточная Индия. Африканские поселенцы. Сражение тигра с крокодилом. Новый Вильгельм Телль. Охота за гиеною. Кулачные бои в Англии. Воздушное путешествие. Германские студенты. Книгоделие в Германии. Различное действие гор на легкие. Кровообращение в полипах. Лекарство против белого мышьяку. Смертность в С.-Петербурге. Ум норвежских орлов. Смышленность устриц. Промышленность материк и улиток. Потребление некоторых товаров в России. Вывозная торговля Англии. Торговые балансы. Новая ясновидящая. Психологическое исследование снов. Рендшит-Сим, царь Легорский и Кашмирский. Наполеон и английская капитанша» и т. д.

«Смесь», которая в других журналах являлась незначительным привеском, Сенковский превратил в один из центральных отделов «Библиотеки для чтения». Именно в этом отделе мог особенно широко развернуться Барон Брамбеус со своими мистификациями, буффонадами и остротами, с трюками и эффектами, рассчитанными на невзыскательный вкус читателей 1830-х годов.

3. Критика «Библиотеки для чтения»

Сенковский, так же как Булгарин и Греч, принадлежал к новому для России типу литераторов-профессионалов, сформировавшемуся на основе новых капиталистических отношений, постепенно проникавших во все области русской жизни. Для этих литературных дельцов характерны, с одной стороны, безоговорочная ориентация на установки правительства,

[1] Вот, например, состав этого отдела в VIII томе «Библиотеки» (1835 г.): О возделывании красильной цервы. Испытанное средство сохранять свежее молоко долгое время. Приготовление сыра из овечьего молока. Как делают молодые вина совершенно похожими на старые. Приготовление стали наподобие дамасской... Испытанные лекарства против некоторых болезней домашнего скота... Состав для писчих чернил... О настоящем положении сельского хозяйства в России и о причинах прошлогодних неурожаев и т. д.

с другой — откровенное потакание вкусам полукультурной дворянско-мещанской среды. Наряду с Булгариным и Гречем, Сенковский — крупнейший деятель того периода русской литературы, который Белинский уничтожающе назвал «смирдинским периодом». В «Литературных мечтаниях» Белинский писал: «Вы помните, как почтеннейший А. Ф. Смирдин, движимый чувством общего блага, со всею откровенностью благородного сердца, объявил, что наши журналисты потому не имели успеха, что надеялись на свои познания, таланты и деятельность, а не на живой капитал, который есть душа литературы; вы помните, как он кликнул клич по нашим гениям, крякнул, да денежкой брякнул и объявил таксу на все роды литературного производства; и как вербовались наши производители толпами в его компанию; вы помните, как великодушно и усердно взял он на откуп всю нашу словесность и всю литературную деятельность ее представителей! Вспомоществуемый гениями гг. Греча, Сенковского, Булгарина, Барона Брамбеуса и прочих членов знаменитой компании, он сосредоточил всю нашу литературу в своем массивном журнале. И что же вышло из этого великого патриотически-торгового предприятия?. .».

Именно «Библиотека для чтения» представлялась современникам венцом «смирдинского периода русской словесности», наиболее полным осуществлением всех его тенденций. Но Белинский с его демократическим жизнепониманием никогда не протестовал против литературного профессионализма, как такового, — он протестовал только против делячества и беспринципности в литературе. С иных позиций вела борьбу с торговым направлением в литературе группа бывших любомудров, снова объединившаяся с 1835 г. вокруг «Московского наблюдателя». В центре внимания этой группы также сразу оказалась «Библиотека для чтения». В первой же книге «Наблюдателя» в своей программной статье «Словесность и торговля» Шевырев писал: «На журналы я смотрю, как на капиталистов... Вот едет литератор в новых санях; ты думаешь, это сани? Нет, это статья „Библиотеки для чтения", получившая вид саней, покрытых медвежею полостью, с богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этот ковер, этот лак, чистый и опрятный, все это листы дорого заплаченной статьи, принявшие разные образы санного изделия. . .»

Но если «Библиотека для чтения» оказалась противопоставленной всем группировкам, с тех или иных позиций ополчавшимся против «торгового направления словесности», то среди представителей этого торгового направления рассчитывать на поддержку также не приходилось. Напротив того, там царила жесточайшая, безжалостная конкуренция. То обстоятельство, что «Библиотека для чтения» была самым доходным, самым обширным из литературно-коммерческих предприятий — превратило ее в объект особо непримиримой ненависти со стороны конкурентов.

Многолетняя борьба Сенковского с Булгариным и Гречем, и с Полевым (после закрытия «Московского телеграфа») — это борьба, в которой не скупились на обвинения скорее уголовного, чем литературного характера и не останавливались перед надругательством над семейной жизнью противника. При этом необходимо учесть особое положение Сенковского. В прошении Смирдина о разрешении издавать журнал и в программе «Библиотеки для чтения» всячески подчеркивался отказ нового журнала от литературной полемики. «„Библиотека для чтения" как журнал, имеющий в виду одну лишь общую пользу читателей, остается совершенно чуждым духу партий и не принадлежит ни к какому исключительному учению литературному. . . Для сохранения важности, приличной изданию, поочередно украшаемому всеми знаменитыми словесности

именами, „Библиотека для чтения" не входит ни в какие журнальные споры, не принимает никаких антикритик и не отвечает ни на какие выходки и брани». Этот документ был представлен Николаю I, который наложил следующую резолюцию: «Согласен; вообще желательно, чтобы обещание не подражать другим журналам подлою бранию было сдержано». После этого обещание превратилось в запрещение.

Вынужденный отказ от полемики имел для Сенковского свою положительную сторону. Он мог молчать, когда отвечать было невыгодно; когда нужно было отвечать, он с необычайной изобретательностью находил обходные пути для ответа.

В руках литераторов «торгового направления» эстетические оценки превратились в средство сведения счетов. Такую критику удобно было освободить от стремления к идеологической и эстетической обязательности.

Этот шаг не решился сделать ни Булгарин, ни тем менее Греч, от времени до времени считавший нужным облекать свою тактику в академические формы. Этот шаг сделал Сенковский — в первой же книге «Библиотеки для чтения» он во всеуслышанье провозгласил принцип вкусовой критики: «Беспристрастною критикою называю я то, когда по чистой совести говорю тем, которые хотят меня слушать, какое впечатление лично надо мною произвела данная книга. Но степень моего впечатления не есть правило для других. Критика в наше время сделалась картиною личных ощущений всякого, — всякого, одаренного от природы ясным чувством средств и способов, которыми изящное может производить полное и приятное действие над сердцем и воображением человека. О правилах нет и речи» (статья о «Торквато Тассо» Кукольника). В этой статье Сенковский протестует против попыток литературно-критических группировок руководить мнениями читателей, против «всякого рода посредников между умом и публикою» и утверждает, что «лучший и самый благородный центр соединения для литераторов — публика».

Узкий эмпиризм, столь характерный для Сенковского в области точных наук, он по существу вносил и в область искусства и гуманитарного мышления. Ничто не должно отвлекать читателя от самых легких путей, от путей безответственного скептицизма. Выброшенный Сенковским лозунг вкусовой, принципиально-беспринципной критики имел определенную социальную базу. Это лозунг, рассчитанный на читателя той эпохи, когда декабристская интеллигенция была разгромлена, а новая революционно-демократическая интеллигенция еще не успела окрепнуть.

Дикие оценки, какие «Библиотека для чтения» давала текущим литературным явлениям, долго не забывались. Русская литература в течение четверти века помнила, что Тимофеев был приравнен к Пушкину, а Кукольник провозглашен «русским Гете».

Нет сомнения, что оценки «Библиотеки» в значительной мере подсказывались чисто деловыми, полемическими, тактическими соображениями. Бранит ли, например, или восхваляет Сенковский роман Булгарина — это зависит исключительно от того, находятся ли они в данный момент в открытой вражде или между ними заключено кратковременное перемирие. Несуразные похвалы, расточаемые Кукольнику или Тимофееву, также могли иметь тактический смысл. Кукольник, Тимофеев и пр. — это было оружие в борьбе за овладение читающей публикой, в борьбе, которая велась против Пушкина и других корифеев русской литературы. Но восхваляемый «Библиотекой» писатель мог

в любой момент оказаться жертвой новой тактической комбинации Сенковского.

Нельзя, конечно, видеть в критических высказываниях Сенковского только голый расчет или желание одурачить публику. Сенковский сплошь и рядом бывал, повидимому, искренен в своем непонимании художественных ценностей. «Недостаточно объяснять его ошибки преднамеренностью, желанием посмеяться, ввести в заблуждение читателей или автора, — писал Чернышевский в «Очерках Гоголевского периода», — всему есть свои пределы; например, называть Тимофеева Пушкиным можно только тогда, когда сам не замечаешь различия между этими двумя писателями». Этому утверждению Чернышевского нисколько не противоречит то обстоятельство, что Сенковский вел упорную борьбу с «серобумажной продукцией».

Белинский развенчивал Бенедиктова или Марлинского в пору их величайшего успеха; он ополчался на явления в своем роде значительные, и потому, с его точки зрения, — особенно вредные. «Библиотека для чтения», напротив того, осторожна в обращении со всеми писателями, которых она считает хорошим товаром на читательском рынке. Зато она обрушивается на полуграмотных прозаиков и поэтов, на всевозможных графоманов, стоящих уже почти за пределами литературы.

Низкопробный материал был самым подходящим материалом для того фельетонно-критического жанра, который Сенковский культивирует в отделе «Литературная летопись». В «Литературной летописи» воцарился Барон Брамбеус, и с ним — интерес к шутке ради шутки и полное равнодушие к существу разбираемых книг. Рецензируемая книга — нередко только предлог для острот, для трюков, для забавных сюжетных построений.

Так, например, «Литературная летопись» вдруг получает название «Ночи Пюблик-Султан-Багадура» (1838). Рецензии на самые разнообразные книги — в том числе на математические и медицинские — включаются в обрамляющую новеллу, которая пародирует «1001 ночь». Пюблик-Султан-Багадур чудовищно скучает, и от скуки, сочетающейся с бессонницей, истребляет своих подданных. Притом он каждый вечер берет себе в жены новую девушку, и каждое утро очередную его жену зашивают в «мешок равнодушия» и бросают в «море вечного забвения». Наконец, дочь Капыджи-баши Брамбеуса-Ага-Багадура Критикзада сама пожелала стать женою Султана. С помощью своей сестры Иронизады Критикзада каждый вечер усыпляет своего грозного супруга, рассказывая ему содержание недавно вышедших книг или читая ему вслух отрывки. Брамбеус обеспокоен опасностью, угрожающей его дочери.

«Не опасайтесь, батюшка, прервала его Критикзада: я приняла все меры предосторожности. У меня спрятана была на всякий случай под подушкой четвертая книжечка, маленькая, но чрезвычайно сильная, сильнее бенгальского опиума. Этою книжечкою можно усыпить самого лютого минотавра. Посмотрите, батюшка!

«Она вынула из-за корсета и с торжественной улыбкою показала отцу — XII сонетов С. Стромилова. — Для большей безопасности сегодня я опять возьму с собою эти двенадцать сонетов, — промолвила она».

«Барон, — писал Чернышевский, — в отзывах о Гоголе отступал от постоянного правила своей критической деятельности: как можно менее говорить о замечательных явлениях словесности, чтобы избежать промахов в деле, для которого нужен вкус». Чернышевский считал, что для

этого имелись особые основания. Во-первых, Гоголь был одним из главных сотрудников пушкинского «Современника», в котором Сенковский в первый момент усмотрел опасного конкурента «Библиотеки для чтения»; во-вторых, Сенковский не мог не знать, что Гоголь был автором появившейся в первом номере «Современника» статьи «О движении журнальной литературы», специально направленной против «Библиотеки для чтения»; в-третьих, Сенковский наивно считал Гоголя своим соперником в качестве писателя-юмориста.

Первые отзывы «Библиотеки для чтения» о Гоголе («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Арабески») не слишком враждебны. О «Миргороде», например, было сказано: «Литература эта, конечно, невысока, эта публика еще одной степенью ниже знаменитой публики поль-де-коковой; однако, книга читается с большим удовольствием, потому что она писана слогом плавным, приятным, исполненным непринужденной веселости, для которой часто прощаешь автору неправильность языка и грамматические ошибки».

В XVI томе «Библиотеки» Сенковский помещает неподписанную рецензию Н. Полевого на «Ревизора». В основном его концепция сводится к тому, что способный писатель неизвестно зачем рассказал пошлый анекдот: «У г. Гоголя идеи нет никакой. Его сочинение даже не имеет в предмете нравов общества, без чего не может быть настоящей комедии; его предмет — анекдот... всем известный, тысячу раз напечатанный, рассказанный и обделанный в разных видах...». В предисловии к своим «Очеркам русской литературы» Полевой впоследствии заявил, что Сенковский «прибавил брани» в его отзыв о «Ревизоре». Нетрудно угадать, — что именно прибавил Сенковский в рецензию Полевого: «Кажется, что одна из котерий, которая чрезвычайно нуждается в примечательном таланте, для того, чтобы противопоставить его барону Брамбеусу, избрала его своим героем и условилась превозносить до небес каждое его сочинение, скрывая от него и от публики их несовершенства. Ежели это правда, то нельзя не предостеречь г. Гоголя, что он стоит на краю пропасти, прикрытой цветами, и может упасть в нее со всею своею будущею славой».

Резкую перемену тона по отношению к Гоголю и разговоры о «котерии», т. е. о пушкинской группе, Чернышевский и объясняет тем, что за время, которое прошло между рецензией на «Миргород» и рецензией на «Ревизора», успела появиться первая книжка «Современника» с полемической статьей «О движении журнальной литературы». Начиная с отзыва о «Ревизоре», «Библиотека для чтения» упорно преследует Гоголя. Особое негодование Сенковского вызывает появление «Мертвых душ», которые, по его мнению, — то же самое, что романы Поль-де-Кока, только еще «грязнее» (1842, т. LI).

Следует отметить в этой связи рецензию на «Череп» Дм. Хрусталева, чрезвычайно характерную для полемических методов Сенковского. В ней он, как обычно, обрушивается на «серобумажную» книжку, называет ее «непостижимой галиматьей» и в то же время рикошетом бьет по Гоголю: «Какой-то граф высватывает за кого-то какую-то Наталью у скупого опекуна, горького пьяницы. Венчают бедняжку насильно. Приезжает Ленский, любовник Натальи, с кинжалом в руке, и принуждает ее бежать. Бегут. Опекун, с Пролазовым, пьяным подьячим, и „Степкою", слугой своим, гонятся за ними. Дорогой мертвецки пьют. Степка пьет тоже и пьяный ложится с барином в бричку. Барин очнулся. Начинается подражание слогу г. Гоголя-Яновского:

„Стой, стой!" — закричал ужасным голосом Ржацкий. Бричка оста-

новилась. „Ах, ты, а н а ф е м а! Ах, ты, ш е л ь м а! — кричал он, таская Степку за волосы, который еще спал. — Встань, б е с т и я! Ах, ты м о ш е н н и к! Да, я тебя изувечу, к а н а л ь я! Я тебя изломаю как ч о р т а!"»

Сенковский враждебно встречал все, что возвышалось над уровнем эклектической, облегченной литературы. «Библиотека для чтения» упорно замалчивала Кольцова, а про Лермонтова писала: «Откровенно сказать, „Герой нашего времени" — не такое произведение, которым русская словесность могла бы похвастаться... Это, просто, неудавшийся опыт юного писателя...». По отношению к «Стихотворениям» Лермонтова Сенковский был снисходительнее — в 1840 г. он назвал их «милыми пьесами», а в 1843 утверждал, что Лермонтов «написав шутя пару томиков стихов и прозы... уже начинал чувствовать и отгадывать существование искусства...».

Сенковский усмотрел глубокие идеи и великие страсти в «Торквато Тассо» Кукольника, но большие явления литературной современности отталкивали его с такой же неизбежностью, с какой они привлекали Белинского. Редактор «Библиотеки для чтения», проповедывавший публике комфорт и упрощенную буржуазную цивилизацию, — как бы взялся ее защищать от разрушительной и от созидающей силы подлинного искусства. Он воздвигал барьер между русским читателем и той литературой, в которой слышались отголоски или предчувствия великих социальных потрясений.

Жуковский, Вяземский, Денис Давыдов, Баратынский, В. Одоевский и другие писатели, стоявшие на позициях, враждебных литературному меркантилизму, — рассматривали «Библиотеку для чтения» как необходимое зло; они печатались в ней за неимением собственного органа.

В 1836 г. Пушкин начинает издавать «Современник». В отличие от своих друзей, Пушкин был сторонником литературного профессионализма. Его возмущал не самый принцип издания журнала на коммерческих началах, но то, что это приводило Сенковского к откровенному потаканию мещанским вкусам и к угодничеству перед властями.

До 1836 г. отношения между Пушкиным и Сенковским были вполне корректными. Сенковский делал все возможное, чтобы привлечь Пушкина к участию в «Библиотеке для чтения». Пушкин напечатал в «Библиотеке» за первые два года ее существования — «Пиковую даму», «Гусара», «Песни западных славян», сказки «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О мертвой царевне и семи богатырях», «Кирджали», отрывки из «Медного всадника» и из «Истории Пугачева», несколько баллад и лирических стихотворений.

Известие о том, что Пушкин собирается издавать журнал, взволновало издателей «Библиотеки». В конце октября 1835 г. Пушкин писал Нащокину: «Смирдин уже предлагает мне 15 000, чтоб я от своего предприятия отступился, и стал бы снова сотрудником его Библиотеки. Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура — что с ними связываться невозможно». Убедившись в том, что Пушкин не отступится от своего предприятия, Сенковский заранее повел атаку. За несколько месяцев до выхода «Современника», в X томе «Библиотеки» Сенковский поместил свою повесть «Записки домового», в которой между прочим рассказывается о том, как «человек тридцать приятелей» тщетно пытались поднять «одну упавшую репутацию». В XIV томе «Библиотеки» появилась крайне оскорбительная для Пушкина заметка, вызванная тем, что Пушкин издал поэму Люценко «Вастола». Наконец, в XV томе,

в отделе «Смесь», «Библиотека» перешла в открытое наступление на «Современник»: «Африканский король Ашантиев, говорят, объявил войну Англии и уже открыл кампанию. Александр Сергеевич Пушкин в исходе весны тоже выступает на поле брани. Мы забыли сообщить нашим читателям об одном событии: Александр Сергеевич хочет умножить средства к наслаждению читающей публики родом бранно-периодического альманаха, под заглавием „Современник"... И еще этот журнал или этот альманах учреждается нарочно против „Библиотеки для чтения" с явным и открытым намерением — при помощи божьей уничтожить ее в прах. Что тут таится! Угрозы раздались уже в наших ушах, и вот мы сами добродушно спешим известить публику, что на нас готовится туча... Как горько, как прискорбно видеть, когда... гений, рожденный вить бессмертные венки на вершине зеленого Геликона, нарвав там горсть колючих острот, бежит стремглав по скату горы... Берегитесь, неосторожный гений! Последние слои горы обрывисты, и у самого подножья Геликона лежит Михонское болото — бездонное болото, наполненное черной грязью. Эта грязь — журнальная полемика, самый низкий род прозы после рифмованных пасквилей».

Угрозы Сенковского последствий не имели. В первом же номере «Современника» появилась знаменитая статья Гоголя «О движении журнальной литературы», целиком направленная против «Библиотеки для чтения», против Сенковского как представителя меркантильной и беспринципной журналистики. Гоголь в этой статье выступил от лица так называемой пушкинской группы, но отнюдь не от лица Пушкина. Статья Гоголя была помещена Плетневым и Вяземским без ведома Пушкина и вызвала его неудовольствие. Во-первых, Пушкин сочувствовал литературному профессионализму; во-вторых, ему было ясно, что редакция «Современника», поместив статью Гоголя, допустила две ошибки: она без особой нужды нажила опасного и беспощадного врага и как бы сразу оправдала утверждение Сенковского, что «Современник» основан со специальной целью противодействовать «Библиотеке для чтения» — и тем самым снизила задачи журнала. Пушкин счел нужным исправить эти ошибки. В III номере «Современника» он напечатал «Письмо в редакцию» «Тверского помещика» А. Б. (принадлежность письма Пушкину долгое время была неизвестна) — с возражениями на статью о движении журнальной литературы: «Неужто... цель „Современника" — следовать по пятам за „Библиотекой", нападая на нее врасплох и вооруженною рукою отбивая от нее подписчиков? Надеюсь, что опасении сии были лживы и что „Современник" изберет для себя круг действий более обширный и благородный». Не ограничившись этим, Пушкин сделал к письму А. Б. характерное редакционное примечание: «Статья О движении журнальной литературы напечатана в моем журнале, но из сего еще не следует, чтобы все мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостью и прямодушием, были совершенно сходны с моими собственными. Во всяком случае, она не есть и не могла быть программою „Современника"». Сенковский скоро убедился в том, что «Современник» не может соперничать с «Библиотекой» по части успеха у той публики, которая читала «Библиотеку», и полемика потеряла свою остроту.

Смерть Пушкина, с точки зрения Сенковского, окончательно обезвредила «Современник». Погибший Пушкин перестал быть конкурентом, и ему можно было воздать должное поминальными статьями.

Впрочем, и посмертно Сенковский пользуется именем Пушкина для различных своих целей; для того, например, чтобы свести счеты с Н. Полевым. Так, в XXI томе «Библиотеки» Сенковский напечатал прочувствованную статью Н. Полевого о Пушкине, а в XXVII томе, в рецензии на третий том сочинений Пушкина, писал о помещенных там эпиграммах, явно намекая на Полевого, Греча и других: «Странное чувство возбуждают теперь эти эпиграммы... Пушкин защищается ими от врагов своих, от своих зоилов! Враги Пушкина! Где же они теперь? Я вижу теперь одних только восторженных обожателей Пушкина... Если б Пушкин мог встать из своей бессмертной могилы, он наверное между этими восторженными обожателями своего гения с изумлением узнал бы знакомые зловещие лица злейших своих зоилов, прежнего времени». Или он злоупотребляет именем Пушкина для того, чтобы возвеличить Тимофеева. Через несколько месяцев после смерти Пушкина Сенковский писал, рецензируя стихи Тимофеева: «Вот четвертый русский поэт, для замещения, если возможно, Пушкина. Из всего числа поэтов, которых произвел Пушкин, г. Тимофеев едва ли не тот, чьи произведения соединяют в себе наиболее начал пушкинской поэзии. Г. Тимофеев, по выражению одной умной дамы, проложил себе тропинку подле столбовой дороги Пушкина, и идет по ней все вперед. У него заметно много пушкинской фантазии, много воображения, много огня и чувства... И еще одно из блистательных качеств Пушкина — остроумие» (1837, т. XXI).

4. Художественный материал в «Библиотеке для чтения»

Имена Пушкина, Жуковского, Д. Давыдова, Козлова постепенно исчезают из стихотворного отдела «Библиотеки для чтения» (дольше других печатается Козлов) и вытесняются именами Н. Кукольника, Бенедиктова, А. В. Тимофеева, П. П. Ершова, Бернета, Л. Якубовича и т. д. и т. д. В стихотворном отделе «Библиотеки» преобладают теперь две линии — с одной стороны, просто эпигоны пушкинской школы, мелкие поэты, которых Сенковский печатает для заполнения журнала; с другой стороны — «корифеи», но уже не корифеи литературы 1810-х и 1820-х годов, а корифеи вульгарного романтизма, любимцы публики 1830-х годов.

Начиная с 1836 г. они завоевывают стихотворный отдел «Библиотеки для чтения». Эту поэзию характеризует погоня за самыми «грандиозными» романтическими темами, превратившимися в элемент обывательской моды. Такова, например, излюбленная романтическая тема: тема поэта — вдохновенного жреца, гения, отвергнутого бессмысленной толпой. Если эта тема в ее идеалистическом, философском аспекте усиленно разрабатывалась поэтами «Московского вестника» и «Московского наблюдателя», то в вульгаризованном виде она обильно представлена на страницах «Библиотеки для чтения».

В XV томе, вместе с «Джулио Мости», «драматической фантазией» Кукольника на тему о вдохновенном художнике, погибающем в борьбе с низкой действительностью, напечатано стихотворение Тимофеева «Клад»:

В годину печалей, тоски и ненастья
Гонимый судьбою, презренный людьми,
Закованный в цепи тяжелой неволи,
Поэт безотрадный, небесный богач,
Громады сокровищ с слезами выносит...

Тут же стихотворение С***«Умирающий художник», герой которого восклицает:

О, тяжело с преполненной душою
Средь робких чад земли холодной жить!
Не в силах быть могучею рукою
Всех чувств души в твореньи проявить...

В XXXVIII томе подряд напечатаны: стихотворения Э. Губера «Поэт» и «Печаль вдохновения»; «Поэт и роза (из Шекспира)» С. Степанова; стихотворение Ершова «Сон», в котором некий голос свыше вещает поэту об его призвании.

Замечательно, что в том же XXXIX томе, где напечатан перевод трагедии Эленшлегера о художнике, затравленном толпой («Корреджио»), Сенковский поместил анонимно собственную свою повесть «Иван и Роза», в которой глумится над «непризнанным поэтом» Бирюлькиным. «Бирюлькин стал писать стихи. Ему и его приятелям они казались чудесными. Он был в восхищении от своего гения... Толстая тетрадь стихотворений была уже готова... Бирюлькин воспел в ней все, что только заслуживает восторга избранных и удивления толпы: тут были стихи — К ней — К луне — К морю — Ветер — Волна — Мечта — Вдохновение — Поэт — Кудри[1] — Тройка — еще Тройка — еще Тройка — и еще Тройка...[2] Словом, все элементы поэтической знаменитости и умственного величия. Слава и богатство... Что презренная толпа может дать более?.. Слава и богатство должны были немедленно явиться наградою от презренной толпы поэту, который великодушно благоволил сообщить ей сокровища души своей, свои заветные мысли о столь важных для человека вопросах, каковы кудри — она — мечта — луна — волна — тройка — еще тройка — и еще тройка».

Сенковскому с его коммерческим подходом к литературному делу, с его установкой на угождение вкусам публики, установкой, возведенной в теорию и принцип, вся эта концепция гениальной личности, парящей над миром, была в высшей степени чужда. Если он охотно печатал упражнения на эту тему Кукольника, Тимофеева, Ершова, С. Степанова и других, то именно потому, что эта литература устраивала его своей внешней доходчивостью и занимательностью и своей внутренней пустотой. Это было как раз то, что он считал нужным давать публике — эффектная смесь чужих достижений, эклектический романтизм, возбуждающий воображение, и притом внутренне обезвреженный, не опасный для общественных устоев.

Стихотворный отдел «Библиотеки для чтения» до известной степени складывался случайно. Как все журналисты 1830-х годов, Сенковский считал стихи второсортным товаром и гораздо больше внимания уделял прозе. Сам он был прозаиком. Несмотря на то, что в беллетристическом отделе «Библиотеки» заметна тенденция к объединению всех сколько-нибудь популярных имен (там печатались Пушкин, В. Одоевский, Д. Давыдов, Марлинский, Даль, Полевой, Ушаков, А. Степанов, Бегичев и др.) — Сенковский в этом отделе в произведениях второстепенных писателей проводит определенную линию.

---

[1] Это едва ли не издевательство над Бенедиктовым, которого Сенковский печатал в «Библиотеке» с величайшей готовностью. В «Библиотеке» были напечатаны и знаменитые «Кудри» Бенедиктова (1836, I, XIV).

[2] Очевидно, намек на стихотворение П. Вяземского «Тройка мчится, тройка скачет», которое в 1837 г. было напечатано во II части альманаха «Новоселье» под заглавием «Еще тройка».

К литературе с острой социальной проблематикой и реалистическими тенденциями Сенковский относится решительно враждебно. Он выступает и против Гоголя и натуральной школы в России и против передовой литературы Франции. Сенковский избрал по отношению к ним враждебную позицию прежде всего потому, что «Библиотека» раз навсегда взяла курс на лойяльность и поддержку официальных, одобренных правительством точек зрения. Этому дельцу и литературному коммерсанту, человеку капиталистической закваски, несомненно был противен дух гуманизма и демократизма и социалистические тенденции в литературе. Характерным образом Сенковский полемизирует с Гюго. По его словам, Гюго «поучает богатого делиться своим избытком с бедным, стращает его, в случае неповиновения, гневом нищих. Лучше бы г. Гюго поучал бедняка трудиться, быть деятельным и проч. Но это глупое благоговение перед бедным, перед его неспособностью и ленью — в большой моде у известного класса французских писателей. Они все добродетели зашивают в лохмотья».

В статье «Брамбеус и юная словесность» (1834, т. III), Сенковский отчетливо раскрыл социальный смысл своего отношения к левому французскому романтизму: «Юная словесность... не есть литературная школа: это прямо вторая французская революция в священной ограде нравственности, затеянная со всею легкомысленностью и производимая со всем неистовством и остервенением, свойственными народу, который произвел и обожал Марата, Робеспьера, Сен-Жюста; и чернильные тюрьмы, казни, эшафоты, — и это безверие, скептицизм, ужас и бесстыдство в драме, романе и повести, — и эти кровь и буйства на страницах легкого и приятного чтения, происходят от того же умственного недуга, который за 40 лет перед сим усеял Францию политическими развалинами и трупами... И не утверждайте, прошу, чтоб в этой школе ужасная, бесчеловечная философия... была случай, прибавка, независимая от начал и форм художества, индивидуальность писателей, которую легко можно отделить от их образа, создания и изложения. Отнюдь нет! На ней-то именно основаны литературные формы этой школы; она-то и доставляет ей все пружины действия и все средства впечатления: создание, слог, фигуры в точности подобраны к основным ее понятиям, и суть только словесное выражение ее духа».

И все же Сенковский не мог обойтись в своем журнале без «неистовых писателей» — они были слишком актуальны. Он печатает их, однако, в препарированном виде. Удивительные переделки, которым в «Библиотеке» подвергались произведения иностранной литературы, отчасти вызывались цензурными требованиями; это явствует, например, из письма Сенковского к Никитенко по поводу романа Евгения Сю: «Окончание романа такое нравственное, что, право, совестно. Не станут верить. Скажут: Жан Поль Рихтер, а не Сю. Все сцены предрассудительные и даже только сомнительные просто уничтожены. Перипетия совсем другая. Сципион вылезал в окошко, когда отец поставил полицейских у ворот, свернул себе шею — и все пришло в порядок. Весь сен-симонизм — прочь, вон. И даже понять нельзя, отчего и как Баскина и Кукла умирают вместе. Говорю я Вам — не развязка, а чудо. Сам я в удивлении от своей изобретательности. Сто лет читая, не найдете ни одного слова для красных чернил».

Здесь речь прямо идет о цензурных требованиях, но тон нигилистического презрения относится к социальным идеям левых французских романтиков.

«Библиотека для чтения» теоретически и практически пропагандировала «светскую повесть», противопоставляя ее опытам натуральной школы. Произведения натуральной школы квалифицируются как «низкие», «грязные». Причем по своему обыкновению Сенковский ведет в «Литературной летописи» борьбу с третьесортными, иногда просто безграмотными книжками, претендовавшими на подражание натуральной школе или французскому социальному роману. Этой макулатуре Сенковский и противопоставляет свой идеал светской повести, изображающей изысканные чувства людей «образованного общества».

Пропаганда светской повести тесно связана с позицией Сенковского в вопросах языка и стиля, с его установкой на разговорный язык «образованного общества».

Сенковский ведет беспощадную борьбу с архаизмами, славянизмами и проч. С особым ожесточением преследовал он славянизмы, ассимиллированные канцелярской речью: «Сей, оный, вышереченный». Его вражда к «сим» и «оным», которым он посвящал целые памфлеты, положительно приняла маниакальный характер и стала анекдотической.

В письме по поводу «Пиковой дамы» Сенковский пытается придать вопросу о светской повести принципиальное значение. Попытка тщетная — по существу рядовая светская повесть «Библиотеки для чтения» была приноровлена к вкусам провинциальных помещиков и городских чиновников и мещан. Для них это была повесть о «красивой жизни» с графами и князьями и с тонкими чувствами.

Светская повесть «Библиотеки», с ее упрощенным психологизмом, явно ориентируется на модную французскую словесность, не избегая и романтических ужасов. В повести Рахманного (Н. Н. Веревкина) «Кокетка» (1836, т. XVIII) рассказано о том, как светская красавица хладнокровно разбивает сердце благородного юноши. В припадке исступления герой нечаянно обливает героиню купоросным маслом, которым он хотел отравиться. Героиня обезображена и кончает самоубийством, герой сходит с ума. Ужасы «юной словесности» — налицо, но они переосмыслены сентиментально моралистическим тоном. В других случаях «ужасы» нейтрализуются не столько моралью, сколько шутовством, пародийно-мистификаторским стилем школы Барона Брамбеуса.

Для повести «Библиотеки» образцом является французская литература 1830-х годов, ставившая проблемы брака и свободы женщины, — но идеология и мораль вывернуты в «Библиотеке для чтения» наизнанку. Любовник — это памфлет против разочарованных, протестующих героев, недовольных устоями общества, причем «байронический герой» сливается уже с героем «неистовой словесности». Жена — памфлет против новой женщины, женщины романов Жорж Занд. Таковы, например, повести Рахманного «Один из двух» (т. XIX) и «Женщина-писательница» (т. XXIII), анонимная повесть «Московский европеец» (т. XX), повести Д. Ерлыковского «Перчатка» (т. XXXIX) и Александры С-ой «Земной ангел или своенравие» (т. XV).

Эту линию Сенковский проводит в произведениях молодых писателей (особенно Рахманного), им воспитанных и всецело находившихся под его влиянием. Выученики Сенковского пытаются взять от французского левого романтизма все, что они считают эффектным и занимательным, и в то же время вытравить из него идеологию отрицания, разочарования, социального протеста. Сентиментальная мораль чередуется с беспринципной иронией. Примитивная охранительная мораль повестей

«Библиотеки для чтения» выражала ту ориентацию, которую Сенковский считал наиболее подходящей для своего журнала.

Беллетристический отдел журнала приобретает определенную целеустремленность. «Библиотека для чтения» с ее скептицизмом, эмпиризмом, с ее установкой на «развлекательность», с ее холодным шутовством и буржуазной моралью — при всей беспринципности отличалась неким единством взглядов и стиля. Белинский, презиравший Сенковского и его журнал, в 1840 г. писал Боткину, что, — если не считать «Отечественных записок», — то из всех русских журналов, «направление, характер и единство» «есть только в одной похабной „Библиотеке для чтения"».

ГЛАВА XIV

Н. И. Надеждин. „Телескоп" и „Молва"

Н. И. Надеждин (1804—1856) — весьма противоречивая фигура. Путь Надеждина от с. Белоомута Зарайского уезда Рязанской губ., где его отец был сельским священником, через провинциальную семинарию, духовную академию, а потом учительскую работу, до профессуры в Московском университете — был путь талантливого выходца из разночинской среды к вершинам тогдашней образованности и культуры.

Сложность идейного облика Надеждина состоит в том, что сам он принципиально не отделял себя от защитников старины, между тем как объективно его идеи, вся его деятельность, предвещали новый этап в эстетике и в литературной критике.

1. Критическая деятельность Надеждина в «Вестнике Европы» 1828—1830 гг. Мировоззрение Надеждина

Литературная деятельность Надеждина началась в 1828 г., в «Вестнике Европы». В последние три года издания этого журнала Надеждин был самым активным его сотрудником. При Надеждине «Вестник Европы» не только ожил, но и сделался боевым журналом. Надеждин печатал здесь философские, исторические и критические статьи, переводы, рецензии и т. д. Первым нашумевшим его выступлением был критический фельетон под псевдонимом экс-студента Никодима Надоумки «Литературные опасения за будущий год» (1828, №№ 21 и 22). Вслед за этим фельетоном последовали и другие подписанные тем же псевдонимом, — «Сонмище нигилистов» (1829, №№ 1 и 2), «Две повести в стихах: Бал и Граф Нулин» (1829, №№ 2 и 3), о «Полтаве» Пушкина (1829, №№ 8 и 9), об «Иване Выжигине» Ф. Булгарина (1829, №№ 10 и 11) и другие.

По поводу статьи «Литературные опасения» Чернышевский в «Очерках Гоголевского периода» говорит: «Все в ней было необычайно, все показалось странно и дико: и греческий эпиграф из Софокла, и подпись: «Экс-студент Никодим Надоумко. Писано между студенства и поступления на службу. Ноября 22, 1828. На Патриарших прудах», — и диалогическая форма: статья начинается довольно длинным вступлением в повествовательном роде, как экс-студент Никодим Аристархович Надоумко, в своей одинокой каморке, на Патриарших прудах, размышлял о наступающем новом годе, как влетел в эту каморку его знакомец, записной поэт Тленский, осыпав его брызгами с опушенного снегом воротника шубы и как завязался между Тленским и экс-студентом разговор о литературе». Чернышевский говорит далее, что «необычайна была и вся внешность статьи, наполненной латинскими фразами, латинскими, немецкими и английскими стихами, усеянной упоминаниями об известных и мало известных исторических именах и фактах, проникнутой стремлением

к неведомому тогда у нас юмору. Но нелепее всего показалось самое направление статьи: в ней доказывалось, что блестящая, повидимому, тогдашняя литература наша в сущности представляет очень мало утешительного; что лучшие наши тогдашние поэты не выдерживают критики, потому что таланты их не развиты ни образованием, ни жизнью, так что сами они не знают, как, что, зачем и почему они пишут. . .».

В «Литературных опасениях» и других своих критических фельетонах Надеждин боролся с господствовавшим романтическим направлением. Надеждин доказывал, что так же как древнему миру был свойственен классицизм, романтизм — свойственен только средневековью. С точки зрения Надеждина, новое время должно было принести с собой и новое искусство. Защищая это новое искусство, диалектически объединяющее классицизм и романтизм, Надеждин указывал, что французский классицизм был явлением ненормальным, так же как ненормален и новейший романтизм или псевдо-романтизм по его терминологии.

В своих критических фельетонах Надеждин выступил не только против Полевого, как одного из виднейших апологетов романтизма, но он обрушился на русских подражателей Байрона, а также и на Пушкина. В соответствии с своей трактовкой романтизма, как выражения либерализма, в Пушкине Надеждин увидел вожака современного литературного «нигилизма», «покушающегося ниспровергнуть до основания священный оплот общественного порядка и благоустройства». В творчестве Пушкина Надеждин не усматривал никакого идейного содержания, а в связи с «Графом Нулиным» обвинял поэта в безнравственности и «натурализме», указывая, что поэзия Пушкина есть просто пародия и что сам Пушкин — «гений на карикатуры». Критикуя Пушкина, Надеждин делал прямые намеки на восстание 14 декабря и характеризовал пушкинскую поэзию как «будуарное удальство и площадное подвижничество озорничающего русского барича».

Одновременно Надеждин боролся и с Н. Полевым, также не отделяя полемики по эстетическим вопросам от попыток политической дискредитации своего противника. Когда Полевой одновременно с Булгариным выступил против Пушкина и «Литературной газеты», Надеждин резко переменил тон по отношению к Пушкину. В статье о седьмой главе «Евгения Онегина» (1830, № 7) Надеждин писал о Пушкине как о мастере «поэтических безделок», т. е. ничего не меняя в существе своих прежних оценок, но уже к этим «безделкам» он отнесся с сочувствием. В той же статье Надеждин прямо намекал, что в борьбе с Полевым и Булгариным он готов итти на сближение с Пушкиным.

Критические фельетоны Надеждина характерны не только непониманием Пушкина, но и резкостью тона и специфическими методами аргументации. На эти методы указывал Вяземский, говоря, что фельетоны Надеждина являлись «доносом на романтизм».

Расшифровка сущности романтизма, как «чада безверия и революции», действительно была на руку николаевской реакции. Но наряду с отрицательными сторонами, в фельетонах Надеждина были и здоровые, прогрессивные элементы.

Первый в истории русской критики Надеждин поставил проблему преодоления романтической эстетики, он указал на ограниченность романтизма, он заговорил о социальном смысле художественного творчества, о связи искусства с жизнью.

Теория нового синтетического искусства, которую Надеждин обосновывал в своих фельетонах, а полнее и глубже развил в своей докторской диссертации «О начале, сущности и участи поэзии, романтической на-

зываемой» (1830) — эта теория была шагом вперед в развитии русской критики.[1]

Впоследствии Белинский писал, что и в фельетонах Надеждина и в его диссертации «можно было заметить, что противник романтизма понимал романтизм лучше его защитников, и был не совсем искренним поборником классицизма так же, как не совсем искренним врагом романтизма». В этом отзыве Белинского очень глубоко и тонко подчеркнута противоречивость литературно-критических взглядов Надеждина. Белинскому, который вообще не склонен был преувеличивать заслуг Надеждина, было, однако, совершенно ясно, что деятельность Надеждина явилась плодотворной для развития русской критики.

«Надеждин первый сказал и развил истину, — отмечал Белинский, — что поэзия нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не греки и не римляне), ни романтическою (ибо мы не палладины средних веков); но что в поэзии нашего времени должны примириться обе эти стороны и произвести новую поэзию» (рецензия на сборник «Сто русских литераторов», 1841).

Основные положения диссертации Надеждина можно охарактеризовать следующим образом. Развиваются «два различные стремления, коих взаимным противоположением держится вся жизнь мужающегося духа человеческого: стремление вне себя, расширительное, средобежное, и стремление внутрь себя, самовозвратное, средостремительное». «Расширительное средобежное стремление» является основой древнего мира и классицизма как его выражения в искусстве. Гений древнего мира — Гомер. Стремление внутрь себя, «самовозвратное», является основой средневековья и его выражения в искусстве — романтизма. Гений средневековья — Шекспир. Конец древнего мира знаменует конец классицизма, конец средневековья — романтизма. Французский классицизм XVII в., по терминологии Надеждина, есть уже «псевдо-классицизм», т. е. явление ненормальное. Точно так же ненормален и романтизм — «псевдо-романтизм», вызванный к жизни Германией. Новое время должно принести с собой и новое искусство, объединяющее классицизм и романтизм.

«И — кажется, сама природа, — писал Надеждин, — наводит нас на решение великой задачи — возвести п о л я р н у ю противоположность, ими выражаемую, к средоточному единству, не через механическое их сгромождение, но чрез внутреннее динамическое соприкосновение и срасление, так чтобы все мраки противоречий, чреватые пагубными заблуждениями, рассеялись — и воцарился ясный день тишины, мира и гармонии». «Псевдо-классицизм» шел из Франции, «псевдо-романтизм» из Германии. И подобно тому, как «человек классический» и «человек романтический» упирались «в крайности», так упираются в крайности «подновленный классицизм» и «омоложенный» романтизм.

Выражением «крайностей» «псевдо-классицизма» явился Вольтер и французская революция 1789 г.; еще большую революционную опасность Надеждин усматривал и в «псевдо-романтизме». «Кровь стынет в жилах от ужасов, расточаемых ныне с столь добродушною щедростью во имя романтической поэзии. Нет столь лютого злодеяния, которое признавалось бы недостойным составлять узел или развязку поэтического произ-

---

[1] Диссертация издана на латинском языке под заглавием «De origine, natura et fatis Poëseos, quae Romantica audit». Русского перевода диссертации не имеется. На русском языке появились только два отрывка — в «Вестнике Европы» (1830, №№ 1 и 2) и в «Атенее» (1830, № 1).

ведения; нет той гнусной мерзости, которая бы считалась несовместною с прелестями эстетического изящества».

В своей диссертации Надеждин направляет огонь именно против романтизма как господствующего течения на Западе. И когда произошла революция 1830 г. во Франции, она совершенно потрясла Надеждина, поскольку в ней он увидел как бы подтверждение своих эстетико-философских прогнозов. Глава романтической школы — Виктор Гюго — оказался в лагере приветствующих революцию.

Итак, классицизм, принадлежащий античности, и романтизм — средневековью — есть полярные противоположности «бесконечного»; они противостоят друг другу как объект и субъект, как тезис и антитезис диалектического ряда. Такие же противоположности «псевдоклассицизм» и «псевдоромантизм», но уже противоположности ненормальные. И они должны быть диалектически сняты. «Наш век, — пишет Надеждин, — как будто соединяет, или по крайней мере стремится к соединению сих двух крайностей, через упрочение, просветление и торжественное на алтаре истинной мудрости освящение уз общественных». Воплощением «абсолютного» и родиной новой синтетической культуры и искусства Надеждин объявляет Россию. «Род человеческий, уже дважды живший и отживавший полную жизнь мужества, по всем приметам вступает ныне в новый, т р е т и й период существования. И никак невозможно подавить в себе тайной приятной уверенности, что святая мать Русь, дщерь и представительница великого славянского племени, назначается манием неисповедимого промысла — разыгрывать первую роль в новом действии великой драмы судеб человеческих, и что, может быть, она будет для времен, грядущих тем же, чем некогда были Пелазги для классического мира и Тевтоны для мира романтического».

Согласно Надеждину новый век не мог быть «ни невольником вещественной необходимости», ни «игралищем» призраков собственного своего воображения. Философско-эстетическая программа Надеждина требовала «соединить идеальное одушевление средних веков с изящным благообразием классической древности, уравновесить душу с телом, идею с формой, просветить мрачную глубину Шекспира лучезарным изяществом Гомера».

Надеждин доказывал, что «истинное познание изящного» возможно «только при участии всех сил мыслящего духа». Предпочтение какой-нибудь одной из них есть искажение и «исступление». Считая себя поклонником «Системы тождества» Шеллинга и столько говоря об «абсолютном», Надеждин по существу стремился высвободить искусство от служения трансцендентным целям.

Что такое, с точки зрения Надеждина, идеал гармонического взаимопроникновения духа и материи? Это есть сама действительность, отвечал Надеждин, не видя того, что такой вывод, будучи доведен до логического конца, взрывал и опрокидывал его схоластическую диалектику. «Метафизическим исступлением» была для него и борьба классов, в частности — революция 1830 г. во Франции. Согласно взглядам Надеждина революция была выражением того же «псевдо-романтизма», т. е. духа, развитие которого перешло через свою меру.

Философско-эстетические и общественно-политические взгляды Надеждина являются, таким образом, неразрывно спаянными и составляют единое и при всей своей противоречивости цельное мировоззрение. Политическая консервативность пронизывала насквозь концепции Надеждина. Но вопреки своим политическим убеждениям, Надеждин предсказывал искусство будущего. Именно потому суждения Надеждина и «предста-

вляют странный хаос, ужасную смесь чрезвычайно верных и умных замечаний с мнениями, которых невозможно защищать, так что часто одна половина статьи разрушается другою половиною». Так писал о Надеждине Чернышевский, исключительно высоко его ценивший и называвший одним из «замечательнейших людей в истории нашей литературы, человеком замечательного ума и учености».

В 1831 г., защитив диссертацию на степень доктора этико-филологического отделения Московского университета, Надеждин получил в университете кафедру теории изящных искусств и археологии. На университетских лекциях Надеждина воспитывались Н. В. Станкевич, Н. П. Огарев, К. С. Аксаков, И. А. Гончаров и другие деятели русской литературы. Станкевич сказал как-то К. Аксакову, что Надеждин «много пробудил в нем своими лекциями, и что если он [Станкевич] будет в раю, то Надеждину за то обязан».

Став профессором Московского университета, Надеждин в том же 1831 г. приступил к изданию собственного журнала. Ко времени основания «Телескопа» и «Молвы» в Москве прекратили свое существование четыре литературных журнала — «Вестник Европы», «Московский вестник», «Атеней» и «Галатея». Единственным конкурентом «Телескопа» оставался в Москве журнал Н. Полевого «Московский телеграф», в эту пору примирившийся с «Северной пчелой» Булгарина.

2. Три периода в истории «Телескопа» и «Молвы». Программа изданий и круг сотрудников

«Телескоп», «журнал современного просвещения», издавался с 1831 по 1836 г. с приложением «Молвы», газеты «мод и новостей». Журнал выходил два раза в месяц, книжками от 7 до 9 печатных листов, газета же — то еженедельно, как в 1831, 1834, 1835 и 1836 гг., то два раза в неделю, как в 1832 г., то три раза, как в 1833 г.; в 1834 и 1836 гг. «Телескоп» и «Молва» выходили объединенными, причем «Телескоп» за эти годы был превращен в еженедельник (при сохранении, однако, того же листажа за две недели, т. е. от 7 до 9 печатных листов), а «Молва» — в критико-библиографический отдел «Телескопа».

История «Телескопа» и «Молвы» делится на три неравных периода: первый период охватывает четырехлетие с небольшим, когда во главе изданий стоял Н. И. Надеждин и единолично ведал делами редакции (до его отъезда за границу 8 июня 1835 г.); второй период — когда журнал временно выходил под редакцией В. Г. Белинского (с июня до середины декабря 1835 г.); третий период — вновь редакции Надеждина, но при ближайшем сотрудничестве Белинского — до запрещения изданий в связи с опубликованием в «Телескопе» «Философического письма» П. Я. Чаадаева.

«Телескоп» заключал в себе следующие отделы: «Современная летопись», «Критика», «Науки», «Нравы» или «Сцены из общественной и частной жизни», «Смесь». Был выделен также особый отдел «Знаменитые современники», в котором давались критико-биографические, портретные характеристики крупнейших западноевропейских деятелей философии, искусства, литературы, политики и пр. Журнал был задуман как энциклопедический, но, естественно, что подавляющее большинство материала было посвящено вопросам литературы и искусства, поскольку, по воззрениям редактора-издателя, «полнейшим и торжественнейшим откровением жизни представляются всегда искусства». В «Телескоп» отходил серьезный материал; листки «Молвы» отводились под легкие

фельетоны и полемику, хронику, театральные рецензии, стихи к случаю; здесь же в приложении давались модные картинки.

Надеждин стремился сделать свой журнал «указателем современного просвещения», причем особенно подчеркивал, что «Телескоп» будет «собственно русский журнал».

В декларативной статье «Современное направление просвещения» Надеждин писал: «Наше отечество весьма недавно привилось к живому организму Европы и посему просвещению еще некогда было в нем разростись и вызреть. Без оскорбления патриотической нашей гордости мы должны сознаться, что оно пока еще в поре надежд, но зато — каких надежд? . . .».

С точки зрения Надеждина, «образование нашего отечества идет совсем не так, как шло образование Европы». Россия будто бы не имеет «прошедшего», заявлял Надеждин, ее история началась лишь с Петра I и только за последнее пятнадцатилетие она «сопричислилась к семейству просвещенной Европы». Темпы развития России совсем иные, чем Западной Европы. «Если сто лет только потребно было для русского духа, чтобы настичь Европу, ушедшую от него тысячелетием: то — долго ли обогнать ее? . .». И дальше следовал вывод о «великом всемирном назначении» России. Если мы не имеем прошлого, говорит Надеждин, то за то будущее превзойдет все ожидания. «Тучи бродят над Европой, — заканчивал Надеждин свою статью, как бы намекая на июльскую революцию во Франции, — но на чистом небе русском загораются там и здесь мирные звезды, утешительные вестницы утра. Всегда ль должно будет их разглядывать в телескоп? . . . Придет время, когда они сольются в яркую пучину света».

Так, вплоть до заглавия журнала, обосновывал Надеждин идейное направление «Телескопа». В качестве эпиграфа, символизирующего это направление были взяты слова Альфиери «Che chi ha i duo occhi, il veda» («Что кто имеет два глаза, тот видит»). Эпиграф продержался пять лет и только в 1836 г. изречение Альфиери сменилось тезисом «Nosce te ipsum» («Познай самого себя»). Мы увидим ниже, что изменение эпиграфа было связано с выступлениями «Телескопа» против «Московского наблюдателя».

Надеждин объединил в «Телескопе» и «Молве» многих участников прекратившихся «Московского вестника», «Атенея» и «Галатеи». Сотрудниками изданий Надеждина стали Погодин, Шевырев, Ив. Киреевский, Хомяков, В. П. Андросов, Н. А. Мельгунов, М. А. Максимович, Ф. Л. Морошкин, М. Г. Павлов, Раич и др. В отдел изящной словесности были привлечены Загоскин, Лажечников, Квитка и др.; сотрудничали также Н. Ф. Павлов, Полежаев, Тютчев. Из слушателей Надеждина по Университету в журнале печатали свои стихотворения Станкевич, К. Аксаков, В. И. Красов; переводы — Огарев, И. А. Гончаров, М. Б. Чистяков и др. В 1833 г. к участию в «Телескопе», сначала в качестве переводчика, был привлечен В. Г. Белинский, уже в 1834 г. на страницах «Молвы» дебютировавший знаменитыми «Литературными мечтаниями» (№№ 38—52). Выступление Белинского вызвало резкое осуждение со стороны части сотрудников «Телескопа», которые с 1835 г. объединились в «Московском наблюдателе». С основанием «Московского наблюдателя» прекратили сотрудничество в «Телескопе» Погодин, Шевырев, Ив. Киреевский, Хомяков, Андросов, Мельгунов, Н. Ф. Павлов.

В пору «временной редакции» Белинского в «Телескопе» и «Молве» начал печататься Кольцов, введенный в литературу Станкевичем,

а с 1836 г., после возвращения Надеждина из-за границы, сотрудниками «Телескопа» и «Молвы» стали М. А. Бакунин, А. И. Герцен, И. И. Панаев, В. П. Боткин, П. Н. Кудрявцев и др.

3. «Телескоп» в 1831—1832 гг. Борьба с «Северной пчелой» и «Московским телеграфом»

Важнейшими темами «Телескопа» с начала его издания явились июльская революция 1830 г. и польское восстание 1830—1831 гг. В течение первых двух лет журнал был полон откликами на эти события. В противоположность Н. Полевому, приветствовавшему июльскую революцию, позиция Надеждина по отношению к революции откровенно враждебная. В революции 1830 г. Надеждин увидел «исчадие романтизма» и с такой же настойчивостью, с какой «Московский телеграф» пропагандировал французскую романтическую школу, «Телескоп» ее критикует и развенчивает. Виктора Гюго, апологетом которого был Полевой, Надеждин особенно не щадит, как «Робеспьера литературного терроризма» и проповедника «либерализма литературного».

По отношению к французской революции 1830 г. и особенно по отношению к польскому восстанию Надеждин не расходился с правительственным курсом. «Телескоп» печатает антипольские «Исторические размышления» Погодина (1831, № 7); подавление польского восстания в журнале приветствуется.

В своих статьях 1831—1832 гг. Надеждин неслучайно обращается к историческим аналогиям — к эпохе междуцарствия и «смутного времени». Освещение этих исторических событий в «Телескопе» теснейшим образом связано было с антипольской позицией Надеждина.

В 1831 г. у Надеждина произошло сближение с Пушкиным. Полевой и Булгарин, боровшиеся против Пушкина в 1830 г., являлись литературными врагами Надеждина. Полевой был ненавистен Надеждину как защитник романтических теорий. От имени Полевого Надеждин принципиально не отделял и Булгарина, разоблачая псевдонародность его нравственно сатирических произведений. Поскольку Пушкин находился в лагере противников Полевого и Булгарина, постольку Надеждин и пошел на сближение с ним. С другой стороны, и Пушкин в 1831 г. счел возможным завязать деловые отношения с Надеждиным, так как после ликвидации «Литературной газеты» он не имел ни одного органа, где бы мог печататься.

Надеждин пересматривает и свое отношение к творчеству Пушкина вообще. Только что вышедшего из печати «Бориса Годунова» Надеждин встретил весьма сочувственной статьей, отметив, в частности, что «Борис Годунов» «указал путь народной русской драме» (1831, № 4).

Существенно подчеркнуть, что Надеждин был совершенно одинок, когда он боролся с Пушкиным на страницах «Вестника Европы» — то были годы исключительной славы Пушкина, и фельетоны Надеждина вызывали всеобщее возмущение. Совершенно обратное положение создалось в 1831 г.: «Борис Годунов» был встречен в критике очень холодно и с полуосуждением (статья Н. Полевого в «Московском телеграфе»). И вот в эту пору, неожиданно для всех, на защиту Пушкина выступил его недавний антагонист, экс-студент Никодим Надоумко. В том же 1831 г. участником «Телескопа» сделался и сам Пушкин. Он энергично поддержал полемику Надеждина с «Северной пчелой» Булгарина и «Сыном отечества» Греча.

Полемика открылась рецензией Надеждина на роман Булгарина «Петр Иванович Выжигин» (1831, № 9). Этот роман Надеждин поставил в один ряд с произведениями А. А. Орлова, мещанского литератора, спекулировавшего на успехе нравоописательных произведений Булгарина и выпустившего одновременно с «П. И. Выжигиным» три брошюры «Смерть Ивана Выжигина», «Хлыновские свадьбы Игната и Сидора, детей Ив. Выжигина» и «Хлыновские степняки, или дети Выжигина». Рецензия Надеждина была очень резка, но самым оскорбительным для Булгарина было то, что его имя ставилось в одном ряду с именем А. А. Орлова, который рассматривался в «Северной пчеле» как литератор «толкучего рынка словесности». За честь Булгарина вступился его единомышленник Греч, обратившийся в цензурный комитет с жалобой на Надеждина, в которой квалифицировал его как «наглеца и дерзкого неуча». Одновременно Греч выступил с ответом Надеждину в «Сыне отечества», протестуя против объединения имен Булгарина и Орлова.

Вскоре же после появления статьи Греча в «Телескопе» выступил Пушкин, укрывшийся под псевдонимом Феофилакта Косичкина. Два пушкинских памфлета, направленные против Булгарина, — «Торжество дружбы или оправданный А. А. Орлов» (1831, № 13) и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина» (1831, № 15), — давали яркую общественно-политическую и литературную характеристику редактора «Северной пчелы».[1]

Борясь с «Северной пчелой» и «Сыном отечества», Надеждин одновременно боролся и с «Московским телеграфом». Полемика Надеждина с Полевым охватывала большое количество обще-принципиальных и частных вопросов. Разногласия шли и по общественно-политической линии, и по философско-эстетической, и по литературной.

Несмотря на глубокую противоречивость мировоззрения Надеждина, несмотря на его политический консерватизм, все же нужно со всей определенностью сказать, что учение об искусстве будущего как о синтезе классицизма и романтизма, а также и понятие народности, обоснованное в «Телескопе», явились новым и более прогрессивным этапом сравнительно с направлением «Московского телеграфа». Еще Чернышевский заметил, что «через год или полтора после того, как Надеждин начал писать свои статьи, в журнале Полевого стала ощутительна значительная перемена». В «Московском телеграфе» не только расширился отдел критики, но и изменились ее приемы. Чернышевский правильно констатировал, что «Полевой видимо учился многому у своего противника. Так например, „Телеграф" начал говорить, что мы не романтики и не классики, что в наше время романтизм и классицизм должны соединиться, из их слияния должна возникнуть новая литература и т. д. Все это чисто мысли Надеждина».

4. Проблема народности в «Телескопе». Русская литература в оценках «Телескопа»

Общественно-литературная позиция «Телескопа» и «Молвы» неотделима от мировоззрения Надеждина, от его теории нового искусства, объединяющего классицизм и романтизм. Это новое искусство с точки зрения Надеждина должно быть народным искусством. Лозунг народности является основным и ведущим в идейном направлении «Телескопа».

---

[1] Помимо названных двух памфлетов, в первом номере «Телескопа» за 1831 г. анонимно было напечатано пушкинское стихотворение «Герой», доставленное в редакцию Погодиным.

«Дух и характер народа должен быть изучен прагматически, из подлинных фактов народной жизни», — говорится в заметке по поводу сочинения И. Снегирева «Русские в своих пословицах» (1831, ч. III). Надеждин доказывал в своем журнале, что подлинная народность литературы осуществится только тогда, когда народ достигнет самосознания, т. е. когда он будет активным. Обращаясь к эпохам «смутного времени» и отечественной войны, Надеждин говорит, что именно в эти эпохи наступало «всеобщее пробуждение» народа и «напряженное сосредоточение всех сил его». Здесь-то Надеждин и находит свой социальный идеал.

В цитированной выше декларативной статье «Телескопа» Надеждин намечал свою концепцию русского исторического процесса: он в сущности отрицает древнюю историю России, он сомневается, жил ли народ русский в продолжение своего тысячелетнего существования, древняя история кажется ему «дремучим лесом безличных имен, толкущихся в пустоте безжизненного хаоса», он идеализирует Петра I, с него начиная эру действительной русской истории. Эти положения соотносятся с мыслями Надеждина, что «всеобщее пробуждение», «напряженное сосредоточение всех сил» народных являлось в истории России не более как моментом, взрывным толчком, предчувствием того, что еще должно стать, что будет осуществлено в будущем. Говоря о пробуждении России, он не имел в виду, конечно, революционных устремлений народа, к которым относился враждебно.

Но призыв к действительности в литературе и лозунг народности теснейшим образом связаны у Надеждина с его социальным идеалом: «торжественное соединение жизни с поэзией» произойдет лишь тогда, когда наступит «всеобщее пробуждение». «Всякая умственная деятельность начинается с самосознания, — утверждает Надеждин, — но сознали ль мы себя как русских; объяснили ль настоящее наше положение в системе рода человеческого; определили ль должные отношения к окружающей нас природе, к развивающейся вокруг нас жизни? Мы еще не знаем самих себя; как же можем знать, что над нами, что под нами, что вокруг нас? Мы не думаем о себе; о чем же можем думать? Оттого-то все наши умственные труды представляют такой смутный, безобразный хаос; оттого-то мысли наши толкутся взад и вперед, мнут и сбивают друг друга, словно в Вавилонском столпотворении» (1835, № 1).

С самого начала своего издания «Телескоп» и производит переоценку русской литературы.

Так, в одной из первых книжек журнала в статье о «Борисе Годунове» Пушкина дается памфлетная характеристика высшего дворянства; выводится «некий добрый и почтенный князь Любославский». «В прежние годы, когда он сам был помоложе и поретивее, — говорится в статье, — у него отделен был особый день в неделе, который посвящался исключительно грамотеям и писакам,

Прозаистам и поэтам,
Журналистам, авторам,

приглашаемым и угощаемым,

Не по чину, не по летам,

а по доброму изволению хозяина. Здесь зарождались и созревали многие поэтические вдохновения: заплетались венки Грациям, припасались жертвы Музам. Здесь редакция Парнасского Мотылька имела свои торжественнейшие заседания и важнейшие совещания. Здесь... но времена переходчивы... Наша словесность мало-помалу выбралась из гости-

ных, от того ли, что она слишком отяжелела для наших патрициев, перестав рассыпаться розами и незабудками; или от того, что они слишком отяжелели для нее, погрузившись в более основательные экономические расчеты и в более полезные агрономические розыскания». Что же явилось следствием того обстоятельства, что литература существовала лишь для «гостиных», т. е. что она обслуживала привилегированного читателя? Это, отвечает Надеждин, определило подражательный характер литературы; она «была до сих пор, если можно так выразиться, барщиною европейской». «Чуждое, экзотическое вдохновение» стало уделом одного лишь привилегированного меньшинства, тогда как народ «родится, живет и умирает без излишних вычур. Его биография слишком коротка и проста: важнейшие эпохи ее заранее отмечены в святцах. Даже самая любовь — это первое, возбуждаемое самою природою, биение жизни — играет у него роль весьма маловажную, если не совсем ничтожную. Коротко сказать — обыкновенной жизни русской недостанет на о д н у порядочную г л а в у р о м а н а ..» (1831, № 14, статья о «Рославлеве» Загоскина). Так ставит Надеждин вопрос, и тут же он намечает основную задачу литературы. Задача эта заключается в соединении литературы с действительной жизнью во всей ее полноте и народности. Идеал «творческого духа» — «есть гармоническое равновесие элементов жизни и, следовательно, сама действительность: отсюда отличительный характер его поэзии должна составлять высочайшая истина. Это не значит того, что современная поэзия должна быть копиею действительности; напротив, она должна быть вольным ее воспроизведением из недр фантазии, сдружившейся с жизнью до симпатического единства. Сообразность с сею последнею или истина должна посему быть не обязанностью, а естественной принадлежностью». Основная задача литературы и обобщается Надеждиным в лозунг «народности». Под знаком «народности» и должен, по Надеждину, пойти тот «новый самобытный период жизни для современного гения», который он прокламировал еще в ранних своих критических статьях и докторской диссертации. «Народность» ознаменует собой изживание классицизма и романтизма и подъем художественного творчества на высшую ступень.

Критикуя романтизм и защищая народность литературы, Надеждин, несомненно, открывал дорогу реалистической демократической критике. Однако самое содержание понятия «народности» в «Телескопе» оставалось во многом еще противоречивым и смутным. Народность в понимании Надеждина смешивалась с простонародностью. Признаки народности Надеждин видел и в романах Загоскина, которые он приветствовал и характеризовал как «русские картины русской жизни», и в «Борисе Годунове» Пушкина и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя.

Надеждин по-новому отнесся в «Телескопе» к Пушкину, отметил в «Борисе Годунове» стремление к народности, но все же остался очень далек от глубокого понимания пушкинского творчества. По поводу «Сказки о царе Салтане» Надеждин заметил, что Пушкин «возвратился опять на точку, с коей начал свое поприще, ухватился за струну, прозвучавшую впервые его славу. Он обратился к русской народной старине, в коей волшебной мгле разыгрались первые мечты его поэтической юности... С одной стороны нельзя не согласиться, что сия новая попытка Пушкина обнаруживает теснейшее знакомство с наружными формами старинной русской народности: но смысл и дух ее остается все еще тайною, не разгаданною поэтом. Отсюда все произведение носит на себе печать механической подделки под старину, а не живой поэтической картины».

Надеждин отказывался признать народность Пушкина не только в его сказках, но и в «Евгении Онегине». Великое произведение Пушкина Надеждин характеризовал как «блестящую игрушку». По поводу последней главы «Евгения Онегина» Надеждин заявил, что якобы Пушкин «с благородным самоотвержением сознал наконец тщету и ничтожность поэтического суесловия, коим, увлекая других, не мог конечно и сам не увлекаться. Его созревший ум проник глубже и постиг вернее тайну поэзии: он увидел, что для гения — повторим давно сказанную остроту — не довольно создать Евгения... Но лучше ли от того нашей словесности?» (1832, № 9).

Таким образом, Надеждин совершенно ошибочно считал, что творчество Пушкина не было ознаменовано народностью. «Мы еще не имели своей русской народной поэзии», — утверждал Надеждин. «У Пушкина были притязания на имя русского народного поэта, но его народность ограничивалась тесным кругом гостиных». Надеждин делает отсюда заключение, что необходимо серьезное обращение к старине. Надеждин спрашивает — можно ли «восстановлением нашего прошлого осеменить нашу будущность»? И склоняется к положительному ответу. В этом смысле характерна положительная оценка сказки «О царе Берендее» Жуковского, характерно сочувствие попыткам Жуковского «лелеять сии первые, весенние цветы русской поэзии».

Еще более горячий отклик находят у Надеждина «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. «Народный быт [Украины], ограждаемый пока от чуждого влияния детской привязанностью к родной старине, сохраняет поныне сие достоинство. Тем занимательнее посему должны быть для нас ее картины. Но никто еще доныне не умеет представлять их так верно, так живо, так очаровательно, как добрый „Пасичник Рудый Панько"» (1835, ч. XXVI). На Гоголе Надеждин сосредоточил свои упования, и не случайно Белинский в данном случае прямо примкнул к воззрениям редактора-издателя «Телескопа».

Ежегодно обозревая писательскую продукцию (см. 1832, № 1; 1833, № 1; 1834, № 1), Надеждин поражается «запустением нашей словесности»: «Настоящее так пусто и дико, что невольно пугаешься за будущность», — пишет он. Что же нужно для того, чтобы произошел расцвет подлинной «народной» литературы? В чем причины того «горького, убийственного впечатления», которое производит на Надеждина состояние литературы? Для того, чтобы произошел расцвет литературы, отвечает он, потребно просвещение, потребна наука, необходимо разбудить и приобщить к культурной жизни «спящую массу задержанных, но не истощенных сил, потребна электрическая батарея идей свежих, могучих». «Без сомнения, — пишет Надеждин, — и у нас не прежде должно ожидать литературы живой, самобытной, как в то время, когда мысли нашей дается свежий укрепляющий воздух, когда ум, изощренный упражнением, обогащенный наукою, выработает и пустит в ход достаточное количество идей светлых, животворных. Без понятий слово — пустой звук; без идей литература — медь звенящая!». Но откуда же, спрашивается, возьмутся «идеи», как произойдет осуществление «народной» литературы, если «обыкновенной жизни русской недостанет на о д н у порядочную г л а в у р о м а н а»? И здесь тупик всех рассуждений Надеждина: «электрическую батарею идей свежих могучих» он ждет от просвещения, а просвещение дарует народу правительство. Следовательно, все надежды на правящие круги, все надежды на то, что только они помогут разбудить «спящую массу задержанных, но не истощенных сил». С другой стороны, народная масса

по самой своей природе якобы искони верна самодержавию и основная ее стихия, ее напряженнейшая активность — любовь к царю. Круг рассуждений, таким образом, смыкается. «Телескоп» защищает самодержавие. И в то же время эстетико-философские и литературно-критические суждения журала ставят проблемы большого прогрессивного значения.

Надеждин разоблачал русский романтизм как отрыв от коренных задач искусства, как уход от действительности; он констатировал узость содержания, «подражательность», а отсюда и эстетическое любование формой в современной ему литературе; он нанес решительный удар литературе «гостиных» и «салонов».

Миссия писателя и поэта характеризуется в «Телескопе» как миссия общественного служения. «Жизнь поэтов не ограничивается ныне уединенным отшельничеством в мире идеалов: они исходят и на позорище мира вещественного. Поэзия не мешает им действовать на чреде общественного служения и жить для блага людей и чести народов. Байрон кончил дни в стране, коей бытие пришел отыскивать; Уго Фосколо истощил жизнь свою на бесплодные усилия поддержать рушащееся отечество» и т. д. Эти строки должны быть отмечены особенно потому, что ни деятельность Байрона, отправившегося в Грецию для участия в восстании греков, ни деятельность итальянского карбонария Уго Фосколо — политически отнюдь не соответствовала убеждениям самого Надеждина. Он указывал на эти факты в силу того, что видел в них п р и з н а к и «соединения жизни с поэзией — поэзию жизни». Но нельзя механически отрывать социально-политические воззрения Надеждина от его эстетико-философских концепций.

Обстановка последекабрьской политической реакции наложила свой отпечаток на весь идейный облик Надеждина, но важнее и сильнее была атмосфера крестьянской страны и давление народных низов, которые Надеждина выдвинули. Все мировоззрение Надеждина говорит о его стремлении найти идеологический выход из противоречий своей эпохи. Вопреки Надеждину-монархисту, мы ценим Надеждина — учителя и предшественника Белинского. Именно так характеризовал Надеждина и Чернышевский. Надеждин «действовал», писал автор «Очерков Гоголевского периода», «в самое неблагоприятное для нашей поэзии время — во время перехода от прежнего направления к новому. Ему дано было только призывать новое время, но не быть его действователем».

5. Научные и философские статьи в «Телескопе»

Из всех отделов «Телескопа» наиболее широко были поставлены отдел критики и отдел наук. В критическом отделе центральное место занимали, разумеется, статьи самого Надеждина. По историческим вопросам много писал М. П. Погодин. Помимо своих «Исторических размышлений об отношении Польши к России», напечатанных в «Телескопе», Погодин рецензировал в журнале ряд исторических работ — В. Н. Берха, Г. С. Бандтке, М. Гастева, Н. Г. Устрялова и т. д. Историко-юридической частью журнала руководил Ф. Л. Морошкин, давший статьи о «Римском праве», «Исторические разыскания о дворянском сословии» и являвшийся рецензентом специально юридических работ (Савиньи, Лерминье и др.).

На страницах «Телескопа» публиковался с научными комментариями документальный материал по русской истории, русскому, украинскому и латышскому фольклору (работы О. Евецкого, М. Макарова и Ю. Ве-

нелина); журнал широко откликался на узко специальные темы, доступные и интересные лишь для немногих. Так, в «Телескопе» прошла ученая дискуссия между И. Калайдовичем и А. Востоковым в связи с книгой последнего «Сокращенная русская грамматика» (1831, №№ 17, 18, 22; 1832; № 5).

Особо следует выделить философские и натур-философские статьи журнала. На эти темы писали коллеги Надеждина по Университету и его друзья — М. Г. Павлов и М. А. Максимович.

М. Г. Павлов, профессор физики, минералогии и сельского хозяйства Московского университета, — заметная фигура в идейном движении 1830-х годов. Бывший издатель «Атенея», пропагандист натур-философии, Павлов очень много сделал для пробуждения философских интересов университетской молодежи. Восторженно отзывались о нем Н. В. Станкевич, А. И. Герцен и другие. После ликвидации «Атенея» Павлов систематически печатался в «Телескопе». Здесь были опубликованы отрывки из его курса физики — «Свет и тяжесть, как основные силы физического мира» (1831, № 3), «Теория веществ, света и тяжести» (1832, № 11); «Философический взгляд на холеру» (1831, № 11), диалог «Достоинство идеализма в нравственном образовании человека» (1831, № 1).

М. А. Максимович — ученик М. Г. Павлова, профессор естественных наук Московского университета, издатель альманаха «Денница», впоследствии консервативный деятель украинской культуры. В «Телескопе» Максимович поместил свои этюды «О человеке» (1831, № 17), «Мысленное и телесное бытие жизни растений» (1834, № 2), «О степенях жизни и смерти» (1833, № 4), «Письмо о философии» (1833, № 12). Максимовичу, вероятно, принадлежит большая рецензия на русский перевод «Учебной книги натуральной философии» Окена (1832, № 8). В 1833 г. Максимович руководил в журнале специальным отделом «Микроскоп», где давалась информация «об ошибках и погрешностях в области естественных наук» (1833, №№ 3, 7 и 9).

К участию в «Телескопе» был привлечен и известный петербургский профессор Д. М. Велланский, поместивший в журнале отрывок из «энциклопедии физических познаний» — «Теоретическое показание света и цветов» (1831, № 12) и «Письмо к проф. Павлову (о физиологии)» (1834, № 23).

Нет никакого сомнения в том, что философским и натур-философским статьям редакция «Телескопа» придавала особое значение.

Интересно уже названное выше «Письмо о философии» М. А. Максимовича, обращенное к издателю. «Кого люди не называли философом? — пишет Максимович, — про что не говорят они люблю? Но что есть наука философия? Какой предмет ее?». Максимович рассуждает о том, что философия принимала на себя разные науки: богословие, психологию, логику, математику, метафизику, физику, «в наше же время главнейшие вопросы ее связаны с наукою истории» и что она научилась дорожить действительностью. Но куда же, спрашивается, при таком понимании философии как науки, деваются вопросы о добре и зле, назначении человека, о сущности знания, наук и самой мудрости. «Вот задача, — заключает Максимович, — разрешения коей я желал бы от твоего систематизма». В примечании к письму Максимовича редактор-издатель «Телескопа» признается, что предмет сей издавна был его любимым, задушевным предметом, и обещает поставить для себя «приятнейшею обязанностью отвечать на оный».

Любопытно, что вместо ответа «Телескоп» печатает вновь «Письмо к издателю о философии» (1833, № 16) — некоего В. Перцова (датировано: Чернигов, 1833, ноября 15). Автор письма утверждает, что философия как наука ума задача ложная. «Нет системы для философии! Скажем более, быть не может», — заявляет Перцов. Философия должна быть основана на знании живом, чувственном природы и человека. «Преклоните колена пред первым, положившим камень в основании храма естествознания!». Сделаем любимым предметом наших изысканий «наше естество» — к таким выводам приходит провинциальный корреспондент «Телескопа». Несомненно, что этим выводам в какой-то мере сочувствовал и Надеждин, иначе письмо Перцова вряд ли было бы напечатано.

Из переводных философских работ, помещенных в «Телескопе», нужно прежде всего назвать этюд французского мелкобуржуазного демократа Эдгара Кинэ «Связь философии с жизнью» (1832, № 10). Эдгар Кинэ, к которому редакция «Телескопа» относилась с большим вниманием, считая его одним «из глубокомысленнейших современных французских мыслителей», ставит задачей «чрез сравнительное наблюдение над ходом внутреннего философского развития мысли и внешней политической деятельности в Европе, угадать полный смысл современной жизни». Кинэ в своей статье, вероятно, независимо от Гейне, проводит известную мысль последнего о том, что «немецкая философия есть сновиденье французской революции».

На страницах «Телескопа» в переводе Н. П. Огарева печатается работа Кузена «Современное назначение философии» (1832, № 20), в переводе В. Межевича публикуется «Суждение Шеллинга о философии Кузена» (1835, № 1).

С большим интересом и вниманием относился Надеждин к украинскому философу Г. Сковороде. В 1831 г. в «Телескопе» появились три песни Сковороды с комментариями Б. Хиджеу (1831, № 24), а через четыре года Надеждин поместил обширный историко-критический очерк о нем того же Б. Хиджеу и напечатал фрагменты философских работ Сковороды (1835, №№ 5 и 6). Об интересе к Сковороде свидетельствует и тот факт, что в 1836 г. излюбленное им изречение («Nosce te ipsum» — «Познай самого себя») берется в качестве эпиграфа «Телескопа».

6. Западноевропейская литература в «Телескопе»

Как указано было выше, Надеждин пристально следил за политическими событиями во Франции, за состоянием французской литературы и искусства. Французская литература была представлена в «Телескопе» с исключительным размахом и широтой.

Надеждин подбирал факты, которые свидетельствовали о развале и перерождении романтической школы, он прислушивался особенно к голосам антиромантической французской критики.

В противовес «Московскому телеграфу», который продолжал упорно отстаивать принципы романтической школы, «Телескоп» жадно ищет на Западе ростков нового направления, «примиряющего литературу и действительность». «Юная французская словесность», по воззрениям и прогнозам Надеждина, должна неизбежно отходить в прошлое, неистовство ее стихает и укрощается. Надеждин находит во Франции и имена, которые он приветствует с безоговорочным сочувствием. Кажется,

Надеждин первый познакомил русских читателей с гневными сатирами Огюста Барбье, которого он называл одним «из блистательнейших поэтов новой школы».

В 1832 г. в «Телескопе» была напечатана статья Надеждина «Современное состояние сатиры во Франции. Бартелеми и Барбье» (1832, № 6), где было приведено целиком несколько самых острых стихотворений из сборника «Ямбы». «Телескоп» увидел в Барбье представителя той новой поэзии, которую призваны осуществить «времена новые» на основе преодоления классицизма и романтизма.

В начинающей «стихать и укрощаться», стареющей «юной французской словесности», которая «анатомирует жизнь без всякой пощады и скромности» «Телескоп» особо выделяет творчество Бальзака. На страницах «Телескопа» за все время его издания Бальзак переводился непрерывно с 1831 г. — всего было переведено четырнадцать повестей Бальзака («Мщение», «Невеста аристократка», «Страсть художника», «Эль Бердюго», «Испанский гранд», «Переправа через Березину», «Кошелек», «Две встречи», «Граф Шабер», «Один из тринадцати», «Другой из тринадцати», «Дед Горио», «Девушка с золотыми глазами», «Совет»). В «Телескопе» переводились А. Дюма, Жюль Жанен, Э. Сю и другие, но первое место было отведено Бальзаку. «„Телескоп" может хвалиться, — писал Надеждин в одном из своих объявлений «От издателя», — что он первый ознакомил русских читателей с именами многих современных писателей, переводом их сочинений. Укажу на одно имя Бальзака, впервые показавшееся в „Телескопе" при повести „Vendetta"» («Молва», 1834, № 52). «Vendetta» была переведена в «Телескопе» в 1831 г., а в 1832 г. в Петербурге вышел первый русский перевод «Повестей Бальзака», изданный отдельной книжкой.

Немецкая литература занимает в «Телескопе» значительно меньшее место, чем французская, но и здесь — та же четкая, принципиальная линия в отборе материала. Актуальной проблемой и здесь является борьба с романтизмом и его преодоление.

Статьи известного редактора «Штутгартского листка» В. Менцеля, в 1830-е годы еще либерального деятеля — «Взгляд на прошедшее пятнадцатилетие немецкой литературы» (1831, № 18) и «Журнальная критика в Германии» (1832, № 1); статья Г. Гейне из «L'Europe littéraire» о Гете и Шиллере (1834, № 3), обзор Э. Кинэ «Состояние искусства в Германии» (1833, № 1) и, в пояснение к установкам этого обзора, извлечение из книги О. Л. Б. Вольфа «Die schöne Litteratur Europa's in der neusten Zeit» (1833, №№ 9, 10 и 11) — весь этот материал, как подчеркивалось редактором-издателем, призван подтверждать ту же линию «Телескопа» в отношении теоретических догм немецкой романтической школы, как и французской: романтизм — пройденная ступень, новое время несет и новое искусство.

Английская литература оставалась в журнале несколько в стороне до 1834 г., когда после Ункиар-Искелесского договора (1833) в воздухе запахло русско-английской войной. В 1834 г. в «Телескопе» оживает по-настоящему интерес к английской литературе. Печатаются — статья А. Куннингама «Новейшие английские критики» (1834, № 6); статья из «Dublin University Magazine» «Движение литературы в Англии с начала XIX в.» (1834, №№ 18, 19 и 20) и некоторые другие.

Материал переводов в литературно-критическом отделе «Телескопа» не ограничивается тремя главнейшими западными литературами. Критические обзоры в журнале имеются, кроме того, по испанской литературе (1832, №№ 21 и 22); «Исторический обзор португальской поэ-

зии» (1833, № 13 и 14); обзоры сербской и богемской литературы (1832, № 12 и 24; 1833, № 10); интересная статья Э. Кинэ «О богемской эпопее» (1833, № 7); очерк шведской журналистики (1834, № 28); статьи о поэзии индостанской и санскритской (1833, №№ 3 и 4); о древней скандинавской литературе (1833, № 24) и т. д.

Очень близко к переводному литературно-критическому отделу «Телескопа» стоит отдел «Знаменитых Современников» — поэтов, писателей, философов, государственных деятелей и т. д. В порядке хронологического их опубликования перед читателями журнала прошли: очерк «Литературной и политической жизни Шатобриана» (1831, № 1) и характеристики Уго Фосколо (1831, № 3), З. Вернера (1831, № 8), Д. Ф. Купера (1831, № 14), «Некрология Вальтера Скотта» (1832, № 4) и «Воспоминания о Шампольоне младшем» (1832, № 4), характеристики князя Талейрана (1832, № 5) и герцога Веллингтона (1832, № 7), очерк о Петрарке (1832, № 9) и «некрологические подробности о Гете» (1832, № 13) портреты Нибура-путешественника (1832, № 22) и Томаса Лауренса (1833, № 6), биографические сведения об Э. Кинэ (1833, № 8) и характеристики Бетховена (1833, № 1), Берлиоза (1833, №№ 10 и 11), Гегеля (1833, № 15), портрет Дон-Карлоса, инфанта испанского (1834, № 11), очерки о Гофмане (1833, № 13) и Виллиаме Гацлите (1833, № 18), Гизо (1834, № 23) и Александре Дюма (1834, №№ 40, 41, 42 и 43), Манцони (1834, №№ 46, 47 и 48), Бальзаке (1834, №№ 51 и 52), Канте (1835, №№ 5 и 6).

7. «Телескоп», «Молва» и цензура

В августе 1832 г. товарищ министра народного просвещения и президент Академии Наук С. С. Уваров прибыл в Москву «на обозрение Московского университета и части учебного округа». Во время пребывания в Москве Уваров имел беседу с Н. Полевым и Надеждиным, причем обоим было сделано строгое «назидание» за «вредное» направление их журналов.

Особенно сильно обрушился Уваров на Надеждина как профессора Университета. В заседании цензурного комитета 15 августа 1832 г. Уваров сообщил, что Николай I крайне недоволен одной статьей в «Телескопе», переведенной из «Revue de Paris». Статья эта, под заглавием «Тирольцы», была посвящена тирольской партизанской войне 1809 г. и давала сочувственную характеристику Андреаса Гофера, вождя за национальное освобождение тирольцев (1832, № 3).[1] Николай I был разгневан преимущественно тем, что переводчик «Телескопа» включил в текст статьи несколько слов, которых не было в оригинале. Вот что было сказано в статье: «Мы изложили здесь в кратком очерке сей любопытный эпизод современной истории *для доказательства, что верность законной власти, освященной веками, не иссякла еще в Европе* (подчеркнутых слов не было в тексте «Revue de Paris»).

Национальный герой тирольцев, боровшийся против французов и не остановившийся в своей борьбе даже и после капитуляции Австрии

[1] По Пресбургскому миру 1806 г. Тироль был подчинен Баварии, которая лишила его автономии. Баварский протекторат вызвал крестьянское восстание, поддержанное Австрией и проведенное под руководством крестьянских вождей-тирольцев А. Гофера и Шпеккбахера. Восстание потерпело поражение, поскольку Австрия, разгромленная французами, заключила с Францией мир и объявила тирольцам, что они должны сдаться. Гофер, однако, не сдался, был пойман и расстрелян французами.

перед Францией, Андреас Гофер объявлялся в статье образцом гражданской и политической доблести. Естественно, что после июльской революции 1830 г. и польского восстания — статья, популяризировавшая идею национального освобождения, была сочтена крамольной.

В заседании цензурного комитета Уваров сообщил, что Николай I, в связи с переводом названной статьи в «Телескопе», якобы сказал, «что стоило бы запретить сей журнал, но правительство не хочет показать, что оно боится недельных изданий и не требует себе похвал. Если должно выбрать меньшее зло, то пусть лучше марают бедную литературу и бранятся литераторы, чем трогать правительство пустыми вылазками. Нельзя служить двум господам, посему нельзя быть вместе профессором и журналистом, или то, или другое надобно выбирать Надеждину, которому в последний раз прощается, так равно и цензору, который весьма неосторожно поступил и верно обманут был издателем . . .».

С осени 1832 г. для «Телескопа» началась полоса исключительно жестокого давления цензуры. Итоги поездки Уварова в Москву были подведены в его официальном отчете, в котором заявлялось, что «православие, самодержавие и народность» составляют «непреложные догматы» «политической религии». С конца 1832 г. пресловутая охранительная теория, прокламированная Уваровым, сделалась основой правительственной политики в области просвещения и стала усиленно насаждаться.

В связи с усилением цензурно-полицейских строгостей «Телескоп» резко снижает тон, бледнеет критико-библиографический отдел журнала, статьи самого Надеждина (а он отличался большой литературной производительностью) печатаются все реже и реже, книжки журнала начинают выходить с перебоями от двух до четырех месяцев. В каких трудных условиях приходилось Надеждину начинать издание «Телескопа» и «Молвы» в 1833 г. видно хотя бы из того, что Уваров, снова посетивший Москву в декабре 1832 г., «строго предписал Московскому цензурному комитету, чтобы в критике не допускались никакие личности; вследствие чего тут же запрещена была полемическая статья Надеждина против романов Свиньина и Полевого».

В четырнадцатой книжке «Телескопа» за 1832 г. началась печатанием большая статья Надеждина, посвященная разбору четырех исторических романов — «Клятвы при гробе господнем» Н. Полевого, «Шемякина суда» П. Свиньина, «Стрельцов» К. Масальского и «Последнего новика» И. Лажечникова. В девятнадцатой книжке «Телескопа» за тот же год было объявлено, что «статья сия не продолжена по причинам от издателя независящим». Все попытки Надеждина добиться разрешения печатать продолжение статьи оказались безуспешными. «Тщетно Надеждин старался доказать, что статья его не заключает в себе ничего л и ч н о г о, никакого оскорбления чьей бы то ни было чести, и что его в последнее время до того стесняют, что цензура не только останавливает все разборы и замечания об изданиях и сочинениях Полевого, издателя „Телеграфа", но не одобряет к напечатанию в „Телескопе" даже имени Полевого».

Именно в эту трудную для «Телескопа» и «Молвы» пору сотрудником Надеждина стал исключенный из университета студент В. Г. Белинский. В начале марта 1833 г. Белинский познакомился с Надеждиным и получил работу переводчика сначала в «Молве», а потом и в «Телескопе».

8. Споры о театре

«Литературные мечтания» Белинского, как уже отмечалось выше, вызвали резкое осуждение со стороны некоторых сотрудников «Телескопа» и «Молвы», объединившихся с 1835 г. в «Московском наблюдателе». Особенно недоволен статьей Белинского был Шевырев, который по выражению Станкевича «взбесился» и стал кричать «как сметь так говорить».

Следует указать, что принципиальные расхождения Шевырева с редакцией «Телескопа» и «Молвы» наметились еще до знаменитого выступления Белинского и выразились особенно отчетливо в дискуссии по поводу игры Каратыгиных, происходившей в 1833 г. на страницах «Молвы».

Полтора месяца непрерывно (с 13 апреля по 23 мая 1833 г.) в «Молве», из номера в номер, шло обсуждение игры Каратыгиных, гастролировавших в Москве. Появление на московской сцене этих актеров произвело такое «необычайное волнение» в литературных и театральных кругах, что «Молва» отмечала, будто подобного волнения не помнили «со времени спора о заразительности и незаразительности холеры». В газете было опубликовано сначала шесть больших театральных обзоров за подписью «П. Щ.»; по поводу этих обзоров выступил Шевырев, давший целых три статьи; Шевыреву возражал П. Щ. и т. д. Редакция «Молвы» вынуждена была заявить, что «по тесноте ристалища, не может доставить возможности всем являющимся витязям броситься в кипящую схватку».

О суждениях П. Щ. в последующие годы с большим сочувствием неоднократно вспоминал Белинский в своих статьях.

Происходивший спор был замечательнейшим по принципиальности спором об идейности и содержательности искусства. Характерно, что в этом споре были поставлены проблемы, которые двумя-тремя годами спустя приобрели особую актуальность в связи с творчеством Гоголя.

Должно ли актерское мастерство только «чаровать зрение» или задача его заключается в том, чтобы найти ключ «к сокровенному святилищу сердца»? Может ли актер ограничиваться только «наружною лепною частью своего искусства»? — такова была сущность спора.

Известно, что школа Каратыгиных была как раз школой декоративного мастерства, что и подчеркивал П. Щ., возражая именно против декоративности и утверждая, что Каратыгин «задерживает пути к совершенству, куда призывает его сама природа». Напротив, Шевырев дал необычайно высокую характеристику Каратыгина, якобы соединявшего «качества светского человека с качествами художника».

Шевырев, вскоре же разгневанный тем обстоятельством, что Надеждин, в примечании к одной из его статей, указал на свою солидарность с П. Щ., писал следующее: «Всякое сословие имеет свои понятия о благородстве и приличии. Вот почему в иностранных столицах театры разбиты по сословиям, и всякий у себя в предместьи в кругу своих обычаев и привычек имеет свою сцену... У нас один и тот же театр должен удовлетворять всем сословиям, всей лестнице образований русских. В одном преогромном здании наслаждается вся Москва, начиная от щеголя, из театра скачущего на бал, от художника и критика, до сидельца, который вырвался из-за прилавка и ест калач

с медом в своем райке... разбейте наш огромный театр на кучу мелких, по состояниям, — все в своих мнениях будут у себя, — и разногласия кончатся» («Молва», 1833, № 53).

В статьях по поводу игры Каратыгиных Шевырев впервые выступил с защитой «светскости» в искусстве, как бы предопределяя этим линию своих литературно-критических выступлений в «Московском наблюдателе». Неслучайно поэтому, что в связи с первой постановкой «Ревизора» в московском театре Шевырев отказался писать о комедии Гоголя вообще, увидев в ней «грязное» произведение. «Молва» же, горячо приветствуя «Ревизора», вспоминала мысли Шевырева о сословном театре и иронизировала над публикой «высшего тона, богатой, чиновной, выросшей в будуарах» и оценившей комедию Гоголя как «mauvais genre» (1836, № 9).

В связи с определившимися разногласиями в кругу сотрудников «Телескопа» и «Молвы» позиция самого Надеждина была достаточно ясной. Он не солидаризировался с Шевыревым и его защитой «светскости», а через год на страницах той же «Молвы» Надеждин дал возможность «недоучившемуся студенту» Белинскому выступить с принципиальной и ответственной статьей.

Вслед за разрывом с целой группой своих сотрудников (Шевыревым, Андросовым и другими), приступивших к организации нового журнала, на Надеждина обрушилась и личная катастрофа, значение которой выходит далеко за рамки биографических фактов. Неудавшийся роман Надеждина с Е. В. Сухово-Кобылиной, самые драматические эпизоды которого падают на февраль и март 1835 г., является прежде всего характерным социальным фактом: произошло столкновение столбовых дворян Сухово-Кобылиных с каким-то профессором-журналистом из поповских детей, за которого Сухово-Кобылины не пожелали отдать свою дочь.

С весны 1835 г. Надеждин почти совершенно бросает свой журнал, подает в отставку в Университете и уезжает за границу, оставив своим заместителем в качестве редактора «Телескопа» и «Молвы» автора «Литературных мечтаний».

9. Надеждин и Белинский. «Телескоп» и «Молва» под редакцией Белинского

Борьба с романтическим «неистовством» и призыв к новой литературе, которая должна быть ознаменована народностью — вот важнейшие черты, связывающие критическую деятельность Надеждина с деятельностью молодого Белинского. Но Белинский, начиная с первых же своих статей, пошел значительно дальше Надеждина.

Если Надеждин в борьбе с романтизмом требовал подчинения эстетического чувства нравственному, то Белинский стал защитником автономии чувства вообще, понимая под ним тождество эстетического и нравственного. У Надеждина художественное творчество подчинялось внешним и рассудочным нормам; Белинский же выступил с обоснованием права писателя на свободу от всякого принуждения, от всякой опеки.

Источник народности искусства Надеждин видел в обращении к старине и к жизни простого народа. Преодолевая романтические концепции и выдвинув лозунг новой народной литературы, Надеждин еще не смог дать сколько-нибудь конкретного ее определения. С точки зрения Белинского, народность литературы состояла «в верности изо-

бражения картин русской жизни». Народность литературы в понимании Белинского была наиболее глубоким выражением ее реализма. В «Литературных мечтаниях» Белинский указывал, что народным может быть произведение и из жизни «простонародья» и из жизни привилегированных классов общества — лишь бы художник не искажал действительности, лишь бы он был верен правде.

Уже в первых своих статьях Белинский разошелся с Надеждиным и в конкретных критических суждениях. Надеждин считал народными романы Загоскина; Белинский еще в «Литературных мечтаниях» резко снизил их оценку, отметив, что содержание этих романов взято из «простонародного» быта, но «простонародность» еще не сделала их народными. Наоборот, Пушкина, в противовес Надеждину, Белинский признал глубоко народным и оценил «Евгения Онегина» как вершину всего пушкинского творчества.

По-новому отнесся Белинский и к Гоголю, которого Надеждин очень высоко ставил, но к которому подходил также односторонне. Надеждин восхищался Гоголем за то, что Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» встал на путь использования украинской старины, украинского фольклора и пр. Белинский же и к Гоголю отнесся, исходя из критериев верности изображенных им картин, т. е. сравнительно с Надеждиным, с более глубокой и широкой точки зрения.

В качестве заместителя редактора «Телескопа» и «Молвы» Белинский состоял полгода — с июня по декабрь 1835 г. до возвращения Надеждина в Москву. Шесть книжек «Телескопа» за 1835 г., с седьмой по двенадцатую, и 25 листков «Молвы», с № 24 по № 49, вышли под редакцией Белинского.[1]

Кроме многочисленных отзывов, рецензий и заметок Белинского, в «Телескопе» в эту пору были напечатаны его статьи: «О русской повести и повестях Гоголя» (1835, №№ 7 и 8), «О стихотворениях Баратынского» (1835, № 9), «Стихотворения Владимира Бенедиктова» (1835, № 11), «Стихотворения Кольцова» (1835, № 12). «Различие в характере книжек „Телескопа", изданных в отсутствие Надеждина его сотрудником, от предыдущих номеров, бросается в глаза», — замечал Чернышевский.

Кроме статей самого Белинского, в отсутствие Надеждина, в «Телескопе» появились стихотворения Кольцова (1835, №№ 8 и 15), печатали свои стихи члены кружка Станкевича — К. Аксаков, под псевдонимом «К. Эврипидин» (1835, № 12 и ч. XXIX) и В. И. Красов (1835, №№ 7 и 8); в области иностранной литературы не спадал интерес к Бальзаку (перевод повести «Девушка с золотыми глазами», в №№ 9, 10 и 11 за 1835 г.). Политико-экономический материал в журнале был представлен статьями Ф. Врангеля («Американцы верхней Калифорнии» и «О торговых сношениях народов Северо-западной Америки между собою и чукчами» в №№ 7 и 8 за 1835 г.), О. Евецкого

---

[1] Следует отметить, что, принимая руководство «Телескопом» и «Молвою», Белинский обратился после запрещения «Московского телеграфа» к Н. Полевому, разоренному материально и испуганному обрушившейся на него карой. «Мне было бы приятно иметь читателем того человека, — писал Белинский Полевому 26 апреля 1835 г., — который с таким благородным и беспримерным самоотвержением старался водрузить на родной земле хоругвь века, который воспитал своим журналом несколько юных поколений и сделался вечным образцом журналиста». Белинский заключал свое письмо указанием, что «Николаю Ивановичу [Надеждину] было очень приятно исполнить мое желание». Характерно это обращение к Полевому после жесточайшей полемики с ним Надеждина в течение 1831—1832 гг.

(«Политическое состояние Закавказского края в исходе XVIII века...», 1835, № 10) и других. Наконец, Н. В. Станкевичем был подготовлен перевод обширной статьи Г. Вилльма «Опыт о философии Гегеля». Перевод этот печатался в журнале уже по приезде Надеждина в Москву, в декабре 1835 г. (№№ 13, 14 и 15 за 1835 г.).

Приступив к руководству «Телескопом» и «Молвою» вновь, Надеждин в объявлении «От издателя» подчеркнул свое полное удовлетворение содержанием книжек журнала, изданных в его отсутствие (1835, № 13, стр. I—II). И это, несмотря на то, что чисто технически «временная редакция» не справилась с порученным ей делом: вместо должных за полугодие 1835 г. двенадцати книжек «Телескопа» было выпущено всего шесть; с задержками издавалась и «Молва».

Невыпущенные в срок книжки «Телескопа» за 1835 г. были изданы Надеждиным в 1836 г. С начала 1836 г. Надеждину пришлось, таким образом, вести двойное издание.

10. «Телескоп» 1836 г. Полемика Надеждина и Белинского с «Московским наблюдателем»

Возобновляя литературную деятельность после полугодового перерыва, Надеждин с большой энергией взялся за работу в журнале. С января по сентябрь 1836 г. он напечатал в «Телескопе» большое количество своих работ — в общей сложности до тридцати двух печатных листов. Белинскому были предоставлены широкие возможности: за 1836 г. он опубликовал «Ничто о ничем или отчет г. издателю „Телескопа" за последнее полугодие (1835) русской литературы» (1836, №№ 1—4), статью «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя"» (1836, №№ 5 и 6), рецензии на «Повести Пушкина», «Вастолу», «Стихотворения Пушкина» (ч. IV), на первые две книжки «Современника», а также множество других рецензий и отзывов, среди которых выделяется разбор «Опыта системы нравственной философии» А. Дроздова (1835, ч. XXX).

В стихотворном отделе «Телескопа» продолжалось печатание стихотворений Полежаева, К. Аксакова и других. Из друзей Белинского М. А. Бакунин опубликовал свой перевод четырех лекций И. Г. Фихте «О назначении ученых» (1835, ч. XXIX); были привлечены и новые силы — сосланный в Вятку А. И. Герцен прислал в «Телескоп» очерк о Гофмане (1836, № 10); в библиографическом отделе начал сотрудничать В. П. Боткин, давший в журнал отрывок из своих путевых записок «Русский в Париже» (1836, № 14). Начали печататься в «Телескопе» повести П. Н. Кудрявцева — «Катенька Пылаева, моя будущая жена» (1836, № 4), «Антонина» (1836, № 6), «Две страсти» (1836, № 11) и И. И. Панаева — «Она будет счастлива» (1836, № 7).

Еще с конца 1834 г. прекратилось сотрудничество в «Телескопе» Шевырева, Андросова, Хомякова и других литераторов, организовавших «Московский наблюдатель». Окончательно порвал Надеждин и с М. П. Погодиным, активным участником «Телескопа» в первые годы его издания, но теперь перешедшим в «Московский наблюдатель».

По возвращении Надеждина в Москву, в декабре 1835 г. Погодин отметил в своем дневнике по поводу мнений Надеждина о выступлениях Белинского: «Неприятное утро у Надеждина...».

Эволюция Надеждина была предопределена характером его мировоззрения, фактами его биографии и всем ходом истории «Телескопа».

Поэтому то, что говорит по поводу взаимоотношений Надеждина с его молодыми сотрудниками Чернышевский, — отвечает действительному положению вещей и должно быть целиком принято. «Надеждин отдался молодому поколению. Разногласия от литературных причин не было и, сколько можно судить по самому журналу, не предвиделось».

В первых двух книжках «Телескопа» за 1836 г. Надеждин опубликовал большую принципиальную и программную статью «Европеизм и народность в отношении к русской словесности». В этой статье, резко заостренной против «Московского наблюдателя», Надеждин полемизировал с «европеизмом», основным пороком, благодаря которому «мы дошли до того, с чего начали прочие европейские литературы — до совершенного разделения между народной речью и книжным литературным словом». Надеждин призывал к культуре родной речи, к возведению простонародного языка на «высшую степень литературного достоинства». «Никакое сословие, никакой избранный круг общества, — писал Надеждин, — не может иметь исключительной важности образца для литературы. Литература есть глас народа; она не может быть привилегиею одного класса, одной касты, она есть общий капитал, в котором всякий участвует, всякий должен участвовать». Признавая, что России еще необходимо учиться у Западной Европы, Надеждин подчеркивал, — «но не с тем, чтобы потерять свою личность, а чтоб укрепить ее, возвысить!».

Весьма примечательно, что для обоснования своего понимания народности Надеждин пользовался мыслями Сковороды. Афоризм Сковороды был взят Надеждиным в качестве эпиграфа его статьи; заканчивалась статья также цитатой из Сковороды. В заключительных строках статьи Надеждин приводил формулу официальной народности, причем своеобразно ее истолковывал: «В основание нашему просвещению положены православие, самодержавие и народность. Эти три понятия можно сократить в одно, относительно литературы. Будь только наша словесность народною: она будет православна и самодержавна».

Приведенные строки обычно комментировались в том смысле, что Надеждин безоговорочно принимает реакционную уваровскую формулу. Надеждин, вероятно, действительно, был уверен, что его понимание народности и есть то самое, что было нужно правительству. Между тем, надеждинское понимание народности, наряду с консервативными чертами, содержало также реалистические и демократические тенденции, которые объективно противоречили уваровской формуле. Совершенно не случайно поэтому, что Надеждин опирался на мысли Сковороды и обосновывал понимание народности ссылками на учение украинского философа-демократа.

В своей статье Надеждин рассматривал и оценивал идейное направление «Московского наблюдателя» и «Библиотеки для чтения». Первый Надеждин характеризовал как орган «европеизма», как «эхо гостиных», как журнал высшего привилегированного слоя общества; второй — как журнал «средней публики», увлекающий «демократию и провинцию».

Статьей Надеждина открывалась исключительно резкая полемика «Телескопа» с «Московским наблюдателем». «„Наблюдатель" судит по старому кодексу французского классического вкуса, по обветшалым понятиям Батте и Лагарпа, хотя и скрывает их под новыми выражениями, излагает новым, нынешним языком», — писал Надеждин. «Среди жалкого безначалия нашей словесности он проповедует род литературной реставрации не потому, что возвращает ее к минувшим своенародным

образцам, а потому, что предписывает ей искать спасения в каком-то аристократическом изяществе, в утонченной отборности и спесивом этикете языка, точь в точь как бывало во французской литературе XVIII ст.».

Эта оценка «Московского наблюдателя» была поддержана и развита Белинским в его статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя"». В борьбе с «Московским наблюдателем» Надеждин и Белинский шли рука об руку. Но Белинский, говоря о критике Шевырева, о всем направлении «Московского наблюдателя», не выходил за рамки литературно-эстетических вопросов. Надеждин же, в духе своих консервативных воззрений, делал и политические выпады против «Московского наблюдателя». В идейном направлении этого журнала он усматривал революционную опасность. «Излишнее принуждение, — указывал Надеждин, — влечет за собою всегда разгар буйства; чопорный этикет Людовика XIV сменился беспутством регентов и кончился бесстыдством Директории».

Особая напряженность полемики «Телескопа» с «Московским наблюдателем» вызвана была одновременным обсуждением в «Телескопе» книги Шевырева «История поэзии», которую рецензировал Надеждин. В ответ на статью Надеждина Шевырев выступил со статьей в «Московском наблюдателе»; Надеждин отвечал Шевыреву новой статьей и т. д. Итоги полугодовой непрерывной полемики были подведены к редакционной статье «Телескопа» «Признаки мыслительности и жизни в „Московском наблюдателе"» (1836, № 10).

Опуская все частные вопросы, формулируем основное содержание полемики «Телескопа» с «Московским наблюдателем».

1. «Телескоп» защищал «народность» литературы, считая, что литература не может быть привилегией какого-нибудь избранного круга; «Московский наблюдатель» — «светскость» литературы и исключительную принадлежность ее «салону» и «гостиной».

2. «Телескоп» ратовал за пробуждение самобытного, народного творчества. «Московский наблюдатель» отстаивал интересы «салонного» круга, так как защищать народность с позиций «Московского наблюдателя» значило защищать мужицкую народность, необразованность. Еще до «Московского наблюдателя» это положение было отчетливо сформулировано Ив. Киреевским в «Европейце».

3. «Телескоп» боролся за идейность литературы, за содержательность художественного творчества; «Московский наблюдатель» — за новизну литературных приемов и форм.

4. «Телескоп» стоял за мировоззрение в науке и искусстве; «Московский наблюдатель» — за эмпирический историзм. Надеждин критиковал «Историю поэзии» Шевырева, пропагандировавшего сравнительно-исторический метод изучения литератур, не только за его конкретные промахи и ошибки, но главное — за эмпиризм, за близорукую приверженность к конкретным фактам.

Борьба с «Московским наблюдателем» завершает историю «Телескопа» и «Молвы», обнажая их идейные позиции и ретроспективно бросая свет на всю шестилетнюю судьбу изданий.

«Телескоп» и «Молва» были начаты с определенными философско-эстетическими и литературными установками; связанными с именем и мировоззрением Надеждина они остаются и в конце. Тезисы декларативной статьи «Телескопа» «Современное направление просвещения» находят себе соответствие с положениями статьи «Европеизм и народность», отделенной от первой пятилетним промежутком. Однако На-

деждин начинал свои издания, поддерживаемый Погодиным, Шевыревым, Андросовым, а кончил борьбой с ними, поддерживаемый Белинским и его друзьями.

Тираж «Телескопа» и «Молвы» за годы 1831—1834 не превышал 700—800 экз. при тираже «Московского телеграфа» в 1200 экз. и выше. С основанием «Библиотеки для чтения», расходившейся пятитысячным тиражом, круг читателей «Телескопа» стал сужаться. С отъездом Надеждина за границу, по технической неопытности «временной редакции», у «Телескопа» еще более поредели подписчики. Статьи и материалы, печатавшиеся в «Телескопе», были трудны для рядового читателя 1830-х годов, а об удовлетворении читательских потребностей редакция «Телескопа» заботилась мало. Проблема читателя во всем ее объеме перед редакцией «Телескопа» так и не встала, несмотря на то, что Надеждин и Белинский вплотную подошли к этой проблеме. Но свою историческую задачу «Телескоп» и «Молва» все же выполнили, и их место в истории русской журналистики и критики определяется точно. Критикою «Телескопа» и «Молвы» были заложены первые основы критики Белинского. «Телескоп» и «Молва» — «Московский наблюдатель» редакции Белинского — «Отечественные записки»: такова была историческая преемственность.

«Главнейшая заслуга Надеждина-критика в нашей литературе состоит в том, — писал Чернышевский — что он был образователем автора статей о Пушкине. Выражаясь любимым его языком классической поэзии, он незабвенен для нас как Хрон, воспитатель Ахиллеса».

11. «Философическое письмо» Чаадаева и запрещение «Телескопа» и «Молвы»

В пятнадцатой книжке «Телескопа» за 1836 г., в отделе «Науки и искусства» была опубликована статья под заглавием «Философические письма к г-же ***. Письмо 1-ое». Вместо подписи значилось: «Некрополис. 1829 г., декабря 17». Некрополисом называлась Москва, а автором «письма» был П. Я. Чаадаев. Редакция «Телескопа» сопроводила «письмо» примечанием, где указывалось, что оно переведено с французского и что в дальнейшем будут напечатаны в журнале следующие «письма», развивающие «одну главную мысль». В распоряжении редакции были еще «письма» третье и четвертое, причем третье «письмо» должно было войти в семнадцатую книжку «Телескопа», свидетельством чего являются дошедшие до нас корректурные листы этой книжки (второго «письма» Чаадаев не намерен был публиковать в журнале).[1]

П. Я. Чаадаев, друг Пушкина и многих декабристов, был одним из выдающихся представителей русской философско-политической мысли начала XIX столетия. В цикле своих «Философических писем» Чаадаев обосновал оригинальную систему философии истории, поставив на теоретическую почву вопрос о национальной и всемирно-исторической роли России. Концепции Чаадаева были проникнуты мистицизмом: в основе этих концепций лежала мысль о христианском прогрессе и о католичестве как деятельно-нравственной форме христианства. Однако в этих концепциях были заключены идеи борьбы с крепостничеством и нико-

---

[1] Большинство «Философических писем» Чаадаева, в том числе второе, третье и четвертое, оставались неизвестными до 1935 г. См. публикацию «Пяти неизданных философических писем» в «Литературном наследстве» (1935, кн. 22—24, стр. 18—78).

лаевской монархией. Именно этим объяснял Герцен огромное впечатление, произведенное напечатанием «Письма» Чаадаева, а также значение всей последующей его деятельности в московском обществе.

Большинство современников Чаадаева было далеко от понимания сущности его философской системы; современников Чаадаева больше всего поразило его отношение к русской культуре и оценка исторического прошлого России.

В пору грубого насаждения «официальной народности» Чаадаев заговорил о диком варварстве, жестокости и суеверии, которыми с его точки зрения была отмечена русская история. Отчаиваясь в истории России и рисуя ее исключительно мрачными красками, Чаадаев был, конечно, неправ, но его пессимистическое, беспощадное отрицание содержало резкий протест против крепостничества и самодержавия.

«Письмо» Чаадаева было, по словам Герцена, «своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь». В «Философическом письме» Герцен справедливо видел «мрачный обвинительный акт против николаевской России, протест личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце», «безжалостный крик боли и упрека петровской России».

Следует подчеркнуть, что, проводя в печать «Философическое письмо», Надеждин, конечно, не осознавал его революционизирующего смысла, а к тому же он рассматривал это письмо как дискуссионный материал. Только в одном пункте, — в отношении к прошлому России, — воззрения Чаадаева отчасти могли согласоваться с идеями, проводившимися в «Телескопе». Чаадаевское пристрастие к католицизму было совершенно чуждо Надеждину, а надеждинское понимание народности и консервативные политические идеи Надеждина не имели ничего общего с концепциями Чаадаева.

По своим умонастроениям и общественно-литературным связям Чаадаев принадлежал к кругу враждебного «Телескопу» «Московского наблюдателя». В своих показаниях следственной комиссии по делу о напечатании «Философического письма» Надеждин, между прочим, отметил: «Г. Чаадаев принадлежал совсем к другому кругу московских литераторов, между которым и мною до последнего времени существовало журнальное несогласие. В этом кругу журнал мой не пользовался благорасположенным мнением, и, сколько мне известно было по слухам, г. Чаадаев был не из последних моих противников и охуждателей». Говоря о «журнальных несогласиях» Надеждин имел в виду, разумеется, полемику «Телескопа» с «Московским наблюдателем», проходившую с начала 1836 г.

Как же, однако, случилось, что один из «противников и охуждателей» «Телескопа» стал сотрудником этого журнала?

Чаадаев познакомился с Надеждиным еще в 1832 г. в связи с напечатанием в «Телескопе» своего философского отрывка «Нечто из переписки N. N.» (1832, № 11). В 1832 г. в «Телескопе» сотрудничали, как уже отмечалось, многие из учредителей «Московского наблюдателя». Сближения между Чаадаевым и Надеждиным, однако, не произошло, и после 1832 г. Чаадаев уже ничего не печатал в «Телескопе». Только после нескольких безуспешных попыток опубликовать «Философические письма», в частности, после попытки напечатать первое «письмо» в «Московском наблюдателе», Чаадаев в 1836 г. обратился к Надеждину.

Согласившись напечатать несколько «Философических писем» в своем журнале, Надеждин рассчитывал на страницах самого же «Телескопа» открыть их обсуждение. Он имел в виду также «заинтересовать внима-

ние публики и тем дать ход журналу», так как «знал известность и вес автора в высшем обществе» и «ожидал впечатления от самого имени его, которого он нисколько не думал скрывать, хотя и не подписал под статьею».

После опубликования первого «письма» Надеждин предполагал выступить в журнале с ответом Чаадаеву, который был им заготовлен. Возражая Чаадаеву, Надеждин обращался не к отрицательным чертам в истории России, а к достоинствам и преимуществам русского народа. Преимущества эти Надеждин видел в том, что русский народ «не принимал никакого участия в движениях Европы», что у Европы есть прошедшее, но зато у России есть будущее.

В ответных статьях Чаадаеву, оставшихся ненапечатанными ввиду запрещения журнала, очень ярко отразился политический консерватизм Надеждина. Когда писались эти ответные статьи, Надеждин уже предвидел надвигавшуюся на его журнал катастрофу, но мысли, высказанные в статьях, были, вероятно, искренними, поскольку они согласуются с политическими установками статей в «Телескопе» прежних лет. Надеждин заявлял, что «вся жизнь, все бытие» русского народа «сосредоточены» в его царях и что «нет истории русского народа», но есть «история государства русского, история царей русских».

О впечатлении, которое произвело напечатание первого «Философического письма», Надеждин сообщал Белинскому, бывшему в то время в Прямухине. 12 октября 1836 г. Надеждин писал ему, что находится «в большом страхе»: «Письмо Ч[аадаева] возбудило ужасный гвалт в Москве благодаря подлецам-наблюдателям. Эти добрые люди с первого раза затрубили об нем, как о неслыханном преступлении, и все гостиные им завторили... Андросов бился об заклад, что 20 окт. „Телескоп" будет запрещен, я посажен в крепость, а цензор отставлен».

«Философическое письмо» Чаадаева в кругах «Московского наблюдателя» было широко известно и до его напечатания. Невероятным казался самый факт проведения его в печать. В правительственных кругах оно было воспринято, как клевета на Россию и оскорбление русской национальности.

Николай I, ознакомившийся с «письмом», на докладе главного управления цензуры 22 октября 1836 г. положил следующую резолюцию: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу».

Чаадаев официально объявлен был сумасшедшим, причем к нему был приставлен медицинский надзор, а «Телескоп» был закрыт. После разбирательства дела о напечатании «письма» особой комиссией под руководством С. Уварова, представившего комиссии «Выписки из „Телескопа" 1835 и 1836 гг.», якобы убедительно доказывавшие «дурное» направление и подозрительность редактора, — Надеждин был выслан в Усть-Сысольск под присмотр полиции.

12. Надеждин в 1837—1855 гг.

Запрещение «Телескопа» и ссылка явились рубежом в биографии Надеждина. В виде особой милости ему было разрешено «писать и печатать сочинения под своим именем», но Надеждин навсегда оставил

поприще философско-эстетической публицистики и литературной критики. С 1837 г. его деятельность сосредоточилась в области изучения этнографии и фольклора, русской истории и филологии.

Еще находясь в ссылке, сначала в Усть-Сысольске, а потом в Вологде, Надеждин деятельно сотрудничал в энциклопедическом словаре Плюшара (статьи — «Великая Россия», «Венеды», «Винды», «Вологда», «Вымь-река» и мн. др.), в «Библиотеке для чтения» («Об исторических трудах в России», «Об исторической истине и достоверности», «Опыт исторической географии России»), в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» («С чего должно начинать историю»).

Весной 1838 г. Надеждин вернулся из ссылки в Петербург и вскоре после этого уехал в Одессу, где ему покровительствовал тамошний попечитель Д. М. Княжевич и где он стал одним из главных деятелей вновь основанного «Одесского общества любителей истории и древностей». В «Записках» Общества Надеждин опубликовал несколько исследований: «Геродотова Скифия, объясненная через сличение с местностями», «Критический разбор сочинений доктора Линднера: Skythien und die Skythen von Herodot», «О местоположении древнего города Пересечена, принадлежавшего народу Угличам» и другие. В 1840—1841 гг. Надеждин по поручению «Одесского общества любителей истории и древностей» совершил научное путешествие по славянским землям. Он изучил языки новогреческий, валашский и некоторые западнославянские наречия. В результате путешествия было создано исследование «О наречиях русского языка», опубликованное Копитаром в «Jahrbücher der Litteratur» (1841). Отчет о путешествии появился одновременно в «Записках Одесского общества истории и древностей» и в «Журнале Министерства народного просвещения» (1842).

В 1842 г. Надеждин переехал в Петербург, а с 1843 г. стал редактором «Журнала Министерства внутренних дел». На этом посту он оставался до смерти. В «Журнале Министерства внутренних дел» были напечатаны разнообразные и многочисленные работы Надеждина в области географического, этнографического и статистического изучения России.

По поручению министра внутренних дел Л. А. Перовского Надеждин занимался изучением раскола, в результате чего было выпущено два секретных издания: «Исследование о скопческой ереси» (1845) и «О заграничных раскольниках» (1846). В связи с изучением раскола Надеждину пришлось совершить два заграничных путешествия — в 1845—1846 и в 1847—1848 гг. За границей Надеждин завязал сношения и впоследствии поддерживал переписку с выдающимися деятелями славянской науки и литературы — с Миклошичем, с чехословацким поэтом Яном Колларом, с Вуком Караджичем и другими.

В 1846 г. в Петербурге было открыто Русское географическое общество. Надеждин много содействовал основанию этого общества и стал ревностным его членом, а с 1848 г. — председателем Отделения этнографии и редактором «Географических известий». Надеждиным была составлена программа этнографических исследований, которая вызвала присылку в Географическое общество огромного количества ценнейшего материала. В «Географических известиях» и «Этнографическом сборнике» Надеждин поместил целый ряд своих работ, статей и заметок. Из крупных работ Надеждина в последний период его жизни следует назвать статьи: «Об этнографическом изучении народности русской» («Записки Географического общества», 1849, кн. 1 и 2), «О филологических наблюдениях Павского над составом русского языка» («Отечественные записки», 1851, кн. 6), « О русских мифах и сагах, в применении

их к географии и особенно к этнографии русской» («Русская беседа», 1857, кн. 3 и 4).

В августе 1853 г. с Надеждиным случился удар, после которого ему уже не удалось восстановить здоровья. Он умер 11 января 1856 г. Вскоре же после кончины Надеждина, Чернышевский в «Очерках Гоголевского периода» впервые отметил его исторические заслуги в области литературной критики. «Критика была только одна из многих сторон его разнообразной литературной деятельности, — писал Чернышевский, — она принесла уже свой плод. Другие, быть может, еще значительнейшие труды его по другим отраслям науки до сих пор остаются еще неоцененными. Придет время, будут оценены и они».

ГЛАВА XV

„Московский наблюдатель" (1835—1837)

В 1835—1837 гг. «Московский наблюдатель» выходил под редакцией статистика и экономиста В. П. Андросова и был связан с бывшими участниками кружка любомудров и литераторами, близкими этому кружку. В 1838—1839 гг. под тем же названием журнал издавался типографом Н. С. Степановым под негласной редакцией Белинского. При Андросове «Московский наблюдатель» продолжал идейные традиции «Московского вестника» и «Европейца», а ближайшим сотрудником журнала и его руководителем по части литературной критики был С. П. Шевырев. При Белинском «Московский наблюдатель» продолжал враждебные Шевыреву традиции «Телескопа» и «Молвы», а сотрудниками журнала были друзья и единомышленники Белинского из кружка Станкевича.

Не следует смешивать «Московский наблюдатель» редакции Андросова с «Московским наблюдателем» редакции Белинского: и по составу сотрудников, и по идейному направлению это были два совершенно различных журнала.

1. Организация «Московского наблюдателя» и его программа

«Московский наблюдатель» был задуман и организован для борьбы с «промышленной» журналистикой, главным образом, с «Библиотекой для чтения» Сенковского. Предусматривалось также противодействие идейному направлению «Телескопа» и «Молвы», где Надеждин предоставил руководящую роль Белинскому.

«С Шевыревым о журнале», — записал в своем дневнике Погодин, — «непременно должно нам издавать. Неужели оставить литературу на жертву этим негодяям. Я думал было об одной критике, но дошли до большого журнала. Имя ему: Часовой. Не прибавить ли Кремлевский?». Идейный отпор «этим негодяям», т. е. деятелям петербургской «промышленной» журналистики — таково было основное задание проектируемого периодического органа. То, что новый журнал должен был противодействовать также и направлению «Телескопа» и «Молвы», т. е. преимущественно критике Белинского, отмечал Андросов в письме М. А. Максимовичу. «Иметь свой журнал, — писал В. П. Андросов, — свое мнение, свою литературную совесть было для всех нас крайне ощутительно. Мы дошли до того, наконец, что не находили ни привету, ни суда, ни расправы в наших журналах. Обеднели до того, что некуда было пристроить мелкотравчатое свое изделие. Не говорю уже о направлении духа и смысла критик Библиотеки [«Библиотеки для чтения»], и суждений Молвы, в которой Н. И. [Надеждин] позволил хозяйничать студентам и раболепному уничижению: эта амальгама такую произвела гадость, что всех отогнала от него».

В предварительных обсуждениях варьировалось и заглавие журнала и персональный состав его руководства. Не подлежала, повидимому, дискуссиям лишь материальная база издания, поскольку с самого же начала было решено организовать дело вскладчину, на коллективные средства.

После обсуждений и переговоров в «журнальную складчину» вступили А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, Е. А. Баратынский, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Н. Ф. Павлов, Н. М. Языков, Д. Н. Свербеев, Н. А. Мельгунов. Приглашен был также князь В. Ф. Одоевский, а редактором издания был избран В. П. Андросов. Формально не участвовали в «Московском наблюдателе», но были очень близки редакции журнала автор «Философических писем» П. Я. Чаадаев и его друг, выдающийся деятель декабристского движения М. Ф. Орлов, проживавший в Москве под надзором полиции.

Среди учредителей журнала основное ядро составляли литераторы, идейно связанные с кружком бывших любомудров и являвшиеся последователями идеалистической философии Шеллинга. Однако идеологического единства в кругу учредителей «Московского наблюдателя» не было. К 1830-м годам Шеллинг обосновал реакционную философию откровения и развернул борьбу с Гегелем справа. Вслед за Шеллингом пошли и бывшие участники кружка любомудров. Обострение общественных противоречий в России в связи с ходом буржуазно-капиталистического прогресса толкало русских шеллингианцев по пути их учителя.

Если И. Киреевский и Хомяков под влиянием шеллингианской философии откровения в 1830-е годы разрабатывали и подготовляли славянофильское учение, то Шевырев и Погодин тогда же самоопределились как защитники реакционной охранительной идеологии. В противовес Шевыреву и Погодину, занимавшим в кругу «Московского наблюдателя» правые позиции, Чаадаева и М. Ф. Орлова можно определить как представителей левой, оппозиционной группы журнала. Андросов и Павлов также не скрывали своей вражды к официальной идеологии николаевской России, пресловутая охранительная теория им претила. С официальной идеологией расходились и позиции будущих лидеров славянофильства И. Киреевского и Хомякова.

Несмотря на идейные разногласия, все учредители «Московского наблюдателя» были противниками наступивших буржуазно-капиталистических отношений. «Торговое» направление журналистики в кругах «Московского наблюдателя» расценивалось как признак надвигавшегося капиталистического разврата во всех областях общественной жизни. Учредители «Московского наблюдателя» считали, что рост капиталистических отношений враждебен развитию литературы и искусства. Но из этого положения были сделаны неправильные реакционные выводы. Констатирование непоправимого упадка литературы и искусства в настоящем соединялось в кругу «Московского наблюдателя» с тенденциями идеализировать старые патриархальные времена.

Учредители журнала в то же время понимали, что противодействие буржуазно-капиталистическому прогрессу, противодействие «торговой» журналистике будет мало плодотворно без политико-экономических знаний. Поэтому неслучайно, что во главе «Московского наблюдателя» был поставлен В. П. Андросов (1803—1841) — ученый статистик и экономист, видный деятель Московского общества сельского хозяйства, крупнейшего агрономического центра первой половины XIX в. Пост редактора «Московского наблюдателя» Андросов совмещал с долж-

ностью секретаря Общества улучшенного овцеводства и одновременно являлся редактором «Журнала для овцеводов». Воспитанный в традициях немецкой идеалистической философии, Андросов в 1820-е годы был близок к кружку любомудров, сотрудничал в «Московском вестнике» и «Атенее», писал стихотворения и повести.

Как статистик и экономист Андросов получил известность благодаря двум своим книгам «Хозяйственная статистика России» (1827) и «Статистическая записка о Москве» (1832). Очень нашумела вторая книга Андросова, в которой была впервые поставлена и резко сформулирована проблема пауперизма в России. Характеризуя впоследствии умонастроение Андросова, Погодин писал, что Андросов «любил искренно отечество, но любовь его выражалась не столько в похвале хорошему, сколько в осуждении дурного. Последнее трогало его сильнее, по особенному направлению, которое приняли его ум и характер». При организации «Московского наблюдателя» Андросова считали «ненадежным» и «за ним решено было установить цензуру». Миссия «домашнего» цензора «Московского наблюдателя» была возложена на Шевырева.

9 декабря 1834 г. по представлению министра народного просвещения С. Уварова было получено высочайшее разрешение издавать «Московский наблюдатель», причем главное управление цензуры предписало, чтобы из программы журнала было исключено имя И. Киреевского, издателя запрещенного журнала «Европеец». Кроме того, оговаривалось, что цель «Московского наблюдателя» — «единственно литературная, без примеси чего-либо политического».

«Московский наблюдатель» был объявлен как двухнедельный «журнал энциклопедический» и по программе должен был состоять из следующих отделов: I. Словесность русская и иностранная. II. Наука. III. Искусства. IV. Биографии. V. Критика и библиография. VI. Промышленность. VII. Современная летопись. Специально был выделен в программе отдел «промышленности», охарактеризованный следующим образом: «Статьям по сей части будет дан объем самый обширный, соответственно всей важности, которую получил этот предмет в современном общественном быту. Особенное внимание редакции обращено будет на возможное приложение этого предмета к пользам России».

В списке постоянных участников журнала, кроме И. Киреевского, имя которого было исключено из программы цензурой, были названы имена Баратынского, Гоголя, М. А. Дмитриева, Н. А. Мельгунова, В. Ф. Одоевского, Н. Ф. Павлова, Погодина, Хомякова, Шевырева, Языкова. «Редакция приняла меры, — заявлялось в программе, — чтобы, кроме упомянутых литераторов, в журнале участвовали и другие известные литераторы и ученые русские. Она обязанностью поставляет при этом довести до сведения публики, что предлагаемое ею издание не есть какое-либо торговое предприятие одного или нескольких лиц, а основано на мысли доставить каждому из литераторов полезную возможность принять непосредственное участие в журнале, так что, содействуя успеху предприятия, каждый из них тем самым увеличит средства редакции к вознаграждению его за принятое участие».

Очень характерны недвусмысленные намеки программы журнала на «Библиотеку для чтения» в строках о «торговом предприятии» и отрицание «торговых» качеств «Московского наблюдателя».

Как издание, предназначенное для идейного отпора «торговому» направлению, «Московский наблюдатель» привлек внимание Гоголя и Пушкина. Особенно заинтересовался новым журналом Гоголь, приняв-

ший деятельное участие в обсуждении его программы и направления. «Журнал наш нужно пустить как можно по дешевой цене», — советовал Гоголь из Петербурга москвичам. «Лучше на первый год отказаться от всяких вознаграждений за статьи, а пустить его непременно подешевле. Этим одним только можно взять верх и сколько-нибудь оттянуть привал черни к глупой „Библиотеке", которая слишком укрепила за собой читателей своей толщиною. Еще как можно более разнообразия и подлиннее оглавление статей! Количеством и массой более всего поражаются люди. Да чтобы смеху, смеху, особенно при конце! Да и везде нашпиговать им листки! И, главное, никак не колоть в бровь, а прямо в глаз!».

Для борьбы с «торговым» направлением в журналистике Гоголь рекомендовал линию решительных боевых действий, линию обличения и сатиры. Советы Гоголя коллективом учредителей «Московского наблюдателя» приняты, однако, не были: решено было издавать отнюдь не массовый дешевый журнал, а напротив, роскошный периодический орган на веленевой бумаге типа салонных альманахов и рассчитанный на узкий круг квалифицированных читателей.

Разойдясь с редакцией «Московского наблюдателя» по вопросам журнальной политики и тактики, Гоголь, как будет отмечено ниже, вскоре же разошелся с «Московским наблюдателем» и по принципиальным литературно-эстетическим вопросам. Свою оценку «Московского наблюдателя», как журнала не сумевшего противодействовать торговому направлению, Гоголь дал в статье «О движении журнальной литературы» в первом томе пушкинского «Современника».

Пушкин весьма заинтересовался «Московским наблюдателем» и одному из учредителей журнала высказал сожаление, что «не поместили его имени в числе участников». Он напечатал в журнале два стихотворения («На выздоровление Лукулла» и «Туча»), однако остался холоден к журналу и, очевидно, не солидаризировался с его линией по отношению к «торговому» направлению. В 1836 г., после того как с резкой критикой «Московского наблюдателя» выступил Белинский, Пушкин «тихонько от наблюдателей» послал Белинскому первый том своего «Современника».

2. «Московский наблюдатель» в борьбе с «торговым» направлением

Первая книжка «Московского наблюдателя» вышла в середине марта 1835 г. и имела успех. Из письма редактора журнала известно, что весь тираж книжки в 600 экземпляров разошелся в несколько дней и пришлось ускоренным темпом печатать еще столько же. Книжка открывалась статьей Шевырева «Словесность и торговля»; вслед за ней было напечатано стихотворение Баратынского «Последний поэт», далее шли — статья Андросова «Производимость и живые силы», очерк В. Безгласного (В. Ф. Одоевского) «Петербургские письма», стихотворение Хомякова и др.

Статья Шевырева носила программный характер и произвела сильное впечатление в литературных кругах. С большим негодованием Шевырев нападал на «торговое» направление в журналистике и, главным образом, на «Библиотеку для чтения». Основная мысль, которую он защищал и обосновывал, заключалась в том, что промышленные денежные отношения губительны для развития литературы и искусства. «Да, да, мой взгляд на современную литературу будет ныне совершенно

материальный, — иронически заявлял Шевырев. — На журналы я смотрю как на капиталистов... Вот едет литератор в новых санях; ты думаешь это сани? Нет, это статья „Библиотеки для чтения", получившая вид саней, покрытых медвежею полостью, с богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этот ковер, этот лак, чистый и опрятный, все это листы дорого заплаченной статьи, принявшие разные образы санного изделия... Но кто невидимый герой всего этого мира? Кто устроил ломбард нашей словесности и взял ее производителей под опеку? Кто движет всей этой машиной литературы? Книгопродавец. С ним подружилась наша словесность, ему продала себя за деньги и поклялась в вечной верности».

По поводу статьи Шевырева Гоголь писал: «Первая ошибка здесь та, что автор статьи обратил внимание не на главный предмет. Во-вторых, он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара... Притом сии нападения были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный закон всякого действия. Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличились... Должно доказать, в чем состоит обман, а не пересчитывать барыши». Белинский дал аналогичную оценку статье Шевырева, указав, что «в ней много справедливого, глубоко истинного и поразительно верного; но вывод ее решительно ложен». Гоголь и Белинский понимали, что промышленные денежные отношения приносят вред литературе и искусству. Однако, вопреки взглядам Шевырева, они считали, что эти отношения исторически неизбежны. «Конечно, — замечал Белинский, — верная пожива от литературных трудов умножает число непризванных литераторов, наводняет литературу потопом дурных сочинений; но это зло необходимое». Гоголь и Белинский исходили из мысли, что денежные промышленные отношения, несмотря на их несомненную вредность, все же никогда не могут остановить прогрессивного развития литературы и искусства. Наоборот, Шевырев и другие учредители «Московского наблюдателя» были убеждены, что торжество «промышленных» интересов необходимо обусловливает глубокий упадок искусства и создает непреодолимую преграду для его развития.

В стихотворении Баратынского «Последний поэт», перекликавшемся со статьей Шевырева, проводилась та же мысль о губительности для дела искусства «промышленных» отношений:

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии младенческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья
Промышленным заботам преданы...

Протест против буржуазно-капиталистического прогресса содержала также статья Андросова «Производимость и живые силы». С антибуржуазных, антикапиталистических позиций выносился приговор и западноевропейской культуре в стихотворении Хомякова

О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываются с небес...

Непримиримая враждебность к развертывающемуся в России капитализму связывалась в кругу «Московского наблюдателя» с пессимистическим отношением к современной западноевропейской культуре, шедшей по путям буржуазного прогресса. Характерно, что в стихотворении Хомякова скорбь о закате некогда блистательной западной культуры выражалась одновременно с надеждой, что православной России суждено занять место Западной Европы и стать во главе общечеловеческого развития. В заключительных строках «Мечты» говорилось:

Услышь же глас судьбы, воспрянь в сияньи новом,
Проснися, дремлющий Восток!

Мысль о пробуждении Востока, т. е. России, исходила из намечавшейся концепции о самобытных, несходных с западноевропейскими, путях русского исторического развития. Хомяков в своем стихотворении впервые сформулировал один из важнейших пунктов программы будущих славянофилов.

Но в 1835—1836 гг. в кругу «Московского наблюдателя» только один Хомяков мечтал об особой исторической миссии России и противопоставлял Россию Западной Европе. Другие же учредители «Московского наблюдателя», не только Андросов, Баратынский, Н. Павлов, но и будущие славянофилы И. Киреевский и А. Кошелев — не разделяли чаяний Хомякова. С ним солидарны были лишь в отрицательной оценке буржуазно-капиталистического прогресса, в пессимистическом отношении к будущему западноевропейской культуры и в безграничном пиэтете к ее прошлому. В то время как Хомяков уже по-славянофильски мыслил перспективы исторического развития России, для большинства других учредителей «Московского наблюдателя» эти перспективы были еще неясны.

У представителей левой группы «Московского наблюдателя» (Андросова, Павлова) сопротивление наступавшему буржуазно-капиталистическому развитию шло рука об руку с критикой российской действительности. В связи с этим росло отвращение к антикультурному казенно-славословящему национализму. Вдохновителями левой группы журнала были Чаадаев и М. Орлов, которые не скрывали своей вражды к николаевской России.

Оппозиционные тенденции «Московского наблюдателя» отразились особенно четко в двух статьях за подписью «—о—», принадлежавшей, вероятно, Н. Ф. Павлову. Первая статья была посвящена романтической опере А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» по одноименному роману М. Н. Загоскина (1835, июль, кн. 2). Во второй, принципиально наиболее важной статье, давался разбор комедии Загоскина «Недовольные» (1835, окт., кн. 1).

Выход в свет этой комедии и постановка ее на сцене явились заметными событиями в литературно-общественной жизни Москвы 1830-х годов.

Исходя из формул николаевской государственности, Загоскин резко и грубо обличал в своей комедии московских аристократов-фрондеров за отсутствие у них патриотизма и презрение ко всему отечественному, за приверженность их к западноевропейской культуре. В числе действующих лиц комедии были выведены близкие к редакции «Московского наблюдателя» М. Ф. Орлов и Чаадаев. Именно их Загоскин не без оснований считал «недовольными» николаевским строем.

Статья Н. Ф. Павлова по поводу «Недовольных» была сильной и яркой статьей. Политический смысл этой статьи заключался в том, что

она била гораздо дальше памфлета Загоскина, она метила в пресловутую охранительную теорию. Характерно, что именно так статья и была воспринята защитниками и апологетами охранительной теории. 17 марта 1836 г. Ф. Ф. Вигель писал Загоскину: «Бешеная рецензия „Московского наблюдателя" на вашу славную комедию еще здесь читается, вы под проклятием врагов порядка, Руси, православия». И дальше, в том же письме Вигель называл направление «Московского наблюдателя» «якобинством нового издания», а учредителей журнала характеризовал как «волков в овечьей коже». «У них есть политическая вера, космополитизм, которая распространяется парижскою пропагандой», — подчеркивал Вигель.

Пушкин очень тонко учел оппозиционные тенденции «Московского наблюдателя», когда он послал в журнал свое стихотворение «На выздоровление Лукулла», клеймившее одного из столпов николаевской бюрократии, министра народного просвещения С. С. Уварова. Стихотворение было напечатано в журнале (1835, сент., кн. 2), причем можно предполагать, что редакции было известно, в кого метил Пушкин.

3. Обзор содержания «Московского наблюдателя»

Несмотря на сильный состав участников «Московского наблюдателя», несмотря на то, что основная его задача противодействовать «торговому» направлению не могла не быть близка передовым писателям, — журнал все же оказался нежизнеспособным. Как справедливо отметил Гоголь, в «Московском наблюдателе» не было «никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала».

Уже с самого основания «Московского наблюдателя» редактору его пришлось бороться с организационно-техническими и цензурными трудностями. С одной стороны, Андросов не имел достаточного журналистского опыта и совершенно не был в состоянии поставить «Московский наблюдатель» так, чтобы он хоть сколько-нибудь мог конкурировать с «Библиотекой для чтения». С другой стороны, систематически и неуклонно на журнал давила цензура, особенно настороженная и бдительная после опубликования пушкинского стихотворения «На выздоровление Лукулла». Имея в виду цензурные строгости, Андросов не решился провести в «Московском наблюдателе» «Философическое письмо» Чаадаева, вскоре же напечатанное в «Телескопе». Цензурой была вырезана из отпечатанных уже книжек статья, являвшаяся ответом Чаадаеву — «Несколько слов о Философическом письме, напечатанном в 15 книжке „Телескопа"». [1]

Едва ли не основную роль в неудаче «Московского наблюдателя» сыграло то, что в коллективе его учредителей и пайщиков не было идейного единства. В первые же месяцы существования журнала этот коллектив фактически распался.

---

[1] Оттиск этой невышедшей в свет статьи был обнаружен Я. И. Ясинским в 1938 г. в библиотеке А. И. Тургенева, поступившей в библиотеку Института литературы (Пушкинского дома) Академии Наук СССР. Статья — без подписи, но можно предполагать что автором ее был Хомяков. Руководящая мысль статьи состояла в опровержении чаадаевской отрицательной оценки русской истории. «Мы принимали от умирающей Греции святое наследие, символ искупления, и учились Слову, — заявлялось в статье, — мы отстаивали его от нашествия Корана, и не отдали во власть Папы; сохраняли непорочную голубицу, перелетевшую из Византии на берега Днепра и припавшую на грудь Владимира». Полемика с Чаадаевым велась с ярко выраженных славянофильских позиций, а в 1836 г. славянофильские взгляды Хомякова уже отчетливо определились.

По поводу статьи Шевырева «Словесность и торговля» Гоголь, критикуя эту статью, говорил, что она была лишь неудачной выходкой против «Библиотеки для чтения», но не началом планомерной борьбы с «торговым» направлением. «Итак, выходка „Московского наблюдателя" скользнула по „Библиотеке для чтения", как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, „Московский наблюдатель" замолчал, — доказательство, что он не начертал для себя обдуманного плана действий и что решительно не знал, как и с чего начать».

Вслед за декларативной статьей Шевырева в «Московском наблюдателе» появилось еще несколько статей, направленных против «Библиотеки для чтения» и против Сенковского. К их числу принадлежат статьи Н. П-щ-ва (Павлищева) «Брамбеус и юная словесность» (1835, июль, кн. 1 и 2) и статья В. Андросова «Критическое объяснение» (1835, дек., кн. 2), посвященная полемическим выпадам «Библиотеки для чтения» против «Словесности и торговли» Шевырева. В последующих книжках «Московского наблюдателя» появилась другая статья Андросова «Как пишут критику» (1836, апр., кн. 1), защищавшая «Исторические афоризмы» Погодина, «Историю поэзии» Шевырева и — попутно — пушкинский «Современник» от нападок «Библиотеки для чтения». См. еще «Отметки наблюдателя» (1836, июнь, кн. 2) с подробным списком писателей, «разруганных и расхваленных» «Библиотекой для чтения» и статью «Шуточки Библиотеки для чтения» (1836, июль, кн. 1), в которой Сенковский был назван «Вольтером толкучего рынка». Но все эти статьи ни в какой степени не подрывали «торгового» направления, поскольку редакция «Московского наблюдателя» не заботилась о занимательном и остром материале, который мог бы привлечь к журналу внимание широких читателей. К тому же книжки журнала выходили с большим запозданием. Редактор «Библиотеки для чтения» вскоре же понял, что в лице «Московского наблюдателя» он имеет дело с бессильным противником, и поэтому даже перестал полемизировать с ним.

Из учредителей и пайщиков «Московского наблюдателя» И. В. Киреевский, А. И. Кошелев и Д. Н. Свербеев не дали в журнал ни одной своей работы. Не осуществилось также сотрудничество объявленных в программе Гоголя и М. Дмитриева.

Гоголь, принявший живейшее участие в обсуждении плана журнала, предназначал для «Московского наблюдателя» повесть «Нос», но она была отвергнута редакцией. Шевырев, руководивший критическим отделом журнала, оценил «Нос» как «грязное» произведение. «Грязным» для Шевырева оказался и «Ревизор» Гоголя, по поводу постановки которого на московской сцене он отказался дать рецензию в «Московском наблюдателе». Отзыв о «Ревизоре» все же появился на страницах журнала (1836, май, кн. 1), но принадлежал он Андросову, который в данном случае принципиально разошелся с Шевыревым. Отношению к «Ревизору» как к «грязному» произведению Андросов противопоставил высокую оценку великой комедии, характеризовал ее как общественную сатиру и сочувственно отметил гоголевский метод художественного обобщения.

Баратынский поместил в «Московском наблюдателе» всего четыре стихотворения («Последний поэт», «Недоносок», «Бокал» и «Алкивиад»); Хомяков — пять стихотворений и одну хозяйственно-экономическую работу («Замечания на статью о чересполосном владении»); Н. Ф. Павлов — одно стихотворение, одну повесть («Маскарад») и две

названных выше критических статьи; Погодин — «Очерк русской истории», «Сцены из жизни Петра Великого» и два информационных письма к редактору о научно-литературных новостях; Н. Мельгунов — один музыкально-критический очерк и два путевых очерка. Через Мельгунова в редакцию «Московского наблюдателя» были получены специально написанные для журнала немецким историком литературы Кенигом статьи «О теперешнем состоянии немецкой литературы» (1836, июнь, кн. 2; сент., кн. 1; окт., кн. 2 и ноябрь, кн. 1) и «Новые немецкие романисты» (1836, ноябрь, кн. 2). Ввиду материальных затруднений редакции, в связи с неуспехом «Московского наблюдателя», гонорар Кенигу был выплачен из личных средств Мельгунова.

Постоянным сотрудником журнала был Языков, который поместил здесь девять стихотворных посланий, «Сказку о пастухе и диком вепре» и отрывок из сказки «Жар-птица». Принципиально чуждый духу всяческого журнализма, Языков ясно понимал недостатки «Московского наблюдателя». «Наблюдатель выходит все площе и площе, — писал он Пушкину 1 июня 1836 г. — Жаль мне, что я увязал в него стихи мои: его никто не читает». С конца 1836 г. Языков, действительно, уже ничего не печатал в журнале.

Из особо приглашенных в «Московский наблюдатель» литераторов Пушкин, как было сказано выше, принял лишь эпизодическое участие, хотя и следил за журналом; Вяземский ограничился напечатанием только одной эпиграммы на Булгарина (1836, июнь, кн. 2); В. А. Соллогуб не дал ничего. Деятельнее был В. Ф. Одоевский, который напечатал в журнале одно письмо из цикла «Петербургских писем», одно — из цикла «Русских ночей» и одну новеллу о «Себастьяне Бахе». А. И. Тургенев предоставил «Московскому наблюдателю» несколько своих заграничных путевых очерков, опубликованных здесь под псевдонимом «Эоловой арфы».

Стихами энергично поддерживали «Московский наблюдатель» второстепенные и третьестепенные поэты и стихотворцы — А. Башилов, Д. Ознобишин, гр. Ростопчина, Стромилов, Н. Теплова, Якубович и другие. Оригинальная художественная проза была представлена, главным образом, привлеченным к участию в журнале харьковским профессором И. И. Срезневским и А. Ф. Вельтманом, повести которых редакция особенно ценила. Творчеству Вельтмана была посвящена специальная критическая статья М. Лихонина (1836, май, кн. 1 и 2).

Из случайных материалов на страницах «Московского наблюдателя» появились — отрывок из романа Н. Полевого «Синие и зеленые» и отрывок из переведенного Полевым путешествия Дюмон-Дюрвиля. Очерковый, фельетонный и мемуарный материал был представлен отрывком из путешествия по Сицилии А. Черткова, отрывками из заграничной переписки А. Лоренца, очерками А. В. Шидловского, Я. Сабурова и других.

Среди переводного материала выделяются в «Московском наблюдателе» переводы из Жорж Занд — «Письма путешественника», повесть «Симон» и роман «Мопра́». Пять лет спустя, в 1842 г. Белинский характеризовал «Мопра» как «одно из лучших созданий Жорж Занд» и именно по поводу этого романа называл писательницу «адвокатом женщины». Нужно сказать, однако, что для большинства учредителей «Московского вестника» внимание к творчеству Жорж Занд вовсе не было характерно. Переводы из Жорж Занд в «Московском наблюдателе» скорее всего можно объяснить индивидуальными склонностями Андросова, остро ощущавшего социальные проблемы,

В несомненной связи с общественными и научными интересами Андросова находится перевод в журнале статьи Сисмонди «Ирландия в 1834 году» (1836, авг., кн. 1 и 2), которую, между прочим, внимательно изучал декабрист Н. А. Бестужев в Сибирской ссылке. Сисмонди видел причину «ужасного положения» Ирландии в том, что «вся почти масса народонаселения не имеет никакого участия в земельной собственности и что весь почти ирландский народ состоит из нищих». Экономические воззрения мелкобуржуазного швейцарского романтика не могли не привлекать внимания Андросова, поскольку он в своей «Статистической записке о Москве» ставил проблему пауперизма.

В соответствии с объявленной программой, в «Московском наблюдателе» уделялось много места статьям по экономическим вопросам. Андросову принадлежат статьи о «трудах комитета сахароваров», об официальном статистическом сборнике государственной внешней торговли 1834 г., о книге Г. Небольсина «Статистические записки о внешней торговле России». В своих статьях Андросов постоянно подчеркивал, что землевладельцы нуждаются в средствах, а без средств, без капитала они вынуждены резко снижать всякую рационализаторскую инициативу в своих хозяйствах. Совмещая пост редактора «Московского наблюдателя» с должностью секретаря общества улучшенного овцеводства, Андросов энергично пропагандировал овцеводство, а также рекомендовал землевладельцам заниматься производством сахарной свеклы. На страницах «Московского наблюдателя» была помещена огромная статья Д. Давыдова «Химическое изыскание по свеклосахарному производству» (1835, май, кн. 2).

Из переводных статей по экономическим вопросам нужно отметить «Мнение французского министра внутренних дел Тьера об устройстве железных дорог во Франции», «Будущность железных дорог», «О настоящем состоянии промышленности и торговли» и другие.

Для социального облика «Московского наблюдателя» необычайно характерна статья профессора и академика К. Ф. Германа, посвященная разбору трудов представителей феодального социализма Гюерна де Помеза, барона Морога и Вильнев Баржемона (1835, июль, кн. 1). В анализе этих трудов, а также в критике социалистов-утопистов, которых статья попутно касается, все построения автора исходят из безоговорочного отрицания теории трудовой стоимости. Упоминая о классиках политической экономии, Герман подчеркивал, что их школа, «продолжает еще повторять Рикардово правило, будто одно произведение есть не что иное, как сумма труда, а оно напротив есть сумма капиталов, которые были употреблены на производство его». Герман доказывал «несправедливость утверждения, будто соединенной деятельности работников обязано общество фабричными изделиями».

Выше уже отмечалось, что в пору издания «Московского наблюдателя» складывалась и подготовлялась идеология славянофильства. Проблема славянства, одна из центральных проблем будущего славянофильства, нашла свое отражение и в «Московском наблюдателе». Здесь были напечатаны исторические исследования П. Шафарика «О народах скифского племени» (1836, июнь, кн. 2) и «Мысли о древности славян в Европе» (1836, июль, кн. 2), работы Ю. Венелина «Скандинавомания и ее поклонники, или столетние изыскания о варягах» (1836, авг., кн. 2; окт., кн. 1 и 2) и «О зародыше новой болгарской литературы» (1837, сент., кн. 1).

Очень скромное место занимали в «Московском наблюдателе» статьи, посвященные вопросам философии и эстетики. Оригинальных

статей по философским вопросам в журнале появилось всего две — статья доктора Ястребцова «Взгляд на направление истории», написанная в форме письма к М. Ф. Орлову (1835, апр., кн. 2) и обзор И. Ефимовича «Взгляд на системы философии XIX века во Франции» (1835, ноябрь, кн. 1; 1837, май, кн. 2). Основные положения статьи Ястребцова очень близки концепциям Чаадаева; вероятно, под влиянием Чаадаева статья и была написана. Из переводных философских статей в «Московском наблюдателе» были напечатаны статьи — Ш. Нодье «Что такое истина» (1836, март, кн. 1), Ансильона «XVIII век» (1837, дек., кн. 1) и Швейгарда «Немецкая философия» (1837, сент., кн. 2), направленная против Гегеля. Помещение последней статьи было весьма характерно для идеологии всей группы «Московского наблюдателя». Бывшие любомудры становились на путь реакционной философии откровения.

4. Критическая деятельность Шевырева в «Московском наблюдателе»

Из всех пайщиков «Московского наблюдателя» самым активным и деятельным участником журнала был Шевырев. Он выступал в «Московском наблюдателе» как поэт, как переводчик, как теоретик литературы и как литературный критик. Критический отдел «Московского наблюдателя» был целиком в руках Шевырева. Помимо декларативной статьи «Словесность и торговля», Шевыреву принадлежали разборы — драмы Н. Кукольника «М. В. Скопин-Шуйский» (1835, март, кн. 1 и 2), «Трех повестей» Н. Ф. Павлова (1835, март, кн. 1), «Миргорода» Гоголя (1835, март, кн. 1), книги Жюля Жанена «Romans, contes et nouvelles» (1835, май, кн. 1), стихотворений В. Бенедиктова (1835, авг., кн. 1), драмы А. де Виньи «Чаттертон» (1835, окт., кн. 2). Шевырев поместил в «Московском наблюдателе» свои статьи «О критике вообще и у нас в России» (1835, апр., кн. 1), о «Московском театре» (1835, апр., кн. 1); он вел эпизодический критический «Перечень наблюдателя»; печатал в журнале свои переводы с итальянского; предоставил «Московскому наблюдателю» отрывок из своей книги «Теория поэзии» о Гердере, Шиллере и Гете (1836, дек., кн. 2). Шевырев, наконец, на страницах «Московского наблюдателя» поместил три больших полемических статьи против «Телескопа» и Надеждина в связи с критикой последним его книги «История поэзии» (1836, апр., кн. 2; май, кн. 2; июнь, кн. 1).

Литературно-эстетическая позиция Шевырева наиболее ярко выразилась в его попытках произвести реформу русского стиха. Опираясь на итальянское силлабическое стихосложение, Шевырев перевел в октавах, широко применяя ритмические перебои, седьмую песню «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо. Новаторство Шевырева было сознательно заострено против Пушкина и его стихотворной школы. Реформаторский опыт Шевырева был проникнут стремлением возвратить русскую поэзию к силлабическому стихосложению, ко времени Кантемира и Ломоносова.[1] Характерно, что именно так восприняли «новаторство» Шевырева его современники. «Ну не чистая ли это тредиаковщина? — восклицал Вяземский под впечатлением перевода Шевырева. — Нет ни музыки, ни живописи, ни логической точности в вы-

[1] Теоретическое обоснование своего новаторства Шевырев дал в статье «О возможности ввести октаву в русское стихосложение», напечатанной в «Телескопе» 1831 г., кн. 11 и 12. Ср. также стихотворение Шевырева «Послание к А. С. Пушкину», опубликованное в «Деннице на 1831 г.».

ражении! И думать, развешивая из окна „Наблюдателя" измятую такую тряпку в виде знамени, что наша старина рушится перед нею!».

Борясь с плавностью и ясностью пушкинского стиха, принципиально обосновывая «тяжелый» и «жесткий» стих, Шевырев вскоре же выступил с апологией поэзии Бенедиктова. Сборник стихотворений Бенедиктова, вышедший в 1835 г., Шевырев восторженно приветствовал, восприняв Бенедиктова именно как «поэта мысли». Пушкин в глазах Шевырева был поэтом описания, но не мысли. Уже после смерти Пушкина в «Перечне Наблюдателя» Шевырев так отзывался о поэте: «Эскиз был стихиею неудержного Пушкина: строгость и полнота формы, доведенной им до высшей степени совершенства, которую он и унес с собою, как свою тайну, и всегда неполнота и неоконченность идеи в целом — вот его существенные признаки».

Основные положения, которые развивал Шевырев в своих критических статьях, можно формулировать следующим образом. Литературное дело есть дело привилегированного меньшинства. В составе такого меньшинства всего желательнее представители аристократического общества, которые по своему образованию, воспитанию и всем культурным и жизненным навыкам могут дать и содержание литературе и вкус к «изящному». Изображение действительности в литературе Шевырев представлял себе как путь к облагораживанию этой действительности. В связи с этим он выдвинул формулу «светской повести», пытаясь опереться на повести Павлова. Все «низкое» и «грязное», согласно взглядам Шевырева, должно было беспощадно изгоняться из литературы. Шевырев считал, что творцом «светской повести» могла бы быть женщина как носительница «поэтического» начала самой жизни. «Она бы идеализировала нашу жизнь и тем бы указала, может быть, на средства к ее улучшению», — писал Шевырев. «У нас литературное произведение не всегда должно быть верным списком действительности; я желал бы в них побольше идеального для того, чтобы тем подвигать нашу действительность, указывая на то, чем мы должны и можем быть».

В статье о «Миргороде» Шевырев характеризовал Гоголя как комического писателя, а «безвредная бессмыслица» — вот, по Шевыреву, — «стихия комического, стихия смешного». Шевырев отвергал установку Гоголя на низшие слои общества, на «низкую» действительность, считая «грязным» не только «Нос», но и «Ревизора». Шевырев призывал Гоголя к «светской» комической повести, подчеркивая в то же время «высокую» традицию у Гоголя и поставив «Тараса Бульбу» выше всего, им написанного.

Литературно-критические взгляды Шевырева отнюдь не совпадали с взглядами других участников «Московского наблюдателя» (Андросова, Павлова и др.), но все же именно Шевырев своими статьями определил направление журнала. Неслучайно поэтому, что Надеждин и Белинский атаковали «Московский наблюдатель» именно по линии его «критики и литературных мнений». Шевыревская проповедь «светскости и элегантности» была осуждена со всею решительностью в «Телескопе» и «Молве».

5. Переход «Московского наблюдателя» к Белинскому и его группе

В связи с тем, что «Московский наблюдатель» не имел успеха среди читателей, а также в связи с усилением цензурного гнета в Москве после разгрома «Телескопа» и «Молвы», — встал вопрос о прекраще-

нии журнала. Осенью 1836 г. Шевырев писал в Петербург А. А. Краевскому о вероятности «совершить тризну по Наблюдателю от разных причин». Учитывая ликвидаторские настроения москвичей, Краевский, занимавшийся распространением «Московского наблюдателя» в Петербурге, поставил перед Андросовым вопрос о возможности передачи журнала петербургскому книгопродавцу Плюшару. Проект Краевского остался неосуществленным, поскольку, вероятно, разошлись в сумме, которую предлагал Плюшар владельцам журнала: в одном из своих неизданных писем Андросов указывает на необходимость возвращения пайщикам вложенных ими в издание сумм.

В 1837 г. «Московский наблюдатель» заполнялся почти целиком переводным материалом, а из его организаторов никто уже, за исключением Шевырева, более в нем не печатался.

В конце 1837 г. Кс. Полевой сделал попытку купить у Андросова журнал, но не получил на это разрешения министра народного просвещения. Лишь несколько месяцев спустя «Московский наблюдатель» был приобретен типографом Н. С. Степановым, и Белинский с друзьями взял его в свои руки. 13 марта 1838 г. М. Бакунин писал Беерам о своих хлопотах по «Московскому наблюдателю»: «Наблюдатель и мы, — странно! Шевырев из него изгнан нашими единомышленниками и мы вступаем во владение его. Он, т. е. Шевырев, слишком много врал, пора бы замолчать. Теперь-то запоют соловьи. Виссарион написал уже длинную и красноречивую песнь и я так же».

«Московский наблюдатель» в 1838—1839 гг., издававший под негласной редакцией Белинского, стал по существу совершенно новым журналом, сохранившим только прежнее название. О направлении обновленного «Московского наблюдателя» уместнее всего говорить в связи с обзором критической деятельности Белинского.

ГЛАВА XVI

„Литературная газета“

1. Организация и история «Литературной газеты»

«Литературная газета», несмотря на свое недолговременное существование, является одной из наиболее интересных и ярких страниц русской журналистики 1830-х годов. Возникнув как издание группы участников альманаха А. А. Дельвига «Северные цветы», «Литературная газета» стала органом писателей, группировавшихся вокруг Пушкина. Близкое участие в организации газеты и ее издании принимал и сам Пушкин.

Пушкин в это время стремился создать свою газету или журнал, которые дали бы ему возможность участвовать в политической и литературной жизни, оказывать непосредственное влияние на широкие читательские круги. Это тем более стало необходимым, что газетная монополия принадлежала Булгарину и Гречу с их «Северной пчелой», являвшейся почти единственным периодическим изданием, имевшим право печатать политические известия. Не удовлетворяли Пушкина и его друзей и остальные петербургские и московские издания, общественная и литературная позиция которых была для них неприемлема.

«Литературная газета» начала выходить с 1 января 1830 г. под редакцией близкого друга Пушкина — А. А. Дельвига, издававшего ее с помощью опытного журналиста О. М. Сомова. Ближайшее участие в редактировании и издании газеты принимали Пушкин и П. А. Вяземский. Когда Дельвиг уезжал в Москву в феврале 1830 г., Пушкин выпустил несколько номеров газеты (с 3 по 12) совместно с О. Сомовым. В дальнейшем, после отъезда Пушкина из Петербурга (в марте 1830 г.), его участие в газете сводилось преимущественно к присылке для нее статей и заметок.

Ввиду невозможности получить разрешение на политический отдел, газета должна была ограничиться лишь литературным и критическим материалом, этим самым приближаясь по своему характеру к журналу. В «Литературной газете» помещались отрывки из романов, повести, стихотворения, критические и научно-популярные статьи, библиография и «смесь», состоявшая из мелких заметок самого разнообразного содержания. В редакционной вступительной заметке говорилось:

«Цель сей газеты — знакомить образованную публику с новейшими произведениями литературы европейской, и в особенности российской...

«Издатель признает за необходимое объявить, что в газете его не будет места критической перебранке. Критики, имеющие в виду не личные привязки, а пользу какой-либо науки или искусства, будут с благодарностию принимаемы в „Литературную газету“.

«Разнообразие и занимательность будут главнейшим предметом трудов и попечений издателя. Литературные произведения в прозе и стихах, библиография и смесь будут постоянно входить в состав каждого номера.

«Писатели, помещавшие в продолжение шести лет свои произведения в „Северных цветах“, будут постоянно участвовать в „Литературной

газете". (Разумеется, что гг. издатели журналов, будучи заняты собственными повременными изданиями, не входят в число сотрудников сей газеты). Всякая статья, сообразная с целью газеты, будет с благодарностью принята.

«„Литературная газета" будет выходить через каждые пять дней, нумерами в один печатный лист большого размера. В течение года сих номеров будет издано 72. Первый номер выйдет в свет 1-го января 1830 года».

Программа эта и осуществлялась на всем протяжении издания газеты с 1 января 1830 г. до ее закрытия — в июне 1831 г.

В числе постоянных ближайших сотрудников «Литературной газеты», помимо Дельвига, Пушкина и Вяземского, были виднейшие литераторы тех лет: Шаховской, Д. Давыдов, Баратынский, Катенин, Погорельский (Перовский), Туманский, Козлов, Хомяков, Ф. Глинка, Языков и другие. В «Литературной газете» помещены были без подписи стихи ссыльных декабристов А. Одоевского и А. Бестужева и стихи тогда еще начинающего поэта А. Кольцова.

За время существования «Литературной газеты» в ней был напечатан целый ряд стихотворений, статей и заметок Пушкина, большею частью помещенных анонимно. За своей подписью Пушкин печатал лишь стихи, да и то не всегда: подписаны им были отрывок из VIII главы «Евгения Онегина» («Прекрасны вы, брега Тавриды») в № 1 за 1830 г., «Стансы» («Брожу ли я вдоль улиц шумных») в № 2, другие «Стансы» («В часы забав иль праздной скуки») в № 12, стихотворение «К ***» («Когда твои младые лета») в № 13, «В альбом» («Что в имени тебе моем») в № 20, «Послание к к. Н. Б. Ю.» (Юсупову); отрывок из послания к Языкову был помещен анонимно, а стихотворение «Калмычка» подписано «КРС». Под заглавием «Военная грузинская дорога» был напечатан отрывок из «Путешествия в Арзрум», под заглавием «Ассамблея при Петре I» — отрывок из «Арапа Петра Великого». Однако в «Литературной газете» Пушкин выступал не только как поэт и прозаик, а главным образом как журналист. Им были напечатаны ряд статей и рецензий в отделе «Библиография»: о переводе «Илиады» Гнедича, об «Истории русского народа» Полевого, о «Юрии Милославском» Загоскина, об альманахе «Денница», о поэме Ф. Глинки «Карелия», разбор стихов Сент-Бева, а также ряд полемических, критических и редакционных заметок в отделе «Смесь»: о литературной критике, о записках Самсона, о статьях кн. Вяземского, о записках Видока и другие.

В «Литературной газете» впервые выступил Гоголь с рядом фрагментов: из ранней исторической повести («Учитель»), из «малороссийской повести» «Страшный кабан», «Успех посольства», «Несколько мыслей о преподавании географии», «Женщина».

В стихотворном отделе, кроме Пушкина, постоянно печатали свои стихи — Дельвиг, Вяземский, Баратынский, Д. Давыдов, А. Измайлов, Деларю, Языков, Трилунный, Козлов, Ф. Глинка, Хомяков, реже: Крылов, Тепляков, Подолинский, Шевырев.

Художественная проза также выделяла «Литературную газету» среди тогдашних журналов. В отделе «Прозы» (имевшем подзаголовок: «Повести, отрывки из романов, путешествия и проч.») было помещено много оригинальных произведений русских авторов. Среди них отрывки из романов А. Погорельского «Монастырка» и «Магнетизер», отрывки из романа П. Яковлева «Удивительный человек», ряд повестей О. Сомова («Почтовый дом в «Шато-Тьерри», «Страшный гость», «Самоубийца»). Однако основное место в отделе занимали очерки, путешествия, запи-

ски — «Письма русского путешественника из Варны» В. Теплякова, «Киргизцы» А. Крюкова, «Грузинская свадьба» В. Григорьева, «Прогулка в окрестностях Лондона» А. Норова, «Праздник в Величке», «Отрывок из дорожных записок» Я. Сабурова, «Четыре дня в Финляндии» О. Сомова, «Кяхтинский пир» Н. Б. и другие. Вообще для изданий, в редактировании которых принимал участие Пушкин, характерно преобладание чисто журнальных жанров — очерков, статей научно-популярного характера, записок и т. п. Особо следует отметить ряд статей научно-популярного характера по естествознанию, политической экономии и философии в отделе «Рассуждения, критические разборы и пр. по разным предметам словесности, наук и искусств». Здесь были помещены статьи М. А. Максимовича «О цветке» (глава из сочинения о природе) и «О разнообразии и единстве вещества в природе», Д. Л. Велланского «Замечания на статью французского журнала „Le Furet" о животном магнетизме», Полетики «Состояние общества в Соединенных Американских областях», статьи экономиста Т. Степанова и ряд переводных статей.

Наряду с оригинальными произведениями, «Литературная газета» помещала и переводный материал: переводы отрывков из романов, научные и критические статьи. Но и здесь, в отличие от довольно случайного и беспринципного обращения к переводному материалу большинства тогдашних журналов, «Литературная газета», даже в тех случаях, когда не разделяла позиции переводимых и печатаемых ею авторов (как это было с переводами из Жюль Жанена или Гюго), помещала на своих страницах наиболее выдающиеся новинки западноевропейской литературы и внимательно следила за передовыми европейскими журналами, французскими в первую очередь. Так, в «Литературной газете» за 1830 г. были помещены переводы из Фан дер Фельда («Богемская девичья война», «Поединок»), отрывок из «Хроники Карла IX» Мериме, повести Гофмана и Л. Тика, «Приключения маленького антиквария» Вашингтона Ирвинга, «Сокровище» В. Скотта, «Монастырь св. Онуфрия» Стендаля, отрывки из «Исповеди» («Confession») Жюля Жанена, а в 1831 г. введение к роману Манцони «Обрученные», отрывки из «Бюг Жаргаля» Гюго, переводы повестей В. Скотта «Предвестие», «Зеркало тетки Маргариты» и др.

В этом списке переводов, наряду с модными тогда авторами вроде В. Ирвинга или Фан дер Фельда, печатавшимися в большинстве тогдашних журналов, следует выделить такие имена как Жюль Жанен, Гюго, Стендаль, Мериме — впервые вводившиеся «Литературной газетой» в русскую литературу.

В период, когда «Литературную газету» редактировал Пушкин, и в первое время редакторства Дельвига газета стояла на особенно высоком уровне как по помещаемому в ней художественному материалу и составу сотрудников, так и по остроумию и принципиальности своей полемики. Участие Пушкина и Вяземского, выступавших против казенной благонамеренности Булгарина и Греча, придавало газете полемическую остроту. Однако ограничение лишь кругом литературных споров и рецензированием книжных новинок — не удовлетворяло ни Пушкина, ни Вяземского, мечтавших о создании влиятельного публицистического органа. Так Пушкин писал Вяземскому 2 мая 1830 г.: «Дельвиг в самом деле ленив, однако ж его Газета хороша, ты много оживил ее. Поддерживай ее покамест нет у нас другой. Стыдно будет уступать поле Бул-

гарину. Дело в том, что чисто литературной газеты у нас быть не может, должно принимать в союзницы или моду, или политику. Соперничествовать с Раичем и Шаликовым как-то совестно. Но неужто Булгарину отдали монополию политических новостей? Неужто кроме „Северной пчелы" ни один журнал не смеет у нас объявить, что в Мексике было землетрясение и что камера депутатов закрыта до сентября? Неужто нельзя выхлопотать этого дозволения?».

Пушкин предполагал подать прошение о разрешении печатать в «Литературной газете» политические новости. Сохранились наброски этого прошения. В нем Пушкин писал: «Журналы чисто-литературные вместо 3000 подписчиков имеют едва ли и 300... Таким образом, литературная торговля находится в руках издателей „Северной пчелы", и критика, как и политика, сделалась их монополией. От сего терпят вещественный ущерб все литераторы... Для восстановления равновесия в литературе нам необходим журнал, коего средства могли бы равняться средствам „Северной пчелы", т. е. журнал, в коем бы печатались политические и заграничные новости».

Однако надежда Пушкина на превращение «Литературной газеты» в газету общественно-политического характера не только не сбылись, но при том характере, который она имела, ее выступления против Булгарина и ее независимый тон раздражали шефа жандармов Бенкендорфа. Встревоженный июльской революцией 1830 г. во Франции, Бенкендорф на основании доносов Булгарина усмотрел в полемике о «литературной аристократии», которая велась «Литературной газетой» с Булгариным и Полевым, вредные и опасные тенденции. В частности, в статье «Новые выходки против так называемой литературной нашей аристократии», помещенной в № 45 от 9 августа, Бенкендорф нашел недопустимым цитирование из революционной французской песни «Ça ira» припева «аристократов на фонарь» и сделал Дельвигу строгий выговор.

Гроза над «Литературной газетой» разразилась, однако, несколько позже. В № 61 от 28 октября 1830 г. была помещена заметка, в которой приводилось четверостишие Казимира Делавиня, восхвалявшее память революционеров, погибших во время июльской революции в Париже: «Вот новые четыре стиха Казимира де-ла-Виня, на памятник, который в Париже предполагают воздвигнуть жертвам 27-го, 28-го и 29-го июля:

France, dis moi leurs noms? Je n'en vois point paraître
Sur ce funebre monument:
Ils ont vaincu si promptement
Que tu fus libre avant de les connaître.

Перевод сделан не был из боязни обратить внимание на эти стихи, смысл которых таков: «Франция, скажи мне их имена? Я их не вижу на этом печальном памятнике. Они так скоро победили, что ты была свободна раньше, чем успела их узнать».

Бенкендорф обратился с запросом к министру народного просвещения кн. Ливену, прося сообщить ему, кто прислал эти «помещенные ни к какой стати стихи», «которых содержание, мягко сказать, неприлично и может служить поводом к неблаговидным толкам и суждениям» и какими правилами руководился пропустивший их цензор.

Бенкендорф вызвал также для личного объяснения редактора «Литературной газеты» Дельвига. В результате последовавшего резкого объяснения, во время которого Бенкендорф грубо обругал Дельвига, найдя

«самонадеянным и дерзким образ его извинений», издание «Литературной газеты» было запрещено. Лишь благодаря вмешательству бывшего арзамасца Блудова — товарища министра внутренних дел — удалось получить разрешение на возобновление газеты, при том условии, чтобы редактором ее (номинальным) сделался не Дельвиг, а О. Сомов. Благодаря этому перерыву № 65 газеты вышел вместо 17 ноября лишь 9 декабря и Дельвигу пришлось издавать в январе 1831 г. одновременно последние номера за прошлый и первые номера за новый год. Впрочем, Дельвиг не успел довести дело до конца. Он умер 14 января 1831 г. (после выхода № 70 за 1830 г. и № 3 за 1831 г.). «Литературная газета» после смерти Дельвига продолжала выходить под редакцией О. Сомова. Однако смерть Дельвига, цензурные притеснения, невозможность расширения газеты привели к понижению интереса к ней ее главных участников и основателей — Пушкина, Вяземского и других.

Пушкин, после истории со стихами Делавиня, окончательно убедившийся в невозможности превращения газеты в общественно-политический орган, стал гораздо реже печататься в ней. В 1831 г. газета заполнялась преимущественно произведениями молодых писателей и переводами. В ней появляются только еще начинавшие тогда Гоголь, Кольцов, Станкевич и другие. Плетнев, принявший ближайшее участие в издании, пытался снова привлечь к активному сотрудничеству в ней Пушкина и Вяземского, но они давали мало материала. Газета постепенно хирела. По словам разочаровавшегося в ней Пушкина, она стала «так безобидна, так скучна в своей важности, что ее читали только писатели». В результате номера стали выходить все менее и менее аккуратно и на № 37 газета прекратилась.

2. Полемика «Литературной газеты»

«Литературная газета», несмотря на свои суженные возможности, являлась идеологической выразительницей определенной литературной группы, имевшей свою общественную позицию, свои вкусы, свою художественную программу. Эта программа решительно отличалась и от журналов реакционного лагеря («Северная пчела», «Сын отечества», позже «Библиотека для чтения»), и от позиции литературных староверов, типа Каченовского с его «Вестником Европы», и от позиции Н. Полевого с его «Московским телеграфом».

Позиция основных вдохновителей «Литературной газеты» была позицией объективного и прозорливого отношения к литературе, одинаково чуждая узости и односторонности приверженцев «классицизма» и крайностей романтизма, позицией, выражавшей реалистическое понимание задач, стоявших перед литературой. «Литературная газета» далеко опережала современные ей русские журналы по уровню поднимавшихся в ней вопросов.

Характерна в этом отношении оценка А. И. Тургенева в его письме к П. Вяземскому из Парижа 2 июня 1830 г.: «Поблагодари Дельвига за журнал. Право, давно не читал такой замечательной газеты. В ней столько оригинальных статей: твои, Пушкина, Дельвига... Как много знаете вы о нас, европейцах! Как умно многое судите или как дельно по крайней мере о многом намекаете!».

«Литературная газета» проводила новые передовые взгляды на литературу, борясь с рутиной и рыночным отношением к литературе. Застрельщиком в полемике с врагами «Литературной газеты» выступал П. Вяземский.

В своем обзоре «О московских журналах» (первая часть которого появилась в № 8 «Литературной газеты», а вторая не была пропущена цензурой) Вяземский дал ироническую оценку основным тогдашним журналам: «Московского телеграфа», «Вестника Европы» и «Атенея». Сравнивая «Московский телеграф» с обедом в гостинице, «не лакомым для взыскательности разборчивых гастрономов», но «довольно сытным», Вяземский нападает на журнал Полевого за то, что для него «журнал дело торговое», «спекуляция умственная или денежная», высмеивая его за картинки мод, дававшиеся в приложении для привлечения читателей. С особенным ожесточением нападал Вяземский на Полевого за его «Историю русского народа». Выступление Полевого против Карамзина, непочтительное отношение к его авторитету привело Вяземского в негодование и послужило причиной его упреков в «умственной спекуляции» и некритическом следовании европейской моде: «Зачем же не предположить, — писал Вяземский, — что парижские щеголи и щеголихи, с которыми знакомит нас „Московский телеграф", не что иное, как герольды, по следам коих вводит он в губернские и уездные города, в степные деревни — другие лица важнейшие, например, Шлегеля, Гизо, Кузена и других». Высмеивая это постоянное обращение Полевого к европейским авторитетам, переводы и ссылки на которых занимали в «Московском телеграфе» большое место, Вяземский возражает и против крайностей романтизма, проповедывавшегося Полевым, против безоговорочного осуждения классицизма, заявляя, что «тяжба классицизма и романтизма еще не решена. Классицизму еще нужны адвокаты». Наряду с этими принципиальными возражениями Вяземский восстает и против критической практики журнала, считая, что «приговоры, произносимые издателем, отзываются всегда пристрастиями, лицеприятиями экстренного суда, руководствующегося не внутренним убеждением, не коренными законами, а одною силою обстоятельств и личных отношений». Обвиняя Полевого в «недостатке добросовестности» и «недостатке вкуса», Вяземский писал о его «фундаментальном неведении в первых познаниях литераторских». В той же статье Вяземский нападает и на оплот литературных староверов — «Вестник Европы».

Еще раньше против «Истории» Полевого выступил Пушкин, поместивший в № 4 газеты статью о ней (окончание статьи в № 12). Пушкин осмеивает самонадеянность и чрезмерное самовосхваление Полевого и возмущается его выпадами против Карамзина — «первого нашего историка».

Следует, однако, отметить, что Пушкин, резко критикуя Полевого за его неуважение к Карамзину, за фактические ошибки и за «слог», являвшийся «самой слабой стороной Истории русского народа», к его принципиальной теоретической позиции относится с большим вниманием. Он отмечает, что «г-н Полевой сильно почувствовал достоинства Баранта и Тьерри и принял их образ мнений», хотя и протестует против некритической романтизации истории: «Пленяясь романтическою живостию истины, выведенной перед нас в простодушной наготе летописи, он фанатически отвергнул существование всякой другой истории». Этим объективным подходом к самому «духу» истории Полевого Пушкин отличался от того резкого огульного осуждения ее, которым встречена была «История» Вяземским, писавшим, что «„История русского народа" есть только история русской сноровки сбывать свой товар налично, хотя он еще и не налицо» (№ 31).

Этой статьей Пушкина было положено начало полемике «Литературной газеты» с «Московским телеграфом». Однако главным антагони-

стом «Литературной газеты» являлся не Полевой и «Московский телеграф», а Булгарин с его «Северной пчелой».

Полемика с Булгариным началась заметкой Пушкина, помещенной без подписи в отделе «Смесь» № 3 газеты. В этой заметке давались отрицательная оценка критических приемов русских журналов и резкий косвенный отзыв о романе Булгарина «Иван Выжигин», который в завуалированной форме был назван как пример «сочинения самого по себе ничтожного», но по своему успеху заслуживающего того, чтобы критика о нем сказала «много поучительного». Заметка кончалась заявлением, что «Литературная газета» «была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов».

Эта редакционная заметка вызвала негодование Булгарина и ряда других журналистов (например М. Бестужева-Рюмина в «Северном Меркурии»), выступивших с бранными заметками и с пасквилями, в которых они подвергали ругани, зачастую узко личной, участников «Литературной газеты» — Пушкина, Дельвига, Вяземского. Булгарин в «Северной пчеле» с напускным удивлением и возмущением писал: «Как можно издавать Газету не для публики, а для некоторого числа писателей?.. в России есть журналы не хуже „Литературной газеты", которых издатели приобрели право (своими трудами) быть посредниками между публикою и писателями» («Северная пчела», 1830, № 6).

М. Бестужев-Рюмин поместил в своем журнале пасквиль на Дельвига, в котором последний был изображен в виде содержательницы лавки модных товаров Аделаиды Антоновны Габенихтсиной. В дальнейшем полемика вокруг «Литературной газеты» все более и более разрастается. Булгарин, заподозрев Пушкина в авторстве анонимного разбора его романа «Дмитрий Самозванец» в «Литературной газете» (на самом деле принадлежавшего Дельвигу), напечатал в «Северной пчеле» «анекдот»-пасквиль на Пушкина. Вслед за «анекдотом» в «Северной пчеле» появилась рецензия на VII главу «Евгения Онегина», в которой провозглашалось «полное падение» таланта Пушкина.

Ответом Пушкина на эти выпады были две эпиграммы («Не то беда, что ты поляк» и «Не то беда, Авдей Флюгарин») и резкая памфлетная характеристика Булгарина в статье о записках авантюриста и шпиона Видока (в № 20 «Литературной газеты»), в которой заклеймена была связь Булгарина с тайными органами полицейского надзора и осмеивалась его нравственная нечистоплотность и литературные претензии. В этой заметке, между прочим, Пушкин писал о Видоке-Булгарине, что «он с удивительной важностью толкует о хорошем обществе, как будто вход в оное может ему быть дозволен, и строго рассуждает об известных писателях, отчасти надеясь на их презрение, отчасти по расчету».

Против выпадов Булгарина и Полевого направлена была и статья Вяземского, появившаяся несколько раньше, в № 18. В этой статье Вяземский, выступая против пасквильного характера полемики Булгарина и тех личных инсинуаций, которые в ней содержались, писал о «литературной аристократии, аристократии талантов», противопоставляя ее выходкам «площадных витязей»: «Полемика полемике, и спор спору рознь. Между равно благовоспитанными, образованными людьми нередко и в споре бывает обмен насмешек и колкостей; но из того не следует, что спор в гостиной между благовоспитанными людьми есть одно и то же, что спор в сенях между лакеями, или на улице между черни... Англий-

ские нравы, может быть хороши в Англии, но не в литературе: там знатный лорд должен по первому вызову площадного витязя засучить рукава и действовать кулаками. Есть и в литературе аристократия: аристократия талантов; есть и в литературе площадные витязи, но по счастью нет здесь народного обычая, повелевающего литературным джентльменам отвечать на вызовы Джон Буля».

В следующей статье «О духе партий; о литературной аристократии» (№ 23) Вяземский еще отчетливее сформулировал позицию группы писателей, объединенных вокруг «Литературной газеты» в своей борьбе с «литературной промышленностью», т. е. булгаринской партией. Дело здесь не только в том, что Булгарин захватил в свои руки журнальную монополию, но и в том, что принципиальные позиции «Литературной газеты» были в корне враждебны реакционному направлению, стремившемуся превратить литературу в источник наживы, снижавшему художественный уровень литературы и проповедывавшему «благонамеренность». Возражая Булгарину, Полевому, Бестужеву-Рюмину на их обвинения, будто «партия» «Литературной газеты» силится восстановить какую-то аристократию имен», Вяземский писал о том, что «две главные партии», которые ведут борьбу в литературе, — это «литераторы с талантом» и «литераторы бесталанные». «Аристократия дарований» ведет борьбу «против дюжинной пошлости», «вкуса против безвкусия, образованности против невежества».

Булгарин и прочие враги «Литературной газеты» демагогически изобразили выступление Вяземского и Пушкина как выступление «литературной аристократии». Булгарин ответил новым пасквилем, «Вторым письмом из Карлова на Каменный остров», в котором он писал о «поэтах и прозаиках, которых издатель „Московского телеграфа" в шутку назвал знаменитыми и литературными аристократами». Булгарин, издеваясь над Пушкиным и Вяземским, писал о том, что стремление к аристократизму «свело с ума множество поэтов и стихотворцев», и приводил анекдот о поэте «в испанской Америке — негре, купленном шкипером за бутылку рома» («Северная пчела», 1830, № 94).

Этот непристойный намек на происхождение Пушкина имел уже явный характер личного пасквиля; он вызвал Пушкина на резкую отповедь в ряде статей. В «Литературной газете» помещены были редакционные статьи (написанные, повидимому, Пушкиным в сотрудничестве с Вяземским и Дельвигом) — «Требует ли публика извещения. . .» (о личностях в критике) «С некоторых пор журналисты наши. . .» (о неблаговидности нападок на дворянство), «Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии. . .».

Ошибочно было бы считать полемику Булгарина и Полевого против «Литературной газеты» и прежде всего Пушкина борьбой в защиту демократической литературы. Если Полевой и руководился принципиальными соображениями и выступал против «литературной аристократии», исходя из буржуазных стремлений, то Булгарин стремился лишь уничтожить конкурента, демагогически прикрываясь нападками на «аристократию».

Позиция «Литературной газеты» в этой полемике вовсе не являлась позицией отстаивания каких-либо аристократических привилегий или феодально-дворянской идеологии. Правда, «Литературная газета» в ответ на нападки Булгарина выступила с защитой русского дворянства, отмечая прогрессивную роль его как наиболее просвещенного и передового сословия. В названных выше редакционных анонимных статьях был дан резкий отпор демагогическим обвинениям в аристократизме. В них указы-

валось на прогрессивную просветительскую роль русского дворянства и недопустимость отождествления сословного положения с литературной позицией. Так, Пушкин и его друзья писали: «Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии столь же недобросовестны, как и прежние. Ни один из известных писателей, принадлежащих будто бы этой партии, не думал величаться своим дворянским званием. Напротив, Северная пчела помнит, кто упрекал поминутно г-на Полевого тем, что он купец, кто заступился за него, кто осмелился посмеяться над феодальной нетерпимостью некоторых чиновных журналистов. При сем случае заметим, что если большая часть наших писателей дворяне, то сие доказывает только, что дворянство наше (не в пример прочим) грамотное; этому смеяться нечего. Если же бы звание дворянина ничего у нас не значило, то и это было бы вовсе не смешно. Но пренебрегать своими предками из опасения шуток гг. Полевого, Греча и Булгарина не похвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо» (1830, № 45).

За помещение этой заметки, вызвавшей неудовольствие Бенкендорфа, Дельвигу был сделан «строгий выговор», а самая полемика была признана вредной. Таким образом, правительственные круги стали фактически на сторону Булгарина, видя в выступлениях «Литературной газеты» защиту оппозиционных настроений, обоснование независимости передового дворянства от полицейско-монархической системы. Вмешательство III отделения помешало Пушкину поместить в «Литературной газете» ряд заметок, продолжавших полемику с Булгариным и оправдывавших позицию газеты в вопросе о «литературной аристократии». Они сохранились в рукописи и представляют большой интерес для уточнения позиции Пушкина. Пушкин подчеркивал в этих заметках, что в «Литературной газете» не было «ни дворянской спеси, ни гонения на прочие сословия», и выступал против обвинения в аристократизме. Он указывал на то, что журналисты нападают не на новое привилегированное дворянство, находящееся у власти и составляющее опору полицейско-крепостнического строя, не на «нашу знать, истинную, богатую и могущественную аристократию», а на тех представителей старинных дворянских родов, которые превратились в настоящее время в просвещенную, передовую интеллигенцию, на «старинное дворянство, кое ныне по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, коему принадлежит и большая часть наших литераторов». Пушкин подчеркивал разницу между «привязанностию лорда к своим феодальным преимуществам» и «бескорыстным уважением к мертвым прадедам», представляющим в его глазах славную историю всего русского народа («Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»). «Семейственные воспоминания дворянства, — писал он, — должны быть историческими воспоминаниями народа». Героическая история русского народа олицетворялась для Пушкина как в именах его предков, так и в «плебейских» именах нижегородского мещанина» Минина и Ломоносова. Именно эти имена он противопоставлял «дикости, пошлости и невежеству» николаевской России, новой низкопоклонной и ничтожной знати, светской черни, раболепствующей перед царем, но лишенной подлинного патриотизма, чуждой и враждебной народу и его славным историческим традициям. В обстановке конца 1820-х — начала 1830-х годов группа писателей, объединенных «Литературной газетой», в значительной части своей связанная еще недавно с декабристским движением, являлась выразительницей передовых идей и настроений.

3. Литературно-эстетическая позиция «Литературной газеты»

В спорах вокруг романтизма, которые характеризуют начало 1830-х годов, «Литературная газета» занимала самостоятельную критическую позицию.

В «Литературной газете» были широко представлены произведения писателей романтического направления и отзывы о них. В ней помещены были переводы таких видных представителей западноевропейского романтизма, как Вальтер Скотт, Мериме, Нодье, Гофман. Несмотря на отрицательное отношение к крайностям романтизма и в частности к «романтически-ужасной» школе, были напечатаны в переводе отрывки из таких программных произведений ее, как «Исповедь» Жюля Жанена и «Бюг Жаргаль» Гюго. В отделе критики и библиографии значительная доля статей и рецензий также была посвящена романтизму и произведениям писателей романтического направления.

Однако «Литературная газета» далека от безоговорочного принятия романтизма, и прежде всего от того его истолкования, которое дано было «романтически-ужасной» школой во Франции. Не говоря уже о статьях П. Катенина, эта осторожно-критическая позиция по отношению к крайностям романтизма и его эстетике выражена была и в статьях Вяземского и в ряде статей и рецензий Дельвига и Сомова.

Уже в статье «О московских журналах» Вяземский иронически писал по поводу отрывков из «Опыта о романтической поэзии» Надеждина, печатавшихся в «Атенее» и «Вестнике Европы», что «в изыскании начал классической и романтической поэзии в начале двоякой природы нашей: вещественной и духовной, внешней и внутренней и так далее, видно более мистицизма, чем лучезарной критики. Неужели трагическое творение „Эдипа" менее религиозно, менее отвлеченно в общем понятии и в применении к веку своему, чем создание „Иоанны д'Арк"? И взирающему с сей точки зрения почему Софокл должен показаться классиком, а Шекспир романтиком?». Это отношение к романтизму проходит и через другие статьи «Литературной газеты», полемизировавшей с теорией Фр. Шлегеля, принятой теоретиками западноевропейского романтизма (Де Сталь, Гизо и др.), согласно которой классическая литература «является выражением внешнего, языческого, пластического восприятия мира», а романтическая — религиозно-духовной сущности христианского средневековья.

Основное место среди теоретического и критического материала «Литературной газеты» занимала серия статей П. Катенина, печатавшихся в течение 1830 и 1831 гг. (хотя и написанных раньше) под заголовком «Размышления и разборы» и посвященных критике романтической теории. В этих интересных и содержательных статьях Катенин полемизировал прежде всего с лекциями о драматической литературе Авг. Шлегеля и с «Историей древней и новой литературы» Фридриха Шлегеля. Катенин, являвшийся, по словам Пушкина «одним из первых апостолов романтизма», «первый отрекся от романтизма и обратился к классическим идолам, когда читающей публике начала нравиться новизна литературного преобразования». Эта сочувственная оценка позиции Катенина, данная Пушкиным в 1833 г. в статье «О сочинениях П. А. Катенина», так же как и высказывания Вяземского, свидетельствуют о том, что статьи Катенина выражали в известной мере не только его личные взгляды, но и позицию газеты в целом.

Уже в первой статье «Об изящных искусствах» Катенин резко возражает против разделения поэзии на классическую и романтическую:

«Разделение совершенно вздорное, ни на каком ясном различии не основанное». Однако ошибочно было бы думать, что Катенин выступал с позиций защитника классицизма. Так же, как и Пушкин и Вяземский, он боролся с односторонностью романтической теории, решая проблему искусства на основе концепции, сложившейся в результате усвоения эстетических посылок романтической теории. Проблему романтизма Катенин решает, исходя из утверждения народности искусства, понимаемой как создание «самобытного», национального стиля, т. е. исходя из основного положения романтической теории. Но он протестует против установления тех принципов романтической эстетики, которые представляются ему чуждыми национальному духу русского народа: «Поэзия искусственная в народе просвещенном и знающем не только себя, но и других, может вмещать в себе все различные свойства разнородных поэзий, не смешивая их уродливо. Чем ближе поэт новый, наш, обрабатывая предмет древний или чуждый, подойдет к свойству, быту и краске избранного им места, времени, народа и лица, тем превосходнее будет его произведение; чем менее сумеет он туда перенести себя и читателя, тем опыт его будет хуже и неудачнее».

«Предписывать поэту выбор предметов несправедливо и вредно; кто может по чужим внушениям действовать так свободно, горячо и успешно, как по собственным? ... Для знатока прекрасное во всех видах и всегда прекрасно; судить о произведениях высоких искусств по прихотям людей, явный признак слабоумия. Одно исключение из сего правила извинительно, и даже похвально: предпочтение поэзии своей, о т е ч е с т в е н н о й, н а р о д н о й» (1830, № 4).

Именно с этих позиций полемизирует Катенин с «умным и ученым раскольником» Шлегелем, выступая против его одностороннего понимания романтического искусства, как искусства, идущего от христианского средневековья. Катенин стремился теоретически обосновать задачу освобождения литературы от западных влияний, проблему ее национального самоопределения, независимости и высокого идейного уровня. Решение этой задачи предполагало борьбу не с самой идеей романтической народности, а с механическим перенесением тематики и художественных форм и стиля западноевропейского романтизма в русскую литературу.

Но с особенной резкостью обрушивался Катенин на теорию романтической драмы, развитую Августом Шлегелем, а вслед за ним и другими теоретиками романтизма. Катенин восставал против отказа романтической драмы от «единства места и времени», считая, что «в драме единства места и времени уничтожить нельзя» (1830, № 68). Он возражал не только против нарушения этих внешних правил классической трагедии, но и против романтического смешения в драме трагического и комического. С негодованием обрушивался Катенин на современную романтическую драму и мелодраму: «Собственно именуемые д р а м ы появились наиболее в прошедшем столетии и вновь пропасть шуму наделали. Кто не умел писать в роде высшем, доказывал ясно, что этот лучше гораздо; особенно гордились те, кто, не имея дара стихов, писали прозою, Дидерот во Франции и Лессинг в Германии». (1830, № 71). Точка зрения Катенина на драму и на крайности романтизма развивалась и в других статьях «Литературной газеты».

Не менее критически относился к разделению литературы на классическую и романтическую и Дельвиг. В рецензии на комедию К. Масальского «Классик и Романтик» он писал: «Наши классики лет с тридцать учат литературе по одним и тем же тетрадкам; наши романтики, справедливо осуждая их неподвижность, несправедливо гордятся незнанием

оных тетрадок, без коих две-три хотя и новые, но не пережеванные мысли ни к чему им не служат, разве к большему омрачению слабого ума, дарованного им не всегда щедрою природою» (1830, № 45).

Одной из статей, наиболее существенных для понимания позиции «Литературной газеты», является отзыв Пушкина об альманахе М. Максимовича «Денница» на 1830 г., в котором сочувственно изложена статья И. Киреевского «Обозрение русской словесности 1829 года». Пушкин, правда, оговаривает «слишком систематическое умонаправление автора» и его принадлежность к «молодой школе московских литераторов», основавшейся под влиянием новейшей немецкой философии, разумеется, чуждой Пушкину, — но передает статью Киреевского, солидаризируясь с ее основными положениями. Выделяя в статье Киреевского его деление литературы XIX в. на три эпохи (филантропическое направление Карамзина, идеализм Жуковского, наконец, Пушкина как «поэта действительности»), Пушкин передает и его оценки различных поэтов этих трех эпох.

Таким образом, «Литературная газета», отнюдь не выступая, подобно «Вестнику Европы», с огульным осуждением романтизма, занимала объективно критическую позицию в спорах вокруг романтизма, неоднократно выступая с критикой его крайностей и узких истолкований его теоретических положений. Сдержанную и даже отрицательную позицию занимала газета и по отношению к «романтически-ужасной» школе и к проявлениям того подражательного вторичного романтизма, который возникал в эти годы на русской почве.

Хотя проблеме народности и национального становления русской литературы «Литературная газета» и не посвятила особых статей, эти проблемы неоднократно ставились и обсуждались на ее страницах. Предпочтение «поэзии своей отечественной, народной», о котором говорил Катенин, определяло во многом программу газеты, что не исключало, конечно, широкого внимания к иностранной литературе. Поэтому помещение на страницах газеты стихов Кольцова и Слепушкина имело принципиальный характер. Но в то же время вопрос о народности литературы ставился «Литературной газетой» гораздо глубже, чем в современной журналистике. Народность понималась ею как создание национального большого искусства, а не только как подражание фольклору или сентиментально-салонное любование идеализированной жизнью крестьянства. Это понимание народности и выражено было в рецензиях на стихи Слепушкина и Алипанова и русские песни Мерзлякова.

4. Оценка русской и западноевропейской литературы

«Литературная газета» с исключительным вниманием следила за западно-европейской литературой, за всеми наиболее крупными новинками, в первую очередь французской литературы. На страницах газеты были помещены переводы и разборы таких вещей, как «Эрнани» Гюго, «Исповедь» Жюль Жанена, «Сен-Марс» А. де Виньи, статьи Вяземского о Ламартине и Пушкина о стихах Сент-Бёва. Значительное внимание уделялось и английской литературе: в №№ 58 и 59 за 1830 г. была помещена статья А. Пишо «Современная английская литература» о «школе так называемых озерных поэтов — Вордсворте, Кольридже, Соутее» (перевод с французского), в № 14 также переводная статья «Лорд Байрон и некоторые из его современников», в № 36 статья В. Гюго «О Байроне и его отношениях к новейшей литературе», сочувственный разбор романа Манцони «Обрученные», и др.

Выход «Исповеди» («Confession») Жюль Жанена — автора нашумевшего романа «Мертвый осел и обезглавленная женщина» (переведенного на русский язык в 1831 г.) и основоположника «романтически-ужасного» жанра во французской литературе — был отмечен большой статьей, а также помещением в нескольких номерах газеты отрывков из «Исповеди».

В статье о романе Жюль Жанена, помещенной в № 60 «Литературной газеты» за 1830 г., вслед за признанием его заслуг высказывается, однако, отрицательное отношение к «неистовой» поэтике этого жанра кошмаров и ужасов, породившего во Франции целую плеяду писателей: Гюго, Э. Сю, раннего Бальзака, а в русской литературе оказавшего влияние на первые шаги Гоголя («Кровавый бандурист») и ряд второстепенных писателей (А. Тимофеева). В романах Жюль Жанена анонимный автор рецензии видит верное изображение «равнодушия нашего века ко всему», той «больной души», о которой говорит сам герой романа. Но самое содержание этих романов Ж. Жанена с нагромождением ужасов, преступлений, кошмаров, отвратительных и чудовищных подробностей (в «Исповеди» рассказывается о герое, задушившем свою невесту в припадке необузданной ревности) представляется противоречащим той моральной цели, которую должна иметь литература. «Главнейшее искусство сочинителя, еще яснее обличающееся в первом его произведении „L'âne mort et la femme guillotinée", состоит в равнодушном рассказе событий самых ужасных, в холодном описании предметов, возмущающих душу. Для него повидимому нет ничего страшного, ничего отвратительного. Сим-то, кажется, он хотел выразить дух современного поколения, прошедшего через все крайности, изведавшего все ужасы, охладевшего ко всему и на все взирающего с бесстрастием фаталиста мусульманского. Мы не скажем ничего в похвалу сей цели: благороднейшее стремление писателя, по нашему мнению, должно состоять в том, чтобы давать возвышенное направление своему веку, а не увлекаться его странностями и пороками» (1830, № 60).

Аморализм «неистовой школы», ее любование отвратительно-ужасными подробностями осуждается во имя нравственно-просветительных задач литературы. Характерно, что и напечатание отрывков другого нашумевшего романа этого жанра — «Бюг-Жаргаль» В. Гюго в № 34 «Литературной газеты» за 1831 г. сопровождалось примечанием издателя (т. е. О. Сомова), сделанным для того, чтобы обойти цензурные затруднения. Помещение рецензий на роман А. де Виньи «Сен-Марс», о котором писалось, что он «заключает в себе много истинных красот» (1830, № 7), на роман Ш. Нодье «Histoire du roi de Bohême» и ряд других произведений романтической школы свидетельствовало об усиленном интересе к новой французской прозе.

На страницах «Литературной газеты» была дана оценка и современной французской поэзии. Особенно много места уделено Ламартину, интерес к которому был очень значителен в России в эти годы.

Так, на вышедшие во Франции «Harmonies poétiques et religieuses» Ламартина сразу же появляется рецензия Вяземского, а вслед за этим и его большая статья «О Ламартине и современной французской поэзии». Останавливаясь на ранних стихах Ламартина, его элегиях («Méditations») или, как Вяземский их называет, «поэтических думах», он указывает на однообразие Ламартина, на сентиментально-лирический характер его поэзии, делающий его «поэтом женского пола». Признавая, что Ламартин «истинный поэт», Вяземский осуждает односторонность его поэзии, ее религиозно-молитвенный характер: «Жаль, что по си-

стеме, принятой им, он выливает мысли и чувства свои в одну форму и смотрит на мир с одной точки зрения. Объятый умилением любви или религии, он всегда одинаково любит и молится. В лире его будто одна струна, один строй, между тем не видать, чтобы в душе была одна страсть, одно чувство, а разве одна привычка» (1830, № 47). Причину успеха Ламартина Вяземский видел в том, что он явился в эпоху, последовавшую «за грозами народными», эпоху «усталости, близкой к охлаждению», и нашел способ, так же как несколько раньше Шатобриан, «сладостно и задумчиво возбуждать тихие движения сердца, вызывать его из среды существенности, все испытавшей, все поглотившей, в сферу ощущений спокойных и созерцательных». Эта отрицательная характеристика реакционно-реставраторской роли Ламартина и мистически-религиозного содержания его поэзии чрезвычайно близка к оценке его Пушкиным, иронизировавшим над «набожностью» Ламартина, которого он называет вялым и однообразным поэтом.

Обратил на себя внимание «Литературной газеты» и другой видный поэт французского романтизма — Сент-Бёв, глава романтической критики, издавший первую книгу своих стихов под псевдонимом Иосифа Делорма. Большая рецензия на два сборника его стихов — «Vie, poésies et pensèes de Joseph Delorme» (1829) и «Les Consolations» (1830), принадлежала Пушкину. Рецензия Пушкина содержит не только характеристику стихов Делорма (Сент-Бёва), но и современной французской романтической поэзии в целом. Подчеркивая болезненный характер лирики Делорма («муза его харкает кровью») и «безвкусные подражания» «старому Ронсару», Пушкин в то же время отмечает «стихотворения, исполненные свежести и чистоты», сравнивая лучшие из них с произведениями А. Шенье. Однако, выделяя первую книгу Сент-Бёва «Жизнь, стихотворения и мысли Иосифа Делорма», являвшуюся своеобразной литературной мистификацией (издана книга была как стихи умершего Делорма), Пушкин иронически отнесся ко второй его книге «Утешения», в которой Делорм, по словам Пушкина, «перебесился». «В них Делорм, — иронически замечает Пушкин, — является исправленным советами приятелей, людей степенных и нравственных». Пушкин насмешливо предполагает, что в третьей своей книге Делорм «явится набожным, как Ламартин, и совершенно порядочным человеком». Однако Пушкин предпочитает прежнего Делорма, в стихах которого он видит «свойство», «недостающее почти всем французским поэтам новейшего поколения, свойство, без которого нет истинной поэзии, т. е. искренности вдохновения» (1831, № 32). Эта оценка новой французской поэзии, в которой Пушкин видит «холод предначертания, натяжку, принужденность», отсутствие «истинного вдохновения», — повторяется и в других его отзывах о Ламартине, Гюго и вообще о французских поэтах этих лет.

Внимательно следя за новыми явлениями французской поэзии, «Литературная газета» занимает свою самостоятельную позицию, отнюдь не следуя слепо за движением французской литературы. Осторожное отношение к «неистовой школе» в новой французской прозе сказалось и в той оценке ранних произведений Бальзака, которая была дана в рецензии (подписанной «Изд.», принадлежащей О. Сомову) на только что вышедшие «Сцены из жизни частной». Эта рецензия обнаруживает, однако, непонимание основного значения и смысла повестей Бальзака, расценивая его как одного из «молодых писателей» и останавливаясь на внешней, фабульной стороне его повестей. Любопытно лишь отметить в этой рецензии указание на то значение, которое Бальзак придавал «по-

дробностям»: «автор твердо уверен, что одни только подробности будут впредь составлять достоинство сочинений...» (1830, № 70).

Наряду с интересом к писателям «неистовой школы» «Литературная газета» уделяла большое внимание западноевропейскому историческому роману. Это стояло в связи с растущей популярностью жанра исторического романа и в русской литературе. В анонимной рецензии на перевод романа Вальтер Скотта «Карл Смелый», принадлежавшей Дельвигу, отмечалось не только высокое достоинство «творений шотландского барда», но и указывалось на то, что русский роман еще ждет «своих возделывателей», что «у нас не видно романов достоинством своим, не говорим равных, хотя бы издали похожих на романы шотландского барда» (1830, № 2). Это высказывание Дельвига было полемически направлено против Булгарина, выступившего как раз в это время со своим историческим романом, — «Дмитрий Самозванец».

Гораздо полнее, естественно, чем иностранная, представлена в «Литературной газете» русская литература. Почти все наиболее заметные произведения были отмечены на страницах газеты если не подробными разборами, то по крайней мере краткими рецензиями в отделе библиографии.

Во всех, даже кратких, отзывах «Литературной газеты» чувствуется та же принципиальная линия, которая определяла общую позицию газеты: борьба с «модными», приспособленными для рынка произведениями, рассчитанными на быстрый успех, и защита наиболее крупных и высоко художественных явлений. В своей критической практике «Литературная газета» защищала те принципы «истинного романтизма», романтизма, правдиво передающего действительность, которые отстаивал в своих статьях Пушкин, критически относясь к увлечениям романтической модой, к механическому перенесению в русскую литературу форм и методов западноевропейского романтизма.

На страницах газеты даны были сочувственные подробные разборы произведений Пушкина, Баратынского, Погорельского, Загоскина, П. Яковлева и отрицательные или иронически-сдержанные характеристики романов Булгарина, Греча, Свиньина и других.

В оценке современной поэзии «Литературная газета» на первое место выдвигала Пушкина, которому были посвящены две статьи Дельвига — о «Бахчисарайском фонтане» и о «Борисе Годунове».

В заметке о выходе третьего издания «Бахчисарайского фонтана» Дельвиг не только указывает на блестящее мастерство и совершенство поэмы, но и очень тонко подмечает связь ее с дальнейшим обращением Пушкина к драматическому творчеству: «Пушкин в сей поэме достиг до неподражаемой зрелости искусства в поэзии выражений, а в сцене Заремы с Марией уже ясно обнаружил истинное драматическое дарование, с большим блеском впоследствии развившееся в трагедии „Борис Годунов" и в исторической поэме „Полтава"» (1830, № 22).

В статье (незаконченной) о «Борисе Годунове», вызвавшем яростные и недоуменные споры в критике, к какому жанру его отнести, Дельвиг выступает против школярских определений, против узости и косности критики: «Один называет его трагедией, другой драматическим романом, третий романтическою драмой и так далее.

К чему приведет их разрешение сей задачи? Не к познанию ли, по каким правилам судить новое сочинение? Назовите его, как хотите, а судите его не по правилам, но по впечатлениям, которые получите после долгого внимательного чтения. Каждое оригинальное произведение

имеет свои законы...» (1831, № 1). Интересны и замечания Дельвига о существе трагедии, когда он приступает к разбору характеров действующих лиц. О характере Бориса Годунова он писал: «Мы видим самые тайные изгибы сердца его и везде признаем подлинность нами видимого» (1831, № 2). Смерть не позволила Дельвигу закончить его статью, несомненно, по своим мыслям и положениям близкую самому Пушкину.

Выступила «Литературная газета» и в защиту Баратынского, появление поэмы которого «Наложница» было встречено критикой враждебно. Эта поэма сочетала основные атрибуты романтической поэмы — конфликт между бурными и порочными страстями героя и обществом, романтическую героиню и т. п. — с натуралистической трактовкой темы. В противовес отрицательным отзывам о «Наложнице» «Вестника Европы» (Надеждин) и «Московского телеграфа» (Н. Полевой), «Литературная газета», не входя в подробности, писала о том, что «красоты в целом и в частях романа дают ему полное право на одно из лучших мест в ряду произведений словесности отечественной и на весьма почетное в числе произведений литературы европейской (1831, № 27), отмечая мастерство в изображении характера главного героя (Елецкого) и «звучность и блеск стихов» поэмы.

Таким образом, здесь «Литературная газета», как и в статье о «Бахчисарайском фонтане», выступала с защитой романтической поэмы, хотя и не выдвигала ее в качестве основного жанра. В то же время романтическая поэма А. Подолинского «Нищий» вызвала резкие нападки в рецензии Дельвига, осудившего в ней отсутствие мысли. «Благозвучные стихи без мыслей обнаруживают не талант поэтический, а хорошо устроенный орган слуха», — писал Дельвиг, называя поэму Подолинского «будильником» (1830, № 19).

Положительная рецензия Пушкина на поэму декабриста Ф. Н. Глинки «Карелия», высланного под надзор полиции в Олонецкую губернию, говорила не столько о литературном достоинстве этой поэмы, сколько о сочувствии к ее ссыльному автору. Пушкин, отмечая, что Глинка не принадлежит ни к одному из направлений современной поэзии, ни к классицизму, ни к «новейшему романтизму», выделяет его «поэтическое добродушие, теплоту чувства», «свежесть живописи», наряду с недостатками — «вялостью» и «однообразием мыслей».

Следует отметить, что «Литературная газета» проявила значительный интерес и к поэтам-самоучкам, вышедшим из крестьянской среды, и к народной песне. В ней были помещены разборы стихов крестьянских поэтов: Ф. Слепушкина, Е. Алипанова, рецензия, на «Песни» Мерзлякова. В анонимной рецензии Дельвига на «Сельские поэмы» Ф. Слепушкина «Четыре времени года русского поселянина», отмечалась прежде всего «правда описаний», бытовой реалистический колорит этой «сельской поэмы» (1830, № 17). Эти стихи Дельвиг предпочитает «многим поэмам и элегиям молодых наших поэтов, которые вместо мыслей и поэзии ищут одних звуков, напоминающих гармонию стихов Пушкина и Баратынского». «Истинный свой талант» признавал в стихах Слепушкина и Пушкин. Совершенно иначе отозвалась «Литературная газета» о стихах другого крестьянского поэта-самоучки Е. Алипанова, видя в них лишь неумелое подражание литературным образцам и отсутствие самобытности: «Если бы он, по примеру Слепушкина, выражал простые свои чувства или описывал незатейливый быт своего состояния, словом писал о том, что ему знакомо не по наслышке,

часто сбивчивой и неверной, тогда стихотворения его нравились бы и образованным читателям, как отголосок чувств и понятий простосердечного сына природы. Но оды или такие стихотворения, каково, например, „Видение Амура", доказывают только, что стихотворец-самоучка старался отгадывать вовсе ему незнакомое, и не отгадывал» (1830, № 72).

Интересна и рецензия на «Песни и романсы» Мерзлякова. Рецензент упрекает Мерзлякова за несоблюдение характера «простонародной русской поэзии», считая, что в его песнях «везде человек иной касты, иного круга высказывается из-под одежды простолюдина русского, которою хотел он прикрыться, но не умел утаить под нею приемов общества, более образованного» (1831, № 26).

«Литературная газета» боролась за национальную самобытность поэзии и за поэзию «мыслей», чуждую эпигонской гладкости и одного лишь «благозвучия» стиха. Эта позиция «Литературной газеты» в основном определялась позицией самого Пушкина, взгляды которого на поэзию разделялись и основными сотрудниками газеты.

Но, пожалуй, еще больше внимания чем поэзия, уделяла «Литературная газета» вопросам современной русской прозы. Если в 1820-е годы основное место в литературе занимала поэзия, то начало 1830-х годов характеризуется поворотом к прозе. Появление в 1829 г. «Ивана Выжигина» Булгарина и других «нравоописательных романов», имевших успех у читателей, знаменовало не только пробуждение интереса к прозе, но и изменение самого бытования литературы, выход ее в мещанские читательские слои, превращение ее в рыночное ремесло. Наряду с нравоописательным романом в это же почти время появляется роман исторический — романы Загоскина, Булгарина, Лажечникова и других, сразу занявшие центральное место в литературе начала 1830-х годов.

Успех нравоописательных очерков и романов Булгарина и его последователей выражал давно назревшую потребность в создании русского романа современных нравов. Однако, отвечая на эту задачу, стоявшую перед литературой, Булгарин чрезвычайно упрощал решение задачи; вместо правдивого изображения действительности и подлинной сатиры на современные нравы, он давал поверхностное и фальшивое подражание иностранным образцам, подчиняя изображение реальной жизни и нравов «благонамеренной» морали и реакционно-нравоучительной дидактике.

С этой реакционной «благонамеренностью» романов Булгарина, с их фальшивым и дидактическим псевдо-реализмом и боролась «Литературная газета», посвятившая им не одну язвительную заметку в отделе «Смесь» и не одну уничтожающую статью. Уже в анонимной рецензии Дельвига на «нравственно-сатирический» роман «Якуб Скупалов» говорилось, что это «едва ли не худший из всех дурных русских романов, начиная с „Несчастного Никанора" и до „Ивана Выжигина" включительно» (1830, № 28).

Фельетонам и романам Булгарина в «Литературной газете» была посвящена большая анонимная статья, написанная по случаю выхода второго издания собрания его сочинений. В этой статье указывался основной порок булгаринских фельетонов и нравоописательных романов — незнание русской жизни, поверхностное изображение ее и наивная моралистическая схематичность (1830, № 47). Еще раньше эту благонамеренную морализацию зло высмеивал Вяземский, писавший в своей статье о Фонвизине по поводу «Ивана Выжигина», что этот роман может быть назван «полным курсом исправительной полиции», намекая вместе с тем на бли-

зость его автора к полицейским кругам (1830, № 40). В период обострения полемики с Булгариным в «Литературной газете» было помещено «объявление» о подготовке к печати «Записок Марфы Ивановны Выжимкиной», новом «нравоописательно-историческом и прозо-поэтическом романе XIX века», пародирующее нравоописательные романы Булгарина и содержащее весьма прозрачные намеки на скандальные факты из его биографии ренегата и предателя. Предполагаемый роман разделяется на три части: «1-я) просто романическая, до французской кампании; 2-я) исторически-романическая, во время кампании и 3-я) романически-сатирическая, после кампании» (1831, № 3). Это «объявление» интересно еще и тем, что оно предваряет известную пародию Пушкина на роман Булгарина, помещенную в «Телескопе» — «Настоящий Выжигин» (в заключении статьи «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем»).

Более чем сдержанно встречен был и роман Греча «Поездка в Германию» (1831), посвященный описанию быта петербургских немцев. Признавая, что «многие черты» «жизни немецких поселенцев Васильевского острова» «схвачены верно и живо», автор рецензии в то же время отмечал «скудость» завязки романа и бледность характеров (1831, № 12).

Отрицательный отзыв заслужил и роман А. Вельтмана «Странник». Анонимный автор разбора романа, вероятно О. Сомов, указывал на искусственность и традиционность самого жанра этого стернианского романа и не увидел в нем ничего нового, кроме «натяжки легкомыслия и веселости» (1830, № 16; эта рецензия, помещенная уже в одном из последних номеров газеты, не отражала точки зрения Пушкина, одобрительно отозвавшегося о романе).

«Нравственно-сатирическим» романам Булгарина, Греча и их подражателям «Литературная газета» противопоставила произведения близких ей писателей — роман Погорельского «Монастырка» и сатирический роман П. Яковлева «Удивительный человек», печатавшиеся в отрывках на страницах газеты.

По выходе первой части романа Погорельского «Литературная газета» писала: «Вот настоящий и вероятно первый у нас роман нравов» (1830, № 16), а еще до выхода его в отделе «Смесь» давалась восторженная оценка этого действительно хорошего и незаслуженно забытого романа, отмечалась «живость картин, верность описаний, счастливо схваченные черты нравов малороссийских и прекрасный слог» (1830, № 11). Роман Погорельского живостью своих бытовых картин, естественностью ряда характеров, добродушной простотой и юмором действительно с полным правом мог быть противопоставлен сухой и фальшивой дидактике «Ивана Выжигина». Но надежды, возлагавшиеся пушкинским кругом на Погорельского как на первостепенного прозаика, не оправдались, вторую часть романа (при этом более слабую) он издал лишь через три года, а в 1836 г. умер. Не менее интересен роман П. Яковлева (брата лицейского товарища Пушкина М. Яковлева) «Удивительный человек», также высоко оцененный «Литературной газетой». Этот роман жизненностью своей сатиры, резкостью своих характеристик, точностью бытовых деталей превосходил романы Булгарина, хотя и лишен был их сюжетной занимательности и слаженности. Автор рецензии указывал как на «выдержанность» характеров, так и на сатирическую остроту этого романа, осмеивавшего «полубарские» нелепые затеи разбогатевшего самодура и дворянина «среднего» московского круга (1831, № 34).

Благосклонно встречен был и роман В. Ушакова «Киргиз-Кайсак», в котором отмечалось «много истины и искусства в подробностях», хотя основной искусственно-романтический замысел романа признавался ошибочным (1831, № 5).

Точно так же, обращаясь к русским историческим романам, «Литературная газета» в противовес «Дмитрию Самозванцу» Булгарина выдвигала роман Загоскина. Уничтожающий разбор «Дмитрия Самозванца» Дельвигом, как уже указывалось, и послужил одним из поводов той яростной полемики, которая велась между «Литературной газетой» и «Северной пчелой».

Дельвиг, говоря о романах Булгарина, показывая их надуманный схематизм, делавший из персонажей поучительные иллюстрации, «куклы», в то же время сформулировал одно из основных положений, определявших позицию писателей, группировавшихся вокруг «Литературной газеты» — требование правдивого изображения жизни: «Цель всех возможных романов должна состоять в живом изображении жизни человеческой, этой невольницы судеб, страстей и самонадеянности ума. Живописуя историческую картину, художник, разумеется, должен знать место, на коем действовали герои его, должен изучить черты лиц их, одежду и оружие их времени: но это необходимое не есть еще главное, совершенно удовлетворяющее все требования искусства. Не поименованных кукол, одетых в мундиры и чинно расставленных между раскрашенными кулисами, желает видеть в картине любитель живописи: он ищет людей живых и мыслящих; а место и одежда их должны только довершать очарование искусством обманутого воображения». Скучный, беспорядочный сбор богатых материалов, излишество исторических имен и отсутствие характеров — таковы основные недостатки романа Булгарина (1830, № 14).

В то же время в «Литературной газете» была помещена рецензия самого Пушкина (анонимная) на роман Загоскина «Юрий Милославский», в которой отмечались его достоинства и «блистательный, вполне заслуженный успех». Достоинства романа Пушкин видел в «живости» и «занимательности» «сцен старинной русской жизни», в том, что «романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую, происшествия исторического», в удачном изображении характеров, хотя и оговаривает ряд недостатков, в частности в изображении лиц исторических (1830, № 5). Положительный отзыв дала «Литературная газета» и о втором романе Загоскина «Рославлев». В рецензии на «Рославлева» отмечалось «народное чувство», «неизменная любовь к отечеству», удачно переданная автором, его «талант комика» (1831, № 36).

Таким образом, хотя «Литературная газета» и не имела такой довольно точно очерченной теоретической литературной программы, как, например, «Московский вестник» или «Московский телеграф», но ее критическая практика, ее позиция в литературной борьбе тех лет, определялись некоторой общностью взглядов и оценок литературных явлений, сближавшей ее основных сотрудников. Борьба, которая ею велась с реакционным лагерем, борьба за высокохудожественную литературу не закончилась с закрытием «Литературной газеты»; она была в дальнейшем продолжена пушкинским «Современником».

ГЛАВА XVII

„Современник"

1. Организация и характер журнала

С прекращением «Литературной газеты» Пушкин и примыкавшая к нему группа писателей оказались без своего литературного органа. Потребность же в таком органе все более и более возрастала в связи с оживлением в журналистике 1830-х годов. В 1831 г. Пушкин, все время стремившийся к получению собственного периодического издания, начинает вновь хлопотать о разрешении на издание газеты или журнала.

Хлопоты о политической газете затянулись до середины 1832 г. Первоначально Пушкин был обнадежен в получении разрешения и даже обратился к одному опытному дельцу (Тарасенкову-Отрешкову), предлагая ему взять на себя деловую часть издания предполагаемой газеты. Был даже набран макет пробного номера под заглавием: «Дневник. Политическая и литературная газета». Однако издание этой газеты с обширной программой, включавшей политические обзоры и полемику, фельетоны, критику, театр, библиографию и т. д., не осуществилось. Правительственные круги разрешение издания ставили в зависимость от характера будущей газеты, намереваясь придать ей официозный характер, на что Пушкин, конечно, не пошел.

Ходатайство о журнале было снова возбуждено Пушкиным в конце 1835 г. Он обратился к Бенкендорфу за разрешением издать в 1836 г. «4 тома статей чисто литературных (как то: повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; наподобие английских трехмесячных Reviews» (обозрений).

В программе «Современника», представленной в цензуру, точно перечислен был круг материалов, предположенных к печатанию в журнале, за пределы которого «Современник» фактически и не выходил: «В нем будут помещаться стихотворения всякого роду, повести, статьи о нравах и тому подобное; (оригинальные и переводные) критики замечательных книг русских и иностранных; наконец, статьи, касающиеся вообще искусств и наук». Хотя «политика» и проникала контрабандой в журнал Пушкина, но как необходимость придерживаться этой заранее обусловленной программы, так и самый выход журнала раз в три месяца, превращавший его в периодический альманах, придавали «Современнику» несколько академический характер, делали его слишком сухим и однообразным по сравнению с таким универсальным и энциклопедическим журналом, каким была «Библиотека для чтения». Этим в значительной мере и объясняется, что пушкинский «Современник» не мог играть активной роли в тогдашнем журнальном мире и завоевать широкие читательские круги. В то время как тираж «Библиотеки для чтения» равнялся пяти тысячам, «Современник» расходился всего лишь в 600—700 экземплярах.

В отличие от «Литературной газеты», в которой Пушкин являлся лишь одним из ближайших сотрудников, в «Современнике» он был главным и единственным хозяином, ведя организационно-хозяйственную сторону дела, редактируя весь журнальный материал и к тому же больше чем на треть заполняя «Современник» своими статьями и художественными произведениями. С конца 1835 г. Пушкин приступил к подготовке первой книги журнала. К ближайшему участию в нем он привлек своих друзей — Вяземского, В. Ф. Одоевского, Жуковского, Дениса Давыдова. Следует отметить привлечение им Гоголя, принявшего особенно деятельное участие в подготовке первой книги журнала. С просьбами о сотрудничестве Пушкин обращался ко многим видным тогдашним литераторам — Погодину, Языкову, приглашал ссыльного декабриста Кюхельбекера, провинциальных писателей (например казанскую поэтессу Фукс, Сухорукова, Дурову). Особого внимания заслуживает смелая тенденция Пушкина выдвигать молодых и начинающих писателей. Так, в «Современнике» была помещена целая тетрадь стихов тогда еще довольно мало известного Тютчева, стихи Кольцова, романтико-этнографический очерк кавказского горца Султана Казы-Гирея, записки Н. А. Дуровой, — последние двое впервые выступали в печати.

Изданием «Современника» Пушкин предполагал положить начало серьезному отношению к литературе, сделав журнал не только предметом для занимательного чтения, каким в значительной мере являлось большинство современных журналов, но и воспитания и просвещения читателя. Этим объясняется и обилие научно-популярных статей в «Современнике», которое бросается в глаза. В первом томе были помещены обширная статья кн. П. Б. Козловского о «Парижском Математическом ежегоднике», содержавшая много статистических, экономических и научных материалов, и статья самого Пушкина о сочинениях Георгия Кониского, с обильным материалом по истории Украины XVII в. и ее борьбы с панской Польшой за свою независимость; во втором томе — статьи Пушкина о заседаниях Российской Академии и Французской Академии, разбор В. Золотницкого книги «Статистическое описание Нахичеванской провинции»; в третьем — статья кн. Козловского «О надежде», посвященная теории вероятности, материалы Пушкина к «Истории Пугачевского бунта», статья Золотницкого «Государственная внешняя торговля 1835 года», очерк Д. Давыдова о теории партизанской войны. При этом Пушкин, в отличие от руководителей других журналов, не удовлетворялся переводными статьями, а стремился к помещению в «Современнике» оригинальных статей русских авторов по техническим и естественно-научным вопросам. О том значении, которое придавал он научному отделу своего журнала, лучше всего свидетельствует тот факт, что накануне дуэли Пушкин просил напомнить кн. Козловскому о заказанной ему для первого номера «Современника» статье о теории паровых машин.

В отличие от «Литературной газеты» Пушкин поставил свой журнал на профессиональную ногу, давая сотрудникам заказы и выплачивая высокий авторский гонорар (200 рублей за печатный лист). Первый том «Современника», разрешенный цензурой 31 марта 1836 г., подготовлялся в неблагоприятных условиях, во время семейных неурядиц и хлопот Пушкина, и допечатывался в его отсутствие. Впрочем, и уехав в Михайловское, Пушкин не переставал интересоваться журналом, и отпечатанные листы пересылались ему для просмотра. В отсутствие Пушкина ближайшее участие в издании первого тома принимал

Гоголь, поместивший в нем свою нашумевшую статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.» и ряд рецензий в отделе библиографии.

Общее литературное направление и программа «Современника» являлись в значительной мере продолжением тех принципов, которые проводились «Литературной газетой». В редакционной заметке о задачах и программе журнала, помещенной в ответ на полемические нападки, вызванные статьей Гоголя, Пушкин подчеркивал эту преемственность «Современника» от «Литературной газеты»: «„Современник", по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением „Литературной газеты"» (1836, № 3). Однако альманашная форма журнала, избегавшего полемики, отсутствие статей программного характера (если не считать статьи Гоголя) делали позицию журнала более нейтральной, менее отчетливой, чем позиция «Литературной газеты».

Борясь с «торговым направлением», с «Библиотекой для чтения», «Северной пчелой», Пушкин в то же время не выступал против них с той полемической резкостью, которой отличались его прежние статьи против Булгарина и Полевого. Направление «Современника» характеризовалось общими прогрессивно-просветительными тенденциями, широтой кругозора, строгой требовательностью к художественной доброкачественности литературы.

Несмотря на то, что Пушкин вынужден был соблюдать чисто литературный характер своего издания, он все время стремился выйти за пределы той суженной программы, которая ему была разрешена. Такие статьи журнала, как «Хроника русского в Париже» А. И. Тургенева, или «Прогулка по Москве» М. Погодина, или предисловие самого Пушкина к «Джону Теннеру», содержали целый ряд политических тем и намеков, явно выходя за границы официально дозволенного. Еще показательнее попытка Пушкина поместить в журнале свою статью о Радищеве, упоминание самого имени которого считалось долгое время крамольным. Однако, хотя Пушкин обставил свою статью о Радищеве рядом критических замечаний, стремясь придать ей «благонамеренный» вид, эта статья не была дозволена к печати.

Цензура журнала была поручена одному из самых строгих и неблагожелательных цензоров — А. Крылову, запретившему в течение годичной работы Пушкина в журнале целый ряд произведений: помимо статьи Пушкина о Радищеве, публикацию «Записки о древней и новой России» Карамзина, стихотворение Тютчева «Два демона», переводную статью «Применение системы Галля и Лафатера к изображениям пяти участников покушения на жизнь Луи-Филиппа в 1835 г.». Кроме того, во многих статьях и художественных произведениях были сделаны цензурные изменения и сокращения, а две статьи («Долина Ажигутай» и «Взятие Дрездена») вызвали недовольство III отделения, в связи с чем материал «Современника» стал подвергаться дополнительному просмотру военной цензурой. Об этом тяжелом цензурном гнете и невыносимых преследованиях журнала Пушкин писал Д. Давыдову: «Тяжело, нечего сказать. И с одной цензурою напляшешься, каково же зависеть от целых четырех. Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны, но даже сами от себя согласны с духом правительства. Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче».

Пушкин не был удовлетворен академическим характером своего

журнала и той позицией, которую занимали его ближайшие сотрудники — Одоевский и Вяземский. Летом 1836 г. он задумывает реформу журнала и перегруппировку его коллектива. О том, в каком направлении могла быть произведена эта реорганизация, о планах Пушкина на дальнейшее лучше всего свидетельствует его желание привлечь в свой журнал Белинского, с которым он завязывает переговоры (через Нащокина) о переезде его в Петербург для постоянной работы в «Современнике». Белинский ответил на это согласием, и только смерть Пушкина помешала осуществлению этого наметившегося союза великого поэта и великого критика.

Смерть настигла Пушкина в самом разгаре его работы по реорганизации журнала. Выпустив в конце декабря IV том, он деятельно подготовлял издание следующего, первого на 1837 г. Среди бумаг Пушкина сохранился перечень статей, намечавшихся им к помещению в «Современнике» и частью уже написанных. По смерти Пушкина издание журнала перешло к его друзьям — Вяземскому, Жуковскому, Одоевскому и Плетневу, издававшим «Современник» в течение 1837 г. в пользу семьи Пушкина по очереди (1-й том Плетнев, 2-й — Краевский, 3-й — Одоевский, 4-й — Вяземский). С 1838 г. по 1846 г. судьба журнала связана с именем Плетнева, которому передано было право на продолжение «Современника».

2. Направление журнала

Хотя утвержденная цензурой программа исключала возможность внесения в «Современник» политики и нельзя поэтому точно охарактеризовать его идеологическую платформу, политика все же попадала в журнал, просачиваясь в ряде замечаний и суждений, рассеянных в отдельных очерках, критических статьях и художественных произведениях.

Несомненно, что Пушкин стремился придать своему журналу передовой, просветительский характер. В этом отношении наиболее заостренной и показательной являлась статья самого Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности»,[1] помещенная в «Современнике» без подписи (1836, № 3). В ней Пушкин выступал с полемическим разбором речи Лобанова, прочитанной им в Академии. Лобанов резко обрушивался на современную литературу и журналистику, обвиняя ее в следовании новейшей «безнравственной» французской романтической литературе, в проповеди «гибельной для человечества новейшей философии», в сеянии «умственного разврата», считая все это порождением «кровавых явлений революции». В качестве практической меры Лобанов предлагал Академии заняться дополнительной цензурой книг, считая, что правительственная цензура недостаточно строга и не входит в рассмотрение содержания выходящих книг. Пушкин решительно выступил против демагогических огульных обвинений, выдвинутых Лобановым, отстаивая независимость литературы, право писателя на свободу мысли (хотя в то же время он не скрывает и своего отрицательного отношения к романтически-ужасной школе). «Нельзя требовать, — писал он, — от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других... Закон не вмешивается в привычки частного чело-

[1] М. Е. Лобанов (1787—1846) — драматург, переводчик Расина, член Российской академии, в 1830-х годах примкнувший к реакционному направлению.

века... закон так же не вмешивается в предметы, избираемые писателем».

Не менее решительно выступил Пушкин и в защиту современной прогрессивной мысли от реакционного мракобесия Лобанова, указывая на то, что «умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас». В силу всего этого Пушкин отрицает и высмеивает упреки в цензурном «послаблении», протестуя против присвоения цензорских функций Академии.

Большой принципиальный интерес для понимания общественно-политической позиции журнала представляет и предисловие Пушкина к пересказу им записок Джона Теннера (1836, № 3). В этом предисловии Пушкин говорит о лицемерии и «отвратительном цинизме» американской буржуазной демократии, о ее «нестерпимом тиранстве», возмущаясь «неумолимым эгоизмом» капиталистического строя, «рабством негров посреди образованности и свободы», «родословными гонениями в народе, не имеющем дворянства». Это критическое отношение к буржуазному обществу, разделявшееся и другими сотрудниками «Современника», свидетельствует о великой прозорливости Пушкина, о его широком интересе к зарубежной культуре, в социальном содержании которой он не обманывался. Внимание «Современника» к промышленному развитию России, к торговле и экономике страны знаменовало уже попытку понять новые экономические и социальные явления русской действительности. Недаром даже в статье В. Ф. Одоевского «О вражде к просвещению» (1836, № 2) зло высмеивалась отсталость помещика, у которого «в деревне нет никаких новостей, ни английских плугов, ни экстирпаторов, ни школ, ни картофеля» и ему противопоставлялся сосед, применяющий эти новшества и получающий благодаря им «втрое более дохода».

Однако, наряду с прогрессивно-просветительными тенденциями, на страницах «Современника» можно встретить и защиту той «светскости», с осуждением которой выступил Белинский. И указанная статья Одоевского, и статья Вяземского о «Ревизоре» апеллировали к вкусу светского общества. На страницах «Современника» появилась даже статья В. Титова, одного из любомудров, — «Светский человек, дипломат, литератор, воин», посвященная оправданию деятельности и роли «светского человека» (правда, появилась она уже после смерти Пушкина — 1837, № 3). Но для пушкинского «Современника» эта апелляция к «светскому обществу» являлась в основном защитой и противоядием против казенной рептильной журналистики Булгарина и Греча, демагогически похвалявшихся своим мнимым демократизмом. Помещение Пушкиным в журнале «Родословной моего героя» было ответом на булгаринскую демагогию.

3. Статья Гоголя «О движении журнальной литературы»

Литературную программу журнала должна была наметить статья Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.», помещенная в первом томе «Современника».

В своей статье Гоголь дает почти памфлетную характеристику большинства главных журналов начала 1830-х годов и с особенной резкостью выступает против «Библиотеки для чтения», видя одну из главных задач «Современника» в борьбе с «торговым направлением». Гоголь начинает свою статью с утверждения о значении журнальной литературы, которая «ворочает вкусом толпы, обращает и пускает

в ход все выходящее наружу в книжном мире»; «ее голос есть верный представитель мнений целой эпохи и века».

Исходя из этого понимания значения журнальной литературы для выработки общественного мнения, для продвижения в публику новых идей и новых литературных произведений, Гоголь с тем большей резкостью нападает на современную ему журналистику, говоря, что «бесцветность была выражением большей части повременных изданий», и отмечая «отсутствие журнальной деятельности и живого современного движения».

Основной удар направляет Гоголь против «Библиотеки для чтения», с которой связывает «Северную пчелу» и «Сына отечества». Гоголь выступает против беспринципности «Библиотеки», отсутствия литературной цели, собственного мнения и вкуса. Гоголь высмеивает критические статьи Сенковского, поставившего Кукольника наряду с Гете, объявившего шарлатаном В. Скотта, и указывает, что они совершенно беспринципны, поверхностны, состоят «в мелочах» и в разборе «разного литературного сора». Гоголь высмеивает Сенковского и как писателя, отмечая «неумеренное подражание» его «нынешним писателям французским», т. е. писателям «романтически-ужасной» школы, которую Сенковский, по словам Гоголя, гласно «осуждал». С неменьшей резкостью отзывается он и о редакторском произволе Сенковского, перекраивавшего произведения других авторов, помещавшиеся в «Библиотеке для чтения».

Ни один из существующих журналов не удовлетворяет Гоголя. Критикуя «Московский телеграф», «Телескоп», «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», Гоголь выделяет особо лишь «Московский наблюдатель», орган, наиболее приемлемый для него. Однако и «Наблюдатель» подвергается суровому осуждению за то, что он не выполнил своей основной задачи — борьбы с «торговым направлением» и с Сенковским. «Московский наблюдатель», по мнению Гоголя, выступал против «торгового направления» слишком отвлеченно, с позиций, которых во многом Гоголь не разделяет. Он считает, что основной ошибкой статьи Шевырева «Словесность и торговля», направленной против «торгового направления», являлось то, что «автор статьи обратил внимание не на главный предмет»: «он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара». Гоголь не разделяет отрицательной точки зрения «Московского наблюдателя» на профессионализацию литературы, у него нет неприязненного отношения к проявлению капиталистического «разврата», которое объединяло участников «Московского наблюдателя». Он далек от отстаивания патриархально-дворянских позиций, считая, что «литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличились».

Гоголь выделяет из современной журналистики два уже прекратившихся журнала — «Московский телеграф» и «Московский вестник», первый издававшийся с тем, чтобы «ниспровергнуть обветшалые, заматерелые, почти машинальные мысли тогдашних наших классиков», второй — с тем, чтобы «познакомить публику с замечательнейшими созданиями Европы, раздвинуть круг нашей литературы, доставить нам свежие идеи о писателях всех времен и народов».

Гоголь упрекает современную журналистику за пренебрежение к наследию прошлого, невнимание к старым русским писателям — Державину и Карамзину, и в то же время указывает на отсутствие в журналах «новых мыслей» и «следов глубокого, добросовестного изучения»

литературы. Пренебрежение к прошлому приводит к тому, что «наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует».

Особенно отрицательно отзывается Гоголь о критике, отмечая, что «журнальная критика по большей части была каким-то гаерством», отличаясь «пренебрежением к собственному мнению», «отсутствием чистого эстетического наслаждения и вкуса».

Этот протест против «литературного невежества» далеко выходил за рамки полемики с «Библиотекой для чтения», выражая общую всему журналу позицию, которую, несомненно, разделял и Пушкин и остальные сотрудники «Современника». Однако, в обстановке тогдашней литературной борьбы, в обстановке постоянной опасности осложнений для издания журнала, Пушкин не захотел признать статью Гоголя программой своего журнала. Несмотря на то, что Пушкин к этому времени прервал свое сотрудничество в «Библиотеке для чтения» и в письмах неоднократно отзывался о Сенковском весьма неодобрительно, он не считал целесообразным итти на открытую ссору с «Библиотекой» и журнальным триумвиратом.

В третьем томе «Современника» за 1836 г. он печатает «Письмо к издателю» за подписью «А. Б.», полемизирующее с утверждениями Гоголя, и примечание к нему «Издателя», которое должно было ослабить впечатление от статьи Гоголя. В своем примечании к «Письму» Пушкин подчеркивает: «Статья „О движении журнальной литературы" напечатана в моем журнале, но из сего еще не следует, чтобы все мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостью и прямодушием, были совершенно сходны с моими собственными. Во всяком случае, она не есть и не могла быть программою „Современника"».

«Письмо к издателю», подписанное А. Б., как недавно выяснено исследователями, также принадлежало Пушкину.

Для чего понадобилась Пушкину такая сложная мистификация, почему он отмежевался от статьи Гоголя, которая несомненно во многом близка была его взглядам? Следует учитывать здесь прежде всего нежелание Пушкина ставить под удар журнал, стремление его к сохранению как бы нейтральной позиции, тем более необходимой, что возможности полемики для «Современника», выходившего раз в три месяца и находившегося под особенно недружелюбным надзором цензуры, были чрезвычайно ограничены. Но дело не только в этом. Хотя Пушкин в «Письме к издателю» и не касается основных обвинений Гоголя, направленных против Сенковского и «Библиотеки», обвинений в беспринципности и безидейности, возражая лишь на второстепенные пункты, однако, несомненно, что его отношение к Сенковскому и «Библиотеке» иное, чем у Гоголя. Недаром он подчеркивает в «Письме к издателю», что многие из статей Сенковского обладают большими достоинствами, признавая в нем талант журналиста, а также умелое ведение журнала, «разнообразие статей», «полноту книжек», «сметливость» и «аккуратность», «к которой не приучили нас русские журналисты». Следовательно, несмотря на отрицательные стороны «Библиотеки для чтения», отмеченные Гоголем, этот журнал, по мнению Пушкина, обладал и положительными качествами, которых, между прочим, были лишены другие журналы. В самом деле, ни один журнал середины 1830-х годов не имел такого большого числа подписчиков, как «Библиотека для чтения». Задача же расширения числа подписчиков

входила в программу деятельности и передового журналиста. В этом заключался смысл суждений Пушкина о « Библиотеке для чтения», выраженных в письме «А. Б.». Сходное отношение к журналу Сенковского было в ту пору и у Белинского, о котором Пушкин сочувственно отозвался в письме «А. Б.». Пушкин сетовал, что Гоголь, говоря о «Телескопе», не упомянул о Белинском. «Он обличает талант, — пишет Пушкин о Белинском, — подающий большую надежду. Если бы с независимостию мнений и остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного». Эта оценка молодого Белинского свидетельствует не только о прозорливости Пушкина, но и о том направлении, которое он желал придать своему журналу, направлении, во многом отличном от «светскости», за которую упрекал «Современник» Белинский. Пушкин не успел осуществить планов реорганизации журнала, привлечь в него Белинского, но та программа борьбы с «торговым направлением», которая намечалась статьей Гоголя, была для него слишком узкой. Этим и объясняется в значительной мере появление «Письма к издателю» и солидаризирующегося с ним примечания.

Насколько различно было понимание задач журнала и отношение к журналистике самого Пушкина и его литературных друзей видно хотя бы по позднейшей статье Вяземского «Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина», в которой Вяземский, объясняя неудачу журнальных начинаний Пушкина, особенно отчетливо сформулировал свое отрицательное отношение к журналистике вообще, поскольку она делает писателя «слугою публики»: «Он [Пушкин] не имел ни достойных качеств, ни погрешностей, свойственных и даже нужных присяжному журналисту. Журналист — поставщик и слуга публики. А Пушкин не мог быть ничьим слугою». Это, конечно, точка зрения Вяземского, но не Пушкина, видевшего в журнале могущественное средство общения с читателем, новые широкие возможности для поднятия просвещения, для распространения передовых политических и литературных мнений и идей.

4. Критика «Современника»

В критическом отделе «Современника» основное место принадлежало Пушкину. В 1836 г. им были помещены следующие статьи и рецензии (опубликованные без подписи автора): разбор «Собрания сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского», «Российская Академия», «Французская Академия», «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной», «Вольтер», рецензии на «Фракийские элегии» В. Теплякова и ряд рецензий в отделе «Новые книги» — на перевод (Е. Люценко) повести в стихах Виланда «Вастола или желания», на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, на перевод (С. Дирина) книги Сильвио Пеликко «Об обязанностях человека», на «Словарь о святых». Кроме того, Пушкину принадлежали многочисленные редакционные заметки, предисловия, послесловия, объявления от редакции к материалам, печатавшимся в журнале (послесловие к «Долине Ажитугай», предисловие к запискам Н. А. Дуровой, примечание к повести Гоголя «Нос» и др.). Наконец, большое количество материала, заготовленного Пушкиным для «Современника», осталось в рукописях, часть по цензурным причинам, часть предназначалась для следующих номеров и не была закончена. Неко-

торые из этих статей и рецензий были напечатаны в «Современнике» сразу же после смерти Пушкина («Последний из свойственников Иоанны Д'Арк», «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая"» и др.), остальные стали известны впоследствии и являются лишь черновыми набросками начатых рецензий (на «Три повести» Н. Павлова, на комедию Загоскина «Недовольные» и др.).

Наряду со статьями и заметками Пушкина и Гоголя, значительный интерес представляют и помещенные в «Современнике» 1836 г. статьи В. Ф. Одоевского, Вяземского, бар. Розена, имевшие принципиальное значение и определявшие литературно-эстетическую позицию журнала. В статьях Одоевского «Как пишутся у нас романы» и «О вражде к просвещению» (также напечатанных анонимно) велась полемика с ремесленно-бездарной литературой представителей «торгового направления» (Булгарина, Греча и др.). Однако, в отличие от статьи Гоголя, полемика Одоевского имела приглушенный и неконкретный характер; о том, против кого она была направлена, можно было лишь догадываться, так как ни одного имени в его статьях не названо.

Одоевский выступает здесь против того неуважения к науке и просвещению, которое он видит в современной литературе и прежде всего в поверхностной нравоописательной прозе: он подразумевал произведения Булгарина и Сенковского, иронизируя над «новостарым родом под названием нравственно-сатирического». Глубокое знание современных нравов у Фонвизина, Капниста, Грибоедова он противопоставлял современным нравоописателям, которые «толкуют о вреде, происходящем от излишней учености, о вреде машин, пишут романы и повести, комедии, в коих выводятся на сцену какие-то господа Верхоглядовы, не только не существующие, но невозможные в России; выводятся философы, агрономы, нововводители — как будто бы существование этих лиц было характерною чертою в нашем обществе».

Корни «вражды к просвещению» Одоевский видит в том якобы «демократическом духе», который «переселился» из французской литературы в наши романы, «но у нас обратился в безусловные похвалы черни и в нападки на высшее общество, большею частию недоступное нашим сатирикам». Однако Одоевский выступает здесь не против подлинного демократизма, а против демагогической похвальбы «демократизмом», характерной для Булгарина и Сенковского. Он подчеркивает безвкусие и фальшь этой нравоописательной литературы. «Не ищите, — пишет он о подобных романах, — простосердечного естественного описания нравов и характеров, не ищите ничего девственного, невольно вылившегося из души... В сотнях томов, вместо силы — напыщенность, вместо оригинального — чудовищное, вместо остроты — площадные шутки, — и между тем все чужое, все неестественное, все несуществующее в наших нравах» (1836, № 2).

Не менее решительно выступал Одоевский и против критики журнального триумвирата, которая не только не мешает сбыту дурных книг, но способствует ему. Одоевский имел здесь в виду Сенковского. Это видно хотя бы из его возмущения тем, что «никто не мешает критике» «в случае нужды сравнивать лучший талант в России с Поль-де-Коком». С Поль-де-Коком сравнивал Сенковский Гоголя.

В статье «Как пишутся у нас романы» (1836, № 3) Одоевский противопоставляет рассудочному и эмпирическому представлению об искусстве романтическое учение о творце-гении, об интуитивной и иррациональной природе творчества: «Романисту-поэту предмет романа является нежданнно, сомнамбулически; он преследует его, мучит его,

как живой человек; когда поэт пишет — он пишет, забывая о самом себе, он живет в лицах, им созданных, самые его собственные мысли, незаметно для него самого, сливаются с лицами, им выводимыми на сцену».

В результате усвоенной «Современником» тактики, заключавшейся в стремлении избегать полемики и критиковать отечественную словесность в ее общих тенденциях, без оскорбительных остановок на частных явлениях, в журнале были сравнительно редки оценки отдельных произведений текущей литературы. Вместе с тем Пушкин ввел большой библиографический раздел «Новые книги», в котором давалось перечисление и библиографические сведения о всех выходящих книгах.

Однако в немногочисленных рецензиях и статьях о русской литературе выделены наиболее крупные и замечательные явления. Прежде всего «Современник» выдвигает на первое место в прозе 1830-х годов Гоголя, на которого как раз в это время сыплются уничтожающие нападки со стороны «Библиотеки для чтения» и «Северной пчелы». Пушкин в своей рецензии прямо ставит Гоголя в ряд лучших, великих писателей — Фонвизина в России и Вальтер Скотта на Западе — за его «Вечера» и «Миргород», отмечая непрерывный творческий рост Гоголя («Гоголь идет еще вперед»). Восторженная статья Вяземского о «Ревизоре» — «Разбор комедии Гоголя „Ревизор"» — ставила комедию Гоголя вслед за «Недорослем» Фонвизина и «Горе от ума» Грибоедова. Говоря о достоинствах комедии Гоголя, Вяземский резко полемизировал с той критикой, которая объявила «Ревизор» фарсом и обвиняла Гоголя в безнравственности и грубости языка. Возражая на эти обвинения, шедшие как из лагеря Сенковского и Булгарина, так отчасти и со стороны «Московского наблюдателя», — Вяземский писал: «В „Ревизоре" есть карикатурная природа... В природе не все изящно; но в подражании природе неизящной может быть изящность в художественном отношении» (1836, № 2). Вяземский говорил о реализме «Ревизора», особенно выделяя его «слог», правдивость и естественность языка. Впрочем, следует оговорить, что Вяземский не оценил и не мог оценить общественную значимость сатиры «Ревизора».

Большое внимание уделял «Современник» западноевропейской литературе, продолжая в этом отношении традиции «Литературной газеты». В центре внимания журнала также остается «ужасно-романтическая» школа французских прозаиков, во главе с Жюль Жаненом и Гюго, вызывающая осуждение Пушкина за «поверхностный взгляд на природу человеческую». В своей статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности» Пушкин следующим образом характеризует эту школу романистов: «Нынешние, напротив, любят выставлять порок всегда и везде торжествующим, и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие. Такой поверхностный взгляд на природу человеческую обличает, конечно, мелкомыслие и вскоре так же будет смешон и приторен, как чопорность и торжественность романов Арно и г-жи Котен». Пушкин указывает, что эта «словесность отчаяния» начинает уже «упадать во мнении публики». То же отношение к новым французским романистам высказано и в статье В. Одоевского «О вражде к просвещению», в которой он писал о их «нелепом выборе предметов», «углублении в грустные исключения из общей жизни человеческой», их «натянутом слоге» и «неблагопристойности».

Однако, это осуждение крайностей «романтически-ужасной» школы не означало отрицания романтизма. В противовес французской лите-

ратуре на страницах «Современника» выдигалась немецкая поэзия и философия. Впрочем, в своих программных установках журнал Пушкина отстаивал национальную самостоятельность русской литературы, ее независимость от иностранных влияний.

5. Художественный материал «Современника»

В «Современнике» за 1836 г. (а также в первой книге 1837 г., подготовленной к печати Пушкиным) прежде всего бросается в глаза отказ Пушкина от многочисленных отделов, столь характерных для тогдашних журналов. Весь материал делится на два отдела: стихотворения и проза. При этом в отдел прозы включались как художественные произведения, очерки, мемуары, так и научно-популярные статьи. Отличало пушкинский «Современник» от других журналов и почти полное отсутствие переводов. В книжках, подготовленных Пушкиным, и поэзия, и проза, и научные статьи представлены русскими авторами.

Отдел стихотворений, вообще сравнительно с другими журналами очень небольшой, составлен был со строгим отбором. В первых четырых томах «Современника» был помещен ряд стихотворных произведений самого Пушкина («Пир Петра Великого», которым открывался первый выпуск журнала, «Скупой рыцарь», «Из А. Шенье», «Родословная моего героя», «Полководец», «Сапожник»), а в 1837 г. после гибели поэта, такие крупнейшие его произведения, как «Медный всадник», «Русалка», «Галуб», «Лицейская годовщина», «Вновь я посетил» и ряд других. Наряду со стихами Пушкина в «Современнике» 1836—1837 гг. помещались стихи Жуковского («Ночной смотр» и др.), два стихотворения Баратынского, несколько стихотворений Вяземского и Дениса Давыдова, — авторов, постоянно печатавшихся в «Литературной газете» и альманахе «Северные цветы». Следует отметить сравнительно большое количество стихотворных драматических произведений: «Драматическая сказка об Иване Царевиче» Языкова, «Битва при Тивериаде» и «Иоанн III и Аристотель» бар. Е. Ф. Розена. Но особенно важно отметить помещение Пушкиным цикла из 28 стихотворений Тютчева («Стихотворения, присланные из Германии» Ф. Т.), среди которых были такие шедевры, как «Silentium», «Весенние воды», «Душа моя — элизиум теней» и другие. Помещен был и цикл стихотворений Л. Якубовича, к которому Пушкин относился благосклонно, «Урожай» А. Кольцова, а после смерти Пушкина напечатано было «Бородино» Лермонтова.

Гораздо большее место, чем стихи, занимала в «Современнике» проза. «В Современнике» 1836 г. были помещены «Капитанская дочка», «Путешествие в Арзрум» самого Пушкина; «Нос», «Коляска» и «Утро делового человека» Гоголя. Однако, как было указано, отдел прозы в основном комплектовался Пушкиным не из беллетристики, а из документальных произведений, очерков, дневников, писем, мемуаров. Эта тяга к фактической документальной литературе объясняется не только состоянием тогдашней прозы, но и принципиальными установками Пушкина, к этому времени уделявшего и в своей работе преимущественное внимание документальным жанрам и историческим исследованиям. Очерки, мемуары и письма занимают основное место в журнале. Среди них следует особо выделить записки Н. А. Дуровой, лестно охарактеризованные Пушкиным в предисловии от издателя, как написанные «пером быстрым, живописным и пламенным». Записки героини войны 1812 г. Дуровой, действительно, представляли незаурядный интерес как по своему содержанию, так и по мастерству изложе-

ния. Не менее смелым было и помещение очерка кавказского горца Султана Казы-Гирея — «Долина Ажитугай», напечатанного в том же номере, где и «Путешествие в Арзрум», и отчасти перекликавшегося с ним своими описаниями Кавказа. Правда, для очерка Казы-Гирея характерен тот романтически эффектный ориентализм, который отличал кавказские повести Бестужева-Марлинского. Пафос кавказской природы, национальная гордость горца соединяются в этом очерке с признанием прогрессивной роли русской культуры, несущей просвещение.

Интерес журнала Пушкина к западной общественной и литературной жизни особенно полно сказался в письмах А. И. Тургенева — «Париж», с подзаголовком «Хроника русского», помещенных в I и IV книгах «Современника» (анонимно). В этих письмах А. И. Тургенев давал остроумную характеристику парижской жизни, начиная с дипломатической и политической информации и кончая бытовыми и литературными новостями. Он сообщает и об очередном заседании Французской Академии, и о посещении сиамских близнецов, и о своих визитах к министрам Гизо и Тьеру, и о нашумевшем процессе, и о последней поэме Ламартина, и о своей беседе с Мериме.

Несмотря на богатство материала и имена виднейших писателей, пушкинский «Современник» успеха не имел. Круг подписчиков был ограничен, ожидаемых выгод от журнала Пушкин не получил. «„Современник" был довольно холодно принят и в литературе и в публике», — писал в своих воспоминаниях И. И. Панаев. «„Современник" твой очень хорош для меня, но не всем нравится», — сообщал Пушкину из Москвы П. Нащокин. Таким образом, «Современник», подобно «Литературной газете», остался журналом для узкого читательского круга и не смог осуществить ту задачу, которую выдвигал Пушкин. Причины этого заключались как в принудительном «академизме», невозможности включиться в общественную жизнь и откликаться на волнующие и злободневные вопросы из-за полицейских и цензурных ограничений, так и в кружковой замкнутости основных сотрудников Пушкина (Вяземского, В. Одоевского, А. Тургенева и др.), не желавших итти по пути, намечавшемуся Пушкиным, но невозможному для них.

Выходу Пушкина к демократической журналистике, осуществлению плана реорганизации журнала помешала его смерть. Поэтому понятна и та оценка, которую впоследствии дал пушкинскому «Современнику» Чернышевский: «Пушкин и его сподвижники обладали многими из качеств, необходимых для того, чтобы оказывать сильное влияние на мнения читающей публики, — и однако же их мнения имели и на публику и на развитие литературы менее влияния, нежели как должно было бы ожидать: и большинство читателей и новое поколение писателей поддавались преимущественно влиянию других литературных мнений». Одной из причин этого явления Чернышевский считал то обстоятельство, что литературные друзья Пушкина, действуя на поприще критики, не учитывали интересов и потребностей широкой публики, довольствуясь «спокойным сочувствием немногих читателей, которых считали избранными, и гордо думали, что качества их слушателей вознаградят их за количество», в то время как «для распространения в публике каких бы то ни было, хотя бы самых простых и справедливых мнений, необходимо высказывать их очень настойчиво, упорно с энтузиазмом страстного увлечения». Недостаток публицистической страстности, отсутствие полемики и общественно-политической тематики и были, по мнению Чернышевского, причинами недостаточной популярности журнала.

После смерти Пушкина «Современник», руководимый Плетневым, постепенно терял тот характер, который он имел при Пушкине. Хотя в нем продолжали сотрудничать прежние участники и порой появлялись новые свежие имена, например, Квитко-Основьяненко, однако основной тон постепенно стали задавать такие поэты, как Лизандер и гр. Е. Ростопчина, и прозаики вроде бар. Ф. Корфа. Журнал превратился в довольно почтенный, но мало интересный и становившийся все более консервативным орган. Лишь публикация неизданного пушкинского наследия связывала журнал с памятью Пушкина и выделяла его на общем журнальном фоне.

Утратив связи с живой действительностью, «Современник» просуществовал так до 1847 г., когда, перейдя в руки Некрасова и Панаева, он стал наиболее передовым и замечательным журналом середины XIX в.

ГЛАВА XVIII

Пушкин-критик

1. Задачи критики в понимании Пушкина

Деятельность Пушкина-критика, недостаточно оцененная современниками, является одним из интереснейших этапов в истории русской критики. Литературно-эстетические взгляды Пушкина стояли значительно выше среднего уровня тогдашней критики, чем в основном и объясняется недооценка их современниками. Кроме того, значительная часть критических работ Пушкина не была опубликована при его жизни.

Высокий теоретический уровень литературно-критических высказываний Пушкина, широта его критического кругозора, ясное понимание задач, стоявших перед русской литературой, — делают Пушкина одним из родоначальников новой критики, во многом предупредившим появление Белинского.

Литературно-критическая деятельность Пушкина многообразна: он выступал и как полемист, и как мастер литературного памфлета, и как теоретик литературы и искусства, поднимая в своих статьях основные историко-литературные проблемы, и как автор чрезвычайно конкретных критических суждений и характеристик.

Помимо этой разносторонности и богатства идей, Пушкин был блестящим мастером критических жанров, блестящим стилистом, перенесшим в критику основные качества своей прозы: краткость, точность, ясность.

Как критик Пушкин сотрудничал главным образом в изданиях, им руководимых («Литературная газета», «Современник») или в близких ему по направлению («Северные цветы», «Денница»). Лишь в сравнительно редких случаях он выступал в посторонних для него журналах: это прежде всего его ранние статьи, помещенные в 1824—1825 гг. в «Сыне отечества» и «Московском телеграфе», а затем знаменитые памфлетные статьи Феофилакта Косичкина, направленные против Булгарина, напечатанные в 1831 г. в «Телескопе».

Отсутствие собственного печатного органа и цензурные затруднения очень мешали критической и журналистской деятельности Пушкина. Этим, главным образом, объясняется то, что примерно половина критических и литературно-теоретических его работ при его жизни не была опубликована, а частично осталась незаконченной. Современникам Пушкина не были известны многие из его наиболее важных принципиально-теоретических работ: статья о Радищеве, «О народности в литературе», наброски статей о Баратынском, предисловие к «Борису Годунову», заметки о народной драме и о «Марфе Посаднице» Погодина, «О русской литературе с очерком французской» и ряд других.

Задачи и роль критики в литературной и общественной жизни Пушкин понимал чрезвычайно широко. В отличие от своих друзей, вроде Вяземского, считавшего даже унизительным нисходить до жур-

нальной полемики, Пушкин видел в критике выражение общественного мнения. «У нас вошло в обыкновение между писателями, заслужившими доверенность и уважение публики, не возражать на критики, — писал он в одной из своих заметок о критике и полемике «Литературной газеты», — обыкновение вредное для литературы. Таковые антикритики имели двоякую пользу: исправление ошибочных мнений и распространение здравых понятий касательно искусства».

Пушкин считал, что задача критики и ее значение заключаются в воздействии на общественное мнение, в руководстве литературой. «Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы вообще», — писал он в неопубликованной при жизни статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений».

«Литература у нас существует, но критики еще нет».[1] Такой приговор современной критике объяснялся теми большими требованиями, которые предъявлял ей Пушкин. В своей заметке о критике 1830 г. он дает широкое философское обоснование задач критики.

Пушкина не удовлетворяло состояние современной журнальной критики, в которой он не видел ни принципиальности, ни подлинной любви к искусству, ни знания его законов. Пушкин подчеркивал, что «ее решения часто внушены расчетами, а не убеждениями». Потому-то он и считал, что критика есть дело писателей, что только писатели смогут поднять критику на принципиальную высоту: «Если бы писатели, заслуживающие уважения и доверенность публики, взяли на себя труд управлять общим мнением, то вскоре критика сделалась бы не тем, что она есть». Статьи Вяземского, Бестужева, Кюхельбекера, Катенина — казались Пушкину единственными просветами среди окружающего мрака журнальной критики. Недаром первое критическое выступление его в печати («Письмо к издателю „Сына отечества"», 1824 г.) было посвящено защите Вяземского, его «Разговора между издателем и классиком».

Теоретические воззрения Пушкина сложились не сразу и продолжали развиваться на всем протяжении его творческого пути. Еще в лицейский период, наряду с лекциями Кошанского, читавшего в основном по старинке, по Баттё и Лагарпу (хотя и упоминая уже о Лессинге и Винкельмане), Пушкин слушал и Галича, сторонника немецкого идеализма, во многом разделявшего положения кантианской эстетики. В то же время Пушкин находился под воздействием французской просветительной философии, и несомненно, что эстетические принципы просветителей, в частности Дидро, были ему известны.

В начале 1820-х годов Пушкин знакомится с эстетическими и теоретическими воззрениями представителей романтической школы, как немецкой (Шлегель), так и французской (Сталь, Сисмонди и др.).

В конце 1820-х годов Пушкин сближается на некоторое время с «любомудрами», сторонниками шеллингианской эстетики, однако, далеко не разделял их взглядов. В дальнейшем, в 1830-е годы Пушкин, обратившись к историческим темам и занятиям, становится все более на историческую точку зрения. Этот историзм особенно явственно сказался в его суждениях о народности литературы, в его набросках обзора развития французской и русской литературы, в его высказываниях о В. Скотте и историческом романе.

---

[1] Эти суждения Пушкина являлись откликом на статью И. В. Киреевского в альманахе «Денница» за 1830 г.

Но, конечно, литературно-эстетические взгляды Пушкина не следует представлять себе в виде какого-то механического, эклектического соединения всех этих воззрений, постепенно наслаивавшихся друг на друга. Пушкин шел своим путем, разрешая проблемы литературы оригинально и самостоятельно, стремясь к созданию подлинно реалистической, связанной с жизнью национальной русской литературы. В конкретной практической борьбе за реалистическую правдивость и подлинную народность литературы складывались и вырастали и его теоретические воззрения.

Эстетический критерий занимал большое место в оценках и суждениях Пушкина о литературе. Однако это была не беспомощная вкусовая оценка — «это хорошо потому, что это прекрасно, это дурно, потому, что плохо», которую высмеял Пушкин в своем «Опыте отражения», а оценка, опиравшаяся на «совершенное знание правил» и «глубокое изучение образцов». Статьи Пушкина о Шекспире, о Байроне, о Баратынском, Дельвиге, о Сент-Бёве, наброски предисловия к «Борису Годунову», заметки «О смелости выражений», «О вдохновении и восторге» и другие свидетельствуют о том, что Пушкин выступал в критике как мастер, как критик-художник, глубоко и тонко рассматривавший всю художественную структуру. Но при этом внимание его никогда не было поглощено вопросами формы, литературной техники. Рассматривая в статье об «Утешениях» Сент-Бёва нововведения писателей так называемой «романтической школы», Пушкин отмечал, что они «полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов... Все это хорошо, — предостерегает он, — но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества». Таким образом, пользуясь эстетическим критерием, Пушкин никогда не замыкался в рамки эстетства или формализма. Напротив он подчеркивал, что такие поэты, которые «пекутся более о механизме языка, наружных формах слова, нежели о мысли — истинной жизни его», обречены на забвение потомства.

Эстетический критерий не играет для Пушкина самодовлеющей роли. Он рассматривает явления литературы в их исторической обусловленности, в их соотношении с жизнью. В статье о народной драме и в других статьях Пушкин поднимается до социологических обобщений, давая отрицательную оценку придворно-аристократического театра.

Пушкин в своих эстетических и критических суждениях проявлял не только удивительную зрелость, но и самостоятельность своих теоретических и критических взглядов и мнений. В пору увлечения романтизмом, охватившего передовые литературные круги и разделявшегося друзьями Пушкина, он трезво и точно определяет границы романтической эстетики, отбирая из нее все наиболее ценное и нужное. Касался ли вопрос немецкой метафизики или романтической «ужасной» школы, Пушкин также сохраняет самостоятельность своей позиции, свою точку зрения, определявшуюся задачами, стоявшими перед русской литературой, прозорливым пониманием перспектив ее дальнейшего развития.

Пушкин не был критиком-дилетантом. Его суждения обычно строго продуманы и основаны на прекрасном знании всей предшествующей истории литературы. Он неоднократно выступал не только как критик, но и как историк литературы. Таковы, например, его статьи «О поэзии классической и романтической» (1825) и «О ничтожестве литературы русской» (1834), о Вольтере и многие другие, свидетельствующие об историчности подхода Пушкина к литературным явлениям. Этим историзмом своих критических суждений, пониманием литературы как

развивающегося процесса Пушкин прежде всего отличался и от догматической схоластики рутинеров, судивших явления современной литературы по эстетическому кодексу Лагарпа и Баттё, и от метафизической эстетики романтизма.

Историзм в оценке литературных явлений был тем новым и особенно важным, что внес Пушкин в тогдашнюю критику и теорию литературы. Историзмом отличаются основные его высказывания о народности литературы, о классицизме и романтизме. Не случайно свои статьи о французской и русской литературе, о драме он начинает с исторического обзора, стремясь показать закономерность литературного процесса.

Исторический подход, понимание обусловленности литературного процесса исторической обстановкой, социальными факторами, особенно отчетливо сказался в понимании национального своеобразия литературы каждого народа: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев и поверий, и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. — Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию — которая более и менее отражается в зеркале поэзии», — писал Пушкин в заметке «О народности в литературе» (1826).

В незаконченной статье «О ничтожестве литературы русской» Пушкин рассматривает историко-литературный процесс как результат социальных и исторических изменений в жизни общества, в связи с историей русского народа. Он подробно останавливается на исторических факторах, на тех событиях, которые оказывали влияние на развитие русской словесности, начиная с древнейших времен. Пушкин подробно рассматривает всю совокупность культурно-исторических событий в жизни народа, от татарского нашествия до реформ Петра I, и их воздействие на становление русской литературы, подчеркивая, что «новая словесность» является «плодом ново-образованного общества».

С этих позиций и рассматривал Пушкин как отдельные литературные произведения, так и все развитие литературы в целом, требуя от каждого художественного произведения исторической верности и анализируя те художественные принципы, на основе которых оно создавалось. Потому-то Пушкин столь отрицательно относился к историческим романам Виньи и драмам Гюго, обвиняя их в искажении исторической действительности, и столь высоко оценивал «истинный романтизм» и реалистическую правдивость Шекспира и Вальтер Скотта.

2. Пушкин и классицизм

В борьбе за новые принципы искусства Пушкин прежде всего столкнулся с эстетикой классицизма, хотя и сходившего с исторической сцены, но продолжавшего оказывать влияние на школьную теорию. В лицейские годы Пушкин получил образование, опиравшееся на традиции классицизма, еще не поколебленные литературной полемикой романтизма. Он еще тогда усвоил «Art poétique» Буало, сохранив интерес к нему на всем протяжении своего писательского пути, «Лицей» Лагарпа, курс Баттё — все это входило в круг теоретического образования молодого Пушкина. Он с уважением относился к великим французским писателям XVII в. — Корнелю, Расину, Мольеру, Лафонтену, Буало, присоединяя к ним классика XVIII в. — Вольтера. В течение всей жизни он высоко оценивал «величавый гений» Корнеля и гар-

монию расиновских стихов. Пересматривая впоследствии принципы классической драматургии в свете романтических взглядов, он писал, что «Расин велик, несмотря на узкую форму трагедии».

Однако, сохранив на всю жизнь уважение к прогрессивным принципам эстетики классицизма, Пушкин не примирился с догматической «узостью его правил», с его сословно-аристократической ограниченностью. Уже в середине 1820-х годов он решительно пересмотрел свое отношение к классицизму с точки зрения новых требований к искусству — художественного реализма и народности. Основным пороком французской классической литературы Пушкин считает ее придворный аристократически-салонный характер. «Все великие писатели сего века окружили престол Людовика XIV. Все писатели получили свою должность. Корнель, Расин тешили короля заказными трагедиями, историограф Буало воспевал его победы и назначал ему писателей, достойных его внимания». Он порицает поэтов французского классицизма, главным образом, за уклонение от величавых образцов античной древности, за утрату гуманистической общечеловечности античного искусства под воздействием придворного аристократического общества. Именно это влияние светского салона «навело холодный лоск вежливости» на их произведения. Пушкин противопоставляет им Мильтона и Данте, поэтов «общечеловеческого», суровых, величественных и свободных.

Особенно резкой критике подвергаются принципы и «правила» драматургии французского классицизма в период работы Пушкина над «Борисом Годуновым», когда в поисках новых принципов реалистической «народной драмы» поэт обращается к изучению теоретиков романтизма и к театру Шекспира. В ряде заметок о драматургии, в проектах предисловия к «Борису Годунову», писавшихся Пушкиным на протяжении 1825—1830 гг., он полемизирует с «придворным обычаем» классической традиции, противопоставляя ей драматургию Шекспира. «Я твердо уверен, — писал Пушкин в одном из этих набросков предисловия, — что нашему театру приличны народные законы драмы шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина».

Еще резче осудил Пушкин эпигонскую поэзию конца XVIII в., превратившуюся в «мелочные пирушки остроумия», поэзию светских салонов и гостиных, слащаво-сентиментальную, манерную и бессодержательную. Ее влияние на русскую литературу он считал особенно вредным.

Не менее критически отнесся Пушкин и к русскому классицизму XVIII в., которому он ставил в вину подражание иностранной литературе, отрыв от запросов жизни, от народного языка. Именно поэтому он упрекал Ломоносова за отсутствие «чувства» и «воображения», за подражание «тогдашним немецким стихотворцам», за «утомительность» и «надутость» его од («Путешествие из Москвы в Петербург», 1833); поэтому отрицательно отозвался он о трагедиях Сумарокова, как о «вялых» и «холодных произведениях», написанных «варварским изнеженным языком» и не имевших потому «никакого влияния на народное пристрастие» («Драматическое искусство родилось на площади», 1830).

Но и в русском классицизме Пушкин видит положительные черты, находя их в творчестве тех писателей, которые смогли в условные и заимствованные формы классицизма вложить самостоятельное национальное содержание. Так, он отмечает «порывы истинного гения» в некоторых одах Державина, высоко ценит Кантемира, Фонвизина,

Богдановича, видя в их творчестве истоки русской национальной литературы. Высмеивая эпигонов русского классицизма, таких, как Ширинский-Шихматов, «бездушный, холодный, скучный пустомеля», Пушкин с большим сочувствием отмечает положительные стороны воздействия классической поэтики на творчество современных поэтов, ратуя за ясность и точность слова, за гармонию и стройность. Не говоря уже о высокой оценке поэзии Батюшкова, Дельвига и Гнедича, кое в чем связанных с наследием классицизма, Пушкин сочувственно отмечает «библейскую» простоту у Боброва, одного из членов Шишковской беседы.

Критика эстетики классицизма, ее нормативно-канонизованной системы, не считавшейся с индивидуальными устремлениями поэта и обязывавшей его восхвалять «добродетель» и «исправлять пороки», — проводилась Пушкиным не с позиций «чистого искусства», а с позиций реализма. Возражая против принципов поэтики классицизма, наиболее прочно сохранившихся в драматургии, Пушкин отвергает ее дидактизм, высказываясь за реализм и историческую правдивость искусства: «Что нужно драматическому писателю? Философия, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода. Между тем, как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе и что главное достоинство искусства есть польза». В статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...» (1836) Пушкин еще раз повторяет, что «мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собой уничтожилась».

Характеризуя стихи Вольтера, Пушкин находит в них «более слога, более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — напыщенным языком Ронсара...» (статья о Вольтере в «Современнике», 1836, т. III, стр. 158—169).

Требования смысловой точности, ясности, гармоничности стиха, самый принцип «правдоподобия», выдвигавшиеся поэтикой классицизма, были близки Пушкину, перешли в его эстетику. В своих замечаниях о поэзии он постоянно настаивал на этих принципах. Даже в период увлечения романтизмом он в одном из писем (к Л. С. Пушкину, 1824 г.) сочувственно отзывается о Расине, подчеркивая, что он «держится... стихами, полными смысла, точности и гармонии». Именно эти качества поэзии Пушкин постоянно выделяет и у современных ему поэтов (Дельвига, Баратынского, Батюшкова), применяя к ним критерий классической поэтики. В стихах Батюшкова его привлекает «Гармоническая точность», стихи Дельвига он приветствует за то, что тот «угадал греческую поэзию сквозь латинские подражания и немецкие переводы», не допустил ничего «запутанного», «темного», «лишнего», «неестественного», оградил себя от прозаического влияния остроумия, умничания, от игривой неправильности романтизма. В своих набросках статей о Баратынском Пушкин, говоря о его стихах, противопоставлял «верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность» — «преувеличению» «модной поэзии». «Гармония его стихов, — писал он о Баратынском, — свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого».

3. Пушкин и романтизм

Гораздо сложнее было отношение Пушкина к романтизму, который в 1820-х и 1830-х годах занял господствующее положение во всей литературной жизни Европы и России.

С увлечением романтизмом связан целый период в творчестве Пушкина, в особенности его южные поэмы. С романтизмом Пушкин встретился первоначально в его байроническом варианте, наиболее прогрессивном и бунтарском.

Романтизм прежде всего рассматривался Пушкиным как освобождение от догматической эстетики классицизма, от принудительных, омертвевших «правил» его поэтики. Первое полемическое выступление Пушкина в печати в 1824 г. связано было со спорами о романтизме, возникшими после выхода «Бахчисарайского фонтана» с предисловием Вяземского «Разговор между издателем и классиком». Пушкин солидаризируется с Вяземским в своем «Письме к издателю „Сына отечества"».

В своей оценке классицизма и романтизма Пушкин исходил из исторического понимания этих литературных направлений, возражая против метафизического их определения. «Наши критики, — начинает Пушкин свою статью «О поэзии классической и романтической», — не согласились еще в ясном определении различий между родами классическим и романтическим. Сбивчивым понятием о сем предмете обязаны мы французским журналистам, которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных: определение самое неточное». Относя к «классическому роду» все те стихотворения, «коих ф о р м ы известны были грекам и римлянам», а к романтической все «роды» литературы, возникшие позже, начиная с христианского средневековья, Пушкин дает здесь и общий обзор исторического развития романтической литературы (используя при этом книгу Сталь «О Германии»).

Романтизм для Пушкина в начале 1820-х годов был часто связан с именем Байрона. Мятежная поэзия Байрона, его протест против современного общественного строя воспринимались Пушкиным на фоне революционных событий в Европе. Самая личность английского поэта окружена для Пушкина ореолом певца свободы. Однако в дальнейшем, с развитием реалистических тенденций в творчестве Пушкина, его отношение к Байрону меняется. Уже в середине 1820-х годов Байрон отступает в его сознании перед всеобъемлющим гением Шекспира, кажется ему слишком односторонним. Сопоставляя Байрона с Шекспиром, Пушкин находит неестественными и однообразными героев Байрона, отрицательно относится к его субъективно-романтической манере: «Он бросил односторонний взгляд на мир и природу человеческую, потом отвратился от них и погрузился в самого себя». Шекспир, — в отличие от Байрона, постигшего «всего на всего один характер (именно свой собственный)», — показал пример реалистического изображения характеров во всей их противоречивости и психологической сложности.

Основные вопросы, которые занимают Пушкина в драматургии, — это проблема «правдоподобия», т. е. р е а л и з м а в переводе на современный язык, и н а р о д н о с т и, создания народной драмы. Этим объясняется и то центральное место, которое занимает в высказываниях Пушкина Шекспир. В «правдоподобии» Пушкин видит путь к демократизации литературы и осуществление принципов «верности изображе-

ния». Существенно, что не современная романтическая драматургия, не Шиллер или Байрон привлекали к себе Пушкина, а Шекспир, у которого Пушкин видит прежде всего «достоинство большой народности».

Вопросы драматургии, даже вопросы драматургической техники рассматриваются Пушкиным под углом зрения тех требований реализма, подлинного «правдоподобия», которые предъявляет он к драме. Возражая против искусственного, условного «правдоподобия» классической трагедии, во имя которого требовалось соблюдение трех единств, Пушкин ставит основной вопрос: «какого же правдоподобия требовать должны мы от драматического писателя?». Ни «правдоподобия» классических единств, ни «строгого соблюдения костюма, красок времени и места». «Истинные гении трагедии (Шекспир, Корнель) никогда не заботились о правдоподобии», — заявляет Пушкин, противопоставляя условному «правдоподобию» подлинную реалистическую правдивость драматического искусства: «Правдоподобие положений и правда диалога — вот настоящие законы трагедии (Шекспир охватил страсти, Гёте — нравы)». У Шекспира «каждый человек любит, ненавидит, печалится, радуется, но каждый на свой образец», — подчеркивает Пушкин. «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков, обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры». «Шекспиризм» Пушкина является одним из значительнейших этапов борьбы мировой литературы за новый реалистический показ человеческой личности.

Пушкин не ограничивался требованием изображения индивидуального человека, индивидуальной психологии, ставя вопрос о социальной базе, об исторической обусловленности характеров и нравов, беря человека в его взаимодействии с обществом. «Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая и судьба народная», — говорит Пушкин. Поэтому драматическому писателю нужно не только уметь изображать характеры, но нужен и широкий социальный кругозор, нужны «государственные мысли». «Что нужно драматическому писателю?» — спрашивает Пушкин и отвечает: «Философия, бесстрастие, государственные мысли историка».

Восставая против измельчания классической трагедии, против ее аристократизма, требуя от писателя жизненной правдивости и «государственных мыслей», Пушкин выдвигает требование народности искусства. Указывая, что «драматическое искусство родилось на площади — для народного увеселения», он считает главной причиной оскудения драматического искусства его отрыв от народа, его «придворность». «Драма оставила площадь и перенеслась в чертоги по требованию образованного, избранного общества. Поэты переселились ко двору», вместе с тем, «в чертогах драма изменилась, голос ее понизился». А поэт уже «не предавался вольно и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боялся унизить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей — отсюда рабская чопорность, смешная надутость... привычка смотреть на людей высшего состояния с каким-то подобострастием и придавать им странный нечеловеческий образ изъяснения». Возрождение драмы возможно лишь на основе народности. Под «народностью» Пушкин понимает прежде всего демократизацию театра, приближение его к народу, возвращение драматургии к тем принципам истинно народного искусства, которыми питалось творчество Шекспира, Кальдерона, Лопе-де-Вега.

«Драма должна стать народной», должна «перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади», «отстать от подобострастия» и «правил», «выучиться наречию», понятному народу; писатель должен знать, «какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца», где его драма «найдет себе созвучие».

Условному «правдоподобию» классической драматургии, и вообще классического искусства Пушкин противопоставлял требование «истины страстей», подлинного «правдоподобия чувствований в предполагаемых обстоятельствах», т. е. требование правдивости искусства, его реалистической сути. В то же время этот критерий правдивости искусства был глубоко враждебен натуралистическому наивному эмпиризму, бытописанию, которое выдвигалось, например, Булгариным.

По мысли Пушкина, искусство должно быть свободным от внешних посягательств, от предписанных ему извне задач.

Выступления Пушкина против дидактизма в искусстве с защитой его самостоятельности были направлены не только против поэтики классицизма, но и против того навязывания литературе благонамеренных, моральных целей, которое было характерно для Булгарина и других идеологов реакционно-охранительного лагеря. Поэтому защита Пушкиным свободы искусства была прогрессивна.

Эта концепция свободы творчества и независимости поэта сближала Пушкина с кругом московских «любомудров» и их органом «Московским вестником». Пушкин вначале сочувствовал «Московскому вестнику» в его принципиальной установке на литературную независимость, считая, что «пора уму и знаниям вытеснить Булгарина и Федорова». Однако вскоре выяснилось, что идеалистическое направление «Московского вестника», его шеллингианская философия, его отрешенность от жизненных запросов Пушкину были далеки. Кроме того, «Московский вестник» в силу отвлеченно-философских своих установок оказался не в силах бороться с «торговым направлением». Этим объясняется то разочарование в «Московском вестнике», которое вскоре наступило у Пушкина. Уже в своих заметках по поводу статьи Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии» Пушкин возражал против смешения «вдохновения» с «восторгом», возражал против отвлеченно-идеалистического понимания сущности поэзии как некоего иррационального процесса. Мистическая сторона идеалистической эстетики была глубоко чужда его ясному, реалистическому по своей сути, пониманию искусства. Недаром в одном из писем (Дельвигу, 1827 г.) он говорит о своей ненависти и презрении к «немецкой метафизике» «Московского вестника».

Не разделяя основных положений, современной ему идеалистической философии, Пушкин, однако, отмечал ее стремление к единому и синтезирующему объяснению явлений истории в противоположности эмпиризму XVIII в. «Мы не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века, — писал Пушкин в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...», — но должны признаться, что науки сделали шаг вперед. Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству». Тут же Пушкин говорит о «германской философии», нашедшей у нас «особенно в Москве» «много молодых, пылких, добросовестных последователей», подразумевая под ними «любомудров», группировавшихся вокруг «Московского вестника», — и «хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно»,

«Вольное и широкое изображение характеров», которое Пушкин находит у Шекспира, историческая правда, все это в его понимании и является содержанием «истинного романтизма», который на язык нашей эпохи можно перевести как требование реализма. Именно с этой точки зрения, исходя из этого реалистического понимания сущности искусства объясняется та отрицательная оценка, которую дает Пушкин современному немецкому и французскому романтизму.

Манерной искусственности романтических писателей, их стремлению к внешней эффектности, натуралистическим тенденциям Пушкин противопоставлял реализм.

Он отказывается видеть во французских романистах, творцах «словесности отчаяния» знатоков «природы человеческой», обвиняя новую французскую романтическую литературу в любовании «нравственным безобразием», в поверхностном взгляде на натуру человека, в одностороннем изображении пороков и ужасов, в романтическом преувеличении и отступлении от реалистической правды искусства и от его облагораживающей воспитательной и идейной роли. В статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности. . .» Пушкин дает отрицательный анализ произведений писателей «романтически-ужасной» школы. Он осуждает также «близорукую мелочность» в описаниях «нынешних французских романистов», в том числе и раннего Бальзака.

Однако Пушкин вовсе не огульно осуждал новую французскую школу романистов. В своих письмах он хвалит роман Жюль Жанена «Мертвый осел и обезглавленная женщина», называя его «одним из замечательнейших произведений настоящего времени», и роман Гюго «Собор Парижской Богоматери». К середине 1830-х годов Пушкин окончательно меняет свое мнение о Гюго, признает его и Сент Бёва «единственными французскими поэтами нашего времени».

Среди современных ему французских прозаиков Пушкин особенно выделял Бенжамена Констана (роман «Адольф», 1816), являвшегося одним из родоначальников реалистического и психологического романа XIX в., предшественником Стендаля и Бальзака. Выход этого романа в 1831 г. в русском переводе Вяземского Пушкин встретил чрезвычайно сочувственной рецензией в «Литературной газете», где указывал, что «„Адольф" принадлежит к числу двух или трех романов,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданной безмерно.
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Бенжамен Констан первый вывел на сцену свой характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона».

Не менее сочувственно отнесся Пушкин и к роману Стендаля «Красное и черное». «Я от него в восторге», — сообщал он в одном из своих писем. Очень одобрительно отзывался Пушкин и о Мериме, видя в нем «острого и оригинального писателя», автора произведений «чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы» (Предисловие к «Песням западных славян»).

Это сочувственное отношение к Стендалю и Мериме имеет принципиальное значение, если учесть, что в своем творчестве Стендаль и Мериме во многом преодолели романтическую эстетику и шли путем реалистического искусства.

4. Проблема народности в эстетической теории Пушкина

В романтизме Пушкин прежде всего видел освобождение литературы от сословной ограниченности, восприняв от него идею народности искусства. Обновления поэзии он ожидал в «кипящих источниках новой, народной поэзии», подчеркивая свою независимость от литературного «сектанства», от узких рамок школьных доктрин.

Через всю журнальную и критическую деятельность Пушкина проходит борьба за создание национальной, народной литературы. Еще в начале 1820-х годов, говоря в заметке о французской словесности о влиянии французской литературы на русскую, Пушкин писал: «Не решу, какой словесности отдать предпочтение», «но, — добавляет он, — есть у нас свой язык; смелее! — Обычаи, история, песни, сказки...».

В своем требовании создания русской национальной литературы Пушкин, конечно, ничего общего не имел с националистической ограниченностью «славянороссов» из лагеря «Беседы». Требование самобытной и народной литературы, выдвигавшееся Пушкиным, являлось выражением той зрелости, которой достигла русская культура, и было связано с учением о литературе как выражении народного, национального духа.

Пушкин с поразительной прозорливостью и теоретической ясностью отвергает наивные и упрощенные определения народности, которые давались в современной ему критике. Он отрицает понимание народности, сводящееся к выбору художником тем и предметов из «отечественной истории», или к употреблению «народных» слов, «просторечия». «Достоинства подлинной народности» он видит в творчестве писателей, наиболее полно передавших «дух народа», «особую физиономию» своего народа на определенном историческом этапе его жизни. Именно поэтому Пушкин находит достоинства «великой народности» как у Шекспира, так и у Расина, бравшего «все предметы для своих трагедий из римской, греческой и европейской истории», и отказывается признать их у Озерова, «вообразившего», что для создания народной трагедии достаточно выбрать предмет из отечественной истории.

«Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу, — пишет он, — климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию — которая более или менее отражается в зеркале поэзии» (1826). Пушкин считает, что народное искусство, и в частности народная драма, должны «выучиться наречию», «понятному народу», должны знать, «какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца». Вот эта правдивость выражения писателем духовной жизни своего народа и составляет подлинную народность литературы.

Пушкин выдвигает на первое место в оценке русской литературы Крылова, видя в его творчестве «достоинства подлинной народности». Уже в статье о «Предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова» он называет Крылова представителем духа русского народа. Крылов для Пушкина «самый народный наш поэт, превзошедший всех баснописцев», пишущий «русским слогом»; его басни он противопоставляет салонным басням карамзиниста Дмитриева.

Вопрос о народности литературы у Пушкина тесно связан с его интересом к фольклору. Фольклорные источники занимали большое место в творчестве Пушкина. Он выступал как один из первых и выдающихся фольклористов. Пушкин проявляет большой интерес к народному творчеству и начинает заниматься собиранием фольклорных материалов еще

с 1820-х годов. Во время пребывания на юге он интересуется «разбойничьими» песнями; в Михайловском записывает песни от местных крестьян. Он призывает писателей к изучению фольклора: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, — чтобы видеть свойства русского языка».

В конце 1820-х годов Пушкин решает приступить непосредственно к научной работе по фольклору и задумывает план издания народных песен, а также статьи о них; однако этот замысел так и не осуществился. Фольклор привлекал Пушкина не своей археологической стариной (что, например, характерно для восприятия Жуковского или Киреевского), но своей действенной стороной, своей живой связью с народом и с современностью.

Огромный принципиальный смысл имеют заметки Пушкина о «Слове о полку Игореве», которое он тесно связывал с народной поэзией и считал наиболее замечательным историческим памятником русского народа: «Несколько сказок и песен, беспрестанно пополняемых изустным преданием, сохранили драгоценные полуизглаженные черты народности, и „Слово о полку Игореве“ возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности».

Фольклор являлся для Пушкина самовыражением народа, «формой национального самосознания». Противопоставляя романтическую поэзию классической, Пушкин видит силу первой в том, что она опиралась на народное творчество, на народные предания. Систему воззрений Пушкина на фольклор следует характеризовать как реалистическую концепцию фольклора, чуждую того понимания народной поэзии, которое устанавливали немецкие романтики, идеализируя старину и средневековье, приписывая ему мистические и религиозные тенденции. Для Пушкина фольклор — богатейший источник, из которого должны черпать писатели свои сюжеты и художественные принципы и в особенности свое языковое богатство.

5. Пушкин о русской литературе

Пушкин-критик отличался исключительной зоркостью и проницательностью суждений. Он сразу же улавливал проявления всего нового, талантливого, жизненного в современной литературе.

В своих критических оценках русской литературы Пушкин исходил из тех же основных положений реалистической правдивости и народности искусства, что и в своих теоретических высказываниях. От трагедии он требовал «правдоподобия положений», истины и психологической правдивости характеров, от исторического романа — точного и правдивого изображения эпохи, достоинство стихов видел в верности чувства, точности выражения. На первое место в современной ему русской литературе Пушкин поставил таких писателей, как Крылов, Грибоедов и Гоголь. Его сочувственную оценку заслуживают те произведения современных писателей, в которых он видел проявления правдивости и естественности, которые противостояли фальшиво-риторической и наивно-бытописательской литературе 1820—1830-х годов.

Высоко оценил Пушкин «Горе от ума» Грибоедова, находя в нем черты «истинно комического гения» в изображении характеров и «резкую картину нравов». Однако он неполностью соглашается с трактовкой образа Чацкого и с основным идейным замыслом пьесы. Пушкин считает, что Чацкий — «пылкий, благородный и добрый малый» напитавшийся «мыслями, остротами и сатирическими замечаниями» самого Грибое-

дова; все, что он говорит, очень умно, но непростительно, что говорит он это на бале московским бабушкам.

С точки зрения подлинного историзма в изображении эпохи и реалистического метода рассматривал Пушкин нашумевший роман Загоскина «Юрий Милославский». В начале своей рецензии, помещенной в «Литературной газете» 1830 г., Пушкин высказывает общую оценку исторического романа, возражая против произвола авторов, против того антиисторизма и фальши, которые возникли в результате перенесения в историческое прошлое идей и характеров, современных автору: «В век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений. Под беретом, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером; сквозь кружевную фрезу a la Henri IV проглядывает накрахмаленный галстух нынешнего dandy. Готические героини воспитаны у Madame Campan, а государственные люди XVI-го столетия читают Times и Journal des débats. Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! Сколько изысканности! А сверх всего, как мало жизни!». Как положительные стороны романа Загоскина, Пушкин выделяет «живость» сцен «старинной русской жизни», то, что «романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую, происшествия исторического», но в то же время он с сожалением отмечает, что «неоспоримое дарование г. Загоскина заметно изменяет ему, когда он приближается к лицам историческим».

Требование исторической правдивости, реализма в изображении истории Пушкин высказывает и в своей заметке 1827 г. о романах Вальтер Скотта, указывая, что в исторических романах нас очаровывает «то, что историческое в них есть подлинно то, что мы видим» (подлинник по-французски).

Пушкин сразу же отметил яркий, реалистический талант Гоголя. При выходе первого издания его «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в 1831 г. он поместил в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» «Письмо к издателю», в котором поздравлял публику с «истинно веселою книгою», призывая редактора «Инвалида» выступить на защиту Гоголя, «если журналисты по своему обыкновению нападут на н е п р и л и ч и е его выражений, на дурной тон и проч.». Через несколько лет при выходе второго издания «Вечеров» Пушкин вновь выступил с рецензией в «Современнике», повторив свою прежнюю восторженную оценку и подчеркнув родственность гоголевского реализма реализму Фонвизина. Вместе с тем Пушкин, уже знакомый к этому времени и с другими произведениями Гоголя («Арабесками» и «Миргородом»), указывает, что Гоголь «непрестанно развивался и совершенствовался». Называя «Невский проспект» «самым полным» из произведений Гоголя, Пушкин выделяет «Старосветских помещиков» — «шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет нас смеяться сквозь слезы грусти и умиления» и «Тараса Бульбу», начало которого он находит достойным Вальтер Скотта.

Этой высокой оценкой ранних произведений Гоголя Пушкин не только оказал ему поддержку, но и ясно наметил линию развития русской прозы по пути реалистического изображения действительности. Не случайно эти краткие пушкинские оценки оказались столь близкими Белинскому, выступавшему с защитой реализма в литературе, опираясь на прозу Гоголя. Подлинное ощущение жизни, искренность и правдивость чувства, юмор Гоголя — противопоставлялись Пушкиным не только «жеманству» и неестественности романтической «ужасной» школы, но и той псевдо-реалистической нравоописательной литературе, которую

в России прежде всего представлял Булгарин. Он высмеивает казенную благонамеренность, безжизненность и бесцветность «нравоописательных» романов Булгарина, его стремление к дешевому эффекту, рассчитанному на мало культурного читателя.

В противовес рыночным, поучительно-безжизненным романам Булгарина Пушкин, помимо прозы Гоголя, выдвигал творчество ряда молодых писателей (А. Погорельский, А. Вельтман, Н. Дурова и др.), с большим сочувствием отзываясь о всех сколько-нибудь свежих и удачных произведениях, в которых улавливается правдивое изображение действительности, искренность чувства, художественное своеобразие.

Сочувственно относясь к молодым русским романтикам передового лагеря, Пушкин выделяет в их творчестве реалистические черты. Он хвалит повесть А. Погорельского «Лафертовская маковница» за наличие в ней бытовых реалистических подробностей и характеров, восторгается «Квартетом Бетховена» В. Одоевского, «выражающим мысли нашего века», хвалит его реалистические повести «Княжну Мими» и «Княжну Зизи». Но в то же время он отрицательно отнесся к повести Одоевского «Сильфида», с ее темой двоемирия. С большой похвалой отозвался Пушкин о «Трех повестях» Н. Ф. Павлова, вышедших в 1836 г. и вызвавших большой шум своим протестом против крепостного права и николаевской военщины. Павлов в своих повестях, особенно в лучшей из них «Именины», отдавая дань романтизму, уже вступил на путь реалистического изображения действительности. «Трем повестям» Павлова Пушкин посвятил большую рецензию (готовившуюся для «Современника», но ненапечатанную, вероятно, по цензурным соображениям), в которой отдавал должное достоинствам и талантливости повестей: «Они рассказаны с большим искусством, слогом, к которому не приучили нас наши записные романисты». Впрочем, он требовал от автора «Именин» (повести о крепостном музыканте, ставшем после ряда унижений и бедствий офицером) «кисти более сильной и более глубины в знании человеческого сердца», указывая, что, может быть, «то же самое происшествие представляло в разительной простоте своей сильнейшие краски и положения более драматические». Эту «разительную простоту» Пушкин противопоставлял элементам «манерности» в слоге и «близорукой мелочности нынешних французских романистов в описаниях».

В своих высказываниях о стихах Пушкин боролся за поэзию глубокой мысли и подлинной правдивости чувства.

Уже в 1822 г. он формулирует те требования «точности», «краткости» и «мыслей», которые прежде всего были представлены произведениями самого Пушкина: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат; стихи дело другое (впрочем в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности — литература наша далеко вперед не подвинется)».

Высокие требования, которые предъявлял Пушкин к поэзии, сказались и в его ироническом отношении к критике, с легкостью провозглашавшей современных поэтов «гениями». Из современных лириков Пушкин особенно выделял двух — Баратынского и Дельвига, видя в их стихах наиболее высокое совершенство. «Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах», — писал он о Баратынском в своих «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» («Северные цветы», 1828). Сохранились фрагменты его статей о Баратынском, которому Пушкин отдает предпочтение перед остальными рус-

скими поэтами. В связи с выходом книги стихотворений Баратынского Пушкин писал о нем, как об одном из «первоклассных наших поэтов», «еще недовольно оцененном своими соотечественниками». Баратынский «оригинален», по словам Пушкина, потому что «он мыслит».

Высокую оценку дал Пушкин и элегиям Дельвига: «Идиллии Дельвига удивительны. Какую должно иметь силу воображения, дабы из России так переселиться в Грецию, из XIX столетия в золотой век — и необыкновенное чутье изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы — эту роскошь, эту негу, эту прелесть более отрицательную, чем положительную, не допускающую ничего запутанного — темного или глубокого, лишнего, неестественного в описаниях, напряженного в чувствах, ничего, что отзывалось бы новейшим остроумием, сию вечную новизну и нечаянность простоты и добродушия, дабы так совершенно оградить себя от прозаического влияния остроумия, умничания, от игривой неправильности романтизма, дабы сохранить полноту и равновесие чувств, тонкость соображений».

И в стихах Баратынского, и в стихах Дельвига он прежде всего приветствует ту ясность мысли и «точность выражений», которую считал основным достоинством стиха, отрицательно относясь ко всему «запутанному», «темному», «неестественному» в «описаниях» и «напряженному» в чувствах, к «игривой неправильности романтизма».

Отрицательное отношение Пушкина к «мечтательности» «германского идеологизма», в котором он отказывался признать подлинную сущность романтизма, сказалось и в его оценках «немецкого направления» в русской поэзии. Сентиментальная мистика Жуковского и натурфилософское шеллингианство «любомудров» не встречали с его стороны сочувствия. В противовес сентиментализму Жуковского Пушкин выдвигал баллады Катенина, который первый не побоялся ввести «в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные», противопоставляя простоту и даже грубоватость выражений у Катенина — элегически чувствительному языку Жуковского («О сочинениях П. А. Катенина», 1833).

Большой интерес представляет отношение Пушкина к литературному языку, отличающееся исключительной ясностью и прозорливостью его лингвистических суждений. Пушкин чрезвычайно высоко ценил русский язык, считая, что «как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими». Это превосходство Пушкин видит в неисчерпаемом богатстве русского литературного языка, который должен, по его мнению, основываться на сближении «простонародного наречия» и «книжного», разделившихся в историческом прошлом.

Этим сближением книжного языка и народной речи не только устранялись те перегородки и условные деления на высокий и низкий стих, которые были утверждены классицизмом, но и давалась возможность создать новый литературный язык, включающий все разнообразие и богатство как разговорной живой речи, так и «древне-славянского», книжного языка. В отличие от классиков с их обособлением стилевых категорий языка, закрепленных за определенными жанрами, и от карамзинистов, замыкавших язык в искусственный жаргон дворянского салона и литературного «изящества», Пушкин ставил своей задачей создание общенародного литературного языка, одинаково близкого читателям разных социальных слоев. Поэтому он в своих критических высказываниях всегда разоблачает искусственность и манерность языка, советуя учиться языку у «московских просвирен»: «В зрелой словесности приходит

время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному... — Так некогда во Франции светские люди восхищались музою Ваде, так ныне Wordsworth, Coleridge увлекли за собой мнение многих. — Но Ваде не имел ни воображения, ни поэтического чувства, его остроумные произведения дышат одною веселостью, выраженной площадным языком торговок и носильщиков. — Произведения английских поэтов, напротив, исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина. — У нас это время, слава богу, еще не приспело, так называемый язык богов так еще для нас нов, что мы называем поэтом всякого, кто может написать десяток ямбических стихов с рифмами. Прелесть нагой простоты (так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями), поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем».

В своих критических высказываниях Пушкин постоянно ссылается на народный язык, на «простонародное наше наречие», столь чистое и приятное, как на критерий языковой чистоты и правильности (например в своем ответе на критику «Руслана и Людмилы», в ответе «Атенею» на критику «Евгения Онегина»).

Особенно важной задачей Пушкин считал создание общелитературного языка, языка деловой и художественной прозы. Точность передачи мысли, смысловая ясность и конкретность являются для Пушкина основными достоинствами языка.

6. Полемика Пушкина

Уже с 1823 г. Пушкин стремился к организации своего журнала, который давал бы ему возможность вести самостоятельную линию в литературе. С самого начала журнал представляется ему средством полемики: «Должно бы издавать у нас журнал „Revue des Bévues"»,[1] — писал Пушкин брату в начале января 1823 г. из Кишинева. Ни сотрудничество в «Литературной газете» в 1830 г., ни случайное помещение полемических и критических статей и заметок в других журналах не могло удовлетворить Пушкина, не могло дать ему возможностей реализовать свои журнальные планы.

Пушкин высоко расценивал значение газеты и журнала, их роль в формировании общественного мнения, их огромное идейно-воспитательное значение. В заметке о русских журналах он подчеркивает политическое значение журнала: «Журнал в смысле принятом в Европе есть отголосок целой партии, периодические памфлеты, издаваемые людьми, известными сведениями и талантами, имеющие свое политическое направление — свое влияние на порядок вещей. Сословие журналистов есть рассадник людей государственных... Посмотрите, кто во Франции, кто в Англии издает сии противуборствующие журналы? Здесь Шатобриан, Мартиньяк, Перонет, там Кеннинг, Гиффорд, Джефри, Питт. Чтож тут общего с нашими журналами и журналистами? Шлюсь на собственную совесть наших литераторов — спрашиваю по какому праву „Северная пчела" будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь „Северный Меркурий?"»

---

[1] «Обозрение ошибок, промахов».

Это противопоставление рептильной «Северной пчелы» Булгарина и бесцветного и бездарного «Северного Меркурия» Бестужева-Рюмина европейским журналам, оказывающим «свое влияние на порядок вещей», лучше всего свидетельствует о тех больших принципиальных требованиях, которые Пушкин предъявлял к газете и журналу. Именно поэтому Пушкин уделял большое внимание самым методам и приемам полемики, неоднократно высказываясь об этом в своих заметках и письмах. Он не только следит за полемическими боями, нередко выступая в качестве их активного участника, но и вырабатывает целую тактику полемики. Не случайно поэтому и выступление Пушкина против «вежливости в полемике», в которой упрекал он «Литературную газету».

Отстаивая «грубость» и разоблачающую направленность полемики, Пушкин стоит за «умную» полемику, требуя от критика и полемиста, чтобы он «оживлял», «мыслил», «сердил» и «заставлял мыслить и смеяться».

Центральное место в полемике Пушкина занимают его статьи, направленные против Булгарина — главного политического и литературного противника. Не следует думать, что перед Пушкиным был слабый или плохо вооруженный враг. Булгарин был опасным и сильным противником. За ним стояла его «Пчела», единственная политическая газета того времени, выражавшая официальное мнение и, что еще важнее — за его спиной было III отделение, с руководителями которого (Бенкендорфом и Фон-Фоком) он находился в тесной связи.

До 1830 г. Пушкин поддерживает с Булгариным более или менее миролюбивые отношения. Конфликт и жестокая полемика последовали с самого начала организации «Литературной газеты», в которой Булгарин увидел конкурента его «Северной пчеле». Однако суть яростной полемики о «литературной аристократии», не исчерпывалась этим. Борьба Булгарина с Пушкиным объяснялась непримиримостью их идейных, политических, литературных позиций.

Отстаивая прогрессивные идеи, Пушкин признавал одним из носителей народного начала передовое, просвещенное дворянство; Булгарин, выступая в качестве рупора правительственно-бюрократических кругов, демагогически обвинял его за это в «аристократизме». Борьбе Пушкина за высококачественную, идейную и реалистическую литературу Булгарин противопоставлял ориентацию на «рынок», на быстрый успех, на недолговременную популярность, не только не ведя за собой читателя, но наоборот потакая и угождая его отсталым вкусам. Полемика Пушкина с Булгариным велась в основном на страницах «Литературной газеты», но наиболее яркими и блестящими страницами этой полемики являются статьи Пушкина, помещенные в 1831 г. под псевдонимом «Феофилакта Косичкина» в «Телескопе»: «Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем».

При всех гонениях на журналистику правительство Николая I не смогло окончательно изгнать полемику со страниц журналов. И за спорами о романтизме, за протестами против монопольного положения Булгарина — отчетливо слышался голос насильственно заглушаемой общественной борьбы. Поэтому и полемические статьи Пушкина против Булгарина имели гораздо большее общественное звучание и более широкий смысл, чем может показаться на первый взгляд по сравнительно узкому кругу тем, затронутых в них.

Блестящие язвительные статьи Пушкина являются в своем роде образцом полемического жанра. Пушкин с исключительной находчи-

востью пользуется писаниями Булгарина и Греча для их же разоблачения. Ирония — основное оружие Пушкина, и он владеет им с поразительным мастерством. Умная и расчетливая пушкинская фраза, лукавое использование неудачных формулировок противника, уничтожающее сопоставление фактов — все это делает Пушкина-полемиста беспощадным и неотразимым противником.

Основным принципом полемических статей Пушкина являлось разоблачение противника, его дискредитация. Этот принцип в полемике против такого продажного и рептильного журналиста, как Булгарин, приобретал большую политическую остроту. Свести Булгарина с пьедестала благонамеренности, благородства и литературной квалифицированности — значило уничтожить его как авторитет, подорвать доверие ко всему им высказанному. И Пушкин безжалостно разоблачает продажность и корыстность Булгарина, его двурушничество, его литературную посредственность, его житейскую нечистоплотность. Для этого Пушкиным мобилизовано все — от фактов общественной и политической биографии Булгарина до самых закулисных сторон его интимной жизни.

Прежде всего Пушкин разоблачает истинные мотивы защиты Гречем Булгарина, меркантильную основу их «дружбы», их взаимное самовосхваление. «Посреди полемики, раздирающей бедную нашу словесность,— так начинает свою статью Пушкин, — Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин более десяти лет подают утешительный пример согласия, основанного на взаимном уважении, сходстве душ и занятий гражданских и литературных». Очень вероятно, что под «сходством» «занятий гражданских» Пушкин подразумевал службу в III отделении.

Системой намеков, вернее, «обиняков», как их называл сам Пушкин, он пользовался в совершенстве. В условиях довольно узкого читательского круга эти «обиняки» очень легко расшифровывались и объяснялись. В то же время этот эзопов язык давал прикрытие от цензуры, благодаря чему только и смогли появиться статьи Пушкина о Булгарине.

Примером пародийно-полемического стиля Пушкина может служить его пародийное оглавление якобы готовящегося к изданию романа «Настоящий Выжигин». Помещение этого оглавления было равносильно предупреждению о дальнейших, еще более откровенных, разоблачениях. Здесь дан ряд намеков на двойное ренегатство Булгарина — его переход на сторону французов («Ubi bene, ibi patria», [1] «Московский пожар, Выжигин грабит Москву», «Выжигин перебегает») и на его донос в III отделение после событий 14 декабря на своего племянника Искрицкого («Бедный племянничек! Ай, да дядюшка!»), на семейную жизнь Булгарина («Семейные неприятности»), на доносы его на писателей («Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы») и т. д.

Не менее резко и решительно нападал Пушкин и на своих противников из реакционного лагеря литературных староверов — в первую очередь Каченовского, редактора «Вестника Европы». Пушкин вмешался в полемику «Вестника Европы» с «Московским телеграфом» Полевого. Поводом к этой полемике послужила жалоба Каченовского на московского цензора С. Глинку за разрешение статьи Полевого с резкими выпадами против него. Пушкин, увидевший в апелляции Каченовского к властям недопустимое нарушение элементарных прав на полемику, высмеял сначала Каченовского в известной своей эпиграмме «Журналами обиженный жестоко», а затем поместил в «Северных цветах на 1830 год» полемическую статью «Отрывок из литературных летописей».

[1] «Где хорошо, там родина».

В ней он жестоко осмеял Каченовского, нападая на его невежество и неблаговидность его доноса по цензурному ведомству. И в этой статье одним из основных приемов полемики является пародирование. Архаистически-напыщенный, псевдо-ученый стиль Каченовского давал для пародирования особенно благодарный материал. Образцом для своей пародии Пушкин избрал объявление Каченовского о подписке на «Вестник Европы», растянувшееся на несколько номеров журнала (1828). Это «объявление», написанное особенно высокоторжественным и вместе с тем косноязычным слогом, — неоднократно цитируется и перефразируется в статье Пушкина: «Светильник исторической его критики озарит вышеупомянутые тундры области бытописаний, а законы словесности, умолкшие при звуках журнальной полемики, заговорят устами ученого редактора». Столь же издевательски звучит и перечень «глубокомысленных исследований» Каченовского «о заглавном листе „Истории государства Российского"» (намек на статьи Каченовского по поводу французских переводов «Предисловия» Карамзина) или «рассуждения о куньих мордках» (намек на другую статью Каченовского «О бельих лобках и куньих мордках»).

Не ограничиваясь в своей полемике традиционными формами критических статей, Пушкин пользуется во многих случаях самыми разнообразными полемическими жанрами: «китайским анекдотом», фельетоном, диалогом, короткой заметкой и пародией («Альманашник», «Разговор», «Отрывки из писем, мысли и замечания» и т. д.) Особенно удачна пародийная «Детская книжка», в которой Пушкин дал блестящие «портреты» Полевого, Свиньина и Надеждина («Ветреный мальчик», «Маленький лжец», «Ванюша, сын приходского дьячка»).

ЧАСТЬ IV

Сороковые годы

ГЛАВА XIX

Журналистика и критика сороковых годов (1840—1855)

1. Общественно-литературное движение 1840-х годов

Режим жестокой общественно-политической реакции, установившийся в России после разгрома декабристов, не мог уничтожить тех социально-экономических противоречий, которые вызвали движение «дворянских революционеров». Характерной чертой исторической жизни России 1830—1840-х годов является усиливающийся распад крепостного строя под энергичным напором капиталистических отношений. Растет торговля внутренняя и внешняя, растут промышленные предприятия и кадры вольнонаемных тружеников, в дворянские усадьбы проникают методы капиталистического предпринимательства. Вместе с тем, из года в год нарастает недовольство и возмущение широких народных масс. Все чаще и сильнее вспыхивают восстания крепостных крестьян. «Мысль о свободе крестьян тлеет между ними беспрерывно. Эти темные идеи все более развиваются и сулят вечно нехорошее», — писало третье отделение в отчете за 1841 год.

В 1840-е годы правительству Николая I приходится иметь дело и с вновь поднимающейся волной революционного и оппозиционного движения в среде интеллигенции. Несмотря на то, что царизм беспощадно расправлялся со всяким проявлением прогрессивной мысли, освободительное движение против самодержавия и крепостничества усиливается. Достаточно напомнить о деятельности Белинского и Герцена, о петрашевцах, о Шевченко и Кирилло-Мефодиевском братстве и молодом Чернышевском. В основе нового подъема революционных и оппозиционных настроений лежит кризис крепостничества, развитие капиталистических отношений и, особенно, рост возмущения и недовольства народных масс. «Или, может быть, по мнению наших умных и образованных авторов, — иронически спрашивает Ленин, имея в виду участников сборника «Вехи», — настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян?» (В. И. Ленин, Сочинения, 3-е изд., т. XIV, стр. 219).

Революционное выступление декабристов не прошло бесследно. Декабристы, по выражению Ленина, «разбудили Герцена», разбудили к новой жизни молодое поколение. 40-е годы и были периодом перехода от первого — дворянского этапа русского освободительного движения ко второму этапу — разночинному, буржуазно-демократическому. Дворянский революционер Герцен стал социалистом и революционером-демократом. «Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении» (В. И. Ленин, Сочинения, 3-е изд., т. XVII, стр. 341) был Белинский. Заметно изменился массовый состав участников освободительного движения. Среди петрашевцев, членов Кирилло-Мефодиевского братства, в кружках 1840-х годов рядом с интеллигенцией из дворян выступает интеллигенция разночинная. «Проповедь коммунисма, социалисма, пантеисма» пользуется особым успехом среди «огромного, ежедневно умножающегося класса людей —

кантонистов, семинаристов, детей бедных чиновников и проч. и проч., которым нечего терять и в перевороте есть надежда все получить», — доносил Булгарин.

Главные идейные бои сороковых годов происходили между защитниками интересов крепостного крестьянства Белинским, Герценом и их последователями, с одной стороны, и защитниками интересов дворянства и буржуазии, славянофилами и либеральными западниками, — с другой.

В основе мировоззрения Белинского и Герцена лежала диалектика, понятая как «алгебра революции», и материализм, преодолевший ограниченность фейербаховского антропологизма. Многие статьи и письма Белинского и работы Герцена «Дилетантизм в науке» (1842—1843) и «Письма об изучении природы» (1844—1846) представляют собой замечательнейшие произведения философской мысли. «Первое из „Писем об изучении природы", — „Эмпирия и идеализм", — написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов», — утверждал В. И. Ленин (Сочинения, 3-е изд., т. XV, стр. 464).

Диалектику и материализм Белинский и Герцен пытались применить и к общественной жизни. «Социализм нам казался самым естественным силлогизмом философии, применением логики к государству», — писал Герцен. И, хотя Белинскому и Герцену не удалось до конца преодолеть идеализма в понимании исторических явлений, все же они пришли к воззрениям более глубоким и правильным, чем современные им историки и социалисты Запада. Диалектика дала им возможность увидеть антагонистический и преходящий характер и крепостного и капиталистического строя. Еще в то время, когда капитализм в России только зарождался, они поняли не только его прогрессивность, но и обреченность. Диалектика помогла им обосновать необходимость революционного преобразования общества и возможность нового строя, основанного на отсутствии эксплоатации и политическом равенстве. Социализм соединялся в их воззрениях с идеями революционной демократии. Знаменитое письмо Белинского к Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847), с потрясающей силой разоблачавшее крепостничество, самодержавие, поповщину и мракобесие, было, по словам В. И. Ленина «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати» (Сочинения, 3-е изд., т. XVII, стр. 341).

Белинский и Герцен шли к научному социализму. Их мысль, по словам Г. В. Плеханова, «работала в том же самом направлении», в каком работала тогда мысль Маркса и Энгельса. Из мыслителей домарксовской эпохи они и Чернышевский ближе всех подошли к марксизму, но отсталость крепостной России помешала им овладеть научным диалектическим методом и правильно понять законы общественного развития.

Тем не менее, заслуги Белинского и Герцена в истории развития общественной и философской мысли исключительно велики. Своими выступлениями против религии и идеализма, обскурантизма и политической реакции и пропагандой материализма и диалектики, социализма и демократии они произвели настоящую идейную революцию в сознании русского общества. Их идеи отвечали на задачи, поставленные историческим развитием России, выражали интересы народа и чрезвычайно способствовали развитию освободительного движения в нашей стране. Они были учителями петрашевцев, Чернышевского и Добролюбова, нескольких поколений прогрессивной русской интеллигенции и своей теоретической

деятельностью подготовили почву для появления и распространения марксизма в России, для возникновения высшего достижения русской и мировой культуры — ленинизма. В своей классической работе «Что делать?» В. И. Ленин писал: «Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский... пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература...» (Сочинения, 3-е изд., т. IV, стр. 380—381).

К Белинскому, Герцену и некоторым их друзьям (Некрасов, Огарев) с полным правом можно отнести глубокую характеристику просветителей, данную В. И. Лениным в статье «От какого наследства мы отказываемся». Ленин писал, что просветителям свойственны «горячая вражда к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области», «защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни», «отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян...». Ленин подчеркивал, что просветителям было чуждо узкое буржуазное своекорыстие, что они искренно боролись за общее народное благосостояние (Сочинения, 3-е изд., т. II, стр. 314).

Борьба наших революционных просветителей 1840-х годов с крепостничеством не мешала им критически относиться к жизни и культуре Западной Европы. Слепое преклонение перед Западом было чуждо Белинскому, Герцену и их единомышленникам. Они ценили лишь прогрессивные достижения европейских государств. В европейском, — писал Белинский, — мы должны любить только человеческое «и на этом основании все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в чем нет человеческого».

Просветительство означало борьбу за ликвидацию крепостного права и самодержавия в России, за развитие в ней промышленности, науки, просвещения и введение демократических порядков. Белинскому, Герцену и их единомышленникам совсем не было чуждо чувство национальной гордости, как это утверждали их идейные противники. Им был враждебен лишь квасной патриотизм, возвеличивавший реакционные стороны русской жизни и проповедовавший шовинизм и презрение к другим народам. «Любить свою родину значит — пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому», — утверждал Белинский. Революционные просветители 1840-х годов уважали русский народ, верили в великое будущее России и считали, что она сможет создать более передовой общественный строй и высокую культуру, чем другие государства. «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества», — писал Белинский.

В середине 1840-х годов в Петербурге возник кружок петрашевцев. В него входили многие литераторы: Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков, А. Н. Плещеев (известное стихотворение которого «Вперед без страха и сомненья» заслужило название «гимна петрашевцев»), В. Н. Майков, С. Ф. Дуров, А. И. Пальм и другие. Пропаганда социализма соединялась у петрашевцев с критикой крепостнической России, с мечтами «всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья...». Петрашевцы вос-

питывались на статьях Белинского и Герцена, огромное впечатление в их среде произвело письмо Белинского к Гоголю, многие петрашевцы сотрудничали в «Отечественных записках» и некрасовском «Современнике».

Петрашевцы развивали в демократическом духе идеи и традиции декабристов. Их объединение было очень пестрым и по своему социальному составу и по своей идеологии. Среди петрашевцев были и дворяне, и разночинцы, и мирные вольнодумцы-мечтатели, и такие замечательные революционеры и социалисты как М. В. Буташевич-Петрашевский, Н. С. Спешнев, стремившийся превратить «заговор идей» в тайную революционную организацию.

К передовому направлению общественной мысли 1840-х годов примыкал и кружок известного переводчика Диккенса и историка литературы Иринарха Введенского. Прозванный Погодиным «отцом нигилистов», Введенский объединил вокруг себя в 1840-е годы нескольких молодых людей, к которым принадлежал и Н. Г. Чернышевский, бывший тогда студентом Петербургского университета. Уже в 1840-е годы, под влиянием передовых идей того времени, Чернышевский стал социалистом и революционным демократом. Осенью 1848 г. он записал в свой дневник: «Мне кажется, что я стал по убеждению в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев».

Идеи Белинского, Герцена и их последователей сложились в ожесточенной идейной борьбе против славянофилов к которым принадлежали К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и некоторые другие представители московской дворянской интеллигенции.

Противопоставление Европы и России, путей и перспектив их исторического развития является коренной идеей славянофилов. Они решительно отвергали передовые формы общественно-политических отношений и прогрессивные явления духовной культуры Западной Европы. Особенно отрицательно относились они к европейскому революционному движению, социалистическим учениям, материалистической философии.

Славянофилы считали, что у России свой, особый самобытный путь исторического развития и жестоко нападали на своих противников за их, якобы слепое преклонение перед европейскими порядками и презрение к русскому народу. Славянофилы идеализировали допетровскую Русь и мечтали о патриархальных отношениях между крестьянами и дворянством, монархией, православной церковью. Они полагали, что в России не будет ни революций, ни капитализма, что ей останутся чужды и опасные учения социалистов и философия, оторванная от веры. Особые надежды на этот счет они возлагали на сельскую общину, в которой видели оплот против разрушительных потрясений и безверия.

Славянофильство возникло как дворянская реакция на развитие капитализма и революционного движения в России и Европе, на распространение идей социализма и материализма, на деятельность Белинского и Герцена. Критика пороков буржуазного строя была связана у славянофилов с апелляцией к феодальному прошлому; выступления за самостоятельность русской культуры соединялись с борьбой против ее наиболее прогрессивных достижений, а глубокая симпатия к русскому народу с ложными представлениями о нем, как о народе смиренном, богобоязненном и верноподданном.

При всем том по некоторым вопросам эпохи славянофилы занимали

относительно прогрессивные позиции. Многие из них возмущались крепостным правом и высказывались за освобождение крестьян, хотя, разумеется, стремились при этом сохранить дворянские привилегии и соглашались освободить крестьян на крайне невыгодных для последних условиях. Преклоняясь перед принципом монархии, славянофилы в то же время довольно резко критиковали полицейский режим Николая I. Не без оснований они полагали, что правящие круги петербургской аристократии и бюрократии «онемечились» и плохо заботятся о национальных интересах России. Именно поэтому правительство Николая I всегда относилось к славянофилам с недоверием, преследовало их, запрещало их издания. Поэтому же — за независимость мнений, за искреннюю любовь к народу — славянофилов уважали многие современники, совершенно не разделявшие их взглядов. «Явление славянофильства есть факт замечательный до известной степени как протест против безусловной подражательности и как свидетельство потребности русского общества в самостоятельном развитии», — утверждал Белинский.

Было бы неправильно отожествлять учение славянофилов со взглядами руководителей и ближайших сотрудников журнала «Москвитянин» — М. П. Погодина, С. П. Шевырева, М. А. Дмитриева, Ф. Н. Глинки и других. Погодин и Шевырев и их единомышленники разделяли с Аксаковыми и Киреевскими учение о самобытности исторического развития России, отрицательное отношение к Западной Европе и романтическое преклонение перед допетровской Русью, но в отличие от них были «добросовестно раболепны» (Герцен) и далеки от какой-либо критики крепостничества и самодержавия. Погодин и Шевырев развивали не славянофильское учение, а теорию «официальной народности», основные принципы которой были сформулированы еще в 1830-е годы министром просвещения Уваровым («православие, самодержавие, народность») и которая выражала интересы правительства и наиболее реакционных кругов русского дворянства.

Между славянофилами и руководителями «Москвитянина» были постоянные трения. Иногда славянофилы пытались совершенно отделить себя от таких «союзников», как Погодин, Шевырев, М. Дмитриев и другие.

На битвы выходя святые,
Да будем чисты меж собой! —
Вы прочь, союзники гнилые,
А вы, противники, на бой! —

писал в стихотворении «К союзникам» К. Аксаков.

Однако попытки славянофилов отмежеваться от руководителей «Москвитянина» большого успеха не имели. Белинский и Герцен справедливо считали, что славянофильское учение весьма близко теории официальной народности и, подобно последней, стремится увековечить экономическую, политическую и культурную отсталость крепостнической России. «Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви», — писал Герцен.

Острая идейная борьба между Белинским, Герценом и славянофилами заполняет собою все 1840-е годы. «Словесная война» велась повсюду — в журналах, университетах, гостиных и, хотя касалась преимущественно вопросов философских, научных, литературных, но под ними явственно обозначались разногласия социально-политического

характера. Спор, — вспоминал Анненков, — «принужден был держаться на литературной, философской, эстетической и частью археологической аренах и притворяться, никого впрочем не обманывая, невинным спором различных видов одного и того же русского патриотизма, а иногда даже и пустым разногласием двух школьных партий... В сущности дело шло... о создании программы для будущего развития государства».

Обострение отношений между Белинским, Герценом и славянофилами относится к 1842 г. и связано с полемикой Белинского и К. Аксакова по поводу «Мертвых душ» и с известным памфлетом Белинского «Педант», направленным против Шевырева, но вызвавшем возмущение и в среде славянофилов.

В последующие годы борьба еще более усилилась. Особенно разгорелась она в связи с публичными лекциями Грановского по истории Западной Европы, которые тот начал читать осенью 1843 г. Лекции Грановского собрали до 300 слушателей (весь цвет московской интеллигенции) и имели большое общественное значение. Чаадаев назвал их «историческим событием», Анненков — «событием политическим». Они носили ярко выраженный политический характер и были направлены против официальной народности и славянофильства. «Хочу полемизировать, ругаться и оскорблять... Постараюсь заслужить и оправдать вражду моих врагов», — писал Грановский Кетчеру, приступая к чтению лекций.

Многие славянофилы, и еще более Погодин и Шевырев, отнеслись к лекциям Грановского отрицательно. «Они обвиняли Грановского в пристрастии к западному развитию, к известному порядку идей, за которые Николай из идеи порядка ковал цепи да посылал в Нерчинск», — вспоминал Герцен.

Являясь профессорами университета, Погодин и Шевырев решили дать отпор Грановскому и противопоставить его выступлениям свой курс лекций. С этой целью осенью 1844 г. Шевырев начал публичные лекции по истории русской словесности. Это и был ответ Грановскому со стороны руководителей «Москвитянина» и славянофилов.

Славянофилы были в восторге от лекций Шевырева и подняли вокруг них сильную шумиху. Хомяков писал о лекциях Шевырева пространные письма, И. В. Киреевский посвятил их разъяснению статью в «Москвитянине», Н. М. Языков воспел «подвиг» Шевырева в специальном стихотворении. Герцен и его друзья, не имея возможности оценить лекции Шевырева в печати, развернули против них активную агитацию в университете и московских гостиных. «Партия Чаадаева и партия Грановского, — что почти одно и то же, — кричат и вопят, видя его [Шевырева] победу и одоление..., — писал Н. М. Языков. — Аксаков говорит, что боится, как бы не было драки на лекции, и готовит себя и кулаки свои в защиту православия».

Борьба враждебных направлений приняла еще более острые формы, когда Языков, желая защитить Шевырева и его курс от нападений его противников и «раздразненный своими друзьями», выступил в конце 1844 г. с циклом воинственных «проклятий в стихах», направленных против «не наших»: Белинского, Герцена, Грановского, Чаадаева. Стихотворения эти обвиняли их в безбожии и измене родине и граничили с доносом. Они заставили Герцена разорвать личные отношения со славянофилами, а Грановского едва не довели до дуэли с Петром Киреевским. Герцен счелся с «денонсациями» Языкова и в печати — в помещенном в февральской книжке «Отечественных записок» за 1845 г. фельетоне «„Москвитянин" и вселенная».

Неоднократно и наиболее непримиримо выступал против славянофилов Белинский. В 1845 г. в статье «Взгляд на русскую литературу 1844 года» он подверг жестокой критике славянофильских поэтов Хомякова и Языкова, а в статье о повести В. Соллогуба «Тарантас» нанес беспощадный удар по И. В. Киреевскому и славянофильским теориям.

Последнее крупное столкновение Белинского и славянофилов относится к 1847 г. Во второй книжке «Москвитянина» за этот год Ю. Ф. Самарин поместил статью «О мнениях „Современника" исторических и литературных». В ней он обвинял натуральную школу в литературе в односторонне сатирическом отношении к русской жизни, в клевете на русский народ, а Белинского — в несамостоятельности и непостоянстве взглядов и даже в ограниченности способностей. «Современник» ответил Самарину статьями Белинского и Кавелина. В своем «Ответе „Москвитянину"» Белинский блестяще защищал «натуральную школу» и оспаривал стремление славянофилов присвоить себе «монополию на симпатию к простому народу». «Где, когда, какими книгами, сочинениями, статьями доказали они, что они больше других знают и любят русский народ?» — спрашивал Белинский. Спорить с Самариным о себе Белинский отказался.

Против славянофильства и официальной народности Белинский и Герцен выступали иногда вместе с либеральными западниками: Грановским, Кавелиным, Боткиным и другими. Однако в процессе борьбы обнаружилось, что среди противников славянофилов совсем нет единства. Грановский даже заявлял, что по многим вопросам он сочувствует гораздо более славянофилам, чем Белинскому и «Отечественным запискам». Белинский же не раз негодовал не только на умеренность и прекраснодушие Грановского, но и на неустойчивость Герцена. Белинскому и Герцену пришлось решительно выступать не только против славянофилов, но и против либеральных западников. Революционные демократы Белинский и Герцен и либеральные западники уже в 1840-годах стояли по разные стороны баррикад.

Очень глубокие и серьезные разногласия обнаружились в 1845—1846 гг. между Герценом и Огаревым — с одной стороны, и Грановским — с другой. В центре споров стоял вопрос о материализме и бессмертии души, а поводом к ним послужили «Письма об изучении природы» Герцена. Грановский, не находя аргументов против учения о единстве духа и материи, оказался тем не менее не в силах порвать с идеализмом и отказаться от веры в потустороннее существование. «Личное бессмертие мне необходимо», — только и мог сказать он Герцену в ответ на его замечание, «что современное состояние науки о б я з ы в а е т н а с к принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет».

Другим предметом спора явился вопрос о социализме и революции. Анненков вспоминает, что Герцен связывал переворот, произведенный материализмом «в области метафизических идей, с политическим переворотом, который возвещали социалисты, в чем Герцен опять сходился с Белинским». Грановский же, по словам Анненкова, смотрел на социализм, как на «опасную болезнь века», а переворот, предвещаемый социалистами, «не вызывал у него ни малейшей симпатии, никаких радужных надежд или ожиданий». Еще в начале 1840-х годов Грановский ставил «чистую и святую Жиронду» выше Робеспьера и якобинцев, в чем уже тогда разошелся с Белинским, заявлявшим, что он любит человечество «маратовской любовью» и утверждавшим, что «тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими фразами прекраснодушной

Жиронды, а... обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов».

Как показал дальнейший ход событий, «теоретический разрыв» не только не был изжит, но, наоборот, еще более отчетливо определился и углубился. В 1847 г. возникли горячие споры вокруг печатавшихся в «Современнике» «Писем из Avenue Marigny» Герцена. В этих письмах Герцен яростно нападал на буржуазию. «Буржуазия, — писал он, — не имеет великого прошедшего и никакой будущности... Она теперь уже чувствует в груди своей начало и тоску смертельной болезни, которая непременно сведет ее в могилу». Герцена поддержал и довел его мысли до крайности М. Бакунин, заявивший: «Избави бог Россию от буржуазии».

Отрицательно отнесся к «Письмам» Герцена и взял под свою защиту буржуазию Боткин, который в начале 1840-х годов симпатизировал материализму и социализму, а теперь стал типичным буржуазным либералом, позитивистом и проповедником «практического направления» и «промышленных интересов». «Как же не защищать ее, — писал Боткин Анненкову, — когда наши друзья со слов социалистов представляют эту буржуазию чем-то вроде гнусного отвратительного чудовища, пожирающего все прекрасное и благородное в человечестве?.. Не могу не прибавить: дай бог, чтобы у нас была буржуазия!». Не одобряли «Писем» Герцена и другие западники: Грановский, Анненков, Корш.

Наиболее правильную позицию в спорах о буржуазии занял Белинский. Он понимал романтическую беспочвенность призывов своего «верующего друга» Бакунина, чтобы бог избавил Россию от буржуазии, и был убежден, что развитие капитализма в России не только неизбежно, но и прогрессивно. «Я знаю, — утверждал Белинский в письме к Боткину, — что буржуазия должна быть и не может не быть. Я знаю, что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества». Но, с другой стороны, Белинскому, как революционному демократу, было совершенно чуждо апологетическое отношение Боткина к буржуазии и капитализму. Поддерживая Герцена, Белинский писал Боткину: «Владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором... Горе государству, которое в руках капиталистов, это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значат только возвышение или упадок фондов...».

Спор о буржуазии еще более разоблачил истинное лицо либералов-западников. Стало ясно, что Боткин, Анненков и др. очень скептически относятся к России и преклоняются перед буржуазным Западом, в то время как Белинский, Герцен являются убежденными патриотами и прекрасно видят пороки и язвы современной Европы.

В этом плане весьма знаменательна полемика Белинского и В. Н. Майкова о национализме и космополитизме. В своих статьях о Кольцове В. Майков, возражая Белинскому, видевшему в творчестве Кольцова яркое проявление русского национального характера, писал: «Мы убеждены, что человек, которого можно назвать типом какой бы то ни было нации, никак не может быть не только великим, но даже и необыкновенным». По мнению Майкова, национальные черты и особенности — это всегда недостатки, пороки. Национальному Майков резко противопоставлял общечеловеческое — источник добродетели и прогресса. Человек, по его словам, принадлежит к «разряду существ однородных, называемых людьми, а не французами, не немцами, не русскими, не англичанами».

Белинский ответил Майкову во «Взгляде на русскую литературу 1846 года». Он решительно возражал против «гуманического космополитизма» Майкова. «Разделить народное и человеческое на два совершенно чуждые, даже враждебные одно другому начала, значит впасть в самый абстрактный, в самый книжный дуализм..., — справедливо утверждал Белинский. — Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без назначения... Великий человек всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собою свой народ». Выступая против Майкова, Белинский, разумеется, совсем не делал уступок славянофильству. Он противопоставлял буржуазному космолитизму не национализм, а патриотизм и дружеское единение народов, в котором каждая нация сохраняет свою индивидуальность. Белинский и Герцен выступали и против славянофильского преклонения перед отсталостью и предрассудками крепостного крестьянства, и против пренебрежительного отношения к русскому народу со стороны либеральных космополитов. «Я люблю русского человека и верю великой будущности России», — писал Белинский.

Общественное движение 1840-х годов естественно сопровождалось очень важными изменениями в русской литературе. Как русская философия и социальная мысль 1840-х годов перешли от абстракций и утопий к жизни и практике, так и русская литература того времени обратилась от вымысла и фантазий к истине и действительности. 1840-е годы — это период окончательного падения романтизма и торжество реализма в русской литературе. «Если бы нас спросили, — писал Белинский, — в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнью, с действительностью, в большей и большей близости и зрелости и возмужалости... Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, т. е. изображали несоответствующее, рассказывали о небывалом, а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине».

В связи с подъемом освободительного движения и обострением идейно-политической борьбы в 1840-х годах, русская литература сильнее проникается общественными интересами. Романтические представления о «чистом», отрешенном от жизни и ее запросов искусстве, о равнодушном к толпе художнике теряют свою былую популярность среди литераторов и вытесняются представлениями о социальных задачах искусства, о художнике-гражданине — сыне своего общества и своей эпохи. «В наше время, — констатировал Белинский, — искусство и литература, больше чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общие, доступные всем, ясные, сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов».

Усиление крестьянской борьбы за землю и волю, появление в общественном движении и литературе 1840-х годов разночинцев, распространение идей социализма и демократии повлекли за собою и радикальную демократизацию русской литературы. В своем основном русле она была тесно связана с пламенной проповедью Белинского, деятельностью петрашевцев. Протест и ненависть, стремления и надежды широких масс трудового народа России нашли свое выражение в лучших произведениях художественной литературы 1840-х годов. «Вся литература времен Николая была оппозиционной литературой... — писал Герцен. — Слагая песню, она разрушала; смеясь, она подкапывалась. Раздавленная в га-

зете, она возрождалась на университетской кафедре; преследуемая в поэме, она продолжала свое дело в курсе естественных наук».

Утвердившаяся на путях реализма и «социальности», русская литература была совершенно самостоятельной и самобытной. Многие передовые писатели Западной Европы — Жорж Занд, Бальзак, Диккенс, Гейне, Беранже и другие — пользовались самой широкой популярностью и любовью у русских литераторов-реалистов 1840-х годов, но это не мешало последним итти своей дорогой, избегая подражания и заимствований. «Повести г. Гончарова, г. Григоровича, Л. Н. Т. [Л. Н. Толстого], г. Тургенева, комедии г. Островского так же мало наводят вас на мысль о заимствовании, так же мало напоминают вам что-либо чужое, как романы Диккенса, Теккерея, Жорж Занда», — справедливо утверждал Чернышевский.

После всего сказанного понятно, почему в 1840-е годы были почти забыты или отодвинуты на второй план такие ранее популярные писатели, как Марлинский, Бенедиктов, Кукольник, Загоскин, Н. Полевой и другие.

Некоторые из этих писателей «риторической школы» продолжали печататься и отстаивать свои позиции: несколько романов и драм написал Кукольник, два романа выпустил Загоскин, издавали свои сочинения Н. Полевой, Сенковский, Булгарин. Однако все их попытки завоевать расположение читателей были безуспешны.

Падение в 1840-е годы авторитета писателей «риторической школы» было неизбежно прежде всего потому, что почти все они принадлежали к эпигонам западноевропейского романтизма, а их произведения были далеки от действительности, от русской жизни и ее властных запросов. Искусство, основанное на убеждении, что не следует обращать внимания на обыденную жизнь, на «пошлую» современность, что надо изображать лишь необыкновенные страсти исторических героев или артистических личностей, естественно вошло в противоречие с коренными принципами и потребностями русского общества 1840-х годов.

Установившаяся связь многих писателей «риторической школы» с идеологией официальной народности явилась другой причиной падения их славы. Народностью своего творчества гордились и Кукольник, и Загоскин, и Полевой, и Булгарин, и сотрудники «Москвитянина», и сотрудники «Маяка», но это была народность фальшивая. В их произведениях царил дух квасного патриотизма, воздавалась хвала самодержавию, церкви, крепостничеству, идеализировались и приукрашивались отрицательные стороны старинного русского быта.

Огромное влияние на русскую литературу 1840-х годов оказало творчество Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова. В 1830-е годы Пушкин и Гоголь не были еще в должной мере поняты и оценены критикой и читателями, теперь наступила пора их торжества и самого широкого признания. С большим интересом встретило русское общество издание в 1841 г. трех последних томов (9, 10, 11) первого собрания сочинений Пушкина, где были впервые опубликованы повесть «Дубровский», ряд стихотворений и статей поэта. В следующем году потрясающее впечатление на читателей произвели «Мертвые души» Гоголя, появившиеся после шестилетнего молчания их автора. В Лермонтове многие, уже после его первых выступлений в печати, увидели достойного преемника погибшего Пушкина; первые издания в 1840 г. его стихотворений и «Героя нашего времени» и посмертная публикация его произведений в «Отечественных записках» упрочили за ним эту славу. Горячо приветствовала передовая русская интеллигенция изданные

в 1846 г. под редакцией Белинского «Стихотворения А. В. Кольцова». Она по достоинству оценила народность песен и дум поэта-прасола. Безвременная смерть Кольцова, как незадолго перед ней трагическая гибель Лермонтова, вызвала многочисленные сочувственные отклики и отзывы.

Пушкин, Лермонтов, и в особенности Гоголь, подготовили почву для возникновения реализма 40-х годов, получившего название натуральной школы, и появления целой плеяды таких замечательных писателей, как Тургенев, Герцен, Некрасов, Достоевский, Гончаров, Салтыков (Щедрин) и другие. На основе наследия Пушкина, Гоголя, Лермонтова, а также под влиянием подъема освободительного движения и критики Белинского, русская литература достигает в 1840-е годы необычайного расцвета. Ни одно десятилетие XIX в. не было столь богато новыми и притом великими талантами. Выступление писателей натуральной школы — это самое важное событие литературной жизни 1840-х годов, значение которого выходит далеко за пределы и литературы и своей эпохи.

Натуральная школа складывалась постепенно. В начале 1840-х годов число писателей, которые принадлежали к новому направлению в литературе, было еще очень незначительно, а их произведения не представляли ничего выдающегося. «Беден был хорошими повестями 1842 год, но прошлый 1843-й оказался еще беднее», — жаловался Белинский. Повести Гребенки, И. И. Панаева, «Записки одного молодого человека» Герцена, очерки Даля, Григоровича, Буткова, поэма Тургенева «Параша» были первыми ласточками нового направления. Белинский приветствовал появление этих произведений, иногда даже преувеличивая их достоинства.

Перелом наступил в середине 1840-х годов. В 1845—1846 гг. были напечатаны: первая часть романа Герцена «Кто виноват?», «Бедные люди» Достоевского, «Деревня» Григоровича, «Три портрета» и «Помещик» Тургенева, «Псовая охота», «В дороге», «Колыбельная песня», «Петербургские углы» Некрасова. В эти же годы Некрасов издал два замечательных альманаха «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник». Последний, по словам Белинского, представлял собой «еще небывалое явление в нашей литературе» и был настоящим манифестом натуральной школы. Уже один перечень имен участников этого альманаха показывает его значение. В нем поместили свои произведения Достоевский («Бедные люди»), Тургенев, Некрасов, Герцен, Белинский, В. Одоевский, И. И. Панаев и другие.

Конец 1840-х годов были временем полного торжества натуральной школы. Появляется еще несколько новых замечательных писателей: Гончаров, Салтыков (Щедрин), Островский, еще целый ряд прекрасных произведений: «Обыкновенная история», «Сон Обломова», рассказы из «Записок охотника», вторая часть «Кто виноват?», «Сорока воровка», «Банкрот» («Свои люди сочтемся»), «Антон Горемыка» и другие.

Все попытки помешать развитию натуральной школы и росту ее влияния были безуспешны, хотя недостатка во врагах у нее не было. Натуральная школа, — писал Белинский, — «с ожесточением преследуется двумя литературными школами — неестественною, или риторическою, состоящей из отставных беллетристов, и славянофильскою». Против натуральной школы выступали с солидными критическими статьями, с пародиями (например, «Повесть о том, как господа Петушков, Цыпленкин и Тетерькин сочиняли повести» Маркиза Глаголь, т. е. К. Масальского, «Сын отечества» 1843 г., кн. IV), с веселыми водевилями

и комедиями («Натуральная школа» Каратыгина, «Натуральная школа» Н. Куликова) и даже с доносами. Но ничто не помогало.

Натуральная школа собрала под свои знамена всех лучших, хотя и не всегда единодушных в своих социальных устремлениях, писателей 1840-х годов. Разумеется, каждый примыкавший к ней крупный художник оставался при этом глубоко своеобразным и оригинальным. Основной принцип натуральной школы — реализм, правдивое изображение действительности. Само название натуральной (пущенное в оборот Булгариным как бранное и подхваченное и переосмысленное Белинским) школа получила за свое стремление к реалистическому воспроизведению всех сторон жизни; в сущности говоря, термин «натурализм» в 1840-х годах означал реализм. «Так называемую натуральную школу нельзя упрекнуть в риторике, разумея под этим словом вольное или невольное искажение действительности, фальшивое идеализирование жизни», — писал Белинский.

Очень существенной чертой писателей натуральной школы был их глубокий интерес к жизни простого народа: крепостного крестьянства, тружеников города, бедного чиновничества, разночинной интеллигенции. Вслед за Пушкиным и Гоголем они обратились к изображению низших слоев русского общества, обыкновенных героев, обыденного быта. Гоголь обратил «внимание на толпу, на массу, а не на приятные только исключения из общего правила», — писал Белинский. Произведения писателей 1840-х годов о бедных людях, о деревне, о петербургских углах чрезвычайно расширили область явлений действительности, получивших право на изображение в искусстве. Новый герой — выходец из народных низов, крестьянин, разночинец завоевывает литературу.

В свое время это обращение писателей натуральной школы к воспроизведению «низкой действительности» и новых героев воспринималось многими как весьма опасное новшество.

В водевиле Каратыгина «Натуральная школа» распевались такие куплеты:

Мы натуры прямые поборники,
Гении задних дворов:
Наши герои — бродяги да дворники,
Чернь петербургских углов!

Эстетический и политический смысл подобных нападений на натуральную школу очевиден — в нем сказался испуг реакционеров перед демократизацией русской литературы. Горячо защищал обращение писателей к «низкой действительности» Белинский: «Природа — вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик не человек?» — резко спрашивал он людей, возмущавшихся тем, что литература «наводняется мужиками».

Произведения писателей натуральной школы проникнуты духом отрицания реакционных явлений действительности. Реализм натуральной школы — это критический реализм, утвердившийся в русской литературе после Гоголя. «Отрицание составляет действительно преобладающее направление новой школы», — утверждал Белинский.

Самой жестокой критике подвергалось в произведениях передовых писателей 1840-х годов крепостное право и все его политические, бытовые, идеологические следствия. «В моих глазах, — писал Тургенев, — враг имел определенный образ, носил известное имя: враг это был крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, про-

тив чего я решился бороться до конца — с чем я поклялся никогда не примириться... Это была моя Аннибаловская клятва и не я один дал ее себе тогда». Действительно, не только Тургенев посвятил свое творчество борьбе с крепостным правом, но и многие другие писатели — его современники, и не только «Записки охотника» раскрывали зло, ужас и несправедливость крепостного рабства, но и «Кто виноват?» и «Сорока воровка» Герцена, и стихотворения Некрасова, «Деревня» и «Антон горемыка» Григоровича, и «Сон Обломова» Гончарова.

С такой же беспощадной правдой показывали произведения писателей натуральной школы социальные пороки городского уклада жизни, губительную власть денег и чинов, противоречия бедности и богатства. Следуя традициям «петербургских повестей» Гоголя, с жуткой простотой рисуют Некрасов и Салтыков жалкое положение скромных тружеников, трагическую нищету обитателей углов. Герою повести Салтыкова «Запутанное дело», замученному нуждой Мичулину человеческое общество представляется в виде пирамиды, в подножии которой, придавленные страшной тяжестью, в муках и корчах извиваются бедняки.

Ненависть к господствующим классам крепостной России соединялась у писателей натуральной школы с любовью и уважением к угнетенному русскому народу, простым, маленьким людям города и деревни. Великие демократические идеи гуманизма, нашедшие столь яркое выражение в творчестве Пушкина и Гоголя, получили дальнейшее развитие в литературе 1840-х годов. Тургенев и Григорович показали в своих произведениях величие и красоту души крепостного русского крестьянина, «Бедные люди» Достоевского полны сострадания к униженному Макару Девушкину, Герцен с глубоким сочувствием писал о русской интеллигенции. Горячо ратовала русская литература 1840-х годов за раскрепощение женщины от общественного гнета и домостроевских семейных отношений.

Отражая стремление народа к уничтожению крепостничества, лучшие русские писатели 1840-х годов призывали к активной общественной деятельности, к труду, к борьбе, к подвигу. Они сурово осуждали и рефлексию русских Гамлетов, и беспочвенную мечтательность молодого Адуева, и бездейственность Бельтова, и лень Обломова. Иногда в их произведениях звучат ноты сочувствия к «лишним людям» (как к жертвам среды и обстоятельств), но нет в них ни оправдания, ни идеализации их.

В некоторых произведениях литературы 1840-х годов прекраснодушным и пассивным идеалистам и романтикам противопоставляются в качестве положительных героев трезвые буржуа-предприниматели. Особенно это характерно для Гончарова — создателя образов Адуева-дяди, а позднее Штольца и Тушина. Это несомненно было связано с тем восторженным отношением к буржуазии, которое было свойственно Боткину и другим западникам. Однако, сколько-либо широкого распространения в литературе 40-х годов преклонение перед предпринимательством и промышленно-капиталистической деятельностью не имело. И Белинскому, и большей части писателей того времени положительные идеалы Гончарова казались узкими и бедными. Но другой положительный герой — защитник народных интересов, человек революционного действия еще не получил широкого распространения в России, и литература того времени не нарисовала его. Известную роль в этом отношении сыграли и цензурные условия.

Это не означает, что в художественных произведениях 40-х годов

29 Зак. 4378. Очерки по истории журналистики.

совсем не нашли отражения революционные идеи и настроения. Сквозь все цензурные рогатки проникали они в литературу. «Не могу надивиться глупости цензоров, пропускающих подобные сочинения, — писал Плетнев о повести Салтыкова «Запутанное дело». — Тут ничего больше не доказывается, как необходимость гильотины для всех богатых и знатных».

Тот же «вредный образ мыслей» сказался и в известном стихотворении Плещеева, считавшемся гимном петрашевцев:

Вперед! Без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!
Смелей! Дадим друг другу руки
И смело двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.
Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать,
И спящих мы от сна разбудим,
И поведем на битву рать!

Столь же несомненны социалистические тенденции некоторых произведений 1840-х годов. Критика крепостничества и неравенства, защита интересов народных масс велась в них с социалистических позиций, под влиянием социалистических учений. «Мало-помалу литературные произведения прониклись социалистическими стремлениями, — писал Герцен, — романы и рассказы... протестовали против существующего строя общества с точки зрения более широкой, чем чисто политической. Достаточно упомянуть роман Достоевского „Бедные люди"».

Достижения передовой русской литературы 1840-х годов имеют совершенно исключительное значение. Чрезвычайно выросла роль художественной литературы в общественной жизни России, усилилось ее влияние на русское освободительное движение. «Литература у народа, не имеющего политической свободы, — писал Герцен, — единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик своего негодования и своей совести». Творчество выдающихся писателей, выступивших в 1840-е годы, определило характер развития русской литературы почти на всю вторую половину XIX века. Утвержденные передовыми писателями 1840-х годов принципы критического реализма, общественного служения искусства, гуманности стали главными особенностями всей русской литературы.

2. Критика и журналистика 1840-х годов

В связи с расцветом художественной литературы и общим идейным подъемом в 1840-е годы высоко поднялось значение литературной критики. Она стала играть исключительно важную роль в развитии русской культуры и жизни русского общества. Так как прямое распространение философских и социальных идей и учений в России того времени было почти невозможно, политические отделы в журналах были запрещены, передовая критика стала разрешать не только литературные, но и все «проклятые вопросы» эпохи. Она не только раскрывала смысл и характер творчества различных писателей, указывала русской литературе плодотворные пути развития, способствовала воспитанию эстетического вкуса, но и была средоточием русской философской и общественно-политической мысли. Критик становится «властителем дум»

общества, а литературно-критические статьи оказывают необычайно сильное влияние на читателей. «Статьи Белинского, — вспоминает Герцен, — судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать: получены ли „Отечественные записки"; тяжелый нумер рвали из рук в руки. „Есть Белинского статья?", — „Есть", — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, уважений как не бывало». Столь же сильное влияние имели критические статьи Белинского и в провинции. «Много я ездил по России, — писал И. Аксаков, — имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни».

Однако лишь Белинский смог стать руководителем передовой литературы и общественной мысли. Многие же другие, ранее популярные критики, в 1840-е годы теряют свой авторитет, будучи не в силах понять и оценить новые явления умственной и литературной жизни. Н. И. Надеждин в 1840-е годы совсем замолчал. Н. Полевой до конца своей жизни продолжал защищать уже устаревшую романтическую эстетику и выступал против творчества Гоголя, европейского реализма и «натуральной школы». Вся критическая деятельность С. П. Шевырева была направлена на борьбу с теорией и практикой критического реализма. Разрешение задач, выдвинутых перед литературной критикой всем ходом развития общественной жизни и литературы, пало на долю Белинского. Еще в 1830-х годах, усвоив положительные стороны деятельности Надеждина и Полевого, Белинский начал бороться с реакционными и архаическими идеями в русской критике. Позднее, опираясь на диалектику и материализм, исходя из новых эстетических принципов реализма и революционно-демократической народности, Белинский разъяснил русскому обществу значение творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя, оценил по достоинству произведения молодых писателей натуральной школы. Вместе с тем Белинский превратил литературную критику в орган передовой общественно-политической мысли. Под сильнейшим влиянием Белинского сложилась и работа талантливого критика второй половины 1840-х годов В. Н. Майкова.

Передовые принципы русской критики складывались в ожесточенной борьбе. Литературные споры 1840-х годов носили крайне острый характер. Еще Чернышевский правильно объяснял это тем, что спорящие стороны «заботились не столько о чисто эстетических вопросах, сколько вообще о развитии общества». Первая крупная литературная битва 1840-х годов разгорелась в связи с выходом в свет первого издания «Героя нашего времени» и «Стихотворений» Лермонтова. Белинский был единственным критиком, по достоинству и правильно оценившим творчество Лермонтова. В противоположность Н. Полевому, утверждавшему, что «за полдюжины пьесок, весьма недурных» и за плохую прозу Лермонтов не может быть назван великим поэтом и «представителем русской прозы», Белинский поставил Лермонтова рядом с Пушкиным как великого национального поэта. В противоположность Булгарину, пытавшемуся истолковать «Героя нашего времени» как нравоучительный роман, доказывающий гибельность неверия и отрицания, Белинский справедливо нашел пафос этого произведения, как и всего творчества Лермонтова, в борьбе против «гнусной действительности».

Полемика о Лермонтове возобновилась в 1843 г. в связи с посмертной публикацией произведений поэта в «Отечественных записках» и

выходом в свет второго издания его стихотворений. На этот раз Белинский отстаивал творчество Лермонтова от нападений Сенковского и, особенно, Шевырева. Поводом к полемике с Шевыревым послужила известная «Хрестоматия» А. Д. Галахова, вышедшая тогда первым изданием. Шевырев в своей пространной рецензии на «Хрестоматию» возмутился тем, что Галахов поместил в ней произведения Лермонтова рядом с произведениями Карамзина, Жуковского, Крылова, Шиллера, Гете и явно предпочел Лермонтова «лучшим лирикам современности» — Языкову, Хомякову и Бенедиктову. В связи с этим Шевырев повторил свою характеристику Лермонтова как поэта, не успевшего сформироваться, подражательного, создавшего лишь «призраки» Печорина и Мцыри, и выразил недовольство публикацией его произведений в «Отечественных записках» и новым изданием его стихотворений.

Шевыреву отвечал Галахов, но по вопросам современной литературы и, особенно, по вопросу о Лермонтове в спор вмешался Белинский. В самой резкой форме он высмеивал утверждения Шевырева о подражательности Лермонтова и заявил, что любое его стихотворение выше «лучших стихотворений гг. Языкова, Хомякова и Бенедиктова». «И уж, конечно, имя поэта Лермонтова, — писал Белинский, — скорее может быть поставлено с именем поэтов Шиллера и Гете, чем имя Карамзина, отличного литератора, известного историка, но нисколько не поэта».

В 1842 г. возникли горячие споры по поводу «Мертвых душ» Гоголя. Белинский боролся и против врагов Гоголя и против его ложных друзей. В своих «Литературных и журнальных заметках» за 1842 год он показал всю неосновательность и пустоту обвинений, выдвинутых против «Мертвых душ» Сенковским, Гречем и Булгариным, которые, как известно, не нашли в поэме Гоголя ничего, кроме «клеветы на Россию», «грубости» и «неправильного слога». Столь же убедительно выступил Белинский против мнений, высказанных о «Мертвых душах» Шевыревым. Он показал, что Шевырев напрасно приписывает себе честь «открытия» дарования Гоголя и пытается прикрыть свое отрицательное отношение к «Мертвым душам» бессодержательными похвалами. Он очень удачно разоблачил сущность той народности, к которой Шевырев старался склонить Гоголя, высмеяв восторги критика «Москвитянина» перед неиспорченной натурой кучера Селифана и перед «радушием», с которым Селифан изъявляет готовность быть высеченным.

Особенно горячий спор по поводу «Мертвых душ» произошел между Белинским и К. Аксаковым. На брошюру Аксакова о «Мертвых душах» Белинский ответил специальной рецензией, на «объяснение» противника — «объяснением на объяснение». Фанатик славянофильства К. Аксаков нашел, что «Мертвые души» знаменуют собой возрождение древнего эпоса, который был доведен до упадка на Западе и снова возникает у нас в России. В связи с этим он и трактовал «Мертвые души» как эпопею русской народной жизни, совершенно умалчивая о критическом и антикрепостническом характере поэмы Гоголя. Естественно, что Белинский решительно возражал против мнений Аксакова. «В „Илиаде", — писал он, — жизнь возведена в апофеозу; в „Мертвых душах" она разлагается и отрицается; пафос „Илиады" есть блаженное упоение, проистекающее от созерцания дивно божественного зрелища; пафос „Мертвых душ" есть юмор, созерцающий жизнь сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы».

Борьба вокруг творчества Гоголя развернулась еще сильнее в 1847 г., после выхода известной книги «Выбранные места из пере-

писки с друзьями». Эта книга вызвала многочисленные и самые противоречивые отклики в русском обществе и критике. Реакционные круги приветствовали «Переписку». Со статьями, одобряющими ее, выступили Булгарин, Шевырев, Вяземский и другие. Они решили, что в новой книге Гоголь порывает с прежним сатирическим направлением и переходит на их позиции. Они использовали «Переписку» для атаки на Белинского и натуральную школу.

Белинский в статье о «Выбранных местах», помещенной в «Современнике», а еще более сильно в знаменитом зальцбруннском «Письме к Гоголю» дал решительный отпор реакции, поднявшей книгу Гоголя на щит. Он беспощадно осудил «Переписку» как проповедь кнута, невежества, обскурантизма и мракобесия, как защиту самодержавия, крепостничества, церкви. Однако отношение Белинского к прежним произведениям Гоголя не изменилось. В противовес Шевыреву и Вяземскому он продолжал считать Гоголя великим писателем — основоположником «отрицательного направления» и натуральной школы в русской литературе. Известно, что письмо Белинского к Гоголю получило широкое распространение среди прогрессивной интеллигенции 1840-х годов и оказало огромное влияние на развитие русского революционного движения, общественной мысли и литературы. В нем с исключительной силой было выражено «настроение крепостных крестьян против крепостного права» (В. И. Ленин, Сочинения, 3-е изд., т. XIV, стр. 219).

Во второй половине 1840-х годов споры о Гоголе были неотделимы от споров о натуральной школе. После выхода в свет «Петербургского сборника» вопрос о натуральной школе стал в центре литературно-критической борьбы. Против натуральной школы и отрицательного направления в литературе неоднократно выступали и Булгарин, и Шевырев, и славянофилы. Булгарин упрекал натуральную школу в пристрастии к изображению низкой действительности, Шевырев — в пренебрежении к «чистому искусству», К. Аксаков и Самарин — в односторонне-отрицательном подходе к действительности и презрении к народу. В обзорах русской литературы за 1846 и 1847 гг. и в «Ответе „Москвитянину"» Белинский блестяще вскрыл отсталость литературно-эстетических принципов врагов натуральной школы, разъяснил ее прогрессивное значение, высоко поднял знамя критического реализма.

В конце жизни Белинского обнаружилось, что его критика встречает отрицательное отношение не только со стороны реакционеров и славянофилов, но и в лагере западников. Кое-кому из западников уже тогда казалось, что литературно-критические взгляды Белинского устарели и нуждаются в исправлении. Так, Боткин, проповедовавший позитивизм и «практическое направление» в философии и политике, требовал «дельности» и «практической идеологии» от литературы и критики. «Белинский, — писал он, — почти освободясь от гегелианских теорий, еще крепко сидит в художественности, и от этого его критика еще далеко не имеет той свободы, оригинальности, того простого и дельного взгляда, к которым он способен по своей природе... Немецкие теории чуть не убили здравый смысл в нашей критике, и если Белинский успел-таки сберечь его в себе, зато сколько же и нагородил он дикостей на своем веку!».

Может показаться, что в своем протесте против немецких теорий и художественности Боткин выражает прогрессивные тенденции русской мысли, преодолевающей идеалистические абстракции немецкой философии и эстетики. На самом же деле Боткин, как буржуазный либерал,

призывал к полному отказу от диалектики в философии и от рассмотрения художественных особенностей и эстетической ценности произведений искусства во имя «здравого смысла» и «практической идеологии».

Боткин напрасно упрекал Белинского в рабской преданности гегельянству, теориям немецкой эстетики. Белинский был совершенно самостоятелен не только в своих философских, но и литературно-критических взглядах. Больше того. На основе материалистической философии и диалектики, идей революции и социализма он поднял русскую литературно-критическую мысль на такую высоту, до которой не могли, конечно, подняться ни идеалистическая эстетика Гегеля, ни тем более эстетика позитивизма.

Претерпевает серьезные изменения в 1840-е годы и русская журналистика. Литературные журналы приобретают совершенно исключительное значение. Среди читателей они вызывают толки, споры, горячие симпатии и антипатии. Книгопродавцы жалуются на падение книжной торговли, вследствие конкуренции со стороны журналов.[1] С негодованием писал о журнальном периоде в истории русской литературы Шевырев. Скрепя сердце, признавал силу и значение «повременных изданий» Плетнев. «Мы живем в эпоху, — писал он Шевыреву в 1846 г., — в которую последовало что-то равное изобретению письмен и книгопечатания. Это открытие силы повременных изданий». Напротив, весьма положительно оценивал непрерывно возрастающее влияние журналов Герцен: «Они распространили в последние двадцать пять лет огромное количество знаний, множество понятий, идей. Они давали возможность жителям Омской или Тобольской губернии читать романы Диккенса или Жорж Занд через два месяца после их появления в Лондоне или Париже». Журналы действительно проникали глубоко в провинцию, везде находили своего читателя, везде способствовали расширению круга читающей публики. Рядом с дворянским читателем растет читатель из чиновничества, купечества, духовной среды.

Толстые ежемесячники, отзывчиво откликаясь на все существенные явления умственной жизни общества, вобрав в себя почти всю оригинальную и переводную беллетристику (и не только стихи, очерки и рассказы, но и объемистые повести и романы), обзаведясь солидно поставленным отделом «Науки и искусства» и разнообразно подобранной «Смесью» — превратились в чрезвычайно важный фактор социально-политического и культурного движения и сделались центром идейной жизни страны. Еще более важное место, чем прежде, стала занимать в журналах литературная критика. Критик часто оказывался идейным руководителем журнала. Журнал, пренебрегавший критикой, весьма проигрывал в глазах читателей. «Критика должна составлять душу, жизнь журнала, — писал Белинский, — должна быть постоянным его отделением, длинною, не прерывающеюся и не оканчивающеюся статьею».

---

[1] Издание большей части журналов окончательно приняло коммерческий характер. Издатели стали рассматривать журналы как выгодное предприятие. Функции редактора постепенно отделяются от функции предпринимателя-издателя и перестают объединяться в одном лице. Сотрудники журнала — литераторы не считают уже постыдным делом получение вознаграждания за свой труд, не безразличной для них становится и величина гонорара. Издатели используют высокие гонорары как одно из средств объединения нужных сотрудников вокруг своего журнала. Увеличивается количество профессиональных журналистов и литераторов разного ранга, и рода, для которых журнальная и литературная работа является единственным средством существования.

Вместе с тем журналы приобрели большую, чем раньше, определенность в смысле принадлежности к тому или иному направлению общественной мысли. Между отдельными журналами возникают более четкие различия и границы, определяемые направлением журнала. «Журнал должен иметь прежде всего физиономию, характер, — писал Белинский, — альманачная безличность для него всего хуже. Физиономия и характер журнала состоят в его направлении, его мнении, его господствующем учении, которого он должен быть органом». Руководители журналов тщательно заботились о согласованности всех отделов ежемесячника и общей идейной направленности помещенных в ней критических, философских, научных статей и художественных произведений. Убеждение в необходимости для журнала иметь строгое направление все глубже проникало в среду литераторов. Когда Герцен спросил Белинского, читал ли он статью Грановского, помещенную в «Москвитянине», Белинский ответил: «Нет, и не буду читать. Скажи ему [Грановскому], что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания». Когда Плетнев, передавая «Современник» Некрасову и Панаеву, согласился остаться в журнале в качестве сотрудника, это вызвало огорчение и возмущение среди его друзей.

Никогда не прекращавшаяся журнальная полемика разгорается в 1840-е годы с новой силой и становится более содержательной. Естественно, что главная и наиболее принципиальная линия борьбы проходит между журналами демократического направления («Отечественные записки» и некрасовский «Современник») с одной стороны и периодическими изданиями в духе официальной идеологии («Маяк», «Северная пчела», «Сын отечества», «Библиотека для чтения»), органами «официальной народности» и славянофильства («Москвитянин», «Московские сборники») — с другой. «Я рожден для печатных битв и мое призвание, жизнь, счастье, воздух, пища — полемика», — писал Белинский. Такое же настроение царило и в лагере врагов Белинского. «В одном только я позволю себе с Вами не согласиться: с „Отечественными записками" нужна полемика... Сколько статей остается без отражения, а между тем они действуют. Противодействия нет. Мне кажется здесь пренебрежение невыгодно», — писал Шевырев Плетневу.

3. «Отечественные записки» и «Современник»

Еще в 1835 г. на прошение В. Одоевского и Краевского о разрешении издавать журнал «Русский сборник» царем была наложена резолюция: «И без того много», после чего Главное управление по делам цензуры запретило на некоторое время издание новых журналов. Основные изменения, происходившие в русской журналистике в 1840-е годы, нашли поэтому выражение не в появлении новых журналов, а в преобразовании некоторых старых.[1] Такими журналами были «Отечественные записки» и «Современник».

---

[1] Запрещение издания новых журналов стало одной из причин появления в 1840-х годах большого количества всевозможных литературных сборников и альманахов, причем некоторые из них выходили периодически. «Государь строжайше запретил разрешать издание новых журналов. Но ум человеческий хитер и изворотлив», — писал по этому поводу в своем дневнике Никитенко. Лучшими сборниками того времени были изданные Некрасовым в 1845—1846 гг. «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник», а также «Московский сборник» славянофилов, вышедший тремя книгами в 1846, 1847 и 1852 гг. Большим успехом пользовались сборники «Наши, списанные с натуры русскими», заключавшие в себе ряд «физиологических очерков».

«Отечественные записки», находившиеся с 1818 г. в руках П. Свиньина, в 1830-е годы почти совсем прекратили свое существование, а в 1838 г. Свиньин счел за лучшее передать издание журнала А. А. Краевскому, который с января 1839 г. и начал выпускать его под своей редакцией. «Закваской, солью, духом и жизнью „Отечественных записок"» стал Белинский, который с осени 1839 г. берет на себя ведение критико-библиографического отдела журнала и переезжает для этого из Москвы в Петербург. Все написанное Белинским в период с 1839 по 1846 год (за очень редкими исключениями) было опубликовано в «Отечественных записках». Вместе с Белинским самое активное участие в «Отечественных записках» принял и Герцен, поместивший в журнале ряд фельетонов и статей, философские работы «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» и некоторые художественные произведения (в том числе первую часть романа «Кто виноват?»).

В «Отечественных записках» кроме Белинского и Герцена, приняли участие: Лермонтов, Кольцов, В. Ф. Одоевский, Некрасов, Огарев, Тургенев, Достоевский, Салтыков (Щедрин), Грановский, И. И. Панаев, Галахов, В. Н. Майков, В. А. Милютин и другие писатели, критики, ученые. Некоторые из сотрудников «Отечественных записок» были петрашевцами (Достоевский, Салтыков-Щедрин, Пальм и др.), другие посещали собрания петрашевцев и были к ним близки. Вообще вокруг «Отечественных записок» объединились те многочисленные литераторы, которые давно уже испытывали горячую потребность в организации журнала независимого направления и готового взять на себя борьбу с продажной журналистикой и официальной идеологией.

Таким образом, «Отечественные записки» превратились в журнал прогрессивной демократической общественной мысли и литературы. Легко увидеть в этом одно из проявлений общего подъема общественного движения в 1840-е годы. Время работы Белинского в журнале было лучшим временем в жизни «Отечественных записок». «Отечественные записки» стали самым замечательным журналом 1840-х годов и чрезвычайно влиятельным руководителем общественного мнения. К 1847 г. число подписчиков на журнал достигло 4000, в то время как «Москвитянин» имел в 1847 г. 300 подписчиков, а «Современник» Плетнева в 1846 г. — 233 подписчика.

Но и с прекращением сотрудничества Белинского в «Отечественных записках» (1846) журнал продолжал еще некоторое время стоять на должной идейной высоте и пользоваться большой популярностью. Многие влиятельные сотрудники не прекратили своего участия в нем, а вместо Белинского во главе критического отдела журнала стал молодой серьезный критик В. Н. Майков, который хоть и не был столь последователен и талантлив, как Белинский, но принадлежал несомненно к числу передовых людей своего времени. Падение «Отечественных записок», утрата ими содержательности, идейности и потеря ими влияния на общество начинается несколько позднее и относится к периоду реакции, наступившей в России в связи с подавлением революции 1848 г. в Европе.[1]

---

[1] Еще в 1837 г., до перехода в его руки «Отечественных записок», Краевский приобрел у Воейкова «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», которые переименовал в 1839 г. в «Литературную газету». Под редакцией разных лиц (главным образом самого Краевского) «Литературная газета» просуществовала до 1849 г. Выходила она в течение первых трех лет два и три раза в неделю, а затем еженедельно. По своему направлению «Литературная газета» примыкала к «Отече-

Потребность литераторов и читателей 1840-х годов в журнале независимого прогрессивного направления не могла быть полностью удовлетворена наличием одних «Отечественных записок». Известны, например, попытки Герцена и его московских друзей организовать издание журнала в Москве. В 1844 г. Грановский возбуждает соответствующее ходатайство перед правительством, но Николай I снова ответил: «И без нового довольно». После этого Герцен и его друзья некоторое время рассчитывали на приобретение какого-либо из старых журналов, но и эти планы не получили осуществления. Только в 1847 г., и не в Москве, а в Петербурге, рядом с «Отечественными записками» возникает другой близкий им по духу журнал — «Современник». [1]

«Современник» был основан Пушкиным в 1836 г. После смерти Пушкина «Современник» перешел в руки П. А. Плетнева — профессора петербургского университета, критика и поэта, который и издавал его до 1846 г. включительно. Плетнев превратил «Современник» в журнал, который чуждался «злобы дня», полемики и стоял в стороне от общественной и литературной жизни. Приданный им журналу облик Плетнев прикрывал служением «высшим задачам искусства и истине» и оправдывал ссылками на невежество читателей и низость нравов, царящих в литературе и журналистике. «Пусть царствует в литературе запустение, — писал Плетнев своему другу Я. К. Гроту, — по крайней мере, мой „Современник" без влияния, без интереса, будет чист, и по моему мнению, прав».

Разумеется, усвоенной «Современником» позе беспристрастия мысли, благородства чувств и изящества эстетического вкуса доверять нельзя. Внутренне Плетнев и его ближайшие сотрудники по журналу были полны отвращения и ненависти; они только не находили сил и решимости излить их открыто и предпочитали заявлять о своих симпатиях и антипатиях втихомолку, вполголоса. Но как бы то ни было, направление журнала не вызывает сомнений. Вся современная литература и журналистика делилась «Современником» на две «стороны»: «правую» и «левую». К «правой» Плетнев относил Жуковского, Вяземского, Языкова, свой журнал и его сотрудников, а к «левой» прежде всего Белинского и «Отечественные записки». К «левой стороне» литературы отнес «Современник» и «Петербургский сборник». «Бедные люди» Достоевского Плетневу не понравились, а «Колыбельную» Некрасова он назвал «грязным исчадием праздности». Возмущали Плетнева и интерес читателей к французской литературе, и нарушения «правильности, ясности и чистоты слога» в произведениях новейших писателей. [2]

ственным запискам», но была гораздо менее определенной. Иногда в «Литературной газете» помещал свои статьи Белинский; в начале 1840-х годов в ней активно сотрудничал молодой Некрасов.

[1] Переходу «Современника» в руки Некрасова и Панаева предшествовали изданные Некрасовым иллюстрированный альманах «Физиология Петербурга» (1845) и «Петербургский сборник» (1846). Две части «Физиологии Петербурга» содержали в себе ряд «физиологических очерков»: Некрасова («Петербурские углы»), Григоровича («Петербургские шарманщики»), Даля («Петербургский дворник»), Панаева («Петербургский фельетонист») и другие, а также статьи Белинского: «Петербург и Москва», «Петербургская литература», «Александринский театр». «Петербургский сборник» был явлением исключительным по своему содержанию. В нем приняли участие: Достоевский («Бедные люди»), Тургенев (рассказ в стихах «Помещик», повесть «Три портрета»), Некрасов (стихи: «В дороге», «Пьяница», «Колыбельная песня», «Отрадно видеть, что находит»), А. Майков (поэма «Машенька»), Герцен («Капризы и раздумье»), Белинский («Мысли и заметки о русской литературе»), В. Ф. Одоевский, В. А. Соллогуб, И. И. Панаев, Никитенко, Кронеберг.

[2] См., например, «Современник», 1846, т. 41, стр. 272—274 и т. 42, стр. 357—358.

Что подобные оценки текущих литературных явлений не были для «Современника» случайными, свидетельствуют более открытые высказывания Плетнева в письмах к друзьям. Там можно найти отнюдь не беспристрастные и совсем не благородные характеристики Белинского, Лермонтова («запоздалый Пушкин без его ума и таланта»), Некрасова, повести Салтыкова «Запутанное дело» («Тут ничего больше не доказывается, как необходимость гильотины для всех богатых и знатных»). За подобными литературными оценками Плетнева скрывались, конечно, очень определенные политические позиции — позиции дворянской реакции.

Изоляция «Современника» от жизни, неуклонно проводимая Плетневым, затаенная вражда его к новым прогрессивным явлениям общественного движения и литературы, быстро превратили журнал в издание мало заметное и не имевшее сколько-нибудь серьезного влияния. В первые после смерти Пушкина годы в нем помещали (хотя и редко) свои произведения Гоголь, Тютчев, Жуковский, Баратынский, Кольцов, Вяземский, Языков (не говоря уже о посмертных публикациях некоторых вещей самого Пушкина), но скоро их участие в журнале сошло на нет, и «Современник» из номера в номер стал заполняться статьями Я. К. Грота, очерками А. О. Ишимовой, библиографическими обзорами Плетнева, стихами Плетнева, Грота, Ф. Глинки и никому неизвестных виршеплетов вроде Коптева, Айбулат-Розена, Марсельского. Долгое время Плетнева не смущало постепенное уменьшение сотрудников в его журнале. «Ужли вы, Александра Осиповна [Ишимова] да я не наполним чем-нибудь четырех книжек? — писал он Гроту. Но вместе с писателями не стало у «Современника» и читателей. Количество подписчиков колебалось в 1840-е годы между 300 и 400, а в 1846 г. упало до 233. Журнал зашел в тупик. Благожелательно относившийся к Плетневу Гоголь писал ему: «„Современник" вышел плохим журналом... всяк спрашивал в недоумении друг у друга: Объясните мне, зачем и для чего издает Плетнев свой журнал? Что хочет он сказать им? Что значат эти общие места в его программе, эти повторения о беспристрастии, о бескорыстной любви к искусству, о стремлении к истине и т. п., которые обещает всякий журналист и которых не исполняет никто? Тощее содержание его тоненьких книжек, неживой, безучастный, вялый и неопределенный слог его суждений обо всем современном, задавал только загадку решать: зачем он назван „Современником"? Будем говорить откровенно. У тебя нет качеств журналиста: ни юношеского живого участия ко всем волнениям современным, ни трепета к вопросам, раздающимся в массе общества».

Но еще до получения письма Гоголя Плетнев решил отказаться от издания журнала и передал его в руки Некрасова и Панаева. Дело в том, что уже весною 1846 г. Белинский прекратил сотрудничество в «Отечественных записках», будучи не в силах продолжать работу в журнале Краевского. Причин для ухода из «Отечественных записок» было у Белинского более чем достаточно. Краевский, не понимая подлинного значения Белинского для своего журнала, платил ему мало, заваливал его срочной и непосильной работой, требовал от него рецензий на малоинтересные и малозначительные книги. Главная же причина заключалась в том, что беспринципный либерал Краевский пытался привносить в «Отечественные записки» такие тенденции, которые были совершенно неприемлемы для революционера-демократа Белинского.

Одновременно с Белинским отказались от участия в «Отечественных записках» и Некрасов с Панаевым. Было решено издавать свой журнал,

Осенью 1846 г. Некрасов и Панаев приобретают у Плетнева «Современник». С января 1847 г. он выходит уже под новой редакцией и совершенно меняет свое лицо. Юридически редактором «Современника» в 1847—1848 гг. числился А. В. Никитенко — благонамеренный профессор Петербургского университета и цензор, но фактически журналом руководили Некрасов и Панаев, а наиболее влиятельным и авторитетным участником редакционного коллектива был Белинский.

Вместе с Белинским из «Отечественных записок» в «Современник» перешел и Герцен. Ближайшими сотрудниками журнала стали Тургенев, Гончаров, Григорович, В. А. Милютин и другие.

Уже в первые два года в «Современнике» были опубликованы такие выдающиеся произведения художественной литературы, как «Кто виноват?» (весь роман в приложении к № 1), «Сорока воровка» и «Записки доктора Крупова» Герцена, «Обыкновенная история» Гончарова, ряд рассказов из «Записок охотника» и комедия «Где тонко, там и рвется» Тургенева, повесть Григоровича «Антон Горемыка», стихи Некрасова, Огарева, А. Майкова, переводы из Шекспира, Жорж Занд, Диккенса, Альфреда Мюссе и другие. В других отделах журнала наиболее замечательными были статьи Белинского (среди них два годичных обзора русской литературы за 1846 и 1847 годы) и «Письма из Avenue Marigny» Герцена. Обратили на себя внимание читателей статьи также «Взгляд на юридический быт древней России» Кавелина, «Парижские письма» Анненкова, «Письма об Испании» Боткина, экономические статьи В. А. Милютина.

Успех преобразованного «Современника» был очень велик и в первый же год своего существования он имел 2000, а на второй год уже 3100 подписчиков.

В области социально-политической «Отечественные записки» и «Современник» Некрасова выступали (насколько это было возможно) за уничтожение крепостного права, за политическую свободу за прогрессивные формы быта. Журналы были проводниками социалистической мысли и пропагандировали революционные идеи.

Отстаивая свои социально-политические позиции, «Отечественные записки» и «Современник»[1] вели активную борьбу со всеми защитниками крепостничества и самодержавия. Они систематически разоблачали продажность органов Булгарина и Греча, беспринципность «Библиотеки для чтения», дикое мракобесие «Маяка», квасной патриотизм «официальной народности» («Москвитянин») и псевдо-демократизм славянофильства.

Философские воззрения, пропагандировавшиеся «Отечественными записками» и «Современником», на протяжении 1840-х годов претерпели известную эволюцию. В основном, после отхода Белинского от примирения с действительностью, журналы развивали идеи диалектики и материализма и боролись с «христианской философией» представителей официальной народности и славянофильства, которые пытались при помощи реакционной мысли Запада (например, «философии откровения» Шеллинга) подвести философские основания под православие. Особенно значительны с этой точки зрения философские статьи Герцена «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы». Известна та характеристика, которую философским выступлениям Герцена дал В. И. Ленин: «В крепостной России 40-х годов XIX века, —

[1] И здесь и дальше речь идет об «Отечественных записках» при Белинском и некрасовском «Современнике» в 1840-е годы.

писал В. И. Ленин о Герцене, — он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени» (Сочинения, 3-е изд., т. XV, стр. 464).

Центральным моментом литературной критики «Отечественных записок» и «Современника» была борьба за реалистическое, подлинно народное искусство, искусство большого идейного и общественного значения.

Принцип реализма и народности в литературе противопоставлялся ими принципу «чистого искусства», «украшения и облагораживания действительности», который поддерживали разного рода литературные староверы, эпигоны классицизма и романтизма. Защищая реализм и подлинную народность в искусстве, Белинский, как было указано выше, дал глубокую оценку деятельности Пушкина, Лермонтова, Гоголя и справедливо считал их творчество гордостью русской национальной культуры. Такое понимание творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя было тогда многим недоступно, и «Отечественным запискам» и «Современнику» приходилось отстаивать свои оценки и характеристики в борьбе не только с литературными архаистами, не шедшими в своих симпатиях дальше Карамзина, но и с теми журналами и критиками, которые производили в великих писателей Кукольника, Бенедиктова, Хомякова, Н. Полевого и даже Булгарина. Защищая реализм и подлинную народность, «Отечественные записки» и «Современник» энергично боролись за развитие «натуральной школы» и сумели правильно оценить и выдвинуть таких писателей, как Герцен, Гончаров, Тургенев, Некрасов, Достоевский и другие, творчество которых было встречено более чем недоброжелательно журнальными врагами «Отечественных записок» и «Современника».

Направление «Отечественных записок» и «Современника» приобрело им много и друзей, и врагов. Реакционные журналы 1840-х годов вели с ними постоянную войну. Журналисты типа Булгарина не гнушались любыми средствами борьбы. Известны многочисленные доносы Булгарина, Б. Федорова и других на «Отечественные записки» и «Современник». Против «Отечественных записок» и «Современника» пытались создавать журнальные союзы. Шевырев, убеждая Плетнева в том, что с «Отечественными записками» нужна полемика, писал ему в 1846 г.: «Если бы мы соединили все силы, какие у нас есть: Ваш „Современник", „Москвитянин"... и „Городской листок" — газету ежедневную! — Вот было бы славно!..».

Жестоко преследовала «Отечественные записки» и «Современник» цензура. Особенно страдали от цензурной расправы статьи Белинского. Письма его буквально переполнены горькими жалобами на цензуру. «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи», — писал Белинский Боткину. Сильно изуродовала цензура и некоторые произведения Герцена. Не проявляла она снисходительности и мягкости и по отношению к другим сотрудникам «Отечественных записок» и «Современника».

4. «Финский вестник»

Насколько велика была среди лучшей части интеллигенции 1840-х годов потребность в организации соответствующих своему образу мыслей журналов, свидетельствует не только преобразование «Отечественных записок» и «Современника», но и неоднократные попытки некото-

рых кругов литераторов превратить в орган прогрессивной мысли «Финский вестник».

«Финский вестник» был основан в 1845 г. Ф. К. Дершау — автором книги «Финляндия и финляндцы». Издание нового журнала было ему разрешено, вероятно, потому, что «Финский вестник» ставил себе специальные цели: знакомить Россию со Скандинавией и Финляндией, а Финляндию с Россией. В качестве второго редактора был приглашен В. Н. Майков, который до этого времени принимал (вместе с Петрашевским) участие в составлении 1-го выпуска «Карманного словаря иностранных слов» Кирилова и был известен как человек образованный и талантливый.

«В „Финском вестнике", прочитав статью Майкова в отделе наук, я ужаснулся направлению, противоположному „Москвитянину" и „Маяку". Новый язычник возник на Руси в подкрепление „Отечественным запискам"», — писал из Архангельска некто Вальнев Погодину. Но сотрудничество Майкова в «Финском вестнике» было очень непродолжительным. Он принял участие в выпуске двух первых книжек, успел поместить в них свою статью «Общественные науки в России» и после этого отказался от сотрудничества в журнале. Отказался потому, что добивался превращения «Финского вестника» в журнал передовой общественной мысли и литературы и на этом пути разошелся с Дершау, который, будучи, по воспоминаниям одного из современников, «самым бессодержательным молодым человеком», проявлял неумеренные редакторские претензии, не имея к тому же средств для оплаты главных сотрудников.

После ухода Майкова «Финский вестник» до 1848 г. продолжал существование в качестве журнала довольно неопределенного и бесцветного. Большое место в журнале занимали специальные отделы: «Северная словесность» (заполнявшаяся преимущественно переводами из скандинавских писателей) и «Материалы для северной истории». Русская художественная литература была представлена в «Финском вестнике» довольно слабо и пестро: Кукольник, Загоскин, Гребенка, Ростопчина и, наряду с ними, петрашевцы Пальм и Дуров.

Особо нужно отметить наличие отдела «Нравоописатель», где было помещено большое количество физиологических очерков, принадлежавших перу Даля, Е. П. Гребенки, В. Толбина и др. Отдела «Критика» не было. Вместо него велась «Библиографическая хроника», заполнявшаяся анонимными рецензентами. Прогрессивные тенденции журнала сказались в «Библиографической хронике» довольно определенно. «Отечественные записки» и «Современник» Некрасова оцениваются «Финским вестником» как превосходные журналы, «оправдывающие ожидания публики и много обещающие в будущем»; «Москвитянин» же характеризуется как «жалкий представитель известной партии московских литераторов ученых и неученых». О «Петербургском сборнике» Некрасова «Финский вестник» отозвался, как о книге, в которой «отразилось направление живое, современное», а о «Московском сборнике» 1846 г., как о книге, в которой «проявились химерические идеи истых славянофилов, которыми они потешают публику во славу бороды и армяка». Статьи Белинского, Герцена «Финский вестник» считает «дельными и умными», а романы «Бедные люди», «Кто виноват?», роман Жорж Занд «Лукреция Флориани» замечательными, высокохудожественными произведениями современной литературы.

Но симпатии к «живому и современному» направлению общественной мысли и литературы не могли изменить общего бесцветного облика «Финского вестника». Популярности среди читателей журнал не снискал, и Дершау едва сводил концы с концами.

В 1847 г. приобрести журнал (или войти в долю с издателем) хотел Петрашевский, но эта попытка вдохнуть жизнь в «Финский вестник» не осуществилась.

С 1848 г. «Финский вестник» переходит в руки В. В. Григорьева — профессора-ориенталиста Петербургского университета, который привлекает к ближайшему участию в журнале других профессоров университета: археолога П. С. Савельева и слависта И. И. Срезневского. Журнал коренным образом меняется, начиная с названия. С января 1848 г. он получает название «Северное обозрение», что связано с постепенной утратой журналом своего специально скандинавско-финского назначения. Еще более решительным образом меняется направление журнала. Новая редакция объявляла, что журнал будет издаваться в «религиозно-патриотическом духе» и станет «полезною оппозициею другим петербургским журналам». «Россия, — писала редакция,— должна развиваться и двигаться к общим целям человечества самостоятельно, выходя из собственных начал, иных чем западные, с величавым спокойствием и обдуманностью, противоположными беспокойной суетливости наших бывших учителей». «Наш журнал будет другом „Москвитянину", если сей последний не опочил навеки от трудов», — писал В. В. Григорьев издателю и редактору «Москвитянина» Погодину. «Честь и слава вам, что вы решились на подвиг, — отвечал Погодин. — Помогай вам бог ратоборствовать со стоглавою гидрою невежества и грубости». И Хомяков извещал своего друга Попова, что «в Петербурге молодые люди стали издавать журнал „Северное обозрение" в духе нашего направления».

Но, несмотря на то, что «Северное обозрение» как нельзя лучше соответствовало теперь тому направлению общественной мысли, которое (под влиянием революционных событий в Европе) официально признавалось весьма желательным, журнал не был поддержан читателями. Выпустив в 1848 г. только три книжки, Григорьев передал его В. В. Дерикеру, бывшему некогда наборщиком, затем помощником Сенковского по «Библиотеке для чтения», а позднее ставшему известным врачом-гомеопатом.

При Дерикере «Северное обозрение», хотя и отказалось от «религиозно-патриотического направления и утратило свое специальное назначение, но вместе с тем стало совсем бессодержательным журналом, потерявшим всякую определенность в своем облике. Такому превращению журнала сильно способствовала и вся обстановка трудного для русской печати семилетия (1848—1855), характеризующегося, как известно, безудержным разгулом реакции и цензурным террором.

Журнал, согласно воле редактора, стал осуществлять в своей деятельности «беспристрастие, справедливость, снисходительность» и сторониться «исключительных идей». С одинаковым рвением «Северное обозрение» начало хвалить и Тургенева и Масальского, и «Современник» и «Библиотеку для чтения» и «Отечественные записки» и «Сын отечества». Отдел «Нравоописатель» в журнале исчезает, но зато разрастается отдел «Науки». Истории, археологии, этнографии, естественным наукам, истории литературы были выделены в каждом номере

«Северного обозрения» особые разделы, которые заполнялись специальными научными работами.[1]

В 1850 г. издание «Северного обозрения» было прекращено.

5. «Журнальный триумвират» в 1840-е годы

1840-е годы в истории русской журналистики характерны не только возникновением ряда журналов, тесно связанных с растущим революционно-демократическим и оппозиционным общественным движением, но и постепенным закатом некогда могучего «журнального триумвирата». Одновременно с расцветом «Отечественных записок» и «Современника» гибнут или теряют всякую популярность органы Греча, Булгарина, Сенковского.

Ярким примером может служить судьба «Сына отечества». «Сын отечества» в течение 1840-х годов побывал в руках Н. Греча и Н. Полевого (1838—1840), А. Никитенко и Н. Полевого (1841), Сенковского (1842), К. Масальского (1843—1844 и 1847—1850), К. Масальского и П. Р. Фурмана (1850—1852), менял внешний облик и план издания, превращался из ежемесячника в еженедельник, из еженедельника в ежемесячник и тем не менее все время влачил жалкое существование, запаздывая выдачей книжек журнала, выходя неполными годовыми комплектами, теряя год за годом подписчиков. Во второй половине 1844 г. К. Масальский вынужден был приостановить издание «Сына отечества» по 1847 г. Но, появившись в 1847 г., журнал опять продержался недолго, и в 1852 г. окончательно прекратил свое существование.[2]

Самые сильные надежды на возрождение «Сына отечества» возникли у читателей в связи с привлечением в 1838 г. к руководству журналом такого опытного и прославленного журналиста, как Николай Полевой.[3] Подписка на журнал быстро поднялась: в 1837 г. при редакторе Грече «Сын отечества» имел 279 подписчиков, в 1838 г. при Н. Полевом — 2000 подписчиков.

Но Полевой не оправдал ожиданий публики. «Грустное удивление встретило первые номера его нового журнала, — писал Герцен, — он стал покорным и льстивым. Печально было смотреть на этого смелого борца..., пошедшего на сделки со своими врагами, как только прекратили его журнал. Печально было слышать фамилию Полевого рядом с фамилиями Греча и Булгарина». Действительно Н. Полевой в качестве редактора «Сына отечества» мало напоминал редактора «Московского телеграфа». Правительственная опала, материальные лишения превратили его в соратника Греча и Булгарина и защитника официальной идеологии. Вместе с Гречем и при ближайшем сотрудничестве Булгарина стал он выпускать «Сын отечества».

И несмотря на то, что Полевой отдался своему делу с энтузиазмом, что «Сын отечества» был единственным журналом, которому было раз-

---

[1] В I и II книжках «Северного обозрения» за 1849 г. были опубликованы ценные статьи Ир. И. Введенского о Державине и Тредиаковском.

[2] В 1856 г. «Сын отечества» был восстановлен Старчевским, но уже совсем в новом виде.

[3] В 1837 г. Н. И. Греч передал издание «Сына отечества» Смирдину. Последний пригласил для редактирования журнала Н. Полевого, который переехал из Москвы в Петербург. Юридическим редактором остался Греч, так как правительство не разрешило опальному редактору «Московского телеграфа» стать ответственным руководителем «Сына отечества».

решено иметь политический отдел, что с 1838 г. он стал выходить в объеме «Библиотеки для чтения» (до 30 печатных листов), успеха журнал не имел, и подписка на него стала катастрофически падать. Нельзя не увидеть в этом следствие принятого «Сыном отечества» направления. Квасной патриотизм и панегирики по адресу правительства и его политики не могли собрать вокруг журнала талантливых писателей и сотрудников и привлечь к нему симпатии читателей. К тому же Полевой как руководитель журнала, явно отставая от века, совсем не понимал новых явлений общественной и литературной жизни и продолжал в «Сыне отечества» развивать устарелые философские и эстетические теории. Он поверхностно иронизировал над диалектикой, считая ее схоластикой, защищал эстетические принципы романтизма и боролся с творчеством лучших писателей своего времени. Нечего и говорить при этом, что ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лермонтов, ни Кольцов не могли быть верно оценены и осмыслены с позиций официальной идеологии и романтизма. Вот почему Лермонтов для Полевого — создатель полдюжины недурных стихов и плохой прозы, а Гоголь — автор пятиактного фарса и водевиля («Ревизор») и забавных повестушек в «малороссийском жанре». Полевой был серьезно уверен, что у различных, даже в свое время никому неизвестных Озерковецких, Фроловых, Княжевичей и им подобных (не говоря уже о Грече и Булгарине) «право, станет дарования против какого-нибудь Лермонтова».

Естественно, что «Сын отечества» вынужден был влачить жалкое существование; естественно, что на Полевого и его журнал со всею силою своего таланта и негодования обрушился Белинский (см., например, его статью об «Очерках русской литературы» Полевого). «Уважаю его [Полевого] за прежнее, — писал Белинский Боткину, — но теперь, что он делает теперь? — пишет навыворот по-телеграфски, проповедует ту российскую действительность, которую так энергически некогда преследовал». Сильнее всего негодовал Белинский на дружбу Полевого «с подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, от которых гибнет наша литература, страждут истинные таланты и лишено силы все благородное и честное. . .».

После Полевого «Сын отечества» и вовсе упал.

Еще более жалкой была судьба другого периодического издания, предпринятого Гречем и Н. Полевым в 1840-е годы — журнала «Русский вестник». «Русский вестник», издававшийся некогда (с 1808 по 1824 г.) С. Н. Глинкой, перешел в 1840 г. от Глинки к Н. И. Гречу, который, пригласив в качестве ближайших помощников Н. Полевого и Кукольника, начал выпускать журнал с января 1841 г.

Редакция ожидала от издания «Русского вестника» всяческих благ. Полевой надеялся иметь в 1842 г. 1000—1200, а в 1843 г. 2000 подписчиков. Но уже с самого начала издания стало ясно, что успеха «Русский вестник» иметь не будет. «„Русский вестник" идет плохо, а в редакции его такое же согласие в идеях, как у щуки, сокола, рака в басне Крылова», — уже в марте 1841 г. вынужден был констатировать Полевой.

В 1842 г. Полевой попытался взять руководство «Русским вестником» полностью в свои руки, но и это не улучшило положение журнала. Полевому удалось собрать лишь 500 подписчиков и выпустить за 1842 г. только 6 книжек журнала. «Величайшую, огромнейшую глупость мы сделали, предпринявши „Русский вестник"», — писал он брату в марте 1842 г. В 1843 г. «Русский вестник» не выходил. В 1844 г. возродить его пытался третьестепенный писатель П. Каменский, но

безрезультатно; за весь год читатели получили только одну книжку журнала.

Да и мог ли иметь успех журнал, который заполнялся, главным образом, сухими и специальными статьями и материалами (три четверти одной из книжек было отведено «Книге Указной» царя Михаила Федоровича) и по своему направлению ничем не отличался от ранее выходившего под редакцией Полевого «Сына отечества». Как и «Сын отечества», «Русский вестник» ратовал за «самобытно-русское» миросозерцание, утверждал, что «современное искусство походит не на богиню изящного, а на полупьяную растрепанную вакханку»; исключал из «области изящного» и ставил ниже самых грубых фарсов и буффонад романы Диккенса и Жорж Занд; разносил Гоголя за то, что он «выставляет уродливым и нелепым» все русское. С особенной резкостью обрушился «Русский вестник» на появившийся в начале 1842 г. первый том «Мертвых душ». С точки зрения Полевого, это — произведение, «бедное содержанием», полное «небывалых преувеличений и грубых карикатур», чуждое стремлению «примирить для нас видимый раздор действительности изящною идеею искусства» и, конечно, произведение антипатриотическое. Одним словом: «искусству нечего делать, не в чем рассчитываться с „Мертвыми душами"».

Естественно, что и читатели 1840-х годов решили, что им «нечего делать» с «Русским вестником», и журнал в 1844 г. прекратил свое существование.

Не только «Сын отечества» и «Русский вестник», но и самый распространенный журнал 1830-х годов «Библиотека для чтения» стал в 1840-е годы клониться к упадку. Продолжая еще пользоваться популярностью в среде грамотных обывателей, чиновничества, поместного дворянства, журнал тем не менее утратил прежнее влияние и постепенно терял своих подписчиков. Если в 1830-е годы количество подписчиков «Библиотеки» достигало огромной по тому времени цифры 5—7 тысяч, то к 1847 г. их число упало до 3000. Совершенно очевидно, что широкие слои читателей перестал удовлетворять коммерческий облик журнала, его безидейность и беспринципность, его угодничество перед властью и близость к булгаринской клике. Успех «Отечественных записок» и «Современника» самым пагубным образом отразился на преуспеянии журнала Сенковского. «Как только в литературе выглянуло нечто новое и энергичное, Сенковский спустил свои паруса и скоро совершенно стушевался», — писал Герцен.

Остроумие и шутки Брамбеуса (которые становились все более плоскими и грубыми) не могли больше помочь «Библиотеке». Читатель уже знал «смех сквозь слезы» Гоголя, глубокую и серьезную иронию Белинского, блестящее остроумие Герцена. Читателям перестала нравиться и критика Сенковского, основанная на возведенной в принцип беспринципности, на потакании провинциальным, полукультурным вкусам, на безоговорочном принятии официальных установок. Всегда свойственная Сенковскому вражда ко всему значительному и талантливому в литературе в 1840-е годы еще усилилась. В угоду отсталым читателям он выступал с плоским вышучиванием всех больших, настоящих произведений искусства. Один из хорошо знавших Сенковского современников правильно заметил, что «от него была скрыта живая и сильная сторона» русской литературы, благодаря которой она «имеет свою великую, ей одной принадлежащую силу в русском обществе».

Как и Полевой, Сенковский замалчивал творчество Кольцова и неодобрительно относился к произведениям Лермонтова. «Откровенно

сказать, — писал он, — „Герой нашего времени" — не такое произведение, которым русская словесность могла бы похвалиться... Это — просто неудавшийся опыт юного писателя». Стихотворения Лермонтова Сенковский в 1840 г. снисходительно назвал «милыми пьесами», а в 1843 г. утверждал, что «многого, очень многого не доставало еще Лермонтову, как поэту, между прочим литературного образования, немножко хороших сведений, немножко классической учености...».

Мнения Сенковского о Гоголе и его «Мертвых душах», как отметил еще Чернышевский, были заимствованы у Н. Полевого, «даже знаменитое сравнение Гоголя с Поль де Коком». Как и Полевой, Сенковский видел в «Мертвых душах» «унижение русских людей», грубость, сальность, неправильность и неприличие слога и т. д. Оригинальным было только дешевое зубоскальство. Он нашел смешным, что «Мертвые души» названы поэмой и, разбирая вслед за ними книги по анатомии, ботанике, физике и т. д., иронически именовал их «поэмами».

Произведения натуральной школы он считал «низкими» и грязными и противопоставлял им «светскую повесть», изысканным языком изображающую возвышенные чувства людей образованного круга. Вместе с тем Сенковский продолжал твердить о гениальности Кукольника, Тимофеева, Фан-Дима и других незначительных писателей. Даже в 1852 г. «Библиотека для чтения» утверждала: «Кукольник владеет громадным талантом. Было время, когда сам Пушкин завидовал успеху Н. В. Кукольника... Кукольник умнее, ученее, основательнее и дельнее его смотрит на вещи... Гоголь, как беллетрист, гораздо ниже Кукольника».

Вокруг «Библиотеки для чтения» группировались третьестепенные писатели и журналисты, над произведениями которых Сенковский смело мог чинить привычную для него расправу, беспощадно их переделывая, сокращая и дополняя. «Сенковского окружала, — писал Герцен, — группа молодых литераторов, которых он губил, развращая их вкус».

Падение «Библиотеки для чтения» было, таким образом, неизбежно. Уже в 1848 г. издатель «Библиотеки» книгопродавец Печаткин оттесняет Сенковского от единоличного управления журналом и приглашает в качестве соредактора А. В. Старчевского. А к 1856 г. Сенковский и совсем был отстранен от участия в созданном им журнале. После Сенковского и Старчевского журнал переходил из рук в руки (Дружинин, Писемский, Боборыкин), и в 1865 г. навсегда закончил свое существование.

Так, в 1840-е годы один за другим утрачивают свое значение или вовсе прекращаются журналы «триумвирата», уступая место другим изданиям, в большей степени соответствующим «духу времени» [1].

---

[1] Постепенно теряет в 1840-е годы свою популярность и газета Булгарина — Греча «Северная пчела». Характер газеты оставался прежним. «Новыми» были нападки «Северной пчелы» на «Отечественные записки», на «Мертвые души» Гоголя, на писателей натуральной школы. С 1847 г. начинает приобретать все большую известность газета «Санкт-Петербургские ведомости», перешедшая в руки А. Н. Очкина, который придал им солидный характер и умеренно-либеральное направление. В ряде губернских городов упрочилось, введенное по предписанию правительства в 1838 г., издание «Губернских ведомостей». Кроме официальных лиц, в них принимала участие местная интеллигенция, а иногда и политические ссыльные (Герцен в Вятке и Владимире и др.). Наряду с официальными материалами «Губернские ведомости» давали сведения о культурной жизни провинции, помещали статьи этнографического характера, произведения народного творчества и т. п. Отметим, что некоторые газеты того времени помещали на своих страницах и художественные произведения и фельетоны о текущих явлениях русской литературы.

6. «Репертуар и пантеон»

Нельзя сказать, чтобы большой успех имели в 1840-е годы и периодические издания, которые, не задаваясь сколько-нибудь серьезными целями, стремились доставить публике занимательное чтение. К такому типу изданий относится известный театрально-литературный журнал 1840-х годов «Репертуар и пантеон».

«Репертуар и пантеон» несомненно имел своих читателей. И не только в театральном мире, но и среди грамотных обывателей столицы (главным образом чиновников), которые не отличались особенной взыскательностью и были горячими поклонниками Александринского театра того времени и его жалкого репертуара. Но вместе с тем никакой серьезной роли в идейной жизни общества «Репертуар и пантеон» не играл, широким распространением не пользовался и издателей своих не обогатил. К тому же некоторое время «Репертуар и пантеон» был связан с Булгариным и его литературной группой, которая привила журналу не только коммерческий дух, но и свои политические и литературные «убеждения».

«Репертуар и пантеон» (полное название: «Репертуар русского и пантеон всех европейских театров») возник в 1842 г. из слияния двух журналов: «Репертуара» и «Пантеона».

«Репертуар русского театра» издавался с 1839 г. Песоцким. Редактором его был В. С. Межевич — тот самый Межевич, которому Краевский в 1839 г. пытался поручить критический отдел «Отечественных записок» и который, с приходом в «Отечественные записки» Белинского, ушел от Краевского и, по выражению Белинского, «душою и телом предался Полевому, Гречу и Булгарину». Во вкусе своих новых друзей Межевич и руководил «Репертуаром».

«Пантеон русского и всех европейских театров» издавался с 1840 г. книгопродавцем В. Поляковым. Редактором его был известный в свое время театральный критик и водевилист Ф. А. Кони. «Пантеон», не отличаясь глубиной и идейностью, был все же более содержателен, чем «Репертуар». Один из сотрудников «Пантеона» А. Башуцкий приветствовал его рождение такими стихами:

Вырастай наш «Пантеон»...
Не давай нам драм злодейских,
Патриото-фарисейских,
Не комедий штукодейских,
Сцен трактирных и халдейских,
Водевилей полицейских
И куплетов из лакейских.

Башуцкий имел в виду ту драматургию, которая украшала страницы «Репертуара». С «Репертуаром» «Пантеон» повел ожесточенную войну, в основе которой лежали не только принципиальные разногласия, но и побуждения конкуренции. Нельзя не отметить, однако, очень смелого и злого нападения редактора «Пантеона» Кони на вдохновителя «Репертуара» Булгарина в водевиле «Петербургские квартиры», где под именем продажного журналиста Авдула Авдеича Задарина изображен Фаддей Бенедиктович Булгарин («Пантеон», 1840, № 10). В «Пантеоне» начал свою литературную деятельность Некрасов, печатавший там свои водевили и театральные рецензии.

Но существование двух литературно-театральных журналов было тогда невозможно по малочисленности читателей. В 1842 г. журналы соединяются и образуют единое издание: «Репертуар и пантеон». Издате-

лем становится Песоцкий, а редактором сначала Булгарин (1842), а затем снова Межевич (до 1847 г.).

Естественно, что объединенный журнал ничем существенным не отличался от «Репертуара». Только наряду с пьесами, игранными на русской сцене, «Репертуар и пантеон» стал помещать и неигранные, да кроме обозрения русских театров стал давать обозрения театров европейских. Во всем остальном журнал не изменился. Как и прежде, он заполнялся, главным образом, пустенькими комедиями и водевилями (переводными, переделанными, оригинальными) и романтическими драмами псевдо-патриотического характера (типа драм Полевого). Как и прежде, театральное обозрение журнала велось наредкость бесцветно. «Обозрения театров в „Репертуаре”, — писал Белинский, — давно уже знамениты отсутствием всякого мнения, удивлением всему и всем, и разве легкими заметками насчет самых плохоньких пьес, которых, по русской пословице, только ленивый не бьет». Характерно, что это «отсутствие всякого мнения» было возведено редакцией в принцип: «Входить в рассмотрение литературного достоинства имеющих успех пьес редакция считает совершенно излишним, представляя суд над оными самой публике, которой приговоры всегда и во всяком случае правее приговоров одного или даже многих частных лиц».

Таким образом, «Репертуар и пантеон» в качестве высшего судьи драматических произведений избрал публику Александринского театра — в массе своей обывательскую, и в ее хвосте плелся. Исключение из этого правила делалось только для драматургии Гоголя, которую «Репертуар и пантеон» вслед за Булгариным не одобрял, считая, что в «Ревизоре» нет вымысла и завязки, характеров, натуры, языка, идей и чувства и есть только карикатурные преувеличения (1840, № 3). Не проявляя заботы о мнениях и направлении «Репертуара и пантеона», его редакция прилагала все усилия к тому, чтобы журнал был занимательным. Для этого, кроме водевилей и комедий, журнал заполнялся биографиями артистов и музыкантов, театральными мемуарами, закулисной хроникой, слухами и двусмысленными анекдотами.

Сотрудниками «Репертуара и пантеона» были, по выражению Белинского, преимущественно, «не литераторы, а литературщики», т. е. мелкие журналисты, ради заработка готовые писать и водевили, и рецензии, и хронику, и анекдоты.

Вместо того, чтобы бороться за передовую драматургию, за высокую театральную культуру, «Репертуар и пантеон» насаждал и поощрял драмодельство, дурно влиял на театр и актеров, прививал обывательские вкусы зрителям и читателям. По справедливому замечанию Белинского, журнал придерживался «тактики унижения истинных талантов через возвышение жалкой посредственности».

Сравнительно более серьезный облик принял «Репертуар и пантеон» в 1846 г., когда ближайшим сотрудником Межевича стал Аполлон Григорьев, помещавший в журнале стихи и прозу, статьи и рецензии. В «Репертуаре и пантеоне» зазвучали новые мотивы. «Печально и жалко состояние русской драматургии, — писал А. Григорьев. — Уединенно только высятся над общим уровнем посредственности вовсе не сценические поэмы Пушкина и юношеская, но смелая драма Лермонтова, великая сатира Грибоедова и глубокие создания Гоголя».

Но и участие А. Григорьева не могло поднять падающий «Репертуар и пантеон», принести ему успех, и журнал был передан Ф. А. Кони, который и стал его издателем и редактором с 1847 г. При Кони «Репертуар и пантеон» хотя и не утратил до конца своего коммерчески-обыватель-

ского характера, но стал более содержателен. Журнал перестал восхищаться плохими изделиями драмоделов, бранить и замалчивать драматургию Гоголя, одобрительно отзывался о произведениях писателей натуральной школы (одно время литературные обозрения у Кони вел М. М. Достоевский) и, наконец, с одобрением встретил первые драматические произведения А. Н. Островского.

Под редакцией Кони «Репертуар и пантеон» выходил вплоть до своего прекращения в 1856 г.

7. «Маяк»

Подъем освободительного движения, распространение демократических и оппозиционных идей, усиление влияния передовой журналистики заставили правительство и господствующие классы России искать средств и форм энергичного противодействия. В связи с этим, наряду с полицейскими мероприятиями, направленными на удушение всяких проявлений прогрессивного общественного движения, реакционные круги русского общества стали думать о создании ряда периодических изданий, соответствующих их «видам» и желаниям. При этом нужно сказать, что известную часть правящей верхушки и большую часть верноподданнически настроенной дворянской и служилой интеллигенции деятельность Булгарина, Греча, Сенковского, Н. Полевого и самый характер их периодических изданий далеко не удовлетворяли. Как журнальные деятели и литераторы названные лица были уже сильно скомпрометированы в глазах общества, а их издания стояли на весьма невысоком культурном уровне, были проникнуты коммерческим духом, безидейностью и продажностью. Значение и влияние их, естественно, с каждым годом падали, как и авторитет их редакторов. Вот почему некоторые группы реакционной интеллигенции пытались в 1840-е годы создать журналы, которые были бы независимы от книгопродавцев и журнальной монополии триумвирата, отличались бы чистотою направления и приобрели бы такое значение, которое могло поколебать влияние «Отечественных записок». Отсюда возникновение таких журналов, как «Маяк» и «Москвитянин», для которых правительством Николая I было сделано отступление от правила, запрещавшего издание новых журналов. [1]

---

[1] Здесь всего удобнее напомнить о существовании в 1840-е годы ряда правительственных журналов, имевших то или иное отношение к литературе и критике. Так, «Журнал Министерства народного просвещения» (1834—1917) вел регулярный обзор (правда, очень бесцветный) литературных журналов и художественных произведений, который соответствовал, естественно, видам вдохновителя журнала — Уварова, редактора — послушного чиновника К. С. Сербиновича и ближайшего сотрудника отдела — известного доносчика Б. М. Федорова. В 1848 г. возник «издаваемый с высочайшего соизволения» журнал «Чтение для солдат» (1848—1897), редактором которого был полковник И. Чекмарев. Кроме отделов духовного красноречия, истории, специального военного и смеси был в журнале и отдел (довольно скромный) словесности. Стихи и проза, помещавшиеся в этом отделе, были или анонимны, или принадлежали перу «солдат и ратников», или доставлялись в журнал Ф. Глинкой, Шевыревым, Ознобишиным и другими еще менее значительными писателями. По характеру своему рассказы и стихи, наполняющие отдел «Словесность» «Чтения для солдат», относятся к произведениям квасным и шовинистическим. Кроме «Чтения для солдат» в период с 1836 по 1863 г. существовало еще одно подобного же рода издание Военного министерства «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений». Отдел «Изящной словесности» этого журнала, мало отличаясь от «Словесности» «Чтения для солдат» по своему направлению, превосходил его по качеству. В нем обильно перепечатывались произведения Жуковского, Языкова, Бенедиктова, Хомякова, Ростопчиной, Кукольника, Основьяненко и пр.

«Маяк современного просвещения и образованности» начал выходить в 1840 г. Редакторами и издателями журнала были в 1840—1841 гг. П. А. Корсаков и С. А. Бурачок, а затем — один Бурачок.

«Маяк» был органом воинствующего мракобесия и обскурантизма, в котором казенно-православное направление являлось совершенно открыто, по-домашнему. «Спасительное православие», «благотворное самодержавие» и «богом данную самобытную народность» «Маяк» славил на каждой своей странице, во всех своих отделах и притом в псевдонародном, юродивом стиле.

Поэзия была представлена, главным образом, «барабанными» стихами, вроде «Русь святая», «Заздравный кубок русскому царю», которые бездарно имитировали формы народного творчества. Проза «Маяка» не отставала от поэзии. Не удовлетворяясь «народными» повестями Зражевской, Н. Тихорского, П. Корсакова, Н. Елагина, журнал стал помещать произведения «русских мужичков» (?), написанные, по мнению редакции, «русским умом-разумом и деревенским складом». Появились на страницах «Маяка» «огородник с Выборской стороны», «областянин», «маячный сторож» и им подобные «мужички», которые, представляя в журнале «добрый русский народ», говоря от его имени, помещали в нем статьи и повести, вроде «Ложь да обман — православью изъян, а правда груба, да богу люба» или «На чужую кучу нечего глаза пучить, а свою заведи, да как хошь и гляди».[1] В соответствии с общим направлением журнала и проза и стихи «Маяка» были проникнуты воинственным духом и защищали православие, самодержавие и «народность» от посягательств своих идейных врагов. Прогрессисту Тмовскому противопоставлен в повести Иваницкого «Восток и Запад» защитник православия Златонов. «Тень» западничества уступает место «свету» квасного патриотизма в повести Корсакова «Свет и тень». Присяжным баснописцем «Маяка» был Борис Федоров, известный своими доносами на «Отечественные записки». Достаточно указать на опубликованную им в «Маяке» басню «Крысы», чтобы понять, какого рода произведениями (их называли «юридическими») не пренебрегал «Маяк» в борьбе со своими врагами. В басне идет речь о крысах, которые, заведясь в книжной кладовой, «поэзию зубами рвали и на Державина напали». Федоров имел в виду Белинского и критику «Отечественных записок». Мораль басни содержала прямой призыв к «котам» из III отделения:

Литературных крыс я наглости дивился:
Знать, Васька кот запропастился!

Философией ведал в «Маяке» Бурачок. Он беспощадно расправлялся с ней и призывал за разрешением всех важнейших задач ума человеческого обращаться к религии. «Что больше: ум или бог, наука об уме или наука о боге?» — спрашивал Бурачок, «анализируя» систему Канта и решая «задачи философии». «Если философию ограничить наукою об

---

[1] Необходимо отметить, что в «Маяке» принимала участие группа украинских писателей: Н. Костомаров, Основьяненко, Гулак-Артемовский и другие. Т. Г. Шевченко опубликовал в «Маяке» «Никиту Гайдай» (отрывок из драмы) и поэму «Бесталанный» (1842, № 5 и 1844, № 14). Сотрудничество в «Маяке» писателей-украинцев объясняется, вероятно, интересом журнала к славянству. Участие в «Маяке» Шевченко носило случайный характер. К творчеству Шевченко журнал относился очень осторожно. В развернутой рецензии «Гайдамаки» Н. Тихорский разъяснял, что Шевченко смотрит на историю глазами язычника, а не христианина, что в его поэме представлена «картина», может быть, и близкая к природе, но не очень поэтическая, и призывал «певца Гайдамаков» обратиться к миру духовному (1842, № 4). Ср. также бессодержательную рецензию К. (Корсакова) на «Кобзарь» (1840, № 1).

уме, так о боге и помина не будет! Оставьте лучше эту мертвую философию Западу! . .». Для истинного христианина философия — «одно пустословие, потому, что важнейшие ее вопросы давно уже решены» («Система философии „Отечественных записок"» — 1840, № 9; «Задачи философии» — 1842, № 6).

Столь же успешно разрешал «Маяк» и проблемы эстетики в статьях другого редактора журнала Корсакова. «Бесспорно, что природа должна быть основанием идеалов искусства, но какая природа? Только прихоть художника решится изображать с математической точностью низкую природу. . . Подле гениальной картины Брюллова кто станет любоваться какою-нибудь оргиею фламандской школы?» («О критике»—1840, № 1).

Литературно-критические выступления «Маяка» не нарушают единства журнала. Прежде всего учиняется разнос передовой западной литературы. Порицая таких «недостойных и безнравственных грешников», как Бальзак, Гюго, Жорж Занд и даже Гете, журнал настойчиво пропагандировал мнения некоей Софьи Панюты, которая, характеризуя западноевропейскую литературу уродливыми словами, написанными наоборот, назвала их «открытиями в царстве мифов». «Остроумная» Софья Панюта «открыла», что западной литературе присущи: 1) Короп — порок, безнравственность, соблазн; 2) Тсондзарп — праздность, скука, безжизненность; 3) Аничил — личина, фразерство, внешность, цветистость; 4) Яизюлли — иллюзия, призрак, мороченье; 5) О, Лавудан — надувало и т. д. и т. п. (1841, № 14 «Взгляд на французскую литературу 1840 года» и 1842, №№ 1 и 4).

Отношение журнала к различным явлениям русской литературы не менее определенно и ясно. Русской литературе явно недостает религиозности, «патриотизма», «народности». «Не ищите у Пушкина религиозности: его умели отвратить от нее». Поэтому, «тот, кто призван был воссоздать русскую поэзию [Пушкин], именно тот уронил ее по крайней мере десятилетия на четыре» (см. статьи Мартынова о Пушкине, 1843, №№ 7—12). «Пушкин — флигельман русской литературы, которая доселе повторяет его мишурные артикулы», — писал и сам Бурачок на свойственном ему, как бывшему военному моряку, флотском «диалекте».

В творчестве Лермонтова «Маяк» тоже не нашел «и следов философии, религиозности, русской народности» и увидел лишь клевету на целое поколение людей «и проповедь отвратительного эгоизма и пессимизма». «Итого: воровство, грабеж, пьянство, похищение и обольщение девушки, два убийства, презрение ко всему святому, одервенелость, парадоксы, софизмы, зверство духовное и телесное», — характеризовал Бурачок «Героя нашего времени». Особенно возмущала Бурачка лермонтовская поэтизация борьбы, неукротимого стремления к свободе сильных волей героев. «Надоел этот „могучий дух", — писал он. — „Могучий дух" в медведе, барсе, василиске, Ваньке Каине, Картуше, Робеспьере, Пугачеве, в диком горце, в Наполеоне — один и тот же род: дикая, необузданная воля, преступная в человеке» (1840, № 4).

Гоголь и современная русская литература получают у «Маяка» еще более отрицательную оценку. «Литература дошла до разжиженного состояния», «все пороки, все мерзости человечества поступили в число материалов для изящных произведений».

Пушкину, Лермонтову и современным литераторам «Маяк» противопоставляет писателей XVIII в.: Ломоносова, Державина, Карамзина, Дмитриева и некоторых других, в творчестве которых он находит (часто совсем неосновательно) и религию, и преданность самодержавию, и угодную журналу «народность». Впрочем, и среди современ-

ных русских писателей «Маяк» выделяет достойных. Их он называет «портретными писателями», т. е. такими, «которых не только сочинения, но личность в портрете известна и любезна всей России». К ним журнал, уступая вкусам читателей, милостиво относит и Пушкина с Жуковским. Но зато в какое окружение они поставлены! «Греч, Полевой, Жуковский, Пушкин, Зотов, Булгарин, Карпович, Кукольник, Александров, Каменский, Воскресенский — все это у нас портретные писатели, т. е. даровитые, всеми любимые и всеми уважаемые писатели» (1842, № 1).

Откровенное мракобесие, исповедуемое журналом, естественно не смогло собрать под свои знамена талантливых писателей и сотрудников, не смогло привлечь к себе и сочувствие читателей. Даже журналы реакционного направления старались отмежеваться от «Маяка». Передовые же журналы, не имея острой необходимости и возможности полемизировать с «Маяком», ограничивались обычно короткими насмешливыми замечаниями по поводу фантастического издания, обретающегося на «заднем дворе литературы». Большой популярностью пользовалась эпиграмма на «Маяк» Соболевского:

«Просвещения Маяк»
Издает большой дурак,
По прозванию Корсак,
Помогает дурачок,
По прозванью Бурачок.

В 1840 г. «Маяк» имел 800 подписчиков. С каждым годом число их уменьшалось, и в 1845 г. журнал вынужден был прекратить свое существование, сыграв роль предшественника «Домашней беседы» Аскоченского и других подобного рода периодических изданий, которые в различных формах возникали в России вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции.

8. «Москвитянин» и «Московские сборники»

«Маяк» издавался в Петербурге. Между тем настоятельную потребность в организации своего журнала давно уже испытывала и московская консервативная интеллигенция, с беспокойством наблюдавшая за ростом влияния как «торгового», так и демократического направления в русской журналистике. В 1841 г. в Москве начал выходить журнал «Москвитянин», редактором и издателем которого был профессор Московского университета историк М. П. Погодин, а руководителем критического отдела другой профессор — историк литературы С. П. Шевырев.

«Москвитянин» был журналом официальной народности, открыто написавшим на своем знамени знаменитую формулу Уварова: «православие, самодержавие, народность». Журнал постоянно предостерегал русское общество от увлечения революционными и социалистическими идеями. Отстаивая учение о самобытности исторического развития России, «Москвитянин» защищал крепостное право, деспотизм и религию. «Народность» и «патриотизм» журнала носили реакционный характер. Выступления сотрудников журнала Погодина против рационализма и материализма, их попытки создать так называемую «христианскую философию», дали повод Герцену иронически называть «Москвитянин» журналом «сухопутного православия» в отличие от «Маяка» — журнала «морского православия».

В соответствии с общим направлением журнала Шевырев выступал в своих критических статьях против натуральной школы. Он более чем

недоброжелательно отнесся к первым литературным выступлениям Некрасова, Герцена, Тургенева, Достоевского, утверждая, что их произведения не отвечают основной задаче искусства: возбуждать чувство гармонии в душе человека. Отрицательно оценил Шевырев и поэзию Лермонтова. Лермонтов, с его точки зрения, поэт, не вышедший из стадии подражания. Результатом подражания является в творчестве Лермонтова и образ «героя нашего времени»; в русской жизни нет якобы оснований для появления таких характеров. «Мертвые души» Гоголя тоже не вызвали восторга у Шевырева, но он надеялся, что Гоголь от односторонне-критического изображения русской действительности перейдет к изображению ее «светлых» сторон. Возможность такого перехода увидел Шевырев в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Встать на путь изображения «идеальных начал» русской жизни Шевырев звал не только Гоголя, но и Островского, Григоровича и других писателей.

С самого начала своего существования «Москвитянин» выступил как журнал воинствующей идеологии. Он активно боролся против философских, исторических, литературных мнений «Отечественных записок» и «Современника», против Белинского и Герцена. Боролся и тяжеловесными научными статьями, и критическими рецензиями, и прозой и стихами. Особенно враждебно относился «Москвитянин» к Белинскому.

Самыми ближайшими сотрудниками журнала были старомодные и реакционные литераторы вроде М. А. Дмитриева, Ф. Глинки, А. Глинки, Стурдзы и других. Заметное участие в «Москвитянине» приняли некоторые профессора и ученые Московского и других университетов, близкие по своим убеждениям редакции журнала (И. И. Давыдов, Бодянский, Лешков и другие). Тесными узами был связан «Москвитянин» с церковными кругами.

Изредка рядом с произведениями «допотопных стариков» и многочисленных второразрядных литераторов журнал помещал на своих страницах и некоторые вещи Гоголя, Даля, Основьяненко, Жуковского, Языкова, Вяземского, Хомякова, Фета, Полонского и других прозаиков и поэтов, известных широким кругам читателей и оставивших свое имя в истории русской литературы.

На протяжении всех 1840-х годов «Москвитянин» влачил довольно жалкое существование. Только первые два года своей жизни журнал пользовался некоторой популярностью, а затем интерес к нему почти совершенно упал. Новая полоса существования начинается для «Москвитянина» с 1850 г., когда отделы литературы и критики перешли в ведение «молодой редакции», т. е. Островского, А. А. Григорьева, Е. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова, Т. И. Филиппова. Под руководством «молодой редакции» «Москвитянин» видоизменился. В отделе изящной словесности стали появляться произведения таких писателей, как Островский, Писемский, Мельников-Печерский, Григорович, Потехин, Мей и другие; отдел критики перешел в руки А. Григорьева; Эдельсон и другие стали вести систематические журнальные обзоры; возник отдел литературного фельетона, в котором стал подвизаться Б. Н. Алмазов, выступавший под псевдонимом Эраста Благонравова.

Некоторые сдвиги произошли и в направлении журнала. Он стал проповедывать, по выражению А. Григорьева, «народность демократическую и прогрессивную». Правда, «демократическая народность» «молодой редакции» не шла дальше идеализации консервативного патриархального купечества, но тем не менее «Москвитянин» перестал с прежним усердием твердить о спасительности православия и самодержавия и

уверять своих читателей в идеальном характере общественных отношений России.

Критика обновленного «Москвитянина» тоже стала лучше и современней критики «Москвитянина» 1840-х годов. Все это не мешало, конечно, А. Григорьеву и Эдельсону считать неполноценным гоголевское направление в литературе, продолжать борьбу с передовыми журналами и видеть народность Островского (сказавшего, по мнению Григорьева, «новое слово» в русской литературе) не в критике «темного царства», а в идеализации русской патриархальности.

В 1853 г. кружок, объединившийся вокруг «Москвитянина» и А. Григорьева, распался. Журнал некоторое время снова влачил жалкое существование, а затем, в связи с обозначившимся в середине 1850-х годов переломом в русской общественной жизни и стремительным напором новых враждебных ему идей, навсегда прекратил свое существование (1856).

Будучи органом официальной народности, «Москвитянин» из всех существующих тогда ежемесячников был наиболее близок славянофилам. Но славянофильским журналом он не был. Сотрудничество славянофилов в «Москвитянине» было эпизодическим (по мере необходимости для самих славянофилов). Отсюда и неоднократные попытки славянофилов взять «Москвитянин» полностью в свои руки и устранить от руководства Погодина и Шевырева. Всякие же соглашения и компромиссные договоры неизбежно кончались разрывом.

Вот почему славянофилы, несмотря на наличие «Москвитянина», предпочитали время от времени издавать «Московские сборники», что всегда вызывало возмущение Погодина. На решение славянофилов выступить с учено-литературными сборниками должно было повлиять появление в Петербурге сборников, изданных Некрасовым: «Физиология Петербурга» (1845) и «Петербургский сборник» (начало 1846 г.). Необходимо было дать ответ на эти манифесты натуральной школы.

Славянофилами было издано три тома «Московских сборников»: в 1846, в 1847 и в 1852 гг. В них приняли участие все видные славянофилы и близкие к ним литераторы и ученые — Жуковский, Вяземский, Максимович и другие. В «Сборниках» были помещены: программные статьи Хомякова и И. Киреевского, литературно-критические статьи Самарина и К. Аксакова, стихотворения Языкова, Хомякова, И. Аксакова, Жуковского, Вяземского, Берга, отрывок из «Семейной хроники» С. Т. Аксакова и т. д.

Славянофильские критики К. Аксаков, Хомяков, Самарин, И. Киреевский жаловались на бедность и бессилие русской литературы. По их мнению, начиная с Петра I и его реформ развитие русской литературы превратилось в историю «глотания готовой, чужими руками изготовленной пищи». Иначе говоря, русская литература будто бы оторвалась от самобытной, национальной почвы, от русского народа и пошла по пути рабского подражания западноевропейским образцам. Именно поэтому — считали славянофильские литераторы — русская литература усвоила одностороннее и вредное отрицательное отношение к русской народной жизни. Борьба с отрицательным — гоголевским — направлением литературы и являлась главной чертой славянофильской критики.

Возникновение в русской литературе натуральной школы было встречено большею частью славянофилов чрезвычайно недоброжелательно. Обычно обходя молчанием появление новых произведений русской литературы (хотя бы и очень значительных), славянофильские литераторы сделали для натуральной школы исключение. В 1847 г. во втором томе

«Московского сборника» К. Аксаков обрушился на «Петербургский сборник», охарактеризовав большую часть помещенных в нем произведений как «хлам» и легкомысленную болтовню. Тогда же Самарин напал в «Москвитянине» на Белинского и натуральную школу в статье «О мнениях „Современника" исторических и литературных». Подобно Шевыреву, и тот и другой упрекали писателей натуральной школы в изображении одних темных сторон русской жизни, в слепом преклонении перед Западом, в пренебрежительном и высокомерном отношении к русскому крестьянству и незнании коренных начал русской народной жизни.

Нападая на натуральную школу, славянофильская критика еще решительнее, чем Шевырев, старалась доказать, что Гоголь не имеет с ней почти ничего общего. Восторженный К. Аксаков рассматривал «Мертвые души» как эпическое созерцательное произведение типа «Илиады», раскрывающее «субстанцию» русского народа; Самарин утверждал, что Гоголь обратился к изображению пошлой стороны действительности лишь в силу потребности внутреннего самоочищения.

Призывая писателей к воспроизведению светлых сторон русской жизни, славянофилы добивались, чтобы литература обратилась к изображению самобытных начал русского деревенского быта и духовного величия русского крестьянина. «Вот, что значит прикоснуться к земле, к народу: в миг дается сила» — писал К. Аксаков по поводу «Хоря и Калиныча». Во всем этом, несомненно, сказалось искреннее народолюбие славянофилов и их справедливое негодование на презрительное отношение к простому народу со стороны разного рода «космополитов» и светских писателей. Однако славянофильские критики представляли себе деревенский быт крайне превратно, в духе своей реакционно-утопической догмы. Русский крестьянин, с их точки зрения, это — носитель начал православия и древнего общинного быта, «могущественный хранитель жизненной великой тайны», который по своему духовному уровню стоит значительно выше образованного общества и не нуждается ни в наставлениях, ни в воспитании и просвещении. В связи с этим становится ясным, что призывы славянофильских критиков к изображению светлых сторон русской жизни означали стремление превратить русскую литературу в средство пропаганды славянофильских заблуждений и ложных представлений о действительности, стремление направить развитие литературы в России не по пути критического реализма, а по линии реакционно-утопического романтизма.[1]

9. 1848 год в России и положение русской журналистики

С 1848 г. в истории русского освободительного движения, литературы и журналистики начинается период «мрачного семилетия». Рево-

[1] В заключение обзора журналистики 1840-х годов следует упомянуть еще о двух периодических изданиях того времени: «Иллюстрации» (1845—1849) и «Ералаше» (1846—1849). «Иллюстрация» была еженедельным иллюстрированным журналом, рассчитанным на широкие слои читающей публики. Редактором журнала был Н. Кукольник. Кроме иллюстраций, разного рода описаний, смеси, новостей, игр, журнал помещал иногда коротенькие рассказы Кукольника, Даля, Гребенки, Н. Полевого, Башуцкого и других. «Ералаш» — альбом карикатур, издававшийся известным карикатуристом 1840-х годов М. Л. Неваховичем и выходивший по 4 книжки в год. Это был первый русский журнал карикатуры, который совмещал рисунок с небольшим стихотворным или прозаическим текстом. «Ералаш» затрагивал злободневные темы петербургского быта и жизни (в том числе театра и литературы). Острый и мастерский по исполнению «Ералаш» пользовался успехом. Делали альбом сам М. Л. Невахович и Н. А. Степанов — позднее редактор «Искры».

люция 1848 г. зажгла революционный пожар во всех европейских странах и весьма сильно сказалась в России. В стране поднимается глухое брожение в народных массах, нарастают волнения крестьян, создается острое положение в Польше и Прибалтике, возникает страх и паника среди дворянства. «Все ходили озабоченные, в каком-то неопределенном страхе... — пишет в своих «Записках» барон Корф. — Более других страшился и, может статься, один имел повод страшиться, класс помещиков перед вечным пугалищем — крепостного нашего состояния». С другой стороны, усиливаются революционные и оппозиционные настроения и чаяния среди передовой русской интеллигенции. Не только петрашевцы, Герцен, молодой Чернышевский, но даже такие умеренные и трусливые либералы, как А. В. Никитенко, начинают питать надежды на перемены в общественно-политическом режиме России. Но надеждам подобного рода не суждено было осуществиться. Наоборот: в стране наступило торжество самой гнетущей реакции. Правительство Николая I («вооруженная рука Священного союза») встало на путь жестокой расправы с общественным движением не только в России, но и в Европе. Как известно, не ограничиваясь дипломатическими шагами, Николай I осуществил военное вмешательство в европейские события (так называемая «Венгерская кампания»). В самой же России неспокойные губернии были наводнены войсками и по всей стране усилились полицейские мероприятия и надзор. Очень сильно сказалась политическая реакция на судьбах русского просвещения. В университетах значительно сократили число студентов, изъяли из числа изучаемых дисциплин философию, носились даже слухи о закрытии университетов. Дело дошло до того, что сам министр Уваров был заподозрен в либерализме и должен был уступить свое место законченному мракобесу Ширинскому-Шихматову, про которого современники говорили, что он объявил русскому просвещению «шах» и «мат» одновременно.

В связи с событиями 1848 г. особенное внимание правительства Николая I привлекла русская литература и журналистика. Булгарин, Федоров и другие доносчики давно уже призывали III отделение расправиться с очагами революции в русской литературе, но до поры до времени их доносы не вызывали серьезных последствий. В начале февраля 1848 г. — незадолго до получения в России первых известий о революции во Франции — III отделение получило еще три анонимных доноса, в которых речь шла, главным образом, об «Отечественных записках», «Современнике» и Белинском. В доносах говорилось, что в сочинениях Белинского и его последователей «есть что-то похожее на коммунизм, и молодое поколение может от них сделаться вполне коммунистическим», что целью «Отечественных записок» и «Современника» является «потрясение основ». На этот раз, в связи с известиями о февральской революции, доносам был дан ход. 23 февраля (на следующий день после получения первых достоверных сведений из Франции) шеф жандармов граф Орлов представил доклад царю о положении периодической печати в России, в котором почти дословно повторял один из доносов и утверждал, что «Отечественные записки» и «Современник» «могут поселять в молодом поколении мысли о политических вопросах Запада и коммунизме». Орлов предлагал царю усилить строгость цензурного надзора. Кроме Орлова, аналогичные записки Николаю I были поданы бароном Корфом и графом С. Г. Строгановым. Корф, напуганный «ужасными происшествиями на западе Европы», советовал «обратить самое бдительное внимание на журнальную нашу литературу». «Русские журналы и газеты, — доносил Корф, — читаются и всеми мелкими чинов-

никами, и в трактирах, и в лакейских, рассыпаясь таким образом между сотнями тысяч читателей» и могут «в случае ложного или недовольно осмотрительного направления произвести самые гибельные последствия».

Исходя из доклада Орлова и записок Корфа и Строганова, Николай I указом от 27 февраля учредил особый комитет под председательством князя Меньшикова (члены: Бутурлин, Строганов, Корф, Дубельт и Дегай), которому было поручено тщательно обследовать содержание выходящих журналов и действия цензуры. Над лучшими журналами нависла угроза закрытия. К этому времени в распоряжение комитета поступило из III отделения несколько новых доносов, в том числе Булгарина и Федорова. Булгарин в своем доносе, озаглавленном «О коммунизме и цензуре в России», требовал: «Краевскому и Никитенке (ибо «Современник» есть эхо «Отечественных записок») запретить вовсе быть редакторами каких бы то ни было журналов, и журналы их запретить... Это даст острастку всем писакам и всей шайке коммунистической. Пока будут действовать Краевский и Белинский, в литературе чумы не истребить...». Федоров же приводил многочисленные выписки из «Отечественных записок» и «Современника» с целью доказать, что эти журналы проповедывали идеи: «противорелигиозные», «противонравственные», «против повиновения законам и о стремлении к свободе», «возмутительные, и о политических переворотах», «материализм и политические мнения в сочинениях Искандера [Герцена]» и т. п.

29 марта на заседании «меньшиковского комитета» обсуждались результаты обследования периодических изданий. Как и следовало ожидать, отзывы о «Северной пчеле», «Библиотеке для чтения», «Москвитянине» были благоприятны. «„Северную пчелу", — заявил Дубельт, — должно причислить к самым благонамеренным, в духе правительства действующим журналам». Корф был столь же лестного мнения о «Москвитянине»; «Москвитянин», по его мнению, «орган весьма чистого направления», что видно из его «постоянного состязания с „Отечественными записками" и „Современником"».[1] Совсем иначе были оценены членами комитета «Отечественные записки» и «Современник». Строганов указывал, что «Современник», «содержит в себе места, писанные в духе прогрессистов и так называемой натуральной школы», и в подтверждение ссылался на статью Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года», на статью Герцена «Несколько замечаний об историческом развитии чести», на повесть Григоровича «Антон Горемыка» и др. Еще более неблагожелательным был отзыв Дегая об «Отечественных записках». На основании всех материалов, оказавшихся в его распоряжении, меньшиковский комитет (заканчивая свою работу) представил доклад царю, в котором рекомендовал подвергнуть «Отечественные записки» и «Современник» строжайшему надзору и пригрозить их редакторам не только запрещением журналов, но и личной ответственностью. Николай I предложение комитета полностью одобрил, и Краевскому и Никитенко пришлось явиться в III отделение и дать подписку на бумаге следующего содержания: «Государь император, рассмотрев всеподданнейший доклад, представленный комитетом, высочайше утвержденным под председательством генерал-адъютанта князя Меньшикова, и прочитав выписки, помещенные в упомянутом докладе из «Отечественных записок» и «Современника», изволил признать, что журналы сии допускали в статьях своих мысли в высшей степени преступ-

---

[1] Это не помешало Корфу утверждать, что помещенное в «Москвитянине» в 1847 г. «слово архиепископа Харьковского» «может возбудить идеи коммунизма» (?!).

ные, могущие поселить и в нашем отечестве правила коммунизма, неуважение к вековым и священным учреждениям, к заслугам людей, всеми почитаемых, к семейным обязанностям и даже к религии, повредить народной нравственности и вообще подготовить у нас те пагубные события, которыми ныне потрясены западные государства. Хотя по всей справедливости следовало бы издателей „Отечественных записок" и „Современника" Краевского и Никитенку подвергнуть личной наистрожайшей ответственности, но его императорское величество в милосердии своем на сей раз соизволил ограничиться повелением: внушить издателям упомянутых журналов, Краевскому и Никитенке, чтобы они на будущее время не осмеливались ни под каким видом помещать в своих журналах статей и мыслей, подобных вышеизъясненным, чтобы, напротив того, всеми мерами старались давать журналам своим направление, совершенно согласное с видами нашего правительства, и что за нарушение этого при первом после сего случая, им воспрещено будет издавать журналы, а сами они подвергнутся наистрожайшему взысканию и поступлено с ними будет, как с государственными преступниками».

Царское предупреждение нагнало на Краевского и Никитенко сильный страх. Никитенко обратился к шефу жандармов с письмом, в котором уверял в своей преданности «великому государю» и сваливал «упущения» «Современника» на его сотрудников. Письмо граничило с доносом. А когда Николай ответил на письмо: «пусть докажет на деле свои чувства», Никитенко счел за лучшее совсем отказаться от редактирования «Современника» (в апреле 1848 г.). Краевский поступил еще «решительнее». Он сначала побежал в III отделение и изъявил там готовность «быть органом правительства», потом отправил письмо Дубельту, в котором, как и Никитенко, объяснял наличие «чужеземного влияния» в журнале увлечениями своих сотрудников и, наконец, поместил в «Отечественных записках» статью «Россия и Западная Европа в настоящую минуту», где в самых льстивых выражениях превозносил русское самодержавие.

Некоторые сотрудники «Отечественных записок» и «Современника» пострадали от деятельности меньшиковского комитета в гораздо большей степени, чем редакторы журналов. М. Е. Салтыкову, на «неблагонамеренность» повести которого «Запутанное дело» обратил особое внимание Дегай, пришлось отправиться в ссылку в Вятку, и нет никакого сомнения в том, что только преждевременная смерть спасла от правительственных репрессий Белинского.

Но и этим не исчерпываются результаты деятельности «меньшиковского комитета». Поскольку он установил вредное направление в русской журналистике и серьезные упущения цензуры, было разрешено учредить постоянный комитет по делам печати. Такой комитет и был создан под именем «Комитета 2-го апреля» или «Бутурлинского», как его обычно называют по имени его председателя Бутурлина.[1] Кроме Бутурлина, членами комитета были назначены Корф и Дегай, а в помощь им приданы шесть помощников, в том числе и Борис Федоров. Комитет 2-го апреля был облечен исключительными полномочиями. Его ведению подлежали все произведения печати, их дух и направление. Комитет был негласный; он не заменял, а контролировал цензурное ве-

[1] Мракобесие Бутурлина имело нередко анекдотический характер. Он говорил, что Евангелие следовало бы запретить за демократический дух, настаивал на закрытии университетов, находил даже в акафистах богородице «опасные выражения» и утверждал, что формула Уварова «Православие, самодержавие, народность» — революционный лозунг.

домство и рассматривал произведения литературы по выходе их в свет. Все заключения комитета, после утверждения царем, передавались как личные распоряжения и указания Николая. По словам Корфа, царь, учреждая Комитет 2-го апреля, сказал: «Цензурные установления остаются все как были, но вы будете я, т. е. как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет расправиться с виновниками».

С образованием Бутурлинского комитета наступили для русской литературы и журналистики трудные времена. Период семилетней деятельности комитета даже в официальных «Исторических сведениях о цензуре в России» (1862) назван «эпохой цензурного террора».

Поднялась тогда тревога
В Париже буйном и у нас
По-своему отозвалась...
Скрутили бедную цензуру,
Послушав, наконец, клевет,
И разбирать литературу
Созвали целый комитет —

вспоминал впоследствии Некрасов.

10. «Мрачное семилетие» в истории русской журналистики

Годы с 1848 по 1855 — это время, по сравнению с которым даже чугунный политический режим предшествовавшего десятилетия кажется гуманным. Т. Н. Грановский имел все основания сказать: «Благо Белинскому, умершему во-время». Наступил разгул правительственной реакции и репрессий, тяжело сказавшийся на русской литературе и журналистике.

В 1849 г. была организована чудовищная расправа с петрашевцами, среди которых было немало писателей и журналистов (Достоевский, Плещеев, Пальм, Дуров и др.). В том же году подвергся заключению в Петропавловской крепости и высылке в Симбирскую губернию славянофил Ю. Самарин и был арестован и допрошен другой славянофил — Ив. Аксаков. По мнению правительства, Ю. Самарин в «Остзейских письмах», а Ив. Аксаков просто в своих частных письмах, прочитанных полицией, высказывали недозволенные и опасные мысли: что начиная с Петра I русское самодержавие действует «только по внушению и под влиянием немцев», что петербургское дворянство «оторвалось от народа» и т. п. В 1850 г. учреждается полицейский надзор за Островским, в связи с тем, что комедия «Свои люди сочтемся» вызвала недовольство царя и была запрещена им к постановке на сцене. Тогда же подверглись аресту Огарев, Сатин и другие. В 1852 г. за безобидный некролог Гоголя высылается в свое имение Тургенев. «Трудно себе представить, как тогда жили люди. Люди жили, словно притаившись... — вспоминает современник. — Некоторые из нервных господ, вроде В. П. Боткина... почти что тронулись».

Под влиянием гнетущих обстоятельств спадают революционные и оппозиционные настроения в некоторых кругах русской интеллигенции и ослабевают глубокие духовные запросы и общественные интересы. Идейное оживление 1840-х годов было парализовано. Происходит поправение, а частично и перерождение интеллигенции, оторванной от народа. Интеллигенция замыкается в круг личных интересов и обывательского времяпрепровождения или усваивает нравы богемы. Даже кру-

жок литераторов, группировавшийся вокруг «Современника», не избежал общей участи.

Идейная борьба Белинского и Герцена с западниками-либералами отчетливо обозначилась уже в середине 1840-х годов. Герцен и Белинский пришли к революционной теории, материализму, социализму; Боткин, Грановский, Кавелин и другие стояли на почве либерализма, апологии капитализма и философского идеализма. И все же в 1840-е годы авторитет Белинского и Герцена стоял высоко даже в глазах людей, далеких от них по своим политическим взглядам. В 1847 г. эмигрирует Герцен, в 1848 г. умирает Белинский, а в общественной жизни России наступает полоса безвременья. Естественно, что многие былые друзья Белинского и Герцена, которые и раньше не шли дальше либерализма, теперь явно отрекаются от заветов Белинского и предают забвению интересы народа. Боткин, Анненков, Кавелин, Корш, Григорович, Галахов и другие в период «мрачного семилетия» исповедуют вылинявший, плоский либерализм, скептически оценивающий духовные силы и возможности русского трудового народа, безоговорочно преклоняющийся перед капиталистической культурой Запада, сблизившийся с умеренным консерватизмом.

В воспоминаниях А. Я. Панаевой рассказывается об одном споре Некрасова с В. П. Боткиным, который хорошо показывает, до какой степени пренебрежения к русскому народу и низкопоклонства перед Западом доходили тогда либералы вроде Боткина.

«Василий Петрович в ужасе схватил себя за голову и воскликнул: — ...Хочешь быть русским Беранже: но ведь ты, мой любезный, не сообразил, что во Франции народ цивилизованный, а наш русский — это эскимосы, готентоты! — Ты бы, Василий Петрович, лучше молчал о русском народе, о котором ты не имеешь понятия! — раздражительно ответил Некрасов. — И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в таком государстве. Ведь вся Европа, любезнейший, смотрит на русского чуть ли не как на людоеда».

Годы «мрачного семилетия» были вместе с тем и эпохой цензурного террора. Цензура во главе с негласным бутурлинским комитетом неистовствовала. Комитет 2-го апреля, по словам официальных «Исторических сведений о цензуре», рассматривал литературу как «скользкое поприще» и обращал главное внимание «на междустрочный смысл сочинений». «Становится невозможным что-либо писать и печатать!» — негодовал благонамеренный Никитенко. «Что за гадкое время!» — писал в своем дневнике, жалуясь на «цензурные неприятности и ужасы», еще более благонамеренный М. П. Погодин. И в самом деле, даже «Москвитянин» оказался в затруднительном положении; замечания и выговоры цензуры следовали одни за другими. И за пьесу Островского «Свои люди сочтемся», и за отклик на смерть Гоголя, за опубликование рассказа В. И. Даля «Ворожейка» и за многие иные грехи и промахи. История с «Ворожейкой» особенно любопытна. Рассказ Даля о том, как ворожея-цыганка обманула невежественную крестьянку, кончался словами: «Крестьяне заявили начальству — тем, разумеется, дело и кончилось». Эта фраза обошлась Далю очень дорого: ему буквально запретили писать. «Как, неужели и Даль попал в коммунисты и социалисты?» — недоумевал Никитенко.

Не только Даль, но и славянофилы были заподозрены в сочувствии коммунизму. В 1852 г. был запрещен второй выпуск «Московского сборника», а его участники Иван и Константин Аксаковы, Хомяков, Иван

Киреевский, Черкасский были отданы под полицейский надзор и получили распоряжение впредь проводить все свои произведения через Главное управление по делам цензуры (что равнялось запрещению писать).

Даже пресмыкавшаяся пред властями предержащими «Северная пчела» Булгарина не раз обращала на себя внимание бутурлинского комитета и III отделения. Даже в ее безобидной заметке о несоблюдении установленной платы извозчиками увидели критику правительственных распоряжений и, сделав строгое внушение Булгарину, приняли решение: «не допускать в печать никаких, хотя бы косвенных порицаний действий и распоряжений правительства и установленных властей, к какой бы степени сии последние не принадлежали».

Но несравненно тяжелее было, конечно, положение лучшего журнала тех лет—«Современника». Существование журнала, обвиненного в проповеди коммунизма и революции, висело на волоске.

В 1848 г. цензура запретила уже совсем готовый «Иллюстрированный альманах», который должен был выйти в качестве приложения к «Современнику». «Альманах» содержал в себе роман Станицкого (Панаевой) «Семейство Тальниковых», повести Дружинина и Гребенки, рассказы Достоевского и Даля, рисунки Степанова, Неваховича, Агина, Федотова. Запрещение «Альманаха» принесло Некрасову и Панаеву убыток в 4000 рублей. В 1849 г. Бутурлин предложил министру просвещения сделать «вразумление» цензору за помещенную в «Современнике» статью С. М. Соловьева о смутном времени. В статье Соловьева рассказывалось о народном движении Болотникова и приводились воззвания последнего. Бутурлин же исходил из решения Комитета 2-го апреля, запрещавшего статьи, «относящиеся к смутным временам нашей истории, как то ко временам Пугачева, Стеньки Разина и т. п.».

Тогда же в 1849 г. «Современник» снова навлек на себя гнев бутурлинского комитета и самого царя, поместив статью И. И. Давыдова «О назначении русских университетов». Статья была написана по поручению министра просвещения Уварова, в связи с распространившимися слухами о закрытии (по настоянию Бутурлина) русских университетов и содержала в себе очень осторожную защиту университетского образования.

Бутурлинский комитет обратил на статью Давыдова внимание царя, усмотрев в ней «неуместное для частного лица вмешательство в дела правительства». Николай I полностью согласился с мнением комитета и нашел статью, помещенную в «Современнике», «неприличною». «Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя,» — писал он по поводу статьи Давыдова. Уварову вскоре после этой истории пришлось уйти в отставку.

Наконец, в том же 1849 г. редакторам «Современника» пришлось побывать в III отделении и выслушать там выговор за смелое выступление против невыносимого цензурного режима в скромной рецензии на учебник Смарагдова по истории средних веков. В рецензии, между прочим, нашли место такие строки: «Вы хотите новых романов, хотите ученых статей, хотите умных рецензий и критик? Но подумали ли вы хотя раз о положении вашей литературы, вашей журналистики? Кто нынче пишет? Нынче решительно век книгоненавидения».

Как видно, положение «Современника» в 1849 г. было критическим. Оно не стало более устойчивым и в последующие годы «эпохи цензурного террора». Угроза закрытия постоянно тяготела над журналом. Цензура

31 Зак. 4378. Очерки по истории журналистики.

и бутурлинский комитет продолжали вести с ним и всей русской периодикой и литературой беспощадную войну. «Громы грянули над литературой и просвещением в конце февраля 1848 года... — вспоминает современник. — Журналистика сделалась делом опасным и в высшей степени затруднительным. Надо было взвешивать каждое слово, говоря даже о травосеянии или коннозаводстве, потому что во всем предполагалась личность или тайная цель. Слово „прогресс" было строго воспрещено, а „вольный дух" признан за преступление даже на кухне. Уныние овладело всей пишущей братией...».

Под влиянием цензурного гнета и общей политической реакции периода «мрачного семилетия» русская журналистика существенным образом изменилась.

Некоторые периодические издания преждевременно закончили свое существование. Вполне вероятно, что прекращение выхода «Литературной газеты», «Ералаша» и «Северного обозрения» произошло не без влияния общественно-политических обстоятельств, создавшихся после 1848 г. Прямое вмешательство правительства положило конец выпуску «Московских сборников».

Продолжавшие издаваться журналы потускнели, стали менее содержательными и потеряли, естественно, свое былое значение. Строгость направления журналов была утрачена. «Отечественные записки» стали сходны с «Библиотекой для чтения», «Северное обозрение» — с «Сыном отечества». «Вследствие отсутствия строго разделенных партий в нашем обществе и в нашей литературе, и самые журналы не представляют резких между собою отличий, а могут быть разделяемы только по некоторым и большею частью весьма слабым оттенкам»,—писал анонимный сотрудник «Современника» в «Обозрении русской литературы» за 1850 г., воздавая при этом хвалу богу, избавившему литературу и журналистику от идейной односторонности. Естественно, что и писатели перестали быть разборчивыми при выборе журналов, в которых будут помещены их произведения. Григорович печатался в «Современнике», «Отечественных записках» и... «Москвитянине». Тургенев печатался в «Современнике», «Отечественных записках» и вел дружескую переписку с И. Аксаковым по поводу участия в «Московских сборниках». Дружинин помещал свои вещи в «Современнике» и «Библиотеке для чтения». Писемский, Даль, Фет, Полонский и многие другие помещали свои произведения буквально где придется. О степени падения принципиальности и журналов и писателей можно судить уже по одному факту появления в «Современнике» в 1851 г. юдофобской «были» Н. Кукольника «Третий понедельник». Кукольник в «Современнике»! Разве это было возможно при Белинском?

В связи с обезличением журналов исчезает и принципиальная полемика между ними. «Обращаясь к современной литературе, мы, к счастью, не видим никакой борьбы», — писал обозреватель «Современника». И если Белинский заявлял, что его «призвание, жизнь, счастье, воздух, пища — полемика», то сменивший Белинского на посту критика Дружинин писал, что «не вступать ни в какую полемику и избегать журнальных споров до крайности похвально». Принципиальная полемика уступает место ничтожной и пустой грызне. Стиль статей, незнание иностранных языков, неверные даты, опечатки, а иногда и личные качества того или иного сотрудника журнала стали главным предметом журнальных дискуссий. Особенно острый характер подобная полемика принимала перед подпиской на новый год. При этом часто брань по адресу журнала конкурента сопровождалась беззастенчивым рекламированием своего изда-

ния вплоть до качества бумаги и количества опубликованных произведений. В стихотворении «Беседа журналиста с подписчиком» Некрасов прекрасно характеризовал «осенний поход» журналистов на читателей и сопровождающие его журнальные битвы:

Забыв достоинство своей журнальной чести,
Из зависти, вражды, досады, мелкой мести
Спешите вы послать врагам своим стрелу.
Враги стремительно бросают вам перчатку, —
И бурей роковой к известному числу
Все разрешается... Ошибку, опечатку,
С восторгом подхватив, готовы целый том
О ней вы сочинить... А публика? Мы ждем,
Когда окончится промышленная стычка,
Критический отдел наполнившая весь
И даже, наконец, забравшаяся в «Смесь»,
И думаем свое...

Но как бы ни сожалел Некрасов о пустоте и ничтожности полемики, вернуться к серьезным спорам 1840-х годов было решительно невозможно уже по цензурным условиям.

По тем же причинам журналам пришлось отказаться и от освещения самых существенных событий окружающей жизни. Смерти Белинского в «Современнике» было посвящено 10 строк; на смерть Гоголя почти нельзя было откликнуться. Что же касается таких событий, как революция 1848 г., то о них приходилось совершенно молчать. Для сравнения отметим, что незадолго до 1848 г. «Современник» (несмотря на все строгости цензуры) имел возможность публиковать такие произведения, как «Письма из Avenue Marigny» Герцена.

Сильно упало в журналах качество литературной критики. Из рук умерших Белинского и В. Майкова критические отделы лучших журналов перешли в руки Дудышкина, Дружинина, Панаева. Общий уровень критической мысли, так высоко поднятый Белинским, очень снизился. Критические статьи и обзоры стали осторожно обходить «проклятые вопросы» жизни и старались держаться исключительно в плоскости эстетических вопросов. Горячие демократические убеждения и революционная страстность сменились в них холодным беспристрастием и либеральным объективизмом. Основной идеей критики постепенно становится борьба за «искусство для искусства» против гоголевского направления в литературе — того направления, которое так высоко ценил Белинский. Критика стала вялой, мало содержательной, литературные обзоры превратились в библиографическую хронику и номенклатурные перечисления.

Характерным критиком эпохи «мрачного семилетия» является А. В. Дружинин — англоман, весьма умеренный либерал, сторонник идеалистической теории «чистого искусства», открыто отрекавшийся от традиций Белинского. «Поэзии мало в последователях Гоголя, — заявлял Дружинин, — поэзии нет в излишне реальном направлении многих новейших деятелей... Скажем нашу мысль без обиняков: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением». Отвергая «гоголевское направление», Дружинин противопоставлял ему Пушкина, тенденциозно интерпретированного как олимпийца, который изображал жизнь «тихо, спокойно и радостно». Настоящий поэт, по мнению Дружинина, «не дает уроков обществу» и видит свой идеал «в бескорыстном служении идеям вечной красоты», он живет среди своего возвышенного мира и сходит на землю, как

когда-то сходили на нее олимпийцы, твердо помня, что у него есть свой дом на высоком Олимпе».

Вместо животрепещущих статей о современных писателях журналы стали заполняться солидными статьями (Введенского, Галахова, Геннади, Стоюнина, Пыпина) о писателях XVIII столетия. При этом историко-литературные работы носили большей частью узко-эмпирический характер. «Теперь дорожат каждым малейшим фактом биографии и даже библиографии,— иронически писал в 1856 г. Добролюбов. — Где первоначально были помещены такие-то стихи, какие в них были опечатки, как они изменены при последних изданиях, кому принадлежит подпись „А" или „В" в таком-то журнале или альманахе, в каком доме бывал известный писатель, с кем он встречался, какой табак курил, какие носил сапоги, какие книги переводил по заказу книгопродавцов, на котором году написал первое стихотворение, — вот важнейшие задачи современной критики, вот любимые предметы ее исследований, споров, соображений».

Наряду с появлением большого количества историко-литературных работ эмпирического характера — в качестве обратной стороны медали — получил необыкновенное развитие литературный фельетон. «Отечественные записки» жаловались в 1854 г., что «фельетон изгнал и серьезные обозрения литературы, и серьезные критические статьи, и серьезные рецензии». Примером могут служить «Заметки Нового поэта» (И. И. Панаева) в «Современнике», «Письма иногороднего подписчика» (А. В. Дружинина) в «Современнике» и «Библиотеке для чтения», фельетоны Эраста Благонравова (Б. Н. Алмазова) в «Москвитянине» и постоянные фельетоны других журналов. Сам жанр литературного фельетона не представляет собой, конечно, ничего предосудительного, но беда заключалась в том, что фельетоны были очень неглубоки и легкомысленны. Про лучшие литературные фельетоны тех лет — «Письма иногороднего подписчика» Дружинина С. А. Венгеров справедливо писал: «Дружининские письма — это более или менее остроумные отметки журнальных явлений. Ни общей мысли, ни сколько-нибудь определенного чувства вы в них не встретите».

Если отдел критики в журналах периода «мрачного семилетия» упал и приобрел историко-литературный или фельетонный характер, то отдел «Науки» необычайно вырос. Журналы щеголяли друг перед другом полнотою отдела наук и наперебой помещали статьи на узко-специальные темы. «Москвитянин» писал «о способах обработки торфа» и «новом способе дубления кожи», «Библиотека для чтения» — «об истории тонкорунного овцеводства» и «укреплении летучих песков», «Современник» — «о рыбоводстве», «Сын отечества» — «о переугливании лесов». Редакции журналов не смущали ни чертежи, ни сложные вычисления с употреблением логарифмов и интегралов, которыми были снабжены некоторые научные работы, вроде статьи «Графический способ деления дуги на три части» или рецензии на диссертацию «О весе пая висмута», которую «Современник» напечатал в отделе критики. Их не смущала и величина научных статей или материалов. Так, например, «Отечественные записки» на 120 страницах перепечатали Сибирские летописи XVI—XVII столетий и опубликовали очень громоздкий филологический разбор перевода «Одисеи», половину которого занял греческий текст. Очевидно, что такие статьи, место которым — в соответствующих специальных изданиях, отягощали журналы и не могли заинтересовать сколько-нибудь широкие круги читателей. Некрасов в «Беседе журналиста с подписчиком» так характеризовал отдел наук журналов того времени:

«Науки»
Так пишутся у нас, что просто вон из рук,
Прислушивался я частехонько к молве
И слышал все одно: «быть может, и прекрасно,
Да только тяжело, снотворно и неясно!»
Притом, какие вы трактуете предметы?
«Проказы домовых, пословицы, приметы,
О роли петуха в языческом быту,
Значенье кочерги, история ухвата...»

Единственным журналом, который старался сохранить свой прежний облик и значение, был «Современник». Некрасов не давал журналу забыть традиции 1840-х годов и заветы Белинского. Тем не менее, общий упадок русской журналистики коснулся и «Современника». Журнал стал менее содержателен и ярок. Даже художественный отдел «Современника» — лучший отдел журнала — стал беднее и безидейнее. Никто конечно, не мог заменить умершего Белинского и эмигрировавшего Герцена, а без них глохнут революционно-демократические и социалистические идеи «Современника», уступая место ограниченным, либеральным тенденциям, которые и сказываются в журнале до появления в нем Чернышевского и Добролюбова.

Таковы основные изменения, которые произошли в русской журналистике в связи с установившейся после 1848 г. политической реакцией и цензурным террором. Новый период в истории русской журналистики начинается с 1855 г., когда (после поражения России в Крымской кампании и смерти Николая I) поднимается новая волна революционного движения, и на общественно-политической арене и в литературе выступит новое поколение деятелей и писателей во главе с Чернышевским и Добролюбовым — поколение разночинной революционной демократии.

ГЛАВА XX

„Москвитянин"

1. Основание «Москвитянина»

К 1837 г., после закрытия «Европейца», «Телескопа», «Московского телеграфа», в Москве продолжал издаваться только один литературный журнал «Московский наблюдатель», да и тот выходил неисправно и не пользовался успехом. «Наша журналистика опять и еще более сосредоточивается в руках ярыг.. Москва неужели ничего не противупоставит?» — писал М. Максимович М. П. Погодину осенью 1837 г. И после того, как литераторам и профессорам Московского университета С. П. Шевыреву и М. П. Погодину стало ясно, что им не удастся быть полными хозяевами «Московского наблюдателя», они решили издавать новый журнал — «Москвитянин», который должен был решительно противостоять «торговому направлению» в словесности и журнальному триумвирату.

В ноябре 1837 г. «на обеде у князя Д. В. Голицына решено было издание, — вспоминает Погодин. — Просвещенный московский градоначальник взялся ходатайствовать об этом деле». Кроме Голицына, ходатайство об издании «Москвитянина» горячо поддержали В. А. Жуковский, попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов и сам министр просвещения С. С. Уваров. И, несмотря на то, что за год до этого Николай I на прошении Краевского и В. Одоевского об издании журнала «Русский сборник» наложил резолюцию «И без того много», издание «Москвитянина» было разрешено. «Согласен, но с строгим должным надзором», — надписал царь на докладе Уварова.

Но полученное в 1837 г. разрешение было использовано Погодиным и Шевыревым лишь через три года. Только к этому времени потребность в издании журнала стала для них абсолютно насущной и неотложной. Дело в том, что к началу 1840-х годов в общественной жизни и литературе явственно обозначились явления, гораздо более враждебные Погодину и Шевыреву, чем «торговое направление». Речь идет о нарастании народного возмущения крепостным правом и распространении и усилении революционных и оппозиционных настроений и идей среди русской интеллигенции.

С идейными врагами Погодину и Шевыреву пришлось столкнуться прежде всего в Московском университете, где с конца 1830-х годов начинает работать Т. Н. Грановский и группировавшиеся вокруг него молодые ученые — либералы и прогрессисты. С приходом Грановского в университет начинается борьба среди профессуры. Во главе реакционных профессоров, боровшихся против молодых либеральных ученых, стояли Погодин и Шевырев. Связь между изданием «Москвитянина» и отношениями в университете совершенно очевидна. Многие современники отметили это обстоятельство в своих воспоминаниях.

С другой стороны, с 1839 г. Краевский берет в свои руки издание «Отечественных записок», вдохновителем которых становится старый враг Шевырева и Погодина — Белинский. Сообщая, что Краевский и

петербуржцы «выписали» Белинского («пустили козла в огород»), Н. Ф. Павлов писал находившемуся за границей Шевыреву: «Они его еще не разгадали! Что делается в литературе! Да приезжай поскорей!»

Вернуться на родину и приступить к изданию «Москвитянина» звал своего друга и Погодин: «Надо дать себе рельефу для общей пользы и вырвать несчастную нашу литературу из грязи, куда погрузили ее мошенники поляки и русские». Выступить против «Отечественных записок» и «темной силы» «петербургских шарлатанов» призывали Погодина и Шевырева их друзья и единомышленники: писатель М. А. Дмитриев, профессора М. А. Максимович и О. М. Бодянский, ученые церковники Голубинский и Горский и многие другие. Не переставал проявлять глубокую заинтересованность в издании «Москвитянина» и министр просвещения Уваров.

Наконец, в 1840 г. Шевырев вернулся из-за границы и с января 1841 г. решено было приступить к выпуску «Москвитянина». Издание и редактирование журнала полностью брал на себя Погодин; в ведение Шевырева поступал критический отдел.

1 января 1841 г. первая книжка «Москвитянина» вышла в свет. Она открывалась статьей Погодина «Петр великий», вслед за которой шло известное стихотворение Ф. Глинки «Москва» («Город чудный, город древний») и программная статья Шевырева «Взгляд русского на образование Европы». В отделе изящной словесности были помещены стихи Хомякова, Языкова, Вяземского, К. Аксакова, Ф. Глинки, А. Глинки, Шевырева, М. А. Дмитриева и других, «Приезжий из уезда» Вельтмана и «Месяц в Париже» Погодина. Богато был представлен отдел «Материалы для истории русской словесности». Здесь были опубликованы ценные документы о Ломоносове, Сумарокове, Державине, Карамзине, стихи Кантемира, отрывок из записок И. И. Дмитриева и т. д.

По выходе первого номера «Москвитянина» Погодин отправился в Петербург — выяснить впечатление, произведенное журналом в столичных сферах. 11 февраля он писал Шевыреву: «Такой эффект произведен в высшем кругу, что чудо: все в восхищении и читают наперерыв. Графиня Строганова, Вьельгорский, Протасов, Барант, Уваров; Прянишников, почт-директор, сказывал мне о многих. И заметь, что все эти господа ездят и трубят, и заставляют подписываться, например граф Протасов...[1] А уж Сергей Семенович,[2] и говорить нечего. Велит выписывать по гимназиям и прочее. От моего Парижа все без памяти. Твоя Европа сводит просто с ума. Стихи переписывают. Экземпляр Одоевского просто растерзали... Сергей Григорьевич[3] так и рассыпается в похвалах, и даже посторонним лицам... Ратьков[4] сказал, что он продал бы сто экземпляров, если б у него были... Все ждут второго номера... Одним словом — два года, и мы господа. Даже прежде...».

2. Краткая характеристика содержания журнала (1841—1850)

«Москвитянин» издавался в течение 16 лет — с 1841 до 1856 г. До 1851 г. его направление и состав ближайших сотрудников оставались почти неизменны; с 1851 г. руководящую роль в журнале начинает

[1] Обер-прокурор Синода.
[2] Уваров.
[3] Строганов.
[4] Книгопродавец.

играть так называемая «молодая редакция», и облик «Москвитянина» изменяется.

«Москвитянин» 1840-х годов имел следующие основные отделы: I. Духовное красноречие. II. Изящная словесность. III. Науки. IV. Материалы для русской истории и истории русской словесности. V. Критика и библиография. VI. Славянские новости. VII. Смесь (Московская летопись, Внутренние известия, Моды и т. п.).

«Духовное красноречие» представлено было проповедями Филарета, Иннокентия и других представителей духовенства разного ранга и звания. Вообще следует заметить, что руководители «Москвитянина» были самыми крепкими нитями связаны с церковными кругами. В журнале помещались не только «слова» митрополитов, но и материалы по истории церкви, и обширные рецензии на книги духовного характера, и «разыскания» ученых попов Сабинина, Горского и других. Недаром обер-прокурор Синода граф Протасов рекомендовал духовным училищам выписать журнал Погодина. Участие духовенства в «Москвитянине» Погодин и Шевырев старались расширить и неоднократно обращались к «светилам» духовных академий с предложением выступить в их журнале.

Столь же усиленно приглашали они и профессоров университетов. В 1847 г. Погодин даже дал многообещающее объявление о передаче руководства «Москвитянином» в руки «комитета редакции», состоящего из группы профессоров. Руководители «Москвитянина» ожидали, что выступления ученых в отделах «Наука» и «Критика и библиография» «положат конец пустому и наглому бормотанью безымянной критики журналов, резко подписывающей невежественные приговоры всему». Однако превратить «Москвитянин» в орган университетской мысли не удалось. «Комитет редакции» оказался фикцией. В журнале, кроме Погодина и Шевырева, приняли известное участие лишь И. И. Давыдов, О. М. Бодянский, В. Н. Лешков, Я. А. Линовский и некоторые другие профессора, придерживавшиеся казенно-православных убеждений. Выступление профессуры иного направления (П. Г. Редкин, Т. Н. Грановский и другие) носило случайный характер. Отдел «Наука» заполнялся историческими заметками и рецензиями Погодина и не блистал именами и ценными работами, а «Критика и библиография» по всем отраслям знания велась преимущественно А. Студитским — малообразованным корректором университетской типографии.

Своеобразный характер придавал журналу отдел «Материалы для русской истории и истории русской словесности», в котором было помещено большое количество воспоминаний и документов, относящихся к различным периодам русской истории и истории русской литературы. Несмотря на односторонний подбор материалов, некоторые публикации «Москвитянина» представляли значительный интерес. В журнале впервые были опубликованы некоторые документы, относящиеся к древней русской истории, к истории царствования Петра I, к жизни и деятельности Суворова, Потемкина, Сперанского и других исторических деятелей. Среди материалов по истории русской литературы было опубликовано значительное количество произведений народного творчества (песни, сказки, причитания и т. п.) и допетровской литературы. Особенную ценность представляли такие публикации, как письма Пушкина к Погодину и Нащокину, письма Ломоносова, Державина, Карамзина, воспоминания и другие материалы о ряде писателей XVIII и начала XIX в.

Необходимо обратить внимание на отдел «Славянские новости». Наличие такого отдела в журнале было не случайным и явилось результатом реакционно-панславистских устремлений редакции. Здесь помещались письма славянских ученых, известия из Сербии, Чехии, Хорватии, Польши, Болгарии, статьи по вопросам истории славянства.

Наиболее неблагополучным отделом «Москвитянина» (до его перехода в руки «молодой редакции») был отдел «изящной словесности». Читатели неоднократно жаловались на недоброкачественность художественных произведений, на сухость и ученый характер издания. Постоянными сотрудниками «Москвитянина» по отделу словесности были архаические по убеждениям и характеру творчества литераторы, вроде М. А. Дмитриева, Ф. Глинки, А. Глинки, Ф. Миллера, Стурдзы и других. «Даже Шаликова, Иванчина-Писарева, Раича извлекала иногда редакция „Москвитянина" из мрака забвения. „Москвитянин", издаваясь уже четыре года, не вывел ни одной сияющей звезды на словесный небосклон. Высунули носы какие-то допотопные старики, поворотились и скрылись!» — писал Гоголь Языкову. Произведения ближайших сотрудников «Москвитянина», не отличаясь какими-либо художественными достоинствами, были зато строго выдержаны в духе «православия, самодержавия, народности».

Особые надежды по части изящной словесности редакция «Москвитянина» возлагала на женщин-писательниц. «Да, да, мы ожидаем многого от деятельности женской в русской литературе», — писал Шевырев в программной статье «Взгляд на современную русскую литературу» (1842, № 3). «Считаем за нужное только сделать одно предостережение, — добавлял он. — Охрани боже русскую женщину от ложной и пустой мысли об какой-то эмансипации женской, даже литературной». Старания редакции «Москвитянина» были не безуспешны. На страницах журнала часто выступали со своими произведениями К. Павлова, Ростопчина, Зражевская, Жадовская, Бакунина, Шахова, Шишкина, Августа Воронова, Теплова, Цветкова. Но надежды Шевырева на улучшение отдела словесности «Москвитянина» «от деятельности женщин» не сбылись. Писательницы, сотрудничавшие в их журнале, заполняли отдел изящной словесности преимущественно пустой светской поэзией и прозой. Повести «Лидия», «Лев», «Черная маска», «Женщина, поэт и автор», драма «Нелюдимка» и роман в стихах «Поэзия и проза жизни. Дневник девушки» только с точки зрения Шевырева можно было отнести к «светлой стороне» русской литературы.

Особенно плохо обстояло дело с прозой. «Повести — вот в чем я нуждаюсь более всего», — писал Погодин Вяземскому. Редакция шла на все, чтобы улучшить этот отдел. По праву дружбы Погодин поместил в «Москвитянине» «Сцены из Ревизора», не испросив на это разрешения их автора. В другой раз, напомнив Гоголю о долговых обязательствах. Погодин буквально принудил автора «Мертвых душ» дать в его журнал «Рим». Но, конечно, две небольшие вещи Гоголя не могли внести существенных изменений в прозу «Москвитянина», как и редкое появление в отделе словесности произведений Даля, Квитки-Основьяненко, Вельтмана, Загоскина. Редакции приходилось выдавать за художественную прозу путевые записки Погодина и Шевырева, воспоминания Стурдзы, исторические характеристики русских князей того же Погодина, повесть Шишкиной «Прокопий Ляпунов», быль Солоницына «Царь рука божия» и т. д.

На более высоком уровне стояла в «Москвитянине» поэзия. В журнале помещали свои стихи Жуковский, Вяземский, Языков, Хомяков,

К. Павлова. Ряд новых талантливых поэтов выступили со своими произведениями в «Москвитянине»: Фет, Полонский, А. Григорьев, Мей, Щербина, Н. Берг и другие. Но Жуковский и Вяземский, несмотря на постоянные приглашения Погодина и Шевырева, были редкими гостями в их журнале; творчество Языкова потеряло свою былую силу; а из молодых поэтов лучше других в журнале прижился наименее значительный из них — Берг. К тому же хорошие стихи терялись среди произведений Глинок, Дмитриева, Миллера, Ознобишина, Лихонина, Студитского и т. п.

Переводная беллетристика «Москвитянина» не только не восполняла недостатков отдела словесности, но даже усугубляла их. Вместо того, чтобы помещать в журнале переводы лучших и популярных в России писателей (Бальзак, Жорж Занд и другие), редакция «Москвитянина», недоброжелательно относившаяся к демократической и реалистической литературе Запада, предпочитала давать переводы произведений малозначительных писателей — создателей романтических и светских романов. Исключение составляет перевод «Лавки древностей» Диккенса. При этом большая часть переводов, помещенных в «Москвитянине», не отличалась высоким качеством и принадлежала или мастерам на все руки, вроде Студитского, или анонимным переводчикам «ценою подешевле».

3. Направление «Москвитянина»

По своему направлению «Москвитянин» был органом так называемой официальной народности. Сущность направления раскрывалась уже в первых номерах журнала и прежде всего в статье Шевырева «Взгляд русского на образование Европы», которую с полным основанием можно рассматривать как программу «Москвитянина».

«Запад и Россия, Россия и Запад — вот результат, вытекающий из всего предыдущего, вот последнее слово истории, вот два данные для будущего», — начинает свою статью Шевырев. Идет единоборство этих двух противостоящих друг другу миров, как некогда шло единоборство Азии и Греции, Греции и Рима, Рима и мира Германского. Кто же победит, кто подчинится чужому влиянию, кто станет во главе человечества? В этом, полагает Шевырев, основной вопрос современной истории.

Запад, по мнению Шевырева, тяжело болен. Все страны Запада выполнили свою историческую миссию и теперь находятся в периоде разложения и гниения. Им грозит судьба Эллады и Рима. Особенно подробно Шевырев останавливается на характеристике «образования» Франции. Эта страна заражена страшным недугом государственности — революцией. Следы революции видны повсюду: и в разврате личной свободы, и в падении религиозности в народе, и в упадке науки, школы, искусства. Литература Франции подавлена политикой и торговлей, в ней развились журнализм, продажность, политиканство. Изображая жизнь низших слоев, убийства, пороки, казни, выступая за свободу женщины и т. п., она превращена руками Сю, Бальзака и других в чтение для гризеток и привратников.

Сурово оценивает Шевырев и образование Германии. Если Франция заражена недугом революции, то Германия больна реформацией; если во Франции разврат, буйство, анархия в обществе, то в Германии — в общественной мысли. Философия, получившая сильнейшее развитие в Германии, оторвалась от религии, поставила себя выше веры и оказывает губительное влияние и на всю культуру Германии.

Основной целью «Взгляда» Шевырева является призыв к России опереться на самобытные начала. Россия призвана спасти человечество, повести его за собой. Она не болела ни революцией, ни реформацией и сохранила национальные начала православия, самодержавия, народности. «Тремя коренными чувствами крепка наша Русь и верно ее будущее. Муж царского совета, которому вверены поколения образующиеся, давно уже выразил их мыслию»; это: «древнее чувство религиозное, чувство ее государственного единства и сознание своей народности».

Так Шевырев заключает статью, открыто указывая на официальные источники своего «Взгляда», на Уварова и пропагандируемые им начала русского просвещения. В связи с этим становится абсолютно ясным характер народности «Москвитянина». Народность не случайно стоит в программе журнала рядом с православием и самодержавием. Русский народ всегда представляется руководителям «Москвитянина» смиренномудрым, живущим в трогательном единстве с помещиком, царем и церковью. Идею такой народности они неустанно распространяли, видя в ней оплот против социальных взрывов и потрясений. «Я привык при эпитете русский народ — чувствовать какое-то спокойствие не только у себя в отечестве, но даже и во всей Европе, потому, что с именем русского народа соединяю нераздельно два понятия о безусловной покорности церкви и о такой же преданности и послушании государю», — писал Шевырев.[1] В программном стихотворении «Россия», опубликованном в первой книжке «Москвитянина» за 1849 г. и посвященном революции 1848 г., М. А. Дмитриев писал:

Покорный, кроткий, терпеливый
Здоров и крепок твой народ!
Ты веры край благочестивый!
Стой против бурь живой оплот!

Были в «Москвитянине» и откровенно злобные отклики на революционные события 1848 г. Ф. Миллер в стихотворении «Философия коммуниста», обвиняя коммунистов в проповеди грабежа, утверждал, что

...рады завсегда делиться коммунисты.
Им нечего терять: У них карманы чисты.

В басне А. Г. Зиновьева «Линяющие птицы» рассказывалось о птицах, из побуждений равенства выщипавших себе перья.

Смешались все: павлины, соколы, сороки;
Пред лебедем гордится родом гусь,
И в пеньи соловью скворец дает уроки,
Пред коршуном петух себе не дует в ус.
И, наконец, замедля рост одежды новой,
Погибли все от осени суровой.

Такого же характера, как народность, был и патриотизм «Москвитянина». «Москвитянин» неустанно твердил о величии России, высоко превозносил русскую культуру и нападал на Белинского, Герцена, Чаадаева как на изменников родины, которым якобы чужд и враждебен русский народ и его творчество. Редакция «Москвитянина» и круг ближайших сотрудников журнала любили Россию самодержавную, церковную, поместную, идеализировали прошлое и настоящее изнывающей под игом крепостничества и деспотизма страны, лелеяли реакционно-утопические мечты об ее самобытном и мессианском будущем. В исто-

---

[1] В духе подобной народности редакция «Москвитянина» пыталась даже организовать специальный отдел: «благодушие и бескорыстие русского народа».

рии и культуре родины они гордились тем, что способствовало укреплению традиционных «устоев» и «начал», и боролись со всем прогрессивным, революционным и подлинно демократическим.

Идеи и стремления правящих и наиболее консервативных кругов русского дворянства, почувствовавших под собою колебания почвы и озабоченных искоренением освободительного движения и освободительных идей в русском обществе, нашли отражение в направлении «Москвитянина».

Общему направлению «Москвитянина» соответствовала и философская идеология журнала. Ряд статей, принадлежащих перу Шевырева, И. И. Давыдова, М. А. Дмитриева и Струдзы, был посвящен развитию так называемой «христианской философии» и борьбе против рационализма и материализма. «Современная философия, — писал И. И. Давыдов, — в ослеплении своем возмечтавшая руководить религиею, невозможна у нас по противоречию ее нашей народной жизни религиозной гражданской и умственной... Святая вера наша, мудрые законы из исторической жизни нашей развившиеся в органическую систему, прекрасный язык, дивная история славы нашей — вот из чего должна развиваться наша философия!» (1841, № 4). Желание превратить философию в служанку православия было характерно не только для статьи Давыдова, но и для всех других философских выступлений «Москвитянина». Отрицательное отношение к немецкой (и вообще к западноевропейской) философии не мешало «христианским философам» «Москвитянина» в своей борьбе против диалектики и материализма опираться на теории некоторых «мыслителей» Запада. М. А. Дмитриев свою статью посвятил популяризации мистической системы барона Экштейна, а Шевырев со страниц «Москвитянина» пропагандировал воззрения Баадера, которые Энгельсом были характеризованы как «сомнамбульная и антифилософская мистика» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. II, стр. 257). Связь философских идей «Москвитянина» с той идеологической реакцией, которая распространилась в Европе после французской буржуазной революции и войн Наполеона, несомненна.

Противопоставление России и Запада, так остро сформулированное во «Взгляде» Шевырева, является основным принципом и исторической концепции «Москвитянина», нашедшей наиболее яркое выражение в работах Погодина. «Как велики отличающие русскую историю достоинства! — утверждает Погодин. — Ни одна история не заключает в себе столько чудесного! Как на Западе все произошло от завоевания, так у нас все происходит от признания, беспрекословного занятия и полюбовной сделки». У нас не было «ни разделения, ни феодализма, ни убежищных городов, ни среднего сословия, ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы». Зато «была патриархальная свобода, было семейное равенство, было общее владение, была мирская сходка». «Одним словом, в Среднем веке было у нас то, о чем так старался Запад уже в новом, не успев еще в новейшем и едва ли может успеть в будущем». Еще более идеально, с точки зрения Погодина и «Москвитянина», настоящее России; идеально и ее хозяйство, и ее социальные отношения, и мудрое политическое устройство, и ее культура. В будущем же «Москвитянин» ждал соединения всех славянских племен под эгидою русского царя и православной церкви и всемирного расширения русского государства. Короче говоря и в своих исторических теориях ученые редакторы и сотрудники «Москвитянина» исходили из официально рекомендованной точки зрения.

Официальный и реакционно-дворянский характер исповедуемых «Москвитянином» убеждений очевиден. От такого журнала, как «Маяк», журнал Погодина и Шевырева отличался в сущности лишь более высоким ученым и культурным уровнем, и меньшей наивностью и откровенностью в пропаганде обскурантизма. Впрочем, иногда раболепие «Москвитянина» и его угодничество перед власть имущими выступали очень открыто. Так, профессора Шевырев, Давыдов, Погодин не видели ничего предосудительного в сочинении восторженных и льстивых описаний «литературных вечеров» и балов-маскарадов у московских градоначальников или «академических бесед» в усадьбе министра просвещения Уварова — «Поречьи» и часто «украшали» ими страницы «Москвитянина». «Холопы знаменитого села Поречья» — называл Погодина и Шевырева Белинский. «Погодин и Шевырев, — писал Герцен, — были добросовестно раболепны... Партию „Москвитянина" можно назвать не только университетской, но и отчасти правительственной...».

4. «Москвитянин» и славянофилы

Орган «официальной народности» «Москвитянин» из всех существовавших тогда ежемесячников был наиболее близок славянофилам. Но славянофильским журналом он не был. Славянофилы разделяли мнения «Москвитянина» о самобытности исторического развития России, вместе с представителями официальной народности защищали православие, самодержавие, мирное сожительство крестьян с помещиками, но в то же время они были далеки от идеализации современной русской жизни и находились в оппозиции к онемеченному (с их точки зрения) правительству Николая I и оторвавшейся от народа петербургской придворной аристократии. Правительство с своей стороны не только подозрительно следило за деятельностью славянофилов, но и неоднократно преследовало их. Совершенно прав Г. В. Плеханов, утверждая, что различия между официальной народностью и славянофильством были лишь видовыми (т. е. внутриклассовыми), а не родовыми, но они тем не менее существовали и отрицать наличие их невозможно.[1]

С первых дней существования «Москвитянина» отношение славянофилов к нему определилось как осторожное и выжидательное. В семье Аксаковых журнальному предприятию Погодина предсказывали полную неудачу. На предложение Погодина и Шевырева о сотрудничестве откликнулся только Хомяков. Аксаковы, Киреевские, Самарин поддержать «Москвитянин» отказались. Первые же номера журнала вызвали «разномыслие» о «Москвитянине» и «охлаждение» между Погодиным и Шевыревым, с одной, и славянофилами — с другой стороны. Самарину и К. Аксакову программная статья Шевырева не понравилась; С. Т. Аксаков писал Погодину, что «осуждает некоторые выходки и многие статьи в журнале, в том числе ваши и Шевырева».

В начале Погодин и Шевырев считали, что редкие выступления славянофилов в «Москвитянине» объясняются их ленью и пассивностью и всеми средствами старались разбудить, расшевелить их. Но скоро обнаружилось, что причины «охлаждения» более серьезны. В 1845 г., убедившись в постепенном падении популярности своего журнала, Пого-

---

[1] См. статью Г. В. Плеханова «Погодин и борьба классов». Более подробно о славянофильстве см. в главе «Славянофильская журналистика» во втором томе настоящего издания.

дин решается передать «Москвитянин» в руки славянофилов и, сохранив за собой его издание, приглашает в качестве редактора И. В. Киреевского. Славянофилы охотно приняли предложение Погодина, но в качестве условия поставили — отстранение Погодина и Шевырева от руководства журналом и изменение состава сотрудников.

В конце концов было достигнуто компромиссное соглашение. Но Киреевский смог выпустить только три первые книжки журнала за 1845 г. Дальнейшее сотрудничество с Погодиным оказалось невозможным вследствие возникших разногласий. Достаточно сослаться на один факт. В № 1 «Москвитянина» за 1845 г. Погодин поместил свою наиболее принципиальную историческую работу «Параллель русской истории с историей западных европейских государств», а в № 3 П. В. Киреевский выступил против «Параллели» со статьей «О древней русской истории». Киреевский утверждал, что Погодин недостаточно отчетливо разграничивает завоевание (которого не знали славяне) от призвания и преувеличивает черты покорности, смирения и подчинения в русском народе. Статья Киреевского была помещена в «Москвитянине» вопреки желанию Погодина и с общего согласия славянофилов. «Друзья хуже врагов... Хотят, чтобы осталось мое имя, и чтобы я не смел ничего поместить, а молодое поколение хозяйничало, которое и грамоте не знает», — записывает Погодин в свой дневник. «Все отказываются от участия в „Москвитянине". Я это нисколько не осуждаю; он действительно не заслуживает поддержки», — пишет в то же время Хомяков Самарину.

И в дальнейшем славянофилы очень редко выступали на страницах журнала Погодина. Особенно претило им угодничество «Москвитянина» перед властью. Восторженные статьи Давыдова, Шевырева, Погодина о Поречьи, о балах-маскарадах у московского генерал-губернатора всегда вызывали у славянофилов возмущение.

Вот почему славянофилы предпочитали, несмотря на наличие «Москвитянина», время от времени издавать «Московские сборники», которые, в свою очередь, вызывали недоброжелательное отношение к себе со стороны Погодина. «Он откололся в некотором смысле от „Москвитянина", отвлек на время часть общих сил и задуман в минуту взаимного разногласия, неудовольствия», — писал Погодин в рецензии на первый «Московский сборник», наполненной ироническими намеками. «Не наш», — заявил Хомяков, познакомившись с рецензией Погодина.

Вероятно Погодин и сам понимал, что его разногласия со славянофилами явились следствием не только минутного неудовольствия. «Ты слышал ли, как о них отзывается царь?» — писал он о славянофилах Шевыреву. Вслед за рецензией на «Московский сборник» Погодин поместил в «Москвитянине» еще более отрицательный отзыв о драме К. С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году», в которой народ и дворянство резко противопоставлены боярству. «Погодин облаял ее, как взбесившаяся собака. Давно затаенная злоба на Константина... наконец выбилась ключом бешеной слюны и помрачила даже его рассудок», — писал С. Т. Аксаков Гоголю.

Примирение «Москвитянина» и славянофилов так и не состоялось. Когда в конце 1847 г. Погодин снова начал переговоры со славянофилами о совместном ведении журнала, Самарин и Аксаковы открыто заявили, что при данной редакции и сотрудниках «Мосвитянин» «существовать не может». Как и прежде, славянофилы готовы были купить «Москвитянин», но от совместной работы в журнале категорически

отказались. «Я надеялся иметь журнал в полном нашем распоряжении, — писал К. Аксаков Погодину, — на журнал я смотрю как на что-то целое, органическое, которое, как Переяславское озеро, не принимает в себя ничего чуждого. Создать журнал по н а ш е й мысли — вот чего мне хотелось. Конечно, мнения «Москвитянина» к нам близки, но в нем было помещено многое такое, чего бы мы никак не одобрили, и помещалось даже противоречащее основным убеждениям».

5. «Москвитянин» и «Отечественные записки»

Уже по первым номерам «Москвитянина» можно было судить о тех отношениях, которые установятся между журналом Погодина и другими русскими журналами. Очевидно было, что журнал воинствующей официальной народности прежде всего и больше всего будет враждовать с «Отечественными записками» и его руководителем Белинским. Так и случилось. Лишь изредка и не принципиально выступая против периодических изданий журнального триумвирата, совершенно избегая полемики с «Маяком», «Москвитянин» с первого года своего существования повел систематическую войну с «Отечественными записками». В сущности говоря «Москвитянин» всегда и во всем — в общем направлении, в философских и исторических статьях, в критике, в поэзии и прозе, во всех своих выступлениях, и не имеющих прямого полемического назначения, противостоял идеям Белинского и Герцена, но, кроме того, он вел и постоянную о т к р ы т у ю борьбу с «Отечественными записками» и Белинским. «Мы не могли простить Белинскому дерзких и невежественных выходок против славян, против древней русской истории, против русских писателей прошедшего столетия, против начал русской жизни», — писал Погодин в своих воспоминаниях. Сущность разногласий Погодин здесь, конечно, искажает. «Москвитянин» защищал самодержавно-крепостные отношения России в прошлом, настоящем и будущем от революции и социализма, защищал «христианскую философию» и православие от диалектики и материализма Белинского и Герцена, защищал реакционные идеи и формы в искусстве от критического реализма. При этом «Отечественные записки», некрасовский «Современник» и Белинский демагогически и ложно обвинялись «Москвитянином» в измене родине, в отсутствии патриотизма, в презрении к русскому трудовому народу, в нигилистическом отношении к русской истории и культурному наследию.

Достаточно было А. Д. Галахову в одной из рецензий, помещенной в «Отечественных записках», мимоходом задеть ближайшего сотрудника «Москвитянина» Ф. Н. Глинку, чтобы вызвать в редакции «Москвитянина» переполох и возмущение. М. А. Дмитриев предложил Погодину «написать официальную бумагу против правил, проповедуемых „Отечественными записками“», а Шевырев, ошибочно полагая, что рецензия «Отечественных записок» принадлежит Белинскому, писал Погодину, что ему следовало бы выступить в защиту Глинки и дать «оклик на Белинского и Отечественные записки», напечатав несколько строк от своего имени».

Но Погодин, разделяя негодование своих друзей, уклонился вступать в личную полемику с Белинским, и с полемической заметкой «К „Отечественным запискам“» выступил Шевырев, скрывшись под инициалами N. N. (1841, № 6). Шевырев дал полную волю своей ненависти к Белинскому. «Мы уважали „Отечественные записки“ за их благонамерен-

ность... потому-то нам было крайне жаль видеть, что какой-нибудь журнальный писака... развалившись отчаянно в креслах критика и размахавшись борзым пером своим, всенародно осмеливается в этом журнале праздновать шабаш поэзии и нравственности». Белинский ответил на выпад «Москвитянина». Брань Шевырева он без изменений переадресовал автору заметки «К „Отечественным запискам"», а вместе с тем выступил и против самого направления журнала Погодина. Имея в виду программную статью Шевырева «Взгляд русского на образование Европы», он писал: «Как можно писать и печатать подобные вещи в 1841-м году от Р. Х.? ... Да ведь это хула на науку, на искусство, на все живое, человеческое, на самый прогресс человечества! ..» («Отечественные записки», 1841, № 7).

Так началась вражда «Москвитянина» с «Отечественными записками». В дальнейшем она углубляется и расширяется. В январской книжке «Москвитянина» за 1842 г. Шевырев выступил со статьей «Взгляд на современное направление русской литературы», в которой характеризовал «черную сторону» современной литературы. «Отечественные записки» и Белинский были указаны здесь прежде всего. Называя Белинского «рыцарем без имени» (свои статьи в «Отечественных записках» Белинский не подписывал), Шевырев обливал его потоками беззастенчивой клеветы и самой грубой брани. Он обвинялся в уничтожении всей русской литературы «за исключением двух или трех имен и своего журнала» и в непостоянстве убеждений. Белинский ответил на это новое нападение «Москвитянина» сокрушительным ударом — «Педантом», где в лице педанта Лиодора Ипполитовича Картофелина дал уничтожающую характеристику Шевырева, а под именем «литературного циника» и «хитрого антрепренера» изобразил Погодина. «Педант» наделал большой шум среди московской интеллигенции, а Шевырев «заперся дома и с неделю не показывался в обществе».

После «Педанта» «Москвитянин» в борьбе с «Отечественными записками» и Белинским прибег к оружию очень опасному для его противников. В № 10 «Москвитянина» за 1842 г. М. А. Дмитриев поместил большое стихотворение «Безымянному критику» — один из литературных доносов на Белинского. Дмитриев резко нападал на историческое и литературное мнения Белинского, которые считал непозволительными.

Лишь на прошлое отраву,
И трубить для всех ушей
Лишь сегодняшнего славу,
Лишь сегодняшних людей.
Подточивши цвет России,
Червем к корню подползать, —
Дух ли это анархии,
Иль невежества печать? ...

Не ограничиваясь «денонсацией» М. Дмитриева, редакция «Москвитянина» в № 12 журнала за тот же 1842 г. перепечатала из «Маяка» басню известного доносчика Бориса Федорова «Крысы».

Белинский ответил на стихотворение Дмитриева коротенькой заметкой, в которой указал на «юридический» характер этого бездарного произведения, а басню Федорова без всяких пояснений перепечатал в «Отечественных записках».

В том же 1842 г. «Москвитянин» вступил в борьбу с «Отечественными записками» и Белинским в связи с появлением «Мертвых душ» Гоголя. Надеясь направить Гоголя на путь официальной народности, Шевырев выступил в «Москвитянине» со статьями, в которых отрицательное отно-

шение к «Мертвым душам» было прикрыто рассуждениями о христианском характере юмора Гоголя, а главное, благими советами и пожеланиями, адресованными Гоголю. Борьба Шевырева за Гоголя естественно должна была сопровождаться нападениями на «Отечественные записки» и Белинского, которые влияли на Гоголя в нежелательном «Москвитянину» направлении. Поэтому с особенным усердием редакция «Москвитянина» старалась доказать, что не Белинский, а Шевырев первый правильно оценил и «открыл» дарование Гоголя. Белинский в статьях Шевырева о «Мертвых душах» назван «выскочкой», «непризнанным трубачом славы Гоголя», не сумевшим оценить и понять произведения Гоголя, и т. п. Белинский ответил Шевыреву рядом небольших журнальных заметок. Он развивал в них свое понимание «Мертвых душ» как гениального произведения, антикрепостнического по своему социальному содержанию и критического по характеру реализма.

Из дальнейших дискуссий «Москвитянина» с «Отечественными записками» заслуживает внимания та полемика, которая разгорелась между ними в связи с выходом в 1843 г. «Хрестоматии» А. Д. Галахова. Шевырев напал на «Хрестоматию» с необычайной резкостью, увидев в ней плод учения «Отечественных записок». В его обширной рецензии замечания по адресу Галахова тесно переплетены с выпадами против «одного журнала» и «безымянного наездника» — Белинского. Шевырев предъявил Галахову целый ряд обвинений. По его мнению, Галахов в своей «Хрестоматии» не проявил должного уважения к Ломоносову и Державину; не поместил в ней достаточного количества библейских текстов, религиозных од; не почтил достойным вниманием и местом лучших лириков современности Хомякова, Языкова, Ростопчину; проявил излишние симпатии к Лермонтову и Кольцову и т. п. Особенно досталось Галахову и «Отечественным запискам» за положительное отношение к Лермонтову. «Отечественные записки» отвечали Шевыреву статьями Галахова и Белинского, в которых были подвергнуты осмеянию реакционно-архаические тенденции Шевырева.

Во второй половине 1840-х годов в центре журнальной полемики «Москвитянина» становится вопрос о «натуральной школе». Дискуссию о «натуральной школе» «Москвитянину» пришлось вести не только с «Отечественными записками», но и с «Современником», с 1847 г. перешедшим в руки Некрасова и Панаева.

Натуральной школе, Белинскому, «Современнику» в «Москвитянине» были посвящены рецензия Шевырева на «Петербургский сборник» (1846, № 2), его же статья «Очерки современной русской словесности» (1848, № 1) и статья Ю. Самарина «О мнениях „Современника" исторических и литературных» (1847, № 2). Статья Самарина была сдержаннее и содержательнее резких, псевдопатриотических выступлений Шевырева, однако и в ней высказывались истины, близкие и родственные редакции «Москвитянина». Самарин обвинял «Современник» в «односторонности и тесноте образа мыслей», а Белинского в непостоянстве и поверхностности убеждений, увлечении крайностями и «неразвитости способностей». Натуральная школа, по мнению Самарина, не поддержанная ни одним сильным талантом, переняла у Гоголя его односторонность, смотрит на литературу, как на исправительное средство, не обнаруживает никакого сочувствия к народу и клевещет на него.

«Современник» ответил Самарину статьями Белинского и Кавелина (1846, № 11 и 12). В «Ответе „Москвитянину"» Белинский защищал направление «Современника» и натуральную школу, отчетливо определил свое отношение к славянофильству и отказывался спорить о себе с «ка-

ким-нибудь баричем, который изучал народ через своего камердинера и думает, что любит его больше других, потому что сочинил или принял на веру готовую о нем мистическую теорию».

Таковы основные факты, характеризующие полемику «Москвитянина» с «Отечественными записками» и Белинским по литературным вопросам. Кроме того, активно велись дискуссии по вопросам историческим. За противоречиями литературных и исторических мнений скрывалась борьба общественно-политических направлений, борьба непримиримая и беспощадная. Даже смерть Белинского послужила «Москвитянину» лишь поводом для сведения самых беззастенчивых счетов со своим врагом. В статье «Несколько слов по поводу некролога г. Белинского» Погодин, раньше осмеливавшийся выступать против Белинского только анонимно, теперь у свежей могилы великого критика открыто радовался его смерти и глумился над ним.

Борьба с «Отечественными записками» и «Современником» должна была неизбежно стать одной из главных задач журнала, отвечавшего видам правительства. Созданный правительством 2 апреля 1848 г. Комитет пришел к заключению, что «Москвитянин»—орган весьма чистого направления, что видно из его постоянного состязания с «Отечественными записками» и «Современником».

6. Упадок «Москвитянина»

«Москвитянин» пользовался некоторой популярностью и имел успех у читателей только в течение первых двух-трех лет своего издания. Затем интерес к нему исчезает; количество подписчиков падает до 300—400 и до конца 1840-х годов он влачит довольно жалкое существование. Погодин стремился поднять «Москвитянин» преимущественно переменами в руководстве журнала. Он пытался поручить редакцию «Москвитянина» Е. Ф. Коршу, славянофилам, В. В. Григорьеву. Большей частью подобные попытки были безрезультатны или по причинам материального и организационного характера, или вследствие идейных разногласий. «Я спросил их, — писал Погодин Шевыреву про свои переговоры с Коршем и Грановским, — возьмут ли они свято соблюдать нашу программу, отрекутся ли от диавола и „Отечественных записок", будут ли почитать христианскую религию, уважать брак?». Естественно, что переговоры окончились полной неудачей.

Все же на посту редактора «Москвитянина» с 1845 по 1850 г. успели побывать, кроме самого Погодина, И. В. Киреевский, А. Е. Студитский, А. Ф. Вельтман. Но ни удержаться на этом посту, ни упрочить положение «Москвитянина» они не смогли.

Особенно неудачным шагом со стороны Погодина было приглашение в качестве редактора А. Е. Студитского. Студитский, став редактором «Москвитянина», вообразил себя человеком энциклопедических познаний и с необычайной самоуверенностью стал судить о вопросах литературы и лингвистики, философии и естествознания. Под руководством Студитского «Москвитянин» почти совсем прекратил свое существование. За 1846 г. было недодано две книжки из двенадцати, количество подписчиков упало до 200, а в 1847 г. «Москвитянин» выходил лишь один раз в три месяца. «Пора или издавать хорошо и аккуратно или вовсе не издавать», — писал Шевырев Погодину. Решив издавать хорошо и аккуратно, Погодин дал об издании «Москвитянина» на 1848 г. широковещательное объявление, в котором сообщал, что впредь журнал будет снова выходить ежемесячно, а руководить будет редакционный комитет, состоящий

из профессоров и ученых: Погодина, Шевырева, И. Я. Горлова, И. М. Снегерева, И. Д. Беляева и других. Но комитет оказался фикцией. «Поднялся занавес — и комедию разыгрываю я один», — негодовал Шевырев. Оживить «Москвитянин» и на этот раз не удалось.

Причины столь печального положения «Москвитянина» очевидны. Направление его не могло снискать себе расположения в широких слоях читателей 1840-х годов. Бороться с «Отечественными записками» и «Современником», Белинским и Герценом Погодину и Шевыреву было не по силам. Художественный отдел журнала (особенно проза) был слаб. Переводных романов и повестей помещалось мало, и выбирались они крайне неудачно. Отдел «Смесь» составлялся небрежно. «Москвитянин» заполнялся историческими статьями и рецензиями, сырыми материалами, проповедями духовных лиц, произведениями Стурдзы и ему подобных. При этом состав номеров «Москвитянина» был случаен, и он скорее походил на сборник или альманах, чем на журнал. На все недостатки «Москвитянина» не раз указывали Погодину и враги и друзья. «Видывали мы объявления, обещания, преобразования... все это изверилось... Преосвященные и Стурдзы — балласт. Куньи мордки, Новгородцы, Васильковичи для двадцати пяти человек, а вы должны писать на две тысячи пятьсот», — писал Погодину В. И. Даль. «Журнал похож на те огромные кули с угольями, которые молдованы возят к нам в Одессу из Бессарабии: кажется грузно, а весу очень немного», — иронизировал Н. И. Надеждин.

Были и другие причины падения «Москвитянина» более частного характера. Журнал выходил почти всегда с большим запозданием, печатался на скверной бумаге и с огромным количеством опечаток, неаккуратно рассылался подписчикам и т. п. «Ты на плече моем засыпаешь и ничего не делаешь, — жаловался Погодину Шевырев. — Я очутился работником в деревне у помещика, который сам отчаялся в своей деревеньке и ею плохо занимается». М. А. Дмитриев писал обо всем этом даже в стихах:

«Москвитянин» издавался,
Как умеет, сам собой!
Он привык уж! — Соберется,
В типографию бредет,
К переплетчику плетется,
После в лавку поползет!
Ждет, пождет его читатель,
Побранит, да и домой!
А почтеннейший издатель,
Впрочем, добрый мой приятель,
Как ни выдал, с рук долой!

Погодин полагал, что в своем журнале может выступать запросто, по-домашнему. «Погодин разговаривает с публикою в халате», — писал Плетнев. Он снабжал критическими и поощрительными примечаниями статьи сотрудников «Москвитянина» и даже пускался с ними в длительные дискуссии, причем его не стесняла и форма полемики. С видными учеными, профессорами русской истории С. М. Соловьевым, К. Д. Кавелиным и другими он всегда беседовал в «Москвитянине» как учитель с непослушными учениками, только на том основании, что они некогда были его слушателями в университете. Дневник своего путешествия по Европе («Год в чужих краях»), написанный «неметеным» слогом, он переполнил описанием дорожных расходов, обедов и всевозможных бытовых обстоятельств, что подало повод к остроумной пародии Герцена — «Путевые письма г. Вёдрина». Некоторые выступления Погодина в «Москвитянине» были буквально анекдотичны. Однажды он опублико-

вал пространное обращение к своим родным и знакомым, в котором просил их не беспокоить его некоторое время посещениями и письмами, так как он занят работой над удельным периодом русской истории. Он описывал, как неожиданные посещения прерывают его занятия, как, пользуясь этим, «Мстислав ускакал в Новгород, Ярослав в Переяславль, Всеволод в Киев, а Рюрик в Чернигов. Как мне ловить их, а ты ведь поймать не поможешь!» — укоризненно упрекал Погодин виновников нарушения его труда и покоя. Это «удаление Погодина от мира» вызвало многочисленные отклики. «Извините, что обеспокою до 1-го мая, — писал Погодину М. А. Дмитриев. — Догнали ли Вы Рюрика?»

Патриархальные методы издания, столь противоположные буржуазным принципам издательской деятельности А. А. Краевского, Погодин перенес и на отношения к сотрудникам журнала. Он обращался с ними без всякой церемонии, «без стыда и совести», помещал в число сотрудников журнала лиц, не выразивших желания в нем участвовать. Напечатал в «Москвитянине» портрет Гоголя без его разрешения. Обещал читателям передать рассказы Жуковского о привидениях, слышанные им на одном обеде. «Покорно прошу вас ни речей моих, ни статей моих, ни писем ко мне или мною писанных, без моего ведома в журнале вашем не печатать», — писал Погодину вышедший из себя Жуковский.

Оплату произведений и статей, поставляемых в «Москвитянин», Погодин считал «пагубным требованием нынешнего века», о чем откровенно и объявлял в «Москвитянине». Он предпочитал, чтобы в «Москвитянине» работали много и бескорыстно из одного дружеского участия и идейных побуждений. Даже корректуру, переводы и всю черную работу по журналу Погодин взваливал обычно на бездомных семинаристов, которых постоянно прикармливал около «Москвитянина» и беспощадно эксплоатировал. Пожалуй, только при таких отношениях к сотрудникам и мог Погодин продолжать так долго издание своего журнала, при нескольких сотнях подписчиков.

В основе подобных патриархальных нравов лежали и весьма прозаические причины. Погодин был «адски скуп» и «бесстыдно корыстолюбив». Скупость Погодина вредила «Москвитянину» еще больше, чем его небрежность и бесцеремонность. Сотрудники разбегались. Даже Шевырев, которому журнал Погодина был так многим обязан, вынужден был не раз бросать работу в «Москвитянине», будучи не в силах договориться с его издателем о денежной стороне их отношений.

Таким образом, имея в виду, что главные причины непопулярности «Москвитянина» среди читателей заключались в его направлении и содержании, следует признать, что и тот порядок издания журнала, которого придерживался Погодин, способствовал его падению. При этом легко заметить, что методы руководства «Москвитянином» вовсе не были только личной принадлежностью Погодина, а как нельзя лучше соответствовали консервативному направлению и архаическому облику журнала.

7. С. П. Шевырев—критик «Москвитянина»

Литературно-критические статьи Шевырева в «Москвитянине» были выдержаны в духе официальной народности, а наиболее важная из них, помещенная «вместо предисловия» ко второму году издания «Москвитянина» — «Взгляд на современное направление русской литературы» (1842, № 1) являлась прямым продолжением «Взгляда русского на совре-

менное образование Европы». Первую часть этого выступления Шевырев посвятил характеристике «темной стороны» современной русской литературы. Он повторял в ней основные положения своей старой статьи «Словесность и торговля» и утверждал, что главная беда современной русской литературы заключается в том, что в ней, как средневековые разбойничьи банды, господствуют торговые журнальные компании, опирающиеся на безымянных писак. Сатирический портрет литератора-промышленника, нарисованный критиком, открыто обобщал черты журнальной деятельности Полевого, Булгарина, Греча, Сенковского.

Но было во «Взгляде на современное направление русской литературы» и нечто новое, что отличало его от выступлений Шевырева в «Московском наблюдателе» — наличие ожесточенных, грубых выпадов против Белинского. Отнеся «Отечественные записки» и их критика к «черной стороне» современной литературы, к лагерю «литераторов-промышленников», Шевырев с пеной у рта бранил Белинского и бесстыдно и нагло клеветал на него. Именно в этом нападении на Белинского и заключался главный пафос статьи Шевырева. Это означало, что основной целью его критики становится не борьба против «торгового направления» в русской литературе с позиций «светскости», а борьба против Белинского и его школы в критике и литературе с позиций официальной народности.

В своих выступлениях в «Москвитянине» Шевырев обвиняет школу Белинского в чрезвычайно отрицательном влиянии на русскую литературу и видит в произведениях писателей, группирующихся вокруг Белинского, глубокое падение искусства. Примером может служить рецензия Шевырева на «Петербургский сборник» (1846, № 2) и «Очерки современной русской словесности» (1848, № 1). Главный порок литературной школы, «называющей себя школою прогресса, школою натуральною» состоит, по мнению Шевырева, в ее, якобы, увлечении «полурезультатами западной образованности», «отрешенности от коренных основ русской народной жизни» и даже в «нападении на низшие слои народа». «С петровского периода нашей истории, — рассуждает критик, — у нас начинается плен мысли» и образуется в обществе и литературе «западно-пленная», чуждая народу сторона, которая и представлена теперь Белинским и Герценом, «Отечественными записками», «Современником» (с 1847 г.) и «Петербургским сборником». Эти рассуждения Шевырева, разумеется, были ложны от начала до конца. Несправедливые обвинения Белинского, Герцена, Некрасова и других передовых писателей 1840-х годов в слепом преклонении перед Западом и пренебрежении к русскому народу как и неосновательные претензии Шевырева на подлинный патриотизм едва ли нуждаются в опровержении. Упрекать Белинского и его друзей в недостатке любви к народу, по словам Чернышевского, «все равно, что упрекать огонь в холодности».

В то время как Белинский и его единомышленники считали, что настоящая любовь к родине немыслима без борьбы против крепостничества, деспотизма и идейной реакции в России и на Западе, критик «Москвитянина» старался привить русской литературе псевдопатриотическое учение официальной народности, заимствованное, кстати сказать, у реакционных романтиков Германии и Франции.

Столь же несправедливо Шевырев утверждал, что Белинский, будто бы, пропагандирует натурализм, рабское копирование жизни в искусстве, а близкие ему писатели осуществляют его заветы на практике. «Мы, — писал Шевырев, — нападаем на нее [«натуральную школу»] во имя самого же искусства, потому что она забыла о его призвании и низвела

его на степень жалкой действительности». На деле же Шевырев боролся против реализма в русской критике и литературе, полагая, как и прежде, что «нагая истина действительности противоречит сама в себе назначению искусства», что «русской поэзии неприличны верные сколки с жизни действительной».

Но особенное негодование Шевырева вызвало положительное отношение Белинского к сатирическому и критическому направлению русской литературы. Вопрос об этом направлении был чрезвычайно остро поставлен произведениями Гоголя и его продолжателей. И если Белинский был горячим защитником «отрицательного направления» и критического реализма в нашей литературе, то Шевырев был их непримиримым врагом. Его возмущало тяготение писателей «натуральной школы» к критике действительности и к изображению недостатков, несовершенств, зла русской жизни. Он настаивал на том, что зло и пороки, как и низкая действительность, могут быть допущены в «мир изящного» только при условии их полного преобразования и очищения творческим духом художника. Ненависти, негодованию, обличению, скорби, по его мнению, не место в искусстве, ибо они нарушали бы первое условие изящного — «водворение гармонии в нашем духе» и навязали бы искусству чуждые ему цели и задачи. «Из ненависти, — писал Шевырев, — не может выйти ничего изящного, ничего глубокомысленного, ничего возбуждающего, не во гнев тому романисту, который где-то высказался этим стихом: „О, ненависть, тебя пою!"». Известно, что романистом, которому возражает Шевырев, был Герцен, процитировавший слова «О, ненависть, тебя пою» в своем романе «Кто виноват?»

Шевырев утверждал, что зло и пороки могут быть предметом изображения в произведении искусства только в том случае, если художник отнесется к ним как к неразумию, дурачеству и посмеется над ними как над безвредной глупостью. Он считал это положение настолько важным, что посвятил его разъяснению специальную теоретическую статью «Теория смешного, с применением к русской комедии» (1851, №№ 1 и 3), в которой развивал свое старое понимание смешного, как «безвредной бессмыслицы», и безуспешно пытался применить его к комедиям Фонвизина, Капниста, Грибоедова, Гоголя.

Против мнений Белинского направлены и статьи Шевырева об отдельных русских писателях. В них всегда звучит явная или скрытая полемика с врагами официальной народности.

В № 9 «Москвитянина» за 1841 г. Шевырев поместил статью о сочинениях Пушкина. Пушкин, утверждал он в ней, — поэт чисто национальный; у него «русский глаз и русское ухо». Однако национальный характер творчества Пушкина Шевырев естественно понимал в духе идей «Москвитянина». «Карикатурить» русскую жизнь и «смешить ею» Пушкин, по его словам, не хотел, «потому что истина этой жизни, особливо в его отечестве, была для него значительной. Клеймить ее печатью грозной сатиры, выливать свое негодование отдельными тирадами также было не в характере Пушкина. . .».

Легко заметить, что Шевырев пытался представить Пушкина поэтом, не имеющим ничего общего с декабристами и критическим направлением в русской литературе. Однако он, естественно, натолкнулся при этом на непреодолимые препятствия и пришел к отрицанию почти всех достижений великого поэта. Через всю свою статью Шевырев последовательно проводит мысль, высказанную им еще в «Московском наблюдателе» о незавершенности и эскизности произведений Пушкина. «Всегда до чудной, крайней оконечности совершенный в отделке внешней формы, Пуш-

кин не довел ни одного из больших, значительных своих произведений до всей полноты развития в целом», — писал он. К таким же незавершенным и «эскизованным» произведениям Шевырев относит и «Бориса Годунова», и «Полтаву», и «Медного всадника», «Евгения Онегина». Шевыреву кажутся очевидными и некоторые причины «неполноценности» творчества Пушкина. В незавершенности произведений Пушкина повинен, по его словам, «стремительный, неудержимый дух самого художника, который... слишком много зависел от впечатлений внешней жизни».

Итог статьи Шевырева о Пушкине был более чем печален. Он заканчивал ее сравнением произведений Пушкина «в их совокупности» с «богатым эскизом недовершенного здания», с «запасами дивного материала», с чудными колоннами и архитравами, «ждущими руки воздвигающей».

В том же 1841 г. Шевырев поместил в «Москвитянине» две статьи о творчестве Лермонтова (1841, №№ 1 и 4). В «Герое нашего времени» его не удовлетворила основная идея произведения и образ Печорина. «С искренностью порицаем мы главную мысль создания, олицетворившуюся в образе героя», — писал он. Печорин кажется Шевыреву «злым вампиром», «двадцатипятилетним мертвецом», воплощением «эгоизма духа и низости пресыщенного тела». По его мнению, Лермонтов только нарушает цельность характера Печорина, приписывая ему чувства сострадания, любви, дружбы. Несомненно, Печорин пользуется такой ненавистью со стороны Шевырева по тем же самым причинам, по которым Белинский защищал его от неблагосклонности читателей. Он неприемлем для Шевырева как умный и глубокий скептик, как человек с незаурядными силами и способностями, оказавшийся «лишним» в условиях русской жизни того времени. В образе Печорина критик «Москвитянина» справедливо почувствовал отрицание всех бытовых, нравственных и общественных отношений самодержавно-крепостнической России.

Именно поэтому Шевырев решительно отказывался видеть в Печорине «героя» русской жизни и утверждал, что в его характере отразились лишь недуги Запада, «Печорин, — писал он, — не имеет в себе ничего существенного относительно к чисто русской жизни, которая из своего прошедшего не могла извергнуть такого характера. Печорин есть один только призрак, отброшенный на нас Западом, тень его недуга, мелькающая в фантазии наших поэтов... Там он герой мира действительного, у нас только герой фантазий...». По мнению Шевырева, в Печорине отразился «век гордой философии, которая духом человеческим думает постичь все тайны мира и век суетной промышленности, которая угождает всем прихотям истощенного наслаждением тела».

Неблагосклонно оценил Шевырев и стихотворения Лермонтова. Такие стихотворения, как «И скучно, и грустно», «Журналист, читатель и писатель» и в особенности «эта черная, эта траурная, эта роковая „Дума"» произвели на него, по его словам, «тяжелое впечатление», «Что это здесь за ужасная эпитафия всему молодому поколению? Признаемся: среди нашего отечества мы не можем понять живых мертвецов в двадцать пять лет», — восклицал Шевырев, — и предлагал Лермонтову даже сжигать такие произведения, «потому что они, нарушая гармонию чувства, совершенно противны миру прекрасного». Он советовал Лермонтову отказаться от «кумиротворения действительности» и настроений разочарования и обратиться к лирике «вдохновенных прозрений», «возносящихся над всем существенным».

В связи с этим становится понятным, почему Шевырев настойчиво отказывал такому своеобразному и самобытному поэту, как Лермонтов, в оригинальности таланта. Лермонтов, по его мнению, страдает «каким-то

необыкновенным протеизмом таланта». Когда вы прислушиваетесь к звукам лиры Лермонтова, — писал он, — «Вам слышатся попеременно звуки то Жуковского, то Пушкина, то Кирши Данилова, то Бенедиктова... иногда мелькают обороты Баратынского, Дениса Давыдова, иногда видна манера поэтов иностранных, — и сквозь все это постороннее влияние трудно нам доискаться того, что собственно принадлежит новому поэту и где он предстает самим собою. Вот что выше назвали мы протеизмом».

Когда же Лермонтов погиб, так и не обратившись к лирике «вдохновенных прозрений», отзывы Шевырева о нем стали совсем отрицательными. В 1843 г. он упрекал А. Д. Галахова в том, что тот включил стихотворения Лермонтова в свою «Хрестоматию», и нападал на «Отечественные записки» за публикацию юношеских стихотворений поэта. «Любопытна для истории военная школа Наполеона, — поучал Шевырев «Отечественные записки», — но не имеет она значения в жизни молодого генерала, сраженного почти на первом шагу своего военного поприща».

В №№ 7 и 8 «Москвитянина» за 1842 г. Шевырев выступил со статьей о «Мертвых душах» Гоголя, а в № 1 за 1848 г. со статьей о «Выбранных местах из переписки с друзьями». Статьи эти хорошо показывают, какое большое участие принял Шевырев в той ожесточенной борьбе, которая шла вокруг творчества Гоголя в русской критике 1840-х годов.

Понимание «Мертвых душ» тесно связано у Шевырева с его мнениями о «Миргороде». Он попрежнему толкует юмор Гоголя как безвредный и простодушный. По его мнению, «поэзия Гоголя — не донос, не обвинение» и «юмористический хохот Гоголя отличен от того пустого пересмешничества, которое ведет свое начало от Вольтера». «Все злоупотребления, все странные обычаи, все предрассудки, — утверждает Шевырев, — облекает Гоголь одною сетью легкой, смешливой иронии».

В своей статье Шевырев не скупится на похвалы «Мертвым душам», их художественным достоинствам, но, в сущности говоря, великое сатирическое произведение Гоголя его не удовлетворяло. Оно, естественно, показалось критику «Москвитянина» односторонним. В «Мертвых душах», — пишет Шевырев, — «мы видим одну отрицательную сторону, полобхвата, а не весь обхват русского мира... Комический юмор автора мешает иногда ему обхватывать жизнь во всей ее полноте и широком объеме». В подтверждение он ссылается на одностороннее, якобы, изображение характеров в «Мертвых душах». Ему кажется, что Гоголь умолчал о «добрых чертах» своих героев. Манилов, например, по его мнению «должен быть весьма добрым человеком, милостивым и кротким господином со своими людьми и честным в житейском отношении»; Коробочка «непременно будет набожна и милостива к нищим» и т. д. Шевырев сожалеет и о том, что, благодаря «произволу комического юмора», Гоголь не отразил в «Мертвых душах» «ни русского мужика в красной рубашке, ни древних городов, ни вереницы молельщиков, ни храмов».

В связи с этим критик «Москвитянина» возлагает большие надежды на продолжение «Мертвых душ». Ссылаясь на обещание Гоголя придать своей поэме «величавое лирическое течение», он писал: «Поэт обещает нам представить и другую сторону той же нашей жизни... С нетерпением ожидаем его грядущих вдохновений: да низойдут они на него скорее». Истолковав в реакционном смысле лирические отступления «Мертвых душ», Шевырев увидел в них проявление глубокой веры Гоголя в «спасительные начала» православия и самодержавия. Первый том «Мертвых душ», с точки зрения Шевырева, лишь «легкий и незначительный вихорь», поднимающий «пыль и всякую дрянь с земли», с ко-

торым можно примириться только потому, что он предвещает «гром других речей» во втором томе.

Становится очевидным, что Шевырев хвалил Гоголя не столько за то, что тот создал, сколько за то, что тот должен создать. По его мнению, «Мертвые души» могут стать подлинно великим произведением искусства, поэмой «в настоящем, поэтическом, даже высоком смысле», но только в том случае, если Гоголь «исправится». Поэтому он настойчиво советовал автору «Мертвых душ» отказаться от «одностороннего», сатирического изображения русской жизни и положить конец преобладанию комического юмора в своем творчестве. Гоголь, по его словам, должен «дать фантазии полет самый свободный и обширный, которого доставало бы на обхват всей жизни» и «поставить юмор в равновесное отношение к фантазии». Говоря об «обхвате всей жизни», Шевырев, разумеется, призывал Гоголя не к изображению действительно положительных и прогрессивных сторон русской жизни: он настойчиво боролся за осуществление в художественных произведениях Гоголя реакционных идеалов официальной народности.

Но Гоголь не оправдал его надежд. И в статье о «Выбранных местах из переписки с друзьями» критик «Москвитянина» вынужден был с сожалением констатировать, что «духовенство наше в величавых одеждах», «русский крестьянин со своим смирением», «светская женщина», иначе говоря, все то, что он называл «светлой стороной» русской жизни, не получили художественного воплощения в творчестве Гоголя, и второй том «Мертвых душ» «полетел в огонь».

Шевырев резко обвиняет во всем этом самого Гоголя — прежнее направление его творчества. «Виноват ты, художник... — писал он. — Ты часто находил самоуслаждение в хохоте, через меру заливался своим смехом, в чем мы тебя и прежде попрекали, слишком тешился своим даром смешить других... Отчего же, чуя в себе другую, высшую сторону русского человека, не давал ты ей простора в широких пределах своей фантазии?».

Сожалея об участи второго тома «Мертвых душ», Шевырев приветствовал «Выбранные места из переписки с друзьями». В этой книге, против которой выступили не только Белинский, но и славянофилы, он справедливо нашел убеждения и «сочувствия», близкие официальной народности. Вместе с тем Шевырев понял «Выбранные места» как произведение, в котором Гоголь открыто порывает с Белинским и натуральной школой. «Гоголь, — писал он, — поторопился открыть поскорее тайну своих внутренних убеждений в коренных началах жизни русского народа, чтобы навсегда разорвать связи с теми, которые добровольно навязывали ему себя, вовсе его не понимая... Гоголь навсегда расстался с теми, которые думали от него вести свое происхождение».

Шевырев оценил «Выбранные места» выше «Мертвых душ». «Действие „Мертвых душ", — по его мнению, — не было столько значительно, как действие „Переписки": первое отдалось звонким хохотом на всю Россию, не везде хорошо сознанным, не везде благотворным; второе разбудило мысль, привело в движение мнения, подняло вопросы». В этих словах заключается главный смысл статей критика «Москвитянина» о творчестве Гоголя: отрицательное отношение к бессмертным «Мертвым душам» и восторженная оценка одного из самых реакционных произведений русской общественной мысли «Выбранных мест из переписки с друзьями» —таков их итог.

В своих статьях в «Москвитянине» Шевырев не мог, конечно, обойти молчанием творчество и таких писателей, как Герцен, Некрасов, Тур-

генев, Достоевский, выступивших в 1840-е годы с замечательными произведениями. Но все это были писатели по его мнению, «эфемерные», лишенные творческого своеобразия, а поэтому он не находил нужным много говорить о них и ограничивался по преимуществу общими характеристиками натуральной школы.

Наибольшей неприязнью со стороны Шевырева пользовался, естественно, Герцен. Говоря о романе «Кто виноват?», он несправедливо обвинял Герцена в индивидуализме и неуважении к народу, утверждал, что на основе ненависти нельзя создать произведения искусства и выражал несочувствие герою романа Бельтову. Очень характерно нападение Шевырева на язык романа Герцена в специальной статье «Словарь солецизмов, варваризмов и прочих измов современной русской литературы» (1848, № 1). Оно вводит в самую суть той борьбы, которая велась в 1840-е годы по вопросам русского литературного языка.

Как и некоторые другие литераторы, группировавшиеся вокруг «Москвитянина», Шевырев выступил в «Словаре солецизмов» против тех прогрессивных новшеств, которые вместе с новыми идеями и понятиями принесли в язык русской литературы писатели натуральной школы. Еще в 1842 г. он заявил, что образцовым языком и слогом русской литературы был и остается язык и слог «Истории государства Российского» Карамзина. По его словам, «Карамзин очинил для всех перо современной русской прозы». С этих архаических позиций Шевырев и напал на «искандеризмы». Он находил «чудовищными» и несвойственными русскому языку даже такие выражения и слова, употребленные Герценом в «Кто виноват?», как «черты лица», «болезненная потребность», «табачная атмосфера», «бессистемно», «мотивировано», «совершеннолетие», «распущенность» и т. п. Одним словом, «солицизмы и варваризмы», которые, по замыслу Шевырева, должны были «произвести в публике комический хохот», могли вызвать смех лишь над самим автором «Словаря».

Враждебно отнесся Шевырев и к первым литературным шагам Некрасова, Тургенева, Достоевского. Поэзия Некрасова, по его мнению, не имеет с искусством ничего общего, так как обличает жизнь и питает «тайное сочувствие к той низкой действительности, которую изображает». «Псовая охота помещика, который из-за собак и зайцев забывает о людях — тошное зрелище, — писал он, — но стихи Некрасова, в которых все это изображается, не менее тошная литературная действительность, равно как и другие произведения его в том же роде, особенно пародия „Колыбельной песни" Лермонтова».

В помещенной в «Петербургском сборнике» поэме Тургенева «Помещик» Шевырева возмутило насмешливое описание уездного дворянского бала и ироническое отношение автора поэмы к русскому квасу. Видимо поэтому критик «Москвитянина» и отказался говорить о произведениях Тургенева сколько-либо серьезно. «Тут дело критики самой первоначальной: надобно говорить о слоге, о смысле, о русском языке... — объяснял он. — Под пером Тургенева русская литература еще не вышла из первых классов гимназии». «Записки охотника», печатавшиеся в 1847 г. в «Современнике», несколько смягчили отношение Шевырева к Тургеневу, но сколько-нибудь существенно изменить его не смогли. «Г. Тургенев много исправился после тех замечаний, которые были ему сделаны... — писал Шевырев. — Он сблизился более с народною стихиею с некоторых времен, но, конечно, и ее понимает односторонне, потому что он не художник, а копиист и не имеет поэтического дарования».

Роман Достоевского «Бедные люди» не понравился Шевыреву «филантропической тенденцией» — проповедью гуманности. Он справедливо увидел в этой тенденции одно из проявлений идеологии социализма и, естественно, сурово осудил произведение Достоевского. По его мнению, роман Достоевского совершенно не самостоятелен, лишен красоты и способен возбудить лишь скуку.

И поэзия Некрасова, и «Бедные люди», и «Кто виноват?» и даже «Записки охотника» — все это для Шевырева «темная сторона» современной русской литературы, которая вызывала у него лишь нескрываемую вражду и негодование. Заканчивая рецензию на «Петербургский сборник», он патетически восклицал: «Побывав на время во всей этой современной, так называемой изящной литературе, выйдешь из нее, признаюсь, как отуманенный и невольно скажешь: что я? что со мною? где я был? что читал? где это сочиняют? В Пекине, на островах Сандвичевых?».

К «светлой стороне» русской литературы Шевырев относил творчество литераторов, в той или иной степени близких «Москвитянину» и славянофильству. Лучшими лириками современности он считал Хомякова и Языкова, а Бенедиктова продолжал называть «поэтом мысли». О Ф. Глинке он говорил, что «слог его осыпается яркими искрами», и высказывал пожелание, чтобы он больше писал «своим пылким пером». Среди прозаиков Шевырев выделял Даля, Загоскина, Вельтмана. Он хвалил также Н. Ф. Павлова, В. Одоевского и Соллогуба за то, что они «роднят язык литературы с языком лучшего общества». Он одобрительно отзывался о литературных выступлениях третьеразрядных писателей того времени — Корфа, Масальского, Каменского. Слог Масальского, по его словам, «отличается какою-то благородною чистотой», а слог Каменского «пылкою живостью». Восторженно приветствовал Шевырев появление «замечательных женщин в литературе нашей» — Ростопчиной, К. Павловой, Шишкиной, Зражевской и других. Шишкина, по его мнению, «придала особую прелесть вкуса простонародному слогу», а «резвое перо г-жи Зражевской отличается непринужденною разговорчивостью».

В общем же современный период в истории русской литературы представлялся Шевыреву периодом глубокого упадка. Но он надеялся, что в недалеком будущем «темная сторона» нашей словесности заглохнет, ее «светлая сторона» разовьется и вся она станет на путь возрождения и расцвета. Для этого, по его мнению, русской литературе надо лишь порвать с «тлетворным» влиянием Белинского и натуральной школы и обратиться к «спасительным» началам православия, самодержавия и народности.

За осуществление этих целей и боролся Шевырев как критик «Москвитянина». Его литературные мнения и оценки оказали значительное влияние на многие последующие явления русской литературной критики. Достаточно указать на критические выступления славянофилов и Ап. Григорьева.

8. «Молодая редакция» «Москвитянина»

К концу 1840-х годов положение «Москвитянина» становится критическим; он близок к прекращению своего существования. Но с 1850 г. дела журнала неожиданно начинают поправляться и в течение 3—4 лет он переживает период расцвета. Эта новая полоса в истории «Москвитянина» связана с участием в нем Островского и так называемой «молодой редакции».

В 1849 г. А. Н. Островский закончил комедию «Банкрот» («Свои люди сочтемся»), с чтением которой он и начал выступать с большим успехом в различных московских кружках и салонах. Слухи об Островском и его комедии дошли и до Погодина. Он пожелал познакомиться с «автором Банкрота», и 3 декабря 1849 г. Островский читал у него свою пьесу. С 1850 г. Островский становится одним из ближайших сотрудников «Москвитянина». В № 6 за этот год был опубликован «Банкрот», а в других номерах Островский поместил ряд рецензий: на роман Евг. Тур «Ошибка», на стихи Полонского, Щербины и других. В том же году Погодин привлек к участию в «Москвитянине» и А. Ф. Писемского и в октябрьской книжке журнала за 1850 г. поместил его роман «Тюфяк». Наконец, тогда же сотрудником «Москвитянина» по отделу критики и библиографии становится Евгений Эдельсон. Журнал начинает оживать, количество подписчиков поднимается до 500 в 1850 г. и до 1100 на 1851 г. «„Москвитянин" пошел очень хорошо... — писал Погодин Вяземскому 12 ноября 1850 г. — Еще может быть год и наша возьмет. Анархию уймем и возвратимся к преданию».

Видя успех журнала, Погодин решается с нового года привлечь еще более широко к участию в «Москвитянине» молодые литературные силы. В объявлении о подписке на 1851 г., написанном Островским, было сказано, что «Москвитянин» приобрел новых сотрудников». Этими «новыми сотрудниками» и явились Островский и тот, по выражению Ап. Григорьева, «молодой, смелый, пьяный, но честный и блестящий дарованиями» литературно-артистический кружок, который образовался вокруг автора «Свои люди сочтемся». В кружок этот в разное время вошли: критик и поэт Аполлон Григорьев, литераторы Е. Эдельсон и Б. Н. Алмазов, литератор и исполнитель русских народных песен Т. Филиппов, поэты Мей и Н. В. Берг, скульптор Н. Рамазанов, артисты П. Садовский и И. Ф. Горбунов, писатель и гитарист М. Стахович и другие. Своими людьми в кружке были Писемский и Мельников-Печерский.

В распоряжение Островского, Ап. Григорьева и их друзей Погодин с 1851 г. и отдал художественный и литературно-критический отделы «Москвитянина». Все другие отделы журнала оставались в ведении Погодина. Таким образом, образовались в «Москвитянине» две редакции: старая и молодая.

Наличие «молодой редакции» прежде всего сказалось на литературно-художественном отделе журнала. В нем были опубликованы три пьесы Островского («Бедная невеста», 1852; «Не в свои сани не садись», 1853; «Не так живи, как хочется», 1855), ряд произведений Писемского (роман и повести: «Брак по страсти», 1851; «Комик», 1851; «М-г Батманов», 1852; комедия «Ипохондрик», 1852, очерк «Питерщик», 1852); повесть Мельникова-Печерского «Красильниковы» (1852), известная повесть И. Т. Кокорева «Саввушка»; повести Д. В. Григоровича «Прохожий» и «Зимний вечер» и М. И. Михайлова «Нянюшка», «Адам Адамыч», «Он»; повести и драматические произведения А. А. Потехина, М. Стаховича; стихи Полонского, Щербины, Мея, Ап. Григорьева и других. Если сюда же присоединить такие интересные мемуары, как «Мелочи из запаса моей памяти» М. А. Дмитриева, «Дневник студента» Жихарева, и такую публикацию, как «История о Фроле Скобееве», то можно с полной уверенностью констатировать не только количественный рост прозы и поэзии «Москвитянина», но и значительное повышение их качества. При этом Погодину пришлось, однако, пойти навстречу той натуральной школе в литературе, с которой он вел такую ожесточенную войну в 1840-е годы. В особом примечании к «сатирическим сценам»

Михайлова «Нянюшка» он писал, что, помещая подобные произведения в «Москвитянине», уступает времени и современному искусству, которое обратилось от идеального к действительности, от од и трагедий к сатире. Он оправдывал себя тем, что, давая место таким произведениям, помещает и другие, и в частности рядом с «Нянюшкой» дает «Урсулу» герцогини д'Арбувиль и стихи Мея. Но оправдания были мало убедительны, а о том, насколько далеко редактор «Москвитянина» шел теперь в своих отношениях с литераторами натуральной школы, свидетельствует не только появление произведений Островского и Писемского и даже Михайлова и Григоровича на страницах «Москвитянина», но и те безуспешные переговоры о сотрудничестве в «Москвитянине», которые он вел с Тургеневым и П. В. Анненковым.

Еще более значительные изменения произошли в отделе иностранной литературы. Здесь были помещены переводы из Альфреда де Мюссе, Ал. Дюма (сына) и даже Жорж Занд («Замок в пустыне», «Мольер», «Крестница» и другие). Кроме того, Дм. Мин опубликовал в «Москвитянине» перевод «Ада» Данте, а Ап. Григорьев и Мей — перевод «Вильгельма Мейстера» Гете.

Но поистине небывалым событием в жизни «Москвитянина» было появление в нем фельетонов. Когда в апрельской книжке журнала за 1851 г. был опубликован первый фельетон Эраста Благонравова (Б. Н. Алмазова) (под названием «Сон по случаю одной комедии. Драматическая фантазия с отвлеченными рассуждениями, патетическими местами, хорами, танцами, торжеством добродетели, наказанием порока, бенгальским огнем и великолепным спектаклем»), читатели «Москвитянина» были поражены. Погодин в специальных примечаниях от редакции вынужден был разъяснять и защищать фельетоны Алмазова.

Значительные перемены произошли и в отделе литературной критики. Окончательно прекращает критическую деятельность С. П. Шевырев, и критика переходит в руки Эдельсона, Алмазова и, главным образом, Ап. Григорьева. Последний поместил в «Москвитянине» два больших обзора: «Русская литература в 1851 году» и «Русская изящная литература в 1852 году» и ряд статей, из которых главные: «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене», «Русские народные песни». Иногда в качестве критика выступал в «Москвитянине» и А. Н. Островский. Новые руководители критического отдела стали систематически вести полемический обзор главных журналов: «Современника», «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения», «Репертуара и пантеона». Кроме того, Ап. Григорьев регулярно писал для «Москвитянина» «Летопись московских театров», а Н. Рамазанов — обозрение художественных выставок.

В результате нововведений «молодой редакции» становится иным и общий облик «Москвитянина». Его читатели писали Погодину: «„Москвитянин" стал более журнален»; «изящная словесность журнала — отличная»; «критика и библиография превосходны».

Не могло, естественно, остаться без изменения и самое направление журнала. Несмотря на некоторую неопределенность, противоречивость и неустановившийся характер исповедуемых «молодой редакцией» принципов, легко можно заметить, что они все же отличались от принципов официальной народности. Та народность, которую пропагандировали Ап. Григорьев и его друзья (а народность лежала в основании и их миросозерцания), не носила официального характера. Социально-политические отношения николаевской империи и православная церковь вызывали восхищение в кружке «молодой редакции» только у Тертия

Филиппова. Казенные апологии и панегирики в духе «Маяка» при «молодой редакции» исчезли со страниц «Москвитянина».

Направление «молодой редакции» отличалось вместе с тем и от славянофильства. В нем не было ничего специфически дворянского. Те социально-политические проблемы, которые волновали славянофильство 1840-х годов как дворянское течение (отрыв самодержавия Николая I от «земли», антинациональный характер русской аристократии и т. п.) почти совсем не интересовали «молодую редакцию» «Москвитянина». Остались ей чужды и богословские искания старших славянофилов.

Но при всех различиях между убеждениями «молодой редакции», с одной стороны, и официальной народностью и славянофильством — с другой, сохранялась между ними близость в основном и главном. Ап. Григорьев неоднократно заявлял, что Погодина они считали своим учителем, а «старшинство и авторитет Аксаковых, Хомякова, Шевырева, Киреевских» признавали «с почтением и любовью». О себе же он писал и более конкретно: «по моему политическому взгляду я был и остаюсь славянофилом» и даже утверждал, что в сфере политики не создано ничего более ценного, чем письмо Погодина к Николаю I. Уже одни эти заявления заставляют с осторожностью отнестись к утверждениям Ап. Григорьева, что «Москвитянин» при «молодой редакции» проповедывал «народность демократическую и прогрессивную». Нет никакого сомнения, что народность «молодой редакции», хотя и не была официальной, не была вместе с тем подлинно демократической и прогрессивной, что «молодая редакция» в сущности своей принадлежала к консервативному лагерю русской общественной мысли.

Народность в понимании молодой редакции — это, прежде всего, национальная самобытность. Идеалистическое учение Шеллинга о своеобразии духа отдельных наций и славянофильское учение о самобытности исторического развития России лежали в основе такого понимания. «Под именем народа в обширном смысле разумеется целая народная личность, собирательное лицо, слагающееся из черт всех классов народа: высших и низших, богатых и бедных, образованных и необразованных», — писал Ап. Григорьев в статье «О комедиях Островского». Народность как отражение интересов, чаяний, дум трудовых классов вызывала отрицательное отношение у теоретиков «молодой редакции». Народность в смысле nationalité, — утверждал Григорьев в указанной статье — «является понятием безусловным, в природе лежащим»; народность в смысле popularité — понятием «относительным, обязанным своим происхождением болезненному факту». «Второе, тесное понятие нам совсем и не нужно, потому что нет существенной разрозненности в живом, свежем и органическом теле народа». Такое понимание народности, естественно, заставляло «молодую редакцию» не видеть «двух наций» в нации, проходить мимо явлений социальной борьбы и противоречий, мимо интересов угнетенных трудовых масс. «Вопрос об умственной и нравственной самостоятельности, — по мнению А. Григорьева, — глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов — и вопроса о крепостном состоянии и вопроса политической свободы».

Отсюда у «молодой редакции» близость к старому «Москвитянину» и славянофильству, отрицательное отношение к передовой западной культуре, тяга к русской старине. При этом главным носителем русской самобытности Ап. Григорьев и его друзья считали патриархальное купечество. Они и в бытовом отношении были тесно связаны с московским купечеством, купеческими чайными и трактирами, московским купеческим клубом. А вместе с тем здесь раскрывается классово-политический

характер программы «молодой редакции», отражавшей консервативные интересы русской патриархальной буржуазии. «Молодая редакция» рисовала патриархальную буржуазию воплощением лучших национальных черт русского народа: талантливости, широты размаха, справедливости и т. п. и не придавала значения темным сторонам ее быта. Пытаясь сформулировать главные различия во взглядах «молодой редакции» и славянофилов, Ап. Григорьев писал А. И. Кошелеву: «Убежденные, как вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извечную Русь». Еще более определенно симпатии молодой редакции к патриархальной буржуазии, как носителю народности, сказались в выступлениях Ап. Григорьева, Эдельсона и других ее членов в «Москвитянине». Критики «Москвитянина» постоянно упрекали петербургские журналы в невнимании к купечеству. «Купечество же, — разъяснял Ап. Григорьев, — класс огромный по значению в общественной жизни и огромный же по значению историческому, класс средний, класс составляющий, так сказать, цвет собственно народных соков, класс, в котором, при многих, может быть комических сторонах, сохранились наиболее остатки народного быта и развились при том на свободе, широко, вольно».

Именно благодаря тому, что «народность» «молодой редакции» не пошла дальше славянофильского учения о национальной самобытности и ориентации на патриархальное купечество, стало возможным существование в «Москвитянине» двух редакций. Больше того, издатель «Москвитянина», которому и раньше были присущи известные буржуазные тенденции, и сам в это время проявлял симпатии к буржуазии и буржуазной идеологии. Он становится близок к известному миллионеру и откупщику Кокореву, укрепляет свои связи в купеческих кругах, сам пускается в торговые и промышленные операции. Он помещает в «Москвитянине» восторженную статью о московском богаче Крашенинникове и его портрет, в «Московской летописи» особое место отводит описаниям торжественных обедов купеческого клуба, в отделе «Внутренних известий» никогда не забывает поименно обозначить всех крупных купцов того или иного города с указанием их торгового оборота. Щербина имел основание писать о Погодине:

Друг мошны буржуазии,
Он пиявку мужика
За трибуна всей России
Выдает откупщика.
Видя в том свои удобства,
Генерала скрыл он спесь, —
Демократства и холопства
Удивительная смесь.

9. Критика в «Москвитянине» 1850-х годов

Сдвиги в направлении «Москвитянина» в известной степени сказались на характере и содержании его критики. Критические выступления Ап. Григорьева и его друзей, хотя и были глубоко ошибочны и реакционны, все же несколько отличались от критики Шевырева.

В меру своего отхода от официальной народности, критикам «Москвитянина» удалось высказать ряд отдельных и справедливых мнений. Они

во многом были правы, борясь за принципиальность и страстность литературной критики и выступая против ее измельчания в петербургских журналах; в фельетонах «Нового Поэта» (И. И. Панаева) и статьях «Иногороднего Подписчика» (А. В. Дружинина). Они справедливо смеялись над мертвой схоластической наукой, заполнившей литературные журналы в эпоху мрачного семилетия. Эраст Благонравов был прав, когда издевался над научными статьями типа: «О ложке Александра Македонского», «О вилке Дария Гистаспа», «О том, как финикияне открыли стекло при помощи собаки» и т. п.

Особенно положительно нужно оценить борьбу «молодой редакции» против дендизма, светскости в критике и литературе. Борьба эта была вполне актуальна, так как бонтонность не была чужда даже критике А. В. Дружинина, а черты светскости проникали не только в произведения графини Ростопчиной, Евг. Тур, но и многих иных популярных писателей того времени. «Главная задача авторов подобных произведений, — писал Ап. Григорьев об изящной светской литературе, — тонкость: тонкость чувствований, тонкость разговоров, тонкость стана героини, тонкость голландского белья героев». Еще более положительным явлением было горячее увлечение «молодой редакции» «Москвитянина» русской народной песней. Оно противостояло презрительному отношению к народному творчеству, характерному для вырождавшегося либерального западничества и проникавшему иногда на страницы петербургских журналов. Памятниками увлечения «молодой редакции» народной песней и творчеством являются не только обширные статьи и рецензии Ап. Григорьева и Т. Филиппова, сборник русских народных песен М. Стаховича, но и этнографические черты произведений Мельникова-Печерского, Потехина, Стаховича, и обилие народных песен и фольклорных элементов в пьесах Островского.

Наконец, критике «молодой редакции» удалось высказать ряд верных мыслей о творчестве некоторых крупных русских писателей. Верно указывала она на ограниченность и узость положительных идеалов Гончарова, на болезненность дарования Достоевского, на черты натурализма в произведениях Писемского, на высокие достоинства комедий Островского. Последнее было особенно необходимо, так как критика петербургских журналов до статей Добролюбова о «темном царстве» не смогла должным образом оценить Островского.

Но при всем том главные, коренные принципы критики «молодой редакции» были порочны. На первый взгляд кажется, что «молодая редакция» унаследовала некоторые плодотворные идеи Белинского. «Наш век называют по справедливости веком исторической критики, и боже нас избави отрекаться от критики этого рода», — заявил Ап. Григорьев в первых же строках своего первого программного выступления в «Москвитянине» — в обзоре «Русская литература в 1851 г.». Конечно, Белинского (имя которого не могло быть названо по цензурным условиям) имел в виду Григорьев, говоря о «веке исторической критики». Однако уже метафизическое понимание «исторической критики» показывает, насколько далеки он и его единомышленники от наследия Белинского. «Но, так как во всем временном есть частица вечного, непременного, — пишет Григорьев, — и так как это вечное, непременное, остается постоянным масштабом для оценки различных видимых явлений, то и следует отсюда прямо, что общие эстетические законы подразумеваются исторической критикой художественных произведений». Совершенно несомненно, что Ап. Григорьев, отдавая дань общественно-историческому пониманию искусства, оставался в сущности своей

идеалистом и рассматривал искусство как служение «абсолютным» идеалам истины, добра и красоты.

«Общие эстетические законы» «молодой редакции», те «масштабы», с которыми она подходила к художественным произведениям, опять-таки на первый взгляд напоминают «эстетические законы» и «масштабы» Белинского. Критики «молодой редакции» подходили к литературе с требованиями реализма, народности, глубокой идейности. Григорьев, Эдельсон, Алмазов очень много писали о необходимости для писателя прямого, непосредственного отношения к действительности, о значении миросозерцания для художника, о народности в искусстве. Несомненно, опыт Белинского учитывался и некоторые его понятия были усвоены «молодой редакцией». Но оперируя идеями и понятиями Белинского, Ап. Григорьев и другие наполняли их совершенно иным содержанием. И хотя, в отличие от критики старого «Москвитянина», они выступали с более современными эстетическими идеями и перестали открыто требовать от писателей преданности православию и самодержавию, тем не менее основания их критики были ближе к Шевыреву, чем к Белинскому. Так, требуя от писателя прямого и правдивого отношения к действительности, Ап. Григорьев утверждал в то же время, что такое отношение доступно только тому художнику, который, не впадая в одностороннее отрицание, «воздает должную справедливость разумным законам действительности». Так, указывая на необходимость для писателя иметь идеалы и миросозерцание, молодая редакция в основу миросозерцания клала принципы самобытности и патриархальности, а выступая за народность в литературе, имела в виду ту народность, которую она пропагандировала со страниц «Москвитянина». Естественно, что, покоясь на таких основаниях, критическая деятельность молодой редакции должна была страдать существенными недостатками.

Ап. Григорьев и другие критики «Москвитянина» 1850-х годов много писали о Лермонтове и Гоголе. В их творчестве они видели основные источники современной им русской литературы. И все же характеристики Лермонтова и Гоголя были в основном ошибочными и больше того — близкими к мнениям Шевырева. Творчество Лермонтова, — полагал Ап. Григорьев, — было основано на бесплодном и беспочвенном отрицании и эгоизме, лишено положительных идеалов и поэтому не имело корней в русской почве. Поэзия Лермонтова — «слово борьбы без основ, страданий без исхода, жажды без удовлетворения... слово вражды, которое, конечно, не может быть состоянием нормальным, особенно, если пружины ее заключены в безмерно выдавшейся личности». Совершенно очевидно, что Ап. Григорьев мог бы найти более чем достаточные основания для борьбы Лермонтова с действительностью, а «пружины» вражды увидеть не «в безмерно выдавшейся личности», а в стремлениях передовой русской интеллигенции и подлинной народности поэта.

В творчестве Гоголя критики «молодой редакции» выше всего ценили не сатирическое и критическое изображение русской действительности, а «просвечивающее сквозь отрицание сияние вечного идеала». Поэтому Ап. Григорьев положительно отзывался о «Выбранных местах», трактовал в духе «Москвитянина» лирические отступления «Мертвых душ», считал самым гениальным произведением Гоголя «Рим». К сатире же Гоголя отношение «молодой редакции» было двойственным. Ее старались или смягчить и оправдать, или относились к ней с осуждением. Григорьев оправдывал отрицание Гоголя наличием у него высоких

идеалов, Филиппов ссылками на особый характер смеха Гоголя. «Смех Гоголя, как и смех Диккенса и Теккерея, исполнен благоговения к важности нравственного закона и надежд на всепрощающую благость», — писал Филиппов в своей статье о Теккерее. Алмазов же открыто заявлял о субъективности, односторонности, гиперболизме Гоголя, о его болезненной раздражительности и экзальтации. На болезненный характер негодования Гоголя неоднократно указывал и Ап. Григорьев.

Писателем, преодолевшим беспочвенное отрицание Лермонтова и субъективизм Гоголя и сказавшим новое слово в русской литературе, «молодая редакция» считала Островского. Творчество Островского, по ее мнению, прекрасно своим прямым отношением к действительности, своим миросозерцанием, своей народностью. Но и положительное отношение к Островскому было связано у критиков «молодой редакции» с неверным пониманием сущности его творчества. В Островском они увидели не великого реалиста, а выразителя направления своего кружка. Говоря о народности Островского, они имели в виду не обличение «темного царства» в его произведениях, а сочувствие писателя патриархальным нравам. Иначе говоря, они возвеличивали и преувеличивали слабые стороны тех комедий Островского, в которых сказалась близость писателя к «молодой редакции». Характерно, что о лучшей из пьес Островского тех лет — «Свои люди сочтемся», — критики «молодой редакции» говорили мало и с явным неудовольствием, но пространно и с восхищением писали о пьесах «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется», «Бедность не порок», Тертий Филиппов упрекал Островского в том, что в первом своем произведении он «был чистым сатириком: ничто противодействующее не было выставлено им на ряду с показанным злом». Зато по поводу пьесы «Бедность не порок» ликованию «молодой редакции» не было меры. Причины раскрывает тот же Филиппов: «Здесь Островский является уже не одним сатириком, рядом со злом фальшивой цивилизации здесь ему видится в том же быту благодушная, простая, крепко связанная с родными преданиями и обычаями жизнь». «Бедность не порок» была воспета Ап. Григорьевым даже в известных стихах «Искусство и правда», опубликованных в «Москвитянине».

Энергично выдвигая Островского, критики «молодой редакции» несправедливо отнеслись ко многим другим замечательным писателям. Следуя традициям Шевырева, они продолжали враждовать с натуральной школой и «школой фальшивой образованности», иначе говоря, с теми писателями, которые еще в 1840-х годах объединились вокруг «Отечественных записок» и «Современника» — с Герценом, Тургеневым, Гончаровым, Некрасовым и другими. По мнению Ап. Григорьева, Эдельсона, Алмазова, некоторые из этих писателей зашли в тупик, развивая бесплодное лермонтовское отрицание и необоснованные претензии личности, или доведя до болезненности и злобной сатиры юмор Гоголя, не усвоив его идеалов; другие перестали служить искусству и пишут на заданную тему; третьи повинны в скептическом отсутствии убеждений или в исповедании уродливого миросозерцания душных и грязных углов и т. д. и т. п. Особенно неприязненно относилась «молодая редакция» к Некрасову. Алмазов пародировал его стихи в своих фельетонах, а Григорьев называл музу Некрасова «музой гарпией», а такие вещи, как «Еду ли ночью по улице темной», «Извозчик», «Маша», «В деревне», «больничными или исправительными антипоэтическими песнопениями».

Нападения на писателей натуральной школы сопровождались у критиков «молодой редакции» незаслуженными обвинениями по адресу Белинского. Ап. Григорьев, как бы он в своих статьях этого периода ни восторгался отдельными сторонами деятельности Белинского, значительно пополнил тот запас несправедливых измышлений относительно него, начало которому положили Погодин, Шевырев, М. Дмитриев и другие. Он упрекал Белинского в унижении Пушкина и Гоголя ради возвеличения «кумирчиков», вроде Достоевского и Некрасова; в «сатурналиях» по поводу русской народности и «вакханалиях» по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями»; в безнравственности требований, обращенных к Татьяне Лариной; в малограмотности, постоянных противоречиях и т. п. Ап. Григорьев писал, что «от терний мысли Белинского долго еще не расчистить поля литературы».

Почувствовав непримиримого классового врага в Чернышевском, Ап. Григорьев враждебно отозвался о его первых литературных выступлениях. Он иронически характеризовал автора «Эстетических отношений искусства к действительности» как «создателя удивительного учения об изящном» и «безвкусных и безобразных литературных ересей». И хотя Ап. Григорьев и не был таким активным защитником «чистого искусства», как А. В. Дружинин, но в целом ряде существенных вопросов он близко соприкасался со взглядами этого главного представителя идеалистической эстетики в 1850-е годы.

Таким образом, и критика «молодой редакции», при всех ее противоречиях, унаследовала существенные идеи и принципы критики «Москвитянина» 1840-х годов.[1]

10. Две редакции

Несмотря на близость старой и молодой редакции «Москвитянина», оставались между ними, как уже было сказано, и некоторые идеологические различия. Наличие их превращало сотрудничество двух редакций в значительной степени в вынужденное. Это обнаружилось еще в самом начале совместной работы.

Совершенно очевидно, что Островский предполагал с 1851 г. стать полновластным руководителем «Москвитянина», но натолкнулся на сопротивление Погодина. Отказ издателя «Москвитянина» передать журнал в полное распоряжение Островского вызвал острое недовольство среди друзей последнего. «Значит, мы должны отдавать статьи Погодину! Поднять его журнал!.. — говорили они Островскому. — Не того мы ждали! Мы думали, что журнал будет ваш, а следовательно, и наш. А теперь и мы и вы должны служить Погодину».

«Эти господа нового понимания хотят видно, чтоб я платил и клал деньги, кроме положенных, и плясал по их дудке, молчал под их музыку, а они будут делать, что хотят», — вот как реагировал на эти разговоры Погодин.

Так началось сотрудничество двух редакций. Отношения их не стали более дружелюбными и позднее. Неприязненное отношение Погодина к новым сотрудникам поддерживалось и подогревалось в нем ближайшими участниками старого «Москвитянина» из лагеря официальной народности. Особенно неодобрительно взирали они на деятельность Ап. Григорьева. Шевырев еще в 1847 г. в письме к Гоголю отнес

[1] Как уже было указано, критические мнения Ап. Григорьева и его друзей — периода участия в «Москвитянине» — нельзя считать окончательно установившимися. Позднее некоторые из них претерпели значительные изменения. См. во II томе настоящего издания главу, посвященую характеристике А. П. Григорьева как критика.

Ап. Григорьева к категории людей нового поколения, разум которых «становится каким-то бедным маятником в голове, который не находит точки успокоения». Нескрываемо враждебно к молодой редакции и Ап. Григорьеву относился и М. Дмитриев. При содействии Погодина он однажды выступил против Ап. Григорьева даже на страницах «Москвитянина». К своим программным стихам «Искусство и правда» Ап. Григорьев выбрал эпиграф из Лермонтова:

О, как мне хочется смутить веселье их
И бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью.

Воспользовавшись этим эпиграфом, Дмитриев написал на Ап. Григорьева злую и оскорбительную эпиграмму:

Вы говорите, мой любезный,
Что будто стих у вас железный!
Железо разное: цена
Ему не всякая одна!
Иное на рессоры годно;
Другое в ружьях превосходно;
Иное годно для подков:
То для коней, то для ослов,
Чтобы и они не спотыкались!
Так вы которым подковались?

«Редакция помещает с удовольствием эпиграмму по поводу случайного стихотворения, помещенного в последней книге», — нашел нужным заявить Погодин в особом предисловии к эпиграмме.

Графиня Ростопчина, скрепя сердце принимавшая «молодую редакцию» в своем салоне, тоже негодовала на нее в письмах к Погодину: «Чорт знает, что ваши дикие бегемоты делают из „Москвитянина", вас бранят за него, а вы позволяете им ронять журнал... прилично ли, чтоб под вашей фирмою издавались такие глупости, произведения пьяной и шальной бездарности?.. Прогоните всю эту сволочь писак и марателей бумаги!..».

С своей стороны «молодая редакция» относилась к старому кругу сотрудников «Москвитянина» не менее отрицательно и усердно старалась не допускать их произведений на страницы журнала. «Следит бывало, — вспоминал Ап. Григорьев, — зорко и подозрительно следит молодая редакция, чтобы какая-нибудь элегия г. М. Дмитриева и какой-нибудь старческий грех какого-либо другого столь же знаменитого литератора не проскочил в нумер журнала... чуть немного пооslаблен надзор — и г. М. Дмитриев налицо, и г-жа К. Павлова что-нибудь соорудила, и, наконец, к крайнейшему отчаянию молодой редакции, на видном-то самом месте какая-нибудь инквизиторская статья г. Стурдзы красуется, или какая-нибудь прошлогодняя повесть г. Кулагинского литературный отдел украшает! И это в пятидесятые года, всё равно, как в тридцатые».

Помещая в «Москвитянине» неугодные «молодой редакции» произведения, Погодин в то же время снабжал редакционными примечаниями литературные выступления ее членов. В них он оговаривал свое недовольство произведениями в духе натуральной школы, статьями Ап. Григорьева, фельетонами Алмазова, причем часто выдавал своих сотрудников с головою их врагам. Когда Булгарин нашел «смешение языков» в статье Ап. Григорьева «Русская литература в 1852 году», Погодин писал: «Неужели „Северная пчела" думает, что я меньше ее скорблю о разных языческих эксцентричностях, попадающих иногда в „Москвитянин"». Когда со всех сторон напали на полные злости фельетоны

Эраста Благонравова, Погодин пренебрежительно разъяснил их как безобидную и забавную шутку.

Не ограничиваясь редакторскими примечаниями, Погодин подвергал произведения «господ нового понимания» строжайшей цензуре, вызывавшей негодование у «молодой редакции». «Старый хлам и старые тряпки подрезывали все побеги жизни в „Москвитянине" пятидесятых годов, — вспоминал Ап. Григорьев. — Напишешь, бывало, статью о современной литературе, — ну, положим, хоть о лирических поэтах, — и вдруг, к изумлению и ужасу видишь, что в нее к именам Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Хомякова, Огарева, Фета, Полонского, Мея втесались в соседство имена графини Ростопчиной, г-жи Каролины Павловой, г. М. Дмитриева, г. Федорова... и о ужас! — Авдотьи Глинки! Видишь и глазам своим не веришь! Кажется, и последнюю корректуру, и сверстку даже прочел, — и вдруг, точно по мановению волшебного жезла, явились в печати незванные гости!»

Наконец, немалую роль в трениях двух редакций играла «адская скупость» Погодина. Издатель «Москвитянина» платил таким сотрудникам, как Островский и Григорьев, по 15 рублей за лист (в то время как «Отечественные записки» и «Современник» платили по 50 рублей), да и те получить у него было нелегко. «В вашем превосходительстве глубоко укоренена мысль, что человека надобно держать вам в черном теле, чтобы он был полезен», — писал Погодину Ап. Григорьев. Скупость не мешала Погодину требовать от участников «молодой редакции» напряженной работы и запрещать им печататься в других журналах. Между тем, для большей части новых сотрудников «Москвитянина» литературная работа была почти единственным средством существования. Письма Островского, Григорьева, Эдельсона издателю «Москвитянина» буквально переполнены просьбами о материальной помощи. «Михайло Петрович! Я в крайности, в какой не дай бог быть никому... Надеюсь, что вы недолго оставите меня в ожидании», — писал Островский 21 сентября 1851 г. «Михайло Петрович! Наступает время холодное, ни шубы, ни чего теплого у меня нет. Я простудился в среду, когда ехал от вас в холодном пальто. Пришлите мне денег ради бога», — просил Островский 3 ноября того же года. Погодин по большей части оставался глух к подобным обращениям и встречал денежные претензии сотрудников «Москвитянина» наставлениями умерить свои расходы, а иногда и грубостью. Финансовая политика Погодина ставила перед ближайшими сотрудниками «Москвитянина» дилемму: или искать другой профессии, или другого более щедрого издателя. Писемский уже в 1853 г. перестал печататься в «Москвитянине». Вслед за ним в петербургские журналы перекочевал Михайлов. Пьесу «Бедность не порок» Островский вынужден был, несмотря на недовольство Погодина, опубликовать не в «Москвитянине», а отдельным изданием. «Я, Михайло Петрович, рад всячески служить „Москвитянину", но мне надобно жить чем-нибудь», — писал он Погодину.

Очевидно, что долго продолжаться сотрудничество двух редакций «Москвитянина» не могло. К тому же и внутри «молодой редакции» не было единства. Литературно-артистический кружок, объединившийся вокруг Островского, отличался исключительной пестротой. Так, например, Писемский имел очень мало общего с коренными убеждениями «молодой редакции». Одновременно с «Москвитянином» Писемский помещал свои произведения в «Отечественных записках» и «Современнике». О программных статьях Ап. Григорьева он писал Погодину: «Я не советую вам верить Григорьеву на слово. Он завирается иногда...

Обозрение литературы 1851 года начато издалека. Посоветуйте больше говорить об авторах, чем о своих началах».

Идеология и атмосфера кружка «молодой редакции» не могла, конечно, подчинить себе до конца и Островского, хотя критики «Москвитянина» и считали его «центром, сердцем, родником» своих идей, а в его творчестве видели только выражение своих собственных убеждений. Как известно, Островский пришел в 1850 г. в «Москвитянин» скорее противником, чем поклонником славянофильских принципов самобытности и патриархальности. Первая комедия, первые рецензии его в «Москвитянине» говорят об этом с полной очевидностью. «Отличительная черта русской литературы — нравственный, обличительный характер, — утверждал Островский в рецензии на повесть Е. Тур «Ошибка». — Чем произведение изящнее, чем оно народнее, тем больше в нем этого обличительного элемента» (1850, № 7). Позднее Островский несомненно отдал некоторую дань воззрениям кружка «молодой редакции» и в своем творчестве («Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется») и в своем мировоззрении. Кроме влияния кружка, здесь сказалось и общее воздействие «мрачного семилетия», и гнет цензуры (за «Свои люди сочтемся» Островский получил выговор; до 1853 г. ни одна из пьес Островского не увидела сцены), и враждебное отношение к Островскому как к сотруднику «Москвитянина» петербургских журналов. 30 сентября 1853 г. Островский писал Погодину: «О первой комедии я не желал бы хлопотать, потому: 1) что не хочу нажить себе не только врагов, но даже и неудовольствия; 2) что направление мое начинает изменяться; 3) что взгляд на жизнь в первой моей комедии мне кажется молодым и слишком жестоким; 4) что пусть лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует. Исправители найдутся и без нас. Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее; этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя высокое с комическим. Первым образцом были „Сани", второй [«Бедность не порок»] оканчиваю». Нельзя не увидеть в приведенном заявлении известного подчинения Островского мнениям «молодой редакции».

Но разделяя со своими друзьями любовь к русскому народному творчеству, интерес к русскому быту, даже тяготение к патриархальности, Островский был далек не только от обскурантизма и православия Т. Филиппова, но и от идейных исканий Ап. Григорьева. Коренные «принципы» «молодой редакции» не были для Островского органичны и не могли удержаться в его сознании надолго. «Обличительный элемент» оставался основой его творчества и мировоззрения. «Может быть, влияние кружка и действовало на него в смысле признания известных отвлеченных теорий, но оно не могло уничтожить в нем верного чутья действительной жизни, не могло совершенно закрыть перед ним дороги, указанной ему талантом», — справедливо писал Добролюбов.

Разногласия и противоречия двух редакций «Москвитянина», как и следовало ожидать, закончились разрывом Погодина с «молодой редакцией», а отсутствие единомыслия среди молодых сотрудников — постепенным распадом их кружка.

Разрыв двух редакций произошел в октябре 1853 г. С №№ 15 и 16 «Москвитянина» за этот год сотрудничество «молодой редакции» в журнале совершенно прекращается. Исчезают фельетоны Эраста Благонравова, исчезает московская театральная летопись, которую вел Григорьев, обзор журналов начинают вести псевдонимы «Посторонний» и «Провинциал», открыто полемизируя в них с критическими мнениями Ап. Гри-

горьева. В числе сотрудников журнала на 1854 г. не упомянут Островский. Одним из главным поводов к разрыву послужил отказ Погодина приобрести «Бедность не порок», цена за которую показалась ему слишком высокой. С 1854 г. сотрудничество Ап. Григорьева, Эдельсона, Алмазова в «Москвитянине» возобновляется, а в 1855 г. в нем была опубликована и новая комедия Островского «Не так живи, как хочется», но «молодая редакция» уже не ведала отделами литературы и критики и члены ее принимали участие в журнале как рядовые сотрудники. Предложение «молодой редакции» передать журнал в ее полное ведение, сделанное еще в конце 1853 г., было отвергнуто Погодиным, а от системы двух редакций отказались молодые сотрудники. Помощником Погодина по журналу с 1854 г. становится третьестепенный беллетрист П. Сумароков.

Разрыв Погодина с молодой редакцией были началом окончательного падения «Москвитянина».

11. Конец «Москвитянина»

После смерти Николая I и окончания Крымской кампании те самые устои, истинность и жизненность которых проповедовали и старая и молодая редакции, заколебались. Новая историческая обстановка обнажила всю несвоевременность и ложность направления журнала. В Москве возникают новые журналы: «Русский вестник» Каткова и славянофильская «Русская беседа». Существование «Москвитянина» становится невозможным. К тому же уходят в петербургские журналы последние даровитые писатели: Островский, Потехин; Т. Филиппов перешел в «Русскую беседу». Даже публикацию «Дневника студента» Жихарев перенес в «Отечественные записки». Остался один Ап. Григорьев, но и тот, после того, как Погодин в 1855 г. отказался предоставить ему диктаторские права, прекращает свое сотрудничество в журнале и начинает вести переговоры о переходе в «Русскую беседу» или «Современник».

С 1854 г., после прекращения существования молодой редакции, «Москвитянин» по своему облику и содержанию все более и более начинает возвращаться к временам Студитского. И выходить он снова стал с большим запозданием. „Москвитянин" в агонии, — писал в августе 1855 г. Тургенев С. Т. Аксакову. — Никто его не читает и печатать в нем — значит бросить свои вещи ночью в темную яму в безлюдном месте». Новые попытки Погодина реорганизовать редакцию журнала или продать его славянофилам были безуспешны, и в последней книжке «Москвитянина» за 1855 г. (вышедшей лишь в мае 1856 г.) он вынужден был поместить «эпилог» к своему журналу, в котором прощался с читателями.

«Эпилог» не помешал Погодину продолжать издание «Москвитянина» и в 1856 г. Но 16 книжек журнала за этот год производят уже совсем жалкое впечатление. Художественная проза из них совершенно исчезла. В отделе поэзии сохранилась лишь «лирика» А. Башилова и выдержанные в духе квасного ура-патриотизма послания «К черноморцам». Журнал заполняется историческими статьями Погодина, Лешкова, Бессонова и описаниями торжественных обедов, данных в честь участников обороны Севастополя. Не помог и впервые введенный политический отдел. «Никто его даром читать не хочет», — писал о «Москвитянине» Погодину А. И. Кошелев. Только в конце 1857 г. выпустил Погодин последние номера «Москвитянина» за 1856 г. и оконча-

тельно простился с публикой. «Москвитянин» прекратил свое существование.

Мысль о возобновлении издания «Москвитянина» долго еще не покидала Погодина и его единомышленников. В 1860 г. через князя П. А. Вяземского было возбуждено соответствующее ходатайство. «Надо возвысить голос нашему поколению и восстановить связь, прерванную сорванцами, забияками и всякою сволочью с чистой струею российской словесности, порешить с анархией», — писал Погодин Вяземскому 27 апреля 1860 г. Принять участие в возрожденном «Москвитянине» Погодин спешил пригласить старых друзей. «„Москвитянин" возобновляется, — сообщал он Шевыреву. — Подана просьба, и Вяземский взялся ходатайствовать. Еженедельно будет выходить по образцу „Сына отечества". Сотрудники рвутся. От тебя ожидают в первую книжку итальянского письма». Но совершенно неожиданно для Погодина ему не было разрешено издание «Москвитянина», так как редактором журнала он просил утвердить Ап. Григорьева. «Не „Москвитянин" встретил сопротивление, а предполагаемый редактор, — информировал Погодина Вяземский. — Следовательно, спустя несколько времени, дело, по моему мнению, может быть возобновлено под другою фирмою».

Следуя совету Вяземского, Погодин в следующем году повел переговоры о редактировании «Москвитянина» с профессором античной истории и литературы Б. И. Ордынским. Переговоры шли успешно. «Нужно открыть молодежи глаза на Белинского», — писал Ордынский Погодину, но не успев осуществить своих непосильных намерений, неожиданно заболел и умер.

Погодину приходилось навсегда оставить мысль о возобновлении «Москвитянина». «Насильно мил не будешь, жаловался он Шевыреву. — Времена мудреные и тяжелые... Не дают слова выговорить... Добролюбов объявляется каким-то выспренным гением. Я ничего не знаю из его сочинений».

После прекращения «Москвитянина» Погодин предпринял издание альманаха «Утро» (три сборника 1859, 1866 и 1868 гг.) и газеты «Русский» (1867—1868), но и эти издания, из-за их реакционно-архаического характера, успеха не имели.

ГЛАВА XXI

„Отечественные записки" 1840-х годов

1. Преобразование «Отечественных записок»

Одним из самых важных событий в истории русской журналистики второй половины 1830-х годов является переход журнала «Отечественные записки» в руки А. А. Краевского.

Основанные чиновником коллегии иностранных дел П. П. Свиньиным еще в 1818 г. «Отечественные записки» на всем протяжении 1820-х годов представляли собой издание серое и скучное. Заполнялся журнал преимущественно статьями исторического и географического характера и сообщениями о быте и нравах русских людей, якобы благоденствующих под властью царя и церкви. При этом, несмотря на претензии редактора «Отечественных записок» на ученость, статьи, публиковавшиеся в журнале, изобиловали курьезными промахами. Многое здесь зависело опять-таки от того псевдопатриотического направления, которое было характерно для журнала Свиньина. Именно казенно-патриотическое усердие заставляло Свиньина утверждать, что зала библиотеки Главного штаба имеет в вышину 100 аршин (вместо 10), или распространяться в статьях «Мясник-астроном», «Провинциальный оптик» и т. п. о «подвигах» «добрых мужичков и ремесленников», прославивших себя сомнительными «изобретениями», вроде «лечения бешенства травою частухой». Естественно, что такой журнал не пользовался популярностью у читателей 1820-х годов, и в 1831 г. Свиньин, по недостатку подписчиков, вынужден был прекратить его издание. В 1838 г. он сделал попытку возродить «Отечественные записки», но успеха не имел и выпустил лишь несколько книжек журнала.

Убедившись в невозможности самому продолжать издание «Отечественных записок», Свиньин во второй половине 1838 г. охотно уступил право издания журнала А. А. Краевскому. Сначала Краевский принялся издавать «Отечественные записки» на правах арендатора, согласившись выплачивать Свиньину 5000 рублей ассигнациями в год, но в апреле 1839 г. Свиньин умер, и Краевский тотчас же возбудил ходатайство о передаче журнала в свою собственность. Главное управление по делам цензуры дало на это свое согласие.

Андрей Александрович Краевский (1810—1889) был в литературных кругах человеком довольно известным. Окончив в 1828 г. Московский университет, он начал свою журнальную деятельность с участия в «Московском вестнике», где поместил несколько рецензий литературного, исторического и философского характера. В 1831 г. Краевский перебрался в Петербург, вошел в столичные литературные кружки и с 1832 г. стал сотрудником, а с 1834 г. помощником редактора «Журнала Министерства народного просвещения». К середине 1830-х годов ему удалось сблизиться с группой литераторов пушкинского круга, и когда Пушкина не стало, имя Краевского появилось в числе издателей «Современника» рядом с именем Жуковского, Вяземского, В. Одоевского и Плетнева. Характерный для 1830-х годов процесс капитализации журнального дела,

успех «Библиотеки для чтения» заставили и Краевского усиленно добиваться возможности стать в ряды «журнальных концессионеров эпохи». По свидетельству П. В. Анненкова, «он принялся искать редакторского кресла для себя по всем сторонам и притом с выдержкой, упорством и твердостью действительно замечательным». Еще в 1836 г. Краевский вместе с В. Ф. Одоевским пытались получить разрешение на издание журнала «Русский сборник», но ходатайство их было безуспешным. В 1837 г. Краевский становится редактором приобретенной им у Воейкова газеты «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"», которую позднее — в 1839 г. — он переименовывает в «Литературную газету». Наконец, в 1838 г. Краевский приобретает «Отечественные записки».

Будучи хорошим организатором и человеком предприимчивым, Краевский начал издание «Отечественных записок» с должным размахом. Не обладая для этого достаточными материальными средствами, он сумел объединить вокруг издания ряд вкладчиков (В. Ф. Одоевский и др.), которые и оказали ему необходимую помощь. В «Литературных прибавлениях» (1838, № 43) было помещено программное объявление. Оно оповещало, что в энциклопедическом журнале будет восемь больших отделов, что в нем примут участие все виднейшие литераторы и ученые (в объявлении были названы 126 сотрудников), что цель журнала: «передавать отечественной публике все, что только могло встретиться в литературе и жизни замечательного, и полезного, и приятного». О журнале заговорили до его появления. 1 января 1839 г. первая книжка обновленных «Отечественных записок» вышла в свет. «Это была впрочем не книжка, — пишет И. И. Панаев. — а книжища, вдвое — если не больше — толще „Библиотеки для чтения". Все любители литературы бросились смотреть на нее — и вот: „Громада двинулась и рассекает волны"...».

«Отечественные записки» произвели впечатление и нашли теплый прием у читателей. Это было естественно уже потому, что в первых же книжках журнала были помещены стихотворения Пушкина, «Бэла» и несколько стихотворений Лермонтова, несколько «песен» Кольцова, повесть Соллогуба «История двух калош», повесть Вл. Одоевского «Княжна Зизи» и некоторые другие талантливые произведения.

Предпринимая издание «Отечественных записок», Краевский прежде всего стремился к личному обогащению. По единодушному свидетельству современников, он смотрел на журнал, «как на хорошее коммерческое предприятие». Но Краевскому не были чужды и некоторые побуждения идейного характера. Понимая, что и читатели и литераторы давно уже ожидают появления издания, противостоящего «смирдинской клике», Краевский объявил главной целью своего журнала борьбу с монополией Сенковского, Булгарина, Греча в русской журналистике. «Если и эта новая попытка, — говорил новый издатель «Отечественных записок», — противопоставить оплот Смирдинской клике не удастся, то всем нам останется только сложить руки и провозгласить ее торжество».

Различные группы русских литераторов 1830-х годов, группировавшиеся вокруг таких журналов, как «Московский телеграф», «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Современник», уже пытались положить конец монополии журнального триумвирата, но по тем или иным основаниям все попытки подобного рода успеха не имели. Между тем, борьба против органов Булгарина, Греча, Сенковского имела в то время первостепенное общественное значение. Поэтому появление «Отечественных записок» было встречено с радостью не только читателями, но и большею частью литераторов. В числе сотрудников журнала были названы лица самых разнообразных направлений: и будущие активные участники

«Москвитянина» (Погодин, Шевырев, И. И. Давыдов, М. А. Дмитриев и др.), и будущие славянофилы (Хомяков, С. Т. Аксаков), и литераторы пушкинского круга (Жуковский, Вяземский, Баратынский, В. Одоевский, Д. Давыдов и др.), и перешедшие в «Отечественные записки» из «Литературных прибавлений» молодые писатели: Лермонтов, В. Соллогуб, И. И. Панаев. «Клич Краевского, — вспоминает Анненков,— собрал под знамя обновленного журнала много старых и молодых сил... бедные и богатые принялись работать на журнал г. Краевского почти без вознаграждения или за ничтожное вознаграждение». Опираясь на сочувствие и поддержку различных литературных кругов, Краевский мог действовать увереннее и решительнее. Когда Булгарин предложил Краевскому присоединиться с приобретенным журналом к их журнальной монополии и «образовать нечто вроде синдиката», издатель «Отечественных записок» с негодованием отверг это предложение. В 5-й книжке журнала за 1839 г. Краевский писал: «Благосклонный прием „Отечественных записок" публикою показывает, что время спекулянтов прошло, что читатели начинают ясно видеть проказы этих господ и отличать настоящую литературу от биржевой».

Полному успеху преобразованных «Отечественных записок» мешало отсутствие у журнала определенной и ясной программы. Выступая против триумвирата, «Отечественные записки» не противопоставляли органам Греча, Булгарина и Сенковского своего направления. Положительные цели журнала Краевский всегда формулировал довольно туманно: «способствовать, сколько возможно, русскому просвещению», «обогащать ум знаниями», «настроить к восприятию впечатлений изящного», «истина в науке, истина в искусстве, истина в жизни» и т. п. Благодаря отсутствию положительной программы, первые номера «Отечественных записок», хотя и были удачны, все же походили скорее на пестрые литературные сборники, чем на журнал, где содержание всех отделов подчинено единым целям и задачам. «В Петербурге оказался с „Отечественными записками" великолепный склад для ученых и беллетристических статей, — пишет Анненков, — но не оказалось учения и доктрины, которых можно было бы противопоставить развратной проповеди руководителей „Библиотеки для чтения" и „Северной пчелы"».

С отсутствием «учения и доктрины» был связан и другой недостаток преобразованных «Отечественных записок» — невысокий уровень критического отдела журнала. Краевский начал издание «Отечественных записок», не имея руководящего критика, что немедленно и обнаружилось. Критический дебют «Отечественных записок» был неудачен; статья «Русская литература в 1838 году» оказалась плохой компиляцией, наполненной общими местами. «Кто же у вас будет заниматься критическим отделом?» — спрашивали издателя «Отечественных записок».

Поднимающееся общественное движение и развивающаяся литература нуждались в осмыслении и идейном руководстве. Журнал, объединивший литераторов самых различных убеждений, не имеющий своего лица и пренебрегающий критикой, не мог рассчитывать на продолжительный успех. Все это довольно быстро понял Краевский. С присущей ему энергией он начинает искать нужного для «Отечественных записок» руководителя критического отдела. Найти такого человека было нелегко. От И. И. Панаева Краевский получил предложение поручить критику «Отечественных записок» В. Г. Белинскому. «Покорно вас благодарю, — сказал Краевский резко и сухо, — я не имею никакого желания связываться с этим крикуном-мальчишкой». «Он презирал Белинского и его молодых друзей, — пишет Панаев. — Сближаться с Белинским —

значило компрометировать себя во мнении авторитетов, перед которыми усердно преклонялся г. Краевский».

Отказавшись от приглашения Белинского, Краевский предложил руководство критическим отделом «Отечественных записок» своему старому московскому знакомому В. С. Межевичу, который был известен ему как учитель словесности, публиковавший иногда статейки о литературе в различных изданиях. Межевич дал согласие и в конце февраля 1839 г. перебрался из Москвы в Петербург. Первые же бесцветные и бесталанные статьи Межевича показали всем и каждому, что он на роль критика «Отечественных записок» не годится. «Он имел характер совершенно слабый и мелкий... Он чувствовал боязнь к уму, к убеждениям, ко всякой моральной силе», — пишет Панаев. Несколько позднее — с приходом в «Отечественные записки» Белинского — Межевич «сбежал» от Краевского, стал сотрудником «Северной пчелы», редактором «Репертуара и пантеона» и «Ведомостей С.-Петербургской полиции», и, по выражению Белинского, «душою и телом предался Полевому, Гречу и Булгарину».

Таким образом, надежды Краевского на Межевича рухнули, приходилось на место руководителя критического отдела «Отечественных записок» искать другого человека. Обстоятельства вынуждали обратиться к Белинскому и заставили Краевского «связаться» с «крикуном-мальчишкой» и его друзьями. При этом Краевскому пришлось пренебречь и предостерегающими советами многих, доселе близких ему сотрудников «Отечественных записок», враждебно относившихся к Белинскому. И когда И. И. Панаев снова передал ему, что Белинский предлагает свое сотрудничество, Краевский ответил Панаеву письмом, в котором говорилось: «Прошу Белинского статью о Менцеле, и душевно рад его будущему сотрудничеству. Поклон ему от меня низкий и вопрос: как устроится это сотрудничество?».

С июля 1839 г. Белинский начал печататься в «Отечественных записках», а в конце октября переселился из Москвы в Петербург и принял на себя ведение критико-библиографического отдела журнала. Краевский обязался платить Белинскому 3500 рублей ассигнациями (1000 рублей серебром) в год. Первые же статьи Белинского в «Отечественных записках» заставили читателей и литераторов почувствовать, что в журнале Краевского появилась «и живая мысль и сильная рука». На другой день после выхода 11-й книжки журнала за 1839 г. Булгарин, встретив Панаева, сказал ему: «Почтеннейший, почтеннейший — бульдога-то это вы привезли меня травить?».

Белинский отдался работе в «Отечественных записках» со всею присущей ему страстью. «„Отечественные записки" и „Литературные прибавления" — н а ш е о б щ е е дело: отныне я их душою и телом, их интересы — мои интересы», — писал он 19 августа 1839 г. Краевскому. «Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку „Отечественных записок", — писал он через несколько месяцев Боткину.— Я литератор — говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением. Литературе расейской моя жизнь и моя кровь».

К активному сотрудничеству в «Отечественных записках» Белинский призывал и своих московских друзей. «Журналистика в наше время все: и Пушкин, и Гете, и сам Гегель были журналисты. Журнал стоит кафедры... Потягнем братцы!» — убеждал он их. Призыв Белинского не остался без ответа. Вместе с ним сотрудниками «Отечественных записок» стали: В. П. Боткин, М. А. Бакунин, Т. Н. Грановский, Н. Х. Кетчер, П. Н. Кудрявцев; а несколько позднее: Огарев, Герцен,

Тургенев, Некрасов и другие. Все это были литераторы и ученые, в той или иной мере связанные с Белинским. Некоторые из них прошли в 1830-х годах через кружки Станкевича и Герцена.

Белинский и новые участники «Отечественных записок» заставили не только потесниться, но и совсем покинуть журнал многих литераторов и ученых, придерживающихся иного образа мыслей. От помещения своих произведений в «Отечественных записках» постепенно отказались и будущие сотрудники «Москвитянина», и будущие славянофилы, и Жуковский с Вяземским, и Плетнев, и Бенедиктов, и Межевич. Состав основных сотрудников журнала существенно изменяется и становится более сплоченным. Краевский, вопреки желаниям старых литературных друзей (и даже не останавливаясь перед разрывом с некоторыми из них), не препятствовал переменам, совершающимся в его журнале. И здесь нужно отдать ему должное: он дал возможность «Отечественным запискам» стать трибуной для Белинского и Герцена и органом писателей натуральной школы.

2. Краткий обзор содержания «Отечественных записок»

«Отечественные записки» 1840-х годов представляли собою объемистый (до 40 печатных листов) ежемесячник, все содержание которого было разбито на восемь отделов: I. Современная хроника России. II. Науки. III. Словесность. IV. Художества. V. Домоводство; сельское хозяйство и промышленность вообще. VI. Критика. VII. Современная библиографическая хроника. VIII. Смесь.

В «Отечественных записках» приняли участие почти все замечательные писатели 1840-х годов. Ни один другой журнал того времени не имел столь богатого отдела словесности. Лермонтов, Кольцов, Огарев, Тургенев, Некрасов, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Григорович и многие другие талантливые поэты и прозаики помещали свои произведения в «Отечественных записках».

С первого же номера преобразованного журнала началось сотрудничество в нем М. Ю. Лермонтова. Еще в 1838 г. в «Литературных прибавлениях», редактируемых Краевским, была опубликована «Песнь о купце Калашникове». «Где и как он [Лермонтов] сошелся с г. Краевским, этого я не знаю, — пишет Панаев, — но он был с ним довольно короток и даже говорил ему ты». Был знаком Лермонтов и с Белинским. Естественно, что «Отечественные записки» стали журналом, где появились почти все вещи Лермонтова, опубликованные в годы 1839—1841. Среди них несколько десятков лучших стихотворений поэта, а также «Бэла», «Тамань», «Фаталист». Публикацию произведений Лермонтова «Отечественные записки» продолжали и после смерти поэта — до 1844 г. Кроме ряда стихотворений, были напечатаны отрывки из поэмы «Демон», поэмы «Сказка для детей», «Боярин Орша», «Измаил Бей».

Одновременно с Лермонтовым — в 1839 г. — началось сотрудничество в «Отечественных записках» А. В. Кольцова, которое продолжалось до смерти поэта (1842). Несколько десятков «песен» и «дум» поместил Кольцов в журнале Краевского — в том числе и такие шедевры своей поэзии, как «Что ты спишь, мужичок?», «Хуторок», «Доля бедняка» и другие. Участие Кольцова в «Отечественных записках» становится более активным со времени перехода в журнал Белинского, с которым Кольцов был связан тесными дружескими отношениями.

Благодаря Белинскому и тому направлению, которое он придал журналу, «Отечественные записки» приобрели сотрудничество и многих

других писателей 1840-х годов. Как уже отмечено выше, это были по преимуществу литераторы, принадлежавшие к натуральной школе. К таким писателям прежде всего относится А. И. Герцен. Герцен начал свое сотрудничество в «Отечественных записках» в 1840 г. и продолжал его до середины 1846 г. — до разрыва Белинского с Краевским. За это время за подписью «Искандер» он поместил в «Отечественных записках» несколько художественных произведений («Записки одного молодого человека», «Еще из записок одного молодого человека», первую часть и одну главу из второй части романа «Кто виноват?»), свои большие философские работы: «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы», ряд публицистических статей, в том числе три фельетона, направленных против журнала «Москвитянин». Несомненно, Герцен был не только одним из наиболее активных сотрудников «Отечественных записок», но и литератором, определявшим вместе с Белинским направление журнала.

Еще в 1841 г. поместил в «Отечественных записках» несколько своих стихотворений И. С. Тургенев, но тесная связь его с журналом Краевского установилась только после сближения писателя с Белинским, одобрительно отозвавшимся об его поэме «Параша» (1843). Почти все свои произведения, написанные до «Записок охотника» (которые начали печататься с 1847 г. в «Современнике»), Тургенев поместил в «Отечественных записках». Здесь появились ряд стихотворений, поэма «Андрей», пьесы «Неосторожность» и «Безденежье», рассказы «Андрей Колосов», «Бреттер» и другие. Сотрудничество Тургенева в «Отечественных записках» продолжалось и после перехода Белинского, Герцена, Некрасова из «Отечественных записок» в «Современник». В конце 1840-х и в начале 1850-х годов он поместил в «Отечественных записках» пьесы «Холостяк» и «Провинциалка», повести «Дневник лишнего человека», «Яков Пасынков» и другие.

С начала 1840-х годов и до 1846 г. продолжалось сотрудничество в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова. «Моя встреча с Белинским [в 1843 г.] была для меня спасением», — говорил Некрасов. Кроме нескольких рассказов («Необыкновенный завтрак», «Опытная женщина») и стихотворений («Современная ода», «Старушке», «Когда из мрака заблужденья», «Огородник»), Некрасов поместил в «Отечественных записках» значительное количество анонимных рецензий, нравившихся Белинскому. «Вы писывали превосходные рецензии в таком роде, в котором я писать не могу и не умею», — говорил Белинский Некрасову. «Я помню, — писал Белинский и Кавелину, — в 1842 или 1843 гг. он [Некрасов] написал в „Отечественных записках" разбор какого-то булгаринского изделья с такой злостью, с таким мастерством, что читать наслаждение и удивление».

Во второй половине 1840-х годов начинает помещать свои произведения в «Отечественных записках» Ф. М. Достоевский, дебютировавший в литературе романом «Бедные люди», опубликованным в «Петербургском сборнике» Некрасова (1846). Почти все свои последующие произведения 1840-х годов Достоевский поместил в «Отечественных записках»: «Двойник», «Господин Прохарчин», «Хозяйка», «Белые ночи», «Елка и свадьба», «Неточка Незванова» и другие повести и рассказы.

С «Отечественными записками» связано и начало литературной деятельности М. Е. Салтыкова-Щедрина. В 1847 г. в журнале была опубликована его повесть «Противоречия», а в 1848 г. другая повесть — «Запутанное дело», за которую автор поплатился ссылкой в Вятку.

В «Отечественных записках» предполагал начать свой литературный путь и А. Ф. Писемский. В 1846 г. он послал Краевскому роман «Боярщина», но цензура не пропустила его, и писатель на некоторое время замолчал.

Кроме названных крупнейших русских писателей в отделе словесности «Отечественных записок» 1840-х годов в разные годы помещали свои произведения такие значительные прозаики и поэты, как В. Ф. Одоевский («Княжна Зизи», «Косморама» и др.), Д. В. Григорович («Деревня» — 1846 г. и др.), Г. Ф. Квитка-Основьяненко («Пан Халявский» и др.), В. И. Даль, Н. П. Огарев, А. Н. Майков, А. Фет, а также такие популярные тогда беллетристы, как В. Соллогуб («История двух калош», «Большой свет», главы из «Тарантаса»), И. И. Панаев, П. Н. Кудрявцев, Е. П. Гребенка, А. Д. Галахов, Я. П. Бутков и другие.

Высокими качествами отличалась в «Отечественных записках» 1840-х годов и переводная художественная литература. При этом над переводами для «Отечественных записок» работали такие опытные переводчики, как Кронеберг, Струговщиков, Кетчер. Помещались почти исключительно переводы современных западноевропейских писателей; что же касается писателей прошлого, то было дано лишь несколько переводов из Гете (отрывки из «Фауста», «Вильгельма Мейстера», стихи) и перевод «Двенадцатой ночи» Шекспира (перевод Кронеберга). Из современных явлений западных литератур «Отечественные записки», естественно, тяготели преимущественно к французскому социальному роману. Особенно много было помещено произведений Жорж Занд: «Орас», «Мельхиор», «Андре», «Жак», «Лукреция Флориани», «Домашний секретарь», «Жанна», «Теверино», «Маркиза». Из английской литературы в «Отечественных записках» были напечатаны романы Диккенса «Оливер Твист», «Бернеби Родж», «Жизнь и приключения Мартина Чодзльвита», из американской — роман Ф. Купера «Путеводитель в пустыне». Из немецкой литературы в журнале были помещены «Мейстер Фло» и «Крошка Цахес» Гофмана, «Избыток жизни», «Виттория Аккромбона» Л. Тика и несколько стихотворений Гейне.

Отдел критики и библиографии «Отечественных записок» с осени 1839 г. до апреля 1846 г. вел Белинский. Он помещал в журнале, за очень редкими исключениями, все свои работы этого времени, начиная с известных статей о «Бородинской годовщине» Жуковского и «Очерках Бородинского сражения» Ф. Глинки и кончая одиннадцатой (и последней) статьей о Пушкине, помещенной в 10-й книжке «Отечественных записок» за 1846 г. В числе работ Белинского, помещенных в «Отечественных записках» были и общие обзоры русской литературы за 1840—1845 гг., и статьи о народной поэзии, и две статьи о творчестве Лермонтова, и одиннадцать статей о творчестве Пушкина, и несколько полемических заметок о «Мертвых душах» Гоголя, и огромное количество других замечательных произведений великого критика.

Кроме Белинского, в отделе критики и библиографии «Отечественных записок» 1840-х годов принимали участие М. Н. Катков[1], А. Д. Гала-

---

[1] М. Н. Катков позднее, в 1850—1860 годах, стал известен как редактор «Русского вестника» и деятель сначала либерального, а затем реакционного лагеря русской общественной мысли. Начал же он свою литературную деятельность в конце 1830-х годов как литератор прогрессивного направления. В «Отечественных записках» 1839—1840 гг. Катков поместил значительное количество статей и рецензий (о «Песнях русского народа» Сахарова, об «Истории древней русской словесности» М. Максимовича, об «Основаниях русской стилистики» Зиновьева, о сочинениях Сарры Толстой и др.), а также несколько переводов (романы Купера, стихи Гейне). Сотрудничество Каткова в «Отечественных записках» продолжалось недолго; осенью 1840 г.

хов,[1] П. Н. Кудрявцев,[2] В. П. Боткин, Некрасов и другие литераторы, в большей или меньшей степени разделявшие тогда литературные мнения Белинского. После ухода из «Отечественных записок» Белинского отдел критики и библиографии журнала некоторое (весьма непродолжительное) время находился в руках В. Н. Майкова, поместившего в нем статью о Кольцове и несколько рецензий, а затем перешел в руки С. С. Дудышкина, дебютировавшего в 1847 г. статьей о Фонвизине.

Критики и рецензенты — «Отечественных записок» уделяли внимание не только явлениям отечественной литературы, но и литературам европейским. Кроме Белинского, постоянно откликавшегося на все существенные явления западных литератур, обзоры иностранных литератур в «Отечественных записках» вели К. Ф. Липперт, Боткин (немецкая литература), И. И. Панаев (французская литература). Вместе с тем Липперт поместил в журнале четыре статьи о Гете, Боткин — статью «Шекспир как человек и лирик», Кронеберг — «Обзор мнений о Шекспире, высказанных европейскими писателями XVIII—XIX века». Наконец, были помещены переводные статьи о Шекспире, Лессинге, Гофмане и других западных писателях. Так, В. П. Боткин (вообще активно сотрудничавший в «Отечественных записках» 1840-х годов как критик, переводчик, обозреватель художественных выставок и т. д.) перевел для журнала статьи Рётшера «Четыре новые драмы Шекспира» и Джексон «Женщины, созданные Шекспиром».

Другие отделы «Отечественных записок», хотя и не были столь богаты как отделы «словесности» и «критики и библиографии», содержали в себе ряд в высшей степени интересных и ценных произведений по философии, истории, естествознанию и т. д.

Среди работ по вопросам философии выделяются замечательные работы Герцена «Дилентантизм в науке» и «Письма об изучении природы». Положительно были оценены Белинским статьи «О философии» Бакунина и «Философия анатомии» Галахова. «Статья Галахова — прелесть, чудо, объядение», — писал он Боткину.

Среди работ по историческим и экономически вопросам заслуживают внимания: «Пролетарии и пауперизм в Англии и Франции» В. А. Милютина, «О причинах колебания цен на хлеб в России» А. П. Заблоцкого-Десятовского («архи-превосходнейшая статья», по мнению Белинского), полемические статьи Т. Н. Грановского против Хомякова, рецензии К. Д. Кавелина на книги по русской истории, статья В. П. Боткина «Антонио Перес и Филипп II». Вообще «Отечественным записками» удалось привлечь к сотрудничеству наиболее передовых ученых Петербургского и Московского университетов.

Большое место уделял журнал освещению жизни России, особенно жизни хозяйственной. В журнале было помещено значительное коли-

---

он уехал в Германию, увлекся там «Философией откровения» Шеллинга и отошел от Белинского и «Отечественных записок».

[1] А. Д. Галахов, более всего известный как автор распространенной литературной «Хрестоматии», был в 1840-е годы одним из активных сотрудников «Отечественных записок». Кроме большого числа критических статей и рецензий, Галахов поместил тогда в журнале интересную статью «Философия анатомии» и под псевдонимом «Сто один» несколько повестей («Записки человека», «Старое зеркало» и др.). Кроме того, через Галахова, проживавшего в Москве, поддерживались связи «Отечественных записок» с их московскими сотрудниками.

[2] П. Н. Кудрявцев, впоследствии профессор Московского университета по кафедре всеобщей истории, тоже принимал в «Отечественных записках» 1840-х годов активное участие. Кроме ряда рецензий, он поместил в журнале под псевдонимами «А. Н.» и «Нестроев» около десятка повестей: «Недоумение», «Звезда», «Цветок», «Последний визит», «Ошибка» и другие. Некоторые из них нравились Белинскому.

чество статей и материалов соответствующего характера. Кроме названной работы Заблоцкого-Десятовского, восемь статей П. Небольсина «Рассказы о сибирских золотых приисках» («прекрасная и преинтересная» работа, — по отзыву Белинского), статья П. И. Мельникова-Печерского о нижегородской ярмарке, статьи И. В. Сабурова «Записки пензенского земледельца о теории и практике сельского хозяйства» и т. д. Особенностью журнала, отличавшей его от других периодических изданий, было наличие в нем отдела «Современная хроника России».

Кроме оригинальных русских ученых, «Отечественные записки» в отделе «Науки» помещали также переводы работ европейских ученых: «Рассказы о временах Меровингов» Тьерри (перевод Герцена), «Консульство и империя» Тьера, «Система железных дорог в Германии» Фр. Листа, «Космос» Гумбольдта и другие. Судя по всему, руководителей «Отечественных записок» интересовало не столько историческое прошлое Европы, сколько ее настоящее. Это подтверждают и другие статьи журнала, посвященные современной европейской жизни и литературе, в частности «Письма из-за границы» П. В. Анненкова, печатавшиеся в отделе «Смесь».

Уже краткий обзор содержания «Отечественных записок» за 1840-е годы показывает, что это был лучший журнал «замечательного десятилетия». Естественен успех журнала в широких кругах читателей. Еще в 1841 г. ссыльный декабрист В. К. Кюхельбекер в своем дневнике назвал «Отечественные записки» «журналом больших достоинств». Ему понравились и стихи Лермонтова и статьи Белинского.

3. Направление «Отечественных записок»

Главное условие, которое поставил Белинский перед Краевским при своем переходе в «Отечественые записки», заключалось в обеспечении ему полной свободы мнений. Сообщая И. И. Панаеву, что он готов «продать себя» Краевскому, Белинский добавлял: «не стесняя при том моего образа мыслей, выражения, словом моей л и т е р а т у р н о й с о в е с т и, которая для меня так дорога, что во всем Петербурге нет и приблизительной суммы для ее купли. Если дело дойдет до того, что мне скажут: „независимость и самобытность убеждений или голодная смерть" — у меня достанет силы скорее издохнуть, как собака, нежели живому отдаться на съедение псам... Что делать — я так создан». Договорившись с Краевским, Белинский тотчас же начинает ревниво следить за выдержанностью направления «Отечественных записок». «Бога ради, Андрей Александрович, — писал он Краевскому 19 августа 1839 г., — какими судьбами попала в „Отечественные записки" гнусная статья пошляка, педанта и школяра Давыдова?.. зачем же пятнать журнал такими нечистотами?».[1]

Краевский, не отличаясь принципиальностью убеждений и будучи заинтересован в успехе своего издания, не препятствовал превращению «Отечественных записок» в орган Белинского и его единомышленников. Серьезных возражений с его стороны не вызвало и отречение Белинского в 1840 г. от «примирения с действительностью». По свидетельству И. И. Панаева, когда Краевский «заметил перемену направления в своем журнале, это сначала крайне удивило его. Делать, впрочем, было нечего... В области мысли он не был так силен, как в области денежных расчетов, и должен был покориться безусловно Белин-

[1] Речь идет о статье реакционного профессора И. И. Давыдова «О возможности эстетической критики».

скому... К тому же новое направление, может быть, еще обещало усиление подписки». Свидетельство Панаева небеспристрастно, но в основном, несомненно справедливо.

Направление, которое Белинский стремился придать «Отечественным запискам», не вызывает сомнений. Он был непримиримым врагом крепостничества, самодержавия и религии, социалистом и демократом, «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении» (В. И. Ленин, Сочинения, 3-е изд., т. XVII, стр. 341). Известно, что уже в 1840 г. Белинский порвал с примирением с действительностью и в своих статьях, решающих не только литературно-эстетические вопросы, но и все «проклятые вопросы» русской жизни, стал исповедовать те взгляды, итогом которых было зальцбруннское письмо к Гоголю и которые, как и это письмо, находились в тесной связи с настроениями крепостных крестьян и их борьбой против крепостничества. «Его знаменитое письмо к Гоголю, подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной, демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору», — писал В. И. Ленин (Сочинения, 3-е изд., т. XVII, стр. 341).

В духе своих убеждений Белинский и руководил «Отечественными записками». Ближайшим соратником и единомышленником его был Герцен. Другие основные сотрудники журнала, хотя и отличались от Белинского и Герцена либеральным характером своих воззрений, но подчинялись их авторитету и в меру своих возможностей участвовали вместе с ними в борьбе против официальной идеологии и славянофильства. Благодаря этому и достигалось идейное единство в направлении журнала. Белинский, сотрудничая с западниками, вел журнал по своему пути.

В тяжелых подцензурных условиях «Отечественные записки» боролись с крепостничеством и всеми его проявлениями в политическом строе, быту и идеологии. Журнал ратовал за просвещение и свободу, за прогрессивные формы экономической, политической, культурной жизни, за всестороннее развитие России, отстаивал интересы народных масс, главным образом крепостных крестьян, явственно сказывалось в журнале положительное отношение к народным движениям и революционным переворотам. Такого рода взгляды находили выражение не только в статьях Белинского, в публицистике Герцена, но и в содержании всех отделов журнала. Отдел «Современной хроники России» с сочувствием следил за развитием отечественной промышленности и торговли; в отделе «Смесь» не случайно очень часто появлялись статьи и заметки о рабовладении в Соединенных Штатах Америки («О торговле неграми и их бедствиях» — 1846, т. 40; «Об уничтожении рабства негров» — 1847, т. 54; текст воззвания об освобождении негров во французских колониях — 1848, т. 56 и т. д.); отдел «Науки» помещал статьи, довольно прозрачно доказывающие необходимость отмены крепостного права. К таким статьям относится, например, работа А. П. Заблоцкого-Десятовского «О причинах колебания цен на хлеб в России» (1847, № 5—6), автор которой утверждал, что даровой труд крепостных крестьян уничтожает возможность устойчивых цен на хлеб, что «правильная соразмерность между производством и запросом хлеба на рынках может установиться только тогда, когда рента примет естественный, характер» (т. е. с уничтожением крепостного права).

Глубокая и всесторонняя критика социально-политических отношений крепостнической России и стремление к их коренному преобразова-

нию естественно заставили «Отечественные записки» встать на пути борьбы с идеологией квасного патриотизма, идеализировавшей и увековечивающей отсталость России. «Патриотизму», соединенному с православием, самодержавием и крепостным правом, «Отечественные записки» противопоставляли патриотизм, неотделимый от борьбы за освобождение русского народа от власти помещиков, царя и церкви. Отсюда — постоянные выступления журнала против славянофилов, «Москвитянина», «Маяка», псевдопатриотической журналистики и литературы.

Критикуя экономическую, политическую и культурную отсталость России, «Отечественные записки» были далеки и от какого бы то ни было преклонения перед капиталистической цивилизацией Западной Европы и Америки. Белинский, Герцен и многие сотрудники журнала ценили прогрессивные явления европейской жизни и культуры и решительно отвергали основы буржуазного строя и буржуазной идеологии. Достаточно сослаться на известную статью Белинского о романе Э. Сю «Парижские тайны» (1844, № 4), в которой с поразительной глубиной раскрыты и непримиримые противоречия между капиталистами и рабочими, и фальшь буржуазной демократии. Жуткую картину бедствий трудящихся при капитализме нарисовал В. А. Милютин в статье «Пролетарии и пауперизм в Англии и Франции» (1847, №№ 1—4). Статья эта заслуживает особого внимания. Автор ее был талантливым, оригинальным и самостоятельным русским экономистом, предвосхитившим ряд положений экономической теории Чернышевского. Кроме «Отечественных записок», Милютин помещал свои статьи и в «Современнике». Милютин посещал пятницы Петрашевского. Ему была посвящена первая повесть М. Е. Салтыкова-Щедрина «Противоречия», опубликованная в том же 1847 г. в «Отечественных записках». В своей работе Милютин писал следующее: «Если мы не будем останавливаться на одной поверхности, а проникнем в самую глубину современной жизни, то увидим, что под внешним блеском и богатством государств Западной Европы кроется язва нищеты и страданий, язва страшная и глубокая. Мы увидим, что эта нищета и эти страдания постоянно тяготеют над рабочими классами; что никакая предусмотрительность, никакая деятельность, никакие добродетели не могут спасти их от этого рокового и неотвратимого жребия».

Через все отделы «Отечественных записок» проходило положительное отношение к попыткам преобразования общественной жизни человечества на началах социализма. В отделе «Науки» излагались работы социалистов Запада, отдел «Смесь» знакомил читателей «Отечественных записок» с жизнью и деятельностью Томаса Мора, Оливера Кромвеля, Кабэ, Луи Блана и рекомендовал такие книги, как «Destineé sociale» Консидерана или «Etudes sur réformateurs modernes» (том I: «Ch. Fourier, S.-Simon, R. Oven»; том II: «Les communistes, les chartistes, les unitaires, les Humanitaires») и другие. Социалистические идеи находили место и в работах некоторых русских литераторов и ученых. Не говоря уже о статьях Белинского или о романе Герцена «Кто виноват?», укажем на статью В. Майкова о Кольцове (1846, №№ 11 и 12) и снова на статью В. А. Милютина: «Пролетарии и пауперизм в Англии и Франции». В ней Милютин проводил следующие мысли: «Одна из самых главных и самых деятельных причин нищеты заключается в экономическом устройстве европейских обществ. . .». «Труд — это товар, причем расценка его недобровольная и несправедливая. . .». «Богатство вместо того, чтобы распространяться в одинаковой мере на все классы общества,

сосредоточивается в руках немногих избранных, в руках людей, владеющих капиталами...». «Интересы капиталистов не только не тождественны с интересами работников, но прямо противоположны им...». «Недалеко то время, когда, не довольствуясь одними частными мерами, приступят к полному и существенному преобразованию хозяйственных отношений и заменят ныне существующее неустройство более правильною, твердою и разумною организациею труда».

Говоря о социалистических идеях «Отечественных записок», необходимо отметить, что некоторые сотрудники журнала, хотя и были идеалистами в понимании исторических явлений и утопистами в обосновании социализма, все же отрицательно относились ко многим сторонам западноевропейского утопического социализма. Критически осваивая учение утопистов Запада, они пытались преодолеть фантастические элементы утопического социализма и подняться над его уровнем. В то время как западноевропейские социалисты-утописты не верили в творческие силы масс, боялись революции, апеллировали к филантропам и правительствам, в лучших статьях «Отечественных записок» социализм соединялся с идеями демократии и революционным движением народных масс против крепостничества и самодержавия. Во всем этом легко убедиться, обратившись к выступлениям Белинского и Герцена, к работам Милютина и В. Майкова, к такой повести, как «Запутанное дело» Салтыкова.

Общий строй социально-политических идей, развивавшихся на страницах «Отечественных записок», получал свое художественное воплощение в отделе «Словесность». Достаточно напомнить о том, что в журнале были напечатаны «Кто виноват?» Герцена, «Запутанное дело» Салтыкова, «Деревня» Григоровича, что в нем помещали свои произведения такие писатели, как Лермонтов, Кольцов, Тургенев, Некрасов, Огарев, что в отделе переводной литературы печатались произведения представителей западноевропейского реализма и в особенности Жорж Занд и Диккенса. Разоблачение зла и гнусности крепостнических и капиталистических отношений и настойчивые поиски реальных путей осуществления социальных идеалов — основные мотивы многих художественных произведений, помещенных в «Отечественных записках». В них нашли правдивое отражение и безотрадная жизнь крестьянства, и нищенский быт городской бедноты, и подавленная умственная жизнь русской интеллигенции.

Большое внимание уделяли «Отечественные записки» вопросам философии. Журнал знакомил своих читателей не только с достижениями русской философии, но и пристально следил за развитием философской мысли на Западе. Так, на каждое новое явление теоретической жизни Германии «Отечественные записки» откликались почти одновременно с немецкой печатью. Когда Шеллинг, после долголетнего молчания, выступил в ноябре 1841 г. в берлинском университете с направленными против Гегеля и материализма лекциями о «философии откровения», «Отечественные записки» немедленно информировали своих читателей об этом событии: в февральской книжке журнала за 1842 г. была помещена заметка «Первая лекция Шеллинга в Берлине». Возникновение среди немецких последователей Гегеля группы левых гегельянцев также было отмечено «Отечественными записками». Тот круг философских идей, на основе которого происходило оформление миросозерцания Маркса и Энгельса, был постоянно в поле зрения «Отечественных записок». Не только учение Шеллинга и Гегеля, но и имена и работы Бруно Бауэра, Штрауса, Фейербаха были хорошо известны некоторым

сотрудникам журнала. В сентябрьской и октябрьской книжках «Отечественных записок» за 1839 г. была помещена написанная специально для русского журнала и доставленная Варнгагеном фон Энзе статья о немецкой литературе одного из левых гегельянцев — Людвига Буля. В декабрьской книжке «Отечественных записок» за 1840 г. было дано краткое изложение книги «Фридрих Великий и его противники», автором которой является другой левый гегельянец Карл Кеппен. И Буль и Кеппен были близко знакомы с Марксом и Энгельсом; названная книга Кеппена была посвящена Марксу.

Больше того — однажды на страницах «Отечественных записок» было дано изложение основных мыслей работы молодого Энгельса «Шеллинг и откровение», вышедшей в Берлине отдельной брошюрой в 1842 г. Это сделал, не указывая источника, Боткин во вводной части своей статьи о немецкой литературе. Сопоставление статьи Боткина и работы Энгельса с абсолютной очевидностью свидетельствуют о том, что Боткин не только использовал брошюру Энгельса, не только пересказал ее, но местами дал из нее буквальный перевод.[1] Следуя за Энгельсом, Боткин в своей статье развил следующие идеи. Философия Гегеля, — писал Боткин, — несмотря на ее «тернистый язык», открыла «широкие врата к доселе скрытому, дивному богатству». Но некоторые «выводы» и «результаты» Гегеля, его «политические мнения», его «понятие о государстве» кажутся Боткину устаревшими. «Лучшая критика выводимых им результатов есть проверка их его же методом». Особенно это относится к «философии религии» и «философии права» Гегеля. «Принципы в них всегда независимы, свободны и истинны, заключения и выводы часто близоруки». В этом обстоятельстве лежала причина разделения школы на правую и левую. Одна часть учеников обратилась к принципам, к диалектическому методу, внеся в него все жизненные вопросы времени, и отвергла выводы, если они не вытекали из принципов. Эта школа названа была «левою школою». По мнению Боткина, эта школа стоит «на первом плане борьбы» ученых партий в Германии. Правящие круги Пруссии, «чтобы парализовать движение гегелевой философии... пригласили в Берлин самого Шеллинга». Они ожидали, что «стоит только Шеллингу выдать свою систему, и от учения Гегеля останутся пыль и прах», так как Шеллинг «занимал в философии место высокое и значительное». «Чтения начались. Туча, собравшаяся на юге Германии, разразилась громом и молнией на кафедре в Берлине». Но «Шеллинг не оправдал надежд своих последователей... к удивлению всех, Шеллинг оставил в стороне путь чистой мысли и погрузился в мифологические и гностические фантазии». Так характеризует Боткин современное философское движение Германии, с полным сочувствием перелагая и переводя Энгельса. Статья Боткина очень понравилась Белинскому. Как и Герцен, он разделял многие ее положения. «Твоя статья о немецкой литературе в № 1 мне чрезвычайно понравилась, — умно, дельно, ловко».

Освоение лучших достижений западноевропейской философии не мешало, разумеется, «Отечественным запискам» развивать в области философии (как и в области социально-политической мысли) совершенно самостоятельные и оригинальные воззрения. Философские взгляды, пропагандировавшиеся «Отечественными записками», претерпели известную эволюцию. Как известно, к началу 1840-х годов Белинский

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. II, стр. 114—122. Статья Боткина, опубликованная в «Отечественных записках» (1843, № 1), перепечатана во II томе его «Сочинений», СПб., 1891, стр. 255—275.

не без влияния Герцена порвал с «примирением с гнусной действительностью» и перешел к осознанию идеи «отрицания» и пониманию диалектики как «алгебры революции». Дальнейшие теоретические искания повели руководящих деятелей «Отечественных записок» от идеализма к материалистическому миросозерцанию. Для характеристики философских позиций «Отечественных записок», кроме статей Белинского, особенный интерес представляют опубликованные в журнале работы Герцена «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы». В этих замечательных произведениях русская философская мысль 1840-х годов нашла свое глубокое и блестящее выражение. «Не спокон ли века сознавали люди, что не мертвая косность сущего предмета, не его тождество с собою — полная истина его? .. — писал Герцен в «Письмах об изучении природы». — Бытие живо движением; жизнь есть не что иное как движение беспрерывное, не останавливающееся, деятельная борьба». Устанавливая великое значение диалектического метода, Герцен в то же время подвергал суровой критике учение Гегеля и указывал путь от идеализма к материализму. У Гегеля, — писал Герцен в «Дилетантизме в науке», — «недоставало геройства, последовательности, самоотвержения в принятии истины во всю ширину ее и чего бы она ни стоила». В «Письмах об изучении природы» Герцен утверждал материализм еще яснее: «Гегель хотел природу и историю, как прикладную логику, — а не логику, как отвлеченную разумность природы к истории... Гегель поставил мышление на той высоте, что нет возможности после него сделать шаг, не оставив совершенно за собой идеализма». Защита диалектического метода и материализма не исчерпывает богатого содержания статей Герцена. В них можно найти и последовательное отрицание всякой поповщины, и блестящую критику эмпиризма, и понимание недостатков позитивизма и механистического материализма, и убежденную пропаганду естественных наук. Несомненно, что Герцен, как и Белинский, сделал шаг вперед не только по сравнению с учением Гегеля, но и по сравнению с созерцательным материализмом Фейербаха и, как утверждал В. И. Ленин, «вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом» (В. И. Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 464—465).

В области литературно-эстетической «Отечественные записки», в соответствии со своим социально-политическим и философским направлением, боролись за искусство, реалистическое, народное, гражданское, глубоко прогрессивное по своему идейному содержанию и общественному значению.

Белинский создал цельную концепцию художественного реализма, сделав шаг вперед в развитии не только русской, но и мировой эстетической мысли. Опираясь на материалистическую философию, он утверждал, что искусство — это «воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир», что природа искусства — земная, материальная, а не потусторонняя, метафизическая, как считали идеалисты, как считал сильнейший из них — Гегель. Он нанес смертельный удар романтико-идеалистическим теориям, трактовавшим искусство, как «украшенную природу», оправдывавшим идеализацию действительности в искусстве.

Определяя искусство как воспроизведение действительности, Белинский видел в нем выражение общественных идей, стремлений, запросов. Он был горячим защитником гражданской, социальной направленности искусства и литературы и врагом идеалистической теории «искусства для искусства». Он требовал от литературы активного служения

интересам народа, России, прогресса. По его мнению, подлинно великое произведение искусства представляет собой гармоническое соединение глубокого общественного содержания с высоко художественной формой.

Белинский был защитником не только реализма, но и народности в литературе. При этом его понимание народности резко отличалось своею глубиной и прогрессивностью от взглядов других критиков 1840-х годов. В противоположность критикам «Маяка» и «Москвитянина» он утверждал, что истинная народность в искусстве ничего общего не имеет с квасным патриотизмом и бахвальством порядками и нравами самодержавно-крепостнической России. Белинский боролся и против славянофильских представлений о народности в литературе, основанных на реакционно-романтической идеализации патриархального крестьянского быта и утопическом учении о самобытности России. Он преследовал и всякую лубочную подделку под народность. Белинский понимал под народностью в произведениях искусства воплощение в них национально-народного отношения к многообразным явлениям жизни, проявления в них мудрости, чаяний, идеалов народных масс, правдивое изображение действительности. Защита народности в его критике была неразрывно связана с защитой критического реализма и имела ярко выраженный демократический характер.

Статьи Белинского произвели подлинный переворот в русской литературе. Исходя из принципов реализма и демократической народности, Белинский развенчал «ложно-величавую школу» в русской литературе и подорвал популярность ее наиболее видных представителей: Кукольника, Бенедиктова, Марлинского, Полевого и других. Тем самым он расчистил дорогу для дальнейшего прогрессивного развития русской литературы.

Белинский развил поразительно глубокое понимание творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя, разъяснил значение их деятельности и навсегда утвердил за ними место основоположников и родоначальников классической русской литературы. Тем самым он направил развитие русской литературы по плодотворному пути реализма и народности.

С изумительной верностью и прозорливостью Белинский оценил первые произведения Герцена, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Гончарова и других писателей, ставших впоследствии гордостью русской литературы. Воздействие идей Белинского помогло этим писателям создать великие произведения художественной литературы.

Таково направление «Отечественных записок» 1840-х годов (до 1848 г.). В сущности говоря, Булгарин, Б. Федоров и другие литературные доносчики были в основном правы, когда утверждали, что «Отечественные записки» проповедуют «вольнодумство и противу-религии», что все направление «Отечественных записок» «клонится к тому, чтобы возбудить жажду к переворотам и революциям».

4. Борьба «Отечественных записок» с враждебными им журналами

Журнал новых социально-политических и философских идей и новой литературы — «Отечественные записки» неизбежно должны были стать журналом воинствующим. Тем более, что союзников у них не было, а врагов было более чем достаточно. Из всех литературных журналов 1840-х годов «Отечественные записки» наиболее сдержанно относились к журналу Плетнева «Современник». «Современник» стоял в стороне от журнальных битв и «злобы дня», не пользуясь успехом у читателей

и не оказывая никакого влияния на литературную жизнь. Почти со всеми другими литературными журналами 1840-х годов «Отечественные записки» вели постоянную и беспощадную войну.

«Отечественные записки», как указано выше, с первых дней своего существования поставили себя во враждебное отношение с журнальным триумвиратом. С приходом в «Отечественные записки» Белинского борьба против периодических изданий Булгарина, Греча, Сенковского усилилась и стала более глубокой и содержательной. Уже в статье «О сочинениях А. Марлинского», помещенной в № 2 за 1840 г., Белинский, говоря о задачах и целях «Отечественных записок» подчеркивал: «Надо, чтобы пошлые и торговые мнения об искусстве заменились „мыслями" об искусстве; чтобы литературные промышленники, объясняющие законы искусства своею благонамеренностью и усердием к пользе «почтеннейшей» публики, уступили место тем, которые говорят об искусстве, потому что любят и понимают его».

Начиная борьбу с «литературными спекулянтами», Белинский свое первое полемическое выступление в «Отечественных записках» посвятил не Булгарину и не Сенковскому, а Н. А. Полевому.

Падение Полевого, ставшего соратником своих недавних врагов Греча и Булгарина, глубоко возмутило Белинского. Еще в самом начале переговоров о сотрудничестве в «Отечественных записках» — 22 февраля 1839 г. он писал Панаеву: «Если я буду крепко участвовать в «Отечественных записках", то — уговор лучше денег — Полевой — да не прикоснется к нему никто кроме меня! Это моя собственность, собственность по праву... У меня уже готова в голове статья». Статья Белинского о Н. Полевом, об его «Очерках русской литературы» появилась в первом номере за 1840 г. Она в самой резкой форме осуждала «новый и особенный против прежнего» образ действия Н. Полевого и обнажала отсталость его эклектической философии, романтической эстетики и суждений о конкретных явлениях русской литературы. Статья об «Очерках русской литературы» положила начало той постоянной борьбе, которую вели «Отечественные записки» против журналов Н. Полевого «Сын отечества» и «Русский вестник», против их критических мнений, осуждавших Гоголя и «Мертвые души», Лермонтова, Кольцова и русский реализм. «Отечественные записки» неоднократно выступали и против псевдопатриотической драматургии Н. Полевого и его романтической прозы. Эта борьба осуществлялась не только в убийственных критических статьях и заметках Белинского, но и в произведениях иных жанров и других сотрудников. Так, в 1845 г. в журнале был помещен рассказ Говорилина (А. Я. Кульчицкого) «Необыкновенный поединок», представлявший собой, по мнению Белинского, произведение, «способное навести читателя на некоторые весьма любопытные соображения насчет некоторых знаменитых имен нашей литературы», а по мнению Чернышевского — «превосходную пародию» на романтические повести Полевого, Марлинского, Кукольника. Выступления «Отечественных записок» против Н. Полевого продолжались вплоть до прекращения последним всякой литературной и журнальной деятельности. На смерть Полевого в 1846 г. Белинский отозвался большой статьей — «Н. А. Полевой». К этому времени сотрудничество Белинского в журнале Краевского уже прекратилось, и статья была издана отдельной брошюрой. В ней Белинский дал окончательную оценку всей деятельности Полевого, ее положительных и отрицательных сторон.

Еще более враждебно было отношение «Отечественных записок» к Булгарину, Гречу, Сенковскому и их периодическим изданиям: «Се-

верная пчела» и «Библиотека для чтения». Несмотря на все цензурные препятствия («цензура, верная воле Уварова, марает в „Отечественных записках" все, что пишется в них против Булгарина и Греча», — писал Белинский Кетчеру), Белинский в своих «литературных и журнальных заметках» систематически разоблачал продажность и доносы «Северной пчелы» и беспринципность «Библиотеки для чтения». Законченный портрет Булгарина, характеристику всей его «деятельности» Белинский дал в статье о «Воспоминаниях» Булгарина (1846, т. XLVI), где отвратительная фигура наглого агента III отделения в литературе, прикрывающего свою продажность демагогией о правдолюбии и патриотизме, показана во весь рост.

Из статей против Сенковского и его журнала наиболее значительной является статья Белинского «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» (1842, № 9), дополняющая ту блестящую характеристику «Библиотеки», которую Белинский дал еще в «Телескопе» в статье «Ничто о ничем». «Литературный разговор» прекрасно раскрывал и отсутствие самостоятельных убеждений и мнений у «Барона Брамбеуса», и плоский характер его остроумия, и чрезмерное пристрастие к циническим сценам, и неосновательность его литературных оценок. Особенно много внимания уделил Белинский мнениям «Северной пчелы» и «Библиотеки для чтения» о «Мертвых душах». Вульгарное отрицание Булгариным и Сенковским «Мертвых душ», как грязного и бессодержательного произведения, дало ему возможность с полной убедительностью показать все убожество критических мнений руководителей «Северной пчелы» и «Библиотеки». Кроме Белинского, против Булгарина, Греча и Сенковского выступали в «Отечественных записках» и другие сотрудники журнала. Так, И. И. Панаев написал рассказы «Русский фельетонист» и «Тля», где почти открыто были изображены Булгарин и его литературное окружение. Сам Краевский выступил однажды со статьей против Греча и, повидимому, является автором некоторых редакционных заметок, направленных против триумвирата. Собирался выступить в «Отечественных записках» против Булгарина и Греча и Герцен. Но написанная им статья «Ум хорошо, а два лучше» получилась настолько острой, что и автор и руководители «Отечественных записок» вынуждены были отказаться от ее помещения в журнале.

В самом начале 1840-х годов русская периодика пополнилась двумя литературными журналами — «Маяк» и «Москвитянин». В этих изданиях «Отечественные записки» приобрели новых врагов, которые главной целью своего существования поставили борьбу с передовой общественной мыслью 1840-х годов. В полемику с «Маяком» «Отечественные записки» вступали довольно редко. Такая полемика была далеко не безопасной, а дикий, откровенный обскурантизм «Маяка» и сам по себе не привлекал к нему симпатий сколько-нибудь широких кругов читателей. Поэтому «Отечественные записки» ограничивались в войне с «Маяком» небольшими насмешливыми заметками и попутными замечаниями. В 1840 г. в рецензии на роман Д. Н. Бегичева «Ольга» (1840, № 10) Белинский писал: «в нашу уснувшую литературу начал вкрадываться китайский дух... он начал пробираться не под своим собственным, т. е. китайским именем — Дзун-Кин-Дзын, а с чужим паспортом, с подложною фамилией и назвался моральным духом. Говорят, что добрые мандарины, перебивающиеся контрабандой, приняли благое намерение издавать на русском языке журнал, имеющий целью распространение в русской литературе этого благовонного китайского духа. Иные утверждают даже, что будто бы этот журнал уже и издается

где-то на манчьжурской границе под названием „ Плошка Всемирного Просвещения, Вежливости и Учтивости"... К этому присовокупляют, что будто бы эта „Плошка" обвинила Жуковского и особенного Пушкина в растлении нашей литературы и развращении вкуса публики...». В «Плошке Всемирного Просвещения, Вежливости и Учтивости» нельзя было не узнать «Маяк Современного Просвещения, Искусства и Образованности». Только когда «Маяк» обещал в статьях некоего Мартынова «общипать Пушкина» и доказать, что в литературе наступил «век мишурности», Белинский посвятил «мифическому журналу» «для немногих», «обретающему на заднем дворе литературы», специальную заметку.

Журнал Погодина и Шевырева был гораздо культурнее «Маяка»; в состав его сотрудников входили известные литераторы; пропаганда официальной народности велась в «Москвитянине» более тонко и умно. Вот почему «Отечественные записки» вели с ним гораздо более активную борьбу, чем с «Маяком». «Отечественные записки» указывали на связь народности, исповедуемой «Москвитянином», с православием и самодержавием, выступали против преклонения «Москвитянина» перед феодальной и церковной культурой России, боролись с «христианской философией» московского журнала, защищали от его критики Лермонтова, Гоголя и писателей натуральной школы. Памятниками полемики «Отечественных записок» с «Москвитянином» являются известный памфлет Белинского «Педант», статьи Белинского и Галахова в защиту «Хрестоматии» Галахова, многочисленные журнальные и литературные заметки Белинского, содержавшие в себе полемику с москвитянинским пониманием «Мертвых душ», с доносительными стихами М. Дмитриева и т. д. Особенно большую роль в общественной борьбе 1840-х годов сыграл памфлет «Педант». «Педант» произвел необычайное впечатление. «Удар произвел действие, превзошедшее ожидания, — сообщал Боткин Краевскому. — В синклите Хомякова, Киреевских, Павлова, если заводят об этом речь, то с пеною у рта и ругательствами...».

Энергичное участие в борьбе с «Москвитянином» принял Герцен. Он поместил в «Отечественных записках» три фельетона, направленных против «Москвитянина» и его руководителей: «Путевые заметки г. Ведрина» (1843, № 11), «Москвитянин о Копернике» (1843, № 11) и «Москвитянин и вселенная» (1845, № 3). В них он очень удачно пародировал содержание и стиль «дорожного дневника» Погодина, издевался над курьезными промахами отдела науки «Москвитянина»; иронизировал над «детски милыми и наивными» воззрениями «Москвитянина» на Европу и над его претензиями обновить и спасти гибнущее человечество спасительными началами православия и самодержавия.

Выступая против «Москвитянина», «Отечественные записки» и Белинский не отделяли журнала Погодина и Шевырева от славянофильства. «Отечественные записки» имели для этого основания. Славянофилы время от времени принимали участие в «Москвитянине», между их воззрениями и воззрениями руководителей «Москвитянина» было много общего. Против «Отечественных записок» славянофилы и представители официальной народности выступали единым фронтом. Все это не мешало, конечно, «Отечественным записках» неоднократно выступать и непосредственно против славянофилов. Первое такое выступление относится к 1842 г. и связано с появлением «Мертвых душ» Гоголя. Отстаивая свое понимание «Мертвых душ», Белинский неизбежно должен был вступить в борьбу за Гоголя не только с вульгарной критикой триумвирата, не только с мнениями Шевырева (считавшего «Мертвые

души» односторонним произведением), но и с той интерпретацией «Мертвых душ», которую выдвинул славянофил К. С. Аксаков. Считая «Мертвые души» произведением антикрепостническим по содержанию и критическим по характеру реализма, Белинский в заметках «Несколько слов о поэме Гоголя „Мертвые души"» и «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя „Мертвые души"» резко возражал против брошюры К. Аксакова о «Мертвых душах», где «Мертвые души» были характеризованы как эпическая поэма типа «Илиады», а сам Гоголь как писатель типа Гомера. Белинский справедливо полагал, что интерпретация К. Аксакова снимает то беспощадное отрицание русской действительности, которое дано в «Мертвых душах». Второе серьезное выступление «Отечественных записок» против славянофилов было произведено в статье Белинского «Взгляд на русскую литературу 1844 года». Здесь Белинский подверг жестокой критике славянофильских поэтов Языкова и Хомякова. Особенно резко отметил Белинский претензии славянофильства и его поэтов на подлинную народность. «Являясь в печати,— писал Белинский о Языкове, — он старается закрыть свой фрак зипуном, поглаживает свою накладную бороду и, чтоб ни в чем не отстать от народа, так и щеголяет в своих стихах и грубостью чувств и выражений. По его мнению, это значит быть народным! Хороша народность!».

Опубликование этой статьи в «Отечественных записках» совпало с появлением в Москве цикла стихов Языкова, направленных против «не наших», т. е. Белинского, Герцена, Чаадаева и Грановского. Как известно, эти стихотворения граничили с доносом, и Герцен нашел нужным выступить против них на страницах «Отечественных записок». В своем фельетоне «Москвитянин и вселенная» он писал: «Успокоившаяся от сует муза г. Языкова решительно посвящает некогда забубенное перо свое поэзии исправительной и обличительной... Мы имели случай читать еще поэтические произведения того же исправительного направления, ждем их в печати, это — гром и молния: озлобленный поэт не остается в абстракциях, он указует негодующим перстом лица (при полном издании можно приложить адреса). Исправлять нравы! Что может быть выше этой цели? Разве не ее имел в виду самоотверженный Коцебу и автор „Выжигиных" и других нравственно сатирических романов!».

Наконец последним развернутым выступлением «Отечественных записок» против славянофилов является статья Белинского о повести В. Соллогуба «Тарантас». Она возникла в обстановке крайнего обострения борьбы Белинского и Герцена против славянофилов и представляет собою памфлет на Ив. Киреевского и беспощадный удар по теориям славянофильства. Издеваясь над утопическими стремлениями славянофилов возродить «давно прошедшее», Белинский писал: «Новые Дон-Кихоты, они сочинили себе одно из тех нелепых убеждений, которые так близки к толкам старообряднических сект, основанных на мертвом понимании мертвой буквы, и из этого убеждения сделали себе новую Дульцинею Тобосскую, ломают за нее перья и льют чернила».

Борьба «Отечественных записок» против враждебных журналов не осталась безрезультатной и сыграла немалую роль в судьбе последних. Не без влияния «Отечественных записок» в 1840-е годы упала популярность «Северной пчелы» и «Библиотеки для чтения», влачил жалкое существование «Сын отечества» и прекратилось издание «Русского вестника»; не без влияния «Отечественных записок» быстро погас «Маяк» и лишь «кое-как» издавался «Москвитянин».

«Отечественные записки» возбуждали к себе дикую ненависть со стороны реакционной журналистики. Первые же книжки преобразованного журнала подверглись нападению со стороны Булгарина, Греча, Сенковского, Полевого. «На „Отечественные записки" сделано было, после выхода первой книжки, достаточное количество гласных и негласных, прямых и косвенных нападений», — говорил Краевский в объявлении о выходе журнала (1839, № 5). В 1840 и 1841 гг. к органам триумвирата присоединились «Маяк» и «Москвитянин».

Враги «Отечественных записок» всеми способами старались доказать, что журнал Краевского проповедует революцию, социализм и безбожие, чтобы заставить правительство принять меры против его распространения. Демагогически и ложно они обвиняли «Отечественные записки» в измене родине, в презрении к русскому народу, в нигилистическом отношении к русской истории, культурному и литературному наследию. Они нападали на эстетику реализма, на положительное отношение Белинского к Лермонтову, Гоголю и натуральной школе. При этом руководители враждебных «Отечественным запискам» журналов не стеснялись давать место на страницах своих изданий таким «произведениям», которые совершенно явно имели характер доноса. «Северная пчела» изобилует такого рода выступлениями. Достаточно сослаться на обвинение «Отечественных записок» в том, что они не уважают Жуковского, несмотря на то, что Жуковский — автор гимна «Боже, царя храни» (1843, № 256). И другие журналы не брезговали «юридическими произведениями». Сошлемся на басню Б. Федорова «Крысы» в «Маяке», на стихотворение М. Дмитриева «Безымянному критику» в «Москвитянине».

Не ограничиваясь литературными средствами борьбы, журнальные враги «Отечественных записок» прибегали иногда и к средствам внелитературным. Булгарин и Греч пытались добиться на почтамте задержки денег, присылаемых подписчиками Краевскому. Известно также о многочисленных доносах на «Отечественные записки». «За Дзункиндзына Корсаков и Бурачок подали и напечатали на Отечественные записки донос», — сообщал 25 октября 1840 г. Белинский Боткину. Не гнушались, повидимому, прибегать к наушничеству и руководители «Москвитянина». Летом 1844 г. Шевырев, Давыдов, Бодянский гостили в имении министра просвещения Уварова — «Поречьи». Осенью, по приезде в Петербург, Уваров усилил гонение на «Отечественные записки». До Герцена дошли даже слухи об их закрытии. Он считал виновниками этого Шевырева и Погодина. Весьма осведомленный А. В. Никитенко записал 1 октября 1844 г. в свой дневник: «Поутру был у нашего министра... Он ужасно вооружен против „Отечественных записок", говорит, что у них дурное направление — социализм, коммунизм и т. д. Очевидно это навеяно москвичами-патриотами, которым во что бы то ни стало хочется быть вождями времени. Министр желает не щадить „Отечественные записки"».

Но, конечно, никто не мог по части доносов соперничать с Булгариным. Кроме писем цензору А. В. Никитенко и председателю Петербургского цензурного комитета князю Г. П. Волконскому, полных угроз за снисходительное якобы отношение к «Отечественным запискам», Булгарин в марте 1846 г. направил в III отделение донос, озаглавленный: «Социалисм, коммунисм и пантеисм в России в последнее двадцатилетие». В доносе этом содержались следующие утверждения: «Журнал „Отечественные записки", издаваемый явно без всякого укрывательства в духе комунисма, социалисма и пантеисма, произвел в России такое

действие, какого никогда не бывало... Безрассудное юношество и огромный класс, ежедневно умножающийся, людей, которым нечего терять и в перевороте есть надежда все получить — кантонисты, семинаристы, дети бедных чиновников и проч. почитают „Отечественные записки" своим евангелием, а Краевского и первого его министра — Белинского (выгнанного московского студента) — апостолами... Краевский... действует умнее Марата и Робеспьера. Вся прежняя наша литература, поэзия и проза, сатира и комедия, имела характер монархический и религиозный. Бог и царь — были священны и неприкосновенны. Краевский стал разрушать всю прежнюю литературу, доказывая, что она никуда не годится, устарела, обветшала и что наше поколение требует новой литературы. Карамзин, Державин, словом все прежнее до Гоголя уничтожается в «Отечественных записках»... Все направление или tendence „Отечественных записок" клонится к тому, чтобы возбудить жажду к переворотам и революциям и это проповедуется в каждой книжке... Цель Краевского не та, чтоб теперь возжечь бунт, но чтоб приготовить целое поколение в революции — подарок наследнику». В конце своего доноса Булгарин сообщал Дубельту, что в Петербурге есть один «старинный литератор», «человек честный, благородный, без упрека и истинный патриот, преданный церкви и престолу», который «собирает выписки из „Отечественных записок"». «У него есть семь корзин с выписками, — сообщал Булгарин, — методически расположенные, с заглавиями: противу бога, противу христианства, противу государя, противу самодержавия, противу нравственности и т. п.». Булгарин усиленно рекомендовал старинного литератора и его выписки вниманию правительства. Собирателем выписок был Б. М. Федоров, известный, впрочем, не столько по своей литературной деятельности, сколько именно по доносам и распространенной эпиграмме:

Федорова Борьки —
Мадригалы горьки,
Эпиграммы сладки,
А доносы гадки.

Выписки Федорова из «Отечественных записок» были представлены в III отделение несколько позднее.[1]

5. «Отечественные записки» и цензура

Положение «Отечественных записок» было крайне непрочным. Постоянно можно было ожидать распоряжения о запрещении издания. Краевский должен был не раз пускать в ход свои обширные связи, чтобы сохранить журнал. Существование «Отечественных записок» удавалось отстоять, но зато цензура под влиянием доносов преследовала журнал с еще большей жестокостью. Так, в 1843 г. в смятение поверг и цензурное ведомство и самого министра просвещения Булгарин. Он написал председателю петербургского цензурного комитета Волконскому письмо, в котором утверждал: «Существует партия мартинистов, положивших себе целью ниспровергнуть существующий порядок вещей... представителем этой партии являются „Отечественные записки", цензура явно им потворствует». Далее, приведя несколько выписок из «Отечественных записок», Булгарин писал: «Но с того времени, как вы председательствуете в комитете, пропускаются вещи посильнее и почище этих». Наконец, и самого Уварова Булгарин обвинял в близорукости и покро-

[1] Полный текст доноса Булгарина и разбор выписок Федорова см. в книге М. К. Лемке «Николаевские жандармы и литература» (СПб., 1909, стр. 300—315).

вительстве либерализму. Булгарин требовал особой следственной комиссии, перед которой хотел предстать как «доноситель», для обличения партии, колеблющей веру и престол; писал, что будет просить государя разобрать это дело, а если государь не вникнет в него, или дело до него не дойдет, то он попросит прусского короля довести до сведения Николая I все, что ему Булгарину, необходимо сказать для ограждения священной особы государя и его русского царства. Донос Булгарина был доведен до сведения Бенкендорфа и царя. В результате Уваров направил в цензурный комитет официальную бумагу, где предписывал цензорам «быть как можно строже», так как он «действительно нашел в журналах статьи, где под видом философских и литературных исследований распространяются вредные идеи».[1] В личной же беседе с Волконским Уваров заявил, что «хочет, чтобы, наконец, русская литература прекратилась. Тогда по крайней мере будет что-нибудь определенное, а главное я буду спать спокойно».

Не только Булгарин или Федоров, но и лица значительно более влиятельные, считали возможным доносить на «Отечественные записки» и требовать от цензурного ведомства более энергичной борьбы с журналом. В 1841 г. адмирал Мордвинов «обратил внимание» Уварова на неблагопристойные отзывы Белинского о его покойном друге А. С. Шишкове и на журнал, «колеблющий коренное основание благоустройства». Уваров сделал замечание цензору, после чего в статье Белинского «Двенадцать собственноручных писем адмирала Шишкова» (1841, № 9) цензор произвел настолько основательную чистку, что даже относящиеся к Шишкову слова «добрый старик» заменил везде безразличным обозначением «автор».

В 1844 г. ректор Петербургской духовной академии епископ Афанасий донес на цензуру за пропуск в «Отечественных записках» статей о реформации, извлеченных из книги немецкого ученого Ранке. Цензору Никитенко пришлось давать объяснения. «Беда если монахам дать волю, — пишет он по этому поводу в своем дневнике, — опять настанут времена Магницкого».

Любопытно поведение издателя и редактора «Современника» Плетнева. В своем журнале он избегал полемики с «Отечественными записками», но когда в 1845 г. ему пришлось временно председательствовать в Петербургском цензурном комитете, он настаивал на применении к журналу весьма решительных мер.

В результате всех доносов и разного рода посторонних давлений даже такие снисходительные цензоры, какими были цензоры «Отечественных записок» А. В. Никитенко и С. С. Куторга, должны были усвоить жесткое отношение к журналу Краевского. Сохранилось достаточное количество фактов, иллюстрирующих цензурную расправу над «Отечественными записками».

Прежде всего ряд произведений, предназначавшихся для опубликования в журнале, вовсе не был пропущен цензурой. К таким произведениям относятся: «Демон» Лермонтова (с большим трудом выхлопотал Краевский разрешение на опубликование небольших отрывков из поэмы), «Боярщина» Писемского, первая статья Белинского о «Воспоминаниях» Булгарина и другие. Краевский в письме к Никитенко говорит о цензурном запрещении уже набранной статьи И. С. Куторги «Версаль», а Белинский сообщает Боткину, что в первом номере за 1840 г. «выкинули преинтересную статью о Пугачеве. . .». «Не знаем, что и

[1] Без сомнения, Уваров имел в виду статьи Герцена и Белинского.

делать с цензурой, — добавляет Белинский, — самая кнутобойная и калмыцкая!».

Огромное количество произведений подвергалось беспощадным цензурным сокращениям и искажениям. Примерами могут служить почти каждая статья Белинского, стихи Лермонтова, роман Герцена «Кто виноват?». Помещая поэму «Измаил Бей», редакция писала: «Каждая строка, каждое слово поэта — должны быть сохранены» и несколько ниже добавляла: «хотя по причинам, от нас независящим, мы и не могли напечатать вполне всю поэму». Цензура исключила из поэмы Лермонтова 228 стихов; до этого она выразила сомнение в возможности опубликования «Кинжала» и «Пленного рыцаря» и исключила из стихотворения «Дума» строки:

Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию презренные рабы.

Значительные вырезки были произведены цензурой в романе Герцена «Кто виноват?». О характере их можно составить представление по следующим примерам: 1) «губернатор возненавидел Круциферского» — читали подписчики «Отечественных записок», не подозревая, что дальше должны были следовать слова, вычеркнутые цензором: «за то, что он не дал свидетельства о естественной смерти засеченному кучеру одного помещика». 2) Среди средств, употребленных матерью Бельтова для поправки разоренного имения Герцен наряду с сушением грибов и малины и т. п. указал и «продажу парней в рекруты, не стесняясь очередью». Сушение грибов и т. п., остались, а продажа парней в рекруты была изъята. 3) Была вырезана целая страница, рассказывающая о посещении меценатом гимназии, в которой учился Митя Круциферский. «Белинский выходил из себя за то, что это место не пропустили», — вспоминал Герцен. Все эти цензурные сокращения не помешали Булгарину, нападая на либерализм цензоров «Отечественных записок», в качестве примера ссылаться на пропуск «Кто виноват?».

Особенно жестоко преследовала цензура статьи Белинского. Даже написанная в период примирения с действительностью статья о «Менцеле, как критике Гете» подверглась основательным цензурным урезкам. Цензор Фрейганг дошел до того, что слова «всеобъемлющий Гете» везде вычеркнул, полагая, что «этот эпитет божий, а не человеческий». Почти в каждом письме Белинского можно найти заявления, подобные нижеследующему: «В „Отечественных записках" напечатана моя вторая статья о Петре Великом; в рукописи это точно о Петре Великом, и, не хвалясь, скажу статейка живая; но в печати — это речь о проницаемости природы и склонности человека к чувствам забвенной меланхолии. Ее исказил весь цензурный синедрион соборне. Из нее напечатана только треть, и смысл весь выключен, как опасная и вредная для России вещь».

О характере цензурных урезок, которым подвергались статьи Белинского, можно судить по двум-трем купюрам из статей о русской народной поэзии. 1) Утверждая, что новгородские патриции «пользовались большими правами» и «владели большими имениями», Белинский писал: «а народ был беден и правами и полями, ему предоставлено было только лить кровь за отечество и повиноваться его законам». Эти строки были исключены цензурой. 2) не пропустила цензура и такого места: «Вспомните быт русского крестьянина того времени, его дымную неопрятную хижину, так похожую на хлев, его поле, то орошаемое кровавым его потом, то пустое, незасеянное, или затоптанное татарскими

отрядами, а иногда и псовою охотою боярина».[1] О том, как тяжело переживал Белинский цензурные расправы, свидетельствует в своих воспоминаниях И. И. Панаев: «Для него это была невыносимая пытка. Он страдал, выбивался из сил и горько жаловался».

6. Переход Белинского из «Отечественных записок» в «Современник»

Участие в «Отечественных записках» Белинского, Герцена и их друзей превратило журнал Краевского в лучший журнал 1840-х годов, пользовавшийся большим успехом у читателей. Подписка на «Отечественные записки» непрерывно возрастала. В 1839 г. они имели 1200, а на 1847 г. уже 4000 подписчиков. Краевский получал от журнала большие доходы. Но материальное положение Белинского оставалось неизменным и далеко не блестящим. Краевский, будучи человеком корыстолюбивым, чрезвычайно неохотно соглашался на повышение его заработка. Когда в 1843 г. Белинский в связи с женитьбой просил повысить ему гонорар с 4500 рублей ассигнациями в год до 6000 рублей, Краевский прибавил не 1500 рублей, а всего 500. Жить с семьей на 5000 рублей ассигнациями (1429 руб. серебром) в год больному Белинскому было крайне трудно. Вместе с тем Краевский постоянно заваливал Белинского большой и срочной работой, которая разрушала здоровье критика и повергала его в тоску и апатию. Уже в 1841 г. Белинский жаловался Боткину на Краевского, который «стоит с палкой и погоняет», а в 1843 г. писал Бакунину и тому же Боткину: «Я Прометей в карикатуре: „Отечественные записки" — моя скала, Краевский — мой коршун, который терзает мою грудь». При этом работа, которой нагружал Краевский Белинского, по выражению последнего, делала его «не только чернорабочим, водовозной лошадью, но и шарлатаном, который судит о том, в чем не смыслит ни малейшего толку». «У Краевского я писал даже об азбуках, песенниках, гадательных книжках, поздравительных стихах швейцаров клубов (право!), о книгах о клопах, наконец, о немецких книгах, в которых я не умел перевести даже заглавия. Писал об архитектуре, о которой я столько же знаю, сколько об искусстве плести кружева».

Но не только указанные причины делали положение Белинского в «Отечественных записках» тяжелым. Они не были и основными причинами. Дело в том, что вообще взаимоотношения Белинского и Краевского были далеки не только от дружбы, но и от какой-либо близости. Слишком велики были различия духовного облика Белинского, любившего человечество «маратовской любовью», и расчетливого издателя «Отечественных записок», который склонялся к умеренному либерализму. Краевский с некоторым беспокойством взирал на деятельность Белинского в своем журнале; его пугала «исключительность», «тревожный дух» великого критика. И Белинский в своих письмах и некоторые современники в своих мемуарах утверждают, что в интимном кругу Краевский высказывал недовольство статьями Белинского и заявлял даже, что он держит Белинского из великодушия, что «Белинский выписался» и его необходимо прогнать. Отношение же Белинского

---

[1] Более подробные сведения о цензурной судьбе некоторых статей Белинского можно найти в примечаниях С. А. Венгерова к т. VI «Полного собрания сочинений» Белинского (стр. 573, 578, 603—605, 621—626).

к Краевскому еще более ясно. Он очень быстро пришел к заключению, что издатель «Отечественных записок» — «приобретатель», «ожесточенный эгоист, для которого люди — средство и либерализм — средство... в литературе он человек чужой и круглый невежда...».

Такие взаимоотношения издателя и редактора «Отечественных записок» и Белинского должны были не только определить материально-трудовую сторону их сотрудничества, но сказаться в какой-то степени и на характере журнала. Краевский мирился с тем направлением «Отечественных записок», которые им придал Белинский, но нельзя сказать, что редакторство Краевского проходило для журнала абсолютно бесследно. Достаточно сослаться на ту правку, которой подвергал иногда Краевский статьи Белинского. Правка эта, не касаясь существа мнений Белинского, все же вносила в его работы некоторые чуждые им оттенки.

Характеризуя редакторские изменения, внесенные Краевским в статью Белинского о сборнике «Сто русских литераторов», С. А. Венгеров пишет: «Общее впечатление от этих редакторских изменений самое жалкое: они совершенно лишние и все заключаются в том, что страстному стилю Белинского сообщали холодную и бездушную грамматическую правильность. Кое-где поправки Краевского являются обделыванием его литературных делишек. Он пока еще не хочет очень задевать имеющего большие связи Погодина и потому вычеркивает самое невинное замечание по его адресу, он выбрасывает иронию по адресу Каменского, зятя президента Академии художеств гр. Толстого, он вычеркивает насмешливый каламбур по отношению к вновь входящему в силу Надеждину, наконец позволяет себе совсем неприличную вещь: Белинский, перечисляя «благородных деятелей», оставшихся после смерти Пушкина, называет Крылова, Жуковского, Одоевского, Лажечникова, Гоголя, Лермонтова, а Краевский от себя прибавляет могущественного князя Вяземского». Совершенно очевидно, что цензура Краевского не могла не раздражать Белинского, как не могли не вызвать его негодования тот привкус и те интонации, которые неизбежно привносил Краевский как издатель и редактор в «Отечественные записки». «Я связан с этим журналом своего рода преданием: привык щадить людей важных только для него и вообще держаться тона не всегда моего, а часто тона журнала, — писал Белинский Герцену. — Ведь и Рощин[1] не мог же не отразить своей личности в своем журнале». Тот характер отношений, который установился у Белинского с Краевским, делал его положение в «Отечественных записках» фальшивым и неизбежно вел критика к разрыву с осторожным и умеренным владельцем журнала. «Я же не могу быть с человеком на торговых отношениях... Оставаясь при нем [Краевском], я должен лицемерить, на что у меня нет ни охоты, ни уменья», — писал Белинский.

Еще весною 1841 г. Белинский пытался отказаться от ведения критического отдела «Отечественных записок», но Краевскому удалось тогда удержать Белинского. В 1843 г. мысль об уходе от Краевского снова возникает у Белинского, но женитьба на М. В. Орловой опять заставляет его оставить свои намерения. Наконец, в 1846 г. решение покинуть журнал принимает окончательную форму. 2 января 1846 г. Белинский сообщал Герцену: «Я твердо решился оставить „Отечественные

---

[1] Так часто называл Белинский Краевского. Козьма Рощин — герой романа М. Н. Загоскина «Брынский лес», разбойник.

записки” и их благородного, бескорыстного владельца». В феврале 1846 г. он заявил о своем уходе Краевскому, а с апреля совершенно прекратил свое сотрудничество в «Отечественных записках». Покидая журнал Краевского, Белинский, первоначально предполагал осуществить издание огромного альманаха «Левиафан», но когда летом 1846 г. выяснилось, что Некрасов и Панаев предполагают издавать новый журнал, Белинский с радостью откликнулся на их предложение — принять в нем участие. С января 1847 г. Белинский становится критиком перешедшего в руки Некрасова и Панаева журнала «Современник».

Как отнесся Краевский к уходу Белинского? По свидетельству Белинского, при первом объяснении с ним Краевский был «смущен» и «сконфужен», но «опасности своей не понял». Долго такое «непонимание» продолжаться не могло, и Краевский начал делать попытки удержать Белинского хотя бы в качестве непостоянного сотрудника. Но здесь он снова натолкнулся на категорический отказ Белинского. «Писать у него изредка — вздор, дудки... не надует», — ответил Белинский на дошедшие до него предложения Краевского. Приходилось искать другие средства для поддержания популярности и славы «Отечественных записок». Неотложные мероприятия в этом направлении были тем более необходимы, что вслед за уходом Белинского, Некрасова, Панаева из «Отечественных записок» в их руки перешел «Современник», возможный успех которого, как это прекрасно сознавал Краевский, не мог не отразиться на судьбе его журнала.

Прежде всего нужно было найти заместителя Белинскому. «Потеря такого сотрудника равняется Ватерлоо, после которого Наполеон, да без армии», — писал Краевскому Герцен. После того, как от предложения взять на себя руководство критическим отделом «Отечественных записок» отказался А. Д. Галахов, Краевскому удалось привлечь к активной работе в критическом отделе журнала В. Н. Майкова. Вместе с тем Краевский, боясь, что вслед за Белинским и Герценом в «Современник» перейдут и другие сотрудники «Отечественных записок», принял все меры к тому, чтобы удержать их в своем журнале. И он и его добровольные московские помощники А. Д. Галахов и В. П. Боткин энергично вербовали сотрудников для «Отечественных записок» на 1847 г. Весною 1847 г. Краевский и сам выехал в Москву для переговоров с московскими литераторами. Были использованы и повышенные гонорары, и личное недоверие некоторых литераторов к Некрасову, и уверения в том, что «Отечественные записки» не изменят своего направления, и сплетни о том, что Белинский «выписался».

Заручившись согласием ряда старых сотрудников «Отечественных записок» и впредь участвовать в его журнале, Краевский стал распространять слухи, что никаких перемен в «Отечественных записках» не произошло, что все старые сотрудники в журнале остаются, что вес Белинского, Некрасова и Панаева в «Отечественных записках» был ничтожен и уход их не имеет для них никакого значения. С подобными заявлениями он поспешил выступить и в печати — в брошюре «Объяснение по не литературному делу». И когда Белинский, Некрасов и Панаев в специальном листке опровергли заявления издателя «Отечественных записок», Краевский (всего лишь на том основании, что листок Белинского, Некрасова и Панаева Булгарин перепечатал в «Северной пчеле») обвинил новых руководителей «Современника» в добрых отношениях и даже союзе с Булгариным (1846, № 12). Прекрасно зная истинный характер отношений Булгарина с Белинским и Некрасовым, он

выступил с заведомой клеветой. Неблаговидный характер выступления Краевского станет еще более ясным, если принять во внимание, что в это же самое время издатель «Отечественных записок» утверждал где следует, что он якобы сам удалил некоторых сотрудников, как людей «беспокойных» и «опасных», придававших неблагонадежное направление его журналу. О таких утверждениях Краевского, о «мастерской комедии», которую он «сыграл», чтобы отвратить гнев правительства от себя и «Отечественных записок», пишет не только Булгарин в доносе «О социалисме, комунисме, пантеисме в России». Осенью 1846 г. Некрасов сообщал об этом Белинскому: «Краевский делает гадости попрежнему. Недавно еще, когда ему был выговор за направление „Отечественных записок", он сказал, что этого впредь не будет, ибо удалил уже сотрудников, которые поддерживали такое направление». Для Белинского сообщение Некрасова не было новостью. Еще 20 марта 1846 г. он писал Герцену: «Он [Краевский] говорит обо мне, как о потерянном мальчишке... он распространяет слухи, что хочет мне отказать, как человеку беспокойному и его изданию опасному». Таким образом, очевидно, что Краевский, расставаясь со своими бывшими сотрудниками, не остановился не только перед измышлениями об их союзе с Булгариным, но и перед распространением слухов, граничащих с доносом, об их неблагонадежности.

Разрыв Белинского с Краевским показал в истинном свете лицо не только «благородного» владельца «Отечественных записок», но и некоторых «друзей» великого критика. В то время как Некрасов, Герцен, Панаев целиком поддержали Белинского и вместе с ним покинули «Отечественные записки», Боткин, Кавелин, Грановский, Галахов, Кудрявцев, несмотря на все старания Белинского, были на стороне Краевского и всемерно помогали ему выйти из затруднительного положения. Иначе говоря, люди, в той или иной мере разделявшие революционно-демократические убеждения Белинского, оказались вместе с ним и журналом «Современник», а либеральные западники — вместе с Краевским и (не отказываясь от сотрудничества в «Современнике») новыми «Отечественными записками».

Больше того, Галахов, Кудрявцев, Боткин буквально радовались уходу Белинского из «Отечественных записок». Он, по их мнению, придавал журналу Краевского «опасное» направление. Хваля статьи В. Майкова (сменившего Белинского в качестве критика «Отечественных записок»), Галахов писал Краевскому: «... Нет в них задирчивости и волнения, которые вы справедливо называли тревожным духом и который теперь, право, уже не нужен. Довольно было выходок, насмешек, задирок, наездничества; пора принять более спокойный тон, свойственный самоуверенности, приобретенной летами, приличный успеху, которым уже пользуется журнал». С Галаховым был согласен Кудрявцев. «Мне кажется, — писал он Галахову, — «Современник» не утерпит, чтобы не впасть в разные «исключительные» крайности, «Записки» же наоборот выиграют на терпимости и всегда останутся доступны для складки умеренных мнений».

Не далеко от Галахова и Кудрявцева ушел и Боткин. Он заявлял, что «время Белинского миновалось», и критике необходимо придать более «практический» и «здравый» характер. Уверяя Белинского в дружбе, Боткин в то же время писал Краевскому 3 апреля 1847 года: «Скажу вам по секрету: я считаю литературное поприще Белинского поконченным. Он сделал свое дело. Теперь нужно и больше такта и больше знания. Еще о русской литературе он может говорить (да и она

у него, увы, сделалась рутиною), а чуть немного выходит из нее, из рук вон плохо...».

Таким образом становится до конца ясным, что в основе разрыва Белинского с Краевским лежали причины не личного, материально-бытового характера, а более существенные и принципиальные: уход Белинского из «Отечественных записок» и переход в некрасовский «Современник» — одно из проявлений все нарастающих и углубляющихся противоречий и вражды между революционной демократией и либерализмом.

7. «Отечественные записки» после ухода Белинского и Герцена

Уходя из «Отечественных записок», Белинский, Некрасов и Панаев полагали, что журнал Краевского, утратив «дух» и «закваску», утеряет и свое направление, содержательность, а следовательно и свою популярность. Так и случилось. Только, может быть, не столь круто и быстро, как предполагали руководители «Современника». Первое время «Отечественные записки», «еще не успев простыть от жаркой топки», заданной Белинским, продолжали стоять на должной высоте. Старания Белинского и Некрасова привлечь всех видных и талантливых сотрудников «Отечественных записок» к исключительному участию в их журнале остались в значительной степени безуспешными. Многие литераторы и ученые не видели оснований для прекращения сотрудничества в «Отечественных записках» и, дав согласие участвовать в «Современнике», продолжали помещать свои произведения и в журнале Краевского. Так поступили Боткин, Кавелин, Грановский, Тургенев и другие. Если же учесть, что во второй половине 1846 г. и 1847 г. в «Отечественных записках» были помещены упомянутые выше статьи Заблоцкого-Десятовского, Милютина и начал сотрудничество М. Е. Салтыков, то станет ясным, что говорить о коренном изменении «Отечественных записок» было бы преждевременным. Невозможно было, конечно, удержать на той высоте, на которой он стоял при Белинском, критико-библиографический отдел. Но и здесь на первых порах Краевскому удалось сравнительно удачно выйти из создавшегося положения. К активному сотрудничеству в отделе критики и библиографии был привлечен такой передовой по своим убеждениям и широко образованный человек, как В. Н. Майков. Несмотря на то, что Майков не был столь последователен в своих философских, социально-политических и эстетических воззрениях, как Белинский, его статьи были не только талантливы, глубоки, но и прогрессивны по своему идейному содержанию. Однако сотрудничество В. Майкова в «Отечественных записках» было непродолжительным; он успел поместить в журнале лишь интересную статью о Кольцове и ряд рецензий. Летом 1847 г. Майков утонул. Его место в «Отечественных записках» занял С. С. Дудышкин.

Однако разрыв с Белинским, отказ от участия в «Отечественных записках» нескольких постоянных сотрудников, в том числе Герцена, переход «Современника» в руки Некрасова и Панаева не могли, конечно, пройти для журнала Краевского бесследно. «Краевский оставлен всеми и желтеет от злости, — писал Боткин Анненкову. — Конкуренция явилась страшная. Краевский дает большие деньги за малейшую статью с литературным именем. Недавно за пол-листа стихотворений Майкова заплатил 200 руб. серебром. Это все наделало появление „Современника"». Для людей, близко знавших Краевского и его журнал, некоторые симптомы падения «Отечественных записок» стали заметны сразу

22 апреля 1847 г. Белинский писал Боткину: «От „Отечественных записок" несет мертвечиною, в них страшное разнообразие, всякого жита по лопате, есть статьи дельные и интересные; но читать их — скука смертельная. Прежде они были соусом, который был вкусен, потому что сдабривался соею, а теперь сои нет, и соус только пресен. Самая полнота и разнообразие их утомительны и наводят скуку: думаю, это потому, что отзываются демьяновой ухой». Белинский судил объективно и справедливо. Еще более верно он оценивал перспективы «Отечественных записок»: «Погодите, то ли еще будет, несмотря на ваше участие, — писал он Кавелину. — Вспомните мое слово, если в будущем году не появится там таких статей и мнений, которые лучше всех моих доводов охладят ваше участие к этому журналу».

Предсказание Белинского сбылось скорее, чем можно было ожидать. События 1848 г., столь сильно отразившиеся на судьбах русской журналистики, сыграли решающую роль и в истории падения «Отечественных записок». Они обнаружили, как много значили для журнала Краевского Белинский и Герцен и на что способен Краевский в качестве самостоятельного руководителя журнала. Как известно, те перемены, которые принес 1848 год для русской журналистики, сильнее всего коснулись «Отечественных записок» и «Современника». В докладных записках царю, поданных на следующий день после получения первых известий из Франции Орловым, Строгановым и Корфом, «Отечественные записки» были названы изданием вредным и опасным. В связи с этим был дан энергичный ход доносам Булгарина, Федорова и других. Шеф жандармов граф Орлов дословно повторял один из доносов в своей записке, требуя усиления цензурного надзора. Некоторые выдержки из записки Орлова представляют значительный интерес. Орлов утверждал, что хотя «Отечественные записки» «со времени отпадения от них Белинского и сделались умереннее в нравственном отношении», что хотя Краевский и даже Белинский «не имеют в виду ни политики, ни коммунизма, но в молодом поколении они могут поселить мысли о политических вопросах Запада и коммунизме». «„Отечественные записки", — писал Орлов, — с презрением отзываются о всех прежних и нынешних литераторах, которые описывали и описывают предметы более идеальные, нежели существующие в природе... Неуважение к литературным знаменитостям может приводить молодых людей к неуважению всего, к чему народ питает благоговение; так, поручик корпуса горных инженеров Банников в показании своем объяснил, что он, напитавшись из „Отечественных записок" неуважением к старым нашим литераторам, перешел от этого к неуважению всего, чтимого другими, и властей, и настоящего порядка дел, и даже особы вашего императорского величества».

Меньшиковский комитет, которому Николай I поручил «ознакомиться» с русской журналистикой, отозвался об «Отечественных записках» суровее, чем о всех других журналах. Член комитета Дегай нашел в «Отечественных записках» последних лет «вредность духа и направления», «недопустимость многих статей и заметок». Особо Дегай отметил неблагонамеренность повести Салтыкова «Запутанное дело», статьи Милютина «Пролетарии и пауперизм в Англии и Франции» и указал на недопустимость продолжающейся распродажи книжек журнала 1840—1843 гг. со статьями Герцена. Краевский был вызван в III отделение, где должен был расписаться на официальной бумаге, предписывающей ему «давать своему журналу направление, совершенно согласное с видами правительства», и угрожающей, что «за нарушение этого» ему бу-

дет не только запрещено издание «Отечественных записок», но и «с ним самим будет поступлено, как с государственным преступником».

Краевский перепугался до крайности. Сначала он заявил III отделению, что «желал бы быть органом правительства» — «пусть мне дают темы, что я должен писать». Затем он отправил письмо Дубельту, в котором все грехи и упущения «Отечественных записок» и «наличие в них чужеземного влияния» сваливал на «молодых сотрудников», что хотя и не было для него ново, но от этого не переставало, конечно, быть близким к доносу. Наконец, в июльской книжке «Отечественных записок» за 1848 г. он выступил со статьей «Россия и Запад в настоящую минуту», где в самых льстивых выражениях говорил о спасительности начал самодержавия и православия, нападал на революционные и социалистические учения и называл шарлатанами Прудона, Кабэ и Ледрю-Роллена. М. П. Погодин имел полное право негодовать и возмущаться, считая, что «Россия и Запад в настоящую минуту» представляют самую бессовестную компиляцию из программных статей «Москвитянина».[1] Погодин хотел даже «разразить» Краевского, но цензура не разрешила выступления Погодина, так как статья издателя «Отечественных записок» «обратила на себя всемилостивейшее внимание государя императора», о чем и было уже благосклонно объявлено Краевскому.

Цель Краевского — создать своему журналу репутацию благонамеренного издания была, таким образом, достигнута. Но зато поспешная готовность превратить «Отечественные записки» в орган правительства не могла не повредить журналу в глазах читателей и в среде оппозиционно настроенных литераторов и ученых. Обнаружилась вся справедливость предсказания Белинского. Под влиянием правительственных репрессий, беспринципности и трусости Краевского «Отечественные записки» решительно утрачивают прежнее направление и торопятся покинуть лагерь прогрессивной журналистики. Значение журнала начинает падать.

Наступившая после 1848 г. эпоха «мрачного семилетия» и «цензурного террора» разумеется не только не способствовала возрождению «Отечественных записок», но, напротив, привела их к окончательному упадку и утере авторитета и влияния. Бесцветный Дудышкин на посту главного критика журнала не мог, конечно, ни в какой степени заменить Белинского. Художественный отдел журнала оскудел. Из прежних крупных писателей дольше других (до 1852 г.) продолжал сотрудничать Тургенев, но произведения его жестоко преследовались цензурой. Пьесу «Нахлебник» цензура запретила, повесть «Дневник лишнего человека» урезала на одну четверть. «Отечественные записки» кичились важностью и солидностью и охотнее чем другие журналы давали на своих страницах место чрезвычайно специальным и эмпирическим научным работам. По традиции считая себя передовым журналом, они исповедуют в сущности плоский и пресный либерализм, враждебный демократии и народу и ничем не отличающийся от умеренного консерватизма.

Наступивший после смерти Николая I и Крымской кампании период общественного подъема уже не смог вдохнуть жизнь в увянувший журнал. «„Отечественные записки", — писал Некрасов Тургеневу в 1857 г.,— продолжают падать все быстрее и быстрее; подписка на них очень

---

[1] Впрочем, для Краевского при создании статьи «Россия и Запад в настоящую минуту» вовсе не обязательным было обращение к «Москвитянину», так как подобные идеи он развивал еще в 1837 г. в статье «Мысли о России» (Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1837, № 1).

плоха». Даже появление в журнале таких произведений, как «Тысяча душ» Писемского (1858) и «Обломов» Гончарова (1859), не могло изменить его положения. Былая популярность и слава не вернулись к «Отечественным запискам» и в 1860-е годы. И лишь после того, как отчаявшийся в успехе Краевский в 1868 г. передал журнал в руки Некрасова и Салтыкова-Щедрина, началась для «Отечественных записок» новая содержательная жизнь и деятельность глубокого общественного значения.

ГЛАВА XXII

В. Г. Белинский

Белинский вошел в историю русской культуры как великий просветитель-революционер, один из предшественников русской социал-демократии. С именем Белинского связано развитие материалистической философии в России. Он распространил материализм на область эстетики и обосновал теорию реализма и народности в литературе. Гениальный критик и теоретик литературы, Белинский явился также одним из первых историков русской литературы.

В критических работах Белинского были заложены основы научного понимания русского литературного развития XVIII и первой трети XIX в. Белинский раскрыл историческое содержание творчества многих русских писателей, начиная от Кантемира, и дал им глубокие оценки. Белинский не только объяснил существенные особенности творчества Пушкина, но он первый истолковал Пушкина как родоначальника новой русской литературы. Белинский открыл русскому обществу Гоголя, Кольцова и Лермонтова. Он понял и оценил Некрасова, Герцена, Тургенева, Гончарова в самом начале их творческого пути. Подходя к литературным явлениям всегда с точки зрения их соответствия интересам народа, Белинский в своих работах предуказал тот путь литературного развития, который обеспечил русской литературе всемирно-историческую роль.

Революционная страсть и неукротимая энергия, свободолюбие и человечность, глубокий патриотизм — таковы черты, которые характеризуют облик Белинского. «Его можно любить или ненавидеть, середины нет», — говорил о нем Герцен. Самобытный мыслитель и теоретик, философ и ученый, Белинский в то же время обладал истинным поэтическим дарованием. Теоретические обобщения и выводы поддерживались у него силой непосредственного поэтического чувства и, напротив, поэтические впечатления контролировались логикой теоретической мысли. Все его литературно-критические работы, проникнутые глубоким демократизмом, согреты огнем подлинной поэтической страсти. «Белинский был тем, — вспоминал И. С. Тургенев, — что я позволяю себе назвать центральной натурой». Поясняя свою мысль, Тургенев добавлял, что Белинский всем существом своим «стоял близко к сердцевине своего народа». Делу освобождения народа Белинский и отдал всю жизнь. На этом всегда сосредоточены были все его помыслы.

В 1902 г., в знаменитом манифесте большевизма — в работе «Что делать?», обосновывая задачи партии как руководящей и революционной силы рабочего движения, Ленин писал: «Мы хотим лишь указать, что роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература; пусть... да довольно и этого!» (Сочинения, 3-е изд., т. IV, стр. 380—381).

Для Ленина Герцен, Белинский, Чернышевский — это одна линия провозвестников демократической мысли в России, предшественников русской социал-демократии.

После революции 1905 г., когда группа кадетских публицистов выпустила сборник «Вехи», в котором делалась попытка снизить и извратить значение Белинского, Ленин выступил с защитой великого критика. Ленин прочно связал деятельность Белинского с подъемом революционных настроений народа, с нарастанием крестьянской борьбы против крепостного права и самодержавия. «Письмо Белинского к Гоголю, вещают „Вехи", есть „пламенное и классическое выражение интеллигентского настроения". „История нашей публицистики, начиная после Белинского, в смысле жизненного разумения — сплошной кошмар". Так, так. Настроение крепостных крестьян против крепостного права, очевидно, есть „интеллигентское" настроение, — писал Ленин. — История протеста и борьбы самых широких масс населения с 1861 по 1905 год против остатков крепостничества во всем строе русской жизни есть, очевидно, „сплошной кошмар". Или, может быть, по мнению наших умных и образованных авторов, настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?» (Сочинения, 3-е изд., т. XIV, стр. 219).

Оценка Белинского как выразителя революционного протеста и борьбы крепостных крестьян против самодержавия через несколько лет была закреплена Лениным в классических формулах его статьи «Из прошлого рабочей печати в России» (1914), где давалось обоснование периодизации в развитии русского революционного движения. «Соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение», Ленин установил: «1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время».

Согласно этой периодизации деятельность Белинского, хронологически вмещавшаяся в первый дворянский период, по своему историческому содержанию предвещала, однако, второй — разночинский, или буржуазно-демократический период. «Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский, — писал Ленин. — Его знаменитое „Письмо к Гоголю", подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору» (Сочинения, 3-е изд., т. XVII, стр. 341).

Ленинские оценки осветили не только политические настроения Белинского, но и всю его деятельность. Белинский прошел очень сложный путь развития от идеализма к материализму, от утопических чаяний и надежд к пониманию закономерности в общественной жизни. Однако в свете ленинских определений самые трудности и противоречия в развитии Белинского становятся совершенно понятными: они отразили трудности роста русской демократии.

Литературно-критическая деятельность Белинского делится на два периода: 1) приблизительно до 1840 г., когда Белинский еще искал путей к революционной идеологии; 2) с 1841 г. и до конца жизни, когда он, встав на революционные позиции, сделался просветителем-революционером и вождем молодой русской демократии.

Несомненно, что уже с самого начала деятельности Белинского не только ярко проявилась самостоятельность его теоретической и критической мысли, но и постепенно подготовлялись те идеи, которые вывели его на путь революционного отрицания и борьбы. При всем том, в течение первого периода деятельности Белинский разделял идеалистические представления об общественной жизни и литературе, а его ищущая мысль в поисках истины билась в кругу противоречий. Белинский пережил увлечение философским идеализмом, одно время жестоко ошибался и даже примирялся с самодержавием (в 1837—1839 г.), но он осознал свои заблуждения и ошибки, подверг критике идеализм и начал обоснование материализма. О трудностях, которые пришлось преодолеть Белинскому на путях к революционному и материалистическому мировоззрению, очень ярко сказано в статье С. М. Кирова, посвященной столетию со дня рождения великого критика. Назвав Белинского «Моисеем русской общественной мысли, который вывел ее из темных лабиринтов голой абстракции на торную дорогу реализма», С. М. Киров писал: «В течение своей короткой жизни он прошел все тернии, от бесплодной метафизики к научному миросозерцанию. Он поднял тот яркий светильник научного миросозерцания, который освещает путь нашему поколению. На могиле его, страстотерпца русской общественной мысли, и растет то дерево, под которым собираются жаждущие добра, красоты и справедливости».

1. Ранние годы жизни (1811—1832). Белинский в «Телескопе» и «Молве» (1833—1836)

Виссарион Григорьевич Белинский родился 13 июня (н. с.) 1811 г. в гор. Свеаборге, в семье флотского лекаря. Детские годы Белинского прошли в гор. Чембаре, Пензенской губернии, куда перевелся на службу его отец.

Девятилетнего мальчика отдали в Чембарское уездное училище, по окончании которого Белинский поступил в Пензенскую гимназию. Еще в отрочестве Белинский отличался необыкновенной самостоятельностью мышления и вкусов, а с годами укреплялось в нем чувство независимости и собственного достоинства — характерные черты его интеллектуального и нравственного облика.

Не окончив гимназии, Белинский отправился в Москву и с осени 1829 г. стал студентом Московского университета по словесному факультету.

Занятия в университете, а также товарищеское общение со студентами помогли Белинскому осознать его жизненные впечатления и наблюдения, способствовали развитию у него критического отношения к действительности.

В августе — декабре 1830 г. Белинский написал драматическую повесть «Дмитрий Калинин», которую тогда же прочитал в студенческом кружке. В этой пьесе студент Белинский выступил с резким обличением крепостного права. Устами своего героя Белинский называл помещиков змиями, крокодилами, «тиграми, питающимися костями и мясом своих ближних и пьющими, как воду, их кровь и слезы». Пьеса была незрелой, несовершенной в художественном отношении, но ее протестующий, романтически-бунтарский характер предсказывал ведущие начала будущей деятельности одного из основоположников революционной мысли в России.

Надеясь на издание «Дмитрия Калинина», Белинский представил пьесу в цензуру, но начальство пришло в ужас от умонастроения автора пьесы. Нечего было и думать о напечатании произведения, признанного «безнравственным, бесчестящим университет». В сентябре 1832 г. Белинский был исключен из университета — формально «за неспособность к занятиям», а на деле, конечно, за «неблагонадежность». Впоследствии враги Белинского не только высмеивали его разночинское плебейское происхождение, но и называли также «недоучившимся студентом».

Белинский был удален из университета, однако и после этого не прекратилось его товарищеское общение со студенчеством: Белинский сблизился с кружком Н. В. Станкевича, где молодые люди в поисках правильного мировоззрения самостоятельно изучали идеалистическую философию.

Автор «Дмитрия Калинина» жаждал прямых ответов на «проклятые» жизненные вопросы, философская отвлеченность была не по нутру Белинскому, но в николаевской России всякие возможности общественно-политической деятельности были исключены. Обратившись к идеалистической философии, Белинский не терял, однако, своей самостоятельности, и уже первые его крупные работы в области критики замечательны оригинальной, а не заимствованной постановкой философско-эстетических и литературных вопросов. Идеалистические представления сочетались у Белинского с материалистическими тенденциями, служившими ему опорой для построения новой эстетической теории — теории реализма, которую Белинский создавал и строил всю жизнь.

Печататься Белинский начал еще будучи студентом университета. Первыми его печатными произведениями, опубликованными в московском журнале «Листок» 1831 г., были стихотворение «Русская быль» и рецензия на анонимную критическую брошюрку о «Борисе Годунове» Пушкина.

После исключения из университета Белинскому пришлось очень тяжело в материальном отношении. Он жил, пробавляясь грошевыми уроками и переводами. Положение Белинского несколько улучшилось только с весны 1833 г., когда Н. И. Надеждин привлек его к сотрудничеству в «Телескопе» и «Молве». Начав с переводов и мелких рецензий, Белинский вскоре же выдвинулся и занял в изданиях Надеждина положение руководящего сотрудника по критическому отделу. В течение сентября — декабря 1834 г. Белинский напечатал в «Молве» первую свою большую критическую работу — «Литературные мечтания». На протяжении 1835—1836 гг. были опубликованы статьи Белинского «О русской повести и повестях Гоголя», о «Стихотворениях Алексея Кольцова», о «Стихотворениях В. Бенедиктова», «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя"» и др. С каждой новой статьей ширилась известность Белинского. Смелость и оригинальность, боевой темперамент — вот что отличало уже первые его критические выступления.

Несмотря на то, что в статьях 1834—1836 гг. Белинский разделял идеалистические представления и взгляды, несмотря на то, что в его выступлениях еще не содержалось прямого обличения феодально-крепостнической действительности, тем не менее своими теоретическими запросами и идеями молодой Белинский уже резко противопоставил себя этой действительности. В «Литературных мечтаниях» Белинский восставал против шовинистической и псевдонародной литературы, которая расцветала «у подножия императорского трона и Петропавловской крепости»

(Герцен). С неменьшей энергией Белинский обрушился против «ребяческого самообольщения», которое «во всяком русском писателе хотело видеть то Гомера, то Пиндара». В «Литературных мечтаниях» Белинский нанес удар этому «ребяческому самообольщению»: его статья произвела впечатление потрясения основ и ниспровержения авторитетов.[1]

«Литературные мечтания», с которых началась слава Белинского, открыли новую эпоху в истории русской критики. Исходя из требования народности как необходимого условия художественного творчества, Белинский провозглашал в своей статье, что в России еще нет литературы. Он доказывал, что основным признаком национальной литературы является ее историзм. Напротив, в России, с точки зрения Белинского ни одно литературное явление «не было следствием другого явления, ни одно событие не вытекало из другого события». Таков был основной вывод, который устанавливал Белинский в итоге рассмотрения всей русской литературы, начиная от Кантемира и кончая текущей литературой 1830-х годов.

По мнению Белинского, реформы Петра I привели к разрыву между обществом и народом. С тех пор литература общества, т. е. литература господствующих классов, стала подражательной. Противопоставляя литературу, отражающую «дух народа», литературе общества, Белинский и приходил к мысли, что «у нас нет литературы». Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов — вот, по мнению Белинского, все представители русской литературы и притом вызванные не закономерным ее движением, а случайностью.

Идея законосообразности исторического процесса была еще не доступна Белинскому в 1834—1836 гг.; основной тезис «Литературных мечтаний» об отсутствии в России литературы был, конечно, ошибочен, и впоследствии сам же Белинский от него отказался. Но этот ошибочный тезис связан был у Белинского с правильным пониманием литературы, как общенародного дела. В «Литературных мечтаниях» он писал: «Литература непременно должна быть выражением, символом внутренней жизни народа. Впрочем, это совсем не есть ее определение, но одно из необходимейших ее принадлежностей и условий».

Отрицая русскую литературу, но исходя из мысли о народности литературы, Белинский бросал вызов всей дворянской общественности своего времени. В годы торжества реакционной «охранительной теории» Белинский с вдохновенной страстью заговорил о непочатых еще силах русского народа, ждущих своего проявления, он выдвинул совершенно новое для литературы понимание народности, которую в его время зачастую смешивали с простонародностью и тривиальностью, но которая должна состоять «в верности изображения картин русской жизни». Главную задачу России Белинский видел в ту пору исключительно в просвещении народа. Только тогда, указывал Белинский, когда «просвещение разольется в России широким потоком», тогда «наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа». С точки зрения Белинского, задачу народного просвещения могло выполнить только правительство, о чем он прямо и говорил в «Литературных мечтаниях», возлагая на правительство свои надежды. В «Литературных мечтаниях» и других ранних критических работах, наряду

[1] В литературе о Белинском принято было считать, что в 1834—1836 гг. Белинский будто бы являлся последователем философии Шеллинга. Этот взгляд должен быть отброшен как совершенно ошибочный. В частности, философско-историческая концепция «Литературных мечтаний» ничего общего не имеет с построениями Шеллинга.

с требованием народной литературы, Белинский защищал и обосновывал теорию бессознательности художественного творчества. Эта теория неотделима была от философского идеализма, на почве которого Белинский стоял в ту пору. Белинский, конечно, ошибался, утверждая стихийность и бессознательность как основное начало художественного творчества. Впоследствии он не только отказался от такого взгляда, но и решительно его осудил. При всем том, теория бессознательности художественного творчества в конкретной критике Белинского не только не приводила его к отрицанию связей искусства с действительностью, но, напротив, противоречиво сочеталась с реалистическими критериями художественности. Недаром свою теорию искусства Белинский особенно отстаивал в статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835), где он, исходя из гоголевского творчества, стал на защиту реализма.

В статье о Гоголе сказался удивительный дар критического прогноза, которым Белинский обладал. Еще не было ни «Ревизора», ни «Мертвых душ», в связи с «Миргородом» в критике 1830-х годов раздавались голоса, что Гоголь — «грязный» писатель; некоторые из критиков не усматривали даже цели в изображении «неприятной картины заднего двора жизни и человечества». В ту пору, когда Гоголь не был понят ни читающей публикой, ни критикой. Белинский при разборе «Миргорода» сопоставлял его имя с гениями мировой литературы (Гомер, Шекспир и Шиллер) и объявлял Гоголя главою русской литературы.

В статье «О русской повести и повестях Гоголя» Белинский давал исторический обзор повестей виднейших русских прозаиков — Марлинского, В. Одоевского, Погодина, Павлова и Н. Полевого, причем никто из них, с точки зрения критика, не мог быть хоть сколько-нибудь равен Гоголю. Разграничивая два направления — «идеальной» и «реальной» поэзии, т. е. поэзии, основанной на субъективном отношении к действительности («идеальная поэзия») и на объективном подходе к ней («реальная поэзия»), — Белинский подчеркивал равноправность обоих направлений, поскольку идеальная поэзия «гармонирует с чувством, а реальная с истиною представляемой жизни». Считая, однако, что господствующей потребности «нашего положительного времени» более отвечает реальная поэзия, Белинский выдвигал Гоголя как замечательного художника именно этого направления.

Простота вымысла, совершенная истина жизни, народность и оригинальность — все эти критерии, как доказывал Белинский, и были основными критериями подлинно художественных произведений. Этим критериям полностью отвечали повести «Миргорода» и «Арабесок», заключавшие в себе еще одну важную черту, уже специфическую для Гоголя. «Комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния», — такова формула, найденная Белинским для определения повестей «Миргорода» и «Арабесок» и оказавшаяся справедливой не только для них, но и для последующих произведений Гоголя — «Ревизора», «Шинели» и «Мертвых душ».

Простоту вымысла Белинский понимал как «обыкновенность» изображаемого и, характеризуя Гоголя, утверждал, что «самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором происшествий суть верные, необманчивые признаки творчества». Белинский утверждал, что «чем обыкновеннее, чем пошлее, так сказать, содержание повести, слишком заинтересовывающей внимание читателя, тем больший талант со стороны автора обнаруживает она». Задачу гоголевского творчества Белинский видел в том, чтобы «извлекать поэзию из прозы жизни», и особенно выделял тот факт, что Гоголь «пошел искать поэзию в нравах

среднего сословия в России». Белинский проницательно отметил обличительные черты гоголевского реализма («смех, растворенный горечью») и дал исключительно глубокое определение гоголевского юмора, который «не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение».

В современной Белинскому русской литературе Гоголь был поставлен им на первое место. «По крайней мере, в настоящее время, — заявлял Белинский, — он является главой литературы, главой поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным». Это выдвижение Гоголя на первое место при живом еще Пушкине было связано у Белинского с представлением, что Пушкин «уже свершил круг своей художнической деятельности».

Белинский не написал в 1834—1836 гг. задуманной им тогда специальной работы о Пушкине, но он касался творчества Пушкина и в «Литературных мечтаниях», и в других статьях и рецензиях этих лет. Восторженно оценивая гений Пушкина, признавая Пушкина главой русской литературы третьего десятилетия XIX в., Белинский вместе с тем указывал на кратковременность пушкинского периода и писал о «закате таланта Пушкина», о том, что «Борис Годунов» был последним великим его подвигом и что в «третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры». То направление творчества, по которому пошел Пушкин в 1830-е годы, было для Белинского неприемлемо. В лирике Пушкина 1830-х годов, в «Анджело», в сказках, наконец в «Повестях Белкина» — Белинский усматривал искусственное направление, измену «бессознательному» творчеству.

Если теория бессознательности художественного творчества не помешала Белинскому с большой глубиной раскрыть реалистическую сущность повестей Гоголя, то эта же теория, по крайней мере отчасти, предопределила односторонность Белинского в его отношении к Пушкину. Несомненно, что здесь сыграли свою роль еще и другие обстоятельства.

В Гоголе Белинский увидел представителя литературы «среднего сословия», т. е. писателя, двинувшего литературу вперед по пути ее демократизации. Пушкин же в сознании Белинского был аристократом, т. е. писателем, который по своему общественному положению связан с дворянскими верхами. «Пожалование» Пушкина в камер-юнкеры, близость поэта к императорскому двору — эти факты известны были Белинскому только с внешней стороны; глубокой трагедии Пушкина Белинский не знал. Он полагал, что Пушкин-аристократ органически не мог подойти с такой непосредственностью и одушевлением к грязной и низкой действительности, как это сделал Гоголь, точно так же, как не мог дворянин-аристократ, по мнению Белинского, создать народную сказку. «Как бы внимательно ни прислушивались вы к эху русских сказок, — замечал Белинский, — как бы тщательно ни подделывались под их тон и лад, и как бы звучны ни были ваши стихи, — подделка всегда остается подделкою, из-за зипуна всегда будет виднеться ваш фрак».

Впоследствии (в 1838 г.) Белинский безоговорочно отказался от своего тезиса о «закате» таланта Пушкина в 1830-х годах, но отрицательное отношение к сказкам Пушкина и к «Повестям Белкина» он сохранил навсегда. Точно так же навсегда у него осталось ошибочное заключение, что якобы Пушкину «стоило написать два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы

вдруг лишиться народной любви» (слова Белинского из его зальцбрунского письма к Гоголю 15 июля 1847 г.).

Осуждая Пушкина за «Повести Белкина» и за сказки, Белинский в 1834—1836 гг. тем не менее неоднократно возвращался к Пушкину 1820-х годов, гениальному лирику, автору поэм, «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова». Впечатления от пушкинской поэзии, несомненно, помогли Белинскому в выработке его теории реалистического искусства, которая складывалась не только под влиянием прозы Гоголя, но и являлась теоретическим осознанием опыта пушкинской поэзии.

Свою теорию реалистического искусства Белинский отстаивал и защищал, борясь с эпигонами классицизма и представителями романтической школы. В этой школе критик строго различал «идеальную поэзию» Байрона, которую он высоко ценил, и творчество писателей типа Н. Полевого и Марлинского. Белинский прекрасно учитывал историческое значение и прогрессивный для своего времени смысл творчества Н. Полевого и Марлинского, особенно последнего, как «зачинщика русской повести». Однако к концу 1830-х годов, к началу эпохи Гоголя, направление творчества обоих писателей стало уже анахронизмом. Между тем имя Марлинского гремело среди читающей публики, повести его пользовались громкой популярностью, а самого его считали «Пушкиным прозы». В борьбе за реализм Гоголя, а впоследствии и Лермонтова, в качестве исторически неизбежной задачи стояла задача развенчания Марлинского. Эту задачу Белинский блестяще и выполнил.

Начиная с 1835 г. Белинский постоянно противопоставляет Марлинского Гоголю, не находит у Марлинского ни «глубокости мысли», ни «пламени чувства» и относит его талант к числу таких талантов, которые «встают на дыбы», «натягиваются» и говорят «громкие монологи».

По отношению к Марлинскому нужно и должно было говорить о его заслугах перед русской литературой, о чем Белинский, развенчивая Марлинского, никогда и не забывал. Совершенно иным явлением был Бенедиктов, дебютировавший в 1835 г. книжкой стихотворений и восторженно принятый публикой и многими видными писателями 1830-х годов. Так, Шевырев посвятил Бенедиктову апологетическую статью в «Московском наблюдателе», квалифицируя молодого поэта как «поэта мысли» и противопоставлял его Пушкину. В восторге от Бенедиктова был Жуковский, из молодых, начинающих писателей — И. С. Тургенев. Тем более необходимо было раскрыть сущность творчества Бенедиктова, что и сделал Белинский в своей статье.

В этой статье Белинский разоблачил сборник стихов Бенедиктова, как поэтический пустоцвет. Белинский показывал, что в стихах Бенедиктова нет поэтических идей, что автор обладает лишь изощренной стихотворной техникой, которой и пользуются для создания разного рода эффектов. Белинский сопоставлял стихотворения Бенедиктова с пушкинскими, чтобы показать, чем отличается глубина содержания и могучий размах истинно поэтического творчества от ходульной риторики и «стихотворных игрушек». Из молодых поэтов Белинский решительно противопоставил гремевшему тогда Бенедиктову в качестве истинного поэта — Кольцова, первый сборник которого был издан в 1835 г.

Прогрессивный смысл литературно-эстетических взглядов, которые развивал Белинский, сотрудничая в «Телескопе» и «Молве», вскрывается с особенной ясностью из его полемики с Шевыревым, идейным

руководителем «Московского наблюдателя». Ссылаясь на вечные законы искусства, по его мнению якобы уже открытые, Белинский обращал внимание своего противника на то, что творчество — «сообразно с целию без цели, бессознательно с сознанием», что оно «опровергает все теории и системы». Белинский выдвигал чувство как начало свободного творчества и противопоставлял его вкусу, являвшемуся, по мнению Белинского, стеснительной для искусства нормой. Между тем именно «вкус» лежал в основе эстетических суждений Шевырева, выступавшего с защитой «светскости» в искусстве и предпочитавшего Бенедиктова и Кукольника Пушкину. Белинский объявил «светскости» непримиримую войну. «„Художественный" и „светский" не суть слова однозначащие, так же как дворянин и благородный человек», — писал Белинский. «Художественность доступна для людей всех сословий, всех состояний, если у них есть чувство; „светскость" есть принадлежность касты». На ряде конкретных критических оценок Шевырева Белинский показывал их ограниченность и реакционную сущность.

Одно из наиболее существенных и принципиально важных расхождений Шевырева и молодого Белинского заключалось в оценке творчества Гоголя. Шевырев не только ценил Гоголя, но и претендовал на роль критика, особенно близкого автору «Миргорода» и «Арабесок». Он истолковывал Гоголя как комического писателя, причем стихия комического, стихия смешного, с точки зрения Шевырева, состояла в «безвредной бессмыслице». Напротив, для Белинского комизм Гоголя был наиболее характерной чертой его реализма: «И причина этого комизма, этой карикатурности изображений заключается не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни». Белинский понял и оценил демократическую сущность гоголевского творчества.

Начиная с «Литературных мечтаний», у Белинского с каждым годом все возрастало число его ненавистников и врагов. Против Белинского были враждебно настроены не только деятели реакционной журналистики, но и литераторы, еще так недавно стоявшие на передовых общественных позициях. После статьи «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя"» Белинский окончательно порвал с группой романтиков, когда-то связанных с обществом «любомудрия». В этой группе был не только Шевырев, уже тогда эволюционировавший в сторону реакции, но и Андросов, Н. Ф. Павлов, Баратынский и другие. Обострились отношения Белинского и с кругом литературных друзей Пушкина.

Белинский рецензировал и первый и второй тома пушкинского «Современника». Первый том он встретил сочувственно за обзор «О движении журнальной литературы», принадлежавший Гоголю, зато второй том резко критиковал: в статьях П. А. Вяземского и В. Ф. Одоевского Белинский усматривал тенденции цеховой замкнутости и узкой корпоративности. Безоговорочно осудив эти тенденции как выражение той же «светскости», которую он констатировал в «Московском наблюдателе», Белинский еще не смог выделить в «Современнике» установок самого Пушкина. Пушкин же внимательно следил за развитием деятельности Белинского и был одним из первых, кто оценил его критический талант.

После статьи Белинского против «Московского наблюдателя» Пушкин в мае 1836 г. через П. В. Нащокина и «тихонько от наблюдателей» послал Белинскому первый том своего «Современника» и просил передать ему свое сожаление, что «не успел увидеться с ним в Москве».

Белинский так и не встретился с Пушкиным лично, но о пристальном и сочувственном внимании к себе великого поэта он знал. Тотчас же после запрещения «Телескопа», где сотрудничал Белинский, П. В. Нащокин по поручению Пушкина вступил с критиком в деловые переговоры о переезде его в Петербург для работы в «Современнике». Переговоры эти не были, однако, доведены до конца, так как в январе 1837 г. Пушкин был убит.

Впоследствии Белинский с гордостью вспоминал о сочувственном внимании к себе «такого человека, как Пушкин».

2. Белинский в «Московском наблюдателе» (1838—1839)

Своеобразие критических статей Белинского в «Телескопе» и «Молве» состояло в том, что, находясь на позициях идеализма, Белинский не только выходил за его рамки, но и вступал в противоречие с ним. Идеализм являлся основной базой для обоснования романтической эстетики и для оправдания романтического творчества. Белинский же защищал и утверждал реалистическое искусство.

Те противоречия с философским идеализмом, которые выступают в «Литературных мечтаниях» и других статьях Белинского 1834—1836 гг., являлись плодотворными противоречиями. Они влекли Белинского к дальнейшей разработке философских и теоретических проблем, они двигали его вперед.

Если в «Литературных мечтаниях» Белинский ярко выразил свой идеал разумного будущего, основанного на всеобщем благоденствии, то в последующие годы он упорно искал путей для осуществления этого идеала. Поэтому каждый философский вопрос превращался у него в вопрос глубокой жизненности и связывался с борьбой за улучшение жизни народа, с назначением и целью человеческой личности. В поисках мировоззрения, объясняющего действительность и помогающего ее перестроить, Белинский обратился также к изучению философии Фихте, а затем Гегеля. Всегда чуждый ученического подхода к науке и философии, Белинский отбирал в немецком идеализме все то, что было в нем прогрессивного и, напротив, отбрасывал то, что являлось оправданием рабства и насилия над человеческой личностью.

Незадолго до закрытия «Телескопа» Белинский сблизился с М. Бакуниным, который с 1835 г. вошел в кружок Станкевича, а позднее, после отъезда Станкевича за границу (в августе 1837 г.), сделался руководителем кружка. Бакунин и познакомил Белинского с философией Фихте, понемногу втянув его в «фихтеанскую отвлеченность».

Увлекшись некоторыми фихтеанскими идеями, Белинский на короткое время пришел к выводу, что «идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота». Всегда понимая жизнь как борьбу и действование, Белинский и философию Фихте истолковал как философию действия. В ней он, по собственному признанию, увидел тогда проявление «робеспьеризма» и почувствовал «запах крови».

Однако фихтеанская философия не удовлетворила Белинского и явилась кратковременным эпизодом в его развитии. В пору особого интереса к философии Фихте Белинский написал всего-навсего одну статью об «Опыте системы нравственной философии» Дроздова (1836). Статье этой суждено было быть последней статьей Белинского

36 Зак. 4378. Очерки по истории журналистики.

в «Телескопе». Через месяц с небольшим журнал подвергся разгрому за напечатание в нем «Философического письма» П. Я. Чаадаева, и литературная деятельность Белинского была, таким образом, насильственно прервана. Оставшись без работы, Белинский испытывал крайнюю нужду. Но теоретические и философские его занятия не прекращались.

В конце 1837 г. Белинский познакомился с философией Гегеля и со страстью взялся за переработку его идей и построений. С системой Гегеля Белинский ознакомился через М. Бакунина, который в это время тоже усиленно занимался Гегелем.

Белинский стремился подходить к миру, как развивающемуся по собственным объективным законам. Изучая «Философию истории» Гегеля, Белинский решал для себя великую проблему законосообразности исторического процесса. Положительное значение нового этапа в идейном развитии Белинского состояло в признании им объективной истины и в осуждении всяких субъективных иллюзий. Но все это далось Белинскому ценою огромной внутренней борьбы и тяжелых ошибок.

Приняв формулу Гегеля «все, что действительно, — то разумно», Белинский пришел к выводу о необходимости примирения с действительностью, к отказу от всякого протеста. Белинский пришел к мысли о бесполезности и бессильности всяких субъективных мечтаний, поскольку эти мечтания не обоснованы самой действительностью.

Утверждая объективную истину и идею законосообразности исторического процесса, Белинский делал большой шаг вперед, но он ошибался, поскольку принимал лишь консервативные и охранительные, а не революционные силы жизни. Он ошибался, не разграничивая мечтаний об изменении действительности согласно субъективным желаниям от такого отрицания существующего, которое могло носить и объективный характер. Идея законосообразности исторического процесса была понята и истолкована Белинским недиалектически, вследствие чего он и принял действительность как факт, примирился с нею.

Белинский развивал «примирительные» идеи в течение 1838—1839 гг., причем с логической последовательностью он дошел до признания монархического принципа. На вопрос Герцена, не является ли с его точки зрения разумным и «чудовищное самодержавие», Белинский ответил: «Без всякого сомнения». Герцен рассказывает, что он не мог вынести такого ответа, и между ним и Белинским закипел «отчаянный бой». Герцен уже в ту пору истолковывал диалектику как «алгебру революции» и на этой почве резко разошелся с Белинским, которого он знал еще со студенческих лет.

С весны 1838 г. Белинский получил возможность возобновить прерванную журнальную работу. В его руки перешел «Московский наблюдатель», с которыми он полемизировал, когда сотрудничал в изданиях Надеждина. Сделавшись органом Белинского и его друзей, «Московский наблюдатель» стал журналом нового направления. Под редакцией Белинского он издавался всего один год, отразив, однако, существенно важный момент в жизни великого критика.

Первая книжка «Московского наблюдателя» открывалась переводом «Гимназических речей» Гегеля с предисловием переводчика — М. Бакунина. В предисловии торжественно провозглашалось, что «примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени». Программный характер носила также опубликованная в нескольких номерах журнала обширная статья гегельянца Ретшера «О философской критике художественного произведения» (1838, май, кн. 2; июнь, кн. 1 и 2), снабженная предисловием

переводчика М. Каткова. Нужно отметить, что Ретшер являлся популяризатором гегелевских идей в применении к области литературы и искусства.

В отделе художественной литературы в «Московском наблюдателе» преобладали переводы, причем на первом месте стояли Гете и Шекспир. Переводились также стихотворения Шиллера и Гейне; значительное место было отведено переводам повестей Гофмана. В поэтическом отделе печатались стихотворения Кольцова, Клюшникова и Красова. Но особенно замечательным в журнале был критический отдел: Белинский напечатал здесь свыше 120 рецензий, обзоров, статей и заметок. Наиболее важными его статьями были: «Литературная хроника», намечавшая принципы новой редакции «Московского наблюдателя» и прокламировавшая отказ журнала от всякой полемики; статья «Гамлет, драма Шекспира, Мочалов в роли Гамлета»; и, наконец, теоретическое введение к неосуществленным статьям о Фонвизине и Загоскине. В «Московском наблюдателе» была напечатана вторая, и последняя, пьеса Белинского «Пятидесятилетний дядюшка, или странная болезнь», которая ставилась на московской сцене и имела некоторый успех.

Развивая идеи «примирения» с действительностью, Белинский вместе с Бакуниным объявил борьбу французскому рационализму, материализму и атеизму. Неприязнь к французской культуре («французоедство») намечалась у Белинского и раньше, но только в пору «примирения с действительностью» эта неприязнь сделалась особенно резкой и принципиальной.

На французскую литературу Белинский обрушивался в эту пору за то, что она стремится быть выражением мнения «общества», а не вечных идей, и на французскую критику за то, что в произведениях искусства она искала прежде всего «клеймо века не как исторического момента в абсолютном развитии человечества, или даже и одного какого-нибудь народа, а как момента гражданского и политического». Впоследствии Белинский понял ошибочность таких взглядов и отказался от них.

Вместе с Бакуниным Белинский в 1838—1839 гг. видел художественное воплощение «разумной действительности» в поэзии Гете. У Гете и Шекспира, как доказывал Белинский, выражена «та же самая истина», которая составляет содержание «мирообъемлющей и последней философии нашего века». Еще в пору «Литературных мечтаний» Шекспир за его всеобъемлющую многосторонность являлся для Белинского идеалом поэта. В 1838—1839 гг. в числе «первостепенных гениев искусства» Белинский называет имена Омира (Гомера), Шекспира и Гете. К этим трем именам «всеобъемлющих поэтов» Белинский в те же годы присоединяет и имя Пушкина, творчество которого он заново пересматривает.

В пору «Московского наблюдателя» взгляды Белинского на искусство и литературу являлись выводами из общефилософских положений о «разумной действительности». В связи с этим некоторые оценки конкретных литературных явлений сравнительно с его прежними оценками были изменены и заново сформулированы.

Белинский трактовал тогда художественное произведение как выражение одного из моментов в развитии абсолютной идеи или сознания, поскольку все идеи «суть не иное что, как одна движущаяся, развивающаяся идея бытия, которая проходит через все ступени, все моменты своего развития».

Белинский пытался доказать, что поэт является органом «общего

и мирового», что никакого отношения к общественности данного времени искусство не имеет, что между художником и человеком нет ничего общего и т. д. Являясь выражением абсолютной идеи в один из моментов ее развития, искусство всегда «объективно», как утверждал Белинский, в противоположность всякому субъективному заблуждению, отрицающему действительность. Искусство не обнажает противоречий жизни, а, напротив, «смягчает и преображает действительность». «Искусство освобождает нас от конечной субъективности, и нашу собственную жизнь, от которой мы так часто плачем по своей близорукости и частности, делает объектом нашего знания, а следовательно и блаженства» (статья о «Гамлете» Шекспира).

В пору «Московского наблюдателя» мятежное, протестующее искусство получает у Белинского сниженную оценку. Осуждая всякое отрицание как «прекраснодушие», Белинский стремился изгнать идею отрицания и из области искусства. В связи с этим он противопоставлял Гете как великого поэта «действительности» и «объективного художника» «прекраснодушному» Шиллеру, объявляя лучшие произведения «этого странного полухудожника, полу-поэта» художественно неполноценными.

Теоретически изолируя искусство от всех других явлений жизни, как частных, Белинский соответственно истолковывал и задачи критики. Принципы французской общественно-политической критики, являвшиеся предметом особой его неприязни в 1838—1839 гг., согласно тогдашним взглядам Белинского, могли иметь только относительное значение.

Белинский признавал тогда только философскую критику высшим родом критики. Назначение философской критики он видел в том, чтобы изучать абсолютную идею в ее многоразличных индивидуальных воплощениях.

Сугубо идеалистическое понимание искусства, которое Белинский защищал в 1838—1839 г., не помешало ему, однако, тогда же дать замечательные образцы критического анализа и поставить на принципиально философскую почву важнейшие вопросы теории искусства.

Так, Белинский дал превосходную постановку вопроса о художественной форме, которая исключала и формализм, отождествляющий форму с внешними по отношению к содержанию приемами художественного выражения, и натуралистический эмпиризм. Согласно взглядам Белинского, художественная форма всегда содержательна, идейно наполнена. Форма является особым состоянием идеи. Конкретность идеи достигается ее единством с формой.

Положения об объективности художественной формы, о содержательности формы сделались впоследствии одной из важнейших сторон эстетики Белинского, его учения о реализме. Именно поэтому, анализируя конкретные художественные произведения, Белинский никогда не отрывал формы от содержания; напротив, от раскрытия содержания он приходил к объяснению особенностей художественной формы. В этом и заключались те задачи, которые Белинский пока еще в идеалистических понятиях, ставил философской критике.

Новые философские взгляды позволили Белинскому в 1838—1839 гг. заново пересмотреть и переоценить творчество Пушкина; к переоценке Пушкина обязывал критика и целый ряд новых, ранее не известных произведений великого поэта, напечатанных лишь после его гибели («Медный всадник», «Русалка», «Галуб», как тогда называлась поэма о Тазите, «Сцены из рыцарских времен», «Египетские ночи», отрывки из

«Арапа Петра Великого», «Летописи села Горюхина», «Каменный гость», ряд лирических стихотворений, критических статей и прозаических набросков).

Белинский не только отказался от своего прежнего мнения о «закате» таланта Пушкина в 1830-х годах, но и с большой резкостью печатно осудил самого себя. О своем прежнем отношении к Пушкину Белинский отзывался теперь как о жалком воззрении, как о «детском прекраснодушии», «которое, выглядывая из узкого окошечка своей ограниченной субъективности, мерит действительность своим фальшивым аршином. . .».

Пушкин в 1838—1839 гг. был осознан Белинским как величайший поэт «блаженства и внутренней гармонии», стоящий в одном ряду с мировыми гениями искусства — Гомером, Шекспиром, Гете. Это новое отношение Белинского к Пушкину было, однако, односторонне, поскольку оно связывалось с порицанием в искусстве протестующих начал.

В поэзии Пушкина, как и в творчестве Шекспира и Гете, Белинский в 1838—1839 гг. нашел как бы художественное воплощение того учения о «разумной действительности», которое он тогда развивал. Белинский прямо и заявлял, что характер последних произведений Пушкина («Медного всадника», «Русалки» и др.) состоит в примирении «путем объективного созерцания жизни».

Проблема Пушкина, как она ставилась Белинским в 1838—1839 гг., только подготовляла конкретно-историческое понимание пушкинского творчества. Впоследствии Белинскому и предстояла задача: осознать Пушкина в соотношении его с историческим ходом русской жизни, с ходом истории литературы.

3. Начало работы Белинского в «Отечественных записках». Развитие и преодоление «примирительных» умонастроений. Статьи о Лермонтове

«Московский наблюдатель», издававшийся под редакцией Белинского, прекратил свое существование весной 1839 г. Одной из главных причин ликвидации журнала было то, что он плохо расходился среди читающей публики. Критические статьи в журнале писались сложным, отвлеченным языком, перегруженным специальной философской терминологией. Беллетристическому отделу, столь привлекательному для читателей, редакция не уделяла должного внимания. Не было в журнале и литературной полемики.

После прекращения «Московского наблюдателя» Белинский вступил в переговоры с Краевским, только что возобновившим издание «Отечественных записок». Новый петербургский журнал очень нуждался в сотруднике, который мог бы обеспечить успех журналу, поднять и поддержать его. Самым боевым и ответственным был, конечно, отдел критики и библиографии: от него зависела судьба журнала. Краевский и поручил отдел критики и библиографии Белинскому, предоставив ему свободу, но поставив условием печатать все статьи и рецензии в журнале без подписи.

Со времени переезда в 1839 г. в Петербург для Белинского началась новая полоса его жизни и деятельности. Семь лет, с 1839 по 1846 г., Белинский работал в «Отечественных записках», являясь ближайшим сотрудником журнала и главным его вдохновителем. Он

создал «Отечественным записками» славу лучшего журнала сороковых годов.

Еще до переезда в Петербург Белинский написал в Москве две статьи — «Бородинская годовщина» и «Очерки Бородинского сражения». Вскоре же Белинским были написаны еще две статьи — «Менцель, критик Гете» и «Горе от ума». В этих четырех статьях он прошел весь круг «примирения с действительностью».

В 1839 г. торжественно праздновалась годовщина знаменитого Бородинского сражения, вошедшего в историю как великая победа русского народа над всеевропейской диктатурой Наполеона.

В порядке рецензирования двух брошюр: В. А. Жуковского — «Бородинская годовщина» и И. Н. Скобелева — «Письмо из Бородина от безрукого к безногому инвалиду» — Белинский написал небольшую статью, непосредственным продолжением которой явилась статья по поводу книги Ф. Н. Глинки «Очерки Бородинского сражения». Пафосом обеих статей Белинского было осознание Бородинского сражения как исторического народного события и великого явления мировой истории. Рассмотрение этой конкретной темы Белинский связал с широкой постановкой вопроса о сущности исторического процесса вообще.

Исходя из правильных предпосылок о патриотическом и народном характере войны 1812 г., Белинский дошел до признания монархического принципа и до защиты идеи царя, личность которого якобы воплощала стихию русской народности. Эти ошибочные выводы, являвшиеся последовательным развитием идей примирения с действительностью, впоследствии заставляли Белинского вспоминать о своих статьях по поводу Бородинской годовщины, «задыхаясь от негодования».

Белинский, конечно, жестоко заблуждался, признав самодержавие «разумной действительностью». Тем не менее, в статьях о Бородинской годовщине содержались важные и плодотворные положения: утверждая идею законосообразности исторического процесса, Белинский боролся с отвлеченными взглядами на историю, согласно которым историческое движение обусловливается субъективными понятиями людей. Гениальным чутьем Белинский нащупывал объективные основы своих общественных идеалов; он приближался к реалистическому пониманию истории. Глубоко плодотворны и важны были его положения, что разумна всякая идея и всякое стремление, которое подтверждается диалектическим развитием самих общественных явлений, и, напротив, неразумно «все, что не имеет причины в самом себе и является из какого-то чуждого ему „вне", не „изнутри" самого себя».

Признание объективности исторического процесса и отрицание всяких субъективных иллюзий помогло Белинскому по-новому понять и ход русской истории. Если в «Литературных мечтаниях» Белинский подчеркивал насильственность реформы Петра Великого, указывая, что он оторвал общество от народа, то теперь он приходил к выводу, что петровские реформы были исторически необходимы и разумны. «Петр Великий, приобщив Россию европейской жизни, дал чрез это русской жизни новую, обширнейшую форму, но отнюдь не изменил ее субстанциального основания». Из этой мысли Белинского выросла вся его концепция русской культуры.

Глубоко принципиально, несмотря на ошибочные выводы, был поставлен Белинским и вопрос о взаимоотношении личности и общества. С точки зрения Белинского, личность, будучи частным выражением «общего», могла выразить великие стремления своего времени. И такую личность Белинский приветствовал, на ее стороне были его горя-

чие симпатии. Но личность, стремления которой противоречили «общему или мировому», он отвергал, такою личностью он жертвовал во имя общего.

Ошибка Белинского заключалась в том, что он требовал «смирения» личности, подчинения ее окружающей действительности и не допускал никакого противоречия или протеста по отношению к «общему». Впоследствии, осознав свою ошибку, Белинский в письме к Боткину от 11 декабря 1840 г. писал: «Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки («Очерки Бородинского сражения»), верна в своих основаниях; но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото».

В статьях о Бородинской годовщине Белинский игнорировал «идею отрицания, как исторического права»; в статье о Менцеле он пытался доказать, что и область искусства не нуждается в ней. «Дело художников — созерцать „полное славы творенье" и быть его органами, а не вмешиваться в дела политические и правительственные».

Белинский восставал против критиков, смотревших на поэта «как на подрядчика, которому можно заказывать в одно время — воспевать святость брака, в другое — счастье жертвовать своею жизнью за отечество, в третье — обязанность честно платить долги».

Представителем подобного направления критики в глазах Белинского и был Вольфганг Менцель, выступивший в Германии застрельщиком борьбы против Гете за его равнодушие к современности и политический индифферентизм.

Исходя из идеи «примирения» с действительностью, Белинский делал в статье сравнительную оценку Гете и Шиллера. Как и в пору «Московского наблюдателя», Гете он превозносил, считая его творчество воплощением подлинного искусства; Шиллера, напротив, резко порицал, называя его революционные трагедии «решительно безнравственными». В статье о Менцеле продолжалось и «французоедство» поры «Московского наблюдателя»: романы Жорж Занд характеризовались как «один другого нелепее и возмутительнее», а идеи писательницы, о всемирно-историческом значении которой Белинский будет говорить через два года, вели якобы к «уничтожению священных уз брака, родства, семейственности».

«Художественная точка зрения довела меня до последней крайности, до нелепости», — писал Белинский Боткину через год после появления в печати «гадкой статьи о Менцеле», как он стал ее впоследствии называть.

Одновременно со статьей о Менцеле Белинским была написана статья о «Горе от ума», посвященная в большей своей части анализу «Ревизора» Гоголя. Несмотря на идеалистическое понимание художественного творчества, развернутое и в данной статье, эта статья может служить великолепным примером того, как в понятиях и терминах идеалистической философии у Белинского шел процесс формирования реалистических принципов. В статье о «Горе от ума» Белинский как бы резюмировал и подытожил, наряду с ошибками, и все то прогрессивное и важное, что он получил, перерабатывая гегелевские идеи в области истолкования искусства.

Исходное положение Белинского, которое он положил в основу своих рассуждений, заключалось в определении поэзии как непосредственного созерцания истины или мышления в образах.

«Поэт мыслит образами; он не доказывает истины, а показывает ее. Но поэзия не имеет цели вне себя — она сама себе цель; следовательно поэтический образ не есть что-нибудь внешнее для поэта или второстепенное, не есть средство, но есть цель. Поэту представляются образы, а не идея, которой он из-за образов не видит, и которая, когда сочинение готово, доступнее мыслителю, нежели самому творцу. Посему поэт никогда не предлагает себе развить ту или другую идею, никогда не задает себе задачи: без ведома и без воли его возникают в фантазии его образы. . .».

На этом основании Белинский безусловно осуждал и отрицал всякую тенденциозность в художественном произведении. В этом — порочность его концепции, приводившая его к отрицанию такой, например, важной области искусства, как сатира. Но с положением об образности художественного мышления у Белинского были связаны и те его эстетические идеи, которые, в конечном счете, вели к пониманию искусства как воспроизведения действительности. Художественный образ, согласно взглядам Белинского, является концентрацией и типизацией действительности, а совокупность образов и типов составляет конкретное единство содержания и формы художественного произведения. Эти общие эстетические воззрения критика поверяются и оправдываются творчеством автора «Ревизора».

Задача, которую поставил себе Белинский в статье о «Горе от ума», заключалась в том, чтобы «вывести разделение драматической поэзии на трагедию и комедию не по внешним признакам, а из их сущности, и на этих основаниях сделать критическую оценку знаменитому произведению Грибоедова».

Собственно к «Горю от ума» Белинский подходит только в заключении статьи; бóльшая же ее часть посвящена детальному разбору идеи трагического и комического, причем в качестве примеров берутся произведения Гоголя, в частности «Ревизор».

Поэзии действительности, отражающей «разум в сознании и разум в явлении, словом открывающийся самому себе дух», Белинский противопоставляет поэзию призрачного, которая имеет дело с эгоистическим существованием, с личным и частным. Призрачное лишено положительной действительности, но оно тоже имеет объективный характер и включается в действительность как «уклонение от нормальности».

К поэзии действительности Белинский относит трагедию, сущность которой он видит в «столкновении между влечением сердца и нравственным долгом». К поэзии призрачного относится комедия, изображающая «отрицательную сторону жизни».

Обращаясь к «Ревизору», Белинский показывал, что идея призрачности может лежать в основе великого художественного создания. Комедия Гоголя — это «замкнутый в себе мир, в котором все выходит из одного источника — основной идеи и все туда возвращается». Рассмотрением «Ревизора» Белинский полностью оправдывал свои положения о художественном образе как типизации и концентрации действительности и о содержательности художественной формы.

Центральный драматический конфликт комедии Гоголя состоит в ошибке городничего, принявшего Хлестакова за ревизора. Почему Гоголем избран этот анекдотический, несообразный случай? Белинский говорит, что ошибка городничего «не только естественна, но и необходима», что через нее мы проникаем в идею и содержание пьесы. «Не грозная действительность, а призрак, фантом, или, лучше сказать, тень от страха виновной совести, должны были наказать человека призраков»,

С точки зрения Белинского, призрачная, неразумная действительность, наполненная «деятельностью мелких страстей и мелкого эгоизма», необходимо должна и развиваться в неразумных формах. Анекдотический, несообразный случай является, таким образом, наиболее типическим выражением действительности.

Разбирая характеры гоголевской комедии, Белинский показывает, как из идеи призрачности развивается все действие «Ревизора». Художественная структура «Ревизора» в комментированном пересказе Белинского очень ярко выступает перед читателем как организованная по внутренней необходимости. Из анализа Белинского становится очевидным, что в «Ревизоре» нет ничего неестественного, нет никакого внешнего принуждения. Не только каждая сцена, но и каждая деталь характерны своей полнотой и типичностью и оправданы идеей комедии.

Трактовка Белинским «Ревизора» говорит о том, что он во многом уже отступал от своих «примирительных» взглядов. В вопросе об отношении к действительности он начал осознавать свою ошибку: он признал, что не всякая действительность разумна и что существует еще «призрачная» действительность, противоречащая разумному сознанию. Поняв это, Белинский был недалек от того, чтоб объявить «призрачной» действительности беспощадную борьбу. Но Белинский еще только нащупывал путь к обоснованию идеи революционного отрицания. Вследствие этого он еще не мог покинуть убеждения, что «общество всегда право», он не находил пока объективного смысла в восстании личности против общества, хотя такое восстание могло опираться и на определенные общественные тенденции. С этих позиций он и продолжал отстаивать свои взгляд, что идея противоречия личности и общества не может быть положена в основу истинно художественного произведения. Противоречие личности и общества, по мнению Белинского, могло составить только идею сатиры, а сатиру, поскольку она ставила себе «внешние цели», Белинский исключал из разряда художественных произведений.

Белинский считал, что, в противоположность «Ревизору» — классическому образцу комедийного рода искусства, «Горе от ума» Грибоедова — «не комедия в смысле и значении художественного создания», а сатира. В комедии Грибоедова «нет целого, потому что нет идеи, — заявлял Белинский: — идея Грибоедова была сбивчива и неясна самому ему, а потому и осуществилась каким-то недоноском». Белинский настаивал, что «Горе от ума» — не художественное произведение, ибо «художественное произведение есть само себе цель и вне себя не имеет цели», а Грибоедов «ясно имел внешнюю цель — осмеять современное общество». Белинский добавлял при этом, что «общество всегда правее и выше частного человека, и частная индивидуальность только до той степени и действительность, а не призрак, до какой она выражает собою общество». Исходя из этой мысли, Белинский решительно осуждал образ Чацкого, говоря, что это «комическая фигура, «как бы вырвавшаяся из сумасшедшего дома», «мальчик на палочке верхом», а вся комедия — «буря в стакане воды». При всем том Белинский относил Грибоедова «к самым могучим проявлениям русского духа», полагая, что в комедии «он является еще пылким юношею, но обещающим сильное и глубокое мужество». Не видя в «Горе от ума» художественного создания в целом, Белинский отмечал «ряд отдельных картин и самобытных характеров, без отношения к целому, художественно нарисованных кистию широкою, мастерскою, рукою твердою».

Статью Белинского о «Горе от ума» Чернышевский заслуженно называл «блестящею», но указывал, что в ней и разбор «Ревизора» и разбор

«Горе от ума» сделан исключительно с «художественной точки зрения, а на то, какое значение для жизни имеет „Ревизор" и имело „Горе от ума" — не обращено почти никакого внимания».

Уже через год Белинский сам осознал свою ошибку. 11 декабря 1840 г. он признавался Боткину, что в своей статье говорил о «Горе от ума» «свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это — благороднейшее гуманическое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной рассейской действительности, против чиновников, взяточников, бар, развратников... против невежества, добровольного холопства и пр., и пр., и пр.».

Белинский упрекал себя за то, что общественное значение «Горе от ума» осталось в его статье без внимания. Тем не менее и впоследствии Белинский не отказался от своей оценки комедии Грибоедова с художественной точки зрения. Неоднократно подчеркивая впоследствии громадное общественное значение комедии (она «до сих пор высится в нашей литературе геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть»), усматривая пафос «Горе от ума» — в «негодовании на действительность», Белинский постоянно отмечал в комедии отсутствие «полноты художественности» и определенности идеи.

В трудную переломную пору своего идейного развития, когда, еще не расставшись с «примирительными» идеями, Белинский мучительно искал революционной идеологии, он познакомился с произведениями Лермонтова. Поэзия Лермонтова помогла Белинскому освободиться от его ошибочных взглядов и способствовала тому, что в мышлении Белинского взяли верх идеи отрицания, идеи революционной борьбы.

Белинский был первым, кто понял гений Лермонтова и разъяснил русскому обществу значение его творчества.

Белинский знал Лермонтова лично. В начале апреля 1840 г. он посетил Лермонтова на гауптвахте, где поэт находился под арестом за дуэль с Барантом. Это историческое свидание Белинского с Лермонтовым продолжалось около четырех часов и произвело на Белинского огромное впечатление. «Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души, — писал Белинский о Лермонтове Боткину. — Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! .. Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: „Дай бог!"».

Вскоре после встречи и беседы с Лермонтовым Белинский написал свою статью о «Герое нашего времени». В русской критике это был первый глубокий анализ гениального произведения и вместе с тем его восторженная оценка.

Реакционная критика встретила роман Лермонтова с ожесточением. Самое заглавие, имеющее у Лермонтова горько-иронический и трагический смысл, было понято в буквальном значении. Николай I, прочитавший «Героя нашего времени», писал своей жене, что «такие романы портят нравы и портят характер. Потому что, хотя подобную вещь читаешь с досадой, все же она оставляет тягостное впечатление, ибо в конце концов привыкаешь думать, что свет состоит только из таких индивидуумов, у которых кажущиеся наилучшие поступки проистекают из отвратительных и ложных побуждений. Что должно явиться последствием? Презрение или ненависть к человечеству». Критик мракобесного журнала «Маяк», подводя итоги своим впечатлениям от романа, заявлял: «Итак,

в ком силы духовные заглушены, тому герой нашего времени покажется прелестью, несмотря, что он — эстетическая и психологическая нелепость. В ком силы духовные хоть малюмальски живы, для тех эта книга отвратительно неснюсна».

. В ряде критических отзывов по поводу «Героя нашего времени», принадлежавших перу защитников самодержавно-крепостнического строя, была одна общая линия: резкое порицание и осуждение образа Печорина. Печорин — безнравственный и развратный человек, и объявлять его «героем нашего времени» — значит клеветать на Россию. Вот каков был приговор роману со стороны реакционной критики. Громадное значение образа Печорина понял только один Белинский.

В образе Печорина Белинский увидел правдивое и бесстрашное отражение трагедии своего поколения, поколения передовых людей 1840-х годов. Человек несокрушимой силы духа, гордый и смелый, Печорин растрачивает свою энергию впустую, в жестоких забавах и в мелких интригах. Печорин — это жертва того общественного строя, который мог только глушить и калечить все лучшее, передовое и сильное.

В своей статье Белинский горячо защищал образ Печорина от нападок реакционной критики и доказывал, что этот образ воплотил собою критический дух «нашего века». Защищая Печорина, Белинский подчеркивал, что «наш век» гнушается «лицемерством». «Он громко говорит о своих грехах, но не гордится ими; обнажает свои кровавые раны, а не прячет их под нищенскими лохмотьями притворства. Он понял, что сознание своей греховности есть первый шаг к спасению». С точки зрения Белинского, в образе Печорина отразилась болезненная переходная эпоха. Белинский считал, что Печорин должен был выздороветь и стать «торжествующим победителем над злым гением жизни». «Судя о человеке, — писал Белинский, — должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение; но все это искупается его богатою натурою. Его, во многих отношениях, дурное настоящее обещает прекрасное будущее». Такой взгляд на Печорина вытекал из глубокой веры Белинского в торжество правды и разума, а также из уверенности в том, что передовым людям 1840-х годов удастся найти пути к свободному и здоровому общественному строю.

Непосредственным продолжением статьи Белинского о «Герое нашего времени» явилась его статья о «Стихотворениях Лермонтова». Ко времени написания этой статьи Белинский окончательно преодолел свои «примирительные» умонастроения, вышел на «широкое поле действительности», стал на путь революционного отрицания и борьбы. Работая над статьей о «Стихотворениях Лермонтова», в письме к Боткину Белинский заявлял: «Вообще, все общественные основания нашего времени требуют строжайшего пересмотра и коренной перестройки, что и будет рано или поздно. Пора освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности». В пору «примирения» с действительностью Белинский требовал смирения личности и отказывался от всякого протеста. Теперь он выдвинул человеческую личность как носительницу активного протестующего начала в общественной жизни. С идеей личности связано было у Белинского и понятие «субъективности», которое он обосновывал в статье о «Стихотворениях Лермонтова». «Субъективность» в понимании Белинского означала способность художника откликаться на общественные вопросы своего времени и произносить суд над явлениями жизни.

По признаку «субъективности» Белинский и оценивал Лермонтова как «поэта русского, народного, в высшем и благороднейшем значении этого слова, — поэта, в котором выразился исторический момент русского общества». Обличительная гражданская лирика Лермонтова, которая порицалась и осуждалась реакционной критикой, получила особенно высокую оценку Белинского. Он восхищался пафосом стихотворения «Поэт» и особо выделял «писанные кровью» стихи «Думы». По поводу стихотворения «И скучно, и грустно» Белинский писал: «Страшен этот глухой, могильный голос подземного страдания, нездешней муки, этот потрясающий душу реквиэм всех надежд, всех чувств человеческих, всех обаяний жизни! .. Это не минута духовной дисгармонии, сердечного отчаяния: это — похоронная песня всей жизни!».

Центральным образом поэзии Лермонтова и основным ведущим началом всего лермонтовского творчества Белинский считал образ Демона. И в статье о «Стихотворениях Лермонтова», и в позднейшие годы сущность лермонтовского демонизма истолковывалась Белинским как последовательное развитие идеи отрицания и революционной борьбы во имя утверждения жизни, во имя освобождения человеческой личности от всякого порабощения и гнета.

Уже после смерти Лермонтова, в одном из своих писем к Боткину, Белинский так высказывался о безвременно погибшем великом русском поэте: «Содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественной натуры, исполинский взмах, демонский полет — с небом гордая вражда — все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который, по содержанию, шагнул бы дальше Пушкина».

В одной своей статье 1843 г., характеризуя Лермонтова, Белинский говорил, что пафос его поэзии «заключается в нравственных вопросах о судьбе и правах человеческой личности», что «поэзия Лермонтова растет на почве беспощадного разума и гордо отрицает предание».

Таково было итоговое определение лермонтовского творчества, которое дал Белинский. Идея личности, ее прав, ее освобождения от власти предания, т. е. от гнета общественного и нравственного, — вот в чем видел Белинский весь смысл творчества Лермонтова. Но величайшим борцом за ту же идею стал и сам Белинский, когда он перешел на позиции революционного отрицания, когда связал всю свою деятельность с борьбой против крепостнических порядков, против невежества и всяческих форм косности и отсталости.

4. Общественно-политические и литературно-эстетические взгляды Белинского в 1840-х годах.

1840—1841 гг. в идейной эволюции Белинского были годами кризиса и перелома. «Примирение с действительностью» явилось завершением первого периода деятельности Белинского, в течение которого его интересы были сосредоточены преимущественно на философско-эстетических вопросах. С 1840—1841 гг. начинается второй период его деятельности.

Позиция Белинского в социально-политических вопросах, которые становятся в центре его внимания, определяется с наибольшей четкостью: он формируется как просветитель-революционер, вождь молодой русской демократии.

В истории русской общественности факт решительного перехода Белинского на революционные позиции знаменателен и важен прежде всего как свидетельство обостряющейся классовой борьбы.

Одновременно с идеологическим самоопределением Белинского происходит процесс размежевания и диференциации общественных группировок. Оформляется, с одной стороны, группа славянофилов, полагавших, что Россия может избежать капиталистического пути развития, по которому шли западноевропейские страны; с другой стороны — группа западников (Грановский, Боткин, Анненков и др.), с которыми у Белинского были личные дружеские отношения и точки соприкосновения во взглядах, но по отношению к которым он занимал тоже совершенно самостоятельное положение. Западничество в смысле идеализации западноевропейских буржуазных порядков Белинскому было враждебно, равно как чужда и враждебна ему была славянофильская идеализация российской отсталости. Путь к подлинному подъему национальной культуры в России Белинский видел не в славянофильстве и не в западничестве, а в развертывании революционной борьбы самого народа.

После отказа от «примирительных» идей Белинский сближается с Герценом, с которым в дальнейшем идет рука об руку, как друг и идейный единомышленник. Вместе с Герценом Белинский критически перерабатывает все положительное, что имелось в гегелевской диалектике, а затем и в фейербаховском материализме. Вместе с Герценом Белинский создает национально-русскую материалистическую философию, распространяя материализм и на область эстетики. Чернышевский впоследствии писал: «Развитие последовательных воззрений из двухсмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля совершилось у нас отчасти под влиянием немецких мыслителей, явившихся после Гегеля, отчасти — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами. Тут в первый раз русский ум показал свою способность быть участником в развитии общечеловеческой науки».

Освобождение от «примирительных» умонастроений и перелом в мировоззрении сам Белинский склонен был объяснить переездом из Москвы в Петербург и новыми петербургскими впечатлениями. В письмах к друзьям Белинский не раз подчеркивал, что именно Петербург отрезвил его, столкнул лицом к лицу с гнусной российской действительностью и помог найти пути к революционной идеологии. Чернышевский также указывал, что переезд в Петербург немало способствовал быстрейшему освобождению Белинского от «примирительных» идей.

В понимании «разумной действительности» Белинский в 1840—1841 гг. переходит с метафизической позиции на диалектическую; так же как и Герцен, он начинает истолковывать диалектику как «алгебру революции». Известное положение Гегеля он разъясняет теперь в том смысле, что «не все то действительно, что есть в действительности», что существующее действительно лишь постольку, поскольку оно необходимо. Раскрывая революционную сущность диалектики, Белинский глубже стал понимать идею законосообразности исторического процесса и по-новому истолковал идею отрицания, которую раньше он стремился изгнать из общественной жизни.

Если в пору «примирения с действительностью» Белинский во имя «общего» требовал смирения и подчинения личности, то теперь живая человеческая личность выдвигается им на первый план. Одновременно с идеей личности Белинский выдвигает и обосновывает идею социализма. Он не мыслит освобождение личности вне освобождения общества. Стремясь найти ответ на мучившие его вопросы о средствах освобождения личности и в то же время о путях преобразования общества, Белинский обращается к теориям утопического социализма. В начале 1840-х

годов он увлекается взглядами Фурье, Сен-Симона, Пьера Леру и других французских утопистов.

В сентябре 1841 г. Белинский писал Боткину: «Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идей в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству... Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда бо́льшая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня, блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими!» Теперь лозунгом Белинского становится «социальность». «Социальность, социальность — или смерть!» — восклицает он в том же письме. Идею социальности он понимает в духе утопического социализма. «Итак, я теперь в новой крайности, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию».

Сочетая идею освобождения личности с идеей социализма, Белинский вскоре разошелся со всеми утопическими теориями, которые он изучал. Эти теории шли вразрез с учением об объективной закономерности исторического развития, в то время как Белинский стремился обосновать социалистический идеал объективной логикой исторического процесса. Попытка объективного обоснования идеи социализма была сделана Белинским в статье о книге Лоренца «Руководство к всеобщей истории» (1842).

Белинский утверждал, что новый общественный строй невозможно установить мирным, эволюционным путем. В связи с этим замечательно признание Белинского, что он начинает «любить человечество по-маратовски». Заявляя, что физическое и нравственное улучшение человека может быть достигнуто через «социальность», Белинский провозглашал, что «нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови... Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов».

С этой точки зрения Белинский заново пересматривает историю человечества. С начала 1840-х годов его героями становятся «разрушители старого»: Вольтер и энциклопедисты, Байрон, якобинцы. Белинский приходит к уверенности, что новый общественный строй «утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной жиронды», а «обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов».

Все эти суждения Белинского характеризуют его как демократа и революционера, последовательно и решительно отстаивавшего идею отрицания, идею революционной борьбы. За исключением Герцена, никто из друзей Белинского не мог разделить полностью его взглядов и убеждений. Характерен в этом отношении спор Белинского с Грановским, который отрицательно отзывался о Робеспьере и защищал от Белинского жирондистов. Разногласия между революционером и либералом здесь вскрылись совершенно отчетливо.

В начале 1840-х годов Белинский эволюционирует к материализму. Большую роль в обращении Белинского к философскому материализму сыграла знаменитая книга Фейербаха «Сущность христианства», а также

материалистические произведения Герцена и переписка, в которой Герцен и Белинский обменивались «письмами-диссертациями», к сожалению, не дошедшими до нас.

Переходя на позиции философского материализма, Белинский, в отличие от Фейербаха, стремился соединить диалектику с материализмом. Белинский стремился к революционному преобразованию действительности и искал для этого правильную научную теорию. В силу экономической отсталости России и неразвитости классовой борьбы в стране, Белинский не мог до конца завершить начатое им дело, хотя он зачастую и подходил к диалектическому материализму. Источник непрекращавшихся исканий и колебаний Белинского до конца его жизни состоял в том, что он не видел в николаевской России тех общественных сил, которые могли бы осуществить революцию.

Белинскому, очевидно, остался не известен «Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса, так как он вышел в свет за несколько месяцев до его смерти. Однако с первыми произведениями основоположников научного коммунизма Белинский познакомился. В 1845 г. он читал работы Маркса («К критике гегелевской философии права» и «К еврейскому вопросу») и Энгельса («Очерки критики политической экономии»), помещенные в «Deutsch-französische Jahrbücher» («Немецко-французских ежегодниках»). Под впечатлением прочитанного, 26 января 1845 г., он писал Герцену: «Истину я взял себе, — и в словах б о г и р е л и г и я вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре. Все это так, но ведь я попрежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А чорт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать? — мертвый капитал!».

Белинский не мог дойти и не дошел до научного социализма и диалектического материализма, но он приближался к ним, умея и в условиях царской цензуры проводить свои революционные взгляды.

В статье о «Парижских тайнах» Э. Сю (1844) Белинский дал оценку французской революции 1830 г. Противопоставляя интересы буржуазии и интересы народа, Белинский утверждал в этой статье, что народ, совершивший революцию, ничего не выиграл. Он говорил далее, что французская аристократия и буржуазия угнетают народ и что их историческая роль является реакционной. В противоположность утопическим социалистам, Белинский верил в исторический разум самих народных масс, и поэтому залог будущего Франции он видел в народе.

Белинский, конечно, был далек от великой идеи об исторической миссии пролетариата, но он предугадывал неизбежность борьбы пролетариата с буржуазией.

В процессе формирования революционно-демократических взглядов Белинского перерабатывались его эстетические воззрения, а также изменялись его оценки литературных явлений и фактов.

Свои философско-общественные убеждения Белинский отстаивал со всей силой присущего ему огненного темперамента, с неукротимой энергией борца. Таков был Белинский и в жизни, среди друзей. «В этом застенчивом человеке, — писал о нем Герцен, — в этом хилом теле обитала могучая, гладиаторская натура! Да, это был сильный боец!».

В России не было еще тогда революционной партии, но Белинский не мог отказаться от «действия», от практической работы, которая способствовала бы освободительному движению.

«Что же делать при виде этой ужасной действительности?», — спрашивал Белинский и отвечал: «Не любоваться же на нее, сложа руки,

а действовать елико возможно, чтобы другие могли лучше жить, если нам никак нельзя было жить. Как же действовать? Только два средства: кафедра и журнал...».

Белинский осознал свои задачи как задачи просветителя и приложил все силы к тому, чтобы максимально использовать для «действия» журнал: «Отечественные записки» стали его кафедрой и трибуной.

Здесь печатались ежегодные критические обзоры русской литературы, написанные Белинским; здесь появились его статьи о Грибоедове, о Лермонтове, о «Мертвых душах» Гоголя, о Крылове; наконец здесь был опубликован цикл статей Белинского о Пушкине (одиннадцать статей). По свидетельству современника, «статьи его были не просто журнальными рецензиями, — они составляли... события в литературном мире того времени. — Все они установляли новые точки зрения на предметы, читались с жадностью, производили глубокое неизгладимое впечатление...». О том, как воспринимались статьи Белинского передовой молодежью 1840-х годов, рассказывает Герцен: «Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с двадцать пятого числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли „Отечественные записки", тяжелый номер рвали из рук в руки — „есть Белинского статья? — Есть", и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, спором... и трех-четырех верований, уважений как не бывало».

Белинский смело разрушал старые кумиры и авторитеты, он с исключительной энергией боролся со всякой фальшью в литературе, с аристократическими и кастовыми тенденциями. В то же время он поддерживал и развивал прогрессивные стремления русских писателей, направляя их на путь расширения художественных интересов, на путь обращения к народу. Судьбы русской литературы Белинский не отделял от исторических путей русского народа, от путей освободительного движения.

Однако возможности журнала были для Белинского очень ограничены. Ему приходилось писать только на литературные темы, потому что политических вопросов по условиям царской цензуры касаться было нельзя. Белинский вынужден был всячески скрывать и маскировать свой замечательный публицистический талант. И это приносило ему много страданий. «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, — писал он Боткину, — а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи».

Поняв революционную сущность диалектики, перейдя на позиции отрицания и революционной борьбы, Белинский отверг прежнее истолкование искусства и отказался от мысли о независимости искусства от жизненной практики. На место объективности, как главного критерия искусства, теперь была поставлена «субъективность». Начиная с 1841 г., Белинский с каждым годом все глубже и решительнее обосновывает задачи искусства как великого орудия в освободительной борьбе.

Процесс изменения эстетики Белинского совершенно отчетливо прослеживается в его статьях: «Стихотворения М. Лермонтова» (1841), «Разделение поэзии на роды и виды» (1841), о «Мертвых душах» Гоголя (1842), «Речь о критике А. Никитенко» (1842) и другие.

Учение Белинского о реализме, выработанное в первый период его деятельности, теперь сталкивается с требованиями «субъективности» и «социальности». Созерцательный реализм начинает перерабатываться в новую философию искусства на основе идеи революционного отрицания.

Требование «субъективности» Белинский выдвигал в связи с творчеством Гоголя. О «субъективности» как ведущем начале передового искусства Белинский впервые говорит в статье о «Стихотворениях М. Лермонтова».

Понятие «субъективности» для Белинского было неразрывно с понятием «социальности», с идеей отрицания, которая только и позволяла произносить суд над явлениями жизни. Белинский доказывал, что «субъективность» и связанная с ней идея отрицания были необходимыми моментами развития самой объективной действительности. Вследствие этого «субъективность» художника могла только придавать силу поэтическому изображению и углублять его. Но «субъективность» не могла мириться с «субъективизмом» как выражением ограниченности личных взглядов.

«В наше время, — писал Белинский в статье о «Стихотворениях М. Лермонтова», — отсутствие в поэте внутреннего (субъективного) элемента есть недостаток». В теоретической работе «Разделение поэзии на роды и виды» Белинский на основе «субъективности» художника построил целую теорию лирических жанров, оправдывая требование «субъективности» исторически. В этой статье Белинский подчеркивал, что серьезный недостаток большей части романов Вальтер Скотта и Купера — «это решительное преобладание эпического элемента и отсутствие внутреннего субъективного начала». В связи с этим Белинский теперь восстанавливает в своих правах сатиру, изгонявшуюся им раньше из области искусства. Он приветствует «Думу» Лермонтова, характеризуя ее как сатиру и в то же время считая ее великим художественным созданием.

С годами Белинский все отчетливее осознавал, что основным пороком его эстетической теории в 1830-е годы была трактовка художественного творчества как стихии бессознательного. Заново пересматривая этот вопрос, Белинский пришел к выводу, что «бессознательность не только не составляет необходимой принадлежности искусства, но враждебна ему и унизительна для него». И Белинский начал боевую полемику против понимания искусства как бессознательного и иррационального проявления творческого духа. Преодолевая свои собственные ошибки, Белинский показывал теоретическую несостоятельность «искусства для искусства».

Полемизируя с представителем идеалистической эстетики профессором А. Никитенко, Белинский заявлял, что «изящество и красота еще не все в искусстве». Требуя от искусства «разумного содержания, имеющего исторический смысл, как выражение современного сознания», Белинский со всей силой подчеркивал, что «наш век» «решительно отрицает искусство для искусства, красоту для красоты».

Искусство как самоцель, искусство как бессознательное выражение творческого духа нашло в Белинском беспощадного противника. Идеалистическую концепцию искусства Белинский полемически воплощает в знаменитой формуле Гете: «Ich singe wie der Vogel singt» («Пою как птица»), которую высмеивает и в статье о Никитенко и в других своих критических работах. От искусства Белинский требовал сочувствия живым вопросам современности. Он доказывал, что искусство может быть великим только тогда, когда передовые общественные идеи станут пафосом художника. Белинский говорил, что «дать историческое направление искусству XIX века — значило угадать тайну современной жизни. Байрон, Шиллер и Гете — это философы и критики в поэтической форме».

Соответственно с изменением философско-общественных взглядов и с утверждением нового понимания искусства Белинский должен был переоценивать и литературу прошлого и современную литературу. Радикальный переворот в мировоззрении привел Белинского и к новым художественным оценкам.

Изменилось, прежде всего, отношение Белинского к французской культуре, которую он отрицательно оценивал в пору своего примирения с действительностью за ее пристрастие к общественным вопросам. «Тяжело и больно вспомнить! — писал он Боткину 1 декабря 1840 г. — А дичь, которую изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов — этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества, этой передовой колонны человечества au drapeau tricolore?» («с трехцветным знаменем», т. е. с республиканским).

Начиная с 1840—1841 гг., Белинский высоко ценит французскую литературу за «социальность», т. е. за насыщенность современными общественными идеями, и в дальнейшем, на протяжении всего второго периода деятельности, все симпатии Белинского в этом отношении на стороне французов.

Пересматривает Белинский и свое отношение к немецкой культуре, которую он превозносил в пору примирения с действительностью. Теперь ему становится ясной политическая отсталость Германии, он констатирует мещанский консерватизм и филистерство немцев. Немецкую литературу Белинский осуждает за ее умозрительность и равнодушие к социальной действительности.

Во французской литературе конца 1830-х—начала 1840-х годов особое внимание Белинского привлекали имена Беранже и Жорж Занд. «Я боготворю Беранже, — сообщал Белинский Боткину в июне 1841 г. — . . . это апостол разума, в смысле французов, это бич предания. Это пророк свободы гражданской и свободы мысли».

Творчество Жорж Занд, которое Белинский осуждал в 1838—1839 гг., теперь он восторженно приветствует и видит во французской писательнице борца за раскрепощение женщины. Характерно, что, заново переоценив Францию и французскую литературу, Белинский склонен отнести к французскому направлению и Байрона, который «по пафосу своей поэзии, всего родственнее Франции и всего враждебнее своему отечеству».

Байрона Белинский называл «Прометеем нашего века» и иронизировал над русскими романтиками, не понявшими его и провозгласившими «певцом отчаяния и эгоизма».

Шиллер, отвергнутый Белинским в 1838—1839 гг. за «прекраснодушие», теперь восторженно характеризуется им как великий поэт гуманности, творчество которого проникнуто пафосом любви к человечеству. Прежнее противопоставление «прекраснодушного» Шиллера «объективному» Гете резко осуждается Белинским. Он подчеркивает, что «вообще мысль считать Шиллера ниже Гете — и нелепа и устарела».

Не раз возвращаясь в своих статьях к поэзии Шиллера и Гете, Белинский вплотную подходит к пониманию исторической противоречивости и двойственности их творчества.

В современной Белинскому немецкой литературе он выделяет и приветствует то направление, которое ориентируется на демократическую и революционную Францию, и в особенности творчество Гейне.

Не было ни одного сколько-нибудь значительного и важного явления мировой литературы, которое бы прошло мимо внимания Белинского. Он

пристально и напряженно следил за движением передовой философско-общественной мысли в Западной Европе, за развитием западноевропейской литературы и искусства. Но в центре всех его интересов была русская жизнь и русская литература.

Защищая и обосновывая идею революционного отрицания, Белинский с каждым годом все глубже и отчетливее видел противоречие между великими возможностями русского народа, или, как он выражался, между субстанциальной его основой и деспотическими формами социально-политического строя.

Задачи, которые Белинский ставил русской литературе, непосредственно вытекали из его общественно-политических убеждений. С точки зрения Белинского, русская литература, чтобы способствовать делу освободительной борьбы, должна была проникнуться общественными идеями, она должна была быть правдивой, выражающей объективные исторические интересы народа.

На протяжении всего второго периода своей деятельности Белинский защищал критическое, «отрицательное» направление в русской литературе, ниспровергая рутину и отсталость, разоблачая псевдонародную литературу, борясь с многочисленными врагами из охранительного лагеря.

Белинский не уставал доказывать и разъяснять, что реализм в его критической, «отрицательной» направленности полнее и глубже всего выразился в творчестве Гоголя. Высокая оценка Гоголя, которую Белинский дал в своих статьях 1835 и 1840 гг. («О русской повести и повестях Гоголя» и о «Горе от ума» Грибоедова), на протяжении второго периода его деятельности была укреплена и обоснована в связи с обоснованием идеи революционного отрицания. Гоголь с его беспощадным обличением феодально-крепостнического строя стал знаменем Белинского. На основе творчества Гоголя Белинский развернул широкую революционно-демократическую программу. Отправляясь от творчества Гоголя, он раскрывал и предуказывал перспективы развития русской литературы.

5. Полемика со славянофилами. Белинский в борьбе за Гоголя и формирование натуральной школы

Направление «Отечественных записок», а особенно, конечно, направление деятельности Белинского, не могло не вызывать вражды со стороны защитников самодержавия и феодально-крепостнического строя, со стороны идеологов старого порядка. С Белинским не только полемизировали и боролись, но его систематически травили, писали на него доносы.

Первое место в этом отношении заняли реакционно-рептильные «Северная пчела» и «Сын отечества» Булгарина и Греча, а также «Библиотека для чтения» Сенковского. Большинство статей в этих органах против Белинского и «Отечественных записок» было менее всего похоже на литературную полемику. Это была злобная травля, где площадная брань, всякого рода клевета и инсинуация переходили в прямые доносы. Белинскому же выступать против Булгарина в печати было очень трудно. Цензура, осведомленная о связях Булгарина с III отделением, систематически вымарывала всякие выпады против него, боясь навлечь на себя гнев этого учреждения.

Белинскому пришлось бороться не только с Булгариным и другими деятелями его круга, но и с группой славянофилов (К. Аксаков, братья

Киреевские, Хомяков), а также с защитниками «официальной народности» Шевыревым и Погодиным, издававшими журнал «Москвитянин» (с 1841 г.), который занял позиции, прямо противоположные позициям Белинского и «Отечественных записок».

Деятельность Белинского еще издавна была враждебна Шевыреву и возбуждала его негодование. Однако разногласия Белинского с Шевыревым в 1830-е годы шли преимущественно по линии философско-эстетической и литературно-критической, причем политического смысла разногласий Белинский тогда еще не осознавал. К началу 1840-х годов эти разногласия обострились, а политический смысл их раскрылся Белинскому вполне. Столкновения с «Москвитянином» начались у Белинского с первого же года издания этого журнала, причем вызов сделан был не «Отечественными записками» и не Белинским.

В 1842 г., в программной статье «Взгляд на современное направление русской литературы» («Москвитянин», 1842., кн. 1) Шевырев выступил с обозрением «черной стороны» русской литературы. Он громил деятелей реакционно-рептильной журналистики — Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого, поставив с ними в одном ряду и Белинского, который изображался в виде «неизвестного безыменного рыцаря, в маске и забрале, с медным лбом и размашистою рукою, готового на всех и на все, и ни перед кем не ломающего шапки». Отзывы Шевырева о Белинском были на границе с площадной бранью. Главное обвинение, предъявленное Белинскому, заключалось в том, что Белинский «не хочет уважать никаких преданий, не признает никакого авторитета, кроме того, который он сам возведет в это звание. . .».

Белинский ответил Шевыреву под псевдонимом Петра Бульдогова уничтожающим памфлетом «Педант» (1842). Шевырев был изображен здесь в лице Лиодора Ипполитовича Картофелина, учителя словесности, поэта и критика.

«Педант» возбудил яростное негодование против Белинского в кругах «Москвитянина» и среди славянофилов. «Удар произвел действие, превзошедшее ожидания, — сообщал Боткин Краевскому 14 марта 1842 г., — у Шевырева вытянулось лицо, и он не показывался эту неделю в обществах. В синклите Хомякова, Киреевских, Павлова, если заводят об этом речи, то с пеною у рта и ругательствами. . . Ужасно вопиет Киреевский: ругает Белинского словами, приводящими в трепет всякого православного, и спрашивает Грановского: „Неужели вы не постыдитесь подать Белинскому руку?" А Грановский имел бесстыдство ответить: „Не только не постыжусь подать руку, а хоть даже и на площади перед всеми обниму его"».

«Педантом» открылась непримиримая борьба Белинского с представителями «официальной народности» и славянофилами. Разногласия во мнениях между Шевыревым и Погодиным, с одной стороны, и Хомяковым, братьями Киреевскими, К. Аксаковым, с другой — не помешали всем им соединиться в борьбе против Белинского и «Отечественных записок».

Вскоре же Белинскому пришлось выступить против К. Аксакова, в недавнем прошлом его друга, участника кружка Станкевича, а теперь одного из представителей славянофильства. Поводом для ожесточенной полемики явился вышедший в 1842 г. первый том «Мертвых душ» Гоголя.

Великое творение Гоголя было встречено в журналистике хором разноголосых суждений. Наиболее яростными врагами «Мертвых душ» выступили Булгарин, Сенковский и Полевой. Гоголя обвиняли в том, что

он клевещет на Россию, что в «Мертвых душах» нет ничего, кроме карикатур, что Гоголь изобразил «особый мир негодяев, который никогда не существовал и не мог существовать». Реакционная журналистика в один голос кричала о том, что Гоголь грязен, неприличен, что он не умеет даже грамотно писать. В качестве защитников Гоголя и апологетов «Мертвых душ» явился сначала К. Аксаков, а затем Шевырев.

К. Аксаков выпустил специальную брошюру, посвященную критическому разбору «Мертвых душ». Ставя Гоголя наряду с Гомером и Шекспиром, Аксаков восхищался «величавым», спокойным изображением у Гоголя русской жизни. К. Аксаков договаривался до того, что считал, будто даже на Манилова читатель смотрит «без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием». Основная тенденция аксаковского разбора «Мертвых душ» состояла в том, что великое творение Гоголя истолковывалось не как критика российской действительности, а как утверждение и возвеличение этой действительности. Несколько иначе подошел к «Мертвым душам» Шевырев, который не счел возможным вовсе отрицать их критическую, обличительную направленность. Шевырев писал, что в «Мертвых душах» мы видим «одну отрицательную, смешную сторону, полобхвата, а не весь обхват русского мира». Шевырев все свои надежды возлагал на вторую часть «Мертвых душ», где Гоголем были обещаны положительные картины русской жизни.

Несмотря на различия в подходе к «Мертвым душам» К. Аксакова и Шевырева, оба они стремились смягчить уничтожающую критику российской действительности, которая давалась в «Мертвых душах». Напротив, Белинскому был ясен объективно-революционный смысл великого творения Гоголя. В обличительном пафосе «Мертвых душ» Белинский увидел огромную силу патриотизма.

«Мертвые души» — это «творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью к плодовитому зерну русской жизни».

Со времени выхода в свет первого тома «Мертвых душ» в мае 1842 г. и до конца этого же года Белинский опубликовал в «Отечественных Записках» четыре статьи о Гоголе. Первая из этих статей была посвящена общей оценке «Мертвых душ», в специальной статье Белинский дал уничтожающий разбор критического фельетона Сенковского о «Мертвых душах»; наконец, две статьи были посвящены полемике с К. Аксаковым, который отвечал Белинскому на страницах «Москвитянина».

В заключительной статье против К. Аксакова «Объяснение на объяснение» Белинский подвел итоги той идейной борьбы, которая шла в течение второй половины 1842 г. в связи с «Мертвыми душами».

В своих статьях о «Мертвых душах» Белинский обосновывал и развивал революционное истолкование творчества Гоголя. Главными врагами Белинского являлись, однако, не Полевой и не Сенковский, считавшие Гоголя «грязным» писателем, а К. Аксаков и Шевырев. Белинский учитывал, что, во-первых, сам автор «Мертвых душ» был идейно связан с группой «Москвитянина»; во-вторых, ясно было ему и то, что «друзья» Гоголя были несравненно опаснее его врагов, поскольку реакционные основы славянофильской критики были глубже критики Полевого и Сенковского.

Борьба Белинского против славянофильской оценки творчества автора «Мертвых душ» была борьбой за подлинного Гоголя, гениального художника, обличителя феодально-крепостнического строя, вскрывшего исто-

рическое несоответствие между великими возможностями русского народа и общественно-политическими отношениями, основанными на рабстве и абсолютистской тирании.

«Пафос поэмы, — писал Белинский о «Мертвых душах», — состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения».

В противовес Белинскому славянофилы считали, что «субстанциальное начало», т. е. возможности русской жизни, уже раскрыты всем ходом русской истории и выражены в исторически сложившихся общественных формах. Это их положение вызывало резкую критику Белинского. Он бичевал и преследовал славянофилов со всей страстью, какая была ему свойственна.

Борьба вспыхнула с особым ожесточением, когда в Москве по рукам были распространены стихотворные пасквили Языкова, направленные против Белинского, Грановского, Герцена и Чаадаева («К не нашим», «Послание к К. Аксакову», «Послание к П. Я. Чаадаеву»). Появление этих пасквилей по времени совпало с опубликованием статьи Белинского «Русская литература в 1844 году», посвященной развенчанию славянофильской поэзии. И хотя не все славянофилы сочувственно отнеслись к языковским пасквилям, носившим явно «доносительный» характер, отношения между сторонниками Белинского и славянофилами приняли исключительно острые формы: дело чуть не дошло до дуэли между Грановским и П. Киреевским; Герцен и К. Аксаков прекратили всякие личные отношения. Белинский ответил статьей о «Тарантасе» графа Соллогуба, где дал убийственный памфлет на одного из лидеров славянофильства — И. В. Киреевского. И позднее — в статьях «Петербург и Москва» и «Русская литература в 1845 году» — Белинский, с замечательным искусством обходя цензуру, продолжал дело разоблачения ненавистной ему славянофильской идеологии.

В своих статьях Белинский подчеркивал и раскрывал помещичье-дворянскую сущность славянофильства. Славянофилы мечтали о «желто-сафьянной эпохе» потому, писал Белинский, что «желто-сафьянные сапоги доказывали, по славянскому обычаю, дворянское достоинство». В глазах Белинского славянофилы, являвшиеся защитниками дворянских привилегий, были враждебны народу и все их слова о народе, все стремления подделаться под народность и национальность носили демагогический характер.

Белинский доказывал, что подлинно национальным интересам русской жизни, интересам большинства угнетенного народа отвечало не славянофильство, а борьба с крепостнической действительностью и ее беспощадное отрицание. Только эта борьба и могла, по мысли Белинского, обеспечить национальную самобытность русской культуры и развитие творческих сил народа. Белинский боролся за национальное значение Гоголя именно потому, что в обличительной, бичующей силе творчества автора «Мертвых душ» он видел один из могучих факторов роста национальной культуры в России.

Жизнь подтвердила чаяния и прогнозы Белинского. Через несколько лет после выхода в свет первого тома «Мертвых душ» Белинский мог наблюдать реальные плоды своей борьбы за Гоголя. Гоголевское направление, разъясненное и истолкованное Белинским, теоретически расширенное и углубленное им, сделалось столбовой дорогой русской литературы 1840-х годов. В русле гоголевского обличительного направления

выросла целая плеяда писателей, вступавших в литературу в 1840-х годах. Некрасов, Герцен, Тургенев, Григорович, несколько позднее Гончаров и другие отправлялись одновременно и от начал гоголевского реализма и от проповеди Белинского. Отражая изменения общественных отношений в стране, русская литература 1840-х годов пошла по пути демократизации своей тематики, по пути все большего приближения к нуждам и потребностям общества.

Так выросла и оформилась новая литературная школа, родоначальником которой был Гоголь, а теоретиком и организатором Белинский.

В 1845 г. под редакцией Некрасова был издан в двух частях литературный сборник «Физиология Петербурга». В сборнике участвовали: Некрасов (очерк «Петербургские углы», стихотворение «Чиновник»), Белинский (вступление к сборнику, статья «Петербург и Москва»), В. И. Даль-Луганский («Петербургский дворник»), Григорович («Петербургские шарманщики»), Гребенка («Петербургская сторона») и другие. Статье Белинского, опубликованной в качестве вступления к сборнику, суждено было сыграть роль подлинного манифеста новой литературной школы. Изучение действительности, воспитание «верного взгляда на вещи», сознательная критика существующих общественных отношений — таковы важнейшие пункты в развернутой Белинским программе новой школы. Обсуждая «Физиологию Петербурга», журналисты и критики полным голосом заговорили о гоголевской школе, заговорил о новой школе и сам Белинский. Как раз в то время, когда шли споры о «Физиологии Петербурга». Белинский писал: «„Мертвые души", заслонившие собою все написанное до них даже самим Гоголем, окончательно решили литературный вопрос нашей эпохи, упрочив торжество новой школы». И еще: «С Гоголя начинается новый период русской литературы, которая, в лице этого гениального писателя, обратилась преимущественно к изображению русского общества».

Тотчас же после выхода «Физиологии Петербурга» Булгарин в «Северной пчеле», продолжая давно начатое им глумление над Гоголем, развернул настоящую травлю новой литературной школы. Против новой школы и Белинского, как ее вдохновителя, восстали и славянофилы в лице К. Аксакова. В полемике по поводу «Физиологии Петербурга», защищая новую школу от нападений врагов, Белинский с замечательной ясностью сформулировал основополагающее для ее направления требование художественно изображать человека низших социальных слоев со всем богатством его внутренней жизни. Белинский звал русских писателей изучать и изображать не «исключительных» героев, а обыкновенных людей. Вот почему «Чиновника» Некрасова он противопоставил героям Марлинского и заявил, что «эта пьеса — одно из лучших произведений русской литературы 1845 года».

В изображении обыкновенного человека Белинский видел не только развенчание и разоблачение всякого рода идеализации существующих общественных отношений, но и более глубокую сторону. Обыкновенные люди противостояли для него «всем возможным Наполеонам» и героям «наглой силы»; именно обыкновенных людей Белинский считал подлинными строителями жизни и творцами истории. Предостерегая от увлечения «одним огромным — оно часто только чудовищно, а не велико», Белинский видел «благороднейшую миссию поэта» в том, что «ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы, так же, как ему же принадлежит по праву преследование ложных и неразумных основ общественности, искажающей человека...». Так борьба за новую школу была для Белинского вместе с тем и борьбой за переустройство

общества, за социалистические идеалы. «Благородно, велико и свято призвание поэта, который хочет быть провозвестником братства людей!». Эти слова Белинского могли бы быть взяты лозунгом борьбы, которую он развернул за натуральную школу.

Вслед за «Физиологией Петербурга» крупнейшим событием в развитии новой литературной школы явился «Петербургский сборник», вышедший в свет в самом начале 1846 г. и тоже изданный Некрасовым. Извещая о выходе сборника, Булгарин подчеркнул его преемственность с «Физиологией Петербурга» и, в целях унижения новой литературной школы, впервые презрительно назвал ее «натуральной» («Северная пчела», 1846, № 22 от 26 января). Бранную кличку, пущенную в оборот Булгариным, тотчас же подхватил Белинский и превратил ее в боевой лозунг передовых писателей, которые продолжали и развивали гоголевские традиции. Так вошло в русскую критику название новой школы, имевшее хождение в течение 1846 и 1847 гг.[1]

Центральным произведением «Петербургского сборника» был первый роман Достоевского «Бедные люди», вслед за которым вскоре же на страницах «Отечественных записок» (1846, № 2) появился «Двойник» Достоевского. Белинский приветствовал «Бедных людей» и восхищался «трагическим элементом», глубоко проникавшим весь роман. Но вот по поводу «Двойника» Белинский уже заколебался в оценке Достоевского и вскоре же осудил антисоциальную и патологическую фантастику этого романа. Причины колебаний Белинского по отношению к Достоевскому, которые очень скоро привели к расхождению с ним, а затем и разрыву, состояли в том, что идейное развитие Белинского шло по линии все возрастающей критики идеализма и утопизма, по линии все большего и большего приближения к материалистическим позициям. Белинский обосновывал и развивал дальше в демократическом направлении завоеванное Гоголем социальное понимание человека. Напротив, Достоевский, наметив уже в «Бедных людях» поворот от социальных проблем к психологическим, в последующих произведениях углубил ревизию гоголевских традиций («Двойник», «Господин Прохарчин») и в конце концов порвал с ними («Хозяйка»).

Появление в литературе «Бедных людей» и «Двойника» ставило перед критикой и общественной мыслью не только вопрос о перспективах развития натуральной школы, но и вопрос о сущности гоголевского творчества. К вопросу о Гоголе, казалось бы уже решенному, необходимо было возвращаться снова хотя бы потому, что в критике раздавались голоса об односторонности гоголевского направления. К вопросу о Гоголе постоянно и возвращался Белинский. В статье о «Петербургском сборнике», характеризуя поэзию Пушкина как «поэзию, избирающую своим предметом положительно-прекрасные явления жизни», Белинский отмечал, что художественная сила Гоголя состоит в его юморе. Белинский утверждал, что именно посредством юмора Гоголь «служит всему высокому и прекрасному, даже не упоминая о них, но только верно воспроизводя явления жизни, по их сущности противоположные высокому и прекрасному, — другими словами: путем отрицания достигая той же самой цели, только иногда еще вернее, которой достигает и поэт, избравший предметом своих творений исключительно идеальную сторону жизни».

---

[1] После революционных событий во Франции в 1848 г. употребление названия «натуральная школа» надолго стало невозможным по цензурным условиям. В первой статье своего «Взгляда на русскую литературу 1847 года» Белинский еще пользовался этим названием, но во второй статье того же «Взгляда» названия «натуральная школа» мы уже не встречаем.

Враги натуральной школы различных идеологических направлений обвиняли ее в том, что она, изображая только отрицательные стороны жизни, будто бы клевещет на действительность. Писателей натуральной школы упрекали в том, что они ограничиваются исключительно отрицательными типами и не рисуют положительных. Белинский же заслугу новой литературной школы видел именно в ее «отрицательном» направлении, а изображение положительных типов считал невозможным по самому состоянию тогдашнего общества, которое уродовало человека и искажало в нем все человеческое. Совершенствование и улучшение человека, с точки зрения Белинского, могло быть достигнуто только преобразованием античеловеческой общественной среды, т. е. борьбой с тем строем, который поддерживал ее существование. Самую высокую и благородную задачу литературы Белинский видел в том, чтобы обличать отрицательные стороны жизни, критиковать общественные порядки и тем самым содействовать освободительной борьбе. В этом полагал Белинский силу и народность гоголевского творчества, а также тайну того успеха, который все больше и больше приобретала натуральная школа.

Несокрушимая последовательность мысли Белинского, вызывавшая ненависть в стане его врагов, привела также и к расколу среди сторонников Белинского. Не все, подобно Герцену, понимали, что Белинский был «в мире боец», не все, подобно Герцену, до конца пошли с Белинским и за Белинским. К 1847 г. идейно разошелся с Белинским один из ближайших его друзей — В. П. Боткин. Вскоре после разрыва Белинского с «Отечественными записками» Боткин писал Краевскому: «Скажу вам по секрету — я считаю литературное поприще Белинского поконченным. Он сделал свое дело. Теперь нужно и больше такта и больше знаний. Еще о русской литературе он может говорить... а чуть немножко выходит из нее, из рук вон плохо».

6. Историко-литературные взгляды Белинского. Статьи о Пушкине

В начале 1840-х годов Белинский задумал написать большой «Теоретический и критический курс русской литературы». Книги Белинскому создать не удалось, хотя частично его замысел и был осуществлен. Специально для курса была написана статья «Разделение поэзии на роды и виды», ряд статей о русской народной поэзии, статьи «Идея искусства», «Общее значение слова литература» и другие. Несомненно, что в этот труд в той или иной форме вошли бы также одиннадцать статей о Пушкине 1843—1846 гг., вслед за которыми должны были следовать статьи о Гоголе и Лермонтове, неоднократно обещанные Белинским читателям «Отечественных записок», но так и не написанные им.

Подготавливаясь к созданию большого труда, Белинский внимательно и глубоко исследовал русскую и мировую литературу, занимаясь в то же время эстетикой Гегеля, которую он перерабатывал на базе революционной диалектики и материализма. Коренной пункт расхождения Белинского с Гегелем в вопросах эстетики заключался в том, что Белинский решительно отверг гегелевскую теорию отмирания искусства. Исходя из этого большой важности положения, Белинский совершенно заново и самостоятельно занялся обоснованием связи эстетических проблем с историческим развитием.

Если в «Литературных мечтаниях» Белинский отрицал русскую литературу, то через восемь лет, к 1842—1843 гг., он окончательно утвердился в прямо противоположных выводах. Он не только признал историческую

закономерность в развитии русской литературы, но и раскрыл эту закономерность в своих статьях о Пушкине 1843—1846 гг. В этих статьях характеристике творчества Пушкина Белинский предпослал историю всей русской поэзии, начиная с эпохи Петра I. В первой же статье о Пушкине он заявил, что «писать о Пушкине — значит писать о целой русской литературе, ибо как прежние писатели русские объясняют Пушкина, так Пушкин объясняет последовавших за ним писателей».

Статьи о Пушкине 1843—1846 гг. (вместе с примыкающими к ним статьями о Державине) являются систематическим изложением историко-литературной концепции Белинского, которая дорабатывалась и завершалась в процессе борьбы с славянофилами. Понимание прошлого русской литературы находится у Белинского в прямой и непосредственной связи с его пониманием исторического развития всей русской культуры, с его трактовкой проблемы взаимоотношений России и Запада.

В противоположность направлению славянофилов, идеализировавших патриархальные отношения допетровской Руси, Белинский придавал огромное значение реформам Петра I. Он считал, что именно Петр I «открыл окно в Европу».

Белинский полагал, что, поскольку «искусство, со стороны своего содержания, есть выражение исторической жизни народа», постольку и история русской литературы связана с теми же путями, которыми шла вся цивилизация России.

История русской литературы допушкинского времени, по Белинскому, заключается в том, что постепенно растут и складываются самобытные народные элементы, которые начинают регулировать характер подражаний и бороться с готовыми заимствованными формами. В этом сложном диалектическом процессе борьбы национального содержания с европейскими формами создается и национальная форма. Создание национальной художественной формы и есть начало национального искусства, начало подлинной истории литературы.

Белинский подробно прослеживает весь ход русского литературного развития, начиная от Ломоносова — «основателя и отца русской литературы и поэзии». Он тщательно выясняет, как наша литература, начав свой путь с усвоения готовых европейских образцов, «форм без жизни», постепенно вырабатывала в себе национальные элементы, стремилась «отрешиться от результатов искусственной пересадки, взять корни в новой почве и укрепиться ее питательными соками».

Это стремление к национально-самобытной русской поэзии Белинский видел в творчестве Державина. Отмечая реалистические элементы у Державина, Белинский указывал, однако, что в эпоху Державина для национальной поэзии не были еще готовы «ни русское общество, ни русский язык, ни образование самого поэта».

Вследствие этого «поэзия Державина была преждевременною, а потому и неудавшеюся попыткой на народную поэзию».

Россия в своей национальной жизни не проходила эпохи сентиментализма. И тем не менее сентиментальное направление было необходимо для развития русской литературы.

Это направление выразил в своем творчестве Карамзин.

По мысли Белинского, Жуковский «своею поэзией восполнил в русской жизни недостаток исторических средних веков, и благодаря ему для русского общества стала не только доступна, но и родственна и романтическая поэзия средних веков и романтическая поэзия начала XIX века». Белинский разумеется, прекрасно понимал, что для 1840-х годов культ средневекового романтизма был реакционным явлением. Он подчерки-

вал, что «романтизм средних веков, разумеется, не годится для нашего времени; но в свое время, — продолжал далее критик, — он был истиною. Был и в истории русской литературы и русского общества момент, когда для них романтизм средних веков был необходимым элементом жизни, живым семенем, которым должна была оплодотвориться почва русской поэзии». Белинский называл Жуковского «одним из знаменитейших» деятелей карамзинского периода русской литературы и непосредственным предшественником Пушкина: «И если мы в поэзии Пушкина найдем больше глубокого, разумного и определенного содержания, больше зрелости и мужественности мысли, чем в поэзии Жуковского, — это потому, что Пушкин имел своим предшественником Жуковского».

Другим замечательным поэтом, творчество которого непосредственно вело к Пушкину, Белинский считал Батюшкова. «Что Жуковский сделал для содержания русской поэзии, — утверждал Белинский, — то Батюшков сделал для ее формы: первый вдохнул в нее душу живу, второй дал ей красоту идеальной формы».

Развитие русской поэзии допушкинского периода Белинский мыслит как сложный и противоречивый процесс, связанный с ходом истории всего русского общества. Вся русская поэзия, начиная от Ломоносова, подготовляла почву для появления Пушкина. Но Пушкин не явился только итогом всего предшествующего развития поэзии: Пушкин знаменовал собою новое качество — своим творчеством он начинал новую эпоху.

Белинский характеризовал Пушкина как «поэта формы», «поэта-художника» и полагал, что «его назначение было завоевать, усвоить навсегда русской земле поэзию, как искусство, так, чтобы русская поэзия имела потом возможность быть выражением всякого направления, всякого содержания, не боясь перестать быть поэзией и перейти в рифмованную прозу». Эта оценка Белинского, породившая немало недоразумений и споров, отнюдь не означала сужения или обеднения пушкинского творчества.

Белинский утверждал, что источник пушкинской поэзии «заключается уже не в одном безотчетном стремлении к поэзии, но в том, что почвою поэзии Пушкина была живая действительность и всегда плодотворная идея». Появление Пушкина Белинский непосредственно связывал с пробуждением национального сознания в России и особое свое внимание обращал на эпоху 1812 г. О декабризме в подцензурной печати 1840-х годов невозможно было упоминать, но Белинский, конечно, не мог не иметь в виду деятелей декабристского движения, когда он говорил об общественном движении, вызванном событиями 1812 г.

Белинский подчеркивал дворянский характер творчества Пушкина, постоянно указывал на свое расхождение с мировоззрением Пушкина и с его общественно-политическими взглядами, но в то же время видел и с замечательной глубиной оценил объективную важность творчества величайшего русского поэта. Белинский полагал, что «непосредственно творческий элемент в Пушкине был несравненно сильнее мыслительного, сознательного элемента, так что ошибка последнего, как бы без ведома поэта, поправлялись первым, и внутренняя логика, разумность глубокого поэтического созерцания сама собою торжествовала над неправильностью рефлексий поэта».

Ценя Пушкина за то, что муза его «умеет глубоко страдать от диссонансов и противоречий жизни», Белинский расходился с Пушкиным, поскольку в его поэзии нельзя было найти выхода из этих «противоречий» и «диссонансов». Для Белинского как просветителя было неприемлемо,

что Пушкин не разрешал трагических конфликтов, которые он открыл в жизни и воплотил в своей поэзии.

Белинский утверждал, что Пушкин не носит в душе своей идеала лучшей действительности и веры в возможность его осуществления, что поэзия Пушкина не имеет в себе «глубокой, всеобъемлющей и гуманной» субъективности, что, наконец, «время опередило поэзию Пушкина». Из этих суждений с необходимостью следовал вывод, что творчество Пушкина, очевидно, отошло в прошлое вместе с породившим его временем. Однако Белинский не только не сделал такого вывода, но, напротив, показывал, что Пушкин одержал победу над временем вообще. Вопреки своим утверждениям «о недостатках» поэзии Пушкина, о «созерцательности» всего его творчества, Белинский выдвинул положение о гуманизме как о важнейшем отличительном качестве пушкинского реализма. С гениальной прозорливостью Белинский увидел в Пушкине предвестника новой жизни, таких отношений между людьми, которые невозможны были в обществе, основанном на угнетении человека человеком.

В своем разборе лирики Пушкина Белинский широко использовал статью Гоголя «Несколько слов о Пушкине». В этой статье Гоголь, между прочим, сказал, что Пушкин — «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Мысль Белинского шла в том же направлении.

Белинский подчеркивал, что поэзия Пушкина глубоко реалистична и в то же время она проникнута величайшей гуманностью. Именно поэтому Пушкин и одержал победу над временем, именно поэтому и велика его роль в строительстве новой жизни, в воспитании будущего человека. «Поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеального; она вся проникнута насквозь действительностью; она не кладет на лицо земли белил и румян, но показывает ее в ее естественной, истинной красоте... Поэтому поэзия Пушкина не опасна юношеству, как поэтическая ложь, разгорячающая воображение, — ложь, которая ставит человека во враждебное отношение с действительностью...».

Вслед за анализом пушкинской лирики Белинский в своих статьях о Пушкине дал подробный разбор «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана», «Братьев-разбойников» (статья шестая), «Цыган», «Полтавы», «Графа Нулина» (статья седьмая). Особенно много внимания Белинский уделил «Евгению Онегину» (статьи восьмая и девятая) и «Борису Годунову» (статья десятая) как вершинам творческих достижений Пушкина. Рассматривал Белинский также и «Медного всадника», «Галуба» (как тогда называлась поэма о Тазите), «Египетские ночи», «Сцену из Фауста», маленькие трагедии, пушкинские сказки, его прозу и, наконец, журнальные статьи (статья одиннадцатая и последняя).

В статьях о Пушкине Белинский впервые в русской критике дал широкую и подробную картину поэтической эволюции Пушкина. Белинский впервые отчетливо установил внутреннюю связь «Кавказского пленника», «Цыган» и «Евгения Онегина». Белинскому принадлежит важное наблюдение, что герой «Кавказского пленника» представлен и в последующих поэтических произведениях Пушкина, но уже не таким: он изменяется, как доказывал Белинский, вместе с ростом общественного сознания. Белинский отмечал, что «следя за ним, вы беспрестанно застаете его в новом моменте развития и видите, что оно (это лицо) движется, идет вперед, делается сознательнее и потому интереснее для вас».

Сила пушкинского реализма, по Белинскому, состояла в том, что

в противоречиях общественной борьбы поэт сумел найти и выделить типические черты героев своего времени и воплотить их в художественные образы. «Но не Пушкин родил или выдумал их, — подчеркивает Белинский, — он только первый указал на них, потому что они уже начали показываться еще до него, а при нем их было уже много. Они — не случайное, но необходимое, хотя и печальное явление. Почва этих жалких пустоцветов — не поэзия Пушкина, или чья бы то ни было, но общество». «Герои» времени Пушкина, на которых он впервые указал и которых воплотил в своем творчестве, — это люди, выросшие на почве крепостнического строя. Таков герой «Кавказского пленника», таков Алеко в «Цыганах», таков, наконец, «Евгений Онегин».

«Евгения Онегина» Белинский назвал «энциклопедией русской жизни» и «в высшей степени народным произведением». «Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова „Горе от ума", — писал Белинский, — стихотворный роман Пушкина положил прочное основание русской поэзии, новой русской литературы». Народность «Онегина» Белинский видел не только в отдельных образах и картинах, но и в самой теме произведения, в значении этой темы для исторических путей русского народа, для путей освободительного движения.

Еще в статье «Русская литература в 1840 году» Белинский определил пушкинский роман замечательной формулой: «В нем жизнь является в противоречии с самим собою, лишенною всякой субстанциальной силы... Весь этот роман — поэма несбывающихся надежд, недостигающих стремлений...». Раскрытию этой формулы в сущности и посвящены восьмая и девятая статьи Белинского о Пушкине. Онегин — это дворянский герой, человек, воспитанный крепостническим строем. Всем ходом своих рассуждений, искусно обходя цензуру, Белинский давал своему читателю понять, что, открыв Онегина в русской действительности, Пушкин первым начал критику этой действительности и подготовил ее революционное отрицание.

Белинский развенчивал Онегина, продолжая тенденции самого Пушкина, но считал, что Пушкин в отношении к своему герою не совсем последователен. «Везде видите вы в нем [в Пушкине] человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и любование... Это было причиною, что в „Онегине" многое устарело теперь. Но без этого, может быть и не вышло бы из „Онегина" такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся». И дальше Белинский писал, что самые недостатки Пушкина являются в то же время и его величайшими достоинствами. «И вот в каком смысле сказали мы, что самые недостатки Онегина суть в то же время и его величайшие достоинства: эти недостатки можно выразить одним словом — „старо"; но разве вина поэта, что в России все движется так быстро? — и разве это не великая заслуга со стороны поэта, что он так верно умел схватить действительность известного мгновения в жизни общества? Если б в Онегине ничего не казалось теперь устаревшим или отсталым от нашего времени, — это было бы явным признаком, что в этой поэме нет истины, что в ней изображено не действительно суще-

ствовавшее, а воображаемое общество; в такое случае, что ж бы это была за поэма и стоило ли бы говорить о ней?».

Следовательно, по мысли Белинского, «принцип класса» у Пушкина является таким недостатком, который не снимает достоинств «Евгения Онегина». Говоря о «принципе класса», Белинский в то же время говорит и о гуманности Пушкина, т. е. о тех качествах пушкинского реализма, которые сохраняют свое значение и для будущего.

В своем разборе «Евгения Онегина» Белинский раскрыл «отношение поэмы к обществу, которое она изображает». Он показал, что тема «Евгения Онегина» была взята Пушкиным из самой жизни и что для русского общества это была основная тема.

Наряду с «Евгением Онегиным», к величайшим творческим достижениям Пушкина Белинский всегда относил и «Бориса Годунова». Белинский усматривал зависимость Пушкина в «Борисе Годунове» от Карамзина, считал это большим недостатком, но в то же время утверждал, что в «Борисе Годунове» Пушкин «дал нам истинный и гениальный образец народной драмы». Критикуя Пушкина за историческую концепцию, положенную в основу его трагедии, Белинский одновременно показывал громадную реалистическую силу Пушкина. Особенности подхода Белинского к «Борису Годунову» связаны с его общим взглядом о расхождении субъективных тенденций Пушкина с объективным значением его творчества.

Для Белинского было неприемлемо, что у Пушкина социальная трагедия Годунова дана через моральную трагедию, между тем как, с точки зрения Белинского, следовало рассматривать историческую судьбу Годунова исключительно как трагедию социальную.

В десятой статье о Пушкине Белинский дал замечательный анализ образа Годунова. Царь и боярство были оторваны от коренных интересов народа, говорил Белинский; возвышение и падение Годунова «ничего не значили для будущих судеб русского народа». Народ был еще задавлен, забит, но он и тогда был «непогрешительно-истинен и прав в своих инстинктах». Он не верил Годунову, который из интригана стал тираном, он отвернулся и от «удалого пройдохи» — Дмитрия Самозванца.

Вопреки своим указаниям на «недостатки» Пушкина и на «рабскую зависимость» его от Карамзина, Белинский превосходно раскрыл сущность пушкинской трагедии именно как трагедии народной. В заключение своей статьи он цитировал знаменитый конец пушкинской трагедии и говорил, что «в этом безмолвии народа слышен страшный трагический голос новой Немезиды».

Белинский расходился с Пушкиным и критиковал Пушкина в соответствии с теми задачами борьбы с крепостническим строем, которые стояли перед Белинским. Несмотря на то, что не все произведения Пушкина в 1840-е годы были созвучны идеологии революционной демократии, Белинский принимал Пушкина. Этим было обусловлено также и то, что Белинский не ограничился объяснением и оценкой творчества Пушкина в его связях с прошлым русской литературы. Белинский видел Пушкина и в перспективах будущего. Он видел и понимал неумирающую ценность пушкинского наследия для будущих поколений. И в этом одна из наиболее замечательных сторон в отношении Белинского к Пушкину.

«К особенным свойствам его поэзии, — писал Белинский, — принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоин-

ству человека». Белинский предсказывал то время, когда Пушкин «будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство».

Многократно возвращался Белинский в своих годовых литературных обзорах и многих других критических работах к творчеству Гоголя и Лермонтова. Белинский постоянно и настойчиво говорил о том, что творчество Гоголя и Лермонтова исторически было подготовлено Пушкиным. В 1844 г., в восьмой статье о Пушкине, он отмечал, что «Евгений Онегин» Пушкина и «Горе от ума» Грибоедова «были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь».

Гоголь для Белинского был «первым писателем современной России», с него Белинский начинал новый период литературного развития. За автора «Ревизора» и «Мертвых душ» Белинский боролся не только в общественно-политическом плане (о чем было сказано выше), но одновременно раскрывал и его литературное новаторство.

Белинский в ряде статей развивал мысль, что юмор определяет главные особенности гоголевского творчества. Сущность этого юмора, с точки зрения Белинского, заключалась в «противоположности созерцания истинной жизни, в противоположности идеала жизни — с действительностью жизни. И потому его [Гоголя] юмор смешит уже только простаков или детей; люди, заглянувшие в глубь жизни, смотрят на его картины с грустным раздумьем, с тяжкою тоскою... Из-за этих чудовищных и безобразных лиц им видятся другие, благообразные лики: эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что бы должно быть...».

Понятие гоголевского юмора для Белинского неотделимо от «субъективного созерцания жизни», от отрицания «грязной действительности». Гоголевский юмор, открывший русской литературе новые пути, неизбежно должен был окончательно положить конец ходульной выспренности романтиков типа Н. Полевого и Марлинского, а также сатирическому дидактизму нравоописательных романов Булгарина и его последователей. «Гоголь убил два ложные направления в русской литературе: натянутый, на ходулях стоящий идеализм, махающий мечом картонным, подобно разрумяненному актеру, и потом — сатирический дидактизм».

Сила гоголевского юмора, по мнению Белинского, заключалась в его всеобъемлющей и глубокой реалистичности, между тем как «сатирики» булгаринского толка «брали человека, не обращая внимания на его воспитание, на его отношения к обществу, и тормошили на досуге это созданное их воображением чучело». С другой стороны, романтическое направление было убито Гоголем потому, что романтизм сделался предметом гоголевского юмора, стал смешным.

Понятие гоголевского юмора раскрывалось Белинским как понятие социальной сатиры, глубоко реалистической и потому народной. Но народность, как подлинная основа гоголевского творчества, согласно взглядам Белинского, была унаследована автором «Ревизора» и «Мертвых душ» от Пушкина. «Главное влияние Пушкина на Гоголя, — писал Белинский, — заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, „состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа". Статья Гоголя „Несколько слов о Пушкине" лучше всяких рассуждений показывает, в чем состояло влияние на него Пушкина».

Устанавливая преемственность между Гоголем и Пушкиным, Белин-

ский говорил также о преемственности между Пушкиным и Лермонтовым. Белинский утверждал, что «нет двух поэтов, столь существенно отличных, как Пушкин и Лермонтов», но в то же время показывал, какие стороны пушкинского творчества Лермонтов продолжил. При характеристике исторического соотношения Лермонтова с Пушкиным Белинский постоянно и с большой настойчивостью выделял те произведения Пушкина, в которых великий поэт вплотную подошел к «духу нового времени», и как бы предсказал его. Пушкинские «Сцена из Фауста» и «Демон» — вот произведения, в которых Белинский видел предвестие новой поэзии, проникнутой пафосом отрицания и борьбы.

Белинский постоянно отмечал, что Лермонтов явился продолжателем дела Пушкина и в «Герое нашего времени». Образы Онегина и Печорина рассматривались Белинским как этапы растущего самосознания русского общества на пути к освобождению от всяческого порабощения человеческой личности.

Белинский несокрушимо верил, что русский народ полностью развернет свой гений после того, как будет уничтожен строй, основанный на эксплоатации и порабощении человеческой личности. Согласно взглядам Белинского, критический реализм Гоголя и натуральной школы, содействуя разрушению крепостнического строя, открывал путь будущей литературе, призванной выразить положительное содержание русской жизни и, следовательно, долженствующей сделаться литературой мирового значения. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский писал, что «привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям, или их последователям, когда придет время, верно изображать и положительные явления жизни, не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их реторически».

7. Последние годы жизни. Белинский в «Современнике» (1847 — 1848)

Весной 1846 г. Белинский ушел из «Отечественных записок». Краевский не умел ценить главного своего сотрудника, который обеспечил успех журналу. На Белинского была возложена огромная работа по критическому отделу. Помимо руководящих критических статей, Белинскому приходилось убивать время на рецензирование всякого литературного хлама вплоть до сонников и гадательных книжек. Краевский беззастенчиво эксплоатировал неопытного в житейских делах критика, не давая ему даже удовлетворительного материального обеспечения. В иные годы Белинский печатал в «Отечественных записках» до трехсот статей, заметок, рецензий.

Сотрудничество в «Отечественных записках» расшатало и без того слабое здоровье Белинского, а материального обеспечения, которое он получал от Краевского, нехватало на жизнь. Со своим положением «чернорабочего» в журнале Белинский не мог мириться еще и потому, что к середине 1840-х годов колоссально выросло общественное значение всей его деятельности. Хотя Белинский и не подписывал своих статей в «Отечественных записках», имя его было известно всей передовой и мыслящей России. «Я просто изумлен тем, как имя мое везде известно, — признавался Белинский Герцену, — и в каком оно почете у российской публики: этого мне и во сне не снилось». К середине 1840-х годов Белинский стал организатором и вождем русской литературы, теоретиком и вдохновителем новой «натуральной» школы.

Разрыв Белинского с Краевским неизбежно ставил вопрос о журнале, который соответствовал бы положению Белинского и который объединил бы всю передовую литературу. Сборники, изданные в 1845—1846 гг. («Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник»), подготовляли некрасовский «Современник». Оставив «Отечественные записки) и ободренный друзьями, Белинский предполагал выступить с изданием альманаха «Левиафан». В этом альманахе должны были принять участие виднейшие представители передовой литературы и науки. Альманах предполагался к выпуску осенью 1846 г., и Белинский деятельно стал собирать для него материал. Обеспечено было сотрудничество в альманахе Герцена, Некрасова, Достоевского и других.

В пору подготовки альманаха было издано первое посмертное собрание сочинений Кольцова, которое Белинский снабдил обширной вступительной статьей. Поэзию Кольцова Белинский высоко оценил еще в 1835 г.; теперь он снова возвращался к Кольцову, характеризуя его дарование как гениальный талант. Белинский писал, что сфера Кольцова— это русская народная песня, поднятая на высшую ступень развития, это поэзия русского крестьянского быта. «Поэзию этого быта нашел он [Кольцов] в самом этом быте, а не в реторике, не в пиитике, не в мечте, даже не в фантазии своей... И потому в его песни смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые онучи, — и вся эта грязь превратилась у него в чистое золото поэзии...» Поэзия Кольцова, как утверждал Белинский, отразила противоречия русской народной жизни и запечатлела лучшие черты своего народа — страшную силу и в страдании и в радости, силу, которую ничто и никогда не сломит, которая чужда ложным утешениям.

Порвав с Краевским, Белинский продолжал строить широкие планы предстоящей деятельности. Однако здоровье его, подорванное работой в «Отечественных записках», окончательно пошатнулось. Друзья не смогли организовать Белинскому поездки для лечения за границу, но они устроили ему путешествие по югу России. Знаменитый актер М. С. Щепкин, московский приятель Белинского, отправлялся на гастроли в Калугу, Харьков, Николаев, Херсон, Одессу, Крым. Вместе с Щепкиным отправился в поездку и Белинский. Поездка эта, продолжавшаяся с мая по октябрь 1846 г., отнюдь не способствовала улучшению здоровья Белинского. Он вернулся в Петербург еще более больным, чем уехал. Но поездка по югу России произвела на Белинского большое впечатление: ему пришлось воочию убедиться в том, какую популярность имело его имя в России. Белинский был растроган и даже подавлен теми знаками внимания, которые оказывали ему на юге его многочисленные почитатели.

Вернувшись в Петербург, Белинский узнал об организации нового журнала. Панаев и Некрасов приобрели у Плетнева пушкинский «Современник», влачивший тогда жалкое существование.

Внутриредакционные отношения в «Современнике» складывались очень сложно, но при всем том Белинский идейно возглавил журнал и стал его вдохновителем. Именно он создал те революционно-демократические традиции, преемниками которых были Чернышевский и Добролюбов.

Первая же книжка «Современника» за 1847 г. открылась программной статьей Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года». В течение 1847 и первой четверти 1848 гг. Белинский напечатал в «Современнике» несколько больших критических статей («Ответ „Москвитянину"», «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и др.), а также несколько десятков рецензий. В «Современник» Белинским передан был и весь ма-

териал, который он собрал для задуманного им альманаха «Левиафан».

«Повести у нас — объядение, роскошь, — писал Белинский Боткину в ноябре 1847 г., — ни один журнал никогда не был так блистателен в этом отношении». Еще при жизни Белинского на страницах «Современника» появился ряд выдающихся художественных произведений. Герцен напечатал в «Современнике» роман «Кто виноват?» и повесть «Из записок доктора Крупова»; Гончаров выступил в журнале с «Обыкновенной историей»; Тургенев напечатал рассказы из цикла «Записок охотника». Ко всем этим произведениям нужно присоединить повесть Григоровича «Антон-Горемыка» и повесть Дружинина «Полинька Сакс».

Новые замечательные явления в русской литературе и выдвижение новых писательских имен Белинский связывал с ростом общественного самосознания в России. Это и было осуществлением его заветных чаяний и надежд.

Тем резче и решительнее должен был реагировать Белинский на реакционную книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Эта книга, написанная величайшим русским писателем, была воспринята Белинским как сильный удар по освободительному движению.

Белинскому приходилось и раньше отмечать опасные симптомы в творчестве Гоголя. Еще в 1842 г., анализируя «Портрет», Белинский подчеркивал недостаточность у Гоголя «интеллектуального развития, основанного на неослабном преследовании современных идей». Он говорил об «умственном аскетизме» Гоголя — аскетизме, «который заставляет поэтов закрывать глаза на все в мире, кроме самого себя». Белинский, однако, не представлял себе, что предвещали все эти симптомы. Поэтому в своей рецензии на «Выбранные места», проникнутой гневом и чувством негодования, он бросал Гоголю обвинения в неискренности. В этом Белинский был неправ, но это совершенно понятно, поскольку ему приходилось многолетнюю борьбу за Гоголя, отрицателя феодально-крепостнической России, заканчивать борьбой с самим Гоголем, ставшим на путь защиты самодержавия и крепостничества.

Весной 1847 г. в состоянии здоровья Белинского произошло резкое ухудшение. По предписанию врачей он срочно должен был выехать за границу. В Зальцбрунне (на водах) Белинский получил письмо от Гоголя по поводу отрицательной оценки, которую критик дал «Выбранным местам из переписки с друзьями» в своей рецензии. Гоголь объяснил эту рецензию личными мотивами и пытался доказать Белинскому, что его отзыв о «Выбранных местах» продиктован, главным образом, самолюбием критика, якобы оскорбленного выпадами Гоголя против его истолкователей.

Белинский должен был рассеять это недоразумение, и он ответил Гоголю письмом, отправленным 15 июля 1847 г. По свидетельству П. В. Анненкова, находившегося тогда в Зальцбрунне, письмо к Гоголю писалось смертельно больным Белинским в течение трех дней, причем оно было переписано два раза. Белинский, видимо, учитывал, что значение его письма выйдет далеко за рамки личной переписки. Приехав в Париж, куда Белинский направился из Зальцбрунна, он прочитал копию своего письма Герцену. Тот сказал на ухо Анненкову: «Это гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».

Зальцбруннское письмо Белинского к Гоголю, выразившее, как отмечал Ленин, «настроение крепостных крестьян против крепостного права» (В. И. Ленин, Сочинения, 3-е изд., т. XIV, стр. 219) было действительно завещанием Белинского и итогом всей его деятельности. В этом знаменитом письме, которое после смерти Белинского стало распростра-

няться по России во множестве нелегальных списков, он с огромной силой выразил свои революционные взгляды, заклеймив крепостничество и самодержавие.

Констатируя провал «Выбранных мест», Белинский предупреждал Гоголя: «И публика тут права, — писал он, — она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского „самодержавия, православия и народности", и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья, и это показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь, вместе со мною, падению вашей книги! . .». В заключение своего письма Белинский подчеркивал: «Тут дело идет не о моей или вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас; тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. . .».

В своем письме к Гоголю Белинский сформулировал ту программу-минимум, за которую боролась революционная демократия в 1840—1850-х годах. «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь, — писал Белинский, — уничтожение крепостного права, отмена телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения тех законов, которые уже есть».

Осуществление требований, выдвинутых Белинским, было бы большим шагом в русской жизни по пути прогресса. Но Белинский шел дальше. Он сознавал неизбежность капитализма в России как условия ее дальнейшего прогрессивного развития. Вместе с тем Белинский видел и те бедствия для народа, которые нес с собою капитализм.

Уяснению отрицательных, вредных сторон капитализма немало способствовали заграничные впечатления Белинского. В письмах к друзьям он не жалел красок для характеристики капиталистического строя, господствовавшего в Западной Европе.

В письме к Боткину из Дрездена 7 (19) июля 1847 г. Белинский писал: «Что за нищета в Германии, особенно в несчастной Силезии, которую Фридрих Великий считал лучшим перлом в своей короне. Только здесь я понял ужасное значение слов: „пауперизм и пролетариат"». В другом письме к Боткину, уже из Петербурга, в декабре 1847 г., делясь своими впечатлениями о Франции, Белинский замечал, что «владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором. . .». И дальше, в том же письме: «я сказал, что не годится государству быть в руках капиталистов, а теперь прибавлю: горе государству, которое в руках капиталистов, это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значит только возвышение или упадок фондов — дальше этого они ничего не видят».

В 1847 г. Герцен напечатал в «Современнике» «Письма из Avenue Marigny», в которых он обрушивался на французскую буржуазию. Московские друзья Белинского — Боткин, Грановский и другие резко осуждали Герцена за такие взгляды. Белинский же стал на сторону Герцена, хотя и не во всем согласился с ним.

Белинский признавался, что он не принадлежит «к числу тех людей, которые утверждают за аксиому, что буржуазия — зло, что ее надо уничтожить, что только без нее все пойдет хорошо». «Пока буржуазия есть и пока она сильна, — подчеркивал Белинский, — я знаю, что она должна быть и не может не быть. Я знаю, что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества. . .».

Будучи в Париже, Белинский встречался с Бакуниным и спорил с ним о путях развития России. Этот замечательный спор, о котором Белинский рассказывал в письме к Анненкову 15 февраля 1848 г., был предвестием будущих споров марксистов с народниками. В то время как воззрения Бакунина предвещали народнические теории, Белинский защищал взгляды, пролагавшие путь марксизму. «Мой верующий друг [т. е. Бакунин], — писал Белинский Анненкову, — доказывал мне... что избави-де бог Россию от буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию».

Белинский совершенно отчетливо понимал, что развертывание капиталистических отношений в России есть длительный процесс, измеряющийся не годами, а десятилетиями. Ближайшими и основными задачами, за которые нужно было бороться, являлись задачи, сформулированные в письме к Гоголю: 1) «уничтожение крепостного права», 2) «отмена телесного наказания», 3) «введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». Из этих трех задач уничтожение крепостного права, как это и понимал Белинский, было для России основной и центральной задачей.

Белинский не оставлял надежд на возможность реформ «сверху», внимательно следил за деятельностью назначенной Николаем I комиссии по «обеспечению положения крестьян». Но Белинский предвидел и возможность крестьянской революции. В письме к Анненкову от начала декабря 1847 г. Белинский отмечал, что если вопрос о крепостном праве не будет разрешен сверху, то «тогда он решится сам собою, другим образом, в 1000 раз более неприятным для русского дворянства. Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение...».

В последние два года своей жизни Белинский был целиком поглощен политическими вопросами. Революционно-демократические взгляды Белинского дошли до той ступени, которая уже отделяла Белинского от его друзей, становившихся защитниками буржуазного либерализма (Боткин, Кавелин, Анненков и др.).

Белинский беспощадно разоблачал отсталость крепостнической России и звал на борьбу с этой отсталостью. Он был подлинным интернационалистом и внимательно следил, в частности, за судьбами Франции, которая играла тогда роль мирового центра революционного движения. Но вместе с тем Белинский восставал против всякого преклонения перед европейской цивилизацией и бичевал сторонников «фантастического космополитизма». В их числе оказался талантливый молодой критик В. Майков, который отрицал общественно-историческую обусловленность личности, а также и национальность. В. Майков утверждал, что «истинная цивилизация всего-навсего одна, как одна на свете истина одно добро...».

Свои космополитические взгляды В. Майков особенно ярко выразил в статье о Кольцове, где он вступил в прямую полемику с Белинским, который характеризовал Кольцова как национального поэта. Отрицание социального понимания личности и отрицание национальности — таковы основные пункты, которые определяли возражения Майкова Белинскому. Именно по этим пунктам Белинский и дал сокрушительный отпор молодому критику в своей статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года».

Для Белинского было важно размежеваться с В. Майковым еще и потому, что вопрос о личности и национальности, как определяющем ее развитие начале, имел первостепенное значение в системе славянофильских взглядов. Показывая ложность космополитизма В. Майкова, Бе-

линский имел в то же время возможность вскрыть реакционный характер славянофильской трактовки проблемы народности и национальности.

Ни разу не назвав Майкова по имени, Белинский обрушился на него, как на «гуманического космополита», и сурово осудил его абсолютный способ суждения. «Идея истины и добра признавалась всеми народами во все века, — писал Белинский, — но что непреложная истина, что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью и злом для другого народа, в другой век. Поэтому, безусловный, или абсолютный способ суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный; теперь он называется абстрактным, или отвлеченным. Ничего нет легче, как определить, чем должен быть человек в нравственном отношении, но ничего нет труднее, как показать, почему вот этот человек сделался тем, что он есть, а не сделался тем, чем бы ему, по теории нравственной философии, следовало быть».

Абстрактному, или отвлеченному, способу суждения у Майкова Белинский противополагал другой способ — материалистический. «Психология, не опирающаяся на физиологию, так же не состоятельна, как физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить физический процесс нравственного развития». Опираясь на материалистические предпосылки, Белинский утверждал общественно-историческую обусловленность личности, а отсюда следовал вывод, что невозможно «разделить народное и человеческое на два... враждебные одно другому начала». Белинский писал: «Что л и ч н о с т ь в отношении к идее человека, то н а р о д н о с т ь в отношении к идее человечества. Другими словами, народности суть личности человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения». Так Белинский ставил и решал проблему личности и национальности.

По определению Белинского, Майков бросился в «фантастический космополитизм во имя человечества», и это было крайностью, с которой необходимо было бороться. Точно так же нужно было бороться и с другой крайностью — «фантастической народностью» славянофилов. Последние или смешивали с народностью старинные обычаи, или указывали на «смирение, как на выражение русской национальности». Принцип «кротости и смирения», из которого исходили славянофилы Хомяков и Ю. Самарин, Белинский в одном из своих писем назвал «неблагопристойным принципом», потому что он вел к национальной исключительности, к отрицанию прогресса.

В противоположность славянофилам, полное проявление и осуществление русской самобытности Белинский видел не в каких-либо ее исключительных свойствах, не позади, а впереди, не в прошлом, а в будущем. «Как и у славянофилов, — писал Белинский, — у нас есть свой идеал народов, во имя которого мы желали бы их исправления; но наш идеал не в прошедшем, а в будущем, на основании настоящего. Вперед итти можно, назад — нельзя, и что бы ни привлекало нас в прошедшем, оно прошло безвозвратно». Как материалист и революционный демократ, Белинский звал к «исправлению нравов» «не во имя мечтательного и невозможного обращения к прошедшему, а во имя возможного развития будущего из настоящего». В той же статье Белинский нашел замечательные слова, проникнутые глубоким патриотизмом и чувством национальной гордости. «Нам русским, — писал Белинский, — нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: изо всех славянских пле-

мен, только мы сложились в крепкое и могучее государство и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честью не один суровый экзамен судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спасаться от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль. . .».

Четкое и ясное самоопределение Белинского в вопросе о национальном развитии имело огромное значение для судеб натуральной школы. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский дал очерк исторического подготовления новой школы, связав ее с прошлым русской литературы и показав движение литературы «от абстрактного начала мертвой подражательности к живому началу самобытности». Белинский был очень далек от мысли канонизировать кого-либо из писателей новой школы. Прогресс литературы он видел «не в талантах, не в их числе», а «в их направлении, их манере писать». Прогресс литературы для Белинского заключался в том, что литература стала, наконец, органом общественного самосознания.

По вопросу о натуральной школе Белинскому приходилось многократно полемизировать с своими противниками, но основной и решающий бой был им дан в статье «Ответ „Москвитянину"».

Один из представителей молодого поколения славянофилов — Юрий Самарин, укрывшийся под псевдонимом М... З... К..., выступил со статьей, в которой объектом своих нападений избрал натуральную школу и Белинского, ее вдохновителя. Стремясь показать теоретическую несостоятельность натуральной школы, Самарин, между прочим, пытался изобличить Белинского в противоречивости его суждений и упрекал критика в переменчивости и отсутствии твердых убеждений. Отвечая Самарину, Белинский показывал, что враждебность славянофилов к натуральной школе коренилась в дворянском характере славянофильской идеологии. «Барин, изучающий народ через своего камердинера», — так характеризовал Белинский своего противника. Это злое, но вместе с тем и глубоко верное определение относилось, конечно, не только к одному Самарину, но и к большинству славянофилов.

Последняя программная работа Белинского в «Современнике» — «Взгляд на русскую литературу 1847 года» — заключала в себе две статьи, напечатанные в первой (январской) и четвертой (апрельской) книжках журнала за 1848 г.

В первой своей статье, подводя итоги борьбы за натуральную школу, Белинский определил ее значение как единственно подлинного и далеко идущего русла русской литературы. Белинский утверждал, что «натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы» и что «школы, неприязненные натуральной, не в состоянии представить ни одного сколько-нибудь замечательного произведения». Правомерность натуральной школы, служившей делу просвещения и прогресса, могла быть оправдана не только интересами современности, но и объяснена исторически. Белинский и показывал, что натуральная школа была подготовлена всем предшествующим развитием русской литературы.

Отражая обвинения врагов натуральной школы, Белинский давно боролся за Гоголя, как за великого поэта отрицания, и доказывал, что изображение современной действительности необходимо должно быть отрицательным. Правоту своих взглядов Белинский подтвердил теперь историческими аргументами. Отрицательное необходимо связано с комическим и сатирическим, а известно ведь, что история нашей литературы началась с сатиры: «первый светский писатель был сатирик Кантемир».

Так протягивалась нить между литературными явлениями, разделенными целым столетием: между Кантемиром и Гоголем.

«В баснях Хемницера и в комедиях Фонвизина отозвалось направление, представителем которого, по времени, был Кантемир. Сатира у них уже реже переходит в преувеличение и карикатуру, становится более натуральною, по мере того, как становится более поэтическою. В баснях Крылова сатира делается вполне художественною; натурализм становится отличительною характеристическою чертою его поэзии. Это был первый великий натуралист в нашей поэзии. Зато он первый и подвергся упрекам за изображение „низкой природы", особенно за басню „Свинья". Посмотрите, как натуральны его животные: это настоящие люди, с резко очерченными характерами, и притом люди русские, а не другие какие-нибудь. А его басни, в которых действующие лица — русские мужички? Не есть ли это верх натуральности?».

По мысли Белинского развитие сатирического, комического направления, вершиной которого явился Гоголь, состояло в постепенном преодолении карикатурности и комизма, в возрастающем и все более глубоком охвате явлений действительности. Отсюда и тезис Белинского о Крылове как о «первом великом натуралисте в нашей поэзии».

Сатирическое кантемировское направление в русской литературе развивалось параллельно с направлением «реторическим» — ломоносовским, вначале оно даже уступало ему первенство, но потом оба эти направления, сливавшиеся у Державина, объединились, наконец, в творчестве Пушкина. «В „Евгении Онегине" идеалы еще более уступили место действительности или, по крайней мере, то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тем и другим, что поэма эта должна по справедливости считаться произведением, положившим начало поэзии нашего времени. Тут уже натуральность является не как сатира, не как комизм, а как верное воспроизведение действительности, со всем ее добром и злом, со всеми ее житейскими дрязгами». Так поэзия действительности, основоположником которой был Пушкин, закономерно и естественно была неотделима от изображения отрицательного и низкого.

Сила Пушкина состояла, однако, в показе не отрицательных, а, напротив, «положительно-прекрасных явлений жизни», как об этом еще раньше писал Белинский. Несмотря на свое преклонение перед Пушкиным, Белинский никогда не забывал о дворянском характере его творчества и по этой линии расходился с Пушкиным. Иное дело Гоголь с его пафосом отрицания, демократическим по самой своей сущности. «Он [Гоголь] ничего не смягчает, не украшает, вследствие любви к идеалам, или каких-нибудь заранее принятых идей, или привычных пристрастий, как например, Пушкин в „Онегине" идеализировал помещицкий быт. Конечно, преобладающий характер его сочинений — отрицание; всякое отрицание, чтоб быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала», и этот идеал у Гоголя имеется, хотя и «не свой, т. е. не туземный, как и у всех других русских поэтов, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературе этот идеал».

В подходе к проблеме идеала Белинский остался верен себе до конца. Он полагал, что у нас «общественная жизнь еще не сложилась» и что поэтому идеал еще не мог быть отражением уже данных человеческих отношений. Решительно отвергая возможность воплощения идеала в конкретные типы, поскольку такой взгляд открывал бы путь

для примирения с существующей действительностью, Белинский требовал, чтобы идеал раскрывался в соотношении типов как определенная тенденция художника. Опять-таки по поводу сочинений Гоголя Белинский писал, что «тут все дело в типах, а идеал тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые становит друг к другу автор созданные типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением».

Великий писатель, по Белинскому, сам является носителем идеала, носителем этой будущей действительности. От низменного и отрицательного к положительному и прекрасному в его конкретных формах литература могла перейти лишь на последующих стадиях общественного развития. В настоящем же — раскрытие и обличение отрицательного составляло главную задачу, стоявшую перед натуральной школой. Сила и жизненность натуральной школы заключалась в том, что, пойдя от Гоголя, она расширила и углубила гуманистические и демократические тенденции его творчества. Предметом изображения для писателей натуральной школы стали не только помещики и чиновники, как это было у Гоголя, но обыкновенные люди разных общественных слоев, в том числе и крестьяне.

«Природа — вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик — не человек?» — спрашивал Белинский и с несокрушимой последовательностью развивал выдвинутое им еще в полемике вокруг «Физиологии Петербурга» демократическое понимание человека. О противниках натуральной школы Белинский отзывался как о читателях, «которые по чувству аристократизма не любят встречаться даже в книгах с людьми низших классов, не любят нищеты и грязи. по их противоположности с роскошными салонами и кабинетами». Голос революционного демократа и защитника народных интересов слышится в саркастических словах Белинского, обращенных к противникам натуральной школы: «Так, милый, добрый сибарит, для твоего спокойствия и книги должны лгать, и бедный забывать свое горе, и голодный — свой голод, стоны страданий должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетит, не нарушился твой сон».

Если историческая миссия литературы состояла в ее нерасторжимой связи с основным вопросом времени — вопросом социальным, если «поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое дает колорит и смысл всей его эпохе», — тогда мысль о так называемом «чистом», независимом от жизни искусстве, естественно, должна быть признана реакционной и ложной.

Разбирая возможные доводы защитников «чистого» искусства, Белинский уже не ставил вопроса, занимавшего его с начала 1840-х годов, о совместимости художественного творчества с общественной тенденцией. Этот вопрос давно был решен для него положительно и окончательно. «Отнимать у искусства право служить общественным интересам, значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит — лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев. Это значит даже убивать его...».

Белинский не забывал подчеркивать специфические средства искусства, которые не могли быть заменены средствами науки: наука «доказывает», искусство «показывает» и «оба убеждают». Однако важнейшим условием искусства, наряду с художественностью, должна быть общественная тенденция. Только искусство, проникнутое

этой тенденцией, с точки зрения Белинского, может выполнить свое истинное назначение.

Вопрос о роли тенденции в искусстве Белинский ставил и решал с исключительным тактом и глубиной. К этому вопросу необходимо было возвращаться в новой обстановке, когда перед глазами был пример Гоголя, который оставался великим до тех пор, пока не осознавал своего искусства, и который «споткнулся, да еще как», став на путь рассуждений и философии. Белинский знал и других больших поэтов, которые, «увлекаясь решением общественных вопросов», создавали слабые в художественном отношении произведения, «нисколько не соответствующие их таланту». Таковы были, например, некоторые произведения Жорж Занд, в которых «роман смешался со сказкою, натуральное заслонилось неестественным, поэзия смешалась с реторикою».

Белинский боролся за сознательную тенденцию, за необходимость внесения в литературу передовых общественных взглядов. Вместе с тем он же предостерегал от навязывания писателю «направления», от искусственного, неорганического, усвоения общественной тенденции. Борьба за передовое мировоззрение, за сознательную мысль в литературе для Белинского была вместе с тем и борьбой за подлинную свободу художественного творчества. Вот почему Белинский так же восставал против искусства дидактического, холодного и мертвого, как восставал он против «чистого» искусства. «Идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая, как должно, но не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал, не только для поэтической, но и всякой литературной деятельности. Как ни списывайте с натуры, как ни сдобривайте ваших списков готовыми идеями и благонамеренными „тенденциями", но если у вас нет поэтического таланта, — списки ваши никому не напомнят своих оригиналов, а идеи и направления останутся общими реторическими местами». Из этих слов Белинского видно, насколько неосновательны и ложны были обвинения, предъявлявшиеся ему противниками натуральной школы, будто он, ниспровергая истинное искусство, проповедует искусство дидактическое и поучительное. Эстетические принципы натуральной школы в такой же мере не имели ничего общего с дидактическим искусством, в какой они были чужды и враждебны «чистому» искусству.

Во второй статье своего «Взгляда на русскую литературу 1847 года» Белинский разбирал романы Искандера (Герцена) и Гончарова, повести и рассказы Тургенева, Григоровича, Даля, Дружинина и других. Бо́льшую часть статьи он посвятил сравнительному разбору романа Искандера «Кто виноват?» и «Обыкновенной истории» Гончарова. Особенность этого замечательного разбора состояла в том, что Белинский на конкретном материале как бы иллюстрировал тезисы своей предшествующей статьи о значении и роли сознательной мысли в художественном творчестве. Если вся сила Искандера была в сознательной мысли, одушевляющей его роман, — Гончаров, напротив, представлял собою тип писателя, не осознающего своего искусства. Своеобразием дарований каждого из них Белинский объяснял достоинства и недостатки обоих романов.

Основная мысль той характеристики, которую дал Белинский Тургеневу, заключается в том, что, начиная с ранних стихотворений и поэм, Тургенев искал свой путь в литературе и нашел его, наконец, в «Записках охотника». В «Хоре и Калиныче», по определению Белинского, талант Тургенева «обозначился вполне». Белинский отметил, что

в этой «маленькой пьеске» «автор зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил». Признав «Хоря и Калиныча» «лучшим из всех рассказов охотника», Белинский вслед за ним поставил «Бурмистра», а после него «Однодворца Овсянникова» и «Контору». Нужно вспомнить, что все эти вещи писались Тургеневым в период его близости с Белинским, а «Бурмистр» и «Контора», в ряду других очерков из «Записок охотника», содержали в себе наиболее резкие выпады против крепостничества. Показательно, что дата «Бурмистра» (Зальцбрунн в Силезии, июль 1847 г.) совпадает с датой знаменитого письма Белинского к Гоголю (15 июля 1847 г.): именно в этом очерке особенно ясно влияние Белинского.

Белинский прекрасно знал о том, что Тургенев внимательно следил за народными рассказами и очерками Даля, и он справедливо отметил несомненное родство с этими очерками «Записок охотника». От Белинского не укрылось «необыкновенное мастерство Тургенева изображать картины русской природы»; эту сторону дарования автора «Записок охотника» Белинский также проницательно подчеркнул, указав, что «его картины всегда верны, вы всегда узнаете в них нашу родную, русскую природу».

Если у Тургенева Белинский нашел «много аналогий с талантом Даля», то же он признал и у Григоровича, который «посвятил свой талант исключительно изображению низших классов народа» и который также «постоянно держался на почве хорошо известной и изученной им действительности». Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском рассказывает, что, когда появилась «Деревня» Григоровича, Белинский «не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности».

О «Деревне» Белинский высказался очень сочувственно еще в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Именно на эту повесть обрушился потом Ю. Самарин в «Москвитянине», Белинскому же в полемике с ним пришлось энергично отстаивать право писателя изображать дикость и зверство в семейных отношениях русской деревни.

По цензурным условиям Белинский не мог охарактеризовать общественные тенденции произведений Григоровича, как не мог он ничего сказать об антикрепостническом содержании тургеневского «Бурмистра». По поводу новой повести Григоровича «Антон-Горемыка» Белинскому пришлось ограничиться в статье общими и неопределенными словами («это повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные»); но вот в письме к Боткину в декабре 1847 г. Белинский точно сформулировал свое впечатление от этой «удивительной» повести. «Ни одна русская повесть, — писал он, — не производила на меня такого страшного, гнетущего, мучительного, удушающего впечатления: читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет и истязует целую вотчину — законное наследие его благородных предков».

Когда мы рассматриваем взаимоотношения Белинского с писателями натуральной школы, следует, конечно, иметь в виду, что писатели, составлявшие эту школу, не только по степени своего дарования, но также и в идеологическом отношении были чрезвычайно различны. Далеко не все эти писатели могли усвоить те требования, которые предъявлял им Белинский. Так, Достоевский, ответив своим первым романом гуманистическому направлению новой школы, вскоре же принципиально и резко разошелся с Белинским. Не могли полностью осуществить заветы

Белинского и такие его ученики, как Тургенев и Гончаров. Однако для всех, хотя и в разной мере, критика Белинского была направляющей и организующей силой.

Сам Белинский отдавал себе отчет в том, что могли быть писатели, не способные осознать свое искусство; могли быть иные: осознавшие его неправильно и ложно; наконец, могли быть такие, своеобразие которых состояло в органическом слиянии искусства и передовой сознательной мысли. К их числу относился прежде всего Некрасов. Из всех писателей натуральной школы Некрасов наиболее последовательно осуществил требования Белинского. В письме к Кавелину 7 декабря 1847 г. Белинский писал о Некрасове: «его теперешние стихотворения тем выше, что он, при своем замечательном таланте, внес в них и мысль сознательную и лучшую часть самого себя».

Следуя заветам Белинского, Некрасов создал поэзию, в которой не только сошлись все основные нити предшествующего ее развития, начиная от Пушкина, но которая ознаменовала собой новую эпоху в истории русской литературы. Вместе с тем через Некрасова была осуществлена преемственность между Белинским и революционными демократами 1860-х годов — Чернышевским и Добролюбовым.

Призывы к борьбе с крепостничеством и самодержавием, идеи революционного переустройства общества, защита материализма и демократического реализма — вот что составляло содержание статей и писем Белинского последних лет его жизни.

Последние статьи Белинского, напечатанные в «Современнике», и его письма 1847—1848 гг. исполнены такой энергии мысли, одушевлены такой горячей страстью, что никак, казалось бы, нельзя было предполагать, что их автор на пороге смерти.

По возвращении Белинского в Петербург из заграничной поездки болезнь его возобновилась с новой силой. С начала 1848 г. он с трудом передвигался по комнате, а последние статьи и письма ему пришлось диктовать. Когда Белинского вызвали в III отделение, он уже физически не мог выполнить этого предписания.

Измученный непосильной работой и болезнью, лишениями и нуждой Белинский скончался 7 июня (н. с.) 1848 г., на тридцать восьмом году жизни. Управляющий III отделением Дубельт «яростно сожалел» о смерти Белинского. «Мы бы его сгноили в крепости», — заявил он. Впоследствии Грановский писал, что Белинский умер «во-время». Наступала пора необузданного реакционного террора в связи с революционными событиями на Западе в 1848 г.

После смерти Белинского имя его стало запретным, а его литературное наследие на несколько лет оказалось преданным забвению. В 1853 г. Некрасов написал стихотворение памяти Белинского, которое могло быть напечатано только в 1855 г., после смерти Николая I:

Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели.
Упорствуя, волнуясь и спеша,
Ты честно шел к одной высокой цели:
Кипел, горел — и быстро ты угас!
. . . .
И с каждым днем окружена тесней,
Затеряна давно твоя могила,
И память благодарная друзей
Дороги к ней не проторила...

Однако забвение Белинского, о котором говорит Некрасов, было кратковременно. Имя его было восстановлено его великими преемниками Чернышевским и Добролюбовым, которые продолжили его традиции. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский как бы заново открыл Белинского русскому обществу и дал первое глубокое истолкование его литературного наследия.

Чернышевский считал, что «не много найдется в нашей литературной истории явлений, вызванных таким чистым патриотизмом», как критика Белинского. «Любовь к благу родины, — писал Чернышевский, — была единственною страстью, которая руководила ею, каждый факт искусства ценила она по мере того, какое значение он имеет для русской жизни. Эта идея — пафос всей ее деятельности. В этом пафосе и тайна ее собственного могущества». «Что бы ни случилось с русской литературой, — писал Добролюбов,—как бы пышно ни развилась она, Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, ее украшением».

Вслед за Чернышевским и Добролюбовым подлинными наследниками Белинского явились революционные марксисты. Много сделал для восстановления идейного облика Белинского Г. В. Плеханов, посвятивший Белинскому несколько специальных статей. Хотя в статьях Плеханова содержатся ошибочные положения, все же эти статьи, после «Очерков гоголевского периода» Чернышевского, явились большим и важным этапом в деле выяснения исторической роли Белинского как революционного мыслителя. Неопровержимыми и справедливыми являются, в частности, слова Плеханова о том, что «главнейший предмет его [Белинского] умственной работы есть отрицание абстрактного, утопического идеала, стремление развить идею отрицания, опираясь на закономерное развитие самой общественной жизни».

Ленин не оставил о Белинском специальной работы, но и те его суждения, которые мы имеем, дают незаменимую опору для правильного понимания политических взглядов Белинского и всего его творчества.

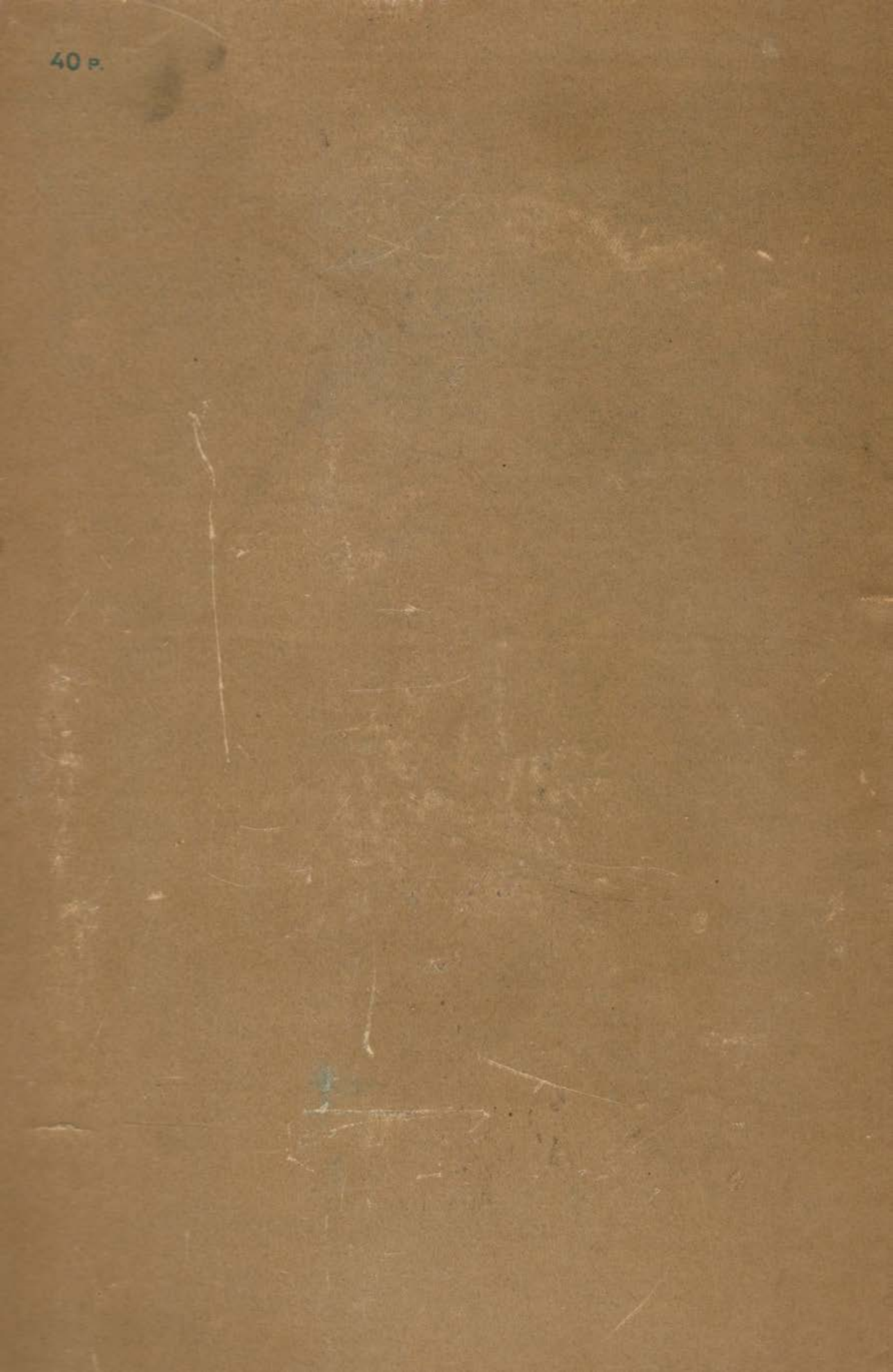
Как свидетельствует один из современников, Белинский выражал уверенность в том, что «Россия лучше сумеет разрешить социальный вопрос и покончить с капиталами и собственностью, чем Европа». В мечтах своих Белинский видел Россию, «стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества». Белинский предвидел, что «в будущем мы, кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни еще и русскую мысль». В наше время реально осуществились предвидения Белинского, а он сам остался для нас живым деятелем, нашим современником.

Редакционная коллегия:

Проф. В. Е. Евгеньев-Максимов, проф. Н. И. Мордовиченко, доц. И. Г. Ямпольский.

Подписано к печати 3/X 1949 г. М 24765 Печ. л. 37¾
Уч.-изд. л. 49,3 Тираж 10 тыс. Заказ № 4378.

4-я типография им. Евг. Соколовой Главполиграфиздата при Совете Министров СССР,
Ленинград, Измайловский пр., 29.


40 р.